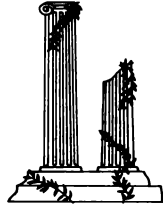


**Диаспора**

**III** НОВЫЕ  
МАТЕРИАЛЫ







## ***Альманах основан Владимиром Аллоем***

### **Ответственный редактор:**

***Олег Коростелев***

Россия, Москва, 125015, ул. Бутырская, д.9, кв.128  
Тел.: 7095. 285.60.40. E-mail: okorostelev@mail.ru

### **Редактор-издатель:**

***Татьяна Притыкина***

Россия, СПб, 196070, а/я 345  
Тел.: 7812.387.17.73. E-mail: isphenix@spb.cityline.ru

### **Представители альманаха:**

***А.В.Лавров.*** Россия, С.-Петербург, 197046, ул. Б.Дворянская (Куйбышева), д.22, кв.31. Тел.: 7812. 233.84.87. E-mail: lavrov@TP3917.spb.edu

***John E. Malmstad.*** Slavic Dept. Barker Center. 12 Quincy Street. Harvard University. Cambridge, MA 02138. USA. E-mail: malmstad@fas.harvard.edu

***Richard D. Davies.*** Leeds Russian Archive Brotherton Library University of Leeds. Leeds LS2 9JT England. Tel. 0113. 233 32 89. E-mail: r.d.davies@leeds.ac.uk

***Elda Garetto.*** Via Salvo d'Acquisto, 20. 21020 Casciago (va), Italia.  
Tel./Fax: 0332. 22 02 45. E-mail: elda.garetto@skylink.it

### **Адрес издательства:**

Россия, 191123 С.-Петербург  
Кирочная ул., 31

# Диаспора III

НОВЫЕ  
МАТЕРИАЛЫ

Athenaeum – Феникс  
Париж – Санкт-Петербург

2002

ББК 63.3  
УДК [947+957]  
Д-441

Д-441

**ДИАСПОРА: НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ.** Вып.3.  
СПб.: Феникс, 2002. 735 с., ил.

В настоящем томе альманаха читатель найдет: продолжение публикации книги воспоминаний В.Вейдле; мемуары болгарского эмигранта И.Тинина; статьи о судьбе российских ученых, высланных из Одессы в 1922, и о деятельности монархистов в Эстонии; очерк о Марке Шагале и Илье Эренбурге; окончание переписки Тэффи с Буниными, письма Адамовича к Гиппиус; дневник Н.В.Вернадской и много других материалов.

Книга рассчитана как на специалистов, так и на широкий круг читателей, интересующихся отечественной историей.

ББК 63.3

ISBN 5-85042-077-0  
ISBN 5-85042-080-0

© Феникс, 2002

A large, stylized letter 'D' composed of a dense grid of small grey dots. The 'D' is positioned in the upper left quadrant of the page. Below the 'D', the word 'Наследие' is written in a bold, black, serif font. The word 'Наследие' is positioned to the right of the 'D', with the 'D' partially overlapping the first few letters of the word.

# Наследие





В.Вейдле

## ВОСПОМИНАНИЯ\*

*Публикация и комментарии И.Доронченкова*

«Внимая ужасам войны...»<sup>1</sup>

Полопам разделила мои университетские годы война. На третьем и четвертом курсе лекции я слушал, в семинариях работал, книги читал, «внимая» ее ужасам. Не равнодушно им внимал; но, со стороны посмотрев, можно сказать, что и равнодушно. Призван не был; однако и добровольцем на фронт не пошел: учиться хотел, а не драться, даже и защищая отечество. Думал (как и другие, но далеко не все), что защитников у него много и без меня. С детства представлялось мне всё военное, если не старинное, то нынешнее, нудным, мундирно-казарменным, «казенным»; недаром я и оловянных солдатиков терпеть не мог, никогда ими не играл. Да и – что греха таить – страшной представлялась мне война; и убивать и быть убитым было страшно. К тому же и в победу наших войск не особенно мне верилось, с самого начала... Одним словом – внимал; а себя от ужасов берег.

Крымская кампания Некрасову внушила стихотворение, первая строчка которого пришла мне на память, когда срок наступил вспоминать об «августе четырнадцатого». Тютчев франко-прусскую войну назвал «публичным опытом людоедства», а задолго до того, вероятно, под впечатлением июльских дней в далеком Париже, писал:

---

\* Продолжение. Начало см.: Диаспора: Новые материалы. Т.2. СПб.: Феникс, 2001. С.24-153 (далее – Воспоминания).

«Блажен, кто посетил сей мир / В его минуты роковые»<sup>2</sup>. Улыбаться по этому поводу не следует; предчувствия не обманывали Тютчева, они только настоящее от будущего не позволяли вполне ясно отличать. Но в том августе – или конце июля по старому стилю – по настоящему «роковое» и началось. Я тогда же – горжусь этим, – «внимая ужасам войны», этот, над всеми нами, ужас осознал. Блаженства не почувствовал, даже и трагического, которое Тютчев имел в виду, – вероятно, потому, что к началу трагедии примешалось много пошлого, тупого, шутовского. Кровь уже лилась, а в тылу самовосхвалялись, лубочно патриотствовали и болтали вздор. «Публичный опыт людоедства» в сильно увеличенном масштабе почти никого (так могло казаться) и не испугал. А за Россию было у нас испуга и того меньше. Я в девятнадцать лет испугался; и не только за нее; но не видел, чем я тут могу помочь. Шестьдесят лет прошло. Испуг они полностью оправдали; не возрасти он не мог; но привыкаешь ко всему. Все чаще я повторяю в Париже написанные строчки Ходасевича: «Проклятье вечное тебе / Четырнадцатый год»<sup>3</sup>. Причин для этого становится все больше. Настоящая «минута роковая», не для нас одних, для всего европейско-христианского мира, была минута объявления войны. Не для всех она была одна и та же; но разные эти минуты давно слились в одну. Более роковой, если все взвесить, пожалуй, и в истории всего человечества не было.

Гарью пахло. «Была жара. Леса горели». Так начинается «Обезьяна» Ходасевича – лучший памятник тому июлю, началу войны, через пять лет белыми стихами ему воздвигнутый<sup>4</sup>. Этот запах гари и Ахматова отметила, и другие. Поэтов надо слушать в «минуты роковые», с поэтами «ужасам войны» внимать, – или самому хоть чуточку быть поэтом. Тогда-то и видишь, что не зря живут поэты на земле. Многие, правда, стихотворцы изменили в те дни поэзии – у нас и не у нас. Никто их не принуждал, но стали строчить, как на заказ, то, чего, по их мнению, от них сограждане и читатели ожидали. Поэзия, да и собственная совесть не этого от них ждала; и *это* по справедливости забыто; хотя столь безоглядных призывов к убийству они не сочиняли, как их преемники, угождавшие Сталину. Государь от своих верноподданных *таких* доказательств верности не требовал. Но оставим это. Гарью пахло. Это была и поэзия, и правда. Дымная, душная правда. И та поэзия, что лету четырнадцатого года была к лицу.

Помню отчетливо дымный этот дух. И в Петербург его порой носило; да и ездил я за город на Сиверскую в том июле. Но газеты стали пахнуть войной уже недели за две до войны. Хоть и запутывались они в противоречивых вестях; хоть и никто вокруг нас ни крупницы не знал, из того многого, чего и они не знали; но чувствовалось: надвигается, подступает, убит эрцгерцог, подошла, не избежать. Так что, когда пришла, даже полегчало на минуту. «В принци-

пе» была неизбежна – вот и не избегли, недаром убийцу эрцгерцога звали Принципом. Меня и тогда это поразило. Как и разговоры о том, что нельзя, мол, не воевать. «Да ведь мы к войне – сами вы говорите – не готовы?» – «Но принципы!» – «Что ж, если мы не в силах их защитить?» Говорили, что наше правительство решило «пугнуть Вильгельма»; вот война, совершенно не по нашей вине, и началась. А когда началась, вызвала, как в газетах писали, «взрыв энтузиазма». Дачный наш сосед, Владимир Модестович Ратьков-Рождов, лет пятидесяти бездельник, довольно заносчивый, но живший очень зажиточно на денежное пособие, ежегодно выдаваемое ему (в ожидании наследства) союзом его кредиторов, потрогал свой бритый подбородок и сообщил моему отцу, что с завтрашнего дня начнет отпускать бороду, которую сбреет, лишь когда наши победоносные войска войдут в Берлин. Жаль, что он умер еще до Брестского мира; через тридцать лет мог бы и в самом деле бороду сбрить.

Переименовали Петербург, хотя с Голландией не воевали. Бетховена и всех прочих немецких композиторов не то чтобы запретили исполнять, но запретили при исполнении именовать, так что на программах и афишах значилось: «Западноевропейская светская музыка начала XIX-го века. Девятая симфония». Немецкие оперы (вагнеровские, например) были, впрочем, и вообще из репертуара исключены. В Москве разгромили, в качестве немецкой, типографию Кнебеля, где печаталась, между прочим, многотомная «История русского искусства» под редакцией Игоря Грабаря, вследствие чего издание это так никогда закончено и не было<sup>5</sup>. В газетах стали появляться сообщения, едва ли очень тщательно проверяемые, о «немецких зверствах»; а в немецких газетах – о русских. Стали печататься «для народа» лубочные портреты доблестного казака Кузьмы Крючкова<sup>6</sup> и сочиняться вирши о «баронессе Крупп фон Болен / Ею Вильгельм премного доволен», что предвещало (как теперь подумаешь) послеоктябрьские рифмованные лозунги вроде «Лордам по мордам, а лядям по грудям».

Но и те «ужасы войны», о которых Некрасов писал, тоже почти сразу начались – только еще гораздо более ужасные. То у нас сделали, чего никто никогда не делал: отправили на убой лучшие полки, которые всякий полководец приберег бы для последнего сражения. Это, может быть, было очень великодушно по отношению к Франции, но преступно по отношению к России. Я бывал в семействе с тремя дочерьми, у которых много было друзей и поклонников гвардейских офицеров. Все эти молодые люди, кроме, кажется, одного, были убиты в Восточной Пруссии. Матери их, одна за другой, облекались в траур. «Средь лицемерных наших дел / И всякой пошлости и прозы / Одни я в мире подсмотрел / Святые, искренние слезы – / То слезы бедных матерей! / Им не забыть своих детей, / Погибших

на кровавой ниве, / Как не поднять плакучей иве / Своих поникнувших ветвей». – И Россия свои не подняла. – Всегда я думал, что напрасно в этих стихах Некрасов «пошлость» и «прозу» помянул. Материнские слезы святых и многого того, чего мы не назовем ни пошлостью, ни прозой. Но тогда и в самом деле слишком часто пошляки хвалили войну, и пользу извлекали из войны, и лицемерных дел было тогда более чем достаточно. Я был юн, ни в каких делах не сведущ, неопытен, непрактичен, но фальшь была в воздухе разлита; я не мог ее не чувствовать. И вот, «внимая ужасам войны», я жил не ими и не ею. Я жил, как если бы ее вовсе не было.

### Военная столица

Фронт был хоть и не как в японскую войну, но далек. Ни в Петербурге, ни в Москве близким его не ощущали. Скорого прорыва не произошло, как через двадцать семь лет при Сталине. Жизнь продолжалась. «Все было по-прежнему». Так можно было думать; так еще легче было говорить. А все-таки все было по-другому. В сознании Ахматовой и ее друзей «последним» годом был предыдущий, тринадцатый. О четырнадцатом она, полвека еще и год спустя, писала: «Вот мы втроем (Блок, Гумилев и я) обедаем (5 августа 1914 года) на Царскосельском вокзале в первые дни войны (Гумилев уже в солдатской форме). Блок в это время ходил по семьям мобилизованных для оказания им помощи. Когда мы остались вдвоем, Коля сказал: “Неужели и его пошлют на фронт? Ведь это то же самое, что жарить соловьев”»<sup>7</sup>. Себя Гумилев, очевидно, соловьем не считал; мужественно сражался, военные стихи писал, но не такие, какие теми писались, кто не воевал. Мог бы, однако, и он не воевать. И Блок не был призван – до 7 июля 1916 года, когда его зачислили табельщиком в строительную дружину Земгора. На фронте он не побывал. Руперта Брука, Уилфрида Оуэна не мы потеряли в боях. Пеги и Алэна-Фурнье лишились не мы<sup>8</sup>. Не послали у нас, как во Франции, всех призывного возраста медиков рядовыми на фронт, чтобы опомниться месяц или два спустя, когда стало не хватать врачей, а из тех половину перебили. Франция утратила большую часть молодой своей интеллигенции, а поколения столь высоких духовных качеств давно она не порождала; и с тех пор не дано ей было, насколько я вижу, равного ему породить. У нас этого не случилось. Мы расправились и с Гумилевым, и немножко на иной лад с Блоком, по-домашнему, да и позже хозяева наши не врагу предоставляли жарить, а сами поджаривали, себе в услужу, наших соловьев.

«Люблю, военная столица, / Твоей твердыни дым и гром, / Когда полнощная царица / Дарует сына в царский дом, / Или победу над врагом / Россия снова торжествует...» Нет, совсем не так было те-

перь, как в «Медном всаднике». Сына «полношная царица» царю уже даровала; милый это был на вид, но болезненный и лечимый Распутиным сынок. В победу верить становилось все трудней с каждым месяцем войны. Никаких «пехотных ратей и коней» как раз больше и не видели мы на площадях наших и проспектах. «Лоскутья сих знамен победных» – лоскутья? Их-то мы и страшились увидеть. Жутковатым казалось порой именно то, что не было у «военной столицы» никакого особенно воинственного вида. Новое имя ее звучало буднично и заштатно; русским было, конечно, более, чем прежнее (хотя по-настоящему следовало бы ему быть не «Петроград», а «Святопетровск»), зато императорско-российского, конногвардейского, царицыно-мужского не осталось в нем больше ничего. Великолепие его я живо чувствовал. Покуда на Малой Конюшенной мы жили<sup>9</sup>, часто возвращался из университета домой пешком, любуясь, неизменно любуясь, но как-то теперь и грустя. Началось нечто, что всему этому угрожало, все это заволакивало трауром. А когда на трамвае ездил в университет, встречал порою в этом трамвае Осипа Мандельштама, которому предстояло написать через четыре года после начала войны:

Твой брат, Петрополь, умирает.<sup>10</sup>

«Ничего не изменилось». Я был студентом третьего курса (и единственным сыном), оттого меня и не призвали в 14<-м> году, а в 16<-м> оттого, что был оставлен при университете. Факультет поспешил даже известить об этом воинского начальника раньше, чем полагалось бы, – когда еще не был мною сдан последний государственный экзамен. Уже в первый месяц войны возвратился из Италии молодой ученый Оттокар<sup>11</sup>, медиевист, ученик Гревса, с которым я познакомился за два года до того, во Флоренции. Настроение у него было крайне мрачное. Первые месяцы войны он почти из дому не выходил, видеть никого не хотел. Оптимизм, а то и воинственный пыл большинства его друзей был таков, что не хотелось ему и спорить с ними. Сам он был убежден, что не только Россия, но и вся Европа, начав войну, подписала себе смертный приговор, приговор своему господству в мире и приговор своей культуре, которой предстоял упадок, чьей бы победой война ни кончилась. Он, впрочем, не верил ни в победу России, ни в победу (окончательную) центральных держав; вступление Америки в войну ему казалось вероятным с самого начала. Сочувствия таким взглядам и даже понимания их ему ожидать не приходилось. Я их понимал, я их разделял, но я был всего-навсего студент третьего курса и моложе его на одиннадцать лет. А кроме того, не потому ли я эти взгляды (и чувства) разделял, что у меня, как и у него, была нерусская фамилия, у него чешская, у меня даже и немецкая. Кое-кто так, вероятно, и думал, или мог подумать.

Иные немецкую фамилию свою спешно обменивали на русскую. Муж певицы Збруевой<sup>12</sup> (великолепного контральто Мариинского театра), подав прошение, куда нужно, стал и сам Збруевым. Мой отец, узнав об этом, только усмехнулся; прошения не подал; даже усы свои, делавшие его похожим на графа Цепелина, не сбрил. (Однажды на железнодорожной станции в Германии ожидали Цепелина, и грянул военный оркестр, когда из вагона вышел мой отец.) Никаких правительственных приглашений или понуждений этого рода не существовало. Сами старались. В одних проснулся шовинизм, другие его на себя нацепляли. Те же это были порой, кто красные ленты на шубы накалывали в февраль семнадцатого года.

Должен, однако, сказать, что ни раньше, ни позже, ни даже в четырнадцатом году ни разу не пришлось мне почувствовать, чтобы кто-нибудь из-за моей немецкой фамилии к немцам меня причислил. Да и Оттокара никто иностранцем не считал. Во мне была русская кровь наравне с чужеземной, а в нем четыре было разных, но русской ни капли не было. Подобен он был в этом Александру Николаевичу Бенуа, который о чужекровности этой своей упомянул в начале своих «Воспоминаний»<sup>13</sup>. Но чувствовал себя Николай Петрович Оттокар, как и Бенуа, русским, петербургским русским, русским петербургской эпохи русской истории. Не радовало его, как и Бенуа, переименование Петербурга; не радовало и то, что с усмешкой, но и с отвращением рассказал он мне о происшествии с отцом приват-доцента Фасмера (того самого, что много лет спустя составил вышедший сперва в Германии, а потом в России этимологический словарь русского языка)<sup>14</sup>. Старичок этот не вполне обрусел и, уступая – как он это всегда делал – даме трамвайное свое место, неизменно говорил: «Битте немен зи платц»<sup>15</sup>, за что был дважды бит и выброшен из трамвая, слава Богу еще, что не на ходу. Противно это было Николаю Петровичу не из-за мнимой чужеземности его, а именно в силу той двухсотлетней русской (или, вернее, российской) традиции, в которую он с младенчества своего врос. И, конечно, нам обоим было противно читать стихи, да еще не чьи-нибудь, а Сологуба: «Прежде, чем весна откроет ложе влажное долин, / Будет нашими войсками взят заносчивый Берлин»<sup>16</sup>; но не потому, чтобы мы желали победы Германии и Австрии, – мы отнюдь ее не желали, – а потому, что русское бахвальство казалось нам и недостойным России, и дурным для нее предзнаменованием<sup>17</sup>.

Волна его быстро спала. Как и волна оптимизма и даже острого интереса к войне. «Военная столица», да и Москва, думается мне, зажила жизнью очень похожей на свою прежнюю. Но похожей и только, – призрачной; хоть и чувствовалось это не все время, а лишь по временам. Действительность, разве не в том она была, о чем писали газеты? А тут, на берегах Невы? Как же это вы? – Не знаю, я

учился в университете. С той осени я особенно усердно занялся средневековой историей.

### Татарское поместье

Первую половину лета 1915 года я провел не у нас на даче, в Финляндии<sup>18</sup>, а очень далеко оттуда, на берегу Камы, и впервые в настоящем большом имении. Впервые, ну и, конечно, в последний раз. Поздновато сподобился узнать усадебную жизнь! Только и жизнь эта, и усадьба, и поместье не совсем были такими, как те, которые я себе по книгам представлял.

Именье было родовое, но роду принадлежало татарскому. Необъятных было оно размеров, при хозяйстве почти сплошь лесном. Все деревни его были татарские, все крестьяне, все дворовые – татары. Я, впрочем, так выражаюсь, как будто при крепостном праве именье это посетил, тогда как татарские эти «души», возможно, что и никогда крепостными не были. Но довременная патриархальность тамошнего быта поражала воображение. На шесть недель в какую-то я попал аксаковскую глушь. Но тем лучше я ее помню, что и она не совсем оказалась ничего не слышавшей о войне. И еще потому, что легендарной она сделалась так скоро после того, как я в глуши этой побывал.

Помещицу звали Гульсум Алексеевна Шейх-Али<sup>19</sup> (настоящее ее отчество было красочней, этим его заменили ради легкости произношения). Очень знатного она была рода (царского, по ее словам), очень богата (кроме этого именья, было у нее другое, на Украине, приносившее гораздо больше дохода), получила отличное воспитание. На вид можно было ей дать года сорок два. Полногрудая, белолицая, чернобровая, она была очень недурна собой; особенно хороши были плечи ее и руки, в чем, судя по ее туалетам, она вполне отдавала себе отчет. Говорила тонким птичьим голоском и с одинаково кокетливо-забавным птичьим акцентом по-русски, как и по-французски, но в остальном безукоризненно на обоих языках. Каждый почти год до войны ездила в Италию, Швейцарию или на французскую Ривьеру. Мы – моя мать и я – познакомились с ней во Флоренции за два года до войны. Она остановилась в том же пансионе, приехав сюда в сопровождении милейшей старенькой Цецилии Яковлевны Оттокар, через которую и познакомились мы с сыном ее, Николаем Петровичем, молодым ученым, жившим против нас, на другом берегу Арно. Отец его, коммерсант (торговец зеркалами) разорился и рано умер. Николай Петрович уже в гимназические, а потом в студенческие годы подрабатывал уроками. Пригласили его репетитором и к сыну Гульсум Алексеевны, очень ленивому юнцу (каким остался он и позже, я его знал студентом). На первом уроке



тот попросил разрешения снять башмаки. «Это зачем же?» – «Думать легче». Постепенно сложились дружеские отношения между матерью этого лентяя и матерью его наставника. Теперь Цецилия Яковлевна сына своего навестить приехала, конечно, не на свой счет. А в 15-ом году сын этот, успевший к тому времени жениться (во Флоренции, на американке норвежского происхождения), был приглашен лето провести вместе с женой в том самом имении. И меня Гульсум Алексеевна пригласила, чтобы составить им компанию: жена Николая Петровича, хоть уже и именовали ее на русский лад Антуанеттой Эмильевной, по-русски не говорила.

Прежде чем к поместью перейти, о помещице кое-что для характеристики ее годное прибавлю. Еще во Флоренции решился я однажды ее спросить о драгоценностях ее, кольцах, браслетах, ожерельях, менявшихся каждый день и поражавших красотой ювелирной формы еще больше, чем «водой» бриллиантов (немного тусклых) и величиной изумрудов, рубинов, жемчугов.

– О, знаете, – сказала она, – это ведь все старинное. Много было пожаловано прабабушке моей императрицей Екатериной (и наши именья – жалованные). Вещички хорошие. Люблю. Но, знаете, у меня их прежде было больше, втрое больше. Вы спросите, куда девались две трети. О, знаете, это очень просто. Раз я приехала в Ниццу, остановилась в большой гостинице и сдала портье на хранение, как полагается, саквояж с этими моими вещицами. Ну их столько же примерно было, как сейчас у меня с собой. Должно быть, он открыл, заглянул – не знаю. Но только через четверть часа фуражка его лежала на конторке, сюртук висел на вешалке, а сам он и саквояж уехали в Италию. Только и всего. Как вы говорите? Да, конечно, искали, но не нашли. Ну а с другой третью, знаете ли, было еще проще. У меня есть дом в Оренбурге. Приехали мы раз туда, чтобы пожить там некоторое время всей семьей. Пять извозчиков, чемоданы... Мешок-то мой кожаный с вещичками – опять их столько же было – на коленях держала. Как к дому подъехали, мешок у крыльца оставила, дверь стала отпирать, а тут по улице кто-то шел, хватъ мешок, побежал, за угол шастъ. Ахнуть не успели.

К ней-то я и ехал, к этой разбрасывательнице сокровищ, вниз по Волге сперва, потом, Сумбекину башню повидав, вверх по Каме, до пристани, где полушарабан меня встретил, полутарантас, и в усадьбу отвез – на съеденье комарам, которые невероятно рассвирепствовали тут к середине июня. Несчастливая Антуанетта Эмильевна искусана была ими до полусмерти, муж ее тоже не в очень исправном виде предо мной предстал, и мне явно угрожала та же участь: я, уже к дому подъезжая, хлопал себя по лбу и по щекам. Гульсум Алексеевна, однако, была цела и невредима, и сам я, как выяснилось позже, оказался менее отборным лакомством для комаров, чем мои друзья,

особенно чем нежная, стройная Сольвейг – Антуанетта с пепельными волосами, закутывавшая голову чем-то вроде тюлевой оконной занавески и надевавшая лайковые перчатки, чтобы из домика, отведенного ей с мужем, где была комната и для меня, выйти в сад и пройти десять шагов, отделявшие домик этот от главного усадебного дома – бревенчатое это здание без колонн обходилось, да и на балконы, помнится, было скупо; зато, благодаря сложной системе сеток в окнах и двойных занавесок у дверей, комаров тут вовсе не было. Ездили мы осматривать татарскую деревню, где женщины в будние дни носили цветные платья и яркие юбки, а по праздникам облакались во все черное, голову покрывая в самый солнцепек белыми оренбургскими платками. И однажды к соседям съездили верст за двадцать, в другое татарское поместье, где молодые хозяева угощали нас три часа длившимся обедом, с нежнейшего вкуса огромной белорыбицей – двое слуг с трудом держали блюдо с бараньим жарким и несметным количеством солений, варений, приправ и соусов.

Дома нас потчевали чебуреками, бараниной, всевозможными кулебяками и пирогами, тоже с усердием чрезмерным. Подавал к столу татарин средних лет с приветливым, усталым лицом. Через неделю я стал замечать, что он как-то бледнеет и хиреет, выглядит с каждым днем все хуже. Я спросил о нем Гульсум Алексеевну, когда она после обеда раскладывала пасьянс в прохладной – без окон – комнате. «О, знаете, он скоро умрет». – «Болен?» – «Нет. Больше на войну идти не хочет. Был ранен. Приехал на поправку. Возвращаться не будет. Пьет табачный настой». – «Вы с ним говорили?» – «Говорила. Не слушает. Я, мол, не знаю, не воевала. Там – ужас; лучше дома умереть».

Неуютно мне сделалось после этого разговора, и пища стала мне казаться еще жирней, чем она была. Кажется, я и уехал раньше срока, покуда тень страстотерпца не перестала носить блюда к столу. Перед отъездом узнал кое-что о муже и брате Гульсум Алексеевны. Муж, генерал в отставке, уличен был в растлении малолетних, сидел в сумасшедшем доме вместо тюрьмы. Брату, помещику, не понравилось, что деревенский паренек таскал яблоки в усадебном саду. Он вышел на балкон и пристрелил его из охотничьей двустволки. Просидел на каторге пять лет, получил амнистию по случаю 300-летия дома Романовых. Для Гульсум Алексеевны его и мужа не было на свете. Имена их не произносились в ее присутствии.

### Средние века

Четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Тяжелые шаги. Шаги командора у Мейерхольда в Александринском театре; каменные, дрожит дощатый пол. Первый год войны, второй, третий, и

уже: «Дай руку. – Вот она... о, тяжело / Пожатые каменной его десницы!»<sup>20</sup>

Только это мне *теперь* издалека – из какого дальнего далека! – трагическими кажутся эти годы. Конечно, такими они и были, вовсе не обо мне думая, – о моей стране. Но разве я *тогда* сколько-нибудь отчетливо это чувствовал? Нет. Лишь изредка, смутно; и совсем об этом не размышлял. Может быть, нарочно не размышлял? Инстинктивно размышлять избегал? Не знаю – боюсь солгать. Знаю, что оптимистом не был, в победу не верил, к войне поворачивался спиной. Так ведь я, однако, и всю жизнь прожил – отъявленным пессимистом, но отнюдь не пессимистически. А тогда только ведь еще начиналась моя жизнь, и в крови, как и в том сером веществе, силою которого работает наша мысль, оптимизма у меня было сколько угодно. Как раз накануне войны я хоть и не в первый раз, но в первый раз совсем по уши влюбился, и два года длились весьма волновавшие меня перипетии этой любви, приведшие к ранней моей (в июне 16-го года) женитьбе<sup>21</sup>. Государственные экзамены я сдал в октябре того же года, но университета и в течение предыдущих двух лет никогда не забывал. Ведь я и в то, чему учился, был влюблен. Не из-под палки лекции слушал и экзамены сдавал. Любознательен был, ради знаний учился; о том, что знания эти когда-нибудь меня прокормят, не помышлял. Со всем у меня и в помине этого не было. Скажут – оттого, что деньги были, оттого, что отец мой был если и не Бог знает какой толстосум, то все же буржуй и при деньгах. Да, да, вероятно, оттого. Но мой совсем неимущий двоюродный брат, ставший учителем гимназии по окончании университета, все-таки об этой «корке хлеба» <не> думал, учась; учился, потому что хотелось ему учиться. А мне и сейчас отвратительными кажутся те споры о народном образовании во Франции, например, судя по которым и студенты, и даже гимназисты, и родители этих гимназистов только и видят в ученье, что путь к доходным местам. Если вы культуру не ищете ради культуры, вы ее не найдете; и через два поколения порастет она травой...

Так что погибла армия Самсонова, сорвалось Брусиловское наступление<sup>22</sup>, патроны приказывали беречь, на штыки полагались за отсутствием снарядов; а я, чем я занимался (кроме любви)? Средневековой историей. И не русской, а западноевропейской, главным образом Италии и Франции. Прямо-таки медиевистом завзятым становился. По книгам выучился старофранцузскому и итальянскому языку – не нынешнему итальянскому, а языку Данте и флорентийских летописцев, Дино Компаньи и Виллани; д'Аннунцио, скажем, читать и не пробовал, половины, вероятно, у него бы и не понял. К средневековой латыни привычку приобрел, она даже мне испортила наскоро усвоенную классическую. Палеографией мерovingских и каролингских хартий у Ольги Антоновны Добиаш-Рождественской<sup>23</sup>

занимался. Кроме лекций Гревса, еще и лекции молодого ученика его, Карсавина<sup>24</sup>, слушал, по истории папства, например, где и слушателей-то у него было всего трое, а потом и двое, с неизменным включением меня в троицу и в двоицу. Участвовал в семинаре его по жизни и мистическим писаниям прирейнских и фламандских святых монахинь; диссертацию его, недавно защищенную, о религиозных движениях в Италии, изучил; на защите второй, докторской, об «Основах Средневековой религиозности» со знанием дела присутствовал<sup>25</sup>. Зачетное сочинение весной шестнадцатого года представил о францисканском летописце XIII века Салимбене из Пармы, вовсе о том не подозревая, что тогда же, в Одессе, Петр Михайлович Бицилли<sup>26</sup> о нем же диссертацию писал. Книгу эту я позже прочел; конечно, мое сочиненьице ее не стоило; позже и с автором ее познакомился, когда он в Париж из Софии ненадолго приезжал. Там, в Болгарии, он написал небольшую книгу об итальянском Возрождении, а потом историей русской литературы занялся. В России к тому времени западным средневековьем почти совсем перестали серьезно заниматься. Октябрь на него руку наложил: «мрачным» объявил, то есть «мрачность» ему вернул, о которой обыватель и без того болтал, и которой «Биржевые ведомости», «Правда», «Петербургский листок» наделять его и тогда не перестали.

И тут я должен исправить маленький анахронизм Солженицына в «Августе четырнадцатого»<sup>27</sup>. Там очень живо рассказано об университетской преподавательнице, которая могла бы быть только что мною упомянутой Ольгой Антоновной; не обязаны потомки о ней знать, что была она и симпатична, и умна, но отталкивающе некрасива. В связи с нею говорится там и о недоверии «учащейся молодежи» к людям, способным интересоваться средневековой историей. Такие мнения среди курсисток и студентов, может быть, еще и существовали, но характерными к тому времени уже не были. Шестидесятничество изживалось быстрее, чем думает или думал Солженицын на основании свидетельств либо неточных, либо хоть и достоверных, но для немножко более далеких лет. Ивана Михайловича Гревса любили в университете; на Бестужевских курсах его обожали; семинары свои приходилось ему там защищать от чрезмерного наплыва его слушательниц, желавших в них участвовать. В университете, как и там, занимал он кафедру уже давно; у него были блестящие ученики, как тот же Карсавин и Оттокар; а сам он и был главным реабилитатором «мрачного» средневековья. В Москве были другие. В моем интересе к той великой эпохе я отнюдь одиноким себя не чувствовал. Как не был, конечно, одинок и во всех прочих моих университетских трудах и увлечениях.

Недостатка людей в России не было. Снарядов не хватало, а не людей. Призывали студентов с разбором, и я не замечал, чтобы

уменьшалось их число. Я говорю о себе, таков замысел этих воспоминаний; но я редко говорю о себе то или такое, чего я не мог бы высказать в первом лице множественного числа. Это «мы» не одинаковой было бы вместимости в разных случаях, но тут, на моем факультете (не говоря уж о студентах вообще), нас было много, и немало было среди этих «нас» еще и тех, кто особо заинтересованы были западными Средними веками. У иных братья были на войне или отцы (почему-либо) на фронте, но и это им не мешало интересоваться Гильдегардой Бингенской, «Салической правдой» или победой сиенцев над флорентийцами в битве при Монтаперти<sup>28</sup>. Больше, чем нашими поражениями? Другой стороной души. Оттого, что была у нас и эта сторона души, и ради нее мы и учились в университете. Многим из того, чем мы тогда интересовались, нам – или большинству из нас – Октябрь интересоваться воспретил. Но кто же тогда ожидал, что произойдет нечто даже издали на Октябрь похожее? Война его сделала возможным, только война; но война – до убийства Распутина, до Февраля – сама же и маскировала эти свои возможности. Без нее – я с семнадцатого года глубоко в том убежден – разве что дворцовый переворот произошел бы у нас; революция не произошла бы. Поэтому за нее, за ту самую, что случилась, за Октябрь и за все последующее, включая Гитлера, – «Проклятье вечное тебе, / Четырнадцатый год».

А пока что студентик, Флоренцию помнивший, жадно вчитывался в Дантову «Новую жизнь». Изредка лишь волновали его вести – не газетные, иные, но оттуда, «с галицийских кровавых полей»<sup>29</sup>. Офицера-кавказца знали одни мои друзья. Он вел свою роту в атаку. Из вражеского окопа поднялся ему навстречу тоненький офицерик, совсем молодой, безусый. Кавказец выстрелил. Тот стал медленно оседать на край окопа. Губы его зашевелились. Он отчетливо произнес первые слова «Отче наш»: «Фатер унзер дер ду бист им химель». Ротный командир закричал, повернул назад, стал стрелять в своих. Он теперь уже полгода сидел в сумасшедшем доме.

### Февраль

Осенью шестнадцатого года я сдал государственные экзамены и был (по тогдашней терминологии) оставлен при университете по кафедре всеобщей истории для подготовки к профессорскому званию. Кафедра всеобщей истории распространялась и на историю последних пяти веков, но меня оставил при ней медиевист Иван Михайлович Гревс, так что средневековой историей предстояло мне в первую очередь заниматься, но не забывать и об ожидавших меня магистерских экзаменах по древней, новой, русской истории и политической экономии. Еще до Рождества посоветовался я о выборе тем

для этих экзаменов с профессорами Ростовцевым, Гриммом, Платоновым и Туган-Барановским<sup>30</sup>, а средневековые штудии мои сосредоточил пока что на Италии эпохи Данте и записался в семинар Ивана Михайловича, в главный, «старший», его семинар, посвященный в этом 1916-м – 17-м академическом году изучению трактата Данте о монархии<sup>31</sup>.

Вести с фронта были хуже, чем когда-либо; волновалась наша «передовая», да и всяческая «общественность»; в декабре был убит Распутин; через два месяца предстояло пасть не гогенштауфенскому владычеству в Италии, а нашей собственной монархии. После чего, еще до начала следующего «академического года»... Ну да ведь и этот, вне здания Двенадцати коллегий и семинара Ивана Михайловича на Высших женских курсах, не особенно был академичен. А я, как ни в чем не бывало, переводил русскими стихами канцону Данте (вторую из «Конвивио»)<sup>32</sup> и готовил доклад, которым собирался на семинаре блеснуть. Не блистать здесь было бы нашему брату даже и неловко. Курсисток участвовало в нем более двадцати, а нас, студентов постарше и оставленных, шесть или семь; столько же было и девиц, по способностям и знаниям нам равных. Подруги поддерживали их, а в нашу сторону бросали воинственные взгляды. В грязь лицом ударить не хотел и я. Читал, обдумывал. Что именно обдумывал, не помню, и доклада моего мне прочесть не довелось. Вскоре после Рождества я заболел и до самых февральских дней пролежал в постели. Болезнь моя была тяжелая: стрептококковое заражение крови с очень сильными скачками температуры и приливами крови к голове. Но воспаления мозга (которого опасались) я все же избежал и как раз к тем февральским дням стал, еще на улицу не выходя, медленно поправляться.

Мы жили на Каменноостровском, переименованном позже в улицу Красных зорь<sup>33</sup>. Позже, позже. Я напрасно забегаю вперед. Мысль моя еще ровно никуда не забегала. «Зарево зорь» было всего лишь заглавие сборника стихов Бальмонта<sup>34</sup> у меня на полке; других, красных, никто вокруг меня не ожидал. Поздним утром, поднявшись с постели, я в халате и мягких туфлях подошел к окну. На тротуарах широкой нашей улицы народу (как и почти всегда) было мало, но по мостовой пронеслось в сторону островов пять, шесть, а потом и больше автомобилей, набитых гогочущими солдатами. На крышах этих машин еще и лежали солдаты; приподнимались, прикладывали винтовку к плечу, делали вид, что целятся в кого-то. Из прохожих одни глядели себе под ноги, другие останавливались и рукоплескали солдатам. На зимних пальто и каракулевых шапках красные ленты виднелись кое-где. Я был с теми, кто под ноги глядел. Ведь мы воюем, думалось мне. Эти солдаты уж наверное воевать не будут. Или не с немцами будут воевать.

Вероятно, это был второй революционный день, второй день мятежа петербургского гарнизона. Газеты я, конечно, просматривал, от близких моих о событиях слышал. Отношение к ним моего отца, матери, жены было выжидательным, без сурового осуждения, но и без энтузиазма. Мое было окрашено темней. Еще темней окрасилось оно, когда я узнал, что Временное правительство сепаратного мира заключать отнюдь не помышляет, хочет вести войну с напряжением всех сил до победного конца. И еще темней, когда опубликованы были первые распоряжения Гучкова, подрывавшие дисциплину в армии. Какое же это напряжение сил, думал я; это их предписанное расслабление. Кончай войну, проведи демобилизацию, тогда новые порядки и вводи. Но я опять слегка забегаю вперед. Поглядев тогда в окно, покачал я глупой своей двадцатидвухлетней головой, потому что февральские события в главном были мне уже известны; но если б и ровно ничего я о них не знал, не обрадовался бы я солдатам на автомобильных крышах. Что поделаться? Отнюдь я этим не горжусь, но никакого рода беспорядки никогда меня не радовали.

Вскоре, однако, пришлось мне себя почувствовать совершеннейшим отщепенцем, чудовищем и уродом. Ликование было всеобщим. И вовсе не кухарки, не дворники, не извозчики, не мастеровые ликовали (поскольку я мог их наблюдать), а действительные статские советники и даже по-французски говорившие с английским акцентом дамы. Ну, конечно, и «учающаяся молодежь» и вся поголовно интеллигенция. Потерял в те дни голову и мой милый, умный двадцатисемилетний двоюродный брат, школьный учитель, и чуть ли не все другие педагоги, как и гимназисты его гимназии; а вообще говоря, и самые разнообразные представители любых сословий и состояний. Лица, молодые и старые, мужские и женские, сияли; слезы умиления, слезы восторга увлажняли самые лучистые (как тогда любили говорить), самые голубые и невинные глаза. Наша великая, наша бескровная! Особенно бескровность эта восхищала всех и каждого. Кто-то, ее превозносивший, тут же мне, впрочем, и рассказал, что видел на вокзале солдат, срывающих с молодого офицера погоны; один схватил его за горло, другой грозил размозжить голову прикладом. – Но кровь не пролилась? – Я спешил к поезду, не видел. А если бы даже, ведь это незначительный отдельный случай. – Вы себя на место офицера не ставили? Не помню, не хочу помнить, что он мне отвечал, как руками разводил.

На следующий день зашел к нам брат моей жены<sup>35</sup>. Он видел трупы городских, сотни их трупов, сложенные, как штабели дров, на невском льду. Городовые разве не люди? Разве их кровь – не кровь? Но *его* в этом убеждать было незачем. Собирался уезжать. Скоро и уехал – в Соединенные Штаты с миссией Бахметева<sup>36</sup>. Возвращаться в Россию не пришлось. Но такие, как он, и такие, как я, были ис-

ключения, белые вороны. Если бы люди могли прочесть мои мысли, лицезреть мои чувства, они бы пальцами на меня показывали на улице. Самое странное, однако, как теперь подумаю, это что мысли и чувства эти, при всей их четкости, настоящей силы были начисто лишены. Никаких практических выводов я из них не делал, никуда не собирался уезжать, ни разу не поговорил я с отцом, не спросил, думает ли он перебраться заблаговременно хотя бы через финскую границу. Да ведь с новым режимом я и вполне готов был примириться, о самодержавии жалеть не приходило мне и в голову. Одно-го я не понимал: как это новые наши правители могут надеяться и войну продолжать, и революцию довести до Учредительного Собрания, не дав ей выплеснуться через край. На какой еще «воинский дух», на какое чудо они рассчитывают? Имеют ли право рассчитывать на чудо? Но все шарахались от меня, когда я что-нибудь в этом роде говорил<sup>37</sup>.

### Весна в Крыму

Никто в феврале не предвидел «Октября». Керенский был всего лишь министром юстиции Временного правительства. Ленин в plombированный вагон, предоставленный ему немцами для доставки на родину, еще не сел, хотя, быть может, свои речи на Финляндском вокзале и на крыльце особняка Кшесинской<sup>38</sup> уже и обдумывал. Ох, если уж всю правду говорить, для меня его и на свете не было, имени его никогда я не слышал. Пока что «Российская империя наша», хоть и без императора, продолжала как будто существовать. Крошился с одного бока огромный этот каравай, но во всей прочей шири его и толще никаких особенных перемен заметно не было. К середине марта я мою долгую болезнь полностью, как мне казалось, превозмог, но врач нашел, что я слаб, что мне нужен отдых на юге, и мы отправились с женой на два месяца в Крым. В Симеизе их провели, в пансионе Александровой-Дольник.

Из всех семи месяцев между февралем и октябрём лучше всего мне запомнились эти два. Вероятно, как раз потому, что в Крыму я и февраль забыл, и на предчувствие октября ничто меня там не навело. Черная гадюка задела однажды мой башмак, пересекая тропинку в скалистом саду; быстрый испуг я испытал, но никакой не ощутил символической угрозы. Беспечен был донельзя. Блаженствовал. «Несознательный элемент», как позже стали говорить. Напролом, позорно несознательный! А только и сейчас не могу я этому искренно устыдиться. Так уж был устроен. «Культурник», как еще позже стали говорить. И эгоист? Но ведь моей собственной судьбой я ведь тоже не был обеспокоен. С приятностью проводил время, как, по-видимому, и все другие многочисленные гости г-жи Александро-



вой-Дольник, в просторном ее доме у моря, над морем; среди магнолий и сирени в чудесном ее саду.

Познакомились мы с некоторыми из них; о двух наиболее любопытных знакомствах я и расскажу, быть может, кое-что в них есть небезразличное для облика тогдашней, кончавшейся тогда России. Впрочем, большинству из тех, кто обедали с нами за длинным пансионным столом, казалось, что Россия только теперь и начинается. Особенно евреям. Исчезла черта оседлости и процентная норма в университетах. Посрамлены черносотенцы. Немыслимы погромы. Евреев в пансионе было немного. Было много еврейских дам, пожилых, молодых, иногда с детьми, но всего чаще без мужей. Одна была очень хороша собой; другая умна и на редкость симпатична; уродинка, каких мало, блистала превосходным французским языком и старинными драгоценностями, которых у нее была целая коллекция. Со всеми ними мы ездили в горы верхом на коренастых крымских лошадаках, никогда с тех пор не виданных мной, – милые, да существуют ли они еще? Нежность к ним питаю безнадежную сквозь ночь улетевших лет. Потрепать бы ей загривок, куском сахара с ладони покормить... А с красавицей и с умницей я и вдвоем верхами выезжал. Жена моя не ревнивая была, да и не влекло меня ей изменять – мы еще и года не были женаты. Но благорасположена была красавица к юности моей, а умница приязнь ко мне питала, быть может, и погорячее. Когда прощались мы перед отъездом, без свидетелей, первая обняла меня и всерьез поцеловала, а второй я мужнины краги вернул, взятые у нее напрокат для езды верхом, темно-красные розы по полдюжины в каждую засунув, и сама она вспыхнула, принимая их от меня, темно-розово порозовела. Но поцелуя не было. Грубовато с моей стороны было бы, а то и жестоко, ее в этот миг поцеловать.

О ней чаще, чем о другой, вспоминал я, когда мы уехали; вижу и сейчас ее милое лицо, тихие серые глаза; а лица красавицы не вижу. Но «любопытны» были не эти знакомства. Любопытны были супруги Комиссаровы из Москвы<sup>39</sup> и, оттуда же, индийский гость Шахид Сураварди<sup>40</sup>, сопровождавший в Симеиз даму своего сердца, знаменитую актрису – русскую, русскую, слишком даже русскую: Грушеньку из «Братьев Карамазовых»<sup>41</sup>. Вот кого я не ожидал здесь, в Симеизе, увидеть!

Г-н Комиссаров едва ли бы нас сам по себе заинтересовал, разве что фамилией, хотя пророческой она не могла нам еще казаться. Но жена его жену мою и меня пленила, покорила, заморозила в первые же полчаса разговора, – за одним столиком мы оказались во время дневного чаепития. Ежедневно в течение месяца после этого мы проводили в разговорах час или два. В разговорах? Говорила, в сущности, она одна; муж изредка подавал реплики; мы слушали жадно и

ненасытно. О чем же она столь захватывающе повествовала? Ни о чем особенном, о чем придется, обо всем. Женщина эта, милостивая, полнотелая, средних лет, одетая всегда по-купечески, по-русски, божественно говорила на этом самом, прискорбно искажаемом нами, чудесном и несчастном русском языке. Никогда никого я не встречал, кто говорил бы на нем лучше, чем она, и сам я так, как она, говорить по-русски не умею. Ремизов говорил хуже: с нарочитым вывертом. Бунин говорил хуже: не так музыкально богато и непринужденно. Мы убедились позже по ее открыткам, что в грамоте была она совсем слаба. Не только правописания не знала, но и весь строй ее письменной речи были примитивен и неуклюж. Зато устная ее речь, в достоинствах которой она не отдавала себе, по-видимому, ни малейшего отчета, был сладостна, как я и не догадывался, что это возможно, сладостна для уха, но также и для чувства, для ума. Расскажет сон, или о том, как пели в монастырской церкви на Страстной неделе, или о деревенском базаре где-то под Москвой, или о новоприезжих, прибытие которых она видела утром из своего окна, – поэзия, наслаждение; и даже воспитание души, оттого что никогда не проглядывало ни в чем ни малейшей сплетни, пошлятинки, ни малейшего злоречья. Слушал я и слушал. Дай Бог, – хочется мне думать, да не смею, что русская эта речь, накануне тяжких над ней издевательств, благословила меня – хоть с краю, немножко, чуть-чуть – на будущее мое писательство.

Шахид Сураварди театральному делу приехал учиться в Москву и за два года, проведенные в Художественном театре, многое в этом деле понял, выучился говорить по-русски и влюбился в Марию Николаевну Германову. Теперь она была тут с маленьким своим сыном, и он был при ней, но весьма возможно, что полной близости между ними еще и не было. Похоже было, что Грушенька, что Марья Николаевна – как обаятельна она была! – держит своего поклонника, что называется, «в черном теле». Пригласит его к себе в комнату чай пить, а на коленях у нее кошка, покрытая шалью. Приподнимет шаль – поклонник в обмороке; кошек он не выносил; исцарапала его в младенчестве кошка до полусмерти. А как этот мученик Грушенькин был мил, как не заслуживал такого обращения! Не гадал я тогда, что встречу с ним в Париже через много лет, но симпатию возымел к нему немедленно. Как забавно обрусел за два года экзотический этот индийский человек! Как полюбил все русское! Тонок был и строен, хоть и некрасив с лица. Для маскарада попросили его надеть национальный костюм. – Вы привезли его с собой? – О да, я с ним не расстаюсь. И явился на бал голый, в чалме из салфетки и перепоясанный мохнатым полотенцем. Стеснения никакого не испытывал и не внушал: не казался раздетым, белизною не смущал, был не белым, а прилично темно-пепельным...

Пять месяцев осталось. Четыре. Потихоньку, понемножку, вот уже и быстрее начал опускаться занавес. А мы все глядели на пляшущих или сами плясали... Как хорошо было в Крыму!

### Керенщина

Тысяча девятьсот семнадцать. Июнь, июль, август, сентябрь. Фронт едва держится. Армия теряет дисциплину и боеспособность. В тылу порядка все меньше, цены растут, инфляция, начинаются продовольственные затруднения. Во всем – «разруха» (простонародный, неторжественный вариант кажущегося более страшным, но всего лишь более ясного слова «разрушенье»). Рушился – не повсюду пока что, но вокруг меня, в России – старый мир. Тот, в котором я вырос, прожил двадцать два года и который отнюдь не казался мне насквозь плохим. Улучшить его было, разумеется, желательно и, как я полагал, возможно; но что лучший можно по совсем новому, по какому-то вымышленному плану построить на его развалинах, в это я не верил никогда. Так что в революционеры не годился; и результаты совершившейся революции не принуждают меня об этом сожалеть. Разрушенье, кроме того, мне и вообще противно: я гожусь в хранители, а не в разрушители. Да и «культурник» я, а не «общественник»; ничего с этим поделать не могу. Лувр больше люблю, чем Палату депутатов; если пришлось бы выбирать, выбрал бы Лувр. Социальная (как и всякая другая) несправедливость вовсе не мила моей душе, но я выберу ее – *для себя* выберу лохмотья и черствый хлеб, – если справедливости будут достигать ценой снижения и распыления культуры.

Таков я сейчас, таким был и тогда. Но насчет того, к чему дело идет, если и догадывался, то более чем смутно. Скольжение к чему-то скверному отлично чувствовал, но никакой озабоченности о моем собственном будущем, о будущем своих близких, по странной какой-то слепоте, не ощущал. Не хорошего ожидал, а плохого, но сколько-нибудь конкретно представить себе это плохое не мог; да и не желал, должно быть, представлять. Жил себе на даче, как всегда. В Петербург изредка ездил. Книги для занятий моих туда привозил. Друзья у нас гостили. На лодке их катал по речке и по озерам. В теннис играл. Отец мой, быть может, озабочен и был больше моего, но со мной никогда об этом не говорил и действовал так, как если бы никакой угрозы над ним и его имуществом не нависло. Совершенно так же был законопослушен при Керенском, при Совете рабочих и солдатских депутатов, как при низложенном Императоре Всероссийском, Царе Польском, Великом Князе Финляндском и прочая, и прочая. Впоследствии я узнал, что посреди лета, когда пришел срок уплаты во много раз повышенного налога на недвижимость (т.е. на

два его дома в Петербурге), он в большом смущении попросил у моей матери дать ему, чтобы их заложить, ее бриллианты (колье и серьги); достаточной суммы наличных денег у него не было. Бриллианты были заложены – и, разумеется, никогда не выкуплены; налог уплачен. Подписаться отец счел нужным еще и на «Заём свободы», Керенским выпущенный военный заём, подписка на который обязательной не была; подписался скромно, бриллианты уже приказали долго жить. Зато его знакомый и сосед наш по даче, владелец большого завода, работавшего «на оборону», облигаций этого займа купил на 700 000 рублей, а драгоценности своей жены, доброго миллиона стоившие и находившиеся в Финляндии, уже *после Октября* свез в Петербург и с ангельской кротостью положил в сейф своего банка, очевидно, для того, чтобы новым хозяевам страны удобней было сунуть их себе в карман.

Не знаю, хорошо ли это известно на белом свете и у нас, но наши буржуи, малые и большие, вплоть до тех, кого изображали на плакатах с цилиндром на затылке и сигарою в зубах, в огромном своем большинстве стричь себя давали и до, и после Октября с покорностью истинно овечьей. Один только директор Государственного банка Коншин, чья изящная подпись на кредитных билетах любого достоинства радовала глаз, еще весной перевел семь миллионов рублей в Японию и отправил туда же двух своих незамужних дочерей, после чего (так я себе это представляю, он был, кажется, маленького роста) сложил ручки на груди и умер. Во всяком случае, не дожил до Октября. Простите. Что вы сказали? Ну да, конечно, не он один. Поступали и другие в том же роде. Но смею вас уверить, очень немногие. Солженицын не присутствовал при этом; в своем «Архипелаге Гулаг» он о позднейших кроликах говорит. Я знал кое-кого из первых, встречал иных и за рубежом –

Вонзил кинжал злодей ужасный  
В грудь Деларю,  
А он с улыбкою прекрасной, –  
«Благодарю».<sup>42</sup>

Что ж, это немножко смешно, а ведь это тем не менее и мило. Сопrotивление захватчикам власти было у нас оказано, и безоружное, гражданское, и достаточно долгое военное. Троцкий, приняв свою новую должность, никого, кроме швейцара, в военном министерстве не застал. Другие министерства и «присутственные места» точно так же были пусты – не в одном Петербурге, не в одной Москве. Только голод погнал в департаменты столь презираемых нашей интеллигенцией чинуш. Да ведь и Дора Каплан не намного промахнулась, стреляя в Ленина<sup>43</sup>. Была и в интеллигентах непримиримость. Был ведь и Кронштадт<sup>44</sup>. Но ни он, ни Дора, ни Деникин, ни Колчак кошельков не защищали. Другая была у них вера. Это делает

им честь. (Хотя, скажите, пожалуйста, защищать кошельки, это столь же паскудно, как очищать кошельки?)

Но возвращаюсь к тому предоктябрьскому лету. Я-то сам, кроличий сын, я-то кем был? Сверхкроликом. Жил на средства отца, а насчет возможного в скором времени исчезновения этих средств не беспокоился ничуть. И тогда, должно быть, а позже и наверняка, думал: что ж, я университетский человек, не исчезнут же в России университеты. Мысль меня не осеяла, что и при сохранении того, что «вузами» станет называться, больше, куда больше погибнет университетских людей, чем останется в живых. Или что малограмотной, но самодержавной идеологией забраны будут в плен все интересующие меня университетские дисциплины. Мне бы в Оксфорд уехать, доучиваться там; прямо из Финляндии махнуть туда в октябре. Ничего подобного, однако, в голову мне не приходило. Керенщина стояла на дворе. Печатались керенки, уже размером своим не внушавшие доверия, и в количестве неумопостижимом. На улицах столицы слышалось «извиняюсь», занесенное к нам беженцами из прифронтовой полосы. Главноуговаривающий<sup>45</sup> ездил на фронт. Война до победного конца! Милюков накануне «Октября» счел уместным заявить, что России необходимы Константинополь и проливы.

Лето было, помнится мне, солнечное. Хорошо живется летом на даче в хорошую погоду. Но под погодой была другая погода – керенщина, от которой всем жилось либо презрительно, либо истерично. «Душка Керенский», – пищала смазливенькая девица в июне (я вспомнил, как такие же вызывали молодого баритона – «Каракаш! Каракаш!»<sup>46</sup>). В августе не пискнула бы, пожалуй; у многих кулаки сжимались, когда слышали о нем. «Срывать аплодисменты» удавалось ему, однако, до конца. И на фронте. После чего фронт перемещался на восток. Эрмитажные сокровища увезли в Москву<sup>47</sup>. Хвосты удлинялись у петербургских лавок. Керенский, Керенский (иные говорили Керенский, как в стихе Канегиссера «Керенский на белом коне»<sup>48</sup>) – с какими только интонациями не произносилось это имя...

Лет десять спустя шел я в Париже, вечером, по авеню де Версай, догонял Керенского, с которым уже был знаком (сотрудничал в его газете «Дни»). Он шел быстрым шагом, вобрав голову в плечи. Я еще не настиг его, когда услышал за спиной русские голоса. «Этот, впереди, видишь? Это Керенский. У-у, гадина. Россию погубил. Набьем ему морду». Я нагнал его, взял под руку. Мордобойцы (должно быть, из Белой армии) утихли. Я не сочувствовал им. Керенщина была мерзка. А он, Александр Федорович, нет, он не был мне мерзок.

## Отъезд в Пермь

От здания к зданию  
 Протянут канат.  
 На канате – плакат:  
 «Вся власть  
 Учредительному Собранию!»<sup>49</sup>

Цитирую Блока, но такие плакаты видел и сам, а вот других – «Вся власть Советам!» – видеть мне тогда не довелось. Не видел я Октября. Без меня Учредительное Собрание разогнали<sup>50</sup>. Сбежал «свидетель истории». Эмигрировал в глубь страны несознательный гражданин. Забрал молодую жену, набил чемоданы (главным образом, книгами) и отправился, еще в сентябре, сперва на поезде в Рыбинск, а оттуда на пароходе вниз по Волге, вверх по Каме в досто­славный город Пермь. С чего же это? Или для чего? Подкормиться? Отчасти, в самом деле, и для этого. В Петербурге была дороговизна, недостаток продуктов, длинные хвосты; а в Перми, когда мы прибыли туда, пара рябчиков стоила пять копеек, жарилось все на топленом масле, в котором все жареное – к ужасу моему – плавало, а пельмени, звавшиеся тут, как и сами пермяки, солеными ушами, изготовлялись по-прежнему из трех сортов мяса, плавали в жирнейшем бульоне и три часа подряд обновлялись в кастрюльке, подававшейся к столу, – «горяченькие, свеженькие, отведайте, водочку не забудьте». Молоко тут зимой продавалось на вес, его рубили топором. Хлеб выпекали расчудесный. Снедь была на базаре в изобилии, казавшемся нам сказочным. И никакой «городской бедноты» нигде не было видно – как и деревенской, на тридцать верст вокруг. Вот тебе «Пальнем-ка пулей в святую Русь»<sup>51</sup>! Но возвращаюсь ко всей власти Учредительного Собрания, тем более что, в конечном счете, мы все-таки не из-за пельменей отправились в Пермь.

Против Учредительного Собрания ничего я, конечно, не имел, и разгона его, о котором узнал уже в Перми, вовсе не одобрил. Но керенщина в конце концов настроила меня скептически в отношении всего дальнейшего, и, глядя на плакат, думал я, хотя никаких неопровержимых доводов в подтверждение этой думы у меня не было, что не поможет и плакат. Очень я в свое время жалел, что выпустил Керенский Ленина из тюрьмы<sup>52</sup>; очень мало и теперь о Ленине знал; приязни к нему не питал ни малейшей; но в одном вынужден был отдать ему должное: он хотел не невозможного (военной победы, как Керенский, Константинополя и проливов, как Миллюков), а возможного. Российское государство возможно было разрушить, оно уже на три четверти было разрушено; и окончательного разрушения скуластый этот, но картавый человек добивался самым правильным, единственно правильным и обещавшим ему полный успех способом.

Солдаты не хотели воевать, и он, в отличие от всех прочих, говорил им: не воюйте. Мужики зарились на помещичьи земли, он им и рекомендовал (или молча обещал) черный передел. «Грабь награбленное» также был лозунг гораздо более понятный и с приятностью осуществимый, а не выжидательный и сложный, как все связанное с Учредительным Собранием и выборами в него по самому совершенному в мире избирательному закону. Кокошкин был человеколюбец не от мира сего, потому и проткнули его штыком в больнице, как и Шингарева<sup>53</sup>. А Ленин был практический деятель, на высоте морали своего века, той самой ее высоте, которая уже обнаружена была войной. В отношении войны практицизм его всего ярче и сказался. Из войны никто ничего сделать не сумел, а он из нее сделал революцию, которая без войны никогда бы ему не удалась. Позже он прямо-таки меня восхитил Брестским своим миром – похабным, как выражались далеко не одни только буржуи, – миром, от которого сам Троцкий, покуда не заключил его, на стену лез и над которым рыдали многие честные коммунисты. Но уже и теперь, к концу лета семнадцатого года, стало мне ясно, что всех эсеров, всех Черновых<sup>54</sup> ненужными сделает черный передел и что «грабь награбленное» упразднит всю власть Учредительного Собрания. После чего скажут о России, как о блоковской Катьке: «С юнкерем гулять ходила – С солдатъем теперь пошла».

Впрочем, и не ходила она вовсе с юнкерем. Февраль ведь уже солдатъем был сделан, боявшимся отправки на фронт, ну да и вообще семячки <sic!> с Катьками луштившим. И, конечно, этими словами я тогда не мыслил – ведь и «Двенадцать» не были еще написаны. Но когда я узнал, что мой старший друг, Николай Петрович Оттокар, кафедру получил в основанном всего год назад Пермском университете<sup>55</sup> и поедет осенью туда, американскую свою жену предварительно отправив к родителям в Нью-Йорк, я долго не думал и решил откомандироваться туда же: там будет и спокойствие, и дешевая еда. И книги там будут: Николай Петрович для писанья диссертации много и мне нужных из университетской нашей библиотеки заберет, да и там уже имеется кое-что. Будут там и люди неплохие. Весь профессорский состав – молодые ученые, почти все из Петербурга или из Москвы. А здесь, выражаясь газетным языком, «назревают события», едва ли особенно лучезарные; да и голодать, чего доброго, придется, да и немцы могут прийти. Если же мы в Финляндию к родителям моим ускользнем, то там готовиться к магистерским экзаменам и средневековой историей заниматься будет затруднительно. Вот я, очень близоруко, без сомнения, но благоразумно все-таки, решил на восток отправиться, присоседиться к Уралу. Пыл путешествия тоже во мне горел. В тех краях не был – Каму видел, но так высоко по ней не поднимался. Подумать только, ведь

если бы я был поумней, в Оксфорд мог бы поехать вместо Перми. Или в Париж, уже тогда. Но суждено мне было еще на семь лет остаться в России. Не жалею об этом. Пожалуй, если бы тогда уехал, обангличился бы я или офранцузился вконец. Это было бы, разумеется, практично. Только я ведь не «практический деятель», как неудачливый Керенский или удачливый Ленин, разум которого вне практики был убог, а душа – но души и вообще-то в нем, пожалуй, не было. Я же не только не практический, но и вообще не деятель: созерцатель, пониматель. Непрактичным родился, непрактичным и умру.

И вот мы едем по Волге, по Каме. Каюта у нас премилая. Жена какие-то занавесочки в ней развесила, чтобы сделать ее еще уютней. Свадебное путешествие наше в предыдущем году не удалось. Поехали в какой-то финский пансион близ холмов Пунка Харью на две недели, а через день уехали оттуда в Гельсингфорс, где тоже пробыли недолго, вернулись к себе на дачу. Утром во дворе пансионной усадьбы, когда я вышел после кофе один, дворничиха кликнула своего ребенка, и выбежало из сарая что-то двух- или трехлетнее, двуногое, но поросячье, и с хрюканьем бросилось к матери. Я тоже побежал – к нам в комнату наверх; стал укладываться, уговорил жену уезжать; не хотел, чтоб увидела она это чудище. Брр, лучше о нем не вспоминать... не мог... А теперь мы плыли вдоль знакомых мне волжских, вдоль прекрасных лесистых каменистых берегов благообразно и любовно. Стерлядок колечками нам подавали и уху, которую я – вероятно, из-за демьяновой, крыловской, – никогда особенно не обожал. Старый мир был на месте, казался таким же, как всегда. Грибы на пристанях продавали в самодельных плетеных корзиночках. Вестей до нас почти не доходило. Где-то мы покупали газеты – старые или со старыми новостями. Россия была вокруг нас – на север, на юг, на восток, на запад – тысячи верст. Вот уже и Пермь на высоком левом берегу – от нас направо. Я тут останусь надолго, в моем новоиспеченном и таком средиземном и неотесанном таком Оксфорде.

### Пермская профессура

Осенью семнадцатого года – ранней, еще месяц оставался до разгона Учредительного Собрания – прибыл я с женой в губернский город Пермь и поселился на Заимке<sup>56</sup>, казенную квартиру разделив со старшим своим другом, профессором по кафедре всеобщей истории Николаем Петровичем Оттокарром. Заимок внутри городов не бывает; вот и за этой начинались сразу поля, а от последних городских домов отделял ее незастроенный еще пустырь. Мешковской звалась, по имени толстосума-купца, коему надлежало памятник по-



ставить (надлежало – не было на самом деле и мраморной доски), потому что Заимку он подарил университету, да сам и построил на ней университет. Не знаю, что с ним стало – не с университетом, а с Мешковым<sup>57</sup>. Я его в глаза не видал. Может быть, умер вовремя.

Университет всего за год до нашего с Оттокаром приезда был основан<sup>58</sup>. Здания его скуку наводили новизной, а профессура – тоже новизной – своего профессорского звания. Старообразность, ради звания этого, напяливали на себя, а старообразность скучнее старости. Не обо всех говорю, но вот, например, будущий заслуженный знаток истории русского языка и лексикограф Обнорский<sup>59</sup>, юношески тощий, был-таки похож на собственную мумию и казался старше наимастителейшего из своих коллег по факультету, византиниста А.П. Дьяконова<sup>60</sup>, столь усидчиво изучавшего сирийские тексты, что жена его жаловалась: только справа налево и читает, поговорить с ним больше не о чем. Или филолог-классик Казанский<sup>61</sup>, еще не перешедший впоследствии (не в Перми, а в Ленинграде) на теорию литературы, розовый, пушком поросший, но важный и по-сановному шепелявый: «Фто кафается этого мифа, дионифефкая природа его нефомненна». Конечно, смешным мне многое казалось по собственной моей смешливости и молодости лет; среди этих молодых профессоров таких двадцатидвухлетних молокососов, как я, все-таки не было. Я ведь и не профессором был, а откомандированным из Петербурга в Пермь кандидатом (по нынешней терминологии), получившим здесь скромное звание лектора иностранных языков, – хотя вскоре и было мне поручено чтение более интересных курсов. Полагалось бы мне быть благодарным всем этим ученым за то, что они приняли меня как будущего коллегу в свой круг<sup>62</sup>. Я, впрочем, паничкой себя и вел; разве что дома, в беседах с Оттокаром, насмешливости своей давал волю. Он и сам был насмешлив, и сам профессорство не считал гарантией таланта и ума. Но теперь, издали и по справедливости рассудив, должен я в целом признать пермских наших профессоров отнюдь не плохими профессорами.

Почти все они были из Петербурга или из Москвы. Заимка наша не только новизной своих зданий, но и столичностью своих обитателей противопоставлялась провинциальной, старомодной, захолустной даже (по мнению наших университетских дам) Перми. Город был начат постройкой при Екатерине по регулярному плану: равноширокие его улицы пересекались под прямым углом. Дома, большей частью двухэтажные, с крылечками и воротами во двор, были друг на друга весьма похожи, симпатичны в отдельности семейственной простотой, но в общей сложности скучноваты; да и зелени в городе, если не считать сада на высоком речном берегу, было немного. Безлично «ампирны» были церкви, не столько златоглавые, сколько снабженные синими небольшими куполами. Гу-

бернские правительственные здания обходились всего чаще без колонн и величественностью не поражали. Зато поразило меня с первых же дней невероятное изобилие среднего размера дворняг – по три, решил я, на каждый дом (ни одной породистой собаки я в Перми не видел). И еще женское население города одной особенностью меня изумило: неуклюжими ногами, похожими на балконные баясины. Когда я через год съездил ненадолго в Петербург, мне там любая женщина (если снизу был начат обзор) казалась изящной и – хотел я прибавить – породистым любой пес; но к осени 18-го года там и вообще число всяких вообще псов заметно пошло на убыль.

Хронология, хронология! Возвращаюсь в 17-й год. Профессорская наша братия пока что Кузнецкий мост или Невский проспект вспоминает на дощатых (кое-где, впрочем, и каменных) тротуарах безмятежного, во всем своем быту нетронутого <1 нрзб.> города. Идешь, бывало, по длинной прямой улице (версты две) из Заимки к центру, издали уже наших университетских узнавая, даже если до того их никогда и не встречал. Книжного магазина сколько-нибудь крупного и то в городе не было. Экими мы тут «культуртрегерами» оказались! И что ж? Усмехнуться не воспрещается, но ведь основание здесь университета было и впрямь большим культурным делом. Верхний (по уровню образования) слой пермского общества не мог не потянуться навстречу университетским людям, что мы и стали вскоре чувствовать. А студенты и студентки ведь пермяками и пермячками были в большинстве. Столичные, однако, наставники их (и я в том числе, когда стал заниматься с ними) вполне были ими довольны. И все мы, со своей стороны, не испорченной пищей их питали, не примешивали никакой заранее припасенной и не нами состряпанной идеологии к тем наукам, в которые мы их вводили.

В отличие от русской интеллигенции недавних еще времен, все наши профессора, которых я знал (а познакомился я постепенно почти со всеми, даже и не на одном нашем, а и на других двух факультетах<sup>63</sup>), придерживались умеренно-либеральных взглядов и от политики держались вдалеке. Октябрю, когда о нем узнали, не порадовался среди них никто; обеспокоены были им; на будущее смотрели мрачно или надежды возлагали не на те силы, которые отныне делали, защищали и «углубляли» революцию. Но какой-нибудь контрреволюционной активности не проявляли. Считали, что университет при любом режиме – ах, какими оптимистами были! – останется университетом. Физики, мол, никакой большевик не переделает; а римское право тоже ведь исправлению задним числом не подлежит. Насчет фальсификации истории не только никто себе не представлял, что ее для определенных событий, лиц и эпох можно сделать обязательной, но и понятия такого в мыслях ни у кого не было. И насчет марксистского ее истолкования никто у нас, кажется, не

беспокоился, по той простой причине, что и понятия о нем не имел. Кроме как раз самого близкого мне из всех «нас», Николая Петровича Оттокара. В книжном его шкафу даже и «Капитала» первый том стоял, на немецком языке. Заглядывал в него и я, дивясь тяжеловесности слога и сложности материи. Но дело все было в том, что для ранней истории Флоренции авторитетом пользовалась тогда книга Сальвемини<sup>64</sup>, марксистски истолковывающая ее классовой борьбой. Оттокар считал, что объяснение это чересчур абстрактно и суммарно, что втискивать в эту схему ту реальную борьбу, что происходила во Флоренции XIII века, нельзя. Он ее во флорентийских архивах изучал, знал, что семейные распри определяли ее, разрезая сверху донизу все классовые этажи. Собирался спорить с Сальвемини; тут и Маркс мог ему пригодиться...

Одним словом, находились мы в состоянии райской невинности. Не вкусили еще от плодов древа познания добра и зла. Даже когда вести до нас дошли об «Октябре», никакого грехопадения поначалу не случилось<sup>65</sup>. Уже молоко на базаре рубили топором, когда мы стали очень постепенно – и почти безболезненно на первых порах – узнавать, что она такое, эта, на плакате начертанная, «власть Советов».

### Три пермских профессора

Расскажу сегодня о трех пермских профессорах. Двух первых выбрал, потому что знал их лучше, чем всех других, а третьего потому, что редкостный был он человек, уважение внушал и сочувствие. Было, чему и сочувствовать.

Итак, место действия – город Пермь или, точнее, Заимка на его окраине, где мы, университетские люди, живем. Время действия – 1917/18-й год и начало следующего академического года. Так-то так, и надо это знать, но любопытно и то, что все трое, о ком будет речь, не историками России были и не историками русской литературы, а Западом занимались, на Западе бывали, и мысли их на Западе витали, да еще и на очень отдаленном от двадцатого века Западе. Это в порядке вещей. Ведь уже и Древнего Рима, культуры его, нельзя себе представить без живейшего интереса к давно отошедшей в даль веков Греции. И о каком же Возрождении в Италии могла бы пойти речь, если б итальянские гуманисты только друг другом интересовались, а не Цицероном и Платоном? Да и ненасытный интерес девятнадцатого века ко всему прошедшему был тогда еще полностью живым. Даже и тут, спросят меня, вы им жили? В Перми, в семнадцатом году? А как же, отвечу. Отрадой это нам было.

Случалось, конечно, – поговорим с Николаем Петровичем о Флоренции (я ведь там и познакомился с ним в 12-м году) и осоловеем немного от этого разговора, а потом опомнимся: она ведь за триде-

вять земель. Попадем ли мы еще туда? Верим, верим, или, по русской формуле, с резиньяцией, «будем верить», что попадем. Будем верить. Не останемся же на всю жизнь без нее! Ему особенно нужно туда попасть. Он сундук там оставил со всеми архивными выписками, которые для диссертации нужны. Теперь он за другую взялся, о северо-французских городах<sup>66</sup>. Но ту вынашивал годами; много нового открыл; неужели не вернется к ней?

Вернется, вернется! Николай Петрович Оттокар из тех трех ученых, о которых я вспомнить захотел, первый и есть. Он вернется во Флоренцию, он напишет книгу свою по-итальянски, получит за нее звание почетного гражданина города Флоренции и кафедру во Флорентийском университете. В 22-м году он туда уедет, а в 32-м я гостить приеду туда к нему. Но ведь в 17-м, в 18-м мы этого знать не могли. Предстояло ему до этого еще и стать ректором Пермского университета<sup>67</sup>. Рассудительный был он человек; очень подходил ему и этот пост. Выскажут другие на совете свои мнения, а он в конце скажет несколько слов, и все будет, как он решил. Ум у него пронцательный, трезвый, остро-критический. Книга о французских городах состоит из пяти глав, необыкновенно изящно, просто и неотразимо ликвидирующих построения историков, до него писавших о пяти этих городах. Книга о средневековой Флоренции – точно так же критическая в своей основе, и созидательная сквозь критику, остается классическим трудом на эту тему. И нет вместе с тем в этой книге ничего лишнего, никакого балласта; из алюминия он ее смастерил, чугуном пренебрег. Многому научился я от него, следя за тем, как он работает. Флоренцию, кроме того, знал он, как никто; помнил историю каждого ее старого дома. Говорить с ним о ней было наслаждение. Но говорили мы и о многом другом. Он любил музыку, был тонким ценителем раннего итальянского искусства, постоянно читал французских историков и романистов. Только стихов не любил. Любил их звук, мерный ход гекзаметра в особенности. Слушал охотно, но в смысл не только не хотел вникать – отказывался его и вообще воспринимать. Однако нескладность плохих стихов чувствовал отлично. Всегда морщился, когда я посвященные ему Сергеем Городецким вспоминал: «Лунгарно делле Грацие / Твой адрес мне поет / С пленительной вибрацией / О том, что сердце ждет / Опять с тобой, ученейшим, / Бродить среди старины / По дебрям потаеннейшим / Флоренции-весны». Коробила и меня дешевенькая эта «Флоренция-весна» и комическая «вибрация», но вспоминать ту набережную, где он жил, когда я познакомился с ним, было все-таки отраднo. Умницу, каких мало, и большого ученого потеряла Россия в его лице.

Италия и Франция, благодаря ему, были со мной в Перми, а когда я познакомился там с Борисом Аполлоновичем Кржевским<sup>68</sup> и Ма-

риной Арсеньевой, его женой, поселили они воображение мое еще и в неизвестную мне тогда Испанию. Прожили они в Мадриде два года, остались бы и дольше, если бы не война. Кржевский был откомандирован туда из Петербурга, как Оттокар во Флоренцию; готовил диссертацию о драматурге «золотого века» Тирсо де Молина<sup>69</sup>. Так много и так хорошо жена его и он рассказывали мне об Испании, так я живо стал себе ее представлять, что и сейчас удивляюсь: неужто впрямь узнал я ее через тридцать лет после того. Разве не в Перми видел я мой первый бой быков? Разве это не я шел по узкой улице в Севилье, вышел на площадь в страшный солнцепек и увидел двух нищих или бродяг, спавших под навесом у церковной паперти. Один проснулся, пощекотал соломинкой ноздрю другого, – тот вскочил, нож в его руке блеснул, и вот уже наручники ему надевает невесть откуда взявшийся альгвасил, а приятеля его несут в мертвецкую. Только и успел я к церковке подойти: зайду, отдохну в ее прохладе от полуденного жара. Ишь ты! Глянь в окно: сугробы разгребают, возмись и ты за лопату; а Севилью оставь своим друзьям; вон, смотри, и они уже работают. – Кржевские, впрочем, и в Париже побывали. О французских поэтах я с ними рассуждал, а когда мне поручено было факультетом курс о них читать<sup>70</sup>, Марина Арсеньевна меня слушала. Из мужа ее долго я пытался, но безуспешно чрезмерное пристрастие к романам Гюисманса вышибить. Но о них обоих будет у меня еще случай поговорить. Потревожу теперь милую тень – проскользнувшую всего лишь предо мной – Владимира Эдуардовича Крусмана<sup>71</sup>.

Он появился в Перми на год позже меня, перевелся из Новороссийского (Одесского) университета, где свою кафедру (всеобщей истории) уступил ученику своему П.М.Бицилли, которому южный климат порекомендован был и его врачом. Владимир Эдуардович приехал в Пермь один и налегке. Многочадное семейство прибыло позже, а книги не прибыли, пропали где-то под Харьковом, все до одной, двенадцать тысяч томов. Библиотеку эту он собрал за пятнадцать, двадцать лет на свое профессорское жалованье, других средств не имея. О гибели ее (на сигарки, думал он, пошла) глубоко скорбел, но виду не подавал, на судьбу не жаловался, не говорил вообще на эту тему<sup>72</sup>. В ожидании семьи снимал у кого-то комнату в городе. Однажды не явился на лекцию. В чем дело? Хозяин его квартиры был сумасшедший – тихий, но с припадками буйства. Во время этих припадков Владимир Эдуардович, человек рослый и крепкий, сажал его к себе на колени, руки его обняв руками, спасал от него его жену и детей. В этот день припадок продолжался пять часов. Какая уж тут лекция! А вообще говоря, был он, при обширнейшей эрудиции, специалист по английскому гуманизму XIV–XV веков. Об этом и диссертацию написал, которую готовил в свое время

(он был старше Оттокара, не говоря уже о Кржевском) в Англии. Так что здесь, в далеком краю, у предела европейской России, Европа совсем недурно была представлена учеными русскими людьми. Но будущее, которое надвигалось на этот край и на Россию вообще, отнюдь не выглядело европейским.

### Товарищ Советкин-Наседкин

Восемнадцатый год приближался, да уже и наступил, а в Перми все еще никаких остро ощутимых перемен не происходило. Конечно, Совет рабочих и солдатских депутатов, под столичным руководством, ею управлял, но, по-видимому, нужным не считал очень круто ее приструнивать. На университет и тем менее было у него охоты покушаться. У него, у Совета? Выразусь конкретней: не было такой охоты у товарища Советкина-Наседкина. Это не мифическое лицо, и не придумал я ему символической фамилии. Был ли он председателем Совета, не помню, но университет, во всяком случае, дело имел с ним, у него был партийный стаж, и пост он занимал высокий; фамилия же его – меня уверяли – ни в первой, ни во второй своей части прозвищем не была, а была настоящей фамилией, унаследованной, в паспорте отмеченной. Я даже видел его раза два, так что сомневаться в его реальности мне трудно. На симпатичного пожилого дворника был похож, с моржовыми усами и неуверенною речью, но науку уважал и выдачей работникам ее харча и топлива был нелицемерно озабочен. Мы и в самом деле в ту первую зиму не холодали и не голодали, хотя кредитки обесценивались, цены росли, да и начали понемножку исчезать иные первой необходимости продукты.

Тут уж и товарищ Советкин-Наседкин делу помочь не мог. Первым, если правильно я помню, сахар с нами распрощался, именно мне, сладкоежке завзятому, назло. И оказалось тут, что поедал я сладкое не зря. Лакомство лакомством, но без сахара голова моя отказывалась работать. Без жиров обхожусь превосходно, а без сахара глупею не по дням, а по часам. Сахарин сразу же отверг, от него умней не становился; а за мешочками сахарного песку на базаре и возле казарм охотился. Съем, бывало, две ложечки с отвращением – желтый, грязный, махорчатый, в солдатском кармане залежалый, – и точно масла капнули в машину, мозг начинает работать, мысли приходят при чтении и без чтения; унижение свое понимаешь, а чувствуешь себя все-таки счастливым.

За унижение картошка меня противоположным чувством наградила, когда месяца через три после сахара и она стала исчезать, – как раз к тому времени, когда жена выучилась из нее (не вареной, а сырой!) котлетки стряпать, «не хуже мясных» – как мы стали выражаться с тех пор, как на сто лет отодвинулись от нас рябчики, пять

копеек пара, осени 17-го года. И вот оказал нам милость – кто бы это? Думаю, все тот же товарищ Советкин-Наседкин. Многопудовые мешки картошки выдали нам на центральном складе, оставалось только взвалить их себе на спину и нести домой. Путь был верста или полторы, и по пути мне было с чернорабочим средних лет, богатырем сравнительно со мной. Взвалили мы, с чужой помощью, на плечи каждый свой мешок и зашагали, под его тяжестью согнувшись, рядом. Сперва он выше держал голову, чем я, и шагал быстрее; но на полпути начал кряхтеть, походка его сделалась неровной, и, когда оставалось пройти не больше трехсот шагов, бросил мешок в канаву и сам на него свалился, крикнув мне: «Барин, неси, уронишь небось, не гляди». Я и не глядел, не замедлил шага, выговорить ничего не мог. Все до высшей точки были напряжены не мускульные мои, но и нервные, и даже умственные силы. Я сосредоточился. Это дух сосредоточивается, а не плоть. И я мешок донес. Слезы у меня брызнули из глаз, когда я сбросил его со спины, но в обморок я не упал, хоть и чувствовал, что это вполне могло случиться.

«Часами гвозди забивают», – говаривал приват-доцент по кафедре механики Фридман<sup>73</sup>, имея в виду ненавистных ему «большевиков» (тогда ведь только и говорили о «большевиках», о коммунистах речи не было). Как это ни странно, часы порой лучше молотка даже и гвозди забивают. Один забьют, другой, а потом берись уж лучше за молоток. Но сам приват-доцент – юркий такой, как две изюмины глаза, – собою забивать гвоздей не позволял. Находчив был и ловок. Зеркальца кругленькие да пудреницы в своей лаборатории университетской изготовлял, по деревням продавать их развозил, да и фотографировал там женихов деревенских и невест; за зеркальца и снимки денег не брал, плату получал натурой. Говорил мне: «Ваш-то спутник полежал в канаве, да и подобрал его с мешком проезжий ломовик, всего треть его картошки себе отсыпал. А вы надорваться могли, а то и похуже... Во второй раз не понесете? То-то же. Обратитесь ко мне. Да нет ли у вас чьей-нибудь брошенной квартиры на примете? С мебелью, конечно. Я всю прошлую зиму чужой мебелью комнату отапливал».

Итак, благоденствие наше хирело даже при опекавшем просвещение блаженной памяти товарище Советкине-Наседкине. Да и с контрреволюцией началась борьба еще при нем. Буквы «че» и «ка» стали и у пермяков в ушах звенеть. К нам на квартиру, Николая Петровича и мою, явились двое косолапых новичков с ордером на обыск. Отобрали рукописи и блокноты Оттокара, моих не тронув, а затем был и он арестован, но в тюрьме просидел всего два дня. Рукопись, однако, диссертации своей и записки получил, после усердных хлопот, лишь через два месяца. На его беду, часто в ней встре-

чалось слово «коммуна», хоть и совсем не встречалось слова «коммунизм». В средневековой Франции самоуправляющиеся города звались коммунами. Вероятно, и приведший к обыску донос состоял в том, что вот, мол, читает этот буржуй-профессор лекции о «коммунах». Недоразумение было того же рода, как рассказанное мне через несколько лет Замятиным. Крестьянам богатого села предложено было обзавестись памятником Карлу Марксу. Отчего же? Пусть. Только откуда его взять? Тут паренек один предложил свои услуги. В саду соседней помещичьей усадьбы, у цветника, тут как тут статуя эта, с надписью. В воскресенье после обедни собралась перед церковью толпа, Интернационал пропели, была произнесена речь. Когда сдернули простынь, народ ахнул. Мраморный голый красавец предстал перед ними, со щитом, в шлеме и с мечом. Надпись была короче, чем нужно, на одну букву<sup>74</sup>.

Никаких других обысков в университетских квартирах не было произведено. Никого не арестовали. Да и в городе не слышно было ни о каких свирепствах. Весной и летом восемнадцатого года не было еще и голода, так только – легкий голодок. Лето мы с женой провели в деревне Мысы, у старика со старухой, сдававших горожанам «чистую» свою горницу. Там и действительно было чисто – ни тараканов, ни клопов – как и в самой избе (горница была к ней пристроена), и кормили нас отлично, сахаром – и тем потчевали. Волнистые просторы расстилались кругом. Мы далеко уходили в поле, долго шли по пустынным проселочным дорогам. Или я сидел верхом на бревенчатом заборе и читал Бальзака – в университетской библиотеке оказалось его лучшее посмертное издание. Но сильнейшее из всех впечатлений я в тот год раньше получил от внезапного прорыва весны, совпавшего с предпасхальной неделей. Весна и в Петербурге или Финляндии – весна; но столь быстрого ее разгона и безудержного буйства там не знают. Таким опьяняющим воздухом никогда я не дышал. Такого бурного таянья снегов нигде не видел. И как чудесно оно сочеталось с предпраздничной радостной суматохой, с церковными службами Страстной недели в переполненных церквях, с уборкой, чисткой, мытьем полов и окон в каждом доме, крашением яиц, печеньем куличей, с устремлением душ к Светлому Празднику – поистине светлому, более светлому у нас, чем где-либо в христианском мире. Едва ли говел товарищ Советкин-Наседкин, но городу он ни говеть, ни разговляться не мешал.

### Черный хлеб и белый хлеб

С наступлением зимы 18-го – 19-го года продовольственное положение в Перми резко ухудшилось. Осенью мы съездили с женой в Петербург, она и осталась там на время, у своей матери, а я к началу



университетских занятий вернулся в Пермь и жил по-прежнему в квартире старшего моего друга профессора Оттокара, но не с ним – в ноябре он тоже уехал на короткое время, как предполагалось, в Петербург, – а с молодым нашим физиком Георгием Георгиевичем Вейхардтом<sup>75</sup>. Унаследовали мы от Николая Петровича его Глашу, черноволосую средних лет стряпуху, злоупотреблявшую год назад топленым маслом, а теперь выбивавшуюся из сил в стараньях нас и себя чем-нибудь прокормить. Была капуста, была картошка, но больше ничего и не было – ни сала, ни масла, ни мяса... Вейхардт где-то доставал, для меня главным образом, кусочки сахара. К Рождеству исчез и хлеб. Подвоз, мол, расстроен: гражданская война. Сухари все вышли. Мукой мы не запаслись. В первых числах января решил я отправиться за хлебом в деревню.

Одну я только и знал: Мысы, в двадцати семи верстах от города, где мы жили летом с женой у старика крестьянина и его старухи. Я, конечно, понимал, что за деньги никакого он мне хлеба не продаст, да и денег у нас с Вейхардтом было не много. Собрал я по несколько штук постельного и столового белья, три хороших рубашки, еще какую-то мелочь, уложил все это в заплечный мешок, потеплее оделся и рано утром отправился в путь с тем, чтобы засветло успеть в Мысы и переночевать у старика, который завтра вместе с хлебом отвезет меня домой на своих розвальнях. Отвезет ли, согласится ли продать, этого я наверняка, разумеется, не знал, и узнать это было невозможно. Особого доверия к нему я тоже не ощущал; хоть и жил у него летом без каких-либо раздоров, мирно, а ближе не сошелся с ним. Был он на редкость молчалив, а когда говорил, то сбивчиво, невнятно, неоконченными какими-то фразами; я порой его речи вовсе и не понимал. А жена его и совсем какая-то бессловесная была; поглядывала на мою жену довольно и ласково, но почти никогда рта не раскрывая. Были у них сыновья, а может быть, и внуки на войне, но ничего толкового мы об этом не узнали. Собственно говоря, зачем ему было давать мне хлеб, когда он и без того мог присвоить то, что я ему нес, да и то, во что я был одет, от меня избавившись, с чьей-нибудь, скажем, помощью. Мысль эта вовсе у меня не отсутствовала, да и Георгий Георгиевич меня предостерегал, посопел даже немного от волнения (это было ему свойственно), когда снаряжал меня в дорогу. Но ему, пожалуй, было под тридцать, а мне всего двадцать три. Я выпил горячего кофе (был он у нас еще в крошечном запасе) без молока, но с кусочком сахара, съел две печеных картошки и бодро отправился в путь.

Солнце сияло. Был мороз градусов двадцать с лишним, но без ветра, добрый. Наушники моей пыжиковой шапки я спустил, но не завязал. На мне была теплая зимняя куртка на собольих шейках (некогда ими была подбита котиковая шубка моей матери). Под курт-

кой – белая толстая лыжная вязанка. Валенки – выше колен, кожей обшитые; рукавицы изрядные; а шерстяной мой широкий, белый с зеленым, шарф, если вокруг шеи его обернуть, мог и нос мой упрятать от мороза. В таком-то как раз наряде и опасно было отправляться в одинокий путь, но неоткуда было мне взять другого, менее старорежимного. Зашагал я быстро. Снег похрустывал под ногами. Когда вышел на дорогу, то увидел, что и она была покрыта нежным, недавно выпавшим снежком. Эх, если б лыжи у меня были! Но и без них зимним солнцем и ходьбой согреться, идти, еще и еще, любясь оснеженными деревьями и сверкающей белизной полей, хорошо это было, очень хорошо. Двадцать семь верст отмахнул я, лишь около полудня присев на полчаса в деревенской пекарне, где молодуха-хозяйка, почти что из оперы красавица, сверкнув глазами и зубами, предложила мне чаю и накормила меня шаньгами – картофель и тесто, – но на масле поджаренными, горячими, прямо с огня. К тому времени, как снег порозовел, дошел я, никаких лиходеев не повстречав, до летней моей деревни. Зимняя походила на нее очень издали, но я избу моего старика долго все-таки не искал. Постучался; он мне открыл – все такой же сгорбленный, тщедушный; поглядел мне в лицо, узнал и, не улыбнувшись, дал мне войти. Ни удивления особенного не проявил, ни радушия. Я объяснился насчет хлеба и моего мешка. Он в мешок не заглянул. «Завтра, – сказал, – поговорим», – посадил меня за стол, тремя засовами запер дверь и кликнул старуху. Та слезла с печи, повозилась у нее внизу, дала мне шей с гречневой кашей и большой горбухой хлеба, после чего опять забралась на печь, куда вскоре, постелив мне постель на сундуке, отправился и ее муж.

Было совсем еще не поздно, и не хотелось мне спать, но я задул свечу и лег. Ложась, я заметил в полутьме на скамье под окном поблескивание внушительных размеров топора. Не понравилось мне это. Не понравилось и то, что происходило на печи. Сперва там было тихо; я думал, что мои хозяева заснули. Но потом стали до меня оттуда доходить шорохи, чмоки и охи, насчет характера которых, вопреки возрасту этих людей, ошибиться было невозможно. После чего начался со смешками шепоток, лишь в отрывках долетавший до меня, но в котором слышалось мне повторявшееся слово «барин». Тут я, однако, заснул и спал без просыпа до утра. Хозяин меня разбудил, без помощи спавшей еще жены накормил меня теми же разогретыми щами; а затем посмотрел привезенное мною добро, уложил скатерти и простыни в сундук, на котором я спал, а мне выдал восемнадцать караваев свежеиспеченного черного хлеба. Торговаться я с ним не стал; справедлив ли обмен, на бесхлебьи и судить мудро; но доставил он меня в город на своих розвальнях как нельзя более исправно. А когда прощались, морщинистое его лицо впервые

расплылось в улыбку, помолодело (да, быть может, и не был он вообще так уж стар), он меня хлопнул по плечу, сказал: «Ешь, барин, на здоровье», – и укатил восвояси, пристегнув вожжами своего коня.

Хлеб был чудесный и черствел медленно. Мы его разделили по шести караваев на человека и следили друг за другом, чтобы никто его быстрее других не поедал: если б кто без хлеба раньше других остался, пришлось бы с ним поделиться. Глаша готовила нам попеременно капусту с картошкой и картошку с капустой, а хлеб мы ели молчаливо и благоговейно, чаще даже, чем два или три раза в день, но с мудрым воздержанием. Хватило нам его ровнешенько до прихода Колчака, то есть сибирских его войск, отшвырнувших за Каму Красную армию<sup>76</sup>. Вчера вошли они в Пермь, а сегодня на базаре всего стало вдоволь, как в дооктябрьские времена. Все припрятанное – вот оно, извольте. Да и подвоз из Сибири начался; богатейший ситный появился во всех булочных. Опять я стал ходить на кухню, Глашу умолять, чтоб не утопляла она столь жирно свои голубцы и шнельклопсы в топленом масле. Только прихожу раз и вижу: сидит она за столом на табурете, ситного перед ней большой ломоть, но она не ест его, а плачет. «Что с вами, Глаша?» – «Не могу я хлеб этот их есть. Ко ржаному привыкла, а его теперь нигде и не найти. Я не сибирячка, в семье-то моей, кроме черного, никакого и не видела. Вон это, ситный-то их. Ни питанья в нем, ни вкуса нет. Ску-у-ушный...» Тут она опустила голову и передник поднесла к глазам.

### Мне дарят рубашку

Через месяц после того, как появился в Перми белый сибирский хлеб, а в ответ ему вся местная снедь вновь закрасовалась на прилавках, был я призван на военную службу в Белую армию. Добралась-таки, хоть и не с немцами война, а гражданская, и до меня. Хватить за плечо, да как заглянула в глаза, повернула меня в полный рост <sic!>, да и вытолкнула взашей: от штатскости моей тошно ей стало. Пробыл я на фронте один день. Обстрелян не был, сам не стрелял; стрелять и не умел: за месяц военной учебы *этому* нас не учили. Не обучивши, сражаться отправили. Но рассказ об этом впереди.

Пока что я солдат – *приходящий* (кадетов таких не бывает, а не то что солдат) и своекоштный, да и не по-военному одетый. Живу дома, обедаю дома, слушаю по вечерам сонаты Бетховена в вейхардтовском (друга моего, с которым делю квартиру) исполнении. Ни шинели, ни казармы так мне узнать и не довелось. Хожу только на учебу по утрам, учусь винтовку к ноге приставлять и вскидывать на плечо, также звездочки на погонах распознавать и честь отдавать, а по ночам, три раза в неделю, посылают меня охранять железнодорожный мост, чуть пониже города, на Каме. Попеременно с дру-

гим новобранцем дремлю я полчаса в теплой сторожке, а полчаса шагаю до середины моста или топчусь у его начала и тоже не мерзну: на мне все та же пыжиковая шапка с наушниками, меховая куртка и лыжные валенки, как незадолго до того, когда я в деревне хлеб добывал. Стоят и теперь крутые морозы. Небо – ясное, звездное. Поездов никаких нет. Если прислушаться, заиндевелая сталь моста позванивает легонько. Звон этот я слушаю, инеем люблюсь, размышляю о странностях – моих собственных и чужих.

Моя странность в том, что я как-то не «вхожу в положение». Чье положение? Вот это самое, мое. Не ощущаю себя воюющей стороной, не мыслю себя ни революционером, ни контрреволюционером. Революция внушает мне отвращение. Ненавижу кровавое ее изуверство, но не менее резко презираю глупость прекраснодушных ее друзей, искренно ожидающих от нее улучшения и даже какого-то преобразования жизни, когда она только и способна калечить, и всего непоправимей самое хрупкое и самое драгоценное в жизни, то, ради чего только и стоит жить. Я бы очень, разумеется, был рад, если бы контрреволюция свернула ей шею, но что свернет, не очень верилось мне (без чужой помощи или с той ничтожной, какая была ей оказана). Да и контрреволюция – та же революция навыворот, ее порожденье, отражение ее в зеркале, если и кривом, то недостаточно кривом. Слишком сама она революционна, чтоб я мог ее полюбить. Вот если одолеет и кончатся обе, я ее похвалю задним числом. Но едва ли одолеет. Вот даже пребывание мое здесь, на камском мосту, – микроскопический симптом того, что действует она беспомощно и бестолково... И тут моя мысль с моих на чужие переходила странности.

Нечего сказать, хороши вояки! (Это о нас, охраняющих мост.) Ведь почти никто из нас с винтовкой обращаться не умеет. Что ж я врага штыком, что ли, проколю? Здесь-то его, правда, не видать; никакой ни разу не поднялось тревоги; но ведь скоро, говорят, отправят нас на фронт, а ничему, кроме «строя», вот уже три недели, не учат. Бои развертываются, нужно думать, хоть об этом и не пишут, неблагоприятно для нас. Пишут лубочно – лубком недоверие вселяют – о наших успехах, о «зверствах» противника. Офицеры на нас глядят как-то растерянно. Будущая наша воинская доблесть сомнение у них вызывает. Обращаются с нами нежестко, даже и дружелюбно, – главным образом, боюсь, оттого, что солдатами нас не считают: хлюпики, интеллигенты, пороху еще не нюхали. Они и сами, в большинстве случаев, офицеры запаса. Кадровые с «настоящими» солдатами обращаются, я слышал, погрубей. Удадь, спесь и выпивон для них – одно. Затрещинами поддерживают (по их мнению) дисциплину. Но порядком склонны пренебрегать, и его отсутствие становится заметней с каждым днем. Только я хоть и вижу это, да не му-

чусь. Сам себе удивляюсь еще больше, чем удивляюсь им. Наблюдаю, но не участвую. И вовсе не мрачно я настроен. На мосту мне нравится. Пятьдесят пять лет прошло. Полвека прожил в Париже. А чуть вспомню – не только вижу, но как бы и осязаю этот иней. Воздухом зимним дышу, слышу этот легкий звон.

Так и случилось. Еще через неделю отправили нас на фронт. В последние два дня спохватились: стали наставлять насчет рытья окопов и перебеганья от одного прикрытия к другому. Бегали мы, на животах лежали, но стрельбе нас не успели научить. Начальство заторопилось. Завтра в поход! Самый добродушный и толковый из наших офицеров, кажется, учитель гимназии, черноволосый с легкой проседью и черными усами (он мне напоминал Павла Ивановича Бююла, обучавшего меня некогда русской географии и грамоте<sup>77</sup>), глядел на нас с отчаяньем и даже со слезами на глазах. «Что они делают, что они делают!» – восклицал он, всплескивая руками. – Ведь вы же стрелять не умеете! Перебьют вас всех, как куропаток, да и нас вместе с вами. И никакой пользы от этого не будет. Только помешаем другим». Костя, студентик наш первого курса, совсем юный, тоненький, с девическим румянцем на щеках, утешал его, как умел. Говорил, что выучиться недолго, что была бы только охота, мужество, воля к победе. А все это есть, он знает, все это есть. Посмотрел я на него, и тут, в первый, кажется, раз, сжалось у меня сердце. Я совсем не знал его раньше, да и на мосту он со мной не дежурил. На днях только с ним и познакомился. Милый, как он был мил!

В тот день меня не отпустили домой. Мы все ночевали в дортуарах общежития, служившего казармой тем, у кого не было жилья в Перми. Рано утром нас всех рассадили человек по шесть в розвальни и отправили верст за двадцать, туда, поблизости откуда шли бои. Костя был зачислен не в наш отряд, и я с ним попрощался перед отъездом. Но, ложась спать накануне, мы разговорились. Наши кровати стояли рядом. Мы беседовали долго. Нетронутый это был, с открытой душой, совсем еще мальчик. Русский, карие глаза, пушок на верхней губе, нежно-розовые щеки. Улыбчивый, добрый. С какой любовью говорил о своей матери, о сестрах. Я сказал, что приятель мой недоумевает, где я; лишь завтра будет извещен, и теперь один играет на рояле. А так как домой я зайти не мог, то завтра отправлюсь в путь совсем налегке; ни смены белья у меня нет, ни зубной щетки, ни бритвы, ни даже чистой рубашки. «Рубашки? О, – сказал Костя, – у меня их три, возьмите одну. Пожалуйста. Очень вас прошу». Он вынул из чего-то вроде ранца тщательно сложенную, цвета густых сливок, косоворотку (никогда я таких не носил) и положил ее мне на одеяло. Тут снова что-то во мне дрогнуло. Совсем неожиданно для себя я потянулся к нему, поцеловал его, перекрестил и откинулся на

свою подушку. Он взглянул на меня, не улыбаясь, присел на постели и в воздухе надо мной совершил крестное знаменье. Все уже спали кругом. Мы больше не говорили.

Не отдал я Косте рубашку. Долго хранил ее не надевая. Он был убит через два дня.

### Я возвращаюсь восвояси

Бесславно. В бою не побывав. И лишь сутки пробыв – не на фронте, а поблизости от фронта. Ай-ай-ай! Некрасиво! Что ж поделать? Да и не совсем это моя вина.

Высадили нас из пяти-шести розвальней где-то на опушке леса. Издали слышалась нечастая орудийная стрельба. Нас выстроили. После переключки началось ученье – такое же, как в предыдущие два дня, с ползанием по снегу на животах и перебеганием от одного сугроба к другому, согнувшись в три погибели. Продолжалось оно до обеда, после которого предложили нам отдохнуть, лежа на мешках в длинном, хорошо натопленном сарае. Одет я был все еще не по-солдатски. Я лег, пыжиковую шапку положив под голову и прикрывшись теплой курткой. Надобности в этом никакой не было, но, кроме усталости, большей, чем после такого же ученья накануне, чувствовал я и озноб; заснул тяжелым сном, а когда проснулся, стало меня и всерьез лихорадить. Я присел на мешках, повертел и покачал головой: с детства установил этот способ узнавать, поднялась ли у меня температура. Выяснил, что поднялась. Я еще полежал, что было теперь приятнее, чем ходить или стоять, а когда кончилось время отдыха, разыскал фельдшера. Тот дал мне градусник. «Ишь, – сказал, – 39 без малого. Возись тут с вами. Еще и зараза может быть. Доложу». В результате его доклада и решено было меня «эвакуировать в тыл», т. е. попросту отправить назад в Пермь, чтобы там военный медик определил, чем я болен и как со мной поступить.

Полежал я на тех же мешках. Температура еще повысилась на несколько десятых. Когда стемнело, посадили меня в сани и отвезли на «передаточный пункт» в десяти верстах и в стольких же от города. «Пункт» этот, где я должен был провести ночь, оказался бревенчатой избой – других по соседству я не заметил – с большими сенями, просторной горницею и немалого размера кухней. В сенях на земляном полу лежал у стены, лицом вниз, богатырского сложенья солдат и стонал. Лица его я не видал, так и не увидел: его унесли в другую избу, где он умер под утро; но стоны его мне запомнились, оттого что он не просто стонал от боли, а чего-то просил. От фельдшера, отвозившего меня и трех раненых на следующий день в город, я узнал, что он просил поест. Накормить его не могли. Горло его было проткнуто штыком, приспособлений для искусственного питания

здесь не было; хотели и его везти в город, но он до этого не дожид. «Такой здоровяк, – говорил фельдшер, – провалялся больше суток в снегу с четырнадцатью штыковыми ранами и не замерз, кровью не истек... Проголодался... Понатешились над ним изверги». Так что, при всей лубочности тона, газета насчет «зверств» не лгала. Бывают и лубки правдивые.

Я вошел в горницу. Там сидели за тремя столами ямщики и пили чай с водкой и без водки. Дали чаю и мне. Я стал жадно пить, но чай был горяч, а когда я захотел кружку поставить на стол, я увидел, что весь он покрыт каким-то медленно движущимся узором – таракан, клоп, таракан, клоп. Я вскочил с моего табурета и стал пить стоя, но заметил тотчас, что и все стены покрыты таким же узором. Уж не брежу ли я, хоть и не бывает этого со мной? Подошел поближе: таракан, клоп, таракан, клоп. На дверях, на занавесках окон. А ведь мне сказали, что в этой избе я и буду ночевать. Я осторожно приоткрыл дверь и вошел в пустую и лишь снегом за окнами освещенную кухню. Зажег спичку, другую. Тараканов было тут меньше; клопов и третьей спичкой не выследил. Решил: останусь здесь. Лихорадило меня, и очень хотелось спать. Было тепло, но я покрепче повязал наушники моей шапки, поплотней затянул поясом меховую куртку и как есть, в высоких моих валенках, лег на пол, под голову положил полено и немедленно заснул.

Разбудил меня солнечный луч, да и куры – чувствовал я еще сквозь сон – меня клевали. И действительно, появились они откуда-то и заинтересовались мной: целых трех обнаружил я на разных местах моей закутанной персоны. Закудахтали они, когда я вскочил и стал осматривать себя насчет тараканов и клопов. Но не было их на мне. Пришла судомойка или уборщица, дала мне чаю с бубликом тут же, на кухне; а когда меня позвали и я вошел в горницу, там все так же стены и столы были покрыты движущимся узором.

Часам к десяти прибыли мы в Пермь, и я был доставлен в лазарет, где, подождав не очень долго, предстал перед нервным, с папироской в углу рта, молодым врачом. Температуру мне только что перед тем велели смерить. Тридцать восемь и пять. «Чем же вы больны? Ну-ка, дайте взглянуть». Он подвел меня к окну, отогнул ворот рубашки, посмотрел горло, язык, пульс пощупал, прослушал. «Что у вас, не знаю. Но радуйтесь: сыпняка у вас нет». – «Доктор, – сказал я робко, – не возврат ли это стрептококкового заражения крови, которым я болел два года назад? У меня уже было три таких возврата; каждый следующий слабее предыдущего. Я, вероятно, через пять-шесть дней буду здоров». – «Возможно, возможно... Но если я здесь вас оставлю, сыпняк обеспечен. Во всех палатах – сыпные. Что ж я буду с вами делать? У вас есть, куда пойти? Хорошо. Вот пропуск. Другой бумаги не могу вам дать – поступаю

незаконно. Поправляйтесь, потом объяснитесь с воинским начальником».

Мысль у меня промелькнула, что становлюсь дезертиром; но кости ломило, в висках стучало, и сыпной тиф меня порядком напугал. Я низко поклонился доктору, вышел (пропуска у меня даже и не спросили), кликнул извозчика и через четверть часа был дома.

Отворил дверь своим ключом и стукнул в пол прикладом винтовки. Выбежал из своей комнаты отнюдь меня не ждавший друг мой, физик и музыкант, и заключил меня в свои объятия. Из кухонной двери выглянула изумленная кухарка, покосилась на винтовку, но тотчас ласково спросила, чем меня к обеду угостить. Я сказал: «Ничем», помылся как следует, выбрился и лег в постель. Пролежал и в самом деле всего пять дней, лечась аспирином и оставшимся у меня от предыдущего «возврата» лекарством. Тогда же известили меня, что университет выхлопотал мое и двух-трех других младших преподавателей освобождение от воинской повинности. Те свои бумаги выправили, а у меня никаких и не было, кроме пропуска, подписанного человеком, подводить которого было бы грешно. Решил: повременю. Но когда я через месяц понес куда следует свою винтовку, там был такой ералаш и заняться мною до такой степени ни у кого не было охоты, что я через час потерял терпение, поставил винтовку в угол и был таков. За дезертирство так ничем и не поплатился. Возвращением моим в прежний свой мир был я в конечном счете обязан тому самому тяп-ляпству, которое, вероятно, немалую сыграло роль в поражении не одной этой Белой армии.

Эта армия весной девятнадцатого года уже к отступлению стала готовиться. А университет собрался переселяться в Томск.

40 человек, 8 лошадей

Распрощавшись с винтовкой, из которой я не только не стрелял, но и не научился стрелять, собрался я было, со свойственной мне беспечностью, продолжать пермское мое беспечальное и мирное житие – книжки читать, музыку слушать, с друзьями беседовать (но не по ночам: к этому вкуса никогда у меня не было) и посещать еженедельные собрания «Зеленого кольца», основателем и председателем которого был петербургский доцент, философ и будущий парижский друг мой, Лев Александрович Зандер<sup>78</sup>. «Он первый в России прочел Киркегора», – такой шел о нем слух; но я Киркегора не читал, да и с Гегелем, от которого отталкивался датский мыслитель, был знаком более чем поверхностно. В кружке, чье название было позаимствовано у Зинаиды Гиппиус, – ее пьеса, озаглавленная так, шла за три зимы до того в Александринском театре<sup>79</sup>, – обсуждались высокие, религиозно-философские вопросы, которые мы все,



думалось мне, еще не очень компетентны были обсуждать. При-знаюсь также, что всегда мне были неприятны иные, с трудом избегаемые на пути к философии слова: «проблема», например, или совсем противная «проблематика», или еще «ценности» – ничего не могу поделаться, все мне кажется: это те самые, что падают и поднимаются на бирже. Так что каюсь и прошу прощения у тени праведного Льва: не очень я серьезно к занятиям кружка относился. Засесть заседал, да на заседаниях редко выступал; четверостишия вместо этого, других заседателей слегка покаявающие, сочинял. Цепочку они образовали. «Все зелено в Кольце Зеленом», начиналось первое звено. «Умы и речи, та-та так / Еще стишок все тем же тоном / И председателя пиджаку». Все-то я перезабыл. А председатель помнил. Да и записано у него, кажется, было. Нет-нет, бывало, в Париже, да и угостит меня старым моим стишком.

Другой приват-доцент (не из Петербурга), Коссовский<sup>80</sup>, давно уже говаривал, газету просмотрев, – «положение катастрофическое!» А я ничего; только плечами пожимал. Впрочем, ведь и ему ежедневный возглас не мешал готовить диссертацию о Козьме Индикоплове – александрийском космографе времен Юстиниана; в памяти моей только от всего доцента и сохранилось, что изречение это, да Козьма, да рыжая копна волос. Предстоял нам вскоре долгий путь – за Урал, в Сибирь; и не в спальнях вагонов, а в теплушках; но так же мало предвидел он это, как и я. Да и что ж тут было, даже зная все заранее, делать тому, у кого перебежать от Колчака к Троцкому охоты не было. Положенью катастрофическому и пожиманью плечами – одна цена. Да был и у меня свой Индикоплов. С большим увлечением читал я в университете курс средневековой истории, порученный мне за отсутствием в Петербург уехавшего Н.П.Оттокара, и готовил доклад, который этой весной 19-го года (в мае, кажется) еще и успел прочесть: «Символизм и аллегоризм мышления в Средние века»<sup>81</sup>. Читал профессорам на заседании факультета, очень волновался, даже заиканье мое, почти забытое, вернулось ко мне на этот час. Сохранились у меня записи, для курса мною сделанные и для доклада. По теперешнему моему мнению, курс был вовсе не плох, а доклад плох. Только им обозначилось все же направление интересов, сохранившееся у меня на всю жизнь (насчет того, как мыслит человек в религии, в искусстве или как мыслил и за пределами этих областей в Греции до Сократа, в Европе до последних веков ее истории).

Так что «книжки», читавшиеся мной, порой и книжницами были, а по большей части солидными трудами того формата, который немцы внушительно называют «лексикон-октав». И музыку, не музыкачку я слушал, когда Вейхартду, физику нашему, с которым жил на одной квартире, ноты переворачивал. Бетховена, Брамса, Шумана он играл,

немножко посапывая на крещендо и аччелерандо, а когда брался за Баха, священнодействовал, тихонько сопел все время, а под конец слезы – не сентимента, а музыкального счастья – затуманивали на мгновенье его близорукие бледно-голубые глаза. Он перевоспитал меня, устранил однобокое мое вагнерианство, и мы вместе с ним были на концерте, где Бог весть откуда занесенные к нам музыканты превосходно сыграли септет Моцарта (для двух флейт), после которого мы были оба так этой музыкой очищены и просветлены, что друг другу не могли сказать ни слова. Бедный Георгий Георгиевич, если б он знал... Ни физика, ни музыка этого знания не дают; сам Эйнштейн не мог ему дать, чего сам не имел, хоть и довелось ему слышать – не так давно – Эйнштейнову игру на скрипке. А теперь он к тому же был влюблен. Не без сопенья, мешковато и неопытно был влюблен, но Анна Васильевна Болдырева<sup>82</sup>, белокурая, розовощекая и немного пышная сестра философа<sup>83</sup> как будто не была, нет, нет, не была к нему неблагосклонна. Бедный друг мой, хорошо, что ты не знал, как быстро этот пир во время чумы для тебя кончится!

Анна Васильевна была участницей «Зеленого кольца». Я скропал о ней стишок, где говорилось, что мила блондинка, но что мы еще верней были бы покорены, «будь той блондинки половинка». Стишок до нее дошел, но была она умней, чем он, и мы с ней быстро подружились. Старший брат ее, Димитрий, мыслитель большого дарования (много лет спустя прочел я его посмертно изданную замечательную книгу, в Париж мне присланную его сестрой, если не ошибаюсь, из Харбина), был уже вызван, для участия в правительстве, Колчаком и погиб вскоре после его гибели. Кажется, от Анны Васильевны я впервые и узнал, что и нас всех – весь преподавательский состав университета, собираются отправлять туда же, на восток. Я был удивлен. Если Белая армия вынуждена отступать за Урал, дело ее проиграно. В Сибири что такое «власть Советов», еще не знают; значит, поинтересуются узнать. Раз Колчак разбит здесь, где население при Советах изголодалось, никакой надежды на его победу нет и университету эвакуироваться незачем. Тем более что нас к этому не принуждают; решать предоставляют самим. Но Анна Васильевна со мной не соглашалась. Не соглашался со мной вообще никто. Голоса у меня в совете профессоров не было. Я на его заседании присутствовал бессловесно. Если бы заговорил, меня бы зашили, да еще, пожалуй, предложили бы одиночкой оставаться в Перми. Решение уезжать было принято единодушно и единогласно<sup>84</sup>.

Сорок человек, восемь лошадей. Такова была сакраментальная надпись на вагонах, называвшихся теперь теплушками. Был июнь, надобности в отоплении не было; но железная печурка была установлена в каждом вагоне вместо <sic> плиты, и устроены были нары для сна. По обе стороны печки на два этажа делился вагон, и

двадцать человек было в нем населения, а не сорок. Восемь лошадей умопостигаемыми оставались, но не отсутствовали кошки, собачки, птичьи клетки. Также детки – грудные и постарше. Вагонов наших было шесть или семь – третья часть поезда, может быть. Остальные вагоны – товарные. Провожавших на перроне что-то не помню. Город пустел. Армия отступала<sup>85</sup>. Долго мы ждали, разместившись в теплушках, отъезда. Тронулись, наконец. Томский университет выразил готовность принять нас в свое лоно. В Томск мы и направляли путь.

### Станция Называевская

Запыхтел паровоз, затренькалась длинная вереница теплушек, и Пермский университет отбыл на восток. Не по расписанию шел поезд, а как придется. Паровоз отцепят, ждал другого. Простаивал на станциях и без станций то четверть часа, то три; то минуту, а то и весь день или полночи. Останавливался часто, в чем был и толк, так как уборных в теплушках не было. Но предвидеть, сколько простоят, было мудрено. Выпрыгнешь (ступенек, конечно, никаких), а он уж двинулся – влезай назад, если за локоть подхватят – повезло. Или куст себе выбрал, не у самого полотна, и вдруг – свисток; кричи: машинист подождет, если крик твой услышит. Дамы тут немножко волновались, но кавалеры галантно их подсаживали на ходу и сами вскакивали в совсем бойко уже катящуюся теплушку. Жаль, не грибное было время: июнь, но земляники набрать удавалось, а иные и нечто вроде сморчков на вагонных своих печурках поджаривали. Иногда располагались с едой на лужайках, когда видели, что отцеплен паровоз. Пикники устраивали. Еды хватало. Покупали ее в станционных буфетах и у крестьян.

Две недели ехали до Томска. Остановок на весь день (или почти) было три: Екатеринбург, станция Называевская и Омск. Первая длилась так долго по неизвестным нам причинам, вторая и третья по вполне известной и очень грустной. Так и память с остановки на остановку меня переносит, так поведу я и рассказ.

Екатеринбург я «осматривал» – почти как впоследствии западные старинные города. С Пермью никакого сравнения. Церкви его златоглавые куда были нарядней, да и вообще свое у него было лицо – не расплывчатое, обозначенное четко. В памяти я его, к сожалению, не столь четко сохранил; по той же, быть может, причине, которая и тогда мешала мне всматриваться в его черты вполне созерцательно и спокойно. Нет-нет, да и тряпкой кровавой ложилась на все видимое мысль, что не в давние годы, а теперь, позавчера совершено было здесь трусливое и мерзкое злодеянье. Не площадное – подвальное. Как бросают в прорубь котят, были здесь вкривь и вкось пристрелены царские дети, мать их и их отец. Гадливое отвращенье

к деянью этому питать надлежит, думал я, не одним монархистам, но и всем; среди всех и коммунистам, покуда не причисляют они себя ни к рабовладельцам, ни к рабам. Но ведь в этом-то деле революция наша, «великая социалистическая», как раз и показала себя рабьей. Казнила бы государя на Дворцовой площади, как англичане, как французы своего. Кровожадны были и Кромуэл <sic!>, и Робеспьер, но не похожи на уличенных в воровстве прогнанных со двора холопов, ночью, в подвале расправляющихся с барской семьей.

Помнится, и друзья мои, соседи по теплушечным нарам, испанист Кржевский и его жена, физик Вейнхардт, в сонаты Бетховена и Анну Васильевну Болдыреву влюбленный, того же мнения были, что и я, насчет тошнотворной этой уголовщины и в том же духе сравнивали русскую революцию с французской. Толковали мы о том, что гильотина лгуньей не была, в теплушке нашей трясась, – но только в тот вечер: говорить, да и думать о постыдном деянье и бессильно-жалостно было и противно. Вертелись колеса, переставали, вертелись опять; докатили нас до Урала и укатили за Урал. Столб мы видели пограничный с дощечками – назад указующей: «Европа», и вперед: «Азия» (так я с тех пор в Азии больше и не бывал). А на другой день (или вроде того) остановился наш поезд в степи у дощатого, длинного, желтого барака с надписью «Называевская». Думали, должно быть, долго думали, как эту станцию назвать, и, не придумав, назвали в честь этого неудавшегося называнья. Никаких других строений вблизи, никакого селенья, вообще ничего. Скошенная трава; равнина. Нам объявили, что поезд тут простоит не меньше четырех часов: отправляйтесь, куда хотите, на все четыре стороны. Версты за полторы, мол, есть тут и деревня, а за полверсты – озеро. Все и отправились в деревню, только мы пятеро, упомянутые мною, к озеру. Было жарко, хоть и не очень солнечно. Мы решили выкупаться, а там видно будет. Полотенца захватили и бодро отправились в путь.

Озеро оказалось совершенно правильной формы квадратным резервуаром в полверсты стороной. Кругом ни деревца. Дамы поодаль на бревно присели, повернувшись к нам спиной, а мы быстро разделись и пустились вплавь. То есть я пустился вплавь, а Вейнхардт за мной. Кржевский не плавал, барахтался у берега. Не очень мне вода понравилась. Доплыв до середины, я повернул назад. Кржевский уже одевался, Вейнхардта я не видел. Увидел лишь через минуту, обтеревшись полотенцем и накинув рубашку: он был совсем близ берега, но под водой и делал движения руками, точно хотел выплыть на поверхность и не мог. Я скинул рубашку, бросился в воду, схватил его руку левой рукой и, плывя с помощью правой, стал тащить его к берегу. Ни на вершок, однако, сдвинуть с места не мог. Напротив, он как будто погружался все глубже, от берега удалялся все

дальше, и рука его, уже при первом прикосновении очень слабо сжавшая мою, теперь совсем перестала ее сжимать. Я и сам, изо всех сил плывя к берегу, понемногу от берега удалялся. Кржевский кричал: «Плывите ко мне, вы утонете сами». Я руку из своей не выпускал. Работал изо всех сил ногами и другой рукой, но продолжал отдаляться от берега. Кржевский чуть не плакал, жена его и Анна Васильевна побежали на станцию за помощью. Я изо всех сил... И вот — отпустил руку, не выдержал. Показалось мне, что утону иначе вместе с ним. Доплыл до берега, обернулся: друга моего под водой видно не было.

Не стоит продолжать. Дно было песчаным и воронкообразным. Тело Георгия Георгиевича затянутым оказалось в самую середину бассейна. К жизни вернуть его не смогли. Врач объяснил мне, что он не захлебнулся, а умер, покуда я его за руку держал, от того, что называлось тогда разрывом сердца. Привезли к вечеру гроб, поставили гроб в пустую теплушку. Поезд двинулся дальше. В Омске остановился на целый день. Там был гроб опущен в могилу.

Какой ужасный город! Вечные степные ветры. Пыль. Такая пыль, что местные жители автомобильными очками, уже выходящими из употребления, защищали от нее глаза. А зимой, должно быть, сквозь все меха просвистывающая стужа. Омск и Томск, да ведь это прямо-таки ад и рай! Там холмы, и в сильнейшие морозы уберегающие от ветров; леса кругом; чудесные полевые цветы... И подумать, что Достоевскому именно здесь, в Омске, пришлось...<sup>86</sup>

Только я это болтаю зря. Вспомнил о станции Называевская и снова, больше чем через полвека, не могу справиться с тем чувством, которое не давало мне заснуть во всю ту ночь перед Омском; на кладбище там, сильнее грусти, подкатывало к горлу; столько раз мучило и позже. Все-таки я выпустил его руку, шкуру свою спас, дал ему пойти ко дну...

В Петербурге, через полтора года, я разыскал его сестру. Чемодан с его вещами у меня остался. Она мне подарила его шерстяную домашнюю вязанку, которую я носил потом двадцать лет, и несессер, старомодную кожаную коробку с ремнем. Храню ее по сей день. Музыка мне о нем порой напоминает. И совесть. Надо было крепко держать в руке его руку. Держать его руку в руке — до конца.

### Томск. Парижские книги

О девятимесячном пребывании моем в Томске — с июля девятнадцатого до марта двадцатого года — воспоминания у меня сохранились самые приятные. Много <e> там было и тогда мне мило, другое милым стало — по Пушкину — оттого, что прошло. Прежде всего сам город мне понравился — или городок; можно было и так назвать

его в те времена. Понравились, например, уютные двухэтажные дома, повыше над рекой, неизменно с маленьким садом, где цвели удивительные по силе жизни – цвета и запаха – левкои. В одном из них и сам я комнату снял, и друзья мои Кржевские, муж и жена, через коридор, сняли две другие. Неподалеку от нас, в нижнем этаже такого же белого с зеленой крышей дома жила портниха, владелица чудеснейшей кошки, когда-либо мною виденной. Хоть я и не кошатник, каким был Ходасевич – или Бодлер, – а вульгарный поклонник псов, но мимо этого крупного, черного, круглоголового, с янтарными огромными глазами, невероятно «пушного» и шелкового зверя равнодушно пройти ни разу я не мог. Он сидел на подоконнике, позволял пощекотать себе пальцем у шеи и с одобрения пожилой тщедушной, но, конечно, счастливой обладательницы своей мурлыкал при этом любезно, хоть и без упоенья.

Любил я, однако, и к речке спуститься, по главной улице пройти. Окаймляли ее очень недурные магазины, из коих иные, как и банки, построены были едва ли не на американский лад. Ни в Перми, ни в Екатеринбурге таких не было. Помню один даже и пятиэтажный дом, почти сплошь из железа и стекла. Скажите пожалуйста! Бродвеем бы эту улицу назвать, тем более что и была она широкой<sup>87</sup> да кое-что в Америке изготовленное можно было в ее лавках и купить. Не далек был отсюда университет, здание которого, очень, должно быть, неказистое, благополучно из моей памяти исчезло.

Университет существовал в Томске с семидесятых годов прошлого века<sup>88</sup>, но в составе лишь двух факультетов – юридического и медицинского. Филологический к ним присоединен был совсем недавно, кажется тогда же, когда был основан Пермский университет. Преподаватели, как и в Перми, были на этом факультете большей частью столичные и молодые. Среди них Сергей Осипович Гессен<sup>89</sup>, философ, и Юрий Никандрович Верховский, историк литературы и поэт<sup>90</sup>. Гессена я слушал. Лекции его были на редкость хороши. Он их не «читал», не излагал – или так казалось – чего-то готового, заранее надуманного и продуманного. Он думал вслух. Мысль его двигалась последовательно и прозрачно, но совершенно непринужденно, как будто он и сам не знал, куда она его приведет. Следить за этой мелодией, которая порой замедлялась, колебалась, меняла путь, прежнего никогда не забывая, доставляло мне большое наслаждение. А Верховский был тот самый – автор «Идиллий и элегий», пославший их Блоку и получивший в ответ строки: «Дождь редкий, разговор неспешный, / Из-под цилиндра прядь волос, / Смех легкий и немножко грешный – / Ведь так при встречах повелось?»<sup>91</sup> Девять лет с тех пор прошло. Цилиндр на лохматой этой голове представить себе было трудно. Шляпа, сильно выцветшая и безнадежно помятая (плачевная, хотелось мне всегда сказать), заменяла его теперь; но прядь

выбивалась-таки из-под нее и смех оставался прежним, только точней было бы сказать о нем «детский», а не «легкий»: никакая «грешность» – хоть и слышавшаяся в нем порой, но скорей все-таки напускная, – не могла заглушить этой детскости – бородастое, неуклюжее, большеноего, большерукое, но и какое милое дитя! И что-то идиллическое во всем существе его осталось, пусть и знали мы все теперь, что прозорливо Блок заключил свое послание: «Мы посмеялись, пошутили, / И всем придется, может быть, / Сквозь резвость томную идиллий / В ночь скорбную элегий плыть».

Хорошо отнесся ко мне Верховский; даже в поэты не затруднился меня зачислить: стихи мои тогдашние – тетрадочные – одобрял. А Гессена и на дому (как студенты говорят) послушать было приятно. И еще были милые немолодые муж и жена – забыл их фамилию, – из-под Киева евреи. Она в Сорбонне лекции некогда слушала, любила с Кржевским о Париже поговорить, частенько в беседах с нами на французский язык переходила – для практики, должно быть, или чтобы мужа подразнить, который по-французски не говорил. Гуляли мы все вместе по окрестным лугам и лесам, цветы домой приносили, насчет которых ботаник наш мне объяснил, что по ту сторону Урала, ни в России, ни дальше, «столь богатой и разнообразной полевой флоры нет нигде». И все-таки, чем меня Томск всего сильнее очаровал, было нечто иное, вполне чужеземное – парижское как раз, – капризной волею судеб попавшее сюда и, рассудят некоторые, неживое. Но ведь сказал же Пушкин перед смертью неживому этому: «прощайте, друзья!»<sup>92</sup> Да, книги это были, лучших авторов французские книги, в первых изданиях почти сплошь, роскошно в Париже переплетенные, изумительные книги.

Потрясен был, когда вскоре после приезда о них узнал и допущен был к полкам, на которых они стояли. Изящнейшие корешки с позолотой глядели на меня. Сотни и тысячи. Тут была вся французская литература с середины царствования Людовика XIV до Луи Филиппа, все философские и критические книги, все лучшие иллюстрированные издания тех лет. Очень многое, относящееся к искусству, в том числе полное собрание гравюр Пиранези в самых ранних оттисках: десять, кажется, томов ин-фолио, переплетенных в красный марокен Деромом, лучшим переплетчиком Парижа. Каким образом? Откуда? Парижская библиотека Строгановых, объяснили мне. Посол при Екатерине, сын которого (кажется, так, Павел, французами прозванный Попó) пожелал остаться там и после взятия Бастилии. Строгановы связь свою и своего богатства с Сибирью не позабыли и, когда основан был университет, книги эти в дар ему принесли, да и денег на постройку библиотечного здания отпустили, видите – стальные полки, лифты<sup>93</sup>. Я от удивленья и восторга прямо-таки язык проглотил. А тут и другому удивляться пришлось: книги уни-

верситетским людям выдавались на дом, чуть ли не до дюжины томов одновременно. Не посмел я спросить – а не было ли у вас пропаж? Но позже обнаружил, что в знаменитом издании Лафонтена (сказок и рассказов, так называемом *des fermiers généraux*, откупщиков<sup>94</sup>), которому антикварная цена не меньше, чем двести тысяч долларов, а теперь, пожалуй, и пятьсот тысяч, вырезаны были некоторые – наиболее «галантные» гравюры. Юристам и медикам книги эти были ни к чему, но раз их на дом выдают, отчего же не оставить у себя, да и не повесить в спальне над кроватью такую двуспальную картинку?

Библиотекаря об открытии моем ничего я не сказал. Он готов был и эти, и любые книги дать мне унести домой; я этих не взял и посоветовал ему самых драгоценных на дом не выдавать. Но и те, <что> сменялись на моем столе все эти месяцы, были драгоценны. Мне казалось, что излучением своим освещают они мою комнату, что в Париж меня переносят. Что и говорить, в парижских моих комнатах таких книг не было и нет. А такого экземпляра гравюр Пиранези, как в Томске, нет и в Национальной Библиотеке, нет и <в> итальянских собраниях, которые довелось мне повидать. – Как в Томске... – Что ж, не исключена ведь возможность, что и теперь строгановские эти книги хранятся в Томске<sup>95</sup>.

### Томск. Розовые снега

Прошло жаркое, почти сплошь солнечное лето. Хороша в Томске и осень, да коротка. Зато зима – полгода, но я ее и на лето не променяю, особенно когда о звездном небе вспомню (нигде я больше такого за всю жизнь не видал) и о том, как сугробы розовеют перед заходом солнца, рано, ясным и тихим зимним днем. Недельку всего слякоть между осенью и зимой мы в девятнадцатом году и видели. Тогда-то, правда, и произошло с поэтом, новым другом моим Верховским, нечто ужасающее, хоть и смешное – для смешливых смешное. Он упал в выгребную яму, завяз в содержимом ее до подбородка, тут бы, пожалуй, и погиб, если б не случилось это под нашими окнами. Ненастным и темным вечером шел он в гости к друзьям моим Кржевским и ко мне, хотел обойти лужу перед нашим входом, обогнул вместо этого полдома, поскользнулся, неуклюжее дитя, нога потеряла опору, и вот во весь рост провалился в тартарары. Кржевский первый услышал слабые его зовы, выбежал, героически схватил его за шиворот, вытащил из ямы, сам чуть туда не упав, привел на кухню с черного крыльца, крикнул жене насчет таза и горячей воды, но ни ее, ни меня в дверь не пропустил, скинул пиджак, велел Юрию Никандровичу раздеться, вымыл его с головы до ног, мочалки не щадя. Напаялил на него с трудом (был намного тоньше) все



свое собственное, а его весь скарб, вынув деньги из кошелька, тотчас пошел выбрасывать в ту же яму. После чего мы поили пострадавшего чаем и ромом, хвалили его избавителя за проявленную им энергию, вовсе ему не свойственную в повседневной жизни, ну а поэт приуныл, в сторону как-то глядел, тесно ему было в чужой одежде, да и выяснилось потом, что несчастный этот случай истолковал он символически и увидел в нем дурное предзнаменование.

О хороших предзнаменованиях, впрочем, к тому времени и вообще перестали упоминать. Белая армия отступала, Красная продвигалась все дальше за Урал. На иностранную помощь надеяться становилось все труднее. Точно не помню, может быть, уже к Рождеству или в самом начале следующего года Томск был занят советскими войсками<sup>96</sup>. Не успели они еще и разместиться по казармам, как произошла метаморфоза, совершенно такая же, как в Перми меньше года назад, но в обратном направлении. И хлеб стал исчезать, и все прочее вслед за ним. Обилие кончилось. Голод еще не наступил, но уже не обойтись было без черного рынка. Цены на нем были нашему брату не по карману. Продал я свою доху, купленную в Перми, куртку теплую, лыжные валенки – все ради пропитанья, и белую лыжную вязанку на толкучке обменял. Получил взамен бутылку настоящего испанского оливкового масла, тратил которое очень экономно: поджаривал на нем куски хлеба и лепешки из гречневой крупы. Буржуйку в комнате у себя установил; только этим недели две и питался, пока выдачи какие-то пайковые не начались. Дрова для буржуйки купил и сам их колот на дворе, что оказалось занятием отнюдь не неприятным, но по неопытности отхватил топором полу своего петербургским портным сшитого зимнего пальто. Пришла мне ее Марина Арсеньевна Кржевская, хоть и не мастерица была по швейной части. Зато мы с ней и ее мужем «Божественную комедию» читали, каждый день по песне (до «Рая» не дошли), и книги, великолепные строгановские книги продолжал я из библиотеки приносить домой. Лежали они на столе и презрительно глядели на железную мою печку. А я печку топил и письма г-жи де Севинье<sup>97</sup> читал. Чтобы кто-нибудь нас обижал, сказать не могу. Никакой расправы с нами не было. А ведь могла бы она быть. Особенно с некоторыми из нас...

Ведь университет-то наш Пермский другом советской власти себя не показал, раз он счел нужным в Томск из Перми перебраться. Вероятно, переселение это, вполне добровольное, изобразили принудительным, но ведь в лекциях наших историков, например, как и томских юристов, крамолы, нужно думать, было вполне достаточно, да из профессоров этих иные еще и худшим могли подвергнуться обвиненьям. «Военно-инструкторские» курсы, слушателям которых (молодым военнообязанным, в большинстве студентам) преподава-

ли, так сказать, политграмоту навыворот, политграмоту, способную сразиться с той, которой были набиты или которой набивали головы их противников. Слушателей этих было немало (отсрочку они получали по отправке на фронт), а преподавателей – человек семь или восемь, очень горячо принявших к сердцу эту свою новую обязанность. Все это были наши или томские профессора, а так как для меня в Томском университете никакого лекционного поручения не нашлось, то назначили меня библиотекарем курсов со скромным жалованьем, но и коротким рабочим днем. Проводил я в библиотечной этой комнате часа два в день, с тоскою глядя на полки, где, разумеется, не видел никаких Крепильонов, или Мариво<sup>98</sup>, или романов Стендаля в первых прижизненных изданиях. Стояли там нудные брошюры, которые и выдавал я слушателям, заметив скоро, что предпочитают они те, где марксистское учение не только критиковалось, но и сколько-нибудь толково излагалось. Большую пользу принесли эти брошюры, как и лекции на те же темы, не только лекторам и библиотекарю курсов, но и обоим университетам! Читатели брошюр и слушатели курсов сразу же в завоеванном без бою Красной армией Томске оказались ревностными коммунистами и заняли значительные посты. Против своих наставников, однако, ни малейшей злобы они не затаили. Приходили даже их благодарить. И даже их именно заступничеству был в первую очередь обязан наш университет тем, что никаким «санкциям» нас не подвергли, а просто спровадили назад в Пермь, даже и озаботившись тщательно продезинфицировать наши теплушки, дабы уберечь нас от сыпного тифа. Ежели не расстреляли, так чего ж их сыпняку на съедение отдавать?

Расстрелян был только – в Иркутске, куда он бежал, – организатор курсов (фамилии не помню), не профессор, убежденный социалист, ненавидевший Ленина и ленинцев за издевательство над социализмом, стойкий, честный, очень хороший человек. Если б не бежал, быть может, на первых порах пощадили бы и его. Только он, пожалуй, пощадку эту счел бы все-таки и позором. Не знаю, как отнеслись к ней преподаватели курсов. Я-то, во всяком случае, только брошюрки выдавал... Все равно, и о них думая, – так ведь лучше. Все живы остались; кроме того, кто, наверное, стоил всех их, вместе взятых (всех нас). Все живы остались, все вернулись...

А мне пока что было грустно уезжать. Строгановские книги, очень я к ним привязался. И сибирскую зиму нежно полюбил. Какие звезды! Каждую ночь глядел я на них подолгу. Какой бестревожный, беззвучный, неподвижно-молитвенный воздух! Какое упразднение суеты! В первых числах марта, перед отъездом, еще сорокаградусные стояли, но безветренные морозы. К четырем часам дня начинали розоветь снега – теплиться потусторонним, ледяным, но согреваю-

щим сердце огоньком. Тебе не холодно. Ты идешь меж сугробов по твердому снегу, слыша лишь скрип своих подошв. Заборы под снегом. Сугробы на крышах. Сейчас все погаснет; но в эту минуту нездешним цветом цветет.

Прощай, Сибирь!

### Обратный путь

Теплушечное путешествие наше назад в Пермь продолжалось не две недели, как первое, оттуда в Томск, а три, и не летним было, а зимним: повсюду на нашем пути было снежно и морозно в марте месяце. Но главным отличием было то, что эпидемия сыпного тифа достигла теперь апогея. Все страшились заразы. Все друг друга то и дело оповещали, что такой-то родственник или приятель если не сыпным, то возвратным был отправлен на тот свет. Чаще всего сердце не выдерживало слишком длительных высоких температур, тем более что не хватало лекарств, сердцам даваемых на подмогу. В Томске не воцарилась над всей жизнью вошь, царствовала лишь в казармах и больницах, но на вокзалах и в поездах великого сибирского пути – уберечься от нее слыло редкостной удачей. Мы – возвращаемый к законному местопребыванию Пермский университет – привилегию получили, которой те из нас, кто посовестливей был, немножко даже и стеснялись: теплушки наши основательно были промыты сулемой, да и карболки на них не пожалели, так что дух поначалу в них стоял довольно-таки безжалостный – но зависть вызывавший у тех, в чьи ноздри издали он проникал при погрузке нашей в Томске или когда стоял наш поезд – долго, часа два – на первом пути новониколаевского (новосибирского) вокзала.

Совсем близко было это еще от Томска, но таких зрелищ там я не видал: раздвинули двери, выскочили тут многие пассажиры наших в свежем воздухе нуждавшихся теплушек, но большинство устремилось тотчас назад: от вши отшатнулись – так тут можно выразиться, краткости ради, и в теплушках у дверей караул образовали, чтобы никаких чужаков, почти наверно вшивых, в карболовый наш рай не допускать. Мне хотелось в буфете выпить чаю, но и я до буфета не дошел. По дороге к нему, в огромном зале третьего класса от всей мебели освобожденного, лежали прямо на полу, на черном асфальтовом полу, частью полураздетые, частью в шинелях, с правой стороны еще живые или полуживые, с левой – мертвые. Фельдшера или санитары только тем и заняты были, что из правой кучи переносили в левую тех, кому теперь надлежало там лежать. Это были именно две кучи, потому что и стонавшие, просившие пить сплошь и рядом лежали друг на друге или налезали друг на друга в бреду, ища воздуха или спасенья, которому неоткуда было прийти. Между уми-

рающими и мертвыми расчищен был проход к буфету, но никакими бубликами теперь никто в этот буфет меня бы не заманил. Я предпочел ретироваться как можно скорей к моей теплушке и в спешке толкнул на платформе солдата, на чьем плече, на плече его длинной до пят шинели увидел впервые ее самое, медленно ползущую, крупную, шампиньонно-белую царицу-вошь.

Нет, лучше было на крупных станциях, буфетами снабженных, из вагонов не выходить. Запас продовольствия у нас был, именно в буфетах-то его почти и не было, а у крестьян на полустанках кое-что прикупить порой и удавалось. Затруднения возникали скорей при варке супов, жаренье чего-нибудь на сковородках, кипячение чайников. На двадцать человек одной железной печурки было мало. Приходилось ждать очереди, вспыхивали споры и ссоры. Буржуйку топили круглые сутки, ночью устраивали дежурства. Одни жаловались на холод, другие на жару. Угодить и тем, и этим истопнику было мудрено; но и впрямь, мы то парились, то зябли. Пикников, конечно, никаких. Долгих остановок стало, сравнительно с предыдущим путешествием, меньше. Зато короткие участились до нелепости, недаром и тащились мы восвосяи целых три недели. Да и настроение у большинства из нас было не бодрое, как девять месяцев назад, а подавленное. Игроков среди нас как будто не было, но чувствовалось все же – карта наша была бита. Я такое чувство лишь в очень малой мере разделял: *наша* карта почти не была моей; думал я ведь в свое время, что отправляться университету в Томск не следует. И в моем углу, на втором этаже нар, мы с испанистом Кржевским и его женой очень мирно жили, стихами ублажались на трех романских языках и беседы вели самые неактуальные. Были и другие покладистые пассажиры в нашей теплушке; но среди профессорских жен оказалось и несколько капризниц, то ссорившихся с мужьями, то их натравливавших на соседей. И скверно это было, и смешно.

Смешнее всех, однако, – хоть и ни для кого не обидно – вела себя одна несупружеская чета – профессор Дурденевский<sup>99</sup> и престарелая его мамаша.

Дурденевский был юрист; читал, кажется, административное право. Лет тридцать ему было, а то и больше, но был он, конечно, холост: при вдовствующей матери столь властного характера жениться единственному сыну бывает мудрено. Мать опекала и мунштровала <sic!> длинного, тощего сынка с дрожащим пенснэ на носу, как будто ему было не тридцать лет, а тринадцать. Он неукоснительно повиновался, с раздражением, скрывать которое ему становилось все трудней, но которое – это именно и было забавно – сказывалось только в интонациях: слова оставались почтительными, ласковыми даже, а тон... Мать могла бы сказать, как взрослые замечание делают детям: не говори со мной так, что это за тон; но нет,

она предпочитала, раздражаясь сама, делать вид, что не слышит сыновнего раздраженья.

– Шарф надень, снег сегодня сырой, галоши не забудь.

– Я уже в галошах, Мусенька. Если вы желаете, надену и шарф.

– Ах, надень, надень. И не отходи далеко от поезда, ведь неизвестно, сколько мы тут в лесу будем стоять.

– Далеко, Мусенька, сами знаете, не пойду, но немножко отойти от поезда все-таки придется.

– Ой, да куда ж ты в эти сугробы. Галоша увязнет, потеряешь.

– Мý-сень-ка! Я вас просил не высовываться наружу. Про-стý-ди-тёсь! А су-гробы везде. Куда вам было бы у-годно, чтобы я пошел?

Такого рода разговоры мы слышали по нескольку раз в день. И совсем уж истерично стали звучать под конец иные реплики. Участились теперь и ссоры из-за чайников и всякие другие передраги. Три недели в теплушках зимой, это в два раза больше, чем две недели летом. Последние два дня были самые тяжелые. Остановки удлиннялись. Поезд тащился все ленивей, как назло. И почти никто не радовался возвращенью. Ведь пермяков среди нас не было. Не было, правда, и сибиряков, и возвращались мы в Россию, в европейскую Россию. [Так-то так, но Россия теперь, новыми хозяевами своими от Европы отгороженная, будет ли она еще Россией?<sup>100</sup>] Мы ведь ее европейской знали и любили – Кржевские, я или Оттокар, поджидавший нас теперь в Перми, да и все эти, в конце концов, господа профессора, столь неказистые порой в теплушечном быту, но люди как-никак науки, а значит, европейской науки – какая же это такая русская, которая не была бы частью европейской? А ведь отчуждение от Европы уже началось, и оно не может не усилиться в дальнейшем. Математику и естествознание не переделаешь, но все прочее? А Россия вне Европы, Россия без Европы, разве той же родиной она нам будет, какой была?

Так мне думалось – и, вероятно, не мне одному, – когда наш университет-на-колесах, медленно катясь, докатился наконец до пермского вокзала.

### Самогонная пирушка

Возвратились пермские профессора на старое местожительство свое в довольно-таки помятом и усталом виде, в настроении сумрачном и ворчливом; но выигрыш был все же налицо: никто сыпным тифом не заболел, дезинфекция теплушек полностью себя оправдала. В Перми, кроме того, с музыкой нас на вокзале не встретили, но никакой враждебности к нам тоже никто не проявлял (до настоящей партийной «проработки» университетов тогда, в двадцатом году, и вообще было далеко). Все водворились в свои лаборатории, кабине-

ты; сразу начались занятия, студенты прежние и новые только нас и ожидали.

Профессор химии Луньяк<sup>101</sup> решил отпраздновать возвращение к нормальному ходу вещей и пригласил своих коллег по факультету, а также – не помню уж почему – и меня в свою лабораторию вечером – будет, мол, выпивка и закуска. Насчет закусок слабовато обстояло дело в столь пельменной некогда Перми, а водку и совсем нельзя было достать, но тут-то химия и пригодилась химику – то есть не столько она сама, сколько тот факт, что для ее нужд спирта ему отпускать не перестали. Нашлась и кой-какая бутербродно-салатная еда. Гостей собралось человек двадцать. Расселись мы вокруг для других целей предназначенного, но скатертью покрытого стола. Молодой ассистент принес два странного вида сосуда и помог своему старшему налить по рюмочке гостям желтоватой слегка жидкости. Цедрой подкрасили, подумал я, и рюмку приподнял к носу, но запах при этом ощутил вовсе не цедры, а древесного спирта, знакомый мне с детства, потому что ящериц и змей я в банках, наполненных спиртом этим, хранил. Еще никто не отведал питья; ожидалось, что устроитель, он же и председатель пира, что-то скажет. Потом все хлопнут по рюмке. Тут я обратился к нему:

– Андрей Иванович, нет ли ошибки, спирт, по-моему, древесный...

– Что? Древесный спирт? Это вы мне, химику, говорите? Отравить я вас собрался, что ли? Это чистейший алкоголь, разбавленный водой, с прибавкой чуточки лимонной настойки.

– Андрей Иванович, ей-богу, я не вру. Понюхайте вашу рюмку.

Луньяк (недаром о нем говорили: «Сед, как лунь, и зол, как як»), грозно на меня взглянул, но рюмку понюхал и тотчас закричал: «Господа, не пейте, он прав, спирт древесный». После чего набросился на ассистента, который и в самом деле перепутал пятилитровые бутылки: уж очень, объяснили нам тут же, был влюблен. Через месяц пришлось Луньяку отпустить ему спирта на свадьбу. А наш древесный быстро был заменен зельем даже не самогонным, почти натурально водочным.

Зачем я рассказываю это? Вспомнилось – и, быть может, не случайно. Убожество нашего быта просвечивает сквозь этот эпизод. Теперь, после возвращения из Томска, оно стало заметнее, чем прежде. Да и в надвигавшемся теперь на нас всерьез и надолго<sup>102</sup> советском, окончательно советском будущем отчего бы этот быт менее стал убог? Дело было (для меня, но не только для меня) не в выпивке и закуске, а в том, что поиски ее, что обеспеченность пищею и кровом будет играть теперь все большую роль в жизни университетских и всех прочих государством прокармливаемых людей. Да и кто ж теперь будет прокармливать кого бы то ни было, кроме государства? «Казеннокоштными» все стали, вот о том и будет каждый хлопотать,

чтобы «кошт» его был пожирней. Университеты, правда, и прежде государственными учреждениями были, да государство было другим, чем-то пористым, рыхлым и старым, традициями жившим, оглядывающимся на соседей и не слишком в милостях своих различавшим самого ему полезного от вовсе бесполезного ему. Кроме того, и единомыслия от профессоров, например, не требовало. Теперь государство будет другое, подданных своих приструнит, теперь-то мы все и станем по-настоящему подданными его. До университетов оно еще не добралось, но постепенно доберется до чего угодно. Им управляют теперь люди, которым идеология заменяет культуру и для которых Европа равняется «капитализму», то есть тому самому, против чего построена их идеология. Если же «капитализм» до такой степени своей идеологии лишен, что готов оставить в их руках Россию, как это, по-видимому, и есть, тогда нашего брата, насчет идеологий посвистывающего русского европейца или европейского русского, скоро прижмут к стене и скрутят в бараний рог.

Так приблизительно я думал, в Томске начал уже думать, и, в отличие от многих, и тогда, и даже значительно позже надевавшихся на скорое падение советской власти, у меня такой надежды не было. В разуме, по крайней мере, не было; в прочем моем существе, может быть, и была. Иначе отчего же я совсем не готовился, не говорю, практически, но хотя бы не практически, к отъезду за границу; хотя с Пермью теперь я уже расстаться и мечтал. Довольно в этой глуши пробыл, где ведь и библиотеки нет настоящей. На Запад, на Запад! Но Запад этот всего только был Петербургом, хоть, конечно, и не допускал я мысли, что всю жизнь проживу пусть и в Петербурге, так и не побывав в Париже, не повидав еще раз Италию. Пока что, однако, и в Петербург вернуться было не так просто. Где и чем буду я там жить? Квартиры моих родителей и моя в доме моего отца на Каменноостровском – кто в них теперь живет? Жена моя, прожившая в Петербурге последние полтора года, ничего об этом не знала: нос туда боялась показать. Она вернулась в Пермь к моему приезду с годовалым ребенком на руках, сыном моим Димитрием, о существовании которого я узнал, лишь когда его увидел. Сперва сообщить мне в Сибирь о его рождении было невозможно, а когда стало возможно, она решила об этом не писать, сделать мне «сюрприз». Младенец был хоть куда, но к сюрпризу этому я привык не сразу. От жены я также узнал, что моя мать по-прежнему на даче у нас в Финляндии, куда родители мои перебрались еще в 17-м году, но что отец мой недавно умер. Большим горем это было для меня, но не вовсе неожиданным. В Томске, незадолго до отъезда, во второй половине февраля, не записал я точно, какого именно числа, но, вероятно, в самый день его смерти, я, проснувшись, вдруг почувствовал, что отца моего больше нет на свете. Чувство это было совсем особое,

никогда мною с тех пор не испытанное. Не колеблющееся, точное. Когда я узнал о смерти отца, я уже знал, что его нет.

Начало этого лета, июнь и часть июля двадцатого года, мы провели в деревне, в той же все деревне Мысы, куда ходил я полтора года назад за хлебом зимой и где два года назад жили мы летом. Насчет того, что из Перми уедем, насчет Петербурга там говорили. Решено было, что я поеду туда сперва один, на рекогносцировку. В конце лета я туда и отправился, самым обыкновенным способом: в «твердом» вагоне третьего класса. Сыпной тиф не издох, но в свирепстве своем ослабел.

### Голодный Петербург

Трое суток понадобилось поезду – в августе 1920 года, – чтобы из Перми доставить меня в Петербург. Петроградом он тогда назывался, но мне переименование это всегда казалось нелепым, и я мой город никогда этим именем не называл. Ехать было неплохо; переполненными вагоны не были, ночью отлично я спал на багажной верхней полке: был худ в те времена, тесно мне там не было. Швейцарский мой мешок (приятно было знать, что и куплен был он мне матерью в Швейцарии) лежал у меня под головой.

Посреди второй ночи проснулся. На остановке вошли два мужичка, расположились как раз подо мной и повели степенную беседу. Мужички были бородатые, пожилые, говорили спокойно и негромко, нисколько не помешали бы мне спать, но занятой показалась мне их беседа, и стал я прислушиваться к ней. Занятен был не ее смысл, а то, что не было в ней смысла. Каждая фраза что-то значила, но связи между ними никакой не было, как и не было никакого соответствия между тем, что скажет один мужичок, и тем, что, дав ему свое досказать, скажет другой. Поговорит один минуту или две, потом столько же другой, отнюдь первому не возражая, но и не соглашаясь с ним, поговорит вообще, на похожую только тему, но не о том, о чем первый говорил. «Кто в лес, кто по дрова», «кто про сапоги, а кто про пироги» – быть может, пословицы эти как раз и относятся к таким беседам, как и несомненно относится к ним выражение «чесать язык». Продолжалось это долго. Слушал я, удивляясь, так в удивлении и заснул. Утром мужичков в вагоне уже не было. О чем же они говорили? Ну вот, если угодно, о том самом; о дровах и лесах, пирогах и сапогах. Но не важно, о чем. Язык чесали, в добром расположении друг к другу, обоудно, совместно.

Лет через семь или восемь я узнал, что польско-английский этнолог Бронислав Малиновский назвал такого рода речевое общение *phatic communion*<sup>103</sup>. Он изучал его в Новой Гвинее. Не проще было бы съездить в Вятскую губернию?



Теперь, однако, приближался я к заштатной столице Российского государства, к наименее деревенскому из всех его тогдашних городов. Увижу завтра опять «Невы державное течение», ладонью ощущу «береговой ее гранит». «Красуйся, град Петров, и стой / Неколебимо, как Россия». Заколебалась Россия, отхлынула на восток. А Петербург, быть ему пусто теперь? Увязнуть в болоте?

Нет, при всем запустенье и опустенье, был он тот же, только это был голодный Петербург. Первое, что меня поразило на Невском, когда я шел с вокзала, везя за собой на колесиках свой чемодан, были не разбитые или заколоченные окна магазинов, сохранивших еще старые свои вывески, и не облик прохожих, в среднем более близкий, чем прежде, к поездкам третьего класса, деревенскому, уездному, нет, яблоки это были, направо и налево яблоки. Раскупались они мгновенно. Я и сам купил фунт, тут же одно и куснул, сочное, да и сладкое, хоть еще и незрелое. Мне объяснили в тот же день, что, на радость изголодавшимся петербуржцам, яблочный урожай в то лето оказался совершенно исключительным. Отовсюду привозили яблоки, продавали недорого, – все ели яблоки, наедались яблоками, объедались яблоками. Расстраивали себе желудки, заболели, но, кроме яблок, почти нечего было и есть. Хлеб по карточкам выдавали и слишком мало, и почти несъедобного был он качества: неизвестно из чего выпечен, не разжуешь, мочалка какая-то во рту. Все кошки были съедены; говорили, что китайцами, которых на скромных поприщах в столице было довольно много, но которые, кошек съев, исчезли бесследно, точно и сами были съедены. Псов на улицах тоже совсем было не видеть; оставшихся неизжаренными хозяева любовно оберегали, делили с ними последний кусок, кроме как на дворы своих домов гулять не выводили. Извозничьи лошади исхудали, изголодались вконец, едва плелись, но, если падала замертво на улице тощая такая лошаденка, тотчас выбегали из ближайших домов квартиранты с ножиками, ножами, топорами, и через полчаса на мостовой лежал обчищенный скелет. Рассказов наслушался о голодных смертях – Тураева, например, историка древнего Востока<sup>104</sup>, который – не так давно или страшно, страшно давно – приносил на лекции, чтобы нам показать, клинописные камни в коробке из-под сухарей Крымзенкова. Не было больше Крымзенкова, а камнями не заменишь сухарей...

Он умер оттого, что есть ему так-таки и было нечего. Но в ту последнюю для него зиму не лучше голода для многих было отсутствие топлива и освещения. Кто-то мне даже говорил, что полдня в темноте сидеть было горше для него и голода, и холода. Шахматов, академик, один из крупнейших русских ученых, умер не голодной смертью, а оттого, что, при слабом сердце, дрова на свой этаж таскал<sup>105</sup>. Может быть, это случилось следующей зимой? Наверное не

помню, но в общем следующая зима была все же менее убийственна, а там и нэп подоспел, нэпманов вмиг породил, и на Бассейной, в кондитерской, витрину с козел увидав, ломовой извозчик десять пирожных подряд в пустое брюхо запихал, отчего в тот же день и отдал Богу душу.

От обжорства умереть, за полгода до него, случая у меня не было, но и от голода – ни в огне не горю, ни в воде не тону – вполне выносимо я страдал, а до холода и тьмы было еще далеко. Поселился я на этот месяц или два у приятеля моего, с которым в Италию ездил, теперь инженера, Шуры Куренкова<sup>106</sup>, на Мойке у Полицейского моста. Квартира была та же, школьником я тут бывал, но Шурин отец умер не так давно, и дверь в птичью комнату, всегда им державшаяся под замком, была теперь открыта: ничего, кроме клеток, там и не было. Спросить я не решился, куда подевались птицы, но кормила нас Шурина мать отнюдь не чем-то пернатым, а кашей без масла из неодоленной пшеницы и мочеными яблоками – вернее сказать, яблочками, вареными без сахара, но в коже и подаваемыми к столу на сладкое. Приглашение мы с Шурой однажды получили от общих знакомых отведать конского супа и конины, жаренной на рыбьем жиру. Думали было пойти, да рыбий жир нас отпугнул. Что же до касторового масла, то на нем и госпожа Куренкова жарила яблочные оладьи. Ничего. Улетучивался мерзкий дух, и катастрофических последствий не наблюдалось.

Ничего. Петербург Петербургом быть не перестал. Живы были прежние друзья, и меня не позабыли. Побывал я на бывших наших квартирах, Каменноостровский, 27. Никто туда не вселился, и разграблена была даже отцовская, большая, как-то рассеянно и не целиком. Цел и невредим стоял в гостиной мой рояль, маленький Бехштейн. Я его обменял на восемь пудов муки, из коих получил четыре. Не помню, что с ними сделал, но пирогов и караваев из столь музыкального теста мне испробовать не довелось. А уехал довольный. Во-первых, наметил свой окончательный сюда возврат. Во-вторых, голодный Петербург не стал черствым, скаредным, нерусским. Свидетельствую – никто от меня корки хлеба не утаил, куска сахара «на черный день» не спрятал. Все приглашали, угощали, делились, отдавали, что имели. Почти никого больше нет на свете. Да будет им всем вечная память и хвала.

### Смутное время

В личной моей жизни смутным временем я мог бы назвать те полтора года, которые прошли от моего возвращения из Томска в Пермь до окончательного возвращения из Перми в Петербург, накануне похорон Александра Блока. Отношения мои с женой изменились. Не пустая размолвка это была, хоть и не горечью пропитанный разрыв.

Мы разошлись, разъехались, развелись; но не все между нами оборвалось, и злобы друг на друга у нас не было. Уже до того, как повидал я голодный Петербург, обозначилась эта перемена; если надо тут искать вины, то виновны были и она, и я. В Петербурге говорил я с ее матерью, которая меня не осудила; сохранил добрую дружбу и с обеими сестрами жены. В Перми мы с ней прожили вместе еще полгода, потом я отвез ее и маленького моего сына к ее матери и сестрам в Петербург; месяц там провел, был на вечере Блока, слышал в его чтении «Под насыпью, во рву некошеном»<sup>107</sup>, еще несколько стихотворений и третью главу «Возмездия». Вернулся в Пермь...<sup>108</sup>

Но с чего ж это я Блока поминаю, о личной моей «смуте» говоря? Хронологии ради; но, пожалуй, и потому, что смута моя разные измерения имела: и как мне жить, я себя спрашивал, и одновременно – кто же я, собственно, такой? Ученый я или поэт? Родня, пусть и очень отдаленная, Блоку или, скажем, Мандельштаму, которого встречал я, студентом будучи, в университете и стихи которого любил; или тому же Верховскому, чьи стихи не очень я ценил, но чьи работы по истории русской поэзии не мешали ему числиться в поэтах. Или попросту будущий профессор... По какой кафедре? Средневековой истории (западной?), которой я в Перми и Томске всего усердней занимался, или истории искусства (о ней, как и об Италии, мною виденной, я ведь тоже не забывал и не собирался забывать). Двадцать пять лет мне было, и ничего-то я толком о себе не знал. Впрочем, пожалуй, и знал, что могу перестать писать стихи, но что не перестану *интересоваться* стихами – и нестихами: живописью, всяческими искусствами, многим в истории, вообще многим, очень многим. Интересоваться – это не значит искать, осведомляться и довольствоваться им; это значит искать стимулов для своей мысли и их находить, как в самих сведениях, так и в проверке их передачи и обработки чужой мыслью, интересовавшейся ими до тебя. Критикой это чаще всего зовется. Может быть, я родился критиком? Но не верилось мне как-то, что таким, который отзывы пишет о вновь выходящих книгах для журналов и газет или, скажем, о выставках, о спектаклях... Нет, профессорство лучше, да ведь и нравится мне лекции читать...

А стихи писать не нравится? Стихи я писал и в студенческие мои годы, значения им не придавая и о печатанье их не помышляя. Все писали стихи; в этом выражалась любовь к стихам, столь распространенная в те годы. Теперь, однако, в Перми, в Томске, после возвращения из Томска, я писал их чаще, чем прежде, и они казались мне лучше прежних. Три стихотворения, например, «Из Апокалипсиса», в деревне Мысы написанные, летом двадцатого года<sup>109</sup>. Теперь я их немного кричащими нахожу (как бывают кричащие краски, которых следует избегать в одежде), а тогда я им верил или в них

верил – и стихи требуют веры, – охладел к ним лишь после возвращения в Пермь из голодного Петербурга, но не из-за подлинности этого голода, рядом с которым вся словесная апокалиптика могла показаться мнимой мишурой, а по причинам чисто литературным, стихотворным. Я привез из Петербурга часть уцелевших моих книг, в том числе семь или восемь томов Клоделя, которые я теперь читал с восторгом, еще возросшим против прежнего; и потребность во мне возникла клоделевскому особому стиху найти соответствие по-русски, по-русски высказаться его поэтической речью, ритмами этой речи, совсем новыми для французов, но приближение к которым, быть может, доступно было бы и нам.

Отложу разговор о том, что у меня получилось (что-то получилось, но не то, чего я ожидал). Упомянул я о стихотворных этих делах, лишь чтобы подчеркнуть сложность того перепутья, на котором я очутился в это смутное для меня время. Но следует другое подчеркнуть. *Не для меня одного было это время смутным.* Готов я этим именем назвать даже и все первые семь лет после Октября. К концу этого семилетия время стало безнадежно ясным. Быть может, поверх всех случайностей, все же не случайно, что я уехал, совсем уехал – в Париж, где живу уже полвека, – именно тогда. Именно тогда, когда кончилась или явно к концу подходила смута, состоявшая в смешении, в запутанном сосуществовании России и СССР, и выделился из нее сплошной СССР, содержащий в себе Россию или часть России, но по преимуществу содержащий ее в могилах, тюрьмах и лагерях. Да еще отделилась другая Россия, зарубежная, вне России и без России, но более русская, если с двухсотлетней и даже тысячелетней прежней ее сравнить, чем все то, что в СССР есть именно СССР, а не Россия. «Смутность» первых семи лет после «Октября» вызвана была сперва Гражданской войной, неполновластностью новых властителей, беспорядком их мероприятий, нетвердой их уверенностью в себе, а затем новой экономической политикой, а также пережитками у партийных интеллигентов (почти всегда полунинтеллигентов), известного рода интеллигентских приличий или предрассудков, в результате чего еще в 24-м году мог выходить такой журнал, как «Русский современник», и еще весной того же года лекции могли читаться в университетах без всякой мертвечины, не начиненные заранее готовой мертвенной идеологией.

В голодном Петербурге двадцатого года я купил «Седое утро» Блока и вышедшую там два года назад брошюру «Двенадцать», с пояснительной (я нашел ее совершенно ненужной) статьей Иванова-Разумника<sup>110</sup>. Поэму я читал с не меньшим восхищением, чем лучшее в «Седом утре», отверг я там лишь одно: не Христа, но Христа «в белом венчике из роз»; все остальное было – поэзия; поэзия мятежа, восстания, смуты, а не революционной машины, не упразд-

няющей мысль человекоубки: для исправной ее работы, с поэзией вовсе и не совместимой, срок еще не наступил. В апреле 21<-го> года слышал я чтение «Возмездия», видел предсмертного, измученного Блока; в августе его хоронил. Это был главнейший этап на пути перехода смутного времени в безнадежное. А вместе с «Двенадцатью» и «Седым утром», и Клоделем привез я еще из Петербурга в Пермь на ужасной бумаге напечатанный сборник «Поэтика» (переиздание 19-го года) со статьями Шкловского, Якубинского, Эйхенбаума<sup>111</sup>. Критика во мне сборник этот и подзадорил, и уязвил, и многому попросту научил. Хранится он у меня и по сей день. Ничего, не истлела скверная его бумага. Ничего, хоть и смутным было время, но еще живым. А я? Повзрослел я, жестче стал, но ведь, пожалуй, и живей, и острей, чем был. Надо вернуться в Петербург. Надо жить с теми, кто выполняет задачу, заданную нашему поколению. Таковы были мои мысли в последний год, с перерывами проведенный мной в Перми.

### Похороны Блока

«Кое-где вдоль Невского на домах были расклеены белые бумажки. Выйдя из вокзала, я почти сразу их заметил, подошел к одной из них и прочел мелким шрифтом напечатанное извещение – умер Александр Блок, панихида тогда-то, погребение там-то, тогда-то».

Так начиналась давняя уже моя статья «Похороны Блока», ставшая первой главой моей книги «О поэтах и поэзии»<sup>112</sup>. Не буду повторять сказанного там. Но так все и было, так для меня и начался послепермский Петербург в тот день: девятое августа 1921-го года. И действительно, прочитав извещение и доставив чемодан туда, где мне предстояло жить (не помню точно, куда, вероятно, в «Дом ученых», где я, во всяком случае, затем около года и жил), я сразу же отправился к Блоку на квартиру, там, «у морских ворот Невы»<sup>113</sup>, где никогда я не бывал. Вот поднимаюсь я по узкой лестнице, открываю дверь без звонка (она была притворена), вхожу, вижу женщин в трауре, вижу его гроб и его в гробу... Ведь я не был с ним знаком, отчего же я так «принял к сердцу» его смерть, и уже его предсмерть, и погребение его? Оттого ли, что помнил, чем были для меня в ранней юности «Стихи о Прекрасной Даме» и что всегда с тех пор читал я его и почитал. Или оттого, что знал уже тогда, пушкинскую речь прочитав (увы, я ее не слышал)<sup>114</sup>, какая тяжесть на душу его легла за прошедшие после «Двенадцати» три года. Или оттого, что понял (мудрено было не понять), что прощание с ним – это и прощание с Россией, той, чьим он был сыном, той, которую он ненавидел – любя, а порой и не любя – и которая исчезает, исчезнет теперь еще быстрее, раз он исчез. Останется лишь та, что «слопала-таки» его, по его собственным словам (в письме Чуковскому), «как

чушка своего поросенка»<sup>115</sup>. Он ее назвал в этом письме поганой, гугнивой, родимой матушкой Россией; забыл назвать ее новой. Ведь это революционная, революцией обновленная, *желанная*, накликаемая им новая «матушка Россия», <нрзб.> его теперь – «слопала» или заспала.

Но зачем же тут выбирать, а всего вместе было вполне достаточно, чтобы самую острую вызвать скорбь о его безвременной кончине. Все те, кто десятого августа толпой на вынос его тела пришли, кто провожали его на Смоленское кладбище, кто гроб его, сменяясь, несли на плечах, как и мне довелось его нести и запомнить плечом его тяжесть, – все они читателями и почитателями его были, все знали – я в том уверен, – что прощаются не только с ним, и все или почти все теперь в нем видели не певца «революционной воли», а ее жертву и жертву своей опрометчивой веры в нее. Вместе со всеми так чувствовал и я на похоронах, и уже накануне у его гроба, после панихиды. Но и другое к этим чувством примешалось, усиливая их; кольнуло меня, как только ту записочку на Невском я увидал. Без всякого на то права ощутил я себя близким Блоку, поэтом себя ощутил – пусть и незначительным, но поэтом или если к стихотворству совсем уж малоспособным, то как-никак слугой и радетелем слова, писателем, русским писателем. Не написал я к тому времени прозой ровно ничего, в печати и вообще ни строчки моей не появилось. Никакому литератору или поэту, кроме Верховского (в Томске), не показывал я и своих стихов. Верховский их одобрил, это мне было приятно; грамотны они были, это я знал и сам; но грамотных стихотворцев было такое множество... Никогда не решился бы я кому-нибудь себя отрекомендовать как писателя или поэта. А ведь было мне не шестнадцать лет, а двадцать шесть. Откуда же взялось это тайное мое самомнение, эта уверенность, что писать я буду – неизвестно что или о чем, прозой или в стихах, – буду служить языку, и язык не откажется мне служить, и что смерть Блока для меня, потенциального писателя, значит больше, чем она значит для неписателей.

Никто мне этого не внушал. Откуда взялось, не знаю. Но знаю, что на блоковских похоронах чувство это меня не покидало. Когда его гроб Андрей Белый нес на плече рядом со мной, я немножко был этим в ничтожестве своем смущен, но не так, чтобы нести этот гроб считал я себя вообще непризванным или недостойным. Призвание к несению этого именно гроба и Андрея Белого, и Бори Бугаева было несравнимо с моим, но было оно – по чувству моему – и у меня. Тщеславия тут не было: я готов был последним быть среди равных (в конечном счете, в самом конечном, все-таки равных). Тут, на пути к Смоленскому кладбищу, я впервые, пожалуй, понял, что такое – в конечном опять-таки счете – если не призвание, то чувство призва-

ния. Конечно, может оно и обмануть, но пока не убедишься в обмене, сила его огромна. И в кладбищенской церкви, когда я Ахматову увидал, над открытым гробом склонившуюся для последнего прощанья, я и с ней себя почувствовал заодно; общее, «наше» ощутил, не забывая, конечно, об отделявшем меня от нее, даже и никакой мерой не измеримом расстоянии. За полгода до того меня уже представили ей, я был с ней знаком, мог к ней в церкви или на кладбище подойти – но, конечно, этого не сделал. Неуместно, суетно было бы это, но, кроме того, и скромность моя вовсе моим новым сомнением не уничтожалась. Оно <было> вообще не «общественным», а личным; молчал я о нем. Я и был, и остался человеком не очень болтливым и на редкость не общественным. Никогда охоты у меня не было ни к каким «группировкам», «объединениям», «движениям», союзам, партиям принадлежать. Но молчаливое это сомнение мое меня ведь-таки зачисляло в какое-то большое целое, в пишущую, мыслящую Россию. Плохо ей теперь приходилось. Горжусь, что включил я себя в нее, пусть сознанием одним, не подвигом, ни даже малым каким-нибудь делом, тогда, в то тяжкое для нее время, в тот особо трагический и решающий для нее год.

Через три недели после смерти отчаяньем больше, чем болезнью убитого Блока, теми же самыми отчаяньем это вызвавшими хозяевами нашей страны был пристрелен Гумилев<sup>116</sup>. Лет через тридцать о хозяевах этих скажет Ахматова одному заграничному своему гостю (Исайе Берлину<sup>117</sup>): «да ведь дворники это, дворники». Дворники до сих пор и управляют пишущей, мыслящей да и вообще всей недворничьей Россией по дворничьему своему разуменью, вкусу и милосердию. Двадцать первый год начало тому положил гибелью двух неугодных дворникам поэтов. Первый, больший, и стал было им угоден, угодным и снова стал после смерти, но ведь это только так вышло, по сложным причинам, а угождать он все-таки не умел<sup>118</sup>, как и Гумилев. Год их гибели памятен, но не только гибелью. Ахматова после крошечной книжки «Подорожник», которую я с нежностью носил в жилетном кармане, выпустила другую, чуть побольше, этим годом названную недаром, но где были и <не> этого года строки<sup>119</sup>. Андрей Белый в этом году написал в Петербурге «Первое свидание»<sup>120</sup>. Ходасевич в этом и следующем году, до отъезда, – лучшие стихи «Тяжелой лиры»<sup>121</sup>. Мандельштам написал: «Люблю под сводами седья тишины...»<sup>122</sup> Отъезды скоро начнутся, но Ахматова и Мандельштам не уедут; и пока что здесь, в Петербурге, живут живые поэты – и мертвые продолжают жить.

Здесь и я, незнаемый никем, жил этой жизнью – написал мало стихотворений, из которых три были напечатаны<sup>123</sup>, написал первую мою статью<sup>124</sup>. – Эка важность! – Я с вами согласен. Но для ме-

ня эта осень, зима, начало следующего года значили все же очень многое.

### Дом ученых

Осенью 21-го года стал я читать лекции в Институте истории искусств графа Зубова на Исакиевской <sic!> площади, в шоколадного цвета доме, библиотека которого была мне издавна знакома<sup>125</sup>, а вскоре после того и в университете, в моем университете, на моем факультете, переименованном, правда, очень, на мой взгляд, несимпатично в факультет общественных наук. Филолог я, черт возьми, а не общественник; историк, а не социолог! Но все-таки, как в «Гаудеамусе» поется: «виват Академия! виват профессорес!», и ведь был я в свое время оставлен при этом самом университете «для подготовки к профессорскому званию». А в Перми что я делал? Готовился и лекции читал, люблю лекции читать. За них, кроме того, и деньги платят, а то на что же мне жить? И жилье у меня будет. Комнату в Доме Ученых получу.

Вот тебе раз! Не в Доме Искусств<sup>126</sup>, Елисейском, розовом, где поэты живут? Да на каком же основании дали бы мне там комнату? А тут я во дворец вел<икого> князя Владимира Александровича вселюсь, псевдофлорентийский палаццо – вход с Миллионной и окна на Неву – с Эрмитажем по соседству, и пайковую селедку тут же выдают<sup>127</sup>. Чего же еще желать? Да и Юрий Никандрович Верховский, поэтический мой покровитель и друг, тут же, в Доме Ученых, из Томска вернувшись, комнату получил. Оттого, что он и ученый; вот и я буду и ученым. Но пока что об академических своих подвигах я отложу рассказ: Дом Ученых темной своей громадой в памяти моей всплыл. Когда-то, по набережной гуляя, любовался я сверканьем зеркальных его окон (им самим не любовался, в настоящей Флоренции побывав); вот уж не думал, что подарят мне этот дворец, или скажут: пожалуйста, вот ваше новое жилище. Спасибо «Октябрю», упразднившему великих и всех прочих князей и отдавшему их дворцы народу. Вот и я человек из народа (а почему бы и нет: я ведь не сказал «из рабочих или крестьян»), вступлю теперь в великокняжеское свое владение. Первым делом и опишу дворцовую свою жизнь – совсем, совсем неплохую. Иронически я начал о ней повествовать по причинам общего, а не частного характера.

Отвели мне комнату крошечную, меньше не было, должно быть, во всем дворце, выкроенную в антресолях, с небольшим оконцем вверху, светлую, однако и по своей малости уютную. Помещались в ней только превосходная и широкая кровать, стул и маленький столик. Две вешалки были прибиты к стене и полочки для книг. Белье я держал в чемодане под кроватью. Гостей в такой комнате можно



было принимать только поодиночке; поодиночке я их все же принимал, а сам в гости ходил к Юрию Никандровичу, комната которого была большая, но подвальная, с тюремной какой-то мебелью, да и плохо освещенная непрозрачным и наполовину забитым досками окном, а вечером подвешенной к потолку электрической лампочкой без абажура. Были, однако, во дворце комнаты и более дворцовые, даже сохранившие тяжеловесную, но добротную меблировку времен Александра II-го. В одной из них жил старый царедворец, личный друг вдовствующей императрицы Марии Федоровны, служивший (от нечего делать) в Эрмитаже, авторитетный автор книги о пакетовых табакерках Императорского фарфорового завода<sup>128</sup>. Милейший он был человек, изысканно любезный, но глухой как пень. Познакомился я с ним оттого, что чайник полагалось мне кипятить на его кухне, но были у нас и общие знакомые, коллеги его по Эрмитажу. Одному из них он пожаловался однажды: «Хорош этот ваш Вейдле. Стряпает там себе что-то на кухне, я ему и говорю – заходите ко мне чай пить в воскресенье, я вас представлю интересным людям. А он – ни слова. Так и ушел, ни слова на сказав». Когда я к нему явился чуть ли не первым в воскресенье, он был даже удивлен. А я-то старался! Ладони сложил рупором, кричал во всю глотку: «Спасибо. Приду. В четыре буду у вас».

Пестротой развлекало население дворца. Но еще живописней по своему составу были длинные очереди не одних дворцовых жильцов во дворе – за селедкой, картошкой, капустой и мало ли еще за чем, а также за посылками благотворительной американской организации АРА<sup>129</sup>. Тут и Ахматову, и Ходасевича с кульками и ведрами я встречал, но гораздо красочней их был редактор покойного «Аполлона» Сергей Константинович Маковский<sup>130</sup> с тростью, моноклем в глазу, в черном сюртучного покроя пальто с бархатным воротником и в белом кашне, пристегнутом золотой с камушком булавкой. Трость-то все-таки висела на руке, а другая держала мешок или ведро. И какие дамские туалеты случалось тут наблюдать! От каракулевых саков и допотопных лисьих шуб до ротонд, выкроенных из гобленовой <sic!> портьеры. АРА туалетам не содействовала, хотя посылки ее и содержали порой, наряду с мясными консервами и жирами, белье солдатского образца и обувь, сверхсолдатскую по суровой прочности. Вот эта самая обувь главной виновницей и была несчастья, постигшего милого моего, но такого неуклюжего поэтического друга. Он и так, должно быть, сорок четвертый номер носил, а тут едва ли не сорок восьмой выпал на его долю...

Уже за месяц до того поведал он мне тайну, счастливую свою тайну. В подвальной комнате, по ночам, стала посещать его мышь, поэтическая Аполлонова мышь, не маковского – дельфийского Аполлона<sup>131</sup>. Увидав ее в первый раз, он понял, кто ее послал, и не-

медленно стал ее – чем мог – прикармливать. Приручил ее и полюбил. Каждый вечер ждал ее визита. Показал мне ее однажды, мышонка это был. Будь у мышонка аппетит, как у сенбернара, друг бы мой ему все консервное мясо скормил, как Шилейко, молодой ассиролог и поэт, все консервы и жиры, получаемые им, монументально своему псу, который околел тем не менее от голода. На мышонка хватало. Можно было его и без АРА накормить. Все шло хорошо. Стихи лились рекой. Никогда автора «Идиллий и элегий» столь часто вдохновение не посещало. Вот случилось...

Весь тот вечер провел я у него. Читали друг другу стихи. Потом я поднялся наверх, а баловень Аполлона стал ждать мышонка. Я разделся, лег в постель, читал, хотел потушить свет, когда – после полуночи уже – постучали в мою дверь. Робкий был стук и настойчивый вместе с тем. Войдите! Юрий Никандрович в слезах. «Я его раздавил. Проклятые сапоги!» Сел на стул и разрыдался. Как его утешить? Не поможешь тут ничем. И платка-то у него порядочного нет, вытереть глаза. Рассказывает: «Высунулся он из своей щели. Я крупы на блюдечко насыпал. Сделал шаг, другой, хотел на пол блюдечко поставить; а он шмыгнул, спешит, вот я его на втором шагу и раздавил. Смотрите, башмак-то американский на вершок длинней, чем моя ступня. Вот этим вершком... Да что тут. Конечно теперь!»

Долго он успокоиться не мог. Долго беды этой не забывал. Какой гнев навлек на себя! Мышь Аполлона! Дурное предзнаменование он в этой смерти мышиною увидел, как в Томске, когда в выгребную яму упал. Бедный Юрий Никандрович! Не крупного калибра был он поэт, но был поэт: поэтически умел осмыслять свои несчастья.

### Музей древностей

Музеем древностей назывался в Петербургском университете семинар археологии с присоединением к ней истории искусства, совершившимся незадолго до моего поступления в университет. В самом конце находился он длинного университетского коридора, недалеко от главной университетской библиотеки. Тут я слушал лекции Айналова, участвовал в его семинарах<sup>132</sup>. Тут служитель Михаил подавал мне кружку чая со сдобной булкой. Сюда я вообще чаще всего заглядывал в мои первые два университетских года, а потом бывал гораздо реже, когда Айналову ради Гревса изменил. Иногда, однако, за книгами все же заходил, избегая с Айналовым встречаться, который симпатии ко мне, перебежчику, питать, как я предполагал, не мог. И вот теперь, осенью 21-го года, через семь лет после моей измены, через пять лет после окончания университета, тут как тут я опять, в Музее древностей, но не слушать лекции собираюсь, а их

читать. Служитель Михаил узнал меня, очень радушно встретил, чаем до лекции, пусть и без булки, напоил. Бедняга, едва ли он понимал всю незаконность моего здесь появления.

Дело в том, что по старым университетским правилам, вполне справедливым и разумным, меня к чтению лекций отнюдь не следовало допускать. Я магистерских экзаменов не сдал, пробной лекции в факультете не прочел (лекция эта лишь после экзаменов и читалась); я был всего только «оставленным» или, по-нынешнему, кандидатом, и, не говоря уже о профессуре, на звание приват-доцента никакого права не имел. Но вот поди ж ты, беззаконники послеоктябрьские взяли да в преподаватели меня и произвели, — а преподавателя как же вы будете по-латыни называть, если не доцентом? И как забавно: главным беззаконником тут оказался не какой-нибудь рабоче-крестьянин или октябрист (я сознательно отнимаю у этого слова его до-октябрьское значение<sup>133</sup>), а владелец шоколадного дворца на Исакиевской площади граф Валентин Платонович Зубов<sup>134</sup>.

Познакомился я с ним только теперь, недавно, незадолго до моего окончательного возвращения в Петербург, но помнил его, то есть облик его был мне знаком по давнишним (дореволюционным, довоенным) появлениям его на петербургских спектаклях и концертах. Сказал бы на балах, да я-то на тех балах не бывал. И неудивительно, что помнил. На него чуть что пальцами не показывали. Он носил фрак, шейный галстук, жилет онегинских времен, бачки себе отрастил, причесывался «под Онегина». Все это было ему к лицу, он не казался смешным, он казался лишь выходцем с того света. Чуждачеству этому (а может быть, и другим) положила конец война и женитьба графа на очень толковой петербургской барышне-еврейке, дочери зубного врача<sup>135</sup>. Все чудачества кончились, кроме одного: того, которое она понимала и одобряла. Граф окончил Берлинский университет, написав диссертацию о Росси, величайшем, после Растрелли и вместе с Захаровым, петербургском зодчем (я его считаю последним по времени из великих архитекторов Европы). Он собрал замечательную библиотеку по истории искусства, где я работал, когда она помещалась на верхнем этаже его особняка; все книги были переплетены одинаково: кожаный гладкий кремовый корешок с красной наклейкой. А затем основал — при библиотеке, можно сказать, — институт Истории искусства, где я, кажется, еще весной 21-го года прочел какой-то доклад, а с осени приглашен был читать регулярный курс, не помню уж о чем, кажется, о теории стилей<sup>136</sup>.

Осенью, однако, того же года введена была какая-то очередная университетская реформа (в те времена их было много), в результате которой бывший филологический факультет разделен был на большее, чем прежде, количество отделений. Отделением истории искус-

ства приглашен был заведовать Валентин Платонович. Он меня в университет и пригласил<sup>137</sup>. Что ж, не отказываться же мне было от столь лестного приглашения? Вот я и приступил к чтению лекций; три года (с пропуском одного семестра) их читал – главным образом, по истории архитектуры и скульптуры средневековой Европы; слушателей и слушательниц было у меня вполне достаточно (человек тридцать–сорок); я был ими доволен: некоторые превосходно отвечали на экзамене, и, кажется, они были довольны мной.

Айналов отсутствовал, застрял в Симферополе, куда за несколько лет перед тем откомандировался. Когда он вернулся – кажется, в начале 22-го года – и в Музее древностей встретился со мной, никакого неудовольствия в том, что он мне сказал, я не заметил. Не спросил он меня, когда ж я успел сдать магистерские экзамены (да ведь и собирался я их сдавать по истории, не по истории искусства). Не спросил вообще ничего. Положив мне руку на плечо: «Вот видите, – сказал, – убегали вы почему-то от истории искусства, а ведь все-таки вернулись к ней. И хорошо сделали. Поздравляю вас и желаю вам успеха».

Вернулся. Да я ведь, собственно, не от нее убежал, а от него. Хотел быть в ней учеником, пусть и только по книгам, немецких ее мастеров, ему неведомых. Но занятий ею не оставлял. Цветение средневековой Европы в ее искусстве и литературе, в ее религиозной мысли меня как раз и интересовало. Прочел и в историческом кружке о ее культурном единстве доклад. Председательствовал, вместо отсутствовавшего Гревса, Александр Александрович Васильев, византист, вскоре после того уехавший в Америку<sup>138</sup>. В середине моего доклада он, слегка похрапывая, задремал. Но Георгий Петрович Федотов, с которым позже я дружил в Париже, слушал меня внимательно, спорил со мной живо и плодотворно<sup>139</sup>. Так что стихи стихами, а писательские предчувствия – кто же о них мог знать, кроме меня; и живет отныне в Доме Ученых этакий, университетом незаконно апробованный <sic!> молодой ученый, жалованье получает (керенками?), селечный и другой паек; советского строя не одобряет, но довольно успешно старается его не замечать.

Не замечал я его, не замечал, а тут-то и приносят мне повестку: вызов на Гороховую<sup>140</sup>. Являюсь. Не без трепета, конечно, и все ж (по простоте моей) не так чтобы зуб на зуб не попадал. Ни в какой, видите ли, крамоле не замешан, ничем перед Чрезвычайной Комиссией не виноват (как будто чрезвычайность ее не в том как раз и состоит, чтобы всякого карать, кого она *объявит* виноватым). Следовательно: – Садитесь. Вы ведь, кажется, жили одно время в Перми. Скажите, встречались ли вы там с великим князем Михаилом Александровичем?<sup>141</sup> – Нет, не встречался. Не было у меня знакомств в таких кругах. Только задним числом и узнал о его пребывании в

Перми. – Так-таки никогда и не видели? – Не видел. – Вот ваше показание. Подпишитесь.

Через четверть часа я уже шел по Морской в сторону Дворцовой площади и Миллионной. Больше меня не беспокоили. Надо было ему сказать, что в доме *Владимира* Александровича я, действительно, теперь живу, а насчет Михаила...

Как с гуся вода! И не понял этот гусь, что столь поверхностный интерес к нему со стороны доброжелателей его, руководимых добродетельным товарищем Дзержинским, – чудо, и что рассчитывать на повторение чудес – большое легкомыслие. Намек в этом был – уезжай! Да не понял я намека. А почему не понял, этого я теперь и сам не могу понять.

### Дом Искусств

Жил я в Доме Ученых; университетские мои лекции читал в так называемом Музее Древностей, но духом пребывал не столько тут и не столько там, сколько в Доме Искусств на Невском, между Мойкой и Морской, в знакомом мне с детства Елисейском розовом доме. Числился ведь я среди начинающих ученых, а не художников или поэтов, оттого мне там жить и не пришлось, но бывать приходилось, так что и брэнное мое существо об Элизиуме этом хоть и смутно, а сохранило память. Даже и чай пить мне случалось там, с чем-то вроде плюшек и рогулечек, и запомнился мне причастный к чаепитию этому бывший елисейский лакей, необыкновенно похожий фигурой и лицом на покойного государя. Бронзовую статую также помню, во весь рост, Родэна, но не помню, какая именно это была из его крупных бронзовых скульптур<sup>142</sup>. Остальное – очень немногое – что там от елисейской (чуть не сказал Елисейских полей) утвари сохранилось, очень фрагментарно свидетельствовало о не очень хорошего вкуса роскоши. Пробелы восполнялись венскими стульями, походными кроватями, шаткими ломберными столами. Были комнаты поуютней, а другие – бивуак на пустыре. Отапливалось все это (когда было топливо) буржуйками, и черные эти печки, черные их трубы содействовали, как и слегка фантастические наряды обитателей Елисейского <sic!> дома, тому впечатлению – отречемся от старого мира (оставаясь в старом мире), – которое он производил и которое сохранилось в моей памяти.

«Тут жили поэты»<sup>143</sup> – и, кажется, более дружно, чем в блоковском этом стихотворении, где живут они еще каждый на своей квартире, а не в перегородками разделенных хоромах этой полудворцовой мебелишки. Мандельштам, Ходасевич, Пяст; сумасшедший Пяст, нынче очень мило, под стать этому дому, а порой и совсем больнично сумасшедший<sup>144</sup>. Переводил он в то время «Дон Хилья Зеленые Штаны», но знамениты были в Доме Искусств и клетчатые

его собственные<sup>145</sup>. Помогал ему в переводе испанист Кржевский, приятель мой пермский и томский, диссертацию готовивший о Тирсо де Молина<sup>146</sup>, и у Кржевских нередко я его встречал. Понял, за что Блок его любил: под напускной его дерзостью была беззащитность и в среде литераторов редкостная прямота. Казалось мне издавна, хоть и поклясться я в этом не могу, что в стихотворении Мандельштама 1912-го года «Мы напряженного молчанья не выносим» строчки: «И в замешательстве уж объявился чтец», «Кошмарный человек читает “Улялюм”» и «Безумный воду пил, очнулся и умолк» – относятся к Пясту<sup>147</sup>. Читал он стихи (собственного, например, «Мангуста») очень к их музыке чутко, но и очень взвинченно, с невыносимым иногда надсадом.

Мандельштама я видел теперь лишь мельком два-три раза и, кажется, лишь раз слышал его чтение. Вскоре он уехал в Москву. Память мне его рисует в другие годы, военные и довоенные, когда я встречал его и слышал чаще, хотя близко с ним знаком не был и тогда. Только стихи его были мне близки с самого начала, и потому живет у меня в памяти его детски-визгливый, при чтении их, голос и молодое лицо, не совсем похожее ни на одну из виденных мною в книгах фотографий. Вспомню это лицо; еще и теперь, и всегда улыбнусь, как бы даже немножко и насмешливо, дивясь вместе с тем его четкой и нежной, особенно в профиль, красоте. И как высоко держал он голову! Не улыбнуться нельзя было и тут. А ведь, в сущности, нельзя было улыбаться. Догадаться следовало: поднимается на плаху – и на Капитолий вместе с тем, где лавровый ждет его венец.

В Доме Искусств встретить можно было и поэтов, там не живших. Кажется, именно там представлен я был – не помню, кем – Ахматовой. Приветливо она со мной поговорила, свысока (как очень хорошо умела) на меня не поглядев. Пригласила к себе, спросила, пишу ли стихи, и, когда во второй раз я к ней пришел и не было у нее никого, кроме «Олечки» (Глебовой-Судейкиной<sup>148</sup>), велела прочесть. Я повиновался, прочел с большой робостью три или четыре моих очень незрелых – я и тогда, «в глубине души», это чувствовал – стихотворений<sup>149</sup>. Тут-то уж вполне была бы она права, если бы свысока на меня взглянула; но она и тут этого не сделала. Не критиковала моих стихов, очень может быть, что сочла их не заслуживающими критики, но их и не похвалила, а попросту в ответ прочла мне столько же своих стихотворений, тогда еще не изданных. Кофе я у нее пил совсем какой-то не кофейный и печенье ел из картофельной шелухи, собственноручно на вот этой самой буржуйке, возле которой мы сидели, ею испеченное. Было мне с нею и с молчаливой Олечкой очень хорошо. В другой раз она мне прочла, по особой моей просьбе, особенно мной любимую поэму свою «У самого мо-

ря»<sup>150</sup>. При других посетителях Анна Андреевна слегка менялась, не просто была Ахматовой, а играла еще и роль Ахматовой. Это мне было менее по душе. Но я не был влюблен в нее, я был только ею восхищен, и все-таки не холодно восхищен. Как женщина она привлекательной мне не казалась, но существо ее, человечность ее, женственную, конечно, и в жизни, и в стихах не холодно я полюбил.

До самого отъезда моего, три года спустя, продолжал я у нее бывать – не слишком часто, но и не так уж редко. Стихами я ей не надоедал, но она оказала мне честь: дала мне свой альбом, чтобы я вписал туда стихи. Я благодарил, целуя ее тонкую и когтистую немножко руку, но странно как-то мне было класть этот трогательно-скромного вида альбом в портфель, нести его домой... Положил его на стол, читал. Много там было уже напечатанное, мне известное. Но экспромт Мандельштама в печати не появлялся.

Ах, матовый ангел на льду голубом  
Ахматовой Анне пишу я в альбом.<sup>151</sup>

А также довольно длинное и довольно бледное стихотворение К.В.Мочульского, с которым я тогда не был еще знаком и которого тогда не было уже в России<sup>152</sup>. Пожалуй, подумал я, то, что я напишу, будет не лучше. Но ведь надо... Так я все и повторял себе в назиданье добрых два месяца: «надо, надо». Так ничего и не сочинил. Вернул альбом. Анна Андреевна не рассердилась; что с него взять, должно быть, подумала; но по-прежнему оставалась дружественна и мила.

В Доме Искусств, в старинной комнате с округленной стеной против окон, выходившей к Полицейскому мосту, жил Ходасевич<sup>153</sup>; туда и привел меня знакомиться с ним Ю.Н.Верховский, там и читал нам Ходасевич незадолго до того написанную в этой комнате «Балладу» –

Сижу, освещаемый сверху,  
Я в комнате круглой моей.  
Смотрю в штукатурное небо  
На солнце в шестнадцать свечей...

и «Улику», только что сочиненную, где в третьей строфе упомянут Верховский:

Тут гость из-за стакана чаю  
Хитро косится на меня,  
А я смотрю и понимаю,  
Тихонько ложечкой звеня...<sup>154</sup>

Это знакомство слишком много в моей жизни значило, чтобы вскользь рассказывать о нем; и гораздо позже, в Париже, значение свое приобрело, так что говорить об этом знакомстве при самом его

начале рано. Скажу только, что с его стихами я познакомился раньше, чем с ним, что нашей дружбы от моей любви к его стихам я не отделяю, и что память о нем по сей день неотрывно храню от любви к его стихам.

### Эрмитаж

Картины и все прочие сокровища Эрмитажа невредимыми вернулись из Москвы как раз к тому времени, как вернулся в Петербург и я. Или нет, немного раньше, потому что все я уже нашел размещенным на прежние места. Благодарить за возвращение Петербургу Эрмитажа следовало, как мне объяснили, Троицкого: он предоставил для этого находившиеся в распоряжении военного комиссариата вагоны, да и солдат отрядил на погрузку и разгрузку ящиков. Радость эрмитажных людей была велика. Новый директор музея Александр Николаевич Бенуа<sup>155</sup> особенно был обеспокоен судьбой «Пира Клеопатры» Тьеполо, большого, чудесного, но не первоклассной сохранности холста, пролежавшего в подвале Кремля свернутым четыре года, что могло ему серьезно повредить. Прослезился Александр Николаевич от радости, когда холст развернули и засиял он перед ним в нетронутой своей красе. Нынче великолепный этот Тьеполо служит украшением Мельбурнского музея<sup>156</sup>. Отец народов об этом позаботился – великодушно, хоть и не безвозмездно. Но сталинская распродажа лучших эрмитажных картин началась в 29-м году<sup>157</sup>, а я говорю о второй половине 21-го и первой 22-го года. Никто еще и возможности такого злодеяния себе не представлял. «Мадонна Альба» и «Венера перед зеркалом» продолжали царствовать там, где уже воцарились, совсем и не зная, что есть такой город – Вашингтон<sup>158</sup>. Елена Фоурмен<sup>159</sup> в Лиссабон переезжать не собиралась, а Рейксмузеум в Амстердаме не иссыхал от тоски по «Отречению Петра»<sup>160</sup>. Все наши Рафаэли, Тицианы, Рубенсы, Рембрандты были еще налицо, как и Ван Эйки, Ван Дейки, Боттичелли, Веласкесы, Ватто, Пуссены. Весь Эрмитаж был в Эрмитаже. Осанну хранители его пели. Работали дружно, извлекали забытое из запаса, и была в их доме тишь да гладь, да Божья благодать.

Особенно тихо и благодатно было в этом доме, когда он был закрыт для публики. Я имел туда доступ и в эти часы, оттого что лично был знаком и с Александром Николаевичем, и со многими младшими хранителями Эрмитажа, особенно картинной галереи. Все в библиотеке я работал. Бывал в Эрмитаже часто, мне порой и самому казалось, что я там служу, да и не прочь я был там служить, а когда Анну Андреевну Ахматову, приехавшую незадолго до своей кончины в Париж, один мой старый, тех еще времен друг<sup>161</sup>, по моей просьбе спросил, помнит ли она меня (меня тогда не было в Париже), она сказала: «Как же, как же, молодой человек из Эрмитажа,



помню». Недоразумение это не огорчило меня, позабавило и только. В иной неправде больше правды бывает, чем неправды. Лучшими днями тогдашней моей жизни, до самого отъезда, были эрмитажные мои дни. *Петербургом* он был, несоветским островком в советском Петрограде. Радостно мне было, подымался ли я, вместе с другими посетителями музея, по крутой его лестнице, желтым мрамором любуясь ее стен<sup>162</sup>, или звонил у неведомой им двери, которую открывал мне с поклоном уже знавший меня престарелый дворцовый слуга в белых чулках и расшитой золотом ливрее. Молчаливо понимали мы друг друга: он во мне видел такое же дооктябрьское ископаемое, каким был сам, какими были и все дневные обитатели Эрмитажа. Любил я пройтись по его опустевшим залам в предзакатный час, раньше, чем занять мое место в библиотеке; на Неву из его окон поглядеть; или в Рубенсовском зале постараться себе представить, каким он был, когда люстрой и канделябрами его освещали для банкетов, которые изредка тут давались в былые времена; или, чаще всего, к Рембрандту отправлялся в узкую его галерею, чтобы надолго погрузиться в замкнутый мир какой-либо из его картин.

Их было тогда сорок. Помню, как мне раз прожектором осветили портрет его сына<sup>163</sup>, тот, что Лувру был впоследствии подарен вино-торговцем Николая, купившим его у Сталина. Портрет потемнел, фон его кажется черным, но у Рембрандта (в отличие, например, от Веласкеса) черного антицвета, и все-таки цвета, не бывает, бывает только тьма различной густоты; и какая в ней тут, от острого этого луча, обнаружилась глубина – как будто тайна раскрылась молодого этого лица или отеческой к нему любви, такой же бескрайней, как этот прозрачный сумрак. Не Пуссен, не итальянцы, как некогда<sup>164</sup>; теперь мне Рембрандт становился всего дороже. Им я и в библиотеке всего больше занимался, рисунки и офорты его изучал по воспроизведениям и по доступным мне в Петербурге оригиналам<sup>165</sup>. А в галерее десятилетняя девочка драгоценный мне дала насчет Рембрандта урок. Стояла она с матерью, дамой в трауре, перед картиной, висящей нынче в Вашингтонской Национальной галерее, «Иосиф и жена Пентефрия». Версия эта интимней и скромней берлинской, хотя по композиции и очень ей близка<sup>166</sup>. По одну сторону широкого ложа стоит Иосиф, опустив руки, по другую – Пентефрий склоняется к жене, обвинительным жестом указующей на Иосифа. «Скажи, мама, – помолчав, вымолвила девочка, – она его прощает?» И вопреки библейскому рассказу, вовсе, вероятно, и не известному ей, девочка была права. Рембрандт, приближаясь к старости, сюжеты свои стал истолковывать все менее буквально. В берлинской версии (по заказу исполненной, как я думаю) обвинительный жест более подчеркнут, и невинный Иосиф глаза возводит к небесам и руку поднимает в подтверждение своей невинности. Здесь ничего этого нет, картину

эту писал он, должно быть, для себя. Драматическое взаимоотношение этих трех лиц предполагал известным, но не оно его интересовало, скорее другое: тайна их судьбы, их встречи, соприсутствия тут, в этой спальне, трех совершенно разных душ. Обвиненье или что другое – не так уж это важно. Мать что-то объясняла девочке. Я не слушал. Мне было достаточно тех невинных девочкиных слов<sup>167</sup>.

Люблю смотреть картины с собой наедине. Кажется, иным спутникам умел я их и показать; но любой спутник, наимилейший, наилучший, мешает мне их видеть: я словно чужими глазами на них смотрю, и взгляд мой по ним скользит, в них не углубляясь. С удовольствием тем не менее вспоминаю, как водил меня раз по Эрмитажу барон Липгардт<sup>168</sup>, многим и на Западе знакомый знаток старинной живописи, живописец сам и реставратор, но и придворный, самого что ни на есть «большого света» человек. Говорил он необыкновенно изящно на французском языке времен Второй Империи, но сам в себе ценил больше всего прочего, как пришлось мне убедиться, свое реставраторское мастерство, пострадали от которого главным образом итальянские живописцы семнадцатого века. Когда мы подошли к «Обручению св. Екатерины» Джулио-Чезаре Прокаччини (художника, которого я лишь намного позже, в Милане, научился по-настоящему ценить)<sup>169</sup>, барон положил мне руку на плечо и сказал: «Вам нравится? Au fond, c'est désormais mon œuvre» (собственно говоря, отныне это моя работа). И действительно, щеки Мадонны и св. Екатерины, щечки Младенца были так розово подкрашены, как бывают только восковые головы в парикмахерских витринах. Я что-то учтливое пробормотал, тоже, конечно, по-французски. Грех был бы обижать его. Сам он был живой экспонат музея поздней императорской России, живой памятник ее оскуденья и упадка. Но как хороши были его манеры! Как нескучно было его слушать, какую бы чепуху он ни говаривал! Конец республик – распад и больше ничего; падение монархий – финал не гениального, но все-таки балета.

### Прозрачный Петербург

Как он бессмертно в те годы был хорош, умирающий, уплывающий в неведомую даль мой город! С каждым днем делался он все прозрачней и, становясь прозрачным, становился призрачным. Полвека с тех пор прошло, но я и сейчас говорю о нем тем языком, которым научил он меня говорить в те прощальные свои годы. Умолкли другие голоса, закрылись глаза, видевшие его, каким он был тогда, но я, покуда не умру, буду видеть его именно таким и нынешним отказываюсь его видеть. Знаю, что главные его здания сохранились очень хорошо, что нынешняя окраска Зимнего дворца гораздо выиг-

рышной для него и правильной исторически, чем прежняя<sup>170</sup>, и что хорошо сделали, убрав садик слева, если с площади смотреть, с его сомнительного вкуса чугунно-каменной решеткой<sup>171</sup>. Поезжайте, любуйтесь, изучайте, говорю я иностранным своим друзьям; но ведь я не иностранец: я петербургский, петербургской России россиянин, а так как советская Россия от петербургско-европейской отреклась, то я в моем городе теперь ощущал бы себя как на чужбине. Париж к прежнему Петербургу ближе, чем нынешняя Москва – владеющая им, властительная Москва, и я страшусь в заштатной столице угадать под ее фронтонами спрятанное Замоскворечье.

Уже властвовала над нами тогда московская зубро-кремлевская власть, парадоксальным образом изничтожившая Москву и погубившая камни Петербурга, но не совсем еще научилась властвовать, и петербургская Россия еще жила или медленно умирала в Петербурге. Оттого и сам он еще жил, умирая на наших глазах, прекрасно, осиянно умирая. Знаю, что и сейчас петербуржцы – не москвичи, даже новые, пришедшие петербуржцы. Сопротивляются они по мере сил Москве – не старой доброй Москве (ведь и я ее любил и люблю), а недоброй наследнице худших черт московского царства, и помогает им в этом тень – или саван – омертвелою их города, его строгая и стройная, западная его архитектура. Но мне было бы мало этой тени. Я живым его помню, я в живом родился и рос, и я жизнью его дышал в долгом его умирание. С Дворцового моста глядел на его дворцы, к Исакию, к Медному всаднику шел, и казалось мне порой, что не приду, что видение этот купол, что не тяжел, а невесом стотысячепудовый этот собор и что Зимний и дальше за ним все прибрежные дворцы вот-вот утратят каменную свою компактность, прозрачными станут, прозрачным станет Петербург, и проступит сквозь него вся бескрайне-равнинная необозримая Россия.

Пауза. Полвека прошло. Полвека и два-три года.

Идет по Миллионной Сологуб, а навстречу ему деревенская старушка.

– Не знаешь ли, родименький, где тут улица Халтурина?

– Не знаю, гражданка. Здешний я, не знаю.

Сгорбилась как-то старушка от такого ответа и засеменила дальше по улице Халтурина, а Федор Кузьмич, не оборачиваясь, миновал Эрмитаж и вышел на Дворцовую площадь. Поступь его была тяжела, как и его нрав, и тон его ответа – нет у меня сомненья на этот счет – был загробный. А не сомневаться в этом есть у меня особые причины. Представлен я был ему старшим другом моим Верховским месяца через два после погребения Блока и прочел ему, по настоянию Юрия Никандровича, три моих стихотворения. Прослушал их Сологуб, глядя на мои башмаки, молча и не поднимая глаз. Но после третьего, «На смерть Блока», мрачно-премрачно на меня взглянул и вот

именно этим загробным своим голосом произнес: «Это вы, молодой человек, о себе стихи написали, а не о Блоке». Я почтительно молчал, ожидая дальнейшего над ними суда, ведь замечание это, хоть отчасти и верное, о качестве стихов ровно ничего не говорило. Давным-давно, еще из России не уехав, сам я понял, что невысоким было это качество, но Сологуб больше ничего о моих стихах сказать не пожелал. Читал Верховский. И ему он не сказал ни слова. Потом прочел, и очень хорошо прочел, несколько своих превосходных стихотворений, после чего куда-то заспешил, буркнул мне, однако, на прощанье, чтобы я стихи писать не бросал, как мог бы врач посоветовать пациенту продолжать лечение: не вовсе, мол, безнадежна твоя болезнь. «Всегда он был таким, — сказал Верховский, — недаром кирпичом в сюртуке его прозвали<sup>172</sup>, а теперь и пуще помрачнел». Есть у меня и другое рассказать о нем, но позже это было, отложу, а теперь на Миллионную вернусь к серо-гранитным атлантам Эрмитажа.

Не досказал я прошлый раз того, что знаю о другом старике, старше Сологуба и более, чем он, похожем на Петербург, на царский, последних царствований Петербург; да и о нем, Петербурге предоктябрьском, кое-что скажу, чтоб не думали, что я так-таки без единого упрека прекраснодушно им люблюсь. Мраморный дворец, например, что возле Марсова поля глядит на Неву... Зодчего его, Ринальди, не в чем мне упрекнуть, но жил там великий князь и поэт К.Р.<sup>173</sup>, и было в кабинете у него такое приспособление: на кнопку нажмешь, и выплывает из стены — не бутылка вина и рюмка, о нет: великий князь на кнопку нажимал, когда испытывал потребность помолиться Богу, и хоть был он православный, не икона появлялась на его зов, а сладенькая скульптурная, в Италии, нужно думать, купленная Мадонна с Младенцем. Как это удобно, нажмешь на кнопку, и молись<sup>174</sup>. А в Павловске, в том дворце, где некогда жила вдова Павла I-го императрица Мария Федоровна и который меблирован был ею самого высшего, музейного качества французской мебелью, поздние обитатели его черной краской покрасили бронзовых грифов под сиденьями чудесных красного дерева кресел, а одну из люстр овального вестибюля (где их было две, потому что у эллипса два центра) перевесили в другую комнату. Но всего жалостней был в спальнях великих княжон Александровского Царскосельского дворца веселенький ситец бамбуковых ширм, не говоря уж об открытках веером на стенах. Всего жалостней и всего страшней, если вспомнить о страшной судьбе этих девушек.

В безвкусице и в каком-то ситцевом чувстве жизни кончаются монархии; и аристократии сами собой опрощаются, переходя не в крестьянство, но в мещанство, — барон Липгардт пленил меня своим западной школы аристократизмом, когда показывал мне в Эрмитаже подправленные им картины старинных мастеров. Вскоре после

этого получил он, по распоряжению свыше, заграничный паспорт и отправился с престарелой супругой своей<sup>175</sup> в Париж, где, конечно, не раз бывали они в прежние времена. Но какой сюрприз! Подумайте: удвоилась цена масла, полвека не менявшаяся до войны. Как и все прочие цены... Да это просто невозможно! И Липгардты вернулись в Петербург. Но тут, чего уж о масле говорить, жить стало вообще и голодно и неуютно. Паспортов им во второй раз не дали. Они попытались тайно перейти границу. Были пойманы. Их вели по Миллионной, под окнами Эрмитажа, в толпе поносивших их и угрожавших немедленной расправой представителей пролетариата. Кажется, барон и баронесса умерли еще до суда над ними. Лучше бы не уезжали; лучше бы не возвращались...<sup>176</sup> Незамеченной прошла их смерть. Где уж тут, не до того... «Петрополь, город твой, твой брат, Петрополь умирает».

### Командировка за границу

В предыдущей моей беседе<sup>177</sup> рассказал я об эрмитажном бароне Липгардте, получившем паспорт, уехавшем с семьей в Париж, а потом испугавшемся вздорожания жизни и вернувшимся на свое горе в Петербург. Не без жалости к нему рассказал, но и не без иронии. А я-то ведь сам в 22-м году соригинальничал совсем в таком же роде. Получил университетскую командировку и с ее помощью паспорт, в середине лета прибыл к моей матери «на дачу» в Финляндию, а затем съездил в Германию на четыре месяца, после чего, опять через Финляндию, вернулся к Рождеству в Петербург<sup>178</sup>. В отличие от Липгардта, у меня так и задумано все было, разыграл я этот замысел словно по нотам, со столь последовательным легкомыслием, что теперь, даже уже и давно, давным-давно, как подумаю об этом, только плечами пожимаю и готов бываю сам на себя в зеркале пальцем показать. Уже в 18-м году я съездил осенью в Финляндию, но вернулся в Петербург и поехал потом в Пермь, что было архиглупо, но тогда, по крайней мере, ждала меня в Петербурге жена (которую я, однако, вовсе и не уговаривал ехать в Финляндию со мной, чтобы отправиться затем подальше на Запад). Теперь я с женой развелся (хоть и не поссорился, продолжал с ней видеться), никакие новые «узы» не препятствовали моему отъезду, а я тем не менее уезжать «всерьез и надолго» не захотел. Не надумал и, будучи уже за границей, остаться там. Привязан был к моим лекциям, к университету, к Эрмитажу, к немногим моим друзьям, к сохранившейся части моих книг... Не хочу сказать: к Петербургу, к России; я ведь все-таки через полтора года после возвращения уехал. Едва-едва удалось мне тогда уехать. Но сознаюсь, что при первом отъезде неразумно утешительная мысль мелькнула на задворках моего ума: раз я таким паинькой вер-

нусь, то, буде я того захочу, с еще большей легкостью отпустят меня снова.

1924-й год наглядно мне показал, насколько мысль эта была вздорной, но пока что всего лишь 22-й начался, и объясниться мне следует насчет первого моего отъезда. Денег-то ведь у меня не было; у моей матери, в Финляндии, их тоже не было. На командировку, оплаченную университетом, я по тогдашним временам рассчитывать никак не мог. О вовсе невозможном не очень ведь и мечтаешь, а возможность обнаружилась лишь после одной неожиданной встречи, в результате которой я даже и не то чтобы размечтался, а трезво стал обдумывать план, который затем и осуществил.

Очень изредка встречал я в Петербурге старых наших знакомых, не столько моих, сколько знакомых моих родителей. Раз я на улице встретил Петра Денисовича Кедрова, приезжавшего рыбку поудить к нам на дачу и дарившего мне более или менее редкие книги, из которых ни одной, кажется, у меня не оставалось: украдены были во время моего пребывания в Перми. Я едва его узнал, так он был рас-терян, потерян, да к тому же, очень может быть, и голоден. Сперва он страшно мне обрадовался, а потом, узнав от меня о смерти моего отца, прослезился и как-то затих, что-то стал мямлить, куда-то торопиться и расстался со мной, так ничего о себе и не рассказав. Приспособленцем едва ли он был, прожил, вероятно, недолго.

Зато сам разыскал меня другой знакомый моего отца, гостем в нашем доме ни на даче, ни в городе не бывавший, английского происхождения агент по продаже недвижимостей, Эдуард Иванович Сно. Кажется, при его именно посредстве отец продал дом на Морской и купил дом на Каменноостровском. Эдуард Иваныч был старше Петра Денисовича, но крепче, выше ростом; не размяк он, а око-стенел; главное же, не остался без дела и даже не переменял профес-сию. Он объяснил мне, что недвижимость покупают и теперь люди дальновидные, то есть ставящие ставку <sic!> на скорое падение советской власти, по ценам, ясное дело, совсем на прежние не похо-жим, но что мне, если я на будущее смотрю менее оптимистически, чем они, все-таки стоит подумать о продаже отцовского дома, ну, скажем, того, что поменьше, на Литейном<sup>179</sup>, и назвал мне сумму, которую я за него мог бы получить. Сумма была невелика, но опти-мизма по поводу советской власти было у меня и того меньше. Я сказал, что подумаю, но думал недолго и через два-три дня дал ему положительный ответ. Условлено было, что доллары будут мне вы-плачены в Гельсингфорсе, и я рассчитал, что мне их хватит на пол-года жизни, из которых первые два месяца я проведу у матери на даче, а четыре в Германии, где свирепствует, как я слышал, небыва-лая инфляция, но где доллар зато и особенно всемогущ. Сделка была заключена, подписи на бумаге очень сомнительной юридической

силы поставлены, и я стал хлопотать в университете о шестимесячной заграничной командировке для осмотра немецких музеев и для работы в берлинском кабинете эстампов (Kupferstichkabinett) и берлинской библиотеке, специализированной по истории искусств.

Эдуард Иванович воображал, что я продал дом его (дурашливому, на мой взгляд) клиенту. Но на самом деле я продал его Рембрандту – от чего комиссионная пачка ассигнаций (неизвестно уж каких), Эдуардом Ивановичем прикарманенная, разумеется, не отошала. Думаю, что заработал он на этой сделке не меньше денег, чем предстояло мне получить в Финляндии. Он был при последнем нашем свидании хоть и простужен, но доволен. Капля, висевшая на конце его длинного красного носа, упала мне на руку, когда мы прощались. Но доволен был и я. Рембрандтов Дрездена и Берлина я видел в 1912 году, но не тех, что хранят музеи Франкфурта, Касселя, Брауншвейга, и тогда Рембрандт еще не был для меня тем, чем он стал теперь, да и очень я был юн, очень опьянен Италией<sup>180</sup>. Теперь и берлинские (целых двадцать!) и дрезденские его картины увижу я по-новому; а франкфуртское «Ослепление Самсона», а кассельское «Благословение Иакова», а брауншвейгский «Семейный портрет», одно из последних его творений!<sup>181</sup> Как буду глядеть на них, как я в них вопьюсь глазами... Ihr glücklichen Augen...<sup>182</sup> Да, счастливые гла-за. Гёте незадолго до смерти это сказал, а мне двадцать семь лет, но я знаю, что такое это счастье. И ведь в Kupferstichkabinett'e, кроме очень полной коллекции рембрандтовских офортов, есть еще и одно из лучших собраний его рисунков. Да ведь и многое другое я увижу. Сикстинскую Мадонну, еще раз, и Венеру Джорджоне. Прелестный дрезденский Цвингер<sup>183</sup> и чудные тамошние две церкви, католическую и протестантскую<sup>184</sup>. Потсдам увижу, берлинскую Националь-ную галерею, где есть – я их помню – и Мане, и Ренуар. Увижу брауншвейгский собор, поеду в Магдебург посмотреть магдебургский...

Подумать только! И все сбылось. И командировку я получил, и паспорт, и финскую визу, и доллары мои без обмана были мне выплачены, и у матери я два месяца счастливо прожил, и Милочка Барановская, дочь наших соседей, которую я девочкой знал, как она мила и как она стала хороша собой<sup>185</sup>. Все петербургское и пермское я забыл. Шесть месяцев, когда ты молод, да разве им будет когда-нибудь конец!

### Берлин. Музейный остров

Прожив два месяца у моей матери, «на даче, в Финляндии» (но теперь из этих слов выветрился прежний смысл), я в конце августа или в первых числах сентября 1922 года отправился в Гельсингфорс (Хельсинки), а затем на пароходе в Штеттин<sup>186</sup>, откуда поезд быстро

доставил меня на берлинский вокзал, жаль, что на другой, не на издавна мне знакомый вокзал Фридрихштрассе. Комнату я, однако, снял неподалеку от этого именно вокзала, в той же гостинице на углу Фридрихштрассе и Домштрассе (Dom Hotel), где за десять лет до того прожил я несколько дней с матерью и школьным моим другом, возвращаясь из Италии. Портье разыскал даже мою фамилию в одной из толстых книг, стоявших за его спиной на этажерке, и отвел мне, по моей просьбе, комнату, выходящую окнами на двор, подешевле, но и потише тех, что мы снимали у него в 1912 году. Скучноватая была комнатенка. Ни к гостинице этой, ни к этой улице, ни к самому городу Берлину никаких особенно нежных чувств я не питал, но был доволен. Вольным путешественником себя чувствовал.

Полагаю, что предчувствовал я это чувство и радость, связанную с ним, еще в пятилетнем возрасте, когда на этом самом вокзале Фридрихштрассе целую кружку пива осушил, куда моя мать, оставив меня одного за столом, пошла хлопотать насчет билетов. Первых этих железнодорожных восторгов моих не помню, но помню другие, когда мне было десять, тринадцать, семнадцать лет. А теперь был я один, был еще вольней. Сам выбрал, куда мне ехать. Куда хотел, туда и приехал. Поеду, куда хочу. Буду здесь делать, что хочу. Со стороны взглянув или издали вспомнив, все эти «куда хотел», «куда хочу» выглядят до игрушечности скромно. Совсем не понимать этого я и тогда не мог<sup>187</sup>; все равно: я был доволен. Уже на пароходе испытывал это не всем понятное счастье, эту наиболее мне доступную, эту единственную искомую мною разновидность того, что зовется счастьем. Так уж я устроен. Никогда в жизни я и не скучал – наедине с собой.

Проснувшись в первое утро на пароходе, я заметил, лежа на верхней своей койке, что ступни моих ног то поднимаются куда-то к потолку, то столь решительно опускаются вниз, что почти принуждают меня именно и стать на ноги. Эге, подумал я и разыскал в несессере подаренное мне гельсингфорскими друзьями средство от морской болезни, полежал, приняв его, как мне было рекомендовано ими, а затем, соблюдая с трудом равновесие, оделся и направился в столовую. Кофе я там пил в почти полном одиночестве, а так как буря подымалась весь день, то и завтракал, и обедал, как и еще два-три пассажира, за капитанским столом. Другие столы были накрыты, но понапрасну; за ними никого, что доставило мне совсем уж ребячливое удовольствие. Гордиться было нечем, стойкость моя объяснялась не каким-нибудь врожденным предрасположением к мореплаванию, а всего лишь действием лекарства, которое к тому же порядком одурманило мне голову. Но и в дурмане я был счастлив, хотя никаких дурманов не люблю. Вопреки дурману был счастлив, на следующий день – без него; а на третий, утром, в Берлине, этот мой



радостный подъем духа сам собою обрел оправдание и цель. Выйдя из гостиницы, я на Фридрихштрассе и не взглянул, а тотчас направил шаги к Музею Императора Фридриха<sup>188</sup>. Был этот вольный путешественник – уже тогда – неисправимо музейной крысой.

Бывают дни, когда мне кажется, что я всю жизнь провел в музеях – или на выставках, – хотя точный подсчет проведенных мною таким образом часов показал бы, конечно, что было их, по сравнению со всеми другими, не так уж много<sup>189</sup>. Но если при подсчете этом принимать во внимание лишь самые живые, самые насыщенные духовно и душевно часы, результат его будет все же показателен. До совсем недавнего времени я мог проводить в музеях, при полной свежести внимания, четыре часа, а после часового перерыва и еще два, хоть уже при восприимчивости менее острой. Но восприимчивость эта у меня и вообще не всегда та самая, что нужна искусствоведу для анализа художественных произведений. Мне часто приходилось себя заставлять таким анализом заняться: слишком уж я склонен после краткой предварительной оценки в созерцанье – картины, например, – уходить, подчиняться ей, любуюсь ею, если она – творение большого мастера, или любоваться в ней, забавляться, на нее глядя, особенностями ее, отнюдь, быть может, и не содействующими ее совершенству. Здесь, в Берлинском музее, для таких неэкстатических созерцаний больше было пищи, чем для других. Он менее богат из ряда вон выходящими шедеврами, чем был ими богат Эрмитаж или чем богаты ими старые дворцовые собрания Парижа, Мадрида, Вены, Флоренции, Дрездена или Мюнхена, да и Лондонская Национальная Галерея, создавшаяся в прошлом веке одновременно и в соперничестве с ним, качеством своих картин к началу нашего века его опередила. Но представлены в нем все школы европейской живописи и все ее большие мастера с удивительной равномерностью и полнотой. Это прежде всего – дидактический музей. Вот я и начал там с первого же дня усерднейшим образом, но и с величайшим удовольствием учиться.

Почему-то запомнилось мне то первое утро. Солнечное оно было. Музейный квартал Берлина – «Музейный остров»<sup>190</sup>, как он зовется там, – был уже мне знаком, но чуть ли не еще нарядней показался теперь, чем при императоре Вильгельме. Тщательно подстриженный газон сочно зеленел. Празднично пестрела осенняя листва деревьев. Столь образцово вычищенных мостовых, тротуаров, решеток не видел я давно. Сделал маленький крюк. Полюбовался исчезнувшим с тех пор Королевским замком Шлютера (где помещался тогда музей прикладных искусств), окинул взглядом четкую громаду Шинкелем построенного Старого Музея и быстро повернул в сторону бесстильного уже, на хорошую гостиницу недавних времен похожего, «моего», по преимуществу, Kaiser Friedrich Museum. Эх, Гентского

алтаря не увижу: он уже вернулся в Гент<sup>191</sup>, думал я, поднимаясь по затейливо изогнутой лестнице. Все равно, с нидерландцев того времени начну. Их и разглядывал все утро, Гертгена тот синт Янса<sup>192</sup> особенно оценил. Закусив потом где-то, ранних итальянцев смотрел, от «Пана» Синьорелли оторваться долго не мог (погиб он при взятии Берлина, как и шлютеровский дворец)<sup>193</sup>. Вернувшись в гостиницу, записывал что-то, письма писал. И только под вечер, отправившись поестъ наискосок по Фридрихштрассе в ресторан пивоварни Пшорр, – прозрел, с неба на землю спустился, очнулся.

Невсамделишный Берлин «Музейного острова» исчез, предстал мне живой, 1922 года, настоящий. Брр! Когда вспомню, нехорошо становится у меня на душе и сейчас. Совестно делается мне вновь, что приехал вольный путешественник туристом этаким и любителем искусств именно тогда, в несчастный, голодный, опозоренный этот город. О нем надлежит мне говорить, а не о музеях... Сижу за столиком, и что-то мне уже меньше хочется есть. На улице, подходя к Пшорру, стал я в толпе замечать вполне прилично одетых, но мертвенно бледных людей со впалыми глазами, а теперь, только что мне подали мои сосиски с капустой, увидел я глаза, неподвижно уставившиеся на меня. Я сидел у окна. В его цветном узорчатом стекле открывались местами прозрачные просветы. У того, кто смотрел в такой просвет, было молодое изможденное лицо. Когда он заметил, что я его вижу, он нервно повел плечами и дальше зашагал по мостовой.

### Берлин 1922

«Rausgeschmissen?»<sup>194</sup> – вопросительно окрикнул меня, заглянув в мой паспорт, красномордый толстый полицейский и, когда я ответил, что не выслан, а приехал добровольно и лишь на время, глянул на меня бойкими своими глазами, поставил печать, вернул паспорт и с той же уверенностью буркнул: «Na, es wird schon kommen»<sup>195</sup>, то есть что рано или поздно из страны моей непременно меня вышвырнут.

Выслать меня не выслали и два года спустя, но прав он был в том смысле, что места для меня в моей стране больше не было и что в этом убедиться предстояло мне в очень недалеком будущем. Из тех, что были высланы большой группой в этом году, некоторые уже прибыли в Берлин, другие в Прагу, но все это были люди намного старше меня – философы, писатели, ученые, имена которых хорошо были известны в России, а частью и за границей. Никого из них я лично не знал, но в начале года познакомился в Петербурге с Ходасевичем, который теперь находился в Берлине, хотя к высланным и не принадлежал. Когда я приехал, впрочем, его еще тут не было, повидал я его позже, месяца через два<sup>196</sup>; в гостях был у него два-три

раза – у него и Нины Николаевны Берберовой, нынешней его, третьей по счету, жены, с которой вместе он уехал из Петербурга, но которую я в Петербурге не знал. По-настоящему стать их другом предстояло мне позже, в Париже, но и здесь приятно мне было у них бывать, Ходасевича я все глубже учился ценить и уважать не только за его стихи. Бывал бы у них, вероятно, и чаще, если бы не мои поездки в музейные города и неберлинские библиотеки и музеи. Встретил я раз у Ходасевича Виктора Шкловского, которого немножко знал в Петербурге и который, кажется, помышлял уже тогда о возвращении в Россию<sup>197</sup>. Встречал у него и других литераторов, но кого именно, не помню; Зайцева, Ремизова, Муратова, кажется, у него не встречал, познакомился с ними только в Париже. Вообще, я ведь себя к эмиграции не причислял, а значит, и к довольно обширной в то время русской колонии Берлина. Мне вскоре предстояло вернуться в Петербург. Не знаю, думал ли Ходасевич тогда обо мне – немножко, как тот толстый полицейский, – что и я в скором времени окажусь за пределами нашего отечества; не помню даже, что я сам в точности об этом думал. Знаю только, что возможности этой не исключал. Когда прощался с Ходасевичем, не было у меня чувства, что навсегда прощаюсь. И его возвращения в Россию я, конечно, не ожидал.

Белого не видел – предвозвратного, полубезумного. Об этом жалею. Но вообще-то ведь я именно не в русском Берлине и жил, а в Берлине книг и картин, Берлине «Музейного острова», да и все-таки – больше, чем все русские, кого я встречал? – в немецком Берлине 1922 года. Они его, помнится, как будто и не замечали. Не то чтобы города вообще, тяжелого, чужого, огромного города. Он, конечно, почувствован, и очень остро, в берлинских стихах Ходасевича (вошедших в его «Европейскую ночь»<sup>198</sup>), как и в ранних книгах Набокова (Сирина).

«Инфляция» – скучное слово, не перестают быть скучными и ужасные – или отвратительные – последствия ее. Та, однако, что достигла в Германии совершенно гротескного апогея в начале 23-го года, после моего отъезда, но нелепо и дико росла с каждым днем уже при мне, была в своем роде даже и «спектаклярна», на той же Фридрихштрассе, где я жил, особенно вечером и ночью... Я наблюдал ее в натуре, хоть и поверхностно, оттого, что ни <в> какие ночные заведения не ходил, но на все времена она запечатлелась в карикатурных, но в самой карикатурности своей глубоко правдивых рисунках Георга Гросса<sup>199</sup>. Именно так все и было, как у него. Чудовищно разросшаяся и неслыханно уродливая проституция. Коротконогие, шляпа на затылке, спекулянты с толстыми портфелями, шеями и сигарами. Пир, тошнотворный пир, тошнотворный обжорством и от всего человеческого отрешенный механизированной похотью; пир не во время чумы, а во время голода, и не всеобщего голода, как

в Петербурге два года назад, а такого, при котором товару в мясных и колбасных, пекарнях и кондитерских сколько хочешь, но студент, до вечера не съевший ни полсухаря, моет посуду в кабаке, надеясь объедками поживиться от ужина с паштетом и индейкой. Да, студентов я жалею особенно. Видел их в библиотеке, еще пытающихся работать, но с туманом в провалившихся глазах. Думаю, и тот юноша был студент, который глядел на меня в окно, когда сосиски мне принесли у Пшорра.

Сам я себе казался спекулянтом, «шибером» (это словечко вошло в немецкий обиход именно тогда). Разменяешь, бывало, утром доллар и получишь за него сорок тысяч (к примеру говорю) марок. Трать их скорей: завтра твой обед будет стоить не двадцать тысяч марок, а двадцать пять тысяч. Если же у тебя этих тысяч нет, долларов нет – милостыню проси, продавайся так или иначе или дохни с голоду. Рабочие не голодали, как и многочисленные категории служащих, государственных или городских. Голодала та половина населения, без которой промышленность, без которой город или государство могли в крайнем случае – или без крайнего случая – обойтись, и, конечно, их семьи, их дети. Голодали, донашивая еще не успевшую сноситься одежду, живя в хорошо обставленных квартирах без топлива, а может быть, и без освещенья. Голодали люди, стыдившиеся своего голода. Допустившие такое положение вещей победители Германии не только взяли на душу ужасный грех, но и проявили, как это стало ясно немного погодя, позорнейшую глупость. Если не Гитлера, то его успех, его триумф создали именно они.

Торговля процветала – любая торговля. Витрины сияли – всяческие витрины. Но всего скверней было думать о людях, медленно умирающих голодной смертью, созерцая – ведь и ими созерцаемые – витрины колбасных и мясных. Старался не думать и не созерцать. Но ведь ел же сосиски у Пшорра, шницели яблочными пирогами заедал. Каюсь, ел. Но что ж мне было делать? Неужто восвояси убираться, музеев не досмотрев, нужных книг и журналов не дочитав? Не съездив – там ведь та же инфляция, тот же голод – ни в Дрезден, ни в Брауншвейг, ни в Кассель? Я поступил благоразумно: все мне нужное прочел, посмотрел, везде, где наметил, побывал. Об иных безрассудствах моих вспоминаю я с меньшей горечью. Да ведь и не страдал с утра до вечера. Забывал. В мрачность лишь изредка впадал. И кроме случая в Дрездене, о котором речь впереди, только раз сжалось у меня сердце так же сильно, как в тот первый вечер за сосисками у Пшорра, – или, быть может, (хоть и не по той же, не по одной той же причине) еще сильнее.

В Королевском замке это было, в том зале музея, что отведен был собранию медных распятий романской эпохи, которые, при малом

размере, столь сильны бывают в сдержанности своей и простоте. Нагнулся я над одной из витрин и заметил, что распятие, всех царственной показавшееся мне, прикреплено, как и другие, ко дну бархатом выложенного ящика четырьмя длинными булавками, пропущенными сквозь раны на ладонях и ступнях Христа. Длинные, головка широкая, энтомологические булавки – точно такие, как те, на какие я в детстве насаживал собираемых мною бабочек и жуков. Практично... И вдруг я понял: распят еще раз. Мы. Наш век. Быстро отошел в сторону. Больше к этим витринам ни в тот раз, ни в другой не подходил.

### Франкфурт, Кассель, Брауншвейг

Германия 22-го года. Гляди в оба, чтоб у тебя чемодан не унесли из-под носу на вокзале или не выловили из сетки в поезде. Остановившись в гостинице, очень даже неплохой, не выставляй башмаки на ночь в коридор, если не хочешь, чтобы они у тебя исчезли за ночь. Аппетитного бутерброда, приготовленного для тебя в столь же аппетитной колбасной, на скамейке в городском саду не ешь. Спрячься. Не из опасения, как бы у тебя из рук его не вырвали (подобных действий еще не наблюдалось), а потому что сам ты устыдишься взгляда, который бросит на тебя сосед твой по скамейке или мальчуган, проходящий мимо. Да и в ресторанах, по тем же соображениям, иди вглубь, у окна не садись. А когда сдачи тебе дадут, бумажку отдели, чтобы у безногого на углу сапожные шнурки купить, ничего, что уж двадцать пар накупил: домой вернешься, пригодятся.

Так-то вот и странствовал по немецким городам Herr Doctor Weidle, искусствовед aus Petersburg<sup>200</sup>. Неподолгу останавливаясь в каждом, музеи осматривал, церкви, дворцы, в довоенный Бедекер заглядывал по временам и зонтик, в Берлине купленный, раскрывал, когда шел осенний дождик. Но погода была, помнится, недурна, все, в Бедекере отмеченное, я находил на своих местах, и от Берлина отдыхал: нигде мне тут столь бесстыдная нажива и столь мерзкий разгул, среди голода пирующий, не встречались. Города хотя бы и покрупней, как Франкфурт, казались сонными по сравнению с Берлином, в маленьких, действительно сонных, жилось, вероятно, из-за близости деревни немножко лучше тем, у кого не было валюты или зарплаты, заново исчисляемой каждую неделю в соответствии с инфляцией. Настроены были люди, насколько я мог заметить (знакомств немецких не было у меня никаких), подавленно, сумрачно и вместе с тем выжидательно. Горечь поражения менее ими ощущалась, чем сознание ущерба, нанесенного войной. Повсюду встречались калеки – однорукие, колченогие, слепые с овчарками, верными их поводырям. Немое восклицание нередко можно было прочесть на лицах: когда же это кончится? Уже на миллионы пошел счет. Про-

должаться так не может. Но уличная война между сторонниками двух крайних решений еще не началась, хотя кое о чем из того, что к ней привело, уже можно было прочесть в газетах. Но если я и просматривал их, то за утренним кофе, очень бегло. Жил не в настоящем, а в прошлом, и в прошлом не одной Германии: ведь не на одни немецкие картины глядел в немецких картинных галереях. Но немцам сочувствовал. Не потому чтобы себя немцем ощущал – этого, несмотря на училище, мною оконченное, и на мою фамилию, никогда во мне не было, а потому что любил Германию как часть любимого мною Запада, да и как Францию или Италию, в ее своеобразии, в ее немецкости Германию любил. В беду она попала, пусть и не только по чужой вине. Радоваться этой беде было бы и омерзительно, и глупо.

Посетил я Магдебург, ради собора, и осталась у меня в памяти суховатая четкость его замысла, резкость углов и вертикалей да светло-серый холодный тон его камня, столь подходящий к этой отнюдь не французской – более земной и трезвой, самоутвердительной готике<sup>201</sup>. Не зря я побывал и в Брауншвейгском суровом соборе<sup>202</sup>, войдя в боковой корабль которого испытываешь головокружение, оттого что позднейший (XV века) зодчий заблагорассудил разделить его надвое столбами, закрученными попеременно то вправо, то влево, да и ту же игру распространил на нервюры сводов, приглашая и нас, если мы вверх поглядим, к такому же сногшибательному танцу; лучше уж под ноги себе смотреть, если ты с запада вошел и в этот корабль попал, направляясь на восток. Но самое замечательное, что я тогда повидал из эпохи «мрачного средневековья» – о, «поповщина», как ты бываешь хороша! – без сомнения, был вот уж не мрачный, а преуютный и расчудесный городок Гильдесгейм<sup>203</sup>. Пострадал он во вторую войну, а из первой вышел невредим. Все утро я там провел в церкви Св. Михаила<sup>204</sup>, капителями ее любовался и расписным (отлично подновленным) потолком; дактилическое чередование ее пилястров и колонн в памяти у меня поет, как размер давным-давно прочитанного, но все еще не забытого стихотворенья. А во вторую половину дня я другие достопримечательности смотрел и домами давних веков, для людей, а не для автоматов построенными, любовался. Милый Гильдесгейм! Всего день я с тобой провел. Не видел тебя с тех пор и не увижу.

Однако главной целью и главной пищей поездки моей этой были музеи, а не города. Картинные галереи, а среди картин на первом месте картины Рембрандта. Оттого, Дрезден на другой раз отложив, я и говорю: Франкфурт, Кассель<sup>205</sup>, Брауншвейг. В этом именно порядке, потому что Франкфуртской галерее принадлежит сравнительно раннее рембрандтовское «Ослепление Самсона», кассельской – на двадцать лет более позднее «Благословение Иакова», а брауншвейг-

ской – «Семейный портрет», еще позже написанный, к последним творениям его принадлежащий. Но разве тут хронологическая последовательность такую большую играет роль? Для меня – огромную; а в случае Рембрандта, и объективно рассуждая, огромную тоже. С тех пор, как он так много стал значить для меня (за год примерно до этой моей поездки), я уже и не думал о нем иначе, как думая именно о его развитии. Для любого художника оно важно – для любой личности! – но ни у кого отличие поздних вещей от ранних таких глубин не приоткрывает, как у него. Ведь он не просто гениальный живописец; он религиозный гений – как Лютер, св. Франциск или бл<аженный> Августин. И не сразу эта религия его ему открылась, лишь к концу открылась до конца. Мы-то можем, конечно, и с конца, с эрмитажного «Блудного сына» начать, но и мы вполне откровение это поймем, только проследив весь путь, Рембрандта к нему приведший.

Как мелодраматически свирепо, плебейски наглядно «Ослепление Самсона»! Глядеть страшно даже и на курносую Далилу с ножницами и обрезанными волосами в руках, летящую из мрака в свет. И какая благодать зато в благословляющем, пусть и не старшего внука, Иакова, так что общий замысел его благословения упраздняет тот буквальный сюжетный смысл, о котором думать нам Рембрандт не велит и о котором, кажется, и сами действующие лица позабыли. А в «Брауншвейгском семействе» – мать, отец, трое маленьких детей, – ведь их общая семейная душа и взаимная любовь присутствуют в каждом из них вместе с его личной любовью и душой, – как теплятся эти души, чувствуем мы в мягком мерцании потухающих и вспыхивающих красок.

Когда замышлял я эту мою рембрандтовскую поездку по Германии и когда ее осуществлял, да и после того много-много лет, вовсе я не думал, чтобы существовала какая-то связь между событиями или всей жизнью тех лет и сыновней моей любовью к сыну лейденского мельника. Но теперь – совсем недавно – я понял, что связь эта была. Недаром все глубже учился я тогда понимать, как ужасна была для всех нас, европейцев, христиан, война 14-го года. Недаром довелось мне и увидеть этот послевоенный мерзкий и жалкий Берлин...

В Брауншвейгском музее есть и другой, более ранний, Рембрандт: «Явление воскресшего Христа Марии Магдалине». Небольшая картина очень потемнела, по воспроизведениям трудно о ней судить. Магдалина упала на колени... Но Воскресший, Боже мой, как Он жалок и бессилён; едва на ногах держится, просит прощения у Магдалины, что воскрес! Ниже нас Он, смиренный в кротости своей, а не выше. Помощи от нас ждет. Ищет твоей и моей любви.

## Трагический Дрезден

Побывал я осенью 22-го года, кроме тех трех «рембрандтовских» (для меня) городов – Франкфурт, Кассель, Брауншвейг, – также и в Дрездене, знакомом мне (как и Берлин) оттого, что за десять лет до того я там провел несколько дней. Сикстинская Мадонна и Венера Джорджоне мирно сосуществовали с тех пор в моей памяти. Разве что Мережковский был бы способен в антитезу их втиснуть: христианство и язычество, дух и плоть<sup>206</sup>. Целомудренная телесность у Рафаэля становится духовностью, хоть его христианство и включает в себя языческие черты; а чувственное совершенство у Джорджоне провозглашено его кистью священным, больше того – святым; и святотатственной была бы всякая попытка выцедить из него то, что без претензий зовется вождельем, а с претензиями – *libido*<sup>207</sup>.

Конечно, я и теперь из-за галереи «вернулся» в Дрезден, и в частности из-за этих двух одинаково прекрасных и почти одинаково возвышенных картин; но все-таки не из-за одной галереи и тем более не из-за ее Рембрандтов, отнюдь не второсортных, но из которых я ни одного к самым значительным произведениям его уже и тогда не причислял<sup>208</sup>. В Касселе не только на «Благословение Иакова» можно полчаса смотреть не отрываясь, но и «Семейство дровосека» умилит тебя до слез, как и маленький зимний пейзаж с конькобежцами – второго в этом роде у Рембрандта нет, – где веселящее ощущение стужи, преобразившее здешний наш мир, так правдиво передано и нам с такою силой внушено, что мир этот, подобно хижине дровосека Иосифа, как раз и кажется нездешним<sup>209</sup>. Отдернул мастер им же и написанную занавеску, и мы видим дровосека в глубине, а ближе к нам молоденькую Божию мать, взявшую на руки Младенца, вынутого ею из колыбельки, а вот сейчас задернет мастер занавеску, и видение исчезнет, – не так, как в Сикстинской Мадонне, где Рафаэль приказал занавеске обрамлять видение до скончания веков.

Различие это я тогда же определил в каталоге дрезденской галереи, который сохранился у меня. Отмечена в нем и дата его покупки, а значит, и приезда моего в Дрезден или не позже, чем следующего дня (я заезжал в Лейпциг, в Дрезден прибыл, вероятно, вечером): 25 октября<sup>210</sup>. Знаменательной оказалась для меня эта дата, знаменательным как раз и посещение музея, к которому она относится. Милый город этот в первый мой приезд очень мне пришелся по душе, оттого я и упомянул, что ехал сюда вновь не для одного его музея. Как очаровательно наряжен Цвингер, полностью разрушенный бомбардировкой в конце второй войны и теперь восстановленный (но я-то его больше не увижу). Как хороши обе главные церкви (тоже разрушенные), католическая и протестантская, но и старая рыночная



площадь, которую Беллотто так хорошо изобразил, или вид с того берега Эльбы, тоже им запечатленный, но изменившийся, конечно, и которым не раз я любовался и в 12-м, и в 22-м году. Только все-таки суждено мне было именно в дрезденской галерее усмотреть и пережить нечто совершенно умозрительное, отвлеченное, но определившее на долгие годы, да и определяющее по сей день весь мой образ мыслей – и не только мыслей, но и чувств – насчет того, чем я всю жизнь был занят, о чем больше чем о чем бы то ни было другом думал всю мою жизнь: насчет искусства былых времен, прежде всего европейского, от XV до XVIII века, и насчет того, в каком отношении находится к нему, какое место в истории занимает и какой оценки заслуживает наше собственное искусство, – не нынешнего только, но и минувшего столетия.

Да, помнится мне ясно, что именно в первый мой музейный дрезденский день это и произошло. Часа два я провел в главных залах первого этажа, потом поднялся на второй, любовался долго любимыми мной французами девятнадцатого века (Курбе, Дега, Моне, Ван Гогом и новоприобретенной прелестной «Дамой в розовом» Мане<sup>211</sup>), а потом спустился снова в большие главные залы – тут-то вдруг и вспыхнула во мне та злая, но, увы, – так доселе я убежден – совершенно правильная мысль. Сел я на диван, кажется, у Рубенса в гостях, перед его «Кабаньей охотой»<sup>212</sup>, и стал над этой мыслью размышлять; отделаться от нее хотел, но отделаться не мог.

Все самое лучшее в живописи минувшего века, как ни бейся, говорил я себе, а не выдерживает сравнения с лучшим в живописи любого из тех четырех веков. Новая живопись (так ее буду называть) блестяща, увлекательна, жива, но живет она какой-то неполной жизнью, как будто создана не целостностью человеческого существа, а лишь кончиками пальцев, нервами, чувствительностью сетчатки, остротой интеллекта. Как она создана, так и воспринимается нами, не умом и сердцем зараз, по-старинному выражаясь, а какими-то особо дифференцированными щупальцами нашей нервной системы. Уже Энгр, при всем огромном дарованье, не новый Рафаэль, а восстановитель, в лаборатории своей, некоторых элементов Рафаэлева письма и зрения. Уже Делакруа воссоединяет с величайшим и умнейшим мастерством Веронезе и Рубенса, не достигая непосредственности, безыскусственности, вопреки всему искусству, ни того, ни другого. Мане – ученик самого интеллектуального из старых мастеров, Веласкеса, но насколько же *Olimpia* опережает в интеллектуализме лондонскую «Венеру перед зеркалом»!<sup>213</sup> А Ренуар – люблю его, не сумею его разлюбить, – но Рубенс или Тициан, нет, он одинок и эфемерен рядом с ними. Ван Гог Рембрандта боготворил, но какой он изнервничавшийся, истеричный и сознающий истерику свою Рембрандт! Вот бы марксистикам нашим бросить на

растерзанье эту мысль: девятнадцатый век заменил бытие сознанием...<sup>214</sup>

Трагическими были эти размышленья, не покидавшие меня с тех пор; в этом я сразу отдал себе отчет, хоть и не во всех измерениях трагедии, как и не во всем ее размере. Из размышлений этих через четырнадцать лет выросла моя книга «Умирание искусства», двадцать лет спустя переделанная и расширенная мной (во французской ее версии)<sup>215</sup>. Трагичностью этих мыслей и окрашено потому для меня воспоминание о прекрасном городе Дрездене и о великолепной его картинной галерее. Но и видел я тут нечто, до моего отъезда, совсем на этот раз житейское, простое – маленький эпизод другой трагедии, не моей, а все-таки *нашей*, как и та. В конечном счете, может быть, и той же самой.

Остановился я в довольно большой гостинице, неподалеку от музея; там же и столовался. На третий или четвертый день я раньше обычного пришел к обеду, но люстры были зажжены и столики сверкали белизной скатертей, стеклом и серебром. Никого почти не было. Мне начали подавать, когда за столик неподалеку от моего села дама средних лет, одетая очень хорошо, хоть и немножко старомодно, и столь же аккуратно обмундированная девочка лет двенадцати. Дама взяла черную коленкорovou папку и, подняв вуалетку, – да, лицо ее было прикрыто вуалеткой, – стала внимательно читать меню. Потом показала его девочке и пальцем провела вдоль списка блюд там, где были обозначены их цены. Девочка кивнула головой, не сказано было ни слова. Подошедшему с вопросительным видом лакею дама заказала бутылку лимонада. Тот поднял брови, убрал довольно шумно посуду со стола на поднос, удалился и вскоре принес бутылку и два стакана. Я забыл о еде, смотрел не отрываясь. Мать налила дочери полстакана, себе чуть-чуть, пригубила, положила деньги на стол; дочка тоже лимонад не допила, обе встали и направились к выходу.

Я готов был вскрикнуть... Как счастлив был бы я накормить их обедом! Но понимал: встретил бы непреклонный отказ. Ничего нельзя было сделать. Понимаю. Но и через полвека, в часы самодовольства или, скажем, «гармонии», нередкие у меня, воспоминание это пальцем мне грозит. Оно меня жжет, но суету оно сжигает.

Прощай, Берлин!

Больше трех месяцев провел я осенью 22-го года, за вычетом музейных путешествий, в Берлине. Срок моей командировки и визы кончался, денег оставалось мало, пора наступала уезжать. Да и беснование инфляции становилось совсем уже несносным. Башмаки я свои стоптал, решил купить новые. Обошлись они мне, на доллары считая,

очень дешево, а на марки миллиона в три или четыре – оттого что побежал я их покупать утром, только что разменяв деньги, помедли я полдня, они бы стоили пять. Белья кой-какого я еще, как только приехал, купил: в отечестве моем изрядно пообносился. И теперь еще и двумя костюмами новыми обзавелся, да и от первоклассного портного. Из благодарности к нему расскажу об этом в двух словах.

Это был тот самый, на Морской мастерскую державший, Леопольд Кáлина (по-чешски), Калина (по-русски), но по-французски, а значит, все же и по-петербургски, Калина́, у которого заказал мне отец за десять лет до того, после моего возвращения из Италии, первый мой на заказ сшитый костюм. Он и позже меня обшивал, до самого Октября, а теперь перебрался в Берлин и процветал здесь, по видимому, не хуже прежнего. Увидев его вывеску (хоть и малозаметную, как по его рангу полагалось), я зашел к нему, чтобы его известить о смерти моего отца, который был его клиентом много лет; но зорким своим взглядом он оглядел мой наряд, едва ли не вывернутое наизнанку собственное его изделие, и предложил мне купить у него за цену, почти что равняющуюся отсутствию цены, два костюма, подходящие по размерам и не взятые у него каким-то исчезнувшим заказчиком. Он весьма тщательно приладил их для меня, и как мне пригодился весь этот берлинский гардероб не столько даже в России, сколько в Париже через два года!

Не думал я, прощаясь тогда с Берлином, что не увижу его больше никогда, но так случилось; промелькнул он всего лишь между двумя поездами, когда ехал я в Париж; а теперь не очень я даже и хотел бы его видеть людоедски разрезанным надвое, как не имею желания посетить обесчещенную Прагу, Кенигсберг, город Канта, ставший городом Калинина, или Веймар, где, пожалуй, мне предложат вместе с Гёте чествовать не Шиллера, а какого-нибудь, на мой взгляд, все равно что четвероногого социалистического реалиста. Но прусскую столицу я все-таки люблю, и прежде всего именно как прусскую столицу, которой она остается в воображении моем, оставаясь также и городом Клейста, Рахили Фарнгаген, Вильгельма Гумбольдта и ранних лет Берлинского университета<sup>216</sup>. У Пруссии был стиль, не без упущений и натяжек, но неплохо все же изображенный в книге Мёллера фон ден Брука<sup>217</sup>, скомпрометированной, как и многое другое в том же роде, Гитлером. [Во Франции, в Англии почти никто во всем этом ничего не понимал. Черчилль в сороковом году радиовещал о прусском милитаризме, а кто же попытался, кроме прусских милитаристов, пусть хоть и в последнюю минуту, отделаться от Гитлера?<sup>218</sup>] У Пруссии была своя этика, которой Гитлер костюмировал своих Эс-Эсовцев, тем самым втапывая ее в грязь. Прусский стиль был весь в прошлом, но его этическая основа не совсем была исчерпана, как показал офицерский заговор против Гитлера. В Бер-

лине можно было почувствовать и тогда, в 22-м году, его эстетику, неотделимую от этики, а в Потсдаме (где я был два раза) то французское (гугенотско-французское) начало, которое, быть может, прусскую выправку и сделало стилем: из одной выправки стиля не извлечешь. Сквозь облик города, сквозь его архитектуру я улавливал следы этой его в большой мере утраченной уже стилистической цельности, но в людях, в быту, по-настоящему мною вовсе и не виденном, я уже никаких ее следов уследить не мог. Тут мне только колорит уличной жизни нравился в кварталах небогатых и от Фридрихштрассе отдаленных, нравился ниже-немецкий, насквозь городской жаргон, который меткостью, лаконизмом, забавной циничностью своей берлинцев приближает к парижанам. Прощай, Берлин! Голодные лица горожан твоих вижу и сейчас. Ты был ужасен. Но добрым в тебе я не пренебрег, милого не позабыл.

Укладывался. Для книг пришлось купить мешок. Помимо новейших, о Рембрандте и голландской живописи, главное приобретение: «Закат Европы» Шпенглера<sup>219</sup>. Эти два тома и сейчас глядят на меня с книжной полки, но купленные позже; те в России остались, где я их с похвальным усердием и читал. Тем более похвальным, что их автор внушал мне безотчетную, но все возрастающую от первого тома ко второму неприязнь. В самом главном, в ощущении упадка, а не подъема, я был с ним согласен, но симметричность его построенный казалась мне искусственной, и раздражала смесь поразительно верных интуиций со столь же эффектными формулами, интуицию заменявшими чистым произволом. Вижу теперь, однако, нечто знаменательное в том, что привез я – так давно – из побежденной Германии в побежденную Россию пророчество это о закате Запада. Его одного, не России. «Псевдоморфозой» была вся послепетровская Россия<sup>220</sup> (как? и Пушкин, в бешенстве думал я). Подлинная ее форма, ее культура – в будущем (не хочу я этого будущего, если оно отвергнет Пушкина и Петербург). Кажется, нынче такая постановка вопроса впервые делается актуальной. Пусть. Я-то все равно в Петербурге останусь и на Западе умру. Вот и тогда дороже шпенглеровских томов, дороже его (отчасти уже известных мне) идей вот эта толстая книга была о берлинских рисунках Рембрандта. И она до нынешнего дня со мной – где под каждым воспроизведением сделана мною отметка о его близости к подлиннику или о расхождении с ним по четкости, тону и размеру. Прошлолюбец я, ничего не поделаешь, не будетлянин, а пассажист. Старый Запад я люблю и европейскую Россию, – и вот теперь в Россию, менее чем прежде европейскую, везу плач о гибели Запада (если впрямь он гибнет, улыбаться этому, что ли?) и реликвии европейские – книжки, картинки, да и вот перочинный ножик, самый что ни на есть обыкновенный, но купленный в Брауншвейге на улице, которая так забавно по-старин-

ному называлась – в Москве есть такие названия – «Позади братьев» – Hinter der Brüdern.

Так мало денег оставалось у меня, что на пароходе Штеттин–Гельсингфорс погрузился я в трюм. Но не успели мы отчалить, как повстречался мне на палубе школьный товарищ мой Фред Буккалл, который, преодолев мое сопротивление, тотчас приплатил, что следовало, и перетащил меня в первый класс. В Гельсингфорсе потом я и прожил у него несколько дней. Дружественное его отношение ко мне тем более меня тронуло, что учились мы вместе лишь в младших классах (он потом отстал) и знали друг друга очень мало. Лишь позже, побывав в Англии, я понял – это английская черта: верность друзьям, даже при отсутствии всякой «закадычной» или скольконибудь тесной с ними дружбы. Фред был сыном многосемейного бриллианщика, делавшего в Петербурге хорошие дела, занят он теперь был в Гельсингфорсе какой-то экспортной коммерцией. Пришлось мне с ним выпить на пароходе не один стакан виски, как и доброго французского вина. Финны вокруг нас пили не менее усердно, чем он, и куда усерднее, чем я: у них в стране свирепствовал полный запрет спиртных напитков. Перед самым приездом усерднейший из них и уже едва державшийся на ногах купил в буфете бутылку бенедиктина, и, когда друзья убедили его, что спрятать ее не удастся, что на таможене ее непременно отберут, велел откупорить ее, налил друзьям по рюмке, а сам из горлышка выпил остальное и грохнулся на пол замертво. Когда мы с Фредом открывали свои чемоданы, мы видели, как его на носилках проносили мимо нас.

Здравствуй, Ленинград!

Я вернулся из Берлина в Гельсингфорс. Кончался двадцать второй год. Кончалась командировка. Деньги, вырученные от продажи дома на Литейном, кончились. За четыре месяца очень скромной, без всяких излишеств, заграничной жизни истратить стоимость четырехэтажного дома – по этажу на месяц – это, с капиталистической точки зрения, совсем было мизерно, да и с пролетарской несуразно, а я и в ус не дул: гостил в Гельсингфорсе у своего школьного приятеля, собирался дня на два к матери на дачу заехать, а затем вернуться честь честью в родной мой город Петербург. Так все и пошло – или сошло, – ничего особенного не приключилось, но возвращение все-таки скучным каким-то оказалось. Уезжал я веселей.

Жизнь в Гельсингфорсе была приятно-нормальна сравнительно с тогдашней немецкой: никакой инфляции, никакой ни для кого голодовки. Готовились к праздникам, закупали, что нужно, в ярко освещенных и обильно снабженных товарами магазинах. Единственной ненормальностью был запрет спиртных напитков, но самогон пили

при закрытых дверях, так что уличные прогулки никого на сей счет не осведомляли <sic!>. У приятеля моего был преизрядный запас почему-то лишь двух сортов выпивки: хереса и асти спуманте. Превосходный был херес, лучший сорт асти, но я напиваться и не умел, и не хотел, чем очень хозяина огорчал. В последний день распили мы с ним все же бутылку асти, и на вокзал он меня проводил. [Свел он меня и к другим школьным нашим товарищам, братьям Линдебергам, еще не женатым (сам он был женат, но жена его пребывала где-то вдалеке) и жившим вместе с ними их отцом на большой квартире, напомнившей мне петербургскую квартиру моих родителей на Каменноостровском, куда мне, конечно, возврата не было. Старик Линдеберг, высокий, весь в черном и почти совсем слепой, ласково взял мою руку обеими руками и сказал, что меня помнит, хотя помнить меня никак, по-моему, не мог. Он слышал о смерти моего отца, знал, что я ездил в Германию, но намерение мое вернуться в Россию очень его удивило: «Зачем? Живите пока у нас. Мы вам найдем работу. Быть может, даже при университете». – «Нет. Решено. Уезжаю послезавтра». Он умолк. Откинулся на спинку кресла. Занимать меня предоставил сыновьям. Но на прощанье сказал: «Если передумаете или вернетесь, не забудьте о нас. И да хранит вас Бог». Через полтора года, когда я, уезжая в Париж, видел еще раз, но мельком, и его сыновей, и Буккалла, старика уже не было в живых. Добро не забывается. Я его лица в черных очках не позабыл.

Но не встревожился тогда нимало. Пошел на следующий день в «Академический книжный магазин», где так соблазнительно умели раскладывать на столах хорошо подобранные иностранные книги – французские, английские, немецкие? – и купил себе еще кое-какое для Петербурга чтение. А потом по Эспланаде прошелся, на веселые витрины главных улиц еще раз поглядел, с Фредом Буккаллом бутылку асти распил, после чего и день отъезда наступил – ночной поезд меня на станцию Райвола к матери привез, два дня я с нею прощался, с нашими соседями Барановскими (особенно со старшей их дочерью) прощался, и все время на душе у меня было не грустно, нет, но только потому не грустно, что противоречиво: я непоколебимо уезжал, но всех вместе с тем непоколебимо уверял, что еду ненадолго, что вернусь, может быть, уже через полгода. Уверял необманно, но как я в этом мог быть уверен сам? Неизвестно. Плохо я сам себя тогдашнего понимаю. Распрощался. Уехал. Слезы видел на лице, которое уже тогда было для меня милей всех лиц, улыбавшихся мне когда-либо на свете.]<sup>221</sup> Уехал, и всего через два с лишним часа оказалось, что не в Петербург вернулся, откуда уезжал за полгода до того, а в Ленинград.

Хронологию я не упраздняю. Ленин был еще жив, город не был переименован, и если смерть Ленина (ввиду тяжелой болезни его)

уже и ожидали, то переименования не ожидали: оно и не его манерам соответствовало, а тем кнута-советским, пролетарски-самодержавным (и великодержавным), которые в ход пошли после него. Но так как мне все-таки в *Ленинграде* пришлось пожить, прежде чем окончательно уехать из России, то задним числом и кажется мне, что вернулся я уже в Ленинград, напрямик в Ленинград, еще пусть и называвшийся – тоже, на мой взгляд, несуразно – Петроградом.

Какие серые толпы двигались по его улицам! Всё больше – казалось мне – в солдатских шинелях; даже и женщины в нечто вроде таких шинелей кутались. Насчет предрождественских витрин также обстояло дело крайне тускло. НЭП продолжался. Лавки существовали, но надо было их искать, а большинство магазинов покрупней на Невском или на Литейном были забиты досками. Двигался я по тротуарам вместе с этой нестоличной и непраздничной толпой, и на Гельсингфорс, на немецкие города, как и на прежний Петербург, все, что окружало меня, было очень не похоже. Но чувство это отчужденности и странности – «куда я попал?» – больше нескольких дней не продолжалось. Водворился я к себе на Троицкую, в двух шагах от Невского, где снимал комнату у зубного врача, повидал друзей моих Кржевских, на Надеждинской, у которых столовался до отъезда и которых опять стал видеть каждый день, вскоре и к лекциям своим университетским приступил, других знакомых повидал, и снова Петербург стал мне казаться Петербургом. Этого и позднейшее переименование, хоть и нашел я его, конечно, глупым, не изменило: любовался я им, да и только, а рабоче-крестьянских и в солдатское сукно облаченных граждан его разучился замечать, да ведь и улицы, кроме главных, понемножку становились все пустынной. Чем пустынной они были, тем они мне больше нравились.

На Троицкой сдавал мне зубной врач большую, двумя окнами на улицу выходящую комнату, куда я перевез кой-какую мебель и остаток разграбленных книг из бывшей моей квартиры в отцовском доме на Каменноостровском. Книги разместил в старинном буфете красного дерева, некогда купленном на Александровском рынке; письменный стол тоже был мой собственный, со старой квартиры. Буржуйка возле него стояла, для отопления. Остальная мебель была хозяйская. Утренний чай тоже хозяева мне давали, и белье я в стирку отдавал вместе с их бельем. Тут я до моего окончательного отъезда и жил. Тут однажды утром от прачки, принесшей белье, узнал и новость о смерти Ленина. Пошел получать свое по зову зубного врача к нему на кухню, а тут и жена его, свое получает. Прачка, нестарая еще женщина, весьма энергичного вида, выдала нам наше добро, получила деньги, а потом, прежде чем корзину дальше понести, приняла позу: подперла левой рукой правую, а правой щеку и произнесла, как будто сперва и погребально: «А Ленин-

то помер! [но тут же перешла в другой регистр: «У-у-у, гадина, гнида, туда ему и дорога».] И, понизив тон, прибавила: «Да что толку-то? Если б он один был! Куда там! Их много. Вон и этот у них, Карла-Марла, густая борода. Один умер, а шайка-то вся и осталась». Тут она решительно взялась за дверную ручку, а мы с женой зубного врача только взглянули друг на друга и молча разошлись по своим углам.

Кончина эта [и вообще, как мне помнится, ни на кого за пределами правящего класса большого впечатления не произвела <приписано сверху>: не была неожиданной]. Ее ожидали.] Известно было, что уже давно не Ленин управлял страной, а кучка его приближенных. Ничего *на первых порах* и не переменялось, да и когда весной двадцать четвертого года весьма серьезные обозначились перемены в жизни высших учебных заведений, из-за которых я и решил, что оставаться в России нет мне больше никакой возможности, я все-таки и этих перемен (о них будет еще речь), и моего решения никак с исчезновением Ленина не связывал. Думал и позже, что вся сталинщина вполне могла бы осуществляться и при Ленине, кроме разве что самых грубых оказательств <sic!> лести, требовавшихся Сталиным от своих подданных. Кроме того, я ведь вернулся не без замысла уехать вновь. Дремало во мне это намерение, и, как это ни странно, самим своим присутствием убаюкивало меня. Через полгода после возвращения, в начале лета 23-го года, я уже попытался было осведомиться в университете насчет того, нельзя ли мне будет снова получить (безденежную, конечно) командировку на Запад. «Рановато хлопчете, – сказали мне, – только что вернулись, повремените хоть до следующего года». Я и повременил. Жилось мне совсем неплохо. Лекции о готических и других соборах я читал, как если бы слово «октябрь» тот же продолжало иметь вес, как «сентябрь» или «ноябрь», и как если бы «марксизма-ленинизма» совсем на свете не существовало. С друзьями, старыми и новыми, о том, о чем в газетах писалось, я почти никогда и не говорил. Из новых друзей больше других был мне мил будущий знаменитый переводчик «Божественной комедии» и трагедий Шекспира Михаил Леонидович Лозинский. Летом 23-го года каждый день мы с ним виделись на даче (где-то на север от Петербурга, пейзаж там был совсем финский, сосновый и скалистый) и занимались вместе испанским языком. Он прозвал меня сеньором Меной, оттого что в разговорнике нашего испанского учебника один собеседник звался Мигелем, а другой был Мена. Но, собственно говоря, и все мы теперь – все, вроде его или меня, – в белых ворон превратились, экзотическими сеньорами-оборванцами становились. Пора приходила, если бы начисто дело делать, нам всем по декрету нечто вроде гитлеровских желтых звезд на свои лохмотья нашивать.



## Я становлюсь литератором

После моего возвращения из Германии, накануне нового, двадцать третьего года, на университетские лекции мои по истории западного средневекового искусства стало записываться больше еще студентов и студенток, чем прежде, и я эти лекции читал с немалым удовольствием (без повторений, конечно, меняя каждый раз их тему) и в первые, и в последние месяцы 23-го и весной 24-го года. Но тем не менее именно за эти полтора года стал я окончательно и литератором, никакого противоречия в этом своим занятиям историей искусства не видя, но на самом деле переходя все-таки незаметно с университетских рельс на литературские, совсем иначе устроенные, конечно, и по которым суждено мне было катиться и в Париже после второго моего отъезда. В Берлин я ехал начинающим историком искусства, в Париж явился начинающим русским литератором.

До моего отъезда в Германию ни одной моей строчки в печати не появилось. Но в начале 22-го года я все же написал первую мою рецензию, предназначавшуюся для альманаха «Завтра» издательства «Петрополис», которое, однако, к середине того же года переехало в Берлин, а свой альманах выпустило там лишь в следующем году. Я увидел его только в Париже год спустя, кроме рецензии, там было напечатано довольно длинное мое стихотворение, вольными стихами написанное, без рифм: «Ода». В Россию этот сборник так и не попал. Собственник издательства «Петрополис», англист <sic!>, готовивший диссертацию о Бен Джонсоне, Яков Ноевич Блох<sup>222</sup>, был, как и Гржебин и некоторые другие издательства (например, если не ошибаюсь, «Слово»), рабоче-крестьянским правительством обманут. С ними был заключен контракт о допущении в Россию напечатанных ими за границей книг, а когда книги стали печататься, на ввоз их был наложен запрет. Гржебина это полностью разорило, «Слову» осталось пробавляться дешевыми изданиями классиков, а «Петрополис» продолжал книги выпускать, но малыми тиражами: оборотный капитал его был ничтожен. Перед моим возвращением я повидал Якова Ноевича в Берлине, и он вручил мне два первых экземпляра только что напечатанных им сборников Ахматовой: «Anno Domini» и «Белая стая», а два других экземпляра подарил мне. Вскоре после приезда я все это вручил Анне Андреевне, которая мне мои экземпляры надписала. Книги эти я опять увез за границу, они еще хранятся у меня. Белые их обложки в плохом виде; угол у одной оторван, но переплести я их не захотел. Раскрываю их, читаю надписи, тогдашнему почерку Анны Андреевны в сотый раз удивляюсь: он такой, как у людей, которым редко приходится писать. Она ведь мне и говорила, что писать не любит, стихи записывает через силу и как можно позже, когда они давно уже отделаны и читаны друзьям. На

одной книжке надпись чуть подлиннее, а на другой – надоело ей писать – сократила, да и подписалась попросту «Ахматова».

Поручение, мною выполненное, стихи и статья, принятые «Петрополисом» для сборника (под редакцией Замятина и Кузмина), все это меня зачисляло – хоть и очень скромно – в разряд людей литературных. Но сам-то я о себе знал, что именно рецензия, а не стихи, и еще того менее литературные знакомства, меня литератором сделала, пробудила во мне чувство литераторства. Останавливаюсь на этом, оттого что само по себе любопытно, именно потому любопытно, что рецензия моя была самой обыкновенной рецензией – на «Блоковский сборник» издательства «Картонный домик» со статьями Жирмунского, Эйхенбаума, Тынянова, Пяста и других<sup>223</sup>. Моя «Ода» была не без претензий, прямо какой-то Ницше-Гёльдерлин-Клодель, но статейка страницы в четыре ни на что решительно не претендовала, но куда я писал ее (еще не на Троицкой, а в моей каморке Дома Ученых), она меня чему-то совсем для меня новому научила, чего я позже никогда уже не забывал. Оказалось – так я это сам себе объяснил, когда статья была окончена, – что писать стихи и писать статью – не такая уж огромная, всякое подобие исключаящая разница. Абзац, например, это нечто вроде строфы или цельного небольшого стихотворенья. Фраза, по устройству своему, не так уж далека от стиха или, скажем, от двустипишия, четверостишия. Прозаический ритм хоть и легче осуществим из-за отсутствия метра, но столь же прозе необходим, как и стиху. Обойтись без него может только проза совсем суконная, газетная, вовсе не обращенная к воспринимающему каждую ее интонацию слуху. Такую прозу я инстинктивно презирал, задолго до того, как принялся за свою ничем не замечательную, если со стороны посмотреть, но для меня прямо так и определившую мой жизненный путь рецензию. С тех пор бесконечное количество написал я статей (очень неодинакового, без сомнения, достоинства). Но честно должен сознаться: никогда не писал их «просто так»; не умею писать «просто так», всегда я их писал, прислушиваясь к ним, и всегда мне казалось, что я их пишу внутри того, что зовется «русская проза» или даже «словесное искусство». Никакой искусственности это не предполагает: ритмична и живая устная речь. Я устной речи в писательстве своем и подражал: своей собственной, самой для меня естественной, несомненно, и многие другие поступают так же, этого не сознавая, вовсе об этом не думая, и достигают результатов куда более заслуживающих внимания, чем достигавшиеся мною – особенно в те времена. Но всегда у нас было и очень много прозы, которую даже и смысла нет называть прозой. Я учился другой. От этой я раз и навсегда отмежевался.

Вскоре после моего возвращения стал я сотрудничать и в незадолго до того основанном журнале «Современный Запад»<sup>224</sup>. Напе-

чтал я там сперва статью о моих берлинских выставочных впечатлениях: о конце немецкого экспрессионизма и о неоклассических поветриях во французской живописи (на основании недавних пейзажей Дерена, выставленных в Берлине у Флехтхейма). Перечитывать ее избегаю: удовольствие она мне доставляла, только покуда я ее писал<sup>225</sup>. Но затем принялся, для того же журнала, за гораздо более ответственную работу: статью о Марселе Прусте<sup>226</sup>, умершем в 1922 году, за ту статью, что и оказалась первой обстоятельной статьей о нем на русском языке, если не считать некролога, наскоро состряпанного Луначарским<sup>227</sup>. Этой моей статьей я хоть и не во всех деталях, но в общих чертах доволен и сейчас; я долго над ней работал, Пруста знал и любил давно; своеобразие его хоть и не исчерпывающим образом, но все-таки определить сумел. Позже писал о нем по-французски, но второй отдельной статьи о нем так и не написал. Эта была, по-видимому, кое-кем у нас замечена в еще не совсем опустевшем или покалеченном петербургском литературном мире. После нее я еще тверже почувствовал себя литератором, критиком, чем прежде. Стал подумывать о переводе одной французской книги, привезенной мною из-за границы, – «Полуночной исповеди» Дюамеля<sup>228</sup>. Прочел в нефилологическом обществе при Петербургском университете доклад о поэзии Поля Валери в ее отношении к поэзии Малларме. Стихи Валери я тоже привез из-за границы (помнится, в Гельсингфорсе книжку эту купил вместе с последними вышедшими тогда томами Пруста – кажется, это были «Содом и Гоморра»). «Полуночная исповедь» вышла еще до моего отъезда в издательстве «Всемирная литература», и еще до моего отъезда стал выходить журнал «Русский современник», в котором кое-что напечатано было и мое. Но об издательстве этом, как и об этом журнале, стоит рассказать подробнее.

### «Всемирная литература»

Издательство «Всемирная литература», под эгидой Горького, было предприятием грандиозным<sup>229</sup>. Задачей своей ставило ознакомить русского читателя («массового», конечно: обходиться без этого прилагательного уже и тогда становилось трудновато), в образцовых переводах со всем замечательным, что когда-либо было написано на каком бы то ни было языке. В первую очередь предполагалось, однако, заняться современной или недавнего времени литературой. Непереведенное надлежало перевести, плохо переведенное подправить или перевести заново. Существовала обширная, особой комиссией разработанная программа, но переводчик мог и по своей инициативе предложить такой-то перевод. Если предложение его редакционной коллегией объявлялось приемлемым, переводчик получал

аванс и садился за работу. При сдаче рукописи получал и гонорар. Представляя вскоре новый проект, получал аванс, садился за работу... Так, от аванса до гонорара и от гонорара до аванса многие в Петербурге (и, конечно, не только в Петербурге) с голоду не умирали несколько лет подряд. В сущности, «Всемирная литература» была учреждением благотворительным; думаю, что в лице главных своих деятелей она это и сознавала. Деньги были казенные, нужда среди неслужилой интеллигенции была велика, за переводы брались и люди не Бог весть какой квалификации, попросту знавшие какой-нибудь иностранный язык, да и то, порой, не в совершенстве им владевшие. Переводы редактировались, отделялись более опытными литературными людьми, но и они справлялись со своей задачей не всегда успешно. Дело это нелегкое. Но затея сама по себе была, разумеется, похвальна. И виновны в ее безвременной кончине были не те, кто ее проводил в жизнь.

Во «Всемирной литературе» – то есть, по старорежимному выражаясь, в барском особняке на Моховой, реквизированном для ее нужд<sup>230</sup>, – бывал я частенько и любил туда заходить. Зимой там можно было погреться и в любое время года найти удобное кресло и перелистать новую книжку, иностранную или русскую. Кто меня туда ввел, не помню, думаю, что был это Михаил Леонидович Лозинский или Евгений Иванович Замятин<sup>231</sup>, едва ли Чуковский – скорей, я с ним там, на Моховой, и познакомился. Могу его считать, наряду с Замятиным, в литературстве крестным моим отцом, но это по «Русскому современнику», где они меня оба восприняли от купели, или по-пушкински скажем: благословили, но, по счастью для них, вовсе не «в гроб сходя». Мое предложение перевести «Полночную исповедь» Дюамеля было принято, а покуда я над этим переводом работал, да и после того, как его сдал, давали мне на просмотр чужие переводы, главным образом с французского, да и вообще насчет французской литературы советовались со мной. Присутствовал я – очевидно, просто в качестве гостя – даже и на некоторых заседаниях, где решались общие вопросы, вроде, например, вопроса о транскрипции собственных имен. Я был, во всяком случае, на том, где известный китаист Алексеев<sup>232</sup>, хорошо знавший английский язык, предложил именовать по-русски Теккерей – Сакры (эс-ака-эр-яры). Услышав это, я чуть со стула не упал, и председатель, заметив мое волнение, предложил мне взять слово. Кажется, мне удалось почтенное собрание убедить, что «Теккерей», хоть и не по-английски звучит, но все-таки ближе к английскому, чем киргизкайсацкое «Сакры»<sup>233</sup>. Нынче, увы, никто уже не верит мне, когда я говорю, что «Гейдеггер» надо, а не «Хайдеггер» писать. Надо еще радоваться, что бедного Гейне оставили в покое. Хайне? Хайдеггер? Никогда еще таких слов немец не произносил.

По части французского языка, боюсь, я свою репутацию на Моховой вот каким образом приобрел.

Прихожу раз утром: «Евгений Иванович хочет вас видеть». Иду к нему. Сияет. Навстречу идет с французским журналом в руках.

– Взгляните-ка. Читаю замечательную поэму. Свободным стихом написана. Легко будет и перевести, да и не длинная, я еще не прочел, только начал. Но глядите, каково начало. Какой динамизм! Два северных вокзала встречаются на полях Фландрии...

– Два вокзала? Чье же это?

– Шарль Вильдрак<sup>234</sup>!

– Что-то я у него *такого* динамизма не замечал...

Беру журнал, но тут же осеняет меня ужасающая мысль. Гляжу: так и есть. Ай-ай-ай. Что ж я ему скажу. Как писателя, каюсь, я Замятин не так уж ценил, не так уж и ценю, но по-человечеству он с первой же встречи мне понравился – непосредственностью, правдой, прямоотой.

– Евгений Иванович, вы поторопились, не так прочли. Буквы одной не хватает. Вокзалы, *gares*, это *же, а, эр, е, эс*, а тут *е* и нет. Выговаривается «га». Два северных парня (или молодца) встретились на...

– Ах вот оно что! Ну Бог с ним совсем. Динамизма-то, значит, и нет.

Не насупился нисколько. Очень дружески о другом со мной заговорил. Тут-то, думается мне, и решил, что знаток я французского языка, каких мало.

Начали мне на Моховой загадки по этой части задавать. Перевели, например, роман из жизни французских рабочих. Пьер Амп такие романы тогда писал, кажется, это его книга и была<sup>235</sup>. Перевел ее кто-то; почтенный филолог, профессор университета, отредактировал; но в чистовой рукописи перед отправкой в типографию обнаружено было какой-то высшей, вероятно, политической уже инстанцией, что в книге несколько раз упоминается «очаг св. Мартина». Это что такое? На заводе? Технических терминов ни на каком языке я не знал, но одним ухом все-таки слышал, что бывают на иных заводах «мартэны» или «мартэновские печи». Так и оказалось: печь, *roûle-Martin*; никакого «очага» во французском тексте не было. Другая загадка вышла еще забавней. Опять французский роман, переведенный, и совсем недурно переведенный, какой-то пожилою дамой. «Скажите, – спросил меня его редактор, – тут упоминается вальс из “Лесного дьявола”; вы знаете такую оперу или балет?» Ответил я отрицательно, прибавив, однако, что учился играть на рояле и когда-то играл очень популярный в прошлом веке вальс Вальдтейфеля<sup>236</sup>. Переводчица перестаралась. Беда была в том, что, кроме французского, знакома была она и с немецким языком.

Все это были мелочи, неизбежные маленькие промахи, которых в таком большом деле научились бы постепенно избегать. «Всемирную литературу» погубили не они, а тупость и произвол властей предержавших. Незадолго до отъезда я собственными глазами видел телеграмму, присланную из Москвы, касательно вполне готового к печати перевода книги Честертона о Св. Франциске Ассизском<sup>237</sup>. Дешеша гласила: «Святителя изъять. Архиепископа взять в кавычки». Ни одна из драм Клоделя, над переводом которых несколько лет трудился Сологуб со своей женой Чеботаревской, издана не была, хотя «Благовещение» и шло (но, кажется, очень недолго) у Таирова в Москве<sup>238</sup>. Мой перевод романа Дюамеля успел выйти перед самым моим отъездом; но года, кажется, через два «Всемирная литература» прекратила свое существование. Изданное ею было ничто сравнительно с приготовленным к печати, но так никогда и не напечатанным. «Свободу совести изъять, литературу взять в кавычки» — разве это и теперь, через полвека, не остается лозунгом хозяев России?

### Чествование Сологуба

Итак, последние полтора года петербургской моей жизни ознаменовались тем, что я все решительней становился литератором — очень скромным, начинающим, но глянь, почти что и заправским. Может быть, для этого я из командировки моей заграничной и вернулся, чтобы еще в России литератором русским стать? В мыслях у меня, как будто, этого не было, но получилось на деле именно так. Тем самым, а также благодаря знакомству с Ахматовой, Лозинским, Замятинным, стал я и вхож (суконно выражаясь) в «литературные круги». Человеком я был и тогда не кружковым и даже не круговым; об искательстве тоже могу сказать, что среди пороков моих оно не числится; но то, что я в те времена в Петербурге литератором стал считаться, давало все-таки преимущества, которые я и ценил. Легче было попадать на чтения того, чему появляться в печати было невозможно.

Помню два таких чтения: Замятин, отрывки из романа «Мы». Волошин, стихи о России. Читали они оба не помню где, но в том же помещении, вмещавшем человек семьдесят или восемьдесят; билетов на такие вечера не продавали, приглашений не рассылали. Они предвещали уход настоящей литературы в подполье, но пока лишь в той ее части, которая касалась политики или могла быть истолкована как касающаяся ее. Насчет обоих этих чтений и сомневаться нельзя было, что они политики касались. Уже и по тем временам и Замятин, и Волошин проявили большое мужество, выступая с этими своими произведениями перед слушателями, хоть и отсеянными, но среди которых присутствие доносчиков и шпионов, конечно, не бы-

ло исключено. Роман Замятина, как известно, один из ранних в европейской литературе образцов отрицательной (пессимистической) утопии; самым ранним у нас лет за двадцать до того была не получившая никакого распространения книга брата Д.С.Мережковского (Константина, если не ошибаюсь)<sup>239</sup>. Отрицательные черты замятинской утопии были, однако, не просто утрированием отрицательных черт современной цивилизации, как в более поздней (и более искусной) книге Олдоса Хаксли<sup>240</sup>, но и весьма определенной сатирой советского строя, и в тогдашнем его виде, и еще больше в том, какой обещал он принять и действительно принял – в недалеком будущем. Выбрал Замятин в своей книге главы самые боевые и читал прекрасно, с ничего не оставляющей желать четкостью, а то и резкостью.

Рукоплескали ему щедро, смелостью его восхищались не меньше, чем талантом. А Максимилиан Волошин еще и по-другому всех нас поразил. Он своей персоной и зрелище особое являл. Когда увидели его входящим в зал, бородатого, длинноволосого, с палкой в руке и облеченного в какую-то поясом стянутую длинную хламиду, сразу же грянули аплодисменты. Зато когда прочел он свое в ноябре 17-го года написанное стихотворение «Святая Русь», до того оно всех потрясло, что и аплодировать начали не сразу:

Поддалась лихому подговору  
 Отдалась разбойнику и вору,  
 Подожгла усадьбы и хлеба,  
 Разоряла древнее жилище,  
 И пошла поруганной и нищей  
 И рабой последнего раба...<sup>241</sup>

Слушали с вниманием, иные и со слезами на глазах. Читал Волошин особым, для чтения этих стихов выработанным и как нельзя лучше для них подходящим глухим и зычным одновременно голосом. Не так уж я люблю эти и другие читавшиеся им в тот день стихи, но его люблю таким, каким он был в тот день, вместе даже с немного маскарадным его нарядом. Бесстрашие его маскарадным не было. Память его чту. Много лет спустя еще лучше научили меня ее чтить воспоминания о нем Марины Цветаевой<sup>242</sup>.

Однако крамола крамолой, а начинавшееся литераторство мое сподобило меня и в отнюдь не крамольном, дозволенном свыше торжестве участвовать, не где-то полуприкровенно происходившем, а в Александринском театре. Сологубу в 23-ем году исполнилось шестьдесят лет, его-то мы там торжественнейшим образом и чествовали<sup>243</sup>. С цветами, подношениями, адресами, поклонами, рукоплесканьями, улыбками. Да-с! И я чествовал. Сидел скромненько где-то в шестом или седьмом ряду партера, на сцену не выходил, но улыбался откровенней многих, особенно когда собственные мои слова там на сцене

прозвучали, да еще произнесенные Анной Андреевной Ахматовой! Случилось это крайне просто.

Слева от зрителей на сцене, почти у самого занавеса, в удобном кресле сидит Федор Кузьмич. Справа, пересекая авансцену, к нему подходят делегации, представители учреждений, обществ и союзов, и затем, как мы увидим, и отдельные значительные лица из его товарищей по перу. Я из них помню, впрочем, только одного, о котором сейчас и расскажу; но Анна Андреевна не от своего имени к Сологубу подошла, а для того, чтобы приветствие прочесть, адресованное ему Союзом писателей. В длинном белом шелковом платье была она стройна, величественна, великолепно; свиток держала в руке, развернула свиток и прочла тот самый текст, что накануне был написан мною по ее просьбе. Ничем замечателен он не был; был таков, какими полагается этого рода текстам быть. Но именно из-за неизбежной его банальности и трудно было Ахматовой за него приняться; написала бы в крайнем случае, но уж с очень большим отвращением; да кроме того, и вообще терпеть не могла держать перо в руке. Тут-то я и подвернулся, состряпал, что нужно, вовсе даже и не будучи членом Союза писателей, а теперь эти мои словеса Ахматова Сологубу самым своим медовым голосом и читает. Мне это слушать забавно, точно какой-то «скетч» разыгрывают передо мной, которого я был автором или соавтором. Но вскоре пришлось мне, как и многим, заулыбаться совсем другою улыбкой: на сцену вбежал с совершенным восторгом на лице давний сологубовский недруг Андрей Белый.

Эпизод этот описан Ходасевичем в его «Некрополе», «со слов очевидца». Очевидцем этим я именно и был<sup>244</sup>. Белый поссорился с Сологубом давным-давно; не бывали друг у друга, кажется, и руки друг другу не подавали. Но только что вернувшийся – навсегда – в Россию Белый решил по случаю чествования помириться с Сологубом. Он вбежал на сцену, справа налево побежал к нему с протянутой рукой и с лицом, даже искажившимся слегка от неумеренного восторга. Он схватил руку Сологуба, сжал ее, стал трясти и, захлебываясь, что-то говорить, но тот каменно на него взглянул и театральным шепотом, до райка слышимым, произнес: «Вы делаете мне больно». Белый бросил руку, попятился назад и, повернувшись к залу спиной, побежал в глубь сцены. Примирение не состоялось. Не знаю, совершилось ли оно позже. Едва ли. Но как бы то ни было, рассказ Белого в его книге «Начало века», о том, что произошло в Александринском театре на чествовании Сологуба, сильно расходится с истиной<sup>245</sup>.

Журнал «Русский современник»<sup>246</sup>

«Русский современник. Литературно-художественный журнал, издаваемый при ближайшем участии М.Горького, Евг. Замятина,



А.Н.Тихонова, К.Чуковского, Абр. Эфроса. Ленинград – Москва. 1924». Списываю это с титульного листа, оставшегося неизменным во всех четырех номерах журнала. Он должен был выходить шесть раз в год, но вышли всего четыре его книги – две до моего отъезда из России (там есть и мое кое-что), две мне были присланы за границу. Полвека я эти четыре номера храню. В них есть много интересного и ценного. Но и независимо от этого стоило бы их хранить: «Русский современник» – последний неказенный, последний свободный (пусть и не полностью) журнал, открыто издававшийся в пределах нашего отечества.

Не во всем свободный. Политических взглядов, несогласных с партийно-правительственными, как и взглядов (в области религии, например), которые подрывали бы основу партийной идеологии, никто в журнале этом не высказывал: это было заранее исключено (недаром ведь он и «литературно-художественным» именовался). Но в остальном сотрудники его стесненными себя не чувствовали; высказывали не чужие, а собственные взгляды; писали (из границ искусства и литературы не выходя), о чем хотели; и подхалимством не занимались, которого никто и не требовал от них. О, если бы и далее, в течение пятидесяти лет, выходили в Москве и Ленинграде такие журналы! Но куда там! [Даже в самые привольные годы «Нового мира» был он узником, прикованным к стене и бряцающим цепями, чего о «Русском современнике» вовсе сказать нельзя и чего сотрудники его совсем не ощущали.] Пушкин, в отнюдь не бесцензурные времена (1836), писал: «Нельзя требовать от всех писателей стремления к одной цели. Никакой закон не может им сказать: пишите именно о таких-то предметах, а не о других»<sup>247</sup>. При Николае I закон сказать этого действительно не мог – или не знал, что может; но с наивностью, с примитивностью этой в октябре семнадцатого года было покончено. Еще семь лет, однако, прошло до того, как суждение Пушкина удалось окончательно превратить в свидетельство о безнадежной его, Пушкина, политической старомодности и отсталости. Нынче всем передовыми именуемым державам, с огромным СССР и огромным Китаем во главе, совершенно ясно, что от писателей как раз и надлежит «требовать стремления к одной цели», что вполне законно предписывать им: «пишите именно о таких предметах, а не о других», – да еще и пишите так-то, а не иначе. – Но вернемся к «Русскому современнику».

Горький был за границей. А.Н.Тихонов, «ответственный редактор» (человек обходительный, но писатель, как тогда все знали, никакой), его заменял (или представлял)<sup>248</sup>, но фактическими редакторами журнала были Замятин и Чуковский в Ленинграде, Абрам Эфрос – в Москве. В первой книге были напечатаны четыре стихотворения Сологуба, два Ахматовой, «Рассказ о самом главном» Замя-

тина, «Из воспоминаний» Горького (пять глав, последняя – о Блоке), «Записки А.П.Ковякина» Леонова, рассказы Бабеля и Пильняка, статьи Шкловского, Эйхенбаума, Тынянова, Чуковского, Эфроса и – первым в этом отделе (восторженный, конечно) – некролог Горького «Владимир Ленин». Во второй книге – четыре стихотворения Пастернака и его рассказ «Воздушные пути», стихотворение Мандельштама «1 января 1924 года», замечательная статья Ходасевича (за границей находящегося) о Пушкине «Амур и Гименей», статьи Шкловского, Замятина, Александра Бенуа, очень любопытные «Воспоминания о Распутине», подписанные буквами В.Ж., и окончание частью изданных раньше, нынче забытых, но отнюдь забвения этого не заслуживающих записей Софьи Федорченко «Народ на войне»<sup>249</sup>. Я, конечно, всего оглавления этих номеров не привожу. О последних двух книгах скажу еще короче. В третьей появились два стихотворения Марины Цветаевой и два Есенина, «Воспоминания о Блоке» Замятина, много неизданных текстов Блока в стихах и прозе. В четвертой и последней – три стихотворения Ходасевича – два берлинских и одно парижское (так и помеченные Берлином и Парижем), пять стихотворений Хлебникова и рассказ его «Есир». Первая, вторая и четвертая книги заканчивались отделом «Паноптикум» с эпиграфом из Блока «Открыт паноптикум печальный»<sup>250</sup>, где печатались «Тетради примечаний и мыслей Онуфрия Зуева», вымышленного, разумеется, лица. Саркастические эти «примечания» составлял, с помощью Чуковского, Замятин. Привожу последнее, из последнего номера, озаглавленное «Последняя новость»:

И опять Капитошка! Такое подсунул, что ум за разум заходит. И откуда, черт рыжий, выкапывает? Принес нынче «Литературную Неделю» № 3(28) 1923 года, издание Петроградской «Правды». На последней странице, в рамочке, под заглавием «Календарь Рабочего». И напечатано: «19 февраля поистине несчастный день для буржуазии. В этот день в 1473 году родился великий ученый положительной науки Коперник, который *опрокинул туманную надстройку лженаучных буржуазных теорий о вращении Земли*».

Прочитал я, и Капитошка говорит: «Понял?» А я боюсь понять – «Что, – говорю, – понял?» – «А то, – говорит, – что, стало быть, насчет вращения земли, это есть гидра, и нынче вращение это отменяется».

Батюшки, неужели не врет?

Тут-то «Русский современник» и кончился. Не из-за Онуфрия Зуева, конечно... А немножко все-таки и из-за него. Ведь «Смеяться, право, не грешно / Над тем, что кажется смешно» сказано было в России крепостной, а не нынешней, социалистической...

На Моховой помещалась редакция и контора журнала, на третьем этаже дома, соседнего, если не ошибаюсь, с особняком «Всемирной

литературы»<sup>251</sup>. Лестницу эту хорошо помню. Поднимался по ней, чтобы Чуковского или Замятина повидать. Поместили они в первом номере инициалами моими подписанный отзыв о «Достоевском» Андрэ Жида и две незначительные и полуанонимные точно так же мои рецензии<sup>252</sup>. Зато во втором появились, за полной, конечно, подписью, два моих стихотворения и, без всякой подписи, заметки об «Эстетических фрагментах» Шпета и о сборнике «Задачи и методы изучения искусств»<sup>253</sup>. Принес я Чуковскому, собственно, *три* стихотворения – «Три неприятных стихотворения», как я их называл, подражая одному заглавию Бернарда Шоу<sup>254</sup>. Третье было, по-моему, лучшее, но Корней Иванович его забраковал и заглавия тоже не одобрил. Но – не беда, я не огорчился; доволен был и тем, что два стихотворения были приняты и что вообще включить меня согласились в число постоянных сотрудников журнала. Признателен я за это обоим Иванычам по сей день, и о той лестнице вспоминаю с умилением.

С умилением и с усмешкой. В то лето – отъезда моего – завелись в Петербурге какие-то замысловато именовавшие себя юнцы, голыми разгуливавшие по улицам<sup>255</sup>. Стал я раз подниматься по лестнице «Русского современника» и сразу же увидел, что из редакции вышел и спускается мне навстречу совершенно раздетый молодой человек – цветущего вида и безупречного сложения. Я решил разыграть его. Чем же? Отсутствием удивления. Когда он поравнялся со мной, я на него взглянул совершенно так же, как если бы он не был голым. Подымаясь выше, заметил, что он два раза обернулся мне вслед.

### Сирень на крыше Эрмитажа<sup>256</sup>

Была весна последнего моего петербургского года. На крыше Эрмитажа цвела сирень.

«На крыше» – это для краткости сказано. Вверху соседнего с Зимним дворцом Ламотова павильона, построенного при Екатерине Валлен де Ламотом, автором фасада Академии Художеств, крыша заменена висячим садом, окруженным стенами и сиренью обсаженным со всех сторон<sup>257</sup>. Цветочные грядки там есть, фонтанчик, столики чугунные и кресла. Ничего оттуда не видно, кроме неба, и, когда оно синее, можно вообразить, что ты где-то в далекой солнечной стране. Волшебней всего становится садик этот или дворик, когда цветет сирень и ты, подымая голову, видишь ее прежде, чем увидеть небо. Бывал я там нередко и в предыдущие две весны, а теперь, в 24-м году, чаще еще навевывался туда – уже и после того, как отцвела сирень, потому что прощальные наступали для меня сроки.

Там был отдых, отрада, тишина; там прошедшее казалось вечным, а настоящее несбывшимся. Как, впрочем, и в Эрмитаже вообще, оставшемся оазисом – сперва среди разрухи, а затем среди ново-

го порядка, куда более жесткого, жестокого и неизмеримо более невежественного, чем любые прежние. Пока что, однако, Эрмитаж процветал. Такого директора, как Александр Николаевич Бенуа, и когда он императорским был, у него не было, хотя в прошлом веке на этом посту и вполне заслуженные лавры стяжал Андрей Иванович Сомов, отец знаменитого художника<sup>258</sup>. Те – немногие пока что – хранители отделов, которые покинули свои посты, были заменены вполне компетентными людьми. Компетентны и талантливы были почти сплошь и многочисленные молодые сотрудники, которые начали здесь работать в послеоктябрьские годы. Среди них были мои университетские друзья: художник Димитрий Бушен, выставлявший<ся> на выставках «Мира искусства» (две или три его картины были приобретены Русским музеем), и историк искусства Сергей Эрнст, еще студентом сотрудничавший в журнале «Старые годы», превосходный знаток русской живописи предыдущих двух веков. Служил уже и тогда в Эрмитаже и его будущий многолетний директор Владимир Францевич Левинсон-Лессинг<sup>259</sup>, с которым я тоже еще в университете был знаком, где мы с ним житиями западных святых XII и XIII века занимались в семинаре Л.П.Карсавина. В Эрмитаже я познакомился с Иваном Ивановичем Жарновским<sup>260</sup> и его женой Евгенией Александровной, с которыми ближе уже сошелся в Париже, куда они попали, как и Бушен со своим другом Эрнстом, приблизительно тогда же, когда и я. Все они числились, кроме Бушена, младшими хранителями Картинной галереи. Бушен служил в отделе фарфора и серебра, которым заведовал – все еще – Тройницкий, человек состоятельный и владелец имения<sup>261</sup>, заботясь о библиотеке которого он все книги покупал в двух экземплярах, так что стал постепенно обладателем двух тождественных и весьма богатых книгохранилищ. Уехать вовремя он не догадался. Когда именно, не знаю, но, несомненно, вскоре после моего отъезда пришлось ему об этом пожалеть.

Димитрий Димитриевич Бушен специалистом по фарфору не был, но особую прелесть фарфоровых статуэток и групп XVIII века тоньше ощущал, чем любой специалист. Он их по-новому расставил в большой центральной витрине, с таким искусством, что эрмитажные люди всех отделов приходили любоваться ею и поздравлять танцмейстера, так хорошо расположившего на стеклянных полках этот фарфоровый балет. Недаром позже, в Париже, он так много работал для театра, в частности, для балета. Работает и теперь. Парижанином стал и остался, как Эрнст и как я, но русского своего прошлого они, как и я, не забывают.

Бушен в те последние наши петербургские годы ввел меня также и в дом А.Н.Бенуа, очаровательный дом, весь пропитанный живописью и театром, которому, как и стольким другим, суждено было

опустеть и все обитатели которого точно так же через несколько лет оказались в Париже, кроме сына А.Н., Николая, которому суждено было стать главным декоратором Миланской оперы (Ска́ла) и которого я помню мальчиком в матроске, но уже рисующим<sup>262</sup>, как и обе его сестры рисовали, словно иначе в этом доме никому не полагалось бы и жить. Познакомил меня Бушен и с Зинаидой Евгеньевной Серебряковой, тоже будущей парижанкой, племянницей Бенуа и дочерью Лансере. Она не так давно умерла в Париже<sup>263</sup>. Портретисткой была весьма талантливой с одним только, не живописным, а именно портретистским недостатком: молодила всех, кого писала, – непреднамеренно, стихийно, вовсе и не сознавая этого. Двадцативосьмилетнего меня изобразила шестнадцатилетним, – но как все-таки жаль, что не выпросил я у нее этого портрета и не увез его в Париж! Напоминал бы он мне наше тогдашнее невсамделишное, как будто и не ленинградское вовсе, а самое что ни на есть петербургское житье. Эрмитаж-то ведь не октябренок? Вот и мы все эрмитажные или околээрмитажные люди... Но времена были все-таки не прежние...

После того, как отдел драгоценностей был реорганизован, устроена была там небольшая, но редкостная и не в любом музее возможная выставка: старинных вееров. Приобретены они все были при Екатерине; все – французской работы, большинство от руки расписанные по пергаменту или подражающей ему бумаге такими мастерами, как Ватто, Ланкре, Буше. Такого собрания нет ни в одном французском музее. Выставка усердно посещалась. Раздавались охи и ахи. На открытии ее меня даже спросил один спекулянтского вида жирненький гражданин, правда ли, что оправа вееров – из настоящего золота и что драгоценные камни, в нее вставленные, не поддельны. Я взглянул на него довольно холодно и сказал: «Все настоящее, увы». – «Почему “увы”?» – «Потому что не в этом дело!»

Увы! Оказалось пророческим мое «увы». Не для него одного дело было именно в камнях и золоте. Недели через две после открытия выставки грабители ночью приставили лестницу к выходящему на Неву фасаду, взобрались на балкон, вырезали алмазом стекло в дверях, забрали веера, а затем вырвали из оправ все излишнее бумажное барахло и побросали его в Зимнюю канавку. Оправы месяца через три были обнаружены в Москве, в магазине «случайных вещей» – в таком магазине, однако, где их присутствие не вполне было случайно: Чеке принадлежал этот магазин. О грабителях никто ничего не узнал, но веера были Эрмитажу возвращены – то есть не они, а золотые их скелеты, где все или почти все драгоценные камни были налицо. Только вот Ватто... Ну что ж, тогда можно было для утешенья на его «Меццетена» в Эрмитаже поглядеть, который с тех пор – столь же благополучно, как и мои друзья ускользнули в Париж, – по

велению Сталина, получившего за него большие деньги, отбыл в Америку<sup>264</sup>.

Теперь пора!

После возвращения моего из Берлина целый год прошел. Наступил следующий – 24-й. Кончил я перевод «Полуночной исповеди» Дюамеля для «Всемирной литературы», напечатал статью о Прусте в «Современном Западе», стал в «Русском современнике» печататься, Эрмитаж посещал все чаще (в Библиотеке его Картинной галереи книги о Рембрандте читал), но и лекции мои в университете не запускать. Слушателей и слушательниц у меня было вполне достаточно. Западная средневековая архитектура в ее соотношении со скульптурой, живописью и цветным стеклом искренно их, по-видимому, интересовала. Советовались со мной, какие книги им читать, иностранные языки для большинства из них препятствием не были. Экзамены (так называемые полукурсовые) сдавали большей частью хорошо; только вот председателя комьячейки <sic!>, уже не очень молодого, добродушного, но тупоумного мужчину, пришлось мне провалить – и, представьте себе, ничего со мной от этого не случилось. Так что и университетские дела для меня лично шли хорошо. Именно тут, однако, в университете, узнал я такое, что не мог уж не задуматься над тем, откладывать ли мне и далее помыслы об отъезде, возможно ли мне оставаться в России, продолжать эту мою, вовсе неплохую, удовлетворявшую меня жизнь. Да и вяло я выражаюсь – «задумываться», «не задумываться». Такая пришла весть, что не мог я не вскричать: теперь пора!

Комиссаром народного образования назначен был в ту весну историк («русский историк», как говорилось, т. е. историк России) Покровский<sup>265</sup>. Он-то университеты (вернее сказать, вузы и все прочие «узы») впервые по-настоящему и прибрал к рукам или вздернул на дыбы. Эмигранты, эмигрировавшие сразу после Октября или в результате Гражданской войны оказавшиеся за границей, очень удивлялись моим рассказам о том, как мало была нарушена внутриуниверситетская жизнь за шесть с половиной первых лет советской власти. Индивидуально многие университетские люди, не уехавшие вовремя и не высланные в 22-м году, были репрессированы (как позже научились выражаться) или погибли от голода, Гражданской войны, разрухи, но университеты в целом не погибали, работали почти свободно, поскольку темы их преподавания не соприкасались с марксистской политграмотой. Советской власти ничем они не угрожали, вреда ей никакого не приносили, так что, казалось бы, и впредь могли существовать на тех же основаниях. Хоть и не полностью был я уверен в столь благополучном будущем, но считал его (легкомысленно, что и говорить) возможным. Покровский меня об-

разумил. Покровский просветил насчет подлинных размеров партийного изуверства и партийной тупости<sup>266</sup>.

[Знал я о Покровском кое-что и прежде. Заглянул еще студентом в одну из его исторических работ и сразу же понял, отчего не снискал он ни кафедры, ни ученой степени: дело было не в его марксизме, а в отсутствии настоящего знания и подлинного таланта. За свои неудачи он теперь получил возможность отомстить.] Немедленно убрал из нашего университета С.Ф.Платонова и его учеников, с московскими профессорами русской истории поступил в том же духе, но если бы хоть на этом остановился... Куда там! Декрет подготовил, разрешавший оканчивать высшие учебные заведения (не знаю, как насчет средних) только лицам пролетарского и крестьянского происхождения. Даже сыновьям и дочерям армейских офицеров или сельских священников – людей чаще всего более чем скромного достатка – к высшему образованию отрезывался путь. Одной очень одаренной молодой певице в Ленинграде не дали кончить Консерваторию: она оказалась дочерью генерала. Позже декрет был отменен, но не классовый расизм, его внушивший. К преподающему персоналу он не относился, но предвещал, конечно, такого же рода дискриминацию и в отношении к нему. Да и, независимо от таких соображений, известие, вскоре пришедшее из Москвы, было столь ужасно, что чувства, вызванного им, было вполне достаточно, чтобы все мои колебания насчет отъезда немедленно прекратить.

В газетах об этом не сказано было ни слова. Новость эта у нас, среди профессоров и студентов, хотя громко говорить о ней никто и не решался, распространилась быстрее быстрого. Вот что случилось. Студентам-медикам, кончавшим курс в Московском университете, предстояли выпускные экзамены. Когда опубликовано было новое распоряжение властей, студенты эти были накануне того, чтобы стать врачами, приступить к медицинской практике. Добрая их половина была не-пролетарского и не-крестьянского происхождения. Студенты эти, осведомившись, получили разъяснение, что к экзаменам допущены не будут. Они обратились к правительству с ходатайством о том, чтобы им, уже пять лет обучавшимся медицине, было все-таки, в виде исключения, разрешено экзамены сдать или, если это невозможно, уехать за границу, чтобы там закончить свое медицинское образование. И в том, и в другом было им отказано. Тогда группа студентов, человек в тридцать, заперлась в одной из аудиторий Московского университета, и по жребию или вызвавшиеся добровольно двое, кажется, из них перестреляли всех прочих и сами застрелились после этого.

Когда и до меня дошла эта весть, тут-то я себе окончательно и сказал: теперь пора! Я – не фанатический приверженец какого-либо одного, противопоставляемого всем другим государственного строя.

К социальным утопиям не склонен, идеалы социализма считаю убогими, унижающими человека, но из капитализма отнюдь кумира себе не творю. Готов отнестись терпимо и к очень несовершенному государственному строю, пусть и социалистическому, поскольку сам он проявляет терпимость к человеческой личности и к культуре, создаваемой свободными – ну хоть в этом создании свободными – людьми. В конце концов, хоть и помышлял я уехать и раньше, но не раньше 21-го года, и ведь в 22-м вернулся, хотя прекрасно мог бы остаться в Финляндии или Германии. Конечно, из *гитлеровской* Германии (до которой в те годы было еще далеко) я бы немедленно бежал: такого отвращения, как ее будущий властитель, даже из наших новых хозяев никто мне не внушал, кроме разве что ангелоподобного, если верить партийной его иконе, товарища Дзержинского. Но не в лицах было дело, да и не в Германию я собирался уезжать. Дело было в идеологии – не вообще идеологии, хотя бы и коммунистической, – а в тоталитарности ее. Сама она, этой тоталитарностью своей, этим захватом всех областей жизни и духовной жизни вышла за пределы политики (или политическим сделала все на свете), а потому и чуждых политике людей, вроде меня, сделала врагами своей политики. Вопрос о присвоении прибавочной стоимости или о том, кому принадлежат орудия производства, мало меня интересовал. Но тирания захватившей власть тоталитарной идеологии страшнее всех тираний, когда-либо существовавших на земле. Смерть московских студентов свидетельствовала об этом. Уеду, сказал я себе, теперь пора!

### Вырвался! Прощание и отъезд

Твердо решив после коллективного самоубийства московских студентов-медиков, что дольше мне оставаться в России невозможно, я сразу же, весной 24-го года, приступил к предотъездным хлопотам<sup>267</sup>. Начал их совершенно так же, как за два года до того: обратился к декану факультета с ходатайством о второй заграничной командировке (не в Германию теперь, а в Париж) на шесть месяцев и без денежной субсидии. Вскоре меня вызвали в канцелярию ректора и выдали бумагу о том, что со стороны университета к такой моей поездке препятствий не встречается. Командировать меня своею властью, как два года назад, – объяснили мне, – университет теперь не мог. Обратитесь, мол, в ту инстанцию, от которой зависит выдача паспорта и визы. Инстанция эта была самая что ни на есть чекистская, хоть и помещалась на Дворцовой площади в Комиссариате иностранных дел. Отправился я туда не без отвращения, и уж конечно, со всем подобающим советскому подданному («гражданину») никак тут не скажешь) страхом и трепетом. Так и началось последнее мое российское мытарство, окончившееся, к собственному моему удивлению,



благополучно, а в придачу не то что избавившее меня от одного злостного предрассудка – я им и раньше не страдал, – но гарантировавшее мне иммунитет от несомой им заразы в будущем.

В большой комнате, куда меня направили, за перегородкой, в которой проделано было окошко, сидел молодой, хоть и старше меня, человек крайне отталкивающего вида: низкорослый жирненький рыжеватый блондин с кроличьими глазками и на редкость белыми коротенькими пухлыми руками. Нос его был не классически-еврейский, но акцент – классический. Будь у меня такой учитель в школе, пришло мне в голову, стал бы я, чего доброго, антисемитом. Изъяснился я с грехом пополам насчет моей просьбы, подал бумагу. Чекист взглянул на нее, потом, брезгливо прищурясь, на меня:

– Ну и что? «Нет препятствий». А кто же вас ко-ман-ди-рует? В Наркомпрос обращайтесь. Если спешите, езжайте в Москву. Потом сюда. Понятно?

Короткий кивок. Я понял и съездил в Москву. Провел там неделю, жил на Арбате в чем-то вроде тамошнего Дома ученых. Дважды был в Третьяковской галерее, раз в Румянцевском музее, впервые осмотрел весьма внимательно и восторженно – это было предвкушением Парижа – собрания Щукина и Морозова, находившиеся еще в особняках прежних своих владельцев, был раз в театре, кажется, в Большом, на балете, но спектакль этот совершенно улетучился из моей памяти. Помню только, что там, в театре, познакомил меня кто-то с Абрамом Эфросом<sup>268</sup> и что показали мне там сидевших в первом ряду наркомздрави Семашко<sup>269</sup> и куда более величественного, слегка даже и самодержавного на вид товарища Орджоникидзе<sup>270</sup>. Полубо-вался я Москвой (целой недели никогда в ней прежде не проводил), но в Наркомпросе ничего не добился, кроме бумаги, где значилось, что и с его стороны к моей поездке за границу «не встречается препятствий»<sup>271</sup>.

Снова я на Дворцовой площади.

– Не встречается препятствий! Это что ж, они смеются над вами, а вы смеетесь надо мной. Принесите мне бумагу о том, что вас кто-то, понимаете: *кто-то* командирует, или не являйтесь ко мне больше.

После чего он ближе придвинулся противной своей физиономией к окошечку, вытаращил на меня мутные глазки и полупшепотом, но сердито выламывая слова, произнес:

– Что у вас там, на факультете, друзей никаких и секретарш знакомых нет? Велите машинистке написать, что факультет вас командирует, а профессор какой-нибудь пусть подпишет. Тогда и приходите, а иначе-таки *не* приходите. Будет одна командировка и два «без препятствий». Понятно?

Вот так штука, подумал я. Выходит, что он хочет мне помочь. Как бы тут не таилось западни. Но машинистку я все-таки нашел,

которая согласилась на факультетском бланке нужный текст напечатать, и профессора нашел, который текст этот подписал и факультетской печатью скрепил. Не помню, кто это был, но помню, что человек даже и не близко со мною знакомый. В два дня я все это справил – и опять на площадь, мимо дома на Морской, где до одиннадцати лет я жил. Чекист очень небрежно взял у меня все три бумаги и, не взглянув на меня, сказал: «В порядке, приходите через две недели».

Пришел через две недели. Он вручил мне визой снабженный паспорт, иронически осклабился и сказал:

– Ну теперь-то вы уж больше не вернетесь?

– Что вы, что вы! Командируют меня на шесть месяцев. Ровно через шесть месяцев я и вернусь.

Тут он пресердито на меня взглянул и, высунувшись из окошечка, резко, хоть и негромко, крикнул:

– Не мудрите, не чудите. Возвращаться ни-ни!

И погрозил мне пальцем. А потом лицо его посветлело, расплылось в другой, более добродушной улыбке, и он жирной своей ручкой помахал мне, как машут, если нет платка, при отходе поезда.

Не будь его доброй воли, я бы легально и со всеми удобствами из России не уехал. Вовсе бы не уехал, всего верней. А целым и невредимым едва ли прожил бы там и год. Тошнотворный этот – но для иных, быть может, и смазливый – рыженький блондин оказался моим ангелом-хранителем. Очень слабая, но не вовсе отсутствующая у меня способность подражать, шутки ради, еврейскому акценту полностью исчезла с тех самых пор, как я, с паспортом в кармане, оказался на Дворцовой площади.

С паспортом в кармане, со свободой за пазухой... Но не то чтобы я уехал сразу после этого. Почти месяц еще ждал финской визы. Почему она задержалась, узнал только в Финляндии и рассказ об этом отложу. Тревожно это получилось для меня и хорошо: целый месяц прощался с Петербургом. Конец июня. Солнечный июль. Сирень доцветала над Ламотовым павильоном Эрмитажа, я ходил с ней прощаться не раз и не два. На Театральной улице тоже побывал не раз. По мостам и набережным прошелся в белую ночь. Съездил на Стрелку. Съездил в Павловск, Петергоф, Ораниенбаум. С Медным Всадником и куполом Исакия прощался, – знал, что расстаюсь с ними навсегда. У Анны Андреевны Ахматовой побывал, которая всегда говорила мне, что из России не уедет. Милостиво она со мной простилась и поручила мне в парижской русской гимназии узнать, примут ли туда ее сына, если она решится его отправить за границу. Простился со всеми друзьями, из которых самые близкие пришли проводить меня в день отъезда на Финляндский вокзал.

Поезд мой отходил в три часа. Утром в тот день я прощался с Эрмитажем. Рембрандтовский зал был пуст. Я встал на колени перед

«Возвращением блудного сына» и перекрестился. Помню эту картину, как будто бы видел ее вчера. И все лица помню провожавших меня на знакомом мне с детства вокзале, откуда я столько раз уезжал на дачу, иногда, чтобы вернуться через два-три дня. Я ведь и теперь ехал к матери, туда же. Только в кармане у меня обратного билета не было.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Вейдле использует для названия раздела заглавную строку и далее цитирует стихотворение Н.А. Некрасова, посвященное Крымской войне (1856).

<sup>2</sup> Принято считать, что стихотворение Ф.И. Тютчева «Цицерон» («Оратор римский говорил...», 1830), которое цитирует Вейдле, было написано под воздействием известий о революции во Франции 20–30 июля 1830.

<sup>3</sup> Строки из баллады Ходасевича «Джон Боттом» (9 марта–19 мая 1926, Париж). Впервые опубликовано: *Современные записки*. 1926. №28. С.189–196.

<sup>4</sup> Стихотворение В.Ф. Ходасевича «Обезьяна» датировано: «7 июня 1918, 20 февраля 1919». Впервые опубликовано: *Рабочий мир*. 1919. №6.

<sup>5</sup> Книжное дело издателя и книгопродавца Иосифа Николаевича Кнебеля (1854–1926) было разгромлено в Москве 28–29 мая 1914: «В Петровских линиях разнесен и смешан с пылью и грязью прелестный книжный магазин Гросман и Кнебель, уничтожены драгоценные издания, пущен по ветру труд многих поколений» (*Хин-Гольдовская Р.М. Из дневников 1913–1917 / Предисл. и публ. Е.Б. Коркиной; примеч. А.И. Добкина // Минувшее: Исторический альманах. Вып.21. М.; СПб., 1997. С.560*).

<sup>6</sup> Кузьма Фирсович Крючков (1890–1919) – рядовой Третьего Донского казачьего Ермака Тимофеевича полка. В начале войны сторожевой дозор из четырех казаков, во главе которого стоял Крючков, столкнулся с разъездом из тридцати немецких кавалеристов. Крючков убил двенадцать врагов, получив шестнадцать ранений. Первым среди рядовых русской армии он был награжден Георгиевским крестом. Войну окончил в чине подхорунжего. Погиб в боях с большевиками.

<sup>7</sup> Источник этого рассказа – выступление А.Ахматовой по ленинградскому телевидению 12 октября 1965, опубликованное журналом «Звезда» (1967. №12). Ср.: Александр Блок в воспоминаниях современников: В 2 т. Т.2. М., 1980. С.96.

<sup>8</sup> Руперт Брук (Brooke; 1887–1915) – поэт, организатор первого сборника «Георгианской поэзии» (1912). Ушел добровольцем на войну, погиб на островах греческого Архипелага. Уилфрид Эдвард Солтер Оуэн (Owen; 1893–1918) – «окопный поэт», чье дарование развернулось в стихах, написанных на войне. Шарль Пегги (Régny; 1873–1914) – французский поэт, публицист, перешедший от социализма и дрейфусарства к католицизму и воинствующему патриотизму. Пошел добровольцем на фронт и погиб 5 сентября 1914. Ален-

Фурнье (Alain-Fournier, наст. имя Анри Фурнье; 1886–1914) – автор ряда стихов, коротких прозаических произведений и высоко ценимого Вейдле романа «Большой Мольн» (1913), погиб в сентябре 1914 в битве на Марне.

<sup>9</sup> Семья Вейдле после переезда с Большой Морской, 4 жила на Малой Конюшенной улице, 1, кв. 4 (угол Шведского переулка).

<sup>10</sup> Из стихотворения «На страшной высоте блуждающий огонь...» (Сб. «Tristia», 1918). Ср.: «Насчет Мандельштама я писал, что он бывал (изредка) на лекциях Айналова (не в его семинаре) и оттуда почерпнул как Ая-Софию, так и Notre Dame. Еще помню, как там же в “Музее Древностей”, в Аудитории коего и лекции эти читались, я присутствовал раз при споре его с Шилейко (ассириологом, будущим краткосрочным мужем Ахматовой) о романтизме. Тогда я еще ни с ним, ни с Ш<илейко> не был знаком. Помню, что аргументы Ш<илейко> были много основательнее (в пользу романтизма), чем чересчур “словесные” высказывания М<андельшта>ма, часто звучавшие как черновики стихов (хороших стихов)» (письмо Иваску от 7 июня 1973 – Amherst College Center for Russian Culture (Amherst, MA). Ivask collection (далее – Amherst). Box 6).

<sup>11</sup> Об Оттокаре см.: Воспоминания. С.74-77 и примеч. 106-108.

<sup>12</sup> Евгения Ивановна Збруева (1867–1936) – певица, дочь композитора П.П.Булахова, окончила Московскую консерваторию (1893), в 1905–1917 солистка Мариинского театра, с 1915 – профессор Петроградской консерватории.

<sup>13</sup> См.: *Бенуа А.* Мои воспоминания: В 5 кн. 2-е изд., доп. Кн.1-3. М., 1990. С.9.

<sup>14</sup> Макс (Максим Романович) Фасмер (Vasmer; 1886–1962) – языковед. Окончил Санкт-Петербургский университет в 1908, с 1910 приват-доцент по кафедре сравнительного языкознания. Магистерская диссертация посвящена греческим заимствованиям в русском языке (1909). В 1918–1921 преподавал в Тартуском университете, затем – в Лейпцигском, Берлинском, Стокгольмском. Его крупнейший труд – наиболее полный этимологический справочник русской лексики: *Russisches etymologisches Wörterbuch*. Bd.1-3. 1953–1958; русск. изд.: *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка / Пер. и дополн. О.Трубачева. Т.1-4. М., 1964–1973.

<sup>15</sup> Присядьте, пожалуйста (нем.).

<sup>16</sup> Из стихотворения «Утешение Бельгии» (*Сологуб Ф.* Война. Стихи. <Пг.:> Изд. журн. «Отечество», 1915. С.20-21).

<sup>17</sup> Ср.: *Вейдле В.* Разговор о бахвальстве // *Вестник русского христианского движения* (далее – *Вестник РХД*). 1966. №82. С.27-30; см. также: *Вейдле В.* Безымянная страна. Paris, 1968. С.62-73.

<sup>18</sup> Дача семьи Вейдле находилась в поселке Райвола (ныне Рошино Ленинградской обл.).

<sup>19</sup> О ней см.: Воспоминания. С.75.

<sup>20</sup> Цитата из «Маленькой трагедии» А.С.Пушкина «Каменный гость». Вейдле также вспоминает постановку В.Э.Мейерхольда мольеровского «Дон Жуана» (1910) (см.: *Зимнее солнце. Из ранних воспоминаний.* Вашингтон, 1976. С.152-155).

<sup>21</sup> Вейdle женился на Софии Иосифовне Новицкой. «Отец моей первой жены, Иосиф Иосифович Новицкий – он был прежде товарищем министра финансов, сперва Витте, которого в высшей степени почитал, а потом Ковцева, потом членом Государственного Совета, – переживал это (падение монархии. – *И.Д.*) очень сильно. Как раз к началу революции он заболел и в первые дни февральской революции умер. У него было, кажется, не очень здоровое сердце, но, возможно, что его кончина была ускорена его волнением по поводу того, что теперь будет» (*Вейdle В.В.* Воспоминания о революции 1917 года. <1967> – Bakhmeteff Archive, Rare Book and Manuscript Library, Columbia University (New York). W.Weidle collection (далее – ВА). Vox 18. О семье Новицких см. также: *Анциферов Н.П.* Из дум о былом. Воспоминания. М., 1992. С.491). Брак распался к 1920. Уже будучи за границей, Вейdle узнал о смертельной болезни бывшей супруги. 18 октября 1929 он писал из Оксфорда своей второй жене Л.В.Барановской: «Вчера я звонил Влад<имиру> Иос<ифови>чу по телефону и узнал от него, что бедная Софья Иосифовна при смерти: у нее белокровие и она написала трудно разборчивыми каракулями прощальное письмо матери и брату. <...> ей ведь только 35 лет, и у нее маленький ребенок. Если она умрет, а от белокровия, да еще в советской России, поправиться трудно, Дима окончательно останется на мне, мы же с тобой обвенчаемся в церкви. Я очень хотел бы, чтобы она осталась жива, но думаю, что этого не будет» (ВА. Vox 8).

<sup>22</sup> Александр Васильевич Самсонов (1859–1914) – генерал от кавалерии, командовал Второй армией Северо-Западного фронта, окруженной и уничтоженной в Восточной Пруссии в августе 1914. Генерал от кавалерии Алексей Алексеевич Брусиллов (1853–1926) руководил крупнейшей наступательной операцией русской армии во время Первой мировой войны («Брусилловский прорыв») против австро-венгерских и немецких войск на территории Западной Украины. Успешный прорыв на широком фронте облегчил положение французской армии под Верденом и итальянской – в Трентино, но не имел решающих стратегических последствий для боевых действий на Востоке Европы. Потери противника составили около 1,5 млн., русской армии – 500 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными.

<sup>23</sup> О Добиаш-Рождественской см.: Воспоминания. С.115 и примеч. 210.

<sup>24</sup> О Карсавине см.: Воспоминания. С.115-116 и примеч. 209.

<sup>25</sup> См.: *Карсавин Л.П.* Основы средневековой религиозности в XII–XIII веках. СПб., 1915. Защита диссертации состоялась 27 марта 1916. Оппонентами были И.М.Гревс и Э.Д.Гримм, выступали О.А.Добиаш-Рождественская, И.В.Пузино, Д.Н.Егоров, Н.И.Кареев. См.: *Клементьева С., Клементьев А.* Послесловие // Карсавин Л.П. Основы средневековой религиозности в XII–XIII веках. Пб., 1997. С.398 и далее.

<sup>26</sup> Петр Михайлович Бицилли (1879–1953) – историк-медиевист, литературный критик. В 1905 окончил историко-филологический факультет Новороссийского университета (Одесса), с 1911 – приват-доцент. В мае 1917 защитил в Петроградском университете магистерскую диссертацию о Салимбене (см.: *Бицилли П.М.* Салимбене. Очерки итальянской жизни XIII в. Одесса, 1916). С 1920 в эмиграции в Югославии, с 1924 – профессор всеобщей истории Софийского университета в Болгарии. Ср.: *Бицилли П.М.* Место Ре-

нессанса в истории культуры. София, 1933 (переизд.: СПб., 1995). Вейдле неоднократно рецензировал работы Бицилли, а также написал о нем краткие воспоминания. Рецензии: 1) Проф. П.Бицилли. Этюды о русской поэзии. Прага, 1925 // Дни. 1926. 31 января; 2) Русская хрестоматия П.Бицилли // Возрождение. 1931. 10 сентября; 3) П.Бицилли. Хрестоматия по истории русской литературы. Ч.1. София, 1931; Ч.2. София, 1932 // Современные записки. Кн.50. С.465-66; 4) П.Бицилли. Место Ренессанса в истории культуры (Ежегодник Софийского университета. 1933. Т.29(1)) // Современные записки. Кн.53. С.457-459. Воспоминания: *Вейдле В.* Мочульский и Бицилли // Новое русское слово. 1977. 20 марта. См. также: *Вейдле В.* О тех, кого уже нет: Воспоминания. Мысли о литературе / Публ. Г.Поляка // Новый журнал. 1993. №192-193. С.402-403. О Бицилли см. также раздел I статьи Г.А.Савиной «Пусть барахтаются...» в наст. изд. (примеч. I к письму 8).

<sup>27</sup> *Солженицын А.* Август четырнадцатого. Роман. Гл.75. Ср.: Звезда. 1990. № 12. С.5-9.

<sup>28</sup> Св. Хильдегарда Бингенская (1098–1179) – аббатиса основанного ею бенедиктинского монастыря Рупертсберг близ Бингена. Ее книга «Путеведение, или Три книги видений и откровений» (*Scivias seu visionum et revelationum*), изданная в 1682, является первым памятником немецкой мистики. «Салическая правда» – сборник законов салических франков, записанный в начале VI в. Битва при Монтаперти состоялась 4 сентября 1260. См.: *Вейдле В.* Города, городки... 13. Сиена. I: Битва при Монтаперти // Русская мысль. 1970. 28 мая.

<sup>29</sup> Строка стихотворения А.Блока «Петроградское небо мутилось дождем...» (1914).

<sup>30</sup> О М.И.Ростовцеве, Э.Д.Гримме, С.Ф.Платонове см.: Воспоминания (по указ.). Михаил Иванович Туган-Барановский (1865–1919) – экономист и историк, представитель так называемого «легального марксизма». С 1895 – приват-доцент Санкт-Петербургского университета по кафедре политической экономии, в 1899 уволен по политическим причинам, в 1905 вернулся к преподаванию. Влиятельный член кадетской партии.

<sup>31</sup> Трактат «Монархия» («*De Monarchia*») написан в 1312–1313. Описание дантовского семинара Гревса 1912 года см.: *Анциферов Н.П.* Из дум о былом. М., 1992. С.277-279. См. также: *Гревс И.* Из «*Studi danteschi*». Первая глава трактата Данте «*De Monarchia*» // Из далекого и близкого прошлого: Сб. в честь Н.И.Кареева. Пг.; М., 1923.

<sup>32</sup> Канцона «Амор красноречиво говорит...» вложена в уста друга Данте музыканта Казеллы в «Чистилище» и затем включена в прозаическое сочинение «Пир» («*Il Convivio*»), написанное в 1303–1306.

<sup>33</sup> Каменноостровский пр., 27, кв. 3 (см.: ЦГИА СПб. Ф.14. Оп.3. Ед.хр.60644. Л.7). Справка, выданная Вейдле для получения вещей, оставшихся в его квартире, указывает адрес: д. 27, кв. 48 (Там же. Оп.1. Ед.хр.11248. Л.34-34 об.).

<sup>34</sup> Поэтический сборник «Зарево зорь» (1912) отражает египетские впечатления К.Д.Бальмонта.

<sup>35</sup> Видимо, Владимир Иосифович Новицкий, уполномоченный Министерства финансов в миссии Бахметева, в июне – ноябре 1919 заместитель

министра финансов в правительстве Колчака, с начала 1920 вновь в США, с сентября 1920 в Европе – заместитель Главноуполномоченного по финансово-экономическим делам (К.Е. фон Замена), а с января 1921 и Главноуполномоченный, управляющий делами Финансового совета, заместитель председателя распорядительного комитета при Совещании послов, образованного в Париже в феврале 1921.

<sup>36</sup> Бахметев (Бахметьев) Борис Александрович (1880–1951) – профессор по кафедре гидравлики, гидроэнергетики, теоретической и прикладной механики петербургского Политехнического института. С 1915 – активный сотрудник Красного Креста. Член Военно-промышленного комитета, занимавшийся поставками из Великобритании и США. В 1917 прибыл в США в ранге товарища министра торговли и промышленности Временного правительства, позднее назначен послом России. Впоследствии профессор Колумбийского университета, глава Российской гуманитарной миссии в США. Подробнее о нем: Десять лет спустя, или Переписка 1927 года: В.А.Маклаков и Б.А.Бахметев / Публ. О.В.Будницкого // Диаспора. Т.2. С.369-370.

<sup>37</sup> Ср.: «Я думаю, что было, так сказать, два периода оптимизма, которые перемежались с пессимизмом. Первый период – это самое начало – февраль, значит, скажем, еще март; тогда верили, что Временное правительство сумеет твердо себя поставить, созвать Учредительное Собрание в кратчайший срок. Думаю, что ошибкой было желание непременно устроить выборы по самым усовершенствованным какие ни на есть правилам. И от этого-то они отсрочились чрезмерно. А второй период такого прилива оптимизма – это было, когда Керенский пришел к власти и когда казалось – он человек красноречивый, многие были увлечены этим красноречием, – что он сумеет заставить, вот этим самым красноречием наших солдат снова воевать. Ну, я не очень был оптимистичен ни в первом случае, ни во втором, но вокруг меня – многие были, несомненно» (Вейдле В.В. Воспоминания о революции 1917 года).

<sup>38</sup> Особняк балерины Матильды Феликсовны Кшесинской был построен в 1904–1905 архитектором А.И. фон Гогеном (Б.Дворянская ул., 2-4). 11(24) марта 1917 он был занят солдатами бронедивизиона, и в доме разместились Центральный и Петроградский комитеты РСДРП(б). Несмотря на то что хозяйка особняка выиграла судебный процесс, большевики продолжали удерживать здание. 3(16) апреля и 4(16) июля Ленин выступал на митинге с балкона третьего этажа. 6(19) июля, после снятия вооруженной охраны, особняк был занят правительственными войсками.

<sup>39</sup> Встреча с Комиссаровыми описана также в статьях «О том, что такое культура» (Вестник РХД. 1965. №74) и «“Благообразие”». Из заметок о народно-христианских чертах в русской литературе недавнего прошлого» (Там же. 1973. №107).

<sup>40</sup> О Шахиде Сураварди см.: Германова М.Н. Мой ларец / Публикация И.Соловьевой // Диаспора: Новые материалы. Т.1. Париж; СПб., 2001 (по указ. и особенно с.89, примеч. 14).

<sup>41</sup> Мария Николаевна Германова (1881–1940) – актриса МХТ, окончила школу МХТ, с 1919 – в эмиграции. Исполнительница роли Грушеньки в спектакле «Братья Карамазовы». Вейдле также вспоминал о ней в роли До-

ны Анны («Маленькие трагедии»). Ср.: Вейдле В. Зимнее солнце. С.160-163, 172-173.

<sup>42</sup> Парафраз первых строк стихотворения, известного под названием «Великодушие смягчает сердца» (1860?), которое традиционно приписывается А.К.Толстому: «Вонзил кинжал убийца нечестивый / В грудь Деларю. / Тот, шляпу сняв, сказал ему учтиво: / “Благодарю”». См.: Толстой А.К. Полн. собр. стихотворений: В 2 т. Т.1. Л., 1984. С.319, примеч. С.580-581.

<sup>43</sup> Фанни Ефимовна Каплан (наст. имя Фейга Хаимовна Ройтблат; 1888–1918), участница революционного движения, член группы анархистов-коммунистов. После покушения на Ленина 30 августа 1918 была арестована в окрестностях московского завода А.М.Михельсона. Скорее всего, она взяла на себя ответственность за выстрел, не будучи непосредственным исполнителем теракта. Вейдле ошибочно называет ее Дорой.

<sup>44</sup> В начале 1920, на фоне продовольственного кризиса, в Петрограде начались волнения рабочих, поддержанные командами кораблей Балтийского флота и гарнизоном военно-морской базы в Кронштадте. 28 февраля экипажи линейных кораблей потребовали легализации левых социалистических партий, перевыборов Советов, упразднения комиссаров и политотделов, свободы торговли. 2 марта был создан временный революционный комитет. В ночь на 16 марта войска 7-й армии под командованием М.И.Тухачевского при участии делегатов X съезда РКП(б) начали штурм острова Котлин. К утру 18 марта, при минимальном сопротивлении, Кронштадт был взят, участники восстания, которые не смогли уйти в Финляндию, подвергнуты жестоким репрессиям.

<sup>45</sup> Прозвище главы Временного правительства А.Ф.Керенского.

<sup>46</sup> Михаил Николаевич Каракаш (1887–1937) – лирический баритон, в 1911–1918 солист Мариинского театра. С осени 1921 – в эмиграции (Рим, Париж). С 1931 – профессор Русской консерватории в Париже.

<sup>47</sup> В 1917, по распоряжению Временного правительства, опасавшегося что Петроград может быть занят немцами, значительная часть собрания Эрмитажа, прежде всего наиболее ценные произведения живописи, были эвакуированы в Москву. Возвращены в 1920.

<sup>48</sup> Строка из стихотворения «Смотр» (1917) поэта Леонида Иоакимовича Каннегисера (1896–1918), участника антибольшевистского подполья, застрелившего 30 августа 1918 председателя Петроградской чрезвычайной комиссии М.С.Урицкого.

<sup>49</sup> Строки из поэмы А.А.Блока «Двенадцать» (январь 1918).

<sup>50</sup> Учредительное собрание, созданное на основе всеобщего избирательного права, должно было установить форму правления в России и выработать конституцию. Выборы состоялись в ноябре–декабре 1917. Большинство завоевала партия социалистов-революционеров (свыше 40%), большевики получили менее четверти голосов. Учредительное собрание открылось в Петрограде 5(18) января 1918. После того как большинство делегатов отказалось поддержать инициативы большевиков и признать декреты Советской власти, собрание было закрыто с помощью вооруженной силы. Демонстрации в его поддержку были разогнаны.

<sup>51</sup> Строки из поэмы А.А.Блока «Двенадцать».



<sup>52</sup> По распоряжению Временного правительства В.И. Ленин разыскивался полицией, однако арестован не был.

<sup>53</sup> Федор Федорович Кокошкин (1871–1918) и Андрей Иванович Шингарев (1869–1918) были членами Временного правительства и депутатами Учредительного собрания. 28 ноября 1917 были арестованы вместе с другими членами Центрального комитета конституционно-демократической партии, 6 января 1918 переведены в Мариинскую больницу и в ночь на 7 января убиты группой матросов. Это преступление, официально осужденное Советом народных комиссаров, было воспринято обществом как прямой результат политики большевиков.

<sup>54</sup> Виктор Михайлович Чернов (1873–1952) – лидер партии социалистов-революционеров, министр земледелия в двух составах Временного правительства, противник стихийного захвата помещичьих земель крестьянами. 5 января 1918 – председатель Учредительного собрания. Активный деятель антибольшевистского движения, с 1920 – в эмиграции.

<sup>55</sup> 29 сентября 1916 распоряжением Министерства народного просвещения Н.П.Оттокару было поручено чтение лекций и ведение практических занятий по немецкому языку (затем по итальянскому) в Пермском отделении Петроградского университета. 1 июля 1917 Оттокар стал экстраординарным профессором по кафедре всеобщей истории, он также состоял членом целого ряда комиссий, организующих деятельность новоучрежденного университета. Оттокар читал также курсы «История и теория искусства» (с 1 июля 1917), «Искусство эпохи Возрождения» (с 13 сентября 1918). См.: *Костицын В.И.* Ректоры Пермского университета. 1916–1991. Пермь, 1991. С.17.

<sup>56</sup> Пермский адрес Вейdle этого времени: Пермь, Заимка, дом Меньшикова, квартира проф. Н.П.Оттокара. См.: ЦГИА СПб. Ф.14. Оп.1. Ед.хр.11248. Л.27–28. Заимка (по Далю) – «заполье, запольная пашня, отдельно, в пустоши». В Перми – район за речкой Данилихой, при ее впадении в Каму. С начала XX в. особенно активно застраивался заводами и фабриками.

<sup>57</sup> Николай Васильевич Мешков (1851–1933) – предприниматель, общественный деятель, филантроп. В Перми с 1876. Владелец ряда предприятий, в том числе парходства. Накануне революции его капитал составлял около 60 млн. рублей. В 1914 он построил здание, предназначенное для земской управы, а в районе Заимка – здание ночлежного дома, учрежденного в память матери, Е.И.Мешковой. В 1915, когда предполагалась эвакуация Юрьевского (Тартуского) университета в Пермь, Мешков предложил передать эти постройки и 500 тыс. рублей, если университет останется в Перми. При основании Пермского университета Мешков пожертвовал здания и обещал в течение десяти лет ежегодно выделять по две тысячи рублей на их содержание. После революции он работал консультантом Наркомата путей сообщения. Обстоятельства смерти Мешкова загадочны. По одной версии, он скончался в Москве восьмидесяти трех лет от роду, по другой – был зарублен старым революционером А.Гурьяновичем. См.: *Спешилова Е.* Старая Пермь. Дома. Улицы. Люди. 1723–1917. Пермь, 1999. С.38

<sup>58</sup> Пермское общество, прежде всего земство, давно выступало за открытие в городе высшего учебного заведения. Предполагалось, в частности, что

в Перми разместится эвакуируемый Юрьевский (Тартуский) университет – сторонником этого решения был его профессор К.Д.Покровский, совершивший поездку по ряду городов Урала и Поволжья. Юрьевский университет был переведен в Воронеж, но Покровский возглавил новооснованный университет в Перми, который был торжественно открыт 1 октября 1916. В течение первого года он функционировал как филиал Петроградского университета.

<sup>59</sup> Сергей Петрович Обнорский (1888–1962) – языковед, историк русского языка, лексикограф. Окончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета, ученик А.А.Шахматова. Приват-доцент Петроградского университета, командирован в Пермь в 1917, где стал профессором по кафедре славянской филологии, вел курсы исторической грамматики, церковнославянского языка и др. Профессор Петроградского (Ленинградского, 1922–1941), Московского университетов (1943–1944). Академик РАН (с 1939). До середины 1930-х занимался главным образом вопросами исторической морфологии русского языка, изучал памятники древней письменности. В течение десятилетий руководил изданием словарей современного русского языка.

<sup>60</sup> Александр Петрович Дьяконов (1873–1943) – историк. В 1897 окончил отделение гражданской истории Санкт-Петербургской духовной академии, в 1908 защитил магистерскую диссертацию «Иоанн Эфесский и его церковно-исторические труды». Приват-доцент Петроградского университета и экстраординарный профессор Духовной академии. В 1917 командирован в Пермь. 3 января 1918 А.П.Дьяконов избран председателем Общества исторических, философских и социальных наук при Пермском университете (до 1930). См.: Сборник Общества исторических, философских и социальных наук при Пермском университете. Вып.1. Пермь, 1918 (далее – Сборник Общества). С.144. Изучал историю древней и раннесредневековой Сирии и Византии, славяно-византийские отношения. Был деканом факультета общественных наук, проректором университета (до 1927). В 1930–1932 заведовал кафедрой всеобщей истории Пермского педагогического института, был обвинен в «антимарксистских установках». В дальнейшем преподавал в Рязанском и Смоленском педагогических институтах. См.: *Шилов А.В.* А.П.Дьяконов // Профессора Пермского университета: Библиографический указатель. Пермь, 1991.

<sup>61</sup> Борис Васильевич Казанский (1889–1962) – литературовед, лингвист. Окончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета (1913). В 1917 командирован в Пермь в качестве и. о. профессора классической филологии, с того же года – профессор. С 1920 – профессор Петроградского университета по кафедре классической филологии. В начале 1920-х был близок к ОПОЯЗу. В Перми опубликовал ст.: Очерк развития идеи бессмертия в античности // Сборник Общества. С.5-30 (текст доклада на заседании Общества 3 января 1918 см.: Там же. С.144).

<sup>62</sup> «Оставленный при Университете» Вейдле состоял действительным членом Общества исторических, философских и социальных наук при Пермском университете со дня его первого заседания – 21 декабря 1917 (рекомендован членами-учредителями Б.Л.Богаевским и Н.П.Оттокарсом). См.: Сборник Общества. С.143, 177. Опубликованные протоколы заседаний

первой половины 1918 не упоминают выступлений Вейдле с докладами или в прениях.

<sup>63</sup> Поначалу, кроме историко-филологического, в Пермском университете были юридический и физико-математический факультеты. Последний включал также медицинское отделение и отделение естественных наук. На начало 1917 факультеты имели соответственно 63, 67 и 249 студентов (см.: *Кертман Л.Е., Васильева Н.Е., Шустов С.Г.* Первый на Урале. <Пермь> Пермское кн. изд-во., 1987. С.9. Далее – Первый на Урале). Число студентов резко увеличилось в последующие годы, в частности, за счет учащихся Петроградского и Московского университетов. 1 июля 1918 был объявлен прием на новообразованный сельскохозяйственный факультет.

<sup>64</sup> Газetano Сальвемини (Salvemini; 1873–1957) – итальянский историк и политик. Преподавал в университетах Мессины, Пизы, Флоренции (1902–1925). С 1893 – в социалистическом движении. В 1919–1921 – депутат парламента, арестован и судим при Муссолини, с 1925 по 1949 – в эмиграции (Франция, США). Вейдле имеет в виду, очевидно, его работу: *Magnati e popolani in Firenze dal 1280 al 1295*. Torino, 1900.

<sup>65</sup> Политические трения среди преподавателей все-таки происходили. Бывший преподаватель-естественник вспоминал: «...профессура разделилась на два лагеря. Один из них, к которому принадлежали А.А.Заварзин, Д.М.Федотов, А.А.Рихтер, А.А.Полканов, Ю.С.Залькинд, А.А.Фридман, Б.Л.Богаевский, М.В.Птуха, Г.Г.Вейхардт и ряд других прогрессивных профессоров, безоговорочно заявил о своем признании новой власти, о необходимости вступления с нею в деловой контакт и совместной работы по дальнейшему развитию университета. Эта группа получила прозвище от своих противников “жидо-немецкая партия”. Этими противниками, получившими в свою очередь кличку “церковно-приходская партия”, были лейб-медик Деревенко и другие, фамилий которых не помню» (*Орлов Ю.А.* Невозвратимое прошлое // Пермский университет в воспоминаниях современников. Вып.1. Изд. Томского ун-та. (Перм. отд.), 1991. С.34. Воспоминания датированы: «8–10 января 1949, Ленинград»).

<sup>66</sup> Книга Оттокара была издана отдельно (*Оттокар Н.П.* Опыты по истории французских городов в Средние века. Пермь, 1919), а также как первый выпуск университетских записок: *Записки Пермского университета*. 1919. Т.1. С.1-258. В обоих вариантах ее открывало следующее «Предупреждение»: «Настоящая книга, законченная автором в ноябре 1918 года, к сожалению, выходит в свет в его отсутствие. Два последних листа не могли быть им прокорректированы, и предисловие не было написано. Позволю себе, согласно с неоднократно высказанным автором намерением, принести от его имени глубокую благодарность Совету Пермского Университета, предоставившему ему честь открыть своим трудом серию университетских “Записок”. В.Вейдле. Пермь. 20 марта 1919 г.» (в экземплярах Российской национальной библиотеки Н.П.Оттокар внесены незначительные исправления и дополнения). Ср. итальянское издание: *Ottokar Nicola. Le città francesi nel medio evo: saggi storici*. Firenze: Vallecchi, 1927.

<sup>67</sup> Н.П.Оттокар был избран проректором 24 октября 1917 (24 голоса «за», 11 – «против»). Несмотря на неоднократные просьбы об освобождении от этой должности, он был переизбран 23 мая 1918. 1 октября 1918 единоглас-

но избран деканом историко-филологического факультета, 1 октября 1919 избран и. о. ректора на Совете Университета (10 «за», «против» нет), а 30 апреля 1920 – ректором (73 члена Совета – педагоги и студенты – проголосовали единогласно). 8 декабря 1920 обратился с просьбой о командировке в Италию. 13 сентября 1921 ректором был избран и. о. декана сельскохозяйственного и лесного факультета А.А.Рихтер (1871–1947). См.: *Костицын В.И.* Ректоры Пермского университета. 1916–1991. С.16–17.

<sup>68</sup> Борис Аполлонович Кржевский (1887–1954) – переводчик с испанского, французского, специалист по испанской литературе. Окончил Санкт-Петербургский университет, в 1914–1916 жил в Мадриде. С 1917 – профессор Пермского университета, преподавал историю западноевропейской литературы, французский язык.

1 апреля 1918 на заседании Общества исторических, философских и социальных наук при Пермском университете Кржевский прочел доклад «К вопросу о происхождении легенды о Дон-Жуане». «Б.Л.Богаевский благодарит докладчика за слуховое наслаждение, доставленное цитатами на прекрасном испанском языке» (Сборник Общества. С.162). Ср.: «Приват-доцент Борис Аполлонович Кржевский вел <...> занятия по испанскому языку. Это был педагог-артист. Он так выразительно читал им <студентам> сцены из “Дон-Кихота” по-испански, что они, не понимая ни одного слова, хохотали до упаду» (*Генкель М.А.* Я благодарна своим учителям // Пермский университет в воспоминаниях современников. С.5–6).

<sup>69</sup> См.: *Кржевский Б.* Тирсо де Молина. 1571–1648 // Тирсо де Молина. Дон Хиль Зеленые Штаны. Комедия в 3-х действиях / Пер. В.Пяста. Под ред. Б.А.Кржевского и М.Л.Лозинского. Берлин: Петрополис, 1923. С.5–124.

<sup>70</sup> Архив Вейдле позволяет уточнить темы некоторых курсов, которые он вел в Пермском университете. Так, весной 1920 он читал курс «Французская лирика второй половины XIX века», включавший десять лекций: «1. Общее введение. 2. Готье. 3. Парнасцы. Банвилль. 4. Бодлер. 5. Верлен. 6. Корбьер, Рембо, Лафорг. 7. Малларме. 8. Vers libre. Верхарн. Вьеле-Гриффен. 9. “Символизм”. Морэас. Ренье. 10. Жамм и Клодель» (ВА. Вох 25). В 1921 это был курс «Теория новой французской лирики» (ВА. Вох 29).

<sup>71</sup> Владимир Эдуардович Крусман (1879–1922) – ученик И.М.Гревса, с 1908 приват-доцент, затем и. о. профессора Новороссийского университета. Главные сферы его интересов: европейский гуманизм и история Англии. В 1916 защитил в Петроградском университете магистерскую диссертацию «На заре английского гуманизма. Английские корреспонденты первых итальянских гуманистов в ближайшей обстановке». С июня 1917 – ординарный профессор Пермского университета, читал курс всеобщей истории, готовил книгу о Петрарке. «От средневековой истории занятия его отошли (она передана была в Одессе вновь подготовленному преподавателю П.М.Бицилли); но он углубился в новейшую, не только европейскую, но и внеевропейскую, на далеком Западе и далеком Востоке, в познание процесса “европеизации мира” и обратного воздействия мира на Европу, в рассмотрение природы и борьбы современных империализмов» (*Гревс И.М.* Памяти В.Э.Крусмана // *Анналы.* 1922. №2. С.257. Ср.: *Крусман В.Э.* История и современность // Пути науки: Введение в историческое знание. Пермь, 1918).

«Владимир Эдуардович, когда читал, забывал обо всем на свете. Перерывов для него не существовало. Он красками писал картину. Вдохновленно, образно, ярко лилась его речь, один поток мыслей нагромождался на другой, одна мысль торопила другую. Эти мысли было трудно записать. Мы оставляли тетради и только слушали. Но в целом оставалось удивительное впечатление, мы были по-настоящему взволнованы и благодарны профессору. В.Э.Крусмана любили как-то особенно нежно: каждый, кто знал его, питал к нему самое глубокое уважение. И было больно узнать, что летом 1922 г. Владимир Эдуардович умер в Москве. Мы увеличили его портрет и повесили в кабинете всеобщей истории» (*Молодцов В.А.* Здесь я принял эстафету, которую несую всю жизнь... // *Пермский университет в воспоминаниях современников. С.21-22*). «Один из младших пермских его собратьев еще на днях растроганно говорил мне, какую бескорыстную ободряющую поддержку он (и все) встречал со стороны Вл<адимира> Эд<уардовича> в лучших стремлениях среди уныния и тоски.» (*Гревс И.М.* Памяти В.Э.Крусмана. С.258).

<sup>72</sup> Ср.: «Рано ставший семьянином и предоставленный сам себе, он умел обеспечивать своих, не покладая рук в научной работе, и собирал, книга за книгой, превосходную библиотеку на остающиеся гроши. <...> Потом оказалось, что его библиотека по дороге была оставлена в Харькове, и до самой смерти Вл<адимиру> Эд<уардовичу> не удалось добиться возврата его трудового достояния. Он хлопотал об этом в самые последние дни в Москве» (Там же. С.256, 258).

<sup>73</sup> Александр Александрович Фридман (1888–1925) – специалист по гидродинамике, динамической метеорологии, теоретической физике. Окончил Санкт-Петербургский университет в 1910. С 1913 работал в Павловской аэрологической обсерватории, приват-доцент Киевского университета. В 1918–1920 профессор Пермского университета по кафедре механики. С мая 1920 – в Главной физической обсерватории в Петрограде. В Перми стал первым проректором после возвращения университета из эвакуации: «Этот болезненный на вид и очень скромный человек обладал удивительной силой духа. Он был одним из немногих ученых, имевших мужество не подписать позорное обращение <см. примеч. 84> в марте 1919 г. Выдающийся математик, он внес поправку в теорию относительности Эйнштейна и предложил новую математическую модель мироздания. А.А.Фридман был одним из основоположников советской школы динамической метеорологии. В 1931 г. ему посмертно присуждена премия им. В.И.Ленина» (Первый на Урале. С.20-21). Речь идет о разработанной в 1922–1924 нестационарной модели Вселенной.

<sup>74</sup> Этот анекдот использован Замятиним в рассказе «Слово предоставляется товарищу Чурьгину» (1927).

<sup>75</sup> Георгий Георгиевич Вейхардт (1888–1919) – физик. В 1910 окончил физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета, оставлен для подготовки к профессорскому званию и преподавательской деятельности. В апреле 1913 был в командировке в Геттингене. С 1915 – младший ассистент Физического института. В мае 1917 избран приват-доцентом и откомандирован в Пермь. С 31 мая 1917 – и о. экстраординар-

ного профессора по кафедре физики, затем – профессор (см.: ЦГИА СПб. Ф.14. Оп.1. Ед.хр.10363). 12 января 1918 избран действительным членом Общества исторических, философских и социальных наук при Пермском университете. См.: Сборник Общества. С.144.

<sup>76</sup> Армия А.В.Колчака заняла Пермь 25 декабря 1918, однако уже 27 декабря наступление было остановлено, а с начала января 1919 белые перешли к обороне.

<sup>77</sup> См.: Вейдле В. Зимнее солнце. С.54-55.

<sup>78</sup> Лев Александрович Зандер (1893–1964) – философ, религиозный мыслитель, деятель экуменического движения. Окончил Александровский лицей (1913), учился у В.Виндельбанда в Гейдельберге до начала Первой мировой войны. В 1915–1917 – на фронте. С 1917 – приват-доцент Пермского университета по кафедре философии, после эвакуации преподавал во Владивостокском университете. В эмиграции стоял у истоков Русского студенческого христианского движения (1922 – Прага, с 1923 – Париж, с 1925 – преподаватель Богословского института). Ср.: «Когда мы познакомились в Перми, <...> я уже застал Льва Александровича во главе основанного им литературно-философского кружка, где речь шла о Кьеркегоре (которого тогда один наш председатель и читал), о Леонтьеве, о Соловьеве: был это, хоть и ненавязчиво, кружок религиозно-философский» (Вейдле В. В печали об ушедшем // Вестник РХД. 1964–1965. №75-76. С.40.)

<sup>79</sup> Гиппиус З. Зеленое кольцо. Пг., 1916. Поставлена В.Э.Мейерхольдом в 1915 на сцене Александринского театра.

<sup>80</sup> Александр Иосафатович Коссовский (1886–?) – историк. В 1906 поступил вольнослушателем на историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета, в 1907 переведен в студенты. Окончил университет в 1912 и был оставлен на два года для подготовки к профессорскому званию (срок несколько раз продлевался). Зачетное сочинение посвящено религиозно-философским взглядам Анджея Моджевского (ок. 1503–1572), одного из вождей польской реформации. В 1917/18 учебном году в качестве приват-доцента объявил курс лекций «История реформационного движения в Польше», однако в августе 1918 был зачислен приват-доцентом Пермского университета. Читал лекции по истории славян, истории Польши, Юго-Западной Руси, гуситского движения и др. В 1921–1924, находясь в Перми, хлопотал о получении польского гражданства. С апреля 1924 – в Польше, в 1925 служил учителем государственной гимназии в г. Ковеле (ныне – Белоруссия) (см.: ЦГИА СПб. Ф.14. Оп.1. Ед.хр.10749; Профессора Пермского университета. С.50). «Таким же, мало приспособленным к жизни, был и профессор Коссовский, поляк по происхождению, впоследствии уехавший в Польшу. Мы так его и звали: пан Коссовский. Он был очень рассеян, говорил, запинаясь, каким-то очень высоким голосом, безобидный добряк, даже немного чудаковатый. Когда он припоминал даты, а он их приводил часто и много, то поднимал глаза, словно все даты были написаны на потолке. Не знаю почему, но про него сложили такую песенку: “Пан Коссовский любит кашу. Дурденевский – сын мамы...”» (Молодцов В.А. Здесь я принял эстафету <...> С.20). О В.Н.Дурденевском см. примеч. 99.

<sup>81</sup> Начатые в 1919 записи «Символизм и аллегоризм средневековой культуры...» см.: ВА. Вох 28.

<sup>82</sup> Фотографию А.В.Болдыревой (в замужестве Казаковой) см.: *Хисамутдинов А.А.* Российская эмиграция в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке: Биобиблиографический словарь. Владивосток, 2000 (не- нум. стр. иллюстраций). Статья о ней отсутствует, вероятно, по причине ошибки набора: на ее месте находится вторично напечатанный текст справки о П.А.Казакове (С.143).

Анна Васильевна Болдырева упоминается в письме, которое сохранилось в архиве Вейdle (датируется предположительно по французскому почтовому штемпелю):

<28 ноября 1932

Бланк: Русская газета «Наш путь»\*

Russian Daily «Nash Put»

302/4 The Bund, Tientsin, China>

Глубокоуважаемый В.В.

Беру Ваши инициалы из «Последних новостей», как и адрес в русской транскрипции; имени никак не могу вспомнить. Как поживаете и что подельваете в Европе? Пишете ли стихи. Я до сих пор помню один Ваш отрывок

.....наскучило

С чучелами играть...

Есть ли у Вас какие-либо сведения о наших пермяках? Живет ли кто-либо из них в Европе? Помнится, я видал в европейских газетах сведения о Горовцеве. Что слышно об Ю.Верховском, Богаевском\*\*, Казанском? Видали ли нашего тишайшего и всеблаженнейшего Зандера там – носит ли он свой китайский халат. И т. д., и т. д.

Если будет не лень – черкните. Со своей стороны могу сообщить, что сравнительно недавно в Харбине видел Анну Болдыреву – она постарела, замуж не вышла, служит в английской фирме. Знаменитый Н.В.Устрялов потолстел, стал мягким и сдобным, ездил в Москву, где видел в какой-то столовке для гг. профессоров Верховского. Он процветает, делает политику и т. д.

Что касается меня, то я после всяких поэм и прочих глупостей разразился книгой «Мы», об которой только вчера имел удовольствие прочесть рецензию Бицилли в «Современных Записках». В настоящее время приступаем к изданию газеты, которая будет носить фашистский характер.

Но все это дела дневные; дела и сумерек и настроений, дела мира ночного приходят иногда только в свободное время; знаете, относительно них, познакомился я с китайским языком, с иероглифами отчасти, и при помощи моего «сянь-шена», с китайской поэзией. Это удивительный парнасизм. У меня есть работа по Конфуцию – об статике китайской этики и об китайской поэзии. Не нужно ли куда пристроить? А впрочем, это так, ан пассан...\*\*\*

Вообще – Китай – великая вещь; конечно, можно делать раскопки разных «Тут'ов», но здесь сама живая тысячелетняя действительность; и какая прозрачность духа!

Итак, повторяю, если будет не лень и Вы меня еще помните, – черкните несколько слов, ответьте об общих знакомых и об литературных делах. Помните, что мы с Востока можем двинуть целую серию забавных и новых вещей.

Жму Вашу руку.

Ваш Всеволод Иванов\*\*\*\*

Где Н.О.Лосский? Если там и его подчас видите – сказывайте ему привет от его ученика.

\* Газета «Наш путь. Ежедневный орган русской национальной мысли за рубежом» – орган Российского фашистского движения. Выходила в 1932–1941 в Харбине, в 1941–1943 – в Шанхае.

\*\* Борис Леонидович Богаевский (1882–1942) – филолог-классик. В 1907 окончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета, в 1916 защитил магистерскую диссертацию «Земледельческая религия Афин», стал приват-доцентом и был откомандирован в Пермь, где с сентября 1917 стал профессором по кафедре классической филологии, с октября – деканом историко-филологического факультета (по май 1918). В 1918–1920 читал многочисленные курсы по истории Древнего Востока, античному искусству, латинскому языку и др. В 1920 председатель резвакуационной комиссии. В Пермь не вернулся, так как был избран ректором Томского университета. С 1922 – в Петрограде, преподавал в университете, изучал культуру Крита и земельные отношения в Древней Греции. Умер в блокаду.

\*\*\* en passant (*франц.*) – мимоходом.

\*\*\*\* Всеволод Никанорович Иванов (псевд. доктор Финк; 1888–1971) – литератор, журналист. Окончил Санкт-Петербургский университет в 1911. Участвовал в Первой мировой войне. Работал в газетах Омска, Владивостока и Харбина. С 1922 – в эмиграции. Был близок к Г.М.Семенову и С.Д.Меркурову. Жил в Тяньцзине. После конфликта с соредактором В.П.Разумовым покинул созданную им газету «Наш путь». Осенью 1935 участвовал в создании кружка Китаеведения («Общество изучения Китая»), первый редактор журнала «Вестник Китая» (1936). С 1931 – гражданин СССР (?), с мая 1936 – на просоветских позициях. В феврале 1945 репатрировался, жил в Хабаровске. Член СП СССР (см.: *Хисамутдинов А.А. Российская эмиграция в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке. С.134-135*). Упомянута его книга, некоторые идеи которой, созвучные евразийству, предвосхищали концепцию Л.Н.Гумилева: *Иванов Вс. Мы: Основы русской государственности*. Харбин: Бамбуковая роща, 1926. Ср. рецензию П.М.Бицилли в журнале «Современные записки» (1926. Кн.29. С.489-495).

<sup>83</sup> Дмитрий Васильевич Болдырев (1885–1920) – философ. С 1918 приват-доцент Пермского университета. С 1919 директор пресс-бюро Русского бюро печати при правительстве А.В.Колчака. После падения Колчака был арестован, умер от сыпного тифа в иркутском тюремном госпитале. Его книга «Знание и Бытие» была издана в Харбине в 1935 со введением Н.О.Лосского.

<sup>84</sup> В 1918 преподаватели университета не раз выступали против проводимой советской властью реформы высшей школы, в частности, против отмены



образовательного ценза и преимущественного приема представителей беднейших слоев. Когда Пермь была занята Белой армией, значительная часть преподавателей выразила свою позицию: 22 марта 1919 группа профессоров и членов Ученого совета приняла (семнадцатью голосами против двух – А.А.Фридмана и Г.Г.Вейхардта) обращение к зарубежным университетам «По поводу переживаемого Россией бедствия большевизма». См.: Пермский государственный университет им. А.М.Горького: Исторический очерк. 1916–1966. <Пермь:> Пермское кн. изд-во, 1966. С.22; Первый на Урале. С.19.

<sup>85</sup> Белая армия оставила Пермь 1 июля 1919.

<sup>86</sup> С января 1850 по начало 1854 Ф.М.Достоевский отбывал каторгу в качестве «челнока» в Омской крепости.

<sup>87</sup> Broad way (англ.) – букв. «широкий путь».

<sup>88</sup> Томский университет основан в 1888.

<sup>89</sup> Сергей Иосифович Гессен (1887–1950) – философ, педагог; сын лидера кадетской партии Иосифа Владимировича Гессена (1865–1943). После обучения в университетах Гейдельберга и Фрайбурга и защиты диссертации, возвратился в Россию, редактировал русское издание международного философского журнала «Логос». В 1913–1917 – приват-доцент Санкт-Петербургского университета. С лета 1917 по 1921 профессор по кафедре философии и педагогики Томского университета. В декабре 1921 эмигрировал, жил в Германии, Чехословакии, Польше.

<sup>90</sup> Юрий Никандрович Верховский (1878–1956) – поэт, литературовед. В 1898–1902 учился на историко-филологическом факультете Санкт-Петербургского университета. В 1917 избран приват-доцентом. Выпустил ряд исследований русской поэзии первой трети XIX в., в частности, основанных на архивных источниках, монографию «Барон Дельвиг» (Пг., 1922), антологию «Поэты пушкинской поры» (М., 1919) и др.

<sup>91</sup> «Идиллии и элегии» (СПб., 1910) – книга стихов Ю.Н.Верховского, принесшая ему поэтическую известность. Подарена Блоку в июле 1910. Приведена первая строфа стихотворения Блока «Юрию Верховскому. (При получении “Идиллий и Элегий”» (1910). См.: Блок А.А. Полн. собр. соч: В 20 т. Т.3. М., 1997. С.790–791. Вейдле ошибается при цитировании первой строки: у Блока – «Дождь мелкий...»

<sup>92</sup> «Обернувшись к своим книгам, он им сказал: “Прощайте, друзья!”» (Фикельмон Д.Ф. Из дневника // А.С.Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. Т.2. М., 1985. С.156). Вейдле, скорее всего, был знаком с публикацией: Измайлов Н.В. Пушкин в переписке и дневниках современников. 2. Пушкин в дневнике гр. Д.Ф.Фикельмон // Временник Пушкинской комиссии. 1962. М.; Л., 1963. С.32–37. Ср: «...началась агония, она была почти мгновенна: потухающим взором обвел умирающий поэт шкапы своей библиотеки, чуть внятно прошептал: “Прощайте, прощайте” и тихо уснул навсегда» (Данзас К.К. Последние дни жизни и кончина Александра Сергеевича Пушкина // А.С.Пушкин в воспоминаниях современников. Т.2. С.379).

<sup>93</sup> Граф Александр Григорьевич Строганов (1795–1891), генерал-адъютант, член Государственного совета и сенатор, подарил в 1880 вновь учреж-

денному Императорскому Томскому университету библиотеку, собранную несколькими поколениями его семьи. В число раритетов собрания входили принадлежавший Пушкину экземпляр радищевского «Путешествия из Петербурга в Москву», книги из библиотеки Людовика XVI, альбомы гравюр Ватто, Буше, Стефано делла Белла, Пиранези и др. «Библиотека графов Строгановых представляет собою обширнейшую коллекцию книг по всем отраслям литературы и науки и оценивается в настоящее время в полмиллиона рублей. Для отправки ее в Сибирь понадобилось свыше 120 ящиков, в которых были уложены жертвуемые книги. <...> одним из главных ее отделов является отдел французской литературы, в котором имеются все наиболее замечательные произведения писателей XVII–XVIII веков в лучших изданиях. Что касается внешнего вида, то почти все книги переплетены в роскошные переплеты, пергамент, кожу или марокен работы лучших переплетчиков, нередко с их подписями» (N. Библиотека гр. Строганова в Томском Университете // Русский библиофил. 1914. №2. С.8); «Библиотека Строганова в течение истекшего двадцатипятилетия (1882–1912) помещалась во втором этаже Главного Университетского корпуса, в двухсветном зале, с 2-мя рядами галерей вокруг всего зала <...>, а самые драгоценные части ее помещаются в трех особых витринах...» (Там же. С.10).

<sup>94</sup> *La Fontaine Jean de. Contes et nouvelles / Éd., exécutée aux frais des fermiers généraux, avec une notice par D.Diderot. 2 vol. Amsterdam <Paris, Barbou>, 1762.* Генеральные откупщики финансировали это издание, для которого Ш.Эйзен исполнил восемьдесят иллюстраций, гравированных Ж. де Лонгайлем, Н. Ле Миром, Ж.Ж.Флипаром и др.

<sup>95</sup> В настоящее время собрание книг Строгановых по-прежнему принадлежит библиотеке Томского университета.

<sup>96</sup> Красная армия заняла Томск 22 декабря 1919.

<sup>97</sup> Мария де Севинье (Sévigné; 1626–1696) – писательница. Овдовела в 1646. В 1669 ее дочь вышла замуж и через два года уехала в Прованс. Обращенные к ней письма принесли г-же де Севинье посмертную славу (первый сборник вышел в 1726) – они отразили современные события, нравы общества, сделавшись в то же время образцами эпистолярного стиля.

<sup>98</sup> Кребийон-младший (Кребийон; Crébillon; 1707–1777) Клод Проспер Жوليو и Мариво (Marivaux; 1688–1763) Пьер Карле де Шамблен де – французские романисты XVIII в. Их произведения, характерные для литературы рококо, сочетали прихотливость языка, полный пикантных ситуаций увлекательный сюжет с итоговым нравоучением.

<sup>99</sup> Всеволод Николаевич Дурденевский (1889–1963) – юрист. В 1911 окончил юридический факультет Московского университета, с 1915 – приват-доцент. С июля 1917 – профессор Пермского, с 1922 – Московского университета. В 1921–1922 – консультант Наркомата Рабоче-крестьянской инспекции. В 1927 – консультант Комиссии законодательных предложений при СНК СССР. Впоследствии ответственный работник центрального аппарата МИДа, чрезвычайный и полномочный посол II ранга, заслуженный деятель науки РСФСР, доктор юридических наук, профессор. В Перми В.Н.Дурденевский был товарищем секретаря Общества исторических, философских и социальных наук при университете. См. текст его доклада:

*Дурденевский В.* Субъективное право и его основное разделение // Сборник Общества. С.66-101.

«Профессор В.Н.Дурденевский читал курс политической экономии. Обязательный для всех, он читался в зале Екатерино-Петровского училища, где можно было собрать много народу. Холод был там жуткий, отопительная система не работала. Естественно, мы, студенты, сидели в шубах и валенках. Но не таков был наш профессор. Появившись на сцене в шубе, он раздевался, клал шубу, шапку, перчатки, кашне на крышку рояля, снимал теплые калоши и, оставшись в строгом изящном костюме, приступал к лекции. Читал он прекрасно, выразительно, не прибежал к конспекту, в совершенстве владел материалом и словом. Он как-то отчеканивал каждую мысль. Слушать его было приятно, интересно. На его лекциях присутствовало много студентов, но в зале от этого не становилось теплее» (*Молодцов В.А.* Здесь я принял эстафету <...> С.20).

<sup>100</sup> Здесь и далее – текст, помещенный в квадратные скобки, вычеркнут в рукописи.

<sup>101</sup> Андрей Иванович Луньяк (1881–?) – химик. В 1904 окончил Военно-медицинскую академию. В 1906 ушел с военной службы и начал работу в лаборатории органической химии Казанского университета, в 1910 стал приват-доцентом. С 1912 адъюнкт-профессор Института сельского хозяйства и лесоводства в Ново-Александрии Люблинской губернии (Польша). В 1914 – магистр химии Киевского университета, в связи с оккупацией Царства Польского работал на вакантной должности в петроградской Военно-медицинской академии (см.: ЦГИА СПб. Ф.14. Оп.1. Ед.хр.11214. Л.89-90). С июля 1917 – ординарный профессор Пермского университета по кафедре физиологической химии, с 1923 – заведующий кафедрой органической химии. С 1924 – в Казанском университете. Ср.: «...по темпераменту А.А.Заварзину (первому декану медицинского факультета. – *И.Д.*) был под стать А.И.Луньяк (химик-органик), необыкновенно легко взрывающийся, блестящий по остроумию, умению ориентироваться в обстановке, обладавший совершенно феноменальным знанием всех писанных и неписанных законов и поражающий на заседаниях Ученого совета даже юристов этими знаниями. Не менее темпераментным был и сдержанный внешне, то холерический и раздражительный, то необыкновенно обаятельный в обращении А.А.Рихтер, приехавший в Пермь из Петроградского университета на кафедру физиологии растений. <...> Эта тройка – Заварзин, Луньяк и Рихтер – представляли собой своеобразную “могучую кучку” натуралистов Пермского университета. Когда они работали дружно, они могли делать чудеса. Когда же они ссорились, то это производило впечатление драки слонов, при которой гибнет трава» (*Орлов Ю.А.* Невозвратимое прошлое. С.36-37).

<sup>102</sup> «Всерьез и надолго» – выражение Ленина из доклада на IX Всероссийском съезде Советов, относящееся к перспективам новой экономической политики: «...эту политику мы проводим всерьез и надолго, но, конечно, как правильно уже замечено, не навсегда» (*Ленин В.И.* О внутренней и внешней политике. Отчет ВЦИК и СНК 23 декабря <1921> // Ленин В.И. Полн. собр. соч. 5-е изд. Т.44. М., 1964. С.310-311).

<sup>103</sup> «Фатическое общение» – по терминологии Малиновского, поддержание эмоциональной связи в общественной группе. Бронислав Каспер Мали-

новский (Malinowsky; 1884–1942) – английский этнограф, родоначальник функциональной школы. Доктор Краковского университета (1906), сотрудник В.Вундта и К.Бюхера в Лейпциге, с 1910 работал в Лондонской школе экономики. В 1914–1918 вел полевые исследования в Новой Гвинее.

<sup>104</sup> Борис Александрович Тураев (род. 1868) скончался 23 июля 1920. См. о нем: Воспоминания. С.99 и примеч. 162.

<sup>105</sup> Алексей Александрович Шахматов (1868–1920) – языковед, исследователь летописей. Академик Санкт-Петербургской академии наук (1894), профессор Санкт-Петербургского университета (с 1910). Ср.: «последние годы покойный академик жаловался на слабость физических и нравственных сил, которые надорваны были совсем неподходящим для него делом, требовавшим крайнего напряжения и притом в непривычном направлении. Он должен был сам пилить и колоть дрова и носить их в свою квартиру» (Успенский Ф. Памяти А.А.Шахматова // Вестник литературы. 1920. №9(21). С.16). Шахматов скончался 16 августа 1920 от перитонита, последовавшего за операцией на кишечнике. «Жестокая болезнь, явившаяся результатом непосильной физической работы (ущемление кишки, сопровождаемое гангренозным воспалением ее), несмотря на операцию, подкосила хрупкий организм ученого, подорванный недостаточным питанием и тяжелыми моральными переживаниями последних лет» (Бенешевич В. Алексей Александрович Шахматов // Русский исторический журнал. 1921. Кн.7. С.7).

<sup>106</sup> О Куренкове см.: Воспоминания. С.32-33.

<sup>107</sup> «Под насыпью, во рву некошеном...» – первая строка стихотворения «На железной дороге» (сб. «Родина», 1910). Вечер Блока состоялся 25 апреля 1921 в Большом драматическом театре.

<sup>108</sup> В это время в Пермском университете Вейдле читал курс «Дюрер и немецкая живопись». См.: ВА. Вох 24.

<sup>109</sup> См.: Вейдле В. На память о себе. Стихотворения 1918–1925 и 1965–1979. Париж, 1979.

<sup>110</sup> Сборник А.Блока «Седое утро» (Пб.: Алконост, 1920). Также: Блок А. Двенадцать. Скифы. СПб.: «Революционный социализм» – Издательство при Центральном Комитете Партии Левых Социалистов-Революционеров (Интернационалистов), 1918. Предисловие Иванова-Разумника называлось «Испытание в грозе и буре».

<sup>111</sup> Поэтика. Сборники по теории поэтического языка. <Вып. 3>. Пг., 1919. Здесь опубликован ряд статей упомянутых ученых, в том числе, такие важные для основ «формального подхода» работы, как «О поэзии и заумном языке» и «Искусство как прием» В.Шкловского, «Как сделана “Шинель” Гоголя» Б.Эйхенбаума.

<sup>112</sup> Ср.: Вейдле В. О поэтах и поэзии. Paris: YMCA-Press, <1973>. С.9-16. Впервые: Новый журнал. 1961. Кн.65. С.270-276. См. также: Радуга. 1989. №10; Простор. 1990. №8. Датированные 3 августа 1961 три листа, озаглавленные «Прощание с Блоком», хранятся среди радиобесед Вейдле (см.: ВА. Вох 22).

<sup>113</sup> Последняя строка из стихотворения Ахматовой «Я пришла к поэту в гости...» (1914).

<sup>114</sup> Речь «О назначении поэта» была произнесена в память 84-й годовщины смерти Пушкина 11 февраля 1921 в Доме литераторов (затем повторена там же и в университете). Впервые: Вестник литературы. 1921. №3(27).

<sup>115</sup> Неточная цитата из письма Блока К.И. Чуковскому от 26 мая 1921. У Блока: «...слопала-таки поганая, гугнивая, родимая матушка Россия, как чушка – своего поросенка» (*Блок А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1963. Т.8. С.537*).

<sup>116</sup> Николай Степанович Гумилев (1886–1921) был расстрелян 25 августа 1921. О встрече с Гумилевым Вейдле вспоминал:

– Прокне, Прок-нээ, она превратилась в ласточку, а сестра ее Филомела... на да... в птичку эту, как ее, пев... ну, которая поет, *Nachtigall*, как это, да, вспомнил, да, да: зо-ло-ввей.

Так говорил седеющий, плотненький – очки в золотой оправе – приват-доцент Придик\* (археолог, нумизмат, служил в Эрмитаже), объясняя – о, всего лишь Ксенофонта – тем из нас, первокурсников 1912 года, кто не блистал по части греческого языка. В тот день, кажется, я и заметил нового участника «пропедевтических» этих занятий, старше нас и не в тужурке, как почти мы все. Узкоголовый, косяглазый; с лица некрасив; прямой, сухощавый, жесткий. Сосед мой шепнул: Гумилев. Весной того года вышло «Чужое небо».

На занятиях этих он рта не раскрывал, да и был не более четырех или пяти раз. В университете я его больше не видал; позже всего два-три раза. Не разговаривал с ним никогда.

*Вейдле В. Петербургская поэтика // Вейдле В. О поэтах и поэзии. С.102.*

Впервые: *Гумилев Н. Собр. соч.: В 4 т. Нью-Йорк, 1968. С.5-36.*

\* Евгений Мартинович Придик (1865–1935) – историк, нумизмат. Окончил Дерптский университет (1888). С 1899 по 1930 – хранитель Отделения классической нумизматики, член Совета Эрмитажа.

<sup>117</sup> Философ и историк Исайя Берлин (Berlin; 1909–1997) встречался с Ахматовой в 1946 (в Ленинграде) и 1965 (в Оксфорде).

<sup>118</sup> Вейдле посвятил последним годам Блока специальную работу: После «Двенадцати». Приношение кресту на могиле Александра Блока. Париж: YMCA-Press, 1973 (Библиотека Вестника РХД).

<sup>119</sup> Подорожник. Стихотворения Анны Ахматовой. Пг., 1921; *Alpo Domini. MCMXXI. Пг., 1921.*

<sup>120</sup> Поэма Андрея Белого «Первое свидание» помечена: «Троицын день и Духов день. Петроград, 1921 года».

<sup>121</sup> *Ходасевич В. Тяжелая лира. Четвертая книга стихов. Берлин; Пб.; М., 1923.*

<sup>122</sup> Опубл.: Накануне (Берлин). 1922. 28 мая. Литературное приложение. №5.

<sup>123</sup> Ода («Как мороз, обжигающий лицо...») // *Завтра. Литературно-критический сборник (Берлин) / Под ред. Евг. Замятина, М.Кузмина и М.Лозинского. 1923. №1. С.16-17; «Старик, я тебя жалею, но когда же ты кончишь свой хрип?»; «Мой сосед за столом сегодня, у тебя брюшко и плешь...» (Русский современник. 1924. №2. С.127-128).*

<sup>124</sup> Вейдле В. По поводу двух статей о Блоке // Завтра (Берлин). 1923. №1. С.107-113. Статья, датированная 1 января 1922, представляет собой критический отклик на исследования Ю.Тынянова и Б.Эйхенбаума, помещенные в кн.: Об Александре Блоке. Пг.: Картонный домик, 1921. В рукописи пометка: «Петербург. Дом Ученых. Общежитие, комн<ата> 20 (ул. Халтурина, 27)». См.: Вейдле В. О Блоке / Публ. и послесл. А.Маньковского // Наше наследие. 1990. №6. С.48-49 (далее – О Блоке). Ср.: Вейдле В. Моя первая статья // Русская мысль. 1972. 20 апреля.

<sup>125</sup> С 1910 граф В.П.Зубов начал собирать в своем фамильном доме (Исаакиевская пл., 5) искусствоведческую библиотеку, намереваясь превратить ее со временем в исследовательское учреждение по образцу Немецкого художественно-исторического института во Флоренции. 2(15) марта 1912 состоялось открытие Института истории искусств, 24 января (6 февраля) 1913 начали работу Курсы при Институте истории искусств. После революции были открыты факультеты истории словесных искусств, истории театра и истории музыки.

<sup>126</sup> «Дом искусств» – организация, созданная по инициативе К.И.Чуковского и А.Н.Тихонова для помощи работникам культуры (1919–1922). Размещался на Невском проспекте, 15, в здании, с 1858 принадлежавшем семье предпринимателей Елисеевых.

<sup>127</sup> Петроградский Дом ученых, открытый в январе 1920, размещается во дворце великого князя Владимира Александровича, построенном в 1867–1872 архитектором А.И.Резановым. Его прообразом послужили флорентийские палаццо XV в. – Строчи, Питти, Медичи-Риккарди. О выдаче продовольствия в Доме ученых, в том числе селедки, см.: Ходасевич В. Торговля // Ходасевич В. Колеблемый треножник. Избранное. М., 1991. С.410-412.

<sup>128</sup> Казнаков С.Н. Пакетовые табакерки Императорского фарфорового завода. СПб., 1913. Сергей Николаевич Казнаков (1863–?) – историк искусства. Окончил Александровский лицей в 1885, в 1919–1921 ассистент историко-художественного отдела Эрмитажа. В 1921 выслан из Петрограда.

<sup>129</sup> «Американская администрация помощи» – American Relief Administration. Организация, предназначенная для оказания помощи пострадавшим во время мировой войны странам Европы в 1919–1923. В 1921, в связи с голодом и продовольственным кризисом, ее деятельность была разрешена в РСФСР. Об АРА см. также статью Г.А.Савиной «Пусть барахтаются...» на с.300-301 наст. изд.

<sup>130</sup> Сергей Константинович Маковский (1877–1962) – художественный критик, поэт. Один из основателей журнала «Старые годы» (1907–1917), редактор и издатель «Аполлона» (1909–1917), организатор ряда важных художественных выставок. После Октябрьской революции жил в Крыму (1918). Эмигрировал в Прагу, затем в Берлин. С середины 1920-х обосновался в Париже. В 1926–1932 заведовал литературно-художественным отделом газеты «Возрождение», в которой сотрудничал Вейдле. Ср.: Вейдле В. 1) С.К.Маковский. † 13 мая 1962 г. // Вестник РХД. 1962. II. №65. С.53-55; 2) О тех, кого уже нет. 37. Сергей Маковский // Новое русское слово. 1977. 1 мая; 3) О тех, кого уже нет // Новый журнал. 1993. Кн.192-193. С.407-410.

<sup>131</sup> В ряде изображений Аполлона мышь присутствует в качестве атрибута божества – в некоторых землях Аполлон почитался как владыка мышей и защитник от них. Дальнейший рассказ Вейдле перекликается с эссе М. Волошина «Аполлон и мышь» (Северные цветы. Альманах 5. М., 1911):

Когда Бальмонту было двенадцать лет, на его письменный стол пришла белая мышка.

Он протянул к ней руку. Она без страха взбежала на ладонь, села на задние лапки перед его лицом и запела тоненьким мышиным голоском.

Так много дней она приходила к нему, когда он занимался, и бегала по столу; но однажды, в задумчивости опершись локтем, он раздавил ее и долго не мог утешиться.

Нет никакого сомнения в том, что эта белая мышка о чем-то ему пророчила, и, вероятнее всего, это была сама его муза. Последнее подтверждается той мифологической связью, которая существует между Аполлоном и мышью.

В первых строках Илиады мы читаем воззвание к Аполлону-Сминфею – Аполлону Мышиному.

Известна статуя Аполлона работы Скопаса, где солнечный бог изображен наступившим пятой на мышь.

(Волошин М. Лики творчества. Л., 1988. С.96).

Вверху солнечный бог, ниспосылатель пророческих снов – внизу, под пятой у него «жизни мышья беготня».

<...> Мышь являлась для нас то тонкой трещиной, нарушающей аполлинийское сновидение, то символом убегающего мгновения, то сосредоточием загадочного и священного страха <...>. И теперь становится ясно, что мышь вовсе не презренный зверек, которого бог попирает своей победительной пятой, а пьедестал, на который опирается Аполлон, извечно связанный с древним союзом борьбы, теснейшим из союзов.

(Там же. С.111).

<sup>132</sup> О Д.В.Айналове и участии Вейдле в его семинаре см.: Воспоминания. С.111-114 и С.146, примеч. 193.

<sup>133</sup> «Октябрист», т. е. член «Союза 17 октября», русской политической партии, созданной в ноябре 1905, защищавшей сильную монархическую власть (лидеры П.А.Гейден, А.И.Гучков, М.В.Родзянко и др.).

<sup>134</sup> Граф Валентин Платонович Зубов (1884–1969) начал образование на историко-филологическом факультете Санкт-Петербургского университета, однако вскоре уехал в Германию, слушал лекции по истории искусств в университетах Галле, Берлина, Гейдельберга, Лейпцига. Занимался итальянским искусством эпохи барокко. После революции продолжал возглавлять основанный им институт, в 1922 ездил в Европу, с 1925 – в эмиграции. Жил во Франции.

<sup>135</sup> Рассказанная Вейдле история – явный апокриф. Зубов был женат трижды, но вряд ли какая-либо из его жен оказывала на него столь существенное влияние. Первой его супругой была пианистка София Иппа (1886–1955); этот брак, заключенный в 1907, продлился до 1910. На дочери пасто-

ра лютеранской церкви Св. Михаила Екатерине Гвидовне Пенгу (Pengoud) граф женился в ноябре 1917 и расстался с ней в 1918. Официальный брак с третьей женой, дочерью врача и сотрудницей Института истории искусств Анной Бичуньской (Bitschunsky; 1898–?), был заключен в 1923. За предоставленные сведения приношу благодарность научному сотруднику РИИИ Тамаре Джакешевне Исмагуловой.

<sup>136</sup> Выступление Вейдле не значится в «Кратком отчете о деятельности Российского Института истории искусства» за 1923 в разделе докладов «в открытых заседаниях института» (с.189). В этом же издании Вейдле назван научным сотрудником первой категории (с.207), указано также, что он читал курс «История средневекового искусства» и вел просеминарий «Книжная живопись Оттоновского периода» в 1923/24 учебном году (с.232) Записи к этому курсу с пометкой «1923–1924. Петербург» см.: ВА. Вох 26. Ранее его участие в работе отдела западноевропейского средневекового искусства не отмечено. Среди бумаг Вейдле сохранились материалы курса средневекового искусства, помеченные 1922, 1923–1924 (с отметкой, о том, что последний читался дважды – весной 1922 и весной 1923). См.: Там же.

<sup>137</sup> Ср.: «24 февраля 1922. №191. Удостоверение. Предъявитель сего, Владимир Васильевич Вейдле, состоит на службе в Петроградском Государственном Университете в должности преподавателя Литературно-художественного Отделения Факультета общественных наук. Выдано настоящее удостоверение для предоставления коменданту дома № 27 по улице Халтурина» (ЦГИА СПб. Ф.14. Оп.1. Ед.хр.11248. Л.33).

<sup>138</sup> Об А.А.Васильеве см.: Воспоминания. С.151, примеч. 221.

<sup>139</sup> О Г.П.Федотове см.: Воспоминания. С.139, примеч. 153.

<sup>140</sup> В бывшем здании Управления петербургского градоначальства на углу Адмиралтейского проспекта и Гороховой улицы (№ 6/2) после Октябрьской революции находилась Петроградская ЧК (с февраля 1922 – Гос. политическое управление (ГПУ) при НКВД РСФСР).

<sup>141</sup> Великий князь Михаил Александрович (1878–1918), четвертый сын Александра III, генерал-лейтенант, во время войны командовал Кавказской туземной конной дивизией, затем Вторым кавалерийским корпусом. 2(15) марта 1917 Николай II отрекся от престола в его пользу. 9 марта 1918 постановлением Совнаркома был выслан в Пермь. Убит в ночь на 13 июня 1918.

<sup>142</sup> Скорее всего, это скульптура «Бронзовый век» (1876). В Эрмитаже находится ее вариант из тонированного под бронзу гипса.

<sup>143</sup> Неточная цитата из стихотворения Блока «Поэты» (1908) («За городом вырос пустынный квартал...»). Ср.: «Там жили поэты...».

<sup>144</sup> Вл. Пяст (Владимир Алексеевич Пестовский; 1886–1940) – поэт, многолетний друг А.Блока. Переводчик с испанского (Кальдерон, Лопе де Вега, Сервантес), французского, английского, шведского языков. Страдал приступами душевного расстройства, покончил жизнь самоубийством

<sup>145</sup> Ср.: «Из-под тулупа видны были знаменитые серые клетчатые брюки, известные всему Петербургу под именем “пястов”» (*Ходасевич В. «Диск» // Ходасевич В. Собр. соч.: В 4 т. Т.4. М., 1997. С.279.*



<sup>146</sup> См. примеч. 69.

<sup>147</sup> Стихотворение «Мы напряженного молчания не выносим...» из сборника «Камень» сейчас датируется 1913 годом. О тождестве «кошмарного человека» и Пяста см.: *Иванов Г.* Поэты // Последние новости. 1926. 12 сентября; *Мандельштам О.* Полн. собр. стихотворений / Сост., подгот. текста и примеч. А.Г.Меца. СПб., 1995. С.532-533, примеч. 42 (Новая Б-ка поэта).

<sup>148</sup> Ольга Афанасьевна Глебова-Судейкина (1885–1945) – актриса, художница, танцовщица. Первая жена живописца С.Ю.Судейкина. В описываемый период – близкая подруга А.А.Ахматовой. После 1924 – в эмиграции.

<sup>149</sup> Возможно, именно этот визит отражен в письме к Л.В.Барановской от 23 марта 1923: «Написал три стихотворения; они имеют некоторый успех; читал их между прочим Анне Ахматовой, с которой познакомился и у которой теперь изредка бываю. Все-таки это так мало и так хотелось бы писать больше. Ничто не может заменить этой радости» (ВА. Вох 8).

<sup>150</sup> Оpubл.: Аполлон. 1915. №3.

<sup>151</sup> См.: *Мандельштам О.* Собр. соч.: В 2 т. / Под ред. проф. Г.П.Струве и Б.А.Филиппова. Т.2. Стихотворения. Проза. <New York:> Inter Language Associates, 1966. С.18. №440. В примечании значится: «Сообщено В.В.Вейдле» (Там же С.526). Атрибуция оспаривается: М.Б.Мейлах приписывает его В.В.Гиппиусу (*Мейлах М.Б.* Альбом Анны Ахматовой 1910 – начала 1930-х годов (К столетию Анны Ахматовой) // Памятники культуры. Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология: Ежегодник. 1991. М., 1997. С.45); А.С.Крюков – Б.М.Эйхенбауму (Страница дневника: материалы к биографии Б.М.Эйхенбаума) / Предисл., публ. и примеч. А.С.Крюкова // Филологические записки (Воронеж). Вып.8. 1997. С.231. В начале 1930-х альбом был продан Ахматовой в Литературный музей, сейчас находится: РГАЛИ. Ф.13. Оп.1. Ед.хр.175.

<sup>152</sup> Стихотворение К.В.Мочульского «Своей любовью не запятнаю...» (21 марта 1917) см.: *Мейлах М.Б.* Альбом Анны Ахматовой. С.45. О К.В.Мочульском см. также I раздел статьи Г.А.Савиной «Пусть барахтаются...» в наст. изд, примеч. 1 к письму 6.

<sup>153</sup> Ср.: *Вейдле В.* Ходасевич издали – вблизи // Вейдле В. О поэтах и поэзии. С.46–47.

<sup>154</sup> Стихотворение «Улика» («Была туманной и безвестной...») датировано 7–10 марта 1922. Ср. помету Ходасевича на экземпляре «Собрания стихов» (Париж, <1927>), принадлежавшем Н.Н.Берберовой: «7 марта <...>. Потом пришел Верховский, читал сонеты и пил чай». Цит. по: *Ходасевич В.* Стихотворения / Сост., подгот. текста и примеч. Н.А.Богомолова и Д.Б.Волчека. Л., 1989. С.393, примеч. 157 (Библиотека поэта. Большая серия).

<sup>155</sup> Александр Николаевич Бенуа (1870–1960) не был директором Эрмитажа, в 1918–1926 он занимал пост заведующего его Картинной галереей.

<sup>156</sup> «Пир Клеопатры» (1743–1744) продан в 1932 из Эрмитажа, ныне в Национальной галерее Виктории, Мельбурн (Австралия). Вейдле писал о нем как об «исключительного волшебства картине» (*Вейдле В.* Безымянная страна. <Париж, 1968> С.96). Ср.: *Бенуа А.* Путеводитель по картинной галерее Императорского Эрмитажа. СПб., <Б.г.>. С.106.

<sup>157</sup> Собственно, первый аукцион коллекций Эрмитажа и Гатчинского дворца состоялся в Берлине 6–7 ноября 1928. Продажи шедевров живописи, пользовавшихся мировой известностью, готовились в течение 1929 и начались в 1930. См.: Проданные сокровища России. История распродажи национальных художественных сокровищ, конфискованных у царской фамилии, церкви, частных собственников, а также изъятых из музейных собраний СССР в 1918–1927 годах / Под общ. ред. Н.Семеновй. М., 2000. Вейдле обращался к этой проблеме многократно. Он был среди тех, кто в свое время пытался призвать Запад к бойкоту распродажи художественных коллекций России. Ср.: 1) Гибель Эрмитажа // Возрождение. 1930. 20 сент.; 2) Эрмитаж // Там же. 1930. 2 окт.; 3) Памяти Эрмитажа // Последние новости. 1936. 25 сент. Также см.: Каталог Эрмитажа // Вейдле В. Безымянная страна. С.90–107.

<sup>158</sup> «Мадонна Альба» (ок. 1510) Рафаэля, «Венера перед зеркалом» (ок. 1555) Тициана были в апреле 1931 проданы из Эрмитажа Эндрию Меллону, американскому предпринимателю, министру финансов, который затем передал свою коллекцию вновь основанной Национальной галерее в Вашингтоне. Вейдле, посетивший этот музей в 1968, с ироническим удивлением заметил в радиобеседе, что не обнаружил на доске в честь благодетелей галереи имени Сталина.

<sup>159</sup> Портрет второй жены Рубенса Елены Фоурмен (Фурман) зимой 1929–1930 был продан нефтепромышленнику Галусту Гюльбенкяну и принадлежит теперь музею его имени в Лиссабоне.

<sup>160</sup> «Отречение апостола Петра» (1660) Рембрандта было приобретено для Рейксмузеума в 1933.

<sup>161</sup> 2 августа 1965 Вейдле писал Иваску: «Видал Анненкова, который рассказывал мне, что Ахматова была у него в гостях, что она, б<ьть> м<ожет>, скоро опять сюда приедет. А перед тем видел он ее в Оксфорде». 18 марта 1966: «Огорчила меня очень смерть Ахматовой. Летом я был в Венеции, когда она была здесь. Так и не повидал» (Amherst. Vox 6).

<sup>162</sup> В описываемые годы вход в музей располагался под портиком с атлантами (Миллионная улица), за которым находится центральная лестница, облицованная желтым искусственным мрамором (архитектор Л. фон Кленце).

<sup>163</sup> «Портрет Титуса, сына художника» (ок. 1660–1662. Париж, Лувр). В мае 1930 куплен Г.Гюльбенкяном и перепродан Джорджу Вильденштейну. В 1934 или 1935 куплен Этьеном Никола и в 1942 продан им (возможно, под давлением) немецкому торговцу картинами Хаберштоку, от которого портрет поступил в создаваемый в честь Гитлера музей в Линце. После войны картина возвращена владельцу и в 1948 подарена им Лувру (см.: Проданные сокровища России. С.160).

<sup>164</sup> Свидетельством любви к Пуссену является очерк «Воспоминание о Пуссене», основанный на впечатлениях от его картин в Эрмитаже. См.: Вейдле В. Вечерний день: Отклики и очерки на западные темы. Нью-Йорк, 1952. С.18–26.

<sup>165</sup> Среди рукописей Вейдле сохранились записи: «Рембрандт. 1921. К офортам из собр<ания> Ровинского» (ВА. Vox 26). Дмитрий Александрович Ровинский (1824–1895) – юрист, один из организаторов судебной реформы

1864. Известный собиратель гравюр и историк искусства. После его смерти западноевропейская часть собрания по завещанию была передана в Эрмитаж. Ср.: Полное собрание гравюр Рембрандта. Т.1-4. СПб., 1890.

<sup>166</sup> Картина «Иосиф и жена Пентефрия» (1655), переданная в 1930 из Эрмитажа в московский Музей изящных искусств, была в январе 1931 продана Эндрию Меллону, передавшему ее во вновь образованную Национальную галерею. Сейчас она считается работой мастерской Рембрандта, в некоторых частях прописанной самим художником и подписанной им. Напротив, вариант Берлинского музея (1655) атрибутирован как собственноручная работа. Однако, с точки зрения Вейдле, для понимания смысла творчества Рембрандта произведения его школы могут быть не менее существенны, чем собственноручные. Так, он говорил по поводу луврского «Милосердного самаритянина», принадлежность которого мастеру была отвергнута после рентгеновского исследования:

...теперь ее единодушно считают картиной школьной, и в смысле исполнения это, вероятно, так. Но в смысле замысла и постановки (режиссуры) она принадлежит Рембрандту. <...> Напрасно историки – или раскорчевывающие поле для них – думают, что, обнаружив чужую кисть, они уже имеют право отнимать от художника воображенное, задуманное им, хоть и не до конца осуществленное произведение. <...> Одно дело «Милосердный самаритянин» Берлинского музея, подделка XVIII-го века, ни о чем не свидетельствующая, кроме как об очень упрощенном понимании Рембрандта в то время, и другое – «Самаритянин» Лувра, свидетельствующий о Рембрандте. Есть даже работы учеников, написанные после его смерти, и все еще свидетельствующие о нем, все еще и нам для его понимания полезные.

(Беседы В.В.Вейдле. №52. Рембрандт. 4. Подражания, копии, оригиналы. 3/4 ноября 1969. – ВА. Вох 19)

<sup>167</sup> Этот эпизод Вейдле использовал, чтобы объяснить свое понимание Рембрандта как художника, со-творящего своим искусством религиозное предание, «нового евангелиста». Ср.:

Она <девочка>, во всяком случае, была вправе задать свой вопрос, оттого, что ситуация, вытекающая из библейского рассказа, отнюдь не продемонстрирована в картине с достаточной ясностью. Но даже и в другом смысле была она права: если прощения тут не показано, то почти лишь в такой же мере, как не показано и обвинения. <...> Та <берлинская картина> – роскошной по письму, реквизитом и одеждой богаче, но поэтически вторая версия зрелей, для поздней его манеры характерней. Однако и в первой буквальность пересказа принесена в жертву чему-то менее ясному, но более важному: созерцанию зрелища, неисчерпаемо знаменательного, тревожащего, но и возвышающего душу, противоборства или спора, подобного спору голосов органа, инструментов квартета между собой, то есть спору, предполагающему гармонию и разрешаемому ею.

(Вейдле В. О позднем и последнем. XI. Благословение Иакова // Новое русское слово. 1971. 31 января)

<sup>168</sup> Эрнест Карлович фон Липгардт (1847–1934) – академик живописи. Жил в Италии, Испании, в Париже с 1873 по 1886, входил в круг принцессы Матильды Бонапарт (племянницы Наполеона I, сестры Наполеона III). В Эрмитаже с 1906, с 1909 – хранитель, с 1915 старший хранитель.

<sup>169</sup> Джулио Чезаре Прокаччини (Procaccini; 1570–1625) – итальянский живописец и скульптор, родился в Болонье, там же обучался живописи, испытал влияние Пармиджанино и Корреджо. Работал в Болонье, Генуе, главным образом – в Милане. «Обручение Св. Екатерины» приобретено Екатериной II в 1779 из собрания Уолпола в Англии. Ср. также: Каталог Эрмитажа. С.100.

<sup>170</sup> Во времена Вейдле Зимний дворец был выкрашен в темно-красный цвет.

<sup>171</sup> Ограда сквера Зимнего дворца была впоследствии перенесена на проспект Стачек.

<sup>172</sup> Ср.: *Гиппиус* З. Стихотворения. Живые лица. М., 1991. С.368.

<sup>173</sup> Мраморный дворец на Дворцовой набережной строился архитектором Антонио Ринальди (Rinaldi; ок. 1710–1794) с 1768 по 1785 для фаворита Екатерины II графа Г.Г.Орлова. Великий князь Константин Константинович, получивший литературную известность под криптонимом «К.Р.», жил здесь в 1858–1915.

<sup>174</sup> Ср.: *Вейдле В.* Россия. Революция. Религия: Фрагменты книги // Русская литература. 1996. №1. С.99-100 («Выдвижная мадонна»).

<sup>175</sup> Флорентина-Луиза Константиновна фон Липгардт (1852–1931).

<sup>176</sup> Семья Липгардтов, действительно, после революции побывала во Франции, однако эпизод с побегом и поимкой недостоверен. Вероятно, Вейдле опирался на слухи, возникшие уже после его эмиграции. Липгардт получил разрешение на поездку за границу сроком на полгода. Очевидно, он находился в Европе в конце 1923 – первой половине 1924. Его личное дело не содержит точной даты отъезда. Ясно, однако, что хлопоты о необходимых документах продолжались летом – ранней осенью 1923. 5 января 1924 датировано удостоверение, свидетельствующее, что «хранитель Эрмитажа Эрнст Карлович Липгардт находится в настоящее время в заграничном отпуску» (Отдел рукописей Государственного Эрмитажа. Ф.1. Оп.13/с, №483. Л.156). 5 июля Липгардт снова числится в музее. Он был уволен по сокращению штатов 3 сентября 1929 (Там же. Л.188). Благодарю за помощь в подготовке комментария старшего научного сотрудника Отдела рукописей Эрмитажа Е.Ю.Соломаху.

<sup>177</sup> Воспоминания писались как серия передач радио «Свобода» из цикла «Беседы Вейдле». Очевидно, данный текст не был окончательно подготовлен автором к публикации в виде книги.

<sup>178</sup> Согласно документам университетского дела, Вейдле был первоначально командирован за границу с 10 июля по 10 октября 1922, но затем срок был продлен по 10 ноября, так как он «выехал вместо 10 июля только в начале сентября» (См.: ЦГИА СПб. Ф.14. Оп.1. Ед.хр.11248. Л.35-36).

<sup>179</sup> По завещанию от 18 марта 1914 В.В.Вейдле должен был унаследовать от своего отца, потомственного почетного гражданина Вильгельма Генриха

Людвиговича Вейдле, все недвижимое и движимое имущество, включая два дома: «Литейной части, первого участка по Литейному проспекту под полицейским номером 41, другое – Петербургской части, третьего участка, по Каменноостровскому проспекту под полицейским №27 <...>. Выпись из десятой части актов книги С.-Петербургского нотариуса В.К.Ивашкевича <...>» (ВА. Вох 38). Владение по Каменноостровскому проспекту был приобретено 13 февраля 1914 за 715 тысяч рублей (Там же).

<sup>180</sup> Вейдле писал Н.Н.Берберовой 25 апреля 1973 о Рембрандте: «...из всех живописцев – в конечном, окончательно конечном счете – я люблю сильнее всех его...» (Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale University. Nina Verberova Collection. Box 21). См. также: *Доронченков И.А.* Владимир Вейдле. Книга о Рембрандте. К истории неосуществленного замысла // К исследованию зарубежного искусства: Сб. научн. статей. СПб., 2000. С.73–81.

<sup>181</sup> «Ослепление Самсона филистимлянами» (1636; Франкфурт, Штеделевский институт); «Иаков благословляет детей Иосифа» (1656; Кассель, Городское художественное собрание, Картинная галерея); «Семейный портрет» (1668–1669; Брауншвейг, Музей герцога Антона-Ульриха). Последнее полотно, возможно, изображает семью вдовы сына Рембрандта, Магдалены ван Лоо, после ее второго замужества. Все три перечисленные картины значимы для той концепции творчества Рембрандта, которая создавалась Вейдле в течение его жизни. Ср.: «В музее Франкфурта-на-Майне висит на редкость крупнокалиберная (три метра в ширину, да и то срезана, была еще больше) и на редкость жестокая по теме картина Рембрандта “Ослепление Самсона”. <...> Зрелище не для слабонервных» (Беседы В.В.Вейдле. №55. Рембрандт. 7. Чувство формы. 24/25 ноября 1969. – ВА. Вох 19); «...я убежден, что понимание Рембрандта только и может измеряться пониманием его поздних произведений, даже самых поздних, таких, как наш “Блудный сын”, как “Семейный портрет” Брауншвейгского музея, как “Заговор Цивилиса” в Стокгольме, как последние портреты и автопортреты (например, эрмитажный портрет Иеремии Деккера)» (Беседы В.В.Вейдле. №49. Рембрандт. 1. (К трехсотлетию со дня его смерти). 20/21 октября 1969. – Там же).

О «Благословении Иакова»:

...еще очевидней обнаруживается эта суть <творчества Рембрандта> в другой картине, относительно которой все теперь согласны, что Рембрандт библейский сюжет расширил и упростил. Это снова одно из высочайших поздних творений: кассельское, 1656-го года «Благословение Иакова». В конце книги Бытия рассказано, как Иаков на смертном одре благословляет двух своих внуков, сыновей Иосифа. Иосиф подвел первенца своего Манассию к правой руке отца, второго сына Ефрема – к левой; но Иаков правой рукой благословил Ефрема, дав тем самым, вопреки попытке Иосифа отвести его руку, не первенцу, а Ефрему главное свое благословение. Иаков руки скрестил: получилось не то, чего ждали. Даже в самых схематических изображениях этой сцены мотив скрещивания рук не отсутствует, так как Ефрем, по церковному учению – предок христиан. Его поэтому, в отличие от Манассии, предка иудеев, изображают зачастую светловолосым.

Так изобразил благословляемого мальчика и Рембрандт, а друго-го черненьким, но скрещивание рук, и у него встречающееся в ран-них рисунках, здесь, в картине этой, начисто отверг, как отверг и борьбу Иосифа, пусть даже и самую робкую, с отцом. Больше того: еще и запутал дело с узко-сюжетной стороны тем, что старшинство Манассии вовсе не сделал очевидным. <...> Благословение изобра-жено; семейная любовь, ее святость, ее тепло, приближение смерти, продолжение жизни, молитвенная тишина. Обо всем этом Рембрандт сумел в Библии прочесть, и это было важней для него, чем букваль-ный смысл библейского рассказа.

(Вейдле В. О позднем и последнем. XI. Благословение Иакова // Новое русское слово. 1971. 31 января)

<sup>182</sup> Ср.: «Ihr glücklichen Augen / Was je ihr gasahn, / Es sei, wie es wolle, / Es war doch so schön!» – «Что видел с отрадой / Я в жизни своей, – / Все было усладой / Счастливых очей» (*Гете И.* Фауст. II. Действие 5. Глубокая ночь. Линцей / Пер. Н.Холодковского).

<sup>183</sup> Дворцовый увеселительный комплекс, построенный вблизи Эльбы Маттеусом Даниэлем Пёппельманом в 1711–1722.

<sup>184</sup> Католическая церковь Хофкирхе (придворная) входит в дворцовый комплекс на берегу Эльбы. Построена Газтано Кьявери в 1738–1758. Протестантская – Фраункерхе (церковь Богоматери) сооружена в городе в 1726–1738 архитектором Г.Бэром. Обе церкви разрушены во время англо-американской бомбардировки 13 февраля 1945. К настоящему времени восстановлена первая, после объединения Германии начались работы по воз-рождению второй.

<sup>185</sup> Людмила Викторовна Барановская (1904–?) – вторая жена В.В.Вейд-ле. В 1922 закончила Териокское приходское совместное реальное училище. С осени 1922 между Л.В.Барановской и Вейдле началась переписка. Через некоторое время после эмиграции они поселились вместе в Париже, однако официальные отношения смогли оформить значительно позднее, так как французские законы требовали официального свидетельства о том, что пер-вый брак Вейдле был расторгнут. Попытки Вейдле получить работу в Окс-фордском университете в 1929 были отчасти связаны с тем, что жизнь в Англии позволила бы зарегистрировать брак: «Винаверу и Коновалову я сегодня рассказал о нашей женитьбе, которой он, по-видимому, искренне порадовался, а главное, научил, что можно сделать здесь, в Оксфорде, чрез-вычайно удобно и лучше, чем в Париже <I нрзб.>, и никакого развода не надо будет доставать, потому что в здешних моих бумагах ни в одной не говорится, что я женат. Со временем же можно будет раздобыть справку о том, что Софья Иос<ифовна> развелась со мной» (письмо Л.В.Барановской от 13 октября 1929, Оксфорд – ВА. Vox 8). Однако еще в 1934 Вейдле пи-сал: «...мы легально не женаты лишь потому, что я не могу получить разво-да от моей 1-ой жены» (письмо Л.В.Барановской от 23 августа 1934, Laffary – ВА. Vox 8).

<sup>186</sup> Ныне Щецин (Польша).

<sup>187</sup> Из писем Л.В.Барановской от 4 и 28 ноября 1922 известно, что в Бер-лине Вейдле безуспешно пытался получить итальянскую визу (ВА. Vox 8).

<sup>188</sup> Крупнейший архитектор немецкого барокко Андреас Шлютер (Schlüter; ок. 1660–1714) построил Королевский дворец в Берлине в 1698–1706. В ансамбль дворца входил также конный памятник курфюрсту Фридриху Вильгельму (1696–1703). Разрушенный во время Второй мировой войны дворец был снесен, чтобы очистить место для административных зданий столицы ГДР. Сейчас памятник установлен в западной части Берлина.

<sup>189</sup> Ср.: «Впервые я понял, что он перестал уже быть привычным Вейдле, когда этой весной сказал мне, что у него не хватает сил посетить выставку Шардена. Вейдле, пропускающий выставку Шардена, – это было уже по-настоящему трагично...» (*Бахрах А.* Энциклопедист // Новое русское слово. 1979. 29 сентября).

<sup>190</sup> Museum-Insel – небольшой остров в центре Берлина, образованный Шпрее и ее рукавом Купферграбен. В 1822–1830 К.Ф.Шинкель соорудил там для хранения коллекции Бранденбургских курфюрстов так называемый Старый музей, в 1843–1847 был построен Новый музей, предназначенный для египетских древностей. В 1876 открыта Национальная галерея – музей немецкой школы живописи. В 1897–1903 по проекту Э.Э. фон Ине было построено здание Кайзер-Фридрих музея – собрания европейской живописи. В 1930 комплекс Музейного острова пополнился корпусом Пергамского музея. В результате Второй мировой войны его коллекция была разделена, меньшая часть выставлена в Боден-музее (Восточный Берлин), большая – в картинной галерее Государственных музеев Прусского культурного наследия (Западный Берлин, Далем). После объединения Германии коллекции были воссоединены.

<sup>191</sup> См.: Воспоминания. С.138, примеч. 147.

<sup>192</sup> Геертген тот Синт Янс (Geertgen tot Sint Jans; между 1460 и 1465 – до 1495) – нидерландский художник, о котором практически не сохранилось документальных свидетельств. Жил и работал в гарлемском монастыре ордена Св. Иоанна (отсюда произошло его прозвище – «Маленький Геерт, живший с братьями Св. Иоанна»). Считается одним из наиболее ярких художников своей эпохи, ведущим мастером гарлемской школы. Его отличала уникальная для его времени способность передавать единство фигур и пейзажа. Среди работ Геертгена и его круга внимание Вейдле должен был привлечь прежде всего «Иоанн Креститель в пустыне» (дерево, масло).

<sup>193</sup> Картина Луки Синьорелли (Signorelli; между 1445 и 1450 – 1523) «Триумф Пана» была написана для Лоренцо Медичи в 1492. «...это самая смелая композиция обнаженных фигур того времени; в нем всегда видели размышление о тайной энергии мироздания» (*Шастель А.* Искусство и гуманизм во Флоренции времен Лоренцо Великолепного. М.; СПб., 2001. С.227). Погибла спустя несколько недель после капитуляции Берлина во время пожара в бункере, вместе с четырьмястами другими произведениями из Кайзер-Фридрих-музея.

<sup>194</sup> Выставили? (нем.)

<sup>195</sup> Ну, это еще придет (нем.).

<sup>196</sup> Согласно записи в «Камер-фурьерском журнале», первая встреча Вейдле и Ходасевича в Берлине состоялась 10 октября 1922. См.: *Берберова Н.* Курсив мой. Автобиография. М., 1996. С.188.

<sup>197</sup> Виктор Борисович Шкловский (1893–1984) в 1918–1919 активно участвовал в вооруженных заговорах правых эсеров, направленных на свержение власти большевиков. В 1919 был амнистирован, но в марте 1922, после начала новой волны преследований эсеров, бежал в Финляндию. С лета 1922 жил в Берлине. В Россию возвратился, очевидно, не ранее середины октября 1923. См.: *Шкловский В.Б. Письма к М.Горькому (1917–1923 гг.) / Примеч. и подгот. текста А.Ю.Галушкина // De visu. 1993. №1. С.46.*

<sup>198</sup> Ср.: «Берлинское» («Что ж? От озноба и простуды...», 14–24 сентября 1922); «С берлинской улицы...» (октябрь 1922, Берлин – 24 февраля, Saarow); «An Mariechen» («Зачем ты за пивную стойкой?», 20–21 июля 1923, Берлин) и другие стихотворения, вошедшие в книгу «Европейская ночь» (стихотворения 1923–1927). Отдельно издана книга не была, включена в «Собрание стихов» Ходасевича (Париж: Возрождение, <1927>).

<sup>199</sup> Георг Гросс (Грос, Grosz; наст. фам.: Ehrenfried; 1893–1959) – немецкий график и живописец, в начале 1920-х – дадаист, затем некоторое время примыкал к коммунистическому движению. Его остро-схематичные рисунки, изобличающие пороки послевоенного общества, стали своеобразной призмой, сквозь которую современники воспринимали Германию веймарского периода. Ср.: «24 марта 1925. Париж: Внешне Париж больше Берлина похож на Москву. Внешне даже и люди. Немцы уж очень специфичны. Кажется, что сплошь сигарный дым. Грос очень здорово выявил все самое характерное в берлинском обществе, которое и есть, действительно, такое» (*Родченко А.М. Письмо к В.Ф.Степановой, 24 марта 1925 // Родченко А.М. Статьи. Воспоминания. Автобиографические записки. Письма. М., 1982. С.88.*) «Быстрее, чем саму Москву, учишься в Москве видеть Берлин. Для того, кто возвращается домой из России, город выглядит словно свежее вымытый. Нет ни грязи, ни снега. Улицы в действительности кажутся ему безнадежно чистыми и выметенными, словно на рисунках Гроса. И жизненная правда его типажей становится очевидной» (*Беньямин В. Москва <1927> // Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избранные эссе. М., 1996. С.163.*)

<sup>200</sup> Из Петербурга (*нем.*).

<sup>201</sup> Записи Вейдле, сделанные им во время путешествия, позволяют датировать его пребывание в некоторых городах. Так, в Магдебурге он был, очевидно, во вторник, 24 октября. См.: ВА. Vox 26. Магдебургский собор заложен в 937 как семейный монастырь и усыпальница Оттона I. С 955 – собор, современная постройка 1209–1230. Западный фасад закончен в 1520.

<sup>202</sup> В Брауншвейге Вейдле был в среду и в четверг, 18 и 19 октября. Романский собор Св. Власия был построен в 1173–1195. Во второй половине XV в. частично перестроен в зальную пятинефную церковь. В соборе находятся надгробие брауншвейгского маркграфа Генриха Льва и его супруги (первая половина XII в.) и Распятие Имерварда (ок. 1160) – знаменитый памятник деревянной романской скульптуры.

<sup>203</sup> Гильдесгейм Вейдле посетил в пятницу, 20 октября.

<sup>204</sup> Церковь Св. Михаила заложена воспитателем Оттона III Бернвардом, построена в 1010–1033. Сюжетом росписи плафона (ок. 1200) является генеалогия Христа («Древо Иессеево»).



<sup>205</sup> В Касселе Вейдле был в субботу и воскресенье, 21 и 22 октября.

<sup>206</sup> В романе Д.С.Мережковского «Воскресшие боги (Леонардо да Винчи)» сквозным мотивом является взаимопроникновение образов Мадонны и Венеры, искушающее героев повествования. Оно восходит, очевидно, к монологу Мити Карамазова об «идеале Мадонны» и «идеале содомском», а также к эссеистике У.Пейтера. Категорически противопоставлены Венера и Мадонна в ответе Мережковского на письмо А.Н.Бенуа, опубликованном в 1903 в журнале «Новый путь» (1903. №2).

<sup>207</sup> *Libido* (лат.) —одно из основных понятий психоанализа. Впервые применено З.Фрейдом в 1894.

Вейдле, конечно, прав в своем отрицании попыток свести смысл «Спящей Венеры» к услаждению низменного чувства. Но таким образом все же не снимается искусствоведческая проблема, связанная с не имевшей прецедентов картиной Джорджоне и восходящей к ней традицией. Исходная ее функция определяется современными учеными гипотетически (о происхождении и жанровой природе такого рода изображений см.: *Millard Meiss. Sleep in Venice // Stil und Überlieferung in der Kunst des Abendlandes. Akten des 21: Internationalen Kongresses für Kunstgeschichte in Bonn. 1964. Bd.3. Epochen Europäischer Kunst. Berlin, 1967*). На основании ряда источников и аналогий принято считать, что «Спящая Венера» была заказана в связи с бракосочетанием и потому представляла собой своеобразный талисман-благословение супружеской любви (см.: *Rosand D. «So-and-So Reclining on Her Couch» // Titian's «Venus of Urbino» / Ed. by Rona Goffen. Cambridge University Press, <1997>*). Как бы то ни было, изначально картина имела достаточно отчетливую эротическую функцию, неизбежную, вероятно, в изображении столь открыто демонстрируемой наготы (ср.: *Freedberg D. The Power of Images: Studies in the History and Theory of Response. Chicago; London: The University of Chicago Press, 1989. P.12-22, особенно P.13, 17*). Традиция восприятия со временем ослабила этот смысл картины, но вряд ли могла заглушить его окончательно. Естественны поэтому и периодически возобновляемые попытки фактически уравнивать такого рода изображения с фотографиями обнаженных красоток в кабинах водителей грузовиков (ср.: *Hope C. Problems of Interpretation in Titian's Erotic Paintings // Tiziano e Venezia: Convegno Internazionale di Studi Venezia. Università degli Studi di Venezia. Vicenza, 1976. P.111-124*).

<sup>208</sup> Каталоги галереи начала столетия приписывают Рембрандту шестнадцать полотен. Сейчас достоверными работами художника считаются не более двенадцати картин. Большая их часть принадлежит к 1630–1640 годам, в том числе ряд портретов Саскии, «Автопортрет с Саскией на коленях» (1635), «Ганимед в когтях орла» (1635), «Самсон, загадывающий загадки на свадьбе» (1638).

<sup>209</sup> «Зимний пейзаж» (1646). В кассельском собрании хранятся, в частности, также «Портрет Саскии в шляпе» (1634), «Пейзаж с лебедями» (1650), портрет Николаса Брюйнинга (1652) и др. «Семейство дровосека» — «Святое семейство» (1646). Описанный Вейдле эффект достигается тем, что обрамляющая семейную сцену арка, карниз и пурпурный занавес, частично закрывающий комнату, написаны Рембрандтом иллюзорно, словно они принадлежат пространству зрителя, а не картины.

<sup>210</sup> В Дрездене Вейдле находился со среды по субботу, с 25 по 28 октября.

<sup>211</sup> Эдуард Мане. «Дама в розовом» (1881).

<sup>212</sup> Полная барочной динамики «Охота на кабана» (ок. 1618–1620) П.П.Рубенса во времена Вейдле находилась на втором этаже галереи, в том зале, где в недавние года выставлялась «Сикстинская мадонна» Рафаэля.

<sup>213</sup> Э.Мане. «Олимпия» (портрет Викторины Мёран; 1863. Париж, Музей д'Орсэ); Д.Веласкес. «Венера перед зеркалом» (до 1648(?). Лондон, Национальная галерея).

<sup>214</sup> Ср.:

Впервые мысль о некотором неравенстве даже величайших французских мастеров прошлого века с величайшими мастерами других веков возникла у меня не в Лувре, а в Дрезденском музее. <...> спустившись в главные залы музея из верхнего этажа, где кроме знаменитых «Каменотесов» Курбе были выставлены и отличные образцы более поздней французской живописи, вернувшись таким образом от новых мастеров к старым, я вдруг почувствовал совершенно неожиданно для самого себя, насколько картины этих старых мастеров любой школы, любого века до прошлого века, богаче, насыщеннее новых, и потому не то чтобы на вкус острее, но «для души» питательнее, чем они.

Эта мысль тогда меня очень взволновала и легла в основу моих размышлений об искусстве прошлого и нашего века, соединившись с той мыслью, которая за десять лет до того, на французской выставке 1912-го года мне явилась и стала для меня аксиомой - с мыслью о том, что одни только французские большие мастера, Делакруа и následники его, сумели и продлить и сохранить, обновляя ее, старую европейскую живописную традицию.

(Вейдле В. Девять бесед об искусстве нашего века. 3. В Париже между двух войн (Скрипт радиобеседы). – ВА. Vox 22)

Упомянутая картина Курбе «Дробильщики камня» (1849) погибла во время Второй мировой войны.

<sup>215</sup> Вейдле В. Умирание искусства. Размышления о судьбе литературного и художественного творчества. Париж, 1937; переиздания: 1) СПб., 1996; 2) М., 2001. Французская версия книги: *Weidlé W. Les abeilles d'Aristée. Essai sur le destin actuel des lettres et des arts.* Paris: Declée De Brouwer, 1936. Второе, расширенное издание вышло в 1954 в издательстве «Gallimard».

<sup>216</sup> Генрих фон Клейст (Kleist; 1777–1811) – поэт и драматург. О двойном самоубийстве Клейста и его подруги Адольфины Фогель см.: Вейдле В. Ванзее. 1811 // Вейдле В. Вечерний день. Отклики и очерки на западные темы. Нью-Йорк, 1952. Рахиль Фарнгаген (Varnhagen; 1771–1833) – жена (с 1814) прусского дипломата и литератора Карла Августа Фарнгаген фон Энзе (1785–1858). Хозяйка салона, ставшего центром романтизма в Берлине: его посещали А. фон Гумбольдт, Шлейермахер, Фихте, Август и Фридрих Шлегели, Тик, Гейне и др. Берлинский университет был основан в 1809–1810 Вильгельмом фон Гумбольдтом (Humboldt; 1767–1835), филологом, философом, языковедом и государственным деятелем, другом Гете и Шиллера. В первые годы существования в университете преподавали

лера. В первые годы существования в университете преподавали Фихте, Шлейермахер, Гегель.

<sup>217</sup> Артур Мёллер ван ден Брук (Moeller van den Bruck; 1876–1925) – немецкий мыслитель консервативного направления. Название его сочинения «Третья империя» («Das dritte Reich»; 1923) стало ключевым понятием нацистской государственной идеологии. Вейдле говорит о книге «Прусский стиль» («Der preussische Stil»; 1916).

<sup>218</sup> Речь идет о заговоре группы высших армейских офицеров, стремившихся к устранению Гитлера и подготовивших неудачное покушение на него 20 июля 1944.

<sup>219</sup> Буквальный перевод немецкого названия книги Освальда Шпенглера (Spengler; 1880–1936): *Der Untergang des Abendlandes* (Bd.1. 1918; Bd.2. 1922). Ср. о Шпенглере: Вейдле В. Россия. Революция. Религия: Фрагменты книги // Русская литература. 1996. №1. С.80-81.

<sup>220</sup> «Историческими псевдоморфозами я называю случаи, когда чуждая древняя культура довлеет над краем с такой силой, что культура юная, для которой край этот – ее родной, не в состоянии задышать полной грудью и не только не доходит до складывания чистых, собственных форм, но не достигает даже полного развития своего самосознания. Все, что поднимается из глубин этой ранней душевности, изливается в пустотную форму чужой жизни...» (Шпенглер О. Закат Европы: Очерки морфологии мировой истории. Т.2. М., 1998. С.193). О России см.: Там же. С.197-201.

<sup>221</sup> Текст в квадратных скобках был исключен Вейдле из радиопередачи, но лист с ним сохранен. В предназначенном для передачи варианте после слов «...на вокзал меня проводил» значилось: «А потом прощался я с матерью и другими близкими мне людьми».

<sup>222</sup> Блох Яков Ноевич (1892–1968) – переводчик, издатель. Выпускал в Петербурге вместе с В.Э.Мейерхольдом журнал «Любовь к трем апельсинам» (1914–1916). Один из основателей издательства «Петрополис» (1918–1939). С 1922 – в Берлине, с 1939 – в Брюсселе. После Второй мировой войны руководил швейцарским отделением Общества защиты детей.

<sup>223</sup> Вейдле В. По поводу двух статей о Блоке // Завтра (Берлин). 1923. №1. Также: О Блоке. С.48-49. Статья помечена: «Петербург, 1 января 1922». В рукописи отмечен адрес Вейдле: «Петербург. Дом Ученых. Общежитие, комн<ата> 20 (ул<ица> Халтурина, 27)» (См.: Там же. С.49). Рецензия посвящена книге: Об Александре Блоке. Пб., 1921. Ср.:

Обе статьи (Тынянова и Эйхенбаума. – И.Д.) содержат замечания дельные и анализы, заслуживающие внимания: в каждой есть больше мыслей, чем в статье Вейдле (они, правда, и длинней). Вейдле остался недоволен тем, что они обе написаны скорей против Блока, чем в похвалу ему или даже просто в его память; да уже и тем, что написаны «со стороны»; книжно, к поэзии (не одного только Блока, может быть) равнодушно. <...> Негодование свое выразил горячо, но немножко молодо – недостаточно остро и точно. То же и о стихотворении можно сказать. <...> А ведь автору, через два месяца после даты, проставленной им при статье, исполнялось 27 лет. Не так уж молод был. Но, ка-

жется, следовало ему и еще немножко подождать, прежде чем впервые выступать в печати. <...> «Оду» не стану защищать. Бахрах в свое время, не похвалив ее, был прав. <...> Статья, когда я перечел ее, больше меня тронула. <...> Смешон мне теперь мальчишеский этот задор. Тем более что и года не прошло, как я и впрямь познакомился с ними: у Эйхенбаума бывал: он даже мне очень пришелся по душе... Хоть юнцом я и «подавал надежды» – как я медленно складывался и созрел! Оттого, должно быть, и живу так долго... Но не в этом дело. Главное, что я вспомнил, когда статью перечитал, это с каким счастьем – не преувеличивая нисколько – я ее писал. В крошечной каморке моей «Дома ученых» (бывш<его> дворца Владимира Александровича), к шаткому столику нагнувшись, в восторге, да и только, в поэтическом восторге. Как стихи. Не угадает этого никто. Но лично у меня в этом-то и все дело. Понял я вдруг, стало мне ясно, что, при всем различии, нет уж такой космической разницы между писанием статьи и наилиричнейших стихов. Первый раз в жизни я на собственном опыте узнал, что абзац, это вроде как строфа, что интонация, ритм и даже звучащая ткань (согласных и гласных) в прозе тоже играют свою роль, хоть и не совсем такую, как в стихах. Ничего замечательного с этой стороны в этой статейке моей я теперь не вижу. Думаю, написать ее можно было много лучше. Не ею дорожу, а тем, что она мне открыла в те последние дни двадцать первого года, когда я ее писал.

Но и от сказанного в ней не отрекусь ничуть. <...> Никогда я не признаю, чтобы даже самые четкие смены литературных поколений или направлений были важнее поэтической личности <...>. И когда умирает такой поэт, как Блок, – *молчать* нужно, если нет у тебя слов, достойных быть высказанными перед его лицом, перед мысленным образом его жизни и его смерти.

(Вейдле В. Моя первая статья // Русская мысль. 1972. 20 апреля)

<sup>224</sup> Современный Запад. Журнал литературы, науки и искусства. М.; Пг.: Всемирная литература. В редакцию входили Е.И.Замятин А.Н.Тихонов, К.И.Чуковский, с № 3 – А.М.Эфрос. В 1922–1924 вышло шесть номеров.

<sup>225</sup> Вейдле В. Заметки о западной живописи. I. Конец экспрессионизма. II. Выставка Дерена. III. О классицизме // Современный Запад. 1923. №3.

<sup>226</sup> Вейдле В. Марсель Пруст // Современный Запад. 1924. № 1(5). С.155–162.

<sup>227</sup> Смерть Марселя Пруста // Известия. 1922. 13 декабря; Марсель Пруст // Красная нива. 1923. №6, 11 февраля. С.24 (подписано: А.Л.).

<sup>228</sup> Дюамель Ж. Полуночная исповедь / Пер. и предисл. В.Вейдле. Пг.: Госиздат, 1923 (Всемирная литература). Жорж Дюамель (Duhamel; 1884–1966) – французский писатель, член группы «Аббатство», академик (1935). Во время Первой мировой войны – военный врач. В 1918 получил Гонкуровскую премию за антивоенную книгу «Цивилизация».

<sup>229</sup> Об истории создания и деятельности издательства «Всемирная литература» см.: Шомракова И.А. Книгоиздательство «Всемирная литература» (1918–1924) // Книга: Исследования и материалы. Сб.14. М., 1967. С.175–193.

<sup>230</sup> Редакция «Всемирной литературы» с начала 1919 располагалась в доме № 36 по Моховой ул.

<sup>231</sup> Позже Замятин написал статью об издательстве. См.: *Замятин Е.И.* Краткая история «Всемирной литературы» от основания до сего дня // Замятин Е.И. Избранные произведения. М., 1990. С.485-497.

<sup>232</sup> Василий Михайлович Алексеев (1881–1951) – китаист. Профессор Петроградского университета с 1918, член-корреспондент и действительный член РАН (1923, 1929).

<sup>233</sup> Ироническое определение предложенной Алексеевым фонетической транскрипции имени английского драматурга Уильяма Мейкписа Теккерея (Thackeray; 1811–1863) восходит к первым строкам оды Г.Р.Державина «Фелица» (1782): «Богopodobная царевна / Киргиз-Кайсацкия орды!»

<sup>234</sup> Шарль Вильдрак (Vildrac); наст. фам. Мессаж (Message; 1882–1971) – французский поэт, драматург, прозаик. Основатель группы «Аббатство», впоследствии член группы «Кларте». В послереволюционной России были особенно популярны его произведения, осуждающие мировую войну.

<sup>235</sup> *Амп П.* Рельсы / Пер. с франц. И.А.Лихачева; под ред. Г.П.Федотова. Л.: Фонетический институт языков, 1925 (Мастера современной прозы / Под ред. В.В.Вейдле, И.Э.Гиллельсона, Б.А.Кржевского). Пьер Амп (Hamp); наст. имя Анри Луи Бурийон (Bourillon; 1876-1962) – французский прозаик, профессиональный инженер, создатель жанра «производственного романа». Книга «Рельсы» («Le rail») входила в цикл романов «Страда человеческая».

<sup>236</sup> Эмиль Вальдтейфель (Waldteufel; 1837–1915) – французский композитор и дирижер, автор около 250 вальсов.

<sup>237</sup> Насколько можно судить, этот перевод не вышел.

<sup>238</sup> А.Н.Чеботаревская переводила «Возвешание, содеянное Марии» и «Залог». См.: *Сологуб-Чеботаревская Ан.* Женщина накануне революции 1789 / Вступит. ст. Ф.Сологуба. Пг., 1922. С.18. Александр Яковлевич Таиров (1885–1950) поставил на сцене «Камерного театра» две пьесы Клоделя: «Обмен» (20 февраля 1918) в переводе Е.Панка и Л.Вилькиной (при режиссерском участии В.Э.Мейерхольда, художник Г.Б.Якулов) и «Благовещение» (16 ноября 1920) в переводе В.Шершеневича (художник А.Веснин).

<sup>239</sup> Константин Сергеевич Мережковский (1855–1921) – ботаник, зоолог, профессор Казанского университета. Речь идет о его книге: Рай земной, или Сон в зимнюю ночь. Сказка-утопия XXVII века. Берлин, 1903.

<sup>240</sup> «Прекрасный новый мир» («Brave New World», 1932) Олдоса Хаксли (Huxley; 1894–1963).

<sup>241</sup> Строфа из стихотворения М.Волошина «Святая Русь» (19 ноября 1917) из цикла «Пути России» (сборник «Неопалимая купина»). У Волошина: «Подожгла посадки и хлеба...»

<sup>242</sup> *Цветаева М.* Живое о живом // Современные записки. 1933. Кн.52, 53.

<sup>243</sup> Чествование происходило 11 февраля 1924 в Государственном Академическом драматическом театре.

<sup>244</sup> Ср.: *Ходасевич В.* Некрополь. Воспоминания // Ходасевич В. Собр. соч.: В 4 т. М., 1997. С.115-116. Ср.: *Вейдле В.В.* Десяностолетие Ходасевича // Русская мысль. 1976. 3 июня.

<sup>245</sup> См.: *Андрей Белый*. Начало века. М., 1990. С.490, 676 (примеч. 208). Андрей Белый должен был приветствовать юбиляра от Вольной философской ассоциации и от собственного имени.

<sup>246</sup> Этот раздел был опубликован Ренэ Герра по находящейся в его распоряжении копии: *Вейдле В.* Журнал «Русский современник». Франко-русские встречи / Публ. Р.Герра // *Русский альманах*. Париж, 1981. С.393-400.

<sup>247</sup> <*Пушкин А.С.*> Мнение М.К.Лобанова о духе словесности как иностранной, так и отечественной (Читано им 18 января 1836 г. в Императорской Российской Академии) // *Современник*. 1836. Кн.3 (опубликовано без подписи).

<sup>248</sup> Александр Николаевич Тихонов (1880–1956) – писатель, организатор литературной жизни. Многолетний сотрудник А.М.Горького. Редактор журнала «Летопись» и издательства «Парус» (1915–1917), газеты «Новая жизнь» (1917–1918). Заведующий издательством «Всемирная литература», редактор журналов «Современный Запад», «Восток», в начале 1930-х – руководитель издательства «Academia».

<sup>249</sup> Софья Захаровна Федорченко (1880–1959) – писательница, сестра милосердия с 1914. Выпустила три тома книги «Народ на войне» (1917–1927), содержащих «неотредактированные» высказывания рядовых участников войны. В 1928 ее труд подвергся уничтожающей критике Д.Бедного. Впоследствии писала детские книги и исторические романы.

<sup>250</sup> Строка стихотворения А.А.Блока «Клеопатра» (1907).

<sup>251</sup> Издательство находилось на Моховой ул., 37.

<sup>252</sup> *В.В.* 1) Андрэ Жид. Достоевский // *Русский современник*. 1924. №1. С.330-331 <A.Gide. Dostoievsky. Paris: Plon, 1923>; 2) Антуан Альбала. Искусство писателя / Пер. И.Б.Мандельштама с предисл. А.Г.Горнфельда. Изд-во «Сеятель». Ленинград. 1924 г. Стр.165 // Там же. С.324-325; 3) Западные сборники. Выпуск 1. «Новая Москва» 1923 года // Там же. С.340.

<sup>253</sup> *В.В.* Густав Шпет. Эстетические фрагменты. I-III. Книгоиздательство «Колос». Петербург. 1922, 1923 // *Русский современник*. 1924. №2. С.302; *Вейдле В.* Задачи и методы изучения искусств. Статьи Б.Л.Богаевского, Игоря Глебова, А.А.Гвоздева и В.М.Жирмунского. Петербург. Российский Институт истории искусств. Изд-во «Academia». 1924 // Там же. С.303-304.

<sup>254</sup> См.: *Вейдле В.* На память о себе. Стихотворения 1918–1925 и 1965–1979. Париж, 1979. С.60-62. Бернард Шоу объединил ряд своих драматических произведений в циклы – «Пьесы неприятные» («Plays Unpleasant»): «Дома вдовца», «Сердцеед», «Профессия миссис Уоррен» (1898) и «Три пьесы для пуритан» («Three Plays for Puritans»): «Ученик дьявола», «Цезарь и Клеопатра», «Обращение капитана Брасбаунда» (1900).

<sup>255</sup> Очевидно, Вейдле встретился с представителем нудистского движения «Долой стыд». Фактических сведений об этом обществе обнаружить не удалось, но появление его членов на улицах советских городов отмечено рядом современников. Ср.: *Булгаков М.* Под пятой. М., 1990.

<sup>256</sup> Приписка Вейдле: «Передано не было».

<sup>257</sup> Висячий сад на втором этаже Малого Эрмитажа был сооружен по проекту Ж.-Б. Валлен Деламота под наблюдением Ю.М.Фельтена в 1763–1770-х. Во второй половине 1760-х, в связи с приобретением Екатериной II

ряда коллекций картин, для их размещения началось сооружение галерей, соединивших северный и южный павильоны Эрмитажа. Таким образом висячий сад был замкнут со всех сторон.

<sup>258</sup> Андрей Иванович Сомов (1830–1909) – историк искусства, основатель Общества русских аквафортистов (1871), с 1886 – старший хранитель отделения живописи, гравюры и рисунка Императорского Эрмитажа. Двадцать четыре года возглавлял картинную галерею музея, составил ее каталог. Отец художника Константина Андреевича Сомова (1869–1939).

<sup>259</sup> О В.Ф.Левинсоне-Лессинге см.: Воспоминания. С.152-153, примеч. 228. В 1956–1967 он был заместителем директора Эрмитажа по научной части.

<sup>260</sup> Иван Иванович Жарновский (1890–1950 – историк искусства, помощник хранителя Картинной галереи, секретарь Совета Эрмитажа. С 1925 – в эмиграции.

<sup>261</sup> Сергей Николаевич Тройницкий (1882–1948) – историк искусства, окончил Императорское училище правоведения в 1904. В Эрмитаже работал с 1908 по 1931, до 1918 – хранитель Отделения драгоценностей, с 1918 по 1927 – директор музея, с 1931 по 1935 – эксперт антиквариата, в 1935 арестован и выслан в Уфу. В 1945–1948 – заведующий Отделом декоративно-прикладного искусства в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. Семья Тройницких владела имением в Новгородской губернии (сельцо Надежное, 300 десятин), которое было продано по смерти отца в 1913 (см.: Сергей Николаевич Тройницкий. Дело № 2/116 по обвинению Тройницкого, Сергея Николаевича, «дворянина» / Публ. Н.Казакевич // Наше наследие. 2001. №57. С.29).

<sup>262</sup> Николай Александрович Бенуа (1901–1988) – художник театра, живописец. Участник петроградских выставок «Мира искусства» в 1922 и 1924. В 1920 – помощник главного декоратора Академических театров. С 1924 – в Париже, с 1925 – в Италии. Начал работать для Ла Скала с 1926, с 1936 – директор постановочной части этого театра.

<sup>263</sup> Зинаида Николаевна Серебрякова (урожд. Лансере; 1884–1967) – живописец, с 1910 – постоянная участница выставок круга «Мира искусства» и «Аполлона». Гражданскую войну провела в Курской губернии и Харькове, с 1920 – в Петрограде. С августа 1924 жила в Париже.

<sup>264</sup> Картина Антуана Ватто «Меццетен» (ок. 1716) в мае 1930 была продана Г.Гюльбенкяну для Джорджа Вильденштейна. Сейчас принадлежит Музею Метрополитен, Нью-Йорк.

<sup>265</sup> Михаил Николаевич Покровский (1868–1932) – историк, член РСДРП(б) с 1905. В 1891 окончил Московский университет. Преподавал на Женских педагогических курсах в Москве, в 1902 ему было запрещено чтение лекций по политическим мотивам. Активный участник революции 1905–1907 годов. В 1909–1917 – в эмиграции во Франции. С мая 1918 до конца жизни – заместитель наркома просвещения.

<sup>266</sup> Ср.:

Многие, правда, из самых выдающихся его <университета> профессоров уехали, преподавали за границей, как Ростовцев, Зелин-

ский, Бодуэн де Куртене, другие погибли – востоковед Тураев, в годную зиму от недоедания, академик Шахматов от того, что, при слабом сердце, таскал дрова на шестой этаж. Но оставшиеся также читали свои лекции, как читали их раньше: не по указке сверху, а как считали нужным их читать. Все чувствовали, однако, что долго это не продлится, что наверху не успокоятся, пока не свернут шею университетской свободе. Летом 24-го года не один я думал об отъезде, но уехать было нелегко, и не все хотели уезжать. В те последние месяцы я часто встречался со старым, но вполне еще бодрым профессором по кафедре романской филологии Дмитрием Константиновичем Петровым\*. Через год, примерно, мне в Париже рассказали:

«Прошлой осенью Дмитрий Константинович объявил себя больным, лег в постель: рак, больше не встану. Врачи у него не только рака, но и никакой другой болезни не нашли. Однако он настаивал на своем, оставался лежать, отказывался от пищи. Пролежал недель шесть и умер. Понимаете? Не мог он, противно ему стало. С университетом-то что сделали».

Разница между смертью Тураева и Петрова в точности отвечает разнице между началом и концом двадцатых годов.

(Вейдле В. Дневник писателя. №13. Еще о двадцатых годах. 16.XI.1958 (Скрипт радиобеседы) – ВА. Vox 18)

\* Дмитрий Константинович Петров (1872–1925) – основоположник русской испанистики, ученик А.Н.Веселовского. Профессор Санкт-Петербургского университета, член-корреспондент РАН (1922). Автор многочисленных работ об истории испанской драматургии, переводчик.

<sup>267</sup> Новую попытку выехать за рубеж Вейдле предпринял еще в 1923, он был включен в список командируемых сотрудников, но «представление было оставлено без движения по постановлению Правления <университета> от 13.IX.1923 г. за пропуском срока, к которому подлежало представить список в Главпрофобр» (См.: ЦГИА СПб. Ф.14. Оп 1. Ед хр.11248. Л.47, ср. Л.37-39).

Документы университетского дела Вейдле позволяют отчасти восстановить процедуру оформления его командировки. 14 февраля 1924 он составил заявление в Правление Ленинградского государственного университета, в котором писал: «Прошу предоставить мне полугодовую заграничную командировку с сохранением содержания в Германию и Францию, сроком с 1-ого мая по 1-ое ноября 1924-го года. Цель командировки – закончить давно начатую работу о происхождении готического искусства (т. е. готики как стиля), – для этого необходимы занятия в ряде европейских библиотек и музеев, прежде всего Парижа и Берлина (особенно в *Bibliothèque Nationale*), а также посещение некоторых французских и немецких городов для изучения находящихся там памятников средневекового искусства» (Там же. Л.42). 20 февраля заявление было поддержано Художественно-исторической предметной комиссией (Л.41), а 22 февраля Отделение археологии и истории искусств направило его в Президиум факультета общественных наук (Л.40). На обращение Отделения были наложены две положительные резолюции (28 марта и 1 апреля), и уже 4 апреля Вейдле составил анкету, необходимую при командировке за рубеж (Л.44). 11 апреля Правление ЛГУ



просило уполномоченного Наркмпроса в Ленинграде ходатайствовать перед Комиссией по заграничным командировкам Народного комиссариата по просвещению (Л.43-43об.). 24 апреля заместитель уполномоченного В.В.Покровский сообщил, что «не встречается препятствий к командировке за границу преподават<еля> В.В.Вейдле» (Л.45). 5 мая Президиум ЛГУ обратился в Комиссию Наркмпроса о предоставлении ему командировки «сроком на полгода с 15 мая по 15-ое ноября с. г. без государственной субсидии, но с сохранением получаемого им по Университету содержания» (Л.46). 27 мая датировано удостоверение Вейдле о том, что он командирован за границу:

Предъявитель сего, преподаватель Отделения Археологии и Истории Искусств Факультета общественных Наук Ленинградского Государственного Университета Владимир Васильевич Вейдле, командирован Правлением сего Университета за границу: в Германию, с научной целью – для окончания работы по готическому искусству, сроком на полгода, с 15-го июня по 15 декабря 1924 г., по окончании какового срока он обязан возвратиться в Ленинград.

Ректор: Н.Державин  
Управ. делами; Зав. канцелярией <подписи>

(Л.48, также см.: ВА. Вох 38)

14 июля Вейдле обратился в Отделение археологии и истории искусства с заявлением: «Ввиду того, что по независящим от меня обстоятельствам я не мог до настоящего времени отбыть в предоставленную мне отделением полугодовую заграничную командировку, прошу считать срок таковой с 15 июля 1924 – по 15 января 1925 года» (Л.51).

17 июля Правление ЛГУ согласилось с просьбой Вейдле (Л.49).

С 1 февраля 1925 Вейдле был снят с оплаты, так как не обратился с заявлением о продлении командировки и не предоставил сведений о причинах неявки (Л.52-53). В середине года Вейдле прислал просьбу о продлении пребывания за границей, которая, однако, была отклонена:

В Отделение Археологии и Истории Искусств  
Факультета общественных Наук  
Государственного Ленинградского Университета  
преподавателя по кафедре средневекового искусства  
В.В.Вейдле

#### Заявление

Покорнейше прошу отделение продлить мою заграничную командировку (без сохранения содержания) еще на один год, т. е. сроком по 15 июля 1926 года. Работы мои по истории средневекового искусства не могут быть закончены раньше этого срока без дальнейших продолжительных занятий в Парижских библиотеках и музеях, а также изучения многих памятников искусства, рассеянных по французским городам.

5 rue de Vaugirard. Paris, 6e

Вл. Вейдле  
Париж  
25.VI.1925

(Л.55)

<sup>268</sup> Абрам Маркович Эфрос (1888–1954) – художественный критик, историк искусства, литератор. В описываемое время – хранитель Третьяковской галереи, заведующий отделом новейшей живописи (до 1929).

<sup>269</sup> Николай Александрович Семашко (1874–1949) – партийный и государственный деятель. С 1918 – нарком здравоохранения РСФСР (по 1930).

<sup>270</sup> Григорий Константинович Орджоникидзе (1886–1937) – партийный и государственный деятель. С 1920 – председатель Кавказского бюро ЦК РКП(б), в 1924–1927 – член РВС СССР.

<sup>271</sup> Ср.:

Отношение в Отдел Управления Ленинградского Совета  
21 мая 1924 № 5659А/5813/Н

Наркомат Просвещения не встречает препятствий к поездке преподователя Ленинградского Университета Владимира Васильевича Вейдле в Германию на 6 месяцев для окончания работы по готическому искусству.

Тов. Вейдле едет за свой личный счет по поручению Ленинградского Университета.

Замнарком по Просвещению <подпись>  
(ВА. Вох 38)

*(Окончание следует.)*

Иван Тинин  
**БЫТИЕ, ИСХОД, ВТОРОЗАКОНИЕ**  
(Главы из книги)

Мемуаров русских парижан или берлинцев опубликовано сегодня немало. Жизнь русской Праги, русского Берлина и тем более русского Парижа не только специалисту, но и квалифицированному читателю знакома хотя бы в самых общих чертах. Мемуаров эмигрантов, живших в Болгарии, гораздо меньше, и каждый новый документ воспринимается очень свежо. Главы из воспоминаний Ивана Григорьевича Тинина (р. 1923) ярко и живо рисуют быт русской Софии 1930–1940-х годов.

И.Г.Тинин родился и вырос в эмиграции, где в начале двадцатых оказались его родители: отец Григорий Иванович, дворянин, офицер врангелевской армии (в 1943 он погиб во время бомбежки Софии), и мать Анна Александровна (уже после описываемых в публикуемых главах событий, в 1955 она вместе с сыном вернулась в СССР).

Вся книга состоит из трех частей. В первой части – «Бытие» – рассказывается о дореволюционной жизни семьи и первых эмигрантских годах, когда отец и мать оказались сперва в Константинополе, затем в Египте и наконец осели в Болгарии. Здесь, в Софии, в 1923 и родился будущий автор воспоминаний. Здесь он окончил Софийскую русскую гимназию (1933–1941), поступил на юридический факультет Университета Св. Климента Охридского и, проучившись два курса (1941–1943), отправился на войну рядовым болгарской армии.

Вторая часть – «Исход» – охватывает 1945–1954 годы. В это время Тинин – член клуба советских граждан, сотрудник газеты «За Советскую Родину», он готовится к выезду в СССР, получает сначала советский вид на жительство, а затем и паспорт.

В 1955 Иван Григорьевич с матерью репатриировался в СССР, и далее начинается совсем другая эпоха его жизни (она описана в третьей части воспоминаний, которая носит название «Второзаконие»). Тинину повезло: он не был репрессирован, как многие из репатриантов, хотя приспособиться

к новому стилю и образу жизни, радикально не похожему на европейский, и в обычных условиях оказалось очень нелегко. Поселился он в Волгограде, работал преподавателем в Волгоградском государственном университете, сейчас вышел на пенсию, но по-прежнему преподает – в частности, генеалогию на кафедре археологии, древней и средневековой истории и международных отношений. Иван Григорьевич – признанный в городе эксперт по иконописи. В 1998 году И.Г.Тинин стал одним из первых в стране кавалеров ордена Сергия Радонежского<sup>1</sup>.

В работе над мемуарами Ивану Григорьевичу помогала его жена Зоя Павловна, тоже историк, преподаватель Волгоградского университета, и Михаил Костенко, проделавший большую работу по уточнению деталей биографии.

Ниже мы публикуем две главы из первой части воспоминаний, рассказывающие о предвоенной и военной жизни в Болгарии. Материал дается с небольшими сокращениями. Выражаем глубокую благодарность Д.И.Зубареву, познакомившему нас с этим документом.

\*\*\*

Гимназия, где я учился, поглотила всех учащихся из других гимназий и к середине 30-х годов осталась одна на всю Болгарию. Официально она называлась Софийской русской классической (позднее – полуклассической) гимназией. В ней было 4 подготовительных класса, которые назывались отделениями. Кроме того, гимназия имела еще 8 классов. Через все эти классы прошел и я, получая классическое образование.

С первого класса у меня была учительница Варвара Степановна Новосильцева. Она происходила из семьи курских промышленников, когда-то очень богатых и очень влиятельных. Варвара Степановна была властной женщиной и проявляла свою властность в общении с нами. Она любила повторять нам: «На небе Бог, а на земле я». Мы учились писать по старой орфографии – с фитой, ижицей, ятем и с точкой над *i*.

Вспоминаю такой случай с «ятем». Эта буква, которая давно уже читалась в русском языке как «е», имела одну особенность. Она проверяла на грамотность русских людей. Кто умел ее правильно расставлять в словах, тот считался грамотным, кто не умел с ней справиться, ну что ж, такова была его судьба. В 1918 году эта буква декретом В.И.Ленина была в России упразднена. От этого больше не стало на Руси грамотных людей.

Существовали особые правила использования буквы «ять». «Ять» не писался в словах иностранного происхождения. Но при этом бы-

---

<sup>1</sup> *Белякова Н.* Орден Сергия Радонежского волгоградец Тинин получил раньше Солженицына // Новые деловые вести (Волгоград). 1999. №29.

ло исключение из правил. Столица Австрии Вена писалась через «ять». Не писался «ять» в словах, если слышно было включение буквы «ё». При этом слова – сёдла, цвёл, приобрёл и надёван писались через «ять».

С применением буквы «ять» связан один курьезный случай. Есть у нас два глагола: вить – веять. Повелительное наклонение у обоих глаголов имеет одинаковое звучание «вей». Но от глагола «веять» оно писалось через «ять», а от «вить» – через «е». И Варвара Степановна нам диктовала упражнение по написанию этих глаголов: «Ты, Петр, вей веревку, а ты, Иван, вей зерно, и оба вы вейте примерно». Вот мы сидели и думали, какую букву ставить в последнем случае. Но было еще одно редкое правило. Если эти две буквы встречались в слове, то побеждало простое «е». В общем, ни по каким законам нельзя было понять, где ставить этот «ять». Существовало гимназическое мнемотехническое стихотворение, которое пришло к нам в Болгарию из старой России:

Серый, бедный, бледный бес  
Побежал обедать в лес,  
Хрена с редькой там отведать,  
Да и ведьму там проведать.

Все эти слова в стихе и однокоренные с ними писались через «ять».

Непонятно, как сохранялся гимназический и студенческий фольклор, как он тщательно передавался из поколения в поколение.

Уже будучи студентами Софийского университета имени Климента Охридского, мы пели русские студенческие песни, которым, наверное, было без малого сто лет. Вот одна из них:

В гареме тешится султан,  
Ему счастливый жребий дан.  
Он может женщин всех ласкать.  
Ах! Как бы мне султаном стать!

Но он несчастный человек,  
Вина не пьет он целый век.  
Так запретил ему Коран –  
Тогда я больше не султан.

Жить Папе в Риме хорошо,  
Он пьет роскошное вино,  
И денег много есть в казне.  
Ах! Как бы быть и Папой мне.

Но он несчастный человек,  
Любви не знает целый век,  
Не может женщин всех ласкать.  
Тогда мне Папой не бывать.

В одной руке держу стакан,  
Другой обнявши девы стан.  
Вот я и Папа, и султан,  
И мне счастливый жребий дан.

Здесь я попрошу извинения у моих читателей за то, что хочу показать еще одну студенческую песенку. Их не найдешь ни в одном из сборников, и хранятся они только в моей голове. В России когда-то каждый университет имел своего небесного покровителя. Мы сегодня знаем о Татьянинном дне как празднике всех студентов, а в прошлом Санкт-Петербургский университет имел покровителя Исаакия, Киевский – Святого Владимира, Московский – праздновал Татьянин день.

И вот вам песенка, очевидно, киевских студентов:

От зари до зари  
До ночной до поры  
Все студенты по улицам шляются.  
Они курят и пьют,  
На начальство плюют  
И еще кое-чем занимаются.  
Припев:  
Через тумбу, тумбу раз,  
Через тумбу, тумбу два, занимаются.

А Владимир святой  
С колокольни большой  
Сверху смотрит на них, ухмыляется.  
Он и сам бы не прочь  
Провести с ними ночь,  
Да на старости лет не решается.

Но соблазн был велик,  
И отчаялся старик,  
По ступенькам вниз  
Он спускается.  
Он и курит, и пьет,  
На начальство плюет  
И еще кое-чем занимается.

А наутро Гавриил  
Небесам доносил,  
Чем Владимир святой занимается.  
В небесах был совет,  
И решил комитет,  
Что Владимир святой исключается.

У студентов был совет,  
И решил комитет,  
Что Владимир святой принимается.

Простите, я отвлекся на студенческие песни. О них и студенческих делах мы еще поговорим позже, после того как я закончу гимназию.

Пока я нахожусь на подготовительном отделении гимназии. С первого класса мы изучали французский язык и начинали говорить по-французски. На этом языке мы описывали разные картинки, играли, пели французские песни типа «Фрере Жако» и прочее. В старших классах гимназии мы уже изучали семь языков вместе с французским: немецкий, русский, болгарский, латынь и греческий. Седьмой язык изучался по трем направлениям: как древнеболгарский, древнерусский и как церковнославянский, который мы учили на уроках Закона Божьего.

Каждое лето нас, русских ребятшек, вывозили куда-нибудь отдохнуть – то в Варну, то в горы, то в какой-нибудь монастырь. У меня сохранилась фотография 1933 года. Там мне 10 лет. На ней изображены 30 мальчишек, во главе с воспитателем построившие живую пирамиду. Я тоже в этой пирамиде держусь за руку какого-то парня и как бы пригнулся к земле. В это лето мы жили в монастыре около села Самоводене, недалеко от города Велико Тырново.

Болгарские монастыри были прекрасно приспособлены для отдыха детей. Чаще всего они строились квадратом, без окон наружу. На нижнем этаже располагались хозяйственные постройки, а на втором, который опоясывала веранда, помещались монашеские кельи. Вот в них мы и жили. Монахов тогда было немного, человек пять со стареньким священником. Этим монахам мы помогали вести нехитрое хозяйство, кормили птицу. Они разводили кур, индеек и цесарок, которых я видел впервые здесь. Мы также ворошили свежее сено, кидали его на повозку, рубили для кухни дрова, чинили забор. В общем, жили простой монастырской жизнью.

Иногда летом мы отдыхали в Варне. Брали внаем три, четыре виллы и жили всем скопом. Помню, как там меня наказала Варвара Степановна. Начали созревать мелкие зеленые яблоки. Я их напихал в майку. Она меня за этим делом поймала. Я яблок не ел, но ими было хорошо стреляться. Варвара Степановна нанизала эти яблоки на тесемку, надела их мне на шею и произнесла речь: «Вот, дети, посмотрите на Ваню Тинина. Он собрался эти незрелые яблоки есть, чтобы отравиться. У него будет болеть животик, и мы будем его жалеть».

– Я яблоки не ем, – пробормотал я.

– А что бы ты с ними делал? – спросила она.

Я не мог сказать ей, что собирался ими стрелять из рогатки в своих друзей. Это преступление похлеще будет, чем поедание яблок, подумал я и смолчал. Украшение из яблок висело у меня на шее до самого ужина, и только после него мне разрешили его снять. Строгая была у нас учительница Варвара Степановна.

Наша школа находилась на улице Стефана Караджа (это центр Софии) в аккуратненьком двухэтажном доме. Директором школы была красивая женщина Ксения Соропадская. Здесь в школе я встретил свою первую детскую любовь. Впрочем, у каждого мальчика была такая любовь в школе. Но моя девчонка Валя Алябьева была прекраснее других, с кругленьким личиком, с сочными губками и изумительной статью. Кстати, слово «стать» не переводится на другие языки, оно только русское. В Валю были влюблены все мальчишки. Любое ее движение приводило нас, ребят, в восторг. Мы, и я в том числе, любили ее до самого первого класса гимназии, а затем просто обожали. Дело в том, что в это время вышел на экраны мира диснеевский фильм «Белоснежка и семь гномов», а наша Валя Алябьева была вылитой Белоснежкой: такие же глаза, ротик, ручки. В это время по всей Европе, в том числе и в Болгарии, прокатился шоу-бум этого фильма. Продавались открытки с рисунками из фильма. В числе героев рисунков были сама Белоснежка и семь гномов. Кроме этого, выпускались игрушки, куклы, брелки с их изображением. Я могу с уверенностью утверждать, что Белоснежка стала первой куклой типа Барби. По ее образцу делались и все остальные модели кукол в Европе.

Вообще-то, если говорить о быте европейцев того времени, то в нем было много интересного и неизвестного для людей, живших в СССР. В конце 20-х – начале 30-х годов стала популярной игрушка, которая и на русском и на болгарском языке называлась Ю-Ю, а на французском – Жу-Жу. Каждый уважающий себя человек ходил с этой забавой, не только мальчишки и девчонки, а и солидные люди.

Так что же за штука была эта Ю-Ю? Объясняю: две деревянные шляпки гриба соединялись посредине штырьком. Внутри этих шляпок была зажата тесемка метр длиной с колечком. Вот и все. Вы накручиваете на штырек тесемку и отпускаете Ю-Ю, т. е. шляпки гриба. По законам физики деревяшки разматываются и снова начинают закручиваться. Но если вы вовремя дернете тесемку, то Ю-Ю закрутится в обратную сторону до конца. Вот так ходили все и крутили эту Ю-Ю.

К деталям быта относилась и реклама, которая уже тогда была очень развита в Европе. Еще мальчишкой я увлекался коллекционированием и собирал в том числе вырезки с рекламами из самых различных болгарских и зарубежных изданий. Вот несколько примеров из этих вырезок.

Цветной портрет Джоконды и текст: «Загадочная улыбка Моны Лизы разгадана!!! Прежде чем позировать Леонардо да Винчи, она выпивала рюмочку коньяка “Мартель”. ПЕЙТЕ КОНЬЯК “МАРТЕЛЬ”, И У ВАС БУДЕТ ТАКАЯ ЖЕ УЛЫБКА!»



Или: на половине газетного листа ничего нет. Белое пятно. Читатель начинает думать – не цензура ли вырезала что-нибудь? Ан нет. Внизу этого листа мелкими-мелкими буквами тянется строчка: «Это место было предназначено для рекламы автомашин Крайслер, но поскольку они самые лучшие в мире, то в рекламе не нуждаются».

Нарисован с картины И.Е.Репина Л.Н.Толстой на босу ногу, руки заложены за поясок рубахи, и крупная надпись: «ВЛАСТЬ ТЬМЫ». Затем более мелким шрифтом написано: «можно рассеять только лампочками фирмы Осрам».

Смотрю: черный квадрат в центре газетного листа. Что такое, думаю. Потом читаю под квадратом маленькую надпись: «Такой черной и беспросветной будет Ваша жизнь, если Вы не будете носить подтяжки фирмы Ляфайет».

Со времени этих рекламных газетных полос прошло большое количество лет, но и сейчас, в общем-то, эти остроумные рекламные картинки сохранились в моей голове. Хорошо работали ребята. Сегодня мы думаем, что остроумнее наших предков. Ничего подобного, они были тоже не лыком шиты.

Но вернемся к жизни в Софии. По приезде из Дреново мы жили в беженских бараках. Потихоньку беженцы начали устраиваться на работу и разбегаться по квартирам. В то время снять квартиру не составляло никакого труда. Идешь, бывало, по улице, и почти у каждого дома висит картонка с приглашением: «Сдается внаем» – то просто комната, то две комнаты с кухней и т. д. Русские почти всегда жили или в сутеренах, или в мансардах. Сутерен по-французски означает полуподвал дома, а мансарда – жилье под крышей. Это были самые дешевые квартиры.

Первая квартира нашей семьи была на улице Герлово в подвале с окнами, выходившими в никуда, т. е. они упирались в забор соседнего дома. На этой же улице напротив жили два моих соученика по школе – Мишка Цыбулевский и Игорь Денисов.

Интересным мальчишкой был этот Мишка. Мы с ним потом учились вместе в гимназии. Отца его я не знал, а вот мать мне казалась страшной женщиной. Она одевалась во все рваное, черное и ужасно с нами ругалась. Их семья владела будкой, как называли в Болгарии ларьки, где продавались газеты, журналы, дешевые книжки вроде сборников анекдотов (у меня до сих пор есть шесть таких книжечек с анекдотами). Иногда, когда родители Мишки уходили куда-то по делу и закрывали его на ключ в том ларьке, он нам сообщал об этом. Мы приходили к нему, и через окошечко Мишка выдавал нам конфеты, сигареты, книжки. Этим добром потом мы делились с ним.

Первый этаж двухэтажного дома занимала семья Денисовых. Эти люди не были из нашего круга. Отец Игоря имел какую-то строительную контору по выкапыванию и прокладыванию водопровод-

ных и канализационных труб. Денисовы владели несколькими грузовиками. Но, несмотря на это, мы, дети, играли с Игорем вместе и вместе с ним были влюблены в Валу Алябьеву. <...>

Бывали мы и в кино. Помню первый свой фильм, который я смотрел еще в Дреново, немой, с Чарли Чаплиным. Тогда он казался нам очень смешным. Помню эпизод из фильма, как Чарли Чаплин стоял в каком-то тазу и крутился. Все ужасно над этим смеялись. Непонятно, почему же сейчас, когда мы смотрим фильмы того времени, нам не смешно. Видимо, изменилось понимание смешного, потому что каждая эпоха имеет свои критерии этого таинственного свойства человека. Ведь среди человеческих свойств чувство юмора, религия и искусство принадлежат только человечеству. Собака, например, может радоваться, резвиться, скулить, но она не может шутить. Ни у нее, ни у таракана нет этого качества – чувства юмора, который, как ни странно, никак не помогает биологической выживаемости человека. Кстати, религия и искусство тоже не нужны остальному миру животных – никому, кроме человека.

Из фильмов того времени, уже в Софии в 30-х годах, вспоминаю многие. Тогда в Болгарии было засилье немецких фильмов. Это и понятно. Болгария находилась в сфере влияния Германии. Встречались и французские фильмы, но реже, чем теперь американские.

Вспоминаю немецкий фильм, который не упоминают наши киноведы, «12 стульев», где Остапа играл Гайнц Рюман, а Воробьянинова – Ханс Мозер. Это были прекрасные немецкие комиксы. Действие в фильме происходило в Германии, ничем не напоминающей нашу Советскую Россию, но было очень смешно.

Помню прекрасный французский фильм с молодым Жаном Габеном. «Мадам Коко» – так назывался фильм. Сюжет занимательный. Морской капитан знакомится с очаровательной француженкой мадам Коко, которая окрутила добрую сотню мужчин. Они влюбляются друг в друга, и вдруг капитан узнает, что лет 15 назад Коко была в притоне Сингапура, а он тогда заглядывал к ней. Затем мадам, хозяйка притона, умирает и завещает свое заведение и средства маленькой Коко. Коко бросает свое ремесло и с большими деньгами приезжает в Париж. Сколько было комичного в этом фильме, связанного с тем, что Габен ревновал свою Коко к такому грязному и противному моряку, каким он был тогда сам.

В конце 20-х и начале 30-х годов на экранах появились фильмы о Тарзане. Наши советские люди увидели Тарзана только после войны в трофейных фильмах, и то только четыре из них. А их было огромное множество: сперва с Джонни Вейсмюллером, затем фильмы с сыном Тарзана, которого играл другой актер.

Помню первый фильм «Кинг-Конг», после которого все мальчишки орали, как Кинг-Конг, и колотили себя в грудь кулаками, как он.

Нужно сказать, что самыми популярными фильмами в начале 30-х годов являлись американские вестерны. Тогда их называли ковбойскими фильмами. Наиболее известным ковбоем тогда считался Жорж О'Бриен. Он каждый раз на экране разгонял толпу индейцев и спасал красотку. Прекрасной была еще одна тройка – ковбой Тим Мак Кой, его сын – мальчишка Мак Кой и собака – овчарка Рин Тин Тин. Чего они только не вытворяли на экране, причем не только на полях Дикого Запада, но и в городах, ловя бандитов, и в море, беря на абордаж корабли.

Интересной также была целая серия фильмов про русскую жизнь. «Отель Империял» – так назывался фильм о Первой мировой войне. В нем показан небольшой городок где-то в Галиции, который постоянно переходил из рук в руки. Когда его брали немцы, то хозяин отеля переворачивал портрет русского царя. На обратной стороне был портрет Вильгельма II. На табличке менялось меню: вместо водки и икры появлялись пиво и сосиски.

В очередной раз городок взяли русские, и наш генерал в отеле произнес речь, которую закончил словами: «Слава нашему императору, ура, ура, у... – повернул бумажку, на которой была записана его речь, и продолжил, – ра!» После этого хор Жарова подхватил «Господи, помилуй» 40 раз. Непонятно было, при чем здесь это прекрасное церковное пение, которое называется «Сорокоуст», и сам хор Жарова.

Дело в том, что этот русский хор тогда был известен во всем мире. Сам Жаров, русский эмигрант, сумел создать такой хор, который всюду славился своим творчеством. Даже Генрих ван Лунь в своей книге не мог обойти его стороной. Он писал, что опера родилась в Италии и построена на ариях, потому что каждый итальянец – солист. Первые хоры были рождены в Германии, где народ очень дисциплинированный и может петь в куче. Но ему было непонятно, почему самые лучшие хоры, имея в виду хор Жарова, у такого безалаберного народа, как русские. Так вот, Голливуд всегда использовал хор Жарова для иллюстрации русских сюжетов.

Хор участвовал также в постановке фильма «Матушка Россия». Сюжет здесь не очень свежий, попросту говоря, избитый. По-голливудски красивый гусар, князь, влюбился в дворовую девку Машеньку, тоже голливудскую красавицу. Но родители князя не разрешали ему жениться на ней. Вот он полтора часа бегал по экрану и страдал, повторяя ее имя. Мы же умирали со смеху. Дело в том, что тогда фильмы не дублировались и шли с субтитрами. Князь говорил по-английски, а субтитры были по-болгарски. Мы следили за речью самого князя, а он все время повторял «Машинка, Машинка» с ударением на звук «и».

Такие смешные ударения и акценты мы всегда встречали на просмотрах американских фильмов, например, «Война и мир», «Доктор

Живаго», когда американцы пытались произнести какие-то слова и имена по-русски.

Несколько слов о советских фильмах. Первый советский фильм, который появился в Болгарии, был «Чапаев». Не только болгары, но и мы, русские эмигранты, потянулись на эту картину. Обычно в кинотеатрах фильмы шли по неделям, а «Чапаев», который мы смотрели в кинотеатре «Глория», шел несколько месяцев подряд. Он даже посеял смуту среди белых эмигрантов.

Я слышал, например, такие разговоры взрослых:

– Не здоровайтесь с Иваном Ивановичем. Он вчера смотрел «Чапаева».

– А вы откуда знаете?

– Я сам был на этом сеансе.

Одни говорили, что этот фильм – воспоминания о Гражданской войне, другие утверждали, что там все брехня, третьи признавали, что он большевистская пропаганда. Но главное здесь то, что все спорили о нем и смотрели его по нескольку раз.

Второй советский фильм, который внес смятение в умы эмигрантов, назывался «Тринадцать». По своему содержанию он как бы не касался основных европейских событий и смотрелся легче, не очень затрагивал душу. Но и тут эмигранты спорили и делились на тех, кто признавал этот фильм с точки зрения высокого искусства и кто не признавал его. Иначе говоря, фильмы из России всегда очень болезненно и трепетно воспринимались русскими эмигрантами. Они были для взрослых и желанным напоминанием об утраченной родине, и одновременно вызывали душевную боль по утрате. К тому же эти два фильма сделаны были по технике и игре актеров ничуть не хуже немецких или французских фильмов. В них даже ощущалось много совпадений с ними по части использования элементов техники и игры. И русские эмигранты не знали, гордиться этим или об этом сожалеть.

Но больше всего мне (и не только мне) понравился, конечно, звуковой, цветной, не из советских, кинофильм «Один мужчина». Его сюжет был фантастическим. Будто в мире не осталось ни одного мужчины. Некому было воевать. Поэтому исчезли войны и государства. В Лондоне заседал женский совет как главный управляющий орган. Женщин искусственно оплодотворяли, и рождались только девочки. Вдруг одна летчица потерпела аварию над каким-то диким островом в Тихом океане. Она сделала вынужденную посадку на остров и обнаружила там дикого бородатого мужчину. Сообщила о нем куда надо, приехала экспедиция, поймали этого мужчину, побрили, помыли, одели и увидели, что это голливудский актер. Женщины решили его женить, посадили в клетку и стали ему предлагать дам различных рас – маленьких японок и полногрудых негритянок,

русокудых скандинавок и прочих дам. Как я понял, его посадили в клетку не столько для того, чтобы он не убежал, а чтобы его голодные дамы не затискали. Мужчина, изможденный таким парадом женщин, в отчаянии стал биться головой о клетку, а представительницы этого всемирного женского форума опустили на колени и просили его пощадить себя. Закончилась история тем, что он все-таки женился, но на той летчице, которая его нашла.

Тоже интересный, я бы сказал, философский фильм, забытый сегодня нами.

На экранах гремели в наше время также забытые сегодня комиксы – толстый Ханс Оливер и Стен Лаурел. Их фильмы были малометражными, сюжетными и выходили каждую неделю. Они в них на полном серьезе хохмили, попадали в несуразные ситуации и ужасно всем этим нас смешили. Помнится прекрасная сцена, когда Стен мыл якорь в ведре, а потом его выжимал.

Однажды, когда я уже был гимназистом, мой отец сказал мне: «Ты не можешь считаться умным и образованным, если не слушал оперы “Тоску”, “Травиату” или “Фауста”». И вот на каждое воскресенье, на дневной сеанс он покупал мне билет на оперный спектакль в Народную оперу (так называлась государственная опера в Болгарии). Я сперва ходил с отцом на эти спектакли с большой неохотой. Мальчишки, мои ровесники, бегали в воскресенье на речку Искыр, а я должен был сидеть и слушать рулады. Но потом незаметно это вошло в привычку, и я сам ходил на спектакли, сам покупал дешевые билеты и даже прихватывал с собой парочку друзей.

Но самое яркое впечатление у меня осталось до сих пор от Ф.И.Шалапина. В 1937 году он приезжал в Болгарию и посещал нашу гимназию. Мы все, гимназисты и гимназисточки, были выстроены в каре. Посредине стоял директор гимназии Парманин с Шалапиным. Помню его зеленый костюм в белую искорку. Он стоял такой огромный, как бы вылитый монумент. Из его небольшой речи перед нами я запомнил одну фразу: «Я никогда не был гимназистом, но, когда в Нижнем Новгороде на кулачках дрались гимназисты и семинаристы, я находился всегда в толпе гимназистов». Это был, конечно, реверанс нашей гимназии. Его попросили дать благотворительный концерт в пользу бедных детей, а мы все были бедными. Он коротко ответил: «Заплатите 100 тысяч». Гимназия не могла ему заплатить такую сумму, потому что ее бюджет составлял всего 150 тысяч левов. В общем, благотворительный концерт не состоялся.

Но я все же слушал Шалапина на самой дальней галерке Народной оперы в «Фаусте». Конечно, он играл Мефистофеля. Честно говоря, я не помню, как он пел, но меня поразила одна его мизансцена. Второй акт: перед таверной накрыт стол, стоят друзья Валентина и говорят о страшной трагедии: Фауст соблазнил Маргариту. Вдруг к

ним вышел Мефистофель. Они все вынули шпаги, но кто-то из них сказал, что это нечистая сила и шпагой ее не возьмешь. Тогда они перевернули шпаги острием вниз, и эфесы превратились в кресты. Эти кресты были направлены на Мефистофеля (Шалапина). И я вдруг почувствовал вместе с артистом, как он получал невидимые удары в грудь, все дальше и дальше пятился, дошел до стола, который находился сзади него, и – вот чудо, – не разворачиваясь лицом к столу, легко прыгнул на него. Попробуйте вы сделать этот трюк. Никто не заметил техники прыжка артиста, а Мефистофель, уже на столе, продолжал отступать от крестов, переворачивая на нем всю бутафорию. Эта сцена, разыгранная Шалапиным, потрясла меня и, кажется, весь зрительный зал. Великий артист так играл за два года до своей смерти. Но его голос в Болгарии звучал еще в одном месте. Он пел «Запричастное» П.И.Чайковского в храме Александра Невского. Его не было видно, потому что он находился на хорах, пел без микрофона. Но его могучий бас заполнял все закоулки этого огромного храма. Божественная музыка!

Шалапин очень любил похаживать на Соляной базар. Так назывался оптовый рынок почти в центре Софии. Туда съезжались извозчики, шоферы, грузчики. Шла бойкая торговля и бойкая работа. На этом рынке было два кабака – «Дылгата механа» и «Широката механа». «Механа» по-турецки означает кабак. В одном из этих кабаков проводил свое свободное время, и непременно с грузчиками, Федор Иванович. Когда ему нужно было выйти по нужде, он проходил мимо бочарной мастерской. Однажды он разговорился с бондарем. Тот ему сказал: «Не сможешь ты сделать бочку».

– Как не смогу, – ответил Шалапин.

Взял топор, обтесал доски, почистил их рубанком и, в общем, за несколько дней сделал бочку.

– На, бери, мой тебе подарок.

Но бондарь сказал ему: «Нет, так дело не пойдет, ты ее надпиши».

Шалапин взял квач, обмакнул его в деготь и написал: «Шалапинъ» – и поставил жирную точку. Говорят, что бондарь впоследствии продал эту бочку за 100000 франков. Широкой, интересной русской натурой был великий наш певец.

В начале повествования я говорил, что всех русских эмигрантов объединяла наша Русская Православная Церковь. В центре Софии, на бульваре Царя Освободителя (при коммунистах он назывался Русским бульваром, а сейчас ему вернули прежнее название), стояла и стоит до сих пор прекрасная русская однокупольная шатровая церковь. Она была посольской церковью, и отделял ее от двора посольства только каменный забор. В 1934 году Болгария наконец-то признала Советский Союз и установила с ним дипломатические отношения. А в посольстве, теперь уже советском, была церковь, в кото-

рой собирались русские эмигранты. Советской власти это показалось анахронизмом, и церковь была передана болгарам. Нам же выделили церквушку, тоже святителя Николая, подальше от посольства на улице Калоян. Помню, как в посольскую церковь приходил и осматривал ее первый полномочный посол в Болгарии Федор Федорович Раскольников. Да, тот самый Раскольников, который являлся командиром волжской флотилии во время Гражданской войны и который потом стал «невозвращенцем» во время сталинских чисток. Вот он осмотрел эту церковь и отобрал ее у нас.

Но новая церковь, находившаяся наполовину под землей, тоже пришлась нам по душе. Нужно, к чести болгар, сказать, что они в то время не разрушали церквей. Древние храмы как бы вращались в новый город и оказывались в подвальных этажах. Таких церквушек тогда было много в Болгарии. Напротив нашей на той же улице стояла другая подвальная церковь, а на площади Святой Недели была еще одна. Недалеко от нашей церкви до сих пор стоит церковь св. Георгия. Когдаходишь к ней, то ее не видно. Сначала видна кирпичная загородка. Смотришь вниз, а там стоит круглый, крытый красной черепицей храм четвертого века. Он бережется болгарами как исторический памятник прошлого.

Отношение мое к церкви особое. Оно вошло в меня, как говорится, с молоком матери. С матерью я ходил по праздникам в храм, причащался, молился иконам, которые были у нас и в доме. Кстати, три иконы, которые моя мать вывезла из России, сейчас находятся у меня. Я вернул их на родину.

Будучи гимназистами, мы также каждое воскресенье всей гимназией по классам ходили в церковь на литургию. И вот мой друг Мишка Цыбулевский как-то сказал мне: «Слушай, Ванька, чего нам три часа просто стоять. Давай попросимся прислуживать в алтаре». Мы попросились, и нас взяли. Десяти-одиннадцатилетние парнишки начали служить в алтаре.

В то время архиепископом у нас служил прекрасный человек Серафим Богучарский (сейчас его называют по фамилии – Соболев). Мы прислуживали ему. После каждой литургии в алтаре его разоблачали (так по-церковному означает «раздевали»). Все, кто служил в этот день в церкви, подходили к нему под благословение: сперва священники, потом дьяконы, затем иподьяконы, и только потом мы – прислужники. Рядом стоял архидьякон отец Иоаникий. Он когда-то в России служил не то в храме Христа Спасителя, не то во Владимирском соборе в Киеве. Этот архидьякон обладал такой контроктавой, что когда затягивал «И сотвори ему вечную-ю-ю па-а-а-мять», то его звук уходил так далеко вглубь, что мурашки пробегали по телу. Он обычно держал в руках дискос («блюдо» по-гречески). Во время службы члены попечительского совета обходили весь храм с

тремя блюдами с надписями: на храм, на хор, на бедных. Затем, когда эти блюда приносили в алтарь, все пожертвованные деньги ссыпались в одно блюдо, которое держал архидьякон.

Мы подходили к архиепископу, положив правую ладонь на левую под благословение. Он благословлял нас, потом брал горсть денег с блюда, клал нам в ладони и по-отечески шлепал нас по щеке. Но у него была такая тяжелая монашеская рука, что мы потом, отойдя от него, долго вправляли челюсть, а после считали деньги – у кого больше, у кого меньше.

Архиепископ Серафим в 1947 году получил советское гражданство, и ему был выдан советский вид на жительство по Болгарии №1. Нам выдавали не паспорта, а именно вид на жительство. Умер наш архиепископ в 1952 году и был похоронен в крипте под алтарем церкви св. Николая, но уже другой, той, которая нам была возвращена на бульваре Царя Освободителя. И тут пошли чудеса от его мощей. Кто-то исцелился, кто-то нашел своего сына, кто-то сдал хорошо экзамены, а кого-то просто Бог миловал от несчастья.

Болгарская Православная Церковь причислила архиепископа Серафима Соболева к лику святых.

Наверное, самое большое почтение русские люди выказывали своим священникам и церковнослужителям. Долгое время настоятелем нашей церкви был отец Николай Владимирский. Его сын Николай Николаевич, прекрасный хирург, потом с нами в 50-х годах приехал из Болгарии в Волгоград.

Помню другого интересного священника и выдающуюся личность – отца Андрея, бывшего барона фон Ливена. У него был сын Александр, с которым я служил иподьяконом у архиепископа Серафима. Позднее он уехал в Англию и долгое время работал на Би-Би-Си. А я с семьей в это время уехал в Россию, в Волгоград, и оказался в конце концов в Бекетовке.

Отец Андрей Ливен имел не только сына, но и двух дочерей. Одна из них ушла к болгарским партизанам и боролась против ненавистной фашистской власти. Затем, уже в клубе советских граждан в Болгарии, она играла со мной в различных спектаклях в постановке народного артиста Болгарии Н.О.Массалитинова. Другая его дочь ушла в монашки. Таковы очень разные судьбы детей эмигрантов.

Но самым известным и знатным священником из русских был последний в России протопресвитер армии и флота отец Георгий Шавельский.

В 1932 году в США были изданы два тома его воспоминаний о житье-бытье в России до революции и о его выезде из отечества.

Отец Георгий Шавельский во время Первой мировой войны постоянно находился в ставке верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича, а затем и Николая II. Он написал в



своей книге о всех интригах и спорах в ставке, о поражениях и победах России в войне. В первом томе он ядовито отозвался о Распутине и, конечно, об императрице, а во втором, после убийства Распутина, уже мягко написал об Александре Федоровне. Примерно так же он рассказывал нам обо всем этом в гимназии на уроках Закона Божьего, который преподавался 12 лет.

Георгий Шавельский был очень образованным человеком, владел несколькими европейскими языками, знал латынь, древнегреческий, древнееврейский.

По Закону Божьему нельзя было получить отметку ниже пятерки. При четверке шла проработка в присутствии классного наставника (в гимназии классные руководители назывались наставниками). При тройке вызывались родители, и разговор уже шел с намеком: а не вероотступники ли сами родители. При двойке разговоров не было: ставили вопрос о твоём исключении из гимназии, и долго потом приходилось упрашивать педсовет, чтобы тебя оставили хотя бы на второй год.

Но я был бы не прав, если бы вспоминал только о гиперболической требовательности отца Георгия. Нет, занятия с ним проходили очень живо и интересно по причине не только его умения вести уроки, а и по его очень небольшой, но важной для нас слабости. Он любил отвечать на умные вопросы и так отвлекался от урока на детали, что забывал спрашивать нас. Причем нельзя было задавать те вопросы, которые когда-то задавали предыдущие выпускники гимназистов. Он их не признавал и говорил, что на этот вопрос уже отвечал в таком-то году и кому интересен его ответ – пусть справляется у старшеклассников. Поэтому вопрос о том, может ли Бог создать камень, который не смог бы сам поднять, уже не проходил. Его задавали до нас. Отец Георгий охотно рассказывал нам о Первой мировой войне, о Брусилове и Самсонове, о Николае Николаевиче и об Алексееве. В его памяти хранились жития множества святых, что очень хорошо помогало нам при подготовке к уроку истории. Ведь он рассказывал не только само житие, но и давал всю историческую обстановку того времени.

Мы его и уважали, и очень боялись. Нельзя было ошибиться при ответе ни одним словом. Но Мишка Цыбулевский не боялся никого. Он всегда нарочито торжественно читал молитву: «Отче наш, иже висит на небесах...» Отец Георгий поправлял его:

– Цыбулевский, не «висит», а «еси». Благодарите Бога, что я не Торквемада, а то за это словечко вас давно бы сожгли на костре.

Мишка Цыбулевский с гордостью оглядывал класс. Мол, вот я какой! На костре могли бы сжечь, да руки коротки.

Находить умные вопросы для отца Георгия было очень трудно, и кто их находил, тот пользовался огромным уважением у всего клас-

са, особенно у гимназисток, что было немаловажным. Как-то после Пасхи я обратился к законоучителю с небольшой просьбой:

– Отец Георгий, на пасхальной заутрене читают первую главу Евангелия от Иоанна на разных языках, но так невнятно, непонятно. Не могли бы вы прочитать нам эту главу на тех языках, которые вы знаете.

Отец Георгий был польщен такой просьбой, обещал к следующему уроку принести Евангелия, но все же успел поставить пару троек.

На следующем уроке он выполнил свое обещание и прочитал на 23-х языках «В начале было Слово...». Кроме всех живых европейских языков, он нам читал по-готски, по-кельтски, по-арабски, по-коптски, на санскрите и многих других языках.

Мы наслаждались неизвестной музыкой языков разных народов, то торжественной, как удары колокола, то плавной и напевной, то чеканной, как строевой марш, то нежной и задумчивой. Слушая, мы не думали о содержании Евангелия, потому что знали его. Мы просто упивались незнакомыми словесными мелодиями.

Этот урок прошел без опроса, и я сразу стал героем дня. Но на следующем же уроке из-за того, что я не в том порядке пересказал заповеди блаженства, получил тройку. Еще хуже выглядели при ответах Ростик Павчинский, Андрепа Алексеев и тот же Мишка Цыбулевский. Причем нас предупредили, что на следующем уроке нас будут гонять по всему курсу.

Вот тогда и состоялся совет четырех. На совете Павчинский предложил всем нам заболеть корью. Мол, у него есть наждачная бумага, и если ею не тереть лицо, а крутить на щеках, то появятся красные пятна. Алексеев и Цыбулевский сказали, что корью они уже болели и этот номер не пройдет. Мишка предложил написать письмо отцу Георгию о том, что его вызывают в Синод именно в день его урока. Но нельзя же каждый день вызывать его в Синод.

Мы оказались в безвыходном положении. Перебрали еще полдесятка вариантов вплоть до того, чтобы пойти к нему домой и просить не гонять по всему курсу. Но этот вариант был отвергнут из-за непомерной гордости всех заинтересованных лиц.

И тут Андрепу осенила прекрасная мысль:

– Ребята, а что, если мы перейдем в мусульманство? Ведь тогда Коран нам будет запрещать изучать Закон Божий.

Мы опешили. Предложение было настолько простым и гениальным, что не требовало даже обсуждения. Но Мишка выразил опасение:

– Мы тогда будем иноверцами, и нас просто отчислят из гимназии или попросят перейти в какое-нибудь медресе.

Тогда я предложил не уходить так далеко, а перейти в католичество, потому что при этом мы все-таки остаемся в христианстве. На том и порешили.

Мы ждали урока с надеждой и опаской. Отец Георгий вошел, как всегда, в своей черной рясе. Он не носил на занятия креста, но на правой стороне его груди всегда блестела награда: золотой Георгиевский крест на золотой цепочке. Он получил его за русско-японскую войну. Мы хорошо знали гравюру какого-то художника, помещенную на весь разворот в «Ниве» за 1905 год с надписью: «Иерей Георгий Шавельский с крестом в руке поднимает христороубивое русское воинство на штурм Ляо-Дуня».

Отец Георгий осмотрел класс и попросил подняться Павчинского. Он не успел задать вопроса, как Ростик ему четко заявил:

– Отец Георгий, мы сегодня перешли в католичество и учить Закон Божий не будем.

Отец Георгий снял очки, положил на классный журнал, встал, такой величественный и грозный, окинул взглядом притихший класс и спросил:

– Кто это «мы»?

Встали Алексеев, Цыбулевский и я.

Отец Георгий взял очки, закрыл журнал и молча вышел из класса. Класс молчал.

– Что теперь будет! – прожурчала Лида Тюева.

– Молчи, – зашикали на нее.

Молча мы сидели недолго. В класс вошел наш классный наставник А.А.Рязанов и отчеканил:

– Павчинский, Цыбулевский, Тинин, Алексеев, вас просят пройти к директору.

Там уже заседал срочно созванный директором и отцом Георгием малый педсовет.

Нас сперва стыдили, потом увещевали, нам угрожали, но мы стояли, как Джордано Бруно, Ян Гус, Джироламо Савонарола и Жанна д'Арк перед инквизиторами. Мы отвергали любой компромисс. Только вот на вопрос директора, чем католичество лучше православия, мы не смогли ответить.

После полутора часов бесплодных попыток вернуть нас в православие наш классный наставник попросил сделать перерыв. Мы поняли, что первый раунд за нами, что наше дело выиграно, что нас не сломили. Мы шли по коридору и видели, как провожали нас восхищенные взгляды гимназисточек.

Следом за нами из кабинета директора вышел классный наставник Александр Алексеевич Рязанов, по прозвищу Тарзан. Это прозвище он получил от гимназистов еще в 20-х годах, когда и в помине не было фильмов о Тарзане с Джонни Вейсмюллером. Но уже тогда было написано несколько десятков книг о Тарзане Эдгаром Барроусом. Тарзаном нашего наставника прозвали за его бодрость, здоровье, подвижность. Он каждое воскресенье совершал походы по го-

рам, изучал природу, собирал гербарий и приносил с альпийских лугов землю для своих многочисленных кактусов. Ходил он в темной тужурке неизвестно какого ведомства, а на груди его блестел огромный витиеватый литой серебряный знак Военно-медицинской академии, которую он изволил когда-то закончить.

Он отвел нас в конец коридора и мягко, не повышая голоса, не глядя на нас, заговорил:

– Перестаньте ломать комедию. Я вас, хулиганов и пошляков, вижу насквозь. Помните, что ни Католическая, ни тем более Православная Церковь в таких, как вы, охламонах, не нуждается. Я знаю о вас столько гадостей, что, если расскажу о них на педсовете, вас немедленно исключат из гимназии. Ведь это вы, Цыбулевский, почти каждый день спускаете переднюю шину на моем велосипеде. Сперва я снимал колесо, проверял, где лопнула шина, а теперь я только подкачиваю ее, а вы все продолжаете, продолжаете и продолжаете. А вы, Тинин, написали «Тарзаниаду», и ее читают все гимназисты. Это мне льстит, но местами гекзаметр у вас хромает: «Гнев, о богиня, воспой ты Тарзана, достойного сына Мегеры...» Гениально! Тоже мне Гомер нашелся! А вы, Алексеев, ежедневно пишете любовные записки болгарским гимназисткам, которые сидят за вашей партией в первую смену. Посмотрите на него – это мастер эпистолярного жанра! А вы, Павчинский, принесли в гимназию книжку «Половые извращения» Блоха, и ее читают не только все гимназисты, но даже не самая лучшая часть гимназисток. Тоже мне Форель! Алексеев, я же ведь знаю, что вы не даете свой дневник подписывать отцу, а подписываете сами. Знаю, что вы бережете нервы и здоровье отца, который не до конца знает, какой у него сын. Посмотрите, какой любвеобильный сын! Так вот, – заключил он, – немедленно возвращайтесь в православие, хотя это приобретение для Русской Православной Церкви не самое лучшее.

Мы пришли на педсовет и снова вернулись в православие, пробыв в католичестве только четыре часа. Но об этом Папа Римский Пий XI не знал.

С отцом Георгием у меня случился еще один конфликт. На занятиях по Закону Божьему он приносил каждому гимназисту Евангелие. Мы читали, комментировали, изучали его. Вдруг он вызвал меня и моего отца на педсовет. Там директор Парманин открыл один из томиков Евангелия и показал всем, что было написано на листе, более того, прочел вслух: «Ванька Тинин дурак».

– Вот что делает ваш сын, – сказал директор, – на Священном Писании пишет такие непристойные слова. Мы должны сегодня принять решение – исключить Ивана Тинина из гимназии или нет.

Я был ошарашен, потому что не писал такого. Мне показали эту грубую фразу. По почерку, такому угловатому, которым она была написана, я узнал Мишку Цыбулевского, но промолчал.

А классный руководитель Рязанов добавил к сказанному директором, что за мной числились и другие проделки, начал их перечислять и предложил исключить меня из гимназии. Такого же мнения были и другие члены совета. Я был на волоске от отчисления, но тут слово взял мой отец и сказал, что полностью согласен с господином Рязановым относительно многих проделок сына, но писать эти слова на Евангелии он не мог:

– Разве какой-нибудь гимназист решится написать не только в Евангелии, но где-нибудь еще о себе, что он дурак? Ясно, что это написал не мой сын, а кто-то другой о нем.

Все переглянулись и удивились такому простому и в то же время логичному заключению отца.

– Но кто это написал? – спросили они меня.

– Не знаю, – ответил я.

В результате меня оставили в гимназии. Мы с друзьями тут же набили морду Мишке Цыбулевскому. Когда его били, он просил только об одном: не говорить отцу Георгию, что эту фразу написал он. Ребята сдержали слово, Мишку не выдали.

Мишка был самым шкодливым из всех нас и часто попадал в неприятные истории. Вот еще одна из них. Несмотря на то, что в Болгарии табак и вино были доступны любому возрасту, мы, гимназисты, не курили и не пили. За этим строго следили классные наставники. Но Мишка Цыбулевский, как всегда, стремился нарушить общепринятые правила и курил в туалете. Иногда присоединялись к нему и мы. Однажды, предупреждая нас, кто-то крикнул:

– Ребята, Радикал идет в туалет.

Мы все насторожились, а Мишка демонстративно затыкнулся в последний раз поглубже, но не успел выдохнуть дым, как к нему подошел Белин и спросил:

– Цыбулевский, вы курите?

– Нет, Иван Иванович, – ответил Цыбулевский.

А изо рта у него в этот момент, как у Змея Горыныча, вырвался клуб дыма, но без пламени.

В начале 30-х годов наша гимназия находилась в помещении семилетней школы имени Априлова. Затем она перешла в здание первой девичьей гимназии на улицу Шишмана, потом – в конец города на улицу Ополченскую в старое здание тоже прогимназии. Болгарские школьники в этих помещениях учились в первую смену, а мы во вторую. Поэтому в наших партах мы просверливали тайные дырочки и туда закладывали любовные записочки болгарочкам, которых мы так никогда и не видели. Но они так же тайно отвечали нам. Записки носили не только любовный, но и, я бы сказал, эротический характер. Они были, как правило, без подписи, чтобы если взрослые поймут кого с запиской, то не найдут, кто писал и кому писал.

Интересно также совмещалась программа гимназии. Тарзан преподавал нам биологию и геологию, рассказывал о геологических периодах и эрах. Затем в класс приходил отец Георгий и говорил о сотворении мира Богом за шесть дней. Нас нисколько это не путало. Только однажды Мишка Цыбулевский, когда Тарзан спросил его о динозаврах, начал свой ответ так:

– Давным-давно, еще до сотворения мира, были огромные ящеры.

Много забот приносило нам и изучение латыни. Наша Латинка, как мы ее между собой называли, мадам Флоровская, когда входила в класс, всегда требовала приветствовать ее по-латыни: «Сальве, домина магистра», т. е. «Здравствуйте, госпожа учительница». При этом Мишка Цыбулевский, стараясь всех перекричать, во весь свой голос приветствовал: «Сальве, донера магистра», что означало «Здравствуйте, дающая учительница». И мадам Флоровская невозмутимо каждый раз его поправляла: «Цыбулевский, не донера, а домина».

Латинка очень своеобразно задавала нам на дом перевод к следующему уроку. Она говорила, держа книгу в руках: «Вот это переведете, а этот абзац опустите, этот снова переведете, а этот пропустите...» Такой способ перевода нас очень заинтриговывал. Мы спрашивали себя, почему эти абзацы нельзя переводить, и наваливались на переводы в первую очередь именно ненужных абзацев. И что же мы там обнаружили? А мы перевели отрывок из очередной речи Цицерона против Катилины: «И ты, Катилина, дошел до того, что окружил себя молодыми мальчиками и сожительствуешь с ними». Вот, оказывается, почему нельзя было переводить этот абзац. Мадам Флоровская щадила нашу нравственность. Но мы, заинтригованные ее запретом на такие тексты, дураки, учили и переводили латынь.

Помню еще одного изумительного педагога гимназии – Ивана Ивановича Белина. Он был высоким, стройным и красивым человеком. Девчонки влюблялись в него. А мы дали ему кличку Радикал. На одном из уроков геометрии он нам сказал:

– Сумма квадратов не равнозначна квадрату суммы. Это все равно, что сказать: Зинаида Попович равна Поповиде Зинаидович. Чувствуете разницу?

Его сравнение было настолько ярким, что мы не только почувствовали разницу фраз, но и запомнили этот пример на всю жизнь.

По физике был у нас педагог Гайдовский-Потапов. Когда он входил в класс, то сразу подходил к столу, снимал калоши и только потом говорил: «Ну-с, начнем-с». Он был прекрасным рисовальщиком и на доске так ловко и красиво изображал все насосы или рычаги, что мы с удовольствием их срисовывали себе в тетрадь. Как-то раз во время очередного рисования вдруг раздался страшно, как нам по-

казалось, громкий звук оплеухи. Учитель сразу развернулся лицом к классу и произнес только одно слово: «Кто?» Все затихли. Потом встал Ростик Павчинский, а правая щека была у него красной-красной. Гайдовский-Потапов посмотрел на Павчинского и утвердительно произнес: «Все в порядке». Потом спокойно продолжил урок. Учитель, вероятно, понял, за что Ростик получил оплеуху, и оценил ее как им заслуженную. А случилось следующее. Перед Ростиком за партой сидела полногрудая Лида Тюева, и он начал считать, сколько у нее пуговичек на лифчике. Когда он дошел до трех, Лида повернулась и вкатила ему оплеуху. Так что действительно мой друг заслужил такое возмездие.

Каждую субботу после занятий к нам приходил наш классный наставник Александр Алексеевич Рязанов и раздавал дневники с собственными комментариями. Сначала он раскладывал дневники на учительском столе на три стопки. В первой лежали благополучные, во второй – с замечаниями по поведению, а в третьей – исключительные дневники. Как-то раз я заметил, что мой дневник находится в третьей стопке, и не мог понять почему. Ведь тройку по латыни я получил только сегодня, а замечаний за всю неделю вроде бы не было.

Затем наставник начал комментировать содержание дневников, начиная с первой стопки:

– Проценко, вы снова получили четверку по французскому. Пелихов, зачем вам тройка по алгебре? Можно поднатужиться. Побединский, из-за ваших разговоров во время урока вы снова получили тройку по биологии и т.д.

Потом он перешел к тем дневникам, в которых были записаны замечания, зафиксированные в классных журналах. И наконец он дошел до моего дневника.

– Это немыслимое в истории нашей гимназии событие. За это нужно прямо исключать. Гимназист Тинин учинил такое изобретение, которое перевернет все наше учение. Когда я поставил ему оценки, четверку по математике, тройку по болгарскому языку и тройку по латыни, а затем промокнул чернила пресс-папье, то оценки исчезли. Я думал, что не там написал, и опять нанес их, промокнул, а они снова исчезли. Тогда я внимательно посмотрел на дневник и заметил, что графа, где ставятся отметки, натерта чем-то вроде парафина. В понедельник я приглашаю на педагогический совет и гимназиста Тинина, и его отца.

Это была катастрофа, ведь я этого не делал. Начал спрашивать ребят, и Коля Бордовский сказал, что видел, как Павчинский вчера что-то натирал. Мы подошли к нему, вывернули его портфель, и оттуда вывалился кусок свечи. Конечно, за это мы ему побили морду, но педсовету не выдали. На педсовете мой отец вразумительно объ-

яснил, что тройку по латыни я получил после того, как сдал дневник, поэтому не мог натереть бумагу. Совет решил сделать мне предложение и оставить в гимназии.

Прекрасным преподавателем был у нас учитель рисования Николай Борисович Глинский – потомок княжеского рода. Он рисовал картины в стиле Ивана Билибина, оформлял оперные спектакли в Народной опере, в частности «Борис Годунов» и «Садко».

К нам в класс он приходил всегда с кипами книг и спрашивал:

– Вы сказку про Красную Шапочку читали?

– Не-е-е! – кричали мы.

– Очень просто, – говорил он, – шла девочка Красная Шапочка по лесу к бабушке. В лесу ее встретил волк, который побежал к бабушке и съел ее, а потом и Красную Шапочку. Пришли охотники и спасли их. Рисуйте.

У него было такое правило. Кто нашкодит, того ставил в угол носом. А когда все четыре угла были заняты, то следующих хулиганов выгонял из класса и записывал замечание в журнал. Это было уже серьезно и нежелательно для нас, потому что замечание из журнала переписывалось в дневник, в котором родители должны были расписаться. И вот мы с Мишкой Цыбулевским чего-то там завозились. Глинский поднял глаза из-под очков и промолвил:

– Тинин и Цыбулевский в угол.

Но три угла были уже заняты. Мы сломя голову бросились в свободный угол. Я добежал первым и уткнулся в него носом, а Мишка выдернул меня из угла и сам встал. Я его потянул на себя, а Николай Борисович смотрел, смотрел на нас и наконец сказал:

– Оба из класса!

Так мы с Мишкой и не отвоевали себе право стоять в углу.

Нельзя не сказать несколько добрых слов о преподавателе по русской литературе Александре Ивановиче Виссонове. Он был высокого роста человек, худой, страшный выпивоха и картежник. Приходил он к нам, как всегда, после похмелья и садился на ногу, которую клал на стул. Затем он раскрывал журнал, тыкал в него карандашом и, не раскрывая очков, смотрел в журнал, изрекая:

– Тинин, к доске.

Я вставал и говорил:

– Вы попали не в Тинина, а в Тюеву.

– Нет, посмотрите сами.

Я подходил к учительскому столу, и мы оба свешивались над журналом. Действительно, точка была в моей клетке.

Мы учили литературу по учебнику Саводника. Был такой учебник. Александр Иванович по этому поводу говорил:

– Павчинский, Саводник написал учебник на четверку. Вы же его очень хило пересказали. Больше тройки не могу вам поставить.



Когда мы отвечали урок, он всегда сидел с закрытыми глазами. Однажды Коля Покровский стоял у первой парты, где лежал учебник, и, рассказывая об Обломове, просто его читал. Александр Иванович, не открывая глаз, слушал и наконец сказал:

– А теперь переверните страницу.

Сам же он рассказывал нам литературу не по учебнику. Александр Иванович встречался в своей жизни с Л.Н.Толстым, Андреем Белым, Чеховым и Мережковским, с Есениным и Маяковским. Поэтому о них он рассказывал на уроках как о живых людях. Они представляли перед нами со своими привычками, слабостями, гениальностью и неповторимостью. Например, Маяковского он характеризовал как хулигана в литературе. Но при этом добавлял, что хулиганы всюду нужны.

Не всегда на его уроках гимназисты халтурили при ответах. Както раз Александр Иванович снова дремал за учительским столом, а тот же Колька Покровский рассказывал о творчестве А.С.Пушкина.

– Принято считать, что Пушкин является родоначальником нашего литературного языка. Это правильно, но только не на основании его поэзии, где он постоянно упоминает Гименеев, различных муз или Клиопов, персонажей, совершенно чуждых нашему языку. Его вклад в наш литературный язык нужно искать не в его стихах, а в его прозе. Вот где он действительно передал нашу прекрасную русскую речь.

Виссонов от такого неординарного ответа встрепенулся:

– Откуда вы это взяли?

– От себя, из головы.

– Да ведь вы правы. Даже Саводник не додумался до такого! – и поставил Кольке пятерку.

Не могу не вспомнить прекрасного педагога месье Термена, родного брата того Л.С.Термена, который изобрел в 1921 году электромузыкальный инструмент – терменвокс. Об этом написано во всех советских и зарубежных энциклопедиях. Тогда его открытие не получило в Советской стране признания, очевидно, из-за брата, который эмигрировал из страны, а за рубежом оно было подхвачено и использовано в музыкальной практике. Его брат эмигрировал и оказался в Болгарии.

В общем, в 8-м классе гимназии 15 сентября (учебный год в Болгарии начинался с этого числа) директор школы Парманин привел к нам в класс месье Термена и сказал:

– Это ваш новый преподаватель по французскому языку. Месье Термен недавно приехал из Франции, – вероятно, это было сказано для его престижа, – и ни слова не знает по-русски. Он будет вам преподавать.

Мы страшно удивились, потому что такого чуда у нас еще не было, и начали его проверять на знание русского языка. Кто-то с задней

парты подкрикивал: «Козел!» А он в ответ спрашивал: «Кес ке ву ди?», т. е. «Что вы сказали?» Так что разоблачить его нам не удалось. На русские слова он не реагировал, и нам пришлось говорить с ним по-французски.

Французский язык всегда был первым уроком, и, как было положено, перед началом занятий мы читали молитву «Царю Небесный, Душе истинный...». Читать эту молитву на уроке французского языка вызвался Мишка Цыбулевский. Уверенный, что учитель его все равно не понимает, он начал читать:

– Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французам отдана...

При этом он истово крестился и поглядывал на месье Термена. Тот не реагировал на слова, спокойно стоял и тоже крестился. Мы подумали, что месье Термен, наверное, православный.

Мишка закончил это стихотворение, глубоко вздохнул и начал другое: «А судьи кто...». Месье продолжал молча креститься. Так было на нескольких уроках по французскому языку. Мишка Цыбулевский на каждом занятии отвоевывал такой «молитвой» пятю-другой минут от учения.

В конце учебного года, в мае месяце, после Пасхи, к нам на урок пришел директор. Мишка прочел три раза, как положено, молитву «Христос воскрес...». А месье Термен повернулся к нему и спросил: «Месье Цыбулевский, ме пуркуа не дядя?» («но почему не дядя?»). Мишка по-французски ему объяснил, что, мол, Пасха, и надо читать эту молитву. «Е бьен!» – сказал невозмутимо месье Термен. Тогда и директор не стал заострять вопрос о чтении молитв Цыбулевским.

Но драма разыгралась относительно француза через неделю. По традиции непослушных гимназистов ставили во время перемен под часами, которые висели рядом с учительской. Мишку Цыбулевского тоже поставили под часы за то, что он в туалете в момент разборок различных течений гимназистов в разыгрываемой нами испанской войне полил водой из шланга не только десяток своих оппонентов, но вывалил этот шланг через окно 5-го этажа и на улице полил десяток гимназисточек.

Эти стычки у нас проходили каждый день. В это время в Испании шла борьба, кажется, между повстанцами и законным правительством. Мы тоже разделились на две партии. Я получил кличку Ларго Кабальеро (длинный кавалер). Жорка Инютин был генералом Своло и т. д. Вот на переменах мы и сражались между собой, в основном в туалете. На этот раз там был шланг, привернутый к крану умывальника. Мишка Цыбулевский воспользовался им, полив всех своих противников и единомышленников, за что загремел под часы на большой перемене.

После перемены он с ужасом в глазах и дрожа вбежал в класс со словами: «Ребята, я узнал страшную новость!»

– Какую? – наперебой спросили мы его.

– Месье Термен прекрасно говорит по-русски.

Эта новость ошарашила нас всех. «Не может быть!» Стали вспоминать. Один говорил, я его называл козлом, другой – поджигателем Москвы, третий – лягушатником. Потом немного опомнились и стали спрашивать Мишку, как он это узнал. И Мишка нам рассказал. Когда он стоял под часами, дверь в учительскую была приоткрыта. Через нее он услышал, что месье Термен разговаривал с Радикалом. Мишка заглянул осторожно в учительскую и увидел страшную картину. Месье Термен доказывал Белину на чисто русском языке, что успех в учебе гимназиста зависит не от его интеллектуального уровня, а от прилежания к учению.

Мы были поражены. Как мог месье Термен целый учебный год, слушая оскорбления в свой адрес, делать вид, что не знал ни одного русского слова. Оказывается, мог, и все ради того, чтобы мы хорошо учили французский язык.

В последние годы моей гимназической жизни и первые курсы Софийского университета был очень интересный период, когда мы, русские ребята, организовали Союз парагвайцев.

В это время разворачивалась большая война. Все новые и новые страны втягивались в нее. А мы решили стать навсегда нейтральными, демонстрируя тем самым наше отношение к взрослому трагическому, неуютному миру. Мы начали шарить по карте мира, чтобы найти страну, которая бы соответствовала нашим политическим убеждениям. Нашли Парагвай в Южной Америке, не имеющий выхода к океану. Подумали, что эта страна и будет самой нейтральной в разыгрывавшейся мировой войне, поэтому взяли ее имя для своего Союза. Кстати, мы ошиблись. В 1943 году Парагвай объявил войну и Германии, и Японии, и даже Болгарии. Но тогда мы этого не могли предположить и стали продумывать символику Союза, распределять между собой должности. Сделали флаг из зеленого полотна, а на нем изобразили желтую грушу. Почему грушу? А так просто, потому что мы любили околачивать груши.

По примеру любой латиноамериканской страны, где, условно говоря, каждую неделю были перевороты и странами управляли генералы, все члены нашего Союза решили стать генералами. Питейным генералом был барон фон Сиверс, потому что мы как-то застали его за стаканом вина. Авиационным генералом стал Павел Соколов, потому что, во-первых, у него фамилия какая-то летящая, и, во-вторых, мы жили на первом этаже, а он на втором, т.е. ближе к небу. Борис Федченко принял должность генерала финансов, так как у него был большой нос и мы его называли Барухом. Поскольку Костя Ханов

жил неподалеку от горной речки, то стал морским генералом. А князь Куракин – генералом бронетанковых войск, потому что учился в каком-то ремесленном училище и во время практики водил трамвай. Сходства танка с трамваем, конечно, никакого не было, но тогда нам казалось, что оно есть. К тому же с трамваем связано одно драматическое событие для князя Куракина. Как-то он вел эту машину, а в вагоне впереди идущего трамвая работала очень милая кондукторша. Князь увлекся ею и забыл об особенностях трамвая. Он, наверное, подумал, что сидит на коне, и старался догнать трамвай. Бегал, бегал и добежался – врезался в этот трамвай, стал причиной дорожной катастрофы, но смертельных исходов не было.

Генералом генералов в этом Союзе стал я. Обратите внимание, не генералиссимусом, как И.В.Сталин, а генералом генералов. Седьмым генералом-адъютантом была у меня маленькая, весом всего 37 кг, симпатичная болгарочка, моя симпатия и любовь Елена Кынцева по прозвищу Чижик. За время дружбы со мной она так хорошо выучила русский язык (училась на географической кафедре университета), что потом стала главным инспектором школ по русскому языку Министерства просвещения Болгарии.

Все генералы встречались в предместье Софии, в Княжево, где был русский инвалидный дом и жило много русских. Там же жили Соколов, Ханов и Федченко. Наши занятия были очень мирными. Каждое воскресенье мы играли в футбол, лазали на Витошу, устраивали домашние вечера, а самое главное, каждую неделю издавали газету «Парагвайские вести». Газета представляла собой пародию на ту прессу, которая тогда выходила. Пародия основывалась на мнимом конфликте между мной, как редактором газеты, и директором издания Павлом Соколовым. Распря началась с того, что в какое-то воскресенье газета не вышла. Потом в ее следующем номере появилось два объявления:

– Извещаем многоуважаемых читателей, что газета не вышла в прошлое воскресенье по вине дирекции, – и подпись «Редакция».

Рядом с этим объявлением было помещено второе:

– Извещаем многоуважаемых читателей, что газета не вышла в прошлое воскресенье по вине редакции, и подпись «Дирекция».

Затем в каждом номере нашей газеты помещались разгромные статьи с комментариями редактора на директора, а директора на редактора. При этом приводился жуткий компромат, например, что редактор продал венгерский флот Непалу, а деньги припрятал, или что бабушка директора во время нашествия Наполеона в Россию не пошла в партизаны, а торговала бубликами.

Но в газете были и серьезные сатирические статьи. Например, когда мы узнали, что Троцкий убит, то поместили сообщение о спиритическом сеансе, который якобы проходил в редакции, и о вызове

духа Троцкого. При этом дух вроде бы сказал: «Собирайте манатки». Что означало это, никто не знал, но мы сообщали, что духи всегда говорят загадочно. В газете также помещалась сатира на рекламу. Мы вырезали из старых журналов рисунки старых-старых автомобилей и помещали объявление, что это марка фирмы ПАЗ (Парагвайский автомобильный завод) под названием «Фея-Мастодонт», а под рисунком делали надпись:

Осчастливит сполна Вас  
Модель только марки Паз.

Помещались и такие сообщения:

«Вчера на бульваре

Бенито Муссолини упал с третьего этажа  
гражданин Петров.

Почему упал, неизвестно».

Вообще-то бульвар носил имя Евлогия Георгиева, но болгары из верноподданнических чувств разделили его на две части. Одну часть назвали именем Б.Муссолини, а другую – А.Гитлера. После революции в Болгарии эти две части бульвара были снова объединены общим именем Климента Готвальда. На этом бульваре жила моя семья. Наш дом, который представлял собой бывшее немецкое училище, выходил боком на улицу с прекрасным именем «Русалка». Как-то просыпаемся утром, выходим на улицу и видим, что вместо таблички со старым названием висит табличка с новым – «Улица Йордан Кискинов». Кто такой был этот Кискинов, не знал в округе никто, в том числе и мы. Видно, советской болгарской власти не понравилось старое безыдейное сказочное название.

Наши «Парагвайские вести» читало огромное количество народа, хотя они выпускались в единственном экземпляре. Среди читателей нашей газеты были и гимназисты, и русские инвалиды, и просто многочисленные наши друзья.

В газете мы также помещали сведения о войне, которые черпали из лондонского и московского радио. Тогда шла финская война, и мы, слушая Москву, написали такие частушки:

Танер Манера спросил:  
«Как успехи наших сил?»  
Манер Танеру в ответ:  
«Гитлер знает, а я нет».

Танер был главой правительства Финляндии, а Маннергейм – главнокомандующим.

А вот еще частушки, которые мы слышали по радио «Москва»:

Хочешь ты права забрать,  
Сделать нас навозом.  
Потолкуй-ка ты сперва  
С нашим бомбовозом.

Печатая эти частушки в нашей газете, мы рисковали своим благополучием, потому что в начале войны радиоприемники у всех в Болгарии были запечатаны. Никто не имел права слушать ни Москву, ни Би-Би-Си. Для сравнения напомним, что в Советском Союзе на время войны приемники у граждан просто отбирались, а в Болгарии мы приносили радиоаппараты в соответствующую комиссию, и там их нам опечатывали. Печать была очень простой. К кнопке, которой ищутся волны, привешивали шнурок, предварительно настроив приемник на Софию, шнурок пропечатывали бумажкой и приклеивали к корпусу приемника. Бумажка очень легко отдиралась от пластмассовой стенки корпуса, и мы крутили вместе со шнурком заветную кнопку. Если приходила к нам какая-нибудь проверка, то мы плевали на бумажку и приклеивали ее заново. Думаю, что так поступали многие в Болгарии, хорошо ориентируясь в ситуации. У нас был небольшой и очень хороший приемник «Телефункен», который принимал длинные, средние и короткие волны. Я купил его по дешевке в магазине. У него была трещина на корпусе, но от этого он работал не хуже, а стоил вдвое дешевле. Этот приемник и связывал нас с Москвой и Би-Би-Си. К сожалению, мы не смогли его взять с собой в СССР, потому что он работал от сети 110 вольт.

Но мы не только занимались выпуском газеты и ее распространением, а достаточно активно вместе отдыхали. Иногда пытались ухаживать за девушками. У Кости Ханова было три сестры. Они нам очень нравились. Мы усиленно старались привлечь к себе их внимание, и нам это удалось. Вдохновленные успехом, мы как-то попросили их отца отпустить девушек с нами на Витошу с ночевкой. Он не разрешил. Тогда я ему сказал:

– Петр Сергеевич, если вы думаете, что с ними что-нибудь случится, то я могу вас уверить, что это может случиться и здесь.

На что он мне ответил:

– Если это может случиться и здесь, то зачем вам лезть на гору?

И не пустил.

С приходом к власти коммунистов в Болгарии, наслышанный об их коварстве и нетерпимости к инакомыслящим, я попросил Сережу Боноваряна спрятать несколько десятков номеров газеты «Парагвайские вести», чтобы не давать повода для нашего ареста за какую-нибудь организацию фашистской или другой группы, а может быть, и того хуже – за шпионаж. Сергей так спрятал эти газеты, что я потом их не нашел. Поэтому мой первый опыт журналистской работы канул в лету и остался лишь в моих воспоминаниях.

В дальнейшем судьба многих из «парагвайцев» была не только интересной, но и самой разной. Константин фон Сиверс стал инженером-строителем и приехал в СССР во Львов в 1955 году. Даньку Куракина приняли в университет не потому, что он был князем, а

потому, что по матери являлся потомком Бакунина, и коммунисты приняли его без экзаменов, забыв, что Бакунин по политическим убеждениям был анархистом. Костя Ханов во время Второй мировой войны ушел служить в части генерала Власова, и после этого о нем ничего не известно.

Кстати, пункт записи добровольцев в армию Власова находился на улице Оборище в одном из особнячков. Он назывался РОВС (Русский Общевоинский Союз). В эту призрачную армию потянулись многие обездоленные, потерявшие надежду русские офицеры. Здесь каждую неделю вывешивался список принятых добровольцев. По этому поводу некоторые острили, что такой список делался в двух экземплярах. Один оставался в конторе, другой отправлялся в советское посольство. Эта шутка потом превратилась в уверенность, потому что полковник Фосс, который вел запись добровольцев, впоследствии получил советское гражданство. Уж, казалось бы, его первого надо было посадить как случайного человека.

Власовцы, как они себя сами называли, прямо не воевали против Советской армии. Они охраняли мосты, туннели, дороги, гарнизоны в Сербии и Македонии.

Но потом, после войны, некоторые из них стремились получить советское гражданство. Одним из таких был калмык. Майор, принимавший его заявление в посольстве, спросил:

– Вы служили у Власова, а потом сбежали. Почему вы сделали это?

– Обманул, бачка, обманул.

– В чем же он вас обманул?

– Обещал бить большевиков, а послал в Македонию. Вот я и сбежал.

Несмотря на такое откровение, говорят, паспорт ему выдали. Паспорта выдавали всем желающим и даже просто явным врагам советского строя. Тактика была правильной – заманить всех эмигрантов в СССР, чтобы там разобраться с ними.

Так, мой друг доктор Михаленко, получив советское гражданство, списался со своими родственниками в Кишиневе и в 1952 году выехал в СССР. Приехав на место, он написал нам в письме, как его хорошо встретили, дали работу, родственники помогли с квартирой. А потом Михаленко умолк, ни слуху, как говорится, ни духу. Что с ним произошло, мы узнали уже позже, в 1955 году, когда сами приехали на родину. Мы написали ему письмо, а ответ получили от его дочки. Она сообщила, что отца арестовали через полгода после приезда как румынского шпиона, и он исчез в концлагере. Через некоторое время арестовали его жену. Осталась на свободе только дочка.

Хорошо, что мы приехали в СССР после смерти Сталина. Бог нас спас. Я пытался найти логику в этих действиях советских властей и

не мог найти. Как можно было обвинять Михаленко в том, что он румынский шпион, если Румыния уже тогда была народно-демократической и входила в лагерь социалистических стран? Потом-то я понял эту логику. Они хотели под любым, даже самым нелогичным предлогом уничтожить как можно больше русских эмигрантов. Так что гражданская война власти большевиков с народом в скрытом виде не прекращалась в нашей стране до самой смерти Сталина. Помню, еще в начале 30-х годов моя мать переписывалась со своей кормилицей, которая жила в селе Едрово. Мы сами жили бедно, но мать посылала ей из Болгарии леденцы, тетрадки, ситец и очень нужную в то время вещь – химические карандаши. Однажды она получила из СССР последнее и очень странное письмо. Вернее, это было не письмо, а огрызок бумаги, на котором безграмотно и неуверенным почерком было написано:

– Милая Аня, больше не пиши, дяди Димы не стала.

Кто такой был дядя Дима, мы не знали, но почувствовали что-то неладное и перестали писать. Потом, уже в 1956 году, моя мать поехала в это село и узнала страшную вещь. Оказалось, что не стало не только дяди Димы, а полсела было раскулачено и вывезено в Сибирь за связь с иностранными шпионами. Это мы-то были иностранными шпионами? Мы не были шпионами, а оказались невольными палачами своих близких.

Кажется, я снова увлекся эмоциями и отклонился от хронологии событий. Вернемся к нашим «парагвайцам». О судьбе одного из них – Бориса Федченко я ничего не знаю, а вот с Чижиком, как мы называли моего генерал-адъютанта Елену Кынчеву, у нас случилась драма. В 1947 году вышел указ Сталина, запрещавший советским гражданам жениться на иностранках. Я был советским гражданином, а она – болгарской подданной. Поэтому наша свадьба, о которой мы оба мечтали, не состоялась. Я горевал, а Леночка долго плакала.

Павел Соколов был самым странным «парагвайцем» из нас. Вдруг он стал таким ярым коммунистом и считал, что самыми лучшими и самыми справедливыми из всех политиков были большевики. Мы не старались его переубедить в обратном. Считали, что лучшим лекарем от наших заблуждений является сама жизнь. Мы, как правило, отмахивались от него, когда он пытался нас в чем-то убедить, и говорили друг другу: «Пусть бесится».

Летом 1941 года Павел Соколов пошел в советское посольство и попросился в советскую армию, чтобы защищать родину. Ему там ответили, что он является болгарским подданным и не может служить в Красной армии. Когда он вышел из посольства, его сразу же арестовали болгарские полицейские. Две недели его держали в Дирекции полиции, избивали и все время спрашивали, что он там гово-



рил в советском посольстве, кто его послал туда, с кем он связан, т. е. пытались выяснить, не шпион ли он.

Узнав о задержании Павла Соколова, мы очень боялись, что он не выдержит испытания и назовет всех нас, «парагвайцев», хотя мы его туда не посылали. Но Соколов молодец, смолчал. А когда его выпустили из полиции, он вышел и сказал: «Все равно я пойду в советскую армию».

Каково же было наше удивление, когда через два-три месяца он появился среди нас в форме эсэсовского фельдфебеля.

– Что с тобой, Павел? – спросили мы его.

– Я решил с немцами дойти до наших, а потом перейду на сторону Советской армии и буду бить немцев, – ответил он нам.

– Павел, – сказал я ему, – когда ты перейдешь на другую сторону, то большевики сначала тебя расстреляют, а потом начнут допрашивать.

– Ничего вы не понимаете, я все равно приду на родину.

И исчез. В Болгарии его никто не видел. Но однажды, когда я жил уже в Советском Союзе и работал в Дубовском доме культуры художественным руководителем, в 1957 году я получил от него письмо. Дело в том, что в газете «Известия» за этот же год поместили статью обо мне, где говорилось, что я сделал значки и огромный флаг Дубовского фестиваля. Читая газету, он увидел мою фамилию и решил мне написать. Значит, я подумал, держа его письмо в руке, он добился своего и пришел на родину, но каким путем?

Вот что я узнал по этому письму о его драматической судьбе. Писал он мне из Красноярска: «Дорогой Ванька, у нас всегда была одна цель, Россия, но пришли мы к ней по-разному. Ты приехал с семьей, увешанный орденами, с багажом, а я провел 10 лет на каторге».

Мысль оказаться в России не покидала его никогда. В Венгрии он с десятком немецких солдат этапировал около двухсот советских пленных. Павел развернул подпольную деятельность. Ему помогал наш общий друг Сережка Вальх, который с ним служил. Вместе с ним и пленными они обезоружили немецкую охрану, забрали автоматы у немцев и начали пробиваться к своим. По пути их отряд громил немецкие посты и небольшие гарнизоны. Вооружившись до зубов, перешли через границу в Румынию. И за три месяца потеряли только трех человек. В Карпатах они встретились с Советской армией. Вот было радости! Но ненадолго. Их всех, в том числе и русских пленных, которых они спасли от немцев, арестовали и отправили в концентрационные лагеря. Павлу дали 25 лет за измену Родине, т. е. за то, что служил у немцев. То, что он освободил несколько сотен пленных и разгромил десяток немецких пунктов, было не в счет. Об этом даже не вспомнили, когда приговаривали его к заключению.

Павел попал в концлагерь в Игарке, который был тогда важным торговым пунктом. Туда прибывали английские и американские суда за лесом. Зеки этот лес рубили и грузили на пароходы. Павел там служил карго. Объясняю, что это такое. Это бумага – разрешение для иностранного судна на заход в порт и погрузку. Так же назывался человек, который занимался этими бумажками. Он должен был владеть иностранными языками. Соколов знал немецкий и английский языки, служил карго, но при этом не переставал быть заключенным в концлагере. В 1955 году его амнистировали, но к этому времени он успел потерять все зубы и стать абсолютно лысым. После амнистии он прибыл в Красноярск, за два года окончил филологический факультет по специальности «немецкий язык», чтобы иметь советский диплом, и стал преподавать в школе.

Где он теперь, мой милый, глупый друг? С советской властью в такие игры нельзя было играть, опасно для здоровья. Вот так раскидала всех нас, «парагвайцев», жизнь в разные стороны.

Но вернемся к 30-м годам, когда я еще был гимназистом. В гимназии мы ходили в черных атласных рубашках-косоворотках, черных брюках и фуражках с гербом, сохранившимся у меня до сих пор. На гербе было изображено шесть лавровых листков, а между ними три буквы: СРГ (Софийская русская гимназия). Девочки носили темные платья и белые передники с кружевами. В этой своей одежде мы были очень популярны среди болгарских юношей и девушек. По гимназической традиции у каждого из парней была своя пассия, т. е. симпатия, которую мальчик должен был защищать и во всем помогать. Я шефствовал над Зиной Попович, помогал ей в учении, провожал до дома, защищал от мальчишек. На этом мои обязанности заканчивались. Что касается поклонников, то у нее были свои, а у меня свои – в основном болгарочки. Когда часов в шесть мы заканчивали занятия в гимназии, у входа наших девочек уже ждали болгарские гимназисты и более взрослые поклонники, даже юнкера с саблями и в мантиях.

В нашей гимназии существовала торжественная традиция – празднование дня нашего патрона святителя Николая Мирликийского чудотворца, покровителя всех рыбаков, моряков и путешественников. Мы чувствовали себя путешественниками, людьми, покинувшими родину. Праздник проходил 19 декабря. К нему готовились загодя и не только мы, гимназисты, а и наши родители. Торжественное собрание и бал были всегда в «Альянс Франсез», прекрасном здании французской диаспоры на площади Славейкова. Гимназисты отутюживали свои брюки и рубашки, а гимназисточки – свои кружева на белых передниках. Начинался торжественный вечер приветствием директора и открывался гимном русской гимназии в Софии. Мы имели свой гимн, слова которого написал учитель словесности

Нилов. К сожалению, я его не знал, потому что он был одним из первых преподавателей гимназии, когда я еще не учился там. Музыка гимна написал учитель пения Динев, которого я уже знал. Он был болгарин по национальности и преподавал нам музыкальные предметы и хороведение. Привожу вам текст этого гимна:

Судьба и братское влеченье  
В страну нас эту привели.  
В ней обретаем мы ученье,  
Храня завет родной земли.  
Невзгоды, тяжкие страданья  
Пройдут добром и красотой.  
Окрепнувши под стягом знания,  
Творить вернемся мы домой.  
В России будем помнить вечно  
Тот край, где молодость прошла,  
Где мы поверили сердечно  
В бессилье тьмы, непрочность зла.  
Там берегутся талисманы,  
Там святы юные года,  
Там Плевен, Шипка и Балканы  
В нас не померкнут никогда.

После гимна начинался концерт. Русскую классику и русские песни исполнял гимназический хор, читались стихи, была мелодекламация, игра на рояле, наконец, в завершение программы показывались гимнастические упражнения, строились пирамиды. Так что пирамиды были модными не только в Советском Союзе, но и у нас. Правда, когда пирамида была готова, мы не выкрикивали лозунги, как это делали в Совдепии. Помню, я подобные пирамиды застал еще в 1955 году на смотре художественной самодеятельности в Дубовке Волгоградской области. Пирамида была выстроена ученицами местного педучилища. Причем некоторые девочки в ней стояли вверх ногами, но и они в конце построения кричали: «Слава КПСС» и «Слава нашей родине». Наверное, труднее всего было кричать им, стоя вниз головой.

После концерта в другом зале этого прекрасного здания французской диаспоры начинался бал. Я всегда на таких праздниках мечтал станцевать вальс или танго с Валею Алябьевой. Да разве к ней проьешься! У нее было столько кавалеров.

В нижнем этаже здания работал буфет, где проявляли свои таланты наши родители. Они готовили и приносили сюда торты, пирожки, булочки, фрукты и угощали нас. Но самым главным их произведением был крушон. Кто-то из дома приносил вазу из хрусталя. В нее заливали белое вино, шампанское, бросали туда ломтики яблок и апельсинов, а сверху – кусочки прозрачного льда. Это питье наливали нам серебряным черпаком (видимо, остатки дворянской посуды)

в чайные чашки и разрешали выпить. Выпьешь такой напиток и сначала, кроме прохлады в душе, никаких изменений в себе не чувствуешь. Но через пять минут наступало легкое приятное опьянение. С тех пор я никогда больше не пил такого божественного крющона. Пытался делать сам, но не получалось.

Еще одна традиция нашей гимназии называлась стодневка. Она проводилась для будущих выпускников гимназистов за сто дней до окончания учебы. Примерно 12 или 13 февраля, за 100 дней до последнего звонка 25 мая, мы впервые в жизни всем классом ужинали в шикарном ресторане со своими преподавателями. По существу, это был экзамен на нашу зрелость, на умение вести себя в обществе, сидеть за столом, правильно кушать и общаться не только с педагогами, но друг с другом. Здесь мы танцевали. Причем преподаватели смотрели на наши манеры: как мы подходили к девочкам, как уводили их на место после танца и целовали им ручки. В общем, это был настоящий экзамен по этикету.

Выпускные экзамены нашего класса проходили в июне 1941 года. Помню, шел экзамен по латинскому языку, и вдруг пронесся слух: война. Несмотря на то, что наши педагоги были эмигрантами из России и большая часть из них ненавидела большевиков, все они, как один, говорили и внушали нам, что Россия никогда не будет под немецким сапогом. Они чувствовали свою причастность к событиям и были на стороне России. Это были настоящие русские патриоты. Их настроения и боль передались нам.

Осенью того же года я был зачислен в Софийский государственный университет св. Климента Охридского на юридический факультет. Я об этом узнал из опубликованных списков в газете «Зора». Тогда в этой газете раз в году по осени публиковались списки студентов, принятыми в университет. Это было первое упоминание обо мне в прессе.

В университете мы, русские, учились на разных факультетах, но всегда держались вместе и не прекращали дружбы. Например, Андрепа Алексеев учился на биологическом. По петрографии ему задали такую контрольную задачу: просмотреть через микроскоп какие-то минералы, а потом их нарисовать в альбоме. Этих минералов было штук 40–50. Андрепа же совершенно не умел рисовать. Мне пришлось ему помогать. Он смотрел в микроскоп и рассказывал, что видел, по частям, а я рисовал в кружочке этот минерал. Его альбом потом оказался самым лучшим на факультете и был взят на кафедру.

Андрепа безумно был влюблен в химию и собирался дома сделать химическую лабораторию. Для этого он тащил из университета пробирки, колбочки, всякие краники, длинные стеклянные трубки. Но пронести мимо вахтера эти трубки длиной более метра Андрепа не мог: ростом не вышел. Ему приходилось обращаться за помощью ко

мне и Юрке Михайлову, который был таким же длинным, как я. Мы запиховали в брюки эти трубки и выходили из университета, хромая, потому что нельзя было согнуть ногу. Вахтер при этом еще жалел нас: «Опять двое ноги покалечили». Дома у него все было в коричневых тонах, по полу струился какой-то коричневый клуб дыма. Когда мы заходили к нему домой, то просто задыхались от этого дыма и убегали на улицу, а он ходил по квартире как ни в чем не бывало.

Как ни странно, но эта одержимость Андрепа химией не переросла в дальнейшем в какую-нибудь соответствующую профессию. Он не стал химиком, но зато стал журналистом, как и я. Я работал в газете «За Советскую Родину», которая издавалась в клубе советских граждан в Болгарии. Кстати, впоследствии редактором этой газеты был Юрка Михайлов. Мы публиковали свои статьи под псевдонимом. Андрепа тоже, видимо, следуя дворянской традиции, никогда не публиковался под своей фамилией. Он был журналистом у корреспондента газеты «Известия». Поэтому он писал статьи, а корреспондент их подписывал.

Но не только химия интересовал Андрепу в университете. Ему нравилась одна милая девочка по прозвищу Пусик. Он ухаживал за ней. Однажды мы пришли к нему домой и увидели, как они оба сидели на диване и вместе читали «Половой вопрос» Фореля. Потом, когда девчонка ушла, я спросил его:

– Андрепа, что ты тратишь время впустую? Ты просто поцелуй ее. Девчонки это любят.

– Я не могу ее поцеловать и тем более обнять, пока она не выучит всего Фореля, – объяснил Андрепа.

Оказывается, он решил сначала подготовить ее теоретически к сексуальной жизни, а затем предложить свои услуги. Летом Пусик уехала отдыхать в Варну и, вернувшись в Софию, объявила своему другу Андрепе, что у нее есть другой ухажер. Так что Андрепа, конечно же, подготовил Пусика к этой самой жизни, но не для себя.

Кроме женщин и учебы, у нас были и другие интересы. Мы втроем любили ездить на велосипедах, ходить на гору Витошу, в кино, театр.

На бульваре имени Дондукова было несколько театров. В кино-театр «Феникс» можно было зайти в любое время. Там непрерывно крутились два фильма, а между ними показывались либо кинохроники киностудии «Фокс Мовитон» (впоследствии немецкая «Уфа»), либо мультфильмы с Микки Маусом Диснея. Берешь билет, начинаешь смотреть фильм с середины до середины, потом можешь уходить, можешь сидеть дальше. Очень удобно было заходить туда со своей пассией.

Киностудия «Уфа» выпускала кинохронику еженедельно. Помню первые журналы во время войны с СССР. Показывались нескончае-

мая вереница пленных, табличка с надписью «Москва – 150 км». Из огромного числа военнопленных выхватывалось лицо небритого, с подбитой щекой, рябого красноармейца, а диктор в это время с гебельсовским акцентом говорил:

– Вот лицо типичного большевика, от которого Гитлер спасет Европу.

Прошло два, три года. Немцы под Сталинградом потерпели поражение и были отброшены под Харьков. Чтобы оправдать эту военную неудачу, в киножурнале демонстрировался немецкий танк «Тигр», по уши завязший в грязи. Его вытягивали трактор и несколько волов, а диктор сообщал:

– Россия – страна варваров. У нее нет даже дорог.

Немного наискосок, на этом же бульваре, стоял новый, современный, как выражались болгары, кинотеатр «Балкан». Он был очень популярен в Софии. В нем показывались цветные фильмы. Помню, я смотрел здесь польскую мелодраму «Знахарь». Там врача кто-то ударил по голове, и он потерял память, забыл, что работал врачом, но, поскольку у него навыки остались, он стал знахарем.

Менее популярными были среди нас французские фильмы по русской классике. Лучшим среди них стал фильм «Преступление и наказание» с Пьером Ришаром Вильмом.

Демонстрировались и болгарские фильмы, поставленные по примитивным сценариям, с неубедительной игрой артистов. Дело в том, что в Болгарии можно было сниматься за деньги: плати и снимайся. Вот дочки богатеев и увековечивали свою бездарность в фильмах.

В материальном отношении мы чувствовали себя более или менее благополучно. Из всех студентов университета только мы, русские, получали стипендию. Нам ее выдавал потомок династии князей Голицыных, который тоже жил в Болгарии. У нас даже существовала поговорка по этому поводу: «Бедность не порок, Голицын бы помог». Но откуда он брал средства на стипендию для нас, мы не интересовались, и я не знаю этого до сих пор.

Среди профессоров университета мне больше всего запомнились двое: Кинкель и Демосфенов. Профессор Кинкель преподавал нам курс о финансах и рассказывал об истории и функциях денег, банков, о кредитах и пр. Профессор Демосфенов преподавал политическую экономию. Читал он свои лекции под куполом университета в ауле (так называлась эта аудитория) на 600 мест. Во время его лекций эта аудитория, как правило, заполнялась целиком, несмотря на то что студентов было намного меньше, чем мест. Дело в том, что лекции ведущих профессоров всегда объявлялись публичными и на них приходили не только студенты, которые изучали предмет в обязательном порядке, но и все, кого интересовала заявленная тема лекции, да и сам профессор.

Профессор Демосфенов всегда входил в аудиторию элегантно, в очках с золотой оправой. Тут же раздавался гром аплодисментов. Взмахом руки он останавливал аплодирующих и говорил:

– Почему вы аплодируете мне, как балерине из оперного театра «Одеон»? И потом, я смотрю – одни аплодируют, а другие нет.

После таких слов раздавался еще более сильный гром аплодисментов.

Этот эпизод повторялся каждый раз перед началом его лекции в разных вариантах.

Профессор Демосфенов читал лекции по предмету, по которому тогда не было учебников. Ловкие студенты, а может быть, и не студенты, записывали его лекции, затем стеклографировали и продавали солидные тома студентам, сдававшим экзамен по политической экономии. Демосфенов страшно злился, когда видел у какого-нибудь студента этот кирпич с его лекциями, и не принимал у него экзамен, при этом свой гнев сопровождал следующей репликой:

– Мои лекции записывают студенты, которые совершенно ничего не понимают в экономике. Поэтому моя мысль здесь искажена. Что же получается? Они пишут, – раскрывает книгу, – что вопрос о ценнообразовании разрешил немецкий экономист и философ барон Мюнхаузен, вытянув себя из болота за волосы. Какая чушь!!!

Профессор Кинкель стал эмигрантом еще после 1905 года, когда он как народоволец бросил бомбу в какого-то губернатора. Губернатор при этом остался жив, а Кинкель пострадал. У него на всю жизнь осталась кривая левая рука.

Еще одна достопримечательность Софийского университета, которая запомнилась мне, это кафе в подвале. Там продавались пирожные, боза (такой густой напиток). Там студенты играли в шахматы, карты, нарды, стояли два бильярда «Моникс». Сейчас даже в кино я не встречал такого бильярда. В нем были лунки на поле и стояли три кегли: две белых и одна красная. Если собьешь белую кеглю, то потеряешь очки с данного кия, а если красную – то все очки, заработанные за всю игру. Самое интересное, что красная кегля называлась Гитлер.

В кафе приходили все студенты. Один из студентов был уже великовозрастным, имел семью, и мы его прозвали профессором. Он учился в университете 19-й семестр, занимаясь на разных факультетах. Поэтому мы смотрели на него как на Бога знаний. Какими же мы были наивными. У меня за всю мою жизнь накопилось 39 семестров разного высшего образования, но Богом я почему-то себя не чувствую.

Но самой большой достопримечательностью университета стал единственный в Болгарии полицейский по имени Ангел. У него на погонах были две буквы – ДУ (Дыржавен университет). Мы его воспринимали как закадычного друга всех студентов. Он играл с нами в

бильярд или карты, помогал в учебе. Я имею в виду то, что в наших зачетных студенческих книжках ставилась подпись профессора за регулярные посещения. Подпись же его представляла собой факсимильную печать, которая хранилась на кафедре. А у Ангела были ключи от всех дверей. Вот он заходил в любое время на кафедру и ставил нам печати куда надо.

Что Ангел охранял как полицейский, нам было непонятно, да мы и не пытались в этом разобраться. Когда же в Болгарии пришли к власти коммунисты и стали разгонять всех полицейских, то студенты университета встали стеной в защиту Ангела. Мол, не отдадим нашего полицейского, и отстояли его. Он стал милиционером, сменил синюю форму полицейского на костюм цвета хаки. Но на погонах сохранились две буквы ДУ. В этом качестве он прослужил до своей пенсии.

Среди профессоров была и такая одиозная личность, как профессор Цанков, который еще в 1923 году возглавил антиземледельческий и, по существу, антикоммунистический переворот. Профессор Цанков приходил на лекции со здоровой овчаркой. Она садилась рядом с ним и смотрела в зал на студентов. Если кто-нибудь вставал с места, она сразу же принимала угрожающую позу и рычала.

Кстати, дрессировал его собаку друг моего отца Витанов, который был чистым болгаринном, но из Таганрога. Он тоже во время Гражданской войны в России выехал из страны вместе с русской армией. Витанов часто приходил в нашу семью в новом обличье и с новой женой. То он был одет в штаны с ляями (кожаные накладки под зад и на ноги для жокеев), потому что работал на конезаводе, то выглядел как геолог, то как дрессировщик собак. Видимо, такой был характер у Витанова. Он не задерживался долго ни на одном рабочем месте, ни с одной из женщин.

У Витанова постоянно рождались какие-то идеи насчет того, как можно заработать деньги. Однажды он уговорил отца подняться на Витошу. Якобы на этой горе он нашел место, где можно мыть золото. И начали они строить вашгерт – корыто в три с половиной метра длиной с какими-то перемычками и сеткой. Построили и пошли с этой колымагой на горку. Конечно, ни в какой трамвай их с вашгертом не пускали. Им пришлось тащиться через весь город пешком с этой ношей. Затем они забрались на Витошу, что там делали – неизвестно. Только потом, через четыре дня, отец вернулся домой радостным. Он держал в руках жестяную коробочку, а сбоку в ней что-то блестело. На следующий день отец пошел к ювелиру и пришел обратно мрачнее тучи.

– Это слюда, – коротко буркнул он.

После неудачи в деле золотодобычи Витанов подбил отца еще на одну авантюру. Он сказал:



– Осенью на праздник Успения Пресвятой Богородицы в монастырь у села Драгалевци приходит много народу. Для этого праздника мы заранее приготовим полуфабрикаты кебабчета. Приедем туда вечером перед праздником, а утром будем их печь и продавать людям. Заработаем на этом уйму денег, – заключил Витанов.

Авантюра казалась вполне правдоподобной реальностью. Отец, конечно, согласился подработать денег. Они купили килограммов десять фарша, добыли тяжеленную жаровню, мешок древесного угля и пошли к месту праздника на гору (монастырь стоял в горах). Когда они туда прибыли, там уже было много народу, и в помещении места для них не нашлось. Они пошли в лес, стали готовиться ко сну, но тут монастырские псы учуяли мясо и стали подбираться к их стоянке. Тогда они повесили корзинку с фаршем на дерево, подальше от псов. Тут, как назло, начался дождь с громом и молнией, поднялся ветер, а может быть, наоборот. Корзинка свалилась с сучка и покатила вниз по склону. Свора собак, будто того и ждала, накинута на эти кебабчета. Мой отец и Витанов тоже бросились к мясу. Но как они ни старались спасти свое богатство от псов, ничего не смогли сделать. Псы оказались проворнее их.

Так закончился очередной бизнес моего отца, и тоже неудачно. В этом лесу они забросили жаровню и корзинку, чтобы налегке идти домой. Не тащить же эту поклажу.

### Первый солдат болгарской армии

Тем временем война, развернутая еще в 1939 году, все ближе и ближе подходила к Болгарии, которая вступила в войну не сразу. Прошло еще время, пока немцы после Франции, Норвегии и Люксембурга поднакопили сил и бросились на Югославию. Самым выгодным плацдармом для них оказалась Болгария. Немцы ввели свои войска в страну в марте 1941 года. Мы были ошарашены этим событием. Дело в том, что 3 марта болгарский народ привык праздновать день освобождения Болгарии от турецкого рабства, но именно в этот день вся София затянулась выхлопными газами. Через столицу шли немецкие танки, бронетранспортеры, тяжелые грузовики МАН тянули пушки всех калибров. Болгары стояли на улицах, понурились головы, и думали, зачем им такой подарок. Армада шла на Грецию и Югославию. В тот же день, как по мановению руки, на всех перекрестках появились указатели: до Афин 560 км, до Белграда 420 км, до Салоник 220 км, до Стамбула 330 км и даже до Багдада столько-то км. Затем были развешаны таблички с указанием расстояний до ближайших болгарских городов и сел: Пловдива, Свиленграда, Берковицы, Самоводене, Асеновграда и даже Рильского монастыря.

Смена облика болгарской столицы произошла так быстро, что мы были удивлены немецкой дисциплиной и организованностью. А какие у немцев имелись огромные грузовики с прицепами и надписью на тенте «Мунициен»! Я вспомнил это техническое оснащение гитлеровской армии в связи с советским оснащением войск. Когда они, добывая Гитлера в Европе, вошли в Софию 12 сентября 1944 года, болгары встречали с ликованием советские войска. Огромная масса народу стояла вдоль дорог с цветами, ракией, вином, чтобы встретить братушек.

– Едут, едут!!! – пронеслось по толпе.

Уже слышен был шум какого-то разбитого мотора, гремели жестяные бочки, а у немцев были канистры. Мимо нас проезжали полуприцепы с разломанными бортами, а на них, покрытые пылью, улыбались нам русские солдатики. Болгары их буквально стаскивали с полуприцепа, вручали цветы, с которыми те не знали, что делать, поили ракией, совали в руки огромные дамаджаны вина (дамаджана – плетеная большая бутылка). А солдатик, помню, скинул пробку с этой бутылки и попросил налить ему вино на руки. Он отмывал вином пыль и грязь со своего лица, шеи и рук, которые накопились на нем после огромного броска, по существу, через всю Болгарию. Благодарные болгары радовались приходу русских, но не могли понять, как на такой разбитой технике они могли выбить стальные колонны немцев из Болгарии и всей Европы. Для нас это было непостижимо.

Но до прихода русских в маленькую страну Болгарию в 1944 году было еще далеко. Пока она оставалась один на один с мощной гитлеровской армией и вынуждена была делать вид, что подчиняется ей. Болгария объявила войну не только Югославии и Греции, но Великобритании и Соединенным Штатам. Вообще, в этой войне официально она как бы воевала с 32 странами. Кроме крупных европейских держав, Болгария была в состоянии войны с Кубой, Индией, Австралией, Южной Африкой, Парагваем, Бразилией и т. д. Эти объявленные в угоду Гитлеру, но не состоявшиеся войны помогли стране сохраниться и выжить в трудные годы. Исключение составлял Советский Союз, против которого даже формально царь Борис отказывался воевать, за что поплатился своей жизнью.

Вообще, царь Борис был уникальной личностью и оставил о себе добрую память в народе. Он был очень любимым болгарскими монархами, и притом самым демократичным. В Болгарии не было знати. Все бояре, князья, помещики еще во времена турецкого рабства исчезли как социальные классы, и Болгария превратилась в страну крепких крестьян. Из них впоследствии образовывался и рабочий класс, и интеллигенция. Скажем, в соседней Румынии и в XX веке были помещики, родовая знать, батраки и безземельные крестьяне. В Болгарии не было такого ярко выраженного социального расслоения.

ния. Царь Борис понимал и учитывал это в своей государственной политике. Он был очень доступным и узнаваемым для всех болгар. Ходили самые разные легенды о том, как он встречался со своими подданными. Одна из них рассказывает о том, как еще в середине 20-х годов, когда на одной из балканских горок орудовал разбойник Дечо Узунов и грабил всех богатых, проезжала автомашина с царем Борисом. Дечо Узунов остановил машину и потребовал отдать ему все деньги и драгоценности. Из машины вышел царь Борис. Разбойник увидел его и обомлел:

– Извините, Ваше Величество, мы ошиблись, – и отпустил царя.

Трудно было найти человека в Болгарии, который бы не разговаривал или не здоровался с царем. Он любил ездить в машине один и сидеть за рулем без всякой охраны. Однажды ехал так царь Борис в простой кепке на голове. На обочине дороги голосовала какая-то бабка и просила подвезти. Он остановился, посадил бабку в машину и подвез ее до села. Но когда она стала расплачиваться с ним стотинками, а водитель стал отказываться от них, то она узнала в шофере своего царя и страшно была этим смущена.

Я тоже не был исключением. Мне также повезло встретиться с этим уникальным правителем. Помню, как мы отцом, матерью и моим младшим братом Леонидом выехали отдыхать на речку Искыр, которая протекает недалеко от Софии. Здесь на берегу мы стали играть с братом в волейбол. Неожиданно к нам подъехал всадник на коне и попросил бросить ему мяч. Мы перекинулись с ним мячом, потом он помахал нам рукой и поскакал дальше. Неподалеку от нас в ручье мой отец стирал свои носки. Когда всадник проезжал мимо него, то мы с братом увидели такую дурацкую картину: мой отец стоял по щиколотку в воде, в обеих руках у него были носки, но он при этом сделал руки по швам и что-то гавкал этому всаднику. «Что за ненормальный», – подумали мы.

Всадник ускакал, а отец прибежал к нам и взволнованно сказал:

– Дети, это был царь Борис.

Вот, оказывается, чем объяснялось столь нестандартное поведение нашего отца. При виде царя в нем зыграла его офицерская суть, и он громко представился ему как большому армейскому начальству.

А царь Борис тем временем ускакал в свое поместье «Враня», которое находилось недалеко от того места, где мы отдыхали.

Забегу вперед и напомним, что во время народной власти в этом поместье жил Георгий Димитров, при котором ситуация совершенно изменилась. Тогда я уже был женат, и мы с женой поехали на велосипедах по той же дороге, по которой когда-то ходили с нашим отцом мимо этой «Врани». Здесь у меня соскочила цепь на велосипеде. Я перевернул велосипед вверх колесами и начал подтягивать цепь. Вдруг из кустов выскочили два солдата с автоматами:

– Стой, руки вверх! Кто такие, почему остановились?

Не успели мы ответить на заданный вопрос, как подъехал к нам джип с солдатами и двумя офицерами. Они осмотрели наш велосипед. Потом один из офицеров спросил солдата:

– Чего же ты мне сообщил, что поставили пулемет?

Оказывается, перевернутый велосипед издали очень напоминал ручной пулемет. Нас отпустили, но предупредили, чтобы мы не останавливались здесь еще километра два. Молодцы, хорошо охраняли бай Гошо, как называли Георгия Димитрова болгары.

А с царем Борисом я встречался и в студенческие годы в садике у особняка, в котором жил министр двора Станчов. Станчов был женат на шотландке, по вероисповеданию католичке, и имел 11 детей. Моя мать работала у него гувернанткой, учила детей русскому языку. Особняк стоял на улице Обориште, а рядом возвышалось солидное здание с надписью на фасаде «Про Ориенте» («Для Востока»). В этом здании находилось представительство Ватикана в Болгарии. Отсюда к Станчовым частенько заезжал в гости кардинал и легат Ронкали, будущий Папа Иоанн XXIII. Кстати, став Папой, он, наверное, был единственным главой Католической Церкви, который очень хорошо говорил по-болгарски.

Так вот, зашел я как-то на работу к маме. Она попросила меня посидеть в садике и подождать ее примерно полчаса. Я сел на скамеечку и стал ждать. Смотрю, подъехала машина. Из нее вышел царь Борис. Я встал. Он подошел ко мне. Мы поздоровались, и оба сели на скамеечку. Он спросил меня:

– Кто ты такой?

Я ответил:

– Сын гувернантки Анны Александровны.

– А! – улыбнулся он мне. – Знаю ее. Это русская мадам. Чем же вы занимаетесь?

– Я студент.

– Всегда любил студентов, – сказал царь.

Надо заметить, что и студенты его любили. Днем студентов в Болгарии был день святого Климента Охридского – 9 декабря. Его именем, как я уже говорил, был назван Софийский университет. В этот день на торжественное собрание, которое проходило в Народной опере, всегда приезжал к студентам царь Борис. Он поздравлял всех с праздником и уезжал. А студенты каждый раз несли своего царя на руках от сцены до самого автомобиля. Царь был консолидирующей силой для нас. При нем никто не смел себя вызывающе вести. Но когда он уезжал с торжественной части, то тут начиналось что-то несусветное. Студенты, как и общество, делились на коммунистов, анархистов, монархистов, социалистов и фашистов. Так вот, коммунисты били анархистов, социалисты – фашистов и т. д. Короче

говоря, колотили друг друга именно те, которые на руках выносили царя из оперы.

Наверное, мой любезный читатель спросит меня, а не монархист ли я? Мне уже такой вопрос однажды задавали. Это было в 1996 году в Волгограде, когда наш город посетили представители дома Романовых. Я удостоен был чести встретить их от имени нашей епархии и дворянства. Надо сказать, что эта встреча была подготовлена на уровне города. Не только я принимал в ней участие. Но не об этом речь. Когда мы с гостями поехали на Мамаев Курган, то мне на машине архиепископа (ныне уже митрополита) Германа довелось ехать с двумя очень очаровательными тележурналистками из Франции. Они сопровождали эту царственную чету по России. Так вот, они и спросили меня:

– А вы не монархист?

Я подумал и ответил им:

– Да, я монархист, но не для России. Я монархист шведский, голландский, британский, испанский. Я монархист той страны, в которой монархия является стабилизирующим фактором общества. А в России монархия не состоялась. Сегодня же она будет новой причиной для мордобоя и разрухи. Мы не доросли до цивилизованной монархии, как, например, Болгария до нашего прихода туда.

О царе Борисе можно рассказывать различные байки до бесконечности. Его народ обожал и любил поговорить о нем на досуге. Так, наши эмигранты рассказывали, как к нему пришел однажды князь Святополк-Мирский, предварительно изрядно выпив для храбрости. Он пришел во дворец. Его привели к царю Борису и посадили за стол. На столе стояла бутылочка вина. Распивая, Святополк-Мирский сказал царю:

– Я самый законный претендент на болгарский престол, потому что являюсь потомком того Святослава, который завоевал северный кусок Болгарии еще в X веке.

Царь Борис, как рассказывали наши эмигранты, посмотрел на него многозначительно и спросил:

– А почему же Святослав не остался в Болгарии?

На что Святополк-Мирский ответил:

– Наверное, дел много было на Руси. Вот и уехал. А я, наоборот, приехал сюда.

Потом они выпили мировую. На этом и закончились притязания славного русского князя на болгарский престол.

В 1934 году царь Борис решил жениться на дочери короля Италии Виктора Эммануила II княжне Иоанне. Болгария праздновала это событие очень пышно. Когда кортеж из машин и ландо, в котором сидели молодожены, выехал на улицу Московскую по направлению к храму Александра Невского, то на всю столицу колоколами

разлилась русская песня «Ах вы сени, мои сени». Русский звонарь получил за эту выдумку орден святых Кирилла и Мефодия – высший орден Болгарии за успехи в искусстве, литературе и музыке. Вот с каким почтением болгарский царь относился к русским и русской культуре. Конечно же, он не мог направить оружие против Советского Союза, даже рискуя своей жизнью.

В 1944 году был предпринят следующий дипломатический шаг ради выживания Болгарии. Она объявила войну Германии и Японии, а СССР объявил войну ей, чтобы иметь повод ввести свои войска в страну. Болгария наконец избавилась от немецкого фашизма.

Но тремя годами раньше, в 1941 году, немцы разгромили Югославию и отдали болгарам в подарок Македонию. Те с радостью приняли эту спорную территорию. Македония всегда была яблоком раздора между Сербией, Болгарией, Грецией и Турцией.

В связи с этим уместно будет вспомнить две предыдущие войны балканских народов, в 1912 и 1913 годах. Сначала Сербия, Болгария, Греция, Румыния и Черногория начали войну против Турции и победили. Турцию лишили почти всех ее территорий на Балканах и загнали ее к Стамбулу. Потом победители начали делить освобожденную территорию. Греция забрала себе северную часть своей земли, Албания освободилась от турок и стала самостоятельной, а вот за Македонию началась между союзниками драчка. Те же Сербия, Черногория и Греция уже в союзе с Турцией начали войну против Болгарии за Македонию.

По этому поводу существовал такой анекдот. Во время первой Балканской войны к туркам в плен попали два черногорца. Турки их увезли в Стамбул. Тут начался второй период войны, в котором турки стали союзниками черногорцев. В связи с этим два освобожденных из плена черногорца послали телеграмму своему князю с таким вопросом: «Нам являться в Черногорию или ударить по болгарам с тыла?»

Тогда в этой драчке Македония не досталась Болгарии. Зато теперь с помощью немцев болгары получили ее и ввели туда свои войска. Тут и началось. Эту спорную территорию называли балканским котлом. Партизаны македонские, сербские, черногорские начали бить болгарские гарнизоны. Ничего себе, подарочек.

Так болгары наконец занялись военными делами, а то объявили войну 32-м странам, а сами ее ни с кем не начинали. Поэтому когда Великобритания и США начали бомбить Софию, то болгары буквально взвыли:

– Ну объявили мы войну, но мы же не бомбим Лондон и Нью-Йорк, – возмущались они. – А вы нас бомбите. Нечестно.

В связи с балканским подарком Болгария втянулась хоть и в маленькую, но в войну. Гитлеру же показалось этого мало. В августе 1943 года он вызвал к себе в Бестергаден своего союзника, царя Бол-

гари Бориса. О чем они там говорили, нам не известно, но потом вся Болгария вещала, что Гитлер требовал от болгарского царя 15 дивизий на Восточный фронт. По всему видно, что царь Борис отказался посылать болгар против России и улетел домой. В то время самолеты не были герметично закупорены, и на большой высоте пилоты и пассажиры дышали через кислородные маски. Вот немцы и подсыпали царю какую-то гадость в эту маску. Когда он прилетел на аэродром Бужурище, то его уже полумертвого сняли с самолета. 23 августа царь скончался.

Его смерть стала трагедией для всей Болгарии. Несколько дней подряд шли в храм толпы людей, чтобы проститься с действительно любимым царем. К тому же он покинул страну в такое беспокойное военное время. Непредсказуемое будущее пугало народ. По всей Софии стояли черные пирамиды, на которых горел огонь. Царя увезли в Рильский монастырь, где он и был похоронен. Отвлекусь и скажу, что при коммунистах его тело было вывезено за границу. Новая власть в Болгарии опасалась паломничества к его мощам, которое действительно было.

Но вернемся к 1943 году. Смерть царя повергла болгар в смятение. Ушел царь, которому они доверяли. Шла большая война. Македония бурлила. Немцы продолжали требовать дивизии от Болгарии на Восточный фронт. Тогда болгары послали туда один санитарный поезд, который лечил и спасал от смерти раненых немцев. После революции в Болгарии всех этих медиков народное правительство осудило и, конечно, расстреляло.

В этот же 1943 год и я созрел для призыва в армию. 1 сентября, буквально через неделю после смерти царя, я пошел служить в болгарскую армию. Получается, что моя военная карьера началась тогда, когда Болгария еще была союзницей Германии. Но вскоре болгарская армия вошла в состав Третьего Украинского фронта. Я стал участником Великой Отечественной войны. Недаром каждый раз 9 мая мой сын Иван в шутку поздравляет меня и с днем капитуляции и Днем Победы.

Такая неопределенность, в которую я попал во время войны, впоследствии ставила меня перед лицом различных коллизий. Например, в 1969 году посол Болгарии в СССР прислал на мое имя в Дубовку Волгоградской области, где я тогда жил, медаль по случаю 25-летия болгарской армии. Вручал мне ее военком. Я шел по залу за медалью, а сидящие в зале спрашивали друг друга:

– А Тинин с кем воевал и в какую сторону?

Кто-то из них ответил:

– Неважно, важно то, что он участник войны.

Но вернемся в Болгарию. Когда меня призвали в армию, мы, новобранцы, в первую очередь стали проходить воинскую приемную

комиссию: ходили совершенно голые из кабинета в кабинет и после каждого кабинета нам химическим карандашом писали на груди какие-то цифры. На моей груди были написаны цифры: 192, 36,3, 102, 43, 120. Это, оказывается, были данные о моем росте, температуре тела, кровяном давлении, номер ботинок, номер фуражки и еще десяток цифр, которые понимали только медики. Затем мне выдали удостоверение в том, что я принят на службу в Первый софийский полк с последующей службой на 4-м пограничном участке. То, что я какое-то время оставался служить в Софии, было хорошо, но неизвестный мне 4-й участок меня беспокоил. Потом, после долгих расспросов тех, кто был знаком с этим участком, я выяснил, что он находился на границе с Сербией, где-то между Видином и Драгоманом, в общем, недалеко от Софии. Это меня успокоило, я смирился. Но дальнейшие события разворачивались так, что я этого пограничного участка так и не увидел.

Наш первый пехотный полк принадлежал Первой дивизии, а она входила в Первую армию. Я попал служить в первый батальон, первую роту, первый взвод, в первое отделение. По причине своего роста я стоял на правом фланге. Это место называлось «Первый солдат болгарской армии». Такого солдата все берегли, потому что считали, если он повалится, то, как косточки домино, повалятся и остальные солдаты. Но не место мне давало особый почет в армии, а то, что меня призвали со второго курса университета. Тогда в нашей роте было только два солдата со средним образованием, остальные с семилетним, а человек 10 вообще были неграмотными. Я оказался в роте единственным с незаконченным высшим образованием. Солдат со средним и высшим образованием не стригли под нулевку. Мы ходили с прическами. Нас не посылали мыть туалеты или на кухню, но маршировали мы со всеми наравне. То, что первым солдатом болгарской армии оказался русский, до армейского начальства дошло не сразу. В этой почетной должности я прослужил до декабря, потом меня отправили в школу запасных офицеров, а там вдруг обратили внимание на мою национальность. Один из офицеров сказал так: «Мы собираемся воевать против России, а у нас в армии будет русский офицер. Непорядок». Меня освободили от учебы в этой школе и отправили обратно в полк, но уже в седьмую роту.

Впоследствии, когда я узнал, как служили в Советской армии, и сравнил со своей службой в болгарской армии, она мне показалась если не сказочной, то какой-то опереточной.

Наспустили домой в первую же субботу, до воскресного вечера, чтобы мы забрали с собой какие-нибудь забытые, но нужные нам вещишки, ну, скажем, бритву, или карандаш, или книжку с фотографией девушки. Все свои увольнения домой я помечал в календаре. Потом, когда посчитал, то оказалось, что в первый год своей



службы я ночевал дома 196 дней. Остальное время верно служил Болгарии.

Но армия есть армия. Нормы жизни на гражданке совершенно другие, чем в казарме. На второй неделе службы меня назначили дежурным по роте. Одной из моих обязанностей было водить на завтрак, обед и ужин к кухне так называемых бакаров. Бакарами называли солдат, которые носили баки для кормления взводов всей роты. Так вот в обед, когда мы с бакарами стояли в очереди у кухни и травили разные байки, у нас украли два бака. Кто украл? Да солдаты из других рот. Баки мы не нашли, но с обедом кое-как выкрутились. После обеда ротный старшина (их называли у нас фельдфебелями) построил роту, меня поставил перед ротой и произнес громогласную речь:

– Посмотрите на этого разгильдяя, который пришел к нам из университета. Сегодня у него украли два бака, а завтра украдут фуражку или винтовку. Какой же это солдат? Это размазня, которого противник даже в плен не возьмет. Так вот, рядовой Тинин не получит больше ни одного увольнения из полка, пока я жив.

Я был удручен и подавлен таким приговором, сидел на кровати, обхватив голову руками. Мне становилось грустно, когда думал, что больше не увижу маму и Чижика – мою симпатию. В общем, я ощущал полный крах своей жизни. Тут подошел ко мне каптенармус Киро – старый солдат, у которого срок службы давно истек, но он полгода сидел на губе за какой-то проступок и должен был эти полгода дослужить. Таковы были правила в болгарской армии. Он подошел ко мне и спросил:

– Чего, Иван, нахмурился?

Я ему ответил, что у меня уперли два бака.

– Ничего. Вечером к кухне пойду с тобой.

«Что он может сделать?» – подумал я.

А вечером, когда мы стояли у кухни, он уволок 4 бака из других рот, и на вечерней проверке перед ротой фельдфебель уже по этому поводу снова произнес речь:

– Солдаты, орлы, смотрите на этого воина, – показал он на меня, снова стоящего перед ротой, – это настоящий солдат болгарской армии. Мы должны все гордиться им. У него в обед украли два бака, а вечером он принес в роту четыре. Этот подвиг должен быть вписан в нашу историю. В качестве награды я отпускаю его в субботу в увольнение, но не до вечера в воскресенье, а до вечера в понедельник.

Я был удивлен. Все понятия о порядочности у меня сразу же колебались. Я стал героем, потому что украл...

В роте почти каждый день нам делали проверку на вшивость. Мы снимали рубашки. Их внимательно просматривали санитары. Одна-

жды, на второй неделе моего пребывания в казарме, была обнаружена вошь у меня и у цыгана Пешо с левого фланга. Я стал уверять санитаров, что это не вошь, что у меня никогда их не было и я никогда их не видел. Санитары смеялись надо мной, но приказали все мое белье и одежду, включая фуражку, отнести в вошебойку.

Я снова был убит горем. Что обо мне подумают? Я, человек с незаконченным высшим образованием, оказался вшивым, как этот цыган, который никогда не носил даже сапог и радовался им так, будто ему подарили новую жену.

Мы пошли к этой самой вошебойке. Это была какая-то камера, куда запихивались вещи и прожаривались там паром или дымом. Очередь здесь стояла солидная. Сюда пришли солдаты разных рот. Заправлял всем этим действием русский военный фельдшер Макарыч. Он увидел меня и спросил:

– И ты здесь, Иван?

– И я. Жить больше не хочется.

– Да брось ты. Эка невидаль. Через неделю-другую все здесь будете.

Он оказался прав. И мне уже было не так обидно, что вши только у меня с цыганом.

Я уже говорил, что цыган Пешо несказанно был рад сапогам. Но он радовался и постели с тюфяком. Наверное, всю жизнь спал на циновке. Однажды утром фельдфебель построил роту и начал говорить о том, какие должны быть сапоги у солдата. В качестве примера он выставил нам этого цыгана и сказал:

– Посмотрите на Пешо. Это настоящий солдат. Когда я подхожу к его сапогам, то они так начищены, что я могу смотреть в них, как в зеркало, и бриться. Подними шинель, Пешо, чтобы все видели, как нужно чистить сапоги.

Пешо, всегда исполнительный, задрал свою шинель до подбородка, и все увидели, что не только сапоги, но и его штаны были начищены черной ваксой до пояса. Видимо, он так усердно тер сапоги, что заваксил и все штаны.

– Опусть шинель! – скомандовал фельдфебель.

Слава Пешо тут же померкла.

Командиром роты у нас был подпоручик Винаров. Он вел себя как настоящий гусар. У него было огромное количество поклонниц и выпивки. Он часто позволял себе выезжать в город развлекаться, прекрасно знал немецкий, французский и русский языки. Я ему почему-то понравился. Он заприметил меня, и вечерами, когда он дежурил в роте, мы в его кабинете за полночь говорили о самом разном. В разговоре со мной подпоручик Винаров не скрывал своего мнения о том, что Болгария не в ту сторону начала воевать, что ей не надо было становиться союзницей Германии. Такое в то время мож-

но было сказать только очень близкому человеку. Его доверие мне льстило.

Но служба оставалась службой, и каждое утро нас выводили на плац, где мы маршировали. Выправка солдата проверялась здесь так. Сначала мы должны были идти нормальным шагом, но, увидев офицера, за 10 шагов нужно было начать маршировать и, подойдя к нему, громко говорить: «Рядовой такой-то, господин подпоручик, явился».

Я же, маршируя, когда подошел к нему, произнес тихим голосом: «Рядовой Тинин, господин подпоручик, явился».

– Почему, Тинин, так тихо говоришь? – спросил он меня.

– Господин подпоручик, я считаю, что кричать на уважаемого тобой человека просто неприлично. Почему мы должны на офицеров кричать, а на генералов орать?

– Ты прав, Тинин, но покричи для приличия, – попросил он меня.

Я выполнил его просьбу и для приличия покричал на него.

В полку был свой оркестр, как полагалось, и свой хор. Меня, конечно, тоже зачислили в этот хор. Руководил хором капельмейстер оркестра, милый толстенький капитан, который написал марш полка, начинающийся такими словами: «На горда Витоша си твърд гранит». В роте нас учили петь патриотические песни. Однажды собрали роту. Пришел какой-то офицер-школьник (был такой чин офицера, закончившего школу офицеров запаса) и сказал:

– У кого первый голос, становитесь сюда, у кого второй – туда, а с третьим голосом становитесь в это место.

И началось хождение то туда, то сюда. Ведь никто не знал, какого номера у него голос. Мы долго бродили, наконец, фельдфебель прекратил это безобразие.

– Рота, смирно! – закричал он. – Первый взвод будет петь первым голосом, второй – вторым, а третий – третьим.

Так разрешилась эта проблема. Поскольку я был в первом взводе, то пришлось петь первым голосом, хотя я обладаю противным баритоном.

Как я уже говорил, нас, солдат, отпускали в увольнение каждую субботу примерно после обеда до 8-ми часов вечера в воскресенье. К этому часу все дежурные офицеры разных рот ждали своих подопечных. Было такое незыблемое правило: если опоздал на пять минут – три дня гауптвахты. И все шли туда безропотно. Но если ты запаздывал на три-четыре дня, то вся рота во главе с командиром и фельдфебелем кричали «Ура!» в твою честь за то, что ты вернулся. Все были рады, и ни о какой гауптвахте и разговора не было. После того, как я вернул роте 4 бака, отношения мои с ротным фельдфебелем были прекрасными. Как-то он подошел ко мне и доверительно сказал:

– Тинин, у ворот полка тебя ждет твоя симпатия. Иди на два часа. Ведь мы, интеллигенты, должны друг друга поддерживать.

Вот так фельдфебель роты стал интеллигентом из-за меня.

Почему-то подпоручик Винаров, когда был пьяным, то очень любил слушать в моем исполнении украинскую песню, которая начинается словами «Ніч така, господи, місячна зоряна, ясно, хоть голки збирай». Я сам не все слова понимал в этой песне, но со знанием дела переводил ему на болгарский язык. Например, «Працею взмучена». Я считал, что девица, о которой поется в песне, замучена прялкой. Но мой перевод его вполне устраивал.

Винарову очень не хотелось, чтобы я все время, каждый день маршировал, крутил ружье, и он устроил меня служить к командиру батальона. Это был серьезный майор, который учился в Военной академии, и ему нужен был чертежник. Я оказался подходящей кандидатурой для этого дела, чертил ему какие-то таблицы дивизий, различных армий. Он мне при этом объяснял, что дивизии потенциальных противников, таких как Турция и Болгария или Франция и Германия, как правило, подтягиваются по наполнению людьми и вооружением друг к другу. А вот немецкая и советская дивизии являются исключением из правил. В советской дивизии в полтора раза больше, чем в немецкой, людей, огромное количество лошадей, больше техники, чем у немцев, но она не маневренна. У немцев же меньше людей, почти нет коней, потому что они перешли на мототягу, и вооружение мобильно. В общем, он в своей будущей диссертации доказывал, что немецкая дивизия более боеспособна. Правда, майор не учел только одного, что у нашей страны было и народу, и количества дивизий побольше, чем у немцев. Я ему сказал об этом, и он согласился. В общем, вместе с майором я осваивал высшую военную науку.

Но Винаров не унимался. Он нашел мне еще одно дело. Я уже говорил, что у нас в роте было 10 человек совершенно неграмотных солдат. Так он мне поручил заняться с ними грамотой. Я обрадовался, полагая, что буду заниматься самым простым делом. Подумаешь, читать-писать я умею и запросто их научу тому же самому. Но это дело оказалось тяжелее маршировки. Ко мне на урок приходили несколько дебилов и вместо того, чтобы грызть кирпич науки, ждали, когда труба их позовет на ужин. Если, скажем, сегодня они все-таки научились отличать букву «а» от буквы «б», то на завтра уже об этом забывали, и все приходилось начинать сначала. Я бился с ними неделю. Думал, что они научатся хотя бы читать. Но они сидели передо мной, как святые, и ничего не знали. Однажды я так разозлился на них, что схватил и стукнул их головами. Они взвыли от боли и потом начали меня бить. На этом моя педагогическая деятельность в роте закончилась.

В конце декабря 1943 года наш полк получил ответственное задание. Я говорю об этом так серьезно, потому что оно сопряжено с моим первым участием в этой дурацкой войне. Полк выехал из Софии в сторону Белграда, доехал до сербского города Ниш, затем мы спустились по долине реки Морава (есть Морава Чешская, а эта Морава Сербская) и разгрузились на каком-то полустанке, потом пошли по ущелью. В этом ущелье была горная речушка, шоссе и железная дорога, которая все время ныряла в туннели.

На каком-то месте остановились, и ротный командир подпоручик Винаров сказал нам:

– Видите наверху хутор? Мы его сейчас займем и потом будем бить сербских партизан.

Началось наше восхождение к хутору. Мы, груженные винтовками, какими-то сумками, ранцами (а у меня еще был бинокль, потому что Винаров, чтобы я был поближе к нему, сделал меня наблюдателем роты), начали карабкаться вверх по козьим тропкам.

Добрались. Хутор состоял из десятка домов и хозяйственных построек. Жили там пяток дедков и столько же бабок. Мы разместились по хатам и начали ждать боевых действий. Но боевых действий пока не было. Нашему командиру стало скучно жить в диком ауле, и он ушел на станцию Владишки хан. Там процветала цивилизация: кабаки, магазины, вино и девицы. В общем, ему было не до нас. А мы от нечего делать вечерами выходили на горные лужайки и жгли костры. Вдруг в какой-то из вечеров над нами загудели самолеты. Они не просто пролетали мимо нас, а начали петлями кружить над нами. Мы, естественно, разбежались кто куда. С самолетов посыпались парашюты. Какой-то из них упал в овраг, какой-то зацепился за дерево, а один даже плюхнулся в костер и подгорел. Прошло, наверное, полчаса, мы не вылезали и только выглядывали из своих укрытий. Потом сообразили, что на парашютах сбросили не людей, а какие-то тюки. Но что в этих тюках? Мы осторожно начали к ним подходить. Тюки не взрывались. Мы осмелели и стали их раскрывать. Боже!!! В них были шикарные новозеландские шерстяные одеяла, банки с какой-то тушенкой, русские автоматы ППП и даже форма болгарских полицейских – синяя из тонкой шерсти, которую наши стражи порядка отродясь не носили. Это были наши первые и единственные трофеи за всю войну. Оказалось, что такими подарками англичане на самолетах снабжали сербских партизан. Пролетая мимо нас, летчики увидели костры, решили, что именно здесь их ждут, и сбросили груз. После этого я дня четыре спал под теплым новозеландским одеялом. Потом, когда мы ушли из хутора, одеяла оставили его жильцам, не тащить же с собой. У нас поклажи и так хватало.

В сочельник перед Рождеством Христовым, когда мы были еще на хуторе, в квартире зазвонил телефон. Я взял трубку.

– Рядовой Тинин слушает.

– Принимайте телефонограмму из Министерства обороны. Завтра в 8.00 ваша рота должна погрузиться на эшелон и отправиться в Софию.

Я закричал: «Урааа!»

– Ты не кричи, сказали мне в трубку, – а записывай.

Когда я передал эту новость моим друзьям по роте, то все тоже долго кричали «ура». Разве не радость: приедем домой, вырвемся наконец из этого забытого всеми места. Конечно, «ура!».

Мы начали собираться в дорогу, но вдруг вспомнили, что рядом с нами нет командира роты. Во время всего нашего пребывания здесь он находился во Владишки хан. Нужно было ему как-то сообщить эту радостную новость. Но кто пойдет искать его? Жребий пал на меня как его друга. Я взял винтовку и пошел. Но прежде я стал рассуждать: если спуститься вниз, то по шоссе надо пройти километров 12, а если пойти по горке, по бездорожью, то всего 6 километров. Конечно, я выбрал более короткий путь. Иду через лесок. На тропинке лежит небольшой снежок. Ветерок качает верхушки деревьев. Я увлекся красотами здешней природы, как вдруг из-за деревьев выскочили четыре человека с автоматами или, не помню, винтовками и закричали мне: «Стой, руци ввис!» По-сербски это означает «руки вверх». Я поднял руки вверх. Они забрали мою винтовку и повели куда-то в гору. Мы дошли до какого-то дома. Это была типичная балканская хата с типичной планировкой: внизу находилась хозяйственная часть, а на втором этаже – жилье. Мы сели у огня, закурили македонский табак-качак, и начался допрос.

– Кто такой?

– Болгарский солдат.

– Мы и так видим. Куда шел?

Я решил молчать, как партизан, но все же сказал:

– Иду во Владишки хан к своему командиру.

– А зачем?

Тут я снова решил не выдавать военную тайну, но доложил:

– Мы получили телефонограмму из Софии. Завтра наша рота, да и не только наша, уезжает в 8.00 со станции Момина Клисурса. А командир находится на станции и об этом не знает. Вот я иду, чтобы ему сказать об этом.

Партизаны хмыкнули, глядя на меня как на идиота, и стали рассуждать.

– Что с ним будем делать? Давайте расстреляем, – предложил один.

Партизаны начали голосовать за это предложение. Двое из них проголосовали «за», двое «против». Тут вмешался я:

– Вы вот тут голосуете, а мой голос не учитываете. А я, можно сказать, самое заинтересованное лицо в этом деле. Я голосую за то, чтобы не убивать меня. Посудите сами. Ну, убьете вы меня. Подпоручик не узнает, что нужно уезжать в Софию. Рота останется, а вы снова будете с ней воевать. А так мы уедем, и вам же будет легче.

– Слушайте, – сказал один партизан, – да он правильно говорит. На черта нам нужна его рота. Пусть катится к себе. Отпустим его.

Другие партизаны тоже подумали и все решили.

– Катись ты во Владишки хан, а оттуда в свою Софию.

Но я не унимался и сказал им:

– Вот вы отобрали у меня винтовку. Я вернусь, и меня начнут судить. Это нечестно.

– Ну и нахал нам попался, – возмутился кто-то из них.

Но все же пошептались между собой и решили вернуть мне пушку. Кстати, винтовка по-сербски и по-болгарски называется пушкой. Они забрали патроны и отдали мне винтовку. «Шут с ними, – подумал я, – без патронов легче будет идти».

Наконец показались огни станции. Я спустился с горки, узнал у первого попавшегося о месте пребывания командира Винарова, нашел эту хату и вошел в нее. А там за столом сидели шесть болгарских офицеров с девицами и молодухами. Они пели песни и пили ракию. На коленях у Винарова сидела полногрудая македонка Цеца. Я подошел к подпоручику, отдал честь и доложил:

– Господин подпоручик, военная тайна. Пришла сегодня телефонограмма из Софии. Завтра наша рота в 8 часов должна будет на Моминой Клисуре погрузиться и уехать.

Он меня совершенно не слышал, но, увидев, пригласил:

– Садись, Иван. Налейте ему.

Я сделал новую попытку доложить ему военную тайну, а он горланил какую-то песню. Смотрю, Цеца пошла на кухню. Я подумал, поскольку она сидит у него на коленях, то и передаст ему мой рапорт. Пошел за ней на кухню и говорю:

– Цеца, скажи подпоручику, что пришел приказ из Софии о нашем отъезде в 8 утра со станции Момина Клисурса. Скажи ему об этом, а то он меня не слышит.

Цеца вместо того, чтобы выполнить мою просьбу, повела себя неожиданно:

– Что, что ты сказал, – наседала она на меня.

И я под натиском ее могучих грудей стал отступать, уперся в стену. Она как пхнет меня в стенной шкаф, быстро закрыв его снаружи. В шкафу оказалось очень неудобно. Я скорчился, потому что ноги мои упирались в какой-то таз, в шею давила сковородка, а в бок – какая-то ручка швабры. Открыть или выломать дверь я не мог, потому что в шкафу было тесно, не было возможности размахнуться.

Тут я понял, что ей не хотелось, чтобы Винаров уезжал. «Ну а я-то здесь при чем?» – раздосадованно подумал я.

На кухне все затихло. Вдруг слышу: кто-то зашел воды попить или по другой надобности. Я обрадовался и постучал в дверь. В ответ на стук этот кто-то пьяным голосом сказал:

– Войдите.

– Не могу я войти, – говорю, – сижу запертый в шкафу. Проклятая Цеца меня заперла здесь.

Наконец он сообразил, в чем дело, открыл дверь шкафа и сказал:

– А мы думали, куда исчез Тинин. Подумали, с девкой ушел.

Моим освободителем оказался командир нашего второго взвода, и я ему объяснил причину моего прихода сюда:

– Я пришел доложить Винарову военную тайну о том, что мы завтра утром должны уехать в Софию.

Он напряженно выслушал меня и сказал:

– Сейчас сделаем.

Мы зашли с ним в залу. Он дал три выстрела из пистолета в потолок, и все сразу протрезвели.

– Говори, Тинин.

– Военная тайна, господин подпоручик. Завтра выезжаем в Софию.

Офицеры протерли глаза и начали искать ремни и пистолеты. По этому поводу реву было две телеги. Плакали девки, потому что не хотели нас отпускать. Наконец мы вырвались оттуда. Решили идти по шоссе, не через горку же. Там я уже был. Но чтобы сократить дорогу, мы пошли через туннель. Откуда ни возьмись нам навстречу появился поезд. Что делать?! Мы залегли в кюветы по бокам рельсов, которые были, как правило, всегда в воде да еще в саже. Поезд промчался, а мы, вымазанные и мокрые, выбрались наружу. По дороге стали чиститься, соскребали с себя грязь пилотками, которые тоже стали черными.

Так мы дошли до тропинки, которая вела в расположение нашей роты. Винаров сказал мне:

– Тинин, поскольку ты самый молодой, то и поднимайся наверх. Чтобы через полчаса вся рота в полном обмундировании была построена вот здесь, на шоссе.

Я пошел и снова начал карабкаться по этой козьей тропке в наш хутор. Поднялся, смотрю, девка гусей гонит. Я направился к ней, а она смотрит на меня с удивлением:

– А вашей роты нет. Они еще ночью собрались и куда-то ушли.

Вот здорово!

Спустился я вниз и докладываю, мол, роты нет, ушла куда-то, видимо, на станцию.

Винаров с гневом сказал:



– Найдем – и заместителя ротного командира отдам под суд. Двух командиров взводов – тоже, а фельдфебеля – под расстрел. Это что же получается?! Они во время войны увели роту от своего командира?

Я решил смягчить ситуацию и говорю ему:

– Господин подпоручик, может быть, не надо так сердиться. Ведь они ушли после телеграммы из Софии. А вы их под суд. Начнется расследование, то да се, спросят вас, где вы были в это время, и так далее...

Винаров нахмурил брови, замолчал, и мы пошли дальше к Моминой Клисуре. На дороге показался какой-то грузовичок. Мы забрались на него и минут через 20 были на станции. Рота давно погрузилась в вагоны. С собой они забрали кухню, боеприпасы, телефон и даже раскладушку Винарова. Подпоручик построил роту и сказал:

– Орлы! – почему-то в болгарской армии очень любили обращаться к солдатам либо «орлы», либо «львы», – в мое отсутствие, когда я решал важные стратегические задачи, командный состав роты собрал все имущество и без единой потери перебазировался на место новой дислокации. Я представляю к орденам заместителя командующего ротой, двух командиров взводов, а нашему фельдфебелю выражаю свою благодарность и представляю его к ордену за военные заслуги.

Все закричали «Ура!!!» и снова начали грузиться в вагоны. Я закинул свою винтовку без патронов в какой-то вагон и стоял на платформе, покуривал. И тут произошло невиданное. От вагона, у которого я стоял, начали отскакивать щепочки. Вот так вдруг дерево взрывалось, и мелкие щепки разлетались в разные стороны, а потом мы слышали очередь «тра-та-та-та-та». Оказалось следующее. Полустанок находился в ущелье, а с соседних холмов нас поливали пулеметным огнем партизаны. Был дан приказ немедленно отъезжать. Я подбежал к вагону, а ребята уже закрыли его дверь. Я подбежал к другому и снова не успел забраться в вагон. Поезд трогался и набирал скорость. И тут я должен поблагодарить железнодорожников всего мира, что они догадались на торцевой части вагонов вешать какие-то крючки, лесенки, ручки. Я схватился за эти ручки и залез на буфер. Тогда вагоны сцеплялись буферами. Температура воздуха была не ниже 5 градусов мороза, но я держался голыми руками за железку, а поезд мчался со скоростью 50–60 километров в час. Руки к этой железке примерзали. Состояние у меня, скажу я вам, было не очень праздничное. К тому же меня все время одолевала мысль: «Откуда партизаны узнали о том, что мы именно в 8 часов утра будем грузиться на станции Момина Клисуре?» Но ответа для себя на этот вопрос я так и не нашел. Тем временем ветер пронизывал мое

тело, руки примерзали к железкам. Хорошо, что поезд через 10 километров остановился на каком-то полустанке. Я сошел со своего буфера и вошел в вагон отогреть руки.

До Софии мы ехали очень долго, то останавливались, то возвращались обратно. Наконец мы приехали в город только вечером 9 января. Сразу перенесли свое имущество в казармы, а затем расположились ко сну. На другой день в 12 часов вдруг загудели сирены. Это означало, что начался налет. Мы знали, что американцы бомбили, как правило, ночью, а англичане – днем. Значит, это был налет англичан. По приказу весь полк загнали в окопы-щели, которые в свое время были вырыты прямо на плацу, где мы маршировали. Полк залег в эти окопы, а мы втроем вместе с каптенармусом (кладовщиком роты) Кири остались в казарме под сводом. Нам казалось, что этот свод являлся серьезной защитой от бомбежки. Взрывы доносились до нас все ближе и ближе. Мы все теснее и теснее прижимались друг к другу и дрожали. А наши каски повторяли эту дрожь. Вдруг как бахнет раз, два, где-то совсем рядом. Потом мы узнали, что первая бомба упала перед нашей казармой, а вторая – за ней. Так что мы действительно находились под надежным укрытием. Взрывы уходили все дальше и дальше. Мы вышли из укрытия и чуть не задохнулись. Воздух был насыщен каким-то серо-красным дымом, наверное, от разбитых кирпичей. Все окна нашей казармы были выбиты, два дерева, взрывом вырванные с корнем, закинуты на крышу. Мы оглянулись вокруг, но ничего не могли увидеть из-за очень стойкого дыма, а ветра не было. Постепенно дым все же более или менее рассеялся, и мы увидели, что почти ничего не осталось от наших построек. Там, где был корпус соседней роты, лежала только горка кирпичей. А напротив этого злополучного корпуса, который сравнивали с землей, находился штаб полка, и он почему-то остался целым. Другие же постройки нашей дислокации были разбиты. Целый день мы бродили по этим руинам, пытаясь найти кого-нибудь в живых, но нам это плохо удавалось. Наконец, часам к 6 вечера затрубила труба. Мы этой трубе настолько обрадовались, что, кажется, не радовались так ничему. Это означало, что в полку остались еще живые люди. На плац медленно собирался остаток полка. Начали строиться, и выяснилось, что какая-то рота целиком сохранилась, какая-то – наполовину, а многие не находили своих рот, бродили и не знали, куда им примкнуть. Все же мы кое-как построились, и командир полка полковник Ганев выступил перед нами с речью:

– Орлы, наш полк разбили англичане. Одна бомба попала прямо в щель, и там погибло более 60 человек. Есть много убитых и в других местах. Раненых пока не считали. Но самое главное – полностью разбита кухня и столовая, а самое страшное, что бомба попала в туалет. Нет у нас больше уборной. Поэтому слушайте мой приказ. Я

отпускаю весь полк на месяц в отпуск. Сюда вернетесь 10 февраля и узнаете, куда вам идти дальше.

Вообще-то, слово отпуск, или, по-русски, увольнение, всегда было самым желанным для солдата, но на этот раз мы не обрадовались ему, оно несло в себе какой-то трагический смысл. Весь полк в отпуск! Такого, кажется, еще в истории не бывало. Впрочем, я плохо знаю историю войн или полков, но мне представляется, что тогда я стал участником самого трагического события в истории славного Первого пехотного полка. Он ушел в отпуск на целый месяц. Наверное, этот случай был единственным во всемирной истории. Мы побрели по домам.

Я жил тогда с матерью в квартале Подуене. Мы снимали домик с двумя комнатками, а в соседнем доме жили хозяева. Так вот, когда я пришел домой, то увидел такую картину. Бомба попала между нашими двумя домами. Были выдернуты из земли вишенки. Стена нашего дома повалилась внутрь, но почему-то не упала до конца. Я вошел в дом и увидел, что эту стену подпирал платяной шкаф старой выделки. Добротные же вещи делали когда-то! Еще меня удивили яйца. Их был десяток, и до бомбежки они, вероятно, лежали на тарелке на столе. Во время взрыва яйца были словно ветром сброшены со стола кухни на пол, но при этом остались целыми. Удивительно, но ни одно из них не разбилось. Чудеса Твои, Господи. Хотя Господь здесь, видимо, ни при чем. В разрушенной квартире я нигде не находил своей матери. Это меня стало беспокоить, но от хозяев узнал, что она уехала в Княжево.

— Слава Богу, что жива.

Хочу сделать отступление и вспомнить, что отношения наши с хозяином, у которого мы снимали квартиру, были весьма пикантными. Он проявлял себя как яростный коммунист и с нетерпением ждал прихода коммунистов к власти, при этом всегда мне говорил:

— Вот придем мы к власти и всех белогвардейцев расстреляем.

Здесь, конечно, он делал намек на расправу в первую очередь над нашей семьей. Потом, лет через пять, когда я его встретил, он уже ругал коммунистов:

— Вот сволочи, пришли к власти и отобрали у меня все дома, которые я сдавал внаем. Оставили мне лишь один дом, где я сам живу. Вот сволочи, за что боролись?

Ну да Бог с ним, с этим горе-хозяином. В разрушенной квартире жить было невозможно, и я побрел по городу, тоже разрушенному и окутанному дымкой от разбитых кирпичей. Сквозь дымку было видно, что где-то что-то горело, но пожаров встречалось мало. Я сел на единственный загородный трамвай №5 и приехал в Княжево, где поселилась моя мать у Ксении Ивановны Соколовой, чей сын (помните, я рассказывал) служил в СС. Ксения Ивановна и меня приняла

на жительство. Но в старой разбитой квартире оставались книги – самое ценное имущество нашей семьи. В домашней библиотеке у нас были издания Маркса. Это имя одного из издателей в старой России. Он издавал произведения Достоевского, Майкова, Лермонтова. Все эти издания сохранились и вернулись вместе с нами снова в Россию. Они и сейчас находятся в моей библиотеке. Тогда же в нашей библиотеке были книги: «Римское право» дореволюционного издания, Библия, которую подарили моему отцу и матери в Египте по случаю их бракосочетания, несколько томов Брэма, эмигрантские издания Зошенко и Аверченко. Я перечислил лишь только те книги, которые сумел потом привезти в Россию. Но сначала их надо было перевезти из разбитой квартиры в Княжево. И я по три раза в день ездил в Софию, потом шел пешком через весь город и снова таким же путем возвращался обратно с мешком книг, пока не перенес все книги в новое жилище. В нашей домашней библиотеке было также интересное издание «Царство малюток и приключения Мурзилки и лесных человечков» со 182 рисунками П.Кокса. Автор этой книги Хвольсон. Она была издана в 1912 году. Там есть такие герои, как Знайка и Незнайка, доктор Мазь-Перемазь, Трубач, Китаец, Эскимос и другие персонажи. Поэтому когда я прочел книгу Носова про Незнайку, то понял, откуда он взял своих героев. Из книги Хвольсона заимствовано и название детского журнала «Мурзилка», который выходил в советское время в СССР. Правда, откуда это название взялось и что оно означало, уже никто не помнил. А это слово было известно еще до революции 1917 года. Оно – уральское, я бы сказал, бажовское и означает «неумелый мастер». Старое слово вошло в наш быт, но с несколько другим значением.

Так, в домашних заботах и за чтением книг прошел мой вынужденный отпуск. Но меня никто не освобождал от службы в армии. Я еще числился в солдатах. Шла война, и 10 февраля я пошел в свой разбитый полк. Там на месте мне сказали, что наша рота расквартирована в селе Филипповцы под Софией, в километрах 15-ти от столицы Болгарии. Пришел туда, а у нас уже был новый ротный командир Здравко Георгиев, бывший наш взводный командир. Винаров тоже пошел куда-то на повышение, а свое отношение ко мне передал по наследству новому ротному командиру. Поэтому поручик Георгиев назначил меня чертежником роты. В мои обязанности входило писать лозунги для наших солдат, но на чем? В роте не оказалось ни бумаги, ни перьев, ни туши, ни красок. Я об этом доложил поручику Георгиеву. В ответ он меня спросил:

– За неделю управишься?

И отпустил домой еще на неделю закупать все необходимое для моей службы. Весь этот инструментарий я достал за один день, а остальные дни навещал своих знакомых, а также зашел в универси-

тет и получил право сдать некоторые зачеты. На зачеты я приходил с винтовкой, прихлопывая по полу прикладом. Но этот номер не проходил. Мой суровый вид не делал преподавателей сговорчивей. Приходилось сдавать зачеты по полной программе. Тем не менее я использовал такой же прием на экзаменах позже, при народной власти в Болгарии, и у меня этот трюк получался. Профессора боялись, что их пристрелят. Они так и говорили:

– Здесь ходит человек с ружьем.

Через неделю я вернулся в роту с необходимым инструментарием. Жили солдаты, в том числе и я, в домах у крестьян, спали на полу на соломе, покрытой одеялом. Ни стола, ни стула не было. Поэтому работать я приходил к Георгиеву в его приличный дом и за столом тушью выводил такие лозунги: «Береги свое оружие, его тебе дала родина», «Стреляй точно», «Болгарский солдат – лучший солдат в мире» и прочую чушь.

У хозяев дома была расторопная девица лет 17–18-ти. Она спала с поручиком. Когда командир роты с солдатами месил грязь по полям Филипповцев, мы оставались дома с ней вдвоем. Ее звали Стефка, и она все время крутилась вокруг меня и докрутилась. Однажды случился грех. В это время в комнату заглянул денщик поручика. Мы всполошились, а он злорадно сказал:

– А, вот что вы делаете! Сегодня же доложу поручику.

На следующее утро я, как всегда, пришел на разводку. Ротный стал раздавать солдатам работу:

– Этот взвод будет стрелять по мишеням за тем холмом. Второй взвод пойдет копать окопы перед речкой. Третий будет строить подобие земляного блиндажа вот там под черешней.

Тут же дал распоряжения другим солдатам: кого на кухню, кого в наряд по охране.

– А Тинин пойдет ко мне писать лозунги.

Я был страшно удивлен этим, так как думал, что моя карьера писаки закончилась. Пришел к нему в дом, а прежнего денщика не оказалось. Другой солдат отковыривал грязь с сапог командира. Стефка тут же продолжала вертеться. Я ничего не понимал. Когда командир вечером вернулся домой, я спросил его:

– Господин поручик, а где же ваш денщик Петко?

Он коротко ответил:

– Выгнал его, не люблю предателей.

И все. На этом инцидент был исчерпан.

Где-то шла война, наступила весна, а мы все месили грязь в Филипповцах. Наконец и мне нашлось стоящее дело. Болгарская армия реквизировала для своих нужд у крестьян лошадей. Из них шесть оказались ненужными, не знаю почему. Может быть, они не подходили по стандарту. Но все эти лошади были взяты из села Огоя. Ко-

мандир послал меня в это село, чтобы крестьяне пришли за своими лошадьми. Это село находилось недалеко от Софии, в Балканских горах. Я сел на поезд, доехал до станции Бов и пошел по горной дороге в это село. Шел и наслаждался весенней природой. Листики уже распустились, среди травы появились цветочки, птички летали с каким-то радостным криком, наверное, гнездышки строили. Вдруг передо мной откуда-то взялись три крестьянина. Они были с винтовками. Я вспомнил, что в этих местах пошаливали болгарские партизаны, и подумал: «Наверное, они были из них».

– Кто такой, куда идешь?

– Иду в село Огоя сказать крестьянам, чтобы забирали своих коней.

Они так обрадовались этому сообщению, закричали «урааа!», потом пошли дальше. Один из этих партизан ускакал от нас куда-то на коне. Мы подошли к телеге. Крестьяне посадили меня на нее и доставили в село. Оказывается, тот крестьянин на коне спешил предупредить сельчан о нашем приезде. Поэтому когда мы въезжали в село, то весь народ встречал меня как триумфатора. Мне совали в руки баницу (пирог с сыром), наливали ракию, кормили свининой. Потом повели в какой-то дом. Там снова мы сели за стол, начали пить и петь, затем завели болгарское хоро (хоровод, в котором танцуют и девушки, и мужики). В общем, в этом селе я пробыл 4 дня сытым, пьяным и обласканным.

Когда я наконец вернулся в Филипповцы, то роты на месте уже не оказалось. Она уехала на турецкую границу. А меня приписали к так называемой дополнительной дружине, которая занималась хозяйственными делами и вербовала лошадей у селян. Я редко бывал в этом батальоне. Приходил сюда, когда узнавал, что выдают мыло, сигареты и гроши за службу. Командиром дружины был капитан запаса, баптист. Он каждое воскресенье собирал всех солдат и читал проповедь. При этом каждый раз говорил, что все беды у мужчин от женщин:

– Не дотрагивайтесь до них, попадете в ад.

А мы слушали его и думали: «Скорей бы заканчивал. Нас девушки ждали».

После проповеди командир раздавал нам увольнительные. Мы подсовывали ему солдатские книжки, и он, не глядя, расписывался в них, разрешая кому на два дня, кому на неделю уйти в увольнение.

Тогда в Болгарии было такое правило: если сел в поезд и показал кондуктору свою солдатскую книжицу, то и катись куда хочешь. Вот я и ездил куда хотел. В это время я познакомился с одним тоже отставшим от своей роты милым интеллигентом, недоучившимся студентом Иорданом Йовковым. Он был яростным болгарским националистом и считал, что болгары являются самым великим и храбрым народом. Я с ним не стал спорить, жалко, что ли. Однажды мы ре-

шили поехать с ним в Македонию. Проезд-то у нас всюду бесплатный. Как мы были там, не буду рассказывать. Скажу только, что мы побывали в городе Бителя, в Охриде, где стоял монастырь Святого Наума – ученика Кирилла и Мефодия. Мы были заморожены этой седой историей, которая была запечатлена здесь в каждой тропке, в каждом камне.

Потом мы пошли в Албанию. Нас подбросили на грузовике до какого-то села и сказали:

– Вот она, Албания, за бугром.

Мы пошли за бугор. Моросил противный дождь. Шли по каменистой дороге. Другой не было. Поэтому мы старались идти по обочине. Наконец увидели будку, размалеванную тремя красками: красной, белой, зеленой (цвета итальянского флага). У этой будки стоял бравый итальянец под зонтом. На ногах у него – обмотки, на каске – зеленые перья. Я впервые увидел солдата под зонтом и подумал: «Оказывается, болгарская армия не столь смешная. Есть и посмешнее».

Мы подошли к итальянцу и спросили:

– Албания?

– Си, сеньоре, Албания, – и махнул рукой в сторону Албании.

Мы пошли в указанную нам сторону. Дождь продолжал моросить, но у нас не было зонтика. Прошли километра полтора, а кругом одни камни да на пригорках домишки. Скучно. Пошли обратно. Так мы побывали и в Албании.

На все это путешествие нам вполне хватило недели, но когда мы прибыли в дружину, то оказалось, нас искали, чтобы послать на турецкую границу каждого в свою роту. Вспомнили про нас. Я поехал своим ходом искать мою родную часть с поручиком Георгиевым. Ехал не спеша, побродил по Пловдиву, побывал в приграничном городке Свиленграде, а потом пошел через горки и кустики к этой самой турецкой границе. Что-то мне не так хотелось обратно в роту.

Пришел я в батальон и направился прямо к командиру майору Мартинову. Прихожу и докладываю:

– Прибыл рядовой Тинин для прохождения службы в штабе батальона.

Майор удивился:

– Почему именно в штабе батальона, а не в роте?

– Так мне сказали в Софии, в штабе полка, потому что я чертежник.

Майор задумался. У него в штабе не было чертежника, а какой штаб без него.

– Хорошо. Будешь жить в палатке с Прагером.

Вильгельма Прагера я хорошо знал еще по Софии и по службе в полку. Его отец владел типографией. Меня же с Вильгельмом мно-

гое связывало. Он был немцем по национальности, но родился в Болгарии, т. е. как и я – не на родине. Потом, как и меня, его призвали служить в болгарскую армию. Мы с ним были одинакового роста, оба блондины, и нас считали братьями.

Каждое утро у нас происходил один и тот же ритуал. Денщик разматывал веревки с квадратной палатки майора, которую вечером завязывали, чтобы комары не кусали. Весь штаб во главе с адъютантом стоял под пологом. При этом нам с Прагером стоять было очень неудобно из-за нашего большого роста. Мы кривили головы, чтобы не задеть этого полога. Размотав веревки, денщик натягивал сапог майору на правую ногу, а майор обращался ко мне:

– Слушай, Тинин, а русские дураки.

– Нет, господин майор, они уже в Румынии.

– А я говорю – дураки. Почему они допустили немцев до Сталинграда?

Я замолчал, не зная, что ответить. Денщик натягивал майору сапог на левую ногу, и он обращался к Прагеру:

– Слушай, Прагер, а немцы дураки. Зачем они затеяли эту дурацкую войну?

– Нет, господин майор, немцы не дураки. Это Гитлер дурак.

– Да что ты говоришь. Я тебя сейчас же сдам в гестапо.

Но куда и никого он не сдавал, хотя гестапо находилось в Болгарии. А подобная сцена повторялась изо дня в день, доставляя, видимо, удовольствие майору.

Майор почему-то очень ценил меня и Прагера. Я числился чертежником, а Прагер – машинисткой. Других – денщиков, курьеров он менял каждую субботу, а нас держал при себе. Хотя не только бумаги и перьев не было в штабе, но даже приличного стола. Машинки тоже не было. Мы нужны были ему не только для престижа, но и по другим соображениям. Прагер нужен был ему для общения с немцами. Но тут наступали русские, поэтому нужен был ему и я.

Жили мы в жиденьком лесу в палатках. При встрече со мной Здравко Георгиев всегда спрашивал меня:

– Чего ты нас бросил?

Вопрос резонный. Все роты жили в палатках, которые стояли в лесу вкривь и вкось. Вокруг них был мусор, окурки и обертки из-под конфет. А у Георгиева палатки располагались по струнке. Дорожки были усыпаны песком, для дневального имелся навес. И все же я не хотел возвращаться к нему в роту. Привык, ничего не поделаешь. Закончилась наша служба в этом леске у поселка Сива Ряка. Потом нас перебросили в пограничный с Турцией городок Свиленград. Этот тихий, скромный городок был нами разбужен. С нашим приходом здесь начались драки, пьянки, отлучки, чего сроду в этом городе не бывало.



Наконец я и адъютант Бойчо Бонев получили от майора задание. Оказывается, нас перевели не в город, а на пограничную полосу, чтобы мы здесь заняли все укрепления. Да черт с ними, с укреплениями. В городе же лучше. Вот мы в нем и поселились. Вечером майор дал нам карту с нанесенными на ней укреплениями, которые завтра в течение дня мы должны были сверить и сделать ему новую карту.

– А на чем ехать? – спросили мы.

– На конях, – бодро скомандовал майор.

Наутро нам привели двух лошадей. На одну кобылу сел я, а на другую – Бонев. Поехали. Поначалу было очень интересно. Ведь я впервые в жизни гарцевал на лошади. Только не была учтена одна деталь, и мне никто не подсказал. Ноги-то у меня были длинными. Я не догадался опустить стремена и все время грохался на кобылу, как мешок, а колени при этом били мне по ушам.

Но самое главное, что мы не находили отмеченные на карте укрепления. Там, где должен был быть противотанковый ров, ничего не было. Там, где должен был быть дзот, росла травка, да кто-то поковырял землю. Нашли окопы, но они не вписывались в карту. Или карту нам другую дали, или мы ни черта не разбирались в ней. Как бы там ни было, но проехали мы за день 30, а может быть, и 50 километров (спидометра на лошадях нет). Приехали в штаб. Я не мог шевельнуться. Место, на котором сидят приличные люди, не просто болело, а горело. На нем не было ни одного клочка кожи. Но самым ужасным было то, что, когда сняли седло, то под ним были две раны на горбу лошади. Не вышло из меня кавалериста.

Явились мы пред светлые очи майора. Адъютант доложил, что, мол, нет там этих укреплений, а те, которые существуют, не подходят к карте.

– Как не подходят? Что мы будем сдавать 19-й дополняющей дружине? Вы думаете, что вы сделали дело? Бездельники! Я вас арестовываю.

И повели нас в подвал (штаб находился в школе). Мы легли на пол на солому. Но я не мог нормально лежать и заснул стоя на коленках. Сзади все горело. За всю войну я не получил никакого ранения, кроме этого. Но почему-то никто меня не лечил и справку не дал, что я ранен.

Часа через два майор снова вызвал нас наверх.

– Что, арестованные бездельники, небось, неплохо побыть на соломе?

– Так точно, – зычным голосом ответил я.

– Садитесь и перерисуйте те укрепления, что нам дали. Черт с ними. Пусть эта дружина сама разбирается с этой картой. Но поскольку вы арестованные, то писать и чертить будете в подвале.

Спустились мы снова в подвал. Солдаты начали тащить нам туда стол. Этот стол оказался таким здоровым, что застрял на лестнице: ни туда ни сюда. Как ни бились солдаты, как ни орал на них майор, а стол прямо влип в стену и в поручни лестницы.

– Черт с ним, – сказал майор, – выходите, арестованные, из подвала и чертите наверху.

Но появилась перед нами другая преграда. Трудно было перелезть через стол, который закрыл нам лестничную площадку. Мы долго приноравливались пролезть через этот стол то сверху, то снизу. Я полез под стол и там застрял. Меня долго тянули то за ноги, то за голову. Наконец я пролез. Сделали мы ему эту карту. Причем я чертил стоя, потому что, как вы помните, не мог сидеть.

Наутро последовала новая команда, а именно: грузиться на поезд и уезжать в Софию. Это было 3 сентября 1944 года. Советские войска уже подходили к Дунаю.

Я смертельно обиделся на майора Мартина и не хотел продолжать службу в его штабе. Поэтому, когда была дана команда «по вагонам», я не пошел в пассажирский вагон, где находился его штаб. Я пошел к пульмановским вагонам, где располагались солдаты и имущество, и вернулся в свою 7-ю роту. Там в вагоне я лег боком на тюк соломы. Надо мной «небо синее, облака лебединые», деревья вокруг ветками колыхали. Хорошо!

«Не пойду больше в этот дурацкий штаб», – окончательно решил я для себя.

На станции Казичане, уже недалеко от Софии, в кабаке мы встретились с майором Мартиновым:

– Ну чего же ты, Тинин, ушел. Как мне теперь в штабе без чертежника, возвращайся. Смотри, русские уже нависли над нами. Ты мне нужен.

– Нет, господин майор. Вы своим арестом обидели меня. Буду я в своей роте.

Но майор не терял надежды вернуть меня в штаб. Он повторил свою просьбу в Софии 5 сентября при встрече со мной в офицерской уборной. Я демонстративно ходил туда, а не в солдатскую. Помню, стоим рядышком, и он мне снова: «Вернись, я все прощу». Но я не вернулся.

А в Болгарии в это время происходили новые политические события. В течение сентября болгарское правительство все левело и левело. Сначала премьер-министром был поставлен крупный помещик Багрянов с англо-французскими тенденциями, затем – еще левее, либерал Муравиев, который набрался храбрости и 5 сентября объявил войну Германии. Станным было это объявление. По одним и тем же дорогам, не вступая в бой, на запад шли немецкие машины

с солдатами и амуницией, а на восток к себе домой из Македонии шли болгарские войска.

Но как бы там ни было, а во все болгарские энциклопедии и другие исторические справки вкралась ошибка относительно даты объявления войны Германии. Там написано, что война была объявлена Болгарией 9 сентября, когда к власти пришли коммунисты. Это было сделано для того, чтобы подчеркнуть особый вклад коммунистов в историю страны. На самом деле, как я уже говорил, Болгария объявила войну Германии 5 сентября. В этот же день Советский Союз объявил войну Болгарии, чтобы иметь повод ввести свои войска на ее территорию. Софийское радио тут же прекратило все передачи и дрожащим тенорком какого-то эмигранта сообщало: «Господин товарищ маршал Советского Союза Толбухин, сообщите, где ваш штаб, чтобы прислать парламентариев для подписания перемирия». После этого сообщения звучала музыка «Очи черные, очи жгучие...». Наверное, только эту песню нашли на радио. Сообщение повторялось каждые 15 минут и заканчивалось той же песней. Наконец, через два часа перемирие было подписано.

Поскольку наш полк был разбит еще в январе и никто не собирался восстанавливать его здания, то мы расположились километрах в пяти от Софии в местечке, где проходила трамвайная линия до Княжево. Жили мы здесь в палатках. 8 сентября наш полк и нашу роту подняли, и мы вошли в Софию. Наша рота заняла государственный банк. Вот мы обрадовались, что будем иметь много золота! Но когда мы вошли в банк, то там никого и ничего не было. Он был куда-то эвакуирован еще до нашего прихода. По приказу мы поставили пулеметы на паперти между колоннами, чтобы в случае беспорядков простреливать всю дворцовую площадь.

Часов в 10 утра на площадь вывалилась вооруженная толпа с лозунгами: «Да живее СССР», «Слава на Сталин» и прочими. Мы, как приказывали, дали очередь поверх голов. Толпа на площади залегла. Командир в этот момент позвонил в Министерство обороны (оно тогда называлось Министерством войны), чтобы выяснить обстановку. Оказалось, что выступление вооруженного народа на площади было порядком. Партизаны спустились с гор и шли к народной власти. Странно, что вчера это считалось беспорядком, а сегодня — порядком.

Уверен, что никто из офицеров и солдат нашего полка не знал, что делал в эти дни. Если кто-то скажет обратное, то, значит, врет. Знал обо всем этом лишь полковник Ганев, договорившийся с новым правительством о вводе войск в Софию. Мы же ничего об этом не знали, подчинялись только приказу. Разобрались, в чем дело, потом.

После взятия банка нашу роту перевели в Министерство обороны, где восторжествовала уже народная власть, а прошлое прави-

тельство было арестовано. Мы стояли на посту у каждой даже закрытой двери, а по коридору мимо нас выводили всех министров прежнего правительства. Я стоял у входа в министерство. Вижу, плетется мне навстречу какой-то старикашка. Я вскинул винтовку наперевес: «Куда прешься?!» Смотрю, а офицер, который был со мной в наряде, взял под козырек и сквозь зубы зашипел на меня:

– Идиот, это же наш новый регент, профессор Тодор Павлов.

– А я откуда его знал? – опустил ружье.

Ура-а-а! Мы сделали революцию! А началось так. Наш полк расположился в палатках на бугорке у города Софии. Наступали выходные дни, а нас впервые за всю историю службы не пускали в увольнение на воскресенье. В командовании говорили, что, мол, обстановка сложная, все должны сидеть в казармах и быть готовыми к выступлению. Но куда и против кого – не уточнили. В это время в столице Болгарии к власти пришел так называемый Отечественный фронт. Поэтому всюду стали создаваться отечественнофронтовые комитеты, в том числе и в нашем полку. Комитеты были в полку, батальоне, роте, во взводе, в палатке, где было два человека, тоже открывался комитет. Роль комитетов заключалась в противостоянии офицерам и поддержании революционного духа у солдат. Если офицер командовал: «Направо!», то комитет начинал выяснять: «А почему не налево?»

Я тоже был комитетчиком. Меня захихнули в комитет полка и батальона. За что? Да за то, что я был русским. Кроме того, при прежней власти меня два раза отчисляли из школы офицеров запаса тоже по причине моей национальности. Но в комитет попадали и другие случайные люди. Был у нас такой солдат, воришка-рецидивист по кличке Монката. Его, например, месяца за три до революционных событий поймали и наказали за то, что он воровал телефонный кабель в роте и продавал его из-под полы. Когда пришла народная власть, то он стал кричать из тюрьмы:

– Я боролся с фашистской властью. Я срывал коммуникации ее армии.

Новая власть услышала его и выпустила на волю. Этот Монката тоже стал членом нашего комитета. На одном из заседаний комитета Монката сказал:

– Что же такое получается? Мы проливали кровь, делали революцию, а нас не пускают даже в увольнение. Не за это же мы боролись!

Комитетчики с ним согласились.

– Что будем делать?

Тот же Монката выступил с предложением:

– Нужно арестовать и расстрелять всех наших офицеров. Они же присягали царю Симеону.

Забыл Монката, что мы все в свое время присягали тому же царю, и присяга не могла быть причиной наказания наших офицеров. В противном случае расстреливать нужно было всех до последнего солдата. Но такой мелкий довод никого не убеждал. Комитет принял предложение Монката к действию. По сигналу трубы «Тревога» десятка два солдат ворвались в палатки офицеров, которые спокойно, ни о чем не подозревая, играли в карты, и вывели их наружу. Тут в революционных событиях пригодился и я. По моему сценарию батальон был построен в каре. По углам к центру установили четыре пулемета. Офицеров поставили в центре. Увидев практическое воплощение моего сценария, я подумал: «А как же мы будем расстреливать офицеров, если вокруг них стоим мы тоже под прицелом?»

Подумал, но не стал прерывать разворачивающиеся события. Тем временем с флагштока был сорван болгарский флаг. У него оторвали белую и зеленую полосы, а затем, только с одной красной полосой, снова подняли на флагшток. Монката взял слово первым. Он напомнил, что свершилась самая справедливая, самая народная революция. В ней нет места фашистам, коими являлись офицеры.

– Мы объявляем, что будем расстреливать вас. Кончилось ваше время, когда вы командовали нами, как хотели.

Офицеры стояли молча, и только Здравко Георгиев процедил сквозь зубы:

– Вот, сволочи, что придумали.

Потом разрешено было выступить каждому желающему солдату и высказать все, что они имели против офицеров, пользуясь правом, которое дала им народная власть.

И тут началось. Один поливал грязью своего ротного командира, а заодно перешел и на соседа в селе, который отхватил у него полосу огорода. Солдат обещал по возвращении домой рассчитаться с ним за это. Другой обрушился с обвинениями на кмета (сельский голова), который забрал у него телегу. Третий крыл всех подряд, в том числе и своих соседей по роте. Народу на выступления записалось так много, что мы, организаторы митинга, решили давать слово сразу нескольким ораторам в четырех концах каре. Иначе мы не успевали по времени. Митинг обещал затянуться до следующего утра. С четырех концов каре одновременно начали свои выступления солдаты. Офицеры сели в центре на траву и начали разговаривать между собой, будто бы происходящее их не касалось.

Прошло два часа, а желающих выступать не убавлялось. Вдруг мы увидели, что по Княжескому шоссе прямо на нас надвигались два немецких танка с косым крестом по борту. Значит, это были болгарские танки. Они остановились в 50 метрах от нашей кучи. Открылся люк. Оттуда вылез офицер и скомандовал нам:

– Оставить на месте все оружие и отойти на 100 метров. Прислать немедленно парламентаров.

Мы заволновались, потому что пушки смотрели прямо на нас. Парламентаром сделали меня. Я нацепил белый кусок от болгарского флага на палку и пошел к танкам. А дула спаренных пулеметов на танках так угрожающе шарили по моей голове, что я закрылся этой белой тряпкой, надеясь таким образом спастись в случае стрельбы.

Наконец я подошел к танкам, и начались переговоры. Офицер спросил:

– Почему вы подняли восстание против народной власти?

– Ты что за дурак, – говорю я ему, – сам смотри. На флаге мы оставили только красную полосу, на пилотках сорвали всех львов (вместо кокарды или звезды у болгар был лъвенок) и написали химическим карандашом буквы «ОФ». А сейчас будем расстреливать офицеров. Мы за народную власть.

Офицер понял, что разговаривает с дураком, и настоятельно предложил:

– Всех офицеров на танки. Никто не имеет права их расстреливать без народного суда. У вас есть хоть один офицер, которого можно оставить с вами? – спросил он меня.

– Конечно, есть. Это Ангел Ангелов. Когда мы поставили офицеров в середину каре, он закричал: «Правильно делаете, ребята. Этих офицеров нужно расстреливать». Мы закричали «Ура!» и вывели его из каре.

Так и порешили. Всех офицеров погрузили на танки. Ангела Ангелова оставили нам, и мы под его руководством пошли на ужин. Митинг закончился. Расстрел офицеров не состоялся. Мы долго недоумевали, как узнали в Софии о нашем митинге? Потом выяснилось, что во время ареста офицер взвода связи пошел по нужде. Мы его не заметили и не арестовали. Он сумел уйти из батальона, прибежать в Министерство обороны и сообщить, что солдаты подняли восстание против новой власти.

– Но это же не так! Как раз все наоборот! Мы подняли восстание за новую власть! – возмущались мы.

16 сентября наш полк повезли эшелонам к сербской границе. Доехали мы сначала до Кюстендила, затем до Гюешева и расположились на пригорке в палатках. Делать было нечего, пили местную ракию и играли в карты. Я выиграл у санитаря половину носилок. Но когда мы пошли дальше, то мне пришлось эти носилки нести на себе. Я стал просить санитаря бесплатно взять их обратно. Но он не соглашался, мол, выиграл и тащи. Тогда километра через четыре, окончательно устав от этих носилок, я положил их поперек дороги у него на пути. Ему пришлось забрать их себе на повозку.

Тем временем в Болгарии все более уверенно утверждалась власть, привнесенная из Советского Союза. Поэтому если раньше русский никак не мог быть офицером болгарской армии, а лишь солдатом, как, например, я, то теперь приоритеты изменились. В наш лагерь как-то прибыл на службу русский полковник. Всех нас построили для торжественной встречи с ним. Обращаясь к нам с речью, он говорил о нерушимой дружбе двух народов, о справедливой победе над гитлеровской армией, о нашей благородной миссии на Балканах и т. д. Но мне более всего запомнилось, как закончил свою речь русский полковник:

– Да здравствует вождь всего прогрессивного человечества великий Сталин! Да здравствует вождь болгарского народа царь Симеон!

Я был удивлен, услышав здравицу в адрес царя от представителя страны большевиков, которые так ненавидели королей и царей. Дипломатия, ничего не поделаешь. Впрочем, царю Симеону в то время было всего 7 лет.

Болгарию отделял от Македонии хребет Деве Баир. Нам предстояло его преодолеть, и мы полезли нехоженой дорогой наверх вместе со своей техникой. Мимо нас (пехоты) проходили бронетранспортеры, замаскированные ветками кустарника, чтобы сверху их не было видно. Путь был сложным. Здесь не обошлось без жертв. Один солдатик, видимо, очень сильно устал идти пешком и решил залезть на проходящую мимо машину. Он схватился за одну из веток кустарника и подтянулся. Ветка не выдержала его веса и сорвалась. Солдатик попал под гусеницы и погиб. Это была первая кровь, которую я видел во время войны. Были и другие случаи со смертельным исходом, но этот запомнился мне на всю жизнь. Бронетранспортер проехал прямо по животу солдатика. После этого он еще какое-то время был жив и за что-то хватался слабеющими руками. Я прошел мимо него шагов десять и остановился в шоке как вкопанный. Но оглянуться не смел, не мог смотреть на него.

План разгрома немцев был точно выверен в главном штабе болгарской армии. Деве Баир являлся водоразделом, от которого протекали речки в Болгарию и Македонию. В Македонию текла Крива Река. Километрах в 30–40 на ней располагался город Крива Паланка, который занимали немцы. Чтобы не терять солдат, наше командование решило не входить в этот город, а окружить его. Первая дивизия должна была обойти его по горам с севера, а вторая – с юга. Мы пошли. Потянулись роты, обозы, мулы, тащившие горную артиллерию. Причем все это шло вперемешку. Солдат седьмой роты оказывался с обозом второй роты, а обоз четвертой роты устроился у речки и никуда не шел. Когда мы забирались на какой-то очередной хребет, то надеялись, что после этого будет равнина. Но ничего подобного. Там было ущелье и снова какой-нибудь хребет, который предстояло пре-

одолеть. Поднимаясь по бесконечным хребтам и опускаясь в ущелья, я понял, что воевать в Македонии, а также в Косово – безнадежное дело. Не советую никому. Здесь не только противник против тебя, но и вся природа.

Через неделю наша рота с большими потерями, нет, не убитыми, а потерявшимися в горном ландшафте (потом они находились), прошла километров 30 и нависла над какими-то домами. Нам сообщили, что это и есть город Крива Паланка. Потом разобрались и поняли: мы нависли над каким-то другим поселением, а чтобы окружить Криву Паланку, надо пройти еще 20 километров. Мы снова двинулись в путь. Но вдруг оказалось, что не мы окружили немцев, а они перерезали нам все пути снабжения. Они выдвинули посты на высотах Орляк и Гуглин, прервав таким образом всякое снабжение наших частей. Мы остались в горах без пищи. С большим трудом находили какую-нибудь мандру (место переработки козьего и овечьего молока), но заполучить и эту еду было для нас проблематично. Местное население относилось к нам враждебно. Ведь месяц тому назад мы воевали в союзе с немцами, а сегодня против них. Нас называли проститутками. В общем, 7 дней мы были без всякой еды. Самолеты сбрасывали на наши позиции бумажные мешки с галетами. Так вот, как ухнул такой мешок на землю, так все галеты из него и рассыпались по ущелью, а мы их потом выковыривали из земли и кустарников. Помощь оказалась неэффективной. Был дан приказ идти назад и выбивать немцев с занятых ими высот. Мы пошли обратно. А немцы заметили наше движение – и давай поливать минами. Все разбежались кто куда. Побежал и я. Бегу по горной тропинке, и вдруг прямо в ноги мне упала мина. Я рванул назад. Потом оглянулся на то место и увидел зайца, который тоже испугался стрельбы и бросился мне в ноги. Да, в самом деле, как говорят, у страха глаза велики. Я все время думал только о мине и зайца принял за нее.

Мы шли назад. Я был наблюдателем роты. Командир Ангел Ангелов сказал мне:

– Тинин, посмотри, что там среди домишек на том косогоре.

Я взял бинокль, посмотрел и говорю:

– Сидят две старушки. По-моему, они щиплют курицу.

Мы пошли к этому хуторку. Спустились в ущелье, потом вскарабкались по косогору наверх. А старушки, которые оказались немцами, как начали поливать из пулемета. Мы сразу стали скатываться вниз. Но на половине ската слышали, что пулемет бьет по нам из ущелья, т. е. снизу. Мы прижались к камням. При этом один солдатик уже успел спуститься к ручейку, ходил по камням в воде и махал нам руками, мол, спускайтесь сюда. Мы начали потихоньку спускаться вниз. Там действительно никаких немцев не было. Оказалось, что когда мы преодолели половину спуска, то эхо от пулеметной



стрельбы стало доноситься снизу. Вот такие штуки вытворял македонский ландшафт.

Мы пошли по ущелью дальше с Ватманом (так называют в Болгарии вагоновожатых трамваев). Такая была кличка у нашего подполковника. На пути нам встретилась заблудившаяся овца. Сначала хотели ее убить и съесть. Я предложил сперва напиться молока. Начали дергать ее за черные отростки вымени. Но они были сухими. В них ничего не было. Тогда я сказал:

– Ватман, давай сосать.

Он согласился со мной. Я стал держать овцу, а он полез под нее к вымени. Но тут она как брыкнула его копытом по груди. Ватман зарорал и выскочил из-под овцы. После такой неудачи мы решили ее убить. У нас были винтовки «манлихер» со штыками в виде ножей. Мы связали овцу ремнями, и Ватман саданул ее штыком в шею, но она вырвалась у нас и со штыком покатила в ущелье. Мы догнали ее, все-таки добились и притащили в роту. У нас не было ни хлеба, ни соли. Развели костер, начали жарить мясо. Пока оно жарилось, нам отдали овечий жир. Это было такое противное «ядево». Но голод не тетка. Я тоже его ел.

На высоте Орляк днем стоял только взвод, а ночью эту высоту занимала вся наша рота. После ужина подпоручик сказал мне:

– Тинин, пойдешь к взводу, скажи, чтобы собирались в дорогу. Мы тоже через часок придем к ним.

Я пошел. Вдруг передо мной появилось, откуда ни возьмись, пятеро партизан:

– Стой! Кто идет!

– Болгарский воин, – ответил я.

– Ложи пушку коло древа.

Я положил. Они подошли ко мне ближе, взяли пушку и стали щелкать затворами. А один из них выхватил из-под моего ремня пилотку. Если бы меня спросили, кто для меня был самым вредным врагом в той войне, я бы назвал этого сербского партизана, который упер мою пилотку. Потому что после этого я два месяца ходил и спал в каске. Это был ужас, который я не пожелал бы никому. Так вот эти партизаны, разоружив и отняв пилотку, повели меня якобы к высоте Орляк. Ну, подумал я, там и разберемся. Но они неожиданно свернули вправо от высоты на какую-то полянку. Там было еще человек 20 партизан. Партизаны приняли меня за немецкого шпиона и очень обрадовались, что поймали пленного.

– Друже командир, водимо немачки заробленник (товарищ командир, ведем немецкого пленного), – отрапортовал один из них.

А товарищем командиром оказалась какая-то низенькая бабенка. Она подошла ко мне ближе и, чтобы как следует разглядеть, стала подпрыгивать к моему лицу. Тут я ей сказал:

– Я болгарский солдат, а не немецкий пленный.

– Ничего, – ответила она, – отвезем тебя к командиру батальона. Он разберется.

Дали мне курьера. Он повесил мою винтовку на свое плечо, а своей пушкой тыкал мне в спину, чтобы я знал, куда поворачивать. При этом он всю дорогу молчал. Мне стало скучно идти, и я исподтишка разглядывал его одежду. У него были штаны из болгарского солдатского одеяла. Почему я это понял? Потому что солдатские одеяла в Болгарии были серыми с двумя красными полосами снизу и сверху, чтобы не воровали военное имущество. Так вот, у этого партизана одна такая полоса находилась на правой штанине поперек бедра, а вторая на левой ноге где-то внизу.

Наконец мы пришли с ним на лужайку под развесистые буки. Здесь горело несколько костров. Около них грелись партизаны. Командира на месте не оказалось. Меня посадили у костра и угощали прекрасным македонским табаком. Надо было крутить сигарку, но я не умел этого делать. Крутить ее для меня приходилось им. В первом часу ночи на черном коне приехал командир 17-й освободительной македонской дружины черногорец Войнислав. Ему тут же доложили:

– Поймали немецкого пленного.

Он сел у костра. Меня подвели к нему.

– Есть документы? – спросил Войнислав.

Я показал ему свой воинский билет.

– Все понятно. У всех шпионов есть документы, – заключил он, – вот мы распорем тебе живот, завяжем веревки тебе на руки, пропустим их через брюхо, завяжем веревки на спине и пустим тебя «нах фатерланд».

Когда он ладонью водил по моей шинели, показывая, как они будут это делать, у меня волосы на голове поднимали каску.

– Но это мы сделаем завтра утром, – продолжал командир, – чтобы всем было видно.

Сказал, как отрубил, и пошел спать в заросли папоротника с тремя девицами. Я в эту ночь поседел. У меня начали белеть виски. После роковых слов командира мне ничего не оставалось, как сесть у костра и ждать судного утра. Наступило утро. И вдруг в 6 или 7 часов в дружину прибежал какой-то партизан и закричал:

– Где тут Тинин-Минин? Разбудите командира!

Командира удалось разбудить не сразу. Наконец он вылез из своего лежбища, и прибежавший ему доложил:

– Болгарский командир запер 22 партизана в кошаре, а среди них три наших офицера, и сказал, что если мы не вернем Тинина-Минина, то их всех расстреляют.

Я услышал этот разговор и поспешил подать свой голос:

– Тинин-Минин – это я.

Войнислав повернулся в мою сторону, выругался, почесал в затылке и сказал:

– Ну иди!

У меня от этих двух слов будто камень с души упал. Но потом я спохватился, что не знаю обратной дороги, и обратился к командиру:

– Командир, я не знаю, куда идти. Вчера было темно, и вел меня сюда курьер.

Войнислав дал мне того же курьера, и мы пошли. По дороге разговорились. Я спросил своего попутчика:

– Слушай, на тебе рваные какие-то чуни, а у меня хорошие сапоги. Почему ты не пульнул в меня, когда вел сюда? Пульнул бы, да и забрал бы сапоги. А всем бы объяснил, что вынужден был убить при попытке к бегству.

– У меня в винтовке нет патронов, – пробурчал партизан.

Я дал ему пять патронов, за что он очень благодарил меня. Когда мы наконец пришли к нашей кошаре, то «ура» кричали не только солдаты моей роты, но и партизаны, которых тут же освободили.

Так что же меня спасло от верной смерти? Оказывается, когда наша рота подошла к высоте Орляк, командир роты спросил:

– А Тинин приходил?

Командир взвода ответил:

– Нет. Но мы слышали, как партизаны, которые шли за нами, хвалились, что якобы через наши ряды прошел немецкий шпион в болгарской форме, а они его арестовали.

Командир роты сразу понял ситуацию. Окружил полянку с партизанами, согнал их всех в кошару и послал вестника в партизанский отряд, чтобы тот освободил меня из плена. Так я второй раз побывал в плену, но не у немцев, а у наших так называемых союзников.

Наконец-то мы пробившись к своим обозам. Целый день лежали и ели фасул-чорба (фасолевый суп) – самую любимую еду болгар. Нашли там Монката, этого подлеца, который шел за ротой на расстоянии двух дней от нее, и побили ему морду. Мне поручили следить за ним, чтобы он ходил с нами во все атаки.

Вскоре случилась первая из таких атак. Мы находились в ложбинке, а немцы на буграх. Нашей роте был дан приказ выбить их с этих бугров. Это было ночью. Хорошо, что немцы стреляли трассирующими пулями: видно, откуда били и куда. Монката полз за мной не без умысла. Я высокого роста, а он маленького. Вот он за мной, как за бруствером, и полз. Вдруг что-то как ухнуло на меня очень громкое. Оказывается, это Монката положил на меня ружье и стрелял по немцам. Я погнал его от себя. В целом ночная атака наша захлебнулась, и мы вернулись на исходные позиции. А утром произошло чудо, и причиной этого чуда стал тот же Монката. Случи-

лось следующее. Когда мы ушли на исходные позиции, то Монката, страшно испуганный, продолжал лежать где-то под кустом. Немцы же после боя выставили в свои окопчики дозоры. Монката наконец решил уйти домой и свалился в один из таких окопчиков. Увидев там немца, он дурным голосом заорал, а немцы подумали, что мы начали новое наступление, бросили оружие и в панике побежали в наш батальон. За ними в такой же панике бежал Монката. Это было уже утром. Мы встретили Монкату с криками «ура!», потому что прибежавшие к нам немцы были для нас первыми немецкими пленными. Монкату представили к ордену «За военные заслуги». Я потом с ним вместе получал свой орден в Куманово.

Таких героических случаев по глупости на войне было у нас немало. Почему-то именно они запомнились мне навсегда. Один из них связан с именем бойца Пешо. Шел ленивый бой. Мы залегли на высоте у села Старо-Нагоричане и стреляли. Немцы нехотя отвечали нам. Вдруг этот Пешо вскочил, схватился руками за заднее место, потом быстро сбросил шинель и понесся в долинку, потом на горку и т. д. Я уверен, что тогда он побил все рекорды бега как на 100, так и на 200, на 1000 и более метров. А Пешо скакал по буграм и лощинам, потом прибежал в свою роту. Сколько бы еще он так бегал, если бы его не остановили. Дело в том, что немецкая пуля задела его выпуклое место. Он взвыл и рванул.

Другой героический поступок в том же местечке был совершен уже не бойцами. Как-то ночью мы услышали грохот металла, позвякивание жести, цоканье копыт и залегли в ожидании. Прислушались и не могли понять, что же такое огромное то останавливалось, то снова надвигалось на нас. Но подпоручик приказал не стрелять. Действительно, стрелять не нужно было. Это местный осел возвращался в село из немецкого плена. Немцы в свое время угнали его и использовали как гужевой транспорт. Они погрузили на осла ручной пулемет МГ, две коробки патронов, сверху накинули и привязали два меховых комбинезона, в которых ездили немецкие мотоциклисты. На ночь немцы, видимо, не очень крепко привязали осла, а он развязался и пришел домой. Этот осел был настоящим героем в наших глазах.

Еще один случай в этом же селе связан с другим животным. Мы находились на пригорке. Рядом в долине росла кукуруза. По другую сторону долины, тоже на пригорке, располагались немцы. Наступила ночь. Были расставлены дозорные. Вдруг один из них прибежал к командиру и доложил, что немцы полезли к нам через кукурузу. Тут же по тревоге была поднята вся рота. Действительно, мы услышали, как кто-то полз по кукурузе, скорей всего, немцы. Рота начала стрельбу по долине. Но и немцы тоже стреляли по кукурузе, думая, вероятно, что болгары полезли на них. Потом стрельба прекратилась

с обеих сторон. Наступило затишье, и мы снова услышали, как кто-то ломал кукурузу. Мы снова с обеих сторон начали стрелять – и так до утра.

А утром, когда рассвело, то и мы, и немцы увидели в кукурузе черного буйвола, которого не могли обнаружить ночью, даже когда запускали ракеты. Ни одна пуля не попала в животное. Только верхушка его рога была сбита и висела. Вот какой буйвол. В него стреляли две армии, а он жевал и жевал себе неубранную кукурузу.

Мы долго перестреливались и не вступали с немцами в бой. То ли боялись, то ли это был стратегический ход. Наконец мы вступили с ними в бой на высотах Страцин и Стражин. Болгары до сих пор гордятся этими боями. Мы выгнали немцев с высот. А из Крива Паланки они сами ушли.

Самым страшным боем для нашей роты был бой за высоту Ушите. Здесь мы потеряли убитыми 28 человек, и командир роты Ангел Ангелов сбежал от нас. Перед боем, когда нам отдавали приказание, то сообщили, что слева на высоте нас будут поддерживать огнем болгарские пулеметчики. Для первого взвода планировалось взять первую высоту на скалах Ушите (здесь было три высотки), для второго – вторую, а для третьего – третью. Все как по нотам. Получив задание, мы пошли. Но оказалось, что слева от нас находились не болгарские пулеметчики, а немецкие части. Они сразу ударили в нас. Укрыться было негде. Кругом одни камни и редкие деревца. Здесь больше всего погибло наших ребят. Прижавшись к земле, я оглянулся вокруг и увидел, что наш командир роты Ангелов лежал на спине, а на груди держал испанский пистолет «Стар». Такими пистолетами были вооружены все наши офицеры. Я подумал, что он погиб, подполз и нагнулся к нему. Но он оказался жив и командовал мне:

– Тинин, беги вперед.

Я перешагнул через груды камней и побежал вперед к этим самым высоткам Ушите.

Отвлекусь от боя и скажу, что после атаки Ангелова не оказалось в роте. Мы стали его искать, думали, что он убит или тяжело ранен, но так и не нашли. А через две недели его обнаружили в Софии у него дома. Завели на него уголовное дело. Тогда он нашел меня и попросил быть его свидетелем в том, что он не убежал с поля боя, а раненый попал в плен к немцам и потом бежал из плена. Про плен это была, конечно же, сказка, которая мне совсем не понравилась. Мы знали, что немцы отступали и никого не брали в плен. Поэтому я отказал ему свидетельствовать. Более того, пообещал, если он меня все-таки привлечет в качестве свидетеля, на суде рассказать, как он лежал с пистолетом в руке и гнал меня вперед, чтобы незаметно улизнуть с места боя. Такое свидетельство его явно бы не украсило, поэтому он отстал от меня. Чем кончился суд над ним, до сих пор не знаю.

Вернемся к бою за высоты Ушите. Так вот, я прыгнул через груду камней и вижу, что лечу вниз прямо на убитого болгарского солдата. В прыжке я сдвинул ноги, чтобы миновать его тело, но попал в лужу крови, поскользнулся и навалился на мертвое тело. Под моей тяжестью это тело издало последний выдох. Меня охватил страх, потому что убитый человек сделал последний выдох из-под меня. Этот выдох до сих пор звучит в моих ушах.

Потом я побежал дальше и наконец нашел укрытие, которое представляло собой какое-то гнездо из камней, сделанное, наверное, немцами. Залег я в это гнездо и стал оттуда стрелять по немцам. А немцы били нас минами. Страшная вещь – мина на скалистой местности. Она не зарывалась в землю, а ударялась о скалистую почву и раскидывала свои осколки и камни, поражая все, что попадалось параллельно земле. Так услышал я, что где-то выла мина, а потом грохнула, за ней вторая, третья. Четвертая, как мне показалось, летела прямо на меня и грохнулась мне на спину. Лежал я с миной на спине и обреченно думал: «Ну что ж, убит так убит. Но почему у меня, убитого, так болит рука?»

Начал руку подтягивать. С меня посыпались камни. Страшно болела спина, потому что на ней лежал здоровый каменюка. Оказалось, мина разорвалась где-то рядом, и целая груда самых разных камней полетела на меня. Поэтому сложилось впечатление, что сама мина упала мне на спину. Наконец я выбрался из-под камней. Вечерело. Мы перестали стрелять. Немцы еще постреливали, но лениво. Человек 20 из нашей роты собралось под этими Ушите, где мы прижались к камням. Здесь немцы не доставали нас своими пулями, а мы слышали, как они что-то бормотали.

Среди нас оказались раненые. Один солдат был ранен осколком насквозь прямо в грудь. Но поражено было не сердце, а правое легкое внизу. Он истекал кровью. Я отдал ему свой перевязочный пакет. Мы стянули ему рану плащ-палаткой, но кровь продолжала хлестать. Тогда я подсунил ему под плащ-палатку свою фляжку. Правая сторона его стала выше левой, и кровь вроде бы остановилась. Обнаружился еще один раненный в ногу. Но, слава Богу, кость не была задета. Мы перевязали и его. Перевязанные мной ребята, глядя на меня, спросили:

– Тинин, а ты сам-то не раненый?

Я оглядел себя и увидел, что вся нога от колени до живота была у меня в крови. Снял штаны. На кальсонах крови было уже меньше. Снял кальсоны. На ногах был ее еще меньше, так, чуть-чуть. И здесь я вспомнил, как совсем недавно плюхнулся в кровь того убитого солдата.

Отвлекусь от тяжелого описания этой бойни и расскажу, откуда у меня были эти кальсоны с завязками на щиколотках.

Когда наш полк еще не был разбит и находился в Софии, нашу роту построили и поручик Винаров представил нам дорогих гостей:

– Храбрые орлы! У нас сегодня праздник. К нам в роту приехала вдова нашего прославленного генерала, героя двух войн мадам Жекова.

Он красивым театральным жестом подошел к ней и фигурно поцеловал ей руку.

– А также их дочь мадемуазель Анжела, – тоже подошел к ней, щелкнул каблуками и поцеловал ручку. – Они привезли нам подарки, рубашки и кальсоны для наших солдат. Правда, на всех кальсонов не хватит. Поэтому, посоветовавшись, мы решили вручить этот ценный подарок только тем солдатам, чьи отцы геройски сражались в прошлой мировой войне. Прошу сделать пять шагов тем солдатам, у кого отцы герои.

Человек 20 сделали пять шагов навстречу ценному подарку. Прошагал и я пять шагов. Винаров каждого начал спрашивать:

– Где отец воевал?

Солдаты поочередно ему отвечали:

– На Завоя на Черна (на изгибе реки Черна).

– Отстаивал Прилеп.

– На реке Вардар.

– Защищал Струмицу.

Наконец дошла очередь и до меня:

– Был отравлен газами и получил Георгиевский крест за Галицию.

– Подожди, – удивился Винаров, – в Галиции не было наших частей.

– Так точно. Он сражался в русской армии.

– Так, значит, он воевал против нас?

– Так точно.

Винаров задумался. Потом обратился к дамам:

– Медам, я сказал про отцов, которые храбро сражались во время мировой войны, но не уточнил, на какой стороне. Так что разрешите мне вручить кальсоны рядовому Тинину.

Дамы послушно кивнули ему в ответ. Я прижал к груди дорогой подарок и вошел в строй.

Отныне эти кальсоны были всегда на мне. А вот теперь, после моего неудачного прыжка с камня на скале Ушите, они оказались в крови. Наступил уже поздний вечер. Мы копошились в своем укрытии, зализывая раны, а немцы вдруг начали нам кричать сверху:

– Болгар, Сталин капут!

Это заявление нас взбесило. Мы их отовсюду с потерями, но все же гнали, а они нам кричали про капут. Тогда ребята обратились ко мне как к единственному среди них русскому солдату:

– Слушай, братушка, покрой их русским матом. Может, утихомирятся.

И я крикнул:

– Тысяча двести тридцать третья сибирская стрелковая дивизия вперед!

А сам спрятался. Немцы тоже притихли. Потом спросили:

– Рус?

– Конечно, русские, трам-гара-рам, – уверенно ответил я.

Немцы чего-то залопотали на своем языке и перестали нас дразнить. Тут окончательно стемнело. Мы потихоньку начали отходить назад. Нас было трое. Я и раненный в ногу солдат тащили раненного в грудь. Сверкали трассирующие пули, но не прицельно, а так, чтобы нас поугаать. По дороге раненный в ногу солдат не смог идти. У него схватило ногу. Тогда мы, теперь уже с раненым в грудь, тащили его. В конечном итоге мне пришлось (не знаю, как я это смог) тащить их обоих. Наконец мы доползли до кошары, которая была приспособлена под полевой лазарет. Здесь под забором на соломе валялись убитые, раскромсанные. Хорошо, что было темно и не так видно все это. Сюда кроме нас приходили и другие, приносили раненых. Их так было много, что я стоял на месте и не знал, куда идти. Но вот из хибарки вышел, весь в крови, вытирая пот со лба, мой закадычный друг по университету Коста Стоянов. Он учился на медицинском факультете, и его забрали в армию в качестве хирурга. Как мы обрадовались друг другу! Потом я ему сказал, что у меня болит спина. Он пощупал больное место и произнес:

– Черт с ней, или вывих, или ребро поломано. Не до тебя. Тут я все время режу ноги и руки. Хоть бы скорей кончилась эта бойня. А учили меня, между прочим, резать только аппендицит. Но я так ни одного пока аппендицита и не встретил.

Простились мы с ним, и я пошел искать свою разбитую роту. Нашел. Их было всех вместе 50 человек. И это из 120 человек, которые когда-то составляли роту. Остальные же были убиты, ранены, а некоторые вообще исчезли. В этом бою я пережил еще несколько потерь. Отвалилась подошва у моего левого сапога. Осталось только голенище. Мучился, мучился я с этим рваным сапогом, потом выбросил его и нашел себе какой-то царвул (царвулом там называется кожаный лапоть). Но и с царвулом мне пришлось мучиться. Если я, надев на ступню, привязывал его покрепче, то он впивался в ногу. Если же я привязывал царвул к ноге послабее, то он выворачивался вперед и снимался со ступни. Так продолжалось дней 10. Ко всему прочему у меня еще совершенно порвались подтяжки. Я подвязывал штаны какими-то веревками, которые тоже постоянно рвались.

Поскольку наша рота оказалась без командира, нам из Софии прислали нового, совершенно молоденького, только что закончившего военное училище. Я продолжал оставаться в отделении командования ротой, и он мне приказал вырыть два окопа на ночь, ему и



мне. Я ему сказал, что это очень большая работа и два окопа мне придется рыть в этой каменной почве до утра, а то и дольше. Поэтому мы должны вдвоем копать один окопчик и спать в нем вместе, потому что так теплее. Он согласился. Мы вырыли этот окопчик, на дно постелили ветки от дубняка, которые оказались не очень пригодными для нас. Их корявые сучья все время то там, то здесь впились в наши тела. Легли мы в шинелях, а я к тому же еще и в каске, потому что пилотку у меня еще до этой бойни забрали партизаны. Пригрелись, стали засыпать, но меня беспокоили ползавшие по телу вши. Больше всего их оказывалось на шее и на пояснице. Я взял свой ремень и покрутил его вокруг поясницы. Подпоручик спросил меня:

– Что такое?

– Да вши заели, – ответил я.

Он отскочил от меня как ошпаренный:

– Что же ты мне не сказал, что ты вшивый?

– А здесь мы все такие, других нет.

Походил он, походил вокруг окопчика, да и лег ко мне, но уже не прижимался. А я подумал: «Ничего, господин поручик, дня через два и вы будете со вшами».

Наутро мы начали спускаться в долину. Прошли мимо какого-то памятника, поставленного на горке, и перед нами появился город Куманово, который мы должны были отбить у немцев. Хотя прекрасно понимали, что немцы к этому времени должны были уйти из Куманово. Дело в том, что они постоянно нам разбрасывали листовки на болгарском языке с расписанием точных дат ухода их войск из различных пунктов с припиской: «Планы нашего ухода составлены не в Москве или Софии, а в Берлине». Такая немецкая педантичность злила наше командование. Мы штурмовали дня три высоту, пытаясь их выгнать раньше их расписания. А они все равно уходили согласно ему. Наутро мы снова подошли к Ушите и за камнями нашли 13 немецких могил с крестами. На крестах висели каски и написаны имена, чины убитых. Мы удивлялись и не понимали, когда эти немцы успели похоронить своих солдат в этой кровавой мясорубке. Наутро наш рота обнаружила, что сопка, за которую мы сражались целых три дня, освобождена от немцев. Солдаты закричали «ура!» в мою честь, считая, что я своим матом выгнал их. Но мне кажется, что я здесь ни при чем. Они ушли с сопки согласно своему плану.

Куманово был первым городом на этой македонской земле, который мы увидели. Рота начала тихонько спускаться к нему. На пути мы преодолели небольшую речку, взорванный мост. Я, перепрыгивая по камням и балкам, свалившимся с моста, оказался в городе. Так я оказался первым солдатом болгарской армии, который вошел в Куманово. У меня сохранилась открытка, написанная мной в Кума-

нове и отправленная в Софию к матери. Открытка написана на болгарском языке, потому что проходила через болгарскую цензуру. Но я ее вам, дорогой читатель, перевел на русский язык: «Дорогая мама, ты, наверное, знаешь, что Куманово в наших руках. Я горжусь тем, что был первым солдатом нашего полка, который вошел в этот город. Но самое интересное то, что я был в одном сапоге. Второй разорвался еще недели две тому назад, и я подвязывал ногу чем мог». Эта открытка стала самым дорогим и интересным документом в моем домашнем архиве. Я бережно храню ее.

В город начали перебираться по взорванному мосту и другие солдаты. Вдруг что-то как ухнет! Оказалось, это немцы, уходя, заминировали остатки моста. Тот, кто не успел спуститься в город, подорвался. А мы шли по городу, прижимаясь к домам. Неожиданно из скверика, где стояла школа, ударил пулемет. Мы разбежались в переулки. Потом ротный командир сказал одному из солдатиков:

– Перебеги через улицу к тому переулку и скажи подофицеру, чтобы шел к школе слева, а мы пойдем справа.

– Так ведь стреляют же.

– Ничего, ты по-быстрому.

Солдатик собрался с силами, перекрестился, накинул на голову подол шинели и побежал. Вероятно, немцы не поняли, что за чудело бежало по улице. Во всяком случае, обстреливать ее они начали позже, после того как солдат оказался на той стороне улицы. Часа через полтора мы подошли к школе. Шли осторожно. Но из школы уже никто не стрелял. Немцы к нашему приходу успели из здания уйти.

Впервые за 2–3 месяца мы вошли в теплое жилое помещение. В подвале школы располагалась кухня. На плите еще парилась рисовая каша со свининой, шипел чайник. На столе лежали куски хлеба, а на полу – перцы. Но командир роты предупредил нас, чтобы мы ничего не трогали из еды. Мол, немцы нарочно оставили эту пищу, предварительно ее отравив. Быть отравленным никому не хотелось. Мы ходили вокруг плиты и стола, вдыхая соблазнительные ароматы, но не решались прикоснуться к еде. Напряженную обстановку разрядил маленький солдатик по имени Киро. Он сказал:

– Ребята, давайте я пострадаю за вас и поем, а вы смотрите: умру я или нет. Если нет, тогда налегайте и вы.

Он начал есть, а мы с завистью смотрели, как он уплетал кашу, запивал чаем, жевал перцы. Наконец солдат насытился, лег, а мы стали внимательно наблюдать за ним. Его разморило от домашней пищи. Он подложил себе под голову шинель, повернулся на бок и через пять минут захрапел.

– Если бы он умер, то не храпел бы, – единодушно подумали мы вслух.

Но чтобы в этом окончательно убедиться, разбудили его и спросили, как он себя чувствует.

– Каша несоленая, – сказал он и снова заснул.

Тут мы набросились на всю эту еду, достали даже соль, чтобы кашу посолить, и наелись до отвала.

Эта школа, как мы потом узнали, была немецким госпиталем. На чердаке находилось сваленное обмундирование умерших немцев. Наши солдаты напялили на себя их фуражки с орлами, увешались орденами, а я нашел заветную для меня вещь, хорошие немецкие подтяжки, надел их и ходил, как фон-барон, уже не поддерживая штаны руками и веревками. Но подошел ко мне солдат и сказал:

– Тинин, посмотри, что тут?

Я глянул и увидел, что на левой подтяжке была дырка с запекшейся кровью. Очевидно, этого немца убили, и пуля прошла прямо в сердце. Мне стало неприятно носить на себе кровь убитого немца. Я начал снимать подтяжки. Но ребята зашикали на меня:

– Что ты, носи их. Вторая пуля в то же место не попадет. Тебя не убьют.

Я пронесил эти подтяжки всю войну. Пуля не попала ни в мое сердце, ни в какое другое место. Героические старые подтяжки сегодня висят у меня дома, и я благодарю того немца, который ценой своей жизни сохранил мою.

А мы в этой школе продолжали приводить себя в порядок. Мне выдали сапоги. Мы прошпарили всю свою одежду в вошебойках. Мне выдали наконец пилотку, и мы пошли навещать кабаки и другие злачные места.

Шел я как-то по улице Куманово и неожиданно встретил знакомого мне командира 17-й освободительной македонской бригады Войнислава. Мы обрадовались друг другу, обнялись и пошли в кабак пить ракию. Здесь уже сидели его партизаны, которым он представил меня так:

– Это самый мой лучший друг Иван. Я его хотел резать, а он вот уже в Куманово. Выпьем за него.

Через три дня, когда все части этого региона соединились, был объявлен парад на центральной площади. Полки построились со своими знаменами и оркестрами. На трибуне стоял генерал Ганев, бывший командир нашего полка, теперь командир дивизии. Заиграли национальный гимн «Шуми, Марица». Этот гимн был введен еще при царе Фердинанде, а мелодия его была взята из австрийской солдатской песни.

Отыграли гимн. Вдруг на площадь со всех сторон вышли сербские партизаны, встали около трибуны. Начался их митинг. Войнислав орал:

– Болгарское радио врет, что болгары взяли Куманово. Куманово взяли партизанские отряды товарища Тито. Оно останется нашим навсегда. Пусть убираются болгары на свою вшивую родину! – и т. д.

Что делать? Эти слова звучали перед частями болгарской армии с их знаменами и командирами. Партизаны еще долго говорили в подобном духе. Потом наконец Ганев приказал:

– Всем болгарским частям развернуться и отправиться по местам своих дислокаций.

Мы, битые словом, понуро уходили с площади. Тогда мне торжественно должны были вручить орден «За военные заслуги», но вручили позже, среди своих, в скромной обстановке.

Почему же случилась эта дерзость? Я уже говорил, что сербы, македонцы, черногорцы болгар считали проститутками, потому что еще вчера они были с немцами, а сегодня затесались им в союзники. Тито только под нажимом русских разрешил болгарам воевать в Македонии, но только до Куманово, а затем нам предстояло уходить домой. Не нужны ему были болгары в Македонии.

Мы начали быстро собираться домой. Пешком, снова через Деве Баир, потянулись пешие солдаты по этим горкам. А мне командир роты сказал:

– Иван, увидишь грузовик, садись – и в Софию, а мы будем шагать. Жди нас там.

Я так и поступил. На горку поднимался хорошо груженный грузовик с тентом. Я догнал его, поднял руку. Меня схватили и бросили на какие-то мешки. Оказалось, что десяток солдат из разных рот тоже забрались на эту машину. Часа через три мы прибыли в Кюстендил. А это была уже Болгария. Еще через два часа мы въехали в Софию. Но моя рота только через неделю пришла сюда. Всей 1-й армии была устроена встреча, как для победителей. Интересно то, что флаги были у армии уже новые: на верхней белой полосе болгарского флага красовалась большая пятиконечная звезда. Революция продолжалась. Потом этой звезды на флаге не стало, но тогда болгары проявляли коммунистическое рвение. Поскольку уже год как наши казармы были разбиты, то наш полк отослали в город Кырджали – это в южной части Болгарии, недалеко от греческой границы. Город славился производством табака.

Город нам показался скучным, и погода была мерзкая. Изредка шел дождь со снегом, но тут же быстро таял. Наступила типичная балканская зима.

В начале января меня вызвали в штаб и сказали:

– Ефрейтор Тинин, откомандировываешься в штаб Министерства обороны. Для каких дел, нам неизвестно. Получи сухой паек на три дня.

Я все же начал расспрашивать, для чего, надолго ли надо уезжать. Но они сами ничего не знали. Приехал я в Софию. В штабе уже сидели еще два эмигранта – Мозговой и Бирюков. Нам сказали, что болгарская армия перебралась в Венгрию, и там в ее штабе требовались переводчики русского языка. Нас одели в форму военных чиновников, без погон, но на петлицах были какие-то звездочки. В общем, подпоручики. Мы поехали в Венгрию своим ходом через Югославию.

Самым прожженным из нас оказался Мозговой. Он предложил нам:

– Ребята, давайте наберем с собой как можно больше сигарет. С ними мы будем жить как боги.

– Но как их провезти через пограничный болгарский и югославский контроль?

– Пачек 20–30 засовывайте в рукава шинели, а шинель держите на весу. Я возьму здоровый чемодан с сигаретами.

– А как провезешь?

– Мое дело, – коротко ответил Мозговой.

Мы последовали его совету. Вот наступила первая проверка на станции Драгоман. Болгарские военные проверили наши предписания-командировки и ничего не осматривали. Потом пришли югославские пограничники. Они спросили, что в чемоданах. Чемоданы же были запечатаны бумажками с печатями Министерства обороны. Мозговой вручил им документ, в котором говорилось, что в них секретные материалы для штаба армии. Как ни ходили вокруг чемоданов югославские военные чины, но открыть их не посмели. А печати-то на всех бумажках поставил еще в Министерстве обороны сам Мозговой.

К вечеру мы были в Белграде. Перед тем как войти в комендатуру, Мозговой предупредил нас, чтобы мы не приближались к военным и не общались с ними. Сам же он потребовал в комендатуре три места в лучшем отеле Белграда «Сербия», для чего служило основанием то, что якобы мы везли сверхсекретную информацию маршалу Толбухину от болгарского правительства. Сербьы смотрели на нас с удивлением, не могли понять, кто мы такие. Документы у нас были болгарские, говорили мы по-русски, а обмундирование на нас было вроде бы не болгарского происхождения. Запутавшись, они дали нам места в лучшем отеле Белграда.

Кстати, раньше этот отель назывался «Москва», но, когда пришли сюда немцы, его переименовали в «Сербию». Он находился, да и сейчас находится, в центре Белграда на площади Теразия.

Когда мы приехали в отель, сначала нас разместили в трех номерах. В каждом из них были прихожая, две комнаты, туалет, ванная. Мы ощутили себя барами и начали раскладывать свои сигареты. Но

только мы занялись этим делом, как пришел испуганный отельный работник и сказал, что вышла ошибка. Они ждали трех английских военных корреспондентов, подумали, что это мы, и дали нам приготовленные для них комнаты.

– Ничего, – сказали мы и перебрались все трое в один двухкомнатный номер, – так даже веселей.

С неделю мы бродили по Белграду. Во всех кабаках и других ночных заведениях нас принимали как желанных гостей из-за сигарет. Они стали там разменной монетой.

В Нови Сад мы прибыли на поезде. Когда в 1999 году в начале войны в Косово американцы разбомбили мост через Дунай в городе Нови Сад и я увидел это по телевизору, то обомлел. Таким же разбитым я видел его еще в 1945 году.

В Нови Саде мы провели не более двух дней и собирались уже уехать на поезде в Байя, где находилась переправа через Дунай в Венгрию. Но вечером перед отъездом мы зашли в ресторанчик. Там к нам подсел какой-то русский морячок. В кабаке вообще-то было много советских солдат. Один из них и заинтересовался нами. Нам была приятна эта встреча. Мы разговорились и рассказали ему, что из болгарской армии, но русские, что едем в болгарскую часть на Байю. Пьяненький морячок тоже оказался словоохотливым и сообщил нам, что он из Дунайской флотилии, что у них ракеты не такие, как на «катюшах», а в сто раз сильнее, что нажимать на кнопки у них удобнее и что он никогда бы не служил в пехоте, а только на корабле. К нему подошел советский лейтенант и приказал ему: «Ну, пойдем». Морячок попытался сопротивляться:

– А ты кто такой, – и бабахнул лейтенанта по лицу.

Тут же подскочили другие из советской пехоты в защиту лейтенанта. Тогда, откуда ни возьмись, появились морячки и с криком «наших бьют» бросились на пехоту. Нам было не с руки оказаться в этой куче. Мы рванули к хозяину кабака. Он показал нам заднюю дверь, через которую с чемоданами мы ушли из ресторанчика, сели в трамвай и поехали к вокзалу. Но из окна трамвая Мозговой увидел, как нас преследовал крупный джип. В нем сидело человек восемь в зеленых фуражках. Мы поняли, что нас ищут как носителей военной тайны о советском флоте, которую нам выдал морячок. Поэтому сошли у вокзала, но к поезду не пошли. К тому же мы увидели на вокзале и вокруг него – всюду были зеленые фуражки. Мы ушли подальше от вокзала, увидели несколько грузовиков с югославскими партизанами. Спросили их: «Куда едете?»

– В Пашичево, – ответили они.

Где это Пашичево и по пути ли нам было с югославскими партизанами, мы не знали, но очень хотели уехать отсюда. Машины тронулись на север. Севернее Нови Сада располагалась югославская

область Банат. Это была, пожалуй, самая ухоженная и культурная область, которую мы встречали на войне. Там преимущественно жили немцы и венгры. Мы приехали в чистенькое, ухоженное село. Зашли в дом. Хозяева-венгры приняли нас, дали две комнаты. Я впервые увидел в сельском доме кафельные стены на кухне, ванную с туалетом, водопроводные трубы и никелированные краны. Во дворе дома было все убрано, чистота кругом. Видно, что село было ухоженным не только потому, что здесь не было войны, но и потому, что этот порядок для селян являлся традицией, привычным делом. Они совершенно в этом смысле не походили на македонцев.

Вечером мы пошли в клуб на танцы. Там висели такие лозунги: «Тито се борио, краля се женио» (Тито боролся, король женился), Действительно, во время войны югославский король Петр женился на какой-то принцессе. Другой лозунг гласил: «Нечемо краля, очемо Тита» (Не хотим короля, хотим Тито). Самодеятельный оркестрик наяривал сначала сербские песни и танцевальную музыку, а затем перешел на танго и фокстрот. Была на этом вечере одна особенность. Во время танцев неожиданно гас свет, и в темноте парни хватили девиц кто за что мог. Девицы визжали, но не очень. Потом гудела труба, что означало: сейчас зажжется свет. Я танцевал со Стоянкой, такой полненькой девахой. Потух свет. Вдруг я почувствовал, что кто-то потянул меня за кобуру, где лежал мой кольт. Кстати, в течение всей этой нашей поездки я раза три поменял свое оружие. Сначала у меня был «Стар». Его я поменял на парабеллум (он длинный), потом на дамский браунинг, но он оказался слишком маленьким и тоже неудобным. Наконец я приобрел кольт, который был единственным в болгарской армии, правда, без патронов. Так что я им очень дорожил. Поэтому, когда чья-то рука вцепилась в мой кольт, я ударил по ней. Но вторая рука потянула меня за ремень, я еле вырвался и крикнул ребятам:

– Давайте смываться, а то отберут оружие.

Мы убежали с этих танцев, а наутро сели на какой-то грузовой поезд и поехали в Байю.

Советские войска сделали временную переправу через Дунай, по которой день и ночь двигались грузовики, пушки, телеги и шли на Запад. Но на понтонах были еще деревянные мостики. По ним через реку перебрались и мы. Потом мы встретили болгарский грузовик, сели на него и доехали до штаба 1-й Болгарской армии, которая вошла под командование маршала Толбухина, командующего 3-м Украинским фронтом.

Прибыли мы к генералу Стойчеву. Это была интересная личность. В царское время он за что-то попал в немилость. Но, уже будучи в эмиграции, на Олимпиаде в 1936 году в Берлине подполковник Стойчев занял второе место по конному спорту. Во время собы-

тий 9 сентября в Болгарии он примкнул к Отечественному фронту, получил звание генерала и право командовать 1-й Болгарской армией. Одевался генерал очень своеобразно. Его огромная фуражка была посажена на левую сторону головы. Несмотря на его небольшой рост, о нем говорили, что ноги у него растут прямо из груди. Ходил генерал в бежевых бриджах с лампасами, которые шли почему-то с колен и по бокам заворачивали в сторону. Стойчев был страшным франтом, мундир носил в расстегнутом виде с белоснежным шелковым шарфиком. В общем, одевался не по уставу.

Генерал Стойчев распорядился нас распределить, и я попал в штаб начальника артиллерии болгарской армии к полковнику Петрову, который был уже в летах и оказался очень спокойным человеком.

В мои задачи входило не только заниматься официальным переводом во время встреч с советскими офицерами, но и подавать сводки о расположении и дислокации артиллерии болгарской армии в виде телеграмм на русском языке на Бодо начальнику артиллерии 3-го Украинского фронта генералу Неделину. Кстати, генерал Неделин стал после войны маршалом и начальником ракетных войск СССР.

Вероятно, следует объяснить, что такое Бодо. Это тот же телеграф, но не по системе точка-тире, а по буквенной системе. Я составлял телеграммы на механической машинке, подавал их советским телеграфистам, а они, подписывая час и дату на текстах моих телеграмм, посылали их адресату. Текст распечатывался в нескольких экземплярах. Один экземпляр оставался у меня, а второй – на телеграфе.

Работы в штабе было немного. Поэтому мы частенько выезжали в лесные массивы местных помещиков пострелять дичь. Однажды нашим трофеем стала серна, из мяса которой нами было быстро приготовлено блюдо. Но мясо оказалось таким жестким, что мы еле прожевали его. Когда спросили хозяйку нашей квартиры, венгерку, почему мясо серны такое жесткое и как они его едят, она нам ответила, что мясо дичи сначала надо вымачивать в белом вине два дня и только потом готовить из него блюдо. У нас не было столько времени возиться с этим мясом. Мы его съели и так.

Как-то меня вызвал к себе полковник Петров. Я вошел к нему в кабинет, а там уже сидел рябой старший лейтенант в зеленой фуражке и такого же цвета погонах. Я понял, что это офицер НКВД, и вздрогнул. А старший лейтенант спросил меня:

– Вы военный чиновник Тинин?

– Да, – с дрожью в голосе ответил я.

– Поедемте со мной.

– Куда? – отважился спросить я.

– Вопросы задаю я, – ответил мне офицер, как отрезал.

Полковник Петров кивнул мне головой, и мы со старшим лейтенантом НКВД вышли к немецкой легковой машине тридцатых го-



дов, в которой пассажиры были отделены от шофера стеклом. Машина понесла нас обратно от линии фронта в сторону городка Печ, но, не доезжая до него, свернула на север. В пути я несколько раз спрашивал офицера, зачем и куда мы едем, но он молчал и лишь однажды ответил мне:

– Сами увидите.

Я тоже замолчал и стал лихорадочно вспоминать, где же и в чем я провинился. Может быть, меня арестовали (а я только так воспринимал мой внезапный отъезд из штаба), потому что мой отец воевал в Белой армии, сам я учился в антисоветской гимназии, мать моя была дворянкой. Чего я только не передумал в течение этого длительного переезда. Тем временем мы проехали деревню Сент-Лоренц и свернули к какому-то замку. Замки, а точнее поместья, частенько встречались на венгерской равнине. Хозяев этих поместий венгры почему-то называли не помещиками и не графами, а грофами. Мы заехали во двор, и машина остановилась перед лестницей трехэтажного дома. Старший лейтенант вышел из машины первым, махнул кому-то рукой. К нему подбежал солдат с автоматом. Мне он сказал:

– Из машины не выходить, пока не позовем, – и они ушли.

Я осмотрелся. Вижу: повели русского солдатика без погон и ремня. Руки у него были за спиной. Потом повели двух немцев. Им почему-то погоны не сняли. Поэтому я увидел, что один из них был фельдфебелем. К дому подходили и уходили машины, а я все сидел в той, в которой меня привезли, и с трепетом ждал своей участи. Наконец ко мне пришел какой-то лейтенант и спросил:

– Переводчик Тинин?

– Да, – ответил я, и мне стало немного легче. Я понял, что меня забрали не за отца или мать, а как переводчика.

Мы поднялись с лейтенантом по лестнице дома на второй этаж. Вокруг были картины, витрины с фарфором, какая-то гнутая мебель. Действительно, это был графский замок. За столом сидели три офицера. Меня попросили подойти к столу:

– Вы переводчик Иван Григорьевич Тинин, офицер болгарской армии?

– Так точно, – отчеканил я.

– Распишитесь здесь в том, что вы в совершенстве знаете русский и болгарский языки, что вы не разгласите обо всем том, что здесь происходит. В случае разглашения тайны вы будете арестованы по статье такой-то...

Я не дослушал до конца о мере пресечения и дрожащей рукой подписал, не глядя, все, что мне подсунули. Начался судебный процесс. В зал ввели болгарского солдатика лет сорока пяти, в общем, солдата запаса. У него спросили имя, отчество, фамилию, потом сра-

зу зачитали ему приговор. Оказывается, заседание этого суда началось с приговора. Потом судьи стали задавать ему вопросы. Суть дела этого бедолаги заключалась в следующем: немцы на территории Венгрии забросили в тыл советской армии пятерых диверсантов. Их поймали, нашли четыре парашюта, а пятый не могли найти. Его подобрал этот болгарский солдатик, порезал на тряпки, сложил в кучку, чтобы отвезти домой. Шелк-то был хорошим, вот он и соблазнился. Но попользоваться им не успел, потому что его арестовали.

На допросе его спросили:

– Для чего ты спрятал парашют?

Солдатик ответил:

– За да не стане харар.

Мне надо переводить, а я не понял слово «харар», потому что оно из местного говора турецкого происхождения. Я ему задал дополнительный вопрос: «Что такое харар?» Мне тройка сделала замечание:

– Вы не имеете права задавать вопросы без согласования с нами.

Я, оправдываясь, сказал:

– Не знаю, что означает слово «харар». Оно турецкое.

Мне не поверили и потребовали, чтобы я спросил у самого солдата, турецкое это слово или нет. Спросил, а он мне ответил:

– Да нет, это наше слово. Все в нашем селе его знают.

Я дословно перевел его ответ, и со стороны судей услышал упрек:

– Так вы же подписали документ, по которому заявили, что отлично знаете болгарский язык, а на первом же слове споткнулись.

Я попросил не делать поспешных выводов и разрешить мне задать солдату несколько вопросов. Мне разрешили с оговоркой:

– Только заранее согласовывайте их с нами.

Я начал задавать ему наводящие вопросы, чтобы выяснить смысл слова «харар». Это продолжалось, как мне казалось, бесконечно долго. Мы никак не могли понять друг друга. Наконец солдат произнес фразу с альтернативным словом понятию «харар». Он сказал:

– За да не стане зян.

Ура! Слово «зян» тоже турецкое, но я знал его смысл. Целиком фраза переводилась так: «Чтобы задарма не пропал».

Слава Богу, выкрутился.

Солдату задавали и другие вопросы, например, такие: «Кто его сообщники?» и «Кто его подтолкнул на это действие?» Но он очень искренне на них отвечал, что все это сделал сам, дабы ни с кем не делиться добычей. Судьи посоветовались и сказали, что согласно советскому Уголовному кодексу сокрытие парашюта было равносильным сокрытию диверсанта. Это деяние каралось смертной казнью – расстрелом. Но поскольку солдат принадлежал болгарской армии, то ему дали 10 лет, которые он должен был отбыть в Болга-

рии. Он не отбывал этот срок, а продолжал служить в каком-то оружейном складе болгарской армии. Я потом с ним встретился и решил спросить, не страшно ли было ему на допросе. Он удивился моему вопросу и сказал:

– Чего там бояться. Дело ясное. Я забрал парашют, чтобы он не пропал, а они его у меня отобрали. Наверное, им тоже портянки нужны.

Этот наивный солдат даже не понял, в каком учреждении побывал со своим парашютом.

После допроса меня вернули в штаб, а тут начали наступать немцы. Их 11 танковых дивизий, потрепанных войной, бросились на советские войска, которые стояли между Дунаем и Балатоном. В ярости немцы обещали нам устроить здесь второй Сталинград. Восточнее Сигетвара они перешли реку Драва, и мы оказались отрезанными от тыла. В нашей армии возникла небольшая паника. Первым сбежал грузовик типографии и редакции газеты «Фронтвак» (Фронтвик). На кузове грузовика было выведено «С перо и меч» (Пером и мечом). Я добавил мелом: «С перо и меч, назад към Печ». Печ – это город, который находился в 100 километрах от нас в тылу. Туда грузовик и рванул. В окружении осталось только несколько отделов штаба армии и мы в том числе. Артиллерийская канонада слышалась со всех сторон. С юга немцы заняли городок Харкань – это в 30 километрах от нас. Мы, военные чиновники, сидели на чемоданах и ждали дальнейших указаний. Тем временем Толбухин собрал свои дивизии, отбросил немцев от Дуная и озера Балатон. А болгары вместе с частями 57-й армии выбили немцев из Харканя. Но все равно наша армия не продвигалась вперед. На юге от немцев нас отделяла река Драва. Через нее к нам был проложен мост. По нему все время бежали от немцев сербские партизаны. Бежали и бежали. Тогда наши советские части взорвали мост, опасаясь, что вслед за партизанами перебегут к нам и немецкие части.

Наконец обстановка более или менее стабилизировалась. Меня, засидевшегося в штабе, генерал Ганев, командир Первой дивизии, вместе со свитой адъютантов взял инспектировать окопы и укрепления на реке Драва, где болгарская и части власовской армии стояли напротив друг друга по разным берегам этой реки. Их противостояние продолжалось месяца два. За это время они неоднократно выезжали на лодках друг к другу до середины реки, чтобы обменять сигареты на шоколад, вино на зажигалки. Между ними была заключена договоренность относительно расписания войны. По этому расписанию можно было стрелять друг в друга только после завтрака, т. е. после девяти утра и до часу дня. Затем, с часу до двух, наступал обед, после обеда до четырех вечера – мертвый час. В это время стрельба прекращалась. После мертвого часа и до ужина снова на-

чиналась война. Стреляй, сколько хочешь. Ночью же наступала тишина. Обе стороны отдыхали.

Вот почему генерал Ганев решил проверить на месте поступивший сигнал об этом неписаном договоре двух враждебных армий. Наша комиссия во главе с ним приехала сюда как раз после обеда в мертвый час. Генерал оделся в солдатскую форму и штаны, потому что знал: противник стрелял в генералов. Погоны он тоже сменил на солдатские. Но полковники и майоры при виде его отдавали ему честь, и это выглядело очень комедийно. Мы начали ползать по окопам. Вдруг генерал увидел на пригорке сидевших вражеских солдат и приказал стрелять. Болгарские солдаты начали стрелять поверх голов. Удивленные власовцы крикнули нам:

– Братушки, сволочи, чего стреляете?

Болгары им ответили:

– Стреляем, потому что у нас генерал.

– Ну, тогда все понятно, – успокоившись, ответили власовцы.

Довольно часто болгары кричали этим русским на том берегу реки:

– Братушки, кидай оружие. Гитлер капут.

На что те отвечали:

– Знаем, что капут, но мы Сталина боимся.

В общем, наша инспекция прошла успешно. Генерал отметил боевой дух болгарских солдат.

В Сигетваре, где был штаб Первой армии, находилась электростанция. Она работала, но чувствовалось, что ток уходит куда-то на сторону. Решили проверить. Поехали по направлению к немцам. Но там стоял столб и висели провода. Куда шел ток, было неизвестно. Тогда мы поехали обратно и увидели, что с пятого столба концы проводов аккуратно уходили в землю. Значит, немцы воровали у нас свет. Мы откопали провод и обнаружили: действительно, по нему шла электроэнергия. Стали думать, что делать. Поручик, возглавлявший эту операцию, приказал положить кабель на кучу щебня и расстрелять его. Мы попытались так и сделать. Решили пулями разрубить этот кабель шагов с десяти от него. У нас был ручной пулемет чешского производства «Брен». С ним залег наш шофер и начал стрелять по кабелю. Вдруг пулемет как взбрыкнул метров на пять над стрелком и упал рядом с ним. Оказывается, пулеметная трасса была электропроводной и током ударило по пулемету. Хорошо, что нашего шофера не контузило при этом. Тогда мы нашли толковую шашку, подложили под кабель и взорвали его. В этот день немцы остались без света.

Как-то меня вызвали в штаб. Там сидел советский полковник из особого отдела штаба Андреев. Мне приказали:

– Завтра вы поедете с ним на встречу с болгарским офицером, который служит в немецкой армии.

Мне объяснили также, что это за офицер. Дело в том, что немцы собрали всех болгар-студентов из Берлина, Вены, Лейпцига, сколотили из них батальон, одели, вооружили и поставили как раз против нашей армии. Болгарский офицер, с которым нам предстояла встреча, тоже был из числа этих бывших студентов. Болгары не хотели воевать за немцев против своих и послали его в качестве своего представителя, чтобы он мог договориться об их переходе на нашу сторону. Часть этих болгар после перехода собиралась уехать домой в Болгарию, а часть – влиться в болгарскую армию.

Мы прибыли в условленное место. Полковник Андреев надел обмундирование болгарского офицера и сказал мне, что он будет молчать, а я должен буду вести переговоры и записывать их, чтобы потом ему доложить. Наконец привезли на встречу с нами молодого лейтенанта вермахта с бородкой. Он изложил намерения болгар перейти на нашу сторону. При встрече было выработано такое решение: через день в 7 часов утра у долины, по которой должен был состояться их переход, они запустят зеленую ракету, мы им в ответ запустим белую, после чего они перейдут линию фронта. Договорившись с нами об условиях перехода, лейтенант уехал. Мы тоже вернулись в штаб, где я доложил о результатах наших переговоров болгарскому начальству. Но полковник Андреев встал с места и сказал мне:

– Иван, переводи точно. Послезавтра мы выставим на этих высотах (он показал на карте) два взвода солдат с пулеметами и автоматами. На этой высоте – тоже два взвода. Три взводами преградим им путь к отступлению. Когда они сложат оружие, будем бить их со всех сторон, чтобы ни одного не осталось.

Я переводил, а наши офицеры, слушая меня, стояли открывши рот.

– Но, господин полковник, мы же им дали слово офицера, что отпустим их домой, – удивленно наконец возразили они.

– Мы имеем дело с фашистами. А с ними надо говорить только так.

– Они не фашисты! Они болгары! Мы не дадим ни одного солдата для их расстрела, – единодушно решили болгарские офицеры.

– Ничего, сами справимся, – невозмутимо ответил полковник.

Утром рано в назначенный день я стоял вместе с полковником на высоте. Он смотрел в конец долины через оптическую рогатку и ждал запуска зеленых ракет. На условленных холмах залегли советские пулеметчики и автоматчики. А я с дрожью думал, что стану свидетелем самой страшной бойни безоружных людей. Наступил роковой седьмой час, но никаких ракет не последовало. В половине восьмого – тоже. В 10, 11, 12 часов также не появились зеленые ракеты.

– Сволочи! – закричал полковник. – Предупредили их! – догадался он. Сел на «виллис» и уехал. Бойня не состоялась.

Действительно, болгарские офицеры сумели сообщить своим соотечественникам о том спектакле, который был задуман полковником Андреевым. <...>

Наш штаб находился в Сигетваре почти два месяца. Мы успели обжить этот город. На его центральной площади посредине стоял памятник в виде идущего льва, а через площадь было протянуто десятка два телефонных и телеграфных проводов различных штабов. Каждый связист, тянув свою линию, завязывал за хвост льва свой кабель. Кончилось это тем, что хвост, обмотанный проводами, оторвался и висел над львом.

Наконец наш штаб двинулся с места. Мы собрали и погрузили на машины имущество управления артиллерией, перешли реку Драву и пошли за наступающими частями, пока не добрались до милого городка Чаковец (по-сербски) или Чакторния (по-венгерски), который, как нам казалось, не был разбит войной, потому что работали магазинчики, кабаки, ходил спокойный народ. Мы с двумя ребятами пошли посмотреть, что интересного было в городе. Оказывается, и его задела война. Городок-то сам стоял целым, а его железнодорожная станция и полотно были полностью разбиты. Немцы, оставляя город, с помощью придуманной ими машины через каждые полтора-два метра делали такой удар по рельсам, что в них появлялась пробоина, на первый взгляд незаметная. Но когда по ним проезжал железнодорожный состав, они ломались и вагоны сходили с рельсов. Продолжая осматривать окрестности станции, мы обнаружили на перроне совсем новенькую желтого цвета пушку. Желтый цвет нам подсказывал, что она в свое время была привезена из Африки от Роммеля. Ее затвор был кем-то снят. Но ценность пушки заключалась вовсе не в затворе, как мы поняли чуть позже, а в том, что она имела новенькие резиновые шины. К нам подошли трое партизан:

– Друзе, эта пушка наша.

– Как ваша? Эта пушка числится на вооружении болгарской армии, – сбрежал я.

– Отдай ее нам. Она нам нужна, – попросили партизаны.

– Что вы будете с ней делать? У нее нет затвора, – в свою очередь спросил я.

– А нам нужна не пушка, а ее шины. Мы сделаем из них несколько десятков подошв на обувь.

Вот в чем дело. Действительно, самой популярной подошвой у партизан была подметка из автомобильных шин.

– Хорошо, – говорю я, – давайте 1000 пенге и забирайте ее.

Партизаны начали о чем-то шептаться, потом куда-то сбегали и принесли деньги. Мы отдали им пушку.

На эти деньги мы гуляли три дня, не вылезая из кабаков. Ребятам моя сделка так понравилась, что они, шутя, предлагали мне продать партизанам противотанковый ров длиной в 40 километров.

Однажды меня вызвали в штаб армии. Там уже было человек десять, которые явились к генералу Стойчеву. Когда мы все собрались, генерал объяснил нам задание:

– Маршал Толбухин сообщил мне, что в Сомбателе скопилось несколько тысяч легковых машин из Вены. Десяток из них он дарит мне. Я посылаю вас за ними. Тинина назначаю старшим. Вы знаете мой спортивный вкус. Выберите самые быстрые и красивые. В путь.

Городок Сомбатель находился в северо-западной части Венгрии, недалеко от Вены. По приезде туда мы пошли на стадион и долго бродили по полю, любуясь машинами. Там их было огромное количество разных марок. Среди них мы встретили и «рено», и «бугати», и «испана сюиза», и «хорьхи», и «форды» старых моделей, и «ауди», и «вандерер». Выбирай!

Но у меня здесь состоялась более существенная встреча с одной милой дамой, учительницей школы, которая очень своеобразно пригласила меня в гости. Она сказала:

– Янош (по-венгерски Иван), придешь поздно, я встречу тебя тоягой.

– А что такое «тояга»? – спросил я.

Улыбнувшись, она ответила:

– Это редкое слово. Оно встречается только в двух языках, венгерском и японском, и означает большую палку.

Тут я тоже блеснул знаниями в лингвистике и сделал ей подарок, сказав, что это слово с таким же древним неславянским звучанием и с тем же значением имеется и в болгарском языке. Как она обрадовалась моему подарку:

– Значит, мы, японцы и болгары, – братья?!

Я не стал разубеждать ее. Возможно, так оно и есть. Но гораздо позднее я узнал, что это слово с похожим звучанием имеется в калмыцком, бурятском и тибетском языках. Вот сколько у нас братьев!

<...>

Венгры, как все малые народы, большие националисты. В Надь-Каниже на центральном бульваре у них стоит памятник распятой Венгрии. На огромном кресте изображено географическое расположение Венгрии, где один гвоздь прибит наверху к венгерским землям в Чехословакии. Второй гвоздь прибит в Австрии, где тоже живут венгры, третий – в Югославии в области Мур, а четвертый вбит в большой кусок Румынии, в Трансильванию. Кроме того, изображение этой распятой Венгрии я видел и на многих жилых домах. Табличка с таким изображением прибывалась даже над каждой дверной ручкой, чтобы венгры помнили о своих землях.

Но вернемся к машинам, которые мы приехали выбирать. Долго нам пришлось ходить среди машин, чтобы отобрать десяток из них. Лично я отобрал прекрасный длиннющий открытый и с огромным сундуком сзади «хорьх». Он больше других машин понравился генералу Стойчеву, который чаще всего разъезжал по Софии на нем, но только тогда, когда не ездил на спортивном гоночном велосипеде с жокейским стеклом в руках.

Отвлекусь и скажу, что после войны генерал Стойчев был в Нью-Йорке в качестве главы болгарской миссии. Но Болгарию в то время еще не признавали как союзницу, и о самом генерале как о герое Надь-Канижи или Балатона никто не знал. Зато в политических кругах его хорошо помнили как участника Олимпиады 1936 года в Берлине.

Кроме «хорьха», мы выбрали также маленькую, аккуратную машину «ауто-юнион», французскую легковую «рено гранд спорт» с «тещиным местом». «Тещиным местом» у этой машины назывался открывающийся люк сзади для одного человека. Притащили мы генералу и тяжелый закрытый «мерседес». Я не оговорился, именно притащили. По дороге у «мерседеса» отказал двигатель. Нам пришлось его прицепить к «хорьху» и тянуть до штаба. Вместо десяти мы привели всего восемь машин, которые тут же были задействованы. Стойчев каждый день выезжал на новой машине, но «хорьх» считал самой престижной и только на ней встречал гостей из штаба фронта. Генерал меня даже сердечно поблагодарил за эту машину и наградил, а именно, разрешил носить белый шелковый шарфик на шее, как у него. Честно признаться, я и до его разрешения уже носил белый шарфик, но он об этом не знал.

Вообще, болгарская армия в плане обмундирования превратилась к этому времени в черт-те что. Солдаты и офицеры надевали на себя все что могли. Здесь пошли в ход и жокейские шапочки, и бриджи, и какие-то мундиры – не то армейские, не то опереточные. Был даже издан приказ по армии, требовавший носить нормальную военную форму. Но никто этому приказу не следовал. Одни его просто не читали, другие не хотели подчиняться. Я не был исключением и носил офицерский френч с расстегнутым воротом, с закатанными до локтей рукавами. Брюки у меня были навывпуск. Обут я был в желтые ботинки, а на шее висел, конечно же, белый шарфик. Поскольку погон, как военный чиновник, я не носил, то меня даже иногда свои не узнавали.

Шел апрель 1944 года. Чувствовалось приближение конца войны. Начались награждения. наших начальников вызывали в штаб фронта: полковника Петрова (нашего командира), его заместителя подполковника Вичкова, начальника оперативного отдела майора Динова. Всех представленных к награде вызывали почему-то по очереди.



А я сопровождал их к маршалу Толбухину, хотя они хорошо знали русский язык и говорили на нем свободно. Но переводчик в церемонии награждения нужен был для протокола.

Штаб Третьего Украинского фронта, где находился маршал Толбухин, располагался в курортном местечке Баден-бай-Вин. Территориальный вопрос с мирным населением был решен здесь очень просто. Через этот городок протекала горная речка. По одну сторону речки разместилось все местное население, а по другую – учреждения и отделы штаба фронта, где не было ни одного австрийца.

Майору Динову орден Отечественной войны вручал генерал Неделин, тот самый генерал, которому я каждый день посылал сведения о расположении и группировке артиллерии болгарской армии. Он был очень веселым и общительным человеком. Ему так понравился майор Динов, что он написал нам пропуск в Вену на неделю, предложив там отдохнуть.

В Вену мы отправились втроем. Третьим был наш шофер. Небольшая машина «виллис», на которой мы отправились в путешествие, была загружена медом, ветчиной, хлебом, венгерским вином и прочей снедью. Ведь Вена была в то время голодным городом. Устроились мы в трехэтажном доме на улице Петер Йордан, 8. Почему я запомнил этот адрес? Да потому, что Йордан является типичным болгарским и сербским мужским именем. Я даже пытался выяснить, кто такой был Петер Йордан, но так и не выяснил.

Майор Динов прекрасно говорил по-немецки, и проблем во время прогулки по Вене в этом смысле не было. Перед нами предстал страшно разрушенный город. Здесь шли уличные бои, и все дома стояли искореженными, полуобвалившимися, с выбитыми стеклами окон. Вокруг домов на дорогах лежали кирпичи и кирпичная пыль. На прекрасном бульваре, где уже цвели каштаны, между ними стояли четыре пушки «вольф» с поднятыми к небу стволами. Но тормозная жидкость у них была спущена, а их затворы упирались в асфальт. Эти желтые пушки стали символом ушедшей войны и стояли здесь никому не нужные. На их стволах были белые кольца, то пять, то семь, как свидетельство количества сбитых ими самолетов.

В Вене мы ходили в кино, смотрели фильм «Девушка моей мечты» с Марикой Рокк. Это был еще довоенный знаменитый фильм с прекрасной венгерской актрисой. Он шел также и в СССР после того, как его привезли из Германии в качестве трофея.

Однажды, когда мы гуляли в очередной раз по Вене, увидели перед собой огромную афишу: «Австрийская коммунистическая партия приглашает вас посетить бал-встречу в нашем ресторане». К нам подошли активисты австрийской компартии и настойчиво пригласили зайти. Зашли. Перед нами предстал огромный зал, заставленный столиками, с балконом, где тоже, наверное, было столько же столи-

ков. В зале не оказалось мест, и нас проводили на балкон. Не успели мы сесть за столик, как к нам подсели две девицы – голландка и говорившая по-русски латышка. Шутили. Затем подошли к нам еще два венца. Майор предложил всем болгарские сигареты. Один из них в ответ на жест майора сказал, что не курит, не пьет и с женщинами никаких дел не имеет. Динов тогда спросил его:

– Для чего же ты живешь?

Собеседник почему-то возмутился такому вопросу и ушел со своим дружком. От имени компартии, как нам сказали, на наш столик принесли по стакану какого-то белого вина, на закуску – два бутерброда с намазанным белым сыром. И минут через 10 нас попросили пройти вниз, не объяснив для чего. В сопровождении мы прошли через весь зал, через эстраду и вошли куда-то в помещения артистов. Там нас встретил советский старший лейтенант и сразу же матом:

– Кто такие? Почему угрожали австрийскому коммунисту? Правильно мне сказали: раз говорите по-немецки, значит, немецкие шпионы. Я комендант Вены! Я вас расстреляю!

Я стоял у стола, и коленки у меня так тряслись от этих угроз, что стучали о ножку стола. А майор Динов на хорошем русском языке сказал:

– Прежде всего вы должны, как положено, представиться старшему по званию офицеру союзной вам армии, а не орать какие-то глупости.

– Смотрите, какой умный! Ты у меня сразу сейчас запоешь! Отвечай, кто прислал?

Майор Динов вынул из кармана предписание генерала Неделина и сказал:

– Если хоть один волос упадет с наших голов, ты будешь иметь дело с этим начальником.

Прочитав фамилию генерала на предписании, пьяный старший лейтенант сразу же протрезвел. Он понял, что опростоволосился, что Неделин за нас пол-Вены снесет. Выйдя из оцепенения, очухавшись, старший лейтенант обратил свой гнев на австрийцев:

– Что вы мне брехали, будто поймали двух шпионов, будто они хотели убить одного из вас! Я вас всех пересажаю!

Австрийцы извинились перед нами:

– Извините, так вышло.

Но выход из комнаты, где мы находились, был только один – через зал и эстраду. А народ, когда нас вели сюда, уведомили, что в нашем лице поймали двух шпионов. Поэтому наши сопровождающие сказали нам:

– Мы не можем вас провести обратно, зал знает, что вы шпионы.

Тут снова так называемый комендант Вены разозлился, но уже на австрийцев:

– Сами пойдете и скажете, что вы дураки и ловите не тех, кого надо.

Мы вышли на эстраду. Сопровождающие объявили, что, мол, вышла небольшая ошибка и эти товарищи не шпионы, а офицеры болгарской армии.

– Но мы не знаем их обмундирования, вот и ошиблись.

Слушая их объяснения, зал почему-то молчал, и трудно было понять, то ли присутствующие жалели устроителей праздника за этот инцидент, то ли жаждали поймать шпионов и сожалели, что мы не оказались таковыми. Мы покинули этот ресторан с неприятным чувством на сердце. На мосту нам встретились какие-то два австрияка, метелками наводившие чистоту. На спинках их пиджаков были пришиты белые круги с черной свастикой. Так австрийцы наказывали бывших нацистов, заставляя их работать физически.

Наконец мы нашли время и пошли к кафедральному собору Св. Стефана. Это был центр Вены – святое место. Какой-то снаряд во время сражений немного его разрушил, но в основном собор стоял крепко. А вокруг него двумя кругами навстречу друг другу ходила самая разношерстная публика. Здесь можно было встретить солидных господ с тросточками, тирольцев в шортах, дам всех возрастов и мастей, снующих между ними пацанов, солдат и офицеров различных армий – английской, французской и американской. Оклемавшись, мы тоже вошли в один из этих кругов и начали ходить.

До этого мы узнали, что в Вене были запрещены все рынки. А народ придумал здесь вот такой вид торговли. Люди шли по кругу навстречу друг другу и спрашивали друг у друга про тот или иной товар. Спросил и я кого-то: «Нужны сигареты?» Мне ответили: «Спросите того человека в серой шляпе». Когда мы подошли к нему, то спросили: «Что дадите за сигареты?» Он ответил: «Атлас Юлиуса Готта 1905 года издания». Мы согласились и отошли с ним к левым воротам храма. Он вынес нам этот атлас, а я отдал ему взамен 10 пачек болгарских сигарет «Арда». Купленный таким образом на хитром рынке Вены атлас до сих пор украшает мой дом. Этот атлас немцы настолько подробно и добротнo сделали, что на одной из его карт обозначены Царицын, Сарепта, Бекетовка, Ельшанка и Городище.

В связи с этим вспоминаю тот факт из истории Великой Отечественной войны, что в советской армии не было карт территории нашей страны восточнее Днепра. Действительно, зачем нужны были эти карты, если мы собирались воевать на территории Германии. Но когда немцы перешли Днепр и пошли дальше, то оказалось, что у них были карты наших земель вплоть до Самарканда, а мы воевали вслепую. Тогда Сталин приказал поймать немца с картой и ее немедленно прислать в Москву. Там эту карту копировали, сперва в

черно-белом варианте с немецкими названиями, и отправляли в части. Только во время Сталинградской битвы в части стали присылать карты в цвете с русскими надписями.

Купив таким образом атлас, мы снова стали в круг, чтобы достать камешки для зажигалок. Достали за коробку папирос. По прибытии в штаб я всем раздал эти камешки. Каково же было мое удивление, когда выяснилось, что вместо камешков нам немец подsunул на этом рынке грифельки от карандаша. Но и в этом случае проявилась немецкая точность и педантичность. Этих грифельков в коробочке было ровно 100 штук, сколько мы и рассчитывали купить.

В общем, если Баден-бай-Вин нас очаровал, то Вена, несмотря на то что мы ходили в королевский парк Шенбрюнн и в Пратер, в основном огорчала. Сам город стоял мрачным и разрушенным. Народ был какой-то осторожный и злой при новой власти. Нас здесь всюду подстерегали какие-то неприятные ситуации.

Но как бы там ни было, мы все же немного отдохнули от войны и вернулись в штаб. Тем временем штаб переехал в Капошвар – прекрасный городок, в парке которого стоял бюст венгерскому чемпиону Олимпиады 1936 года на 100 метров по плаванию. Здесь снова меня вызвали в штаб и дали поручение привезти из Фекешсекервара два эшелона пустых вагонов для погрузки нашей армии. Но при этом предупредили, что в пути их могут своровать. Я спросил: «Кто этим занимается?» Мне в ответ помялись и шепотом сказали: «Да наши же братушки».

За вагонами мы поехали с поручиком Стояновым. На обратном пути решили ехать порознь. Стоянов поехал с первым эшелонem, а я со вторым, чтобы наблюдать за его вагонами. Вагоны мы получили по документам, в которых был дан весь их перечень. На втором же полустанке я пошел в хвост своего поезда и обнаружил отсутствие двух вагонов. Побежал на станцию, где грузилась какая-то советская часть, и увидел номера моих двух вагонов, в которые грузили сено, солому, какую-то кухню. Тогда я обратился к старшине, мол, так и так, это мои вагоны. Показал ему свой список и их номера в нем. Он повел меня в комендатуру станции. Там посмотрели на наши списки и сказали мне:

– Ты, парень, – это, значит, я, – лучше бы присматривал за своими вагонами. А эти уже загружены и через два часа отправляются.

Побрел я ни с чем к своему эшелону, а мне навстречу бежит поручик Стоянов. У него тоже сперли один вагон. Тогда мы решили больше ни на каких остановках и полустанках не останавливаться и уже без приключений прибыли в Капошвар. По прибытии я пришел в штаб и доложил, что у нас сперли три вагона. Какой-то майор посмотрел на меня и сказал:

– Разгильдяй. Теперь будешь платить за три вагона.

Я два дня ходил сам не свой, у всех спрашивал, сколько стоит пульмановский вагон. Но никто не знал. Я ходил даже несколько раз на станцию, но и там ни один железнодорожник не знал, сколько они стоили. Увидев мое стрессовое состояние, майор Динов сжалился надо мной, обнял меня и сказал:

– Чего грустишь. Все спишут на войну, не бойся.

В самом деле, больше никто меня за эти вагоны не дергал.

Вызвали меня как-то в комендатуру в качестве переводчика. А в армии, если ты переводчик, то должен переводить со всех языков. Я и переводил с сербского, румынского, а вот теперь предстояло переводить с венгерского. Правда, венгры знали или сербский, или немецкий язык. В общем, как-то справлялся с обязанностями переводчика. Одним словом, пришел я в комендатуру. Там сидела маленькая, очень элегантная, я бы не сказал старушка, женщина в летах. Это была известная тогда актриса Франческа Гааль. Она пришла к нам с жалобой на советских солдат, забравшихся в ее имение и своровавших часть из ее 1500 артистических платьев, в которых она играла в фильмах и на сцене. Я перевел ее жалобу, в том числе и последнюю фразу, адресованную коменданту. В ней сообщалось, что, если украденное не будет немедленно найдено, Франческа Гааль отправит свою жалобу самому Сталину. Имя Сталин в то время для советского человека звучало как приказ. Комендатура тут же нашла наглецов, посягнувших на собственность актрисы. Но солдаты, когда их поймали с поличным, были очень удивлены претензиями актрисы:

– Вот склочная баба, – сказал один из них, – у нее столько платьев, а ей жалко несколько десятков.

Наконец мы вошли в южную часть Австрии, в провинцию Грац, небольшой городок Лейбниц, в котором были прекрасные двух-трехэтажные дома, утопавшие в зелени. Штаб нашего управления разместился в трехэтажном особнячке, а сами мы поселились рядом с ним в двухэтажном доме на первом этаже. На второй перешли хозяева дома. Около нашего штаба кто-то из нас нашел большую железную дверь, вскрыли ее. За ней оказался погреб с несколькими тысячами бутылок белого вина. Солдаты начали таскать эти бутылки. Но полковник, узнав об этом, поставил у двери пост, чтобы вино не разворовали. И все же через два дня, когда он послал в погреб за вином, то его там не оказалось. Как солдаты умудрились растащить бутылки через пост, неизвестно.

Напротив этого погреба по улочке, где стояли дома, обвитые плющом, виноградными побегам, а у домов всюду росли цветы, был дом, фасад которого выглядел как шахматная доска, но с разноцветными квадратиками порядка 50-ти штук. Эти квадратики оказались ульями. В самом доме стояла прекрасная аппаратура с никели-

рованными трубами и различными бачками для выдавливания меда. Мы приходили в этот дом к фрау, и она наливала нам бидон меда из огромного бака за коробку сигарет.

На чердаке дома, где мы жили, в печной трубе, укрепленной параллельно потолку, было найдено нами много копченостей – окорок, колбасы и просто куски мяса. Восхищаясь этим изобилием, мы никак не могли понять, почему немцы полезли на Россию. Что им от России было нужно, когда они жили намного лучше россиян. В связи с этим я вспомнил записки Ф.М.Достоевского о войне, которую вела Россия с турками за освобождение болгар. Он писал (излагаю по памяти): «Когда русские солдаты шли освобождать болгар, то думали, что встретят измученный, рваный народ в разбитых хатах, без средств к существованию. Пришли и увидели сытых розовых болгар и болгарок, прекрасные крытые черепицей дома, упитанный скот и вспомнили свои курные избы, худющий скот и больных детей. Кого же нужно было освобождать?» Так и тут получилось. Неизвестно, кто кого должен был завоевывать.

Рядом с Лейбницем находился какой-то немецкий концлагерь. Мы освободили всех заключенных и, пока с ними не разобрались, кто откуда, согнали их на площадь перед костелом. Заключенные сгруппировались под своими флагами: французским, английским, чешским, итальянским и даже норвежским. Советских пленных среди них не оказалось. Интересно, как разные народы в одинаковых условиях по-разному вели себя. Итальянцы нашли где-то аккордеон и горланили свои арии. Педантичные англичане не позволяли себе сидеть даже на тротуаре и ходили, думу думали. Французы более скромно, но тоже, как итальянцы, горланили свои песни и при этом играли в карты. Лучше всех из пленных почему-то были одеты англичане. Они важно расхаживали в своей военной форме с погонами и знаками отличия. Местные жители приходили к пленным на площадь, приносили что-нибудь из еды или одежды. Любопытным оказался на этой площади слет народов Европы, которых Германия сумела согнать в одну кучу. Вскоре всех пленных забрали соответствующие органы, и площадь опустела.

В Лейбнице меня застал День Победы. Всегда, когда задают ветеранам вопрос: «Как вы встретили День Победы?», начинается рассказ о том, какое было ликование, радость, как зачехляли пушки, как пили за победу. В общем, всюду ощущался праздник.

У меня же ощущения остались несколько другие. Я уже говорил, что в мои обязанности входило подавать каждый вечер сведения на Бодо о расположении и группировке артиллерии болгарской армии. Но тут наконец пришла победа. На радостях мы выпустили в небо месячный запас патронов, устроив таким образом салют. Я уже подумал, что мне не надо ходить на станцию связи и подавать всякие

сведения на Бодо, но меня вызвали на станцию за получением такой короткой телеграммы: «Военному чиновнику Тинину. Где сведения. Неделин». Я набросал вчерашние данные и послал адресату. Но в ответ снова получил телеграмму: «Где Катюши. Неделин». Дело в том, что в последний месяц войны болгарской армии был передан дивизион «катюш». Они не подчинялись нашему командованию, но выполняли наши тактические задачи. Об их расположении я ежевечерне докладывал. Но тут пришла победа. Дивизион «катюш» почему-то не появился в расположении 57-й армии, и я ничего не мог доложить о них начальству. Телеграммы одна за другой шли от Неделина с одним и тем же текстом: «Сообщите, где Катюши?». Но никто не знал, где эти «катюши». Я пошел к полковнику и доложил ситуацию. Он сказал:

– Да, дело серьезное. За исчезновение «катюш» голову снимут.

К нашему разговору подключился полковник Иванов из спецотдела 57-й армии и давай нас терзать и пугать наказанием. Тогда мы решили послать в места, где бывали эти гвардейские минометы, мотоциклистов. Прошло три дня, в течение которых я не мог спать, потому что меня все время пугал полковник Иванов:

– Тинин, ты заплатишь за эти «катюши».

И снова я ходил и расспрашивал всех о стоимости одной «катуши».

В обед третьего дня приехал весь в пыли мотоциклист и сообщил, что в горах на территории Австрии над городком есть монастырь. Ему местные жители рассказали, что туда приехали какие-то машины и солдаты в зеленых фуражках выгнали всех монахов из монастыря.

– Я подъехал к монастырю, – продолжал мотоциклист, – а какой-то солдат как дал очередь из автомата и крикнул: «Пошел вон!» Я быстро смылся.

Сомнений не оставалось, что это были те солдаты с «катушами», которых мы искали. Узнав о победе, они не захотели возвращаться в свои части и заняли этот монастырь. Мы на трех машинах и с мотоциклистами поехали к этому монастырю. С нами был полковник Иванов. Подъехав к воротам монастыря, мы тоже чуть не угодили под автоматную очередь. Тогда полковник Иванов вышел из машины и закричал:

– Какая часть? Почему стреляете? Кто ваш командир?

– Иди ты, кто ты такой? – услышал он в ответ.

– Я следователь особого отдела штаба 57-й армии. Немедленно откройте двери!

Солдатик, который вел переговоры с полковником Ивановым, стоя на толстой стене монастыря, сошел с нее, чтобы, видимо, посоветоваться со старшими в их группе. Наконец двери нам открыли.

Что там было?! Весь личный состав, как говорят в официальных сводках, был смертельно пьян во главе с командиром, которого так и не смогли разбудить.

Все стало ясно. Они ушли от опеки начальства, забрали монастырь, в нем оказалась уйма бутылок и бочек с вином, и три дня праздновали День Победы. Правда, к чести этих вояк должен сказать, что десяток «катюш» они поставили в ряд, зачехлили их. «Катюши» находились в полной боевой готовности.

Мы решили вывозить этот дивизион, но как? Солдаты, они же шоферы, были в доску пьяными. наших шоферов к «катюшам» не допускали. Пришлось отправить в штаб соседней советской дивизии мотоциклиста с полковником Ивановым. Через три часа сюда прибыл «студебеккер» с группой солдат и шоферов. Пьяных солдат штабелями уложили на сундуки с ракетами на грузовики. Так этот дивизион вместе «катюшами» был выведен из монастыря и вернулся наконец в свою часть.

Я с облегчением вздохнул и подал телеграмму генералу Неделину с таким содержанием: «Дивизион катюш отбыл в расположение 57-й армии, где в настоящее время и находится». О расположении и группировке артиллерии болгарской армии здесь я уже ничего не сообщал. Да он больше и не интересовался этой артиллерией, потому что война в Европе закончилась.

К победе люди шли с 1 сентября 1939 года. Шли трудно и мучительно. В результате этой войны были разбиты многие города, сгорели в пламени сражений тысячи сел, убито несколько десятков миллионов человек, были перекроены государственные границы. Одним словом, для людей Европы эта война стала страшным несчастьем. К тому же полный день победы практически еще не наступил. Праздновать его было рано. Шла война на Тихом океане. Но это, казалось, было так далеко от нас, что нас события того региона не интересовали.

Началось возвращение болгарской армии домой. Солдаты везли с войны разные трофеи: кто машину, кто дорогой шкаф, кто подсвечники из бронзы и серебра, а я вез тяжелейший том мирового атласа, который выменял в Вене на 10 пачек папирос. Кроме того, из окон каждого пульмановского вагона, где находились болгарские солдаты, выглядывали симпатичные мордочки венгерок. Они решили уехать из своей, по их мнению, разбитой родины в Болгарию. Не знаю, что их ждало там. Ведь болгарское село в сто раз было более запущенное, чем венгерское.

У меня в Венгрии тоже была любовь. Ее звали Пирушкой Карбуцки. Красота этой женщины была просто ослепительной. В Болгарии, например, все женщины казались мне на один манер – так, средненькими, редко здесь встретишь красавицу или дурнушку, все



средненькие. А вот в Венгрии женщину или совсем не замечаешь, или останавливаешься перед ней с открытым ртом. Так вот, когда я приходил с ней в Капошваре в театр, где мы садились непременно в партере на первый ряд, зрители смотрели не на сцену, а на мою красавицу.

Вы спросите, почему меня удостоили такой чести сидеть в партере на первом ряду? Отвечаю. У меня был закадычный друг еще по Софии, который служил начальником почты армии, Тодор Пенев. Он ежедневно получал из Болгарии посылки с такими адресами: «Самому храброму болгарскому солдату», «Лучшему артиллеристу Первой болгарской армии» или «Самому красивому солдату». Такие посылки он должен был под расписку кому-то вручать. Но ездить по частям, да еще проводить там опрос, кто самый-самый, у него не было возможности, да и не хотелось. Поэтому почти каждый день я приходил на почту и получал таких одну-две посылки, тут же раскрывал их и делился содержимым с почтарями. Остальное я уносил и подкармливал артистов оперетты. Им доставались конфеты, балканский сыр, луканка (копченая колбаса), различные печенья. Так я оказывался и самым храбрым, и самым метким, и самым красивым солдатом болгарской армии. Артисты же с удовольствием давали мне на каждый спектакль два места в первом ряду.

Пирушка меня любила и очень просила, чтобы я взял ее с собой в Болгарию. Она твердила мне: «Ты же граф (граф)», т. е. надежный для жизни человек. Но какой там граф. Я был всего-навсего русским эмигрантом, главным делом которого стал посильный вклад в окончание этой войны. Я сам возвращался в Болгарию и не знал, как она меня примет. В общем, мне некуда было везти Пирушку. Мы расстались с плачем. Я до сих пор жалею о своем поступке. «А может быть, нужно было ее взять с собой?» – каждый раз спрашиваю я себя. Кстати, имя Пирушка по-венгерски означает Краснушка. Прекрасное имя!

В Болгарию мы ехали через Югославию. Но поскольку с югославами у нас были старые счеты, то было приказано ни на одной из остановок не выходить. Кроме того, солдаты закрашивали на вагонах буквы БДЖ (Български държавни железници) и ставили трафарет «СССР», а также два молотка – эмблема наших советских вагонов. Я спросил: «Для чего меняете эмблему?» Мне объяснили, что болгарские, немецкие и венгерские вагоны если проходили через территорию Югославии, то считались ее трофеями, что только советские вагоны пропускались через эту страну. Болгары меняли номера даже на своих трофейных немецких машинах, которых было немало в болгарской армии, потому что они считались трофеями сербов и должны были остаться у них. Много хитростей проявляли и те, и другие, чтобы обмануть друг друга.

Наконец мы прибыли в родную Болгарию, но она показалась мне уже не очень родной и не такой, какой мы ее оставили. Куда-то исчез революционный подъем и азарт. Болгария стала продуманной, проводила более плановую чистку своих рядов. Об этом свидетельствует хотя бы то, что по приезде в страну я узнал, что моя мать как жена белогвардейского офицера была интернирована из Софии в Панагюршите – городок на южных склонах Балканского хребта.

Но я был еще нужен новому правительству, и меня не уволили из армии, а послали в курортный городок Варну, где для офицеров болгар проводились курсы советского стрелкового оружия. Болгарская армия перевооружалась на советский манер. Но советского оружия не знали даже офицеры. Для них и читался соответствующий курс, а я переводил лекции с русского на болгарский язык.



ИД

**Статьи,  
исследования**



Аурика Меймре (Таллинн)  
**«ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ И ОТЕЧЕСТВО»:**  
Эпизод из деятельности русских монархистов в Эстонии<sup>1</sup>

Большая часть русских эмигрантов первой волны оказалась в Эстонии вместе с отступающей армией генерала Юденича в конце 1919 – начале 1920, т. е. до окончания военных действий на Эстонском фронте, но и позже, после подписания мирного договора, так называемого Тартуского мира между Эстонией и Советской Россией 2 февраля 1920, поток эмигрантов не прекратился. Среди сопровождавших армию беженцев было немало представителей русской дореволюционной интеллигенции, общественно-политических и культурных деятелей.

По данным Министерства внутренних дел Эстонии<sup>2</sup>, во второй половине ноября 1919 через пограничные пункты официально проходило по 300–500 беженцев в день, к декабрю это число стало со-

---

<sup>1</sup> В основу этой статьи легли материалы, сохранившиеся в Государственном архиве Эстонии (далее – ЭГА). Использованы были, главным образом, документы, связанные непосредственно с деятельностью русских монархистов в Эстонии, обнаруженные в следующих архивных фондах: 1. Инспекция политической полиции при Министерстве внутренних дел Эстонии (Ф.1. Оп.7. Ед.хр.28, 29-30, 34, 45); 2. Отдел иностранцев МВД Эстонии (Ф.1. Оп.1. Ед.хр.7120); 3. Министерство иностранных дел (Ф.957. Оп.1. Ед.хр.88 и 379; Оп.16. Ед.хр.1907).

<sup>2</sup> Представление о действительном количестве беженцев, перешедших границу Эстонии и проходивших регистрацию на территории страны, можно получить по следующим архивным фондам: 1. МВД (Ф.1. Оп.1, 9-10); 2. Пограничное управление (Ф.501. Оп.1); 3. МИД (Ф.957. Оп.8-9, 16), а также в материалах отдельных префектур различных городов и уездов всей Эстонии.

кращаться, но ненамного. В целом, по данным Военного министерства, к 1920 на территорию Эстонии было впущено около 100 000 бывших военных, принимавших участие в действиях Северо-Западной армии, красных военнопленных и беженцев<sup>3</sup>.

Вместе с ликвидацией Северо-Западной армии и правительства<sup>4</sup> прекратилась деятельность их политических и агитационных отделов, основной целью которых ранее было распространение антибольшевистской пропаганды. Оставшиеся в Эстонии политически активные деятели после некоторого перерыва, определившись в направлении дальнейшей борьбы с большевиками, уже весной 1920 начали организовывать в Эстонии разного рода общества и союзы.

Так, например, с 21 по 30 марта состоялся Первый съезд русских беженцев в Эстонии, на котором обсуждались вопросы, непосредственно касающиеся эмигрантов: оказание материальной помощи беженцам, обеспечение их прав, борьба с тифом, организация школьного дела и культурно-просветительной деятельности русских (в том числе беженцев) в Эстонии. На съезде же было основано Объединение русских эмигрантов, во главе которого встал комитет, а его первым председателем был избран профессор В.А.Рогожников<sup>5</sup>. Вслед за этим были организованы бюро комитета в отдельных городах Эстонии: в Нарве, Тарту, Йыхви, Печорах и других местах.

В 1920 возникает целый ряд других обществ и организаций, занимающихся делами русской общины Эстонии. Так, например, 3 апреля 1920 на первом Русском учительском съезде в Таллинне был основан Центральный союз русских учащихся в Эстонии, в апреле же – Общество русских врачей, 23 августа был утвержден устав Русского национального союза в Эстонии, в декабре основана Русская академическая группа, устав которой был принят и утвержден 14 февраля 1921.

---

<sup>3</sup> Здесь имеется в виду период с возникновения Эстонской Республики, т. е. с 24 февраля 1918 по конец 1919, чем объясняется столь огромное расхождение в количестве прибывших в Эстонию беженцев.

<sup>4</sup> Северо-Западная армия была сформирована 19 июня 1919 на базе Северного корпуса. Приказ о расформировании армии был подписан генералом Юденичем 22 января 1920. Северо-Западное правительство было образовано 10–11 августа 1919. С начала декабря того же года министерства Северо-Западного правительства по очереди начали приостанавливать свою деятельность и распадаться, что в итоге привело к ликвидации всего Северо-Западного правительства (подробнее об этом см., например: Интервенция на Северо-Западе России. 1917–1920 гг. / Отв. ред. В.А.Шишкин. СПб.: Наука, 1995).

<sup>5</sup> Рогожников Владимир Александрович (1874–1932) – бывший профессор Томского университета, горный инженер, под руководством которого с 1916 началась разработка горячего сланца в Эстонии.

Политический спектр русской эмиграции в Эстонии был, как и вообще в русском зарубежье, очень широк, однако в основном это были сторонники монархии, которых, по мнению П.Б.Струве, к 1925 насчитывалось до 85% всех эмигрантов<sup>6</sup>.

К этому надо добавить, что и многие из живших в Эстонии еще до революции русских и немецких дворян были по своим политическим убеждениям монархистами.

Одним из первых внимание Охранной полиции Эстонии привлек Г.Г.Кроммель<sup>7</sup> – бывший начальник контрразведки Северо-Западной армии (в прошлом – член Антибольшевистской лиги этой армии). Во второй половине 1920 он основывает «Северную боевую дружину», деятельность которой, по утверждению самого Кроммеля, была согласована с Эстонским правительством<sup>8</sup>. Это обстоятельство способствовало быстрому развитию организации, к которой стали присоединяться бывшие северозападники, в том числе сотрудничавшие с армией местные немецкие бароны во главе с Р.Хассельбладтом (Reinhold Hasselblatt), бывшим начальником разведки Северного корпуса. Вскоре к организации Кроммеля примкнул сотрудник посольства Советской России в Эстонии В.И.Рыкаткин, который выдал на расходы этой организации один миллион эстонских марок<sup>9</sup>. Через начальника Охранной полиции Эстонии капитана Г.Везма (Helmuth Veem) Кроммель наладил связь и с этой организацией, а связь с посольством Германии установил через некоего Тасецкого, чиновника почтового отделения этого посольства. Наладив эти связи, Кроммель с помощью лейтенанта Северо-Западной армии И.Рацевича связыва-

---

<sup>6</sup> Данные взяты из: *Назаров М.* Миссия русской эмиграции. Ставрополь: Кавказский край, 1992. Т.1. С.57.

<sup>7</sup> Кроммель Герман Густавович (1892–?) – адвокат, общественный деятель. В Эстонии с августа 1918. С мая по ноябрь 1919 служил первоначально в Северном корпусе, затем в Северо-Западной армии, с ноября 1919 по май 1920 – в Балтийском батальоне. После военной службы начал работать помощником присяжного поверенного. Юридический консультант при английской фирме «Бартер Трейдинг» (Barter Trading). 29 июля 1940 был арестован органами НКВД, в 1941 освобожден и депортирован в Германию.

<sup>8</sup> Помимо самого названия «Северной боевой дружины» и утверждения Кроммеля о согласованности действий с Эстонским правительством (см.: ЭГА. Ф.1. Оп.16. Ед.хр.1907. Л.6), каких-либо свидетельств о существовании подобной организации, тем более подтверждающих «согласованность действий», обнаружить не удалось.

<sup>9</sup> Расследованием МВД Эстонии было установлено, что через банк Шель и К°, находящийся в Эстонии, советское посольство регулярно перечисляло на личные счета Кроммеля в этом же банке либо в банк М.М.Варбурга в Гамбурге крупные суммы. Установлено было, что за 1921 и первые два месяца 1922 Кроммель получил около 2,5 миллионов эстонских крон. См. об этом: ЭГА. Ф.1. Оп.16. Ед.хр.1907. Л.4.



ется с военным представительством Англии в Эстонии, однако англичане, быстро поняв провокационные цели Кроммеля, вскоре прекратили с ним отношения.

Во время войны Советской России с Польшей Кроммель предлагает свои услуги польскому посольству, обещая организовать для переброски в тыл Красной армии отряды из бывших воинов-северозападников. Идея Кроммеля понравилась полякам, которые ассигновали ему значительную сумму и помогли установить контакты с Б.Савинковым, находившимся в то время в Варшаве, а также с графом Паленом в Риге.

В доказательство серьезности своих обещаний Кроммель посылает агентов к разоруженным северозападникам. В результате во второй половине 1920 были зарегистрированы отдельные группы добровольцев в Нарве, Раквере, Тапа, Тарту и других местах. Первая группа из 10–15 человек была переправлена в Советскую Россию ранней осенью 1920, однако через несколько часов после перехода границы группа вернулась, сообщив, что на границе началась стрельба. Вскоре была послана следующая группа, судьба которой была еще трагичнее: часть людей погибла, часть была арестована, лишь некоторым удалось вернуться. После этого случая сотрудничавшие с Кроммелем лица заподозрили предательство: с одной стороны, Кроммель организует отряды, переправляет их через границу, с другой стороны, на советской границе всегда в эти дни почему-то оказывается больше красноармейцев, чем обычно.

Единственная акция Кроммеля, доказавшая серьезность его предложений, относится к осени того же 1920: на пароходе «Саратов» из Эстонии в Польшу была переправлена часть добровольцев, бывших северозападников.

Кроммель и его организация в результате целого ряда «неудачных» акций потеряли всякое доверие бывших воинов, а также представителей правительства Польши, отказавшегося субсидировать эту деятельность. Оставались, однако, связи и поддержка советского посольства, а также контакты с берлинскими монархистами. Последние были нужны для того, чтобы скрытно осуществлять основную деятельность – сбор информации в пользу Советской России.

Одним из поводов для приостановления деятельности организации Кроммеля послужило Кронштадтское восстание, во время которого Кроммель был якобы избран монархистами в министры иностранных дел будущей Российской империи<sup>10</sup>. Кроме того, как во время восстания, так и до и после него на квартире Кроммеля и некоторых других офицеров, бывших северозападников, устраивались вечера, на которые собирались небольшие группы бывших чинов

<sup>10</sup> См. об этом: ЭГА. Ф.1. Оп.1. Ед.хр.7120. Л.2.

армии. Их целью, по официальной версии (по показаниям, данным Охранной полицией<sup>11</sup>), было обсуждение причин поражений различных военных операций.

8 марта 1921 одно из подобных собраний, проходившее на квартире Н.Н.Иванова<sup>12</sup>, было разогнано, и, по рапорту начальника Охранной полиции, из Эстонии предложено было выслать «активнейших членов тайной монархической организации: Н.Березина, П.Хвольнского, П.Быстрова, В.Ведякина»<sup>13</sup>. Несколько дней спустя список был дополнен именами Н.Н.Иванова, С.Н.Иванова, К.Кривошеина, К.Введенского, Б.Агапова и Г.Кроммеля, двое последних выслались из районов, где было объявлено военное положение. Следует отметить, что все перечисленные лица имели хорошую юридическую подготовку, что дало им возможность избежать высылки из страны, да и не все из названных монархистов имели отношение к разносторонней «политической» деятельности Кроммеля.

Таким образом была приостановлена деятельность организации Кроммеля, поскольку эстонские власти все же убедились в ее неблагонадежности: помимо перечисленных членов организации Кроммеля, которым грозила высылка из страны, капитан Везм, снабжавший организаторов отрядов удостоверениями Охранной полиции, был уволен с должности начальника этого ведомства, а Рыкаткин, служащий советского посольства, был депортирован из страны.

По-настоящему активная монархическая деятельность в русской общине Эстонии стала развиваться после первого основополагаю-

<sup>11</sup> ЭГА. Ф.1. Оп.1. Ед.хр.7120. Л.2.

<sup>12</sup> Иванов Николай Никитич – присяжный поверенный, один из ответственных редакторов ежедневной демократической газеты «Новая Россия», издававшейся в Таллинне в 1919. В марте 1919 был одним из создателей Практической народной партии. Политические взгляды и деятельность Иванова были весьма запутанными: в программе своей партии Иванов подчеркивал свои леводемократические убеждения, в то же время в политической борьбе был союзником С.Н.Булак-Балаховича, образуя тем самым русско-эстонскую группу, соперничавшую с военной диктатурой и основанную на отрицательном отношении к Юденичу. Группа Иванова–Балаховича выступала с самого начала за признание независимости Эстонии. В период организации Северо-Западного правительства Иванов требовал себе портфель министра внутренних дел («иначе он будет устраивать *coup d'etat* <государственный переворот (франц.)> с Балаховичем». – См.: *Горн В.* Гражданская война на Северо-Западе России // Революция и Гражданская война в описаниях белогвардейцев. М., 1991. С.292). Н.Н.Иванов выступал также против большевиков, отчасти и против монархистов. Однако 22 марта 1921 министром внутренних дел Эстонии было принято решение о высылке Иванова и других антигосударственных деятелей из Эстонии. В результате долгой борьбы против высылки Иванову все же пришлось покинуть Эстонию – 20 августа 1921 он уехал в Германию (см. об этом: ЭГА. Ф.1. Оп.1. Ед.хр.7120).

<sup>13</sup> См. об этом: Там же. Л.1.

шего съезда монархистов – Съезда хозяйственного восстановления России, проходившего с 29 мая по 7 июня 1921 в баварском городе Бад Рейхенгалль (Bad Reichenhall). Среди более чем ста делегатов съезда должен был быть и представитель от Эстонии – Н.А.Ордовский-Танаевский<sup>14</sup>, но и эстонские, и германские власти отказались дать разрешение на его поездку.

Согласно резолюции по докладу Комиссии по военным делам, приложенной к протоколу от 2 июня, «весь офицерский состав бывшей и будущей русской армии должен быть всемерно поддержан как нравственно, так и материально, а потому признается необходимым организовать на местах офицерские союзы взаимопомощи»<sup>15</sup>.

Следует отметить, что подобные организации создавались в Эстонии еще до принятия этого решения. Так, 15 октября 1920 в Эстонии было основано общество «Белый крест», главной целью которого было «оказание организационной, правовой, духовной и материальной помощи бывшим чинам Северо-Западной армии, находящимся в Эстонии»<sup>16</sup>. Этих целей предполагалось достичь в сотрудничестве с «надлежащими эстонскими властями и находящимися в Эстонии иностранными миссиями и представителями Красного Креста»<sup>17</sup>. Вокруг общества «Белый крест», отказавшего в поддержке предприятиям Кроммеля<sup>18</sup>, в итоге действительно стало развиваться русское монархическое движение.

Помимо «Белого креста» в архивных документах постоянно упоминается нелегальный «Союз верных». Судя по сохранившемуся в Государственном архиве экземпляру Устава «Союза верных», в Эстонии должно было существовать лишь ответвление более крупной организации, ставившей своей целью «отмену всех захватов революции, восстановление полной силы Основных законов Империи Российской, восшествие на прародительский престол законного императора и созыв Всесословного собора для выработки плана необходимых преобразований и мероприятий по выведению России из настоящего бедственного состояния»<sup>19</sup>. После же «воцарения законного императора, до полного умиротворения России и подавления враждебных Империи сил, Союз пребудет верою, опорой царского престола»<sup>20</sup>.

<sup>14</sup> Ордовский-Танаевский Николай Алексеевич – один из культурных и театральных деятелей Эстонии с конца 1890-х. В материалах ЭГА (Ф.957. Оп.1. Ед.хр.88. Л.8) указан как Ордовский-Данаевский Н.А. – гувернер.

<sup>15</sup> Там же.

<sup>16</sup> ЭГА. Ф.1. Оп.7. Ед.хр.28. Л.208.

<sup>17</sup> Там же.

<sup>18</sup> См. об этом: ЭГА. Ф.957. Оп.16. Ед.хр.1907. Л.5.

<sup>19</sup> Там же. Ф.1. Оп.7. Ед.хр.28. Л.210-213.

<sup>20</sup> Там же.

Судя по рапортам и отчетам агентов Охранной полиции, членами Союза был выполнен ряд намеченных Уставом этой организации задач. В частности, «раскидывание сети учреждений С<оюза> В<ерных> и направление их деятельности к согласованному достижению общей всем цели»: так, соответствующие подразделения были созданы во всех крупных городах Эстонии: в Нарве, Тарту, Пярну, Вильянди, не говоря уже о Таллинне. Одной из самых важных задач считалась «подготовка и направление деятельности просветительных, агитационных, трудовых и боевых отрядов»<sup>21</sup>.

Согласно отчету агента Охранной полиции Эстонии Ивана Егорова<sup>22</sup> от 6 марта 1923, генералом Васильковским<sup>23</sup> был «выработан подробный план формирования на территории Эстии русских партизанских отрядов и переброски таковых через Эсто-русскую границу в Советскую Россию. <...> Составлены проекты штатов, командный состав намечен персонально, определены пункты и способы перехода границы и на первое время выработаны диспозиции. Вооружение и снаряжение рассчитывают получить от того государства, против которого будут воевать большевики, в соответствии с этим устанавливаются и пункты перехода. Таким образом, по мнению Васильковского, в случае войны Советской России с Эстонией он получит необходимое обмундирование, вооружение и снаряжение от генерала Соотса<sup>24</sup>, с которым он хорошо знаком. Верховное руководство партизанскими отрядами Васильковский оставляет за собой»<sup>25</sup>.

Важной задачей «Союза верных» названа «закладка тайных ячеек в среду политических, военных, культурных, экономических, про-

<sup>21</sup> ЭГА. Ф.1. Оп.7. Ед.хр.28. Л.210-213.

<sup>22</sup> Личность Ивана Егорова установить пока не удалось, но по его отчетам понятно, что он был максимально приближен к верхам русской общины в Эстонии, был лично знаком с многими активными деятелями (А.Янсоном, О.Васильковским, А.Чернявским, Г.Тарасовым и многими другими).

<sup>23</sup> Васильковский Олег Петрович (1879–1944) – генерал; начальник Петроградского военного округа во время правления А.Ф.Керенского. В Эстонии с 1920 в качестве представителя Белоруссии в Эстонии и в Финляндии (см.: ЭГА. Ф.1. Оп.7. Ед.хр.39. Л.7). Владелец торговой фирмы «Нептун» по обслуживанию морских судов. Стоял во главе Союза русских увечных воинов-эмигрантов. В 1930-е был членом центрального правления Общества помощи бывшим русским военным служащим и одним из руководителей Союза русских инвалидов в Эстонии. Репрессирован, умер в лагере.

<sup>24</sup> Соотс Яан (1880–1942) – генерал-майор Эстонской армии, общественный и военный деятель Эстонии. В 1900 поступил добровольцем в Российскую армию, в 1904 окончил Вильнюсскую военную школу и в 1913 – Петербургскую Николаевскую военную академию, участник Русско-японской войны. В Эстонию вернулся в 1917. В отставке с 1920. В 1921–1923 и 1924–1927 – военный министр Эстонии. Арестован НКВД в 1940, казнен в лагере.

<sup>25</sup> ЭГА. Ф.1. Оп.7. Ед.хр.28. Л.69-69а.

фессиональных и иных самостоятельных организаций»<sup>26</sup>. И над этой проблемой активно работали русские, а также другие группы монархистов. Эмигрантами монархической направленности было занято немало стратегически важных мест и должностей. Эстонские власти отмечали, что русские монархисты пытались устроиться «на теплых, информативных» государственных должностях. Так, например, в Эстонской военной школе работали лекторами генерал Баиов<sup>27</sup>, генерал-майор Лебедев<sup>28</sup> и другие бывшие военные деятели императорской армии. Следующей целью монархистов было установление связей с ведущими государственными деятелями (в переписке с берлинским центром неоднократно фигурирует имя генерала Й.Лайдонера<sup>29</sup> в качестве единственно возможной кандидатуры среди эстонцев на пост главы государства).

Среди основных своих задач монархисты отмечали «организацию поддержки и пропаганды русского монархического дела среди иностранных народов и их правительств» и «издание и распространение агитационной литературы и организацию тайной и явной пропаганды»<sup>30</sup> (см. об этом ниже).

Архивные документы не дают конкретных ответов на вопрос о том, кто из эстонских членов «Союза верных» какую должность занимал, однако, судя по самому общему описанию иерархии, эстонский «Союз» должен был подчиняться центральному «Союзу» во главе с «Местоблюстителем царского престола, которому принадлежит вся полнота власти в С<оюзе> В<ерных>, каковую он осуществляет через Верховный Совет»<sup>31</sup>.

Хотя официально зарегистрированных организаций или объединений у монархистов в Эстонии не было, у них были свои лидеры и

<sup>26</sup> ЭГА. Ф.1. Оп.7. Ед.хр.28. Л.210-213.

<sup>27</sup> Баиов Алексей Константинович (1871–1935) – военный ученый, историк. В Эстонии с 1919. См. о нем: *Исаков С.Г.* Русские в Эстонии. 1918–1940: Историко-культурные очерки. Тарту, 1996. С.305-308.

<sup>28</sup> Лебедев Дмитрий Капитонович (1872–1935) – военный деятель. Окончил в 1895 Вильнюсскую военную школу и в 1904 – Петербургскую Николаевскую военную академию, куда в 1911 был приглашен в качестве лектора. В Первую мировую войну – офицер Генштаба, в 1918–1920 – на Северо-Западном фронте. С 1921 жил в Эстонии. Умер от сердечного приступа.

<sup>29</sup> Лайдонер Йохан (1884–1953) – генерал, государственный и военный деятель. Окончил в 1905 Вильнюсскую военную школу и в 1912 – Петербургскую Николаевскую военную академию. В 1915–1916 – помощник начальника штаба разведки Западного фронта, в 1916–1917 – начальник штаба дивизии. Главнокомандующий Эстонской армией в 1918–1920, с декабря 1924 по январь 1925 и с марта 1934 по 1940. Депортирован в 1940 в Пензу, арестован в 1941. Умер в заключении.

<sup>30</sup> ЭГА. Ф.1. Оп.7. Ед.хр.28. Л.210-213.

<sup>31</sup> Там же.

велась деятельность, которую большей частью можно определить как пассивную, но в достаточной степени опасную для молодой Эстонской республики. Это послужило причиной установления за монархистами слежки.

Согласно отчету начальника информационного отдела МВД от 21 декабря 1922, лидером таллинских монархистов был граф А.Н.Игнатъев<sup>32</sup>, которому было доверено распределение 50 датских крон, поступающих каждые 2–3 месяца от императрицы Марии Федоровны на деятельность местных монархистов. Помимо названной суммы, местные монархисты получали в год по 3000 шведских крон от российского посольства в Швеции.

К этому же времени в эмигрантских кругах укрепилась надежда на скорое возвращение на родину, в связи с чем появилась необходимость в более активных группах. Целью большей части русских монархистов была временная кооперация с монархистами немецкой ориентации. Но уже в 1923, когда лидеры русских монархистов сменились, наметились разногласия, приведшие к параллельному существованию этих организаций. Тем не менее связь между русскими и немецкими монархистами поддерживалась через уже упомянутого графа Игнатъева и фон Нотбека<sup>33</sup> – посредством общества «Белый крест».

С начала 1923 года эстонские власти уже совершенно четко разделили монархистов на две основные группы: во-первых, *русские монархисты* и, во-вторых, *монархисты немецкой ориентации*. Русская часть, в свою очередь, делилась на *активную* и *пассивную* подгруппы. Активные русские монархисты объединялись вокруг «Союза верных», общей, глобальной целью которого было строительство единой и неделимой России, свержение советской власти военными силами. Духовным лидером этой части русских монархистов был полковник Агапов<sup>34</sup>. В Эстонии же их основной задачей

---

<sup>32</sup> Игнатъев Алексей Николаевич – бывший военный агент царского правительства в Париже, зам. председателя общества «Белый крест», член Ревельского союза инженеров, приходского совета Никольской церкви в Таллинне.

<sup>33</sup> Нотбек Курт Иванович – в Эстонию приехал из Хельсинки летом 1918. С января по июнь 1919 служил на миноносце «Леннок», первоначально в качестве инструктора, затем вторым офицером по оружию. С лета 1919 по начало марта 1920 – в Северо-Западной армии. После окончательного расформирования армии работал в рекламном агентстве «ИРА».

<sup>34</sup> Агапов Борис Евгеньевич (1884–?) – общественный деятель Эстонии в 1920-е, член Комитета эмигрантов. На военную службу Агапов вступил «в 1915 г. добровольцем, пожертвовав ради этого ученой карьерой, оставленной при Петергофском университете для приготовления к профессорскому званию, освобождая его навсегда от призыва по закону. Окончив ускоренный курс Павловского военного училища, был произведен в первый офицерский чин (прапорщика) и, как окончивший училище одним из первых, был выпущен по артиллерии (22-й легкий мортирный дивизион). <...> В июле 1917 г. по отбытии на фронт был

была моральная поддержка пассивной группы, разного рода агитационная работа и подготовка эстонской общественности к воссоединению «по собственному желанию» с будущей Россией.

Пассивную группу образовали монархисты, объединившиеся во круг общества «Белый крест», во главе которого стоял граф Игнатъев, секретарем же был фон Нотбек. Национально настроенная русская часть монархистов Эстонии полностью подчинялась избранному в 1921 русскому Высшему монархическому совету и держала сторону великого князя Николая Николаевича. Помимо сотрудничества с берлинской частью Совета, русские монархисты в Эстонии находились в тесном контакте с парижскими монархистами во главе с генералом Миллером<sup>35</sup>. При сравнении деятельности активных и пассивных монархистов один из агентов МВД приходит к выводу, что «т<ак> н<азываемые> пассивные монархисты объединились под символом бывшей армии Юденича, “Белым крестом”, и являются более организованной частью, чем активные. У них есть свои подорганизации по всей Эстонии. <...> Поскольку они в настоящее время особой политической деятельностью не занимаются, их следует считать пассивными»<sup>36</sup>.

Подобно русским, монархисты немецкой ориентации также не имели конкретных объединяющих организаций, что, однако, не мешало их активной политической и экономической деятельности. Основными деятелями монархистов немецкой ориентации были бывшие остзейские бароны, которые «думают об Эстонии, Латвии и Литве как о немецких провинциях»<sup>37</sup>.

откомандирован из состава 22-го легкого мортирного дивизиона в личное распоряжение командира 32-го арм<ейского> корпуса, а засим был назначен военным следователем корпуса. В августе месяце по личной просьбе начальника штаба сухопутных войск, подчиненных командующему флотом Балтийского моря, был командирован в г. Гельсингфорс для занятия вновь учрежденной при штабе должности начальника политического отдела» (ЭГА. Ф.1. Оп.1. Ед.хр.7120. Без паг.). Начало связей с Эстонией относится к 1913, когда он познакомился со своей будущей женой Марией Графф. Постоянно в Эстонии с 1917.

<sup>35</sup> Миллер Евгений Карлович (1867–1939) – генерал. В 1892 окончил Петербургскую Николаевскую военную академию Генерального штаба. С осени 1917 – представитель Ставки Главковерха при итальянском главнокомандовании. В январе 1919 приглашен в качестве генерал-губернатора во Временное правительство Северной области, в мае Колчаком назначен главкомом войск Северной области, в сентябре – главным начальником края. В феврале 1920 воссоздал Временное правительство Северной области, заняв в нем посты военного министра и управляющего иностранными делами. После разгрома Белоповстанческой армии бежал в Скандинавию, затем во Францию. Был уполномоченным Врангеля в Париже. Глава Ассоциации ветеранов Гражданской войны. В 1924–1930 занимал ряд должностей в РОВСе. Глава РОВСа в 1930–1937. Похищен агентами ГПУ (см. об этом: *Назаров М. Миссия русской эмиграции. С.237-239*). Расстрелян в Москве в мае 1939.

<sup>36</sup> ЭГА. Ф.1. Оп.7. Ед.хр.28. Л.16.

<sup>37</sup> Там же. Л.16а.

Эта часть монархистов делилась на три группы:

1) немецкие националисты, которых поддерживали эстонцы, так называемые «прилипалы»;

2) немецкие монархисты, поддерживавшие русских, но готовые в любой момент присоединиться к националистам – с целью покончить с существованием Эстонской Республики; к ним главным образом относились бывшие бароны, служившие и воевавшие в Российской армии;

3) не определившиеся – эстонцы, которым совершенно все равно, при каком государстве жить.

Основным центром немецких монархистов в Эстонии был союз остзейских баронов «Риттербунд» («Ritterbund»), членами которого были и некоторые русские монархисты – прибалтийские помещики. В этот союз могли входить только представители высших сословий. Менее знатными монархистами немецкой ориентации по всей Эстонии были созданы разнообразные общества и клубы, работали школы.

Охранная полиция Эстонии имела подробную информацию о деятельности немецких монархистов-националистов, подтверждающую их намерение сначала установить монархию в Германии, а лишь затем в России. Судьба же лимитрофов была определена следующим образом: «Литва и Латвия присоединяются к Германии, другие пограничные государства – к России»<sup>38</sup>. Единственное отличие в программах русских и немецких монархистов заключалось в том, что, по утверждению Высшего монархического совета, отделившиеся государства должны были присоединиться к будущей империи по «добровольному» желанию, о чем в проекте «Гейматбунда» («Heimatbund») нет ни слова.

С точки зрения эстонской государственности и ее будущего, более опасными были монархисты немецкой ориентации, ставившие своей целью подчинение Эстонии немецкому влиянию – как экономическому, так и политическому, – к началу 1923 под их контролем находились банки Шеля и К°, а также Русский банк (филиал немецкого банка), универмаги «Бим», «Промит» и т. д., они также поддерживали тесный контакт с остзейскими баронами.

Как отмечалось выше, у русских монархистов были свои ячейки и в эстонской провинции. Так, по данным МВД, в конце 1922 – начале 1923 активизировались нарвские монархисты, которые организовали три группы. Во главе первой, нарвской, группы стояли бывший полковник Севастьянов и бывший чиновник Северо-Западной армии Рымдзенко (будучи рядовым чиновником без каких-либо военных званий, сам он называл себя то ротмистром, то полковником, был также членом организации Кроммеля и действовал как предста-

<sup>38</sup> ЭГА. Ф.957. Оп.1. Ед.хр.88. Л.33.



витель английских и польских разведывательных организаций, отправляя их агентов через границу в Россию). В Нарве же Рымдзенко организовал игорный клуб, где, по официальной версии, собирались лишь с целью общения и игры. Из провинциальных групп наиболее активной была именно нарвская, так как в других рапортах с мест наряду с перечнем монархистов везде неизменно отмечалась их слабая активность.

В 1920-е выслать русских эмигрантов из Эстонии было почти невозможно, поскольку их, граждан бывшей Российской империи, нельзя было отправить в страну, которой уже не существовало, да и мало кто из русских общественно-политических деятелей был гражданином другого государства. Провинившихся можно было выселить за пределы зоны, где было объявлено военное положение, в частности – интернировать на остров Кихну.

Следует отметить, что высланные из Таллинна (зоны объявленного военного положения) монархисты быстро становились руководителями организаций на местах. Так, например, Б.Агапов, высланный в марте 1923 в Пярну (весь 1922 год он занимался агитацией бывших воинов Северо-Западной армии за вступление в «Союз верных» и пересылал в центр соответствующие анкеты с собственными рекомендациями), продолжил во временной ссылке свою деятельность, понимая, что его, гражданина Эстонии, выдворить из страны все равно не могут.

С февраля 1923 в оперативных материалах все чаще появляется имя генерала О.П.Васильковского, возглавившего группу националистически настроенных русских монархистов. Целью группы было построение новой России во главе с великим князем Николаем Николаевичем. Правительство будущей России должно было быть, по их мнению, свободным от немецкого и еврейского влияний. В отличие от остальных монархистов, у группы Васильковского не было никаких конкретных предложений относительно лимитрофов, скорее всего, по мнению МВД Эстонии, в этом вопросе они не представляли для Эстонии опасности, их деятельность скорее мешала монархистам немецкой ориентации.

Однако, несмотря на подобное отношение к генералу Васильковскому и его группе, наблюдение за ними велось. Так, 26 января 1923 начальник Охранной полиции постановил, в связи с усилившейся монархической деятельностью, провести обыск на квартирах нескольких монархистов, членов «Союза верных»<sup>39</sup>: О.П.Васильковского,

---

<sup>39</sup> Следует отметить, что в рапорте от 8 февраля 1923 о парижском конгрессе монархистов сообщается, что «Союз верных» «умер уже в 1921 году. Правильнее сказать – никогда не жил». См. об этом: ЭГА. Ф.1. Оп.7. Ед.хр.28. Л.54а.

К.И.Нотбека, А.Н.Игнатъева, Б.Г.Бояринцева, В.И.Чернозерского, Н.К.Вольфа и А.И.Иванова<sup>40</sup>.

Обыск на квартире генерала Васильковского был произведен на следующий же день после издания приказа, однако найти ничего не удалось. Любопытно, что на следующий день, 28 января, агент И.Егоров сообщал: «Первый, узнавший об обыске у ген<ерала> Васильковского, был Петр Пильский<sup>41</sup>; он почему-то заходил к Васильковскому на квартиру. Сейчас же он сообщил по телефону в редакцию газеты “Последние известия”<sup>42</sup> и сказал так: “Сейчас произведен обыск у Васильковского и у многих русских. Может быть, зайдут к вам”»<sup>43</sup>.

Помимо обыска, все упомянутые лица были приглашены на допрос, где они, судя по протоколам, отвечали на примерно одинаковые вопросы: время прибытия в Эстонию, деятельность в прошлом и в настоящем.

Генерал Васильковский дал свои показания 19 февраля. Кроме указанных вопросов, ему пришлось ответить на один дополнительный, относящийся к происшествию, непосредственно связанному лично с ним. В ноябре 1922 в таллиннской Католической церкви была устроена панихида по павшим на войне с Германией. В церкви был установлен катафалк со знаменами союзников, а также новых прибалтийских государств. Непосредственно перед службой последним подошел к катафалку генерал Васильковский и покрыл царским бело-сине-красным знаменем все остальные. Подобный поступок привлек внимание всех присутствующих, в том числе и полицейских, посланных на это мероприятие. В своем ответе Васильковский не отрицал содеянного, но уточнил, что не имел при этом никакого политического, антигосударственного замысла.

С одной стороны, Охранная полиция не считала деятельность группы Васильковского опасной для эстонской государственности, более того, относила их к неактивной части русских монархистов, с другой же – из-за упомянутого поступка – не хотела его возвращения в Эстонию: 8 января 1923 об этом случае дали показания трое свидетелей, после чего был составлен рапорт о деятельности Васильковского, поверх которого министр внутренних дел Эстонии

<sup>40</sup> См. об этом: ЭГА. Ф.1. Оп.7. Ед.хр.30-37.

<sup>41</sup> Пильский Петр Моисеевич (1881?–1941) – критик, журналист общественный и культурный деятель. Жил в Эстонии с 1922 по 1927. См. о деятельности Пильского в Эстонии: *Меймре А.* П.М.Пильский в Эстонии: 1922–1927 // Балтийский архив. Русская культура в Прибалтике. Таллинн, 1996. Т.1. С.202-217, и другие работы того же автора.

<sup>42</sup> Ежедневная газета «Последние известия» издавалась в Таллинне, с некоторыми перерывами, с 1920 до 1927.

<sup>43</sup> ЭГА. Ф.1. Оп.7. Ед.хр.28. Л.43.

К.Эйнбунд<sup>44</sup> написал: «Васильковского надо задержать на границе Эстонии во время его возвращения из Праги»<sup>45</sup>, однако в ночь на 10 января Васильковский перешел границу и приехал в Таллинн. Но еще до января 1924 он все же был из Таллинна выслан.

После высылки Васильковского во главе таллиннской группы националистически настроенных русских монархистов встал генерал от инфантерии В.Н.Горбатовский<sup>46</sup>, получавший пенсию, «назначенную ему из собственных средств императрицы Марии Федоровны»<sup>47</sup>. Подобно Васильковскому, Горбатовский в 1924 занимается регистрацией «офицеров-эмигрантов на случай мобилизации армии ген<ерала> Врангеля, при выступлении <...> офицеры, служившие ранее у Врангеля, имеют то преимущество, что числятся только в отпуску, внося определенный им взнос <...> сведения пересылаются в Париж, генералу Лебедеву, как говорят, при содействии быв<шего> полковника лейб-гвардии Конного полка фон Валь»<sup>48</sup>. Помимо регистрации офицеров, Горбатовский распространял запрещенный в Эстонии «Вестник Высшего монархического совета», получал информацию из Парижа и Берлина, стараясь при этом оставаться в тени.

С лета 1924, после смерти Горбатовского, в делах монархистов все чаще начинает фигурировать имя генерала А.К.Баиова, работавшего с марта 1920 по февраль 1926, как было указано выше, лектором в Эстонской военной школе. Немало неприятностей принесли Баиову похороны В.Н.Горбатовского, где он произнес речь, отрывки которой были опубликованы в эстонской газете «Vaba Maa» («Сво-

---

<sup>44</sup> Эйнбунд Карл (с 1935 – Ээнпалу Каарел; 1888–1942) – видный государственный деятель Эстонии. В 1909–1914 учился на юридическом факультете Тартуского университета, выпускные экзамены сдал при Московском университете. Участник Первой мировой войны (1914–1917) и Освободительной войны (1918–1919). В 1920, 1921–1924, 1924–1926 – министр внутренних дел Эстонии, считается создателем эстонской полиции. В 1926–1934 – председатель Государственного собрания Эстонии. С 19 июля по 1 ноября 1932 – глава государства; в 1934–1938 – министр внутренних дел и вице-премьер-министр. 27 июля 1940 был арестован, умер в Кировской области в заключении.

<sup>45</sup> ЭГА. Ф.1. Оп.7. Ед.хр.30. Л.3.

<sup>46</sup> Горбатовский Владимир Николаевич (1851–1924) – генерал. По окончании 2-го Петербургского кадетского корпуса поступил в Павловское военное училище, откуда был выпущен в 1870. Участник Русско-японской войны. После войны в течение четырех лет был начальником Московского Александровского военного училища. Участвовал в Первой мировой войне, где заслужил чин генерала от инфантерии. В Эстонию Горбатовский прибыл в 1919 из Советской России через Финляндию, тайно перейдя границу в Карелии. Добравшись до Юденича, получил от него материальную поддержку и поступил на службу в Военное министерство Северо-Западного правительства. После ликвидации Северо-Западной армии остался жить в Эстонии (см. об этом: Там же. Ед.хр.28. Л.133-135а).

<sup>47</sup> Там же. Л.133.

<sup>48</sup> Там же. Л.139-140.

бодная страна»). Скорее всего, из-за места работы генерала эстонская военная общественность пыталась смягчить значение его высказывания и опубликованного в периодике отрывка, но неприятностей Баиову было не избежать. Агент Охранной полиции И.Егоров особенно выделил именно этот аспект: «Со своей стороны, должен категорически подтвердить, что ни одного эстонского воинского члена (кроме самого генерала Баиова) на похоронах не присутствовало и что отрывки речи последнего воспроизведены в газете "Vaba Maa" со стенографической точностью»<sup>49</sup>.

В эстонских монархических кругах Баиов «играл руководящую роль в местной группе офицеров-врангельцев»<sup>50</sup>. Будучи председателем Русского клуба в Таллинне, Баиов поддерживал тесный контакт с «Белым крестом», где при выдаче денежных пособий всегда считались с его мнением. В качестве председателя Русского клуба Баиов подписал приветственную телеграмму великому князю Николаю Николаевичу. В 1926 Баиов был избран делегатом для поездки в Париж, где пребывал с марта по май, дважды посетив там великого князя.

В середине 1920-х, в период руководства Горбатовского и Баиова, у русских монархистов в Эстонии появляются собственные органы печати, хотя направление этих изданий определялось главным образом как «национальное». Так что, с точки зрения государственной бюрократии, формально их нельзя было считать партийными, но и по содержанию, и по авторскому составу некоторые из этих изданий носили явно монархический характер: ежедневные и еженедельные газеты «Ревельское время», «Ревельское слово», «Час», «Наш час», «Русский голос», «Ревельские последние известия» и «Наши последние известия», а также журнал «Эмигрант». До их появления в Эстонии вышло два самостоятельных издания: «Кто наш главный враг?» (1921) и «В единении сила» (1922), изданных «николаевцами» – генералом Васильковским и бывшим северозападником А.И.Ивановым. По показаниям издателя Иванова, целями этих изданий было «вывести на чистую воду большевистскую власть, которая состоит главным образом из немцев и евреев и работает, соответственно, не в пользу России»<sup>51</sup>.

Среди местных русских журналистов внимание агентов Охранной полиции, во главе с Иваном Егоровым, привлекли личности вышеупомянутого в связи с обыском генерала Васильковского П.Пильского и А.Чернявского<sup>52</sup>. Деятельность первого, судя по архивным

<sup>49</sup> ЭГА. Ф.1. Оп.7. Ед.хр.28. Л.177а.

<sup>50</sup> Там же. Л.177.

<sup>51</sup> Там же. Ед.хр.33. Л.4.

<sup>52</sup> Чернявский Александр Васильевич (1884–?) – журналист, деятель культуры. В Эстонии жил с 1915 или 1916 по 1939, затем уехал в Германию. По дан-

материалам, интересовала МВД лишь в 1923, позже, в 1925, Пильский сам пытался выказать свое отрицательное отношение к монархистам. В статье, опубликованной в рижской ежедневной газете «Сегодня»<sup>53</sup>, он писал, что «возникла, выходила и окончилась монархическая газета ген<ерала> Баиова “Ревельское время”. Теперь появился “Час”, и тот же ген<ерал> Баиов письмом в редакцию заявляет о полной своей непричастности к новому органу»<sup>54</sup>.

Зато А.Чернявский постоянно был у полиции на виду. Впервые его имя в деле МВД о монархистах появилось в отчете агента Егорова от 23 мая 1924, посвященном монархической периодике, распространению воззвания великого князя Николая Николаевича и отправки ему приветственных телеграмм с мест рассеяния русских эмигрантов. Подобная телеграмма, по словам Егорова, была послана А.Чернявским от имени эмигрантов Коппельского района<sup>55</sup>. Избрание Чернявского доверенным лицом Егоров описывает следующим образом: «на концерт-митинге в Коппель выступивший оратором Чернявский просил собрание уполномочить его на отправление приветственной телеграммы главе государства г-ну Пятсу<sup>56</sup>, с выражением благодарности за оказываемое эмигрантам гостеприимство. Когда

---

ным агента И.Егорова, А.Чернявский «по политическим убеждениям – монархист, был помощником присяжного поверенного и юрисконсультом Северо-Западной армии. Ныне <в 1923–1924> он руководитель газеты “Последние известия”, где ежедневно пишет передовицу. Кроме того, он помещает статьи под псевдонимами “Александр Черниговский, Сарматов, А.Борисоглебский” и др. Статьи его всегда сквозят крайним правым направлением и отличаются резкими нападками на большевиков. Он состоит фактическим редактором журнала “Эмигрант”, но держит на жаловании так называемого “ответственного редактора” этого же журнала – вдову Кольтрын, 65-летнюю, неинтеллигентную женщину из прислуг. <...> Чернявский прочел в разных городах и местностях Эстонии цикл лекций на тему о грядущей национальной России, которую он видел конституционно-монархической при двухпалатной системе. Он ведет конфиденциальную переписку с парижскими русскими монархистами, пользуясь для этого почтовым ящиком в Ревельской почтовой конторе» (см.: ЭГА. Ф.1. Оп.7. Ед.хр.28. Л.178-179а).

<sup>53</sup> «Сегодня» – ежедневная газета, издававшаяся в Риге с 1919 по 1940. См. об издании: Флейшман Л., Абызов Ю., Равдин Б. Русская печать в Риге: Из истории газеты «Сегодня» 1930-х годов: В 5 кн. Stanford, 1997. (Stanford Slavic Studies. Vol.13-17.)

<sup>54</sup> См. об этом: Пильский П. Эстонские впечатления // Сегодня. 1925. №293, 30 декабря.

<sup>55</sup> Один из жилых районов Таллинна.

<sup>56</sup> Пятс Константин (1874–1956) – государственный деятель, юрист. Первый президент Эстонской республики (1938–1940), глава государства с января 1921 по ноябрь 1922, с августа 1923 по март 1924, с февраля 1931 по февраль 1932, с ноября 1932 по май 1933, с октября 1933 по январь 1934 и с марта 1934 по 1938. Арестован в 1940, умер в лагере.

предложение было принято, Чернявский сообщил, что отныне Великий Князь Николай Николаевич признан Главою Императорской фамилии и согласился принять на себя бремя Верховного руководства всем русским национальным движением, и обратился к собранию с просьбой сделать ему честь и уполномочить его, Чернявского, на посылку Николаю Николаевичу приветственной телеграммы. Присутствовавший на митинге быв<ший> полковник инженерных войск Франк скомандовал по-военному: “Кто за посылку телеграммы Вел<икому> Князю Ник<олаю> Ник<олаеви>чу, встать” <подчеркнуто кем-то в отчете Егорова>. Решение было единогласно и с энтузиазмом принято<sup>57</sup>. За этим эпизодом, начиная с весны 1924 и вплоть до осени, следует полный отчет о деятельности монархиста Чернявского, с указанием предполагаемого места хранения его материалов и политической переписки. В итоге в 1927 А.Чернявский за монархическую деятельность был интернирован на остров Кихну.

Чернявский же был одним из основных вдохновителей создания собственных органов печати. Так, в 1924, когда от имени С.Н.Кольтрыан<sup>58</sup>, будущего ответственного редактора и издательницы, было подано заявление о регистрации независимого журнала «Эмигрант», эстонское МВД сразу же заинтересовалось этой личностью (обычно это делалось после выхода нескольких номеров зарегистрированного издания). Поскольку, по сообщениям знакомых, Кольтрыан никогда не участвовала в политической деятельности, то через две недели после подачи заявления, 20 марта 1924, разрешение было получено. Первый номер с видоизмененным подзаголовком – «Литературный и иллюстрированный журнал “Эмигрант”» – вышел в апреле этого года. В передовой статье, написанной А.Чернявским, журнал был провозглашен, хотя и скрыто, монархическим органом: с этой целью использовались три устойчивых словосочетания, являющихся почти лозунгами в продвижении идей монархизма: «Государь Император», «Православная Церковь и Вера» и «Русский Народ»: «Свергнув инородческое иго, мы возьмем из старой жизни то, что отвечает духу и сердцу русского человека. Это: Вера Православная. Историческая национальная власть, из малой темной Московии построившая Великую Россию. Народная стихия, самобытный уклад русской жизни и массовой души <...>. Наша задача <...> сохранить русскую государственную и культурную идею до этого момента. <...> Начавший-

<sup>57</sup> ЭГА. Ф.1. Оп.7. Ед.хр.28. Л.144а.

<sup>58</sup> В 1925 году о ней сообщались следующие данные: С.Н.Кольтрыан родилась 3 января 1863, вдова присяжного поверенного А.Кольтрыана, занимается дома рукоделием, экономическое положение – среднее (подобная приписка к собранным данным свидетельствует о том, что Кольтрыан не могла быть по финансовому положению издателем какого-либо периодического издания). См. об этом: Там же. Ед.хр.1045.

ся 1924 год уже принес Вождя и надежду на близкое объединение. Период затишья проходит»<sup>59</sup>. О целях издания (как это традиционно бывает) и в этой передовой, и в последующих вообще не писалось. Во втором номере «Эмигранта» Чернявский продолжает развивать мысль о том, за кем следует идти русскому человеку – за белыми или красными: «Белая зарубежная Россия первой стала национальной. Красная Россия – становится таковой. Когда вторая на этом пути сравняется с первой, *не будет ни белой, ни красной, а будет одна русская Россия* <выделено А.Чернявским>»<sup>60</sup>; «декларация Николая Николаевича с полным успехом могла бы являться программой русского национального движения. Это – синее соединительное полотнище, которым должны воссоединиться оторванные друг от друга полосы национального флага – *белая и красная* <курсив Чернявского>»<sup>61</sup>, но, как видно, самому Чернявскому было вполне понятно, за кем идти – за великим князем Николаем Николаевичем.

Из номера в номер Чернявский и генерал Баиов продолжают развитие этой темы. В публицистических статьях они описывают вклад русского народа в Первую мировую войну, в победу союзников. В восьмом номере «Эмигранта» был опубликован манифест великого князя Кирилла Владимировича с объявлением о принятии им на себя титула Императора Всероссийского. Публикация манифеста сопровождалась редакционной статьей, включавшей фрагменты высказывания по этому поводу Высшего монархического совета, который поддерживала большая часть монархистов Эстонии.

В связи с развитием в Европе русского монархического движения – и «николаевцев», и «кирилловцев» – публикация разного рода материалов по поводу национальной России, а также ее будущего отношения к лимитрофам заинтересовала и местную эстонскую прессу, в которой публиковались материалы, выражавшие по этому поводу явное недоумение. Журналу «Эмигрант» пришлось ходатайствовать о разрешении на экстренный выпуск, о чем было подано заявление в МВД<sup>62</sup>. После выдачи разрешения 10 марта 1925 он вышел в свет. Объясняя сложившуюся обстановку, генерал Баиов выдвигает основной принцип будущей национальной России: «государственная русская власть, которая придет на смену большевикам, не будет посягать на самостоятельность новых, соседних с Россией государств»<sup>63</sup>. Годом позже это заявление получает на страницах газе-

<sup>59</sup> Чернявский А. Наше лицо // Эмигрант. 1924. №1. С.5-6.

<sup>60</sup> Там же. С.6.

<sup>61</sup> Чернявский А. За кем идти // Эмигрант. 1924. №2. С.6.

<sup>62</sup> См. об этом: ЭГА. Ф.1. Оп.7. Ед.хр.246, 447.

<sup>63</sup> Национальная Россия и Эстония. Беседа с проф. А.К.Баиовым // Экстренный выпуск журнала «Эмигрант» (Ревель). 1925. 10 марта. С.1.

ты «Час» (о самой газете см. ниже) некоторые дополнения: «национальная Россия держит всегда свои двери открытыми для Эстонии, Латвии и Литвы <выделено редакцией>, если эти независимые государства когда-либо добровольно пожелают вступить с Россией в то или иное государственно-федеративное объединение»<sup>64</sup>.

Журнал «Эмигрант» прекратил свое существование на тринадцатом номере летом 1925, когда его ежемесячная периодичность перестала, видимо, удовлетворять русских монархистов ввиду приближающегося съезда, а средства, выделяемые журналу, можно было перераспределить в пользу еженедельных изданий.

Ходатайство о первой монархической газете в МВД Эстонии было подано 8 мая 1925 от имени издателя С.П.Полякова, при этом первоначально издание должно было называться «Наше время». Однако после выдачи разрешения название было изменено на «Русский голос» (16 мая 1925) – «ввиду выяснившегося неудобства» предыдущего названия, при этом причины, вызвавшие это «неудобство», в заявлении не указывались<sup>65</sup>. Ответственным редактором «Русского голоса» (далее – РГ) назначался полковник Н.А.Яковлев, который, по сведениям МВД, принадлежал к крайне правым монархистам.

В противовес журналистским традициям, программная статья РГ появилась во втором номере, и то по просьбе читателей (по признанию самой редакции). В своей программе редакция подчеркивала национальный, беспартийный и деловой характер издания, но тем не менее в этом номере газеты говорится лишь о том, как сотрудники РГ трактуют понятие «национальное»: «по нашему мнению, русское национальное объединение должно быть только из русских, подобно тому, как это мы <русские> наблюдаем у всех других национальностей»<sup>66</sup>, при этом определенное внимание редакция уделила «врагам» русского народа, с которыми надо жить в мире: «протестуя против того, чтобы русские люди в своих национальных делах переплетались с инородцами, мы глубоко ценим коренное, русское начало – жить в мире и дружбе со всеми нациями, населявшими необъятную Русь. <...> Этому хорошему качеству русских не противоречит наше особое внимание к работе в русских делах двух наций – немецкой и еврейской, – причинивших России и русскому народу неслыханные в истории человечества бедствия и страдания»<sup>67</sup>. Эти же две нации подпадают под критику и в продолжении изложения партийной программы газеты, в пятом номере РГ.

<sup>64</sup> Россия и Эстония // Час. 1926. №18, 6 апреля.

<sup>65</sup> См. об этом: ЭГА. Ф.1. Оп.7. Ед.хр.1066; Ф.42. Оп.1. Ед.хр.64. Л.129, 131.

<sup>66</sup> Наша программа // Русский голос. 1925. №2, 23 мая.

<sup>67</sup> Там же.



Свой беспартийный характер РГ оправдывает тем, что ни одна партийная программа, существовавшая в России до и после революции – ни социалистов, ни эсеров, ни кадетов, – себя не оправдала, их деятельность редакция оценивает резко отрицательно. Партия правых монархистов характеризуется ими также достаточно негативно, но с оговоркой «правда», как бы смягчающей тон выступления и выделяющей ее из общего ряда. Главным укором в адрес монархистов была их пассивность: служат одни только панихиды по убитому царю, но никак не выразили своих чувств, когда государя убивали «два еврея, ставленника немцев, семь германцев и русский каторжник»<sup>68</sup>. Все партии в России и в эмиграции, по их мнению, имеют один общий недостаток: «в то время как социалисты и кадеты отдали бразды правления в своих партийных делах евреям и еврействующим, правые партии оказались на поводу у немцев и соблазненных ими людей, а теперь они открыто сближаются с врагами <...> немцами»<sup>69</sup>.

Свой деловой характер, особо оговоренный в подзаголовке («Беспартийная национальная и торгово-промышленная газета»), редакция так и не проявила. С первого же номера газета стала публиковать материалы монархического содержания, например, обсуждение вопроса о возможности объединения «николаевцев» с «кирилловцами». Автор статьи, посвященной этой проблематике, приходит к выводу, что подобное объединение возможно лишь после отречения великого князя Кирилла Владимировича от «трона», титула «Российского Императора в Кобурге».

Кроме того, в газете поднимаются и разъясняются вопросы, связанные с будущим государственным строем России – будет ли она монархической империей или же республикой? Ответ на этот глобальный вопрос, интересующий всех русских во всей эмиграции, дается великим князем Николаем Николаевичем, который, по его словам, не собирает свой народ ни под знамена монархии, ни республики, но главной целью ставит освобождение Родины от большевиков и возможность для русского народа свободно установить свою национальную внесловную и беспартийную власть.

Определенное внимание РГ уделял местным русским общественным деятелям-монархистам, среди которых особо выделялся неоднократно упомянутый генерал Васильковский.

После подписания министром внутренних дел Эстонии приказа от 19 августа 1925, на основе которого газета РГ была закрыта как распространявшая вредную государству монархическую пропаганду,

<sup>68</sup> Партии не спасут России // Русский голос. 1925. №5, 3 июня.

<sup>69</sup> Там же.

нарвское объединение осталось без своего органа печати, средний тираж которого был 800 экземпляров<sup>70</sup>.

Двумя неделями раньше в Таллинне была закрыта ежедневная монархическая национальная газета «Ревельское время» (далее – РВ), первый номер которой вышел 20 апреля 1925. Наряду с традиционными рубриками, с первых же номеров это издание начинает публиковать материалы, связанные с великим князем Николаем Николаевичем (разного рода заявления, беседы с американской печатью и т.п.), приказы генерала Врангеля и т.д. В предпоследнем номере РВ в рубрике «Хроника» опубликовано сообщение, не оставляющее никаких сомнений относительно направления этой газеты:

Приветствуя появление в Париже «Возрождения»<sup>71</sup> и в Ревеле «Ревельского времени», *Еженедельник Высшего монархического совета пишет* <здесь и далее выделено редакцией РВ>: «Пожелаем вновь появившимся собратьям по печати процветать и развивать свои силы, а также не повторять ошибок своих предшественников и *не поддаваться местным иностранным влияниям*, иногда влекущим к одностороннему и не полезному для интересов России освещению вопросов наших международных отношений и неосновательному подчеркиванию разных “фобств” и “вильств”. *Всякое фобство, кроме советофобства, и всякое фильство, кроме русскофильства, является для нас непозволительной роскошью*»<sup>72</sup>.

Но РВ успело «поддаться местному иностранному влиянию» и вступить в полемику с ежедневной газетой «Последние известия», возникшую из-за публикации повести А.Яблоновского<sup>73</sup> «Дети улицы» и выросшую в выяснение отношений по поводу политической ориентации обеих сторон<sup>74</sup>. В результате газета РВ была закрыта

<sup>70</sup> Ср. тиражи других нарвских изданий середины 1920-х: газеты «Нарвский голос» – в среднем 600 экз. и «Былой нарвский листок» – 800–900 экз.; журнал «Кнут» – 900–1000 экз. См. об этом: ЭГА. Ф.42. Оп.1. Ед.хр.64/ Л.141.

<sup>71</sup> Ежедневная газета «Возрождение» издавалась в Париже с 1925 по 1940. См. об издании: Литературная энциклопедия Русского зарубежья: 1918–1940. Периодика и литературные центры. М., 2000. Т.2. С.64–74.

<sup>72</sup> Цит. по: Ревельское время. 1925. №15, 27 июля.

<sup>73</sup> Яблоновский Александр Александрович (1870–1934) – прозаик, фельетонист, публицист. В мае 1924 выступил с лекцией в Таллинне, публиковался в местной периодике (в «Последних известиях», «Нашей газете» и других изданиях).

<sup>74</sup> Подробнее о полемике РВ и «Последних известий» см: *Меймре А.* Русская периодика в Эстонии: Газетная борьба середины 1920-х годов // Русская литература XX века в контексте европейской культуры. Таллинн, 1998 (Ученые записки Таллиннского педагогического университета: АСТА Humaniora, 13); *Меймре А.* Читательское восприятие повести А.Яблоновского «Дети улицы» и его влияние на русскую периодику Эстонии // *Meninis tekstas: Suvokimas. Analizė. Interpretacija.* Vilnius, 1998. С.127–133.

аналогично РГ приказом министра внутренних дел от 4 августа 1925 «до окончания военного положения в Эстонии, как монархическое издание, вредное демократическому строю государства»<sup>75</sup>.

Свою реакцию на эту акцию опубликовало парижское «Возрождение», в интерпретации которого дело имело только националистическую подоплеку: в Эстонии ущемляют русских журналистов и журналистику в целом. Некто «С.О.» опубликовал статью под названием «К закрытию “Ревельского времени”», где случай с эстонской русскоязычной газетой толкуется исключительно как политический акт, но тем не менее автор высказал надежду, что закрытие РВ останется только «досадным эпизодом, который не будет иметь продолжения. Эстонское правительство и эстонский народ не могут не быть заинтересованы в поддержании добрых отношений с национальной Россией. В то же время они знают, едва ли не лучше других народов, что *их ждет в том случае, если Советская Россия сохранится и окрепнет* <выделено автором цитируемой статьи>. Сила вещей должна привести Эстонию к сотрудничеству с русскими национальными силами и направленные против русских элементов булавочные уколы, вроде закрытия “Ревельского времени”, являются, надо надеяться, только досадным недоразумением»<sup>76</sup>. Однако закрытие РВ не осталось «досадным эпизодом»: как уже отмечено, РГ был закрыт по той же причине.

Целеустремленность русских монархистов-националистов удивительна – через неделю после закрытия РВ, 9 августа 1925, начинает выходить ежедневная национальная газета «Ревельское слово» (далее – РС). Следует отметить, что и РВ, и РС – это то же издание, только с другим названием. Принципиальных изменений в новой газете не наблюдается: в первом же номере опубликовано заявление редколлегии о том, что все подписчики РВ будут получать РС, с первого же номера продолжается публикация материалов монархического толка, продолжение материалов, начатых в РВ (например, статья А.Черниговского «Концы и начала...» или же серия статей некоего Далекого под названием «Что в России?»), не изменился состав сотрудников, за исключением ответственного редактора-издателя (А.В.Черниловская-Сокол была заменена С.Н.Кольтрыан). В отличие от РВ, новое издание пыталось сменить периодичность выхода (с еженедельной на ежедневную), но первые четыре номера РС все еще выходят раз в неделю, правда, с указанием на временный характер подобной периодичности. С пятого по двенадцатый номер газета выходила два раза в неделю, затем опять еженедельно. РС

<sup>75</sup> ЭГА. Ф.1. Оп.7. Ед.хр.243. Л.7а.

<sup>76</sup> С.О. К закрытию «Ревельского времени» // Возрождение. 1925. 14 августа.

прекратило свое существование на двадцатом номере с редакторской пометой о временном приостановлении и обещанием сообщить читателям о возобновлении этой газеты. Причин «временного приостановления» могло быть две: финансовые затруднения либо боязнь закрытия этого монархического органа эстонским правительством.

Судя по дальнейшим действиям монархистов, последнее предположение более реально, поскольку очередная их газета – «Час» – начинает выходить через неделю после прекращения издания предыдущей. Просмотр всех монархических газет, вышедших в Таллинне, *de visu* позволяет утверждать, что это одно и то же издание с видоизмененным названием. Кроме общего направления, о связи с предыдущими газетами – РВ и РС – свидетельствует также переход в новую газету части сотрудников, во главе с литератором А.Чернявским, писавшим во всех этих изданиях передовые статьи, и литератором В.Гущиком<sup>77</sup>, публиковавшим в них свои произведения. Кроме сотрудников в новое издание переходит и главный редактор-издатель С.Кольтрыан. Сходство обнаруживает и оформление всех газет: выбор шрифтов, расположение материала, все, что связано с типографской стороной дела (все монархические издания печатались в одной и той же типографии – ЕРК).

Аналогично РВ, газета «Час» была закрыта 19 августа 1926 за монархическую пропаганду<sup>78</sup> и, после десятидневного перерыва, 30 августа продолжила деятельность под названием «Наш час» (далее – НЧ), сохранив прежний состав сотрудников и руководителя. Продолжена была и публикация прерванных материалов (например, письма Я.Бадьяна, статьи генерал-майора Янова о книге В.Горна и др.). Об этой преемственности напрямую говорит передовая статья А.Чернявского в пятнадцатом номере НЧ, посвященная годовщине издания газеты «Час»: «второй год развеивается поднятое знамя <...> на пользу монархической идеи в России»<sup>79</sup>.

По сравнению с предыдущими органами монархического направления, в НЧ было значительно меньше материалов на эту тему, хотя они все же присутствуют. Это можно объяснить тем, что на период

---

<sup>77</sup> Гущик Владимир Ефимович (1892–1947) – писатель, автор более десятка книг. В Эстонии с конца 1919. Публиковался во многих местных периодических изданиях (в «Последних известиях», «Потоке Евразии» и др.). В январе 1941 был арестован органами НКВД. Умер в тюремной больнице от саркомы легких.

<sup>78</sup> В ЭГА в деле этой газеты сохранились несколько номеров «Часа», среди которых находится и последний номер (№36) с очередной передовой А.Чернявского «Вождь Всея России», посвященной великому князю Николаю Николаевичу и приложением его фотографии. Этот материал мог оказаться последней каплей в чаше терпения эстонских властей. См. об этом: ЭГА. Ф.1. Оп.7. Ед.хр.243.

<sup>79</sup> Чернявский А. Год // Наш час. 1926. №15, 12–13 декабря.

выхода РВ, РС и «Часа» приходится подготовка русских в Эстонии к Российскому зарубежному съезду, публикация материалов съезда и подведение его итогов. С другой стороны, малочисленность монархических материалов могла быть обусловлена горьким опытом августовских закрытий предыдущих органов.

С закрытием газеты НЧ (март 1927) в Эстонии прекратилось издание монархических органов печати, что вполне может объясняться высылкой А.Чернявского, которого считали фактическим редактором всех пяти таллиннских монархических изданий. Свидетельство тому есть и в архивном деле о его высылке<sup>80</sup>, и в материалах Информационного отдела ОГПУ СССР, где относительно его редакторства в «Часе» и НЧ написано: «В 1925 г. Чернявский начал издавать ежедневную газету “Час” крайне правого направления. Вся редакция и сотрудники газеты состояли из того же одного Чернявского, так что вся газета наполнялась его “писаниями”. Газета содержалась на денежные средства Николая Николаевича и выходила не особенно регулярно. <...> В начале 1926 г. газета из-за нападков на эстонское правительство была закрыта. На ее месте Чернявский начал издавать “Наш час”, которого вышло несколько десятков номеров»<sup>81</sup>.

Последнее дело, связанное с монархистами в Эстонии, было заведено 20 мая 1927, причиной чему стал прошедший 19 мая вечер, на котором П.Н.Милюков<sup>82</sup> прочитал свою первую «эстонскую» лекцию. О возможных инцидентах этого вечера Охранная полиция Эстонии была предупреждена анонимным, не датированным сообщением (возможно, агитационной листовкой, распространявшейся среди монархистов), где говорилось:

Группа русских людей, осведомившись о предстоящем приезде и выступлениях в Ревеле известного своей зловредной для России деятельностью Милюкова, приглашает всех оценивающих по заслугам упомянутого Милюкова, дать надлежащий отпор его попытке набрать себе сторонников для какого-то нового очередного политического предприятия. Для этого всем следует быть на его лекциях (особенно на 2-й, если она состоится) и доказать ему и его сообщникам (преимущественно не русского происхождения), что их время, их влияние на умы кануло в вечность

<sup>80</sup> См.: ЭГА. Ф.1. Оп.7. Ед.хр.45.

<sup>81</sup> Цит. по: Русские в Эстонии. По материалам ОГПУ СССР / Публ. и примеч. В.Бойкова // Балтийский архив. Русская культура в Прибалтике. Т.5. Рига: Даугава, 1999. С.92.

<sup>82</sup> Милюков Павел Николаевич (1859–1943) – политический деятель, историк, публицист. В эмиграции с 1918. Главный редактор газеты «Последние новости». Председатель Союза русских писателей и журналистов и Объединения иностранных журналистов в Париже.

и, к будущему благу России, больше уже не вернется... Желательна организованность в действиях и выступлениях с нашей стороны, а поэтому необходимо: 1) не прерывая доклада без видимого к тому повода – поддерживать соответственные реплики с мест, подаваемые при тех или иных обычных двусмысленно-ложных выводах и заключениях Милюкова; 2) подавать записки или задавать устные вопросы, направленные к умалению авторитетности его заявлений; 3) если окажется по обстановке возможно, выступить по окончании доклада с возражениями; 4) энергично поддерживать с мест оппонирующих ораторов и препятствовать его повторным разъяснениям, дабы лишить его преимуществ в последнем слове; 5) иметь в виду, что П.Милюков – оратор и лектор незаурядный и любое свое утверждение, приспособляясь к аудитории, облакает в подкупающе-красивую и внешне логичную форму, что, естественно, еще более усиливает злобредность его выступлений<sup>83</sup>.

Аналогичная акция против Милюкова, проведенная до этого в Риге, прошла удачно, что вызвало у местной полиции серьезную тревогу. При этом до прибытия Милюкова в Эстонию в Русском клубе было принято решение запретить Милюкову вход в этот клуб<sup>84</sup>.

На вечере, состоявшемся 19 мая 1927, Милюков прочитал доклад «Угрожает ли Европе война?». Еще до начала лекции, при входе Милюкова в зал театра «Эстония», со своего места встал С.Ивков<sup>85</sup>, приветствовавший лектора, среди прочего, словами: «негодяй, предатель и подлец»<sup>86</sup>, после чего Ивков был арестован. После лекции, в этот же вечер, в арестантском доме Ивкова посетили А.Чернявский и А.Кулицкий<sup>87</sup>, представившиеся как журналисты, а также С.Заркевич<sup>88</sup> и Г.Тальма<sup>89</sup>. Однако их приход и прощание с Ивковым словами «сочувствуем от всего сердца» были на следующий день, 20 мая, вместе с выступлением Ивкова квалифицированы как нарушение общественного порядка, монархическая пропаганда и призыв

<sup>83</sup> ЭГА. Ф.1. Оп.7. Ед.хр.28. Л.165.

<sup>84</sup> См. об этом показания Н.А.Векшина: Там же. Л.187а-188.

<sup>85</sup> Ивков Сергей Николаевич (1893–?) – выпускник Елизаветградского кавалерийского училища, участник Первой мировой войны. Служил в Северо-Западной армии.

<sup>86</sup> ЭГА. Ф.1. Оп.7. Ед.хр.45. Л.130.

<sup>87</sup> Кулицкий Александр Александрович (1890–?) – иностранный корреспондент, работник типографии ЕРК, где печаталась газета НЧ.

<sup>88</sup> Заркевич Сергей Владимирович (1907–1941) – общественный и культурный деятель. Владелец книжного магазина «Русская книга».

<sup>89</sup> Тальма Георгий Александрович (1901–1939) – художник. Его иллюстрации публиковались в журналах «Гамаюн», «Панорама» и других местных изданиях.

к насилию. В результате распоряжения заместителя министра внутренних дел Н.Резка<sup>90</sup> Ивкову, Чернявскому, Тальма, Кулицкому и Заркевичу было предписано в течение 24 часов покинуть пределы государства, в противном случае они должны были быть интернированы на остров Кихну<sup>91</sup>. Ивков и Чернявский прибыли в Пярну уже 22 мая, с тем чтобы на следующий же день отправиться дальше на остров; вскоре за ними последовали и остальные трое, обвиненные в монархической деятельности.

Несмотря на последовавшие жалобы, вплоть до Государственного суда, а также публикацию статей в разных периодических органах, в том числе в «Возрождении»<sup>92</sup>, решение министра осталось в силе по отношению ко всем, кроме Кулицкого – гражданина Литвы, куда он в итоге был выслан.

Демонстративной высылкой пятерых русских монархистов эстонское правительство со всей очевидностью показало свое отношение к их деятельности, после чего монархическая деятельность в Эстонии хотя и не прекратилась, но стала более скрытой и осторожной.

А интерес властей вскоре был перенаправлен на новое явление, представлявшее, как показала история, значительно большую опасность для эстонской государственности, – национал-социализм, в том числе эстонский, в лице ветеранов Освободительной войны<sup>93</sup>.

<sup>90</sup> Резк Николай (1890–1942) – генерал-лейтенант, участник Первой мировой войны. В 1917 окончил Петербургскую Николаевскую академию при Генштабе. Начальник Генштаба Эстонии в 1925–1926 и 1934–1939, министр охраны в 1927–1928, в 1939–1940 – военный министр. Арестован в 1941, казнен в лагере.

<sup>91</sup> См.: ЭГА. Ф.1. Оп.7. Ед.хр.45. Л.144.

<sup>92</sup> См.: Подневольные Робинзоны. Письмо в редакцию // Возрождение. 1927. №787, 29 июля. Письмо было подписано А.Чернявским, Г.Тальма и А.Кулицким, а также сопровождалось послесловием Б.Семенова, в котором сказано: «Обращаем внимание эстонских властей и эстонского общественного мнения на письмо людей, сосланных без следствия и суда. Мы надеемся, что те, от кого это может зависеть, пересмотрят решение, вызывающее справедливые нарекания всех, до кого дошла весть о подобном акте, которому многие присваивают наименование произвола».

<sup>93</sup> Освободительная война – война против Советской России (с 28 ноября 1918 по 3 января 1920). В результате ее 2 февраля 1920 был подписан знаменитый Тартуский мирный договор между Эстонией и Советской Россией.

Г.А.Савина  
**«ПУСТЬ БАРАХТАЮТСЯ...»**  
(К истории «одесской высылки» за рубежом)

В одесском журнале «Статистический вестник» в 1921 появилась статья экономиста В.М.Штейна<sup>1</sup>, в которой автор представил результаты статистической и социологической обработки данных специального опроса, проведенного среди городской профессуры<sup>2</sup>. Вопросы анкеты, распространенной среди творческой интеллигенции, охватили широкий спектр сведений, позволявших анализировать и прогнозировать состояние этой социальной группы как в регионе, так и в целом по стране.

Глава петроградских генетиков Ю.А.Филипченко откликнулся на изучение «одесского феномена» рецензией, в которой писал: «На фоне переживаемого нами переходного времени вопрос о сохранении небольшой численно русской интеллигенции вообще и деятелей

---

<sup>1</sup> Виктор Морицевич Штейн (1890–1964) – ученый-экономист. В 1920–1921 – ректор Института народного хозяйства в Одессе; в 1922 арестован как «ученый с буржуазным мировоззрением», подлежал высылке из СССР, но был амнистирован и стал ученым секретарем Института экономических исследований при Наркомате финансов. В 1920-е проводил в Монголии экономическую реформу; в 1925–1927 – финансовый советник гоминьдановского правительства в Гуанчжоу и Ухане (Китай). Член правления Ленинградского отделения Русского евгенического общества. В дальнейшем занимался китаистикой; профессор, зав. кафедрой экономики и истории стран Востока Ленинградского восточного института ЛГУ. Во время кампании против «безродных космополитов» уволен из ЛГУ, почти 6 лет провел в лагере в Иркутской области. В 1956–1962 – зав. Дальневосточным кабинетом Института востоковедения АН СССР.

<sup>2</sup> Штейн В.М. Одесская профессура (Статистическо-евгенический очерк) // Статистический вестник (Одесса). 1921. №7/12. С.28-54.



науки в частности приобретает особую остроту. “Недостаток талантливых людей в момент кризиса – худшее из зол, могущих постигнуть нацию”, – совершенно правильно сказал Пирсон. Между тем таланты не создаются по мановению волшебного жезла, они возникают под влиянием непреложных и не вполне даже изученных нами в деталях законов наследственности, почему особенно важно сохранить и поддерживать ту небольшую группу населения, где в течение ряда поколений уже произошло накопление наследственных зачатков различных специальных способностей и откуда скорее всего можно ожидать появления новых выдающихся личностей»<sup>3</sup>.

Ученые рассуждения генетиков (а помимо Ю.А.Филипченко уместно вспомнить главу московской генетической школы Н.К.Кольцова) о том, что войны ведут к физической, а революции и их последствия – к интеллектуальной наследственной деградации общества, представляли скорее академический интерес для небольшого круга специалистов, в то время как большевики на практике осуществляли политику «кухаркиных детей» и были мало озабочены творческим потенциалом населения и, как теперь принято говорить, «утечкой мозгов». Между тем власть вела селекцию по другим линиям искусственного отбора, не оставляя особых надежд не только на процветание, но даже на физическое существование социально чуждой диктатуре пролетариата группе носителей «специальных способностей».

Одесса – город, подаривший миру плеяду блестящих имен в литературе, науке и искусствах, – занимала особое место и в истории русской (в широком смысле) эмиграции. Еще герцог Ришелье и адмирал де Рибас были одними из первых «эмигрантов» – носителями тех самых «специальных способностей», которые оставили заметный след в истории Новороссии.

Одесская эмиграция «первой волны» XX века сполна расплатилась с миром своими талантами и способностями. Особая жестокость Гражданской войны на юге России, своеобразие географического положения Одессы, сравнительно широкие возможности покинуть советский рай морским путем – все это способствовало формированию многочисленной «одесской» диаспоры во многих точках мира. Однако далеко не все из оказавшихся за рубежом смогли прижиться и врасти в новую почву. Многим хорошо образованным людям, имевшим на родине высокий социальный статус, не удалось адаптироваться к новым условиям, и они затерялись на необъятных просторах русского зарубежья.

Предметом данной публикации, ее основным событийным пластом является «одесская высылка», или депортация, части ученых и преподавателей Новороссийского университета, предпринятая боль-

<sup>3</sup> Наука и ее работники. 1922. №1. С.50.

шевиками осенью 1922, а также дальнейшая судьба изгнанных ученых – со всей возможной достоверностью, которую возможно сегодня реконструировать. Равноправным героем публикации становится и простиупающий сквозь перипетии человеческих судеб образ города, образ Одессы – той, прежней, пушкинской и бунинской, затем советской и эмигрантской – софийской, пражской, нью-йоркской. Мозаика многочисленных, разновеликих и разнообразных ликов города – особой ментальной субкультуры – становится главной темой, лейтмотивом всей переписки бывших одесситов на протяжении 1922–1965.

В начале XIX века молодой Пушкин замыслил бегство из Одессы морем в Европу. Ровно через столетие, 1922 год «обогастил» советское судопроизводство новой репрессивной мерой – высылкой за границу, парадоксальным образом реализовавшей «наоборот» несбывшуюся пушкинскую мечту о вольной загранице. Юридический «лоск» этой ленинской идее был придан специальным декретом ВЦИК от 10 августа 1922 «Об административной высылке лиц, признаваемых социально опасными»<sup>4</sup>. Гневливые установки вождя мирового пролетариата, с раздражением сформулированные им в письме Сталину от 17 июля 1922: «высылать за границу безжалостно», «всех их – вон из России», «арестовать несколько сот и без объявления мотивов – выезжайте, господа!»<sup>5</sup> и др., были продиктованы причинами, которые достаточно выявлены за последнее десятилетие. Мы не будем углубляться в эту проблему, отослав желающих к основной литературе<sup>6</sup>. Назовем только три из основных причин, на которые, как правило, обращают внимание историки.

---

<sup>4</sup> Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства. 1922. №65. Ст.844.

<sup>5</sup> Цит. по: *Латышев А.* Беда завтрашнего дня: О «секретном» и открытом фондах Ленина // *Российская газета*. 1992. 19 мая.

<sup>6</sup> *Волков В.А., Куликова М.В.* Российская профессура глазами жандармов и чекистов // *Культурное наследие российской эмиграции. 1917–1940. Кн.1. М.: Наследие, 1994. С.292–300; Геллер М.С.* «Первое предостережение» – удар хлыстом (К истории высылки из Советского Союза деятелей культуры в 1922 г.) // *Вопросы истории*. 1990. №9; *Голанд Ю.* Политика и экономика // *Знамя*. 1990. №3; *Колодный Л.* Изгнание философов // *Московский комсомолец*. 1990. 12–13 сент.; *Костиков В.* Изгнание из рая // *Огонек*. 1990. №24.; *Красавицкая Т.* Что имеем, не храним // *Московские новости*. 1990. 20 мая; *Санин А.А.* В бой идут одни старики // *Вопросы философии*. 1990. №9; *Сапов В.В.* Высылка 1922 года: Попытка осмысления // *Социологические исследования*. 1990. №3; *Тетрадка Аниных профессоров* // *Слово*. 1989. №11; *Хоружий С.* Философский пароход // *Литературная газета*. 1990. 9 мая, 6 июня; *Латышев А.* Беда завтрашнего дня: О «секретном» и открытом фондах Ленина // *Российская газета*. 1992. 19 мая; *Сценарий «доликвидации»*. Плановость в работе ВЧК–ГПУ // *Независимая газета*. 1992. 8 мая; *Всех их вон из России* / Публ. А.Масальской, И.Селезневой //

Во-первых, неординарное решение властей было обусловлено стремлением окончательно покончить с разгромленным к тому времени Всероссийским общественным комитетом помощи голодающим (Помголом), который в отличие от государственных структур, доведших страну до страшного голода 1921 года, сумел быстро и эффективно наладить продовольственную помощь из-за рубежа в самые пострадавшие и отдаленные губернии России. «Профессора» и «литераторы», воспитанные на либеральных идеях общественного самоуправления (земства, комиссии, общественные комитеты и т. д.), взявшись за дело, решали, а не декларировали важную задачу, что слишком выгодно отличало их от государственных чиновников новой формации.

Во-вторых, депортация интеллигенции была своеобразным «парадом» деятельности ГПУ (только что реорганизованного из ВЧК), которому в момент организационного становления нужно было укрепить свой авторитет большой и «престижной» репрессивной операцией.

И, в-третьих, болезнь Ленина, достигшая в 1921–1922 той стадии, когда уместно говорить о ее психопатологических проявлениях. А роль личности в истории такой страны как Россия, едва ли может быть приуменьшена хоть с марксистской, хоть с демократической точек зрения. В августе–сентябре 1922 врачи разрешили Ленину читать и встречаться с партийными соратниками. Во время свиданий 5, 9, 15, 23, 30 августа и 12 сентября со Сталиным одним из предметов разговора была высылка инакомыслящих интеллигентов из России, что засвидетельствовал будущий генсек в статье «Тов. Ленин на отдыхе» (Иллюстрированное приложение к газете «Правда» от 24 сентября 1922). Передавая содержание разговоров с вождем, Сталин привел слова Ленина, якобы сказанные по этому поводу: «Да, они задались целью развенчать Советскую Россию. Они облегчают империалистам борьбу с Советской Россией. Попали в тину капитализма и катятся в пропасть. Пусть барахтаются. Они давно умерли для рабочего класса»<sup>7</sup>.

Существует довольно большой разброс данных о масштабах высылки 1922 года. Сами вынужденные эмигранты полагали, что это примерно 70 человек по Москве и 50 – по Петрограду. Историки называют цифры по стране, колеблющиеся в диапазоне от 100 до 300 человек в зависимости от предпринятых методик подсчета (с учетом сопровождающих лиц и членов семьи, добровольно покинувших Россию вместе с депортированными, и без них). Совсем слабо и эпи-

---

Родина. 1992. №10; Гак А.М., Масальская А.С., Селезнева И.Н. Депортация инакомыслящих в 1922 г. (Позиция В.И.Ленина) // Кентавр. 1993. №5, и др.

<sup>7</sup> Цит. по: Депортация инакомыслящих в 1922 г. С.87.

зодически изучен вопрос об операции ГПУ на Украине и в провинции. Чаще всего называют Киев и Томск как города, наиболее пострадавшие от партийно-чекистской акции; аресты производились также в Казани, Харькове, Одессе и, по-видимому, в других крупных вузовских городах.

Ряд важных внутренних подробностей высылки одесской профессуры сохранились в документах личного фонда историка-слависта Антония Васильевича Флоровского (1884–1968), хранящихся в Архиве Российской Академии наук (РАН). Но сначала несколько слов об их бывшем владельце.

Имя Антония Васильевича Флоровского<sup>8</sup> сегодня хорошо известно прежде всего благодаря многочисленным публикациям из истории русской научной эмиграции, сделанным по материалам его богатейшего архива<sup>9</sup>, а также – не в последнюю очередь – благодаря его близкому родству с выдающимся русским философом и богословом-экуменистом Георгием Васильевичем Флоровским (1893–1979). В то же время сам А.В.Флоровский оставил значительное научное славистическое наследие – шесть монографий и множество статей<sup>10</sup> и, кроме того, играл заметную связующую роль в жизни русской эмиграции.

Пожалуй, его эмигрантскую судьбу можно назвать благополучной. В 1923 Флоровский поселился в Праге, сразу вошел в состав Русской учебной коллегии, возглавил ее историко-филологическое отделение (1923–1930), работал также на Русском юридическом фа-

---

<sup>8</sup> Подробнее о научной деятельности и биографии А.В.Флоровского см.: *Пауто В.Т.* Русские историки-эмигранты в Европе. М.: Наука, 1992. С.234–243; *Аксенова Е.П.* Историческая наука СССР и Русского зарубежья в оценке А.В.Флоровского // Культурное наследие российской эмиграции. 1917–1940. С.95–100; интересные сведения о семье Флоровских см.: Георгий Флоровский, священнослужитель, богослов, философ / Под общ. ред. Ю.П.Сенокосова. М.: Издат. группа «Прогресс-Культура», 1993. С.14–15.

<sup>9</sup> РАН. Дело фонда №1609. Л.3. Отметим, что материалы фонда стали активно использоваться с конца 1980-х, см., в частности, публикации Е.П.Аксеновой: 1) Письма И.О.Панаса А.В.Флоровскому 1929 г. // *Славяноведение*. 1994. №4; 2) Из переписки Г.В.Вернадского и А.В.Флоровского // Там же; 3) Из переписки В.А.Мошина и А.В.Флоровского // *Русь и южные славяне*. СПб., 1994; 4) К истории русской научной эмиграции в Югославии (письма А.Л.Погодина А.В.Флоровскому) // *Славяноведение*. 1995. №4; 5) Институт им. Н.П.Кондакова: Попытки реанимации (по материалам архива А.В.Флоровского) // *Славяноведение*. 1993. №4. С.63–74; 6) Русские ученые-эмигранты первой волны в Югославии (по материалам архива А.В.Флоровского) // *Русская эмиграция в Югославии*. М.: Индрик, 1996. С.148–166; а также *Досталь М.Ю.* Из переписки В.А.Францева (письмо В.А.Францева В.Ф.Иконникову, письма А.В.Флоровского В.А.Флоровской) // *Славяноведение*. 1994. №4 и др.

<sup>10</sup> Библиографию его работ в эмиграции см.: *Пауто В.Т.* Русские историки-эмигранты в Европе. С.179–182.

культете, читал лекции для русских студентов в Карловом университете, а в 1936 на заседании Русской академической группы защитил докторскую диссертацию по истории чешско-русских отношений в X–XVIII веках – словом, в отличие, например, от Г.В.Вернадского, был признанным научным авторитетом в среде русско-пражских гуманитариев. В то же время еще с 1929 Флоровский сотрудничал со Славянским институтом в Праге, в 1933 получил степень доктора философии и звание профессора русской истории в Карловом университете, позднее был удостоен и степени доктора исторических наук. Его многочисленные научные работы, посвященные историческим, культурным, дипломатическим сношениям России со своими славянскими собратьями, несомненно, способствовали относительно легкому вхождению ученого в чехословацкое научное общество.

Наконец, многолетняя обширная и разносторонняя корреспонденция А.В.Флоровского свидетельствует о его важной роли медиатора в отношениях русской эмиграции разных поколений и политических ориентаций. Особенно это заметно по его одесским связям, тщательно оберегаемым на протяжении всей жизни. Хотя Флоровский родился в Екатеринославе, практически вся дореволюционная жизнь историка прошла в Одессе, где его отец был настоятелем кафедрального собора. Здесь в 1908 Флоровский окончил Новороссийский университет; спустя три года, в 1911, сдал магистерские экзамены и получил звание приват-доцента на кафедре русской истории. После защиты в 1916 магистерской диссертации в Московском университете (удостоена Уваровской премии Академии наук) избран профессором Новороссийского университета. Он активно участвовал в одесской научной и общественной жизни до 1922, когда и был причислен к «подрывным элементам» и депортирован из России.

Всю эмиграцию Флоровский оставался в Праге, не оставляя, однако, надежды вернуться в Россию; в декабре 1946 он даже получил советское гражданство, с 1947 начал печататься в научной периодике СССР, но оставался жить в Чехословакии. Скончался историк в Праге 27 марта 1968.

Довольно интенсивные контакты с советскими коллегами в 1950–1960-е<sup>11</sup> способствовали тому, что в июле 1965 А.В.Флоровский составил завещание, в котором распорядился: «В Архив Академии наук в Москве надлежит сдать всю мою переписку, уже отобранную и распределенную по именам корреспондентов». Супруга ученого, Валентина Афанасьевна Флоровская (урожд. Белоусова), пережившая своего мужа, завещала свои средства на учреждение в Институ-

---

<sup>11</sup> В советской научной периодике даже появился его некролог, см.: *Зайончковский П.А. А.В.Флоровский // История СССР. 1969. №2.*

те истории АН СССР специальной стипендии для «подготовки творчески одаренного специалиста по истории русско-чехословацких связей»<sup>12</sup>. О том, как в СССР были реализованы пожелания Флоровских, можно легко понять по материалам книги В.Т.Пашуто «Русские историки-эмигранты в Европе».

В архивных материалах А.В.Флоровского сохранилось несколько любопытных документов, проливающих свет на внутреннюю историю «одесской высылки». Известно, что в 1937 историк специально собирал материалы, связанные с ней, и даже просил сестру связаться со своими софийскими «однодельцами» А.С.Мулюкиным и Ф.Г.Александровым, чтобы получить их воспоминания<sup>13</sup>. По-видимому, он надеялся собрать коллекцию документов об «одесской высылке» для Русского исторического архива в Праге, однако это намерение выполнить не удалось и документы остались в личном архиве Флоровского. Это специальная папка, в которой собраны записки А.В.Флоровского жене непосредственно из здания ГПУ в Одессе. Если аресты в Москве и Петрограде проводились в ночь с 16 на 17 августа, то на Украине – с 17 на 18-е<sup>14</sup>. Из бумаг Флоровского следует, что одесская группа выслаемых содержалась под арестом с 19 по 25 августа 1922 и состояла из следующих лиц: Лигнау, Добролюбов (освобождены), Михайлов, Дуван, Мулюкин, Трифильев, Бабкин, Фролов, Самарин, Кастерин, Секачев, Флоровский, Александров, Храневич, Соболев и Буницкий<sup>15</sup>. Этот список рукой А.В.Флоровского приведен на начерченном им плане здания одесского ГПУ, здесь же историк изобразил и схему внутреннего помещения, где содержались арестованные.

Среди бумаг А.В.Флоровского сохранился также набросок заметки, по-видимому, предназначавшейся к публикации в эмигрантской

<sup>12</sup> АРАН. Дело фонда №1609. Л.14.

<sup>13</sup> См. письмо от 27 октября 1937: «Мулюкин сказал, что документов у него никаких нет и написать он ничего не может, а относительно вопросов, которые вам задавали, высказался в очень общей форме и стал рассказывать мне, как в ответ на каждый вопрос прочитывал целую лекцию, так что совсем загонял следователя в тупик. Александров тоже документов не имеет и точно вопросов не припомнит, но обещал записать то, что помнит» (АРАН. Ф.1609. Оп.2. Д.459. Л.44-44об.). Подробнее о судьбе «одесситов» см.: *Павленко В.В. Вчені з України в Болгарії. 1917–1941 рр. // Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки: Міжвідомчий збірник наук. праць. Вип.3. Київ, 1993.*

<sup>14</sup> АРАН. Ф.1609. Оп.2. Д.459. Л.83.

<sup>15</sup> О Добролюбове и Фролове не известно ничего; фамилия Лигнау встречается в литературе о Новороссийском университете: Лигнау Николай Георгиевич, магистр зоологии, приват-доцент по кафедре зоологии, был некоторое время хранителем Зоомитического кабинета. Но не исключена ошибка в этой идентификации. Некоторая информация об остальных арестованных содержится в комментариях к этой статье.

печати по прибытии первой группы одесситов в Константинополь (сентябрь 1922). Приведем этот документ полностью:

На днях в Константинополь прибыла первая группа высланных из Советской России профессоров и преподавателей русской высшей школы. Приехавшие из Одессы проф. Б.П.Бабкин (физиолог), проф. А.В.Флоровский (историк) и ассистент Г.А.Секачев (ботаник) были вместе с рядом других профессоров высшей школы в Одессе предварительно арестованы Гос<ударственным> Полит<ическим> Управлением, и квартиры их были подвергнуты обыску. После многократных допросов всем арестованным было предъявлено обвинение в антисоветской и контрреволюционной деятельности со ссылкой на 57 статью Уголовного Кодекса. После недельного задержания, 25 августа, профессорам был, согласно декрету Совнаркома РСФСР от 10 августа с. г., объявлен приговор о высылке их за границу РСФСР, причем предельным сроком их пребывания на территории России указано было 1-ое сентября с. г. Высылаются из Одессы следующие лица, кроме трех названных выше: Н.П.Кастерин (физик), К.И.Храневич (кооперат<ивное> право), А.П.Самарин (медик), Е.П.Трифильев (русская история), А.С.Мулюкин (госуд<арственное> и админ<истративное> право), Д.Д.Крылов (судебная медицина), П.А.Михайлов (уголовное право), Ф.Г.Александров (языковедение), П.Л.Пясецкий (агроном), С.Л.Соболь (зоология), А.Ф.Дуван-Хаджи (хирургия), Г.Добровольский<sup>16</sup>.

Таким образом, к ранее упоминавшимся добавились П.Л.Пясецкий и Г.А.Добровольский.

Из имеющихся в нашем распоряжении документов ясно, что одной из причин отбора ученых на высылку было их сотрудничество с АРА (American Relief Administration / Американская администрация помощи) – организацией, которая откликнулась на призыв о помощи голодающим в России и сумела в короткий срок наладить доставку продовольственных посылок в Одессу<sup>17</sup>. Один из высланных, известный русский физиолог, ученик И.П.Павлова, Б.П.Бабкин писал еще 24 апреля 1922 из Одессы в Москву академику П.П.Лазареву:

Прежде всего о распределении посылок АРА среди врачей. Мною был составлен комитет, согласно предложению КУБУВа<sup>18</sup>, при участии д<октор>ов Бухштаба и Щастного из профессоров мед<ицинского> факультета и видных врачей города. <...> Конечно, я вошел в контакт и с заведующим местным отделением АРА. Комитет наш работал очень хорошо, старался быть сколь возможно спра-

<sup>16</sup> Специальность Г.А.Добровольского (медик) в заметке не указана; также вычеркнута последняя фраза: «Высылаемым предоставляется право свободного избрания направления их поездки». См.: АРАН. Ф.1609. Оп.1. Д.171. Л.1.

<sup>17</sup> О ее деятельности в России подробнее см.: Benjamin M. Weissmann Herbert Hoover and Famine Relief to Soviet Russia: 1921–1923. Stanford: Hoover Institution Press; Stanford Univ., 1974.

<sup>18</sup> Комиссия по улучшению быта ученых врачей.

ведливым. <...> Многих посылки действительно спасли от голодной смерти, многим больным врачам дали возможность поправиться. Вообще здесь на юге, и в частности в Одессе, творится нечто ни с чем не сравнимое. Напр<имер>, ежедневно только от голода здесь умирает 100–150 человек. <...> Сейчас я очень занят устройством детских столовых АРА. В другое бы время отказался, но сейчас кругом такой ужас, что как-то совестно отказываться от выполнения этого долга<sup>19</sup>.

Через месяц, 23 мая 1922, другой одесский корреспондент академик П.П.Лазарева, физик Н.П.Кастерин, также вскоре попавший в список высылаемых, сообщал:

Мы в Одессе получили для академиков<sup>20</sup> два транспорта посылок: 1) в 31 посылку и 2) в 75 на три месяца (на днях). Распределение их происходит ненормально, через посредство Комитета, назначенного общей администрацией Губпрофобра и назначенными ректорами; естественно, произошла масса недоразумений и правонарушений. Было бы справедливо передать дело распределения в руки общественной выборной организации в лице правления Секции научных работников Всеиспроса (члены правления: Бабкин, Кастерин, Самарин (председатель), Флоровский (тов<ариш> пред<седателя>), Соболев (секретарь)). Об этом мы сообщили Л.А.Тарасевичу<sup>21</sup> и просили также и Вас оказать Вашу поддержку в этом направлении в Центральной АРА; местное АРА идет, по-видимому, навстречу этому<sup>22</sup>.

Отметим, что все члены правления «общественной выборной организации», названные в письме Н.П.Кастерина, так же как он сам и упомянутый выше Б.П.Бабкин, оказались в списках кандидатов на вынужденную эмиграцию. В конце августа это решение состоялось, и из письма того же Н.П.Кастерина П.П.Лазареву от 29 августа 1922 мы узнаем, что «группа профессоров – 14 человек – подвергнута административной высылке за границу, в том числе Борис Петрович Б<абкин> и я». «Должен добавить, – писал Н.П.Кастерин, – что никаких фактических оснований для высылки не было – все это результат сплетен и уязвленных местных самолюбий»<sup>23</sup>. Одесский физик в тот момент еще не догадывался, что к «уязвленным самолюбиям» местных чиновников приспела и директива из Москвы, намечающая одновременную акцию по «чистке» интеллигенции по всей стране.

О последующих перемещениях и дальнейшей судьбе одесской группы высланных можно проследить по письмам корреспондентов

<sup>19</sup> АРАН. Ф.459. Оп.4. Д.6. Л.9-9 об.

<sup>20</sup> Имеются в виду лица, получавшие академический паек.

<sup>21</sup> Тарасевич Лев Алексеевич (1868–1927) – микробиолог и патолог, академик АН УССР (1926). В 1918–1927 возглавлял Ученый медицинский совет Наркомздрава РСФСР.

<sup>22</sup> АРАН. Ф.459. Оп.4. Д.56. Л.15-15об.

<sup>23</sup> Там же. Л.16-17об.



А.В.Флоровского, которые публикуются ниже. Трое из них – Б.П.Бабкин, Е.Л.Буницкий и сам А.В.Флоровский хорошо известны и на Западе и в России, они вошли в словник энциклопедического биографического словаря «Русское зарубежье: Золотая книга эмиграции. Первая треть XX века» (М., 1997). Гораздо хуже обстоит дело с их товарищами по вынужденной эмиграции, которые не принадлежали к научной элите и в силу обстоятельств не сумели себя реализовать в науке в полной мере; сведений об их жизни в справочниках и словарях не найти. Между тем их жизнь – еще одна трагическая страница гражданской войны без крови и военных действий, но с ломкой судеб, планов и надежд.

Постараемся внести посильную ясность в хронологию и географию «одесского рассеяния». Первая группа изгнанников в составе Б.П.Бабкина, А.В.Флоровского и Г.А.Секачева прибыла в Константинополь в сентябре 1922. Сначала через Болгарию в Англию выехал Б.П.Бабкин, получив приглашение Лондонского университетского колледжа. Вслед за ним из Константинополя уехал А.В.Флоровский. После кратковременной остановки в Софии, где проживала его семья (отец, мать, брат, сестра и дядя), эмигрировавшая еще в 1920, он обосновался в Праге. Менее удачливо складывалась судьба молодого ботаника Г.А.Секачева. Прибыв из Константинополя в Софию в ноябре 1922, он не сумел найти себе применения по специальности, хотя в первый год эмиграции и работал на семеноводческой станции. С горькой самоиронией он писал А.В.Флоровскому о своей «служебной» обязанности – перебирать горох: «эта работа имеет свою хорошую сторону, так как Бог знает, может быть, придется в будущем где-нибудь работать на кухне в качестве “мужика”, а там эта специальность всегда пригодится» (см. письмо 9, раздел II наст. статьи). В течение трех лет он пытался найти другую работу, но в конце ноября 1925 вынужден был с женой и полугодовалым сыном уехать к брату в Тунис, хотя и плохо представлял, чем мог бы там заниматься. На этом след Г.А.Секачева пока теряется. Четвертым по счету выехал из Одессы юрист П.А.Михайлов. Из Константинополя он проследовал прямо в Париж, где прожил всю жизнь в эмиграции. Постепенно отойдя от юриспруденции, он занимался коллекционированием и торговлей антиквариатом.

В начале 1923 из Одессы выехали математик Е.Л.Буницкий, историк-правовед А.С.Муллюкин и медик Д.Д.Крылов с семьей. Точный маршрут их следования неизвестен, но в начале февраля Е.Л.Буницкий находился уже в Варне, А.С.Муллюкин – в Софии, а Д.Д.Крылов – в Белграде. Летом 1923 Е.Л.Буницкому удалось воссоединиться с семьей и перебраться в Прагу, где он принял участие в становлении и работе Русского свободного университета; с 1931 он преподавал в Карловом университете, где регулярно, вплоть до

возраста 78 лет, читал лекции. О Д.Д.Крылове известно только то, что он стал профессором медицины Софийского университета и опубликовал ряд работ по патологии, онкологии и геронтологии, привлечших внимание специалистов-медиков.

Судьба правоведа А.С.Муллюкина в Софии складывалась трудно. При помощи русской общины он с трудом сумел получить низкооплачиваемое место мелкого чиновника. Его жена и дочь оставались в России из-за недостатка средств, необходимых для отъезда. Автор интересных историко-правовых исследований, опубликованных до революции, Муллюкин оказался брошенным на произвол судьбы. Не случайно П.А.Михайлов сетовал в письме А.В.Флоровскому: «Буду очень рад и за несчастного Александра Сергеевича, если только Прага подберет его...» (письмо 4, раздел VI). Историческая несправедливость к этому человеку тем более очевидна, что появившаяся в эмигрантской газете «Руль» в 1922 опечатка в его фамилии (не Мулюкин, а Мумокин) кочует и по страницам современных работ, лишая ученого даже имени...

Другие одесские «соузники», по выражению А.В.Флоровского, также уезжали в ссылку в 1923: весной из Одессы в Румынию должен был отбыть агроном П.Л.Пясецкий; летом выехали медик А.Ф.Дуван-Хаджи и языковед Ф.Г.Александров. Последний всю жизнь в эмиграции провел в Софии, преподавая латынь и русский язык в гимназиях, а затем в средних школах. Только в 1950-е Александров смог вести практические занятия со студентами-русистами в Софийском университете. В Праге оказался со временем и специалист по сельскохозяйственной кооперации К.И.Храневич.

Эмигранты в основной своей массе жадно воспринимали новости из России, пристально следили за жизнью своей бывшей родины. Их волновало ее прошлое, настоящее и будущее. В письме П.А.Михайлова супругам Флоровским, написанном в августе 1958, наиболее емко выразившем эти настроения (письмо 11, раздел VI), читаем:

...в последние годы все более и более ощущаю *nostalgie* – характер и, так сказать, содержимое ее меняются. <...> И я говорил себе: вот прошло 40 лет – позволю себе думать – четыре поколения (по 10 л<ет> на каждое по нынешнему темпу перемен). <...> Жизнь развела нас. Мы, в рассеянии сущие, вот-вот отойдем к праотцам. Что станет с эмиграцией через 10–20 лет?.. Говорят: «*La garde meurt et ne se rend pas*»<sup>24</sup>... Но красота этих гордых слов может ли успокоить волнение душевное, в основе которого лежит врожденная вера в свой народ, в его лучшее будущее.

\* \* \*

---

<sup>24</sup> Гвардия умирает, но не сдается (*франц.*).

Отобранные для публикации письма делятся на две неравные временные и тематические части. Первая, сводная, охватывает начальные полтора года жизни высланных в эмиграции, когда только решались многочисленные вопросы трудоустройства, жилья, воссоединения с семьями. Здесь много интересных бытовых сведений, информация о внутренних особенностях русских эмигрантских центров и их взаимоотношениях, постоянный интерес к России, друзьям, близким и знакомым, оставленным на родине, со многими из которых высланным не суждено было более встретиться.

Вторая часть корреспонденции – письма более позднего времени (отдельные письма Ф.Г.Александрова, Е.Л.Буницкого, А.В.Флоровского и обширная корреспонденция П.А.Михайлова, сгруппированные нами по самостоятельным авторским разделам) – наполнена биографическими подробностями и самооценками, интересными сведениями о культурной и научной жизни российской эмиграции.

Все публикуемые письма хранятся в Архиве Российской Академии наук (РАН), ф.1609 (А.В.Флоровский), оп.2 и представляют собой автографы; в разделе I после каждого письма указывается номер дела и листы; в начале разделов II–VI дается краткая справка об адресантах А.В.Флоровского и их письмах в фонде историка; в тех случаях, когда в пределах раздела все письма взяты из одного дела, после каждого письма указываются только номера листов; если из разных дел, то номера и дел, и листов. В публикации унифицировано оформление дат и мест написания писем, а также ряд фамилий ученых: Буницкий (а не Буйницкий) и Кастерин (а не Костерин).

Выражаю искреннюю благодарность В.Б.Блинову, Е.В.Гурко и М.Ю.Сорокиной за помощь в поиске биобиблиографической информации в условиях удручающего состояния российских библиотек.

## I

### Несколько штрихов к истории вопроса

1. Н.П.Кондаков<sup>1</sup> – А.В.Флоровскому

Прага  
22 сентября 1922 г.

Многоуважаемый Антон Васильевич, получить профессию здесь прямо невозможно<sup>2</sup>. На днях получено даже в университете от М<инистерст>ва н<ародного> пр<освещения> уведомление не представлять на штатные кафедры русских ученых. Библиотеки здесь есть, и даже обширные: библи<отека> монастырская в Страхове (предместье) имеет 2000 рукописей, но чехи исключительно назначают своих. Несравненно легче получить

место в библиотеке в Софии, где нуждаются в опытных и ученых библиотекарях. Но затем можно искать места в Сербии. Здесь климат сырой и тяжелый, и из Одессы лучше стремиться все же на юг. Но, конечно, насчет Сербии Вы можете лучше узнать от А.П.Доброклонского<sup>3</sup>.

Вам преданный

Н.Кондаков

(Д.256. Л.1)

<sup>1</sup> Кондаков Никодим Павлович (1844–1925) – историк византийского и древнерусского искусства, археолог, академик (1898), профессор Новороссийского (1877) и Петербургского университетов (1888). В 1920 эмигрировал: читал курс средневекового искусства и культуры Восточной Европы в Софийском (1920–1922) и Карловом университетах в Праге (1922–1925).

<sup>2</sup> Речь идет о возможностях скорого получения профессуры именно в Праге, а не о полной бесперспективности трудоустройства. Чехословакия больше, чем какая-либо другая страна Европы, сделала для устройства русской эмиграции. В 1922 чешское правительство во главе с президентом Т.Г.Масариком предприняли «русскую акцию» – выделение государственных средств на материальную поддержку студентов и профессорско-эмигрантов из России. В рамках акции был организован Русский университет с юридическим и гуманитарным факультетами, материально поддерживались Кондаковский семинарий, Технический институт и Сельскохозяйственная школа при Русском университете, Экономический кабинет С.Н.Прокоповича, Народный университет, Русский научный институт, библиотека и архив русского зарубежья и другие русские эмигрантские научные учреждения, с которыми впоследствии была тесно связана деятельность А.В.Флоровского. Подробнее см.: Документы к истории русской и украинской эмиграции в Чехословацкой республике (1918–1939) / Сост. З.Сладек, Л.Белашевская и коллектив авторов. Прага: Славянский ин-т АНЧР; изд-во «Ероу-славика», 1998.

<sup>3</sup> Доброклонский Александр Павлович (1856–1937) – историк церкви, профессор и ректор Новороссийского университета. Выехал из России в 1920. Профессор истории церкви в Белградском университете, с 1936 председатель правления Русского научного института в Белграде. В письме А.В.Флоровскому от 16 октября 1922 отмечал, что в Сербии только преподавание истории в средних школах может обеспечить материально, так как в университетах русской истории не было в учебных планах (АРАН. Ф.1609. Оп.2. Д.208. Л.1).

2. М.Г. Попруженко<sup>1</sup> – А.В. Флоровскому

София

24 сентября 1922 г.

Милый и дорогой Антоша!

Сегодня в 8 часов утра я получил телеграмму от Бориса Петрови-ча <Бабкина><sup>2</sup> с просьбой о возможно скорой отправке ему транзит-

ной визы через Болгарию, а через несколько часов было доставлено и твое письмо. Само собой разумеется, что я завтра с утра отправлюсь в Министерство иностран<ных> дел хлопотать по делу Бориса Петровича и, конечно, употреблю все меры к тому, чтобы виза была отправлена возможно скорее. Передай это Борису Петровичу вместе с моими сердечным приветом и лучшими пожеланиями. О ходе дела по выдаче визы я немедленно сообщу.

Что ответить на твои вопросы? Несомненно одно, – нам, филологам, устроиться гораздо труднее, чем специалистам <четких> наук, напр<имер> – инженерам, архитекторам, агрономам, а особенно медикам: медики всегда легко находят применение своему труду, всюду они желанные люди. Так, напр<имер>, когда у нас стало известно о приезде Б.П.Бабкина в Констант<инополь>, сразу стали говорить о его приглашении в Софию на место В. Вас. Завьялова<sup>3</sup>, который предполагает уехать в Прагу, куда его выбрали; В<асилий> В<асильевич> даже хотел об этом писать Б<орису> Петровичу. Оказывается, что дело Бориса Петровича устраивают в более широком размере. Я очень затрудняюсь признать в общем справедливым мнение, что здесь отношение стало настолько нетерпимым, что сюда не следует ехать. Другой вопрос – возможно ли здесь скоро и желательно устроиться <так!>. Думаю, что это нелегко в данную минуту, но это не значит, что, м<ожет> б<ыть>, через самый короткий промежуток времени все это не изменится. В унив<ерситет>е, пожалуй, трудно получить кафедру, но возможность не исключается быть прикомандированным к какой-либо библиотеке, как это было, напр<имер>, с проф. В.А.Погореловым<sup>4</sup>, который работает здесь. Мне кажется, что, осмотревшись в Софии, ты не теряешь возможности выполнить свои намерения о поездке в настоящую Европу; во всяком случае, жить в Софии выгоднее, ибо здесь всякая валюта (кроме русской, польск<ой>, австр<ийской> и герм<анской>) – очень дорого стоит; выгоднее левы, чем турец<кие> лиры.

Ты писал в Прагу Кондакову, а он решил возвратиться обратно в Софию, и это решение принимает реальную форму, ибо факультет уже возбудил ходатайство о его назначении. Не знаю подробно всех причин его возвращения, но несомненна одна, что Прага по климату нечто очень скверное, и для Вали<sup>5</sup>, напр<имер>, она едва ли подойдет.

Ты скажешь, что я ничего определенного тебе не ответил на твои вопросы, но что может быть определенным и прочным теперь в нашей жизни, то есть в жизни русских, принужденных пользоваться чужими милостями. Что сегодня прочно, завтра рассеется туманом...

Я, напр<имер>, совершенно не считаю свое собственное положение обеспеченным и прочным: все может измениться сразу, но, несмотря на это, не хотел бы забраться далеко от мест, которые так близки к Одессе, куда меня все более и более тянет, – болезненно

тянет... Ты пишешь, что наше свидание должно состояться скоро, – тогда подробно и поговорим. Обо всем этом я уже тебе писал в Конст<антинополь>, два раза писал, но, очевидно, письма погибли, да и как писать все, что думаешь, даже о том, как живется здесь? Ведь письма могут при тепер<ешнем> положении и в чужие руки попадать.

Как мы живем и работаем, сам увидишь. Оттилия, Анночка<sup>6</sup> и я в общем здоровы... Да, физически я здоров, но духом уже не тот, нет у меня ни бодрости, ни крепости душевной... Это меня пугает больше всего... Впрочем, будем еще бороться, держаться за жизнь. Больше у нас ничего не осталось, если потеряна надежда на Россию, на работу к ее благу. Дай Бог, чтобы ты не терял этой надежды.

Оттилия, Анночка и я крепко обнимаем Валю и тебя, дорогой мой Антоша. Да хранит вас Бог. Целуем вас обоих. До свиданья.

Борису Петровичу еще раз сердечный привет. Борис Петрович будет также проезжать через Софию, с радостью повидаемся с ним: у меня всегда к нему было чувство теплой приязни и глубокого уважения. Будьте все здоровы.

Твой М.Попруженко

Понедельник, 25.IX. Мои хлопоты по делу Б.П.<Бабкина> увенчались быстро успехом. Получено официальное разрешение на визу. Спешу на почту.

(Д.372. Л.1-2об.)

<sup>1</sup> Попруженко Михаил Георгиевич (1866–1944) – историк и филолог-славист, дядя А.В.Флоровского по материнской линии. С 1916 – заслуженный профессор Новороссийского университета по кафедре славянской филологии, заведовал Публичной библиотекой Одессы, секретарь Одесского общества истории и древностей. С 1919 – в эмиграции в Болгарии: профессор истории русской литературы (1920–1941), почетный доктор (1939) Софийского университета; член-корреспондент (1923) и академик (1941) Болгарской Академии наук. См.: *Горяинов А.Н.* Одесский славист М.Г.Попруженко в Болгарии (1920–1944) // Культурное наследие российской эмиграции. 1917–1940. С.137–143.

<sup>2</sup> Бабкин Борис Петрович (1876–1950) – выдающийся физиолог. В 1912–1914 – адъюнкт-профессор физиологии Новоалександровского института сельского хозяйства и лесоводства, с 1915 – заведующий кафедрой физиологии Новороссийского университета. В 1921–1922 активно сотрудничал с Американской администрацией помощи (АРА). В августе 1922 арестован и приговорен к высылке с формулировкой: «Правый радикал, антисемит, активный противник Советской власти, группирующий вокруг себя эту часть профессуры. Лекции читал очень мало. Служит в АРА, где является крупной величиной. Тип вредный» (*Волков В.А., Куликова М.В.* Российская профессура глазами жандармов и чекистов. С.297). После высылки из Одессы был приглашен работать в Лондонском университетском колледже, с 1923 –

профессор физиологии в университете Далхауз (Галифакс, Канада), с 1928 – профессор-исследователь в лаборатории физиологии и экспериментальной медицины при университете Мак-Гилла (Монреаль), в 1942 ушел в отставку, но продолжал сотрудничать с Монреальским неврологическим институтом.

<sup>3</sup> Завьялов Василий Васильевич (1873–1930) – физиолог, с 1903 – профессор по кафедре зоологии, сравнительной анатомии и физиологии Новороссийского университета, руководитель кафедры физиологии Одесских высших женских курсов (1915–1919). В 1920 эмигрировал в Болгарию, профессор кафедры физиологии и физиологической химии Софийского университета до своей кончины; занимался проблемами смерти и бессмертия. Благодаря его усилиям в Софии был открыт Физиологический институт.

<sup>4</sup> Погорелов Валерий Александрович (1872–1955) – филолог-славист, и. о. секретаря Славянской комиссии Московского археологического общества; профессор Варшавского (с 1911) и Донского (1918–1920) университетов. В 1920 эмигрировал в Болгарию, в 1920–1922 временно работал в Народной библиотеке, затем избран профессором русского языка и литературы Университета им. Я.А.Коменского в Братиславе. Принял чехословацкое гражданство. В 1945, опасаясь прихода советских войск, уехал в Мюнхен, где преподавал в университете.

<sup>5</sup> Здесь и далее: Валя, Валечка, Валентина Афанасьевна – В.А.Флоровская, жена А.В.Флоровского.

<sup>6</sup> Жена и дочь М.Г.Попруженко.

З. П.Г. Виноградов<sup>1</sup> – А.В. Флоровскому

Оксфорд  
2 ноября 1922 г.

Многоуважаемый Антон Васильевич<sup>2</sup>!

Я получил от проф. Бабкина<sup>3</sup> Ваше письмо и сердечно был бы рад, если мог бы чем-нибудь быть Вам полезен здесь. К сожалению, мест вроде того, о котором Вы говорите, вакантных нет, а если бы они были, то их наверное заместили бы англичанами, а не русскими. Здесь безработица, сами англичане сидят подолгу без дела. Насколько затруднен доступ иностранцам, Вы можете судить по тому, что М.И.Ростовцев<sup>4</sup>, признанный крупный специалист, опубликовавший целый ряд работ на иностранных языках, так и не устроился в Англии, а уехал в Америку. Если Вам удалось заручиться каким-нибудь местом в Болгарии, держитесь крепко. Очень жаль, что принужден писать так отрицательно.

Уважающий Вас

П.Виноградов

(Д.177. Л.1-1об.)

<sup>1</sup> Виноградов Павел Гаврилович (1854–1925) – историк-медиевист, академик (1914). Профессор Московского университета, один из ведущих в Ев-

ропе знатоков экономической истории Англии. В 1902–1908 и с 1911 проживал в Великобритании. В 1918 принял британское подданство, активно помогал русским общественным организациям в Англии.

<sup>2</sup> В документе ошибочно: Александр Васильевич.

<sup>3</sup> Профессор Б.П.Бабкин через Турцию и Болгарию прибыл в Лондон, где проработал два года в Лондонском университетском колледже у профессора Э.Стерлинга, в лаборатории которого проходил стажировку еще в 1914, вторично защитил диссертацию на звание доктора медицины и получил разрешение преподавать в английских университетах.

<sup>4</sup> Ростовцев Михаил Иванович (1870–1952) – выдающийся историк античности и археолог, академик (1917). После революции – в эмиграции в Англии и США (Оксфорд, 1918–1920; университет Висконсина, 1920–1925; Йельский университет, 1925–1944).

4. Н.А. Ганс<sup>1</sup> – А.В. Флоровскому

Лондон

10 ноября 1922 г.

Многоуважаемый Антон Васильевич,

хотя я мог бы ответить сам на Ваше письмо, и, к сожалению, отрицательно, я все же написал письмо профессору Sir Bernard Pares<sup>2</sup>, главе School of Slavonic Studies в King's College<sup>3</sup>. Его ответ прилагаю при письме<sup>3</sup>. Здесь очень трудно устроиться, в особенности если не имеете полного знания английского языка. Жизнь чрезвычайно дорога, и жить можно, лишь имея хороший заработок в фунтах. Русских учреждений, где Вы могли бы работать по специальности, вовсе нет, а в английские берут почти исключительно англичан. Я был бы очень рад получить от Вас сведения об одесских друзьях. Живали еще Екат<ерина> Ив<ановна> Кажданская? Я писал ей, но не получил ответа. Что делают Дмитр<ий> Ант<онович> и Екат<ерина> Ант<оновна> Крыжановские<sup>4</sup>? Я не стану перечислять всех одесситов, но чем больше сообщите, тем лучше. Передайте мой искренний привет Вашему брату и Вашей сестре<sup>5</sup>.

Готовый к услугам

N.Hans

(Д.183. Л.1)

<sup>1</sup> Ганс Николай Адольфович (Ганц, Hans; 1888–?) – историк образования. Окончил Новороссийский университет. В 1918–1919 служил в Одессе в Отделе народного образования. Эмигрировал, преподавал в King's College в Лондоне. Здесь защитил докторскую диссертацию «История образовательной политики в России»; автор многочисленных работ по истории школы России и СССР, переведенных на многие языки.

<sup>2</sup> Пэрс Бернард (Pares Bernard; 1867–1949) – историк-славист; в 1919 состоял при правительстве адмирала А.В.Колчака как представитель прави-



тельства Великобритании. В 1919 по его инициативе была образована Школа изучения славянства и Восточной Европы при Королевском колледже Лондонского университета, директором которой он оставался до 1939.

<sup>3</sup> Письмо в корреспонденции А.В.Флоровского не сохранилось.

<sup>4</sup> Крыжановский Дмитрий Антонович (1883–1939) – математик, профессор Новороссийского университета, автор монографий по математике и учебников по математическому анализу.

<sup>5</sup> Флоровский Георгий Васильевич (1893–1979) – философ, богослов, брат А.В.Флоровского. До революции – приват-доцент Новороссийского университета. В 1920 вместе с семьей эмигрировал в Болгарию, с 1921 – в Чехословакию, затем преподавал в Богословском институте в Париже, в Свято-Владимирской Духовной академии в Нью-Йорке, был профессором нескольких университетов США.

Флоровская Клавдия Васильевна (1883–1965?) – историк и преподаватель иностранных языков, сестра А.В.Флоровского. В России закончила Бестужевские высшие женские курсы, с 1915 – приват-доцент Новороссийского университета по кафедре Средних веков. Вместе с семьей в 1920 эмигрировала в Болгарию, где сначала преподавала латынь в русских и болгарских гимназиях, а затем – русский язык в Софийском университете. В 1955 вернулась на родину, жила в Москве и работала переводчиком в Московской Патриархии.

5. А.В.Флоровский – М.В.Брайкевичу<sup>1</sup>

София

29 ноября 1922 г.

Многоуважаемый Михаил Васильевич,

я весьма признателен Вам за сообщенные Вами сведения о жизни в Англии. К сожалению, известия оттуда от П.Г.Виноградова и других лиц, к которым обращался я с запросами, оказались весьма неблагоприятными для моих планов, и посему о попытках к их осуществлению пока не приходится и говорить. Может быть, в дальнейшем что-либо изменится, – буду жить пока такой надеждой.

К сожалению, и здесь в Болгарии оказалось для меня невозможным найти применение моих знаний и сил, моя специальность (история России) не имеет применения в здешней высшей школе; для работы в музеях и библиотеках встретилось препятствие в ограничении их бюджета, вследствие чего Министерство народного просвещения отказало мне в моем ходатайстве о прикомандировании к какому-либо ученому и учено-вспомогательному учреждению. Приходится посему пока сидеть без всякого дела в ожидании какого-либо хорошего случая или, что неизбежнее, необходимости применить свои силы в деле, далеком от моих специальных интересов и подготовки, но сколько-нибудь обеспечивающем материально. Впрочем, и такую работу очень трудно здесь отыскать. Так обстоит пока мое дело; само собой разумеется – настроение убийственное.

Впрочем, не ради него я беспокою Вас настоящим письмом, а по другому делу. Г.А.Секачев<sup>2</sup>, на днях приехавший сюда из Константинополя, передал мне, что Вас интересуют имена профессоров в Одессе, находящихся в особенно тяжелом материальном состоянии. К именам естественников, сообщенных Вам Г<еоргием> А<ндревичем>, я могу присоединить имена филологов:

1) Борис Мих<айлович> Ляпунов<sup>3</sup>, член-корресп<ондент> Академии наук, 60 лет, – весной 1922 г. перенес тяжелую болезнь – белковое перерождение с голодным отеком (адрес: Софиевская, 10);

2) Евгений Александрович Загоровский<sup>4</sup>, приват-доцент, 39 лет, находится в тяжелом состоянии на почве недоедания, моральная депрессия, крайнее исхудание: его положение отягощается еще тем, что почти целиком на его иждивении его брат<sup>5</sup> – юрист, 35 л<ет>, совершенно нетрудоспособный, ко времени моего отъезда находившийся уже несколько месяцев в клинике с тяжелыми голодными отеками и крайним ослаблением сердечной деятельности на почве хронического голодания. Адрес его: ул. Петра Великого, 24, кв.3.

3) Михаил Ильич Мандес<sup>6</sup>, доктор классической филологии, 55 лет; в настоящем году перенесла тяжелый сыпной тиф находящаяся на его иждивении его сестра; отсутствие всяких сторонних – помимо преподавания в высшей школе, заработков. (Адрес: Софиевская, 9).

4) Сергей Степанович Дложевский<sup>7</sup>, приват-доцент, с 1920 г. в Одессе, выехал в конце 1919 из Киева. Состав семьи – жена и ребенок; имущество едва ли не все погибло в Киеве (библиотека спасена). (Адрес – Ланжероновская, 4).

5) Александр Иванович Занчевский (сын Ив<ана> Мих<айловича> Занчевского<sup>8</sup> – механика, находящегося в очень неважном положении); оставленный при Университете, женат, ребенок; крайне бедствует и нуждается. Адрес – Софиевская, 9.

Называю здесь только наиболее острые случаи; но нужно иметь в виду, что и положение остальных ученых едва ли значительно лучше. Принимая это во внимание, Секция научных работников в Одессе еще в июне месяце сего года отправила к Вам в Лондон на имя Лондонского комитета помощи<sup>9</sup> список профессоров одесской высшей школы с указанием адресов лиц, через которых можно было бы производить передачу предлагаемой Комитетом помощи тем или другим ученым. Вероятно, эти списки в делах Комитета, если, конечно, дошли до Лондона из Одессы.

Извините за слишком растянувш<еся> письмо, но условия существования ученого в Одессе таковы, что трудно остановиться во все <так!>в трагических их подробностях.

С совершенным уважением. Всегда готовый к услугам

А.Флоровский

(Д.8. Л.1-3 об.)

<sup>1</sup> Брайкевич Михаил Васильевич (1874–1940) – инженер, специалист по строительству портовых сооружений; до 1917 жил и работал в Одессе: председатель Одесского отделения Русского технического общества и Одесского общества изящных искусств, собрал большую коллекцию русской живописи (хранится в Одесском художественном музее). Кадет, товарищ министра торговли и промышленности Временного правительства, позже избирался одесским городским головой. В эмиграции в Англии: редактор «Русского экономиста», член комитета Русского торгово-промышленного союза, член Лондонского общественного комитета помощи голодающим России. Продолжал коллекционировать работы русских художников; по завещанию большая часть его собрания была передана в музей Эшмолеан в Оксфорде.

<sup>2</sup> О Г.А.Секачеве см. с.317 во II разделе наст. публ.

<sup>3</sup> Ляпунов Борис Михайлович (1862–1943) – языковед-славист, академик (1923). В Новороссийском университете профессор по кафедре славянской филологии.

<sup>4</sup> Загоровский Евгений Александрович (1885–?) – историк, специалист по русской истории и истории Новороссии. В 1920-е профессор Одесского института народного образования.

<sup>5</sup> Загоровский Александр Иванович – правовед, заслуженный ординарный профессор по кафедре гражданского права и судопроизводства Новороссийского университета.

<sup>6</sup> Мандес Михаил Ильич (1866–?) – филолог, до революции профессор греческой словесности в Историко-филологическом институте князя Безбородко в Нежине, затем профессор по кафедре классической филологии Новороссийского университета.

<sup>7</sup> Дложевский Сергей Степанович (1889–?) – археолог и специалист по общему языкознанию, истории материальной культуры, эпиграфике. В 1920-е профессор Одесского института народного образования, директор Одесского государственного историко-архитектурного музея.

<sup>8</sup> Занчевский Иван Михайлович (1861–1928) – механик. С 1892 – профессор, с 1902 – ректор Новороссийского университета.

<sup>9</sup> Лондонский общественный комитет помощи голодающим в России создан в августе 1921 и существовал до октября 1922. В правление вошли многие видные общественные и политические деятели дореволюционной России, в том числе М.В.Брайкевич.

б. К.В.Мочульский<sup>1</sup> – А.В.Флоровскому

Париж

12 декабря 1922 г.

Многоуважаемый Антон Васильевич,  
прошу меня простить – я замедлил немного с ответом, так как хотел сперва навести справки. Я был бы очень рад видеть Вас здесь, но не

могу скрыть от Вас, что найти работу в Париже представляется мне довольно трудным<sup>2</sup>. Мой бюджет на четыре пятых состоит из частных уроков<sup>3</sup>, а это, как Вы сами знаете, дело крайне неверное. Французы чрезвычайно любезны на словах, но когда доходит до реальной помощи, ссылаются на тяжелое положение финансов и принимаются ругать немцев. Я справлялся относительно архивной работы – к сожалению, эта область недоступна для иностранца. Существуют только государственные должности, на которые могут рассчитывать только французы. В смысле преподавания – единственное заведение – русская гимназия, где все места заняты, и куда я, вот уже живя год в Париже, не мог проникнуть.

Впрочем, мои пессимистические выводы касаются только настоящего момента. Ходят упорные слухи (и, кажется, вполне верные), что французское правительство предполагает отпустить большие кредиты на привлечение к преподаванию русских ученых<sup>4</sup>. Вопрос этот был поднят в связи с прибывшими в Берлин *expulses*<sup>5</sup>, из которых многие стремятся попасть во Францию<sup>6</sup>. Как только узнаю что-нибудь достоверное, напишу Вам, а Вам посоветую изложить Ваши желания профессору Бойе, директору Института восточных языков, который является главным «управляющим» русским делом. Он даст Вам ценные советы. (Mr. le Prof. Paul Boyet, Institut des Langues Orientale, 2, Rue de Lille, Paris.) Простите, что моя готовность быть Вам полезным оказывается столь бесплодной.

Передайте мои сердечные приветы Вашим родным и милой Клавдии Васильевне<sup>7</sup>.

Ваш К.Мочульский

(Д.321. Л.1)

<sup>1</sup> Мочульский Константин Васильевич (1892–1948) – литературный критик и филолог. До революции приват-доцент Саратовского университета. В 1919 эмигрировал в Болгарию, преподавал в Софийском университете. С 1922 – в Париже, читал лекции на русском отделении Сорбонны, преподавал в русской гимназии.

<sup>2</sup> Франция, став к середине 1920-х главным центром политической и художественной жизни русского зарубежья, не стала равнозначным центром русской науки. Французские университеты ограниченно принимали на работу ученых-эмигрантов, за исключением Пастеровского института и Музея человека, в которых существовали многолетние связи между русскими и французскими биологами. В начале формирования русской диаспоры в Париже усилиями бывшего директора Французского института в Петербурге Ж.Патуае (1862–1942) и славистов П.Бойе (1864–1949) и А.Мазона (1881–1967) Сорбонна согласилась принять на работу нескольких русских ученых из числа депортированных для чтения курсов по литературе и истории. Институт славянских исследований также дал приют нескольким русским уче-

ным-эмигрантам. С середины 1920-х центром изучения и преподавания церковных дисциплин стали Свято-Сергиевский Богословский институт и семинария. Русские научные объединения типа Академической группы предоставляли ученым-эмигрантам возможность выступить с лекциями перед научной аудиторией.

<sup>3</sup> Индивидуальные занятия с преподавателями широко практиковались в крупных центрах русской диаспоры. Успех подобного образования во многом зависел от личности и способностей преподавателя. Так, известные слависты Н.А.Струве и М.И.Раев были учениками К.В.Мочульского, о чем вспоминали с благодарностью: «Он был не только выдающимся литературоведом, но и увлеченным, одаренным преподавателем, который в процессе учебы стимулировал и моральное, и интеллектуальное развитие ученика. <...> Он жил в небольшой комнатке для прислуги на верхнем этаже многоквартирного дома в скромном парижском районе (15-й округ). Поднявшись до самого верха лестницы, мы попадали в маленькую комнатку, все стены которой были уставлены полками с книгами – русской, французской, итальянской классикой. В красном углу под иконой висели пара живописных миниатюр и несколько семейных фотографий. Сразу было видно, что это жилище человека, целиком погруженного в мир мысли и чистого в своей вере» (Раев М. Россия за рубежом: История культуры русской эмиграции 1919–1939. М., 1994. С.78-79).

<sup>4</sup> Большую роль в создании рабочих мест для русских эмигрантов во Франции сыграл Франко-русский комитет, состоявший из видных французских и русских ученых и общественных деятелей. Французское правительство предоставило русским ученым специальное помещение в центральном здании Парижского университета, где заседали Русская академическая группа (с 1920) и Академический союз (с 1922). Русскую академическую группу с 1922 по 1942 возглавлял профессор А.Н.Анцыферов, а Академический союз был основан П.Н.Милюковым и П.П.Гронским. В 1921 при Парижском университете было организовано русское отделение и учрежден самостоятельный Русский народный университет. В 1925 в Париже был основан Франко-русский институт как высшая школа социальных, политических и юридических наук по подготовке специалистов для «деятельности на Родине», председателем совета профессоров института был П.Н.Милюков. В 1925 в Париже начал действовать Свято-Сергиевский Богословский институт, готовивший священнослужителей для работы в эмиграции.

<sup>5</sup> Изгнанники (франц.).

<sup>6</sup> Имеется в виду знаменитая «философская высылка». Среди высланных были Н.О.Лосский, С.Л.Франк, Ф.А.Степун, Б.П.Вышеславцев, В.В.Зеньковский, Л.П.Карсавин, И.А.Ильин, И.И.Лапшин и др. В 1923 они основали в Берлине Русский научный институт с тремя отделениями: экономики, права и духовной культуры. Институт просуществовал недолго. Отъезд основного ядра ученых-эмигрантов из Берлина, политические и финансовые трудности послевоенной Германии стали причиной закрытия этого института и других русских научных учреждений в 1930-е.

<sup>7</sup> К.В.Флоровская.

## 7. М.Г.Попруженко – А.В.Флоровскому

София

31 марта 1923 г.

Милый и дорогой Антоша!

Ты, конечно, с полным правом называешь меня всякими нелестными именами: я должен был давно написать тебе в ответ на твое письмо. Но целый ряд обстоятельств мешал мне. Все время чувствую себя очень плохо (постоянно кружится голова), да и спешная работа была (нужно было написать две большие статьи, которые теперь печатаются) и проч. и проч. Простите потому за молчание.

Мы очень рады, что ты устроился вполне благоприятно и можешь работать, но вместе с тем очень огорчены известием о смерти матери Вали, которой выражаем наше сердечное сочувствие.

Очень хорошо, что дело А.С.Мулюкина<sup>1</sup> устраивается в Праге. Здесь с его поступлением на службу не наладилось по целому ряду причин – внутренней – мулюкинский характер – и внешнего происхождения. Наш Комитет по мере сил облегчил его пребывание в Софии, а теперь, чем скорее он устроится в Праге, тем лучше – для его кармана. Поторопите, если можно, с его назначением. Он на днях получил письмо из Одессы. Е.П.Тр<ифильев><sup>2</sup>, очевидно, останется в Одессе, а Ф.Г.Ал<ександров><sup>3</sup> все думает об отъезде с женой, матерью, братом, с женой брата и т. д. Что это будет?<sup>4</sup> <...>

Ваш М.Попруженко

Пиши. Буду отвечать. Не забывай нас.

(Д.372. Л.3-4)

<sup>1</sup> О судьбе А.С.Мулюкина см. раздел III настоящей публикации.

<sup>2</sup> Трифильев Евгений Парфенович (1867–1925) – историк, профессор по кафедре русской истории Новороссийского университета.

<sup>3</sup> О судьбе Ф.Г.Александрова см. с.338 в разделе IV наст. публ.

<sup>4</sup> А.В.Флоровский прилагал максимум усилий для того, чтобы трудоустроить своих земляков, высланных из России. Так, например, он писал в Сербию (в Скопе) П.М.Бицилли (см. о нем примеч. 1 к письму 8 наст. раздела) с просьбой помочь бывшим одесситам найти работу. В письме от 5 февраля 1923 Бицилли отвечал: «Относительно новой пачки изгнанников надо будет подумать. Было бы очень жаль хоронить Александрова в Вел<икой> Кикинде. Да и жалование в русской гимназии мизерное. Он женат или холост? Что касается Трифильева, то Доброклонский, наверное, его как-нибудь устроит. Мулюкин ведь до Одессы был не профессором, а просто чиновником. Я думаю, что если в Болгарии у него ничего не выйдет, то он мог бы вернуться к старому и поступить где-нибудь здесь в судебное ведомство на должность, соответствующую нашей “кандидатской”. Выше иностранно-подданных не пускают, и на этих должностях служат здесь бывшие русские председатели окружных судов и судебных палат. Жалование маленькое, но жить можно» (АРАН. Ф.1609. Оп.2. Д.140. Л.8).

## 8. К.В.Флоровская – А.В.Флоровскому

София

11 декабря 1923 г.

Дорогой Антоша,

поздравляю тебя с днем твоего рождения и с днем ангела и желаю всех возможных благ и успехов. Валю поздравляю с новорожденным и именинником и самые лучшие пожелания. Как теперь ее здоровье и какие у вас дальнейшие планы относительно санатории и т. п.?

Здесь до сих пор держится необыкновенно теплая погода, недели две как начало хмуриться, но ни дождя, ни грязи, ни морозов нет, и в общем погода напоминает наш хороший одесский октябрь. Говорят, что благодаря этому в будущем году будет голод (конечно, относительный), так как осенью ничего нельзя было посеять, и мало воды, так что сейчас очень экономят освещение.

Мы живем по-прежнему, перемен у нас никаких нет. Время у меня занято в общем так, что для научной работы его не остается почти совсем, только едва можно что-нибудь почитать. Боюсь, что вообще едва ли когда-нибудь удастся вернуться к научной работе, – здешняя обстановка этому очень мало благоприятствует.

Избрание Бицилли<sup>1</sup> уже прошло и через Совет министров, и я надеюсь, что он скоро сможет выбраться сюда. Я буду этому очень рада. На днях видела Бобчева (Н.С.)<sup>2</sup>, он и сказал мне, что твоя статья должна быть скоро напечатана в «Юридическом прегледe». Относительно новинок в здешней научной литературе ничего не могу тебе сказать, так как не имею возможности следить за нею; а ргіогі можно сказать, что русской историей, особенно древней, тут интересоваться некому. Миша<sup>3</sup> действительно избран в здешнюю Академию наук, но не знаю, действительным ли членом или корреспондентом. У них тоже все по-прежнему; последнее время они с нами что-то очень любезны.

В политическом отношении никаких перемен не ожидается. Открылось Народное Собрание, в котором большинство безусловно правительственное. На днях заарестовали и выслали целую партию русских большевицких агентов<sup>4</sup>.

Секачев торговал на улице книгами (от Р<усско>-болг<арского> изд<ательства>), но это почти ничего не дает, и теперь он бросает и делает деревянные игрушки, что дает немного больше, но, во всяком случае, спокойнее. Он все мечтает о Праге и иногда даже поговаривает о том, чтобы бросить все здесь и ехать туда на авось, даже без визы.

Ну, пиши же чаще, а то мы о вас знаем только из «Руля» – это очень мало. Целую крепко вас обоих

Ваша Дуся<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Бицилли Петр Михайлович (1879–1953) – историк, филолог, литературный критик. Экстраординарный профессор по кафедре всеобщей истории Новороссийского университета. В 1920 эмигрировал в Сербию. Доцент кафедры всеобщей истории университета в Скопле в 1920–1923, с 1920 писал Н.П.Кондакову и другим с просьбой помочь перебраться в Софийский университет и подавал прошения. В конце 1923, после отъезда в СССР Э.Д.Гримма, был избран на его место профессора кафедры всеобщей истории Софийского университета. В 1924 переехал с семьей в Софию и приступил к работе в университете. 10 марта 1924 официально принял на себя обязанности заведующего кафедрой (см.: *Галчева Т.Н.* П.М.Бицилли – опыт возвращения // *Бицилли П.М.* Избранное: Историко-культурологические работы. София, 1993. С.30).

<sup>2</sup> Бобчев Никола Савов (1863–1938) – болгарский просветитель, фольклорист, славяновед; редактор журнала «Славянский глас» (София), председатель Славянского общества. Академик Болгарской Академии наук (1902).

<sup>3</sup> М.Г.Попруженко, дядя А.В. и К.В. Флоровских.

<sup>4</sup> По-видимому, К.В.Флоровская имеет в виду высылку в СССР 58 болгарских коммунистов – участников сентябрьского антифашистского вооруженного восстания.

<sup>5</sup> Домашнее имя К.В.Флоровской.

## II

### Г.А.Секачев – А.В.Флоровскому

Ботаник Георгий Андреевич Секачев (1894–?) в момент высылки из Одессы – ассистент Новороссийского университета. Сначала жил в Константинополе, затем в Софии. Пытался найти работу по специальности, но безуспешно. Ненадолго получил место при Державной земледельческой опытной станции, где перебирал горох и собирал гербарий. С октября 1923 зарабатывал на жизнь торговлей книгами, изготовлением деревянных игрушек и другими начинаниями в области «мелкого предпринимательства», которые, однако, не приносили дохода. Осенью 1925 с женой и сыном уехал к брату в Тунис. На этом его след в эмиграции теряется.

В фонде А.В.Флоровского (Оп.2. Д.403) хранятся 15 писем Г.А.Секачева, из которых публикуются 12.

1

Константинополь  
8 октября 1922 г.

Дорогие Антоний Васильевич и Валентина Афанасьевна!

Время, проведенное с Вами с момента выезда из Одессы до вашего отъезда в Софию<sup>1</sup>, на всю жизнь останется светлым моментом в нашей жизни. Того, кто протягивает своему ближнему руку помощи



в трудную минуту, не забывают никогда. Вы оказали нам материальную помощь на пароходе, поддержали морально в Константинополе. Пути разные, но часто сходятся. Может быть, когда-нибудь и я окажусь Вам полезен.

Бумаги от французских властей получил. Просьбу Антония Васильевича исполнил. Собираюсь поехать в Прагу или в Белград. Все будет зависеть от того, где есть свободное место по моей специальности.

Ваш Г.Секачев<sup>2</sup>

(Л.2-2об.)

<sup>1</sup> Б.П.Бабкин, Г.А.Секачев и А.В.Флоровский первыми из всей группы высланных одесских профессоров и преподавателей выехали из Одессы в Константинополь.

<sup>2</sup> В этом и в последующих письмах Г.А.Секачева есть приписки его жены, адресованные В.А.Флоровской, которые не публикуются.

2

Константинополь  
9 октября <1922 г.>

Дорогой Антоний Васильевич!

Только сегодня пришел к окончательному решению как можно скорее выбраться из Константинополя. Думаю ехать в Софию, где жизнь дешевле и откуда можно гораздо легче выбраться в Прагу. Если Вам не доставит большого затруднения, то пришлите мне и моей жене визу и напишите, какую сумму денег нужно иметь для месяца жизни в Софии и в какой гостинице удобнее всего остановиться, принимая во внимание ограниченность наших средств. На всякий случай: мне 28 лет, Соне – 20.

Буду Вам очень благодарен, если Вы не откажете в моей просьбе. Привет Валентине Афанасьевне. Искренне уважающий Вас и преданный

Г. Секачев

Адрес: Госпиталь Св. Николая, д<окто>ру Педзельницкому для Г.Секачева.

(Л.1-1об.)

3

Константинополь  
21 октября 1922 г.

Дорогой Антоний Васильевич!

Очень благодарен Вам за высылку визы; я ею воспользуюсь, но только не скоро, так как одновременно с Вашим письмом получил

письмо от Дмитрия Павловича Кишенского<sup>1</sup> из Белграда, в котором он предлагает мне выслать в Белградский русский университет свое *curriculum vitae* и ждать ответа. Весь тон письма позволяет мне надеяться на успех в смысле получения ассистентуры. В ожидании ответа из Белграда постараюсь найти где-нибудь службу, чтобы заработать немного денег на выезд. Задержался с ответом на Ваше письмо благодаря хлопотам о Вашем удостоверении<sup>2</sup> на турецком языке: мне обещали приготовить его к субботе, но в субботу заявили, что никак не могли найти Вашей фотографической карточки. Обещали поискать и выдать. На всякий случай пришлите другую.

Встретил сегодня на Рега<sup>3</sup> прив<ат>-доцента Рабиновича<sup>4</sup>, он приехал вчера из Одессы. Сообщает, что нашим collega'm предоставлена возможность выехать за границу через северную границу <так!>. Рабинович встретился в Одессе с Загоровским, который передал ему, что письма Ваши в Одессе получены. Проф. Буницкий<sup>5</sup> приговорен к высылке из пределов Украины. Проф. Михайлова<sup>6</sup> в Константинополе нет: Н.А.Власенко<sup>7</sup> сообщила, что виза послана ему 7 октября и что до сих пор нет никакого ответа. Соколовы<sup>8</sup> писем из Одессы не получали. Мы до сих пор не получили из Одессы ни одной строки. У Милорадовичей не был, но собираюсь зайти. Если ничего против не имеете, то могу зайти к Милорадовичам, взять у них Ваши деньги, о которых Вы писали, и переслать Вам почтой.

В Константинополе пока спокойно, но нужно все же как можно скорее отсюда выбираться<sup>9</sup>.

Напишите, пожалуйста, сколько Вы уплатили за визу, так как я хочу учесть все свои долги. Жму руку

Ваш Г.Секачев

(Л.4-5об.)

<sup>1</sup> Кишенский Дмитрий Павлович (1858–1933) – профессор по кафедре патологической анатомии и ректор Новороссийского университета. В 1919 эмигрировал в Югославию; профессор медицины в Державной больнице в Белграде, член Общества медицинской помощи сербским и русским беженцам в Югославии, консультант по учебным делам при Управлении правительственного уполномоченного по устройству русских беженцев при Русской миссии в Королевстве сербов, хорватов и словенцев. С 1923 – в Чехословакии; член Русской академической группы в Праге и Учебной коллегии при Комитете по образованию русских студентов.

<sup>2</sup> Имеется в виду удостоверение А.В.Флоровского – члена Русской академической группы в Турции.

<sup>3</sup> Одна из главных улиц Константинополя.

<sup>4</sup> Рабинович Юрий (1886–1968) – математик, приват-доцент Новороссийского университета. О нем см. в воспоминаниях физика-теоретика Дж. Гамова, эмигрировавшего в США в 1932: «Профессор Юрий Рабинович, самый молодой из преподавателей, был хранителем “кабчисмата” (кабинета чистой математики), где мы могли читать книги и журналы в течение дня, а

также болтать о математике и многих других вещах по вечерам. Он умудрился сбежать за границу вскоре после того, как я поступил в университет, и в дальнейшем я повстречался с ним во время одного из моих визитов в Эннарбор (США); он стал профессором Ю.Райничем в Мичиганском университете» (*Гамов Дж. Моя мировая линия: Неформальная автобиография.* М., 1994. С.28).

<sup>4</sup> О судьбе Е.Л.Буницкого см. с.351 в разделе V наст. публ.

<sup>5</sup> О судьбе П.А.Михайлова см. с.355 в разделе VI наст. публ.

<sup>6</sup> Власенко Надежда Андреевна (?–1936) – доктор медицины, жила в Париже; скончалась в Риге.

<sup>7</sup> Соколовы Николай Константинович и Людмила Викторовна – семья эмигрантов из Одессы, с которой Флоровские поддерживали знакомство в Константинополе. Н.К.Соколов – бывший студент 3-го курса. Не имея четкого плана дальнейших перемещений из Турции, он писал А.В.Флоровскому в декабре 1922: «Большинство русских выезжают и едут туда, куда их везут» (АРАН. Ф.1609. Оп.2. Д.412. Л.8). Соколовым удалось в 1923 выехать в Марсель, где глава семьи служил в банке и подрабатывал филателией.

<sup>8</sup> Константинополь был одним из главных перевалочных пунктов русской эмиграции. Остатки армий А.И.Деникина и П.Н.Врангеля и гражданские беженцы составляли многочисленную русскую колонию, лишённую надежд на обретение квалифицированной работы. Турецкая администрация, особенно после прихода к власти М.К.Ататюрка в 1923, была настроена негостеприимно, так как турецкая республика взяла курс на укрепление дружественных отношений с СССР. К тому же положение усугублялось всплывшими религиозной, национальной и конфессиональной неприязни мусульманского населения Турции к христианам-беженцам.

## 4

Константинополь  
<Между 21 октября и 29 ноября 1922 г.>

Дорогой Антоний Васильевич!

Заходил к Соколову и Милорадовичам. Соколов обещал постараться продать ваше полотно, но говорит, что вряд ли будет в состоянии продать его по указанной Вами цене. Хотел взять его у Милорадовичей и передать Соколову, но Милорадовичи сами обещали передать его Соколову. Милорадовичи сами дают за него 16 лир, и вряд ли можно будет продать его за более высокую цену, так как свою шубу я продал за 12½ лир, а ведь мех теперь ценится очень высоко! Долго обсуждали с Милорадовичами вопрос о пересылке его Вам, но пришли к заключению, что взять с собой я не имею никакой возможности, так как 18 метров обмотать вокруг себя нельзя. Другим же каким-либо способом провезти рискованно, так как можно лишиться полотна, а кроме того, заплатить еще очень большой штраф.

Получил Ваш Certificat и спешу его переслать Вам. Вероятно, воспользуюсь Вашим советом и приеду в Софию, где буду ждать ответа из Сербии. Очень благодарен Вам за справку относительно нужды в ботанике на агроном<ическом> факультете.

Привет Валентине Афанасьевне.

Ваш Г.Секачев

Кланяется Вам и Вашей супруге Соня.

P.S. Из Одессы известий не получаю.

(Л.24-24об.)

5

София

7 января 1923 г.

Дорогие Антоний Васильевич и Валентина Афанасьевна!

Наконец-то удалось получить место при Державной земледельческой опытной станции. Работаю поденно и получаю 50 лев<ов> в день. Если принять во внимание праздники, то жалование в этот месяц выльется в очень мизерную сумму. Хватит только оплатить квартиру да купить Соне сладостей. Правда, работа не очень тяжелая – как раз такая, какую могли предложить болгары русскому, боясь конкуренции. Сажу от 8 часов до 12 и перебираю семена, как это делают хозяйки, очищая семена перед приготовлением их в пищу. Очень тяжело чувствовать, что эта работа не продуктивна и что не можешь приложить своих познаний, когда чувствуешь, что не только мог бы заведовать этим примитивным контрольно-семенным отделом, а и всей их Земледельческой станцией.

Получил от проф. Зиле<sup>1</sup> из Риги письмо, в котором он пишет, что послал «про меня очень хороший отзыв» (его слова). Справьтесь, пожалуйста, в Группе<sup>2</sup>. Живем только надеждой на Прагу. Привет Егорчику<sup>3</sup>.

Сердечно жму Вашу руку

Ваш Г.Секачев

(Л.7-7об.)

<sup>1</sup> Зиле Мартын Бертольдovich – медик, до революции приват-доцент по кафедре частной патологии и терапии Новороссийского университета.

<sup>2</sup> Очень малое количество ученых-эмигрантов из России сумело получить места в научных и учебных заведениях Европы и Америки. Перед большинством стояла задача организации собственных научных учреждений, в которых можно было бы продолжать работу и формировать научную смену за рубежом. В начале 1920-х возникает Общество русских ученых в Югославии, а также русские академические группы в Германии, Болгарии, Великобритании, Италии, Турции, Франции, Польше, Риге, Швеции, Швейцарии, Финляндии, Эстонии, Чехословакии. В 1921 они объединяются в Союз русских академических групп. Русская академическая группа в

Праге возникла позднее, чем в других городах Европы, – в 1921, но сразу же завоевала авторитет в эмигрантских кругах и стала руководящим органом всей русской зарубежной науки. Ее почетным председателем был избран профессор А.С.Ломшаков, а фактическим – П.И.Новгородцев. После Второй мировой войны из всех европейских академических групп существовала только парижская, но зато они появились в США и Канаде.

<sup>3</sup> Г.В.Флоровский, брат А.В.Флоровского.

6

София  
15 января 1923 г.

Дорогой Антоний Васильевич!

Получил из Лондона от Брайкевича чек на 15 фунтов и 6 пенсов, что в переводе на болгарскую валюту, каковой мне выплатил банк, составляет сумму в 10 352 л<ева>. М.В.Брайкевич просит распределить эту сумму так, чтобы я получил  $\frac{2}{3}$ , а Вы  $\frac{1}{3}$ , «так как у Вас есть родные в Болгарии, а у меня нет никого» (слова Брайкевича).

Следовательно, Вам приходится 3 450 л<евов> и 66, 666... стотинки. Пересылаю эту сумму в чешской валюте (790 крон) через Национальный болгарский банк. Хотел перевести Вам деньги левыми, а получил чек на 790 крон, каковой и посылаю Вам в этом письме. Напишите, пожалуйста, М.В.Брайкевичу, что Вы получили Ваши деньги полностью, то есть  $\frac{1}{3}$  из общей суммы; это послужит ему распиской в получении Вами денег. О том, что мы получили деньги, Вашим не сообщал<sup>1</sup>. М.В.Брайкевич Вам прислал письмо, которое будет переслано Вам Клавдией Васильевной.

Живем надеждой на Прагу!

Пишите! Привет «тете Вале» от Сони и от меня.

Ваш Г.Секачев

(Л.9-10)

<sup>1</sup> В Софии проживали родные А.В.Флоровского: отец – Василий Антонович (1852–1928) и мать – Клавдия Георгиевна (1863–1933) Флоровские, сестра Клавдия Васильевна Флоровская и дядя по материнской линии Михаил Георгиевич Попруженко с семьей.

7

София  
7 февраля 1923 г.

Дорогой Антоний Васильевич!

Простите, что пишу карандашом. Пишу на службе, где нет возможности писать открыто, и поэтому приходится прибегать к «воровскому» способу. Очень благодарен за те сведения, которые я от Вас получил. В Берлин писал! Интересно знать, если это не секрет,

кто Вам сообщил о возможности устроиться в Берлине? Если надежда на Прагу очень слабая, то узнайте, пожалуйста, у Лепешкина<sup>1</sup> или в Академ<ической> группе, могу ли я «заочно» держать магистер<ский> экзамен? Может быть, можно выполнить сочинения на предложенные темы, и это зачтется как экзамен. Если это возможно, то пусть Ак<адемическая> группа пришлет мне темы. Я бы здесь держал, – но нет специалистов. В настоящее время я закончил писать работу по материалам, вывезенным из России, – «О движении семян некоторых растений под влиянием альбумина»; если ее можно напечатать в Праге (безразлично, на каком языке), то сообщите, и я пришлю рукопись Вам. Закончил краткое, специально предназначенное для Болгарии руководство: «Практич...<sup>2</sup>». Думаю заработать от продажи руководства некоторую сумму левов. Настроение скверное, так как нет никаких надежд устроиться более или менее сносно как в моральном, так и в материальном отношениях.

Жму руку

Г.Секачев

Привет Валентине Афанасьевне. Соня шлет привет!

(Л.11-12)

<sup>1</sup> Лепешкин Владимир Васильевич (1876–1956) – ботаник и биохимик. Профессор Казанского университета до 1921. С 1922 – в эмиграции в Праге, затем уехал в США, преподавал в университете Сент-Луиса (штат Миссури), заведовал ботаническим отделом Биолого-медицинского института в Аризоне; в 1933–1934 профессор физиологии Венского университета; с 1945 – снова в США, в 1947–1956 – сотрудник Исследовательского института морской медицины.

<sup>2</sup> Название работы не дописано.

8

София

19 февраля 1923 г.

Дорогой Антоний Васильевич!

Получил от Вас две открытки; из второй узнал, что писал Вам обо мне из Берлина проф. Минский. Сколько ни старался припомнить, есть ли среди русских ботаников такая фамилия? но пришел к заключению, что, по-видимому, нет<sup>1</sup>. Мулюкина до сих пор разыскать не удалось. Думаю зайти к проф. Завьялову, может быть, он что-нибудь знает о нем. Во всяком случае, если найду его, то все подробно разузнаю и сообщу Вам.

Передайте Валентине Афанасьевне мое искреннее соболезнование по поводу смерти ее матушки.

Интересно, что здесь, по рассказам Стоянова<sup>2</sup>, появилось лицо, выдающее себя за ассистента Харьк<овского> унив<ерситета>, ко-

торое произвело среди зажиточного класса болгар большие денежные сборы в пользу должествующих приехать из России профессоров и скрылось. Оригинально!

Пишите, как положение в Праге? Есть ли надежды, судя по письму Минского, попасть в Берлин?

Привет Валентине Афанасьевне. Жму руку.

Ваш Г.Секачев

(Л.13)

<sup>1</sup> Возможно, речь идет о Минском Николае Максимовиче (наст. фам. Виленкин; 1855–1937) – публицисте, поэте, драматурге, литературном критике. С 1906 – в эмиграции (Париж), в 1913 вернулся в Россию, осенью 1914 уехал в Париж в качестве военного корреспондента. С конца 1921 жил в Берлине, член берлинского Союза русских писателей и журналистов, в 1922–1923 председатель берлинского Дома искусств. Затем жил в Лондоне, Париже.

<sup>2</sup> Стефан Младенов Стоянов (1880–1963) – болгарский языковед; профессор кафедры истории болгарского языка и сравнительного языкознания (1921–1941) и декан историко-филологического факультета (1923–1924) Софийского университета; академик Болгарской Академии наук (1924) и член-корреспондент АН СССР (1929).

9

София  
9 апреля 1923 г.

Дорогой Антоний Васильевич!

Простите, что поздравляю Вас и Валентину Афанасьевну с праздником слишком поздно, но это объясняется тем, что вспомнил о праздниках только тогда, когда получил от Вас открытку с поздравлением.

Положение мое по службе все остается таким же, как было и раньше: целый день перебираю горох, за последние две недели перебрал 25 кило. Правда, эта работа имеет свою хорошую сторону, так как, Бог знает, может быть, придется в будущем где-нибудь работать на кухне в качестве «мужика», а там эта специальность всегда пригодится. Одно плохо, что каждый день приношу домой несметное количество жучков, повреждающих горох, – они расползаются и целую ночь беспокоят мою половину.

Работать по специальности абсолютно невозможно, так как нет ни лаборатории, ни литературы, ни времени. Только в воскресные дни отдыхаю как физически, так и морально, если, конечно, экскурсии в окрестности Софии можно назвать отдыхом. Сегодня были у подножья Витоши – в лесу, где очень много собрали фиалок, что доставило Соне неописуемую радость...

Здесь носятся слухи, будто бы в Праге на стипендию принимают только социалистов<sup>1</sup>. Правда ли? Как дело Мулюкина? Сегодня он

был у меня и выразил предположение, что вряд ли ему удастся попасть в Прагу, и потому просил подыскать ему комнату, так как, по его мнению, дело настолько плохо с Прагой, что нужно устраиваться в Софии. Мы решили с Соней все-таки в Прагу пробраться; если не удастся пробраться легальным путем, то доедем до чешской границы и перейдем ее пешком, так как здесь «гроб» – в прямом смысле этого слова...

Напишите мне, пожалуйста, адреса издательств в Праге, с которыми бы я мог списаться и напечатать свои работы. Думаю написать в Берлин, но там сейчас очень затруднительное положение в политическом отношении и вряд ли можно будет получить какие-либо положительные результаты от переписки.

Ваш Г.Секачев

Горячий привет Валентине Афанасьевне.

(Л.15-16 об.)

<sup>1</sup> Эти слухи широко бытовали в эмиграции и были не беспочвенными. К эсерам лидеры «русской акции» Чехословакии впрямь были настроены благосклоннее, хотя, разумеется, не только им давали стипендии.

10

София

19 мая 1923 г.

Дорогой Антоний Васильевич!

Очень благодарен за Ваше сообщение, оно придало мне энергии, бодрости и надежды на благоприятное завершение моего дела в министрств<тве>.

В настоящее время «карать»<sup>1</sup> стало немного легче, так как начальство теперь видит во мне известный авторитет, с которым старается считаться. Правда, чтобы быть здесь авторитетным лицом, не много нужно – достаточно указать два-три раза на их ошибки, которые ясны даже лицу, не посвященному в их «ученые мудрствования». Как это ни смешно, но приходится руководить «научной» работой своего начальника. Несмотря на это, жалование остается тем же: 50 лев<ов> в день, исключая праздники...

Письмо, присланное Вами А.С.Мулюкину, попало ко мне. Получил я его в Русско-болг<арском> издательстве с просьбой передать Мулюкину. Уже несколько дней разыскиваю его, но не могу найти. Он оставил свое прежнее место жит<ельства>, адреса не оставил, а к нам не заходит. Благодарю за то, что сообщили адрес проф. Михайлова. Этот адрес я просил Вас сообщить мне по просьбе А.С.Мулюкина, который просил меня узнать у Вас этот адрес как можно скорее и предлагал даже два лева на заказное письмо. Все это он просил меня сделать так, чтобы Вы не знали, что адрес нужен ему. Я сделал



так, как он просил, а из Вашего письма выяснилось, что и он писал Вам о том же. Отказываюсь совершенно понимать его политику! Для чего ему это нужно было?

Глубокий привет Валентине Афанасьевне и Егору.

Ваш Г.Секачев

P.S. Если будет возможность, – передайте, пожалуйста, письмо Борису<sup>2</sup>.

(Л.17-18)

<sup>1</sup> Здесь: ждать, хранить (болг.).

<sup>2</sup> По-видимому, имеется в виду профессор Русского юридического факультета в Праге И.Г.Борисов.

11

София

17 июня 1923 г.

Дорогой Антоний Васильевич!

Очень благодарен Вам за приятные вести. Думаю, что теперь мое дело устроится. По-видимому, проф. Немец<sup>1</sup> получил мое письмо, в котором я просил его содействия. Здесь работа моя в том же положении. Заставили меня помимо переборки семян еще и гербарий собирать, что отнимает более чем 8 часов в день, а оклад тот же, что и был раньше. Живется тяжело, так как не только нельзя одеться, но не хватает даже на пищу. Но все же я не падаю духом. «Караю» в надежде на скорый отъезд в Прагу. От В.С.Ильина<sup>2</sup> не получал еще ничего. Думаю, что еще не выяснилось окончательно мое дело.

Ваших здесь постигла большая неприятность, их выселили из семинарии, так как министром земледелия назначен декан агрономического факультета Моллов, который прилагал еще при старой власти все усилия к тому, чтобы занять семинарию, а теперь этот вопрос решен окончательно<sup>3</sup>.

Поздравьте Егора от меня с получением степени<sup>4</sup>.

Ваш Г.Секачев

Пишите! Сердечный привет Валентине Афанасьевне.

(Л.19-20)

<sup>1</sup> Немец Богумил (1873–1966) – ботаник, профессор анатомии и физиологии растений, директор Института анатомии и физиологии растений (1901–1938) и ректор Карлова университета в Праге.

<sup>2</sup> Ильин Василий Сергеевич – доктор ботаники, приват-доцент Екатеринославского университета. В эмиграции преподаватель Карлова университета в Праге, с 1927 – член правления и секретарь Академической группы, член Совета Русского заграничного исторического архива. Позже ассистент Парижского университета.

<sup>3</sup> Отец А.В.Флоровского, священник, преподавал в духовной семинарии в Софии, семья (жена и дочь) жили вместе с ним при семинарии. После вы-

селения части семинарии из занимаемого ею здания в июне 1923 Флоровским пришлось снимать квартиру в городе.

<sup>4</sup> 3 июня 1923 состоялась защита докторской диссертации Г.В.Флоровского на тему «Историческая философия А.И.Герцена», вызвавшая острые дискуссии.

12

<Конец сентября 1923 г.>  
София

Дорогой Антоний Васильевич!

Чем объяснить Ваше молчание? Написал несколько писем, но до сих пор не получил от Вас ответа. Писал еще кой-кому в Прагу, но тоже не получил ничего. Склонен объяснить неполучение писем пропажей их в дороге или на старой квартире, которую мы оставили 2 месяца тому назад и теперь живем на ул. Софийской, 55.

Со службы меня уволили в июле месяце, и вот до сих пор не могу найти подходящей работы. Одно время работал на стройке в качестве чернорабочего. Заработок сносный, но слишком тяжелая работа отзывается на здоровье сердца. Пришлось эту работу оставить и жить на 400 лев в месяц, которые получает Соня в качестве кельнерши столовой Русско-болгарского ком<итета>. Правда, кроме 400 лев Соня получает еще обед, но все-таки и это очень мало<sup>1</sup>. Обещали в октябре устроить на агрономический факультет, но в связи с событиями и эта надежда отпадает<sup>2</sup>. Живу надеждой на Прагу, которая в настоящее время едва теплится, так как никаких сведений оттуда после Вашего последнего письма, в котором Вы пишете о ходатайстве проф. Немеца, не получал.

Встречаю иногда А.С.Мулюкина, который, по-видимому, очень доволен своей службой в банке и не мечтает о другой жизни.

Приехал ли проф. Ломшаков<sup>3</sup>? Говорят, что с его приездом шансы на получение стипендии могут увеличиться. Правда ли?

Привет Валентине Афанасьевне.

Ваш Г.Секачев

Пишите на Русско-болгарское книгоиздательство.

1 октября 1923 г.<sup>4</sup>

(Л.21-22об.)

<sup>1</sup> О бедственном положении семьи Секачевых сестра А.В.Флоровского, Клавдия Васильевна, проживавшая с родителями в Софии, информировала брата регулярно. Приведем некоторые выдержки из ее писем, тем более что других сведений о дальнейшей судьбе молодого одесского ботаника у нас нет. 30 октября 1923: «Секачевы стараются получить квартиру через Жилкомиссию и перебиваются по-прежнему; ко всему прочему ему почему-то задерживают жалование». 3 января 1924: «Секачев бросил торговлю книга-

ми, делает игрушки и с нетерпением ждет приезда Ломшакова из Америки, на которого возлагает большие надежды». 29 декабря 1924: «Секачевы перебиваются, питаюсь тем, что Соня получает в Русском Доме как кельнерша; он же в компании с каким-то приятелем держит работилницу <мастерская (болг.)>, где клеят коробки. Заказов много, рабочие зарабатывают, но сами хозяева, по крайней мере Секачев, не получают ни гроша. Теперь он замышляет открыть мыльный завод и сразу разбогатеть». 13 апреля 1925: «Секачевы по-прежнему. Соня служит и дает уроки, он не имеет никакой работы, и они еле перебиваются». 21 апреля 1925: «Секачевы по-прежнему перебиваются, он ждет какой-нибудь работы и теперь уже мечтает ехать в Тунис к его брату, хотя и не представляют себе, что они могут и будут там делать». 2 июля 1925: «У Секачевых родился сын Георгий, которого мы на днях крестили, – я была кумой. Он все еще никак не устроится, теперь взял место ночного сторожа. Сыном очень доволен и горд, как будто Соня тут ни при чем». И последняя по хронологии запись – от 23 ноября 1925: «Секачевы сегодня уехали в Тунис к его брату, который давно их звал, но сначала хотят заехать в Париж, где он рассчитывает, что его заслуги, неоцененные здесь, будут достойно оценены и ему сейчас же дадут стипендию, которая даст им возможность жить и ему работать по своей специальности» (АРАН. Ф.1609. Оп.2. Д.458. Л.30об., 34об., 39об., 46, 53-53об., 58об., 65-65об., 68об., 69об., 70об., 76об.-77).

<sup>2</sup> В 1920 в Болгарии было сформировано однопартийное правительство из представителей Болгарского земледельческого народного союза во главе с премьер-министром А.Стамболийским. Летом 1923 в стране произошел государственный переворот фашистского толка, Стамболийский был убит. Бывший декан Агрономического факультета Моллов, на решение которого возлагал надежды Г.А.Секачев, получил новое назначение на пост министра земледелия.

<sup>3</sup> Ломшаков Алексей Степанович (1870–1960) – инженер, специалист в области теплоэнергетики. Технический советник на заводе «Шкода». Возглавлял Русскую академическую группу в Праге, с 1921 – председатель Коллегии при Комитете по обеспечению образования русских студентов в Чехословацкой Республике, с 1928 – председатель Общества русских инженеров, с 1932 – председатель правления Объединения русских эмигрантских организаций в Чехословакии.

<sup>4</sup> Дата получения письма.

### III

#### А.С.Мулюкин – А.В.Флоровскому

Александр Сергеевич Мулюкин (?– не ранее 1944) – правовед, историк права, магистр государственного права. В 1910/11 учебном году прочитал вступительную лекцию в Новороссийском университете – «Об индивидуализме древнего русского гражданского права», затем экстраординарный профессор по кафедре полицейского права, секретарь юридического факультета университета. Автор монографий «Приезд иностранцев в Москов-

ское государство: Из истории русского права XVI и XVII веков» (СПб., 1909), «Очерки по истории юридического положения иностранных купцов в Московском государстве» (Одесса, 1912) и других работ. Выслан из России в 1922. Осел в Софии, работал мелким конторским служащим в банке и страховой компании.

В фонде А.В.Флоровского сохранилось 7 писем А.С.Мулюкина (Оп.2. Д.323), которые публикуются полностью.

1

София  
<Конец января – начало февраля 1923 г.><sup>1</sup>

Многоуважаемый Антоний Васильевич.

Я сейчас в Софии и собираюсь ехать в Прагу. Я послал прошение о свободной или вольной вакансии министру Гирса<sup>2</sup> и Центральному бюро Союза русс<ких> акад<емических> групп. Вы уже достигли Праги, а может быть, и большего. Если Вас не затруднит, то научите меня, что надо делать и как. Я приехал один, так как и на меня одного еле хватает денег.

Я вижу, Вы живете не на Lyben Swobodarna<sup>3</sup>, а в отеле. Почему это, и сколько Вам обходится жить в нем? Если бы я приехал в Прагу, можно ли мне прямо проехать в Swobodarna или надо сперва в отель и можно ли мне в Ваш отель, то есть есть ли всегда в нем свободные комнаты и далеко ли он от вокзала и Swobodarna? Надо ли мне самому быть в Праге, а иначе я ничего не получу, или нет? Я боюсь, что, приехав в Прагу без всякой заручки, мне и самому там придется долго жить, ничего не получая ниоткуда, и когда мне назначат или эту вакансию или дадут место оплачиваемое, то я уже не буду нуждаться в людской помощи. Вообще, если найдете возможным, то помогите мне устроиться в Праге или научите меня. Я могу читать курсы западноевропейского общего административного права. Я знаю хорошо немецкие и французские курсы. У меня составлен и привезен с собой такой курс. Могу читать церковное право, так как по поручению факультета более 3 лет читал его в Одессе.

Я знаю, что Вы сами должны еще устраиваться и Вам некогда, но Вы поделитесь со мною этими знаниями и опытностью, которые Вы уже имеете.

Вместе со мною приехал Крылов и Буницкий. Первый в Белграде, второй в Варне.

Простите за беспокойство. Будьте здоровы.

Ваш А.Мулюкин

Болгария. София. Московска ул. №9. Руски Дом. А.С.Мулюкину

<sup>1</sup> Датируется по содержанию.

<sup>2</sup> Гирса Вацлав (1875–1954) – врач и дипломат; родился в Шепетовке на Украине; в 1921–1926 зам. министра иностранных дел Чехословацкой Республики. Впоследствии посол в Польше (1927–1935) и Финляндии (1927–1934), Югославии (1935–1938).

<sup>3</sup> См. описание этого места жительства русской научной эмиграции в Праге, сделанное Б.Н.Лосским: «...“Свободарна” (что по-русски было бы “холостяцкая”) – общежитие для неженатых рабочих окраины Праги, именуемой Либень. Через три или четыре жилых этажа здания тянулись параллельно длинные коридоры, на обе стороны которых выходило десятка два-три дверей предельно узких “кабинок” для студентов. Было также в каждом из этих этажей по коридору, вмещающему восемь или десять более дорогих, но уже настоящих небольших комнат, предназначенных для семей пансионеров “старшего” возраста... <...> В нижних этажах здания помещалась чешская “кантина” и, для всеобщего пользования, банное заведение с ванными и душами. Русским была отдана большая часть этого заведения. В этой части находились также зал для развлечений, чертежная для студентов-технологов и содержавшаяся YMCA читальня с журналами и газетами. В этом-то общежитии и поселилась наша семья в двух комнатах “профессорского коридора” верхнего этажа. Найти квартиру в одолеваемой острым жилищным кризисом столице новорожденной чехословацкой республики было почти невозможно» (Лосский Б. В русской Праге (1922–1927) // Минувшее: Исторический альманах. Вып.16. М.; СПб., 1994. С.8-9).

2

София

14 февраля 1923 г.

Глубокоуважаемый Антоний Васильевич,  
обращаюсь к Вам с очень большой просьбой, не откажите, пожалуйста, помочь мне в получении визы на въезд в Чехословакию, в Прагу. Я подал в Софии в Чехословацкую легацию<sup>1</sup> соответствующее прошение. Это прошение при бумаге от 14 февраля 1923 г. за №730/adm. идет в Прагу. Здесь я просил, чтобы ответ дали по телеграфу. Торопясь в Прагу и зная вообще, что канцелярии делают все не скоро, я и позволяю себе беспокоить Вас настоящей просьбой, если только возможно для Вас, то помогите мне и похлопочите, чтобы дело мое о получении визы было решено в скорейшем времени и чтобы я получил разрешение по телеграфу, последнее на мой счет.

Если я проеду, то я думаю проехать прямо в Swobodaru, авось мне там дадут угол, а больше мне и не надо.

Мне думается, что Вы имеете ценные для меня сведения, касающиеся как проживания в Праге, так и пути туда. Если Вы поделитесь со мной ими, то много этим мне поможет, отведя от меня целый

ряд ошибок незнания. Я уже писал Вам, не знаю только, получили ли Вы мое письмо, о том, что я подал прошение министру д-ру Вацлаву Гирсе и в Центр<альное> бюро Союза рус<ских> акад<емических> групп о предоставлении мне вольной вакансии, чтобы я мог пережить первое самое трудное время. Я писал также профессорам Ломшакову и Новгородцеву<sup>2</sup>, прося их о том же. Может быть, Вы мне поможете в этом деле.

Извините меня, что я Вас беспокою. Будьте здоровы.

Искренне Ваш

А.Мулюкин

София, Московска, 9.

(Л.1-2)

<sup>1</sup> Посольство.

<sup>2</sup> Новгородцев Павел Иванович (1866–1924) – философ права, общественный деятель. С 1903 – профессор Московского университета по кафедре энциклопедии права и истории философии права. С 1920 в эмиграции. В 1922 основал и возглавил Русский юридический факультет в Праге.

3

София

27 февраля 1923 г.

Большое спасибо, глубокоуважаемый и дорогой Антоний Васильевич, за радостную весть о моем деле и за сообщение сведений о Праге и дороге к ней. Интересно было бы знать, когда, хотя <бы> приблизительно, я могу получить официальный ответ\*, чтобы сообразовать свое время, особенно относительно помещения здесь. Если Вас не затруднит, то сообщите мне об этом. Кроме того, может быть, Вы точно знаете размер ежемесячной суммы вакансии и срок, на который она назначается. В прошении министру Гирсе и в Центральное бюро Союза акад<емических> групп я сообщил мой первый адрес, а именно Шарен Мост, но теперь у меня другой адрес, а именно Московска ул. №9, Русски Дом. Имеет ли это значение, не может ли ответ затеряться?

Я везу с собой 4 ручных места. Самое большое в длину меньше аршина – чемодан. Можно их не сдавать в багаж?

Если бы я знал, хотя бы приблизительно, что я получу извещение о вакансии и визу месяца через два, то есть что я уеду отсюда не раньше двух месяцев, то тогда я стал бы искать комнату. Но, может

---

\* Я оттого стал просить здесь визу, что думаю, что, приехав в Прагу, мог бы хлопотать об ускорении назначения вакансии. Но если это идет по-другому, то я просил бы Вас побывать в Министерстве и похлопотать об ускорении. Кстати и адрес мой сообщить другой, чтобы на прошении приняли его. – *Примеч. автора.*

быть, можно скорее гораздо, а то я весь проживусь здесь. По-моему, здесь дороже, чем в Праге. Вы пишете, что платите за комнату в отеле «лучшую, чем клетушка в Свободарне, столько же, как и там», то есть до 600 крон. Тогда я не понимаю, зачем же мне ехать в Свободарну, когда я могу пожить первое время в Вашем отеле. Как он далеко от вокзала, и можно <ли> к нему доехать на трамвае и на каком? Во-первых же, я сразу Вас увижу и не буду уже так одинок. Одиночество страшно давит первые два дня.

Постараюсь ответить Вам на Ваши вопросы, но на все не могу. На одни ответ очень большой, и я Вам доложу при нашем свидании, на другие я не знаю, что ответить. После вас, по-видимому в октябре, в конце, выехал Михайлов. Поехал во Францию и теперь живет в Париже очень хорошо, так как много вывез. Затем был вызван в Москву и там устроен ак<адемиком> Лазаревым<sup>1</sup>, как говорят, хорошо, Кастерин<sup>2</sup>. Затем, уже теперь выехали Крылов с семьей, находящ<ийся> в Белграде и устраивающийся по кафедре судебной медицины; Буницкий, живущий в Варне у сестры и племянницы и ожидающий своего семейства<sup>3</sup>, и я – один, оставивший своих за недостатком «перевозочных средств». Остальные, как Александров, хлопотали о документах и выезжать с нами опоздали. Другие, как Пясецкий, имели документы, но не имели средств на выезд. Третьи, как Дуван, не имели возможности ликвидировать имущество и потому тоже еще остались. Позабыл сказать о Самарине<sup>4</sup>, который получил, подобно Кастерину, возможность остаться в Рос<сии> и был направлен в Воронеж, где <факультетом> был избран на кафедру. Соболев<sup>5</sup> уехал в октябре хлопотать об оставлении в России в Москву, и когда в конце января от него было получено извещение, что все-таки всех выселяют, то он стал собираться тоже уже из Москвы, что дальше с ним, не знаю. Трифильев тоже был в Москве и должен был вернуться в Одессу, но при нас еще не приехал. Он и Добровольский положительно не думали о выезде за границу. Надобно сказать еще о Храневиче<sup>6</sup>, который выехал в Польшу с семьей до Михайлова. Вот первый не подробный, потому что я исписал бы Вам массу страниц, если бы мог отвечать подробно, но краткий ответ. Другой вопрос, как мы выехали трое<sup>7</sup> и приехали, лучше всего изложить при свидании. Интересны подробности, во-первых, а во-вторых, не столько факты, сколько доказательства мнений и ощущений. Что ожидает тех, которые почему-либо не выехали из России, я не знаю и даже предполагать не могу. Если же начать высказывать предположения, то одно изложение их без доказательств будет очень длинно. С высшей школой я уже в октябре не имел никакой связи, в ноябре и не хотел, поэтому ничего не знаю. Я, кажется, заменен Амельницким и Толстым, но и этого наверное не утверждаю. О библиотеках понятия не имею. О жизни Ваших коллег в Одессе расскажу Вам при личном

свидании. Знаю очень мало и при большой фантазии обобщу Вам отдельные факты и только, в том числе и о Толстом.

Подождите, вот я не знаю только, сколько времени до личного свидания, когда мы, встретившись, наговоримся всласть, и у Вас, и у меня есть что порассказать друг другу. Ведь мы с Вами уже навек связаны и все Ваше для меня очень интересно.

Будьте здоровы. Мой глубокий поклон супруге.

Ваш покорный слуга

А.Мулюкин

Болгария. София. Московская ул., 9. Русски дом.

(Л.3-4об.)

<sup>1</sup> Лазарев Петр Петрович (1978–1942) – физик и биофизик, академик (1917). После революции принимал активное участие в организации советской науки.

<sup>2</sup> Кастерин Николай Петрович (1869–1948) – физик, профессор Новороссийского университета. Высылался с формулировкой: «Активный враг Советской власти. В течение 2-х лет не выполнял учебного плана... Работает в Мединституте, где все время открыто занимается саботажем, за что и был вычищен при чистке и сокращении штатов» (*Волков В.А., Куликова М.В.* Российская профессура глазами жандармов и чекистов. С.297). Однако в октябре 1922 А.Б.Халатов, Н.А.Семашко и М.Н.Покровский направили Ф.Э.Дзержинскому в ГПУ – и копию в ЦК РКП(б) – специальное письмо с просьбой о переводе Н.П.Кастерина из Одессы в Москву. Это письмо было инициировано вице-президентом АН В.А.Стекловым, непременным секретарем АН С.Ф.Ольденбургом и академиком П.П.Лазаревым (РГАСПИ. Ф.17. Оп.84. Д.397. Л.35; опубл.: «Поручить мотивировать отказ» / Публ. И.Селезновой // Источник. 2000. №5. С.67).

<sup>3</sup> Д.Д.Крылов со временем переехал в Болгарию и преподавал патологию в Софийском университете. Е.Л.Буницкий, наоборот, перебрался в Белград, где работал некоторое время до окончательного переезда в Прагу.

<sup>4</sup> Самарин Андрей Петрович (1874–?) – медик, приват-доцент и прозектор кафедры оперативной хирургии Новороссийского университета. В 1920-е преподавал в Воронежском государственном университете.

<sup>5</sup> Соболев Самуил Львович (1893–1960) – историк биологии. Закончил в 1920 Новороссийский университет, в 1922–1933 работал в издательствах; в 1929–1931 – в Коммунистической академии и в Отделении биологических наук АН СССР.

<sup>6</sup> Храевич Константин Иерофеевич – специалист в области сельскохозяйственной кооперации. В эмиграции преподавал в Русском институте сельскохозяйственной кооперации в Праге, печатался в «Русском экономическом вестнике».

<sup>7</sup> Имеются в виду А.С.Мулюкин, избравший первоначальным местом пребывания Софию, Д.Д.Крылов, отправившийся в Белград, и Е.Л.Буницкий, остановившийся у родственников в Варне.



София  
2 апреля 1923 г.

Христос Воскресе,  
глубокоуважаемый и дорогой Антоний Васильевич!

Поздравляя Вас и Вашу супругу со Светлым Праздником, от души желаю Вам счастья и здоровья. Вы вместе, а я один, «один стою и слезы лью». Может быть, и мое испытание Бог когда-нибудь окончит. Но боюсь я: много надо сил.

Праздники, очевидно, я проведу здесь. Хорошо, если в течение их будет получена виза, тогда после них, по истечении всех формальностей, сразу уеду.

Получил от жены письмо; шло 17 дней. У них все, слава Богу, благополучно. Цены и налоги только все растут, все на жителей с боем идут. Рыба 5 м<иллионов> ф<унт>, белый хлеб 2 м<иллиона> ф<унт>. Дамские ботинки стоят уже 500 мил<лионов>. Жена сообщает, что Пясецкий едет в Бессарабию прямо, так как ему телеграфировали о высылке визы из Румынии, которую на днях он должен получить. «Трифилев оставлен здесь», очевидно, в Одессе. «Выхлопотал себе, а Соболь до сих пор в Москве. Семейство Буницких уезжает на “Анне” на днях». Это письмо от 10 марта. Недавно через Софию проехала сестра Ласкарева<sup>1</sup> в Белград. Она приехала именно на «Анне». Очевидно, приехали в Варну и Буницкие. Ему я писал два письма, ни на одно не получил ответа. Боюсь сообщать Вам такой адрес, но все-таки: Варна. Управление порта. Квартира инженера Багалева для Бун<ицкого>. Жена пишет еще об Александрове, который «ходил с ними (то есть с Буницкими), заходил ко мне, но, судя по его разговорам, не уедет с ними, не успеет, так как уж очень кисляй большой и в разговоре». Он ведь с нами тремя хотел ехать и собирался, но как-то странно. Сперва среди нас он считался холостым, а под конец объявил себя женатым, и даже на француженке, и ее стал хлопотать взять с собой. Это было в январе. У Трифилевых как-то было небольшое собрание, не хватало чайных ложек для гостей. Вера Павловна пошла в буфет и обнаружила пропажу всего серебра.

Ваше последнее письмо 25 марта уже довольно ясно вычерчивает передо мною Прагу, гораздо яснее, чем Ваше первое письмо и сообщение Правления Союза р<усских> а<кадемических> г<рупп>. Целую Вас за него, дорогой мой. Все-таки, думаю, авось, и буду жить.

Вчера я написал министру Гирсе и в Правление, прося их об ускорении, так как деньги мои на исходе и надолго не хватит.

Будьте здоровы. Искренне преданный Вам

А.Мулюкин

Если бы что потребовалось, пишите на адрес: Болгария, София, Улица Денкоглу, 26. Проф. А.Янишевский за А.Мулюкин.

(Л.5-6об.)

<sup>1</sup> Ласкарев Владимир Дмитриевич (1868–1954) – геолог и минералог, с 1914 – профессор по кафедре минералогии и геологии Новороссийского университета. С 1920 – в эмиграции: некоторое время работал в Греции, затем профессор Белградского университета (по контракту), член Сербской академии наук и искусств.

5

София  
15 апреля 1923 г.

Дорогой Антоний Васильевич,  
сейчас говорил с приехавшим из Праги И.А.Базановым<sup>1</sup>, он меня совсем обескуражил, если не поверг в отчаяние. Сказал, что трудно мне надеяться на вольную вакансию: слишком много высланных. Если Вас не затруднит, то исполните мою нижайшую просьбу, узнайте, в чем дело и отчего меня до сих пор не утверждают. Пишите все откровенно. В таком важном деле правда – самое главное. Говорят, что надо самому приехать и хлопотать, но когда я самостоятельно и отдельно от дела о вакансии просил через здешнюю легацию о визе, то мне в этом, по сношению с Прагой, отказали. Похлопочите, может быть, и выйдет мое утверждение.

Будьте здоровы. Извините меня, что я так Вас беспокою. Может быть, мне и удастся еще отплатить Вам за Ваше участие ко мне.

Искренне преданный

А.Мулюкин

Болгария, София, Славянска ул. 10. Проф. В.Ренненкампф за А.Мулюкин.

(Л.7-7об.)

<sup>1</sup> Базанов Иван Александрович (1867–1943) – правовед, историк права. Профессор гражданского права и судопроизводства (1890–1913), ректор Томского университета (с 1909), затем профессор Петербургского (1913–1914) и Киевского университетов (1917–1918). В 1914–1916 попечитель Казанского учебного округа. С 1919 – в эмиграции в Болгарии, профессор Балканского ближневосточного института (1922–1937), Софийского университета, Русско-го народного университета. С 1921 – председатель Центрального общественного объединенного комитета русских беженских организаций (ЦООК); председатель правления Русской академической группы в Болгарии.

6

София  
20 апреля 1923 г.

Глубокоуважаемый и дорогой Антоний Васильевич,  
беспокою Вас последний раз и позволю изложить Вам все дело.

1. 1-го или 2-го февраля я послал прошения о свободной вакансии на имя министра Гирса и в Бюро Союза академических организаций.

2. В половине февраля через Чехословацкую легацию в Софии прошение о визе.

В конце февраля мне пришло извещение от Бюро Союза, что оно ходатайствует о вольной вакансии (стипендии) для меня перед министерством.

В конце марта, 31 числа, пришло в легацию, но не было еще объявлено, что ходатайство о визе отклонено.

1 апреля я опять послал прошение министру Гирсе о стипендии и сослался на то, что я просил его о визе через местную легацию, которая послала мое прошение около 15 февраля, что о стипендии ходатайствует Бюро Союза, и я просил ускорить разрешение дела. Подобное же прошение я одновременно послал и в Правление Союза.

Ныне я получил от министра Гирса ответ от 10 апреля с. г. №58326/23.11 следующего содержания: «В ответ на Ваше прошение от 1 апреля с. г. Министерство иностранных дел сообщает, что, согласно первому постановлению от 8 марта с. г., отправленному Софийской легации Чехословацкой Республики для извещения Вас, не может, к сожалению, и на этот раз дать Вам разрешение на въезд в пределы Чехословацкой Республики, хотя и вполне понимает Ваше тяжелое положение, ввиду того, что нет свободных вакансий и средства, предоставляемые для помощи русских эмигрантов <так!> в Чехословацкой Республике, весьма ограничены». Вот и все.

Я беспокою Вас оттого, 1) что Правление, обещавшее мне в объявлении от 28 февр<аля> с. г. за №249 сообщить о результате своего ходатайства о назначении мне стипендии, который может выясниться к концу марта, до сих пор ничего не сообщает, 2) что И.А.Базанов, о котором я писал Вам в предыдущем письме, говорил лишь об общем положении, которое может быть безотраднo, между прочим, и для меня и 3) что из приведенного мною полностью последнего ответа Мин<истерства> ин<остранных> дел от 10 апр<еля> можно видеть, что министерство скорее говорит о визе, подразумевая только это одно дело, вне всякой зависимости от ходатайства обо мне Правления Союза о стипендии, причем подтверждает, что, согласно первому постановлению, оно и теперь отклоняет.

Выясните, усердно прошу Вас, в чем дело? Я один, семейство ко мне не приедет, так как слишком много для этого надо денег. Может быть, еще не все потеряно и только недоразумение с таким ответом<sup>1</sup>. Конечно, надо побывать сперва в правлении, у Ломшакова Алексея Степановича, а потом в министерстве.

Ответьте по адресу: Болгария, София. Славянска ул., 10. Проф. В.Ренненкамф за А.Мулюкин.

Будьте здоровы. Искренне извиняющийся перед Вами

Ваш А.Мулюкин

(Л.8-9об.)

<sup>1</sup> Подробности жизни А.С.Мулюкина в Софии мы узнаем из писем К.В.Флоровской брату в Прагу. 21 февраля 1923: «С Мулюкиным виделась недавно, случайно встретила его перед Русским Домом, где он временно живет. Он говорит, что отдохнул и чувствует себя хорошо, но старается ни о чем не думать, особенно о России и о своих, так что я ни о чем его не спрашивала. Вид у него очень растерянный и пришибленный. Он очень рвется в Прагу, ждет визу, очень ждет твоего ответа на свои письма и в то же время беспокоится – ехать ли в Прагу, сможет ли он там прожить, удастся ли ему устроиться и т. д. Между прочим, он интересовался, если он приедет, дадут ли ему там помещение в Свободарне и обед, так как денег у него совершенно нет». Лето 1923: «Мулюкину здесь нашли местечко в банке на 1500 л<евов>». 30 октября 1923: «Мулюкин бегаёт по-прежнему и утверждает, что очень доволен своим положением». 16 июля 1924: «Неужели никаким способом нельзя было устроить в Праге Мулюкина? Он получает 1400 л<евов> и буквально голодает». 13 апреля 1925: «Мулюкин все так же получает свои 1500 л<евов> в месяц, философствует и высказывает оптимистические идеи. Несмотря на свою чудаковатость, он мне нравится». 1 сентября 1938: «На днях видела Мулюкина, – он не меняется, все так же философствует на разные темы, между прочим много говорит о судьбах России, которой предсказывает скорую перемену». После долгого перерыва, 15 апреля 1939: «Видела <...> нестарящегося Мулюкина, по обыкновению полного интереса ко всему происходящему в мире и обо всем имеющего собственные (впрочем, помоему, не оригинальные) идеи и предвидения; кроме того, он усердно занимается живописью – это увлечение продолжается уже несколько лет, и я видела недурные его работы». 21 ноября 1939: «На днях видела Мулюкина, – и он не изменяется и даже не стареет. Ты знаешь, что он занимается живописью? Сначала писал пейзажи, теперь, кажется, портреты». 27 декабря 1942: «Недавно видела Мулюкина; он усердно – уже давно – пишет какое-то опровержение марксизма». 27 марта 1944: «Мулюкин где-то в провинции» (АРАН. Ф.1609. Оп.2. Д.458. Л.11-11об., 29об., 30об., 50об., 54об., 65, 68-68об.; Д. 459. Л. 72об., 99-99об., 121, 204об., 230).

7

София  
23 апреля 1923 г.

Дорогой Антоний Васильевич,

посылаю Вам письмо такого же дурака, как и я, и находящегося, по видимому, в таком же положении, а именно Евгения Леонидовича <Буницкого>. Вывозите нас обоих. Что Вы найдете нужным, то и сделайте. Конечно, адрес Грунда мне не сообщайте, а прямо Е.Л.<Буницкому>. Его адрес написан в конце его письма: Варна и т. д.

Мне писали из Одессы, что П.А.Михайлов живет в Париже, но больше ничего. Интересно знать, как он устроился? Если случайно знаете его адрес, то сообщите мне. Писали также, что на исследовательские кафедры признаны достойными только 2 руководителя – Эммануил Яковлевич<sup>1</sup> и Борис Васильевич<sup>2</sup>, последний по археологии, что жалованье не заплатили еще за февраль, но собираются заплатить 33%. Алексей Яковлевич<sup>3</sup> ведет практические занятия по судопроизводству. Привлечен студентом за оскорбление на словах (назвал бараном) к суду. Суд оправдал А<лексея> Я<ковлевича> и осудил студента на 6 мес<яцев> условн<ого> лишения свободы. Студент перенес дело во 2-ую инстанцию.

Будьте здоровы, дорогой мой, целую Вас

А.Мулюкин

(Л.10-10 об.)

<sup>1</sup> Немировский Эммануил Яковлевич (1874–?) – правовед, приват-доцент по кафедре уголовного права и уголовного судопроизводства Новороссийского университета. В 1920-е профессор и декан юридического факультета Одесского института народного образования.

<sup>2</sup> Варнеке Борис Васильевич (1878–1944) – филолог-классик и историк театра, доктор римской словесности. До революции профессор Казанского (с 1903) и Новороссийского университетов (с 1911). Директор музея Одесского общества истории и древностей.

<sup>3</sup> Шпаков Алексей Яковлевич – правовед, профессор кафедры истории русского права Новороссийского университета.

#### IV

#### Ф.Г.Александров – А.В.Флоровскому

Федор Георгиевич Александров (ум. не ранее 1964) – языковед. В 1913 оставлен при Новороссийском университете для подготовки к профессорскому званию при кафедре сравнительного языкознания, хранитель историко-филологического кабинета. Читал лекции по истории фонетики латинского языка на Педагогических курсах в Одессе. Выслан в 1922, осел в Софии. В России оставалась семья, воссоединиться с которой ему частично удалось несколько лет спустя (в 1925 к нему приехала мать и в начале 1930-х – брат; оба похоронены в Болгарии). С первых лет эмиграции преподавал латынь в болгарских и русских гимназиях и в духовной семинарии, затем русский язык в школах Софии. В 1950-е – один из авторов учебников по грамматике русского языка для средней школы. В СССР в 1936 были опубликованы его переводы од Квинта Горация Флакка, изданные в «Полном собрании сочинений» под редакцией Ф.А.Петровского. С 1953 вел практические занятия со студентами-русистами по исторической грамматике русского языка в Софийском университете. В 1941 женился, имел сына.

Из 13 сохранившихся писем Ф.Г.Александрова А.В.Флоровскому публикуется 7 наиболее информативных (Оп.2. Д.114, 317).

1

<Начало мая 1923 г.>  
Варна

Многоуважаемый Антон Васильевич!

Судьбе было угодно, чтобы я очутился в злополучной Варне. Положение материальное и всякое иное очень тяжелое. Вы, разумеется, догадываетесь, в чем будет заключаться содержание моего письма. Я знаю, что высланные, как и вообще русские, всем надоели, в том числе и друг другу; я знаю, что получить место в каком-либо чехословацком университете невозможно, что Русский университет в Праге, если таковой существует, вероятно, заполнен, и притом людьми «высокой квалификации». Но все-таки, дорогой Антон Васильевич, осведомьте меня, каково положение нашей кафедры (сравнительного языковедения и санскрита; общего языковедения) в чехословацких университетах (говорят о существовании, кроме Праги, университетов в Бреславле, в Брюнне, о появлении «украинского» университета и т. д.); сообщите мне, пожалуйста, действительно ли положение совершенно безнадежное или на что-то можно рассчитывать. Должен сказать, что я удовлетворился бы даже какой угодно службой, если бы эта служба была в университетском городе: это давало бы мне возможность продолжать работы, пользуясь университетской библиотекой. Напишите также мне, каково положение выехавших в Германию; говорят то о какой-то Академии, то о русском университете и т. д. Вообще, если Вы можете оказать мне помощь Вашим советом – я буду Вам очень благодарен. Если нужно будет куда-либо подавать прошение – напишите мне немедленно об этом.

Простите, пожалуйста, что позволяю себе беспокоить Вас своей просьбой, но положение человека, лишенного всяких связей, заставило меня это сделать. Я сознаю, что личное присутствие есть лучшая гарантия успеха ходатайства, однако я боялся ринуться в Прагу, не имея никаких сведений о положении интересующих меня вопросов.

Если Вы найдете, что мое присутствие и мои «хождения по мукам» смогут привести к положительному результату (minimum: какая угодно работа, но в университетском городе), то сообщите мне об этом и я немедленно выеду в Прагу. Пишу это потому, что был частым свидетелем полной безрезультативности письменных ходатайств.

Сию сейчас в отвратительной гостинице, из которой не чаю как выбраться. Так как сидение мое в гостинице временное, то благоволите ответ направить по адресу: Болгария, Варна, Кафе Лилия, У.Кальфе для Ф.Г.А<лександрова> или лучше так: Варна, Любенова, №10 Евг. Герхардту.

Если по каким-либо причинам Вы напишете мне ответ только по прошествии двух-трех недель со дня получения моего письма, то прошу ответить по адресу: Сербия, Белград, Банк Белградска Задруга (Београдска Задруга), Павлу Александровичу для меня.

С искренним уважением к Вам

Ваш Ф.Александров

P.S. Только что узнал из Вашего письма к Буницкому, куда нужно направлять ходатайства, а потому, не меняя письма, прилагаю заявление (благоволите приписать заголовок) и *curriculum vitae*. Никого не знаю, кто мог бы поддержать мое ходатайство, и поэтому посылаю все это почти без надежды на успех.

Ваш Ф.Александров

Будьте великодушны уведомить меня о получении Вами этого письма с приложениями и покорнейше прошу Вас направить заявление и *curriculum vitae* куда полагается. Если не ошибаюсь – надо посылать в Комитет по обеспечению образования русских студентов<sup>1</sup>. Простите за пачкотню в письме и за «смешанное» правописание. Прочтите заявление и *curriculum vitae* перед подачей, дабы не было ошибок «грамматических».

Ф.А.

10 мая 1923 г.<sup>2</sup>

(Д.114. Л.1-2об.)

<sup>1</sup> Учебная коллегия при Комитете по обеспечению образования русских студентов в Чехословакии образована в сентябре 1921 под председательством А.С.Ломшакова.

<sup>2</sup> Дата получения письма А.В.Флоровским.

2

София  
8 июля 1923 г.

Дорогой Антоний Васильевич,  
с большим запозданием получил Ваше содержательное письмо. Запоздание произошло вот почему: 19/V я выехал из Варны, направляясь в «иные страны». Приехав в Софию, я решил навестить наших дорогих одесситов. Из разговоров с Михаилом Георгиевичем <Попруженко>, Сергеем Григорьевичем<sup>1</sup>, Александром Дмитриевичем (Агура)<sup>2</sup> выяснилось, что уроки в русской гимназии Сергея Григорьевича, вследствие его отъезда в Брно, могут быть предоставлены мне. Оформление этого дела заняло свыше недели. Окончательно решив временно обосноваться здесь, я дал знать об этом Герхардту, который мне и присылал все письма на мое имя, скопившиеся у него. Меня нельзя ни поздравлять, ни не поздравлять, ибо я должен

был выехать. Со мной выехала семья Е.Буницкого и Дуван с семьей. Как и было с самого начала, реабилитировали себя только Трифильев и Ваш «однофамилец»<sup>3</sup>, остальные все разъехались. Что касается «незатронутых», то Оксман<sup>4</sup> и Бузук<sup>5</sup> пользуются большим доверием, Дложевский продолжает ловко удерживаться между управляемыми и управляющими, Ляпунов и Лазурский<sup>6</sup> «доживают». Университетской библиотекой заведует С.Рубинштейн<sup>7</sup>. Сборник в честь Б.Ляпунова вышел<sup>8</sup>, но ввиду спешности отъезда я не смог его захватить. Ничего нового в области исторической науки у нас я не встречал. Картина моих дел и всех соприкасающихся обстоятельств, нарисованная Вами во всех подробностях, не показалась мне особенно жестокой. Признаюсь – я ожидал еще худшего.

Я уже писал Вам, что я почти ни на что не надеюсь и если и предпринимаю какие-либо шаги, то больше для собственного успокоения. Я также писал Вам, что я вполне удовлетворился бы, если бы мне удалось найти какую-либо службу в одном из университетских городов Чехии. Эта служба, давая прожиточный минимум, все же не закрывала бы, надеюсь, мне возможности продолжать научные занятия. Неужели и это есть нечто недостижимое? Поймите, дорогой Антоний Васильевич, что полное почти отсутствие научной и вообще культурной атмосферы в Софии (никаких научных или литературных обществ, собраний, докладов) заставляет постепенно «замирать», впадать в «мрачность», заниматься высчитыванием грошовых доходов и расходов... а годы идут... Очень тяжело, и, может быть, если бы в философском отношении было легче, то было бы еще тяжелее.

Живу я в бараках русско-болгарского общежития в общей с учениками комнате, «пожираемый» еженощно «дервеницами» (попросту клопами), от которых нет никакого спасения.

По совету Сергея Григорьевича я послал Францеву<sup>9</sup> *curriculum vitae*, прошение и письмо, в котором прошу его поддержки. Как пишет мне Сергей Григорьевич, надежд мало. Если можете мне чем-либо помочь – помогите, дорогой Антоний Васильевич. Плохим питанием, плохим помещением (думаю, что хуже общежития трудно себе что-либо представить) меня нельзя испугать (в Чехии), но перспективой полной невозможности жить умственной жизнью – можно. Все же, может быть, по обычной дурацкой человеческой привычке, почему-то не теряю надежды и чего-то жду.

О Е.Буницком никаких сведений со времени своего отъезда не имею. Сердечно благодарю Вас за внимание ко мне.

Искренне Вам преданный

Ф.Александров

Адрес: София (Болгария), русское общежитие против Гара, мне. (Гара – болгарское название вокзала, простите за наивное, может быть, объяснение).



(Д. 114. Л.3-4об.)

<sup>1</sup> Вилинский Сергей Григорьевич (1876–1950) – профессор по кафедре русского языка и литературы, проректор Новороссийского университета. С 1922 – в эмиграции в Болгарии (преподаватель гимназии в Пловдиве) и в Чехословакии (профессор философского факультета Масарикова университета в Брно).

<sup>2</sup> Агура Александр Дмитриевич – математик, приват-доцент по кафедре чистой математики в Новороссийском университете, член Историко-филологического общества при университете (с 1908). В эмиграции в Болгарии, член Русско-болгарского комитета, возглавлявшегося митрополитом Софийским Стефаном.

<sup>3</sup> Загадочным «однофамильцем» мог быть некто Фролов, арестованный вместе с группой профессоров и преподавателей Новороссийского университета, но не упоминавшийся впоследствии в связи с высылкой.

<sup>4</sup> Оксман Юлиан Григорьевич (1894–1970) – историк литературы, пушкинист, коллекционер. В 1918–1920 член губернского и городского Петропавловского советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов; в Одессе с 7 февраля 1920 по 1 сентября 1923; в начале 1920 назначен особоуполномоченным РВС по охране и разборке архивов войсковых частей на территории Украины с пребыванием в Одессе, в 1920–1922 член Одесского губревкома. «В течение этого времени, – писал Оксман в автобиографии, – был сперва приват-доцентом, затем профессором Института народного образования и Археологического института, ректором последнего и начальником областного архивного управления» (цит. по: «Человек жизнерадостный и жизнедеятельный...» (Набросок портрета Ю.Г.Оксмана по материалам его архива) / Обзор А.Д.Зайцева // Встречи с прошлым. Вып.7. М.: Советская Россия, 1990. С.531). В дальнейшем – профессор ЛГУ, в 1930-е – зам. директора ИРЛИ АН СССР; трижды арестован (1930, 1931, 1936–1946); до 1957 – профессор Саратовского университета, затем научный сотрудник ИМЛИ АН СССР.

<sup>5</sup> Бузук Петр Афанасьевич (1891–?) – украинский славист-компаративист, один из создателей белорусистики. Окончил Новороссийский университет в 1916, с 1925 – зав. Диалектологической комиссией Института белорусской культуры; с 1931 – директор Института языкознания Белорусской АН. Арестован в 1934 и выслан в Вологду на 3 года; в декабре 1937 приговорен к высшей мере наказания и расстрелян.

<sup>6</sup> Лазурский Владимир Федорович (1869–1943) – историк литературы, приват-доцент по кафедре западноевропейских литератур Новороссийского университета. В 1920-е профессор Одесского института народного образования и член Одесского филологического общества; секретарь Общества художников им. К.К.Костанди.

<sup>7</sup> Рубинштейн Сергей Леонидович (1889–1960) – философ и психолог. Уроженец Одессы. С 1919 – доцент, с 1921 – профессор кафедры философии и психологии Одесского университета. В 1920-е профессор Одесского института народного образования и директор Центральной научной библиотеки. В 1930–1942 – зав. кафедрой психологии Ленинградского педагогического института, в 1942–1949 – МГУ, в 1942–1945 – директор Института психологии Академии педагогических наук РСФСР, в последние годы зав. сектором психологии Института философии АН СССР. Член-корреспондент АН СССР (1943).

<sup>8</sup> См.: Ученые записки высшей школы г. Одессы. Т.2. Одесса, 1922.

<sup>9</sup> Францев Владимир Андреевич (1867–1942) – историк и литературовед, академик РАН (1921–1927). До революции профессор Киевского, Варшавского и Донского университетов. В эмиграции профессор Карлова университета в Праге.

3

София  
19 июля 1923 г.

Дорогой Антоний Васильевич,

получив Ваше письмо, направленное в Варну, очень поздно ко мне пришедшее, я немедленно Вам ответил. Недавно получил открытку от проф. В.Францева, кот<орый> пишет, что лично наводил обо мне справки в Мин<истерстве> иностр<анных> дел, и так как он говорит, что прежде всего представление должно было пойти от Учебной коллегии (членом которой, как он пишет, он не состоит) и надо, чтобы она сделала обо мне представление Мин<истерству> ин<остранных> дел, то я заключаю, что этого заключения коллегии до сих пор нет, между тем как прошение (с прилагаемым curriculum vitae) на имя этой коллегии мною очень давно было через Вас послано и, согласно Вашему ответу, туда направлено Вами. Не будете ли Вы добры, Антоний Васильевич, хотя бы случайно, мимоходом узнать, почему это прошение до сих пор не рассмотрено. Правда, проф. В.Францев пишет, что путь этот почти безнадежен ввиду сильных сокращений ассигнований.

Недавно читал, что в Праге открывается (вероятно, уже открылся) Русский педагогический институт имени Амоса Коменского (времен<енный> директор, по газетным сведениям, проф. Острогорский)<sup>1</sup>. Думаю, что учебные планы этого института (по-видимому, типа учительских институтов) не могли обойтись по крайней мере без курса общего языкознания и даже без курса истории русского языка. А так как среди высланных нет языковедов, то нельзя ли надеяться на устройство в этом институте? С чувством большой обиды за себя (признаюсь) читал списки многочисленных оставленных для приготовления к проф<ессорскому> званию по кафедре Русского юридического факультета. Им, очевидно, можно дать возможность начинать (не продолжать) научные занятия, а уже начавшим и сделавшим еще очень мало можно отказывать в академической помощи<sup>2</sup>. Начавшим уже научно-преподавательскую деятельность ставится на вид (там, где, конечно, это соответствует действительности) малое количество научных работ (как, может быть, это делается в отношении меня). Но тогда получается какой-то замкнутый круг: связи с высшей школой и научными учреждениями не получаешь потому, что имеешь мало научных трудов, а исправить это положение, то есть увеличить количе-

ство научных трудов, не сможешь именно вследствие отсутствия связи с высшей школой и научными учреждениями.

Не помню, писал ли я Вам, что попытка моя иметь какое-либо формальное отношение к местному университету окончилась неудачей. Я и не делал бы этой попытки, если бы не разговор с одним из здешних профессоров, кот<орый> выяснил мне, что на работу при кафедре сравнит<ельного> яз<ыкознания> и санскрита рассчитывать нельзя (каф<едра> занята Младеновым, отчасти Цоневым<sup>3</sup>), быть же работником по части классической филологии (лингвистом по классич<еским> языкам) я могу, но в качестве частного доцента (почти бесплатное чтение лекций). По его настоят<ельному> совету я подал прошение. Мне обещали поддержку. В результате получился отказ по мотиву крайне незнач<ительного> числа (один человек) записавшихся на классич<еское> отделение. Странно то, что количество записавшихся, конечно, было известно и даже упоминалось одним из профессоров в частном со мной и с проф. Младеновым разговоре. Для чего нужно было проделывать эту комедию обещаний и всего явно безнадежного дела – не знаю. Словом, обычная история «балканских» обещаний.

Живу в прежних, как говорят в Одессе, «кошмарных» условиях жизни. Устал и от писания писем, и от надежд, и от разочарований, и от мелких и крупных тревог.

Новых сведений касательно научно-преподавательской жизни нашей милой Одессы не имею. Е.Буницкий до сих пор сидит в Варне со всей своей семьей. По словам недавно видевших его, он выглядит хорошо. Сравнительно недавно только закончился у нас период дождей и начались «софийские жары».

Вот и все новости. Тяжеловатости стиля и некоторую неряшливость почерка прошу извинить. Не откажите же, дорогой Антоний Васильевич, навести просимые мною справки по моему делу.

Искренне преданный Вам

Федор Александров

София (Болгария), Русское общежитие против Гара, мне.

P.S. Адрес свободно можно писать по-русски, за исключением, пожалуй, названия города.

Сообщите, пожалуйста, адрес Дмитрия Павловича Кишенского.

Ф.А.

(Д. 114. Л.5-5об.)

<sup>1</sup> Решение об учреждении Русского педагогического института им. Яна Амоса Коменского было принято правлением Союза русских академических групп в сентябре 1922, занятия в институте начались с 1 августа 1923. Институт содержался на средства правительства Чехословацкой Республики и занимался подготовкой специалистов по организации и руководству делом народного образования (из числа лиц, уже имевших высшее образо-

вание или педагогический стаж) для России. В связи с прекращением ассигнований институт был закрыт в начале 1927.

Острогорский Сергей Алексеевич (1867–1934) – почетный лейб-медик при дворе Николая II, директор Петербургских курсов им. П.Ф.Лесгафта. В эмиграции – профессор и директор Русского педагогического института им. Я.А.Коменского (1923–1926), член правления Академической группы и председатель Общества русских врачей в Чехословакии (1923–1927). Руководитель русского сокольства в Чехословакии и редактор журнала «Русский сокольский вестник». В 1930-е – в Ницце.

<sup>2</sup> В рамках «русской акции» чешское правительство установило 1000 стипендий (впоследствии это число было увеличено до 2000) для студентов-эмигрантов. Русские факультеты сами отбирали стипендиатов, по результатам экзаменов выдавали собственные дипломы по образцу русских дореволюционных университетов.

<sup>3</sup> О Младенове см. примеч. 2 к письму 8 раздела II; Цонев Беньо Стефанов (1863–1926) – болгарский языковед, академик Болгарской Академии наук (1900).

## 4

София

3 января 1924 г.

Дорогой Антоний Васильевич.

Недавно я получил от С.Г.Вилинского открытку, в которой он мне сообщает, что проездом в Прагу у него был проф. Д.Н.Вергун<sup>1</sup>, который, между прочим, сообщил, что мое дело рассматривалось в коллегии, что отношение было благожелательное, что я как сравнительный языковед желателен для русского филологического факультета в Праге, но что беда только в отсутствии у меня работ. Однако, насколько мне помнится, в посланном Вам *sigillum vitae* я говорил не только о медальной своей работе и маленькой статейке в сборник в честь Б.М.Ляпунова, но и о работах, готовых к печати, каковыми являются: 1) Курс сравнительной грамматики индоевропейских языков. Фонетика. Морфология. 2) Очерк исторической фонетики латинского языка. Лекции, читанные на Педагогических курсах.

Скорее во исполнение предложения С.Г.Вилинского, чем с верой в какой-либо успех, сообщаю эти сведения Вам как декану русского филологического факультета в Праге.

В Берлин (в Русский научный институт) ехать не могу ввиду крайне тяжелых условий жизни там и ввиду незначительного содержания (мне нужно помогать оставшейся в России матери).

Если Вы пожелали бы сообщить мне что-либо по моему делу – был бы, конечно, очень благодарен.

Преданный Вам

Федор Александров

Адрес: София (Болгария), улица Витоша, угол Аспарух, Русская гимназия, мне.

(Д.114. Л.6-7)

<sup>1</sup> Вергун Дмитрий Николаевич (1871–1951) – философ. В 1918 приват-доцент Московского, позднее профессор Иркутского университетов. С 1922 – преподаватель Высшей школы в Праге, с 1945 – профессор университета в Хьюстоне (США).

5

София  
17 декабря 1926 г.

Дорогой Антоний Васильевич,  
получил мамин продленный паспорт со всеми приложениями. Мама прямо растрогана оказанной ей Вами помощью, сердечно Вас благодарит и просит Бога хранить Ваше здоровье.

О себе сообщаю следующее. Обратился (может быть, навсегда) в преподавателя латинского языка средней школы. Преподаю в трех учебных заведениях и потому занят до крайности. Весь день разбит совершенно: утром – в болг<арскую> гимназию, после обеда – опять в болг<арскую> гимн<азию> (II-ая смена), после чего – в русскую; кроме того, два раза в неделю – в семинарию.

Если принять во внимание, что надо еще готовиться к урокам (переводы лат<инских> авторов) и поправлять тетради, то станет ясно, что ни о каком продолжении научной работы, во всяком случае, в теч<ение> уч<ебного> года, не может быть и речи. Не иметь такой массы уроков – очень заманчиво, но и опасно. Впрочем, сама судьба постепенно нас, чужденцов <так!>, разгружает от работы. Известное Вам сокращение пражских кредитов значительно отразится на сети русских учеб<ных> зав<едений> в Болгарии: с будущего года две средних школы, вероятно, будут сокращены<sup>1</sup>. Наша гимназия, как столичная, возможно, и сохранится, особенно если родители и русская колония будут проявлять регулярные денежные усилия (регулярная плата за учение в необходимом размере).

Могу еще сообщить о себе, что имел дерзость участвовать в конкурсе на должность лектора русского языка в университете и провалился, ибо победила национальная кандидатура.

О наших бывших коллегах ничего особенного, нового не слыхал. Дочь Мулюкина писала ему, между прочим, что Варнеке сильно постарел и совсем опустился. Бузук перевелся в Белорусский университет. Вот и все то скудное, чем я располагаю. А.С.Мулюкин всегда бодр и весел.

В заключение скажу, что я, памятуя о тяжелой участи многих русских вообще, доволен своей судьбой и благодарен ей за даваемые ею радости и блага<sup>2</sup>.

Примите, дорогой Антоний Васильевич, и от меня сердечную благодарность за оказанную нам помощь и за внимание ко мне.

С большой радостью принимаю Ваше предложение писать Вам.  
Преданный Вам

Ф.Александров

(Д.114. Л.11-12)

<sup>1</sup> К.В.Флоровская также находилась в аналогичном «неустойчивом» положении преподавателя латинского языка в русских и болгарских гимназиях. В письмах брату все время присутствует тема волнений за завтрашний день в связи с сокращением субсидий на содержание русских гимназий и оплату труда преподавательского состава из числа эмигрантов. Так, в мае 1925 у нее еще присутствует оптимизм: «Не знаю, попаду ли в число “сокращаемых” – увольняемых в видах экономии и уменьшения количества интеллигентного пролетариата. Уволено уже много чиновников, но учителя будут уволены только с начала уч<sup>ебного</sup> года, то есть с сентября. Некоторая надежда уцелеть все-таки у меня есть, так как своих классиков здесь явно мало». В 1927 ситуация стала меняться: «Пока все в порядке, уроков у меня в этом году несколько меньше, чем было в прошлом, зато имеются трое стажистов, которые приходят ко мне на уроки, и я к ним и беседуем по вопросам методики – занятие довольно пустое и бесполезное, но не тяжелое. В будущем году, впрочем, это будут уже конкуренты, им потребуются места, и, конечно, в ущерб нам, русским». В следующем, 1928 году, ситуация в средней и высшей школе ухудшается для русских преподавателей: «Нас, русских латинистов приняли на службу, потому что собственных латинистов не было, а классическую систему образования насаждать надо; но как только явятся свои – в этом году их явится трое уже готовых, то кто-нибудь из нас должен будет уступить место. <...> Никакие заслуги, качество и т. д. здесь совершенно не принимаются во внимание, и это во всех областях. Ради только что соскочившего со школьной скамьи врача болгарина не задумываются удалить самого опытного и почтенного русского врача, если только его место чем-либо привлекательно» (АРАН. Ф.1608. Оп.2. Д.458. Л.69, 105об, 136-136об.). В дальнейшем положение русских преподавателей-эмигрантов еще более усложнилось, «русскими уже начали тяготиться».

<sup>2</sup> О пребывании Ф.Г.Александрова в Софии в 1920–1930-е известно мало, несколько дополнительных деталей приводит К.В.Флоровская в письмах А.В.Флоровскому. 2 июля 1923: «Я посоветовала Александрову списаться с Бицилли; у него до сих пор никаких перспектив, живет он в общежитии Русско-болгарского комитета и, кажется, еще заболел». 23 апреля 1923: «Александров хотел ехать с группой учителей и учеников здешних гимназий в экскурсию в Италию, – ему не дали визы, потому что он Тодор Александров – одноименец знаменитому вождю македонцев, и боялись, что сербы не пропустят его и сделают из этого международный скандал. Я советую ему хлопотать о прибавке к фамилии: Александров-не-Македонский». 7 августа 1925: «Приехали из Одессы мать Бицилли и мать Александрова». 5 апреля 1934: «У Александрова недавно – недели 3 – умер брат, которого он привез сюда из Румынии несколько лет тому назад». 13 января 1939: «Александров <...> как-то постарел и осунулся. Мулюкин его опекает и советует ему жениться, но он мне кажется вроде Подколесина; впрочем, злые языки говорят, что он и собирается жениться, но держит это в тайне». 8 де-

кабря 1941: «Вчера женился Александров на молоденькой двадцатидвухлетней девушке, русской, по-видимому, милой, – я ее не знаю. Он выглядит очень довольным, и судя по тому, каким прекрасным сыном был он, будет и очень хорошим мужем». 29 августа 1942: «Из твоих соузников видела недавно Мулюкина – он очень постарел, Александрова – тоже не помолодел, даже небритая щетина у него не черная, а седая. А Крылов – Дмитрий Дм<итриевич> – уже несколько лет как умер». 8 сентября 1943: «Вижу иногда в церкви Александрова – он благоденствует, и на улице Мулюкина, который очень постарел, но больше ни в чем не изменился». 5 декабря 1944: «Видела на днях Александрова, – он выглядит молодцом и как будто перестал стареть». 23 декабря 1964: «присутствовала на товарищеской встрече бывших учеников и учениц здешней русской гимназии, в которой ведь я все время преподавала. Были и оставшиеся в живых учителя – очень мало, в том числе Александров. Он очень постарел, очень плохо слышит, уже, конечно, на пенсии, в общем, как-то одряхлел» (АРАН. Ф.1609. Оп.2. Д.458. Л.22об., 43об., 71об., 233об.; Д.459. Л.92, 180, 198об., 217, 224об.; Д.460. Л.191об.).

## 6

София  
2 августа 1961 г.

Дорогой Антоний Васильевич.

Только к концу своей жизни я смог включиться в научную работу при Софийском университете, где я как преподаватель проработал свыше восьми лет.

В сборнике Болгарской Академии наук, составленном к IV-му конгрессу славистов в Москве, помещена и моя маленькая статья (стр. 145 и далее)<sup>1</sup>. В ней я стараюсь выяснить одно из важных явлений синтаксиса старославянского (здесь придерживаются термина – «древнеболгарского») языка. Разъяснение этого явления тесно связано с разъяснением сходного явления в древнерусском языке и в языке древних памятников других славянских языков.

Я был бы чрезвычайно Вам благодарен, если бы Вы согласились передать проф. Гавранек<sup>2</sup> оттиск моей статьи с убедительной моей просьбой высказаться о ней печатно или хотя бы в частном порядке через Вас. Хотя указанный сборник, наверно, имеется в библиотеке Пражского университета, я все же предпочел бы переслать ему правленный мною оттиск, так как при спешном печатании сборника допущено очень много серьезных опечаток. Если Вы, дорогой Антоний Васильевич, согласитесь мне помочь, то по получении от Вас ответа я немедленно перешлю Вам оттиски заказной бандеролью.

Профессор Гавранек приезжал к нам в Софию; я слушал его доклад по вопросам, относящимся к старославянскому языку, и потому думаю, что лучше всего будет передать мою статью для отзыва именно ему. Если же я ошибаюсь, то прошу Вас передать ее (с той же моей просьбой) тому специалисту, который занимается вопроса-

ми синтаксиса старославянского языка или вообще славянских языков в Пражском университете. У нас здесь больше разрабатываются вопросы морфологии и фонетики древнеболгарского языка.

Буду крайне Вам благодарен за оказанную мне помощь  
С искренним к Вам уважением и сердечными пожеланиями

Ваш Ф.Александров

Адрес: Болгария, София, ул. Клемент Готвальд, 40, Александрову Федору Георгиевичу.

(Д. 317. Л.77-77об.)

<sup>1</sup> IV международный конгресс славистов в Москве проходил в 1958 и имел исключительное значение для мировой и советской славистики. Впервые после смерти И.В.Сталина в Москву приехали многие известные западные слависты и ученые-эмигранты (Р.О.Якобсон, А.Белич и др.); в материалах конгресса была опубликована и статья А.В.Флоровского «Чешские струи в истории русского литературного развития» (Славянская филология: Сб. статей. IV международный съезд славистов. М., 1958. С.211-251), с этого момента он стал публиковаться в советской научной периодике. Статью Ф.Г.Александрова «О значениях и функциях местоимений “который”, “иже” и “кый” в основных памятниках древнеболгарского языка» см.: Славистичен сборник. По случай IV международен конгрес на славистите в Москва. Т.1. София, 1958. С.145-163.

<sup>2</sup> Гавранек Богуслав (Havranek; 1893–1978) – чехословацкий языковед, филолог-славист; активный участник Пражского лингвистического кружка. С 1945 – профессор филологического факультета Карлова университета в Праге; с 1952 – академик Чехословацкой Академии наук; в 1953–1961 – ректор Высшей школы русского языка и литературы в Праге.

7

София  
28 августа 1961 г.

Дорогой Антоний Васильевич.

Получил Ваше первое и второе письмо. Сердечно Вас благодарю за внимание и доброе ко мне отношение. 15/X-го выслал заказной бандеролью на Ваш адрес четыре оттиска своей статьи с соответствующими надписями. Во всех экземплярах нанесены поправки. При отпечатании, как видите, допустили очень много ошибок, и только по этим соображениям я просил бы Вас один из экземпляров (он написан карандашом) передать (если это удобно и возможно) в библиотеку Вашего университета.

Меня несколько смутило то обстоятельство, что проф. Курц<sup>1</sup>, делая оценку моей статьи, ничего не сказал по поводу самого для меня важного: правильно ли я выясняю замену в старославянском языке старого обычно средства выражения относительной связи предло-



жений (местоимения «иже») новым средством (местоимением «кый»)?

Хочется мне попросить Вас, Антоний Васильевич, предупредить и проф. Гавранека, и проф. Достала<sup>2</sup>, что употребленный мною термин «древноболгарский язык» является отражением воспринятого в нашей болгарской академической среде термина «старобългарски език». Что касается недостаточного использования мною материалов по старославянскому языку, то, во-первых, статья своим заглавием предупреждает о неполном использовании всех памятников, а во-вторых, от количества примеров не зависит правильность предложенного объяснения. Я, конечно, сильно отстал от современного состояния славянского и русского языкознания (менее отстал от современного состояния общего и сравнительного индоевропейского языкознания), что вполне понятно; ведь «вернулся» я к своей научной работе и к научной работе в смежных отделах только к концу жизни, после длительного перерыва протяжением почти в тридцать лет. Да и вернулся я к науке по счастливой случайности: факультет возложил на меня ведение практических занятий со студентами-русистами по исторической грамматике русского языка – сроком до возвращения из Советского Союза посланного туда болгарского кандидата. В процессе занятий я заинтересовался вопросом о способах выражения относительного (определяющего) подчинения в древнерусском языке. Вопрос оказался трудным и обширным. Пришлось ограничить себя, обратившись к старославянскому языку, где это явление выступает не в такой сложности, как в других славянских языках. Вопросами древнерусского синтаксиса и синтаксиса славянских языков здесь никто не занимается, и в этом смысле мне никто не может дать некоторых методологических и методических указаний. Основная советская научная литература мне известна, но при чтении этих работ у меня возникает много вопросов, на которые можно было бы получить ответы только при личном контакте. Несколько очень нужных мне исследований не могу достать, так как они хранятся в виде авторефератов кандидатских диссертаций. Кстати, кто там у Вас в Праге или вообще в Чехии работает в области древнерусского языка? Нельзя ли было бы с Вашей помощью связаться с кем-нибудь из этих специалистов или специалистов по сравнит<ельной> граммати<ке> слав<янских> языков с целью обмена мнениями по трудным, еще не разрешенным вопросам?

Простите, дорогой Антоний Васильевич, что я Вам «морочу голову», но я чувствую необходимость получить какой-то толчок извне, чтобы выйти, вырваться из некоторых тупиков, в которые я зашел, не находя нужных мне разъяснений.

Несколько слов о людях нашего поколения. Если иметь в виду наше поколение в специфическом значении, то, действительно, ни-

кого уже в живых нет. В свое время сюда переехал из Сербии проф. Малинин<sup>3</sup> с семьей, но пришлось ему тут работать в качестве преподавателя по русскому языку в средней школе. На медицинском факультете работает сын проф. Завьялова. Вот, кажется, и все.

Скажу несколько слов о себе (подробней – в следующем письме). Как Вы знаете, моя мать переехала ко мне в 1925 году; прожила она, тяжело болея печенью, до 1938 года. В 1941 году я женился. У меня сын; он уже в 10-м классе. Хотелось бы дожить до окончания им образования и вступления в самостоятельную жизнь.

Искренне желаю Вам крепкого здоровья и радостных успехов в научной работе.

Ваш Ф.Александров

(Д. 317. Л.79-80)

<sup>1</sup> Курц Иожеф (Kurcz; 1901–1972) – чехословацкий профессор-языковед, славист. С 1956 – профессор филологического факультета Карлова университета в Праге.

<sup>2</sup> Досталь (Dostal) Антонин – чешский языковед.

<sup>3</sup> Малинин Иван Михайлович (1883–1961) – педагог, психолог. До 1917 приват-доцент Новороссийского университета. В эмиграции в Югославии; с 1924 – директор и преподаватель философской пропедевтики мужской русско-сербской гимназии в Белграде; руководитель программной комиссии Педагогического бюро по делам средней и низшей русской школы за границей; председатель Общества преподавателей русских учебных заведений в Королевстве сербов, хорватов и словенцев.

## V

### Е.Л.Буницкий – А.В.Флоровскому

Математик Евгений Леонидович Буницкий (1874–1952) родился в Симферополе, среднее образование получил в Ришельевской гимназии в Одессе, высшее – на физико-математическом факультете Новороссийского университета. С 1904 – приват-доцент, с 1910 – штатный доцент университета. В 1913 защитил магистерскую диссертацию, а в 1916 опубликовал докторскую диссертацию. С 1918 – ординарный профессор по кафедре чистой математики Новороссийского университета. В 1922 выслан из России. Жил в Чехословакии. В 1923 принял участие в организации и работе Русского свободного университета в Праге, с 1931 преподавал математику на естественнонаучном факультете пражского Карлова университета в качестве приглашенного профессора, а с мая 1935 работал там по договору. Во время войны жил на маленькую преподавательскую пенсию. С 1945 возобновил преподавательскую деятельность на естественнонаучном факультете Карлова университета. Похоронен в Праге. (О нем см.: *Ермолаева Н.С.* Первые годы русской математической эмиграции // Вопросы истории естествознания и техники. 1992. № 2.)

В фонде А.В.Флоровского сохранились 2 открытки и 2 письма Е.Л.Буницкого (Оп.2. Д.156), которые публикуются ниже.

## 1

Братислава  
22 августа 1923 г.

Дорогой Антон Васильевич!

Я бесконечно виноват перед Вами в том, что не ответил Вам на Ваши два милые, товарищеские в лучшем смысле этого слова письма. Ведь благодаря Вам я узнал адрес Грунда, через которого получил возможность обратиться к Крамаржу<sup>1</sup>, а через него и получить профессорскую стипендию.

Скоро буду в Праге. Тысячи тысяч раз спасибо за все и Вам, и Дмитрию Павловичу <Кишенскому> и другим русским профессорам, которые хлопотали обо мне!

Что делает Ваш братец, Георгий Васильевич? В газетах промелькнуло известие, что он защитил диссертацию на доктора философии, избрав темой политическое и философское мировоззрение Герцена. Если это верно, то передайте брату Вашему мои сердечные поздравления и скажите ему, что я горю желанием прочесть написанную им книгу, тем более что я случайно этой весной перечитал здесь, в Варне, всего Герцена. Герцен был первым писателем, пробудившим мои консервативные тенденции приблизительно в такой форме: «а что, если левые политические теории в корне ложны? С чем я останусь?» Мне тогда, когда я в первый раз прочел Герцена (тогда еще запрещенного в России), было 18 лет. От томов «С того берега»<sup>2</sup> я так осунулся, что меня спрашивали, чем я болен. Около недели я почти ничего не ел, а все думал и думал. Недавно я перечел эти страницы, повергшие меня тогда в такое отчаяние, и снова пережил это отчаяние, уже по поводу текущих событий. Сколько глубины в критике обычных левых настроений, какой печальный, но гениальный прогноз! И непонятно, почему такой глубокий человек вместо того, чтобы перейти через обычные революционные настроения, все-таки с каким-то мальчишеским задором и фанфаронством верил в несуществующую какую-то «настоящую» революцию, заразил этой детской, но очень вредной верой всю Россию и с этой верой и умер. Верил в социальную революцию, даже предвидя, что она должна разрушить всю европейскую культуру, и зная, что от этого людям его же склада, то есть интеллигенции, будет далеко не с медом. Где причина такого странного настроения? Мне оно непонятно.

Месяца два тому назад один молодой человек, Мирошниченко, обращался ко мне с просьбой удостовериться, что он бывший студент Сельскохозяйственного института в Одессе. Так как я его почти не помнил (зачета он у меня не сдавал), то я ему в этом отказал, но дал ему Ваш адрес, по которому он должен был написать Вам с передачей Д.П.Кишенскому; по словам этого студента, Дмитрий Павлович

хорошо его знает и помнит, а потому, вероятно, не откажет в выдаче удостоверения\*.

Теперь разрешите, дорогой Антон Васильевич, рассказать Вам, как это случилось, что я не ответил на Ваши письма. Дело в том, что во время получения Вашего первого письма я был в состоянии полного душевного упадка, как вследствие того, что никакие попытки достать себе какую-либо работу не удавались, так еще и потому, что за период с февраля сего года по июнь мои письма (даже заказные) почти все таинственно исчезли, не дойдя по назначению. Выходило так, что писать кому-нибудь для меня не было смысла во всех отношениях. Около времени получения Вашего второго письма очень тяжело заболел мой зять; он болел тяжелым мокрым плевритом, после которого лишь недавно оправился настолько, чтобы быть в состоянии ехать в Прагу. Болезнь зятя доставила мне много хлопот и еще больше отняла охоту писать. Итак, простите меня за долгое молчание и отвечайте по адресу Bratislava poste restante, мне. Жена и дочь шлют привет.

До скорого свидания!

Преданный Вам

Ваш Евг. Буницкий

Привет Вашему брату, Дмитрию Павловичу и всем знакомым профессорам в Праге!

(Л.1-2об.)

<sup>1</sup> Крамарж Карел (1860–1937) – в 1918–1919 глава правительства Чехословакии, русофильски настроенный лидер младочешской партии национал-демократов; выступал за австро-русское сближение в противовес пангерманским устремлениям.

<sup>2</sup> Поражение революции 1848 года во Франции, очевидцем и участником которой был А.И.Герцен, привело его к пересмотру основных положений философской концепции. Писатель подверг резкой критике социальный утопизм и романтические иллюзии и поставил под сомнение способность человеческого сознания верно отражать и предвидеть направление исторического движения. Русское издание книги «С того берега» было осуществлено в Лондоне в 1855.

2

<Прага>

29 июня 1944 г.

Дорогие Валентина Афанасиевна и Антоний Васильевич!

От всей души благодарю Вас за Ваше милое и сердечное поздравление с днем моего семидесятилетия. В нынешний черствый

---

\* Писал ли этот студент Кишенскому, и сделал ли Дмитрий Павлович что-нибудь для него? – *Примеч. автора.*

век искренние проявления дружбы и симпатии наблюдаются все реже, а потому такие проявления становятся тем ценнее.

Для ответа Вам я выбрал, однако, сегодняшней день, 29-го июня, так как свой возраст я измеряю по солнышку: ведь я родился 16-го июня 1874 г. по старому стилю, а потому я полагаю, что мне лишь сегодня исполнилось 70 лет.

Должен заметить, что на меня лично день моего семидесятилетия не производит какого бы то ни было особенного, чрезвычайного впечатления. Я бы сказал скорее, что вообще, приблизительно с сорокалетнего возраста моей жизни, я получил привычку оценивать каждый год, даже каждый день дальнейшего существования с точки зрения приближения смерти. И это ощущение близости смерти наводит естественно на мысль о подведении итога уже прожитой жизни. При таком настроении приходится, как Вы вполне правильно указали в Вашем письме, «оглянуться на уже пройденный путь» жизни, кое о чем «пожалеть», кое-что «вспомнить с удовольствием», а иногда с сознанием чувства «удовлетворения».

Размышления такого рода действительно могут побудить человека к намерению писать свои воспоминания. Но от этого я застрахован прежде всего полным отсутствием свободного времени: беготня по лавкам, постоянная возня с печкой (я не имею газа), грошовые частные уроки, которые надо давать для лечения карманной чахотки<sup>1</sup>, – все это наполняет почти целый день, еле-еле оставляя время для кое-какой научной работы. В частности, что касается Новороссийского университета, то память о нем все же у меня несколько затуманена, с одной стороны, отвращением к последним годам большевизмского режима (о котором хочется скорее забыть, чем вспоминать); с другой стороны, память об Одесском университете у меня как-то заслонена свежим и ярким воспоминанием о Карловом университете, который я, то есть собственно его математический факультет, полюбил всею душой. Несмотря на отсутствие для меня свободной кафедры, несмотря на ничтожное вознаграждение, общение на почве науки с выдающимися чешскими математиками, хорошие коллегиальные взаимные отношения, даже дружба с ними (продолжающаяся и теперь) – все это меня вполне захватывало и удовлетворяло.

Еще раз благодарю от всего сердца за память обо мне. Шлю Вам взаимно пожелания всего наилучшего.

Душевно преданный Вам

Ваш Евг. Буницкий

(Л.5-6.)

<sup>1</sup> Образное определение нехватки денег.

VI

П.А.Михайлов – А.В.Флоровскому

Правовед Павел Александрович Михайлов (1878–1962), часто фигурирующий в литературе как «знакомый Бунина», родился в Борисоглебске Тамбовской губернии в семье коллежского секретаря, смотрителя городской земской больницы, четвертым по счету ребенком (сведения приводятся на основании студенческого личного дела П.А.Михайлова: Центральный исторический архив Москвы (ЦИАМ). Ф.131. Оп.17. Д.93). Учился в Борисоглебской прогимназии и Воронежской гимназии, которую закончил с золотой медалью. В 1896 поступил на юридический факультет Московского университета, однако в марте 1897 исключен из списка студентов за участие в студенческих беспорядках. С 1900 – студент Новороссийского университета, после окончания оставлен для подготовки к профессорскому званию при кафедре уголовного права, затем приват-доцент по этой кафедре и заведующий юридическим кабинетом Новороссийского университета. До высылки из Одессы в 1922 в качестве юриста сотрудничал с Внешторгом.

В первые годы эмиграции (1923–1926) преподавал государственное право на юридическом факультете русского отделения при Парижском университете и во Франко-русском институте, читал специальные курсы «Русская пенитенциарная система» и «Основные проблемы и новейшие течения в науке уголовного права». Затем более принадлежал к деловому и «светскому» кругу русской эмиграции, хотя отношений с ученым миром не прерывал, состоя до 1960-х членом Парижской академической группы. В парижской эмигрантской прессе есть сведения о его докладах на собрании Русской академической группы на тему «Кузьмин-Караваев как ученый-криминалист и профессор» 25 марта 1927, на семинаре по теории и философии права в Institut d'Etudes Slaves на тему «Достоевский и преступники» 29 января и 5 февраля 1930 и об участии в Вечере воспоминаний об Одессе, организованном Народным университетом совместно с Одесским землячеством в Париже 14 февраля 1933. Возможно, ему принадлежит подписанная «П.Михайлов» статья «Размышления у врат Нового града» (Новый град (Париж). 1933. №6. С.60-67). В дальнейшем занимался преимущественно торговлей антиквариатом.

В фонде А.В.Флоровского хранится 49 писем и открыток П.А.Михайлова (Оп.2. Д.317) и 11 черновиков и планов ответных писем А.В.Флоровского (Оп.2. Д.62). Публикуются 17 писем П.А.Михайлова и 2 письма А.В.Флоровского.

1

<Константинополь>  
5 декабря 1922 г.

Дорогой Антоний Васильевич!

Грустно стало у меня на душе, когда я услышал, как незадачливо складывались обстоятельства для Вас и особенно бедняги Секачева.

Особенно я был удивлен, узнав вчера от <Н.К.>Соколова, что у Вас уже на исходе деньги... Со слов Молотковой, Петра Афанасьев<ича><sup>1</sup> и др., я думал, что Вам при помощи американцев<sup>2</sup> удалось вывезти с собой все ценности, золото и пр. Жалко – я мог бы, конечно, выслать Вам деньги сейчас же по прибытии в К<онстантинопо>ль, но я ожидал прибытия письма Нат<альи> Федор<овны Молотковой>, а оно было мне доставлено только 2/XII (пришел миноносец 248). Теперь о прежних деньгах, что были посланы через миноносец «Stinson» (Ensign<sup>3</sup> Glan). Нат<алья> Фед<оровна> испуганно показала мне Вашу телеграмму и просила все выяснить. Установили, что деньги (42 доллара) были отправлены при письме через m-lle Кс<ению> Никол<аевну> Навроцкую<sup>4</sup>, ею же были переданы офицеру Glan'у с доставкой «Stinson» (капитан Knauss). Здесь, в К<онстантинопо>ле, я поймал этого Glan'a (правда, он был очень пьян – в ресторане), и он объяснил мне, что деньги он передал в АРА (в К<онстантинопол>е) для проф. Флоровского. Вчера Секачев сообщил мне, что он только что получил записку из АРА, извещающую Вас о прибытии пакета на Ваше имя. Думаю, что это и есть этот самый пакет, врученный в Одессе Glan'у. Одно из двух: или он вручил его здесь АРА только после моего напоминания, или же, что он пошел в АРА узнать, исполнили ли его поручение, и установил, что пакет валяется где-нибудь в столе. Не хотелось бы принимать первое допущение, но, кажется, оно вероятнее. Буду рад, если Вы после долгих ожиданий и сомнений получите сразу и те, и другие деньги, то есть 42 или 43 доллара (Glan'a) + мои = 42 дол<лара> + 2445 лев<ов>. Нат<алья> Фед<оровна> находится в горе из-за высокой расценки вещей, оставленных Вами ей в назидание. В Одессе мало что продается, а что продается, то по смешным ценам. Свидетельствую это как один из пострадавших. Думаю, что Нат<алья> Фед<оровна> сделала maximum усилий, чтобы выполнить лучше порученное Вами ей.

Теперь о наших смертниках. За границу отважились в последний счет ехать лишь немногие, ведь всем было предложено на выбор: ехать за границу или в ссылку в загадочный север («на север»). Крепко ухватились за «заграницу» кроме меня – Буницкий, Храневич, Пясецкий, Кастерин. Дуван и тот, как его, милый сионист<sup>5</sup> – изменили и забили «отбой». Все остальные (русская группа) сидят в неведении. Известно лишь, что в Москве образована особая Комиссия в составе коммунистов (Луначарский, Стеклов и др.) и академиков (Лазарев и др.) для распределения и размещения вакантных научн<ых> сил<sup>6</sup>. Наши послали туда мотивиров<анные> заявления и ждут. Некоторые хлопотали. Так, слышал, что Трифилев устраивается в Киеве (sic!), Крылов<sup>7</sup> – в Симферополе, Мулюкин<sup>8</sup>, Самарин – в Воронеже. Настроение у всех, конечно, очень подавленное. Главное, большинство сидит без всяких средств.

У меня было бесконечно много хлопот, возни и неприятностей. В итоге: на  $\frac{3}{4}$  разорился. Кое-что оставил в Одессе, много за бесценок продал, все мелкое удалось вывезти. На один, на два года жизни хватит, а там устроюсь. В общем, не унываю. Вот мой парижский адрес: Paris, XVIII, 14 Rue Cavallotti. – Chez M-me Louis Witeny, мне. Пишите. Успокоившись, сообщу Вам подробнее о всех мытарствах.

Сердечный привет Валентине Афанасьевне. Через час едем на пароходе. Путь: Смирна – Пирей – Неаполь – Марсель, а там Париж, – дней через 10–12 будем там.

Горячо обнимаю

Ваш П.Михайлов

(Л. 1-1об.)

<sup>1</sup> Возможно, Петр Афанасьевич Бузук, коллега В.А.Флоровского, оставшийся в Одессе. Молоткова Наталья Федоровна – знакомая или родственница семьи Флоровских, которой была поручена ликвидация их имущества в Одессе.

<sup>2</sup> Имеется в виду одесское отделение Американской администрации помощи – АРА (ARA, сокр. от англ. American Relief Administration), организации, созданной Г.Гувером для оказания помощи европейским странам, пострадавшим в Первой мировой войне, и просуществовавшей с 1919 до 1923. В 1921 в связи с голодом в России деятельность АРА была распространена на РСФСР. Согласно официальной статистике, помощь, оказанная АРА России по состоянию на середину марта 1922, выражалась в сумме 15 000 000 долларов (*Кудрякова Е.Б.* Российская эмиграция в Великобритании в период между двумя войнами. М., 1995. С.26). Американская организация, имевшая отделения в разных городах России и в ряде европейских стран, использовалась для пересылки средств и продуктовых посылок в голодающие губернии РСФСР. Большинство высланных из Одессы преподавателей и профессоров работали в общественных организациях по оказанию помощи голодающим в городе и были тесно связаны с отделением АРА.

<sup>3</sup> Младший лейтенант (*амер. морск.*).

<sup>4</sup> По-видимому, К.Н.Навроцкая – сотрудница одесского отделения АРА.

<sup>5</sup> Вероятно, речь идет о Самуиле Львовиче Соболе.

<sup>6</sup> По всей видимости, речь идет об Особом временном комитете науки при СНК РСФСР, учрежденном специальным декретом 20 июня 1922. Комитет возглавлял заместитель председателя СНК, а в состав входили представители ведущих наркоматов и научных учреждений. Комитет должен был изучать и учитывать потребности исследовательских институтов, библиотек и музеев в материальном обеспечении и кадрах. В первый состав Комитета персонально вошли: М.Н.Покровский (Наркомпрос), М.К.Владимиров (Наркомфин), С.П.Середа (ВСНХ), Л.Б.Красин (Наркомвнешторг), Ф.Э.Дзержинский (Наркомпуть), академики В.А.Стеклов, П.П.Лазарев и А.Е.Ферсман (АН). На первоначальном этапе, предшествовавшем созданию Комитета, в его организации принимал участие также и А.В.Луначарский. Особый комитет просуществовал два года, до июля 1924.

<sup>7</sup> Д.Д.Крылов, однако, тоже оказался в эмиграции. Впоследствии он преподавал патологию на медицинском факультете Софийского университета.



<sup>8</sup> А.С.Мулюкин прибыл в Софию в начале 1923.

2. А.В.Флоровский – П.А.Михайлову

София

18 декабря 1922 г.

Дорогой Павел Александрович,  
 позвольте сердечно поблагодарить Вас за Ваши хлопоты о письмах и деньгах из Одессы. Без Вашего участия нам едва ли бы удалось разыскать и получить их.

Еще до получения Вашего письма мы узнали кое-что о судьбе наших товарищей по Чека из письма Д.Д.Крылова, присланного Б.П.Бабкину. Кроме того – здесь мы узнали о применении высылки к Е.Л.Буницкому, кот<орый> просил достать ему визу в Варну к 23 окт<ября>, когда он предполагал выехать из Одессы. Однако до сих пор о нем ничего не слышно. Что произошло в одесском академич<еском> мире и в высш<ей> школе после нашего отъезда?<sup>1</sup> Кем заменили нас всех? Что делается в унив<ерситетской> библиотеке? Не знаете ли, в Одессе ли Ю.Г.Оксман? Коснулась ли чистка университета еще кого-либо, кроме нас 18-ти, и в какой форме? Как ведут себя ректора? Что Потемкин<sup>2</sup> с комп<анией>?

В моем положении произошло изменение: на днях еду в Прагу, где для меня что-то отыскано. Не знаю, в какой степени это меня устроит и материально, и в отношении работы, но я очень рад, – ведь уже три с лишним месяца мы провели без всякого дела и заработка. Научную работу я себе, конечно, и здесь нашел, изучая архивы русской оккупации Болгарии 1877–79 гг. и знакомясь с журналами за период войны и революций. Но устроиться здесь сейчас весьма трудно. Раньше приехавшие более или менее устроены, но не все, напр<имер>, С.Г.Вилинский бедствует, да и др<угие> тоже. Хорошо устроен В.Н.Ренненкамф<sup>3</sup>, М.Г.Попруженко, Завьялов, Янишевский<sup>4</sup>, Маньковский<sup>5</sup> и др.

Сегодня я узнал, что в Париже при непосредственном участии prof. Paul Boyet предполагается организовать что-то для привлечения русских изгнанных профессоров к преподаванию во Франции. Знаете ли Вы что-нибудь по этому вопросу? Если будете иметь сведения, сообщите мне. Ведь Прага с ее вольной вакансией – лишь временный стан, а нужно думать о более устойчивом устройстве. Если бы профессура во Франции оказалась невозможной, то я удовлетворился бы архивной или библиотечной службой.

Г.А.Секачев сейчас здесь, в Софии. Пытается устроиться в университет, есть некоторая надежда на удачу, но уверенности еще нет. Г<еоргий> А<ндреевич> думает о Праге, где сейчас центр русской ученой работы.

Мне в Прагу можно писать так: Praha IV, Keplerova ulice, Hotel Savoy, где сейчас живет мой брат Георгий. Из Одессы в Праге еще Кондаков.

Дружески жму Вашу руку

Ваш А.Флоровский

Привет Эмме Францевне<sup>6</sup>.

(Д.62. Л.1-2об.)

<sup>1</sup> Н.И.Рубинштейн (будущий сотрудник Института истории АН СССР и профессор исторического факультета МГУ) в письме А.В.Флоровскому из Одессы от 28 декабря 1923 сообщал: «Писал ли Вам кто-нибудь о наших университетских делах? Романа Михайловича осенью сменил <П.О.>Самулевич из Рабфака; <М.Е.>Слабченко, бывшего одно время деканом профобра, сменил сейчас учитель математики Васильев. И <институт> <народного> <образования> приобретает все определеннее облик специального педагогического учреждения, учительской семинарии» (АРАН. Ф.1609. Оп.2. Д.390. Л.1об).

<sup>2</sup> Потемкин Владимир Петрович (1874–1946) – советский государственный деятель, академик АН СССР и АПН РСФСР (1943). В 1918–1919 член коллегии Наркомпроса, активно разрабатывавший вопросы реформ народного образования, в 1918–1920 – в политотделах Западного и Южного фронтов, после окончания Гражданской войны – в Одесском губернском отделе народного образования.

<sup>3</sup> Ренненкампф Владимир Николаевич (1862–1925) – правовед, профессор по кафедре государственного права Новороссийского университета. В 1919 эмигрировал в Болгарию, в 1920 избран профессором Софийского университета. См. его воспоминания: Моето пристигане в България и първите ми впечатления от нея // Славянски глас (София). 1923. Кн.2. С.17-20.

<sup>4</sup> Янишевский Алексей Эрастович (1873–1936) – невропатолог, психиатр, психолог. С 1904 – приват-доцент по кафедре нервных и душевных болезней Новороссийского университета, основатель первого в России специального санатория для нервных и психических больных в Одессе. В 1922 выехал по контракту в Болгарию, где работал профессором медицинского факультета Софийского университета; организовал кафедру и клинику нервных болезней, руководил ими до 1933.

<sup>5</sup> Маньковский Александр Федорович (1868–1946) – профессор по кафедре гистологии Новороссийского университета. В эмиграции – профессор Софийского университета, преподавал анатомию и гистологию.

<sup>6</sup> Жена П.А.Михайлова.

3. П.А.Михайлов – А.В.Флоровскому

Париж

26 января 1923 г.

Многоуважаемый и дорогой Антоний Васильевич, простите, что задержал с ответом. Грустно сознаваться, но, пожалуй, основная причина тому понурое душевное состояние, от которого

никак не могу освободиться. Попросту говоря – грущу, и чего, сам не знаю. Видно, крепко врос в тамошнюю жизнь, уж очень дал себя спутать отношениями дружбы, приязни, и вот, когда все сразу порвалось, то оно и стало очень не по себе. Ходишь вот по людям, что-то выпытываешь, ждешь не то сочувствия, не то совета, и становится даже как-то просто стыдно повторять в сотый раз глупую историю, приключившуюся со всеми нами.

Живут здесь русские розно, общение поддерживают группками, изредка встречаются на лекциях, в землячествах... Похоже на то, что многие друг другу здорово успели надоесть, да и житье эмигрантское опостылело. По пословице «назвался груздем, полезай в кузов» понуждаю себя заводить знакомства и разные так называемые «связи». Но воз мой и поныне на старом месте. Записался в Академическую группу. Возможно, буду читать маленький курсик на здешнем юридическом факультете. Положение здесь хуже советского. Студентов буквально 2½ человек. Во всяком случае, «профессоров» больше. Тут все «профессора», и Милуков<sup>1</sup> острит, что он, кажется, единственный приват-доцент. Тут Миркин<sup>2</sup> (бывший Мирский), Загорский<sup>3</sup>, Михельсон<sup>4</sup> (кончил наш университет), Гронский<sup>5</sup>, Пиленко<sup>6</sup>, Кузьмин-Караваев<sup>7</sup>, Анцыферов<sup>8</sup> и др. Как видите, смесь порядочная. А главное, студентов нет и не предвидится, и потому дело может лопнуть. Французы поддерживают кое-как. В дележку на всех (то есть на все «факультеты») идет теперь 300 тысяч франков. Некоторым достается по тысяче, те, что поменьше, берут по 500, а многим достается по 300–350 франков. Последняя сумма может достаться и мне, а проживать нужно не менее тысячи франков, если жить умненько (ни я, ни, «увы», жена не мастера жить в обрест). Отсюда вывод – надо найти службу, то есть идти в кабалу (от 9 до 12 и от 2 до 6–7!). С продажей вещей, ох как плохо! Французы получают очень мало, а до богатых иностранцев не добраться. Буду терпеливо держаться. Месяца на три ресурсов все же должно хватить. Уже ко времени получения Вашего письма я почти знал, что и Вам тут было бы тошновато. Никакого особого Комитета содействия нам, «изгнанникам», здесь нет<sup>9</sup>. P.Vouet работает с Академической группой, и подходить к французам надо именно через эту группу, а так как «субсидия»-то не растет, то всякий новый человек лишний рот. Конечно, потесниться смогут... Доброжелатели прямо советуют – берите всякую работу и старайтесь поскорее вткнуться во французскую деловую жизнь, всякие расчеты и комбинации с русскими ненадежны. Это больше для «души». Жалко все это.

Оглядываясь назад, я сознаю только тут, за границей, что в листовском семинаре<sup>10</sup>, в объездах пенитенциарных учреждений я и работал по-научному, и теперь вот, порвав со всею, хоть и прият-

ною, но все же никчемной обывательщиной, я чувствую искренние позывы к умственной работе и с удовольствием бы бросил и антикварные упражнения и все побочные опыты (кооперация, общественно-административные дела и проч.).

Как ни заманчив прекраснй Париж, а все же, кажется, я променяю его на более тихое пристанище, где можно будет отдаться тому основному, с чем связал себя оставлением при университете. Хорошо бы подвести черту под диссертацией, хорошо бы поработать над всем тем новым, что выдвинула за последние годы правовая жизнь. Пора посадить себя на цепь кабинетно-библиотечной работы. Есть у меня в Праге приятель Александр Васильевич Маклецов (харьковец)<sup>11</sup> – милейший человек. Пишет он мне, что мог бы пособить мне войти в их пражскую научную семью. Думаю, что поддержал бы меня и Вл<адимир> Андр<еевич> Косинский<sup>12</sup>. Напишите, что думаете, что посоветуете по этому поводу.

Какова жизнь в Праге? Как Вы устроились? Чем и на что живете? Сколько зарабатываете и что проживаете? Как самочувствие и здоровье Валентины Афанасьевны? Поблагодарите ее за доброе отношение. Какие у Вас отношения к берлинскому ядру изгнанников? Можно ли обратиться к ним, и что они могли бы предложить? Из-за жены мне трудно было решиться на переезд в Германию сейчас, когда все французское там в ожесточеннейшем гонении. Правда, по месту рождения она могла бы сойти за швейцарку, но, конечно, вся жизнь там была бы совершенно изолированной. Впрочем, в Берлине сейчас моя племянница, воспитывавшаяся у меня.

Как видите, я на большом распутье и чувствую себя настолько невесело, что Париж со всеми его соблазнами и приманками для меня как бы не существует. Разрешаю себе только музыку, но ее найду повсюду.

Из Одессы поступают письма, но о «наших» мне ничего не пишут. От людей, очутившихся по сю сторону, имею письмо только от Храневича – он застрял в Ровно. Кое-как перебивается, но жалуется и просит указать источники, где можно было бы ему найти временную материальную поддержку. Настойчиво говорил о нем Штерну<sup>13</sup> (предс<едатель> здешнего землячества одесского), Анцыферову, одной бывшей кооператорше, обязанной Константину Иероф<еевичу> Храневичу, но дальше «обещаний» подумать дело не пошло. И это характерно. Поведение нашего центра (то есть Берлина) здешней Академич<еской> группе внушает какие-то сомнения. Здешних пугает какая-то обособленность Берлинск<ого> института и ихняя «своя» линия поведения. Недоумевают, почему они как бы отстранили прежнюю Берлинскую академич<ескую> группу<sup>14</sup>. Что думают об этом в Вашем «центре»? Осведомите меня и дайте нужные адреса. Помогают ли американцы, то есть АРА? Видел здесь не

раз милейшего Forbes'a, но он сам теперь *sans travail*<sup>15</sup> и временно сейчас гостит у приятеля на Côte d'Azur.

Горячо жму Вашу руку. Сердечный привет Валентине Афанасьевне. Кланяйтесь Вашему брату и общим знакомым.

Ваш П.Михайлов

(Л.2-5об.)

<sup>1</sup> Милюков Павел Николаевич (1859–1943) – известный политический деятель, историк, публицист, ученик В.О.Ключевского.

<sup>2</sup> Миркин-Гецевич Борис Сергеевич (1892–1955) – правовед, специалист в области международного права. До революции – приват-доцент Петроградского университета. В 1920 эмигрировал в Париж. Декан историко-юридического факультета Русского народного университета, преподаватель Institut d'Etudes Slaves, генеральный секретарь Международного института публичного права. В годы Второй мировой войны жил в США, преподавал в Новой школе социальных наук, участвовал в работе Международной лиги в защиту прав человека.

<sup>3</sup> Загорский Семен Осипович (1882–1930) – экономист, приват-доцент Петербургского университета по кафедре политэкономии. При Временном правительстве – глава одного из департаментов Министерства труда. В эмиграции по личному приглашению А.Тома получил пост заведующего русским отделом при Международном бюро труда в Женеве.

<sup>4</sup> Михельсон Александр Михайлович (1885–?) – экономист, приват-доцент Московского университета; в эмиграции публиковался в журнале «Современные записки»; член-корреспондент Французской Академии.

<sup>5</sup> Гронский Павел Павлович (1883–1937) – правовед, профессор Петроградского Политехнического института. Член ЦК кадетской партии. В деникинской администрации – помощник начальника управления внутренних дел. В декабре 1919 выехал в США во главе русской дипломатической миссии. С начала 1920 жил в Париже, один из организаторов Русской академической группы во Франции, член Комитета помощи русским писателям и ученым во Франции. С середины 1920-х преподавал в университете Ковно (Литва), затем снова во Франции.

<sup>6</sup> Пиленко Александр Александрович (1873–?) – правовед. До революции преподавал международное право в Петроградском университете. Эмигрировал, жил в Константинополе, с 1920 – в Париже, во Франко-русском институте читал курс лекций «Советское международное право», на Берлинском съезде русских юристов в 1922 был избран в состав постоянного комитета русских юристов за границей.

<sup>7</sup> Кузьмин-Караваев Владимир Дмитриевич (1859–1927) – правовед, генерал, принадлежал к правому крылу кадетской партии.

<sup>8</sup> Анцыферов Алексей Николаевич (1867–1943) – экономист, педагог, публицист, кооператор. До революции – профессор Харьковского университета и коммерческого института. С 1920 – в эмиграции. Жил в Париже, преподавал время от времени в Праге. С 1923 возглавил Русскую академическую группу в Париже.

<sup>9</sup> Во Франции действовали Российский земско-городской комитет помощи российским гражданам за границей (РЗГК), образованный в январе 1921, Комитет помощи русским писателям и ученым, существовавший с августа 1919, и другие эмигрантские организации, ставившие своей целью материальную поддержку прибывающим во Францию соотечественникам.

<sup>10</sup> По-видимому, имеется в виду семинарий знаменитого немецкого криминалиста, главы социологического направления в уголовном праве, одного из основателей Международного союза уголовного права Франца фон Листа (Liszt; 1851–1919), который проводился им сначала в Марбурге, затем в Берлине и привлекал молодых криминалистов из многих стран мира. Лист имел тесные связи с Россией: в 1883 он представил подробный отзыв на общую часть проекта русского Уголовного уложения; был избран почетным профессором Петербургского университета и юридического общества при нем, однако после подписания в начале Первой мировой войны антирусского «Воззвания к культурному миру» исключен. В семинарии Листа и часто под его руководством работали почти все русские криминалисты. Начиная с 1912, при семинарии были организованы подготовительные курсы для лиц, командируемых за границу Министерством народного просвещения для подготовки к профессуре по уголовному праву. Возможно, Михайлов участвовал в работе таких курсов, однако точными сведениями об этом мы не располагаем. Не исключено, что в данном письме под «листовским семинаром» подразумевается какой-либо семинар в Новороссийском университете, занимавшийся изучением трудов Листа.

<sup>11</sup> Маклецов Александр Васильевич (1884–1948) – правовед, приват-доцент Харьковского университета и профессор Новоалександровского сельскохозяйственного института. В эмиграции в Праге; профессор Русского педагогического института им. Я.А.Коменского (1922–1926), зав. кафедрой уголовного права Русского юридического факультета. С 1926 – в Югославии; профессор Университета короля Александра I в Любляне; создал школу словенской криминологии.

<sup>12</sup> Косинский Владимир Андреевич (1866–1923) – политэконом, статистик, профессор Киевского Политехнического института, кадет, член Центральной Украинской Рады, академик Украинской АН (1918), министр труда в правительстве гетмана П.П.Скоропадского. По болезни прервал деятельность в УАН и выехал за границу. В 1922 избран профессором Русского юридического факультета и Русского народного университета в Праге.

<sup>13</sup> Штерн Сергей Федорович – журналист и общественный деятель. Редактор газеты «Одесский листок» и издатель и редактор газеты «Одесские новости». В эмиграции возглавлял одесское землячество в Париже.

<sup>14</sup> Русская академическая группа (Akademischer Verein) в Берлине создана в июне 1920, объединяла свыше 50 профессоров и ученых. 1 декабря 1922 берлинская академическая группа была реорганизована. В бюро Русского академического союза вошли В.И.Ясинский (председатель), Л.П.Карсавин (тов. председателя), В.Э.Сеземан (секретарь), А.А.Боголепов, С.Л.Франк.

<sup>15</sup> Безработный (франц.).

## 4. П.А.Михайлов – А.В.Флоровскому

Париж

24 февраля 1923 г.

Дорогой Антоний Васильевич,

Ваше внимание и отзывчивость оч<sup>ень</sup> тронули меня. Сердечное спасибо.

Получил Вашу открытку поутру и сейчас же взялся за перо, чтобы закончить начатое уже большое письмо А.В.Маклецову, в котором излагаю ему подробно свое моральное и материальное состояние. В двух словах оно таково: пора уже посматривать по сторонам, пока еще есть ресурсы выбраться отсюда, переехать и устроиться на новом месте. Ставка на Париж еще не окончательно проиграна, но, по-видимому, лучше от него отказаться. Здешний «университет», как я Вам и писал, больше благотворит<sup>ельное</sup> учреждение – юридический факультет в особенности, и неизвестно, будут ли вообще какие-нибудь слушатели на нем. Мне этот университет мог бы давать 300–400 fr., чтобы добыть недостающие 800 fr., придется за продать себя (и вопрос еще, найду ли на себя покупателей) какому-нибудь банку, конторе и пр.<sup>1</sup> Я вижу, как живут здесь эти конторские рабы (9–12 и от 2–6 и даже 7 веч<sup>ера</sup>). В лучшем случае они сыты и одеты. Вечером, усталые, они еще кое-чем должны заниматься (чтение, письма) – в 10 ложатся спать, так как в 7 надо уже вставать. Живя в Париже, они не видят и не знают его. Что же получилось бы для меня? Лишь крошечным участком своего «я» прикасался бы я к Академии<sup>2</sup>, больше числясь, чем работая, время же и силы уходили бы Бог знает на что. И при этом «одиночество». Устарел ли я, или потому, что душа больной стала, но вот не могу никак не то что сдружиться, но вот даже приятельствовать с новыми людьми. Так вот обнюхиваешь их и больше сторонисься, и самому странно это. Ведь встречаю здесь и людей, кого давно знаю, как Ив<sup>ана</sup> Бунина, Сер<sup>гея</sup> Штерна и др. От бесплодных попыток достать службу (а ведь каждая этакая попытка – это хождения, поклонны, разговоры, улыбки) на душе скверный осадок – ощущение своей ненужности людям и жизни, отсюда раздражение всем до франц<sup>узской</sup> politesse включительно – плоха она уже тем, что к ней и придраться нельзя! Вот и потянуло меня к людям, с которыми дышал одним воздухом, переживал одни и те же невзгоды... и думается мне, что около Вас, Маклецова, Косинского и даже Мулюкина мне будет и теплее и легче, чем здесь, в Париже. Если бы можно было существовать только на то, что дает служба в Пражск<sup>ом</sup> унив<sup>ерситете</sup>, то я охотно напрягся бы и сделал бы серьезную попытку превратить себя по-настоящему в академического человека. Может быть, и вышел бы толк, и Вам особенно был бы я благодарен за помощь и поддержку!

Итак, в добрый час, Антоний Васильевич, помогайте и проводите. Одновременно пишу А.В.Маклецову и Новгородцеву (по странной игре обстоятельств, мне не удалось встретиться с ним у К.А.<sup>3</sup> – знаю его по Москве, где слушал его лекции). Пишу записочку В.А.Косинскому – я помогал ему в Одессе, пусть сделает для меня, что сможет, в Праге.

Низкий поклон Валентине Афанасьевне. У меня тоже есть соболя, но продать их не смог. Рынок обесценивает меха в изделиях, то есть хотя бы и чуть поношенных. Ценятся (от 500 фр. и выше) шкурки с совсем темной спинкой (почти черной) с небольшою сединой по бокам. Вообще Париж покупает и хорошо платит только за безукоризненные вещи. Сколько я имею здесь разочарований. В частности, за 8 шкурок соболя (из них 4 соверш<енно> седых) лишь предлагали только одну тысячу франков, и то только раз. Женин каракул<евый> сак (большой и почти новый) ценят только в 2000 фр., но не покупают. Не забудьте, что франк – это только 12 коп<еек> на золото!

P.S. Чувствую, что Вы уже совершенно обосновались, обтерпелись и вошли в лоно новой жизни. Очень рад за Вас. Буду оч<ень> рад и за несчастного Алекс<андра> Сергеевича <Мулюкина>, если только Прага подберет его. Где же остальные? Едут они за границу или нет и как случилось, что Мулюкина все-таки выслали?

Горячо приветствую Вас и Вал<ентину> Афан<асьевну>.

Пишите!

Искренне Ваш

П.Михайлов

(Л. 6-6об.)

<sup>1</sup> В одном из писем 1924 года П.А.Михайлов писал А.В.Флоровскому: «Увы, наукой занимаюсь очень мало, так как должен был запродать свое время и силы антикварному делу Лесиных (петерб<ургские> банкиры), которое и дает мне приличный заработок. Читаю лекции в русском Институте права, где мне платят 400 фр<анков>. Академич<еская> работа поставлена здесь явно неудовлетворительно, и хуже всего, что нет студентов, некого учить – слушают лекции единицы» (АРАН. Ф.1609. Оп.2. Д.317. Л.8 об.).

<sup>2</sup> Имеется в виду академическая жизнь: научная и преподавательская.

<sup>3</sup> Личность не установлена.

5. П.А.Михайлов – В.А. и А.В. Флоровским

Париж

7 апреля 1937 г.

Дорогие Валентина Афанасьевна и Антоний Васильевич.

Сердечно прошу Вас не думать, что пишуший эти строки (знаю, на него давно махнули рукой) дурной, плохо воспитанный, невнимательный человек! Каюсь, виноват, но если бы вы заглянули в мое нутро, то многое бы извинили.



Начать с того, что мало, очень мало принадлежал самому себе; как бы это сказать, «в лапах у Frau Sorge», словно некто с бичом стоит за спиной и гоняет меня с места на место. В итоге истрепался душевно так, что потерял совершенно способность отдыхать, предаваться по-настоящему досугу... Вечно перегружен всяческими заботами, и серьезными и глупенькими. А писать Вам очень хотел. Раз уже написал большое письмо, да не нашел адреса, а когда пришел адрес, письмецо то уже «забельшилось», как говаривали у нас в Тамбовской губернии. Так и не нахожу его. Не иначе как «домовой»!

Что сказать о себе? Жаловаться на себя мог бы часами!.. К старости становлюсь чувствительным, добрым, казалось бы, что все прощу, всякую обиду, а вместе с тем страшно страдаю от всякого предательства или даже просто пошлой грубости. Увы, все больше чувствую себя человеком прошлого поколения... Но честнее было бы сказать «прошлых поколений» (это без всякого намека, дорогая Валентина Афанасьевна, на Вашу любовь к туфелькам с оч<sup>ень</sup> острыми носками). Но все же, сравнивая себя с другими «стариками» (не говоря о своем друге П.А.Нилусе<sup>2</sup>, но даже с Ив. А. Буниным), чувствую себя много моложе их. Вообще хотел бы до последнего дня жизни кричать, что ничто молодое не чуждо меня... Хотел бы!/? Но увы, «грозный счет» не только «невидимо растет», но уже вырос и перерос мои платежные средства. Это о здоровье, о душевной бодрости... Остались влечения, увы, по большей части платонические (это не совсем точно). Занимаюсь по-прежнему antiquaille<sup>3</sup>; время от времени поправляю свои обстоятельства продажей дорогой картины. (Helas! Это происходит все реже и реже.) Езжу по делам часто в Bruxelles, где я котируюсь до некоторой степени как знатный парижанин. Там поправляю запущенные дела, то есть выползаю на время из «ямы» долгов. Притерпелся, моя любимая поговорка «Schweigen und Weiter Leben!»<sup>4</sup>, собственно: чистейший оппортунизм! Так вот и протекает земное существование мое – и сколько его уже протекло. Осталось – чуточку!

Ну, довольно о себе! Надеюсь, что расскажете и о себе. Итак, я буду ждать вас на выставку<sup>5</sup>. Но когда, нельзя ли уточнить? Я мог бы, может быть, нанять для вас в некоей мансарде комнату с кухней, неподалеку от себя (чтобы быть вам в помощь). Это было бы самое дешевое пребывание. Рынок в двух шагах, Булонский лес – в трех, выставка опять в двух-двух с половиной. Словом, все – рукой подать. Но можете ли вы подниматься без лифта на 5-й этаж (может быть, шестой)? Нанять нужно было бы на месяц, может быть, на 2 недели. При своей кухне все стоило бы недорого.

Перейду к ужасу в жизни моей милой Танюши<sup>6</sup>. Вот что: напишите мне, во что обошлось бы приобретение 2<-х> колод хоро-

ших карт (кончаю это письмо двумя днями позже), занятных игр каких-нибудь, чтоб Оленочка могла развлекаться в своем тяжелом одиночестве. П.С.Бобровский<sup>7</sup> пишет мне, что на этой неделе он отвезет, наконец, свою любимицу в санаторию. Я вышлю Вам сто крон. Посоветуйтесь с П<етром> С<еменовичем>, что купить на них для Оленочки. У П<етра> С<еменовича> много долгов, и если я пошлю деньги ему, то он, может быть, вынужден будет уплатить ими срочные долги. Но пусть кредиторы подождут, на то они и кредиторы. П<етр> С<еменович> пишет, что Вы собираетесь послать мне ласково-ругательное письмо. Может быть, Вы смилостивитесь теперь.

Из России давно нет вестей. А у меня там и старший брат с семьей (Ростов) и вдова брата Кости с семьей (Крым).

Напишите о себе. Уверен, что у Вас все ладно, все по-хорошему. Дай Бог!

Сердечно приветствую Вас. Любящий Вас

П.Михайлов

Писал в кофейнях, оттого отвратительная бумага.

P.S. Купите Оленочке маленький флакончик хороших духов. Она это любит.

(Л.12-13об., 21)

<sup>1</sup> Забота (нем.).

<sup>2</sup> Нилус Петр Александрович (1869–1943) – художник, ученик К.К.Костанди, автор сборников рассказов, друг И.А.Булгина. Жил в Одессе, член Товарищества южнорусских художников, Одесского литературно-артистического общества. Эмигрировал в декабре 1919, жил в Болгарии и Австрии, с 1924 – в Париже, где получил европейское признание. См. также: Произведения П.А.Нилуса в Одесском художественном музее. Одесса, 1978.

<sup>3</sup> Старинные вещи (франц.).

<sup>4</sup> Молчать и жить дальше! (нем.).

<sup>5</sup> Всемирная выставка в Париже 1937 года.

<sup>6</sup> Здесь и далее: Таня, Танюша – племянница П.А.Михайлова, жена П.С.Бобровского.

<sup>7</sup> Бобровский Петр Семенович (1880–1947) – юрист, общественный деятель. Во время Февральской революции – помощник губернского комиссара Временного правительства в Крыму, в 1918–1919 – краевой контролер Крымского правительства, в 1919–1920 – редактор газеты «Южные ведомости». Эмигрировал в 1920; проживал в Югославии, Франции, Германии. С 1924 – в Чехословакии; сотрудник книжно-газетного отдела Русского заграничного исторического архива в Праге (1924–1942), имел адвокатскую практику, являлся членом Объединения русских юристов в Праге. В мае 1945 арестован СМЕРШ, скончался в заключении.

б. П.А.Михайлов – В.А. и А.В. Флоровским

Париж  
1 октября 1937 г.

Дорогие Валентина Афанасьевна и Антоний Васильевич.

Спасибо за Ваше милое письмо. Конечно, я был опечален вашей авиа-открыткой, так как успел настроиться в приятном ожидании встречи с Вами в Париже, совместных прогулок по Выставке... К тому же вам предстоял сюрприз: прожить очень дешево в лучшей части города у Bois de Boulogne в прекрасной квартире... Helas! К чему я пишу об этом... разве к тому, чтоб упрочить в Вас желание осуществить в будущем году то, что так нелепо расстроилось в этом. Состоится ли моя поездка в Прагу? Очень хотелось бы, чтобы я мог как-нибудь оправдать ее в своих собственных глазах и во мнении своих доверителей – Извольских<sup>1</sup>. Изюмов<sup>2</sup> мне пишет, что документы, сколько бы их ни было (порядочный чемодан), можно доверить Чешск<ому> посольству – оно-де перешлет; пишет дальше, что изучение архива, обсуждение вопроса и проведение денежной стороны дела займет оч<ень> много времени. О получении лично денег я, собственно, не думал, я знаю по другим опытам, что между решением вопроса по существу и уплатой денег неизбежно проходят месяцы, но вот я рассчитывал, собственно, на то, что ознакомление с материалом, большая половина которого уже отпечатана (вышел I-ый том, II-ой и послед<ующий> печатается<sup>3</sup>) не займет много времени. Все приведено в прекрасный порядок, почерки превосходные, опись будет составлена ясно и вразумительно. Думалось, что одной недели при добром желании сторон было бы достаточно, чтобы договориться о цене, – ну, 10–12 дней... Впрочем, порядки разные бывают, да у всех к тому же много собственной работы и забот. А сидеть долго в Праге я, конечно, не смогу. Подумаю о том, чтобы выслать Вам документы заранее, а самому приехать к моменту обсуждения собственно денежного вопроса, чтобы совместно подойти к оценке (у меня будут полномочия)... Но есть одно препятствие, которое надо преодолеть. Е.А.Извольская, чья болезненно честь и доброе имя отца, ставит непременно условием, чтобы последующие публикации происходили не только с ее ведома, но и согласия, то есть настаивает на своем участии как соредактора, имеющего права делать дополнения, примечания, предисловия и пр. Это не литературная *амбиция*, а *страх*<sup>4</sup>, как бы кто по неосторожности не наделал каких *gaffes*<sup>5</sup>, каковые могли бы омрачить чувства семьи и близких лиц, работавших с послом. Я пишу Изюмову, что это отнюдь не будет «цензурой», а только просмотром, осуществленным к тому же очень осведомленным человеком (доказательство: издание двух томов под ее редакцией), человеком большой личной культуры и к то-

му же дочерью своего отца, который многое рассказывал ей. Изюмов писал мне, что Архиву не покажутся стеснительными условия Е.А.Извольской. Хотелось бы надеяться, что так и будет, – так <как> иначе сделка не состоится. Извольская говорит, что ни мать ее, ни она не простят себе, что за деньги, так сказать, отдали в полное распоряжение чужих им людей «совершенно секретные» документы, воспроизведение которых может сопровождаться (если не будет их личного участия) какими-либо примечаниями или оговорками, умаляющими добрую память их отца и мужа.

Я лично думаю, что это не есть настоящее препятствие. Воспроизведение собственно документов, будь это даже совершенно частная переписка, не должно обязательно сопровождаться обсуждением качеств и поступков действующих лиц и тем более выпадами против них. Кто из допущенных к работе в Архиве лиц мог бы позволить себе такую некорректность? Впрочем, кто знает! Представьте себе, что к работе будет допущен какой-нибудь злой немец или вообще тенденциозно настроенный против Извольского человек.

Не в недоверии собственно к Архиву тут дело. Повторяю, тут можно и может быть должно понять и оценить чувства Извольских.

Я говорил им, что подчинение их требованию может повлечь за собою иную, пониженную расценку предлагаемых материалов. Они готовы пойти на значительное понижение цены и представят мне широкие полномочия в денежном вопросе, лишь <бы> их основное, так сказать, *моральное* условие было соблюдено.

Напишите мне поскорее, что Вы, Антоний Васильевич, думаете по поводу написанного мною. Я прошу Архив поскорее выяснить свое отношение к поставленному вопросу. Если согласие в этом пункте будет достигнуто, я немедленно засяду за составление описи бумаг и по составлении ее перешлю документы или лично доставлю их<sup>6</sup>.

Спасибо за приглашение жить у вас, дорогая Валентина Афанасьевна. Вряд ли смогу воспользоваться им. Не остановлюсь и у Тани. Предпочту скромную комнату в отеле, чтобы не стеснять никого (себя в том числе). Все, что понадобится, привезу с большой охотой. Располагайте мною. Учебничек и модные журналы достану. А что еще? и еще, еще что?..

В воскресенье уеду дня на три в Бельгию, надеюсь по возвращении найти ответы Архива и Ваш.

Сердечно Ваш

П.Михайлов

О сидении в Чека у меня есть кое-что. Разыщу. Ваш П.М.

(Л.15-18об.)

<sup>1</sup> Речь идет о жене и дочери Александра Петровича Извольского (1856–1919) – министра иностранных дел России (1906–1910), российского посла

в Париже (1910–1917). Дочь – Извольская Елена Александровна (1896–1975) – прозаик, переводчик. Решался вопрос о приобретении документов А.П.Извольского Русским заграничным историческим архивом в Праге.

<sup>2</sup> Изюмов Александр Филаретович (1885–1950) – историк. До 1922 – старший инспектор Главного управления по архивным делам. В 1922 выслан из России в Германию, в Берлине – сотрудник Русского научного института. В 1925 переехал в Прагу, был заведующим отделом документов Русского заграничного исторического архива, с 1933 – зам. директора РЗИА. В 1941 интернирован, четыре года провел в немецких концлагерях.

<sup>3</sup> Речь идет об издании: *Au service de la Russie. Alexandre Iswolsky correspondance diplomatique 1906-1911 / Rec. par H.Iswolsky; Introd. et notes de G.Chklover. T.1. Paris, 1937; T.2. Paris, 1939.*

<sup>4</sup> Здесь и далее выделено автором письма.

<sup>5</sup> Промахи, оплошность, бестактность (*франц.*).

<sup>6</sup> Русским заграничным историческим архивом в Праге были получены документы А.П.Извольского. В составе коллекции были, в основном, переписка официального и частного характера, заметки, записки, газетные вырезки и мемуары А.П.Извольского. После вывоза документов РЗИА из Праги в Москву в 1946 они были переданы в архив МИД СССР.

## 7. П.А.Михайлов – В.А. и А.В.Флоровским

Прага, Русск<ий> Архив  
Пятн<ица>, 18 марта 1938 г., 2 ч<аса> дня

Дорогие Валентина Афанасьевна и Антоний Васильевич.

Я здесь, то есть в Праге. Здравствуйте! Хочу видеть. В 6 час<ов> веч<ера> вызову вас к телефону (748.32 – Ногаёпко). Привез чай, модн<ые> журналы, духи. Шлю дружеский привет.

Ваш П.Михайлов

(Л.36)

## 8. П.А.Михайлов – В.А. и А.В.Флоровским

Берлин  
29 марта 1938 г.

Дорогие Валентина Афанасьевна и Антоний Васильевич.

Будто вчера и будто уже давным-давно... Вижу вас перед глазами в тот, всегда печальный момент, когда поезд разлучил нас. Ндолго ли? Я стал пуглив и плохо верю уже в свою удачливость. Видно, близок час расплаты. Вот и гадаешь: сойдется, не сойдется. Ну, будем верить, что снова сойдемся. Я и поездку-то эту предпринял под этим знаком. Увижу воочию и поверю, что я существую, тот самый, как там когда-то. Поезда везли меня, куда я хотел, и приво-

зили вовремя. Конечно, не Бог вещь какое чудо, а мне казалось почему-то, что это для меня, по моему заказу.

Среди вас отдыхал: хорошо у вас, и просто, и уютно, и расположение ваше чувствовал, и сам хотел, чтобы и вы считали меня, до некоторой или, вернее, в какой-то там степени, своим.

Там, у Тани (я очень люблю ее, и П.С.Боб<ровско>го, и детей, конечно), мне было мучительно стыдно за то, что жил я не по средствам (не в Праге, конечно), что мало делал для них. По каким бы то ни было причинам, но у них явная нужда: ведь это видели и чувствовали и кн. Оболенский<sup>1</sup> (он говорил мне в Париже), и Панина<sup>2</sup>, и вот Яшвилъ<sup>3</sup>. Но мои доходы так неустойчивы, так предательски изменчивы. Как тут обещать что-либо, на что можно было бы положиться... и все-таки... И еще укором была Танина какая-то неистовая энергия... еле держится на ногах, валится и все трудится, бегают, моет, шьет.

Солнце, ласка весеннего ветра не долго баловали меня по отъезде из Праги. В Варшаве природа вдруг резко изменилась. Подул злой борей, снег, дождь, крупа, опять снег, и какой!.. Как иногда в Одессе в феврале. Васьковские<sup>4</sup> (я жил у них) были рады мне, хотя попал я к ним в час горя: только что умерла сестра Васьковской (по последн<ему> мужу: Ария), подруга юности и Бунина, и Петра Нилуса.

Друзья мои, и В<аськовский>, и Березовский<sup>5</sup>, и Понсет, здорово постарели и <обрюзгли?>: чувствовал себя среди них молодым (и то «хлеб», чисто «относительный», конечно).

Успехов и в Варшаве не имел, хотя и запродавал по дешевой цене Народному музею свои раритеты. (Когда-то деньги заплатят!)

Как и у вас, и тут здорово кормился: Васьковская (бывш<ая> жена моего друга Т.Я.Дворникова<sup>6</sup>) – прекрасная хозяйка. Вчера с грустью простился с ними, и вот с утра я в Берлине, где меня ожидала большая неприятность. Высланная мне из Мюнхена картина *пропала*. Телеграфировал в München, ругался и горевал. Картину ищут. Ну найдут, а я сидеть здесь никак не могу. Дела ждут в Париже, и завтра вечером я скачу туда. Картина застрянет в Германии, и, видно, навсегда. Что-нибудь придумаю, конечно, а пока... На душе пакостно. Пришел вот в синема около двух, да не угадал: на ½ часа вперед, вот и засел писать вам, чему очень рад.

Ну, отвечайте же! Не будем порывать новой нити дружбы. Ну, еще раз спасибо за все!

Сердечно Ваш

Пав. Михайлов

<sup>1</sup> Оболенский Владимир Андреевич, князь (1869–1951) – общественный деятель, член ЦК кадетской партии, с июля 1917 – секретарь ЦК. С апреля 1918 – председатель управы Таврического губернского земства. В ноябре 1920 эмигрировал, жил во Франции.

<sup>2</sup> Панина Софья Владимировна, графиня (1871–1956) – общественный деятель, товарищ министра народного просвещения Временного правительства. В 1918–1920 – на Дону у А.И.Деникина. В эмиграции в Чехословакии, Швейцарии, США, где принимала активное участие в работе Комитета помощи русским эмигрантам, возглавляемого А.Л.Толстой. Похоронена в Ново-Дивеево, недалеко от Нью-Йорка.

<sup>3</sup> Яшвиль Наталья Григорьевна, княгиня (1861–1939) – меценат, в эмиграции жила в Праге, поддерживала семинарий им. Н.П.Кондакова.

<sup>4</sup> Семья А.В.Васьковского, художника и коллекционера, входившего в объединение Товарищества южнорусских художников в Одессе. В одном из писем А.В.Флоровскому П.А.Михайлов отмечает влияние А.В.Васьковского на его увлечение стариной и собирательством: «еще 1907 года (жили на даче Климовича (Швейцария) рядом с художниками и коллекционером Анатолием Васьковским – от них и заразился – да как! – на всю жизнь! и пошло и пошло...»)» (АРАН. Ф.1609. Оп.2. Д.317. Л.70-71).

<sup>5</sup> Березовский М.А. – художник, участник выставок Бессарабского общества любителей искусства.

<sup>6</sup> Дворников Тит Яковлевич (ум. 1926) – художник, член Товарищества южнорусских художников и член правления Общества художников им. К.К.Костанди.

9. П.А.Михайлов – В.А. и А.В. Флоровским

Париж  
8 октября 1938 г.

Дорогие друзья.

Все ждем весточки от вас. И мыслями и душой были с вами в тяжкие дни<sup>1</sup>.

И тут были и страх и ужас. Улицы погрузились в мрак, сотни тысяч людей, что побогаче, покинули город, все предвещало страшную угрозу и гибель прекрасного города. Стал и я увязывать чемодан, чтобы искать спасенья где-нибудь на берегу океана, но уехать не привелось. Пришло «спасение мира»<sup>2</sup>, но на душе образовалось такое гнетущее опустошение, такое моральное банкротство, что все, казалось, потеряло и значение свое и смысл. Ведь дело не в собственном своем физическом благополучии.

Как же вы пережили угрозу, уцелеете ли дальше. Что останется от державности вашей страны, так разгромленной и обнищавшей сразу. Будут сокращать и учреждения и всяческие расходы.

С ужасом думаю о судьбе Бобровских. Ни знания языка, ни подданства, ни умения жить. Конечно, всякие «акции» прекратятся, да-

же если в президенты выберут человека крамаржского толка. Очень вас прошу сообщать мне все, что будете знать и о судьбе Архива и о положении Бобровских<sup>3</sup>.

Будущее, даже ближайшее, стало темным. Все потеряли уверенность в завтрашнем дне. Моя гиблая работа не сулит мне ничего хорошего. *Inter arma silent* не только *leges, artes*<sup>4</sup> пострадают еще больше.

Мое сидение в Evian было все последнее время омрачено ежечасной тревогой, а возвращение в Париж совпало с мобилизацией и связанным с ней полным расстройством обычного существования. О том, что думаю о происшедшем, можете догадываться сами. Франция переходит с неизбежностью на положение второсортной державы, зависимой в будущем и от западных соседей, и от Англии. Образуются ли внутренние политики? Финансы страны в совершенном расстройстве. Ее бывшие друзья и союзники на востоке и юго-востоке хорошо сделают, если пересмотрят свою внешнюю политику: все это будет только в порядке вещей.

Посылаю Вам письмо avion'ом: так лучше. Сообщение прямое или почти: Страсбург – Прага. А обещанные фотографии? Неужели из них ничего не получилось? С приятною памятью вспоминаю о наших цюрихских встречах... Образовался еще один трогательный оазис в прошлом.

Надеюсь, что вы оба здоровы и душой и телом. Дай вам Боже побольше всяческого благополучия. Перебираюсь вынужденно на новую квартиру: здоровье жены не позволяет ей больше мириться с тысячами неудобств и примитивностью нашего прежнего обиталища.

Горячо обнимаю и буду ждать от Вас бодрых и добрых вестей.  
Сердечно Ваш

П.Михайлов

А заяц?<sup>5</sup>

(Л.41-41об.)

<sup>1</sup> После оккупации фашистской Германией Судетской области осенью 1938 резко ухудшилось правовое и материальное положение российской эмиграции. С.Г.Пушкарев так описал жизнь русской Праги под немецкой оккупацией:

С начала немецкой оккупации Чехословакии в марте 1939 деятельность русских научных и общественных организаций постепенно сокращалась, но не прекращалась. Для наблюдения за русскими научными организациями и учебными заведениями была назначена молодая партийная дама, немка, доктор философии. Не знаю, как называлась ее должность и каковы были ее функции и полномочия. <...> Начальником, или «вождем», русской эмиграции был назначен



молодой русский инженер Ефремов, руководивший «опорным пунктом» для эмигрантов. <...> Вскоре после прихода немцев в Праге образовалось «Русское национальное и социальное движение» (РНСД). Вступали в него, главным образом, русские инженеры: одни хотели на всякий случай застраховаться, другие видели в национал-социализме единственную реальную силу, которая может бороться со сталинским коммунизмом и побороть его. Профессора это движение, или партию, избегали: мне известен только один случай вступления в нее человека из среды молодых ученых. Профессорская среда притихла, надеясь «отсидеться за печкой». И отсиделась до весны 1945 года, когда к Праге стала приближаться Красная армия. Тогда многие бросили свои насиженные гнезда и бежали на Запад.

(Пушкарёв С.Г. Воспоминания историка. 1905–1945. М., 1999. С.103).

<sup>2</sup> Имеется в виду так называемый «мюнхенский сговор» – заключенное 29–30 сентября 1938 в Мюнхене соглашение между Англией, Францией, Германией и Италией.

<sup>3</sup> По некоторым сведениям, в конце 1930-х Русский заграничный исторический архив наряду с другими архивами эмиграции (Белорусским заграничным архивом, Украинским историческим архивом) составили так называемый Славянский архив, который находился в ведении МИД ЧСР. После оккупации гитлеровскими войсками чешских земель (март 1939) и создания протектората Чехии и Моравии Славянский архив был передан в ведение МВД ЧСР на правах отдела Архива МВД ЧСР. Немецкие власти назначили в архив своего наблюдателя, который должен был следить за деятельностью его заграничных представителей. С этого момента средств на развитие архива, кроме оплаты труда служащим, не поступало. В ноябре 1939 – апреле 1940 РЗИА неоднократно посещали гестаповцы, а с началом войны между Германией с СССР был интернирован заместитель директора архива, заведующий отделом документов А.Ф.Изюмов, в марте 1942 уволены старейшие сотрудники, в том числе и П.С.Бобровский. Часть архива РЗИА была подготовлена к отправке в Германию, но этим планам не суждено было сбыться. После освобождения Чехословакии документы РЗИА были переданы правительством ЧСР в Москву, а группа бывших сотрудников, среди которых был П.С.Бобровский, арестована представителями НКВД и СМЕРШ (подробнее см. об этом: Фонды Русского заграничного исторического архива в Праге: Межархивный путеводитель. М., 1999. С.1-32).

<sup>4</sup> Парафраз известных латинских выражений «Inter arma silent Musae» (При громе оружия музы молчат) и «Silent leges inter arma» (Законы безмолвствуют во время войны); artes – науки, искусства.

<sup>5</sup> По-видимому, Флоровские держали зайца в качестве домашнего животного. Так, например, в апреле–июле 1929, уезжая из Праги, они оставили зайца под надзором ректора Народного университета М.М.Новикова, который им писал 26 апреля 1929: «Вашего зайца в клетке вчера получили. Но он, как часто делают несправедливо заключенные, объявил голодовку и ночью ничего не ел. Утром же со злобой съел кусочек сыру, а больше ничего». 1 июля 1929 в письме М.М.Новикова продолжение заячьей истории: «Сообщите нам, пожалуйста, поскорее, когда Вы собираетесь вернуться в

Прагу. Дело в том, что управление нашей колонии издало приказ, чтобы в течение 14 дней (а 7 уже прошло) была ликвидирована всякая *drůbež*, *slepíci*, *králíki* atd. Поэтому, если Вы скоро возвращаетесь, мы попытаемся додержать зайца у себя, если же Вы задерживаетесь, то придется искать для него другое место. И.И.Лапшин взять его к себе не согласится. А у меня с зайцем большая дружба, и мне жаль с ним расставаться» (АРАН. Ф.1609. Оп.2. Д.337. Л.2об, 3).

10. П.А.Михайлов – В.А. и А.В. Флоровским

Париж  
3 января 1939 г.

Милые, дорогие мои друзья.

Вот и я у вас, малость, в долгу. Письмо ваше было заведомо печальное, да и могло ли быть иначе. Такая получилась перемена декораций. Докатилось сюда, что ны<неш>ний «Последний Лист» (смысл очень похож на «Последние Новости») сообщает о предстоящем аресте Бенеша (дело Гайда)<sup>1</sup>. А тут новые автострады, каналы и «Карпатья Украина». Вы знаете, как, в сущности, я – да и вы тоже – индифферентен к политическому дню, всегда преходящему, нагло вторгающемуся в душевный покой... Мы ведь достаточно стары и довольно-таки уже помяты разными политиками, чтобы чувствовать себя вправе требовать от жизни покоя и опять покоя – и тихих радостей – вроде прогулки по Цюрихскому озеру...

Во Франции тоже смутно и никто не знает, что ему готовит грядущий день... Так не лучше ли жить, не задумываясь над завтрашним днем. Так я и стараюсь жить, как, впрочем, старался жить всю свою нескладную жизнь: хороший дар от предков – животный инстинкт – вовремя предостерегал – не делай того-то, не ходи туда-то. Впрочем, всякое бывало.

Становитесь безотлагательно чехами... все равно в Одессе нас не захотят, да еще вопрос, захотим ли мы ее?

У меня было больше успехов, чем неудач, – эти последние месяцы, потому я и пишу так бравурно, – но надвигаются годы, годы недомоганий, болезней... и, конечно, это страшит. Таня с ее блаженностью. Девочке-то старшей еще оч<ень> плохо. Анализ крови показал, что рано думать о снятии корсета, а тем временем санатория уже отошла к Словакии... а худшее, конечно, то, что Петр Семенович <Бобровский> – так плохо изъясняющийся по-чешски – может вдруг лишиться места, то есть единственного ему доступного заработка. Что же постигнет тогда его семью? На меня надежда плохая, и заработки мои все же и всегда случайные... Нет-нет, сам попадаю в яму и лишь с трудом вылезая из нее. Как узнаете что об Архиве, безжалостно известите меня.

Ну, а как ваша профессура<sup>2</sup>? И как у вас настроение, если надвигается опасность? Спасибо за предложение заниматься духами. Придумаем что-нибудь получше. И как здоровье? Очень хочу, чтоб вам было и лучше и спокойнее! А пока что сердечно обнимаю и желаю всего, всего лучшего в 39-м году.

Ваш П.Михайлов

Пишите же!

(Л.45-46об.)

<sup>1</sup> Бенеш Эдуард (1884–1948) – в 1918–1935 министр иностранных дел, в 1935–1938 и 1946–1948 президент Чехословакии, с 1940 и во время Второй мировой войны президент в эмиграции. Гайда Радла (1892–1948) – унтер-офицер, один из руководителей мятежа чехословацкого корпуса в России (1918). С января 1919 – генерал-лейтенант, временно командующий Сибирской армией. В июле 1919 уволен в отпуск по болезни, а затем отстранен А.В.Колчаком от должности. В ноябре 1919 возглавил во Владивостоке путч против Колчака, после подавления которого выехал на родину. С середины 1920-х в числе руководителей фашистских организаций в Чехословакии сотрудничал с гитлеровским режимом. Казнен по приговору чешского Народного суда.

<sup>2</sup> Чехословацко-советские соглашения 1935 года, подписанные после признания Чехословакией СССР в 1934, не отразились фатально на положении русских эмигрантов и работе созданных ими учреждений. Однако после Мюнхенского соглашения 1938 года многие русские эмигранты стали покидать Чехословакию по собственной инициативе. Этому же способствовало фактическое прекращение «Русской акции». В 1945 после освобождения Чехословакии советскими войсками многие русские эмигранты должны были спасаться бегством (например, С.Г.Пушкарев), некоторые были арестованы (Н.А.Андреев, П.С.Бобровский, Н.П.Цветков и др.) или депортированы (П.Н.Савицкий, А.Ф.Изыюмов и др.).

11. П.А.Михайлов – В.А. и А.В. Флоровским

Oisquercq (Brabant Buge)  
25–26 августа 1958 г.

Дорогие друзья Валентина Афанасьевна и Антон Васильевич, ну и погуляла ваша открытка от 15 авг<уста>! Пришла своевременно в Париж – оттуда ее переслали в Fondation Universitaire в Брюссель, а из столицы она попала в глухое местечко Брабанта, именуемое Oisquercq, куда я с женой выбрался на отдых и на иждивение ее родных. Как-то доберется до вас мой ответ. Ведь, вероятно, к 1-му сентября вы вернетесь в Прагу.

Очень рад был, что вспомнили меня. Вспоминаю и я вас и обоих вместе и в особицу. Последний раз в разговоре с отцом Василием

Зеньковским<sup>1</sup>; с ним и с А.В.Карташовым<sup>2</sup> встречался в правлении Академической группы (они еще кое-как дышат). Антона Васильевича вспоминал, составляя опись книг своих по отделу истории (об этом скажу после). Здоровьем я здорово ослабел за последние 2 года. Одолевает усталость: все утомляет, вот и память растрепалась. Сейчас locus minoris resistentiae<sup>3</sup> сердце, а вместе с ним и весь аппарат дыхания. Чувствую, что длиннейший фильм моего существования приближается похоронным темпом к своему натуральному концу. Жена раза три за последнее время всерьез собиралась помирить от голодной смерти: запиралось выходное отверстие пищевода – один раз 5 недель, другой 4 недели ничего не могла есть (удушье, рвоты...), живет исключительно на голодной диете.

Еще года три тому назад я зарабатывал на жизнь, помещая время от времени в частные и публичные собрания ценные старинные картины (не свои, конечно), но теперь работа эта прекратилась – и клиентов нет: кто умер, кто разорился, кто уехал за океан; да и объектов на продажу доставать стало затруднительно, а главное, сам износился. Работа эта требовала усиленного «вращения» в обществе, разъездов, переписки... Устал. Доходы остановились, иссякли сами собой. Теперь одна забота: ликвидация – lang, aber sicher<sup>4</sup> – всего того добра, что накопилось благодаря моей страсти ко всякому собирательству. Вставленное мною словечко «sicher» надо понимать только в смысле безусловной необходимости, потому что в нынешнее время всякие ликвидации становятся все более и более затруднительными: интересующихся мало, а людей денежных среди них все меньше и меньше. Вы знавали в Праге Ник<олая> Вас<ильевича> Зарецкого<sup>5</sup>. Давно уже он доживает свои дни в хорошем русском Доме-убежище. У меня с ним по линии любительства и собирательства много общего, отсюда и взаимная симпатия. Давно уже не навещал его. Час, чтоб добраться до него в Cormeilles en Parisis, да час обратно. Я его еще в Праге разыскал. Боюсь, что ему совсем мало жить осталось. Пошлю я Вам пока список книг по истории (увы, он не совсем еще закончен мною). Выгодно можно продать только в С<оединенные> Шт<аты>, слабее – в Англию... да и в этих странах жизнь так дорожает, вернее, уже вздорожала, что и учреждения стараются тратить лишь на неотложные нужды. Так вот, дорогой Антон Васильевич, если у Вас наладились некие связи с Америкой или другими местами или лицами с хорошей валютой, помогите мне советом, указаниями\*.

---

\* Только пусть эта просьба не помешает Вам раньше отозваться на мое послание. Буду очень обязан Вам, дорогая Валентина Афанасьевна, если по какой-нибудь okazji посетите Таню и ее дочь Верочку (она уже замужем и должна скоро стать матерью) и сообщите мне свои впечатления. – *Примеч. автора.*

Есть несколько ученых изданий в отделе литературы и изящных искусств. Удалось пока что поместить несколько ученых изданий из отдела богословского – так ушли (helas!) сочинения Голубинского<sup>6</sup>, Филарета<sup>7</sup>, Иннокентия<sup>8</sup>, Дмитрия Ростовского<sup>9</sup>, постановления по борьбе с сектантством, но кое-что и в этом отделе уцелело. Для ликвидации оставшегося в этом отделе обещал свою помощь Петру Евгеньевичу Ковалевский<sup>10</sup>, но он так занят...

От своей юридической науки я давным-давно отошел. А прогроз: на Украине уцелел всего-навсего один юридический факультет (Киев). При судах в центрах существуют прагматического характера подготовительные практические занятия по законоведению и судопроизводству. Не сомневаюсь, что Вы сохранили полностью свою научную работоспособность, – но кому из вас понадобились Мариенбадские воды?

Не так давно в поздний час попал в чешский ресторан Брюссельской Ехро. С удовольствием усладил себя пильзенским пивом, запивая им превосходную пражскую ветчину. К сожалению, в самый павильон (будто бы лучший по своим экспонатам и хорошему вкусу) не попал.

О Вас, дорогая Валентина Афанасьевна, вспоминаю больше по совокупности с переживаниями одесского прошлого. Многие из этого прошлого живет во мне, во мне теперешнем. Вижу Вас проходящей с пенсионным grosбухом в худеньких руках через Колонный зал Думы. Помните прекрасный портрет в рост Великой Екатерины работы Лампи<sup>11</sup>? Помню, вижу Шульгу, Протопопова, Реферта, – вижу тот стол (в полукруглой выемке), где заседала управа, а с утра и Вы сидели там, а вот Ваше милое начальство – хоть убейте – никак не вспомню ни фамилии, ни как звали. Ах, горе с именами – они исчезают из памяти раньше всего. Вот хотя бы, как звали того члена управы с польской фамилией, кажется, врача по образованию, чья дочка, не зная меня, так здорово невзлюбила меня.

Я храню большую редкость: художественно выполненную акварель 1838 г. – это «наша» Соборная площадь, какой она была в тот год, когда Государь приехал в Одессу на открытие Карантина. Станьте у аптеки Пискорского. Перед вами открытые ворота собора. Колокольни еще не было, а архитектура храма была цельнее, совершеннее. Слева от собора собрался народ. Государь на коне, но без свиты, не видно и солдат. Там сзади большое здание – дом Синоциных с ампириными колоннами, – в начале Дерibasовской на левой стороне стоял уже тот дом, в котором была книжная торговля Распопова – на том углу, где позже вырос дом Либмана, – Гауптвахта – в ампирином стиле. Дальше по Садовой идут того же стиля здания – все желтого цвета, какого цвета был и Ришельевский лицей.

Об Одессе у меня немало памяток. Есть книжка (забыл сейчас иностранную фамилию переводчика Цицероновской речи «рго Milone»<sup>12</sup>) – к книжке приложен список подписчиков с М.С.Воронцовым<sup>13</sup> во главе – множество русских, греческих, франц<узских> и друг<их> иностранных фамилий и ни одной еврейской – книжка была издана в 1833 г. Есть письма Николая I-го к Воронцову с выражением благодарности за чистоту и порядок.

Совсем недавно мне понадобилось составить очерк об одесских художниках, об их «четвергах»<sup>14</sup>, об обедах у Буковецкого – Нилуса (жили вместе), есть у меня этюд милого старика Костанди<sup>15</sup> (2 вида Успенского собора). Ну – расписался и даже расчувствовался. Довольно. И так надоел своей болтовней.

Сейчас просмотрел вашу открытку. Опоздание с получением ее объясняется тем, что № дома обозначен неправильно: 7 вместо 8. Очень вероятно, что нечетные номера входят в компетенцию другой «экип» (бригады) разнощиков <так!> корреспонденции. Хочу быть уверенным, что уезжая из Мариенбада, Вы указали, куда Вам пересылать письма. Надеюсь очень, что вы оба почтите меня своими ответами – рассказами о прожитой за последние 20 лет жизни и о нынешнем своем состоянии. О том, что я исхудал (84 – 20 = 64 к<г>), о том, что должен придерживаться диеты (никаких супов, никаких соусов, pas d'alcool, pas de tabac<sup>16</sup> и т. д.). Похваляюсь: уцелел много лучше, чем большинство сверстников. Конечно, «кикнуть» могу сразу и был бы доволен, если б так и случилось, то есть «сразу».

Ощущение одиночества естественно растет с каждым годом – оно особенно ощутительно при посещении русского кладбища (ubi sunt, qui ante nos in mundo fuere)<sup>17</sup> ... А все-таки продолжаю с благодарной преданностью любить жизнь (telle-quelle<sup>18</sup>) и в меру возможности пользоваться ее благами, но все явственнее ощущаю подсознательное (?) прощание и с людьми, и с местами, и со всем, «куда влечет тебя неведомая сила»<sup>19</sup> (с этим чувством пойду в понедельник – день отъезда в Париж – в Королевский музей взглянуть на картины, через меня приобретенные музеем). В Бельгии проживали и мои частные клиенты (трое): сейчас это уже «прошлое».

Вот еще очень хочу сказать – в последние годы все более и более ощущаю *nostalgie* – характер и, так сказать, содержимое ее меняются. За два посещения Русского павильона на Ехро я со взаимным удовольствием и расположением беседовал с оч<ень> интеллигентными (унив<ерситетски> образ<ованными>) служащими, сидевшими за столиками с проспектами для объяснений. Я был приятно смущен ихнею – я сказал бы – жадностью общения с эмигрантами – одна мне говорила о Москве, другой о Крыме... И я говорил себе: вот прошло 40 лет – позволяю себе думать – четыре поколения (по 10 л<ет> на каждое по нынешнему темпу перемен). Мы остались примерно со

свою прежней начинкой, их жизнь старалась перековать – отвлечь от одного, склонить, даже иногда «втоптать» другое; говорят о неизбежной смене *mentalité*, о новом отношении к жизни, к самой проблеме существования, назначения человека – но задаешь себе невольно такую петицию принципа – да искоренимо ли нутро, те недра человека – русского человека, – столетиями в рамках родного быта, родной природы укоренившиеся?.. Жизнь развела нас. Мы, в рассеянии сущие, вот-вот отойдем к праотцам. Что станет с эмиграцией через 10–20 лет?.. Говорят: «*La garde meurt et ne se rend pas*»<sup>20</sup>... Но красота этих гордых слов может ли успокоить волнение душевное, в основе которого лежит врожденная вера в свой народ, в его лучшее будущее.

Вот и дописался, что уже и «нет местов»<sup>21</sup>. На прощанье обнимаю Вас со словами: Да хранит Вас Господь!

П.М.

(Л.52-55 об.)

<sup>1</sup> Зеньковский Василий Васильевич (1881–1962) – педагог, философ, психолог и церковный деятель. С 1920 – в эмиграции; профессор философии в Белградском университете (1920–1923), профессор психологии в Русском педагогическом институте в Праге (1923–1927), профессор Свято-Сергиевского Богословского института в Париже (1927–1962). В 1942 рукоположен в священники.

<sup>2</sup> Карташев Антон Владимирович (1875–1960) – богослов, историк Церкви, церковный и общественный деятель. С 1919 – в эмиграции; председатель Русского национального комитета в Финляндии (затем в Париже), член епархиальных собраний и Епархиального совета Русского экзархата Вселенского престола, один из основателей и профессоров Свято-Сергиевского Богословского института в Париже (1925–1960).

<sup>3</sup> Место наименьшего сопротивления (в организме) (*лат.*).

<sup>4</sup> Медленно, но верно (*нем.*).

<sup>5</sup> Зарецкий Николай Васильевич (1876–1959) – живописец, график, искусствовед. С 1920 – в Берлине, председатель Союза живописцев, ваятелей и зодчих, с 1931 жил в Чехословакии, заведующий Русским культурно-историческим музеем в Збраславе (1941–1945), с 1951 – в Париже. Автор исследования «Русские писатели как живописцы и рисовальщики», подготовленного к изданию Д.И.Чижевским.

<sup>6</sup> Голубинский Евгений Евстафьевич (1834–1912) – русский историк, академик Петербургской АН (1903). Автор «Истории русской Церкви».

<sup>7</sup> Филарет (Дроздов Василий Михайлович; 1782–1867) – русский церковный деятель. С 1826 – Московский митрополит.

<sup>8</sup> Возможно, Иннокентий (в миру Иван Алексеевич Борисов; 1800–1857) – русский богослов и церковный оратор, архиепископ Херсонский и Таврический.

<sup>9</sup> Дмитрий Ростовский (Туптало Даниил Саввич; 1651–1709) – русский церковный деятель и духовный писатель, митрополит. Борец против раско-

ла в Церкви, активный сторонник преобразований Петра I; канонизирован Православной церковью.

<sup>10</sup> Ковалевский Петр Евграфович (1901–1978) – историк, библиограф. В 1920 вместе с родителями эмигрировал во Францию В 1926 защитил диссертацию на степень доктора историко-филологических наук и приступил к преподаванию в Свято-Сергиевом Богословском институте в Париже, на Высших женских богословских курсах и во французском государственном лицее Мишле. Наряду с преподавательской деятельностью вел большую церковную, просветительную и общественную работу. В 1962 возглавил Русскую академическую группу в Париже.

<sup>11</sup> Лампи Жан Батист (1751–1830) – австрийский художник, приглашенный в Россию в октябре 1790 князем Потемкиным-Таврическим; в 1792–1787 жил в Петербурге.

<sup>12</sup> Возможно, имеется в виду известное цюрихское издание собрания сочинений Цицерона, подготовленное Орелли (Orelli; 1823–1830).

<sup>13</sup> Воронцов Михаил Семенович, князь (1782–1856) – в 1823–1844 новороссийский и бессарабский генерал-губернатор, много способствовавший развитию и процветанию края.

<sup>14</sup> О художниках Одессы и их «четвергах» см. в сообщении И.Д.Бажинова об И.А.Бунине и его одесском окружении:

Более четырех десятилетий Нилус был одним из самых близких друзей Бунина. Знакомство их состоялось летом 1898 г. в Одессе, когда Бунин близко сошелся с участниками Товарищества южнорусских художников. Члены этого кружка собирались по четвергам сначала на квартире молодого художника Е.И.Буковецкого, а позже в одном из одесских ресторанов. Здесь, кроме художников, присутствовали артисты, писатели, певцы, музыканты. На заседаниях, если можно так назвать эти веселые собрания, художники рисовали, скульпторы лепили, литераторы читали свои новые произведения, певцы исполняли песни, романсы и оперные арии. Здесь, в живой, непринужденной атмосфере, шли споры о новых произведениях литературы и живописи, обсуждались проблемы современного искусства. Собрания кружка многое дали его участникам, в том числе и Бунину, который в числе важных моментов творческой биографии называл и знакомство с членами Товарищества южнорусских художников.

(Литературное наследство. Т.84: Иван Бунин. Кн.2. М., 1973. С.424-426).

Буковецкий Евгений Иосифович (1866–1948) – художник, член Товарищества южнорусских художников, член правления Общества художников им. К.К.Костанди; приятель И.А.Бунина. См. в дневнике И.А.Бунина (27 октября – 9 ноября 1921): «Разве та теперь свежесть чувств, волнений! Как я страшно притупился, постарел даже с Одессы, с первой нашей осени у Буковецкого! Сколько я мог пить почти безнаказно по вечерам (с ним и с Петром <Нилусом>), как вино переполняло, раскрывало душу, как говорилось, как все восхищало – и дружба, и осень, и обстановка чудесного дома!» (Цит. по: *Бунин И.А. Собр. соч.:* В 6 т. Т.6. М., 1988. С.435).

<sup>15</sup> Костанди Кириак Константинович (1852–1922) – художник-передвижник; один из учредителей, член правления и председатель Товарище-



ства южнорусских художников в Одессе (с 1902); преподавал в Школе рисования и черчения Одесского общества изящных искусств (среди его учеников – П.А.Нилус). Хранитель Одесского музея изящных искусств (с 1916). Председатель Союза работников пластических искусств в Одессе (1917). После кончины Костанди в Одессе было создано Общество художников его имени, существовавшее до 1929.

<sup>16</sup> Без алкоголя, без табака (*франц.*).

<sup>17</sup> Где те, кто до нас на свете были (*лат.*).

<sup>18</sup> Такова, какова есть (*франц.*).

<sup>19</sup> Парафраз пушкинских строк: «Невольню к этим грустным берегам / Меня влечет неведомая сила» («Русалка»).

<sup>20</sup> Гвардия умирает, но не сдастся (*франц.*).

<sup>21</sup> Приписка сделана на узком боковом поле страницы бумаги.

## 12. П.А.Михайлов – В.А. и А.В. Флоровским

Париж

20 сентября – 3 октября 1958 г.

С тех пор, как начал письмо, прошло много дней: хворал, хлопотал и был в *дурных чувствах*. Авось сегодня кончу<sup>1</sup>.

Дорогие друзья, уже два дня как получил ваши письма, рад, что привелось обменяться – хотя бы было на скорую руку – и мыслями и воспоминаниями о прожитом и пережитом. Хорошо Вы сохранились, дорогой Антон Васильевич, завидую Вам – вот думаете об осуществлении большого научного задания по документам, к которым русские ученые еще не прикасались, а дело-то идет о самом Петре<sup>2</sup>, по-моему, наиподлиннейшем самодержце – в скромные рамки моего мышления он никак не уместается – гениальное самоуправство, он и привлекает и отталкивает... Но размах и величие творчества и замысла смиряют недовольных критиков. Думал как раз о нем, читая этюд о Погодине и Шевыреве в только что присланной мне «Russian Thought and Politics» (автор Рязановский – это в сборнике учеников Карповича<sup>3</sup>). Удивительно, какой теперь настойчивый интерес ко всему, чем жили наши предки, как складывались на землях российские народный быт и нравы, и особенно в последнее время усилилось желание уразуметь, разгадать, а что же дальше?

Здоровье мое определенно идет по линии ухудшения – все органы словно сговорились: сразу представили свои счета к оплате. И память – она прямо бесчинствует, то вот она тут как тут, а то «поминай как звали». Бодрости (и то не каждый день) хватает на 3–4 часа – оплошали и слух и зрение, а о сердце лучше не говорить. Я еще храброюсь – выезжаю за границу... но уже сам себе на это говорю:

«Это в последний раз!..» Смотришь – и будто прощаешься. Все эти стоны и вздыхания вы уже чувствовали и по первому посланию моему. Спасибо Вам, Валентина Афанасьевна, за Альфреда Францовича – сколько в нем было хорошей польской утонченности (лучше сказать – учтивости), было что-то по-древнему хорошее в согбенном молчаливом старце Дзенодзиловском, и совсем был по-умному мил и интересен тот тоже пан-поляк (панского ничего в нем не было), что ведал делами Строительного отд<еления>, – как же он? а вот и вспомнил: *Куровский* Владимир Павлович<sup>4</sup>, а помните, как жестоко оборвалась его жизнь – он покончил с собой самоубийством в день отправления на фронт его запасного полка. О трусости здесь не могло быть и речи. Так думал Ив. Бунин<sup>5</sup>, и так думаю и я (часто встречавший его на обедах у Буковецкого и в пивной Брунса...). Он был, как потом и я, в кружках художников. Ив<ан> Алекс<еевич> Бунин ездил с ним вместе за границу. Бунин его, то есть Куровского, и Евгения Буковецкого считал отменно интересными людьми.

А что общего было у меня с Ив<аном> Ал<ексеевич>ем? Конечно, в основе жадная любовь к жизни во всем ее многообразии, во всех ее проявлениях – похвастаюсь, диапазоном *моя* любовь была шире бунинской: музыка, живопись, даже балетное искусство не владели им, не давались ему, но его зоркость, наблюдательность, всяческая память до запахов и утонченных ощущений были в нем изумительны... он по-звериному мог сливаться с жизнью, зачастую до предельной жадности... порою он одержим был эгоистическим эгоцентризмом (эка загнул какую фразу!) – в этом трудно было кому-нибудь угнаться за ним. Эти не очень-то приятные черты особенно развились в нем после «Prix Nobel» – он как бы отдался самовозвеличению, что и сократило ему под старость число подлинных друзей его. Терпел и я не раз его самовольство и эгоизм. Но оторваться от него, уйти – мне и в голову не приходило. Порою он мог проявить самую большую нежность, а «делиться» с ним впечатлениями и наблюдениями в условиях общих переживаний и даже в прогулках или за обеденным столом было большим наслаждением. И еще скажу: вот он уже совсем больной, ослабленный, сидит в подушках в высоком кресле, вокруг разные приятели, поклонницы, поэты, критики – через 5–10 минут видишь, как замирает *общий* разговор... Он, как редко кто, владел даром подчинения себе (своим словам и замечаниям) случайно собравшихся около него разнородных людей: никто не позволял себе ни лезть с расспросами, ни сопротивляться обязывающей силе его метких суждений. Вот и читая лучшее из написанного им (к примеру сказать, листая страницы из «Жизни Арсеньева»), – желая поправить, добавить, сократить нет, оно улетучивается, автор владеет тобой... Так и у Тол-

стого... По-иному владеет читателем и вечно трогательно-милый и по-своему вдумчивый Антон Павлович Чехов. Уход из жизни Ив<ана> Ал<ексеевича> оставил во мне большую пустоту – жили рядом в Париже, но и когда он надолго уезжал на юг, я оставался в общении с ним, исполняя всяческие его поручения. Давно ушел из жизни и другой наш общий друг Петр Ал<ексан>др<ович Нилус><sup>6</sup>.

Вам, дорогая Валентина Афанасьевна (забавно: моего отца звали Алек<сан>др Афанасьевич – редкое имя!), хотел бы сказать в особицу (купринское словечко) про «арбузные корки» – забыл я речение, вспомнил сейчас «апельсинные корки». Не понял я, может быть, – к чему и почему Вы вспомнили о них и тут же рядом говорите о письме Вашем к ех-т-lle Сенькевич-Корчак<sup>7</sup>. Из-за корки можно упасть навзничь, расшибить голову или просто шлепнуться, растянуться. Я вроде немца Даля<sup>8</sup> – все разжевываю смыслы слов. Родной язык – неотъемлемое богатство каждого из нас, но, Боже мой, как он истрепался, измельчал в скудном эмигрантском быту (русских между собой). Конечно, такие, как Бунины, Ремизовы, Куприны, уцелели, но как «исписались» прочие.

Вчера был на именинах (17/30 IX): две «Веры» с высш<им> образованием, доктор, бывш<ий> полковник, двое из приюта для стариков. Разговор о базарных ценах, о квартирах, о старости и лечении болезней, о том, кто умер и кто вот-вот умрет... И это после воскресенья (28), резко изменившего лицо Франции, события, «чреватого последствиями»<sup>9</sup> – а тут обыденщина, скучное чаепитие и такая захолустная провинция... вот и газеты здешние (их две) – я их и в руки не беру – «интересны» лишь объявления да хроника: кто помре, кому справляли восьмидесятилетие. В правой газете подвизается известный Вам по Праге Водов<sup>10</sup> (говорят, он же Вассерман), да Вишняк<sup>11</sup>, что пишет из С<оединенных> Шт<атов>.

Перейду к жизни моей родной Тани. Я с умилением и той любовью, которая не позволяет мне в чем-либо не одобрять ее, читаю ее коротенькие сообщения о ее житье-бытье. Не допускаю в ней никаких душевных изъянов, ее понимание добра и добрых дел явление редкое, редчайшее в наши дни. Отсутствие «задних мыслей», заповодования ближних в дурном, совершенное бескорыстие приближают ее к той Sancta simplicitas, которая мало кому доступна. Для меня она так же дорога своей чистотой, как дороги были мать и брат Константин (врач в Крыму) – ее отец.

То, что Вы пишете о себе, дорогая Валентина Афанасьевна, очень опечалило меня. И я жестоко болел (сыпн<ой> тиф в 15 лет, гнойный плеврит в 16, туберк<улезный> процесс в верхушках легких в 17–20 лет, дальше тяжелый дифтерит в 35 и сердечные недомогания, начиная с 40 лет). Поразительная живучесть и привязанность к жиз-

ни – часто до полного слияния с нею – в хорошем и дурном (это требовало бы длительного объяснения) как-то выручали меня... но чувствую сейчас ясно, что доживаю последние дни, и это чувство-ощущение уже не покинет меня. Конечно, весьма может быть, эти последние дни растянутся на месяцы... вряд ли на годы – но Рубикон перейден!

Пишу после перерыва – днем позже – под музыку любимой 5-й симфонии Чайковского (радио). Пишу, чтоб кончить наконец!.. (а то и письмо потеряю и никогда не кончу).

Вчера услышал печальную весть – совсем слаб, можно сказать медленно «отходит», бедный страдалец Зарецкий... Тут годы его физических мучений были окрашены трогательным вниманием и заботами... Этого своеобразного и чуткого к художественной старине человека оценили все вошедшие в ближайшее общение с ним. Боюсь, что не успею уже проститься с ним.

Попутру набрел в куче бумаг на прекрасную тетрадочку с видами Старой Праги, изданную в этом году по случаю Брюссельск<ой> выстав<ав>ки. Кстати, чешский павильон признан наилучшим по своему художественному убранству и подбору экспонатов.

Да! и вы живете в городе-музее. Таких немного на свете. Ими богата Италия, есть и в других странах старой культуры. Увы! и Пражскому удивительному ensembl'ю угрожает (пока на окраинах) вторжение новых строений – колоссальных безликих ящиков на потребу человека-муравья.

А вот не забыть! Это для Антония Васильевича – есть у меня (издавна – еще из России привезенные из наследия Ив<ана> Ираклиев<ича> Куриса<sup>12</sup>) два несомненно редчайших издания на немецком языке. Это Петровские манифесты, услужливо изданные немцами, – один 1711 <года> о «вторжении» российских войск в Померанию (а Царь-то сам едва уцелел совсем незадолго перед тем в лагерном сидении-плёну на Пруте!)<sup>13</sup>, другой 1722 года (неудачные походы в сторону Турции по берегу Каспийск<ого> моря). Еще есть книга «Военная история России» (книга наверху, в моей келье под крышей – поэтому может быть ошибка в наименовании) – автор ее не обозначен издателем Смирдиным<sup>14</sup>, помечена она 1839 г. Кто ее автор – сочинитель? Человек несомненно оч<ень> авторитетный для своего времени.

Еще хочу спросить, что думаете о сочинении Бантыш-Каменского<sup>15</sup> о деятелях эпохи Петра Великого? Я знаю Бантыш-Каменского по его истории Малороссии (3 тома), у меня имеющейся. На этих днях вышло Вам, Ант<оний> Вас<ильевич>, три на ротаторе изготовленных (увы, без оценок) описи 3-х отделов моего книжного собрания (еще не выполнено мною описание книг, к искусствам относящихся).

Послание мое растянулось – оно отражает полностью сумбурность-эклетицизм-разбросанность моей нелепой природы, далеко не лишенной благих порывов (тех самых, что всегда оставались незавершенными... вечное начало исполнений, а в общем, «дремучий лес» и для других и для меня самого... всего понемножку, а «целости» никакой (*im grossen ganzen*<sup>16</sup>). Но, как видите, прошлое (и лично пережитое, и то, чему был свидетелем) еще живо во мне, как плоть от плоти...

Очень жалею и буду сожалеть, что вряд ли нам суждено свидеться. Где и как найти человека, которому понадобилось бы уплатить в Праге или друг<ом> месте Вашей страны изрядную сумму с моей или с чьей другой <так!> из проживающих здесь знающих Вас лиц. Мои финансы сейчас и ненадежны и мало реальны.

Начал писание дней 12 тому назад – окончил 3 окт<ября> <19>58<го> года.

А все же не прощаюсь, а ласково хочу сказать вам обоим: дай Бог – до свиданья!

Ваш П.Михайлов

<P.S.> Madam Marie (франц.) не помню, хоть убейте! (не жена ли это Veassoprulos, что торговала шляпками). Бабкин поселился в Montreal'e в 1929 году!

P.P.S. Конечно, пошлите брату<sup>17</sup> мои «описи» – захочет ли он помочь мне... Я вряд ли был ему когда-либо симпатичен.

(Л.58-58об.)

<sup>1</sup> Абзац приписан сверху текста письма.

<sup>2</sup> Изучению политической деятельности Петра I, особенно внешней политики России конца XVII – первой четверти XVIII вв., А.В.Флоровский уделял особое внимание, обследовав документальные материалы архивов Чехословакии и Австрии. См. его основные труды по этой проблеме: «Русско-австрийские отношения в эпоху Петра Великого» (Прага, 1955) и «От Полтавы до Прута», над которой в момент написания письма П.А.Михайлова работал А.В.Флоровский (издана в Праге после смерти ученого в 1971).

<sup>3</sup> Карпович Михаил Михайлович (1887–1959) – историк, секретарь последнего посла России в США Б.А.Бахметева (1917–1924). С 1927 преподавал русскую историю в Гарвардском университете США, один из основателей русистики в США. С 1943 – главный редактор «Нового журнала» (Нью-Йорк). К 70-летию М.М.Карповича 27 его учеников преподнесли ему сборник своих статей и очерков с посвящением: «Михаилу Карповичу в знак преклонения, любви и благодарности» (см.: Russian Thought and Politics // Harvard Slavic Studies. 1957. Vol.4).

Статья историка Николая Валентиновича Рязановского (род. 1923) «Pogodin and Shevyrev in Russian Intellectual History» (P.149-167), посвящена изучению взаимоотношений историка Михаила Петровича Погодина (1800–

1875) и историка литературы Сергея Петровича Шевырева (1806–1864), издававших журнал «Москвитянин».

<sup>4</sup> Куровский Владимир Павлович (1869–1915) – художник. Служил в городской управе и был хранителем Одесского музея изящных искусств.

<sup>5</sup> По воспоминаниям В.Н.Буниной, «Иван Алексеевич очень ценил Куровского и “несколько лет был просто влюблен в него”. После его самоубийства, во время Первой мировой войны, он посвятил ему стихотворение “Памяти друга”...» (Жизнь Бунина. Париж, 1958. С.113).

В дневниках И.А.Бунина есть записи об этих трагических событиях:

2 августа <19>15 г. Серо и холодно. Проснулся рано, отправил корректуру «Суходола». Во втором часу газеты. Дикое известие: Куровский застрелился. Не вяжется, не верю. Что-то ужасное – и, не знаю, как сказать: циничное, что ли. Как я любил его! Не верю – вот главное чувство. Впрочем, не умею выразить своих чувств.

3 августа. <...> Все же я равнодушен к смерти Куровского. Хотя за всеми мыслями все время мысль о нем. И умышленно ужасаюсь и теряюсь. Что с семьей? Выстрелил в себя и, падая, верно, зацепился шпорой за шпору. <...> Долго не мог заснуть от мыслей о Куровском. <...>

4 августа. <...> Послал телеграмму Нилусу, спрашивал о Куровском.

6.VIII. Приехала Вера. Привезла “Одесские новости”. Там о Куровском. Весь день думал о нем.

(Цит. по: *Бунин И.А. Собр. соч. Т.6. С.357-358*).

<sup>6</sup> П.А.Нилус скончался 23 мая 1943 в оккупированном Париже.

<sup>7</sup> Мы не располагаем письмами А.В. и В.А. Флоровских П.А.Михайлову (кроме нескольких черновиков и планов ответных писем А.В.Флоровского, сохранившихся в его архивном фонде), поэтому трудно понять, о чем идет речь в этом фрагменте письма П.А.Михайлова.

<sup>8</sup> Даль Владимир Иванович (1801–1972) – писатель, лексикограф, этнограф, создатель «Толкового словаря живого великорусского языка» (Т.1–4; 1863–1866). Из семьи датского происхождения.

<sup>9</sup> 28 сентября 1958 во Франции референдумом была утверждена Конституция Пятой республики.

<sup>10</sup> Водов Сергей Акимович (1898–1968) – журналист, участник Белого движения. В 1920 эвакуировался из Крыма в Константинополь, затем жил в Праге, член редколлегии журнала «Студенческие годы», с 1925 – в Париже, в 1930-х – секретарь Национального союза русской молодежи, с 1954 – главный редактор газеты «Русская мысль».

<sup>11</sup> Вишняк Марк Вениаминович (1883–1974) – публицист, политический деятель, юрист. С мая 1919 – в эмиграции: один из издателей и ответственный секретарь журнала «Современные записки» (1920–1940); с – 1940 в США на преподавательской и редакционно-издательской работе.

<sup>12</sup> Курис Иоанн Ираклиевич (1841–1898) – коллекционер, херсонский губернский предводитель дворян, тайный советник. Похоронен в селе Курисово-Покровское Одесского уезда.

<sup>13</sup> Имеется в виду Прутский поход русской армии под командованием Петра I в европейские владения Турции в Русско-турецкую войну 1710–1713. Поход закончился для России неудачно: Петр I был вынужден в июле 1711 заключить невыгодный для России Прутский мирный договор, по которому она лишалась Азова и обязывалась ликвидировать ряд крепостей.

<sup>14</sup> Точное название издания: Военная история Российского государства. Ч.1. СПб.: Типография А.В.Смирдина, 1839; автор не указан, но на корешке книги значится: «История Зотова».

<sup>15</sup> Имеется в виду сочинение «Деяния знаменитых полководцев и министров, служивших в царствование Петра Великого» (Ч.1-2; 1813) историка Дмитрия Николаевича Бантыш-Каменского (1788–1850). Ему принадлежит также «История Малой России» в 4-х частях (1822).

<sup>16</sup> В общем и целом.

<sup>17</sup> Г.В.Флоровскому.

### 13. П.А.Михайлов – А.В.Флоровскому

Париж

Март – апрель – май 1959 г.

Вы правы, дорогой Антоний Васильевич, давно пора и ходить осторожно и глядеть осмотрительно. Но ни в 51-м году, ни на этот раз я ничем не провинился – от чужой и грубой неосторожности (*culpa lata*<sup>1</sup>) не уберешься. Ведь упал я на спину, как подкошенный, почти у самой остановки автобуса по причине неслыханного заторможения вагона, будто тем вызванного, что некая женщина вздумала перебежать улицу «под носом» автобуса... Не беда еще, что сломалось одно ребро, – хуже *commotio cerebri*<sup>2</sup> – и память, и слух пострадали, и сердце – и раньше уже плохое – объявлены моим кардиологом пострадавшими... Скучно и думать и писать об этом.

Займусь сейчас записками Фикельмона<sup>3</sup>, давнего моего «знакового» и по дочке Ел. М. Хитрово<sup>4</sup> (Долинька плечики голенькие<sup>5</sup>), и тем сродственницам, что доживали свой век в Париже, – старушка Толстая-Голенищева-Кутузова и другая, сравнительно недавно отошедшая к праотцам, в девичестве была Столыпной, а потом переменяла 2<-х> или 3-х мужей<sup>6</sup>. Красавицей была. От нее я получил два листка со стихами Растопчиной<sup>7</sup> из альбома Е.М.Хитрово. А прогос: большой альбом русских и больше франц<узских> стихов, ей посвященных и иных ею записанных. Увы, в нем не было ничего ни Пушкина, ни Жуковского, ни даже Вяземского. Я очень хотел приобрести альбом Хитрово, но этого не получилось ни при жизни последней владелицы, ни после кончины ее – как в воду канул.

Государь приезжал в Одессу в 1838 году со свитой и своим Высочайшим гостем – эрцгерцогом австрийским – после маневренного смотра войск Южной армии под Вознесенском для торжественного открытия одесского Карантина. У меня хранятся четыре цветных акварели одесского художника итальянского происхождения по фамилии<sup>8</sup>. Этот художник изобразил нашу бывш<ую> Соборную площадь. Он взял ее как бы с крыши дома, где была аптека Пискорского, то есть с угла Коблевской улицы (Кобль – военный, родом англичанин). Военного смотра в настоящем смысле не было. Небольшая воинская часть вроде почетного караула... тут же столпились допущенные лицезреть Государя граждане, в их же числе простолудины. Государь на коне. Двери собора (колокольни, исказившей основной план собора, еще нет) раскрыты настежь. Служба только что закончилась: видны зажженные свечи... Большой интерес представляют здания по сторонам площади. Громадный ампирный с колоннами дом Синицыных на месте Пассажа, Гауптвахта – на месте д<ома> Либмана. В сторону Садовой, то есть на месте апт<еки> Гавевского и Поповского и дальше идут несомненно общественные здания, напоминающие постройки Ришельевского лицея. Все они и синицинск<ий> дом желтого цвета. Попудовского дома не видать, он в стороне. На Дерибасовской виден лишь дом, где в наше время была книжная лавка Распопова, виден еще дом на Преображенской, где в подвале был «Гамбринус»<sup>9</sup>. Все, что касается «Карантина», оч<ень> интересно – тут и карант<инное> здание – пассажиры с пироскафов, то есть пароходов, и др<угих> судов прибыли в Одессу – все акварели с видом на море, одна с видом на далеком расстоянии на Николаевский бульвар, знаменитую лестницу, построенн<ую> из лавы, обтесанной в камни – ими наполнялись трюмы итальянских пароходов.

Скучно и односторонне написанные книги о старой Одессе, недавно появившиеся, оставляют желать много лучшего. Их две. Последняя книжица некоего Загоруйко «По страницам истории Одессы и Одесщины»<sup>10</sup>. Для человека, влюбленного в старину (вот я такой), там только крохи ценного – да, там немало данных об истории революц<ионного> движения в Одессе, но ведь это история новейшего времени, впрочем, подвергся разоблачению адмирал Де Рибас<sup>11</sup>, нет и имени его потомков (библиотекарь и другой: составитель юбилейного тома столетия Одессы<sup>12</sup>). Может быть, о них вспомнят позднее, в следующих «выпусках»...

Я знал и раньше, в Одессе, встречал и тут, в Париже, вдову Ив<ана> Иракл<иевича> Куриса. С нею дружил Ив. А. Линниченко<sup>13</sup>. Милая была старушка. Но как примечателен и всячески ценен был (скажу: должен был быть) ее муж: собрание богатейшее – Ros-sica, образцовое хозяйство в Курисов<о>-Покровском, какие связи, какое собрание автографов и манускриптов, записки Герберштейна<sup>14</sup>



в переплете Grallier, страница (подлинник) Остромирова Евангелия<sup>15</sup> (кто достал ему? – сам держал в руках!).

К «автографам» я пристрастился еще в Одессе: жена д<окто>ра Малиновского, проживавшая тогда в Одессе с мужем своим (военный врач?), сыном киевск<ого> проф. Малиновского<sup>16</sup>, принесла ко мне в Юридический кабинет (помните?) пушкинский манускрипт *«Морю»* с поправками А<лександра> С<ергеевича> на бумаге с филиграном 1829 <года> – это был подарок А<лександра> С<ергеевича> своему другу и другу Раевского<sup>17</sup> в Тифлисе в том же 1829 году (об нем идет речь в академич<еском> издании исследований источников-манускриптов<sup>18</sup>, в частности, о поэме «Морю» или «К морю»<sup>19</sup> – в указателе имен увековечилось и мое скромное имя<sup>20</sup>). Вот с той поры особенно воспылал я любовью к автографам и манускриптам, да вот «руки коротки» и тогда были, и после. Дягилев<sup>21</sup> приобрел у меня «Морю» не для Лифаря<sup>22</sup>, к Лифарю он попал (?) не от меня.

Сообщите мне, во что ценят и вообще продают ли фикельмонскую рукопись-дневник. У меня на руках (то есть моя собственность) акварели (их 5) о пребывании Никол<ая> I-го в Одессе и открытии одесского Карантина в 1838 году. Чудесный вид (невиданный) Соборной площади с желтыми ампириными домами – в их числе дом *Синицыных* на месте Пассажа, собор без колокольни.

Апрель – май

Воспользуюсь свободной минутой, чтоб продолжить прерванное вчера письмо. Буду «скакать» мыслями, так как пишу в банке, а вокруг и шум и люди ходят.

Вот о Лифаре. Ничего не слышно было о его пушкинианстве за последние годы. Ничего он не печатал – это меня не удивляет – не так давно он выступал с сообщением-докладом о влиянии русской литературы на культурную жизнь и развитие Запада. Кажется, это было на вечере с благотвор<ительной> целью, и в программе вечера были и другие выступления. Не думаю, чтоб его сообщение было богато ценными мыслями или выводами. Сам я редко – оч<ень> редко принимаю участие в публичных собраниях, хотя и не прекратил своей деятельности в некоторых правлениях обществ<енного> характера: в объедин<ении> русск<их> адвокатов (был когда-то приписан помощн<иком> прис<яжного> повер<енного> у В.Я.Протопопова, и это все!), в Одесском земляч<естве> – и особенно в правл<ении> Акад<емической> группы, где встречаю известных Вам Ан<тона> Вл<адимировича> Карташова (председ<атель>), В.В.Зеньковского, П.Е.Ковалевского и др. Молодых там маловато (кот наплакал), и старики кое-как «молодятся». А rgoros: Карташов вот-вот издаст (уже в наборе) 2-томный труд<sup>23</sup>, а вот отец Василий

Зеньковск<ий> опасно занемог: худеет, слабеет, хворает еще с прошлого года, хотя еще «служит» на rue Olivier de Jettes... друзья боятся за него.

Христос Воскресе, дорогие друзья! Кончаю эту страничку 3 мая (наша Пасха). Ночью был в Соборе на rue Daqu. Служил старенький митрополит Владимир (86 лет! Раньше он был в Ницце)<sup>24</sup>. В шестивии вокруг храма видел облаченного в стихарь П<етра> Ев<графовича> К<овалевско>го – бледное, усталое лицо. Завтра он зайдет ко мне. Под председательством Карташова (ему 85 лет) мы заседаем с ним (П<етром> Ев<графовичем>) в правлении Русской акад<емической> группы.

Очень извиняюсь: когда «дописываешь» давно начатое письмо – неудивительно (особенно при «нынешней» памяти моей) повторение уже написанного или сообщенного ранее. Вот Таня все просит меня, чтоб я засадил себя за хронику нашей семейной жизни: 5 братьев – я младший, ее отец – изумительный человек и оч<ень> хороший врач (Сибирь, Подол<ьская> губ. в имени Ролла и 14 лет в Крыму), ближайший ко мне (1872–1920)...

О Тане буду писать Валентине Афанасьевне в особицу. А послание к Вам, дорогой Антон Васильевич, кончаю пожеланием Вам хорошего здоровья и сохранения работоспособности (моя – слабая всегда – заметно сейчас сократилась).

Ваш П.Михайлов

P.S. Так напишите же подробнее о пребывании Фикельмона в Одессе в 1838 г.

(Л.60-62об.)

<sup>1</sup> Большая, тяжкая вина (лат.).

<sup>2</sup> Сотрясение мозга (лат.).

<sup>3</sup> Фикельмон Шарль Луи Карл Людвиг (1777–1857) – генерал, политический деятель, австрийский посланник в Петербурге с 1829. Предмет переписки связан с работой А.В.Флоровского над публикацией дневников Д.Ф.Фикельмон. В 1959 вышли две его работы (Пушкин на страницах дневника графини Д.Ф.Фикельмон. Praha: Slavia, 1959. V.28. Ses.4. С.555-578; Дневник графини Д.Ф.Фикельмон: Из материалов по истории русского общества тридцатых годов XIX века // Wiener Slavistisches Almanakh. 1959. Bd.7. P.49-99).

<sup>4</sup> Хитрово Елизавета Михайловна (урожд. Голенищева-Кутузова; 1783–1839) – дочь М.И. Кутузова, мать Д.Ф.Фикельмон.

<sup>5</sup> Фикельмон Дарья Федоровна (урожд. гр. Тизенгаузен; 1804–1863) – графиня, супруга Шарля Луи Карла Людвиг Фикельмона.

<sup>6</sup> Возможно, Мария Павловна Столыпина, скончавшаяся в 1953 и похороненная на русском кладбище в Сент-Женевьев де Буа.

<sup>7</sup> Растопчина Евдокия Петровна (урожд. Сушкова; 1811/12–1858) – русская поэтесса.

<sup>8</sup> В письме фамилия отсутствует. Автор акварелей – итальянский художник, пейзажист, литограф и баталист Карло Бассоли (1815–1884). В 1820–1843 проживал в Одессе, где прошел ранний период его творчества. Князь М.С.Воронцов заказал К.Бассоли альбомы «15 видов Одессы» и «Воспоминания праздника 6 сентября 1837 года в Одессе». К.Бассоли также сделал рисунки для «Хронологического обозрения истории Новороссийского края 1731–1823» А.Скальковского, «Новороссийского календаря» и «Одесского альманаха».

<sup>9</sup> «Гамбринус» – знаменитая пивная в Одессе, описанная А.И.Куприным в одноименном рассказе (1907).

<sup>10</sup> *Загоруйко В.А.* По страницам истории Одессы и Одесщины. Историографический и библиографический обзор-очерк. Вып.1. Одесса, 1957; Вып.2. Одесса, 1960.

<sup>11</sup> Рибас Хосе де (Дерибас Осип Михайлович; 1749–1800) – русский адмирал испанского происхождения (1799), руководитель строительства порта и города Одессы.

<sup>12</sup> См.: *Де Рибас М.Ф.* Краткий исторический обзор деятельности Одесской городской публичной библиотеки. Речь, читанная 15 апреля 1880 г., по случаю исполнившегося 50-летия существования библиотеки (1830–1880) библиотекарем М.Ф. Де Рибасом. Одесса, 1880; *Де Рибас А.М.* Старая Одесса: Исторические очерки и воспоминания. Одесса, 1913; *Он же.* Библиографические материалы по истории Новороссии: Указатель статей, заметок и разных материалов, помещенных в «Календарях» и «Новороссийском календаре», «Памятной книжке» и «Адрес-календаре Одесского градоначальства», а также в «Трудах Одесского статистического комитета» с 1832 по 1914 гг. Одесса, 1914 и др.

<sup>13</sup> Линниченко Иван Андреевич (1857–1926) – историк, член-корреспондент Петербургской АН (1900). В Новороссийском университете заслуженный ординарный профессор по кафедре русской истории.

<sup>14</sup> «Записки о Московии» («*Regum moscoviticarum commentarii*») С.Герберштейна были переведены с латыни базельского издания 1556 года И.Анонимовым и изданы в Санкт-Петербурге в 1866.

<sup>15</sup> Остромирово Евангелие – древнейший датированный памятник старославянской письменности русской редакции (1056–1057); содержит недельные евангельские чтения и называется по имени заказчика Остромира.

<sup>16</sup> Возможно, Малиновский Иоанникий Алексеевич (1868–1932) – юрист, историк права, профессор Томского, Варшавского университетов. Внештатный академик Украинской АН с 1918.

<sup>17</sup> Имеется в виду Михаил Владимирович Юзефович (1802–1889), товарищ брата А.С.Пушкина, Льва Сергеевича, а также Николая Николаевича Раевского (1801–1843), за отличие в Русско-турецкой войне 1828–1829 про-

изведенного в 1829 в генерал-майоры. А.С.Пушкин посвятил Раевскому «Кавказского пленника» и «Андрея Шенью».

<sup>18</sup> Пушкин: Исследования и материалы. Т.1. М.; Л., 1956.

<sup>19</sup> Уточним, что речь идет не о поэме, а о стихотворении «К морю», написанном А.С.Пушкиным в 1824 перед отъездом из Одессы в новую ссылку – с Михайловское.

<sup>20</sup> Пушкин: Исследования и материалы. Т.1. С.491.

<sup>21</sup> Дягилев Сергей Павлович (1872–1929) – импрессарио, издатель, театральный деятель. Страстный коллекционер автографов, раритетов, редких изданий, особенно связанных с именем А.С.Пушкина.

<sup>22</sup> Лифарь Серж (Сергей Михайлович; 1905–1986) – танцовщик, балетмейстер, педагог. С 1924–1929 занимал лидирующее положение в дягилевской балетной труппе, затем возглавил балет Grand Opera, где был премьером (1929–1956), главным балетмейстером и педагогом (1929–1945, 1947–1958, 1962–1963, 1977); основал Парижский институт хореографии (1947) и Университет танца (1957). В 1958, 1969–1970 во время гастролей Grand Opera приезжал в СССР и подарил Пушкинскому Дому часть раритетов дягилевской коллекции.

<sup>23</sup> Карташов А.В. Очерки по истории Русской церкви. Т.1-2. Париж, 1959.

<sup>24</sup> Владимир (в миру Тихоницкий Вячеслав Михайлович; 1873–1956), митрополит. С 1924 жил в Ницце, до этого в Чехословакии. С 1925 – управляющий викариатством Южной Франции (приходы Марселя, Канна, Ниццы, Ментоны). После кончины митрополита Евлогия (1945) принял на себя управление патриархатом.

#### 14. П.А.Михайлов – А.В.Флоровскому

Париж, Брюссель  
<Лето 1960 г.<sup>1</sup>>

Начал было сие послание в г. Париже до наступления тропической жары – продолжаю его в Брюсселе несмотря на жару: пишу, можно сказать, в голом виде<sup>2</sup>.

Дорогой Антон Васильевич, давно, давным-давно собирался поговорить с Вами и о рукописи «Морю» и о Д.Ф.Фикельмонт <так!>. Но жизнь моя так усложнилась за последние годы и особенно за последние 7–8 мес<яцев> (точнее с моего 2-го по счету accident de la voie publique<sup>3</sup> 16/XI-58), что живешь в постоянном беспорядке и расстройстве – главное – нехватка сил, энергии... утром еще как будто прежний, то есть бодрый, предприимчивый (да и то при условии, что ночью не было неизвестно почему и отчего кошмарных снов с криками и разговорами вслух). Думаю, что это больше от сердца, не выносящего давления диафрагмы и т. д. Были жаркие дни – их сыздавна не переносил. Сейчас будто бы подтянулся – надолго ли? Так вот – к делу.

Не допускаю, чтоб мой манускрипт «Морю» попал в Harvard'ский колледж – там есть манускрипт «К морю», описанный Чижевским<sup>4</sup> (он, кажется, в Гейдельберге – даже наверняка. Ковалевский знает его, но не очень жалуется). Мой попал ко мне действительно в 21-м году непосредственно из рук 2-жи Малиновской, принесли мне его в вечерний час (не помню, в каком месяце) в Юридический кабинет с предложением купить его. Большой лист (folio) был помят. Как могло это произойти, спросил я? И вот что услышал: «Жили мы в хорошем доме (мы, то есть Малиновская с мужем своим – помнится мне, военным врачом, – он тоже в порядке беженства проживал тогда в Одессе), в Киеве жили мы в богатом квартале Киева – Липках. Приближались к городу, вернее, подошли к нему не то большевики, не то просто бандиты...» Малиновские бежали из города, прятались. Когда узнали, что можно уже возвращаться к себе (грабежи прекратились), то нашли квартиру в полном разорении. Манускрипт «Морю» висел на стене в дорогой раме – кажется, в бронзовой, золоченой. После погрома стены были голы, вынутые из столов ящики пустыми лежали на полу. В углу валялись скомканные листы бумаги, разорванные конверты... вот среди этих «ненужных» громилам бумаг и был обретен ценный подарок А.С.П<ушкина> молодому тогда Юзефовичу, что познакомился с А.С.П<ушкиным> через его друга, юного генерала, 27 л<ет>, Н.Раевского. Об этом Вы читали. Юзефович был прадедом или прапрадедом Малиновской. Все это знают в Пушкинском Доме. Цявловская правильно приходит к заключению, что присланный в Дом манускрипт мог быть закончен (нав<ерное>, вариант) и быть подаренным Юзефовичу в 29-м году<sup>5</sup>. Я говорю «правильно», потому что своими глазами читал «на свет» водяной знак, цифры 1829\*. В 1930 году, а может быть, в 1931 г. я переживал безденежье. Дело, в котором я работал, рухнуло. Скопились долги. Вот тогда-то и выручила меня продажа манускрипта С.П.Дягилеву<sup>6</sup>. Он раньше еще – вероятно, через Гофмана<sup>7</sup> – знал о нем, еще раньше просил меня вспомнить о нем, если понадобятся деньги. Покупал он манускрипт (то есть платил деньги), но для близкого тогда ему молодого сотрудника его по балетному делу г. Кохно<sup>8</sup> (Лифарь приближен уже не был – по смерти Дягилева я по просьбе Кохно удостоверил ему письмом, что именно для него (ему в подарок)) был куплен «Морю». Говорили, что Кохно и Лифарь были тогда «не в ладах». Как потом манускрипт мог стать собственностью Лифаря – не знаю...\*\* Не знаю, кто мог «сочинить», что Малиновская сама будто бы утверждает, что продажа была ею, то есть

\* О водяном знаке Цявловская не знает. – Примеч. автора.

\*\* Одно близкое Лифарю лицо обещало мне расспросить Лифаря – у него ли еще манускрипт, и, если нет, то где он? и пр. – Примеч. автора.

г-жей Малиновской, совершена *ранее*, чем «Морю» стала моей собственностью. Цявловская хотела бы дознаться, кто же владел окончательной – точнее, *последней*, ставшей известной редакцией. Я хотел бы знать, где, кому и когда и *по каким побуждениям* дала свое неправильное, неверное показание г-жа Малиновская. Я хотел было лично сообщить письмом Цявловской, как было дело, но смущенно подумал, не подвел ли бы я г-жу М<алиновск>ую таким сообщением, а, может быть, ей нельзя было сообщать, что они с мужем в 21-м году проживали в Одессе и имели общение с обреченным (может быть, тогда уже) на высылку Михайловым (Проф. *Каган*<sup>10</sup> – математик – уже тогда большевик – злобствовал на меня, что я стоял поперек дороги, то есть карьеры Э. Як. Немировского, который, будучи еще до моего оставления при универ<ситете> магистром, не получил ни кафедры, ни *поручения* обязательн<ого> курса, ни приглашений для производства испытаний в Госуд<арственную> комиссию из-за того только, что родился евреем. Это не мешало нам – то есть мне и Нем<ировско>му, быть в «приятельских» отношениях даже здесь, *за границей*. Я получил от него – уже парализованного – дружеское письмо, – но тем не менее... (Простите мне это *intermezzo*). Может быть, у М<алиновск>ой и другие резоны – скажем, семейного характера... кто знает?!.

Теперь о Дарье Федоровне Фикельмон(т). В Париже проживали две дамы, близкие к семье Хитрово–Тизенгаузен–Кутузовы. С обеими я был в общении в первые же годы устройства моей жизни в Париже. Раньше, кажется, я попал к бывш<ей> красавице («*Magiоппе*»), урожденной Столыпиной, бывшей в замужестве что-то 2 или 3 раза. Для меня она уже была вдовой *duc de Saunis* (не помню орфографии, произносилось *де Сонис*)<sup>11</sup>. Попал я к ней, помнится, через кн. Феликса Юсупова<sup>12</sup>. Среди вещей, ей принадлежавших, я видел «альбом» разных записей на франц<узском> языке преимущественно, сделанных и ею лично, и ее друзьями. Это не был альбом-журнал, то есть дневник. Все записи и посвящения ей были литературн<ого> характера. Записей Жуковского, Пушкина, Вяземского там не было. Были даты и 20-х, и 30-х годов, – и после кончины А.С.П<ушкина>. О нем нигде ни слова! ни звука о его трагич<еской> кончине. (*Сравните* записи об успехах Дантеса<sup>13</sup> в <18>38–39 гг. – о тагильск<ой> находке, ст<атья> Андронникова в Новом Мире <№>1<sup>14</sup>).

Другая дама – старушка *Толстая-Голенищева-Кутузова* (без граф<ского> тит<ула>). К ней попал через Сонис – это из моих хождений – приобретений старин<ных> вещей. Сонис подарила мне тогда за мои услуги ей одну страницу со стихами поэтессы гр<афи>ни Растопчиной. (У меня сохранилось 7 разных портретов этого друга Павла Петр<овича><sup>15</sup> и московского самодержца-самодура 12-го го-

да!<sup>16</sup> На одном начертано – «В Москве родился, в ней, ею, ей служил». В Париже он был Comte de Vagonowo. Его потомок тщедушнейший маленький граф Р<астопч>ин проживает в Париже. Семья Sigur помогает ему.<sup>17</sup>

(Л.68-69 об.)

<sup>1</sup> Датируется по содержанию.

<sup>2</sup> Абзац приписан над текстом письма.

<sup>3</sup> Уличное происшествие (*франц.*).

<sup>4</sup> Чижевский Дмитрий Иванович (1895–1977) – филолог-славист, литературовед, историк, лингвист, литературный критик. С 1921 – в эмиграции (Польша, Германия, Чехословакия, с 1949 в США). В 1959–1964 возглавлял кафедру славистики Гейдельбергского университета.

<sup>5</sup> В статье Т.Г.Цявловской «Автограф стихотворения “К морю”» написано следующее: «Известно было, что еще один автограф стихотворения уцелел до наших дней. Первые сведения о нем в печати появились в 1925 году в заметке М.А. (М.П.Алексеева, будущего академика АН СССР. – Г.С.) “Автографы Пушкина в Одессе”. Там сообщалось, что автограф стихотворения “К морю” в 1921 году был приобретен в Одессе проф. П.А.Михайловым и находится теперь у владельца в Париже». Затем автограф принадлежал С.П.Дягилеву, а после его смерти (в 1929) – Сергею Лифарю. В настоящее время снимки с этого автографа присланы в Академию наук СССР из Парижа. История эта проясняется в какой-то мере сертификатом, приложенным (в снимке) на отдельном листе к фотографии автографа Пушкина, полученной из Парижа. Он гласит: «25 мая 1918 года мною, Е.А.Малиновской, был продан автограф А.С.Пушкина стихотворение “К морю”, подаренное Пушкиным прадеду моему И.В.Лисенко в бытность его на Кавказе. Е.Малиновская». В комментарии Т.Г.Цявловской к эпизоду купли-продажи автографа говорилось: «П.А.Михайлов приобрел этот автограф в 1921 году, а Е.Малиновская продала его в 1918 году, следовательно, остается неясным, в чьих руках находился автограф с 1918 по 1921 год, если сведения о дате приобретения его П.А.Михайловым точны. Неизвестными остаются для нас также обстоятельства этой продажи, вызвавшие приведенный выше сертификат. Однако становится ясной ошибочность предположения, высказанного М.А. в заметке “Автографы Пушкина в Одессе”, что автограф стихотворения “К морю” мог происходить “из собрания Куриса”. Коллекционер И.И.Курис умер в 1898 году, а автограф продолжал храниться в одной семье, где находился без малого сто лет (с 1829 по 1918 год)» (Пушкин: Исследования и материалы. Т.1. С.187-188). Далее Т.Г.Цявловская аргументирует доказательство ошибки Е.А.Малиновской в факте дарения автографа И.В.Лисенко в пользу дарения стихотворения М.В.Юзефовичу.

<sup>6</sup> Аберрация памяти: Дягилев скончался в 1929.

<sup>7</sup> Гофман Модест Людвигович (1887–1959) – литературовед, сотрудник Пушкинского Дома; с 1922 – в командировке во Францию, с 1926 – невозвращенец. Преподавал на русском отделении Сорбонны.

<sup>8</sup> Кохно Борис Евгеньевич (1904–1990) – либретист, коллекционер, секретарь С.Дягилева, друг композитора И.Стравинского.

<sup>9</sup> В письме ошибочно: еще.

<sup>10</sup> Речь идет, по-видимому, о Вениамине Федоровиче Кагане (Бениамин Фалькович; 1869–1953), приват-доценте чистой математики, который преподавал в Новороссийском университете в 1904–1923.

<sup>11</sup> В 1911 в Париже граф Ф. де Сони издал письма графа и графини Фикельмон к сестре Дарьи Федоровны Екатерине Федоровне Тизенгаузен: *Comte F. de Sonis. Lettres du comte et de la comtesse de Ficquelmont a la comtesse Tiesenhausen*. Paris, 1911.

<sup>12</sup> Юсупов Феликс Феликсович, князь (1887–1967) – организатор и один из участников убийства Г.Распутина.

<sup>13</sup> Дантес Геккерен Жорж Карл, барон (1812–1895) – поручик Кавалергардского полка, убийца А.С.Пушкина.

<sup>14</sup> Автор ошибся в номере журнала, речь идет о публикации И.Л.Андроникова в «Новом мире» №2 за 1960 под названием «Личная собственность» (С.175-203). В письме от 15 февраля 1960 П.А.Михайлов писал А.В.Флоровскому:

Из поучительной «Тагильской находки» мы чувствуем, как жестоко холодно «свет» воспринял кончину поэта... Должно думать, что люди света тяготились его присутствием, сторонились его и чуть ли не со вздохом облегчения избавились от него... И до «Тагильской находки» мы знали об этом, довольно одного лермонтовского свидетельства. Вот и альбом Е.М.Хитрово – это не журнал-дневник Долиньки. <...> Я уже писал Вам, что тщетно искал я в этом альбоме какого-либо отклика на смерть Пушкина. <...> Еще а прогос: «наш» одесский князь Мих<аил> Анат<олиевич> Гагарин (на даче предка Гагарина – на Малом Фонтане бывал А.С.П<ушк>ин) утверждал в разговоре со мной, что Дантес в начале 50-х годов был директором Парижского газового общества, жил широко и богато.

(АРАН. Ф.1609. Оп.2. Д.317. Л.72об.)

<sup>15</sup> Павел I (1754–1801) – император.

<sup>16</sup> Речь идет о графе Федоре Васильевиче Растопчине (1763–1826), московском генерал-губернаторе в 1812.

<sup>17</sup> Окончания письма нет.

15. П.А.Михайлов – А.В.Флоровскому

Париж

Вторник, 25 октября 1960 г.

Дорогой Антон Васильевич,  
не упомню, как и почему оборвалось наше общение письмами. Вероятно, случилось это или в вакационное время, или по причине моих



отлучек из Парижа. Как Ваше здоровье, как чувствует себя Валентина Афанасьевна? Помог ли вам обоим летний отдых «на водах»?

Сейчас взялся за перо по следующему побуждению. Вчера звонил мне г. Пашенный<sup>1</sup>, тот, от кого я получил негатив портрета Фикельмон, что я передал в Ваше распоряжение<sup>2</sup>. Теперь ему понадобилось фотографическое изображение принадлежащего ему портрета. Он вспомнил о негативе, не остался ли он у меня. Не затруднило бы Вас, дорогой Антон Васильевич, заказать фотографу сделать хотя бы один снимок с этого негатива. Знаю, для кого понадобился такой снимок. Это для общего нашего знакомого А.В.Яковлева (тоже обладателя другого портрета дочки Хитрово, найденного им в Лондоне (Яковлев «завещал» его Пушкинскому Дому).

На днях я обнаружил в своих старых письмах-документах письмо проф. барона Таубе<sup>3</sup> (по словам П.Е.Ковалевского, 93-летний старик здравствует еще – живет где-то под Парижем). Таубе в 1916-м году пишет А.П.Извольскому (тогда послу в Париже), что закончил свой труд, наименованный им «Кратким очерком русско-австрийской политики при Императорах Александре I и Николае I», который должен был войти «в печатаемый» им «тогда очередной том Сборника Императорского Русского Исторического Общества», посвященного *интереснейшим* депешам графа Фикельмона»<sup>4</sup>. – Таубе прибавляет, что отправляемый им Извольскому оттиск очерка особенно должен был бы заинтересовать Извольского, так «как» ему «принадлежит честь избавления нашей истории от традиционной зависимости от Вены и Берлина».

На всякий случай хочу спросить Вас, нет ли у Вас среди научных работников в Белграде «знакомых»? Дело в том, что в моем распоряжении есть на предмет продажи интересные dossier с оригинальными документами, относящимися ко времени 1817–1826 годов (аутентичные донесения нашего посла барона Строганова<sup>5</sup>, затем копии важных исторических документов, заверенные дипломатическим агентом Германом). Все эти документы (большинство секретные) тайно вывезены в Петербург тем же Германом. Им место, конечно, в Государственном архиве Югославии.

И здоровье и силы мои очень ослабли, а последнее время – locus minoris resistentiae, конечно, сердце – оно донимает меня припадками сердцебиения (пульс 170–180 в минуту, и так лежишь в страхе и тоске по 1½–2 часа, пока trinitrine восстановит нормальную работу истрепавшегося сердца). Трудно работать, трудно исполнять какие-нибудь выборные должности. А прогос: после кончины Антона Владимировича Карташова мне как старшему товарищу председателя (Академической группы. – Г.С.) (времененно до выборов) приходится исполнять то, что относится к председательским функциям.

В конце ноября состоится собеседование-«диспут» по старому-старому вопросу, кто был Кузьмич и допустимо ли в каких-либо смыслах признание живучести все еще легенды о превращении скончавшегося Императора в сибирского Старца<sup>6</sup>. Карташов – уральский уроженец – в юные годы свои верил, что впрямь Государь ушел в Сибирь. Сообщите, не знаете ли чего нового в истолковании этой легенды (то есть «за» и «против»). Я просил своего друга – дочь покойного Петра Николаевича<sup>7</sup>, сообщить мне, что она лично слышала от родных своих по этому вопросу, получу такие же сведения и от брата ее Романа Петровича.

Трудным стало положение Богословского института. Два последних столпа его ушли на вечный покой – раньше Киприан (в миру Керн)<sup>8</sup>, теперь вот – Карташов; епископ Кассиан<sup>9</sup> слаб здоровьем, серьезными недомоганиями страдает и отец Василий Зеньковский.

Надеюсь, что Вы будете добры <и> в скорейшем времени дадите мне ответ по содержанию моего растянувшегося послания. Увы, никогда не умел сокращать, сжимать свои мысли и помыслы, а теперь этакое писание (расплывчатое) только раздражает деловых людей!

Душевно преданный вам обоим

Павел Михайлов

(Л.73-74 об.)

<sup>1</sup> Пашенный Николай Леонтьевич (1896–1978) – правовед.

<sup>2</sup> 27 мая 1959 А.В.Флоровский обратился к П.А.Михайлову с рядом вопросов о портретах Д.Ф.Фикельмон, «о которой столько пишут как о красавице». Он писал:

Я обратился с этим вопросом в Петербург в Пушкинский Дом и получил оттуда ряд интересных указаний, ведущих за границу. Оказывается, есть несколько портретов, только не все о них еще известно и ясно. Так, в Женеве у некоего А.Яковлева имеется акварель художника Томаса Юинса, Неаполь 1826. Не имеете ли Вы каких-либо сведений о таком коллекционере и не имели ли Вы с ним каких-либо дел по делам собирательства? Очень интересно знать, где этот портрет сейчас – в Женеве ли и где вообще этот А.Яковлев? С другой стороны, след некоего портрета ведет к Н.В.Зарецкому. У него имелась хорошая, как мне сообщает один видевший ее человек (сейчас он в России), литография с портрета Фикельмон известного (но имени это лицо не знает!!) немецкого художника, изображение по пояс. Это лицо (это Н.А.Раевский) говорит, что у Зарецкого было более десятка таких литографий хорошей сохранности. Нельзя ли выяснить, где эти литографии сейчас? Жив ли еще Н.В.Зарецкий? Я бы охотно приобрел у него один хотя бы экземпляр этой литографии или выменял на книгу и <тому> под<обное>. В

Пушкинском Доме этого портрета не знают и, конечно, тоже охотно бы получили экземпляр.

(АРАН. Ф.1609. Оп.2. Д.62. Л.4-4об.)

В ответном письме от 11 июня 1959 П.А.Михайлов информировал А.В.Флоровского:

Так вот, я добыл для Вас хорошую фотографию молодой красавицы, встретившей в Неаполе английск<ого> художника, ее портрет недурно выполнившего. Владейте им – он в такой же копии уже был сообщен Ал<ексан>дром Васильев<ичем> Яковлевым в Пушкинский Дом. Ал<ексан>др Вас<ильевич> Яковлев – бывший правовед, отслуживший до своих 65 лет работу свою (переводчик) в О.Н.У.\* (New-York), сейчас находящийся временно в Женеве по особому вызову для работы в сессии О.Н.У. (министры иностранных дел). <...> Это все об одном портрете, но есть и другой, о котором Вы пишете, что его знал и имел чуть не дюжину фотографий с него Н.В.Зарецкий. Он когда-то подарил одну такую фотографию Ник<олаю> Леонт<ьевичу> Пашенному (тоже правовед, однокашник Як<овлева>). Я ее не видел еще, но Пашенный, держа фотограф<афию> в руках, сообщил мне по телефону все ее «данные». Конечно, бесспорно, это другой портрет, – совсем иной.

(Там же. Д.317. Л.63-64об.)

Подробнее о находках в области иконографии Д.Ф.Фикельмон см.: *Равский Н.* Портреты заговорили. Алма-Ата, 1976.

\*ONU – Организация Объединенных наций.

<sup>3</sup> Таубе Михаил Александрович, барон (1869–1961) – юрист-международник, сенатор. До революции преподавал в Харьковском и Петербургском университетах, в 1906–1911 юридический консультант МИД, в 1911–1915 помощник министра народного образования. С 1917 – в Финляндии, затем в Париже. Член Международного трибунала в Гааге, один из крупнейших специалистов по международному праву Европы.

<sup>4</sup> Работа М.А.Таубе опубликована под названием «Восточный вопрос и австро-русская политика в первой половине XIX столетия» (Пг., 1916); в «Сборнике Русского исторического общества» указанные тексты графа Фикельмона уже не успели появиться.

<sup>5</sup> Строганов Григорий Александрович, барон (1770–1857) – с 1826 граф, русский дипломат. В 1812–1816 посланник в Стокгольме, в 1816–1821 – в Константинополе. С октября 1827 член Государственного Совета.

<sup>6</sup> Тема сибирского старца Федора Кузьмича отличалась большим долгожительством в эмигрантской среде. Интересны воспоминания историка Н.Е.Андреева о диспуте в пражском Русском историческом обществе, состоявшемся в конце 1920-х, где затронуты главные моменты аргументации «живучей» исторической версии:

Русское Историческое общество устроило открытую дискуссию с вступительным докладом доцента Саханева и при участии в прениях таких знатоков, как Кизеветтер, Завадский и другие. Общая тенденция

и докладчика Саханева, и главных оппонентов сводилась к отсутствию доказательств того, что Федор Кузьмич был Александром I, и профессор Кизеветтер не без пафоса говорил, что Император Всероссийский не иголка, чтобы его могли потерять в стоге сена, и что все это легенда.

Профессор Завадский считал, что целый ряд доказательств тождества Федора Кузьмича и Александра I на самом деле – произвольно подобранный материал, который может укрепить точку зрения верующих, но не объективную истину. Было очень интересно, собралось много народу. Профессор Калитинский задал всего два вопроса; он сказал, что остается непонятным следующее: если это не Александр I, о чем как будто свидетельствует ряд косвенных доказательств, то кто этот таинственный Федор Кузьмич? Покуда нет ответа на этот вопрос, легенда будет оставаться.

Второй вопрос – почему, если в этом не было нужды, император Николай I немедленно после того, как он оказался неожиданно для себя на престоле, посвятил столько внимания обстоятельствам смерти Александра I? Почему целый ряд документов затребован был в Петербург? Почему были приняты странные меры предосторожности – чем это объясняется? <...> Затем третий момент: Кизеветтер думает, что тайна не могла быть соблюдаема многими людьми, но он, Калитинский, полагает, что как раз на таком высоком уровне и при такой преданности Императору, какая существовала тогда, подобные тайны могли удерживаться. <...>

Под его методологическим воздействием выступил Н.М.Беляев, который не согласился с анализом портретов и посмертных масок, данных Саханевым, и сказал, что, наоборот, по его мнению искусство, они подтверждают тождество портретов Александра I и Федора Кузьмича. Это произвело большое впечатление, и, кажется, устроители диспута были недовольны, потому что вдруг почувствовали себя, как всегда бывало при выступлениях Калитинского, немножко в воздухе.

(Андреев Н.Е. То, что вспоминается. В 2 т. Таллинн, 1996. Т.1. С.297-298)

<sup>7</sup> Личность не установлена.

<sup>8</sup> Киприан (в миру Керн Константин Эдуардович; 1899–1960) – архимандрит. С 1925 преподавал литургику и апологетику в Битоле, в 1928–1931 начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме, в 1936–1960 профессор Свято-Сергиевского Богословского института в Париже.

<sup>9</sup> Кассиан Катанский (в миру Безобразов Сергей Сергеевич; 1892–1965) – епископ; богослов, библиист, переводчик, деятель международного экуменического движения; автор лучшего русского перевода Нового Завета. С 1917 – приват-доцент Петроградского университета, сотрудник Петроградской Публичной библиотеки (1914–1920). В 1922 нелегально выехал за границу. В 1923–1925 преподавал в русско-сербской гимназии в Белграде. В 1925–1964 профессор, ректор (1947–1965) Свято-Сергиевского Богословского института в Париже.

## 16. П.А.Михайлов – В.А. и А.В. Флоровским

Париж

<Не позднее 1961><sup>1</sup>

Дорогие Валентина Афанасьевна и Антон Васильевич, спасибо, что вспомнили в этом новом году своего земляка по совместному сосуществованию в Одессе, не очень-то русском городе: многие стремились «освоить» его – и евреи, и украинцы, и кацапня проклятая (выходцем из этой «кацапни» был и Ваш покорный слуга), – в сущности, всем нам жилось привольно и легко (меньше всего посчастливилось евреям, но едва где им на широком раздолье все-русском жилось спокойно и безмятежно, но как искатели разных прибылей они никогда не унывали очень), а вот совсем недавно мне привелось прочесть, что нашу Одессу сопричислили наряду со Сталинградом (pardon, Волгоградом), Севастополем и др. к городам-мученикам!<sup>2</sup>

Пусть «мученик», это все же лучше, чем пошленькое наименование «Одесса-мама». Слава Богу, что пожалели еще старый, добрый русский язык и не «использовали» почтительного слова «матушка» (Москва-матушка, Волга-матушка)...

Продолжаю после невольного перерыва – перечитал написанное и диву дался, к чему это я расписался об Одессе, ведь я-то туда явился пришлецом, и не по собственному выбору, а по назначению министерства после моего двухгодичного лишения права проживания в унив<ерситетск>их городах (это за участие в московских студенч<еских> «беспорядках»)<sup>3</sup>, а ведь ваши родители были, так сказать, одесскими старожилками.

Многое изменилось и каждый год меняется в Париже, – но пьют и бражничают по-прежнему.

Репродукция знаменитой картины Manet могла бы быть много лучше<sup>4</sup>.

П.М.

(Л.88-90)

<sup>1</sup> Датируется по содержанию. Приношу искреннюю благодарность Р.Дэвису (Лидс, Англия) за дружескую помощь при датировке этого письма.

<sup>2</sup> Первыми «городами-героями» в приказе Верховного Главнокомандующего от 1 мая 1945 были названы Ленинград, Сталинград, Севастополь и Одесса. Сталинград переименован в Волгоград в 1961.

<sup>3</sup> 19 ноября 1896 постановлением исполняющего дела московского обер-полицмейстера полковника Д.Ф.Трепова студент Московского университета П.А.Михайлов был признан «вредным для общественного порядка и спокойствия» и заключен под стражу при Московской центральной пересыльной тюрьме (ЦИАМ. Ф.131. Оп.17. Д.93. Л.75). Из Московского университета уволен 22 марта 1897, хотя все экзамены весной 1897 были им сданы

на «отлично» (Там же. Ф.418. Оп.310. Д.612). В августе 1899 Михайлов просил о возвращении в университет, но ввиду запрета на жительство в Москве в течение двух лет ему было отказано. Жил в Воронеже. В июле 1900 получил извещение Министерства народного просвещения о разрешении продолжить обучение в Новороссийском университете.

<sup>4</sup> Письмо написано на двойной открытке с репродукцией картины Э.Мане «Au café concert» («Концерт в кафе»).

17. П.А.Михайлов – А.В.Флоровскому

Париж  
2 апреля 1962 г.

Дорогой Антон Васильевич.

Не успел я поблагодарить Вас за обрадовавшее меня письмо Ваше, как получилась сегодня открытка Ваша, за содержание которой сугубо признателен Вам. Порассудив, решил сообщить Вам, что меня лично не так интересуют *пражские издания* книг Д.С.Мережковского, как изданные еще до войны и в полных собраниях его сочинений (Маркса и Сытина) и отдельными книгами, а именно о Толстом и Достоевском (в 3-х томах и в одном томе) и о Гоголе («Гоголь и чорт» в сытинском издании, «Гоголь, жизнь и религия» в изд<ании> Маркса). Понадобился мне *Андрей Белый* и в русск<их> и в берлинских изданиях (проза и стихи) и даже забытый Игорь Северянин.

Конечно, разыскать все это нелегко, но, может быть (*su Majesté la chance*<sup>1</sup>), где-нибудь после кончины кого-нибудь из книголюбов кое-что и залежалось. Нужные деньги я сумею перевести на имя Тани с ведома здешн<его> Чешского консульства.

Смог бы, вероятно, в порядке товарообмена переслать париж<ские> издания на францужск<ом> языке (научного характера).

Очень волнительны для нервных людей нынешние парижские дни и ночи<sup>2</sup>, но люди приживчивы, свыкаются и с передрыгами. А с моими припадочками (*tachycardie*) отвыкаешь от того, что вне тебя самого. «Не до жиру – быть бы живу». Кому как не вам с Валентиной Афанасьевной понять человека, окончательно перешедшего на «житие».

Что могу сказать в смягчение суровых отзывов провинившегося перед чистыми сердцем и плотью людьми друга моего И.А.Бунина. Изумительное словесное мастерство его умещалось в нем с сильнейшей (иногда до необузданности) чувственностью. Не раз он говорил мне, что две темы суть важнейшие – это Любовь и Смерть. Вы, наверное, хорошо знали и ценили за нравственную чистоту Петра Бицилли – я читал письмо его к Ив<ану> А<лексееви>чу, присланное им по прочтении им «Темных аллей», – письмо, можно сказать, восторженное, с таким неожиданным для меня утверждением,

что только русскому гению можно было так правдиво изобразить запретное по чувству стыдливости для других (за точность выражений не ручаюсь)<sup>3</sup>. Бунин, показывая мне письмо, пробурчал: «Конечно, я писал не для институток».

P.S. Признаюсь, я любил Бунина («au naturel»), по русской пословице – полюби нас черненькими, а беленькими нас всяк полюбит.

Не приходилось ли вам читать предисловие нашего современника Паустовского к «однотомнику» «Бунин»<sup>3</sup>, изд<анному> в 1961 году.

Простите за «бисерный» почерк и за рацеи о Бунине. Шлю вам обоим по-дружески свой душевный привет

П.Михайлов

(Л.82-82об.)

<sup>1</sup> Благодаря случаю (*франц.*).

<sup>2</sup> В марте 1962 проходили переговоры между Францией и Временным правительством Алжира в Эвиане о прекращении военных действий в Алжире. 18 марта были подписаны соглашения о прекращении военных действий, которые предусматривали полный суверенитет Алжира после провозглашения его независимости. Франция обязывалась в течение трех лет эвакуировать из Алжира свои вооруженные силы. Эвианские соглашения получили одобрение 90% населения Франции во время всенародного референдума, проведенного 8 апреля.

<sup>3</sup> См. свидетельство К.В.Флоровской о выступлении П.М.Бицилли на торжествах в Софии по случаю получения И.А.Буниним Нобелевской премии. Не являясь поклонницей таланта писателя, она писала 10 декабря 1933: «Выступал Бицилли с характеристикой творчества Бунина (неудачной, потому что он, во-первых, сначала вдался в мелочи чисто формального характера, а затем, провозгласив, что Бунин – романтик, стал обосновывать это положение сравнением не с другими писателями-романтиками, а с композиторами, именно с Шуманом, – что для широкой публики совершенно не годится)» (АРАН. Ф.1609. Оп.2. Д.458. Л.226об).

<sup>4</sup> *Бунин И.А.* Повести. Рассказы. Воспоминания. М.: Московский рабочий, 1961. Вступительная статья написана К.Г.Паустовским.

18. А.В.Флоровский – П.А.Михайлову

Прага

15 апреля 1962 г.

Дорогой Павел Александрович.

Пишу на машинке, так как как раз после разговора в библиотеке по излагаемому ниже делу я оступился на лестнице и повредил себе правую руку – теперь она в гипсе и недели на три выведена из строя.

А дело обстоит так: Славянская библиотека располагает богатым дубликатным фондом – тысяч тридцать книг. Но нет каталога и никто путем не знает, что там имеется. Старые служащие – русские,

которые эти книги собирали, все в отставке, а новые чехи ничего не знают и не понимают. Но директор библиотеки мне обещал поставить кого-либо на эту работу по разбору дубликатов с тем, чтобы книги Мережковского, Гиппиус, И.Северянина и др. выделить в первую голову. Почти уверен, что там должно быть что-либо подобное. Но придется потерпеть, штаты в библиотеке ограничены. С антиквариатом у нас вообще очень худо. Единственный русский антиквариат Подымова после 1948 г. был ликвидирован, русская книга – не советская, в продажу не пошла. Может быть, у кого-либо из книголюбов и имеется еще что-нибудь, но где они? На всякий случай буду заглядывать в казенный антиквариат, там случайно попадаются и русские книги, но единицами. У Вас в Париже в этом смысле, я думаю, много лучше, традиция старой русской книги не прервана, а на набережную Сены попадает всякое!

Как раз теперь читаем московское издание Бунина в одном томе, он-то и вдохновил Вал<ентину> Аф<анасьевну> на ее выпад против писателя. Но мастер он, конечно, изумительный и умеет все преподнести в самой изящной оболочке блистательных слов и образов. У Вас, должно быть, немало впечатлений от общения с Буниным? Почему бы не записать это и не сохранить для «потомства»? Насколько помню из моск<овского> сборника – вдова передала архив Бунина в Россию<sup>1</sup>? Но за границей должно быть много его писем, надо бы подобрать их и подготовить для издания. Мне лично с И<ваном> А<лексеевичем> общаться не привелось, но фамилию мою он должен был знать. Вы, может быть, и не знали, что мой старший покойный брат-медик<sup>2</sup> был одно время весьма увлечен Анной Николаевной Буниной<sup>3</sup>, кажется, это было в 1907 г., хотел было жениться, но, как потом он сам передавал, Иван Ал<ексеевич> на развод тогда не соглашался. Я не помню хронологии событий, но у брата это была некоторая трагедия!

Я совсем отстал от теперешней парижской русской книжной жизни. Не знаю, например, возродилось ли после войны Общество друзей русской книги? Я знаю три его «Временника», четвертый сюда не дошел, а там есть для меня особенно интересные статьи о Петре Великом<sup>4</sup> и об иезуитской славянской библиотеке в Париже<sup>5</sup>.

Тут у меня года два назад был сам директор этой замечательной библиотеки аббе де Журнель. Очень живой старичок. Я ведь посвятил деятельности иезуитов в России при Петре Великом огромный том, увы – по-чешски, на основании большого архивного материала, по преимуществу римского и частью венского<sup>6</sup>. А сейчас поглощен петровской дипломатией – хочу все же кончить эту большую книгу и, может быть, дожждаться и ее издания<sup>7</sup>. Это будет финал моей упорной и настойчивой книжной работы. Пора кончать!



С пожеланием всего наилучшего заранее уже возглашаю: Христос Воскресе!

Ваш

<А.Флоровский>

(Д.62. Л.22-23)

<sup>1</sup> О судьбе архива И.А.Бунина см: Бунинские материалы в архивах Советского Союза // Литературное наследство. Т.84: Иван Бунин. Кн.2. С.447-514. См. также: *Heywood A.J. Catalogue of the Bunin, Bunina, Zurov and Lopatina Collections* / Edited by Richard D. Davies, with the assistance of Daniel Riniker. Leeds: Leeds University Press, 2000.

<sup>2</sup> Флоровский Василий Васильевич (1881–1924) – медик, старший сын в семье Флоровских – брат Клавдии Васильевны, Антония Васильевича и Георгия Васильевича. Во время Первой мировой войны главный врач Особой армии Южного фронта. Единственный из семьи остался в России, заболел туберкулезом и умер в Одессе.

<sup>3</sup> Бунина Анна Николаевна (урожд. Цакни, во втором браке Дерibas; 1880–1963) – первая жена И.А.Бунина. Только после 15 лет совместной жизни с В.Н.Буниной (урожд. Муромцевой; 1881–1961), решив совершить с ней обряд венчания, И.А.Бунин оформил развод с Анной Николаевной. Бракоразводное свидетельство было выдано ему в Париже в июне 1922 Епархиальным управлением русскими православными церквями в Западной Европе (см.: Устами Буниных: Дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны и другие архивные материалы / Под ред. М.Грин. В 3 т. Frankfurt am Main, 1977–1982. Т.2. С.88-89).

<sup>4</sup> Имеются в виду статьи: *Порше Ж.* Петр I и Парижская королевская библиотека // *Временник Общества русской книги.* 1938. Т.4. С.43-60; *Унбегаун Б.* Труд Захарии Орфелина о Петре Великом и его петербургское издание // Там же. С.209-222; *Апостол П.* Книги о пребывании Петра Великого в Спа // Там же. С.267-276.

<sup>5</sup> Судя по всему, А.В.Флоровский имеет в виду старую статью: *Полонский Я.Б.* Книгохранилище русских иезуитов в Париже // *Временник Общества русской книги.* 1928. Т.2. С.65-73.

<sup>6</sup> См.: *Češti jesuité na Rusi. Jesuité české provincie a slovanský Východ.* Praha, 1941.

<sup>7</sup> Монография А.В.Флоровского «От Полтавы до Прута» (Прага, 1971) осталась незаконченной и была опубликована только после смерти ученого.

19. П.А.Михайлов – А.В. и В.А. Флоровским

8, rue Alfred Bruneau, Paris XVI  
Вторник, 12 июня 1962 г.

Дорогие Антон Васильевич и Валентина Афанасьевна, не буду искать давно начатого ответного письма моего вам, начну сначала: что сказать о себе, почти что нечего. Продолжаю хиреть и

стариться – пора! Слабость одолевает: мало выхожу, редко кого вижу и все чаще и чаще пользуюсь своим диваном... Поздно ждать улучшения сил – они на исходе. Ну, довольно о печалях и вздыханьях.

Как ни плохи сейчас дела страны, давшей нам приют, слезу с неослабевающим интересом за всем ходом событий и внутренних и внешних и не теряю веры-упования на возможность даже в ближайшем времени восстановления согласия с ближними и «дальними» соседями...

По-прежнему вожусь со всякой стариной – художественной в широком смысле преимущественно. Имели ли Вы, дорогой Антон Васильевич, какие-либо сообщения от дирекции Национальной библиотеки, обещавшей Вам заняться розыском дублетов на русском языке?

Еще хочу спросить Вас, могли ли бы интересоваться вдову проф. Ляцкого<sup>1</sup> имеющиеся у меня 2 манускрипта покойного: один из них особенно интересен, озаглавлен «О русской демократии» (другой о М.Горьком). Могу ли я лично (письмом, конечно) обратиться к ней? Если да, то сообщите мне адрес ее и как зовут ее, если она чешка, то поймет ли она письмо, написанное по-русски?

Таня Бобровская недавно вернулась в Прагу: гостила у старшей дочери. Я просил ее передать Вам мой привет. Русские парижане редуют, русское кладбище пополнилось новыми могилами: из своих знакомых более-менее близких назову Серг<ея> Конст<антиновича> Маковского<sup>2</sup> (знакомы ли вам две книги, выпущенные им в последние годы: «Портреты современников», «На Парнасе Серебряного века»<sup>3</sup>). Молодым еще ушел из жизни Раевский<sup>4</sup>, прекрасный человек, работавший в Византийск<ком> институте. Очень плох сейчас Вл<адимир> Ив<анович> Поль<sup>5</sup> – музыкальный деятель, был женат на покойной певице А.М.Ян-Рубан (Петрункевич).

Буду очень обрадован добрыми вестями от вас. Как подвигаются Ваши изыскания о Петре? Как чувствует себя Валентина Афанасьевна? Пошлю Вам фотокопию с хранящейся у меня акварели одесск<ого> художника Бассоли (30-е гг.), изображающей Соборную площадь, какой она была при посещении Николаем I Одессы, прибывшим туда с семьей из Воскресенска, где происходил тогда смотр кавалерий Южной армии. Было это в 1837 году: в Одессе происходили тогда торжества открытия Карантина (в порту и вдоль обрыва, что шел от крепостных сооружений по направлению к Маразлиевской ул<ице>). У меня три вида (акварели того же Бассоли) этого сооружения. Все эти акварели были бы достойны музея Старой Одессы. Есть ли таковой? Когда-то о нем думали братья Де Рибас – А<лександр>др Мих<айлович> и его брат, что заведовал Публичной Библиотекой, не помню его имени, но помню *его* книгу о событиях в

жизни Одессы, в том числе и об открытии Карантина. Знаете ли Вы эту книгу? В ней сводка сообщений разных лиц. Помню, видел не то в Библиотеке, а может быть, в старом нашем Музее фарфоровое блюдо с изображением плана Одессы. Блюдо было пожертвовано нашим Дюком<sup>6</sup>. Но как войти в сношения и с кем или с чем (учреждение)?.. Имеет ли УССР свои особые консульства и есть ли при них или при посольствах агенты для культурной связи? Уцелели у меня и некоторые документы, приобретенные у m-me Курис. С нею и с ее дочерью, <нягин>ей Кудашевой, встречался потом здесь в Париже.

В Париже функционирует, и с большим успехом, Одесское землячество, в правлении которого долгое время состоял и я. Основателем этого (чуть ли не единственного сейчас землячества) был, как, может быть, это известно Вам, неутомимый Серг<ей> Фед<орович> Штерн. Очень богатое з<емлячест>во одесситов в Нью-Йорке, но в его правлении нет ни единого «гоя» – даже шабестоя<sup>7</sup>.

На этом и прикончу сейчас свое писание.

Душевно вам обоим преданный

Пав. Михайлов

P.S. О прошлогодней болезни жены, длившейся 8 месяцев, я писал Вам. Сейчас она здоровее меня.

---

Перечитал свою глупенькую болтовню об Одессе и чуть было не уничтожил ее... Прошло много дней с тех пор, как я начал свое письмо Вам – свой запоздалый ответ на Ваш новогодний привет. От Тани вы знаете, как тяжел был для меня весь 61-й год, – неизлечимая, давняя болезнь жены и все усиливающиеся мои сердечные недомогания. В последнее время к прежним сердцебиениям (tachycardie) прибавилась грудная жаба. Врачи утешают, что будто она не настоящая, но пережить, то есть перестрадать первый припадок я не могу, не страшась его повторения. Вот сейчас (уже неделю) не выхожу из дома: усилилось сердцебиение... Вот и я стал хроническим больным – улучшения не будет. В панике решил было ликвидировать квартиру со всем содержимым и искать покоя в русском Maison de retraite<sup>8</sup>; но, проверив со всех сторон последствия (психические) такого заключения в одну комнату, решил продлить свое существование на свободе, пока не исчерпаются все возможности. Два лучших «maisons de retraite» для русских (созданы на междунар<одные> деньги JRO<sup>9</sup>) много лучше и «либеральнее» французских, но и они по составу живущих в них и по духу существования в этих усовершенствованных богадельнях («vestibules de la mort»<sup>10</sup>) – не для моей и в старости юной натуры. Попадающие туда в большинстве скоро там чахнут, дряхнут и впадают в мрачную психопатию. Думаю (зная себя), что и для жены – от русской среды сильно отвы-

кшей, – то есть для обоих нас, мое решение (временное, конечно) пока что правильное. Наверное, и вы рассудили бы так же.

И еще скажу: нелегко оторваться от Парижа – хотя мало теперь пользуюсь бесчисленными благами многоликого центра. Из общественных связей одной всего остаюсь верен – это правление Академической группы (сильно обмелевшей и сократившейся...).

Скажите мне, есть ли возможность выписать (получить) из Праги что-либо из книг на русск<ом> языке, изданных там в прежние времена (изд<ательством> «Пламя», где хозяйничал пр<офессор> Ляцкий). Говорю и о новых книгах, и подержанных. Были ли переизданы в Праге соч<инения> Мережковского о Толстом и Достоевском? Есть ли что о З.Н.Гиппиус? У Ляцкого должен был быть интересный архив? От<ец> Михаил Васнецов передал сюда в YMCA сотню экз<емпляров> своей работы об отце своем<sup>11</sup>. Об этом я начал здесь переговоры.

Напишите побольше о себе.

Душевно преданный вам

П.Михайлов

(Л.84-87 об.)

<sup>1</sup> Ляцкий Евгений Александрович (1868–1942) – этнограф, фольклорист, историк литературы. В конце 1917 уехал в Финляндию и после ее отделения от России не вернулся. С 1922 жил в Праге, являлся профессором кафедры русского языка и литературы Карлова университета. Его вдова – Видосава Павловна Ляцкая (урожд. Зелена; Zelena Vidosava; 1913–1991) – сербский филолог-славист, известная переводчица на сербохорватский. См. также о Ляцком вступит. статью к публ. А.Лаврова и Ф.Полякова на с.641 наст. изд.

<sup>2</sup> Маковский Сергей Константинович (1877–1962) – художественный и литературный критик, поэт, издатель. С 1920 – в Праге, затем в Берлине; с 1926 жил в Париже, являясь в 1926–1932 членом редакции, секретарем и руководителем литературно-художественного отдела газеты «Возрождение».

<sup>3</sup> Мемуарные книги С.К.Маковского изданы соответственно в Нью-Йорке (1955) и Мюнхене (1962).

<sup>4</sup> Раевский Владимир Николаевич (1899–1982) – византист.

<sup>5</sup> Поль Владимир Иванович (1875–1962) – пианист, композитор, педагог, художник; муж камерной певицы Анны Михайловны Петрункевич (более известной под сценическим псевдонимом Ян-Рубан). В 1922 вместе с женой эмигрировал в Константинополь, затем жил в Париже. Директор Русской консерватории им. С.Рахманинова в Париже, где А.М.Ян-Рубан преподавала по классу вокала.

<sup>6</sup> Ришелье Арман Эмманюэль дю Плесси, герцог (на русской службе Эммануил Осипович; 1766–1822). Эмигрировал в Россию во время Великой французской революции. В 1805–1814 генерал-губернатор Новороссии, со-

действовал хозяйственному освоению края и развитию Одессы. С 1814 – во Франции, министр правительства Людовика XVIII.

<sup>7</sup> Так называли людей не иудейского вероисповедания, которых правоверные евреи, не имеющие права ничего делать в шаббат, нанимали для выполнения необходимых домашних работ и мелких поручений в этот день.

<sup>8</sup> Пансион для пожилых людей (*франц.*).

<sup>9</sup> International Refugee Organization of the United Nations – международная организация ООН по делам беженцев.

<sup>10</sup> Преддверие смерти (*франц.*).

<sup>11</sup> Речь идет о книге: *Vasnetsov M.V. Russkii khudozhnik Viktor Mikhailovich Vasnetsov.* <Б/м>, 1948. Ее автор – сын художника, математик и астроном, сотрудник обсерватории Новороссийского университета до 1916, Михаил Викторович Васнецов (1884–1972). С 1920 – в эмиграции в Праге, в 1933 рукоположен в священники; настоятель церкви св. Николая на ул. Рузвельтовой, 29 в Праге. О нем см.: *Даувальдер В.Ф.* Михаил Викторович Васнецов // Наше наследие. 1991. №4. С.19-26.

Борис Фрезинский  
**ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ И МАРК ШАГАЛ**

Очерк взаимоотношений  
(Письма и комментарии)

«Годы Вы были рядом со мной в Париже, теперь я люблю Вас как часть моей жизни», – написал в 1946 Шагал Эренбургу. За этими словами многое стоит, и дело тут вовсе не в обычной вежливости художника.

Знакомство писателя Ильи Григорьевича Эренбурга (1891–1967) и художника Марка Захаровича Шагала (1887–1985) состоялось в Париже в начале 1910-х и продолжалось более полувека; в последние десятилетия оно обрело несомненные черты дружбы.

Эренбург, приехавший в Париж в декабре 1908 как политэмигрант, через год порвал всякие связи с русской большевистской колонией, чтобы заняться только литературой (в 1910 в Париже вышла его первая книга «Стихи»). Вскоре он становится навсегда ныне легендарных монпарнасских кафе, которые облюбовала литературно-художественная богема, и в частности русские художники. вспоминая их, Эренбург написал о Шагале:

Мне он казался самым русским из всех художников, которых я тогда встретил в Париже: Архипенко был одержим кубизмом, Цадкин походил на англичанина, Сутин молчал, глядел на все глазами испуганного подростка, Ларионов проповедовал «лужизм», а молодой Шагал повторял: «У нас дома»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Эренбург И. Люди, годы, жизнь: В 3 т. М., 1990. Т.3. С.370. Далее – ЛГЖ, с указанием тома.

Самого же Эренбурга в Париже 1910-х иностранные художники интересовали, пожалуй, больше, чем русские. Примерно в 1912 он познакомился и подружился с Пикассо, Леже, Модильяни, с поэтами Аполлинером, Жакобом, Сандраром, Сальмоном – но этот же круг в ту пору был и кругом знакомых Шагала. В «Ля рюш», где Шагал снимал мастерскую, в 1913 проводились вечера русской Академии<sup>2</sup>, которые посещали художники и поэты. Эренбург был постоянным участником этих вечеров, но Шагал, скорее всего, их не посещал<sup>3</sup>.

Эренбург приехал в Париж с предельно скромным представлением о современных пластических искусствах («О живописи я не имел никакого представления, – признается он в мемуарах, – в моей московской комнате на стене висели открытки “Какой простор!” и “Остров мертвых”<sup>4</sup>. Я думал, что картины должны быть со сложным сюжетом, а здесь художники изображали дом, дерево, того хуже – яблоки»<sup>5</sup>). Не удивительно, что кубизм сначала его ошеломил, затем увлек. Характерно, что, вспоминая мощное влияние кубизма на тогдашнюю живопись, Эренбург заметит, что «даже Шагал, этот поэт местечек Белоруссии, много взявший у маляров, расписывавших вывески парикмахерских или фруктовых лавчонок, на короткий срок заколебался»<sup>6</sup>.

С кубизмом Эренбург предпочитал знакомиться не из вторых, а из первых рук – в мастерских Брака, Пикассо, Риверы, Леже<sup>7</sup>. Поэзия же еврейских местечек, столь дорогая сердцу Шагала и столь существенная для всего его творчества, была неизвестна Эренбургу, родившемуся в Киеве и с детства жившему в Москве, и сама по себе не могла привлечь его внимания к работам Шагала, но со временем она, конечно, открылась ему именно через шагаловскую живопись. Правда, существенным было еще и чтение хасидских легенд в немецком переложении

<sup>2</sup> В 1913 русская Академия выпускала в Париже журнал «Гелиос» (вышло 2 номера). Эренбург вел в нем литературный раздел. Художественная программа журнала была достаточно эклектичной: популяризировались уже признанные зарубежные художники и скульпторы, помещалась информация о российских новостях в области искусства. Имя Шагала в журнале не упоминалось, при том что там были репродуцированы две работы О.Цадкина, тогдашнего приятеля Эренбурга; не оставлял своим вниманием журнал и работы Пикассо и Матисса.

<sup>3</sup> Шагал не упоминает этих вечеров в книге «Моя жизнь»; не называет имени Шагала среди посетителей вечеров и Е.Полонская в воспоминаниях «Русская Академия» (Нева. 1987. №4).

<sup>4</sup> Репродукции с картин И.Е.Репина и А.Бёклина.

<sup>5</sup> ЛГЖ-1. С.102.

<sup>6</sup> Там же. С.184.

<sup>7</sup> Отметим, что в собственных графических эскизах (несколько его работ 1913–1915 годов сохранились) Эренбург шел скорее от лубка и иконописи, нежели от кубистического моделирования.

нии Мартина Бубера (Эренбург очень увлекся ими осенью 1915), а хасидизм вообще был, как известно, важен для Шагала.

Все это отразилось во впечатлениях от поездок Эренбурга в 1926 в Белоруссию и в 1927 в Польшу. («Маленькие деревянные домишки, косые заборы, паршивая собака, которая всю жизнь только и знает, что чесаться, ушастый мальчик, снег, ведра, тоска, словом – одна из картин Шагала», – так описывал Эренбург еврейские задворки Польши в очерках «Визы времени»<sup>8</sup>). И несравненный «Лазик»<sup>9</sup>, написанный после этих поездок (Париж, 1928), что и говорить, заслуживал шагаловских иллюстраций, но что не случилось – то не случилось; неизвестно даже, прочел ли Шагал эту веселую и вместе с тем глубоко печальную книгу.

Географически пути Эренбурга и Шагала в 1910–1940-е за малым исключением совпадали (Шагал: Париж 1910–1914, Россия 1914–1922, Берлин 1922–1923, Париж 1923–1940; Эренбург: Париж 1910–1917, Россия 1917–1921, Берлин 1921–1923, Париж 1924–1940), что, конечно, способствовало общению, но не гарантировало его, – так, период 1920–1923 (Москва – Берлин) оказался временем наименьшего интереса Эренбурга к Шагалу.

Если в Москве 1918 года Эренбург по мотивам сугубо политическим издевался над революционным левым искусством, а в Киеве лихого 1919 года в тамошних кофейнях забавлял своих молоденьких спутниц-студиек парижскими байками, в которых мелькали имена Пикассо (известного всем ученицам Экстер), Модильяни, Сутина и Шагала<sup>10</sup>, то в Москве 1921 года после всего пережитого за кровавую чересполосицу Гражданской войны Эренбург проникся новой художественной верой – конструктивизмом<sup>11</sup>.

Законченным выражением новой эстетической программы Эренбурга стала книга «А все-таки она вертится», написанная в Бельгии и изданная в Берлине в конце 1921 (оформление Леже). А в Москве Эренбург служил в Театральном отделе Наркомпроса, дружил с Мейерхольдом, Таировым и Дуровым, посещал ставшие легендарными театральные спектакли и наверняка был знаком с шагаловскими работами в театре Грановского. Однако сердце его уже было от-

<sup>8</sup> Эренбург И.Г. Собр. соч.: В 8 т. М., 1991. Т.4. С.137.

<sup>9</sup> Роман Эренбурга «Бурная жизнь Лазика Ройтшванца», изданный порусски в Париже и в Берлине в 1928, был в течение 60 лет строжайше запрещен в СССР.

<sup>10</sup> См.: Минувшее: Исторический альманах. Вып.17. СПб., 1994. С.131.

<sup>11</sup> Разумеется, смена вех эстетических облеглача ему смену вех политических и осуществлялась одновременно: переход от яростной антибольшевистской публицистики к лояльному восприятию советского режима пока еще без его апологетики (на следующий шаг ушло более 10 лет).



дано новациям Татлина, Малевича, Поповой, Лисицкого<sup>12</sup>. В Берлине в 1922 вместе с Лисицким Эренбург издавал журнал «Вещь»<sup>13</sup>, ставший трибуной мирового авангарда и мостом, связывавшим левых художников Запада и Советской России. Места Шагалу в «Вещи», как и в книге «А все-таки она вертится», не нашлось – его имя ни разу не встречается ни на страницах вышедших номеров, ни в анонсах готовившихся. В ту пору ясная логика и геометрическая стерильность искусства Лисицкого представлялись Эренбургу олицетворением будущего. Лисицкий был его идейным сподвижником, иллюстратором его прозы («Шесть повестей о легких концах», изданные берлинским «Геликоном»), да и попросту приятелем по части веселых походов (если судить по сохранившимся в архиве М.М.Шкапской фотографиям).

Однако пылкое увлечение конструктивизмом, дизайном, «искусством вещи» оказалось для Эренбурга недолговечным, и уже в 1925 определяется очередная «смена вех», закреплённая в статье «Романтизм наших дней»<sup>14</sup>, с ее гимнами Бабелю и Пастернаку, с возвращением к Гоголю (заметим, что незадолго до того Шагал выполнил свою знаменитую серию офортов к «Мертвым душам»). С тех пор эстетические разногласия между Эренбургом и Шагалом исчезают, и «литературность» работ художника больше не воспринимается писателем как недостаток шагаловской живописи, но исключительно как проявление ее природы. Говоря о Париже 1920-х, перечисляя свои встречи в кафе Монпарнаса, Эренбург назовет в избранном ряду и Марка Захаровича: «Иногда я видел Шагала; он писал теперь не витебских евреев, летающих над крышами, а голых красавиц верхом на петухах, с Эйфелевой башней или без»<sup>15</sup>.

Пожалуй, здесь к месту будет отметить и еще один, чисто биографический сюжет, так или иначе служивший неким дополнительным мостиком между Эренбургом и Шагалом в ту парижскую пору. Это дружба их дочерей, Ирины Эренбург (1911–1997) и Иды Шагал (1916–1994)<sup>16</sup>. Возрастная разница в пять лет в юные годы весома,

<sup>12</sup> Заметим, что Малевич и Лисицкий были яростными антагонистами фигуративного искусства Шагала в Витебске 1919 года и фактически выжили Шагала из его родного города.

<sup>13</sup> Вышли три номера (№1-2 был сдвоенным); об издательской судьбе этого журнала см.: *Фрезинский Б.Я.* Эренбург. «Вещь». Маяковский // Вопросы литературы. 1992. Вып.3. С.299-311.

<sup>14</sup> «Культ вещи узнал отступников», – иронизировал в свой адрес Эренбург в этой статье. См.: *Эренбург И.Г.* Собр. соч. Т.4. С.543.

<sup>15</sup> ЛГЖ-1. С.486.

<sup>16</sup> Здесь используются записанные автором в 1971–1997 устные воспоминания И.И.Эренбург; среди них есть и такая существенная для нашего сюжета запись: «Шагал знал, что из всех художников XX века Эренбург более всего

но маленькая Ида любила круг более взрослых друзей, и они часто собирались в гостеприимном доме ее родителей.

Кроме Ирины Эренбург это были сестры Наташа и Катя Столяровы, Лев Савинков, сын легендарного террориста, учившийся в эльзасской школе вместе с Ириной, Люба Вольфензон, отец которой служил в советском торгпредстве, несколько детей русских эмигрантов, более или менее просоветски настроенных. Говорили только по-русски; по воскресеньям посещали Клуб самообразования<sup>17</sup>, для которого снимали комнату на бульваре Сен-Мишель; выпускали гектографированный журнал и распространяли его среди родителей; делали доклады (было и несколько докладов о романе Эренбурга «Хулио Хуренито»). Главной целью для всех было возвращение на родину. Когда ребята собирались у Иды дома, в Пасси, старшие Шагалы уходили, чтобы им не мешать, неизменно оповещая: «Вся еда в вашем распоряжении». Молодые люди слушали пластинки, танцевали. К Иде относились с некоторым пренебрежением: болтается под ногами, но дом ее, понятно, ценили. Живописью Шагала не интересовались, просто знали, что он знаменитый художник. (Ирина Ильинична как-то сказала мне, что Ида и сама была чудесным художником – работы ее сохранились у ее дочери Мерет, – но относилась к своей «продукции» легкомысленно.) Когда в 1966, после 30-летнего перерыва, Ирина Ильинична смогла приехать в Париж, они встретились с Идой как близкие друзья, и с тех пор, регулярно наезжая в Париж, она неизменно жила в доме подруги детства на улице Дофин. Об их взаимоотношениях лучше всего скажут строки из письма Иды Шагал:

Я очень одинока. Ты уехала, и я почувствовала себя одной. Следующий раз поживи подольше. Каждый раз, когда я тебя вижу, я тебя люблю все больше и больше. Твоя застенчивость, твоя дисциплинированность и в то же время твое поведение дамы, твое понимание живописи, твоя чувствительность и т. д. – ты единственное существо, которое может мне облегчить жизнь. Я обречена на молчание. Под моими окнами – серо и холодно, дождь. Мне нужна твоя дружба и твое присутствие<sup>18</sup>.

Шагал знал об этой дружбе<sup>19</sup>.

---

любил и ценил Пикассо (хотя не все у него принимал), и это вызывало у Шагала постоянную ревность – да, он ревновал Илью к Пикассо».

<sup>17</sup> Это описано в книге «Лотарингская школа», которую дочь Эренбурга опубликовала в Москве в 1934 под псевдонимом И.Эрбург.

<sup>18</sup> Собрание автора. (Перевод с франц.)

<sup>19</sup> Получив от Ирины Эренбург поздравление с девяностолетием, он ответил ей: «30.7.1977. Милая Ирина, сердечное спасибо Вам за теплое поздравление ко дню моего рождения. Шлю Вам мой искренний привет и лучшие пожелания. Марк Шагал». Через 5 лет Шагал подарил Ирине Эренбург свой альбом, выпу-

Но вернемся в довоенные времена. В середине 1930-х деятельность Эренбурга, писателя и журналиста, стремившегося к неофициальному статусу полпреда СССР по культуре на Западе и фактически ставшего им, приняла вполне ангажированные формы (организация Парижского конгресса писателей против войны и фашизма в 1935 и Мадридского в 1937, работа в международной Ассоциации писателей в защиту культуры, многочисленные издательские проекты и т. д.). А Шагал оставался все тем же, и на его полотне «Революция», которое художник писал в 1930–1937<sup>20</sup>, революционные массы и стоящий на руках Ленин соседствовали с обычными для шагаловской живописи персонажами: влюбленными, животными, музыкантами. Что и говорить, «Герника» Пикассо куда сильнее соответствовала настрою Эренбурга, но в 1940, когда война неотвратимо охватила Европу, в Париже одинаково не оказалось места ни Эренбургу, использованному Москвой и теперь ей не нужному, ни Шагалу, никогда не знавшему, что такое ангажированность...

#### Москва – Нью-Йорк – Париж (1945–1946)

В эти годы взаимоотношения Эренбурга и Шагала обрели новый характер; определила его Вторая мировая война.

В годы войны Эренбург – писатель, чьи книги и прежде издавались во многих странах, – стал едва ли не самым популярным, самым влиятельным публицистом не только СССР, но и всей антигитлеровской коалиции. Его яростные антифашистские статьи, переведившиеся на многие языки, передавались по радио, печатались в самых массовых газетах, распространялись нелегально. Помимо перепечаток из советской прессы это были и статьи, специально написанные для зарубежных информагентств. Беженцы из Европы, обосновавшиеся во время войны в США и Латинской Америке, читали статьи Эренбурга с особым настроением, находя в них не только информацию с главного театра военных действий, но и утешение, надежду на прочность победы, недвусмысленно выраженную мысль о неотвратимой ответственности нацистской Германии за преступления против человечества.

Трагедия Холокоста, катастрофа, обрушившаяся на еврейский народ, породила в мире волну глубокого сочувствия и, как следствие

---

щенный в Стокгольме, сделав на нем рисунок фломастером и написав: «На добрую память Ирине Эренбург. 1982. St. Paul de Vence».

<sup>20</sup> См. послесловие Н.Апачинской к книге М.Шагала «Моя жизнь» (М., 1994. С.190-191).

ее, широкий интерес к еврейской культуре. После войны творчество Шагала получило всемирный резонанс, при том что его репутация как одного из самых оригинальных художников XX века, великого мастера, вполне сложилась еще в предвоенную пору. В этом смысле перемена, произошедшая с Эренбургом, была куда более разительной; его давние парижские знакомые отнеслись к этому по-разному<sup>21</sup>. О новом отношении Марка Шагала можно судить по его посланию, отправленному из Нью-Йорка в 1945. Однако оно нуждается в предварительном комментарии.

Беспрецедентная слава Эренбурга-публициста убедительно отражена в его гигантской почте военных лет. Тут и послание вице-президента США, и письма полуграмотных советских бойцов, телеграммы и письма Юлиана Тувима и Эрнеста Хемингуэя, высказывания Дж. Пристли, информация об угрозах в адрес писателя Гитлера и Геббельса.

Письмо Марка Шагала, пришедшее из Нью-Йорка, может показаться очередным выражением читательской благодарности. Художник, так остро переживавший гибель своих соотечественников, следил за ходом военных действий в России, гордился ее победами и, конечно же, внимательно читал блистательные статьи Эренбурга. Все это он и выразил в своем письме писателю. Однако это письмо приобретает особое значение, если принять во внимание его дату.

К началу апреля 1945 популярность и авторитет Ильи Эренбурга на фронте и в тылу достигли невысказанных в сталинском государстве масштабов<sup>22</sup>. Ясно, что эта популярность не могла не раздражать диктатора. И тут весьма кстати к нему поступил донос начальника СМЕРШа и будущего министра госбезопасности Абакумова<sup>23</sup>. В доносе сообщалось, что, вернувшись из поездки в занятую Красной армией Восточную Пруссию, писатель И.Эренбург в своих устных

---

<sup>21</sup> Характерно бытовое свидетельство, относящееся к 1946, поэтессы Ирины Одоевцевой, достаточно враждебной к Эренбургу: «Как он изменился! Просто до неузнаваемости. Прежде он производил невыгодное впечатление... Теперь у него вид “недорезанного буржуа”, барственная осанка и орлиный взгляд. Одет он тоже не в пример прежнему, добротно, солидно и не без эlegantности» (*Одоевцева И. На берегах Сены. М., 1989. С.197*).

<sup>22</sup> Украинский писатель Савва Головановский рассказывал, как вскоре после войны присутствовал в московском ЦДЛ на выступлении академика И.М.Майского, советского посла в Лондоне, сказавшего, что в годы войны в стране было только два человека, сравнимых по силе своего влияния на общество, – это Илья Эренбург и... тут Майский, приготовившийся назвать второе имя, внезапно оцепенел, с ужасом осознав, что будет для него означать произнесение в этом контексте имени Сталина (Машинопись. Собрание автора).

<sup>23</sup> См. об этом: *Решин Л. «Товарищ Эренбург упрощает»*. Подлинная история знаменитой статьи «Правды» // *Новое время. 1994. №8.*

выступлениях в Москве критикует руководство армии за ее психологическую неподготовленность к действиям на территории врага, за мародерство и насилия, разбой, пьянство и т. д. Выступления Эренбурга, с подачи сексотов, квалифицировались Абакумовым как «клевета на Красную армию». Сталин, надо думать, был достаточно информирован, чтобы знать, что Эренбург говорил правду, но он – достойный ученик Макиавелли – распорядился напечатать в советских газетах статью (ее назвали «Товарищ Эренбург упрощает»), полную нападок на писателя. Она была напечатана 14 апреля 1945, и с того дня имя Эренбурга, всю войну едва ли не ежедневно появлявшееся на страницах советской печати, исчезло с них напрочь. Официальное выступление против Эренбурга обескуражило западную общественность (15 апреля сообщение о московской статье распространили по всему свету: «Советы делают выговор Эренбургу» – типичный тогдашний заголовок из «Дейли телеграф»). Вскоре Западу стало ясно, что Эренбурга «вырубили» полностью. Не приходится сомневаться в том, что лишение Сталиным голоса первого советского антифашиста (перед самой победой!) и вызвало душевный порыв Шагала, человека, очень чуткого ко всякой несправедливости. Разумеется, его послание, хотя оно и было отправлено с okazji, написано вполне дипломатично и в нем ни словом не упоминается о том, что произошло 14 апреля, но его похвалы и то, что он никак не отрывает работу Эренбурга от подвига России, говорят сами за себя.

New-York. 42. Riverside dr.  
1945. 30/IV

Дорогой Илья Эренбург.

Я пользуюсь случаем и пишу Вам эти неск<олько> слов, слова, которые читая Вас, я хотел Вам давно и так часто сказать. Слова радости за Вас... и поверьте – за себя. Ведь Ваша «биография» мне кажется – это же частично и моя. Разве мы не жили когда-то и воспитывались в том Париже и работая на чужбине вздыхали в Искусстве каждый по-своему – о родине.

Ну вот не в пример мне – Вы таки вздохнули полной грудью и воздухом и духом величия страны. Стали ей так полезны, что полезны! <так!> Вы принесли ей активную, большую пользу в этой отчаянной, навязанной войне, войне поднявшей однако родину на невероятную высоту и спасающую мир.

Позвольте мне одновременно с этим приветом Вам – передать через Вас мой сердечный привет родине с моей любовью к ней и всегдашней преданностью.

Марк Шагал<sup>24</sup>

<sup>24</sup> РГАЛИ. Ф.1204. Оп.2. Ед.хр.2364. Впервые опубли.: Встречи с прошлым. Вып.5. М., 1984. С.343-344; особенности пунктуации писем везде сохранены.

Опала Эренбурга оказалась временной – это был тактический шаг Сталина; с лета 1945 имя писателя снова стало появляться в советской печати. В апреле 1946 Эренбург вместе с К.Симоновым и генералом М.Галактионовым направлен в США и Канаду; поездка по двум странам была насыщенной и долгой. В архиве Эренбурга сохранилось огромное количество телеграмм, писем, приглашений, полученных им в США от общественных организаций и частных лиц, подтверждающих его несомненную популярность, особенно в кругах творческой интеллигенции, среди всевозможных эмигрантских и еврейских организаций.

Характерно, что, вспоминая эту поездку (ей посвящено шесть глав в мемуарах «Люди, годы, жизнь»), Эренбург сказал, что, хотя ему и удалось подружиться с некоторыми американцами, душой он отдыхал все-таки с европейцами. Перечисляя их, Эренбург начал со своих «старых друзей», назвав четыре имени, в том числе и Шагала – вторым в списке<sup>25</sup>. «Старый друг» – это первое признание такого рода о художнике в мемуарах Эренбурга.

В Нью-Йорке Эренбург остановился в роскошной гостинице «Уолдорф-Астория». Именно туда направил Шагал из отеля «Тафт», где жил, телеграмму по-английски от своего имени и от имени дочери:

Илье Эренбургу  
Отель Уолдорф-Астория

Годы Вы были близки мне в Париже. Теперь я люблю Вас как часть моей Отчизны. Самые сердечные пожелания.

Марк Шагал и Ида<sup>26</sup>

После этого писатель и художник встретились лично (возможно, это была и не единственная их встреча в Нью-Йорке). Тогда же Шагал подарил Эренбургу вышедшую по-английски в 1945 в нью-йоркском издательстве Пьера Матисса тиражом в 1500 экземпляров монографию Лионелло Вентури «Marc Chagall»<sup>27</sup>, экземпляр Эренбурга №952. На форзаце книги крупная надпись: «Илье Эренбургу / на память / от Марка Шагал / New-York 1946».

<sup>25</sup> ЛГЖ-3. С.41.

<sup>26</sup> Эта телеграмма опубликована в книге «Шагал. Возвращение мастера» (М., 1988. С.326) с ошибочной датой (25 декабря 1949) и вытекающей из этого трактовкой поздравления с Рождеством Христовым. На подлиннике телеграммы (ГМИИ. Ф.41. Оп.1. Ед.хр.1. Л.79) на бланке «Western Union» есть код: «N.Y. 25 1249P», который хранители архива интерпретировали как дату телеграммы, между тем адрес Эренбурга однозначно говорит о 1946 году – именно тогда он был в Нью-Йорке.

<sup>27</sup> Годом раньше, в апреле 1945, Шагал сообщал о выходе книги в Москву П.Д.Эттингеру. См.: Шагал. Возвращение мастера. С.323.

Эренбург внимательно прочел эту книгу; в своем очерке о Шагале, впоследствии включенном в мемуары «Люди, годы, жизнь», он спорит с Вентури, не называя его имени: «Один искусствовед, итальянец, написавший книгу о Шагале, считает, что возникновение его живописи таинственно, по его мнению, при всем ее русском характере она никак не связана с народным искусством», и далее Эренбург приводит свои доводы против этого тезиса<sup>28</sup>.

Следующие встречи с Шагалом произошли в Париже летом 1946, куда Эренбург приехал из США и где он провел несколько месяцев вместе с женой – художницей Л.М.Козинцевой-Эренбург (1899–1970).

Шагал в ту пору также на время прибыл из Нью-Йорка в Париж. Два его тогдашних письма Эренбургу сохранились.

17 Avenue d’Léna. Paris  
27/7 1946

Дорогой Эренбург

Когда у Вас будет минута свободная – может быть тогда дадите знать: когда и где можем встретиться (а может <быть> пообедать или поужинать вместе).

Я в Париже до 20-го августа. Но в апреле–мае <1947> приеду обратно. К тому времени здешний французский музей Modern<sup>29</sup> решил устроить мою ретроспективную выставку и приблизительно такую, какая была в музее New-York и которая с ноября откроется в музее Чикаго<sup>30</sup>.

Пока до свидания. Ваш преданный

Марк Шагал  
Tel. Pas 52-20<sup>31</sup>

Второе письмо – от 15 августа 1946<sup>32</sup>. По существу, это прощальное письмо – впереди был долгий перерыв: предстояла «холодная война».

Paris  
1946. 15/8

Дорогой Эренбург.

Жаль что Вас не увижу. Уезжаю как писал в Америку около 20–22. Вернусь обратно к весне – моменту устраиваемой Музеем Modern Art в Париже моей ретроспективной (1908–1947) выставки. Скажу к Вашему сведению – что на все просьбы телеграфные

<sup>28</sup> ЛГЖ-3. С.372-373.

<sup>29</sup> Музей современного искусства (Париж).

<sup>30</sup> Выставка Шагала в художественном музее Чикаго проходила в ноябре 1946 – январе 1947.

<sup>31</sup> ГМИИ. Ф.41. Оп.1. Ед.хр.1. Л.74.

<sup>32</sup> В книге «Шагал. Возвращение мастера» ошибочно указано, что письмо отправлено из Нью-Йорка, а не из Парижа, имеется и ряд ошибок в тексте.

и прочие директора Музея of Modern Art N.Y. об одолжении моих нек<оторых> старых (других нет) картин с родины – не было ответа. Таким образом моя родина не фигурирует в каталоге ни Музея of Modern Art New-York'a ни теперь в Музее Чикаго (ноябрь–январь). Я не знаю, ответят ли таким же молчанием на ближайшие запросы директоров Музея Парижа об одолжении упомянутых картин (о чем Вас и предупреждаю если замолвите слово где надо) обратится наверно Jean Cassou<sup>33</sup>.

Кстати – к началу войны – я подарил картину для русско-американской помощи, а года 2 назад подарил еще 2 картины (эпохи «война») через друзей Михоэлса и Фефера<sup>34</sup>, когда они были в N.Y. и консула Е.Киселева<sup>35</sup>, они были посланы в Москву. Я не получил никакого ответа и ничего о судьбе их.

Я послал в свое время письмо в «Комитет по дел<ам Искусств>» и др. и наконец на имя Председателя<sup>36</sup> (через Магидавой<sup>37</sup>) в котором я выразил желание в свое время (сейчас мое здоровье слабее) съездить поработать «по-новому» и это выставить здесь и там после выставок ретроспективных – я не получил ответа. Вот почему несмотря на мою всегдашнюю любовь и преданность я считаю себя незаслуженно обиженным.

Обнимаю Вас крепко.

Сердечный привет Вашей жене.

Марк Шагал

Эренбург, надо думать, понимал обиды Шагала, но изменить что-либо было не в его силах; только через десять лет положение дел в СССР начало понемногу меняться.

В 1946 либо в Нью-Йорке, либо уже в Париже Шагал подарил Эренбургу свое полотно «Обнаженная на петухе» (холст написан в

---

<sup>33</sup> Жан Кассу (1897–1986) – французский романист и художественный критик, автор ряда книг о художниках: «Пикассо» (1946), «Матисс» (1948); автор предисловия к книге Ж.Шапиро «Ля рюш» (1960). Видимо, он хлопотал в 1946 о предоставлении полотен Шагала для ретроспективных выставок.

<sup>34</sup> Имеется в виду поездка в США в 1943 С.М.Михоэлса и И.С.Фефера от имени Еврейского антифашистского комитета СССР для сбора пожертвований еврейского населения США в фонд Красной армии; Шагал встречался в США с Михоэлсом и Фефером.

<sup>35</sup> Вдова Михоэлса А.П.Потоцкая-Михоэлс в 1976 рассказывала автору, что Е.Д.Киселев был прикомандирован к Михоэлсу во время его поездки по США и впоследствии их связывали дружеские отношения. «Дорогой Евгений Дмитриевич, – писал Киселеву Михоэлс по возвращении в Москву, – с неизменной любовью вспоминаю Вас и Вашу семью. Счастлив думать, что встречу с Вами. Передайте всем друзьям сердечные приветы. Любящий Вас С.Михоэлс» (Собрание автора).

<sup>36</sup> Михаил Борисович Храпченко (1904–1986) – в 1938–1948 председатель Комитета по делам искусств, впоследствии академик.

<sup>37</sup> Неустановленное лицо.



1925)<sup>38</sup>, хранящееся теперь в составе эренбургской коллекции у И.В.Щипачевой (Москва).

### История с автопортретом Шагала

«Холодная война» оборвала встречи Эренбурга с Шагалом – «железный занавес» опустился. Эренбурга время от времени выпускали на Запад по делам придуманного Сталиным Движения сторонников мира, но поездки эти были официальными, и око спецслужб следовало за писателем неотступно<sup>39</sup>. Правда, Эренбургу удалось привлечь в Движение многих деятелей западной культуры, и это позволяло ему общаться с ними, не вызывая подозрений ГБ (например, с Пикассо, – как бы враждебно ни относились к художнику руководители советского искусства, запретить Эренбургу встречи с Пикассо было не в их власти). Иное дело Шагал – в представлении экспертов со Старой площади он был эмигрантом, несомненным «еврейским буржуазным националистом», к тому же стоял в стороне от просоветских пропагандистских акций и, стало быть, был бесполезен. (Кажется, только в 1949, скорей всего по просьбе Эренбурга, Шагал все-таки откликнулся на организованный Москвой Парижский конгресс сторонников мира – в мемуарах Эренбурга его имя названо среди тех неангажированных мастеров мировой культуры, кто поддержал конгресс<sup>40</sup>.)

В 1948 Эренбург получил письмо от Иды Шагал, отправленное 21 августа из Парижа с оказией. Уже был убит Михоэлс<sup>41</sup>, предстояли черные годы «борьбы с космополитизмом». Письмо дочери художника передает ее тревогу за то, что делается в СССР, и робкую надежду на встречу:

Дорогой Илья Григорьевич. Мы думаем о Вас все время, вспоминаем и хотели бы быть с Вами. Наш близкий друг<sup>42</sup> Вам передаст наш привет. Она может быть самый тонкий художест-

<sup>38</sup> В своих мемуарах Эренбург, говоря о конце 1940-х – начале 1950-х, называет имена художников, чьи работы висели у него в квартире, и среди них – картины Шагала (ЛГЖ-3. С.215).

<sup>39</sup> Доносы на Эренбурга в связи с его зарубежными поездками поступали в Москву регулярно; некоторые из них хранятся в фондах РГАСПИ (бывший РЦХИДНИ).

<sup>40</sup> ЛГЖ-3. С.107.

<sup>41</sup> Его гибель Шагал очень переживал, понимая, надо думать, что она не случайна. Во всяком случае, А.П.Потоцкая-Михоэлс рассказывала, что, когда в 1973 Шагал приехал в Москву и пригласил ее к себе в гостиничный номер, он, показывая на вентиляционные отверстия, наивно предложил говорить по-французски, полагая, что ГБ их не поймет.

<sup>42</sup> Имя и фамилия написаны по-французски неразборчиво.

венный критик в Париже – Вас любит и уважает. Она большой друг не только *наш*, а также и всего, за что Вы боретесь и может быть немножко и мы –

до скорого, да?  
От всего сердца от папы (еще на море<sup>43</sup>) и от Иды Шагал<sup>44</sup>.

Попадая на Запад, Эренбург продолжал следить за работой Шагала, в его библиотеке появлялись книги, иллюстрированные художником. В 1950 друг Эренбурга французский поэт Поль Элюар подарил ему свою книгу «*Le dur désir de durer*»<sup>45</sup> – с рисунками Шагала, так подписав экземпляр №348: «Любе и Илье Эренбургам с самой большой нежностью на свете». В 1953 в Лондоне вышла поэма еврейского поэта А.Суцкевера «Сибирь» с иллюстрациями Шагала – это издание также было у Эренбурга (в годы войны Эренбург написал статью о Суцкевере; вернувшись после войны в Польшу, а оттуда перебравшись в Израиль, Суцкевер неизменно доброжелательно вспоминал Эренбурга). Появилась в библиотеке Эренбурга и книга рисунков Шагала к рассказам Боккаччо – замечательное издание, воспроизводящее раскрашенные миниатюры из рукописи Бокаччо, принадлежавшей герцогам Бургундским (она хранится в Библиотеке Арсенала), и ответные рисунки Шагала; в книге – две статьи: Жака Превера и хранителя Библиотеки Арсенала Франца Кало.

В 1955 в московской квартире писателя появился ранний автопортрет Шагала. Его историю автору рассказали питерский киновед Яков Леонидович Бутовский и Валентина Георгиевна Козинцева, вдова знаменитого кинорежиссера.

Автопортрет, изображавший художника возле мольберта, был написан в 1914. В 1920-е он попал в коллекцию Фридриха Эдуардовича Кримера. До революции Кример служил в одном из столичных банков и был связан с кругом М.Горького (в частности, с Л.Красиным); после революции он работал во Внешторге и много ездил за границу (последний раз в 1927, в Париж). Человек неординарный, Кример собрал хорошую коллекцию русской живописи начала XX века; многие вещи он покупал у русских художников во время своих зарубежных поездок (в Париж и в Берлин). У Шагала он купил два ранних полотна – автопортрет художника и портрет его сестры. Эти полотна наряду с анненковским портретом Виктора Шкловского<sup>46</sup> были украшением коллекции Кримера. В 1930-е Кримеру уда-

<sup>43</sup> Шагал морем направлялся из США во Францию.

<sup>44</sup> ГМИИ. Ф.41. Оп.1. Ед.хр.1. Л.74.

<sup>45</sup> «Неодолимое желание быть всегда» (франц.).

<sup>46</sup> Шкловский любил этот портрет и долго уговаривал жену Кримера уступить ему картину, но так и не уговорил; в итоге портрет погиб при пожаре у кримеровских наследников.

лось уберечься от репрессий, но в 1949 он был арестован, и хранильницей его коллекции стала его жена кинорежиссер Рашель Марковна Мильман (до войны она работала с Г.М.Козинцевым, а после войны служила директором ленфильмовской фильмотеки). Ряд дорогих полотен из собрания мужа Р.М.Мильман была вынуждена продать (она регулярно отправляла посылки мужу в забайкальский лагерь, ездила к нему, а зарплата была весьма скромной). В начале 1955, когда Криммер все еще находился в заключении, ей пришлось продать и автопортрет Шагала. Полотно было привезено в Москву, и там Рашель Марковна обратилась за советом к своей дальней родственнице Валентине Ароновне Мильман, которая многие годы работала секретарем Ильи Эренбурга. Таким образом, Эренбург оказался первым, кому был предложен шагаловский автопортрет.

Тут следует сказать, что Илья Эренбург никогда не был коллекционером. Живопись, графика и керамика, украшавшие его московскую квартиру и подмосковную дачу в Новом Иерусалиме, были подарками его друзей, замечательных художников XX века – Пикассо, Матисса, Марке, Леже, Шагала, Фалька, Тышлера, Штеренберга, Сарьяна, Альтмана; лишь изредка Эренбурги покупали что-то для поддержки бедствовавших художников (так у них появились некоторые полотна Фалька, Удальцовой, работы Вейсберга, Галенца). Когда В.А.Мильман позвонила Эренбургам, чтобы сообщить о продающемся полотне Шагала, у них гостил кинорежиссер Г.М.Козинцев (брат Л.М.Козинцевой-Эренбург и двоюродный племянник Эренбурга, он всегда останавливался у них в Москве), и поскольку он хорошо знал «продащицу», то отправился к ней вместе с сестрой.

Автопортрет Шагала был куплен и установлен в квартире Эренбурга на мольберте, которым пользовалась Любовь Михайловна (она продолжала заниматься живописью и по возвращении в СССР, хотя работы свои уже не выставяла). Сохранилось несколько снимков Эренбурга на фоне этого автопортрета.

Оказавшись вскоре в Париже, Эренбург встретился с Шагалом, который, приезжая в Париж, всегда останавливался в той же гостинице «Pont-Royal Hotel», что и Эренбург, и рассказал ему о своем приобретении. Возможно, что в тот раз они встречались и не однажды; сохранилась записка Шагала Эренбургу на бланке телефонного заказа гостиницы:

Дорогой Илья Григорьевич

я вам звонил сегодня утром, но Вас уже не было. Позвоните мне если можете комната 106. Я бы очень хотел Вас еще раз по-видать.

Марк Шагал<sup>47</sup>

<sup>47</sup> ГМИИ. Ф.41. Оп.1. Ед.хр.1. Л.76.

Видимо, тогда Шагал и попросил прислать ему фотографию полотна, и Эренбург, вернувшись в Москву, отправил художнику два снимка – с автопортрета и с оставшегося у Р.М.Мильман портрета сестры Шагала.

Ответ Шагала написан на бланке все той же гостиницы:

1955, Octob.

Дорогой Илья Григорьевич.

Спасибо большое за фото. Да это мой автопортрет я думаю 1914–1915 годов<sup>48</sup>, когда я был в Витебске после Парижа. 2-ая «сестра» тоже. Я еще здесь. Я был рад Вас видеть.

Ваш преданный

Марк Шагал<sup>49</sup>

В 1970, после смерти Л.М.Козинцевой-Эренбург, по ее завещанию автопортрет Шагала был передан Г.М.Козинцеву и с тех пор находится в Петербурге. В.Г.Козинцева время от времени экспонирует его на различных выставках Шагала, и он теперь хорошо известен и в России, и за рубежом.

### Первое путешествие автопортрета

Эта история началась с письма, отправленного из Ванса на бланке «Les Collines»:

12.I.1959

Любезный Илья Григорьевич – надеюсь Вы здоровы. Вы и Ваша семья. Я позволяю себе Вам написать. Вы мне однажды сказали и даже послали снимок картины «автопортрет» мой находящийся в Вашей коллекции. Директора музеев Гамбурга, Мюнхена и «Musée des arts décoratifs» (в Pavil<l>ion Marsak в Лувре), которые устраивают мои выставки ищут мои старые картины для этих выставок. Эти выставки устраиваются под эгидой «Unesco» вероятно в связи с моим возрастом и 50 лением работы с 1908. Я Вас хотел бы просить если можете одолжить Вашу картину для этих выставок или хотя бы для Paris. Если Вы согласитесь – директора Вам пришлют официальное письмо и *все гарантии*. Я кстати сам тоже буду рад его (портрет) увидеть, чтобы решить его дату (до 1911 или после 1914)... Между прочим один московский частный коллекционер<sup>50</sup> получил разрешение послать и выставить свою коллекцию моих вещей на этих выставках. Думаю, что и Вы получите.

<sup>48</sup> На портрете имеется отчетливая дата: 1914.

<sup>49</sup> ГМИИ. Ф.41. Оп.1. Ед.хр.1. Л.72.

<sup>50</sup> Георгий Дионисович Костаки (1913–1990).

Арагон<sup>51</sup> и посольство в Париже просили в Москве послать к этим упомянутым выставкам мои старые картины, находящиеся в музеях Москвы и Ленинграда. Пока еще нет ответа.

В ожидании Вашего ответа остаюсь с искренним приветом  
Марк Шагал

P.S. Ваша картина была б интересно выставить <так!> ибо я еще редко писал их. Кстати если Вы можете попросить кого следует, чтоб одолжили мои картины для выставок – я был бы очень благодарен. Но мало времени осталось. Сведения нужны для каталогов, где будут воспроизводит<ь>ся все выставленные картины.

М.Ш.<sup>52</sup>

Эренбург ответил сразу же:

Москва  
3 февраля 1959

Дорогой Марк Шагал!

Рад был получить от Вас письмо. Охотно предоставлю для Вашей выставки Ваш автопортрет. Для того, чтобы оформить это, нужно, чтобы директор музея обратился ко мне с соответствующим письмом. В письме надо указать кто займется упаковкой и пересылкой картины.

Я убежден, что Ваша выставка будет очень интересной, может быть, мне удастся где-нибудь ее повидать.

От души желаю Вам здоровья и сил. Любовь Михайловна шлет Вам сердечный привет<sup>53</sup>.

Получив в Вансе согласие Эренбурга, Шагал написал ему на большой немецкой открытке, выпущенной к выставке, которая проходила в Гамбурге с 6 февраля по 22 марта 1959:

Спасибо любезный Эренбург за Ваш ответ быстрый. Я конечно хотел бы чтоб Ваш (мой автопортрет был бы на выставках) я написал об этом François <так!> Mathey (conservateur de Musée des Arts Decoratifs Paris<sup>54</sup>). М<ожет> б<ыть> Вы напишете Direktor der Hamburger Kunst hall<sup>55</sup> – Prof. Dr. Alfred Hentzen и он Вам ответит о формальностях. Вот из Москвы лично привез м<есье> Костаки свою коллекцию моих вещей немного с опозданием <так!> чтоб быть в каталоге Гамбурга но будут в каталоге Мюнхена и в Париже. Заодно попросите каталог у Dr. Hentzen'a, м<ожет> б<ыть> сумеете лично подъехать туда.

<sup>51</sup> Луи Арагон (1897–1982) – французский поэт, влиятельный член французской компартии, друг многих художников и Эренбурга.

<sup>52</sup> ГМИИ. Ф.41. Оп.1. Ед.хр.1. Л.73.

<sup>53</sup> Машинописная копия: Там же. Л.106.

<sup>54</sup> Хранитель парижского Музея декоративного искусства (франц.)

<sup>55</sup> Директору гамбургского зала искусств (нем.)

Кстати будто мне сказали здесь что из Москвы думают все же одолжить, послать мои старые вещи находящ<иеся> (в резервах) Третьяков<ской> галереи в Москве, в Ленинграде в том числе кое что из стенной живописи бывш<его> евр<ейского> театра<sup>56</sup>.

Тогда можно и Ваш портрет приложить... Еще раз спасибо за Ваше внимание.

С сердечным приветом

предан<ный>Марк Шагал<sup>57</sup>

На сей раз все удалось, и шагаловский автопортрет из собрания Эренбурга разрешили отправить на выставки Шагала, где он экспонировался с большим успехом. Каталог парижской выставки (июнь—октябрь 1959) был подарен Шагалом Эренбургу с надписью: «Для Ильи Григорьевича Эренбурга на память / с благодарностью. Марк Шагал. Paris 1959»<sup>58</sup>. Автопортрет значится в нем под №62; его черно-белая репродукция сопровождается указанием: «Коллекция г. Ильи Эренбурга, Москва».

Возможно, Эренбургу удалось посмотреть эту выставку, когда он побывал в Париже осенью 1959, не исключена и его встреча с Шагалом тогда же.

В конце 1959 Ида Шагал писала Л.М.Козинцевой-Эренбург, с которой виделась в ноябре во время поездки Эренбургов в Италию:

Дорогая Любовь Михайловна,

часто о Вас вспоминаю. Часто хотелось писать, но дни бегут – и я также очень стыжусь моим русским. А писать Вам по франц<узски> как-то не «клеется». Думаю часто о Вас, о нашей мрачулке<sup>59</sup>, о завтраке вдвоем и вообще как мне было приятно Вас «найти».

Я Вам звонила в Hotel Мопасо – знакомый по моей просьбе мне телеграфировал Ваш адрес, но когда я это получила, Вы выехали 10 минут до этого на вокзал! В Венеции некоторое время тому назад я Вам послала номер немецкого revue «Kunst»: подумала, что если увидите Альтмана<sup>60</sup>, ему будет забавно это увидеть.

<sup>56</sup> Речь идет о семи больших панно для стен Московского еврейского Камерного театра, руководимого А.М.Грановским; с конца 1930-х, после кампании по борьбе с формализмом в советском искусстве, шагаловские панно были сняты со стен театра и отправлены в запасники Третьяковской галереи; лишь в пору перестройки они были извлечены оттуда, отреставрированы и экспонировались в Москве и за рубежом.

<sup>57</sup> ГМИИ. Ф.41. Оп.1. Ед.хр.1. Л.75.

<sup>58</sup> Собрание И.В.Щипачевой (Москва).

<sup>59</sup> Имеется в виду И.Г.Эренбург.

<sup>60</sup> Натан Исаевич Альтман (1889–1970) – художник, друг Эренбургов.

Надеюсь, что Вы еще не имеете ту книжечку, которую Вам послала на память теперь<sup>61</sup>. Ваша картина – Шагала – благополучно вернулась? Она замечательно висела на выставке и все было от нее в восторге.

Марк в порядке, работает всюю и не понимаю, как он выносит этот поток людей каждый день.

Вам обоим желаю от всего сердца здоровья, счастья и солнечной жизни.

Крепко Вас целую

Ваша Ида Мейер-Шагал<sup>62</sup>

### Последние встречи, последние слова

В январе 1961 Эренбург получил два поздравления от Иды Шагала. Новогоднее: «Сердечно Ваша Ида с большой надеждой Вас увидеть в 1961 году»<sup>63</sup> и телеграмму к 70-летию: «Самые сердечные поздравления к Вашему дню рождения. Ида»<sup>64</sup>.

В июне 1962 Эренбург вместе с женой был на юге Франции (в Ницце проходила конференция общества «Франция–СССР», куда его пригласили почетным гостем), тогда же Эренбурги посетили в Кане Пикассо, а в Вансе Шагала. Два шагаловских подарка остались от той встречи: большой альбом Шагала «Рисунки к Библии» (Paris: Vevre, 1960) был подарен с надписью, заполнившей весь форзац: «Vence / Для Ильи и Любы / Эренбург / На добрую / память / Marc Chagall / Марк (Шагал) / 1962), и папка с двенадцатью литографиями, посвященными Парижу (она была напечатана в Париже в 1954 по материалам выставок парижских работ Шагала 1952–1954), с двумя сопроводительными текстами: Марселя Арлана «Живопись – не что иное, как выражение любви» и «Париж Марка Шагала» Лионелло Вентури; на папке Шагала расписался: «Marc Шагал 1962».

29 сентября 1962 московское издательство «Искусство» направило Эренбургу следующее письмо:

Глубокоуважаемый Илья Григорьевич,

издательство «Искусство», как Вам, может быть, известно, издает сборник «Искусство книги». В начале нынешнего года вышел том за 1956–57 гг., только что издательство получило верстку следующего тома за <19>58–60 гг. В этих томах напечатано много материалов о советских и иностранных графиках и иллю-

<sup>61</sup> Фотоальбом: Wilhelm Maywald. «Portrait + Atelier» с надписью: «С новым годом и с самым сердечным приветом. Ида Ш. 1959/60».

<sup>62</sup> Открытка с литографией Шагала, продолжение на бланке с бернским адресом.

<sup>63</sup> РГАЛИ. Ф.1204. Оп.2. Ед.хр.2482. Л.39.

<sup>64</sup> Там же. Ед.хр.2479. Л.74.

страторах (в том числе – о Пикассо, статья М.Алпатово о Матиссе, Н.Харджиева о Лисицком, о Фаворском, о Каплане и т. д.).

Сейчас составляется следующий выпуск – за <19>61–62 гг. В нем предполагается поместить статьи об иллюстраторах ранних изданий Маяковского, о книге экспрессионистов, о Д.Штеренберге, о Леже и т. п. Мы хотим просить Вас написать для этого сборника статью об иллюстрациях Марка Шагала к «Мертвым душам». Шагал подарил всю серию офортов Третьяковской галерее, где она и хранится. Статья о Шагале включена в проспект сборника, утвержденный редколлекцией, возглавляемой Д.Шмариновым.

Мы очень надеемся, что эта тема покажется Вам интересной и Вы не откажете нам в просьбе.

С искренним уважением  
редактор-составитель Е.Левитин<sup>65</sup>

Это было первое предложение Эренбургу от советского издательства написать о Шагале. Самый перечень имен художников, приведенный в письме, должен был убедить Эренбурга в высоком художественном уровне издания, а фраза об утверждении статьи о Шагале в проспекте сборника подчеркивала, что работе Эренбурга гарантирована публикация. Письмо написано в самый пик художественного либерализма в СССР, в пору XXII съезда КПСС с его массивными антисталинскими атаками. Период этот оказался крайне коротким – уже к декабрю 1962 просталинским силам в руководстве КПСС и в творческих союзах удалось взять реванш, спровоцировав оголтелое выступление Хрущева на выставке «XXX лет МОСХа» против «модернистских» течений в советском искусстве, причем едва ли не главной мишенью нападок стал Эренбург как «покровитель» этих течений. В таких условиях публикация статьи Эренбурга о Шагале, если бы она и была написана, стала невозможной...

Не исключено, что в 1966 Эренбург встречался с Шагалом в одну из поездок во Францию (апрель–май и сентябрь–октябрь), и возможно, что к этой встрече относятся слова из 7-й части воспоминаний «Люди, годы, жизнь» (она писалась в 1967): «Недавно, разговаривая со мной, он <Шагал> сказал о художнике Тышлере: “Молоденький”. Тышлер остался для него двадцатилетним юнцом»<sup>66</sup>.

Отправив художнику поздравление с новым, 1967 годом, Эренбург получил ответ из Сен-Поль де Ванса:

Спасибо Вам за Ваше поздравление, всего лучшего желаю Вам обоим.

Марк Шагал. 1967<sup>67</sup>

<sup>65</sup> РГАЛИ. Ф.1204. Оп.2. Ед.хр.3242. Л.34.

<sup>66</sup> ЛГЖ-3. С.370.

<sup>67</sup> ГМИИ. Ф.41. Оп.1. Ед.хр.1. Л.78.



Это приветствие Шагала Илье Эренбургу оказалось последним...

В начале 1967 Эренбург написал для журнала «Декоративное искусство» статью «О Марке Шагале». Снабженная цветными иллюстрациями, она была напечатана в юбилейном (журналу исполнилось 10 лет) двенадцатом номере за 1967 в разделе «Мастера XX века», когда Эренбурга уже не было в живых. Кажется, это первая доброжелательная статья о Шагале в послевоенной советской печати. Она была написана так, чтобы максимально помочь выходу на свет полотен художника, томившихся в запасниках советских музеев, и заканчивалась прямым призывом: «Может быть, пришло время показать работы витебчанина М.З.Шагала не только французам и японцам, но также его землякам?»<sup>68</sup>.

20 апреля 1967 Эренбург получил письмо от Агенства печати «Новости»:

Уважаемый Илья Григорьевич! В связи с тем, что 6 мая в Цюрихе открывается выставка произведений Марка Шагала, просим Вас написать статью размером в 5-6 страниц о творчестве этого художника. Наш представитель в Женеве намерен опубликовать эту статью в одном из крупных изданий в Швейцарии<sup>69</sup>.

Сжатые сроки, поставленные издательством (они вряд ли подходили Эренбургу, занятому работой над седьмой частью мемуаров), и то обстоятельство, что он только что написал о Шагале для «Декоративного искусства», не позволило Эренбургу принять предложение АПН (заметим, что популяризировать Шагала на Западе властям было психологически легче, чем в СССР).

Седьмая, незавершенная книга воспоминаний Ильи Эренбурга «Люди, годы, жизнь» была опубликована полностью лишь в 1990. Она заканчивается главой о Шагале. История написания этой главы такова.

В одном из первых набросков плана многотомных воспоминаний, относящемся еще к 1958 (систематическая работа над мемуарами началась в конце 1959), есть примерный перечень тем, событий и имен, о которых Эренбург хотел бы написать; поначалу сюжеты выстроены в хронологическом порядке, затем к ним добавляется то, что вспомнилось позже, и тогда возникает столбик имен: Пастернак, Ахматова, Шагал, Фальк. Приступив к работе, Эренбург решил, что не будет писать о живых, сделав исключение для двоих Пабло: Пикассо и Неруды; поэтому в дальнейших планах Шагал не фигурировал, хотя Эренбург и не упускал случая упомянуть в тексте его имя (тогда фактически запрещенное в СССР).

<sup>68</sup> Декоративное искусство. 1967. №12. С.36.

<sup>69</sup> РГАЛИ. Ф.1204. Оп.2. Ед.хр.3242. Л.83.

В четвертой книге Эренбург сделал еще одно исключение для живого – его самого близкого друга, писателя О.Г.Савича, а в предварительном плане седьмой части появились имена здравствовавших тогда Ле Корбюзье, Паустовского, Джакометти, Сарьяна, а затем появилось и крупно вписанное имя «ШАГАЛ».

Тогдашний секретарь Эренбурга Н.И.Столярова рассказала о появлении этой записи:

Эренбургу заказали эссе о Шагале для “Декоративного искусства”. Он согласился и написал (напечатали, кстати сказать, без единого изменения в тексте – единственный случай у Эренбурга: уж слишком далеко стоял этот журнал от интересов властей). Я прочла и говорю И<лье> Г<ригорьевичу>: ведь это готовая глава для “Люди, годы, жизнь”. Почему бы не включить ее в книгу. И<лья> Г<ригорьевич> подумал и согласился, глава появилась в плане<sup>70</sup>.

На основе многих черновых набросков удалось реконструировать план незаконченной седьмой книги: она должна была состоять из 34 глав; глава о Шагале вписывалась в книгу так: 30. Бухарин; 31. Шагал; 32. Ахматова; 33. Падение Хрущева; 34. Заключение<sup>71</sup>.

Думаю, что эссе о Шагале для «Декоративного искусства» Эренбург бы переработал, чтобы оно в большей степени соответствовало стилистике мемуаров, но смерть прервала его работу над книгой на 21-й главе, и Комиссия по литературному наследию Эренбурга сочла возможным включить эссе о Шагале в качестве 22-й главы седьмой книги, что и было осуществлено в издании 1990 года. Так получилось, что многотомный значительный мемуарный труд Ильи Эренбурга заканчивается призывом открыть полотна Марка Шагала для его соотечественников...

Илья Эренбург скончался от инфаркта миокарда в Москве вечером 31 августа 1967; 1 сентября зарубежные агентства сообщили об этом печальном событии. 2 сентября датируются две телеграммы, направленные вдове и дочери Эренбурга:

Только что получил ужасно печальную весть. Хотел бы вам передать всю мою глубокую симпатию. Марк Шагал<sup>72</sup>

Потрясены без слов вашей огромной потерей. Я чувствую себя более одинокой в мире. Думаем непрерывно о вас. Целуем вас. Ваши Ида и Франц Мейер-Шагал.<sup>73</sup>

<sup>70</sup> Запись беседы от 28 февраля 1975.

<sup>71</sup> ЛГЖ-3. С.401.

<sup>72</sup> ГМИИ. Ф.41. Оп.1. Ед.хр.1. Л.80.

<sup>73</sup> Собрание автора.



Д

Эпистолярная



## ПИСЬМА Г.В.АДАМОВИЧА К З.Н.ГИППИУС: 1925–1931

*Подготовка текста, вступительная статья и комментарии  
Н.А.Богомолова*

В истории русской литературы имена Г.В.Адамовича и З.Н.Гиппиус занимают столь почетные места, что пространное введение к публикации вряд ли уместно, поэтому ограничимся лишь беглой заметкой, характеризующей особенности их эпистолярного общения. Очень разные по возрасту, времени вхождения в литературу, по степени известности, эти два литератора тем не менее внутренне были очень близки. Всякий читающий их статьи и особенно переписку без труда заметит, что пересечение мыслей и настроений, несмотря на постоянные несогласия, бывает у них очень значительно. Да и сам дух эпистолярных разговоров оказывается весьма схожим.

Прежде всего, это было связано с той культурой светской беседы, которой придерживались в письмах оба автора. За внешне спокойными и небрежными интонациями внимательный читатель без труда ощущает напряженную мысль, которая ищет уточнения и утончения до мыслимо возможных пределов. Гиппиус, конечно, придерживалась традиций более раннего времени, восходящих еще к концу XIX века, но пропущенных через опыт символистской переписки. Адамович же в письмах двадцатых и начала тридцатых годов, которые ныне публикуются, наследовал традиции именно символистского времени, опровергая собственно акмеистический принцип неприязни ко всякого рода эпистолярным отношениям. Именно на этой почве они и сходились.

Но были, несомненно, и более глубинные основания для серьезного взаимного интереса. Понятно, что Адамович, поглощенный литературой, не мог не испытывать глубокого интереса к личности и творчеству знаменитой писательницы, волею судеб оказавшись в кругу близких к ней литераторов. При этом он воспринимал себя как одного из тех «мальчиков», которые имели шанс попасть еще в Петербурге в орбиту влияния Гиппиус, и некоторые из них эту возможность использовали. В мемуарном очерке самой Гип-

пиус «Мальчики и девочки», на который Адамович так бурно откликнулся (см. письмо 10), описана часть из тех, кто оказался в этом кругу, и короткими мазками – судьба всего этого поколения: «Удивляться ли, глядя на гримасничающую мордочку черноглазого футуриста, когда он сначала в грязной защитке полужет о своих подвигах, попрошайничает, уверяет, что скрывается, – а через два месяца, в галифе, пуше лжет, но... уже не скрывается? Поражаться ли, слыша весть, что скромный пушкинианец убит красными на юге? А белокурый юноша, играющий девочку... нет, не надо о нем...»<sup>1</sup> Отвечая Гиппиус печатно, Адамович вспомнит героический поступок Леонида Каннегисера, одного из тех, кто мог бы посещать собрания у Гиппиус. И, кажется, есть основания полагать, что собственное его, Адамовича, вступление во французскую армию в 1940 году было далеким отголоском тех самых споров, одновременно и согласием, и полемикой с Гиппиус.

Ее же, судя по всему, Адамович привлекал не только как литератор, время от времени в своих статьях касавшийся существенных как для Гиппиус, так и для Мережковского проблем истории, религии, психологии, но и как человеческий тип, издавна вызывавший у нее интерес. Еще в ранних своих дневниках она записывала: «...с внешней стороны я люблю иногда педерастов. <...> Мне нравится тут обман возможности: как бы намек на двуполость, он кажется и женщиной, и мужчиной. Это мне ужасно близко. То есть то, что *кажется*»<sup>2</sup>. Эта «близость», возможно, и порождает особый, доверительный тон переписки, когда оба корреспондента перешагивают обычные границы доверительности и, несмотря на всю светскость тона, вдруг прорывается то, что, как правило, глубоко скрывается под маской этикета.

Совсем не случайно и Гиппиус, и Адамович очень высоко ценили эту свою переписку. Так, первая в недатированном письме говорила: «На досуге, когда таковой будет, подберите мои письма летние, а я ваши, и сделаем один том в специально-приспособленной папке. Я люблю архивы и документы, – даже двойной любовью, созерцательной и поучительной для активизма»<sup>3</sup>. Адамович, в свою очередь, посвятил ее письмом специальную статью<sup>4</sup>, а чуть позже предполагал сделать выборки и напечатать их в альманахе «Опыты». Он писал об этом Ю.Иваску еще осенью 1955 года<sup>5</sup>, а 20 января 1956 сообщал И.Одоевцевой: «Я для “Опытов” перебираю письма Зинаиды, почти во всех есть что-нибудь плохое о других, чаще всего о Бунине или Ходасевиче. Но кое-что нейтральное я выберу»<sup>6</sup>. Ничего выбрать он так

<sup>1</sup> Октябрь. 1991. №9. С.168. «Скромный пушкинианец», судя по всему, поэт Г.В.Маслов, служивший в колчаковской армии и умерший от тифа в Сибири (а ранее упоминаемая там же поэтесса Леночка – скорее всего, его жена Елена Михайловна Тагер).

<sup>2</sup> Гиппиус Зинаида. Дневники: В 2 т. М., 1999. Т.1. С.61-62.

<sup>3</sup> Пахмусс. С.419. Имеются в виду письма лета 1927 — действительно, наиболее содержательные среди всех публикуемых.

<sup>4</sup> Письма З.Н.Гиппиус // Новое русское слово. 1951. 21 января.

<sup>5</sup> Amherst Center for Russian Culture. G.Ivask Papers. Box 1. Folder 2.

<sup>6</sup> Эпизод сорокапятилетней дружбы-вражды: Письма Г.Адамовича И.Одоевцевой и Г.Иванову (1955–1958) / Публ. О.А.Коростелева // Минувшее: Исторический альманах. Вып.21. М.; СПб., 1997. С.427.

и не решился, и какая-то (нам неизвестно, какая именно) часть писем была опубликована Т.Пахмусс<sup>7</sup>. Ввиду того, что обе ее публикации не слишком доступны в России, мы в примечаниях довольно обширно цитируем их, с исправлением явных ошибок и опечаток.

Публикуемые нами письма хранятся: Amherst Center for Russian Culture. Z.Gippius and D.Merezhkovsky Papers. Box 1. Folders 6-10. Сохранены некоторые особенности орфографии Адамовича.

Приносим сердечную благодарность директору Центра проф. С.Рабиновичу за постоянное содействие в работе, а также Э.Анри, И.И.Кузнецовой, Е.С.Полищуку, В.Г.Сукачу и особенно О.А.Коростелеву за помощь в комментировании. Поездка в США и работа в архиве стали возможными благодаря гранту Института «Открытое общество» и финансовой поддержке факультета журналистики МГУ.

### Список сокращений

Адамович-1, 2 – *Адамович Г.* Литературные беседы. СПб., 1998. Кн.1. «Звено» 1923–1926; Кн.2. «Звено» 1926–1928 (*Адамович Г.* Собрание сочинений).

Зв. – Звено (газета и журнал; Париж, 1923–1928)

Зеленая лампа – *Пахмусс Т., Королева Н.В.* «Зеленая лампа» // Литературная энциклопедия Русского Зарубежья 1918–1940: Периодика и литературные центры. М., 2000.

Одиночество и свобода – *Адамович Г.* Одиночество и свобода: Литературно-критические статьи. СПб., 1993.

Пахмусс – *Pachmuss T.* Intellect and Ideas in Action: Selected Correspondence of Zinaida Hippus. München, 1972.

Письма в «Звено» – «...Наша культура, отраженная в капле...»: Письма И.Бунина, Д.Мережковского, З.Гиппиус и Г.Адамовича к редакторам парижского «Звена» (1923–1928) / Публ. О.А.Коростелева // Минувшее: Исторический альманах. Вып.24. СПб., 1998. С.123-165.

Письма к Берберовой и Ходасевичу – Гиппиус Зинаида. Письма к Берберовой и Ходасевичу / Ed. by Erica Freiburger Shejkholeslami. Ann Arbor, 1978.

ПН – «Последние новости» (газета; Париж, 1920–1940).

СЗ – «Современные записки» (журнал; Париж, 1920–1940).

### 1

#### Многоуважаемая Зинаида Николаевна

Мне переслали из Парижа Ваше письмо<sup>1</sup>. Я не знал, конечно, что Ваша книга издана в двух томах. У меня был только тот том, где на-

<sup>7</sup> См.: Пахмусс. С.332–448; Из архива Зинаиды Николаевны Гиппиус / Публ. Т.Пахмусс // Russian Language Journal. 1984. №131. P.174–181.



ходятся статьи о Блоке, Брюсове и Вырубовой<sup>2</sup>. Насколько я помню, я тогда заметил в оглавлении перечисление других статей, однако не понял, в чем дело. Нигде ведь не помечено: 1-й том. Мне очень жаль, что произошла ошибка и что я не прочел Вашей книги целиком<sup>3</sup>.

Отчего Вы говорите, что я «несправедлив» к Розанову? Я его очень люблю и хорошо знаю<sup>4</sup>. Никогда, кажется, я о нем ничего недоброжелательного не писал. Разве только о его стилистических последователях<sup>5</sup>. О Сусловой я сейчас вспоминаю мало<sup>6</sup>.

Я на два месяца в Ницце<sup>7</sup>. Если бы Вы позволили мне быть как-нибудь у Вас, я был бы Вам очень благодарен.

Искренно Вас уважающий

Г.Адамович.

P.S. Вчера я послал в «Звено» заметку о «Митиной любви» с коротким возражением Вам по поводу Вашей статьи в «Последних новостях»<sup>8</sup>. Заранее прошу Вас простить меня за него.

7 июля <1925> Villa Bayley  
Avenue Gustave Nadaud.  
Cimiez, Nice

Рукой Гиппиус (?) на свободном пространстве написано:

«Проба неудачна.  
А впрочем –  
К сожалению  
К сожалению».

<sup>1</sup> Письмо нам неизвестно.

<sup>2</sup> Имеется в виду первая книга воспоминаний З.Н.Гиппиус «Живые лица» (Прага: Пламя, 1925), где помещены «Мой лунный друг», «Одержимый» и «Маленький Анин домию». Адамович писал: «В сборнике три статьи – о Блоке, Брюсове и о фрейлине А.А.Вырубовой» (Адамович-1. С.244).

<sup>3</sup> Первый том «Живых лиц» Адамович рецензировал в «Звене» 22 июня 1925 (Адамович-1. С.242-246) совместно с «Proses datées» Анри де Ренье. Рецензия на второй том напечатана 3 августа 1925 (Адамович-1. С.268-273). Книга была оценена Адамовичем в высшей степени положительно: «Ее новая книга “Живые лица” – одна из удачнейших ее книг. <...> Хороши не только чрезвычайно своеобразные описания, но и замечания в сторону, всегда умные, часто злые и насмешливые» (Адамович-1. С.244).

<sup>4</sup> Видимо, в письме к Адамовичу Гиппиус предположила, что нежелание говорить об очерке «Задумчивый странник», посвященном В.В.Розанову, было связано с нелюбовью Адамовича к этому писателю. В качестве своеобразной компенсации практически всю рецензию на второй том «Живых лиц» Адамович посвятил именно размышлениям о Розанове, прямо заявив: «Это ведь один из тех писателей, к которым никто не остался равнодушен» (Адамович-1. С.269).

<sup>5</sup> Имеется в виду пассаж из отзыва Адамовича о В.Шкловском: «Вернусь к отсутствию такта у Шкловского: нельзя же думать, что если был Розанов,

то всем теперь можно писать по-розановски. Розановский стиль, при всем его личном блеске, навязчив и нечистоплотен – это отвратительный стиль. В лучшем случае, он только простителен Розанову, но он не составляет его заслуги» (Адамович-1. С.137).

<sup>6</sup> С чем связано упоминание жены Розанова Аполлинии Прокофьевны Суслевой (1840–1918) в данном месте письма, не очень понятно. Гиппиус довольно подробно пишет о ней в «Задумчивом страннике», а также в несколько более поздней статье «О женах» (ПН. 1925. 30 июля), но найти упоминания ее имени у Адамовича нам не удалось.

<sup>7</sup> В Ницце жила тетка Адамовича, Вера Семеновна Бэйли, и адрес в конце письма – адрес ее виллы.

<sup>8</sup> Полемику Адамовича с суждениями Гиппиус о «Митиной любви» И.А.Бунина (О любви. II. Любовь и красота // ПН. 1925. 25 июня) см.: Адамович-1. С.253-254.

2

<Начало июля 1926>

Многоуважаемая Зинаида Николаевна

Мне сегодня переслали из «Звена» Ваше письмо<sup>1</sup>. Я в Ницце, уже дней десять. Очень хотел бы быть у Вас, но боюсь проехаться в Канн напрасно, т. е. Вас не застать. Будете ли Вы там в это воскресенье?

Вашим намерением что-то «почерпнуть» из моего «Винавера»<sup>2</sup> я только польщен, п<отому> что в печати это окажется «совпадением мыслей» (как Кайо<sup>3</sup> приятно совпасть avec des experts<sup>4</sup>). Но из этой статьи Милюков выбросил все, оживлявшее ее, все «отступления в сторону», и осталось одно казенное восхищение. Да и как восхваление она оказалась, по-видимому, недостаточной. Я уже получил полуофициальный отзыв, сводящийся к тому, что «есть интерес, но нет любви», т.е. у меня нет любви к автору<sup>5</sup>.

Надеюсь скоро Вас видеть, – если Вы сообщите мне, когда Вы дома.

Целую Ваши руки. Передайте, пожалуйста, мой искренний привет Дмитрию Сергеевичу («мнение Д.С. о Вашей статье я не пишу» – очень плохое мнение?<sup>6</sup>) и Владимиру Ананьевичу<sup>7</sup>.

Преданный Вам

Г.Адамович.

<Адрес в Ницце>

Датируется на основании упоминания о статье Адамовича (см. примеч. 2) и сопоставления со следующим письмом.

<sup>1</sup> Письмо неизвестно.

<sup>2</sup> Речь идет о рецензии Адамовича на второе издание книги М.М.Винавера «Недавнее» (О «Недавнем» // ПН. 1926. 1 июля). Максим Моисеевич Винавер (1852–1926) – адвокат, политический деятель (кадет), мемуарист, редактор газеты «Звено». Он скоропостижно скончался 10 октября 1926.

Адамович посвятил его памяти некролог (Адамович Г. <Памяти нашего редактора> // Зв. 1926. №194, 17 октября. С.4). Статья Гиппиус «Его вчерашние слова (М.М.Винавер)» опубликована: Зв. 1926. №196, 31 октября. С.2-4 (перепеч.: Письма в «Звено»). С.161-165). Гиппиус писала Адамовичу 14 ноября 1926: «По поводу моей заметки о Максиме Моисеевиче Винавере я получила такое *человечески-трогательное* письмо от Розы Г., что, сознаюсь, оно мне было приятнее всех литературных похвал и наполнило меня гордостью: в какую-то вечно-человеческую точку любви попала – значит, она реальность» (Пахмусс. С.343). Упомянутая здесь Роза Г. – жена Винавера Роза Георгиевна (Генделевна) Винавер (урожд. Хишина; 1872–1951). Закончив свою рецензию, Гиппиус писала 12 июля самому Винаверу как редактору «Звена»: «Статья готова, благодаря некоторым обстоятельствам она немножко задержалась. Отчасти и потому, что я непременно хотела исполнить ваше желание и дать статейку З.Гиппиус. А она пишет критику гораздо медленнее (и скучнее, по правде сказать). Как это ни странно, но психологическое перевоплощение в А.Крайнего дает мне другие способности, хотя иных в то же время лишает. Впрочем, вы правы: о “Недавнем” следовало написать Гиппиус» (Письма в «Звено»). С.141).

<sup>3</sup> Кайо Жозеф (1863–1944) – французский государственный деятель, в 1926 – министр финансов.

<sup>4</sup> С экспертами (*франц.*).

<sup>5</sup> Этот фрагмент письма Гиппиус пересказала В.Ф.Ходасевичу: «<Милюков> защитил уже Винавера, выкинув из Адамовича все, кроме “казенных восхвалений”. Sic transit...» (Письма к Берберовой и Ходасевичу. С.46).

<sup>6</sup> О какой статье Адамовича идет речь, установить точно невозможно. Скорее всего, конечно, о названной в примеч. 2, но возможно, что о какой-то из напечатанных в «Звене» «Литературных бесед» – об А.Яковлеве и Ю.Терапиано (27 июня) или о Есенине (4 июля).

<sup>7</sup> Владимир Ананьевич Злобин (1894–1967) – поэт, постоянный спутник Мережковских на протяжении долгих лет, выполнявший обязанности их литературного секретаря, а после смерти ставший хранителем архива. Автор воспоминаний о Гиппиус «Тяжелая душа» (Вашингтон, 1970). Отметим недавнюю обширную публикацию: Письма В.А.Злобина З.Н. и Д.С. Мережковским / Публ., вступ. ст. и комм. Т.Пахмусс // *Revue des études slaves*. 1999. №1; 2000. №3-4.

## 3

&lt;Июль 1926&gt;

## Многоуважаемая Зинаида Николаевна

Я уезжаю в это воскресенье в «семейную» экскурсию в горы, – на один день только. Если Вы позволите, я приеду к Вам в будущее воскресенье, т. е. 25-го, кажется. Мне очень хочется поговорить с Вами, не о чем-либо определенном, а «вообще». В одиночестве я с каждым днем тупею и боюсь этого. А возвращаясь от Вас, в вагоне я поймал себя на том, что «обдумываю» разные литературные планы и мысли, даже и не реализуемые. Вот результат поездки в Канн.

А ведь Волынский все-таки умер<sup>1</sup>. Мне его жаль, но ведь это «тема»<sup>2</sup>, так что – «в нем горе с радостью боролось». Вот как низко падает человек.

Искренний привет Дмитрию Сергеевичу и Владимиру Ананьевичу.  
Целую Ваши руки. Преданный Вам

Г.Адамович

Одолели ли Вы Винавера?<sup>3</sup>

<Адрес в Ницце>

Датируется на основании упоминания о смерти А.Л.Волынского.

<sup>1</sup> Аким Львович Волынский (Флексер; 1861–1926) – известный критик и историк искусства, скончался 6 июля 1926. Об отношении Адамовича с ним см. в комментариях О.А.Коростелева (Эпизод сорокапятилетней дружбы-вражды: Письма Г.Адамовича И.Одоевцевой и Г.Иванову (1955–1958) // Минувшее. Вып.21. С.427).

<sup>2</sup> «Литературные беседы» Адамовича, посвященные памяти Волынского, см.: Зв. 1926. №182, 25 июля. С.1-2 (перепеч.: Адамович-2. С.40-43).

<sup>3</sup> См. примеч. 2 к предыдущему письму.

4

<Не ранее 13, не позже 25 июля 1926>

Многоуважаемая Зинаида Николаевна

Ввиду крайней жары разрешите приехать к Вам к 8 час. вечера (в воскресенье). Днем в вагоне – ад.

Спасибо за литературные новости. Я ничего не знаю и ничего не вижу. Есть ли в «Верстах»<sup>1</sup> Резников<sup>2</sup>? Он мне прислал на днях свои стихи для «Звена», и я отослал их туда «с рекомендацией». А ведь, кажется, он изболел в «Верстах» Ходасевича<sup>3</sup>.

Напрасно Вы упрекаете меня в «кокетестве». Не грешен. Я, конечно, верю Вашим честным отзывам об «Ухвате»<sup>4</sup>, но «помоги моему неверию»<sup>5</sup>. Ведь там Кобяков – заправила<sup>6</sup>! Всего хорошего. Целую Ваши руки.

Искренно Ваш

Г.Адамович

Датируется на основании следующих сопоставлений: первый номер журнала «Версты» вышел в июне 1926, по крайней мере до 5 августа Адамович его не видел (см.: Письма в «Звено». С.144), 13 июля его еще не было и в руках у Гиппиус (см.: Письма к Берберовой и Ходасевичу. С.3). Судя по письмам, Адамович был у Мережковских 25 июля 1926 и там узнал об их реакции на «Версты».

<sup>1</sup> «Версты» – парижский журнал, три номера которого вышли в 1926–1928, заслуживший репутацию крайне левого и едва ли не подкупленного большевиками. Особенно резок был Ходасевич в статье «О “Верстах”» (СЗ.

1926. Кн.29; перепеч.: *Ходасевич В.* Собр. соч. Апп Арбор, 1990. Т.2. С.408-417). О реакции Адамовича и Гиппиус на первую книгу журнала см. ниже.

<sup>2</sup> Резников Даниил Георгиевич (1904–1970) – поэт, лауреат конкурса журнала «Звено», проведенного в конце 1926 – начале 1927 (подробнее см. в коммент. О.А.Коростелева: Адамович-1. С.433-534). Доброжелательные отзывы Адамовича о его стихах см.: Там же. С.435-436, 450. Стихи его в «Звене» более не появлялись.

<sup>3</sup> В августе 1926 (письмо не датировано) Адамович писал М.Л.Кантору: «Резников действительно там <в «Верстах»> что-то пискнул, и не стоит его поэтому в “Звене” обижать» (Письма в «Звено». С.150). В первом номере «Верст» Резников рецензировал пятый том московского альманаха «Круг», однако никакого «изобличения» Ходасевича в рецензии нет (в основном она посвящена разбору произведений Б.Пильняка и Андрея Белого). Сама возможность таких нападков могла показаться Адамовичу не отвечающей добрым литературным нравам, поскольку незадолго до того Ходасевич в статье об итогах конкурса «Звена» (Дни. 1926. 14 марта; перепеч.: Собр. соч. Т.2. С.395-398) довольно резко критиковал премированное стихотворение Резникова. Ср. в письме к М.Л.Кантору от 26 июля 1926: «Затем о Резникове. Я свою рекомендацию беру обратно, ибо, вероятно, напечатание его повлечет разрыв с Ходасевичем, хотя это было бы и глупо. Но что поделаешь» (Письма в «Звено». С.143).

<sup>4</sup> «Ухват» – парижский сатирический журнал, шесть номеров которого вышли в 1926. Ср. в письме Гиппиус к Н.Н.Берберовой от 13 июля 1926: «Не понимаю закулисной стороны “Ухвата”. Не можете ли меня информировать?» (Письма к Берберовой и Ходасевичу. С.3).

<sup>5</sup> Мк. 9: 24.

<sup>6</sup> Кобяков Дмитрий Юрьевич (1902; по др. данным 1894 – 1977) – поэт, редактор журнала «Ухват», после войны член французской компартии, «Союза советских патриотов», в конце 1950-х вернулся в СССР. Рецензируя его сборник «Вешняк», Адамович писал в «Звене» 14 марта 1926: «...я вспомнил слова Малларме о том, что прозы в мире не существует: “Есть алфавит; все, что не алфавит, – стихи”. Только при таком, все в себя вмещающем определении поэзии сборник Кобякова можно счесть за сборник стихов. <...> Сами по себе наброски Кобякова приятны: в них есть акварельная легкость письма и легкое волнение. Но они крайне незначительны...» (Адамович-1. С. 429-430). 19 июля 1926 Гиппиус писала Ходасевичу: «Да, Кобякова я никогда в глаза не видала. Твердо помню, что никто его не приводил ко мне. Неужели я его с кем-нибудь спутала?» (Письма к Берберовой и Ходасевичу. С.55).

## 5

<Начало августа (до 5) 1926>

Дорогая Зинаида Николаевна

Вчера я приехал из *Beauvezer*'а. Там очень хорошо, и, может быть, я туда еще вернусь. Если позволите, в воскресенье буду у Вас.

Почему «люди лучше ангелов», по Соловьеву? Мне бы хотелось знать, так ли я догадываюсь об этом, как решает Соловьев<sup>1</sup>? К стыду своему, я ничего его не читал.

Я думаю, что «Звено» (но это *конфиденциально*) будет просить Вас написать о «Верстах и вообще» – если только не убоится Вашей резкости. Согласитесь ли Вы, если получите гарантию, что ничем Вас не стеснят и не ограничат<sup>2</sup>?

Всего хорошего. Целую Ваши руки.

Преданный Вам Г.Адамович

<Адрес в Ницце>

Датируется на основании письма Адамовича к М.Л.Кантору от 5 августа, цитируемого в примеч. 2.

<sup>1</sup> Скорее всего, имеется в виду концепция, изложенная Вл. Соловьевым в «Чтениях о Богочеловечестве» (Соловьев В.С. Соч.: В 2 т. М., 1989. Т.2, особ. с.136-160), хотя непосредственно об ангелах там не говорится.

<sup>2</sup> В письме, датируемом комментатором «не позднее 2 августа 1926» (на самом деле, как следует из публикуемого нами письма №3, от 26 июля) Адамович писал М.Л.Кантору:

Теперь о делах литературных: я был вчера у Мережковских. Она разъярена «Верстами» до последней крайности, рвется в бой, но сокрушается, что никто ее статьи о «Верстах» не напечатает, *потому что* она была бы слишком резка. Я осторожно намекнул о «Звене», но не настаивал... Как Вам кажется? По-моему, «Звену» нужно что-то вспырнуть и оживить. Жалеть же эту компанию не приходится, и щадить самолюбие тоже.

(Письма в «Звено». С.143)

Получив неизвестное нам ответное письмо, 5 августа он писал ему же:

С Зин<аидой> Гиппиус я поговорю послезавтра, но выйдет ли что-нибудь – не знаю. Она согласится, вероятно, только при условии «*pleins pouvoirs*» <максимальных полномочий (франц.)>. Хорошо было бы, если бы Макс<им> Моис<еевич> или Вы ей об этом написали и «пувуары» дали бы. Вообще жаль, что она у нас так мало пишет, потому что она все время жалуется, что ей *писать негде*.

(Там же. С.144-145)

Очевидно, что именно получение письма от Кантора дало Адамовичу возможность намекнуть Гиппиус на желание редакции получить от нее статью. О дальнейшей судьбе все же написанной Гиппиус статьи см. ниже.

6

<Начало августа 1926.

Адрес в Ницце>

Многоуважаемая Зинаида Николаевна

Отвечаю «с возвращением курьера». Я свободен, конечно, не только в воскресенье, но в воскресенье человек празднично настро-

ен. Оттого я к нему и «привязался». Если Вы уедете в Colmar на этой неделе, надеюсь, Вы мне до того напишете. Поеду ли я – еще не знаю наверно. Есть препятствия всякого рода.

Как же мне не радоваться темам, и Волинскому! Мне самому, если бы лично для себя, хочется писать о многом, но во-1) – я боюсь навязываться лично, со своими вкусами, и потому ищу *общественного*, над которым сам отчаянно зеваю порой, во-2) мне интересны почти всегда стихи и всякие мысли, от стихов приходящие и от них дальше идущие, а это никому не интересно, во-3) и главное, Вы наверно требует «актуальности» во что бы то ни стало. А книг у меня нет, никто мне их не шлет, и ничего я не читаю летом, кроме французов. Вот и получается иногда статейка вроде той, что в последнем «Звене», которую я перечитывал «с краской стыда», не за самые «мыслишки», а за вялость их и топтание на месте<sup>1</sup>. А о Волинском (или, по-Вашему, – Флексере!<sup>2</sup>) я писал с большим увлечением, и если бы мне Вы его не стали развенчивать, написал бы дифирамб; а так получился некролог кислотоватый<sup>3</sup>. Вот, меня все время, и сейчас, занимает мысль: надо ли писать, как Розанов и отчасти Цветаева (и как, кажется, Вам нравится – Вы писали об этом в статье о Розанове<sup>4</sup>), т. е. передавая все движения и движеньица сознания языком, или надо обезличиваться, закруглять и сдерживаться? Я всячески сочувствую второму типу стиля, анти-розановскому, но не надеюсь в этом когда-нибудь кого-нибудь убедить и помышляю, не лучше ли сдать. Ведь «обезличивая и закругляя» всегда кажешься слегка тупицей, «делопроизводителем», и сухость кажется просто бедностью. Цветаева ведь в размышлениях своих только потому и держится (кое-как, но все-таки держится), что обогащает Осоргина и Степну<sup>5</sup> живостью и «талантливостью» изложения. Простите, боюсь Вам надоест болтовней. Но это как раз из области «не интересного» для читателей или для Милюкова. Отчего, кстати, Вы не можете написать о романе Д<митрия> С<ергееви>ча<sup>6</sup>? Я решительно этого не понимаю. Найдутся, конечно, люди, которые усмехнутся, заподозрят Вас в пристрастии. Но стоит ли с этим считаться? Не обращаетесь ли Вы только к «благородному читателю»?

Целую Ваши руки. Не откажите передать мой поклон Дмитрию Сергеевичу и Владимиру Ананьевичу, который ко мне не приехал.

Преданный Вам

Г.Адамович

Основание для датировки – появление некрологической статьи Адамовича об А.Л.Волинском 25 июля и упоминание о статье в «последнем “Звене”» (см. примеч. 1).

<sup>1</sup> Скорее всего, речь идет о «Литературных беседах», посвященных книге А.Я.Цинговатова «А.А.Блок» и журналу «Новая Россия» (Зв. 1926. №183, 1 августа. С.1-4). Гораздо менее вероятно, что речь идет о серьезной статье «Миф в современной литературе» (Зв. 1926. №185, 15 августа. С.1-2). Обе статьи перепечатаны: Адамович-2. С.44-53.

<sup>2</sup> С А.Л.Волынским (которого она действительно неизменно называла его настоящей фамилией) Гиппиус в свое время связывали чрезвычайно сложные отношения. Подробнее см.: Письма З.Н.Гиппиус к А.Л.Волынскому / Публ. А.Л.Евстигнеевой и Н.К.Пушкаревой // Минувшее: Исторический альманах. Вып.12. Paris, 1991; *Волынский А.Л.* Русские женщины / Предисл., комм., публ. А.Л.Евстигнеевой // Там же. Вып.17. М.; СПб., 1994; «A Fairy Tale of Love»? The Relationship of Zinaida Hippus and Akim Volynsky (Unpublished Materials) / Publication of Stanley J. Rabinovitz // Oxford Slavonic Papers. 1991. New Series. Vol.14. P.121-144. Немало материалов, относящихся к данной теме, собрано в кн.: *Толстая Е.* Поэтика раздражения: Чехов в конце 1880-х – начале 1890-х годов. М., 1994.

<sup>3</sup> См. общие оценки Волынского у Адамовича: «Нельзя, да и не надо сразу же подводить итоги этому наследству. Оно сложно, почти хаотично. В нем много золота, но еще не промытого <...> забывалось, что Волынский коверкает и насирует русский язык, допускает неточности в цитатах и текстах, извращает факты, сам себя опровергает. <...> Волынскому недоставало истинного знания, подлинной осведомленности...» (Адамович-2. С.41-43).

<sup>4</sup> Речь идет о начале воспоминаний Гиппиус «Задумчивый странник», где она говорила о соотношении личности и литературного стиля В.В.Розанова: «Писанье, или, по его слову, “выговариванье”, было у него просто функцией. Организм дышит, и делает это дело необыкновенно хорошо, точно и постоянно. <...> между ощущением (или мыслью) самими по себе и потом этим же ощущением, переданным в слове, – всегда есть расстояние; у Розанова нет; хорошо, плохо – но то самое, оно; само движение души» (*Гиппиус З.Н.* Стихотворения. Живые лица. М., 1991. С.314). Ср. у Адамовича: «Ремизов запальчиво отстаивает в послании к Розанову его, розановский, а заодно и свой, ремизовский, стиль, т. е. разговорно-бессвязную, неупорядоченную речь в противоположность языку книжно-холодному, мертво-канцелярскому, ученому, “высокому”. Интереснейший и сложный вопрос! Хотелось бы когда-нибудь “поднять перчатку”, брошенную Ремизовым...» (Адамович-2. С.56-57).

<sup>5</sup> Федор Августович Степун (Степпун; 1884–1965) – философ и беллетрист. В 1926 жил в Дрездене. Подробнее о нем см. статью Ф.Полякова на с.677 наст изд.

<sup>6</sup> Речь, судя по всему, идет о романе Д.С.Мережковского «Мессия», который начал печататься в СЗ (№27). В письме от 26 июля 1926 Адамович рассказывал М.Л.Кантору: «я ей <Гиппиус> прошлый раз говорил, что она может написать статью о Мережковском (ей хочется), не обращая внимания на зубоскалов, которые ее заподозрят в кумовстве. Она предложила Милюкову, и тот отказался. Зинаида и пала духом» (Письма в «Звено». С.143). Ср. также примеч. 12 к письму 13 наст. публ.



7

&lt;13 августа 1926.

Адрес в Ницце &gt;

Дорогая Зинаида Николаевна

Уведомляю Вас о случившемся: я получил из «Звена» просьбу срочно написать о «Верстах» («иначе будет поздно, *не актуально*»)<sup>1</sup>. Им известно, что Вы послали Вашу статью Милюкову<sup>2</sup>. Я написал, но, боясь совпадений, ударился в крайний эстетизм, а под конец даже в эстетическую слезливость. Кажется, ни Вы, ни Ходасевич<sup>3</sup> на эти области не претендуете. У меня смысл и резюмэ: «Противно держать в руках, дурной тон», почти без объяснений или с объяснениями туманными<sup>4</sup>. У меня был расчет, что если бы Вы все-таки захотели дать Вашу статью в «Звено», Ваш «подход» (на языке «Верст») был бы для «Звена» нов, – так я предполагаю, по крайней мере.

Вы удаляетесь в пустыню? По-моему, Вам следовало бы до удаления во всеуслышание и всенародно заявить о причинах его, о редакторах, гонениях и стеснениях<sup>5</sup>. Я уверен, что это имело бы огромный *retentissement*<sup>6</sup>. И, пожалуй, сам Милюков<sup>7</sup> устыдился бы и напечатал, хотя бы в «дискуссионном порядке». А вообще-то я не понимаю, как можно писать статьи «для себя» или для далекого будущего. Стихи – другое дело. Но статья, мне кажется, всегда пишется с полуотвращением. Всегда «не то», и никакой компенсации, которая ведь все-таки есть в стихах.

Спасибо за «о любви»<sup>8</sup>. Я знал только середину. Вчера о Блоке Г.Иванов писал: Блок повторял: «Смерть сильнее любви»<sup>9</sup>. Иванов, пожалуй, врет. Но помните ли Вы у Розанова, кажется, в «Темном лике», письмо к нему какого-то его корреспондента о заутрене под Пасху, о «грусти» под Пасху, потому что никто никогда не воскресал, и вообще все кончается смертью<sup>10</sup>. Я, может быть, путаю, но, кажется, так, и все это мне вспомнилось при чтении Вашей «надменной» статьи. И еще – зачем Вы обижаете Платона и миф о «половинках»<sup>11</sup>. Это, может быть, и грубо – теоретически, – но конкретно и потому *прелестно*, в серьезном, не легкомысленном смысле слова. Простите за мою все развивающуюся привычку писать длинноболтливые письма. Если можно, я приеду к Вам во вторник и еще, если можно, вечером. Мне неловко «навязываться на обед», но ведь это Вы меня приучили. А в другое время не выходит. Я в Beauvezer не поехал по причине Монте-Карло – все то же<sup>12</sup>. Если во вторник неудобно – будьте добры, сообщите мне и назначьте день.

Целую Ваши руки.

Ваш

Г.Адамович

Основание для датировки – дата публикации статьи Г.Иванова (см. примеч. 9).

<sup>1</sup> Адамович несколько лукавит. В недатированном письме к М.Л.Кантору он говорил: «“Версты” я прочел и хочу о них что-либо написать. Гиппиус написала в “Посл<едних> нов<остях>” и теперь жалеет, что ей не предложили в “Звено”, потому что там ее сокращают и стесняют. Я напишу очень мирно, без злобы, которой у меня и нет. Поздновато, но ведь повинны в этом Вы: Вы собирались написать о них сразу и так и оставили это намерение. Если бы я знал, что Вы еще напишете, я бы “Версты” оставил в покое. Но, кажется, Вы отказались от этого. Если нет, – не пожалейте денег на телеграмму, а, м<ожет> б<ыть>, можно и Вас, и меня пустить, ибо книг выходит мало, а это все-таки “том”, да и со знаменитостями» (Письма в «Звено». С.150). Его статья опубликована: Зв. 1926. №186, 22 августа. С.1-2. Известен и отзыв Гиппиус о ней: «Володя <В.А.Злобин> говорил, что вам не нравится Адамович о Верстах. Я не нахожу, чтобы это было уж так плохо. Я ему говорила, что его беда – “*âme flottante*” <нерешительная душа. – (франц.)>; но у него уж такой “не боевой темперамент”, по его словам; кроме того – его связывало нежелание “отругиваться”» (Письма к Берберовой и Ходасевичу. С.7).

<sup>2</sup> Т. е. в газету «Последние новости». См.: *Антон Крайний*. О «Верстах» и прочем // ПН. 1926. 14 августа.

<sup>3</sup> Имеется в виду статья: *Ходасевич Вл.* О «Верстах» // СЗ. 1926. Кн.29; перепеч.: *Ходасевич В.* Собр. соч. Т.2. С.408-417.

<sup>4</sup> См. в статье Адамовича: «Бунин, говоря о “Верстах”, заметил: “Книга дурного тона”. Каюсь в эстетизме: я с радостью прочел эти слова, так редко звучащие на нашем языке, в нашей критике, и считаю их упреком верным и решающим. “Моветонство” “Верст” невыносимо» (Адамович-2. С.54). Гиппиус пересказала со своими комментариями этот фрагмент его письма в письме к В.Ф.Ходасевичу от 19 августа 1926 г.: «Адамович, по заказу Звена, также написал о Верстах; но, не зная моей статьи и боясь совпасть, – залез, говорит, в эстетику до слезливости. А кроме того – говорит, что боялся очень ругать, чтобы не подумали, что он бранится потому, что его выбрали. Словом, не предвижу ничего хорошего, да и он сам что-то слишком извиняется» (Письма к Берберовой и Ходасевичу. С.55).

<sup>5</sup> Письмо Гиппиус, на которое отвечает Адамович, нам неизвестно, однако, судя по всему, изложенные там мысли близко сходились с теми, что были высказаны ею в различных письмах. Например, В.Ф.Ходасевичу 9 августа она писала:

Оглупение мое – результат работы над ненормальной и непосильной задачей: написать о шайке Верст – все время думая не о ней, а о Милокове. Две недели не спала и не ела, все изворачивалась, кучу бумаги изорвала, каждую мысль в 30 пеленок заворачивала, которые тут же и меняла опять... а результат – фельетон, себе самой противный, но в смысле Милокова такой, что Дм<итрий> С<ергеевич> заставил меня его даже и не посылать. <...> Я не писала «вольно» со времени «Общего Дела», и последняя вольная статья – первая в Совр<ременных> Зап<исках>. С тех пор пошла музыка другая – et voilà.

(Письма к Берберовой и Ходасевичу. С.50)

И в письме к М.М.Винаверу от того же дня:

Почти неделю была занята очень трудной работой и даже чувствую от нее некоторое оупение. Главное – трудной не по существу, а по той необходимости «приспособляться», к которой мне трудно привыкнуть. Какое все-таки счастье писать «вольно», думая о теме и не думая о «редакторе», – как я писала раньше (и как я писала статью о вас). И как иногда мучительно искать выражение для своей мысли не самое точное, но самое «мягкое», что называется – писать «с оглядкой», все время «мазать». Вот уже 4 года я в этом положении, и, кажется, придется прибегнуть к героическим мерам, чтобы еще сохранить остаток способностей к писанию: на некоторое время совершенно отказаться писать для печати, а писать, как я пишу стихи: ни для чего, просто потому, что пишется, и когда пишется, и никуда не отдавать. «Дневник в пустыне», как я говорю. Этот мой «писательский отъезд в санаторию» уже совсем на мази: от «Современных записок» я уже формально отказалась на некоторое, неопределенное время, несмотря на дружеские узы, с ними меня связывающие. То же, само собою, делается с «Последними новостями», и – скажу вам откровенно – что более всего жаль мне расстаться со «Звеном». Между мной и его редактором еще не было и тени конфликта; все, что я для него писала, – я могла быть уверена, что труды мои не пропадут. Но... тут же я сурово себе возражаю, что если санатория – то режим надо выполнять во всю меру; что, наконец, если я к «Звену» никогда не «приспособлялась», то ведь и нужды не было, ввиду тем, а также определенной формы, где мне, конечно, дана, внутри известных рамок, свобода.

(Письма в «Звено». С.146-147)

11 августа она еще раз несколько подробнее написала Ходасевичу:

Я вам писала, что Демитрий Сергеевич смотрит на мою статью в смысле Последних Новостей вполне безнадежно, и даже предлагал ее не посылать Милюкову, уж скорее, говорит, Винаверу! Это предложение вызвало у меня «горькую усмешку»; однако с тех пор я имела сведения, что Звено было бы не прочь, если б я написала о Верстах. Это, конечно, по наивности, но все-таки... Теперь же все бесполезно, ибо нечто уже испугавшее Милюкова – Звено физически не может принять (Милюков – редактор и Звена). Но получается такая глупая история, что моя попытка заколодила вас, да и самое Звено: Адамович ждет результатов со мной, и о Верстах пока в Звене воздерживается. (Он, конечно, сумеет «смазать» так, как мне не удалось, при всех моих усилиях.) В конце концов – при моем решении удалиться в писательскую пустыню или «санаторию» для восстановления умственных способностей, – я готова на все решительно наплевать и на мою статью в первую очередь.

(Письма к Берберовой и Ходасевичу. С.51)

Однако «всенародного» объяснения, несмотря на убеждения Адамовича, Гиппиус так и не написала. Более того, 11 сентября она признавалась в письме к Винаверу: «признаю, что рассердилась, погорячилась, и что если удалиться в пустыню – то надо тихомолком, исподволь и без объявления

причин... Ну, дальше будет виднее» (Письма в «Звено». С.151). Сотрудничества в парижской печати она не прекращала.

<sup>6</sup> Резонанс (*франц.*).

<sup>7</sup> Имя П.Н.Милюкова употреблено здесь как имя редактора газеты «Последние новости».

<sup>8</sup> Имеется в виду статья Гиппиус под таким названием (см. примеч. 8 к письму 1 наст. публ., а также первая ее часть – ПН. 1925. 18 июня).

<sup>9</sup> См.: «Главным образом Блок говорил о смерти и о любви. Сильней ли смерти любовь? Блок качал головой. – Нет, нет, это выдумка трубадуров, – смерть сильнее. Он молчит минуту, точно взвешивает свои мысли. Да, смерть сильнее любви» (*Иванов Г. Блок // ПН. 1926. 12 августа; перепеч.: Иванов Георгий. Стихотворения. Третий Рим. Петербургские зимы. Китайские тени. М., 1989. С.428.*)

<sup>10</sup> Судя по всему, имеется в виду письмо, подписанное «В.З-цкий», помещенное в книге В.В.Розанова «Темный лик: Метафизика христианства» (*Розанов В.В. Религия и культура. М., 1990. С.448-455*), хотя не все подробности переданы Адамовичем точно.

<sup>11</sup> Имеется в виду диалог Платона «Пир» (189d – 193a). Об этом мифе Гиппиус довольно подробно писала в статье «О любви».

<sup>12</sup> Адамович был страстным игроком. См., например, в воспоминаниях И.Одоевцевой (*Одоевцева И. Избранное. М., 1998. С.714-740*).

8

Дорогая Зинаида Николаевна

Стихи я Вам сегодня послал и после того получил Ваше письмо<sup>1</sup>. Насчет «Звена» и гонорара я все сделаю, т. е. напишу «деликатно». У них летом непорядок<sup>2</sup>. Ладинского я имени не знаю, кроме того, что он «Ан.» или «Ант.»<sup>3</sup>. По-моему, чтобы он не избаловался, к чему он и все «они»<sup>4</sup> имеют большую склонность, – Вам лучше и не узнавать, как его зовут. Пусть содержится в страхе Божьем и в почтении. Если можно, не согласитесь ли Вы переменить понедельник на вторник или среду, – когда Вам удобнее, я не знаю. Целую Ваши руки.

Преданный Вам

Г.Адамович

19 августа <19>26

<sup>1</sup> Вероятно, имеется в виду стихотворение «Дон-Жуан, патрон и покровитель...» (подробнее см. примеч. 2 к следующему письму).

<sup>2</sup> Скорее всего, речь идет о гонораре за рецензию на книгу Винавера: *Гиппиус З. Лик человеческий и лик времен («Недавнее») // Зв. 1926. №182, 25 июля. С.2-4.*

<sup>3</sup> Антонин Петрович Ладинский (1895–1961) – поэт, прозаик и журналист. Жил в Париже, после войны стал членом «Союза советских патрио-

тов», в 1950 выслан из Франции, переехал в СССР в 1955. Начал печататься в эмигрантских журналах как раз с 1926. Гиппиус писала о нем в письмах к Н.Н.Берберовой от 13 июля 1926: «Последнее стих<творение> Ладинского в “Днях” мне довольно понравилось» (Письма к Берберовой и Ходасевичу. С.3-4) и к В.Ф.Ходасевичу от 9 июля (по поводу стихотворения «Муза»: СЗ. 1926. Кн.28): «А Ладинский... какой-то бесхвостый. (Это, впрочем, понятно, почему.)» (Там же. С.46). Вместе с тем Ладинский у нее бывал и с нею переписывался (см.: Там же. С.55, 63).

<sup>4</sup> Имеются в виду молодые парижские поэты.

## 9

<Конец августа или начало сентября 1926>

Дорогая Зинаида Николаевна

Я вернулся из долгого и утомительного путешествия третьего дня. Собрался сегодня Вам писать, а утром получил Ваше письмо. Спасибо. На этой неделе, в конце, я еду в Париж. Можно ли быть у Вас во вторник? Если не будет «contre ordre», можно ли принять за согласие?

Деньги из «Звена» Вам, по моим сведениям, посланы. А стихи Берберовой я тоже послал<sup>2</sup>. Вот все дела. Ну, а «не дел» мало, и хотя их при встрече и в разговоре всегда целиком забываешь, но писать слишком долго. (Главное же не «мне писать», а «Вам читать».) Целую Ваши руки.

Преданный Вам

Г.Адамович

Датируется по связи с предыдущим и последующим письмами.

<sup>1</sup> Отмены (франц.).

<sup>2</sup> Имеются в виду стихотворения Адамовича «Дон-Жуан, патрон и кровитель...» и Гиппиус «Ответ Дон-Жуана» для готовившегося к изданию первого номера журнала «Новый дом». 28 августа 1926 Гиппиус писала Н.Н.Берберовой: «Адамович сказал мне как-то, что он написал стихотворение; я просила его прочесть, но он обещал написать и прислать и действительно на другой день прислал. Оно меня вдохновило, к моему собственному удивлению, на *ответ*, в совершенно той же форме – только с иным содержанием. Когда, в след<ующий> свой приезд, Ад<амович> сообщил мне, что его стихотворение предназначается для Нов<ого> Дома, я спросила его, не согласится ли он, чтобы тут же, рядом, был и мой ответ? Спрашивать было надо, ибо хотя ответ по существу, но злой глаз мог бы усмотреть там обидное. Ад<амович>, однако, согласился, и я попросила его послать вам *оба* стихотворения вместе» (Письма к Берберовой и Ходасевичу. С.6). Ср. там же ее суждения по поводу двух стихотворений в письме от 9 сентября, из которых следует, что Берберова уже получила текст обоих стихотворений.

Дорогая Зинаида Николаевна,  
я уже давно в Париже и давно собираюсь Вам писать, но все откладываю. Во-первых, никаких событий здесь не произошло и отчета дать не в чем, во-вторых – причины и дела личные. Я мало кого вижу и мало что слышу. Появление Ходасевича в «Посл<едних> Н<овостях>» – Вы сами уже видели<sup>1</sup>. Говорят, что Струве расстается с «Возрождением»<sup>2</sup>. Вот все. Как Вы живете? Я собираюсь опять на юг, недели на две, – если устрою полный отпуск из «Звена». Мне хотелось бы Вас особенно «комплиментировать» за «Мальчиков и девочек», хотя я читал их с тысячью возражений в голове<sup>3</sup>. Из Вас и из Талина, который мне не нравится<sup>4</sup>, я извлек очередную «Беседу» – довольно нескладную, потому что тема такая, что все ускользает из рук<sup>5</sup>. Кроме того, от меня требуют настойчиво «актуальности» и «литературы», т. е. «вот вышла новая книга Пильняка». Я лично связан с поколением «мальчиков», я отлично помню вечер, описанный Талиным, когда Есенин пел частушки, и у Рюрика Ивнева, на Симеоновской<sup>6</sup>; а В.Ч-й – на которого Талин ссылается – Чернявский, редкий идиот и во всем неудачник, потому-то от всего теперь и отрекающийся<sup>7</sup>. Это он сказал про Реймский собор, – <слово густо замазано> я Вам потом рассказывал. Мне кажется, что если Вы, не столько Ант. Крайний, сколько З.Гиппиус, заключаете союз с Талиным по нападению на декадентство *со всеми его последствиями и окружением*, то как только достигнете общей победы, Ваш союзник на Вас же и обратится. Видите, я слегка под влиянием Св<ято-полка>-Мирского<sup>8</sup>. Талин одобряет «религиозное оправдание демократии» и Антона Крайнего, а поэта и «З.Гиппиус» он пока как будто не видит. Так приблизительно Венгеров «истолковал» Ибсена, восхищаясь им: смысл Ибсена – Нора, «светлый тип». А Гедда Габлер – ломака, не стоит обращать внимания<sup>9</sup>. Впрочем, все это отвлеченно, и мне самому не совсем ясно. Мне стыдно Вам надоедать стихами, но я хочу написать восемь строчек, довольно старых, сочиненных в размышлении на темы «мальч<иков> и девочек»:

Без отдыха дни и недели,  
Недели и дни без труда...  
На синее небо глядели.  
Влюблялись. И то не всегда.  
И только... Но брезжил над нами  
Какой-то божественный свет,  
Какое-то легкое пламя,  
Которому имени нет...<sup>10</sup>

Это в оправдание чувства «мы – соль земли». 1/1000 доля тут была истиной.

Я в глубоком смущении с «Мессией»<sup>11</sup>. Написать «с налету», кое-как – кое-что, я не хочу. Эстетически и формально, о языке или типах, – было бы слишком глупо. А другого я еще *не понимаю* (м<ожет> б<ыть>, потому, что мало знаю все эти египетские дела?) Не думайте, что я прошу «шпаргалку». Но пока, до новых «Совр<еменных> Зап<исок>», я писать подожду, п<отому> что не хочу писать ощупью<sup>12</sup>.

Простите за длинное и бестолковое письмо. Целую Ваши руки и прошу передать поклон Дмитрию Сергеевичу и Владимиру Ананьевичу.

Ваш Г.Адамович

207, Boulevard Raspail  
chez Madame Frouin<sup>13</sup>  
Paris XIV  
30 сентября <1926>

<sup>1</sup> В.Ф.Ходасевич начал печататься в газете «Последние новости» (до того он состоял в числе постоянных сотрудников газеты «Дни») с 30 сентября 1926. Гиппиус писала ему по этому поводу 1 октября: «Поздравляю от души П<оследние> Н<овости> с вами, а вас “с приятным бонжуром”. Давно бы так. Чего киснуть было в этой коробке – ни красоты, ни радости. Красоты, положим, не найдется много и в П<оследних> Н<овостях> <...> а радость найдется, если и дальше так пойдет, с “наплывом” подписчиков и объявлений» (Письма к Берберовой и Ходасевичу. С.64).

<sup>2</sup> Петр Бернгардович Струве (1870–1944) был редактором газеты «Возрождение» с ее основания (первый номер – 3 июня 1925) и до 18 августа 1927, т. е. расставания его с «Возрождением» в данный момент еще не произошло. Однако и Гиппиус писала Ходасевичу в уже цитированном письме от 1 октября «Если же назовут назревающие события, т. е. банкротство “Дней” (знаем из первоисточников), превращение газеты Вождя в некое “Сегодня” с Амфитеатровым вместо обманувшего расчеты Гукасова Струве (знаем из полупервых рук)...» (Письма к Берберовой и Ходасевичу. С.64). Подробнее см.: Яковлева Т. П.Б.Струве и газета «Возрождение» // Свой голос (Иркутск). 1993. №1; Струве Г. Страница из истории зарубежной печати: Начало газеты «Возрождение» // Мосты (Мюнхен). 1959. Кн.3.

<sup>3</sup> Имеется в виду: Гиппиус З. Мальчики и девочки // ПН. 1926. 17 сентября (перепеч. вместе с упоминаемыми далее статьями В.И.Талина: Долинский М., Шайтанов И. Мальчики и девочки: З.Гиппиус и В.Талин в парижской газете «Последние новости» // Октябрь. 1991. №9. С.160–165). Отвечая на это письмо, Гиппиус 3 октября говорила: «Письмо приятное, прежде всего потому, что умное. Вы, ничего не зная о моих петербургских полемиках с Португейзисом и вообще не зная об этой... ну, не змее в букете, а червяке в фиге, – отлично угадали его природу и наши литературные отношения» (Пахмусс. С.339).

<sup>4</sup> В.И.Талин (Семен Иосифович (Осипович) Португейс, другой постоянный псевдоним – Ст. Иванович; 1880 или 1881–1944) – публицист. Посвятил разбор статьи Гиппиус две своих – «Предгрозовье» (ПН. 1926. 24 сен-

тября) и «Племенные» и «бесплеменные»» (ПН. 1926. 1 октября). Ср. также ответ Гиппиус: Чего не было и что было // ПН. 1926. 15 октября. Подп.: З.Н.Г. Ср. в уже цитированном письме Гиппиус к Адамовичу от 3 октября: «К его первой гадкой и вральной статье я написала “фактические поправки”, просила Игоря всунуть их до его второй статьи, но Порт<угейс> одолел Игоря и пролез со второй. Я написала PS (все это нежным, поневоле, голосом) – теперь не знаю, что будет. Посмотрим, как они мне рот зажмут» (Пахмусс. С.339). Упоминаемый в тексте Игорь – секретарь «Последних новостей» И.П.Демидов.

<sup>5</sup> Имеется в виду «Литературная беседа» в «Звене» от 3 октября (перепеч.: Адамович-2. С.90-95; там же, с.422-425 – содержательный комментарий О.А.Коростелева, где цитируется оценка этой «беседы», данная Гиппиус).

<sup>6</sup> Имеется в виду описание вечера у не названного по имени в статье поэта Рюрика Ивнева (Михаил Александрович Ковалев; 1891–1981), сделанное упомянутым далее В.С.Чернявским.

<sup>7</sup> Чернявский Владимир Степанович (1889–1948) – поэт и чтец, автор воспоминаний о Есенине (Звезда. 1926. №4), которые цитирует в своей статье Галин.

<sup>8</sup> Святополк-Мирский (подписывался также Д.С.Мирский) Дмитрий Петрович (1890–1939) – поэт, литературный критик, один из авторов и фактический редактор «Верст». С 1931 – член компартии Великобритании, в 1932 приехал в СССР, умер в заключении.

<sup>9</sup> Венгеров Семен Афанасьевич (1855–1920) – историк литературы, библиограф. Адамович карикатурно передает его методику анализа произведения (насколько нам известно, специально о Г.Ибсене и конкретно о любимой Адамовичем его пьесе «Гедда Габлер» Венгеров не писал).

<sup>10</sup> Стихотворение Адамовича было опубликовано: Зв. 1923. 17 сентября; Цех поэтов (Берлин). 1923. Кн.4.

<sup>11</sup> Роман Д.С.Мережковского, печатавшийся в «Современных записках» (1926. Кн.27-29; 1927. Кн.30-32).

<sup>12</sup> О рецензии Адамовича см. в примеч. 7 к письму 13. Возможно, именно к его вопросам относятся слова из письма Гиппиус от 3 октября (начало рассуждения находилось на утерянной странице): «Не отрицает, что ему это будет полезно; однако уверен, что только что-то поймет он – как вы поймете все “другое”» (Пахмусс. С.340).

<sup>13</sup> К этому месту относится замечание Гиппиус в ответном письме: «А что это за Mme Frouin chez qui <Мадам Фруан, у которой (франц.)> вы живете? Впрочем, все равно, если вам не грозит опасность на ней жениться» (Там же).



Теперь я наконец выбрался из Парижа и нахожусь в Ницце – но ненадолго<sup>1</sup>. Когда можно к Вам приехать? Я совершенно свободен, и какой бы Вы день и час ни назначили, мне всегда удобно. Буду очень благодарен за сообщение. Целую Ваши руки и посылаю искренний привет Дмитрию Сергеевичу и Владимиру Ананьевичу.

Преданный Вам

Г.Адамович

«Звено» очень ждет Вашей статьи о М.М.<sup>2</sup>

Основанием для датировки служит упоминание о статье Гиппиус памяти М.М.Винавера.

<sup>1</sup> 22 сентября 1926 Гиппиус сообщала Ходасевичу: «Адамович теперь вышел из пределов моей досягаемости – вернулся в Париж, где он там у вас под рукой...» (Письма к Берберовой и Ходасевичу. С.63).

<sup>2</sup> Речь идет об упоминавшейся выше статье Гиппиус «Его вчерашние слова» (см. примеч. 2 к письму 2 наст. публ.).

## 12

<Конец октября – начало ноября 1926.

Адрес в Ницце>

Дорогая Зинаида Николаевна

Я простужен и не мог к Вам приехать. Ивановы<sup>1</sup> вчера собирались, но сегодня позвонили мне, что из-за дождя не идут. Оттого я и не прислал Вам телеграммы: было поздно. Простите. Я уезжаю в Париж, вероятно, в воскресенье, – если поправлюсь. Едва ли мне удастся до отъезда быть у Вас, – что мне очень жаль. Надеюсь, что Вы скоро будете в Париже, ибо Côte d'Azur<sup>2</sup> в такую слякоть мало привлекательна. Целую Ваши руки и благодарю вообще за «благодарность». Искренний привет Дмитрию Сергеевичу и Владимиру Ананьевичу.

Преданный Вам

Г.Адамович

P.S. У меня к Вам большая просьба: не напишете ли Вы мне имя и отчество Фундаминского (я знаю от Вас только «Илюша»)<sup>3</sup>; или, м<ожет> б<ыть>, В<ладимир> А<наньевич> позвонит мне об этом, если ему не трудно?

Г.А.

Датируется по связи со следующим письмом.

<sup>1</sup> Речь идет о Г.В.Иванове и И.В.Одоевцевой.

<sup>2</sup> Лазурный берег (франц.).

<sup>3</sup> Фундаминский (Фондаминский) Илья Исидорович (1880–1942) – общественный деятель (член ЦК партии эсеров), журналист, один из редакторов «Современных записок». Погиб в Освенциме.

Дорогая Зинаида Николаевна

Решил Вам написать сразу по приезде, но у меня столько скучнейших дел с поисками квартиры и других в том же роде, что до сих пор не поспел. Благодарю Вас за отчество Фундаминского. Я и с ним до сих пор никак не могу наладить «контакта». Когда Вы приедете в Париж? Я видал Ходасевичей, они говорят, что, кажется, не скоро<sup>1</sup>. Новостей тут особых нет, кроме того, что «Новый дом» вызывает возмущение «молодежи»<sup>2</sup>. Но это нормально. Мне кажется, что Вл<адимир> А<наньевич> все-таки «переборщил» о Цветаевой, Эфрон должен был бы вызвать его на дуэль<sup>3</sup>. Стихи ее туманны, а он их комментирует слишком определенно. Мне очень нравится Ваша статья там<sup>4</sup>, я Вам это уже говорил. Но напрасно Вы так напали на мысли г-на Х<sup>5</sup>. Не стоит, – потому что мало ли мыслей выражаешь «на пробу», без окончательной за них ответственности. Об «отвращении» к статейкам – как раз такая мысль. У меня отвращения нет, – наоборот, говоря искренно. Но со стороны и теоретически я «статеек» не уважаю, как уважаю стихи, – поэтому и притворяюсь, что скучно писать и даже отвратительно. Если находятся защитники статей во имя каких-то высших соображений, – то *хотя я этих соображений и не понимаю*, все-таки радуюсь, что статьями заниматься – не совсем пустое дело. Так, прочтя «Dostoievsky à la roulette»<sup>6</sup>, я тоже был крайне польщен. Написал я в ближайшее «Звено» о «Мессии», и, кажется, плохо (честное слово, без кокетства). Т. е. начал издавека, о Дм<итрии> С<ергеевиче> вообще, и о «Мессии» не сказал ровно ничего, все к концу скомкалось. А так как я всегда пишу в последнюю минуту, то не мог уже изменить. Все это очень глупо и очень жалко. Пожалуйста, напишите мне подробно Ваше впечатление от этой «беседы», и если зайдет у Вас о ней разговор с Дм<итрием> С<ергеевичем>, то и его<sup>7</sup>. J'ai mis toute ma bonne volonté<sup>8</sup>, и если меня постигла неудача, то потому что сейчас я вообще в очень дурном периоде, очень «катастрофическом» по многим причинам и совершенно не могу сосредоточиться. Вот прочтите в том же «Звене» диалог о смерти Бахтина<sup>9</sup>. Я слышал его в чтении вслух, и мне кажется это прекрасно. Так благородно, так «окончательно» в смысле уместности каждого слова, что я даже впал в зависть. Притом мне это ничуть, нисколько не нравится, я только «отдаю должное». И я рад за «Звено», что там такие вещи печатаются. А вот мой заместитель Мочульский оказался не совсем на высоте, – правда?<sup>10</sup> «Звено» очень жаждет от Вас *чего бы то ни было*. Вы ведь обещали и хотели до чего-то «договориться»: если Вы не скоро приедете, *не сделаете ли Вы этого письменно?*<sup>11</sup> Я только что прочел Вашу статью о «С<овременных> Зап<исках>» и увидел, что Вы наконец

решились писать о людях, Вам близких. Мне очень хотелось бы, чтобы это кто-нибудь где-нибудь «поддел», – чтобы иметь возможность написать *вообще* на эту тему, что давно бы следовало сделать<sup>12</sup>.

Вот, кажется, все – «литературное». Плохо в литературе то, что если отдаться ей целиком, то она выходит плохая и плоская от пустоты, от «безжизненности», а если усиленно заниматься жизнью, то литература получается плохая от спеха и вечного «кое-как». Вот в бахтинском диалоге, который так мне нравится, есть все-таки безжизненность и что-то школьное. Но зато все доделано. Не знаю, как найти середину<sup>13</sup>. Оттого, в конце концов, и любишь стихи, что лучше всего они создаются «из пепла жизни», как у Некрасова, после шулернических ночей. Ну, а статейку так не написать. Кстати, читали ли Вы Larochfoucauld и особенно предисловие к «Maximes»<sup>14</sup>? Я только что прочел, в первый раз, и совершенно поражен, как это умно и замечательно. Пора кончать, по-видимому. Надеюсь, что Вы мне напишете, не сердитесь на мое долгое и невежливое молчание. Адрес все тот же, увы: Bureau de poste №43 (150, rue de Rennes), poste restante, мне<sup>15</sup>. Целую Ваши руки.

Преданный Вам

Г.Адамович

11/XI-1926

<sup>1</sup> 4 (с прибавкой: «или 5») ноября 1926 Гиппиус писала В.Ф.Ходасевичу: «Эти же “интимные” обстоятельства – т. е. почти внезапная здесь дороговизна и крайнее наше в данную минуту “поиздержанье” – заставляют нас отложить отъезд еще на две или три недели. Что называется – не с чем “сняться”. У Д<митрия> С<ергеевича> одних книг – 2 сундука!» (Письма к Берберовой и Ходасевичу. С.70).

<sup>2</sup> «Новый дом» – журнал под редакцией Довида Кнута, Нины Берберовой, Юрия Терапиано и Всеволода Фохта, три номера которого вышли в 1926–1927. Гиппиус была заинтересована в издании журнала, многое обсуждала в переписке с Берберовой и Ходасевичем. Адамович опубликовал в первом номере стихотворение «Дон-Жуан, патрон и благодетель...» (см. выше). Негодование «литературной молодежи», судя по всему, было вызвано тем, что журнал с подобным названием ориентировался на творчество уже известных писателей.

<sup>3</sup> В.А.Злобин рецензировал в первом номере «Нового дома» сборник «Версты», где весьма резко отозвался о поэзии М.Цветаевой:

...Следовало бы вместо поднятого над журналом красного флага повесить – красный фонарь. Тогда сразу бы многое объяснилось. Показались бы уместными не только специфические ругательства Артема Веселого и его цыганщина, но и Ремизов с некрофильским влечением к Розанову, с которым он, воистину, как с мертвым телом, делает, что хочет. О Марине Цветаевой нечего говорить. Она-то, во всяком случае, на своем месте. И как ей, в ее положении, не вздыхать, что мы в этот мир являемся «небожителями», а не «простолуди-

нами» любви, т. е. больше идеалистами, чем практиками «О когда б, здорово и попросту», восклицает она: –

В ворохах вереска бурого  
...на же меня! Твой.

А затем, спокойно разойтись, ибо:

Не обман страсть и не вымысел!  
И не лжет – только не дли!

Но Цветаева все же не теряет надежды, что когда-нибудь, «в час неведомый, в срок негаданный», люди, наконец, почувствуют:

Непомерную и громадную  
Гору заповеди седьмой,

и сбросят ее с плеч, – «обнажатся и заголятся» <...>.

Важна общая тенденция «Верст», их неодолимое влечение к безличному, к не-человеческому. Вот почему всем существом Цветаева – против любви единственной, вечной верности, ибо ни в чем так не утверждает личность, как в этой любви.

Кстати, совсем не к месту над поэмой Цветаевой эпиграф из Гельдерлина: этот немецкий поэт-романтик с Цветаевой ни в чем не сходится, и менее всего во взгляде на любовь. Он любил всю жизнь одну, воспевал одну и даже в безумии остался ей верен. Напрасно поэтому пытается Цветаева с ним «перекликаться». Лучше бы с Коллонтай.

(Новый дом. 1926. №1. С.36-37)

Предположение Адамовича насчет мужа Цветаевой Сергея Яковлевича Эфрона (1893–1941) не было оригинальным. Еще не получив этого письма, в тот самый день, когда оно было написано, Гиппиус сообщала Ходасевичу: «Володя с нами не приедет не оттого, что боится Эфрона...» (Письма к Берберовой и Ходасевичу. С.72), а 12 ноября – Берберовой: «Володя, на замечание, что Эфрон как муж должен теперь В<олодю> бить, – очень правильно ответил: “Да это *ее* он должен бить, а не меня!” Конечно, раз доказано, что она сидит под красным фонарем!» (Там же. С.14).

<sup>4</sup> Статья Гиппиус – «Прописи» (подп.: Антон Крайний).

<sup>5</sup> См.:

Х. говорит:

– Не понимаю, как можно писать прозу, «статьи» – для себя, не по нужде и не к сроку. Стихи – другое дело. И стихи, конечно, всегда «не то», но статьи пишешь с заведомым «полуотвращением», и уж без всякой компенсации, которую получаешь от стихов.

В этих словах очень много содержания. Прежде всего, они опять напомнили мне: есть в стихах, в стихосложении для молодых наших современников, – какая-то отравка. Поэзия представляется «высшей сферой», а поэт – «первым чином» <...>.

Словом, поэзия становится высшим критерием. Бог, не имеющий права быть Богом, – идол. Идол поэзии так же противен, как всякий другой.

И «полуотвращенье» к прозе, к «статьям» – знак интересный. Можно, конечно, писать статью и не с «полу», а с совершенным отвращеньем, но другая пишется с неменьшим «захватом», чем стихи.

<...> Но душа-то одна, и не любить чувственно свою мысль («полу-отвращение») можно или мало ее ощущая или ее не имея. Неприязнь к прозе очень часто объясняется *отсутствием общих идей*.

Это немалая беда нашей современности и современных «служителей искусства».

(Новый дом. 1926. №1. С.17-18)

<sup>6</sup> «Достоевский за рулеткой» (*франц.*). Имеется в виду книга: *Fulop Miller R., Eckstein Fr. Dostoievski à la roulette / Trad. de H.Legros. Paris, 1926.* Об этой книге в «Звене» писал В.Вейдле: Достоевский за рулеткой // Зв. 1926. №186, 22 августа. С.5-6 (подп. Д.Лейс).

<sup>7</sup> Имеется в виду очередная статья из цикла «Литературные беседы» (Зв. 1926. №198, 14 ноября. С.1-2; перепеч.: Адамович-2. С.106-110). В тот же день, 14 ноября, Гиппиус писала Адамовичу:

О вашей очередной беседе Д<митрий> С<ергеевич> сказал, что сам вам напишет, если успеет, а пока просит вас передать его слова... которые я передам потом, а сначала просто расскажу, что он говорил со мной о вашей статье, это интереснее – не правда ли?

Говорил прежде об общем, потом о частном. Говорил, что, ведь, не в его самолюбии дело, и не первой важности, «хвалебная» статья или нет. Важно – важно ли то, что он говорит, и *что это такое*. Заметил, что об «одиночестве» – не совсем верно, и он сам пожаловаться на «абсолютное» – в сущности бы не смел. Оно было, главное, в России, и теперь, почти абсолютное, в эмиграции. Но в Европе, там и здесь, всегда были люди, знающие, *о чем* он говорит, потому что думающие сами *о том же*. С другой стороны, не всегда и не во всем *лень* читательская причина; кроме нее – есть какое-то странное (или не странное) внутреннее противодействие именно идеям *такого* рода. Внутренний отпор, что ли, противное течение, другая вся «линия». То есть как бы «не корми меня тем, чего я не ем», и других не корми, потому что и они не едят или *должны* не есть. Д<митрий> С<ергеевич> признал, как вы сами пишете, что заметка немного сбита и скомкана в конце (я тоже это нахожу: если б за счет почтительных похвал самому Мережковскому прибавить несколько слов о сути того, что он говорит о Мессии, или хочет сказать – вышло бы *стройнее*). Но тут же сказал, что написана заметка «прелестно», со свойственной вам тонкостью и нежностью иронии (тут я делаю поправку и замечаю, что иной раз вы перетончаете иронию так, что грубоглазые ее и просто не видят; иногда же тонина ваша пахнет слабостью).

(Пахмусс. С.341-342)

Ни письма Мережковского к Адамовичу, ни передачи его слов мы не знаем.

<sup>8</sup> Я старался изо всех сил (*франц.*).

<sup>9</sup> Имеется в виду статья: *Бахтин Н. Похвала смерти* // Зв. 1926. 14 ноября. Николай Михайлович Бахтин (1894–1950) – филолог и философ, старший брат М.М.Бахтина, постоянный сотрудник «Звена». Гиппиус высоко ценила его творчество. См., например, в письме к Н.Н.Берберовой от 26 июля 1926

относительно приглашения в журнал «Новый дом»: «В числе сотрудников я не усматриваю Бахтина. Он, правда, странный человек, с ним трудно, но все-таки очень человек, т. е. довольно редкая ценность» (Письма к Берберовой и Ходасевичу. С.5). И несколькими днями позже, 2 августа: «У меня к нему самая “несчастливая любовь”, ни на одно письмо, даже деловое, не могу от него двух слов ответа добиться, но это не мешает мне относиться к нему с совершенно неизменной и справедливой благосклонностью» (Там же. С.7).

По поводу данного диалога Гиппиус писала Адамовичу в том же письме от 14 ноября:

Теперь насчет Бахтина. Читая его, я приходила все в большее и большее удовольствие, пока... не прочла до половины или до трех четвертей. С этой третьей четверти я, если бы не стояла на своих ногах и страдала еще, как многие, «внутренним беспорядком», – немедленно полетела бы вместе с Бахтиным вниз... куда? В бездну? Как бы не так! Даже не в бездну, а просто в лужу *дешевого* эллинизма, той его поверхностной линии, которая сосуществовала с другой, глубокой. Насколько я вспоминаю (подробности спрошу у Дмитрия Сергеевича) – это была линия Эпикура, шедшая против, – (а вернее, около, – бочком, петушком) – линии Элевзинских мистерий. Теперь, в современности, как и вышло в данном случае у Бахтина, – линия Эпикура и не может отражаться иначе – только с надломом посередине. Так что, собственно, не выходит и линии. Боже мой! какой черт приставлен к этому замечательному человеку – Бахтину? Идет он, идет по доске, твердо и смело, и вдруг черт специально дернет его за ногу, и пиши пропало! Вне этих моих вздыханий – думаю, хорошо бы нам всем устроить несколько битв с Бахтиным, не прямо на данную тему, на какую угодно, самую конкретную, – все будет (битвы) об одном, и все интересно и нужны. А насчет данной его статьи – вот еще что: возьмите мою *Чертову Куклу* <...> и посмотрите, как называется там «Письмо Самоубийцы» Достоевского. Оно в *Дневнике писателя*, но заглавия я не помню. В *Чертовой Кукле* оно приведено в выдержках, оно у меня – тема собрания Религиозно-Философского Общества (очень интересно прочесть его <письмо> целиком). Но речь – возражение моего героя (Юрули) – абсолютно совпадает по всей сути своей с тем, что говорит в *Звене Бахтин*. С той разницей, что мой герой логичнее, ибо сам, в себе, логичнее. <...> Лучше не передавайте Бахтину *всего*, что я вам написала; боюсь, что вы меня уроните в его глазах, а я уж предпочитаю сама урониться, когда с ним увижусь. Но поклон обязательно передайте.

(Пахмусс. С.342-344)

Адамович также очень высоко ценил Бахтина и четверть века спустя назвал его одним из самых замечательных людей, встреченных за долгую жизнь: *Адамович Г.* Памяти необыкновенного человека // Новое русское слово. 1950. №14030, 24 сентября. С.8.

<sup>10</sup> Имеется в виду статья К.Мочульского «Литературные беседы» (Зв. 1926. №197, 7 ноября. С.1-2), где рецензировались «Ров львиный» А.Ремизова и «Разными глазами» Ю.Слезкина. Константин Васильевич Мочульский (1892–1948) – историк литературы, критик, постоянный сотрудник

«Звена». Во время отъездов Адамовича Мочульский три раза (данный случай был последним) заменял его в самой популярной рубрике «Звена» «Литературные беседы». 14 ноября 1926 З.Гиппиус ответила Адамовичу: «Что касается вашего “заместителя”... мы с вами о нем говорили, и довольно были, кажется, согласны. В Беседах он остался верен себе. Насчет “хлесткости”, впрочем, заткнул вас за пояс. Да и Антона Крайнего, пожалуй, – в последних его проявлениях» (Пахмусс. С.343).

<sup>11</sup> По поводу этого пассажа Гиппиус отвечала Адамовичу: «Насчет *Звена* – все при свидании. Мне надо почувствовать, чем там пахнет, атмосферу, – о которой вы мне понятия дать не хотите» (Пахмусс. С.343). Имеется в виду, что после смерти редактора «Звена» М.М.Винавера в журнале могли произойти изменения.

<sup>12</sup> Речь идет о статье: *Антон Крайний*. Современные записки. Кн.29 // ПН. 1929. 11 ноября. Там говорится, среди прочего, и о романе Мережковского «Мессия». Отвечая Адамовичу, Гиппиус говорила: «я, пожалуй, и могу писать иногда о Д<митрии> С<ергеевиче>, хотя бы те несколько слов, которые написала <...>; но не кажется ли вам, что как правило, как “вообще” – это опасно? Что, если о Бунине начнет писать Вера Николаевна, о Таманине – доктор Манухин, о Кокто – un de ses petits... “prisonniers” <один из его маленьких... “пленников” (франц.)> (говоря модным словом)? Может быть, действующее правило (или обычай) благодетельно нас охраняют?» (Пахмусс. С.342). Упоминаются: жена И.А.Бунина Вера Николаевна (урожд. Муромцева; 1881–1961), писательница Татьяна Ивановна Манухина (1886–1962), писавшая под псевдонимом Т.Таманин, и ее муж И.И.Манухин, о котором см. примеч. 15 к письму 21 наст. публ.

<sup>13</sup> По этому поводу Гиппиус отвечала: «...мне хотелось еще насчет той середины, или равновесия, или гармонии “прияженности” и “выдумки” (мысли), о которых вы пишете. Вы пишете очень верно, но... не ищите этой “середины”, т. е. специально не ищите. Она сама придет, если сумеет быть верным одному правилу (очень трудно!): “Считай то дело, которое сейчас делаешь, самым важным и делай его хорошо, т. е. во всю силу”. Как будто непонятна связь, не правда ли? Но вдумайтесь, взглядитесь, и увидите» (Пахмусс. С.343).

<sup>14</sup> Речь идет о книге Ф. де Ларошфуко (*La Rochefoucauld*; 1613–1680) – фамилию его Адамович пишет с ошибкой – «Размышления, или Моральные изречения и максимы» (1665).

<sup>15</sup> *Poste restante* – до востребования (*франц.*). Ср. в ответном письме Гиппиус: «Ваши “poste restante” и “увы” дают пищу моему гротескному воображению и рисуют такие образы: утром вы заседаете в *Звене*, днем шатаетесь под хлябями парижскими, в сумерки – на Монмартре, а ночью спите, свернувшись, под дверями запертого бюро №45» (Пахмусс. С.344).

### Дорогая Зинаида Николаевна

Прежде всего: о каких «обидках» может быть речь? Если мне что-нибудь «обидно», то только то, что Вы могли это заподозрить. И

никакого «ощущения, что меня хотят распропагандировать»! Я не собираюсь льстить сам себе, но, право, такой мелочности во мне нет. Поэтому об этом говорить не стоит.

Удаляюсь или уклоняюсь? Тоже нет. «Мы никогда не изменяем»<sup>1</sup>. У меня к Вам в каком-то смысле «верность», – и прочная. Двух- или трехнедельные «уклонения» ничего не значат. Вообще, на мой вкус, «верность» – последняя и самая обаятельная вещь на земле. И предательствуя по пустякам, в целом все-таки «мы никогда не изменяем». А по пустякам надо; *pour démoraiser*<sup>2</sup>, в особенности «молодежь».

Кстати, меня удручила молодежь на «Лампе»<sup>3</sup>! – за исключением Берберовой, да и то в тоне только, но не по содержанию. Если прения будут продолжаться, я собираюсь броситься в объятия Талина, хотя «частично». Как они легко и глупо (сами не понимая, на что себя обрекают) отрекаются от России, и презрительно фыркают: «березки»! Я понимаю, можно отречься, но с горем и грустью, вообще «оторвать от сердца», но так, с налету, равнодушно и вяло, – разве это не подтверждение, что я был прав, с «*ne pas s'en faire*»<sup>4</sup>, написанным на их физиономиях! И Берберова, уверявшая, что лучшие вещи Пушкина – об иностранцах! Все это передержки. Вообще, «печально я гляжу на наше поколение»<sup>5</sup>. Есть ведь вещи, которые хороши и терпимы только пока встречают «бурную оппозицию». Такова мысль «не надо России». Но когда в ответ кивают головками: «Да, да, не надо», – это зрелище довольно противное. Ну вот. А маразм мой я не шутя вспоминаю, а со всей серьезной серьезностью. Но это дело сложное и постороннее. Целую Ваши руки.

Преданный Вам

Г.Адамович

Датируется по дню собрания «Зеленой лампы».

<sup>1</sup> Парафраз строчки из стихотворения Гиппиус «Улыбка»: «Я изменяюсь – но не изменяю». См.: *Гиппиус З.Н.* Стихотворения. СПб., 1999. С.100 (Новая библиотека поэта).

<sup>2</sup> Чтобы деморализировать (*франц.*).

<sup>3</sup> Имеется в виду собрание «Зеленой лампы» 1 марта 1927, посвященное продолжению прений по докладу Гиппиус «Русская литература в изгнании», где Берберова говорила о «Маленьких трагедиях» Пушкина как его лучших вещах, хотя и написанных на иностранные темы, Довид Кнут упоминал про березки, и все, включая Адамовича, спорили с Талиным-Ивановичем.

<sup>4</sup> Имеется в виду одна из «Литературных бесед» Адамовича о лекциях Мережковского, в которой молодежь обвинялась в том, что «у нее на лицах написано: “*ne pas s'en faire*” или по-русски “моя хата с краю”» (Зв. 1927. №211, 13 февраля. С.1-2).

<sup>5</sup> Из стихотворения Лермонтова «Дума».



15

&lt;Между 10 и 17 июля 1927&gt;

Дорогая Зинаида Николаевна

Приехал в Ниццу и нашел Ваше письмо. Благодарю Вас.

Мне, конечно, очень хотелось бы к Вам приехать. Но я болен и нахожусь в расслаблении – поэтому двигаться на столь отдаленные расстояния мне трудно, в ближайшее время по крайней мере<sup>1</sup>. Вы, кажется, много путешествуете и бываете в Ницце – не заедете ли ко мне проездом? Мне бы очень хотелось Вас видеть. Сюда я приехал надолго, но «без всякого удовольствия». Я ничего не знаю, что делается на свете, и уже дней пять-шесть не читаю даже газет. Что Вы ополчились на «Звено»<sup>2</sup>? Звено как Звено, 64 страницы и все в порядке. Содержание, конечно, подгуляло (по-моему, *все*, кроме Вейдле о «Мире искусства»<sup>3</sup>), но по поводу того, что «это не журнал», – я Вас не понимаю. Это не «Современные» Записки – да. Но Вы ведь знаете, что «Звено» всегда тянулось к «декадентству» – по расположению и характеру матерьяла оно напоминает «Аполлон» или «Весы», и если бы еще ему бумагу *rag fil*<sup>4</sup> и какие-нибудь элегантные картинки на отдельных листах, все было бы хорошо. Но содержание первого номера – дрянненькое, я согласен. Я написал «все» – и вспомнил, что есть Ваш рассказ<sup>5</sup>. Я, конечно, говорю о статьях и подчеркиваю отношение к *самому себе*. Рассказ Ваш, по-моему, прелестен, – это, конечно, лучший «Мартынов» (плюс – первый<sup>6</sup>). Он мне смутно напоминает «Education sentimentale»<sup>7</sup> – книгу, которую я очень люблю, исключительно (и недавно с удовольствием узнал, что Блок считал ее «лучшим французским романом»<sup>8</sup>). Прочтите, если у Вас есть «Воля России», – прозу Цветаевой<sup>9</sup>. Стоит – если не литературно, то человечески. У Розанова есть фраза, три раза повторяющаяся в «Уединенном»: «Зачем я обижал Кускову?»<sup>10</sup> Я все думаю так о Цветаевой, – хотя это и она меня «обложила»<sup>11</sup>. Был я в Париже на лекции Марка Слонима<sup>12</sup>, который все время повторял: «опьять же бытовизм», «опьять же социальный заказ» и т.д.

Простите мне *gadotage*<sup>13</sup> – как Вы говорите. Это от одиночества, «строгой изоляции на два месяца». Целую Ваши руки и надеюсь на ответ. Не откажите передать мой поклон Дмитрию Сергеевичу и Владимиру Ананьевичу.

Преданный Вам

Георгий Адамович

&lt;Адрес в Ницце&gt;

Датируется на основании письма Гиппиус от 8 июля, на которое данное письмо является ответом, и ее же ответного письма от 19 июля. Обычный срок доставки писем из Ле Канне, где жили тогда Мережковские, в Ниццу к Адамовичу составлял два дня.

<sup>1</sup> Гиппиус начинала ответное письмо к Адамовичу от 19 июля: «Что это, Боже мой, как вам не стыдно? “Расслабление”... “безо всякого удовольствия”... “Болен”... Мне вот уж, кажется, позволительно, да и то я смотрю на свою хворобу, на то, что похудела, как нитка, и ничего не ем – как на “вину” (кто это сказал, что болезнь – “вина”?). Но серьезно – это вы в Париже засиделись. Если б я лучше себя чувствовала и, кроме того, “путешествовала” (как вы почему-то предположили) – я бы приехала взглянуть на ваше “расслабление”» (Пахмусс. С.349). Несмотря на оправдания в следующем письме Адамовича, судя по всему, он и на самом деле чувствовал себя в эти дни очень плохо. Ср. в его июльских письмах к М.Л.Кантору: «Я болен и в расстройстве чувств – физических и моральных. Правда, – и не думайте, что это деньги и карты. Я вам не надоедаю, а просто делюсь» (Письма в «Звено». С.154); «Я очень себя скверно чувствую, и мне трудно “сочинять”, особенно при противодействии домашних и доктора» (Там же. С.155).

<sup>2</sup> С 1 июля 1927 «Звено» стало появляться в виде не еженедельного, а ежемесячного журнала. В письме от 8 июля Гиппиус писала Адамовичу: «Если *Новый Дом* (журнал) когда-нибудь выйдет тоже “сиротского” вида, но внутри будет свеж и приятен, – пожалее ли я, что он не достиг изящной наружности *Звена*? Ибо *Звено*... *parдон*, это долгий и обстоятельный разговор, – когда вы приедете. Пока лишь одно: вам серьезно не кажется, что журнал еженедельный и ежемесячный – это “две большие разницы”? Допустим, Кантор, по неопытности, этого не знает, – но вы?» (Пахмусс. С.348). Несколько подробнее мнение Гиппиус о новом «Звене» узнаем из ее письма к В.Ф.Ходасевичу от 5 июля: «Звено... ах! При концентрации все стало видно. Образовался какой-то Кугель, только что упавший с луны» (Письма к Берберовой и Ходасевичу. С.78). О «Кугеле» см. примеч. 10 к письму 17 наст. публ.

<sup>3</sup> Вейдле В. «Мир Искусства» // Зв. 1927. №1. Об авторе этой статьи Адамович писал М.Л.Кантору в начале августа 1927: «Вейдле – которого все-таки, *après tout* <после всего – (франц.)> и несмотря ни на что, приходится ценить на вес золота, как “снобизм” настоящей пробы...» (Письма в «Звено». С.157).

<sup>4</sup> С водяными знаками (франц.).

<sup>5</sup> Имеется в виду рассказ Гиппиус «Что это такое? (Из мемуаров Мартынова)» (Зв. 1927. №1. С.31-39).

<sup>6</sup> Намек на то, что несколько ранее Гиппиус печатала в еженедельном «Звене» повесть «Мемуары Мартынова» (Зв. 1927. №211, 215, 217, 225, 227); окончена печатанием она была в журнале «Иллюстрированная Россия».

<sup>7</sup> Роман Г.Флобера «Воспитание чувств».

<sup>8</sup> Известно, что Блок высоко ценил творчество Флобера вообще и «Воспитание чувств» (переведенное, кстати, его бабушкой) особенно. Однако единственное прямое упоминание этого романа, которое хоть отчасти напоминает высказывание Адамовича, обнаруживается в статье «Крушение гуманизма»: «Во Флоберовском “Сентиментальном воспитании” заключено древнее воспоминание, перед которым гуманные основы общежития начинают казаться пустой побрякушкой» (Блок А. Собр. соч.: В 8 т. Т.6. М.; Л., 1962. С.109).

<sup>9</sup> Судя по всему, имеется в виду «Твоя смерть» (Воля России. 1927. №5-6), которую Адамович рецензировал (Зв. 1927. №2; перепеч.: Адамович-2. С.259-261).

<sup>10</sup> Эта запись находится не в «Уединенном», а в первом коробе «Опавших листьев» и не повторяется. См.: «Напрасно я обижал Кускову... Как все напрасно...» (Розанов В.В. О себе и жизни своей. М., 1990. С.225). Ср. также повторяющееся в «Смертном» и втором коробе «Опавших листьев»: «Что я все нападаю на Венгерова и Кареева. Это даже мелочно...» (Там же. С.135, 343).

<sup>11</sup> О литературных расприх Цветаевой и Адамовича см. отдельную книгу: Марина Цветаева и Георгий Адамович: Хроника противостояния / Сост., предисл. и примеч. О.А.Коростелева. М., 2000.

<sup>12</sup> Марк Львович Слоним (1894–1976) – литературный критик и политический деятель. Один из основателей журнала «Воля России». Адамович и Гиппиус относились к его деятельности весьма неприязненно.

<sup>13</sup> Болтовня (франц.). В дальнейшем Адамович использует также русскую транслитерацию этого слова.

16

&lt;21–22 июля 1927&gt;

Дорогая Зинаида Николаевна

Я льщу себя надеждой на «переписку из двух углов»<sup>1</sup> – пока я не могу к Вам ездить. Я не знал, что и Вы плохо себя чувствуете. Все мне говорили (еще в Париже), что много разъезжаете, – вот я и решил, что Вы, подобно Вашему герою, «летаете между Ментоной и Сен-Рафаэлем»<sup>2</sup>. Ведь у Вас есть где-то француз, интересующийся литературой и автомобилем<sup>3</sup>?

Ваше письмо очень меланхолично, и оттого Вы на меня рассердились за мое «расслабление». Конечно, «болезнь – вина», я не сомневаюсь. Т. е. не болезнь, а разговор об этом с другими. (Впрочем, как и молитва: слабость, т<ак> к<ак> унинительно, т. е. нельзя признаваться. Я когда-то жил на одной квартире с Георгием Ивановым и позвал его, из другой комнаты, вечером: «Поди сюда». – «Подожди, я молюсь Богу!»!! В простоте душевной он был прав, пожалуй, – но я глубоко возмутился.<sup>4</sup>) Обо всем таком я писал шутя. И не столько меня одолели «хворости», сколько неприятности – порядка самого низменного. Я очень люблю чью-то фразу у Чехова, кажется, в «Дяде Ване»: «Мир гибнет не от войн и землетрясений, а от мелких житейских дрязг»<sup>5</sup>.

Насчет «Звена» – это я настаивал на «всеобщей рецензентности» и из-за этого даже обидел насмерть Бахтина. Я сторонник компромиссов в таких делах. «Звено» гибнет матерьяльно. Оно может существовать только как орган осведомительный, с рассуждениями только по поводу фактов. Оттого – не статьи, а «рецензии». Ну, а что у нас в рецензиях нет мыслей – показывает, что за статьи лучше бы-

ло и не братья<sup>6</sup>. Я писал все в тот № наспех, оттого ограничился «ничем». А «Весы» и «Аполлон» – были хорошие журналы, и хоть убейте меня, я не пойму, как может то, что было хорошо в 1907 году, стать плохим в 1927. Не верю в «скоропортящность» таких вещей, и одно из двух: или всегда было плохо, или еще и теперь хорошо. Товарищ Герман явно склоняется к первому: «Была тогда острая полемичность...», – была бы и теперь<sup>7</sup>. Но с кем? Глас вопиющего в пустыне – все. Не спорить же со Слономом, – да и не о чем: он в своей плоскости прав<sup>8</sup>. Вообще нужна полемичность тона, вот хотя бы «плоскостей», чистых против нечистых, «аристократов» с плебсом, и так как полемики не выходит, то и получается – в лучшем случае, с одной стороны, брезгливая гримаса, а с другой – раздражение. Я все-таки за «Звено» отчасти отвечаю – и если бы *par le temps qui court*<sup>9</sup> ему удалось бы раздражать, я был бы доволен. Вот злобу «За свободу» я учитываю как «завоевание и достижение». Но, конечно, Философов – слишком высокая марка, т. е. в конце концов «свой»<sup>10</sup>. Надо бы, чтобы дрожь возмущения убуяла <так!> бы и всех Слономов, а их ничем не примешь. Помните, Вишняк<sup>11</sup> говорил в «Лампе»<sup>12</sup>: «Господа, нужна картина, но нужна и рама!» Ну вот, для них она – картина, а вокруг пусть будет рама, «чеканные сонеты» и т. п. И все обстоит благополучно.

Я, кстати, нахожусь в периоде полной потери последних остатков «ценностей», и даже когда читаю какие-нибудь стишки – сомневаюсь (серьезно): «хорошо» или «плохо», и если плохо, то почему? И вообще, еще раз вспоминаю Чехова: «И куда это все, и зачем это все – не знаю»<sup>13</sup>. Я это, уезжая из Парижа, сказал Кантору, указывая на невозможность при таких обстоятельствах заниматься критикой, на что он мне посоветовал читать Пушкина как «незыблемый критерий». Ох, сомневаюсь! – не говорите только Ходасевичу<sup>14</sup>.

Читаю я сейчас редкую мерзость – новый роман Эренбурга, в надежде, что, может быть, это лучше Пушкина вразумит меня, т. е. как теорема – «от обратного»<sup>15</sup>.

Что же «Новый дом»?<sup>16</sup> Меня очень занимает тема Вашей безработности – т. е. как тема для статьи. Вы бы могли потрясти умы и сердца, если бы написали об этом, но не с недомолвками и пообыденному, а патетически, как в набат.

Уверяю Вас, у нас так нежно все привязаны к «свободному слову», «нашему единому достоянию» и т. д., – что Вам все стало бы после этого открыто, и несколько месяцев, пока душа не успокоилась бы, Вы могли бы писать что угодно где угодно, даже в «Посл<едних> нов<остях>» обличать Милюкова. А самый манифест – дайте в столь нелюбимое Вами «Звено» – все-таки там терпимей, чем в других местах<sup>17</sup>. Но там не ругайте Милюкова – Кантор не перенесет. Прислал в «Звено» статью Талин – до чего мы дошли! Не

глупо, но ужасно серо, с праведным негодованием (против Шлецера<sup>18</sup> и музыкальных «снобов»), но, к сожалению, – провинциально. Не знаю, какая будет судьба этой статьи<sup>19</sup>.

Вот все мелочи и «рассуждения по поводу фактов». Надеюсь на благосклонный и милостивый ответ. У Вас ли Анненский? О его судьбе беспокоится и владелец, и другие личности, желающие «почитать»<sup>20</sup>.

Целую Ваши руки.

Преданный Вам

Г.Адамович

Датируется на основании того, что является ответом на письмо Гиппиус от 19 июля 1927, а на данное письмо Адамовича она отвечала 24 июля.

<sup>1</sup> Отсылка к названию известной книги, составленной из писем В.И.Иванова и М.О.Гершензона друг к другу (Пг., 1921).

<sup>2</sup> Имеется в виду рассказ Гиппиус «Мемуары Мартынова. IV. Ты – ты» (Зв. 1927. №225, 27 мая. С.7-9), где находим такие слова: «Пришлось бежать заменить велосипедом, а потом я взял маленький Рено и ездил один, порой как бешеный, просто чтобы метаться. Жил в ментонском Паласе, но, можно сказать, жил везде: и в Ницце, и в Монте-Карло, и в Каннах. <...> Хотелось быть сразу во всех местах: и в Каннах, и в Ментоне, и в Ницце» (С.7). Сен-Рафаэль в тексте не упоминается.

<sup>3</sup> О ком идет речь, неизвестно. В ответном письме Гиппиус говорила: «А «путешествие»... с французом нашим случилось несчастье: он – женился! Вы сами понимаете, что это такое. У нас есть еще прошлогодний «мусорщик», но сейчас он занят» (Пахмусс. С.353).

<sup>4</sup> В ответ на этот рассказ Гиппиус 24 июля ответила Адамовичу длинным рассуждением:

Теперь хочу сделать к вам одну поправку, раз навсегда, ибо я уже давно заметила одно смешение, которое вы делаете не замечая. Это будет рассуждение о рассуждении, но и для практики оно немало важно.

Я не в том уверена, что «болезнь – вина», как говорит это какой-то философ; во всяком случае, говорил он про вину в другом смысле, – в каком только и можно сказать. То есть вина – грех. Грех – «tare»... <убыль – (франц.)> и т. д., вы понимаете, если стали в эту плоскость. Можно стыдиться греха и даже считать его унижительным, но ведь это все в другом порядке; то же, о чем вы говорите (недаром соединили тут с молитвой), называется *целомудрием* и вытекает из тонкого – непременно тонкого! – ощущения праведной человеческой самости. Слово «целомудрие» – очень хорошее слово, необыкновенно широкое и, при широте, не теряющее своей глубины. Оно распространяется на любовь, решительно на всякую, на материнскую, на какую угодно (и на молитву, еще бы!). Я отлично понимаю, что вы возмущались простодушным: «Подожди, я Богу молюсь», но, может быть, вы поймете и такой случай: я влюбилась однажды в прекрасную даму с черной бархаткой на шее; было мне то-

гда пять лет; а когда она вдруг (при всех!) спросила меня: «Зиночка, так ты меня любишь?» – я предпочла сказать ей: «Нет! тьфу! дрянь!» (чтоб крепче было!). И наказание за «скандал» приняла гордо, как пострадавшая за правду. <...> Это комическая мелочь, капелька, но и в ней отражено то же «целомудрие». Оно может переплетаться кое-где с «самолюбием», но никогда с ним не сливается. Я нахожу женщин, в большинстве, грубыми именно потому, что они реже обладают *этим* целомудрием, а когда и обладают – его не понимают. Предлагаю вам им не подражать, не смешивать понятий и твердо знать, о чем вы говорите, когда об этом говорите. Ведь нужно еще и тут соблюдать меру, а как ее находить, не понимая, в чем?

(Пахмусс. С.352-353)

<sup>5</sup> Адамович по памяти приводит слова Елены Андреевны из второго действия «Дяди Вани». У Чехова: «Мир погибает не от разбойников, не от пожаров, а от ненависти, вражды, от всех этих мелких дряг...».

<sup>6</sup> Ответ на высказанное Гиппиус в письме от 19 июля мнение: «третье – о чем я и писала: тон всеобщей “рецензентности” в ежемесячном журнале должен бы измениться – в сторону все-таки тона “статейности”. Это оттенок неуловимый – если не хотеть его уловить или не уметь» (Пахмусс. С.350). Отметим, что и сам Адамович был не удовлетворен состоянием дел в «Звене». См. его рассуждения в письме к М.Л.Кантору от начала августа 1927 (Письма в «Звено». С.157).

<sup>7</sup> Опять полемика с тем же письмом Гиппиус, где говорилось: «Помимо моих исключительных личных несимпатий к à la *Аполлон* и à la *Весы* (что вы сурнуазно <от *sournois* (франц.) – скрытно.)> подчеркиваете), есть ведь и объективная непреложность времени или времен. <...> Это первое возражение. Второе – и все-таки дело не в бумаге. Весы были остро-полемичны, резки и широки, – терпимы к “товарищу Герману”, вашему покорному слуге, который и тогда не оставался липнуть в сахарной воде “искусства”, когда ему этого не хотелось» (Пахмусс. С.349-350). Упомянутый в обоих письмах «Товарищ Герман» – псевдоним, использованный в полемических целях сперва Гиппиус («Золотое руно» // Весы. 1906. №2), а затем В.Я.Брюсовым («Золотому руно» // Весы. 1906. №5).

<sup>8</sup> О М.Л.Слониме см. примеч. 12 к предыдущему письму. Ср. также в письме Адамовича к М.Л.Кантору от начала августа 1927: «Это приятно, что они <«Новый дом»> выходят, – будет с кем “полемизировать”, а то со Слонимом, право, тошно» (Письма в «Звено». С.157). И действительно, в годы сотрудничества в «Звене» Адамович совершенно игнорировал мнения Слонима.

<sup>9</sup> В наше время (франц.).

<sup>10</sup> Речь идет о резкой полемике, которую в течение 1927 года варшавская газета «За свободу!», одним из редакторов которой был Д.В.Философов (1872–1940), вела с парижскими журналами, в том числе со «Звеном» и с «Новым домом». Подробнее см.: *Богомолов Н.А.* Русская литература первой трети XX века. Томск, 1999. С.423-432.

<sup>11</sup> Марк Вениаминович Вишняк (1882–1975) – политический деятель, литературный критик, мемуарист, один из редакторов «Современных записок».

<sup>12</sup> Имеется в виду литературное общество «Зеленая лампа», первое собрание которого состоялось 5 февраля 1927. Наиболее подробная фактическая информация о ней – Зеленая лампа. См. также: *Терапиано Ю.* Литературная жизнь русского Парижа за полвека (1924–1974): Эссе, воспоминания, статьи. Париж; Нью-Йорк, 1987.

<sup>13</sup> Цитата из «Вишневого сада» – см. примеч. 5 к письму 36 наст. публ. Отвечая на эти жалобы, Гиппиус писала: «Знаете, мне даже нравится, что вы потеряли “последние остатки ценностей”. Уж терять так терять, дочиста. В этих случаях (т. е. когда самому кажется, что *все* теряешь) остаются, однако, нужные, неистребимые корни, из которых идут свежие ростки. Но вы еще не дошли “дочиста”. Еще на пути. А путь, по-моему, хороший, – революционный и возродительный (впрочем, и тут человек на человека не приходится: иной и возродился бы – да не успел, умер раньше). Критику действительно в таком состоянии писать трудновато: какая же оценка, раз нет ценностей! Что говорить, когда все все равно!» (Пахмусс. С.352).

<sup>14</sup> Имя В.Ф.Ходасевича упомянуто здесь как символ последовательного пушкинианства (заметим в скобках, что «незыблемый критерий» Адамовича может быть ритмико-интонационной отсылкой к названию знаменитой речи Ходасевича «Колблемый треножник»).

<sup>15</sup> Речь идет о недавно появившемся романе «В Проточном переулке» (Париж, 1927). Адамович рецензировал его в таких выражениях: «Читатель! Не совестно ли вам за автора <...>. Правильно говорят: бумага все терпит. Если бы не это долготерпение, она под эренбургским стихотворением в прозе рассыпалась бы от стыда и от злости» (Адамович-2. С.275). Продолжая тему «потери ценностей» (см. примеч. 13), Гиппиус писала Адамовичу 24 июля: «...читайте, читайте Эренбурга, есть же – пусть малая – надежда рассердиться. Сколько бы вы ни потеряли – до того состояния “неимения”, в каком находится Осоргин (только что написавший нежнейший отзыв об этом самом Эренбурге), вы не дойдете никогда. И кстати: разве так возмутительно, что у неимеющего Осоргина отнимается и то, что он имеет? Не должно ли так быть по правде?» (Пахмусс. С.352). Гиппиус называет рецензию М.А.Осоргина на роман «В Проточном переулке» (ПН. 1927. 21 июля; обширная цитата – *Попов В., Фрезинский Б.* Илья Эренбург в 1924–1931 годы: Хроника жизни и творчества. СПб., 2000. Т.2. С.211-212).

<sup>16</sup> На этот вопрос Гиппиус подробно отвечала в письме от 24 июля: «*Новый Дом*, в ожидании великих преобразований и богатых милостей, пока что высвобождается от несчастного факта (видимо, слово неверно прочитано публикатором и следует читать «Фохта»). – *Н.Б.*», превращается в *Наш Дом* и выходит в приблизительно прежнем виде. Грандиозные его проекции не исчезают, но откладываются до осени. *Наш Дом* – однако, нитка, которую нужно тянуть» (Пахмусс. С.351). О судьбе «Нового дома» вспоминала Н.Н.Берберова: «уже после первого номера (1926 г.) “Новый дом” оказался нам не под силу: Мережковские, которых мы позвали туда (был позван, конечно, и Бунин), сейчас же задавили нас сведением литературных и политических счетов с Ремизовым и Цветаевой, и журнал очень скоро перешел в их руки под новым названием (“Новый корабль”)» (*Берберова Н.* Курсив мой: Автобиография. Нью-Йорк, 1983. Т.1. С.317).

<sup>17</sup> Относительно этого рассуждения Адамовича Гиппиус писала 24 июля: «Насчет “манифеста”... вы, конечно, шутите? Но меланхолические шутки. Я, слава Богу, не Игорь Северянин, помноженный на Бальмонта, чтобы в данном положении, при данных обстоятельствах, с такими претензиями высказывать. На кой черт кому из Талиных и Шлецевов я нужна со всем моим багажом? Людей смешить? Вас развлечь? Нет, эти выстрелы из пробкового пистолета меня не соблазняют» (Пахмусс. С.353). Ср. также примеч. 5 к письму 7 наст. публ.

<sup>18</sup> Шлецер Борис Федорович (Фердинандович; 1884—1969) – литературный и музыкальный критик.

<sup>19</sup> Об этой статье Адамович писал также М.Л.Кантору: «Посылаю статью Талина, которую Вы мне переслали. Почему он мне прислал? По-моему, ее надо напечатать, хоть она преме́рзко написана (не в тоне “Звена”). Но содержание – живое и в общем верное, не сделать ли “в дискуссионном порядке”?» (Письма в «Звено». С.155). Такая статья в «Звене» не появлялась.

<sup>20</sup> 4 августа 1927 Гиппиус писала: «Книга Анненского у меня в Париже, вполне сохранна» (Пахмусс. С.359). Судя по всему, речь идет об экземпляре, описанном Адамовичем в очерке «Зинаида Гиппиус»: «Поэзию Иннокентия Анненского она в свое время полностью просмотрела <...>, а прочтя “Кипарисовый ларец” впервые в Париже, вернула мне книгу с замечаниями на полях столь безгранично безапелляционными и до смешного близорукими, что следовало бы экземпляр этот ради памяти ее уничтожить» (Одиночество и свобода. С.87-88).

17

<Штемпель: 26.7.<19>27>

Дорогая Зинаида Николаевна, у Вас тон ко мне, будто у «духовного отца» к грешнику или заблудшей овце: строгий, укорительный и наставительный. Я не знаю, действительно ли тверда Ваша уверенность, – или это только поза, чтобы другие, Боже упаси, не догадались бы? Мне лестно, что Вы на мои номера ценностей и все такое смотрите как на «не оживет, еще не умрет»<sup>1</sup>, или, как выходит по Гете: «Stirb und Werde!»<sup>2</sup> (кажется, так – я слаб по части немецкого языка). Лестно – но сам я далек от самообольщения, – и все мои симпатии к «невозродившимся», окончательно и бесповоротно. У меня давно есть литературный план, который я только едва ли выполню, хотя надо бы, – как «дело жизни»: написать апологию Вольтера и всего непривлекательного хвоста этой «кометы», вплоть до большевичков. Знаете, говоря серьезно, – ведь если есть Бог и в каждом человеке есть частица его, то, пожалуй, в Вольтере (даже не лично, а в вольтеризме) было его больше всего, и в Писареве, и вообще во всем, что у нас так презирается. Конечно, тогда и большевики, «электрофикация <так!> и индустриализация» как главное – ибо помощь «главному Духу» в организации хаоса, разум, la raison превыше всего. Если сейчас кое-что и компрометирует «разум», и



кажется, что «мы зашли в тупик» и т. д. – то можно ли сдавать так малодушно позиции, только что взятые приступом, и с таким упое-нием взятые? Собственно, все это у меня вызывает мало сочувствия, но посреди «мистики» и «православия» и всех таких прелестей – это благороднее и уж, конечно, мужественнее<sup>3</sup>.

Затем о молитве: я Вам написал о своем диалоге с Ивановым не только с целью предложить тему для «обмена мнений», но и наде-юсь, что Вы возмутитесь по поводу моего тогдашнего возмущения. И, возмутясь, Вы изложите свой «взгляд», – надеялся я. Что в мо-литве требуется доза целомудрия – я согласен (хотя в идеале – не нужно стесняться бы не стыдного!). Но на мой намек Вы никак не реагировали: молитва – слабость, «что-то надо мной», откуда я хочу помощи, бессилие. Оттого «стыдно» – и уж этот стыд едва ли цело-мудрен. Скорей, насколько бы ни различались религии и типы, – это «бесовская гордыня». И отсюда мост к «Вольтеру» (опять нарица-тельно): не хочу, не желаю, сам все устрою, а если не устрою, то все равно – лучше умру, чем буду «совместно плакать и вздыхать, о братия!» Скверно во всем этом то, что не хочу вздыхать только со-вместно, потому что тошно смотреть на соседей и собратьев по ни-чтожеству. А если «все исчезает – остается пространство, звезды и певец»<sup>4</sup> – тогда, пожалуй, можно. Но лучше, т. е. легче, рассказать про себя все самое гнусное и чудовищное, чем признаться: «Молил-ся Богу», – даже и тогда.

Мы, может быть, и даже вероятно, очень исключительные люди, но все дело в том, чтобы от себя не отказываться и ни на что глаза не закрывать. Уж если поднимать на плечи груз, то весь, со всеми Вольтерами и утонченно-«греховными» домыслами. И уж если пы-таться преодолевать, то уж все, мобилизовав к моменту преодоления все, что накопилось наименее преодолимого. Вы меня когда-то упре-кали, что я «деморализую» не то Фохта<sup>5</sup>, не <то> Терапьяну<sup>6</sup>, – я не деморализовал, а всего лишь «браковал» дурной товар, т. е. спокой-ствие и «убеждения», не проверенные по решительно и безусловно всем трубам соблазнов, смущений и сомнений и потому решительно ничего не стоящие иначе как *chaire á caupon*<sup>7</sup>. Ну, довольно этой ту-манной философии, в которой я сам путаюсь.

Напрасно Вы так насмешливо отвергаете мысль о манифесте ва-шей безработности. Это можно сделать, не впадая в Бальмонта и без единой комической ноты. Вообще не с личной досадой, а с общест-венной, – о чем уж никак не мне Вам давать совет. А какое это у Вас «сожжение кораблей» предполагается, и о чем Вы хотите моего «объективного» мнения?<sup>8</sup>

«Новый» или «Наш (?) Дом» меня очень интересует. Хоть бы там оказались в чести стихи, чего я никак не могу добиться от Кантора<sup>9</sup>. Он все ищет гениев и удивляется, что не находит. По-моему, стихи в

«Звене» или «Кугеле»<sup>10</sup> – одно хуже другого, и если отнять от них последнюю честь – гладкость, осталось бы пустое место, ноль, особенно Шах, гуляющий по Champs Elysées и Конкорд<sup>11</sup>. Ваш «деловой человек» М.Струве – все-таки получше, хотя таланта ему Бог дал скуповато<sup>12</sup>. Очень мне приятно, что полемика Злобин–Адамович Вами выкинута<sup>13</sup>. Это – духовная пища кисловатая. И если мне чего-либо жаль (у себя), то лишь замечания, что оптимизм не может быть мировоззрением<sup>14</sup>. Но эту «мыслишку» можно использовать в другом месте.

Устраиваете ли Вы «культурные и разумные» вечера при обилии у Вас высококвалифицированных соседей в Grasse и Cannet<sup>15</sup>? Брюсов жил летом в Крыму, – и об этом я читал длинные воспоминания, интересные даже<sup>16</sup>. Почему бы и Вам не писать сонеты сообща и не устраивать рефераты? Рефераты, конечно, чепуха, но проводить вечера в платоновских диалогах можно бы, и если это кажется нелепо, то лишний раз доказывает, что не все у нас тут, *ici-bas*<sup>17</sup>, благополучно. Лучше, чем просто пить «чай с вареньем»<sup>18</sup>. Вот я Пушкина каким-то краем чувства не люблю за «чай» превыше всего и неотразимо обаятельное оправдание «чая с вареньем» (вместо занятий более трудных). По слабости и лени прельщаешься «пушкинством». Но, даже две недели только отойдя от «лицемерных наших дел»<sup>19</sup> и т. п., или попросту переехав на дачу, понимаешь, что можно жить и иначе. Всего лучшего.

Преданный Вам

Г.Адамович

<sup>1</sup> Инн. 12: 24.

<sup>2</sup> «Умри и будь!» (нем.) – цитата из «Фауста» Гете.

<sup>3</sup> На этот длинный пассаж Гиппиус отвечала столь же пространно в письме от 25 июля 1927:

Мое простодушие, дорогой Георгий Викторович, хотя и большое – не простирается до веры, что все, что вы говорите, серьезно; нет, по видимости – чтобы меня «дразнить» (деморализовать). Однако я в такой сас <мешок (франц.)> не дамся. Ну неужели мне поверить, что вы искренно будете повторять подобные затхлости, вроде «человек – это гордо» или размазывать, после Шеллинга, Ницше, после Вейнингера и Вл. Соловьева, «высокую» идею богоборчества, да еще в таких «общедоступных» тонах? Когда-то этот карандаш был тонко очинен, но с тех пор имел время отупиться; ей-Богу, нынче и последняя кухарка карандаш слюнит, чтобы что-нибудь написать. <...> Я, конечно, со всеми вашими положениями согласна (и даже родилась, кажется, с ними). Еще бы не «все пройти насквозь», еще бы не со «всем грузом»; и далее – еще бы не с «открытыми глазами» (моя классическая фраза – «сознавай и себя не обманывай»), наконец, еще бы не Вольтер, если выбирать между ним и готовым «аще и обряще», еще бы не было правды в «разуме» (большом) и даже в малень-

ких «разумничках» вроде Писарева... и т. д., и т. д. Я не вижу корысти и обо всем этом беседовать, ибо все это слишком известно и слишком бесспорно. Только выводы наши не сходятся: мои логичны, а ваши... так неожиданны, что тут-то я и склонна видеть «нарочные» белые нитки, которыми вы их, для меня, пришили. «Пройти» все – хорошо; но «пройти» не может означать «завязнуть». Как это и «пройти» и «завязнуть»? <...> Нет, давайте без хитростей: если мы оба стоим за принцип «до конца», – то стоим и за додумыванье «до конца», без уверток и белых ниток. <...> Вообще же эти «гордости» (демонические и всякие другие, того же пошиба) кажутся мне какими-то детскими штанишками. <...> Но, повторяю: если вы «серьезно» мне разводили всю эту «философию», т. е. ее держались бы в самом деле, то (рассуждаю по логике и по совести) – вы, во-первых, ни одного бы своего стихотворения не написали, – уж конечно! А вторых, и мне бы, даже от скуки, никогда не написали ни строки. <...> Я действительно думаю, что больше силы в признании своей слабости, чем в упорном ее отрицании. Больше силы в откровенном искании помощи, чем в ее «гордом» отвержении. Говоря *strictement* <строго (франц.)> о себе – <...> я и перед вами несколько не боюсь признаться, что я весьма слабый человек, малодушный, в общем, средний. Но все-таки я не мало имею, потому что я многого *хочу*. И не то чтобы я достиг, сам, а чтоб *было*. Вот тут, кажется мне, и весь секрет.

(Пахмусс. С.354–356)

<sup>4</sup> Из стихотворения О.Э.Мандельштама «Я не слышал рассказов Оссиана...».

<sup>5</sup> Всеволод Борисович Фохт (1895–1941) – поэт, журналист, соредатор журнала «Новый дом».

<sup>6</sup> Юрий Константинович Терапиано (1892–1980) – поэт, критик, мемуарист, соредатор журнала «Новый дом».

<sup>7</sup> Пушечное мясо (франц.).

<sup>8</sup> Имеется в виду фраза из письма Гиппиус от 24 июля: «У меня есть одно намерение, относительно которого я даже хочу спросить вашего совета, но до следующего письма, а то будет очень длинно, необходимо обстоятельно вас информировать и просить, без “деморализации”, вашего мнения объективного. Ибо это мое “сожжение кораблей”, не ваше» (Пахмусс. С.353). В письме 27 июля она написала: «“Сожжение кораблей” будет серьезное, но опять нет места!» (Там же. С.357).

<sup>9</sup> Михаил Львович Кантор (1884–1970) – поэт, критик. Секретарь, а с 1926 – редактор «Звена», соредатор журнала «Встречи», вместе с Адамовичем издал антологию зарубежной поэзии «Якорь». Близкий друг Адамовича. Подробнее см.: К истории русской зарубежной литературы: Как составлялась антология «Якорь» / Публ. и комм. Г.Струве // Новый журнал. 1972. №107; К истории русской зарубежной литературы: О парижском журнале «Встречи». С приложением переписки двух редакторов / Публ. Г.Струве // Новый журнал. 1973. №110; Письма в «Звено».

<sup>10</sup> Прозвище «Кугель» дала журналу «Звено» Гиппиус, так поясняя в письме к Адамовичу от 19 июля 1927, что имеется в виду: «...оно <«Зве-

но» произвело на меня впечатление Кугеля (*Театр и искусство*), но еще Кугеля, упавшего с луны. Боюсь, что всякий журнал, теперь вздумавшись воскресить *Весы* и *Аполлон*, или дягилевский *Мир искусства* – обязательно будет лишь Кугелем с луны, – только» (Пахмусс. С.350). Александр Рафаилович Кугель (1864–1928) – театральный критик, журналист, редактор журнала «Театр и искусство» (1897–1918).

<sup>11</sup> Евгений Владимирович Шах (1905–?) – поэт. В первом номере «Звена» за 1927 напечатано его стихотворение «Когда закат чарует города...», действительно описывающее прогулки по Парижу, в том числе по Елисейским Полям и площади Согласия.

<sup>12</sup> Михаил Александрович Струве (1890–1948) – поэт и прозаик, постоянный сотрудник «Последних новостей» и других парижских газет. Его упоминание здесь вызвано словами Гиппиус в письме от 24 июля о возможных дальнейших существования «Нового дома»: «Чтобы кончить о *Нашем Доме*, добавлю: сегодняшняя комбинация мало похожа на вилы по воде, так как тут замешан человек довольно деловой – Михаил Струве (не с литературной стороны)» (Пахмусс. С.351-352). Адамович иронически писал по этому поводу М.Л.Кантору: «...они меняют название (не то “Наш дом”, не то совсем без дома), собираются выходить “как часы” или “как «Звено»», – т. е. точно каждое 15-е число, полны высокой идеологией и находятся под *деловым* покровительством Мих. Струве» (Письма в «Звено». С.157).

<sup>13</sup> Ответ на извещение Гиппиус в том же письме: «Из закишего №4 <«Нового Дома»> мы думаем выкинуть прокишшую полемику с вами; вот, между прочим, один из примеров, когда нужное сегодня делается (в прежнем виде) ненужным завтра... Да и вообще вашу позицию (Только это! Прав-то он!) нельзя защищать: как это защищать повторения, когда их не бывает, и, главное, не *должно* быть? Самое желание их Вейнингер справедливо называл “безнравственным”» (Пахмусс. С.351). Начало полемики см.: *Злобин Вл.* Письмо Георгию Адамовичу // *Новый дом.* 1926. №3. Продолжение полемики нам неизвестно.

<sup>14</sup> Полемическая отсылка к статье «От редакции», открывающей первый номер «Нового дома»: «Исповедуя оптимизм, как мировоззрение...».

<sup>15</sup> В Грассе жил в это время И.А.Бунин, а в Ле Канне – В.Ф.Ходасевич. Гиппиус отвечала на этот вопрос в письме от 27 июля: «Никаких soirées <вечеров (франц.)>! Мы живем, как в Альбе. Бунин в Грассе со своей “Галей” <Г.Н.Кузнецовой>. (Не эстетично, а на мораль, конечно, наплевать.) Ходасевич на “выселках”. Видимся далеко не каждый день. Да и какие “пиры Платона” с Ходасевичами? О чем разговаривать?» (Пахмусс. С.357).

<sup>16</sup> Имеется в виду лето, проведенное В.Я.Брюсовым в Коктебеле в 1924. Адамович опирается на воспоминания Л.Гроссмана «Последний отдых Брюсова» (Свиток. М., 1926. Кн.4; то же: *Гроссман Л.* Борьба за стиль. М., 1927). Адамович написал об этом в одной из своих «Литературных бесед» (Зв. 1926. №166. 4 апреля. С.1-2).

<sup>17</sup> Здесь, внизу (франц.).

<sup>18</sup> Вероятно, отсылка к известному фрагменту из «Эмбрионов» В.В.Розанова: «“Что делать?” – спросил нетерпеливый петербургский юноша. –

“Как что делать: если это лето – чистить ягоды и варить варенье; если зима – пить с этим вареньем чай”» (Розанов В.В. Религия и культура. С.281).

<sup>19</sup> Из стихотворения Некрасова «Внимая ужасам войны» (1855).

18

&lt;Штемпель: 2.VIII.&lt;19&gt;27&gt;

Дорогая Зинаида Николаевна

У Стендаля какой-то герой переписывается на возвышенные темы с другим героем, и оба не замечают, что «ответы» совершенно не попадут, т<ак> к<ак> один все письма заготовил заранее: настолько их переписка туманна<sup>1</sup>. Я сел писать, т. е. «отвечать» Вам, и вспомнил об этом. Не вышло бы то же самое!

Поэтому буду «конкретен». Вы меня опять попрекаете – но на этот раз Вы неправы *наверно*. Неужели Вы могли думать, что всю ту популярную философию, которую я Вам развел в прошлом письме, – «человек – это гордо», «разум и прогресс» – все это я пишу Вам наивно и простодушно, по-горьковски<sup>2</sup>? И неужели Вам не кажется, что это (т. е. «гордо!» и проч.) можно повторить как величайшую и спорную дерзость, после всех Соловьевых, в том «quand môme!»<sup>3</sup>, наперекор всему очевидному, вообще подать руку Вольтеру с другого берега, над пропастью или лужей, где все Соловьевы будут благополучно барахтаться?

Для меня возможность этого еще сомнительна, но хорошо бы от этого избавиться. Однако вот я собираюсь на днях сочинять статейку о Горьком, по поводу его самого последнего дифирамба «человеку»<sup>4</sup>, – и, конечно, я еще буду возражать ему (если вообще буду) *из лужи*, т. е. «по-соловьевски» (впрочем, Соловьева я не знаю и лично он тут ни при чем). Но, может быть, Горький и прав, сам того не подозревая. Не только блаженные и юродивые бывают иногда умнее умных, – случается то же и с дураками. Что у Вас пронзило в самое сердце меня, это: «Человек – это скучно!» Можно бы поправить: да, но все-таки «это и правда», единственная притом, т. е. «это – факт». Но поправлять не надо. И «скучно» – действует лучше, как стихи. Вообще напрасно оклеветали скуку – *par le temps qui court* (надо ли t – ?) это единственная струна во всех наших лирах, которая не нуждается в ремонте, а звучит как свеженькая, недавно из магазина. И хотя Гумилев советовал «никогда не развивать метафору»<sup>5</sup> – добавлю, что на одной струне при умении и желании можно сыграть все что угодно. Вот, дал себе слово поубавить философии, а опять впадаю в нее.

О «вражде» ко мне «Нашего Дома» – или «некоторых» оттуда – я знаю, вернее, чувствую ее всеми «фибрами»<sup>6</sup>. И отвечаю тем же, хотя головой и разумом «ничего против не имею». Не могу вынести

благополучия и самодовольства (какое слово у французов – «suffisance»!), – очевидно, завидую. Получили ли Вы «Звено» и что Вы об оном «Звене» думаете?<sup>7</sup> Мне моя «беседа» на сей раз довольно нравится, хотя сбивчива к концу, – и хотя я в конце, конечно, притворяюсь, чтобы не смущать Кантора «анархизмом», коего он боится как огня. Если бы правду писать, то, конечно, Европа со всеми своими Расинами провалилась: «неудовлетворительно», как на экзамене<sup>8</sup>. В Монте-Карло я не езжу, и не езжу никуда, даже за ворота не выхожу<sup>9</sup>. Но когда Вам напишешь об этом, Вы возмущаетесь. Поэтому – молчу.

Ваш

Г.Адамович

<sup>1</sup> Имеется в виду неточно изложенная сюжетная линия из романа Стендаля «Красное и черное» (начиная с гл. XXIV). Адамович читал роман как раз в это время (см.: Письма в «Звено». С.157-158).

<sup>2</sup> Речь идет о реплике из драмы М.Горького «На дне»: «Человек! Это – великолепно! Это звучит... гордо». По поводу этого пассажа Гиппиус отвечала в письме от 4 августа: «Сколько раз ни перевертываться на этой проклятой позиции (“человек – гордо” и т. п.), мигать ли Вольтеру, Ницше или наивно сие проборматывать à la Горький, – по существу, дело ни крошечки не меняется. Вы за “открытые глаза”: откройте их и удостоверьтесь в этой маленькой правде. Примечание: отчего вы так нелюбопытны? Если, по вашему предположению, Владимир Соловьев барахтается в той же “луже”, из которой и вы только по несчастию еще не успели выбраться на Вольтеро-Горьковские утесы, – почему бы вам определеннее не узнать, как он там барахтается? Почитав его – вы, может быть, и против лужи нашли бы настоящие, основательные аргументы. А то как Бунин: “Идиот, хотя не читал и читать не могу”» (Пахмусс. С.357).

<sup>3</sup> Вопреки всему (*франц.*).

<sup>4</sup> Речь идет о «Литературных беседах» Адамовича в третьем номере «Звена» за 1927 г. (перепеч. – Адамович-2. С.269-275), посвященной, в том числе, «Заметкам читателя» М.Горького (впервые: Круг. М., 1927. Кн.6).

<sup>5</sup> Вероятно, речь идет об устных беседах Гумилева.

<sup>6</sup> 27 августа Гиппиус писала: «Почему-то некоторые “нашдомисты” считают вас “врагом” и, кажется, недовольны, что я посвятила вас во внутренние “домашние” дела. Я – не считаю, а потому и не считаю себя виноватой в откровенности; но сохраните все-таки секрет, пока еще нету никакого внешнего проявления этого дела» (Пахмусс. С.356). А отвечая на данное письмо, она писала 5 августа: «Если ваши “фибры” так чувствительны, то вы ими же должны ощущать и мою определенную “невраждебность”, отличающую меня от “некоторых” близких к новому *Новому Дому*. <...> Любопытно, как вы это объясняете? Моим упрямством вас “спасать”? Моим невидением людей? Два предположения, по совести не выдерживающие критики. Есть еще одно, тоже слабое: почему не поговорить с умным человечком? Да еще на вакациях? Это конечно; но все-таки, если этот

человечек “лежачий камень”, да еще “враг” делу, которое близко, то в конце концов придет в голову, что “человек – это скучно”... Но мне все не приходит, и во “вражество” ваше определенно не верится. Кто знает, может быть, я натолкнулась на какое-нибудь ваше дно, из многих, которое вы не считаете важным, а я считаю, не замечая других» (Пахмусс. С.358-359).

<sup>7</sup> На вопрос о втором номере «Звена» (выход помечен 1 августа) Гиппиус подробно не отвечала, однако существенно, что сам Адамович как раз в это время всерьез размышлял о судьбе нового журнала. В начале августа 1927 он писал М.Л.Кантору: «О “Звене” я полон полу-сомнений, полу-соображений. Что-то в нем “не так”. Весь вопрос вот в чем: если оно только дотянет до Нового года, то стараться особенно не стоит, да и не успеть реализовать старания. Если же дальше, то надо его оживить. И знаете, третий отдел сейчас *благополучнее* первого, хотя и третий должен ведь давать “полный” обзор, а не случайное, что кому вздумается. Но третий еще куда ни шло! Я думаю, что хорошо бы взять за образец «Печать и революцию» или отчасти “Mercury <de France>” – для третьего отдела, но какая это работа! <...> Простите, если Вам покажется, что я критикую “Звено”. Это ведь только разговор “на пользу делу”. И я себя ничуть не выделяю, а просто о себе не стоит писать» (Письма в «Звено». С.157).

<sup>8</sup> О «литературной беседе» Адамовича во втором номере «Звена», содержание которой: «Марина Цветаева. – Сергей Ауслендер. – Петербургские сборники стихов. – Литературное западничество», Гиппиус подробно написала в ответе от 4 августа:

Когда я теперь (по нужде) перечитываю мои столетние статьи *Литературного Дневника*, у меня впечатление, что все это – «Волга впадает в Каспийское море». <...> И вот, ваша данная беседа, вдруг, – наконец! – про что-то о том же, из того же, и даже начинается с извинения за «трюизмы». <...> Вы *уже* говорите, что «реки впадают в море». И это много, и очень важно, хотя в данном случае, желая прецизировать <от *préciser* (*франц.*) – уточнить> (Марина Цветаева), вы и оступаетесь: у вас выходит, что Волга-то впадает не в Каспийское, а в Белое море. Ну, это ничего, принцип-то остается общим: река впадает в море. *Par le temps qui court* (а что вы тут, кроме *t*, хотите поставить?) и для вас это... я вам скажу! И далее не плоше: вы признали, что «боязнь влияния» – удел «трусливых душ». Это тоже «э!», которое я неустанно твержу всем 60 лет, и более, подряд; и вас в этой трусливости душевной подозревала открыто. <...> О «притворном» конце... Вы, вообще, часто и во многом притворяетесь, иногда ваше притворство в несколько этажей, одно под другим (особенно для себя). <...> И тут, если покопаться, под вашим объявлением, что европейские «водители духа» были *как будто не были*, ничуть не «улучшив действительность», можно нащупать следующее дно (и то, может быть, не последнее). Я думаю, притворство – это дурная привычка, очень въедливая. В известной мере притворство нужно, да только меру очень трудно соблюдать, почти все скатывается немедленно.

(Пахмусс. С.357-358)

<sup>9</sup> На это замечание Гиппиус отвечала: «Что касается вашего невыхождения даже за ворота, – ни шагу от бабушки! – то... à votre plaisir <здесь: на здоровье (франц.)> (если это plaisir). Это пройдет. Когда придет шепелявая тень <Г.В.Иванов>, вы оправитесь же» (Там же. С.359). О происхождении этого прозвища Г.В.Иванова см. примеч. 6 к письму 34.

19

6.VIII. <1927>

Ницца

Дорогая Зинаида Николаевна

Хоть Вам, вероятно, и надоело о «человек – это гордо», но все-таки последнее слово: все это, конечно, упирается в конце концов в протестантизм. Я, как Тютчев, очень люблю «сие высокое ученье»<sup>1</sup>, где «гордости» сделана поблажка, или, вернее, где она получает справедливое признание. «Человек и Бог – без посредников», – и разуму не обязательно лежать в пыли ничтожества. Я бы хотел так и стихи писать – чтобы осталось только «самое важное», без образов (и образов – тоже!), без риз и т. п. «Аскетические» стихи, застрахованные от порчи и от любви тех, которые в поэзии ищут и любят не «самое важное». Клянусь, что о «гордо» больше писать не буду. А за обиду, нанесенную Соловьеву по неведению, – извиняюсь. Я очень «любопытен» и прочел бы его с удовольствием, – но его у меня нет. Зимой в голове чушь, а здесь нет чуши, но зато нет и книг<sup>2</sup>.

О «Н<овом> Доме», о его вражде или полувражде ко мне и о Вашей благосклонности. В последнюю я, конечно, всецело верю, потому что никаких оснований «притворяться» у Вас нет. А о вреде «некоторых» – не кажется ли Вам, что тут все идеологии, идеи и направления ни при чем (или почти ни при чем), а дело в чем-то более сложном, как бы кровном, в том, что вдруг отталкивает людей или влечет их друг к другу? Кстати, в Вашей «благосклонности», – которую Вы грозитесь отменить «в случае чего», – повинно отчасти то, что о Вас очень верно писал Свят<ополк>-Мирский, т. е. что у Вас за «религиозным оправданием демократии» и прочими новодомовскими обличьями лягушки квакают такое, о чем идейным деятелям помышлять непривычно<sup>3</sup>. А второе объяснение еще вернее, но о нем долго писать, и тут надо впутать слово «ангел», которое для Вас, конечно, не комплимент, раз по Соловьеву человек лучше ангела, но для меня звучит слишком лестно. А другого слова я не нахожу<sup>4</sup>.

Ваши замечания на мою статью в «Звене» мне очень приятны – хотя я и не уверен, что Вы этого хотели. Приятно, что «лошади едят сено». Уверяю Вас, что по лени ли или по нежеланию спорить с людьми, которые в общем все-таки глупы и мало понимают о «самом важном» и, например, в стихах только и смотрят, что на «образы» или рифмы, – вот по всему этому мне «на закате дней» (не ду-



майте, что я кокетничаю, – ощущение «заката» бывает и в 20 лет; об этом можно говорить часами, если бы уклониться в эту сторону – правда?) – на закате дней мне стало хотеться повторять, что «лошади едят сено». Не желаю возвышающих обманов и предпочитаю низкие истины<sup>5</sup>.

Прочел я только что заметку Бунина о покойном Иване Савине<sup>6</sup>, которого Вы наполовину одобряли (у Вас была на Альбе его книжка) – и слишком снисходительно, по-моему. И вот как не вспомнить, что я в «Зеленой лампе» был прав. Нечего делать поэзии с «белым делом» и прочими подобными делами, как бы хороши они сами по себе ни были. И хотя Савин был человек хороший, поэт он был никакой. И «холодному восторгу» Бунина от его строчек я не верю. Кстати, разъясните мне насчет Бунина: как это с его преклонением перед Толстым уживается в нем «единая, неделимая»<sup>7</sup>, – все то, на что Толстому было решительно «наплевать»?

Пожалуйста, информируйте мне <так!> о Вашем «Н<овом> Доме» – или как он у Вас называется? Если это тайна, то буду свято соблюдать, но крайне интересуюсь: кто редактор? какая программа – т. е. какой материал, только статьи, или с рассказами? при чем Мих. Струве? какая роль Берберовой-Ходасевича?<sup>8</sup> Правда, ее рассказ в «Звене» очень мил – и был бы совсем хорош, если бы не что-то ученическое в подробностях, в тщательности и чистоте описаний, если бы немножко общей небрежности! Но мне нравится его аристократическая бледность, и даже – чуть-чуть смешное восклицание: «О, Россия!» – в конце. В сущности, лошадь жует сено, и «о, Россия!» – при чем тут Россия? Но ничего<sup>9</sup>. Простите за безалаберное письмо.

Преданный Вам

Г.Адамович

P.S. Отчего Вы так презираете бедного Jerome'a и все пишете, что можно и без него?<sup>10</sup>

<sup>1</sup> Неточная цитата из стихотворения Ф.И.Тютчева «Я лютеран люблю богослуженье...». В оригинале: «Сих гордых стен, сей храмины пустой / Понятно мне высокое ученье».

<sup>2</sup> Ср. в ответном письме Гиппиус от 8 августа 1927: «Я сказала: Адамович занялся “протестантизмом”... Дмитрий Сергеевич – не дослушав, правда, – воскликнул: “Вот, и я тоже! Как раз и я открываю там много интересного и связанного со всей современностью!” <...> Вашу склонность к “sobre” <здесь: строгости (франц.)> я бы приветствовала, если бы была уверена, что тут, у вас, нет элементов ни снобизма, ни, быть может, особого вида пассивности. Без этих элементов любовь к “sobre”, да еще с постоянством, может привести к мудрости» (Пахмусс. С.360).

<sup>3</sup> Скорее всего, имеется в виду статья Д.П.Святополка-Мирского, посвященная обзору первых 26 номеров журнала «Современные записки» и пер-

вых номеров журнала «Воля России», в которой он писал: «Подлинная Зинаида Гиппиус, конечно, ни в какой мере не консервативна и не “благонамеренна”. Но эта подлинная – обернута в “семь покрывал” общественно-религиозно-философской деятельности, призванной обосновать “курс на религиозное преобразование демократии”. Ни с “религией” (поскольку на “религии” можно обосновать какие-нибудь курсы), ни с демократией подлинная Зинаида ничего общего, конечно, не имеет» (Версты. 1927. №1. С.208-209). В ответном письме Гиппиус говорила: «Вы, вот, подозреваете вместе с Святополком, что я “оправданиями демократии” не интересуюсь, а только лягушками. Это, увы, обозначает, что вы оба не понимаете и что такое лягушки, всю бесконечную сложность их кваканья (все их же!) не улавливаете» (Пахмусс. С.361).

<sup>4</sup> Ср. в письме Гиппиус от 8 августа: «Меня крайне заинтересовало ваше “ангельство”. Утвердив вашу скромность, отодвинем ее на время в сторону, условимся считать, что “ангел” еще не велика штука, что “человек” – достойнее (достойно, а не “гордо”, и, главное! – в *потенции*, вот что не надо забывать, если уж “по Владимиру Соловьеву”). При этих условиях вы можете, не правда ли, объяснить мне, что, на ваш взгляд, имеется в вас ангельского?» (Пахмусс. С.360).

<sup>5</sup> Отсылка к стихотворению Пушкина «Герой»: «Тьмы низких истин нам дороже / Нас возвышающий обман».

<sup>6</sup> Иван Иванович Савин (Саволайнен; 1899–1927) – поэт, автор единственной книги стихов «Ладонка» (Белград, 1926). Основным содержанием его стихов было воспевание «Белого дела». Бунин написал о Савине статью «Наш поэт» (Возрождение. 1927. 4 августа), неточную цитату из которой Адамович приводит далее (у Бунина: «...холод жуткого восторга прошел по моей голове...»).

<sup>7</sup> Общеупотребительная формула, обозначавшая имперскую Россию.

<sup>8</sup> На этот вопрос Гиппиус отвечала в письме 8 августа:

Я вам открою все «тайны», поскольку они открыты мне. Первый номер *Нового Корабля* выходит 20-го Августа (второй – 20 Сентября и т. д.). Он (первый номер) есть, по материалу, четвертый номер *Нового Дома*. Фирму надо было переменить, т<ак> к<ак> *Новый Корабль*, во всех смыслах освобождается от Фохта (который человек, должно быть, не плохой, но наверно такой, с которым никакого дела нельзя делать. В этом я была уверена при первом звуке его голоса – «фибры» сказали). Кроме того, перемена имени позволит сделать и кое-какие внутренние изменения, дать другое редакционное «предисловие». Хотя и намеренно «стертое» – оно вам вряд ли понравится; впрочем, «мировоззрения, как оптимизма» там не будет. (Pardon! Я, кажется, переврала, было наоборот, но та же чепуха.) Берберова-Ходасевичи <так>, так как живут на ближних выселках, в эти дела посвящаются и просятся «посильно содействовать». Впрочем, будут, а как – это вы можете сами рассудить, учтя и взвесив их возможные возможности в смысле качества, количества, общих свойств и т. д.

(Пахмусс. С.360-361)

<sup>9</sup> Имеется в виду рассказ Н.Н.Берберовой «Барыни» (Зв. 1927. №2). Он кончается абзацем: «Корзинка цела. Лошадь щиплет траву старыми розовыми губами. Полосатая земля поднимается до самого неба. О, Россия!» (С.104).

<sup>10</sup> Ответ Адамовича на своеобразную игру Гиппиус: 8 июля 1927 она дала свой адрес: «Villa Tranquille. Le Cannet (A<Ips> M<aritimes> rue Jérôme Czernicki), но можно и без него» (Пахмусс. С.347), на письме от 19 июля пометила: «Можно писать без Иерома» (Там же. С.349), в письме от 4 августа, на которое Адамович отвечал: «Не надо Жерома!» (Там же. С.357), и, наконец, в ответе на данное письмо: «Если Jérôme вам нравится – он не мешает, он только бесполезен» (Там же. С.360).

20

10/VIII -&lt;19&gt;27

Дорогая Зинаида Николаевна

Наша философская переписка расплылась на множество «подсекций» и частью перестала быть философской. Позвольте поэтому писать по пунктам.

1) Ангелы. Отчего Вы решили, что я о себе пишу, что я, именно я – ангел? Право, лучше или хуже человека, но о себе такого писать нельзя. «Есть мера», – Ваше же выражение<sup>1</sup>. Я писал «вообще», об ангельском узнавании друг друга, как у Франса в ничуть не возвышенном «Révolte des anges»<sup>2</sup>. Или еще о том, что – это, кажется, у Лермонтова – ангелы не могут слетать на землю, потому что от людей «слишком дурно пахнет»<sup>3</sup>.

Все это расплывчатая лирическая чепуха, которую как ни толкуй, сводится к самовосхвалению. А я, право, несмотря на Ваши приглашения, на это не способен, – в подобной плоскости, по крайней мере. Кстати, м<ожет> б<ыть>, это я о Вас писал, – только, зная Ваши соловьевские теории, не пожелал откровенно Вас «деградировать»? Вы сердитесь за мои сомнения относительно «оправдания демократии» – тоже боясь потерять человеческое за счет усиления ангельского или квакания лягушки, если угодно. Точка<sup>4</sup>.

2) Пункт вполне житейский. По Вашему письму я вижу, что чета Ходасевичей вовсе не заправили Вашего «Корабля». Между тем, когда Вы мне написали, что меня считают врагом, и когда я Вам запальчиво на это рипостирировал<sup>5</sup>, я имел в виду именно их, скорей Берберову. Кого же я обидел, если это не они? «Suffisance». Если это не они, то я вражеству удивляюсь и фибрами его не чувствовал<sup>6</sup>.

3) «Интересоваться интересным». Маленькая поправка относительно лично меня, если уж разрешается отбросить скромность. Я не интересуюсь «пустяками», как Вы пишете, я только *не всегда интересуюсь и интересным*. «К добру и злу постыдно равнодушен»<sup>7</sup>. Признаюсь, на многое мне «наплевать» – на что, я знаю, что плевать не надо, в частности на демократию. Затем большая поправка вооб-

ще: видели ли Вы, кроме Льва Толстого, значительных или удавшихся русских людей, неизменно интересовавшихся интересным? Все наши «гении» – растяпы или мелочны (иногда). Пушкин с чаепитьем, Достоевский с целыми главами идиотскими в «Дневн<ике> писат<еля>» и явно мелкими вопросами, Блок, о котором Вы знаете лучше меня. Значит, что-то есть в национальном складе, да национальном ни при чем – в общественном. «Удача» всегда наперекор предполагаемым для нее свойствам. Это вовсе не ленивое самоутешение и самоукачивание, – вы мне тут поверите. Это, кажется, все та же необходимость разбавлять вино водой, а мозг ерундой (за внезапную «частушку» – прошу извинения, получилась сама собой)<sup>8</sup>.

4) «Интересуется ли инт<ересным>» Ходасевич? Сомневаюсь после его рецензии о «Верстах». Все-таки ничего, кроме «на большевицкие деньги» там не увидеть – просто глупо. Именно «не интересно интересное». Я пишу Вам это нарочно, даже чуть-чуть с дерзостью – п<отому> что у Вас всегда за теми же: «На какие деньги!» – всегда полет. А «на чьи деньги» и «кто большевики» я глубоко не сочувствую. Вот уж что не интересно. Может быть, и нужно – не знаю, – но так «неинтересно», что хочется помереть от скуки.

Впрочем, Ходасевич по существу интересен, только бедно – без прелести<sup>9</sup>.

5) О Розанове я в какой-то сотой доле «при особом мнении». Хорошо, но тоже плохо пахнет, и, в конце концов, Ваш анекдот о Сологубе – «А я нахожу, что Вы грубы!» – многое мне в Розанове объясняет. Ведь Сологуб – ангел, и ему от розановского пота нестерпимо. Конечно, чтение это удивительное, но слегка вагонное<sup>10</sup>.

Ну вот все пункты. Я сейчас сочинил для ближайшего «Кугеля» статейку о Бодлере (шестидесятый год смерти). И знаете, мне надоело малодушничать, отговариваться, что «наспех» и «вышло не то», поэтому я постарался написать со всей тщательностью. Откровенно Вам в этом признаюсь, и если окажется «не то», значит – я лучше не могу. Надеюсь, что Вы оцените мой героизм<sup>11</sup>. Кстати, о «sobre» и «без образов»: я *вытравливаю* и *вычеркиваю* «картинные» выражения у себя, предназначенные для восторга Осоргина или Слонима. Будем писать как в канцелярии или как свод законов. Пусть Осоргин поскучает. Пусть люди отдохнут от трехкопеечной поэзии – во всем. Тут Вы меня не убедите, что «есть мера». Нет меры, и единственное, что я хочу, – это точности и чистоты<sup>12</sup>.

Я надеюсь скоро воскреснуть и приехать к Вам на поклон.

Преданный Вам

Г.Адамович

P.S. Еще пункт: Возьмите к себе в «Корабль» спаржу. Он пишет рассказы крайне милые и свои. Если он Вам не подойдет по темпераменту, то ни в чем остальном не подведет. Я бы очень хотел, что-

бы он «вышел в люди». Пожалуйста, окажите ему высокомилоостивое внимание (Тот, в «Звене», рассказ – был самый неудачный).<sup>13</sup>

Я тоже занялся беллетристикой, но это не для «Корабля», а так, для самоуслаждения<sup>14</sup>.

<sup>1</sup> Возможно, отсылка к стихотворению Гиппиус «Мера», опубликованному позднее, лишь в 1930, но написанному ранее, в 1924.

<sup>2</sup> Роман А.Франса «Восстание ангелов».

<sup>3</sup> У М.Ю.Лермонтова подобного стихотворения отыскать не удалось.

<sup>4</sup> Гиппиус дискуссии не продолжала, написав Адамовичу 12 августа: «Насчет “ангельства” я пока закрываю прения, хотя речей может быть не мало» (Пахмусс. С.365).

<sup>5</sup> От фехтовального термина «рипост» – отражение удара.

<sup>6</sup> См. в том же письме Гиппиус: «Насчет “вражды”... Ну какая там “вражда” между вами и Берберовой! “Идейная”, что ли? Нет, если кто-то сказал, что “Адамович – это враг *Нов<ого> Дома*” – это все в неважной плоскости. Потому, должно быть, что вы по отношению к этому журналу все время безразборно, безвыборно, по каждой мелочи – упирались. Как, бывало, Перцов: молчит, долго слушает всех, а потом: “Я решительно ни с чем не согласен!”. Вот и получилось впечатление, что вы, раз *Новый Дом* – значит не так, а наоборот» (Пахмусс. С.364).

<sup>7</sup> Измененная цитата из стихотворения Лермонтова «Дума».

<sup>8</sup> 4 августа Гиппиус писала Адамовичу:

Ах, я все возвращаюсь к своему «овсу и сену»: только одно важно – *интересоваться интересным* <...>. Это главное, а там уж, конечно, что кому Бог дал. <...> Простите, если я скажу, что думаю. В вас какая-то досадная смесь (все говорю по этому узкому вопросу). Если откинуть даже все «притворства» и т. д. – остается миганье, перемежка: то – интересным, то вдруг таким неинтересным. <...> Стоит ли говорить, что я не жду от вас блинно-плоского возражения: а кто, мол, поставил вас судить, где «интересное»? А почему интересоваться интересным – значит интересоваться тем, что интересно вам? Я даже прошу извинения, что пишу эту оговорку...

(Пахмусс. С.361)

Получив данное письмо Адамовича, Гиппиус в ответном письме откликнулась длинным рассуждением:

Ай, батюшки! Что это вы мне написали, дорогой Георгий Викторович! Не во гневе будь сказано (а то и во гневе) – но вы тотчас вспомнили мне тут Берберову. Мы как-то сидели на Croisette, на парапете, спустив ноги вниз, и зашел разговор (легкий) об этом самом «интересованьи интересным». Не я и начала его, да и длился он одно мгновение. Но Берб<ерова> сказала: «Ах, раз Алданов с таким уважением отозвался о вас и о Д<митрии> С<ергеевиче>, что вы интересуетесь только одним возвышенным!» Я чуть не упала с парапета от такого понимания моей «формулы». <...> Но вам – неужели не возразить? Да, только Л.Толстой в последние годы жизни интересо-

вался «возвышенным», и притом «постоянно». Но я иное разумела. Во-первых, – «интересное» не значит «возвышенное», обязательно какой-нибудь «проклятый вопрос». Интересного обыкновенно много, и оно всех бывает размеров, всех состояний: и Бог, и дьявол, и собачка, и поросенок... Очевидно, решается это тем, какой Бог, какая собачка, какой дьявол, какое событие, какое слово. Ну и «когда» тоже. А во-вторых – я и не помышляла о «постоянно» и об «исключительно». Этого даже и не хотелось бы и желать! Если постараться точнее – выйдет так: хорошо, когда человек (данный) имеет свойство почувствовать в иные моменты настоящий интерес к действительно интересному, отделить его как имеющего значение от другого, не имеющего, – попасть «в точку». Вот и все. Можно затем долго объяснять, почему это хорошо, например, доказать, что такие попадания не забываются, точки не стираются, а где-то в подсознании остаются и даже связываются линиями в один рисунок... <...> Согласитесь, что ваши указания на «классиков» с их сплошным, как у Дост<оевского>, например, интересованием чертями да Зосимами, а также рулеткой, квартирой, женой жалью и Сусловой (Суслова-то, положим, «интересное») – эти ваши указания были некстати и в точку не попали.

(Пахмусс. С.362-363)

<sup>9</sup> Между Адамовичем и В.Ф.Ходасевичем на протяжении долгих лет существовали значительные расхождения, выливавшиеся в печатную полемику. Подробнее см.: *Hagglund R. The Adamovič – Xodasevič polemics // Slavic and East European Journal. 1976. Vol.20. №3*; Полемика Г.В.Адамовича и В.Ф.Ходасевича (1927–1937) / Публ. О.А.Коростелева и С.Р.Федякина // *Российский литературоведческий журнал. 1994. №4*. О статье Ходасевича по поводу «Верст» см. подробнее в примечаниях к письму 4 и далее. Рассуждение Адамовича вызвано следующим пассажем в письме Гиппиус от 8 августа: «Я хотела заметить (не говоря ничего дурного), что я до сих пор не могу решить, есть ли у Ходасевича какой-нибудь интерес к интересному, или только к неинтересному? Ведь хочется всегда решить не с кондачка, а по совести и крепко» (Пахмусс. С.361).

<sup>10</sup> Ответ на следующее замечание Гиппиус в письме от 4 августа: «не могу начать свою статью даже: так захватывает меня почти каждая книжка старая *Нового Пути*: “Угол” Розанова – какой блеск! Не говоря о содержании, захватывает просто по языку, по его какой-то волшебной убедительности» (Пахмусс. С.361). В ответ на письмо Адамовича она писала 12 августа: «А вот Розанов... если мы будем говорить о “нравится”, об “affinité” <сходство, родство (франц.)>, то я, в конечном счете, с вами окажусь; но ведь можно иной раз и выйти из себя минут на десять; и ничего не поделаешь, говорить – и “слово” точно не слово, а живой голос, сам человек (противный – другое дело)» (Там же. С.365). И в следующем письме, 18 августа, добавляла: «Я очень “слышу”, что вас отталкивает от Розанова. Это не те или другие его мысли (о, менее всего!), это не “пол”, не плюханье в особый дето-родительский пол... это даже не полное его “разнаствывание”, античеловеческое “рассечиванье”; это – вся сокровеннейшая материя его существа, уловимая разве по запаху и не определяемая словами. Она – конгломерат

всего вышеперечисленного, вплоть до “мыслей”. Она же, в иной категории, может быть названа его *волей*» (Там же. С.367).

Цитируемый Адамовичем «анекдот» вошел в воспоминания Гиппиус о Розанове:

Между Сологубом и Розановым близости не было. <...> Но для коренной розановской интимности все были равны. И Розанов привязался к Сологубу:

– Что это, голубчик, что это вы сидите так, ни словечка ни с кем. Что это за декадентство. Смотрю на вас – и, право, нахожу, что вы не человек, а кирпич в сюртуке!

Случилось, что в это время все молчали. Сологуб тоже помолчал, потом произнес, монотонно, холодно и явственно:

– А я нахожу, что вы грубы.

Розанов осекся. Это он-то, ласковый, нежный, – груб? И, однако, была тут и правда какая-то; пожалуй, и груб.

(Гиппиус 3. Стихотворения. Живые лица. С.318)

<sup>11</sup> Имеется в виду статья «Шарль Бодлер (К шестидесятилетию со дня смерти)» (Зв. 1927. №3. С.138-140). Гиппиус отвечала на этот пассаж Адамовича: «Если вы Бодлера писали “с любовью”, то, какой бы он объективно или на чей-нибудь взгляд ни вышел, вам “малодушничать” не приходится. Все ведь в этом, писать “как лучше не могу”. Только редко мы это делаем» (Пахмусс. С.364).

<sup>12</sup> На это суждение Гиппиус откликнулась в ответном письме, цитируя собственное стихотворение «Опрошение»:

Уверяю вас, если всему есть мера, значит, есть она и «картинности». Однако чтобы найти меру, иногда нужно сначала ее переступить. В этом смысле я положительно приветствую ваш порыв к «совлечению» (а не ввиду Осоргина или там кого). <...> Для обеднения, опрошения – совлечения, – нужна смелость, но все же оно не цель, не последнее, а лишь переход, искус. Мысль «коварно-сложную», поэзию «коварно-красивую» следует проучить. Но проучив – ее

опять прими, прими

.....смелую

ибо пройденное испытание

Вернуло ей одежду белую

Белизна ведь не *первая* простота, а вторая.

(Пахмусс. С.363)

<sup>13</sup> «Спаржей» (Адамович нередко пишет это слово со строчной буквы) друзья звали прозаика Николая Бернгардовича Фрейденштейна (1894–1943), писавшего под псевдонимом Юрий Фельзен. Его рассказ – «Опыт» (Зв. 1927. №228, 12 июня. С.7-8) или «Отражение» (Зв. 1926. №201, 5 декабря. С.7-9). Адамович не раз писал о Фельзене (см., например: Смерть и время // Русский сборник. Париж, 1946. Кн.1; Одиночество и свобода. С.154-156, в том числе и о его общении с Мережковскими). Гиппиус писала, откликаясь на слова Адамовича: «Колю-Спаржу я раньше вас если не “отметила”, то “приветила”. Но беллетристика у него недоваренная. Возможно, что доварится» (Пахмусс. С.364). Фельзен оставил воспоминания о «вос-

кресеньях» на парижской квартире Мережковских: *Фельзен Ю.* У Мережковских по воскресеньям // Даугава. 1989. №9. С.104-107.

<sup>14</sup> О каком именно рассказе Адамовича идет речь, нам неизвестно. В то же самое время, что и Гиппиус, он писал М.Л.Кантору: «Мой рассказ – если он и будет – все равно маленький» (Письма в «Звено». С.157). Узнав про «беллетристику» Адамовича, Гиппиус просила в письме от 12 марта: «Какова ваша? Если и только для “самоуслаждения” – мне почитать дайте, elle m’intrigue <она меня интригует (франц.)>, и обещаю относительно “внешних” держать себя так, будто не читала и не видала» (Пахмусс. С.364).

## 21

&lt;13–14 августа 1927&gt;

## Дорогая Зинаида Николаевна

Мне тоже давно и до отвращения надоел тон «полушуток», полусмешка, полу-иронии. Вы вполне правы: ничего веселого в глупости нет. Но эта привычка чуть-чуть «гоготать» въелась неискоренимо. Я в прошлом году написал ко «дню русской культуры»<sup>1</sup> статью об этом, сославшись на Пушкина. Потому что тон этот его и от него, от его писем, – помните письма к Нат<алье> Ник<олае>вне – с усмешечками и отчаянием? Но статья не появилась по строгости Милюкова. Это настоящая тема – и по-настоящему *интересная* – «так жить нельзя», т. е. на все усмехаясь, от всего отмахиваясь. Одно из двух: *la vie ou l’ironie*<sup>2</sup>. Кстати, кто это сказал, никак не могу вспомнить: «Христос никогда не смеялся». Здесь мы переходим в другую область – не иронии, не смеха – но все-таки как хорошо, что «Христос не смеялся». Представьте себе, что он «звонко расхохотался» или «залился серебристым смехом» и т. п. Ведь это хуже и оскорбительнее всего, что можно о нем представить, куда хуже даже того, что о нем недавно выдумал какой-то немец: что он был *homosexual*. Христос в крайнем случае мог улыбаться, – да и то непременно «печально». Иначе все рухнет и летит к черту, все Евангелие. Вот, кстати, одно из оправданий пессимизма – наперекор «оптимизму как мировоззрению» и бодрости опекаемых Вами птенцов. Просто-напросто радость и смех – это грубо и невыносимо в лучшем, что дано человеком. Это, конечно, совсем иное, чем «ирония» Пушкина – я только заодно вспомнил. И то и другое объединяется только тем, что «ничего веселого, в сущности, нет» и вообще, в мире<sup>3</sup>.

Позвольте мне в свою очередь выразить глубочайшее недоумение по поводу Вашего понимания «интересного». Не подозревайте, что я «упираюсь», из упрямства. Нет. Но между возвышенным (без кавычек – без иронии) и интересным я ставлю знак равенства, как бы Вы не протестовали. Вы, впрочем, сами написали: «...о человеке, о любви, о смерти»<sup>4</sup>. В этой формуле неясна первая часть – «о человеке». Что это? Я расшифровал так: о грехе и о воздаянии. Две вещи



есть «интересные» в жизни: 1) «люб<овь> и смерть» – слишком, впрочем, захватанная плохо вымытыми руками; 2) «грех и воздаяние» – ничуть не менее значительная и более чистая. Конечно, я не думаю, что надо *исключительно и постоянно об этом думать*, но я уверен, что думая о другом, о чем угодно, – можно постоянно об этом *помнить*, т. е. в суждения о явлениях и предметах вносить этот привкус, оценку с этой, единственно не вздорной точки зрения<sup>5</sup>. Вот возвышенное. Мое перечисление «классиков» с их «идиотскими» интересами вот что значило: Достоевский мог играть в рулетку (что, между прочим, *интересно*) и хлопотать о квартире и жениной шали, это не был его интерес, это была его житейская сторона. Напрасно, по-моему, Вы про это вспомнили. Но ведь когда он писал в «Днев<нике> писат<еля>» о турецкой армии или падении португальского министерства, он писал об этом с умственной страстью, интересуясь глубоко, как настоящий публицист<sup>6</sup>. И Пушкин с мелочным и мелким «Пугачевым»<sup>7</sup>, хотя и восхитительно написанным. Вот тут Толстой и выделяется – и только об этом я ведь и писал. Толстому было явно скучно, когда речь шла не о «самом важном». А «самое важное»? Не кажется ли Вам, что оно касается исключительно *личности и души человека*, а не *человечества*, т. е. не демократии или империи, судьбы желтой и белой расы, конца мира и значения крестовых походов и т. д. и т. д., – не всего этого второстепенно-интересного (вернее, интересного после, потом), а вот того, о чем писал Т<олстой>, – быть может, не так писал, как надо, но иногда безошибочно в самую точку «главного и важного». Весь его исторический нигилизм и пренебрежение к грекам и культуре и к «нашему славному прошлому»<sup>8</sup> этим оправдывается. «После, когда-нибудь» – как второстепенное<sup>9</sup>.

Вражда «Н<ового> Дома» – и обратно – конечно, пустяки. Не стоит об этом распространяться. Вы очень верно пишете, что я по отношению к «Н<овому> Д<ому>» – «безразборно, безвыборно упирался». Правда – признаюсь! Но это дело не идейное, а физиологическое. Мокрые руки Кнута<sup>9</sup>, идейное достоинство Терапиано и унтерофицерство Фохта<sup>10</sup> – меня чуть-чуть и мутило. А идеи сами по себе – ничего. Я вот теперь перечитал «Н<овый> Д<ом>» как-то, от скуки – есть кое-что очень хорошее и приятное. (Я тогда не читал рассказов, – а ведь «Шурик» Г.Пескова очень пронзителен! но какая птичья чепуха рассказ Одоевцевой.<sup>11</sup>)

Бахтин где-то пропадает, в Париже, – кажется, дела его очень плохи. Мне его жаль головой – сердце мое к нему безразлично, что

врать. Но я знаю, что это человек редкий. Он очень жаден к жизни, но считает себя (кажется) уродом, в глубине всех презирает и имеет maximum 300–400 франков в месяц на все нужды и наслаждения. Как же тут не сойти с ума<sup>12</sup>. С ним часто видится Фрейдентштейн, который теперь лежит в плеврите.

Никакого барона Штейгера я не знаю<sup>13</sup>, – и, не делая никаких общих заключений и выводов, решительно отчаялся получить когда-нибудь со стороны, из неизвестности, стихи хоть сколько-нибудь «стоящие». Неизменно, постоянно – ерунда.

Собирается ли вспыхнуть осенью «Зеленая Лампа»? По-моему, ее бы хорошо реформировать в смысле более широкого привлечения «полу-врагов» и даже врагов – что не только подогреет воздух, но и наш лагерь *объединит*. Ведь до сих пор этого не было, незачем себя обманывать. И не только обед<ини>т, но и обострит<sup>14</sup>.

Всего лучшего. Целую Ваши руки.

Искренно Ваш

Г.Адамович

P.S. Не знаете ли Вы, где Манухин (доктор)? И не знаете ли Вы какого-нибудь русского психиатра – выдающегося? Это не для меня – я с ума не сошел<sup>15</sup>.

Датируется на основании того, что является ответом на письмо Гиппиус от 12 августа, а на данное письмо она отвечала 15-го. Отметим, что это письмо было особенно выделено Гиппиус в ответе от 15 августа: «Знаете, не скрою: в первый раз чувствую, что с вами можно (я могу) говорить не для вас, а для себя тоже. Пусть вас не обижает, что “в первый раз”. Ведь никакие “разы” с другими у меня так давно не наступали, что и ожидание стерлось, потерялось. <...> Это не значит, что мы пришли к согласию или даже что можем “договориться”. Я, м<ожет> б<ыть>, и сейчас во многом с вами не согласна, и вы не согласитесь с моими возражениями; но я вас слышу и (вот это-то мне и увиделось-почувствовалось “в первый раз”) – вы слышите меня» (Пахмусс. С.365).

<sup>1</sup> День русской культуры – ежегодный праздник русской эмиграции, приуроченный к дню рождения Пушкина (6 июня), идея которого возникла в 1920, впервые отчасти была реализована в 1921, еще в советской России, а потом перенеслась в эмиграцию.

<sup>2</sup> Жизнь или ирония (*франц.*).

<sup>3</sup> 12 августа Гиппиус писала Адамовичу: «Мне эти мои собственные шутки надоели, свой тон надоел. Ничего, в сущности, такого веселого нет...» (Пахмусс. С.363). И в письме от 15 августа, в связи с ранее состоявшимся разговором о В.В.Розанове: «Любопытно, между прочим: статья, блеском которой я недавно увлеклась (и писала вам), была, по содержанию, вернее, по теме, – необыкновенно близка к попутным мыслям вашего письма. Это о христианстве и о Евангелии, в том смысле, что, конечно, оно бы

провалилось, если б Христос “хотал” или даже радовался. Что “соблазн” печали Евангелия так велик, что вот и он, Розанов, тут же – чуть заглянул – уже соблазнился... Но это воистину “соблазн”, самый ужасный... Словом, выводы (“воля”), наоборот: защита евреев, “плоти” пожирнее, кровки покраснее, хохота погромче... и т. д., что вы легко можете вообразить. Если же это отрезать – и отрезать ваши выводы (“грубость”, вами отрицаемая, им утверждаемая), – то оценка, или просто взгляд на Евангелие, и вот такой-то взгляд на понимание христианства, у вас будет общий, – правильный, т. е. фактически (или “исторически”) верный” (Там же. С.367-368).

<sup>4</sup> Неточная цитата из стихотворения Гиппиус «Тройное» (впервые: СЗ. 1927. Кн.31). В оригинале: «О Человеке. Любви. И смерти».

<sup>5</sup> Гиппиус отвечала на этот пассаж: «Я невольно подумала, читая ваше письмо (невольно в голову пришло), что вы по материи или по “уклону” – типичный “христианин”. Гораздо более, чем я. (Мы не говорим о “вере”, мы сейчас о другом.) <...> Довольно мудрствований, однако. Это я на “первый раз” пошла в столь отвлеченные “заносы”, в них нужна тоже мера. Но уж очень вы сами этим вашим “христианством” соблазнили, – даже до “греха и воздаяния”. Воздаяние – слово трудное. И о двух концах. Оно звучит как “наказание”. Только. А тут ведь что-то потруднее есть, и пострашнее слово, зато поточнее: искупление. Только оно – освобождает действительно» (Пахмусс. С.368).

<sup>6</sup> О турецкой армии наиболее подробно Достоевский писал в разделе «Мы лишь наткнулись на новый факт, а ошибки не было. Две армии – две противоположности. Настоящее положение дел» и во всей первой главе октябрьского «Дневника писателя» на 1877 год. Высказываний о падении министерства в Португалии в сочинениях Достоевского нам разыскать не удалось. Возможно, речь идет о заметках в «Гражданине» (1873. 29 декабря) по поводу смены министерства в Испании («Иностранные события»).

<sup>7</sup> Имеется в виду «История Пугачева» («История Пугачевского бунта»).

<sup>8</sup> См. в ответном письме Гиппиус: «я согласна и с “после, потом”. Но разве всегда то, что “после, потом” – хуже, меньше? Вот хотя бы 2; оно после 1, а чем оно хуже? Или 3, чем оно меньше одного и двух? А категория чисел – ближе соприкасается с реальностью, чем мы привычно воображаем» (Пахмусс. С. 367).

<sup>9</sup> Довид Кнут (Давид Миронович Фиксман; 1900–1955) – поэт и прозаик, один из редакторов «Нового дома».

<sup>10</sup> О роли В.Б.Фохта в судьбе «Нового дома» Гиппиус писала Адамовичу в письме от 12 августа: «А конкретно и житейски – один был враг у *Н<ового> Д<ома>*: Фохт. Да он, бедный, и самому себе враг. Представьте, он еще хорохорится и требует “выкупа” *Зеленой Лампы*, которая, будто бы, “монопольно принадлежит *Нов<ому> Дому*, а не *Кораблю*”. По-моему, она больше принадлежит вам (совокупно со мной, *Ход<асевичем>* и *Цетлиным*), нежели Фохту. А он грозит, что один будет продолжать *Дом*, куда возьмет всю *Лампу*. Впрочем, грозит как-то бессильно, и где уж со столькими женами журнал издавать! Да еще “идеологический”, как он гордо подчеркивает» (Пахмусс. С.364). Ср. также ее рассуждения в письме к В.Ф.Ходасевичу от 31 сентября 1927 (Письма к Берберовой и Ходасевичу. С.80).

<sup>11</sup> Рассказ Георгия Пескова (наст. имя Елена Альбертовна Дейша; 1885–1977) «Шурик» был опубликован во втором номере «Нового дома» в 1926. Ирина Владимировна Одоевцева (Ираида Густавовна Гейнике; 1895–1990) опубликовала в третьем номере «Нового дома» рассказ «Сухая солома». Подробнее об отношениях Одоевцевой с Адамовичем см.: Эпизод сорока-пятилетней дружбы-вражды: Письма Г.Адамовича И.Одоевцевой и Г.Иванову (1955–1958) / Публ. О.А.Коростелева // Минувшее. Вып.21. С.391-501.

<sup>12</sup> 12 августа Гиппиус спрашивала: «Скажите, где Бахтин? В *Корабль* он, конечно, не пойдет, но почему его нет в *Звене*?» (Пахмусс. С.354-365). 16 августа, отвечая Адамовичу, она говорила: «Что касается “сердечного” отношения, то куда уж, хоть бы “головой” жалеть некоторых, вроде Бахтина» (Там же. С.368).

<sup>13</sup> Барон Анатолий Сергеевич Штейгер (1907–1944) – поэт. 12 августа Гиппиус писала Адамовичу: «Не знаете ли вы такого “поэта”-барона Штейгера? Ему 18 лет, он ужасно меня бомбардирует стихами, которые...» (Пахмусс. С.365). Прочитав стихи Штейгера, Адамович изменил свое мнение о нем (см. рецензию на сборник «Этот день»: СЗ. 1929. Кн.38; О Штейгере, о стихах, о поэзии и прочем // Опыты. 1956. Кн.7; Одиночество и свобода. С.151-154). См. переписку З.Н.Гиппиус с А.С.Штейгером, опубликованную Л.А.Мнухиным (Русская мысль. 2000. 4–18 мая, №4316–4318).

<sup>14</sup> О судьбе «Зеленой лампы» Гиппиус писала 15 августа: «О *Зел<еной> Лампе* – вы очень верно. Но вот где нужно осторожничать...» (Пахмусс. С.368).

<sup>15</sup> На вопрос Гиппиус отвечала: «Манухин сейчас в Швейцарии. Хотите его адрес? В Сентябре он будет в Париже. Психиатора <так!> я, увы, не знаю. Но можно спросить у того же Манухина» (Пахмусс. С.367). Иван Иванович Манухин (1882–1958) – врач, общественный деятель. О его отношениях с Мережковскими см. во вступ. ст. М.М.Павловой и Д.И.Зубарева к публ.: «Черные тетради» Зинаиды Гиппиус // Звенья: Исторический альманах. Вып.2. М.; СПб., 1992. С.17-19. Для кого Адамович наводил справки о психиатре, мы не знаем.

### Дорогая Зинаида Николаевна

Простите за длительное молчание. Я уезжал в горы «для поправки» и был там дней 10. Приехав домой, нашел Ваше письмо<sup>1</sup>. Благодарю Вас. Я многое хотел бы Вам ответить, но боюсь, что прервалась нить и что уже нельзя «отвечать», т. е. говорить с полуслова, а надо обстоятельно и подробно «развивать». Поэтому отложим, пока сами собой «два угла» возобновятся. Я уже подумываю о Париже. А вы – еще долго здесь будете? Где же Ваш «Корабль»? Если он вышел, будьте добры, попросите В<адимира> А<наньевича> мне его прислать: и на предмет рецензии, и так, для чтения и назидания<sup>2</sup>. Кстати: мне хочется написать краткую статью о церковных делах, т. е. о послании митроп<олита> Сергия о «лояльности к большеви-

кам»<sup>3</sup>. Нельзя ли написать у Вас? В «Звено» это не годится, в газете не подойдет, да я и не хочу. У меня это желание появилось вот почему: наш дом крайне Карловацкий<sup>4</sup>, и на днях у нас тут было собрание с архиеп<ископом> Серафимом, который приехал из Лондона, выбившись из-под власти Евлогия<sup>5</sup>. Были всякие разговоры, и между прочим Олсуфьева<sup>6</sup>, – знаете, что был на соборе 1917 г., человек «умный, но возмутительный»? Я сидел молча, но многое услышал, чего раньше не знал. Не знаю, как Вы относитесь ко всей этой истории. Еще: нет ли у Вас оттиска Вашей статьи о книге Ильина<sup>7</sup>? Я помню, что она была, но не помню содержания, – а есть у меня только сладко-розовая статья Зеньковского о том же, но она меня раздражает<sup>8</sup>. Ильина я прочел только что, случайно, – и хочу, как гимназист, «прочитать затем критику». О послании Сергия можно написать в «Корабле», если: 1) очередной № не слишком задержится, 2) для Вас приемлема попытка оправдать «лояльность» и даже возвеличить ее как настоящий героизм. Не думайте, что тут с моей стороны выверт или снобизм, в чем Вы меня упрекаете постоянно.

Что это за «Россия» со Струве<sup>9</sup> – и кто туда пойдет? Информуйте меня, пожалуйста, я здесь ничего не знаю, а мне это интересно (в плане житейском, – если Вы помните наши недавние разделения этого). Читали ли Вы перл Осоргина: «“Евг<ений> Он<егин>” был бы несомненно лучше, если бы был написан прозой...»<sup>10</sup> К сожалению, я не могу в «Звене» изобличать «Посл<едние> Н<овости>»<sup>11</sup>. Не изобличит ли Ход<асеви>ч в «Возрождении»?<sup>12</sup> Нельзя оставлять такие идиотства без ответа, хотя бы «из-за малых сих...»<sup>13</sup>.

Всего лучшего. Целую Ваши руки.

Ваш

Г.Адамович

<sup>1</sup> Имеется в виду письмо от 15 августа 1927 (Пахмусс. С.365-367).

<sup>2</sup> О первом номере «Нового корабля» Адамович написал отзыв, помещенный в хроникальном разделе «Звена» (Зв. 1927. №4. С.233-235; подп. – С.), где говорилось: «По внешнему облику, по тону, частью по именам редакторов “Новый Корабль” является прямым продолжением недолго существовавшего “Нового Дома”. Новорожденным принято что-нибудь “желать”. Пожелаем “Кораблю” оказаться долговечнее “Дома” – он этого вполне заслуживает. Журнал содержательный и своеобразный». 17 сентября он писал М.Л.Кантору: «Как Вам нравится “Корабль”? По-моему, ничего – но нам все же конкуренция, хотя они “маниаки”, а мы “просветители»» (Письма в «Звено». С.160). Сохранился отзыв Гиппиус об этом обзоре. 3 октября она писала В.Ф.Ходасевичу: «Видела Звено; прочла только Адамовича; не правда ли, как он элегантно написал о Корабле? (А “в целом и общем” – погас, т. е. Ад<амович>, а не Корабль.)» (Письма к Берберовой и Ходасевичу. С.80).

<sup>3</sup> Речь идет о декларации «Об отношении православной Российской церкви к существующей гражданской власти», опубликованной в июле

1927, в условиях все более растущего государственного гонения на Церковь, заместителем Патриаршего местоблюстителя митрополитом Сергием (Страгородским). В ней говорилось, что православные верующие одновременно являются «верными гражданами Советского Союза, лояльными к советской власти», причем «не только из страха, но и по совести», в соответствии с заповедью апостола Павла (Рим., 13, 5). Этот шаг, предпринятый Сергием с целью получения так называемой «регистрации» (по указу ВЦИК 1922 года все общественные организации, к которым была отнесена и Церковь, должны были иметь государственную регистрацию), знаменовал значительные уступки враждебной христианству власти и имел следствием раскол русского Православия: многие епископы сочли заявление Сергия канонически неправомочным и прервали общение с ним; возникло движение «непоминающих», а с дальнейшим расширением преследований со стороны власти – и так называемая «катакомбная Церковь». Подробнее см.: *Полищук Е.С.* Патриарх Сергий и его Декларация: капитуляция или компромисс? // Вестник Русского христианского движения. 1991. №161.

<sup>4</sup> «Карловчанами» называли сторонников так называемого Высшего церковного управления (ВЦУ), созданного в 1921 в Сремских Карловцах (Сербия) Общецерковным заграницным собранием, впоследствии переименовавшим себя в Русский Всеаглический церковный собор. ВЦУ было упразднено патриархом Тихоном в 1922, однако не подчинилось указу патриарха и тем самым положило начало донине существующему расколу между Московским Патриархатом и русской церковной диаспорой.

<sup>5</sup> Евлогий (Василий Семенович Георгиевский; 1868–1946) – митрополит, глава русских православных приходов в Западной Европе с 1921; в 1931 с частью приходов перешел в юрисдикцию Константинопольского Патриархата. Гиппиус писала о нем В.Ф.Ходасевичу 26 октября 1927: «Евлогий под сурдинку варит кашу с духовенством, многих уже обработал, а насчет паствы... считает, что ее дело помалкивать в тряпочку. Да, кажется, большинство так за ним и пойдет: “он знает, а мы что?”. Факт, в общем, таков: если ты “непримирим”, – ты за “реставрацию и интервенцию”. Если же не за реставрацию – значит, должен быть примирим. Так-с. Понятно, что таким, как мне, – не оказывается на земле места. Хоть убирайся с нее совсем» (Письма к Берберовой и Ходасевичу. С.86; в предпоследней фразе, вероятно, опечатка: вместо «мне» следует читать «мы»).

Серафим (Лукьянов; 1879–1959) – до 1924 архиепископ Финляндский; с 1926 – настоятель Лондонского православного прихода, в 1927 перешел в карловацкую юрисдикцию («я, чтобы импонировать англичанам, выписал из Финляндии архиепископа Серафима, который, лишенный кафедры, сидел тогда в монастыре на Коневце в заточении. Архиепископ Серафим внес в лондонскую паству смуту, а потом возглавил там “карловчан”») (*Митрополит Евлогий*). Путь воез жизни. Париж, 1947. С.426); с 1937 – митрополит; в 1945 вместе с возглавляемыми им приходами вернулся в юрисдикцию Московского Патриархата (в сане) и в 1946, после смерти митрополита Евлогия, был назначен его преемником со званием Патриаршего экзарха в Западной Европе; в 1954 вернулся на родину.

<sup>6</sup> Олсуфьев Дмитрий Адамович, граф (1862–1937) – до революции – член Государственного Совета от Саратовского земства, один из руководи-

телей Совета объединенного дворянства; член Всероссийского Церковного Собора 1917–1918 (избран от Государственного Совета), где занимал крайне правые позиции, требуя от Собора поддержки помещиков в их борьбе за землю (См.: Минувшее. Вып.9. Paris, 1990. С.38); в эмиграции был одним из идеологов Карловацкой церкви, издав в 1929 книгу «Мысли соборянина о нашей церковной смуте» (Париж, 1929); часто бывал на эмигрантских литературных собраниях, выступал с докладами о творчестве русских писателей.

<sup>7</sup> Имеется в виду книга философа Ивана Александровича Ильина (1883–1954) «О сопротивлении злу силою» (Берлин, 1925). Гиппиус писала о ней в статье «Предостережение» (ПН. 1926. 25 февраля).

<sup>8</sup> Речь идет о статье религиозного философа Василия Васильевича Зеньковского (1881–1962) «По поводу книги И.А.Ильина “О сопротивлении злу силою”» (СЗ. 1926. Кн. 29).

<sup>9</sup> После ухода из газеты «Возрождение» П.Б.Струве организовал издание новой еженедельной газеты «Россия» (летом 1928 ее сменила газета «Россия и славянство»). Подробнее см.: *Струве Г. Из истории русской зарубежной печати: Издания П.Б.Струве // Русская литература в эмиграции: Сб. статей / Под ред. Н.П.Полторацкого. Питтсбург, 1972. С.344-351.*

<sup>10</sup> Михаил Андреевич Осоргин (Ильин; 1878–1942) писал в статье «Огородные записи. 6. Лирика, которой не мог ждать читатель: о великом кукареку»: «Не люблю стихов и искреннейшим образом считаю, что эта устаревшая и надоедливая литературная форма годится только для латинских исключений и алгебраических формул (легче их заучивать), что “Евгений Онегин”, будь он написан прекрасной пушкинской прозой, несомненно много выиграл бы...» (ПН. 1927. 27 августа). 17 сентября Адамович писал М.Л.Кантору: «мне жаль, что Осоргин написал свою чушь о “Евг<ении> Он<егине>” в “Последних новостях”. Ведь их по-настоящему не выругаешь, только “полемизируешь”» (Письма в «Звено». С.159). Ср. также следующее письмо.

<sup>11</sup> «Звено» было основано П.Н.Милюковым и М.М.Винавером как приложение к «Последним новостям» и на протяжении всего своего существования по большинству вопросов стояло на тех же позициях.

<sup>12</sup> В.Ф.Ходасевич по поводу этой статьи Осоргина, насколько нам известно, ничего не написал.

<sup>13</sup> Евангельское выражение (неоднократно повторяется – Мф. 10).

Дорогая Зинаида Николаевна

Я остаюсь здесь числа до 20–25<-го>. Поэтому я еще надеюсь быть у Вас, но не на той, а на «после той» неделе. Поверьте, что это «по независящим обстоятельствам». Пока посылаю стихи для В<ладимира>А<наньевича> – с тенденцией на идейность (хотя нет – второе как раз против)<sup>1</sup>. «Новый корабль» мне нравится целиком,

кроме, увы! Терапиано<sup>2</sup>. Не знаю, как вам объяснить, но меня корчит, как Мефистофеля от креста, когда я читаю, что он «живет идеями и духовными проблемами» (стр. 26, внизу). Вообще от «убогой и бескрылой идеи порядка» (чьё-то советское выражение), которая его статью одушевляет. Ну, это дело старое – и я никак не могу поверить, что Вы со мной не согласны. Вероятно, Вы считаете его в какой-то мере «полезным» – для своего влияния, своего дела и т. д. – и цените его прямолинейность. Но «on ne s'appuie que sur ceux qui résistent»<sup>3</sup> (это Наполеон!).

Затем еще о «Корабле»: что же это с «Лампой»? Одно целиком – другое сокращено<sup>4</sup>. Уж если сокращать, нужно, чтобы одна рука прошла по всем. Я это отношу главным образом к себе. Посреди разливанного моря красноречья Талина и Вишняка у меня какие-то дубоватые афоризмы. Бог знает что. Сокращал-то я сам, но в надежде, что и остальные себя не пожалеют. Никаких откликов я Вам прислать не могу<sup>5</sup> по крайней бедности в них и по необходимости дня через два послать все, что имеется, в «Звено». Вот вчерашний «литературный» № «Посл<едних> Нов<остей>» – в целом матерьял недурной, со стихами Милюкова<sup>6</sup> и прочим домашним скарбом. Но решитесь ли Вы напасть на них? Об Осоргине – если я не уложу его в «Звено» – я Вам пришлю позже<sup>7</sup>.

Мне хочется еще – простите за решимость и «хоть Вы не нуждаетесь» и т. д. – преподать Вам совет: не поддавайтесь *defaitism*<sup>8</sup> Ходасевича в отношении «Лампы», Воскресений и всего прочего. Он прав узко-лично, п<отому> что это единственно возможная линия для него лично. Вспомните все его стихи. Но он совершенно не прав объективно. Возможен соблазн, что его позиция чище. Но это только соблазн. Смысл этой позиции – планомерное «отступление» перед жизнью, к этому можно быть вынужденным, но это не надо навязывать другим. Из всего, в конце концов, можно сделать пьедестал, и такой умный человек, как Х<одасевич>, конечно, соорудит его и из гнилой соломы. Еще: из одиночества, отступления, брезгливости можно «выжать» стихи (что он и сделал), но *даже и стихи* лучше выжимать из другого. Простите за расплывчатость. Но ведь это продолжение разговора. М<ожет> б<ыть>, и «Лампа», и Воскресения плохи, но тогда их надо улучшить – единственный выход<sup>9</sup>. Я забыл Вам предложить для «Корабля» рассказ спаржи<sup>10</sup>. Если В<ладими-р>А<наньевич> хочет – я пришлю его.

Если у Вас по воскресениям все робеют и «каменеют», – то это так и д<олжно> б<ыть>, лучше, чем если бы «распоясывались».

Всего лучшего. Целую Ваши руки и кланяюсь Дмитрию Сергеевичу и В<ладимиру>А<наньевичу>!

Ваш

Г.Адамович



<sup>1</sup> Во втором номере «Нового корабля» появились стихотворения Адамовича «Один сказал: нам этой жизни мало...» и «Еще переменится все в этой жизни, о да...». Получив стихи, Гиппиус писала ему 15 сентября 1927: «стихи ваши, на мой взгляд, – прекрасные. Если я прибавила “на мой”, то ведь вы знаете, из преувеличенной добросовестности, помня мою *affinité* <близости, родственности (*франц.*)> к вашим статьям. Но без преувеличенности – полагаю, что скажу то же: стихи и “вообще” очень хорошие. “Наши” мой суд разделяют (а “не нашим”, Ходасевичам, мы их и не показывали, пусть в книжке прочтут)» (Пахмусс. С.370).

<sup>2</sup> О статье Ю.К.Терапиано «Журнал и читатель» в первом номере «Нового корабля» Адамович высказался и печатно: «Ю.Терапиано касается вопросов более мелких и злободневных. Некоторые чисто практические его замечания справедливы. Но общие суждения о современной литературе, на наш взгляд, схематичны и неубедительны. “Два лагеря” – основное ощущение Мережковского – Терапиано воспринял целиком. Он рвется в бой, – вслед за учителем. Отваги у него много, но оружие в его руках еще недостаточно обточено» (Зв. 1927. №4. С.235). Гиппиус отвечала ему в письме: «относительно Т<ерапиано> – ну конечно, вы правы; только мудрость моего долголетия заставляет меня иные “кресты” терпеть, не “корчась”... пока что, в ожидании лучшего» (Пахмусс. С.370).

<sup>3</sup> Опираются только на тех, кто сопротивляется (*франц.*).

<sup>4</sup> Имеется в виду отчет о заседании «Зеленой лампы», помещенный в первом номере «Нового корабля». Перепечатан: *Терапиано Ю.* Литературная жизнь русского Парижа за полвека. С.42-79. См. в ответном письме Гиппиус: «...насчет Талинского “разливанного моря” вы опять правы, и все мы то же с досадой почувствовали. <...> К ужасу вижу, что и во втором номере будет вроде этого, только Иванович уж очень идиотичен и нагл; я думала, не сам ли он за себя говорит, т. е. не явен ли его позор, а теперь сомневаюсь: если в *Возрождении* могла такая кретинская рецензия появиться о *Корабле*, то что же? А я Дмитрия Сергеевича на 9/10 сократила. Да, нужна “одна рука”» (Пахмусс. С.370).

<sup>5</sup> Адамович регулярно печатал за подписью «Сизиф» в «Звене» (с ноября 1924 по ноябрь 1927), а затем в «Последних новостях» (с ноября 1927 по август 1939) заметки под рубрикой «Отклики». Редакция «Нового корабля», судя по всему, хотела и в своем журнале печатать аналогичные заметки, что, однако, осуществлено не было.

<sup>6</sup> Имеется в виду статья П.Н.Милюкова «*Quatre Septembre*» (ПН. 1927. 8 сентября), где опубликованы небольшие отрывки из его детской поэмы, снабженные словами: «Стихи крайне плохи, и оглашение их требует некоторой жертвы детским самолюбием».

<sup>7</sup> Отклика Адамовича по поводу упомянутой в предыдущем письме статьи М.Осоргина не появилось ни в «Звене», ни в «Новом корабле».

<sup>8</sup> Пораженчеству (*франц.*).

<sup>9</sup> В.Ф.Ходасевич был одним из инициаторов создания «Зеленой лампы», однако позже, как можно понять по ряду свидетельств, засомневался, уместны ли ее заседания в нынешних обстоятельствах. Гиппиус отвечала на рассуждения Адамовича 14 сентября: «Что касается Ходасевича – то я даже

изумилась: накануне вашего письма, вечером, я почти слово в слово сказала о Ходасевиче то же самое, а чего не договорила – договорил тут же Дмитрий Сергеевич. А насчет вашего совета – еще удивительнее: самому же Ходасевичу на его *defait'изм* ответила (уже!) вашими же словами: плохо *Зеленая Лампа* и воскресенья, значит, надо сделать их лучше, а уничтожить легко! И я на это не пойду. Дмитрий Сергеевич просто говорит: “Да не приглашай его, и на *Лампу* не будем ему повесток посылать, вот и все”» (Пахмусс. С.370). Несколько позднее, 3 октября, она писала самому Ходасевичу: «Д<митрий> С<ергеевич> рвется в Париж, увлечен мыслью о “цикле” публичных лекций, от фирмы *Зеленая Лампа*, причем вторая, после его, должна быть *ваша*. Я говорю: да ведь он начнет прежде всего так отнекиваться, что седьмой пот прошибет. Но Д<митрий> С<ергеевич> все готов выдержать, так что готовьтесь к атаке» (Письма к Берберовой и Ходасевичу. С.80).

<sup>10</sup> Возможно, имеется в виду: *Фельзен Ю.* Две судьбы // *Новый корабль.* 1927. №4. 1 сентября 1927 Гиппиус писала Н.Н.Берберовой: «Адамович, просияв, – погас; к нам не приехал – отчего – неизвестно, только написал – через долгое-долгое время! что уезжает в Париж, и прислал рассказ Коли Фрейд<енштейна>, с адскими рекомендациями... (я еще не читала)» (Письма к Берберовой и Ходасевичу. С.16; судя по всему, дата письма неточна). 14 сентября Гиппиус писала Адамовичу: «Володя вам хотел сам написать: конечно, давайте Спаржиную новеллу. Привезите, когда приедете...» (Пахмусс. С.370).

24

< Штемпель: 12.10.<19>27.  
Бумага: Wepler, Café-restaurant  
14, Place Clichy, Paris>

### Дорогая Зинаида Николаевна

Не удивляйтесь прежде всего бумаге. Я еще не имею пристанища и пишу в кафэ. Это, кстати, одна из основных парижских литературных традиций.

В Париже я уже несколько дней. Но особых новостей или сенсаций сообщать Вам не могу, ибо ничего такого не слышал. Ходасевичей не видал, Ивановы здесь и совсем близко от Вас, на rue Raynouard в элегантном пьедатерре<sup>1</sup>. Он собирается менять литературный жанр, ему «на Невском надоело»<sup>2</sup>. «Звено» прозябает, или, вернее, тоже что-то хочет менять – стремится «выявить свой лик»<sup>3</sup>. Читали ли Вы заметку Философова о «Корабле»? Мне, конечно, лестно – «Адамович и Милюков», и, кажется, после этого меня даже в «П<оследних> Нов<ост>ях» зауважали, – но я искренно недоумеваю, что я дался Философому<sup>4</sup>? «Барин, ты меня не трогай, я иду своей дорогой, я и сам социалист»<sup>5</sup>. И если убийство Коверды «мировой факт», то Бог с ним, с миром<sup>6</sup>. Во всем этом много раздражения и нервов, – но больше ничего. Я все время думаю, как писать и вообще «как» все – будто мир рушится, надо итоги, «завещание», или все благополучно – не пойти ли с князем Волконским в балет<sup>7</sup>?

По духу противоречия и там и здесь хочу «возражать». Но если все катастрофы сводятся к Коверде, то я решительно за балет. По крайней мере, скромно и честно. Кстати, мне хочется написать «завещающие» или вроде – т. е. в «Звене» пишу и притворяюсь, вру для «читателя» и изображая критика и т. п. – а вот что я действительно думаю, и уже без «что же касается» и «следует приветствовать»<sup>8</sup>. Но боюсь, что никому будет не интересно, и тогда окажусь в смешном положении – чего, как Гедда Габлер, боюсь больше всего на свете, по слабости<sup>9</sup>. И потом, может оказаться «цинично».

Когда Вы возвращаетесь в Париж? Мой адрес, если Вы соблаговолите мне написать: *Poste restante. Bureau №118, rue d'Amsterdam.*

Всего хорошего. Кланяюсь Дмитрию Сергеевичу и В<ладимиру> А<наньевичу> и целую Ваши руки.

Ваш

Г.Адамович

<sup>1</sup> От *pied-à-terre* (франц.) – временное жилище.

<sup>2</sup> Имеется в виду цикл беллетризованных мемуаров Г.Иванова «Невский проспект», в 1926–1928 печатавшихся в «Последних новостях». Известие о новом адресе Иванова и Одоевцевой было буквально пересказано Гиппиус в письме к Н.Н.Берберовой от 15 октября 1927 (см.: Письма к Берберовой и Ходасевичу. С.18).

<sup>3</sup> Возможно, в неизвестном нам письме к Адамовичу Гиппиус критиковала очередной (четвертый) номер «Звена», как она сделала в письме к Н.Н.Берберовой от 6 октября 1927: «Ах, нельзя сказать, чтоб Звено было блистательно. У Оцупа есть прямо непозволительности в стихах (в поэтическом смысле), а Мамченко... этот навел меня на столь неприличные сравнения, что когда я, необдуманно, высказала их вслух – к счастью, при одном Володе, – то Володя покраснел» (Письма к Берберовой и Ходасевичу. С.17; имеются в виду стихотворения Н.Оцупа «Химеры» и В.Мамченко «Дремота»). Ср. в письме Адамовича к М.Л.Кантору от 17 сентября 1927: «...о “Звене”, по-моему, надо устроить тщательнейшее совещание» (Письма в «Звено». С.160). Известиями о возможной перестройке «Звена» Гиппиус была заинтересована и спрашивала В.Ф.Ходасевича в письме от 16 октября (явно реагируя на письмо Адамовича): «...не знаете ли, как Звено хочет “выявить свой лик”? И почему оно заволоновалось? Не нашему ли паруснику позавидовало?» (Письма к Берберовой и Ходасевичу. С.85). Однако никаких заметных взгляду изменений в журнале не произошло.

<sup>4</sup> Имеется в виду статья Д.Философова «Большому кораблю – большое и плаванье» (За свободу! 1927. 25 сентября). Ср. фразу: «Пусть и Мережковский и Гиппиус поймут, что им надлежит или умолкнуть, отойдя в сторону, на что они имеют полное право и за что их никто не осудит, или говорить громким голосом, “поверх” Милюковых и Адамовичей, без обиняков, без тактики».

<sup>5</sup> Источник цитаты не обнаружен.

<sup>6</sup> Ср. в статье Философова, названной в примеч. 4: «Мы здесь, в Варшаве, пережили за это время слишком много трагических событий местного и

мирового масштаба. <...> 7 июня Коверда убил Войкова». Борис Софронич Коверда (1907–1987) убил советского полпреда в Польше П.Л.Войкова (1888–1927) за причастность к расстрелу царской семьи.

<sup>7</sup> Князь Сергей Михайлович Волконский (1860–1937) – театральный деятель, мемуарист. В «Звене» печатал статьи о театре и о русском языке.

<sup>8</sup> Такой статьи Адамович в то время не написал.

<sup>9</sup> Гедда Габлер – героиня одноименной пьесы Г.Ибсена. Ср. письмо 10 и примеч. 9 к нему.

25

<Ноябрь 1927>  
Brasserie Cyrano  
Place Blanche, Paris

Дорогая Зинаида Николаевна

Не знаю, извиняться ли мне за долгое молчание. Во-первых, Вы мне написали, что «я Вас утомляю». Во-вторых, я все жду, что Вы наконец появитесь в Париже. Но недавно узнал, что Вы собираетесь «к 10-му», – а раз к «10-му», то, значит, не раньше двадцатого, так бывает обыкновенно...<sup>1</sup>

Здесь уже начался «сезон». Все по-прежнему. Что Вы делаете? «Следите» ли за здешней литературой, за «Днями»<sup>2</sup>, «Звеном» и т. д.? Не упрекайте меня, пожалуйста, в кретинизме за последнее «Звено»<sup>3</sup>: «сами все знаем, молчи!»<sup>4</sup>, и кроме того, на это есть объяснение и причина. Отчего, кстати, *Вы не пишете в «Звене»*? Вы мне сами говорили, что не знаете, где писать. Отчего Вы презираете нашего «Кугеля» – журнал «элегантный и чистенький»? Я не уполномочен Вас приглашать, но Вы сами знаете, что «Звено» Вас жаждет. Я собираюсь ответить Философому, – без раздражения, даже почтительно, но с недоумением: чего Вы хотите, *monsieur*?<sup>5</sup> Как Вам нравится Кантор об Алданове<sup>6</sup>? Неплохо, правда? В будущем номере он будет писать о «Мессии»<sup>7</sup>. Ему чего-то не хватает, «чуть-чуть», а так он «все понимает». Знаете ли Вы поздне-петербургское выражение «фармацевт»<sup>8</sup>?

Простите, что пишу Вам всякую чепуху. Нельзя же все об «интересном». Я занимаюсь просветительской деятельностью – просвещаю дам в Passy<sup>9</sup> насчет современной словесности с исключительной целью наживы. Они слушают и записывают в тетрадки!

Ну вот. Адрес мой, увы! все тот же: poste restante, bureau №118, rue d'Amsterdam. Всего лучшего. Je vous suis très dévoué<sup>10</sup>. Целую Ваши руки.

Г.Адамович

Датируется по содержанию: пятый номер «Звена», который разбирает Адамович, вышел 1 ноября 1927.

<sup>1</sup> Мережковские собирались вернуться в Париж в самом начале октября (см.: Письма к Берберовой и Ходасевичу. С.21), однако в конце октября Гиппиус заболела. 9 ноября она сообщала В.Ф.Ходасевичу: «Мы надеемся быть в П<ариже> в начале будущей недели» (Письма к Берберовой и Ходасевичу. С.87).

<sup>2</sup> С октября 1927 по июнь 1928 Адамович параллельно с работой в «Звене» регулярно публиковал статьи в парижском еженедельном журнале «Дни».

<sup>3</sup> Речь идет о пятом номере, где Адамович напечатал «беседу» о Вячеславе Аверьянове и новой книге И.Шмелева (см.: Адамович-2. С.286-292).

<sup>4</sup> Цитата из стихотворения В.Я.Брюсова «Каменщик», излюбленная Адамовичем. 29 января 1953 он писал Ю.П.Иваску: «Насчет “устремлений” и “высказываний” есть у Брюсова строчка, которую часто случается вспоминать: “Сами все знаем, молчи!”» (Amherst Center for Russian Culture. G.Ivask Papers. Box 1. Folder 2).

<sup>5</sup> Отвечать Д.В.Философону на статью, названную в примеч. 4 к письму 23, Адамович не стал.

<sup>6</sup> *Кантор Мих.* Мыслитель (По поводу «Заговора» М.А.Алданова) // Зв. 1927. №5. С.257-261.

<sup>7</sup> Такая статья в «Звене» не появилась.

<sup>8</sup> «Фармацевтами» в кругу артистических посетителей «Бродячей собаки» называли людей не своего круга, тех, кто приходил в кабаре, купив билеты, и тем самым оплачивал основную часть расходов.

<sup>9</sup> Пасси – XVI округ Парижа, где жило много русских эмигрантов. Начиная с 1 ноября 1927 Адамович читал цикл лекций и вел практические занятия по современной русской и современной французской литературе. См. объявления в «Звене» и «Последних новостях».

<sup>10</sup> Я вам очень предан (*франц.*).

Дорогая Зинаида Николаевна

У меня, очевидно, «l'esprit de l'escalier»<sup>1</sup>. Обращаюсь к Вам как к члену «Зел<еной> Лампы». Вот что для меня вчера вечером стало ясно.

Лекция Д<митрия> С<ергеевича> несомненно повлечет за собой уход из «З<еленой> Л<ампы>» Цетлина<sup>2</sup>. Если он уйдет – с письмом в газетах, – я буду *вынужден* тотчас же сделать то же самое<sup>3</sup>. Теперь вопрос: будете ли Вы продолжать «Зел<еную> Л<ампу>», оставшись официально вдвоем с Ходасевичем? (который, как Вы сами мне говорили, анти-ламповец). Если да – все благополучно и я со всем согласен. Если нет – мне жаль «Зел<еной> Лампы» и я сомневаюсь, стоит ли Дмитрию Сергеевичу сознательно и намеренно идти на ее убийство. В конце концов, «вывеска» ведь ему правда не нуж-

на и ничего не даст, – еще меньше, чем Анатолию Франсу прибавка «de l'academie française»<sup>4</sup>. Вчера вопрос ни разу не был поставлен так ясно и просто, как он мне сейчас представляется. Повторяю, если «Лампа» выйдет живой из всего этого, – я вполне удовлетворюсь этим, и, поверьте, Вы и Дмитрий Сергеевич, что у меня никаких других соображений или интересов в этом деле нет.

Ваш

Г.Адамович

Если Вы хотите мне что-нибудь срочно ответить, то:

17, rue Biot (XVII)

Hotel Idéal

<sup>1</sup> Я задним умом крепок (*франц.*). Буквально: «лестничное остроумие».

<sup>2</sup> Михаил Осипович Цетлин (псевд. Амари; 1882–1945) – поэт, прозаик, критик. 17 декабря 1927 Мережковский читал доклад «Наш путь в Россию, непримиримость или соглашательство?», полемизируя в нем с Милюковым и позицией «Последних новостей». Вероятно, какой-то эпизод, слишком задевающий Цетлина, был снят, так как Цетлин продолжал принимать участие в заседаниях «Зеленой лампы».

<sup>3</sup> Имеется в виду, что Адамович как постоянный сотрудник «Звена» не мог бы противопоставить свое поведение поступку одного из определяющих сотрудников «Последних новостей».

<sup>4</sup> Член Французской Академии (*франц.*).

27

<Штемпель: 5.12.<19>27>

Дорогая Зинаида Николаевна

Вы мне обещали написать, «когда поправитесь». Я знаю, что поправились Вы давно, и недоумеваю, что значит Ваше молчание. Никаких провинностей перед Вами у меня, кажется, нет, но «в нашем горестном быту»<sup>1</sup> никогда нельзя быть в этом уверенным. Или Вы решили сторониться всего милюковского и Керенского окружения?<sup>2</sup>

Мне очень нужен Анненский – не позже четверга. Не будете ли Вы добры написать мне, когда можно к Вам за ним зайти, и если можно, то и застать Вас. У меня постоянный адрес и собственная квартира (крайне неудачная, но отдельная)! – 8, rue Biot (XVII).

Целую Ваши руки.

Ваш

Г.Адамович

<sup>1</sup> Из стихотворения Адамовича «За все, что в нашем горестном быту...» (Цех поэтов. Берлин, 1923. Кн.4; Зв. 1923. 17 сентября).

<sup>2</sup> П.Н.Милюков упоминается здесь как редактор «Последних новостей», а А.Ф.Керенский – как редактор газеты «Дни».

28

<Штемпель 16.1.1928.  
Бумага кафе «Веплер»>

Дорогая Зинаида Николаевна

Я сегодня утром вернулся из Ниццы и нашел Ваше письмо, написанное 2-го!<sup>1</sup> Простите за молчание – но моей вины в нем нет.

Я очень хочу Вас видеть. Не будете ли Вы добры написать мне, когда это возможно. Мне дни и часы безразличны, «расстоянием не стесняюсь», – но лучше не пятницу.

Целую Ваши руки

Ваш

Г.Адамович

<Адрес на рю Био>

<sup>1</sup> Письмо неизвестно, однако 6 января 1928 Гиппиус писала Н.Н.Берберовой: «Какую мертвенную статью о В.Ф.<Ходасевиче> написал Адамович. Редкая мертвенность! Кстати, уж в городе ли Ад<амович>! Я ему, перед жабой еще, послала письмо – и ни звука в ответ. На него не похоже» (Письма к Берберовой и Ходасевичу. С.25).

29

<Конец января – начало февраля 1928>

Дорогая Зинаида Николаевна

Вот *quelques vers*<sup>1</sup>. Должен признаться, что они мне в общем нравятся и я отношусь к ним с отеческой нежностью<sup>2</sup>. Не знаю, как отнесетесь Вы. Буду очень благодарен, если Вы *напишете* мне об этом, п<отому> что где же теперь говорить между «Зеленой лампой», литературными нравами и левизной в искусстве<sup>3</sup>.

Преданный Вам

Г.Адамович

На одном из стихотворений мне хотелось бы написать, как писал Тютчев: «Pour Vous à déchiffrer toute seule»<sup>4</sup>.

Датируется на основании письма Гиппиус от 14 февраля 1928 (цитируемого в примеч. 3) и упоминания «левизны в искусстве»: судя по всему, это название диспута в «Зеленой лампе», состоявшегося 6 февраля 1928 (Зеленая лампа. С.170).

<sup>1</sup> Несколько стихов (*франц.*).

<sup>2</sup> К письму приложены стихотворения: «За слово, что помнил когда-то...», «Тихим, темным, бесконечно звездным...», «Патрон за стойкою глядит привычно-сонно...». Все три стихотворения вошли в итоговый сборник стихов Адамовича «Единство» (Вашингтон, 1967). Эти стихотворения, а

также приложенные к письму 37, опубликованы: *Адамович Г.* Собр. соч. Стихи, проза, переводы. СПб., 1999.

<sup>3</sup> 14 февраля 1928 Гиппиус писала:

...я хочу воспользоваться этим случаем, чтобы если не восстановить загадочно пропавшее письмо, то все же сказать два слова о ваших стихах. <...> Я вам говорила, что есть два рода стихов, два разных рода. С одним из них дело не в «нравлении», а в «пронзении». От этого рода и требуешь «пронзения», и смотришь, в каких стихах его больше, в каких меньше. <...> такие стихи (пронзающие) – полученное позволение заглянуть в другого, какая-то невидимая встреча – хотя бы не с похожим на тебя, не с близким вовсе (это почти все равно), однако захватывающая по чудесности и от одного видения, понимания – радостная. <...> ваши стихи принадлежат именно к этому роду «пронзения», и в этом порядке мной судились. Я вполне могу превратиться в лит<ературного> критика для стихов второго рода. <...> Но с X, Y, Z иначе. Им – и вам – я всегда хочу сказать: вот здесь вы встречный, испытующий взгляд выдержали, ему что-то позволили взять от вас, а здесь – нет. Не успели. А здесь... Нет, боюсь неполучения, честное слово кончаю.

(Пахмусс. С.272-273)

<sup>4</sup> «Для Вас, чтобы прочесть совсем одной» (*франц.*) – фраза, написанная над стихотворением Тютчева «Не знаю я, коснется ль благодать...», посвященным жене, Э.Ф.Тютчевой. См.: *Тютчев Ф.И.* Полн. собр. соч. / С критико-биогр. очерком В.Я.Брюсова; Под ред. П.В.Быкова. СПб., 1913. С.176.

### Дорогая Зинаида Николаевна

C'est entendu<sup>1</sup> – я буду читать «доклад» в субботу. Но что из этого получится? Видите ли, я не дефэтист<sup>2</sup>, но иногда поневоле станешь им. Понесены расходы, нанят зал, значит – надо читать, – но я не имею, *что*<sup>3</sup>. Остановиться на полдороге я не хочу. О культуре с противоположением Толстого Пушкину – не хочу, не «интересно». А о другом – боюсь задеть сердца старушек, вроде нашего председателя. Т. е. возмутить в их затхлых «святая святых» – которые все-таки их последнее прибежище, «ибо не имах другия». Для Дмитрия же Сергеевича – я навсегда остаюсь трупом, что в последнее воскресенье я понял окончательно<sup>4</sup>. Но не хочу ради не-трупства отказываться от *холодного вежливо-приличного тона* и не хочу никаких страстей для демонстрирования публике. Надеюсь, Вы меня достаточно знаете и не подумаете, что я красуюсь своей *nature incomprise*<sup>5</sup> и неким «одиночеством» в предстоящей беседе. Нет ничего мне противнее – искренно. Но, кажется, я гораздо больше декадент, чем Вы – «столп и утверждение декадентства»<sup>6</sup>. Вы предали и отказались – в конце концов и Евангелие, книгу не только самую удивительную, но и са-



мую декадентскую в привкусе ее «не бывает, не бывает!», в полной ее неприемлемости для людей «положительно мыслящих».

Вот, собственно, что я бы хотел сказать: бегите, господа, *messieurs-dames*<sup>7</sup>, от этой книги, ибо от нее теряется сладость жизни, сахарный и сладкий ее <нрзб>. Но нео-декадентским тоном, ее «зеленой водой Леты» в жилах, вместо крови. Это Бодлер – «l'eau verte de Léhé»<sup>8</sup>, и это совершенно то же, что «холодный ключ забвенья»<sup>9</sup>. Пушкин оттого и *не* интересен (в конце концов), что эклектичен и вообще «что угодно», откуда Достоевскому вздумалось вывести «всемирность»<sup>10</sup>.

Еще, у Розанова хорошо изречение: «Я не хочу истины, я хочу покоя»<sup>11</sup>. Самые острые истины только в таком тоне *для меня, на мой слух* доходят. Но собрание провалится или будет чепухой (как прошлое<sup>12</sup>, в сущности – внешне удачное, внутренне «захолустное», по Д<митрию> С<ергееви>чу<sup>13</sup>) – *п<отому>* что будет глубокое расхождение устремлений, лучей и, по-старинному, *мечты*.

Ваш

Г.Адамович

<sup>1</sup> Решено (*франц.*).

<sup>2</sup> От *defaitiste* (*франц.*) – пораженец, капитулянт.

<sup>3</sup> Судя по всему, речь идет о собрании «Зеленой лампы» на тему «Толстой и большевизм», где Адамович произнес вступительное слово. Собрание заняло два вечера – 18 и 27 февраля (Зеленая лампа. С.170). Отметим, что 18 февраля было воскресенье, а не суббота. Получив это письмо, Гиппиус в ответном письме от 14 февраля пыталась разуверить Адамовича в его сомнениях: «Никуда собрание не провалится, милый Георгий Викторович, и, на мой взгляд <...> даже больше, на мое ощущение – вы один из самых живых людей из долгого моего антуража. <...> Ваша живая точка – “интерес к интересному”, и чем бы вы ее ни заваливали, она свое возьмет. <...> Я еще много могла бы тут расписаться, но хочу кое-что сохранить для общего возражения вам в *Зеленой Лампе*...» (Пахмусс. С.371).

<sup>4</sup> Относительно Д.С.Мережковского Гиппиус говорила: «Что касается Д<митрия> С<ергеевича>, то странно, что вы как-то его не “улавливаете”, его какого-то “темпа”, что ли. <...> Вы попадаете в его “порядок” (что редко), оттого он вас как будто и “грызет”, и при этом же говорит, что вас “нежно утверждает”, – чему я верю вполне» (Пахмусс. С.372).

<sup>5</sup> Непонятая натура (*франц.*).

<sup>6</sup> Видимо, парафраз названия знаменитой книги П.А.Флоренского «Столп и утверждение истины».

<sup>7</sup> Господа и дамы (*франц.*).

<sup>8</sup> Из стихотворения Ш.Бодлера «Spleen» («Je suis comme le roi d'un pays pluvieux...»). В переводе В.Левика:

...крови ни следа

И только Леты спит зеленая вода.

<sup>9</sup> Из стихотворения Пушкина «В степи мирской, печальной и безбрежной...».

<sup>10</sup> Имеется в виду знаменитая «пушкинская» речь Ф.М.Достоевского.

<sup>11</sup> Запись из «первого короба» «Опавших листьев» (Розанов В.В. О себе и жизни своей. С.285).

<sup>12</sup> 6 февраля на заседании «Зеленой лампы» был доклад Н.А.Оцупа «Левизна в искусстве» (Зеленая лампа. С.170). Николай Авдиевич Оцуп (1894–1958) – поэт, критик, редактор журнала «Числа». Был близко знаком с Адамовичем еще со времен петроградского «Цеха поэтов».

<sup>13</sup> Имеется в виду статья Д.С.Мережковского «Захолустье» (Возрождение. 1928. 26 января).

31

Дорогая Зинаида Николаевна

Я уже несколько дней в Ницце – и через неделю собираюсь обратно. Но я люблю Ниццу как одиночество, тихую жизнь и само собой получающееся «сосредоточение». Чуть-чуть монастырь – а я к этому все-таки склонен, особенно если «чуть-чуть», т. е. где-то есть всяческий шум и никто не мешает туда пойти. Бродят у меня в голове разные мысли, – и я бы с охотой Вам, как летом, о них написал, но лето еще не наступило, да и как начать? С чего?

Я как-то Оцупу предложил, уезжая сюда: давай переписываться на благородные темы. Он мне и хватил сразу, без всяких *préambules*: «Гете говорит, что поэзия выше жизни. Что ты об этом думаешь?» Ну что я мог ему ответить? Боюсь оказаться Оцупом сам. (Хотя я по дурному нраву его обижаю, и отчасти оттого, что Вам можно, т. е. Вы поймете, и все равно знаете все сами, – а он милый и «честный», хоть ужасающе беспомощный<sup>1</sup>). Вот образчик: у Вас в воскресенье я что-то плел анархическое, – без позы, уверяю Вас. А Вы: «Как можно! Да ведь это 90<-е> годы! Старье!» Меня *очень* это удивило, – от Вас. Как устарело? Что устарело? Неужели с 90-х годов уже твердо все разрешили – и государство, и суд, и все «слезинки», из-за которых возвращается Богу билет, иногда искренно и с отчаянием<sup>2</sup>? – Ну, как сошло у Вас последнее воскресенье? Мне очень жаль, что я не буду на Лампе с докладом Дм<итрия> С<ергееви>ча<sup>3</sup>. Я должен Вам сознаться, что на меня иногда действует *тон* (звук, и то, откуда исходит) Д<митрия> С<ергеевича> как ничто. То есть «внемлю арфе серафима»<sup>4</sup> – а в печати это улетучивается неизбежно<sup>5</sup>.

Напишите мне, если будете добры, – только поскорее, а то я уеду.

Был ли у Вас Поплавский и как он Вам понравился<sup>6</sup>? Он, по моему, умный и талантливый, но хитрый, вроде как Есенин подыгрывался под «простачка».

Есть ли новости из области Ходасевича? Впрочем, это меня больше не занимает и не задевает<sup>7</sup>.

Целую Ваши руки и шлю искренний привет Дмитрию Сергеевичу и Влад<имиру> Ананьевичу.

Преданный Вам

Г.Адамович

19 апреля <1928>

<Адрес в Ницце>

<sup>1</sup> 21 апреля Гиппиус писала Адамовичу: «Считал ли Гете поэзию выше жизни, – мне сейчас в высокой степени наплевать, но... Оцуп ведь мне этих вопросов, слава Богу, и не ставит, да и я... ему своих предпочитаю не ставить. Вот уже бескорыстно отношусь к нему! Хотя вы правы: в нем есть что-то и недурное, и даже как будто прогрессирует» (Пахмусс. С.375-376).

<sup>2</sup> Об этом пассаже Гиппиус писала Адамовичу 21 апреля 1928:

Что касается тех «штирнерианств», которые вдруг вы тогда подняли, то я удивляюсь, как вы не поняли естественности моего протеста; впрочем, он был далек от всех «возвышенных порядков», а попросту схватила меня скука, – вот, бывает от «повторения пройденного». Вам неоткуда знать, пожалуй, что если не в 90-х гг., то в каких-то попозже, подобные вещи, с таким звуком и тоном, простукивали мне голову. «Модность» в них была ужасная, наивная подчас и беспардонная. Заслышав знакомые звуки, я и рассердилась. Неужели, мол, теперь – и для вас! – лезть за старым, заржавевшим оружием, которым я боролась против этих «индивидуалистов»? <...> когда я вдруг вижу высказывающее из вас «такое»... о такой вашей «точке состояния» свидетельствующее, с какой еще на новые открытия (на «беседу» в идеальном смысле) отправляться нельзя, – я погружаюсь в натуральную досаду. Вот пишу сейчас – и даже не уверена, что вы эти, совсем не тонкие, а простые вещи как следует воспримете. Вдруг вернулся момент досады. Скажите пожалуйста! «Анархические вещи», «démoraliser» и т. д. – и тут же «слезинка», и опять т. д.!

(Пахмусс. С.375)

<sup>3</sup> 22 апреля 1928 в «Зеленой лампе» состоялся доклад Д.С.Мережковского «Который же из вас? (Иудаизм и христианство)» (Зеленая лампа. С.170).

<sup>4</sup> Из стихотворения Пушкина «В часы забав иль праздной скуки...»

<sup>5</sup> Гиппиус отвечала на этот пассаж: «Вы не только не услышите “арфы серафима” (или тромбонов) Д<митрия> С<ергееви>ча, – но и не прочтете. Возрождение испугалось и “фило” и “пола”, – обоих. Но в “поле” и вправду было хвачено: я убедила Д<митрия> С<ергеевича> выкинуть кое-что и в чтении, а то и Спаржа растерялась» (Пахмусс. С.376).

<sup>6</sup> Борис Юлианович Поплавский (1903–1935) – поэт, один из подававших наибольшие надежды в конце 1920-х – начале 1930-х. Гиппиус писала Адамовичу в ответном письме: «Поплавского у нас не было. Ждет вашей интродукции. Стихов его не читала» (Пахмусс. С.376).

<sup>7</sup> О чем именно идет речь в применении к Адамовичу, установить не удалось. Однако в то же время серьезный инцидент с В.Ф.Ходасевичем произошел у Гиппиус, когда он вмешался в текст какой-то ее статьи (воз-

можно, выступления в «Зеленой лампе» (Два завета // Возрождение. 1928. 11 апреля) или подписанной «Антон Крайний» рецензии на 34-ю книгу «Современных записок», где анализировалась статья В.В.Вейдле о Ходасевиче (Возрождение. 1928. 31 марта). См. письма Гиппиус к нему от 12 и 13 апреля (Письма к Берберовой и Ходасевичу. С.89-91). Адамовичу Гиппиус отвечала: «“Дело Х.” и мне опротивело. Не говорю о “вашем”, но о своем, в котором выяснились другие штуки, – не стоит о них писать, ибо они ликвидированы. Но вообще с *Возрожд<ением>* у нас возня, и не только у меня, но и у Д<митрия> С<ергеевича>. Забоялись его филосемитизма... О деле “вашем” я ничего нового в поле моего слуха (и так узкого) больше не допущаю» (Пахмусс. С.374).

32

< Штемпель: 4 juin 1928.  
Бумага кафе «Веплер»>

Дорогая Зинаида Николаевна

Пишу Вам «без повода». Сидя в кафе и размышляя под музыку о бренности человеческого существования. Благодарю Вас за надписи на книге. Но предостережение я не совсем понимаю. Георгий Иванов, который – очевидно – совсем не глуп, говорит: «Все равно – все чушь». Я ему возражаю и ругаю его больше так для «гигиены» – но очень сомневаюсь, не прав ли он. Особенно здесь, за тридевять земель от России, вне времени и пространства. Кому, зачем, что, для чего, как? Я все больше и больше думаю, что настоящая «миссия русской эмиграции»<sup>1</sup> была бы попробовать «подышать горным воздухом одиночества»<sup>2</sup>, т. е. не пропустить случай, который больше не повторится. Ведь будто на необитаемом острове – человек, Бог и природа. Никакой цели и даже – оправдания. Но знаете – нет людей подходящих, которые могли бы «подышать», даже понять, что это такое. Не упрекните меня в высокомерии, если я пишу это. Я реально, может быть, тоже не могу – но «в проэкции» могу, а пожалуй, это мне только кажется. От «двоящихся мыслей».

У Вас, за последним воскресным чаепитьем, была, конечно, – чепуха, и, кажется, Д<митрий> С<ергеевич> от этого изнывает, а Вы гораздо меньше, потому что снисходительнее. Удивительно, что «напряженность разговора обратно пропорциональна количеству говорящих». Это почти формула. Напряженность – т. е. уровень. С глазу на глаз люди не станут говорить глупости и отшучиваться ото всего, втроем – чуть больше, а если четыре-пять – так все там и катится.

Veillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux<sup>3</sup>.

Преданный Вам

Г.Адамович

<sup>1</sup> «Миссия русской эмиграции» – речь Бунина, которой 16 февраля 1924 в парижском Salle de Géographie был открыт одноименный вечер (выступали также А.В.Карташев, И.С.Шмелев, Д.С.Мережковский и др.; текст речи Бунина опубликован в «Руле» 3 апреля 1924).

<sup>2</sup> Источник цитаты не обнаружен.

<sup>3</sup> Соболаговолите принять выражение моих почтительнейших чувств (франц.).

33

25 июля &lt;1928&gt;

Дорогая Зинаида Николаевна

Я уже с неделю в Ницце. Но уверен, что ввиду крайней жары Вы поехали в Ваш горный шато<sup>1</sup>, и потому не рассчитываю Вас видеть. Не знаю, перешлют ли Вам письмо.

Напишите, будьте добры, – «как и что». В Париже мерзость запустения. Все-таки там ведь (зимой) сложилась какая-то «жизнь», – и я иногда боюсь: а вдруг даже и этого не будет? Не возобновится после дачного распыления? Когда я уезжал из России, я хотел вернуться во что бы то ни стало – потому что «трудно начинать новую жизнь». Ну вот, все мы начали. Но опять оборвать и опять начинать я, по крайней мере, не желаю. «Исповедую подлость», как сказала бы Марина. Впрочем, все это только в теории.

В ожидании письма целую Ваши руки и прошу передать мой поклон Дмитрию Сергеевичу и «Володе».

Преданный Вам

Г.Адамович

<Адрес в Ницце>

<sup>1</sup> Летом 1928 Мережковские жили по адресу: Château des IV Tours. Thorenc (Alpes Maritimes). Описание этого замка – в письме Гиппиус от 18 августа 1928 (Пахмусс. С.377).

34

16.VIII.&lt;19&gt;28 г.

Дорогая Зинаида Николаевна

Получил сегодня Ваше письмо – и читал его со «смятением». За что Вы меня попрекаете? Это *первое* письмо, которое я от Вас тут получил. Или Вы забыли, что мне до сих пор не писали, или опять... письмо пропало. Я удивлялся, что от Вас нет ответа, но решил ждать. Лето, жара да может быть и что-нибудь другое<sup>1</sup>.

Надеюсь, теперь наша переписка наладится. Как Вы знаете, я корреспондент исправный.

Что Вы «имеете сказать мне», как пишете? Сообщите, ради Бога. В одиночестве «мы любопытны и не ленивы»<sup>2</sup>. «Корабль» я дей-

ствительно надул, но по полному забвению (честное слово) и без всякого злого умысла. Напишу сегодня Терапиано, чтобы не обиделся<sup>3</sup>. А вообще – ничего нового. Я пишу чушь и читаю чушь. Впрочем, сегодня собираюсь писать о Толстом, к «столетию»<sup>4</sup>. Я бы хотел еще в «Зел<еной> Лампе» затем к нему вернуться<sup>5</sup>, ибо все больше становлюсь его «поклонником», в пику Вашему Соловьеву. Надеюсь на вести от Вас. Долго ли Вы еще в Торане?

Целую Ваши руки.

Преданный Вам

Г.Адамович

Получили ли Вы том шепеляво-теневого «радотажа»<sup>6</sup>?

<sup>1</sup> Письмо Гиппиус, о котором пишет Адамович, нам неизвестно. Свой ответ от 18 августа она начинала: «Разные бывают дары, разные умения. У вас изумительное неумение – получать письма! На этот раз уже никакой тени сомненья, что виноваты *вы*: мое первое письмо опускал Володя и – в моем присутствии (на почте в Thorenc)» (Пахмусс. С.377).

<sup>2</sup> Перефразировка пушкинских слов: «Мы ленивы и нелюбопытны» (из «Путешествия в Арзрум» – Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 17 т. М., 1948. Т.8, кн.1. С.462).

<sup>3</sup> Ответ на упрек Гиппиус: «Затем скажу вам откровенно: мне *не понравилось*, что вы “забыли” о *Корабле*. Если вы можете сказать: “да, сделаю” и потом не только не сделать, но даже забыть, что вы это сказали, – этак вы от себя можете ожидать всего, до забвенья собственного имени. Не столько для *Корабля* важен этот странный факт, сколько для вас» (Пахмусс. С.378).

<sup>4</sup> Имеется в виду статья «Толстой» (ПН. 1928. 9 сентября).

<sup>5</sup> Этого доклада Адамович не сделал.

<sup>6</sup> От gadotage (*франц.*) – вздорная болтовня. Имеется в виду книга Г.Иванова «Петербургские зимы» (Париж, 1928). «Шепелявая тень» называлась статья Игоря Северянина о газетном варианте мемуаров, печатавшемся под названием «Китайские тени» (За свободу! 1927. 3 мая). Посылая вырезку из газеты Адамовичу, Гиппиус писала ему 10 июня 1927: «Вторая вырезка – для Г.Иванова, адреса которого я не знаю (и вам будет любопытно прочесть). Если он уехал в Ригу – пошлите ему в виде предупреждения: ведь именно там, т. е. где-то близко, поджидает его “нежный и вуалевый” поэт для “скорого и личного свидания мужчин”» (Пахмусс. С.346). После этого прозвище «шепелявая тень» надолго пристало к Иванову. Отвечая на этот вопрос, Гиппиус писала: «Шепелявую тень получила, тотчас прочла и даже возгорелась внезапным желанием о ней написать. У меня была целая “идея” – строк на сто. Но Володя сказал, что будет писать он, что давно уж обещал. Хотя знаю, что он 3 стула просидит, пока напишет, но мой пламень погас, кстати и *Возрождение* претит. Ну, я для себя, схематично, кое-что запишу» (Пахмусс. С.378). Рецензии Злобина и Гиппиус на «Петербургские тени» нам неизвестны.

23.VIII.&lt;1928&gt;

Дорогая Зинаида Николаевна

На Ваш пространный выговор и «указания» – термин Ваш – я нисколько не обижен, конечно, но удивлен. Почтой я не заведу и за потерю писем не отвечаю. О «Корабле» забыл по многим причинам, о которых рассказывать скучно. Но признаюсь, могу забыть и без причин. *C'est à prendre ou à laisser*<sup>1</sup>. В особо-родственных чувствах к «Кораблю» я никогда не изъяснялся. Наконец, о нарушении могильного договора<sup>2</sup>, – сознательно не нарушал, и на упрек без «фактической подкладки» ответить не могу. Конечно, 1/100 часть нарушения была и должна быть, мелочь какая-нибудь. Вам ли это не понять? Ведь это входит само собой в договор. Исключения в правилах, яды в медицине и т. д. Но, может быть, я сболтнул 2/100, да и то никому как спарже, которая сам такая могила <так!>, что ему можно открыть план убийства Пуанкарэ<sup>3</sup>. Один наш общий приятель говорит о Вас – «женщина великого гнева»<sup>4</sup>. Я иногда чувствую это, – впрочем, редко, за что при гневном Вашем характере приношу Вам благодарность.

Все это пустяки, конечно. В Thorgens я не могу приехать, к сожалению. Подождем, когда Вы с Ваших высот спуститесь – тогда приеду в «глубокой ночи».

У меня к Вам *большая* просьба: Вы пишете стихи, и пришлите их, пожалуйста. Я бы сказал, что в ответ пошлю свои, но когда-то Ахматова жестоко обиделась на М.Струве за такое «и я тоже»<sup>5</sup>. А так как я в трепете, то и опасаясь. Вы, вероятно, морщитесь на мою советскую «меледу» в «П<оследних> Н<овостях>»<sup>6</sup>. Что делать! «Наш читатель это любит», как говорит Кантор. Толстого я написал и послал, – но что из этого выйдет, не знаю. Это все-таки не «меледа», и писал я с интересом, впрочем, ежеминутно одергивая себя для «нашего читателя» и разъясняя всякие 2x2. А во-вторых, сегодня Маклаков расписался вовсю, – и очень недурно, кстати<sup>7</sup>. Затем, я писал как продолжение споров в «З<еленой> Л<ампе>» – что многим окажется непонятным<sup>8</sup>. Поэтому сомневаюсь. Знаете, я прочел наконец «Жизнь Арсеньева»<sup>9</sup> очень внимательно – это прелесть, и я не понимаю, почему было некоторое «неодобрение». Мне лично не по сердцу это «прощание с погибшей Россией», т<ак> к<ак> меня оно не трогает и я могу «распроститься» легче. Но именно Бунин должен был такое славословие сочинить, и, право, было бы все-таки обидно за «матушку-Русь», если бы никто ей хорошей отходной не пропел. Это национальный монумент, и мне жаль, что я не могу об этом написать: 1) автор непременно обидится, 2) читатели непременно скажут, «опять подлизывается к Б<унину>» и т. д. Напишите, пожалуйста, о дальнейших планах, на кот<орые> Вы намекаете. Меня несколько смущает «Мессия»

и «П<оследние> Н<овости>». Написать? Какова их позиция? Что думает Д<митрий> С<ергеевич>? Я думаю, до приезда Мил<юкова> они ни на что не решатся. Да и книги у меня нет<sup>10</sup>.

Целую Ваши руки. Не сердитесь на первую часть письма. Это тоже в «сердцах».

Преданный Вам

Г.Адамович

<sup>1</sup> Надо или принять это, или не обращать внимания (*франц.*).

<sup>2</sup> 18 августа Гиппиус писала: «Есть и второе <...>, тоже не понравившееся мне. Это когда я случайно узнала, что вы не очень-то держите наш “могильный” договор. Конечно, это пустяки, мелочь из мелочей, и в “могиле”-то ничего не было, так разве, для примера... а все-таки, хоть и шуточный, а был же “договор”? Я, по старинке, за всякий; даже шуточный...» (Пахмусс. С.378). Получив данное письмо Адамовича, она отвечала 25 августа: «Что касается “договора”, то это изумительные пустяки, и “фактическую подкладку” я вам изъясню, если будет время. Но есть другое, меня не касающееся, а потому, как всегда, меня более интересующее. Я очень нелюбопытна к *содержанию* так называемых сплетен. Но вообразите, что А. говорит: я свидетель, что было так. Но В. говорит: я свидетель, что было наоборот. Ведь было-то как-нибудь по-одному. Значит, или А., или В. – врет. Мне, допустим, все равно, как было. Но что В. (или А.) говорит неправду – мне уже делается интересно. Почему? Зачем? И как это он? Или он так, неправдой, видит? Здесь опять начинается мое бескорыстное интересование человеческой, чужой, психологией (или “душой”, пожалуй)» (Там же. С.380). Однако о каком «могильном договоре» идет речь, мы не знаем.

<sup>3</sup> Раймон Пуанкаре (1860–1934) – премьер-министр Франции в это время.

<sup>4</sup> Отсылка к названию книги А.Л.Волынского «Книга великого гнева» (СПб., 1904). Гиппиус отвечала: «Думаю, что оба мы с вами не заслуживаем звания людей “великого гнева”» (Пахмусс. С.379).

<sup>5</sup> По поводу этого анекдота Гиппиус писала: «К чему, во-первых, этот пример с Ахматовой и Струве? Со всех сторон явно ни к чему. Я не Струве, вы не Ахматова, но совершенно так же и не наоборот. Останемся каждый сам по себе» (Пахмусс. С.379).

<sup>6</sup> Большая часть «подвалов» Адамовича в его первый год в «Последних новостях» была посвящена советской литературе, в частности и тот, что вышел в день написания письма, 23 августа, под заглавием «Зеркало жизни» (о романах Караваевой, Дорогойченко, Лузгина и Панкратьева). Однако может иметься в виду раздел, который Адамович вел в «Последних новостях» – «По советским журналам», и тогда, очевидно, речь идет о публикации 16 августа, посвященной июньскому номеру «Красной нови». «Меледа» – слово, часто употреблявшееся Гиппиус в значении «ерунда, болтовня».

<sup>7</sup> Речь идет о статье В.Маклакова «Лев Толстой: Учение и жизнь» (ПН. 1928. 23 августа), сопровождавшейся примечанием: «Речь, произнесенная 2 июня на торжественном заседании в Сорбонне по случаю “Дня русской культуры”. Полностью будет напечатана в выходящей 5 сентября книжке



«Современ<ных> Записок». Мы даем заключительную часть» (ср.: СЗ. 1928. Кн.36). Василий Алексеевич Маклаков (1869–1957) – общественный деятель (кадет), публицист, автор многих статей о Л.Н.Толстом.

<sup>8</sup> Имеется в виду заседание «Зеленой лампы» 18 и 27 февраля 1928 на тему «Толстой и большевизм», где Адамович делал вступительный доклад. Любопытно, что ранее был опубликован отдельной брошюрой одноименный доклад В.А.Маклакова (Париж, 1921).

<sup>9</sup> Роман И.А.Бунина, начавший печататься в 1928 в «Современных записках» (№34, 35, 37). Адамович довольно подробно писал о нем, рецензируя 40-ю книгу «Современных записок» (ПН. 1929. 31 октября).

<sup>10</sup> Отдельное издание романа Д.С.Мережковского «Мессия» Адамович в «Последних новостях» не рецензировал.

## 36

## Дорогая Зинаида Николаевна

Наша переписка что-то не ладится в этом году, – т. е. не сбивается на «интересное». Нельзя же считать интересным то, что было до сих пор, – не то упреки, не то «пикировку». Разрешите уж и мне один упрек, – единственный и последний: как Вы не понимаете, что я иногда пишу или говорю «так», сам зная, что говорю ерунду, и в твердой уверенности, что это так воспринимается и партнером (или читателем). Это плохая привычка, может быть, но в оправдание – это пушкинская привычка, «très Pétersburg». Ни капли снобизма, а «в плоть и кровь». Ну вот, так я и написал Вам про Ахматову и Струве, а Вы мне в ответ нотацию. Конечно, можно всегда серьезно, – но лучше прибегать до крайней необходимости<sup>1</sup>. У меня ее еще не было.

Впрочем, довольно об этом.

Если Вы покупаете «Nouvelles Littéraires», прочтите в последнем номере статью Монтерлана «Толстой и семья»<sup>2</sup>. Очень грубо, до возмутительности, местами глуповато, но любопытно. Это, кстати, очень талантливый человек. Я Вам когда-то про него говорил. Очень верно, что «l'idéal de l'amour» – это любовь неразделенная. Мне всегда странно читать вещи настолько мои, свои за чужой подписью. А это бывает<sup>3</sup>.

Если Вы уже на Альбе и ничего не имеете против меня принять, будьте добры, напишите, когда можно приехать. Мне все равно – только не в пятницу. Когда Вы напишете, тогда и приеду. Вы спрашиваете о стихах Познера<sup>4</sup> – мне *очень* нравится, хотя слишком слабые. Но мне приятна задумчивость и вообще «что я? где я?» – как гувернантка в «Вишневом саду»<sup>5</sup>.

Надеюсь Вас скоро видеть. Целую Ваши руки.

Преданный Вам

Г.Адамович

2.IX.<1928>

<Адрес в Ницце>

<sup>1</sup> В ответном письме 4 сентября 1928 Гиппиус говорила: «С чего вы взяли, что я “все серьезно”? Не знала за собой такого. Это Вишняк и кошка не умеют смеяться. Но правда: некоторых слов я не люблю. Например: “отчего ж?” или “что ж делать?”. И между ними особенно не люблю “так” (в вашем смысле “да так...”))» (Пахмусс. С.381-382).

<sup>2</sup> Монтерлан Анри де (1896–1972) – французский писатель, творчество которого Адамович высоко ценил. В частности, он писал: «На мой взгляд, Анри де Монтерлан – самый даровитый из молодых французских писателей» (Зв. 1927. №1. С.6; перепеч.: Адамович-2. С.256). Обратим, однако, внимание, что в статье «Вокруг Толстого» (ПН. 1928. 1 ноября), затрагивающей в связи с книгой Т.Полнера «Лев Толстой и его жена» ту же тему, что и статья Монтерлана, Адамович не упомянул ее ни словом.

<sup>3</sup> Гиппиус отвечала на это 4 сентября: «привезите *Nouvelle Littérature*, я очень интересуюсь “вашими” мыслями. Только что (перед вашим письмом) думала, как я *не* люблю иногда читать “свои” мысли и почему. <...> “Единая любовь”, “всех радостей дороже неразделенная любовь”, “безразлично, «он» или «она»” (деталь), “хочу невозможного” и т. д. – все это истины *вечные*, но дело в том, что если они, во времени, для нас *не* изменяются, т. е. не расширяются постепенным раскрытием, не прибавляется ничего к ним (если не становятся “вечные”) – то делаются скучной трухой... или, пожалуй, мы. Во всяком случае, где-то между нами и этими мыслями начинает пахнуть мертвечиной» (Пахмусс. С.281).

<sup>4</sup> Речь идет о книге Владимира Соломоновича Познера (1905–1992) «Стихи на случай» (Париж, 1928). Адамович рецензировал ее (СЗ. 1929. Кн.38).

<sup>5</sup> Имеется в виду реплика Шарлотты в начале второго действия: «и кто я, зачем я, неизвестно».

### Дорогая Зинаида Николаевна

При сем прилагаются стихи. Кроме одного, мне никакое не нравится на этот раз. Но и не отрекаюсь от них, конечно<sup>1</sup>.

Я в поезде думал о Ваших. Если позволите общее замечание (не относящееся только к первому): им в чем-то мешает их *непобежденная* изысканность. Они крайне утонченны, и это сразу видно, на поверхности. Буало советовал *faire difficilement des vers faciles*<sup>2</sup>. Ваши – все время *difficiles*<sup>3</sup>. Все редкостно и неожиданно. Я знаю – это Ваш стиль, т. е. то, что не переделывается и не изменяется – не «манера», конечно<sup>4</sup>. Но я думаю, что если что-нибудь лет через 50 помешает Вам попасть в классики и хрестоматии, то именно это. При том, не отговаривайтесь, что Вы в хрестоматию не хотите. Быть более антихрестоматийным в существе своем, более вообще «антиобщее место», чем Бодлер, нельзя. А все-таки он дописался, допросялся, доосвободился, – не душевно, а стилистически<sup>5</sup>.

Простите за эту критику. Вы хорошо знаете, она с «преклонением» в предпосылке.

Ночью прочел «Призонье» <3 посл. буквы нрзб.>. По-моему, это порядочная дрянь. Главное, терпеть не могу трагедий из-за ерунды. Чего этот philosophe впадает в транс? Рассуждения интереснее беллетристики<sup>6</sup>.

Целую Ваши руки.

Ваш

Г.Адамович

<sup>1</sup> Приложены стихотворения: «Если дни мои милостью Бога...»; «Безлунным вечером в гостинице вдвоем...»; «Со всею искренностью говорю...»; «Что там было? Ширь закатов блеклых...»; «О, если где-нибудь, когда-нибудь...»; «Твоих озер, Норвегия, твоих лесов...». В первом стихотворении к строке «Брат мой, друг мой, не бойся страданья» сделано пояснение на полях: «Il est temps de lancer Надсона» («Время продвинуть Надсона» – *франц.*). Видимо, именно этой пометой вызваны упоминания Надсона в письме Гиппиус (см. ниже), – помимо цитаты, приведенной в примеч. 4, это еще один фрагмент: «примись я снова писать мое старое стихотворение “Иль дует от оконницы?..”, по содержанию столь близкое вашему “Если дни мои...”, – в нем непременно будет та же неистребимая тень иронии... а Надсон спрятан. Тут уж ничего не поделаешь» (Пахмусс. С.383).

Получив эти стихи, Гиппиус писала:

Ваши стихи мне близки, некоторые даже «завидны» (это мы с Сологубом, даже я первая сказала «э!» – открыли эту оценку по «зависти»). Но не в том, конечно, дело, что они мне «нравятся»; гораздо важнее – и для вас, и вообще, – что они, по-моему, находятся все, даже менее удачные, в какой-то верной и по времени нужной линии. Находятся в ней как внутренне, так и внешне. Не хочу любезничания, вроде вашего со мной, и не скажу, что *course* <ход (*франц.*)> этой линии уже далеко зашла <...>, но линия та самая верная, и притом вполне *ваша* (что я признаю за громадный плюс всегда, хотя бы с моей она абсолютно расходилась; да вполне совпадающих, к счастью, и нет линий). Нравится мне, цельнее других кажется «Что там было» с ледяными розанами, о которых «ни вспомнить, ни забыть...». Потом «Со всею искренностью...» – несмотря на некоторое, может быть, перепроизводство «простоты» в первой строчке (в третьей внизу «противостоять» – описка?). Я бы тревожилась, что «настанет» и «устало», но понимаю, что хорошо и смириться. И в «Норвегию», и в «только раз» – многое попало, – там, однако, забываемы лишь слова, прозрачнее лишь строки. Ну а вот «Безлунной ночью...» немножко самоподражание, и «Монмартр» был резче и проще. Тут есть, конечно, маленькая прибавочка, чуть-чуть... но она вне стихов как «стихов».

(Пахмусс. С.383-384).

<sup>2</sup> С трудом делать легкие стихи (*франц.*). В «Поэтическом искусстве» Н.Буало-Депрео таких слов нет.

<sup>3</sup> Трудные (*франц.*).

<sup>4</sup> Вероятно, отсылка к названию статьи Вяч.Иванова «Манера, лицо и стиль» (Труды и дни. 1912. №4–5), которую Адамович высоко ценил. См.: «Лучшее, самое значительное в наследии Вячеслава Иванова, то, что уцелеть и остаться должно бы надолго – именно его статьи, в частности статьи о поэзии (как, например, статья о “Манере, лице и стиле”, помещенная в сборнике “Борозды и межи”, едва ли не самое замечательное, что о поэзии на русском языке в наш век написано)» (Одиночество и свобода. С.137).

Гиппиус в своем письме от 5 сентября 1928 подробно ответила на это рассуждение:

...вы глубоко правы относительно моих стихов, во всяком случае, на мой взгляд, ибо я *абсолютно то же думаю*. И знаете, не со вчерашнего дня, а... почти что с начала их всех возникновения. Вы как будто не хотите *trancher le mot* <сказать напрямик (*франц.*)>; но если вы его траншируете и скажете «декадентство», то будете и правы и неправы. Правы, м<ожет> б<ыть>, в факте, но неправы относительно моего сознания и воли: уже не «почти», а с самого первого начала (допотопно) я стремилась прочь от всякого «декадентства», отрекалась от него, издевалась над ним, объявляла и проповедовала «*простоту*» (историческая информация для вас). Мое время было, однако, очень трудное, бороться за простоту приходилось на два фронта, т. е. прежде всего против П.Я., Надсона и т. д., а тут же и против фиолетовых рук на эмалевой стене. При тогдашней моей крайней необразованности я была, правда, свободна от всех «влияний», но зато и кроме инстинкта мне опираться было не на что; если же вспомнить крайне юный мой возраст, то нечему удивляться, что «трюки» меня частенько соблазняли. <...> Так вот, время и школа не могли не повредить моей сознательной воле к «простоте», которой я уже теперь не достигну, хотя стремиться к ней не перестану.

(Пахмусс. С.382)

<sup>5</sup> Ср.: «За каждым словом Бодлера чувствуется не механическое умение, а творческий опыт, – и классическая точность его, впервые обращенная на романтический безобразный хаос, иногда ослепительна. Кажется, во всем новом искусстве нет ничего более выразительного, чем некоторые вещи Бодлера» (Адамович Г. Шарль Бодлер: К шестидесятилетию со дня смерти // Зв. 1927. №3. С.140).

<sup>6</sup> О каком произведении идет речь, установить не удалось.

Дорогая Зинаида Николаевна

Спасибо за письмо. Но я с Вами ничуть не «любезничал», наоборот, написал больше, чем думал – о Вашей странности в стихах. Кстати, я думаю, Вы на себя клеветеете, говоря, что это от школы и времени. *Это* вы давно победили в себе – не Бальмонт же Вы. Но есть другое, очень личное и потому трудно преодолимое. То, что Вы написали о своих стихах, – мне крайне интересно.

А о моих – перевешивает «приятно». Вы комплиментов не расточаете, но у скупых людей все ценишь. Насчет своей «поэзии» я не обольщаюсь, кажется, и не преувеличиваю в ней ничего<sup>1</sup>. Но неповторимости очень хочу, и чаял бы мельчайшего в этом смысле бессмертия. Знаете, я больше всего люблю из того, что послал Вам, «Безлунным вечером...» Разве оно так повторяет то? В книге это, пожалуй, окажется только хорошо.

Надеюсь, если Вы приедете в Ниццу, – что Вы и Д<митрий> Сергеевич (и В<ладимир> А<наньевич>, конечно – если он будет с Вами) не вызовете меня в кафэ, а приедете в наш довольно скучный дом<sup>2</sup>. У нас даже взволновались по этому поводу и решили на случай чего пригласить для умного разговора о Николая. Только Вы не давайте меня, что знаете про эти тайные пружины.

Целую Ваши руки. Надеюсь Вас еще видеть до Сербии<sup>3</sup>.

Ваш

Георгий Адамович

Никакого «противостоять» два раза быть не должно, я ошибся, переписывая<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Ср. в стихотворении Адамовича, открывающем итоговый сборник его стихов «Единство» (Вашингтон, 1967): «Стихам своим я знаю цену. / Мне жаль их, только и всего...»

<sup>2</sup> В письме от 5 сентября 1928 Гиппиус писала: «Я надеюсь на этих днях попасть в Ниццу, – не раньше буд<ущей> недели, впрочем. Тогда мы вас вызовем в какое-нибудь кафе» (Пахмусс. С.384).

<sup>3</sup> Имеется в виду предстоящая поездка Мережковских на Первый зарубежный съезд русских писателей и журналистов, открывшийся в Белграде 25 сентября 1928. 4 сентября Гиппиус писала Адамовичу: «“Перспективы”, о которых я вам писала, приняли для нас форму даже до неприятности конкретную: форму вынужденной поездки в Белград. И это уж 20 Сентября, и на целых 3 недели! <...> Ехать адски не хочется, но по всем видимостям – надо» (Пахмусс. С.381). Ср. примеч. А.В.Лаврова к стихотворению Гиппиус «Белград» (Гиппиус З.Н. Стихотворения. СПб., 1999. С.554. – Новая библиотке поэта).

<sup>4</sup> См. примеч. 1 к предыдущему письму.

### Дорогая Зинаида Николаевна

После Сербии, банкетов, и съездов, и орденов, и выговоров королю

– «как живется Вам, как можется»<sup>1</sup>? Скоро ли едете в Париж? Я здесь уже с неделю. «Гран-сезон», как выражается Георгий Иванов,

разгорается. В общем, довольно мерзко, но могло бы быть и еще хуже. Поэтому не ропщем. Я совсем не люблю Ривьеру, но когда приезжаю сюда – у меня «ностальгия» по свету и небу. Напишите мне, пожалуйста, *très chère madame*<sup>2</sup>. Адреса два, на выбор, за неимением одного собственного: 1) Poste restante. Bureau XV, annexe I, rue Alexandre Cabanel, 2) Кантору, для меня. – 22, rue Eugène Manuel. Paris XVI.

Целую Ваши руки.

Ваш

Г.Адамович

На бланке месяц не указан, однако очевидно, что оно написано после окончания Первого зарубежного съезда русских писателей и журналистов в начале октября 1928, когда Гиппиус и Мережковский уже вернулись во Францию.

<sup>1</sup> Неточная цитата из «Попытки ревности» М.Цветаевой.

<sup>2</sup> Дражайшая мадам (франц.).

40

<Штемпель: 19.11.1928>

Дорогая Зинаида Николаевна

Письма Ваши я все в исправности получил, и на ниццкий адрес, и здешние. Спасибо. Здешние, впрочем, так суровы, что я «ума не приложу» – чем это вызвано. Вины за собой не знаю, кроме фельетона о Дон-Аминадо<sup>1</sup>. Но литература есть чепуха и чушь – т. е. такая литература, и в ней «все позволено». *C'est ma profonde conviction*<sup>2</sup>. Вообще, дорогая Зинаида Николаевна, если бы Вы знали, как мне надоели блюстители всяческой нравственности!!! Может быть, Вам обидно, но я Вас такой не считаю, поэтому и пишу Вам. Вообще, я к Вам полон нежнейших чувств, и литературно, и жизненно. Не сердитесь за признание.

Спаржа на днях сказал очень верно (для меня): «Раскрыл “Возрождение”, увидел статью “о большевизме Блока” и обрадовался, что Зинаида Николаевна». Оказался Ходасевич<sup>3</sup>. Что Вы делаете и как живете? Собираетесь в Париж?

Вы на днях должны получить книгу о Каннегисере, со стихами и тремя статьями (Алданов, Г.Иванов и я)<sup>4</sup>. Большая просьба к Вам от семьи и «окружения»: напишите статейку в «Возрождении»<sup>5</sup>. Это очень Ваша тема – стихи и террор. Стихи средние, но по молодости. Они очень хотят, чтобы была пышная пресса, а кому же в «Ренессансе» писать?

Если будете мне отвечать, пишите, пожалуйста: 5, rue de l'Avre, Hôtel «Chambre», №21. Я тут хотя ненадолго, но пока поживу. Целую Ваши руки.

Ваш Г.Адамович

<sup>1</sup> Имеется в виду статья: «Накинув плащ»: О стихах Дон-Аминадо // ПН. 1928. 25 октября.

<sup>2</sup> Это мое глубокое убеждение (франц.).

<sup>3</sup> Имеется в виду статья: *Ходасевич В.* Большевизм Блока (беглые мысли) // Возрождение. 1928. 15 ноября.

<sup>4</sup> Книга называлась: Леонид Каннегисер. Статьи Г.Иванова, М.А.Алданова, Г.Адамовича. Из посмертных стихов Л.Каннегисера. Париж, 1928. Леонид Иоакимович Каннегисер (1896–1918) – поэт, критик. 30 августа 1918 застрелил главу Петроградской ЧК М.С.Урицкого и в октябре был расстрелян. Наиболее подробная информация о нем собрана в статье Г.А.Морева «Из истории русской литературы 1910-х годов: К биографии Леонида Каннегисера» (Минувшее. Вып.16. М.; СПб., 1994).

<sup>5</sup> Гиппиус о Каннегисере не писала. См.: *Лукаш И.* Каннегисер // Возрождение. 1928. 1 декабря.

41

&lt;Осень 1928.

Бумага: Café-restaurant des Tourelles  
23, Boulevard Delessert>

Дорогая Зинаида Николаевна

Надеюсь, Вы уже в Париже. Как Ваше здоровье и можно ли Вас видеть?

Ваш

Г.Адамович

5, rue de l'Avre (XV).

Основание для датировки – предыдущее письмо, где к тому же адресу, что и в данном, сделано примечание: «Я тут хотя ненадолго, но пока поживу», а также последующее, где сказано: «это адрес случайный, отельный. Я там не останусь. Но дней 10 еще пробуду».

42

&lt;29 ноября 1928.

Почтовая бумага: La Coupole.

Café restaurant. Bar américain.

102, Boulevard du Montparnasse, Paris&gt;

Дорогая Зинаида Николаевна.

Начну с полемики о «нравственности»: я не о себе писал, а о других – тут был процесс у Спаржи и некоторое общественное ахание по этому поводу. Вы, может быть, читали – было и в «Ренессансе», кстати, в премерзком тоне! Меж тем, Спаржа внутренне очень чистая и очень честная<sup>2</sup>. Но вот что удивительно: у меня до сих пор не было *ни одного* друга, о котором бы «что-нибудь не выяснилось». Это длинная и удивительная коллекция. Меня это наводит на горестные размыш-

ления. Но мне хотелось бы написать в этом роде «мемуары Мартынова»<sup>3</sup> – с философским послесловием о сущности добродетели. Вы, пожалуй, поморщитесь, что «устарело». Это для меня в Вас непонятно – а иногда отчужденно, как в то воскресение у Вас, очень мне памятное, когда шла речь о смертной казни, и Вы на меня махали рукой, что все это уже разъяснено, опровергнуто и т.д. Ну, оставим.

Предо мной лежит Авортон<sup>4</sup>, только что полученный и еще не прочитанный. Перелистав, нахожу, что слишком много божественного, – но это впечатление поверхностное, по именам: все больше Евлогий или Бердяев<sup>5</sup>. Стишки прочел: ужасен, по-моему, второй Раевский, «один танцует вещь», «другой танцует так»<sup>6</sup>. С ним «Корабль» дотанцуется. И еще, в «Лампе» – зачем Вы обижаете Анненского? Так, мимоходом<sup>7</sup>. Напомню Вам один Ваш афоризм – старый, который я помню 20 лет: «Жестокость оправдывается только любовью», – из «Дневника»<sup>8</sup>. У Вас с Анненским глубинное недоразумение. Вот если «Корабль» еще будет выходить, испросите мне у редактора разрешение на «Воспоминания об Анненском»<sup>9</sup> – вымышленные мемуары, как Платон о Сократе, excusez du peu<sup>10</sup>. Или другое, по божественной части – о конце, об истаивании или увядании христианства: не трактат, конечно, а «грустные заметки», с множеством «увы, увы!», но с нежеланием на этот счет обольщаться<sup>11</sup>.

Получили ли Вы Каннегисера? Меня очень позабавила сегодняшняя заметка о книге в «Возрождении», в хронике Ход<асеви>ча, – с разделением на «статьи» и «заметки». Ну, моя – коротенькая, пусть. Но отчего у Иванова «заметка»? Все это очень миргородское, совсем Ив<ан> Ив<анович> и Ив<ан> Никиф<орович><sup>12</sup>. – Читали ли Вы «Евразию»<sup>13</sup>? Адрес Одоевцевой – 13, rue Franclin, (XVI). Напишите ей – она будет довольна. Ее роман имеет успех и «прессу»<sup>14</sup>. Жорж Ив<анов> пробовал устроить стихи Поплавского в «С<овременные> Записки», но, кажется, тщетно<sup>15</sup>.

Надеюсь, что Вы, наконец, приедете в Париж. Все сроки прошли, и молодежь томится без воскресных чаев! Целую Ваши руки.

Преданный Вам

Г.Адамович

5, rue de l'Avre (Paris XV) – это адрес случайный, отельный. Я там не останусь. Но дней 10 еще пробуду. Можно на «Посл<едние> Новости» – или Кантора (23, Eugène Beauuel. XVI).

Датируется на основании упоминаемой хроники В.Ф.Ходасевича в газете «Возрождение» (см. примеч. 12).

<sup>1</sup> Содержание этой «полемики о нравственности» нам неизвестно, поскольку ни письма Гиппиус, ни письма Адамовича, непосредственно предшествующие данному, не сохранились или нам недоступны.

<sup>2</sup> См. в ответном письме Гиппиус от 3 декабря 1928: «Процесс Спаржи меня тоже совершенно не затронул. Просто “на челе моем высоком не отра-



зилось ничего”. <...> Но я не detaшируюсь <от *detacher* (франц.) – отказываюсь> от Спаржи, а просто знаю, что это пустяки, а правда то, что вы о нем пишете. Ваши друзья с тар’ами <недостатками, пороками (франц.)>, потому что все люди с тар’ами; но, конечно, разница, всякие тары бывают; есть непростимые, обыкновенно это те, которые исходят из самой материи человека. Если ваши друзья дурной материи... ну, тогда над этим стоит задуматься» (Пахмусс. С.386). Сведений о процессе Ю.Фельзена в газете «Возрождение» за октябрь–ноябрь 1928 нам обнаружить не удалось.

<sup>3</sup> Имеется в виду повесть Гиппиус под таким названием.

<sup>4</sup> От *avorton* (франц.) – выкидыш. 21 апреля Гиппиус писала Адамовичу: «Приехав, вы найдете Авортон. Он, по-моему, – урод. Бывают горбуны с прекрасными глазами. Или прелестные девушки с такой глупостью, едва рот разевают, что диву даешься. Или платье из английской материи с пятнами и дырами. Но я ничего не буду объяснять, сами увидите. Статья Бахтина – вот английская материя...» (Пахмусс. С.376). Из этого становится ясно, что, вопреки комментариям Т.Пахмусс, «авортоном» назывался журнал «Новый корабль», третий номер которого со статьей Н.М.Бахтина «Антиномия культуры» тут обсуждается. В письме Адамовича речь идет о четвертом номере «Нового корабля». Отметим, что в ответном письме Гиппиус говорила: «Мы (и Дмитрий Сергеевич) вновь остановились в... (не знаю, как сказать: не в восторге, не в восхищении и не в почтении, ну, словом, что-то очень хорошее и серьезное) – перед вашим стихотворением, начинающим *Корабль*. Да, оно *есть*, да еще как! Можете быть спокойны: это одно из лучших (если не лучшее) стихотворений, написанных за последние годы. Не вами, а вообще. Другое тоже хорошее, но просто очень хорошее, как и стихи Георгия Иванова (совсем другие). А это “попало” и “внедряется”» (Пахмусс. С.384-385).

<sup>5</sup> Имеются в виду статьи В.А.Злобина «Дух соглашательства» (вторая в цикле «Две статьи»), посвященная в основном Н.А.Бердяеву (Новый корабль. 1928. №4. С.30-33) и А.М.Д. «Где “Тихоновская” церковь?»», где часто упоминается митрополит Евлогий (С.34-38).

<sup>6</sup> Речь идет о стихотворении Георгия Раевского (Георгий Авдиевич Оцуп; 1897–1963) «Во всем есть танец: в ветре и в огне...» (С.6). Ср. рец. Адамовича на его книгу «Строфы» (Париж, 1928) – СЗ. 1929. Кн.38. В своем ответе Гиппиус лишь кратко вздохнула: «О Георгии Раевском лучше помолчим» (Пахмусс. С.386).

<sup>7</sup> Имеется в виду реплика Гиппиус в выступлении на собрании «Зеленой лампы», посвященном вопросу «Есть ли цель у поэзии», где выступали также Адамович, Бахтин, Вейдле и Мережковский. Она говорила: «...когда мне предлагают Анненского или Пастернака – я не знаю, как выбирать: вижу две досуха выжатые души. Недаром в Анненском нет-нет и мелькнет пастернаков зародыш» (Новый корабль. 1928. №4. С.52).

<sup>8</sup> Цитата из статьи «Критика любви», где, говоря о ранних декадентах и, в частности, об А.М.Добролюбове, Гиппиус писала: «Может быть, и следовало поступать тогда жестоко, говорить правду, указывать на фальшь, комизм и жалкость “новых” стихов; но никто не имел права быть жестоким ни с одним из этих стихотворцев, потому что жестокость оправдывается толь-

ко любовью, а их никто не любил. Жестокость даже бессмысленна без любви» (*Гиппиус З.* Дневники. В 2 т. Т.1. М., 1999. С.194).

<sup>9</sup> Свой замысел Адамович исполнил в рассказе «Вечер у Анненского» (Числа. 1930/1931. №4; перепеч.: *Адамович Г.* Стихи, проза, переводы. С.403–406). Ср. также: *Адамович Г.* Памяти Ин. Ф. Анненского // ПН. 1929. 28 ноября.

<sup>10</sup> Прошу прощения (*франц.*).

<sup>11</sup> Этот замысел Адамович осуществил значительно позже. См.: «Как можно не видеть, что христианство уходит из мира! Доказательств нет. Но ведь не все же надо доказывать. Достаточно взглядеться повнимательнее: позднее утро сейчас, солнце взошло уже высоко, – и все слишком ясно для общих восторгов, испугов и надежд. “Тайна” осталась на самых низах культуры, иногда на самых верхах, но в воздухе ее нет, и нельзя уже миру ее навязать... Будет трезвый, грустный и умный день» (*Адамович Г.* Комментарии // Числа. 1933. №7/8. С.153).

<sup>12</sup> Имеется в виду статья «Литературная летопись» за подписью «Гулливёр» (псевдоним, которым пользовались В.Ф.Ходасевич и Н.Н.Берберова) (Возрождение. 1928. 29 ноября), где автор писал: «В книгу вошли: статья о Каннегисере М.А.Алданова, заметки Г.Адамовича и Г.Иванова, а также ряд неизданных стихов Каннегисера». На попрек Адамовича Гиппиус отвечала: «Парижское захоlustье и вас незаметно делает Иван Никифоровичем. Я даже не заметила, сказано ли “заметка” или “статья”. Да есть ли тут намерение? Да чем это важно, Господи!!!» (Пахмусс. С.386).

<sup>13</sup> Имеется в виду газета, первый номер которой вышел 24 ноября 1928.

<sup>14</sup> Речь идет о романе «Ангел смерти» (Париж, 1927), на который отозвались рецензиями Ю.А.Айхенвальд, М.А.Алданов, П.М.Пильский, Е.А.Зноско-Боровский. О своем знакомстве с Гиппиус Одоевцева довольно подробно написала в воспоминаниях «На берегах Сены».

<sup>15</sup> Первая публикация Б.Ю.Поплавского в «Современных записках» появилась в 38-м номере (1929, вышел в апреле), так что, судя по всему, усилия Г.Иванова увенчались успехом.

Дорогая Зинаида Николаевна

Наслышавшись об успехе Зеленой Лампы, хочу Вас поздравить. Я не ожидал, что inauguration<sup>1</sup> будет такая блестящая, и даже побаивался, что публика еще не «раскачалась». Что же зал? Останемся в золоте и бархате Плейель<sup>2</sup> или демократизируемся?

Я приеду 20–22-го. Не устраивайте, пожалуйста, до этого собраний, ни о царе, ни о любви<sup>3</sup>. Как Вам нравятся сербы и как же с «религиозным оправданием парламентаризма»?

Целую почтительно и дружески Ваши руки.

Г.Адамович

<Адрес в Ницце>

<sup>1</sup> Торжественное открытие, инаугурация (*франц.*).

<sup>2</sup> Зал в Париже, открывшийся незадолго до того, в 1927, на rue Faubourg de Saint-Honoré. По предположению Э.Анри, владельцы этого роскошного зала имели какое-то отношение к русской эмиграции, поскольку предоставляли его для разного рода культурных предприятий русской диаспоры.

<sup>3</sup> Имеются в виду беседы в «Зеленой лампе»: 5 января 1929 «Мечта о царе» со вступительным словом Гиппиус и две беседы о любви – 20 мая и 5 июня 1929.

18.II.1929

Дорогая Зинаида Николаевна

Ваше письмо меня повергло в отчаяние! Я никак не ожидал, что Вы оставите спаржу без поддержки и покровительства. Имя Ваше я в списке участников поставил. Если Вы ни за что не хотите или не можете, сообщите мне – пока еще не поздно! Дело в том, что кроме Вас в списке Алданов – он, конечно, «уклонится». Если уклонитесь и Вы – получится свадьба без генералов и вообще плохая<sup>1</sup>.

Холода кончились, еврея с Розановым можно отложить, – и я не понимаю, в чем дело<sup>2</sup>. Если Вы хотите «поговорить», я приеду к Вам, когда надо. Пожалуйста, *cher maître et chère madame*<sup>3</sup>, не отказывайтесь!

Для Лампы я, кажется, уже годен, т<ак> к<ак> болеть больше не намерен и сегодня мне лучше. Я к Вам сегодня не пришел, п<отому> что знаю, как Вы боитесь заразы. Но, кажется, заразы больше нет.

*Поэтому пусть Вл<адимир> Ан<аньевич> берет зал на любое число!*<sup>4</sup>

Я сейчас сочиняю статью о Пушкине для «Посл<едних> новостей»<sup>5</sup>. Если они мне не выбросят дерзости по адресу пушкинистов, надежда на мир с Ходасевичем откладывается еще на десять лет. Я о нем совсем не думал, пока писал, т. е. лично. «Спор принципиальный», но он, конечно, решит, что это шпильки и коварство.

Адрес мой все еще тот же, т<ак> к<ак> комнаты я другой не нашел. Целую руки.

Преданный Вам

Г.Адамович

<sup>1</sup> О каком замысле издания, редактируемого Ю.Фельзеном, идет речь, нам неизвестно.

<sup>2</sup> Имеется в виду неосуществленный проект издания однотомников классиков, к которым предисловия писали бы известные литераторы. Адамович должен был писать предисловие к книге Розанова.

<sup>3</sup> Дорогой учитель и дорогая мадам (*франц.*).

<sup>4</sup> Судя по всему, речь идет о заседании «Зеленой лампы» на тему «Конец литературы» с докладом Адамовича, состоявшемся 3 марта 1929 (Зеленая лампа. С.171).

<sup>5</sup> Речь идет о статье «Разговоры Пушкина» (ПН. 1929. 21 февраля), которую Адамович начинал словами: «Первое, что приходит в голову, когда собираешься писать о Пушкине: какую плохую услугу оказали поэту пушкинисты с их спорами, полемиками, взаимными обличениями, кропотливым изучением пустяков, с исследованиями не имеющих никакого значения мелочей. Что скрывать? Пушкинисты почти добились того, что самый живой, самый блестящий и, быть может, самый глубокий из наших писателей читателям наскучил».

45

<4 марта 1929?

Бумага кафе «La Coupole»>

Дорогая Зинаида Николаевна

Я думал вчера, что Вы пойдете в кафэ, и как-то с Вами не простился. Простите, что я Вас напрасно оклеветал: никаких «шпилек» в Вашей речи не было – я просто не понял, а когда прочел – увидел правду.

Но вообще у меня от вчерашнего вечера «осадок» и сомнения, скорей неприятные. Не думайте, что это самолюбие или ощущение полупривала. Но было много народа, и Спаржа рассказывает, что некоторые просили уступить им вход: «Очень хочется послушать»: значит, хотели «хлеба», ну а получили камешек, в теме, в расплывчатости ее – и, пожалуй, в том, что не надо людям говорить о смерти, ни в каких видах и разновидностях ее. А вчера была *la soirée de la mort*<sup>1</sup>. Лично мне, к полному стыду, это бальзам и «райские звуки». Но общественно возмутительно, и на юбилее Павла Николаевича было лучше<sup>2</sup>.

Передайте, пожалуйста, мой поклон Дмитрию Сергеевичу. Его речь для меня обворожительна по самому звуку настолько, что я не знаю, как открыть рот после, – правда!

Целую Ваши руки.

Ваш Г.Адамович

<sup>1</sup> Вечер о смерти (*франц.*).

<sup>2</sup> Речь идет или о той же беседе «Конец литературы» или, что менее вероятно, о первой беседе о любви в «Зеленой лампе» (20 мая 1929). 70-летие П.Н.Милюкова отмечалось в январе 1929.

46

<Штемпель: ?.III.<19>29>

Дорогая Зинаида Николаевна

Я говорил с Вишняком. Он очень приветствует тему, вообще полон рвения за интеллигенцию<sup>1</sup>, но лично уклоняется. Занят, и вообще «тысяча причин». Разговор был при Алданове. Оба советуют Талина, признавая, однако, что Кулишер<sup>2</sup> учнее. Умнее – не находят, и выходит, что Талин для этой темы «*tout qualifié*»<sup>3</sup>. Кроме того говорят, что с Кулишером не выйдет: он опоздает на два часа или вы-

зовет оппонента на дуэль, т<ак> к<ак> полусумасшедший. С Талиным я не говорил – не знаю, как Вы этот план примете. Оппонентом анти-демократом В<ишняк> советует Флоровского, хотя это и не блестяще<sup>4</sup>. Лучше – Федотова (Булгакова) с Монпарнасса<sup>5</sup>.

Но, по-моему, надо все-таки ближайшую лампу пустить с Оцупом или вообще в этом роде что-нибудь<sup>6</sup>. Демократию надо бы подготовить получше, кроме того, ожидается скоро Степпун. Все-таки это звезда, и для интеллигенции подходящая.

Поэтому я советую завтра уговаривать кого-нибудь из местных, своих звезд – на какую-нибудь невинную тему. Дефицита не будет, т<ак> к<ак> идут теперь на все и всюду.

Целую руки.

Ваш

Г.Адамович

P.S. Конфиденциально: Я вчера провел вечер с Гершенкройном<sup>7</sup>. Он долго, путано и не без умиления объяснял мне, как он Вас любит и как ему хотелось бы, чтобы Вы это знали. Исполняю поручение.

Г.А.

<sup>1</sup> Заседания «Зеленой лампы» на тему об интеллигенции в 1929 не было.

<sup>2</sup> Александр Михайлович Кулишер (1890–1942) – правовед, публицист; сотрудник «Последних новостей».

<sup>3</sup> Вполне квалифицирован (*франц.*).

<sup>4</sup> Георгий Васильевич Флоровский (1893–1979) – богослов, историк Церкви, литературовед.

<sup>5</sup> Георгий Петрович Федотов (1886–1951) – философ, публицист, общественный деятель. Фамилия «Булгаков» в скобках, по всей видимости, означает, что с ним можно связаться при посредстве о. Сергия Булгакова, так как Федотов преподавал в парижском Православном Богословском институте, который возглавлял Булгаков.

<sup>6</sup> Имеется в виду действительно состоявшееся 25 марта 1929 заседание «Зеленой лампы» на тему «Спор Белинского с Гоголем» со вступительным словом Н.А.Оцупа (Зеленая лампа. С.171).

<sup>7</sup> Габриэль Осипович (Авраам Иосевич) Гершенкройн (1890–1943) – литературный критик, активный участник «Зеленой лампы».

Дорогая Зинаида Николаевна

Пробыл 8 дней в Ницце – и еще собираюсь пробыть столько же. Довольно приятно в смысле тишины и мира. Что у Вас и как Ваше здоровье? Впрочем, на ответ не надеюсь, т<ак> к<ак> едва ли Вы соберетесь написать сразу, – а не сразу будет поздно.

Как «Пир» предстоящие и когда они состоятся? Повторяю, что удобнее всего 13 или 14-го мая, – чтоб в воскресенье, 12-го, можно было у Вас еще поговорить. 16-го, в четверг, я занят. Надеюсь, В<ладимир>А<наниевич> еще не взял зал, а если взял, то не на этот день<sup>1</sup>.

Я на досуге размышляю о Содоме и читаю Платона, у которого, впрочем, по этой части мало (у меня нет «Пира»)². Меня к нему тянет, но я не всегда его понимаю, и если бы это не было так знаменито, я кое-где остался бы «при особом мнении». Есть места, впрочем, архиудивительные – в «Федоне». Читали ли Вы? Если да и помните: не кажется ли Вам, что то, что говорит Кебет, есть «судьба Блока», – как будто совсем о нем. Еще читаю довольно замечательную рукопись некоего парижского «безумца», которую Вам привезу, и думаю, что Вам она будет интересна. По-моему, некоторые страницы в ней стоят половины Андрея Белого³. А вообще – цветут розы и небеса сияют, но в меру. Поеду на Пасху в Grasse⁴.

Целую Ваши руки и приношу поздравления к празднику.

Ваш

Г.Адамович

Датируется на основании следующих выкладок: в 1929 году 12 мая приходилось на воскресенье. Пасха в этот год выпадала на 5 мая по новому стилю (22 апреля по старому), что и определяет приблизительное время, когда письмо могло быть написано (возможно, имеется в виду католическая Пасха).

<sup>1</sup> В мае 1929 зафиксировано лишь одно заседание «Зеленой лампы» – беседа о любви – 20 мая (Зеленая лампа. С.171). Адамович на нем не выступал.

<sup>2</sup> Вступительное слово на этом заседании, называвшемся «Европа – Содом», произносил Д.С.Мережковский (отчет см.: Возрождение. 1929. 29 мая). Совершенно очевидно, что чтение Платона было связано именно с этим.

<sup>3</sup> Имеется в виду роман С.И.Шаршуна (1888–1973) «Долголиков», о котором Адамович вскоре написал рецензию, не дожидаясь выхода романа в свет: Адамович Г. Об одной рукописи // ПН. 1929. 20 июня.

<sup>4</sup> Видимо, речь идет о визите к Буниным, которые постоянно жили в Грассе.

Дорогая Зинаида Николаевна

Это мелочь, но я не хочу, чтобы Вы думали, что я страдаю чрезмерной забывчивостью. Я написал в «П<оследних> Н<овостях>» о Блоке:

«...воспоминаний, порою замечательных, как воспоминания З.Н.Гиппиус или Андр. Белого...»<sup>1</sup>

Но Милюкова нет. А без него кто-то Вашего имени убоился. Оно, вероятно, «выпало в наборе». Меня это крайне разозлило.

Я пойду «объясняться» – не знаю только, кто это проявил такое усердие. Все это *entre nous*, надеюсь.

Ваш

Г.Адамович

<sup>1</sup> Имеется в виду статья: *Адамович Г. О Блоке* // ПН. 1929. 19 мая (что и дает основания для приблизительной датировки).

49

Дорогая Зинаида Николаевна

Благодарю Вас за письмо<sup>1</sup>. Я скоро собираюсь в Ваши «паражи»<sup>2</sup> – но не знаю точно, когда: новостей общественных – нет, а личные перестают быть новостями, ибо регулярно повторяются. Как Ваше здоровье<sup>3</sup>? Неужели солнце не помогает? Не напрасно ли Вы от него предполагаете спастись в Thorenc?

Вышли «Записки» – для меня сугубо-дружественные, так что придется мне извлечь из памяти самые восторженные эпитеты<sup>4</sup>. Насчет одного друга я не сомневаюсь, хотя и одобряю с оговорками про себя. Насчет другого тоже не сомневаюсь, – но в обратном смысле. Вы спрашиваете о диспуте «Религия и культура»<sup>5</sup>. О том, что я говорил, – писать не могу, не по избытку скромности, а потому что трудно. Простите, что не исполняю Ваше желание. Но вот что: я влюбился в Федотова. Это грустное, кроткое и вдохновенное существо, не столь даже умное, сколько с «музыкой» – которой так мало в наших современниках. Я был очарован<sup>6</sup>. Если Вы не захотите его на будущий год в «Лампу» – то *je perds mon latin*<sup>7</sup>. Неужели Вы с ним в ссоре? Кажется, мне что-то В<ладимир> А<наньевич> рассказывал про это, или я ошибаюсь? Говорил еще Поплавский – хорошо, и Ильин – ужасно, т. е. глупо и сияя от собственного глубокомыслия. Это было окончательное закрытие сезона.

Статью Философова о Степуне я не видел, – но слышу уже не раз, что она блестяща<sup>8</sup>. Сохраните ее для меня, пожалуйста. Я вообще поклонник Философова (был, – т<ак> к<ак> теперь не читаю) – это наименее разделенная любовь в моей жизни! Говорят, он теперь обижает Даманскую вместо меня<sup>9</sup>. Все это радотаж – не будьте в претензии.

Есть журнальные планы, почти совсем достоверные и слегка в другой комбинации, чем я Вам говорил<sup>10</sup>. И с буквой Ъ, чтобы окончательно рассеять Ваши сомнения<sup>11</sup>. Редактор, или, вернее, -ры мечтают получить от Вас прежде всего стихи, которых давно никто не видел.

Ну вот. Здесь сыро и «осенне».

Надеюсь скоро Вас видеть. Целую Ваши руки и желаю поправиться.

Преданный Вам

Г.Адамович

9, Bd. Edgar Quinet  
Paris XIX  
28 июня 1929

<sup>1</sup> Имеется в виду письмо от 22 июня 1929 (Пахмусс. С.387-388).

<sup>2</sup> От parages (*франц.*) – края.

<sup>3</sup> Гиппиус писала Адамовичу: «...я еще не приспособилась к здешнему столу в новых условиях моей больной ноги (которая плюет на солнце и жару и не хочет проходить)» (Пахмусс. С.387).

<sup>4</sup> Имеется в виду 39-я книга «Современных записок» (Адамович рецензировал ее литературную часть в «Последних новостях» от 11 июля). Для характеристики общего тона приведем небольшие фрагменты: «какой прекрасный журнал, богатый и полный, широкий и открытый... Как много в нем первоклассного чтения...».

<sup>5</sup> Гиппиус просила: «Напишите мне, что вы говорили в Союзе поэтов о “Религии и Культуре”» (Пахмусс. С.387). Г.П.Федотов 22 июня 1929 выступил с докладом «Религия и культура» на вечере Союза молодых писателей и поэтов. В прениях, помимо Адамовича, В.Н.Ильина и Б.Ю.Поплавского, приняли участие Н.А.Оцуп, Ю.К.Терапиано и др. Возможно, что тезисы именно этого доклада легли в основу статьи Федотова «О Св. Духе в природе и культуре» (Путь. 1932. №35).

<sup>6</sup> Гиппиус писала: «Ох, “смиранный” Федотов, пахнущий не то розовой водой, не то деревянным маслом!» (Пахмусс. С.387).

<sup>7</sup> Ума не приложу (*франц.*).

<sup>8</sup> Имеется в виду статья Д.Философова «Нео-“Дон-Жуан”» (За свободу! 1929. 18–19 июня), в которой он рецензировал отдельное издание романа Ф.А.Степуна «Николай Переслегин» (Париж, 1929). Гиппиус писала Адамовичу: «Как жаль, что вы не читали критику Философова в *Свободе* на этот высокого комизма роман Степуна! Я сохраню статью, она прелестна; и какие цитаты! Положение Философова имеет свои печали, но как отраднo вздохнуть полной грудью! Сказать, видя голого короля, что он голый!» (Пахмусс. С.387).

<sup>9</sup> Статей Д.В.Философова, «обижающих» писательницу Августу Филипповну Даманскую (1877–1959), в газете «За свободу!» за 1929 год нам отыскать не удалось.

<sup>10</sup> Вероятно, речь идет о каких-то подготовительных действиях в организации журнала «Числа», начавшего выходить в начале 1930.

<sup>11</sup> То есть журнал предполагалось печатать по старой орфографии, которой последовательно придерживалась Гиппиус.



Дорогая Зинаида Николаевна

Я Вам вчера написал письмо на двух листах – ответ о большевиках<sup>1</sup>. Но не послал, перечитав, – и не пошлю. Говорят, неясность слов от неясности мыслей. Не думаю, что всегда. Мне показалось, что все, что я написал, – мимо, и оттого бесцельно, но только в словах мимо. Главное, пожалуй, в отсутствии непримиримости – в физиологическом отсутствии, кровном. «Не чувствую пропасти», готов дебатировать о взаимных уступках. Затем многое другое – «идейное». И в глубине – предпочтение живой собаки сдохшим львам, о чем мы не раз с Вами беседовали, всегда расходясь.

Но вопрос Ваш слишком в упор, с чего я то письмо и начал. И тут же Вы признаетесь, что Вас толкает любопытство. Это меня слегка и раслолодило. Мне не интересно говорить с Кантом или Платоном, если нет надежды их убедить. И не от самонадеянности – а от того, что «хочу, чтобы было как хочу» в мире, везде. Любопытство *me laisse froid*<sup>2</sup>. Должен, однако, признаться, что Ваша абсолютность в непримиримости у меня под сомнением – не то что я действительно надеюсь Вас «переубедить», а думаю, что Вы не так все упростили, чтобы ни дрогнуть, ни поколебаться, – это слишком бы Вам противоречило. Собственно, непримиримость не то слово. Конкретно, со Сталиным или Зиновьевым – конечно, непримиримость. Но с большевизмом вообще, с «большевизанствующим» духом времени и с Россией придется поторговаться, и здесь, для *общего дела* в самом последнем и глубоком смысле, надо бы друг другу помочь. Они нам и мы им.

Но опять выходит вода или «слова, слова, слова».

Ну вот – на этом кончим. Простите, что ничего, в сущности, не ответил.

Еще вот что: завтра, во вторник, я не могу к Вам приехать – очень жалею. Надеюсь, что Вы письмо получите вовремя – а может быть, и Влад<имир> Ан<аньевич> позвонит мне. Когда хотите на этой неделе свободен, кроме субботы. Или на той, кроме понедельника и субботы.

Целую Вашу руку.

Ваш Г.Адамович

<sup>1</sup> Этот документ неизвестен.

<sup>2</sup> Оставляет меня холодным (*франц.*).

Дорогая Зинаида Николаевна

Несколько дней хочу написать Вам – но тщетно. Я был болен и с «пустой головой», что со мной бывает теперь часто. Очень бы хотел

приехать к Вам – если можно, напишите, когда. Это будет последний визит. *Il est grande temps de rentrer*<sup>1</sup>. Дон-Аминадо уже объявил свой вечер – значит, сезон начался<sup>2</sup>.

Относительно стихов: я с Вами не согласен<sup>3</sup>. Вы одобряли худшие мои стихи, чем эти. Более ясные, но худшие. Не важно совершенство и степень приближения к нему, важна эссенция – по-моему. В этих стихах ее больше, чем бывало во многих прежних. Но знаете: я прочел у Вас упрек в «скучновато-слабой *смертности*, как у Анненского» – и восхитился двусмысленно-тонкой точностью выражения. А оказалось – *стертости*. Это верно, но обыкновенно-верно.

Про мировоззрение – это хорошо, что Вы «отступились», хотя и с недовольством. Ни до чего нельзя договориться. Если Вы «деятель» – можно, но если «созерцатель» – нельзя. Все непонятно так, что двух слов не скажешь. Кстати, ввиду того, что Вы теперь специалист по католицизму, объясните мне, пожалуйста, в следующий раз, какое есть у католиков течение, которое искупает и умоляет за грех католицизма, общий? И не так ли это, что католицизм весь земной и утверждающий, – а те, им же допущенные, умоляют простить за то, что он не небесный, и вообще просят у Христа прощения за «великого инквизитора»? Меня это очень интересует.

Затем еще вопрос уже позвольте мне из *моего* любопытства к *Вашему* мировоззрению, а не обратно: за что Бог наказал Адама и Еву – за то, что 1) они его ослушались? или 2) именно и особенно за то, что вкусили от древа познания? Это крайняя и глубочайшая разница, с выводами на всю историю... Вообще же, чтобы узнать или «выработать» мировоззрение надо не предлагать вопрос о больших, который есть *мелкий* случай, а вовсе не конец света и царство дьявола<sup>4</sup>, – а вот так с двух-трех сторон подорвать всемирную сущность истории и жизни. И еще: можете ли Вы допустить, без игры ума, парадоксов и проч., «честно и серьезно» – что *цель* всей жизни должна была бы быть смерть, возвращение «домой, домой»<sup>5</sup>?

Простите, что я сегодня к Вам в оппозиции.

Преданный Вам

Г.Адамович

<sup>1</sup> Самое время возвращаться (*франц.*).

<sup>2</sup> Речь идет о вечере, объявленном в хронике «Последних новостей»: «19 октября, в субботу, в большом зале Гаво состоится ежегодный литературно-художественный вечер Дон-Аминадо с участием крупных русских и французских писателей и артистов» (ПН. 1929. 19 сентября)

<sup>3</sup> Письмо Гиппиус с оценкой стихов Адамовича нам неизвестно, равно как неизвестно, какие стихи он ей посылал.

<sup>4</sup> Видимо, намек на заглавие книги Гиппиус, Мережковского, Филофова и Злобина «Царство Антихриста» (Мюнхен, 1922). Но возможно, име-

ется в виду рефрен Мережковского о большевиках как царстве дьявола, который присутствует во всех его поздних произведениях.

<sup>5</sup> Последние слова стихотворения Гиппиус «Домой» (Впервые: СЗ. 1923. №15).

## 52

Дорогая Зинаида Николаевна

Мне Оцуп передал в Париже Ваше письмо, и я собирался ответить Вам – «по существу». Но вот я опять в Ницце. Меня сюда вызвали по телеграфу, и я в тот же день выехал. У моей сестры случился паралич на почве сердечной болезни<sup>1</sup>. Это очень серьезно, и, если она поправится, будет очень долго <так!>. Она не говорит и, по-видимому, наполовину потеряла рассудок.

Как Вы живете? В Париже я был всего две недели. Там все занято будущими «Числами»<sup>2</sup>. На верхах – интересуются чуть-чуть скептически, на низах – препираются до истерик, кому попасть в первый номер. Как видите, все то же. Оцуп лавирует не хуже Бриана<sup>3</sup>. Я думаю вернуться – если все будет благополучно, в конце месяца. Напишите мне, пожалуйста. Вышла ли Ваша книга<sup>4</sup>? И вообще – «что и как»?

Целую Вашу руку. Преданный Вам

Г.Адамович

8 ноября <1929>

Ницца

<sup>1</sup> Речь идет об Ольге Викторовне Адамович (1889–1952), о которой Н.Н.Берберова писала Г.П.Струве: «Ольга, старшая, заболела сердечной болезнью и была инвалидом (не замужем, умерла в <19>42 г.)» (Эпизод сорокапятiletней дружбы-вражды: Письма Г.Адамовича И.Одоевцевой и Г.Иванову (1955–1958). С.450). Дату смерти О.В.Адамович даем по комментарии О.А.Коростелева.

<sup>2</sup> Первый номер знаменитого журнала «Числа» вышел в феврале 1930. Н.А.Оцуп был одним из двух редакторов первых номеров журнала. Несколько позже, 8 января 1930, Гиппиус писала Адамовичу: «Под тяжестью *Чисел* – медленно и явно гаснет *Лампа* (что бы там Оцуп ни говорил). Но, вытягивая из *Лампы* дух, *Числа*, по-моему, не одухотворяются сами, не зажигаются. <...> Оцуп бредит каким-то “новым искусством” (с Сергеем Горным и т. п.!), réunion <собрание (франц.)> у Манциарли; и довел до иступления Дмитрия Сергеевича, чтобы он выступил где-то (на вечере *Чисел*) с экспромтной речью по-французски (!) о Розанове (!) вместе со Шлецером» (Пахмусс. С.390).

<sup>3</sup> Аристид Бриан (1862–1932) – премьер-министр и министр иностранных дел Франции.

<sup>4</sup> Имеется в виду «Синяя книга» (Белград, 1929).

Дорогая Зинаида Николаевна

Спасибо за письмо. «Конец литературы»<sup>1</sup>, окончательный, и я даже писем не умею больше писать, правда, – иначе как «скользя». Все не то, и все слова *vous trahissent*<sup>2</sup>. Представьте себе: вчера пришло письмо от моего брата, из Сербии<sup>3</sup>. Он умный, и вполне человек. Но я прочел обращение к моей матери<sup>4</sup> – «страдалица-мать», и ужаснулся. «Как можно, как не совестно и т. д.!» Между тем это обычные и прекрасные человеческие слова. Что же нам делать без них?

Не удивляйтесь, что я в домашних бедах предаюсь умственному «блуду». Хуже было бы притворяться: «Я не могу ни о чем думать»<sup>5</sup>. Могу, и даже очень. Здесь все то же приблизительно, но, кажется, опасности уже нет, непосредственной, а есть долгое и изнурительное прозябание. Я собираюсь через несколько дней в Париж. Простите, что не приехал к Вам. Никуда почти я не выходил, а надолго тем более.

Целую Вашу руку.

Преданный Вам

Г.Адамович

19 ноября, Ницца

<sup>1</sup> Название доклада Адамовича, сделанного им на заседании «Зеленой лампы» 3 марта 1929, и первая фраза одного из фрагментов «Комментариев» в первом номере «Чисел».

<sup>2</sup> Вас предают (*франц.*).

<sup>3</sup> Борис Викторович Адамович (1870–1936) – в то время генерал-лейтенант, директор Русского кадетского корпуса в Югославии. Сын Виктора Михайловича Адамовича от первого брака с Надеждой Александровной Лухмановой (урожд. Байкова; 1884–1907); Г.В.Адамовичу он был сводным братом.

<sup>4</sup> Мать Адамовича – Елизавета Семеновна, урожд. Вейнберг (ум. 1933).

<sup>5</sup> Гиппиус отвечала на это письмо 21 ноября 1929:

...передо мной не стоит притворяться даже в той неуловимой мере, в какой (быть может) вы делаете это перед собой. Я разумею: «конец языка», «скользя», «письмо брата» – и ваше, *будто бы*, к этому отношению, т. е. ваша, *будто бы*, грусть по поводу такого вашего отношения. Конечно, и то, что я сейчас говорю, не «язык», но... или абсолютно понятно, или абсолютная абракадабра. *C'est selon* <смотря как (*франц.*)>. И меня – даже это – нисколько не смущает. Потому что я давно поняла, что, например, слово «блуд», которое вы употребили, имеет гораздо более *широкое* значение и находится для меня там, где другие его искренно не видят. <...> Конечно, опасно все. И «скользя», и т. д. Но не в ту сторону, как вы думаете. <...> Но тут вы правы, «языка» еще нет. Даже у меня к вам – и обратнo. Но и это меня не смущает. Очень еще много для чего есть

язык (настоящего и настоящий). Об остальном пусть будет «скользя» или совсем ничего. <...> Даже «язык богов», поэзия... о, только до известного предела, пожалуйста! За которым его тоже нет. Или «блуд». Правда?

(Пахмусс. С.389)

54

<15 августа 1930>

Дорогая Зинаида Николаевна

Я никуда «далеко» не поехал, сижу здесь, и дней через 10 буду в Ницце – надеюсь, по крайней мере. Только это тайна – для Гершенкройна и Бахтина я уехал «куда-то», в недостижимые места<sup>1</sup>. Спасибо за приглашение приехать к Вам с ними, но раньше сентября я на Villa Tranquille не окажусь<sup>2</sup>. Мне Герш<енкрой>на хотелось бы видеть, но не здесь и не целый день.

Ваше письмо (с Ант<оном> Крайним я не совсем согласен<sup>3</sup>, но *passons*<sup>4</sup>) меня удивило и отчасти даже огорчило. Это относится к Вашей беседе с Д<митрием> Сергеевичем<sup>5</sup>. Я готов поставить сто восклиц<ательных> знаков! Неужели Вы правда думаете, что я «ничего об Атлантиде не думаю»?<sup>6</sup> Об Осоргине – да, о Берберовой – да<sup>7</sup>, а об этом так-таки ничего, и оттого промолчал в рецензии? Позвольте Вам ответить *конфиденциально* – я думаю, когда читаю (вообще когда читаю Д<митрия> С<ергеевича> – не только это, а все), очень много, но, правда, смутно. Ко многому, очевидно, я тут не приспособлен, – вроде глухонем. Т. е. не вполне знаю, «о чем», *cela m'échappe*<sup>8</sup>, и разумом я не могу дополнить то, что не слышу «нутром». Но меня многое поражает какими-то отблесками, которых ни у кого другого нет, и еще непоправимым одиночеством, которое, к удивлению моему, сам Д<митрий> С<ергеевич> упорно отрицает. Но это все дело мое, личное. Я бы очень хотел когда-нибудь написать статью о «Мережковском»<sup>9</sup>, но с полной свободой суждения, с откровенностью «pro» и «contra», и это мне сейчас было бы трудно, Вы поймете почему, хотя основной нотой у меня было бы абсолютное (и с «преклонением») признание царственности над Львовыми-Рогачевскими – это писал Блок<sup>10</sup> (и над собой, конечно), но с сомнением – все-таки не произошло ли какой-то ошибки в «отправной точке», да и была ли эта «точка», вообще откуда и куда, соответствует ли все построение какой-либо *реальности* или это вымысел? Ну, это неясно, но тоже *passons*.

Однако – *какое все это имеет отношение к «Посл<едним> Нов<остям>» и моему там радотажу?* Я не пишу там об «Атлантиде» только потому, что там нельзя об этом писать – т. е. можно, но не то, что я хочу. У меня ведь был длительный разговор с Милюковым о «Наполеоне» – и выяснилось, что «лучше не надо»<sup>11</sup>.

Позвольте еще откровенность, довольно низменную. Мне «Посл<едние> Нов<ости>» *нужны*, гораздо больше, чем я им. Вы знаете, я не страдаю самоуничижением и нисколько не думаю, что Даманская или Осоргин лучше меня, или даже такие же самые. По-моему, они еще гораздо «ничтожнее», и невольно, когда я своих конфереров<sup>12</sup> читаю (представьте себе, даже Ходасевича крипты), я думаю: «Все-таки у меня выходит лучше». Но все это бесполезно «П<оследним> Новостям». Если сегодня я от них уйду, они не заметят, не «дрогнут» и примутся печатать Мочульского. Я от них уходить не хочу и не могу. Но при некоторой «горделивости» характера я не могу и не хочу иметь с ними столкновений, п<отому> что напролом через Павла Николаевича <Милюкова> не пойдешь и все дело кончится для меня посрамлением, и тогда я должен буду уйти. Следовательно, *je fais bonne mine au mauvais jeu*<sup>13</sup> и делаю вид, что я вполне свободен и ничего больше не хочу. Вот отчего и молчание и об «Атлантиде» и другом, о чем часто мне писать б<ы> хотелось. Молчание все равно неизбежно – т<ак> к<ак> напиши я, Милюков перечеркнет. Но тогда начнутся объяснения, и впереди разрыв. А так результат тот же, но я всем улыбаюсь и доволен<sup>14</sup>. У Чехова есть рассказ о гувернантке, за которой ученик принялся ухаживать, и она испугалась, что должна будет бросить место. Это что-то в таком же роде.

Вот как вышло длинно, скучно и неблагоприятно. Но как говорит шурин Спаржи – это «правда жизни». Voilà. На другое меня сейчас больше не хватит. Я сейчас читаю Шестова «Странствование по душам»<sup>15</sup>. Вы всегда говорите: «У него отличный язык». По-моему, язык языком, кст<ат>и, вовсе и не такой отличный, но чтение это первоклассное и настолько «интересное», что не могу оторваться.

Целую Вашу руку. Надеюсь на письмо еще здесь, в Bollène.

Ваш

Г.Адамович

Grand Hôtel

La Bollène – Vasubia <?> (A<lpes>M<aritimes>).

Датируется на основании того, что является ответом на письмо Гиппиус от 14 августа. На данное письмо Адамовича она начала отвечать 16 августа.

<sup>1</sup> Гиппиус писала Адамовичу 14 августа 1930: «Нагрязнули они двое, Гершен<кройн> и Бахтин, к нам неожиданно, Бахтин в виде краснокожего (никто бы не узнал его!). Признаюсь, я была рада их увидеть...» (Пахмусс. С.398; вместо фамилии Г.О.Гершенкройна публикатор явно ошибочно прочитал «Гершензон»).

<sup>2</sup> В том же письме Гиппиус говорила: «Если вы, как говорили Гершен<кройн> и Бахтин, на 2 дня “спускаетесь” – то почему бы вам с ними и не приехать к нам? Это лучше, чем они к вам» (Пахмусс. С.400). Villa Tranquille (Alpes Maritimes) – адрес Гиппиус летом 1930.

<sup>3</sup> В письме от 14 августа читаем: «Вот вам тоже “литературное” письмо, нечто от Антона Крайнего. Так, этой дубинкой мы с вами, очевидно, и будем перекидываться, пока ваше последненовостное набитие руки дойдет до предела, когда уж и Крайнему станет вам писать неинтересно» (Пахмусс. С.399).

<sup>4</sup> Не стоит говорить об этом (*франц.*).

<sup>5</sup> Эту беседу Гиппиус передавала так: «сначала сплетничаю: Дмитрий Сергеевич внезапно разогорчился, что вы о всех сказали – “и ни слова об *Атлантиде!*” Я резонно: “Да что ж, если он ничего о ней не думает?” – “Ну, придумал бы, что думать!” – “А по-моему, он и придумать ничего не может, ну как же ему быть?” Дмитрий Сергеевич, кажется, не убедился моими доводами, и только все скоро забыл, и ваше молчание, и мои оправдания» (Пахмусс. С.399). Речь идет о рецензии Адамовича на литературную часть 43-й книги «Современных записок» (ПН. 1930. 7 августа), где был опубликован текст Мережковского «Отчего погибла Атлантида». Позже Адамович написал об «Атлантиде» Мережковского, но не в «Последних новостях»: *Адамович Г.* Литературная неделя // Иллюстрированная Россия. 1931. 7 марта, №11. С.22.

<sup>6</sup> Получив данное письмо Адамовича, Гиппиус отвечала ему 16 августа: «Немножко удивило меня, что вы приняли как будто за чистую монету мою беседу с Дмитрием Сергеевичем (“ничего не думает”) – или вы притворились? Из какой-нибудь дважды вывернутой любезности? Все равно, не будем углубляться; отмечаю лишь с удовлетвореньем, что вы и насчет *Атлантид* (и т. п., и Дмитрия Сергеевича) сказали, как вам, по-моему, свойственно...» (Пахмусс. С.400).

<sup>7</sup> В своей рецензии Адамович довольно подробно писал о романе Н.Берберовой «Последние и первые» (закончился печатанием в №44) и оконченной в этом номере «Повести о сестре» М.Осоргина.

<sup>8</sup> Это от меня ускользает (*франц.*).

<sup>9</sup> Такую статью Адамович написал несколько лет спустя: Лица и книги. 2. Мережковский // СЗ. 1934. №56. С.284-297.

<sup>10</sup> Василий Львович Львов-Рогачевский (наст. фам. Рогачевский; 1873–1930) – критик. Имеются в виду строки из письма Блока к В.Н.Княжнину (Ивойлову) от 9 ноября 1912: «И право, мне, не понимающему до конца Мережковского, легче ему руки целовать за то, что он – царь над Адриановыми, чем подозревать его в каком-то самовосхвалении» (*Блок А.* Собр. соч.: В 8 т. Т.8. М.; Л., 1963. С.405). В эмиграции это письмо было перепечатано из советского издания газетой «Дни» в составе публикации «Письма А.Блока» (Дни. 1926. 18 июля). Адамович несколько раз вспоминал в статьях и письмах это высказывание Блока, то и дело заменяя фамилию Адрианова какой-нибудь другой.

<sup>11</sup> Имеется в виду или публикация отрывков из книги «Наполеон» под заглавием «Наполеон-человек» (СЗ. 1929. Кн. 34-35), или отдельное издание (Белград, 1929). Гиппиус писала в письме от 16–22 августа: «я не думаю, чтобы на нас с Дмитрием Сергеевичем было такое безусловное “табу”. *Наполеон* – особое дело. Павел Николаевич ведь считает его личным своим врагом, врагом РДО, во всяком случае: император! Об этом и речь особая

была) (Пахмусс. С.402). Адамович ранее отзывался о «Наполеоне» Мережковского: *Адамович Г.* Литературная неделя // Иллюстрированная Россия. 1929. 6 июля. №28. С.8.

<sup>12</sup> От confrères (*франц.*) – собраться.

<sup>13</sup> Я делаю хорошую мину при плохой игре (*франц.*).

<sup>14</sup> Гиппиус отвечала на это: «А я ни словом не заикалась насчет вынужденного вашего “приспособления” <...>. Одно лишь: как найти его *меру*? В этом все, и *выгоднее* даже “меры” тут, выгоднее во всех отношениях, ничего не выдумать» (Пахмусс. С.402).

<sup>15</sup> *Шестов Л.* На весах Иова (Странствования по душам). Париж, 1929. Отметим, что первоначально фрагменты этой книги опубликовались в издававшемся при ближайшем участии Мережковских журнале «Окно». Гиппиус писала Адамовичу 16 августа: «Вам (в сейчасном вашем состоянии, навечном ли – ничего не знаю) Шестов должен ужасно... годиться. Именно годиться, угодиться. Мне он никогда не годился, у меня всегда вставало против него инстинктивное “не хочу!” Не от разума идущее, потому непобедимое, но разум мне нашел для него объяснения: оттого, вероятно, “не хочу”, что у Шестова отправная точка – Nihil, а цель – называется так же. Его *воля* другой материи, чем моя. А так как он разрушитель искусный, талантливый и с большой к этому волей, то и “не хочу” мое к нему весьма сильное. Он умеет ходить по окраинам, говорит вещи, с которыми нельзя не соглашаться, но не опасно соглашаться для знающего, что внутри-то косточка, которую я выплону. Кто же про косточку не знает, или нет у него к ней “не хочу”, тот обычно глотает этот сладкий плод целиком» (Пахмусс. С.400-401).

55

<Штемпель: 23.9.30>

Дорогая Зинаида Николаевна

Я недоумеваю, получил ли я сегодня целиком Ваше письмо или это только «хвостик» от потерянного целого? Уж очень коротко<sup>1</sup>.

Сегодня написал в Грасс. Как только получу ответ, сообщу Вам. М<ожет> <быть>, Владимир Ананьевич позвонит мне – скажем, в четверг. Это ускорит и упростит дело.

Ваш Г.Адамович

<sup>1</sup> Вероятно, имеется в виду письмо от 16–22 августа 1930 (Пахмусс. С.400–402).

56

Дорогая Зинаида Николаевна

Благодарю Вас за приглашение на сегодня. Я никак не могу и просил Мочульского Вам это сказать. У меня всякие дела, семейные и другие, я занят до среды<sup>1</sup>. Сейчас я говорил с Бунинным по телефону – условились у них в среду утром. Можно ли к Вам потом в Альбу, и дальше как всегда?<sup>2</sup>



Читал сегодня Ваши письма к Перцову с некоторой неловкостью, будто залез в чужой письменный стол<sup>3</sup>. По-моему, там можно их печатать, но здесь не следовало бы перепечатывать. А part cela<sup>4</sup>, как Вы похожи на себя – до удивительности!<sup>5</sup>

Целую Ваши руки.

Ваш

Г.Адамович

Nice, 26 сентября 1930

Потребуйте с «Посл<едних> Н<овостей>» гонорар за письма.

<sup>1</sup> Гиппиус отвечала на это 27 сентября 1930: «Хорошо, в среду. Если дождик – прямо в Транкиль...» (Пахмусс. С.403).

<sup>2</sup> В том же письме она говорит: «Бунин мне написал, что болен. А вам что говорит?» (Там же. С.404).

<sup>3</sup> Речь идет о статье Н.Кнорринга (подп.: К-г Н.) «Из переписки З.Н.Гиппиус с П.П.Перцовым» (ПН. 1930. 25 сентября), представляющей собою развернутую рецензию на книгу В.Евгеньева-Максимова и Д.Максимова «Из прошлого русской журналистики». Гиппиус писала по этому поводу: «Вы совершенно правы насчет чужого письменного стола. Библиотеки этим не стесняются – не протестовать же! Любопытнее, что наши “культурники” от них заражаются, но кто против бар из *Последних Новостей* смеет поднять голос?» (Пахмусс. С.403; возможно, вместо «библиотеки» следует читать «большевики»).

<sup>4</sup> Исключая это (франц.).

<sup>5</sup> Гиппиус отвечала на это: «А вот в удивлении вашем вы не правы. Куда было бы изумительнее, если б человек даже в таких банальных вещах, как литература, пресса и т. д. – вдруг, через несколько лет становился сам на себя не похожим. Это бывает, но я тогда начинаю подозревать, что ему просто и не на кого быть похожим...» (Пахмусс. С.403-404).

57

Дорогая Зинаида Николаевна

Я видел Варшавского<sup>1</sup> вчера вечером. Он согласен читать в «З<еленой> Л<ампе>» доклад – на будущей неделе<sup>2</sup>. Зал можно взять.

Он будет у Вас в ближайшее воскресенье. Если Вы хотите его видеть до того, то адрес его: 27, rue de l'Esperance, Paris XIII. W.Varsavsky.

Целую Вашу руку

Ваш

Г.Адамович

21, rue Vavin  
7 декабря 1931

<sup>1</sup> Владимир Сергеевич Варшавский (1906–1978) – прозаик, публицист.

<sup>2</sup> Речь идет о беседе 21 декабря 1931 на тему «Эмигрантский молодой человек», на котором вступительное слово произнесла Гиппиус, а В.С.Варшавский выступил с докладом (Зеленая лампа. С.172).

Дорогая Зинаида Николаевна

Я не могу быть сегодня у Вас. Простите, что поздно извещаю. Если можно – завтра вечером или пятницу, après midi<sup>1</sup>.

Затем, у меня есть к Вам дело, необычайное – не удивитесь очень. Мне крайне неприятно об этом писать, и если Вы не можете ничего сделать, n'en parlons plus<sup>2</sup>. Мне надо ехать на днях в Ниццу – и мне не хватает пятисот франков. Не можете ли Вы мне их одолжить – до моего возвращения, то есть до середины января? У меня сейчас дела запутаны и все «источники» забиты. Отчасти мне нужна Ницца как раз для того, чтобы распутаться.

Я не знаю, насколько Вам понятны и известны эти «стороны жизни». Оттого я и опасаюсь Вашего чрезмерного изумления.

Целую Вашу руку.

Преданный Вам

Г.Адамович

21, rue Danemark, Paris VI

В письме нет никаких примет, по которым его можно датировать хотя бы приблизительно.

<sup>1</sup> После полудня (*франц.*).

<sup>2</sup> Не будем об этом больше говорить (*франц.*).

## ПЕРЕПИСКА ТЭФФИ С И.А. И В.Н. БУНИНЫМИ 1948–1952

*Публикация Ричарда Дэвиса и Эдит Хейбер.  
Вступительная статья Эдит Хейбер*

Вторая половина 1930-х оказалась для Тэффи очень тяжелым периодом из-за смерти любимого человека, П.А.Тикстона, серьезных проблем со здоровьем и растущих материальных трудностей. Однако к концу 1930-х она не без основания опасалась, что в будущем можно ожидать еще больших несчастий, уже в мировом масштабе. В фельетонах, написанных накануне Второй мировой войны для газеты «Последние новости», она проводит параллель между современной ситуацией и теми катаклизмами, которые начались ровно четверть века назад и в конце концов вынудили ее эмигрировать. Новая война обещала быть еще более жестокой, чем предыдущая, и 8 октября 1939 Тэффи пишет в фельетоне: «Гораздо труднее, чем было четверть века назад, когда верили в прочность договора, в силу обещания. Теперь, когда пакты – одно, а факты – другое, и ничего общего с ними не имеющее, – как нам разобраться?»<sup>1</sup>

Развитие технологий делало войну еще более страшной. «Техника! Техника! Техника! <...> Авионы, летящие на высоте десяти километров, пролетающие по двенадцать километров в минуту; бомбы, сжигающие одним ударом целые города и разрушающие самые мощные укрепления; радио,

---

\* Окончание публикации полного свода переписки. Начало см. т.1-2 «Диаспоры». Вступительная статья охватывает и вошедшие во вторую часть публикации письма 1939–1948 годов.

Произведения (письма и другие тексты) Тэффи публикуются с разрешения Mme. Agnès Szydłowski.

Произведения (письма и другие тексты) И.А. и В.Н. Буниных публикуются с разрешения Ivan and Vera Bunin Estate.

Публикация и комментарии © Richard D.Davies and Edythe C.Haber, 2002.

<sup>1</sup> Летопись // Последние новости. 1939. № 6768, 8 октября. С.3.

которое четверть века тому назад еще не было в таком ходу в военном деле, движущиеся крепости – танки»<sup>2</sup>. Тэффи пришлось испытать это лично, когда немцы начали бомбить парижский пригород Ванв, куда она переехала в конце 1939 из своей неотопливаемой квартиры на авеню де Версаль (№83). В последнем фельетоне, опубликованном в «Последних новостях», Тэффи описывает свои впечатления от бомбежки: «Вот теперь, получив “боевое крещение”, получив первое самое яркое впечатление от звуков битвы, можно впечатление это передать так: как будто попали мы в самый центр какой-то чертовой фабрики на полном ходу. Гудели трубы, грохотали колеса, скрежетали винты, хлопали ремни, звенели цепи, пылали горны, со свистом вылетал пар. Сражения не было. Битвы не было. Мы знали, что где-то высоко в небе наши защитники гонят врага, – но мы не видели и не слышали этого. Чертова фабрика заполнила весь наш мир»<sup>3</sup>.

Вполне естественно, что старшая дочь Тэффи, Валерия Грабовская, прибывшая в Париж осенью 1939 для работы в польском правительстве в изгнании (№83), очень хотела спасти мать от опасности и уговорила ее переехать к ней в Анже<sup>4</sup> (№84). В мемуарной записи того периода Тэффи пишет о нежелании уезжать из Парижа, несмотря на усилия влиятельных знакомых, и выражает чувства, без сомнения разделяемые и многими эмигрантами старшего поколения: «У меня есть пропуск и есть приглашение в Анже и в Биарриц. И.Фондаминский позаботился обо мне, позвонил А.Керенскому, и пропуск мне был выдан. Но ехать не хотелось. Сама не знаю почему. Вероятно, просто надоело. Немало гоняли нас по всему свету и войны, и революции. Но прежде это было ново и интересно и возбуждало нервы. Теперь все так знакомо и так скучно»<sup>5</sup>.

И все же в начале 1940 Тэффи последовала за Валерией в Анже, где, как она пишет в другой мемуарной записи, сохранившейся в ее архиве, «мы сидели в кафэ на главной улице Анже и смотрели, как мимо нас течет густая лавина растерянных, перепуганных насмерть людей»<sup>6</sup>. В недатированном письме к Зайцевым она пишет, что не знает, куда ей ехать дальше: «Настроение непрочное в смысле оседлости. Но куда двинуть – неизвестно»<sup>7</sup>. Как выяснилось, следующим перевалочным пунктом оказался «Дом русского ребенка» в Сали-де-Беарн, куда она добралась к концу июня 1940 (№84). Там она оставалась приблизительно до середины августа, а потом переехала в близлежащий Биарриц.

Не сохранилось писем Тэффи и Буниных, относящихся к году, проведенному ею в Биаррице, но зато этот период изобилует ее многочисленными письмами к Зайцевым. Из этой переписки мы узнаем, что до Тэффи

<sup>2</sup> Четверть века // Последние новости. 1939. № 6775, 15 октября. С.3.

<sup>3</sup> «И все-таки...» // Там же. 1940. № 7013, 9 июня. С.2. См. также письмо Б.К.Зайцева к Буниным от 4 июня 1940, в котором он передает впечатления В.А.Зайцевой, посетившей Тэффи во время этой же бомбежки (Письма Б.Зайцева И. и В. Буниным / Публ. М.Грин // Новый журнал. 1983. №150. С.217-218).

<sup>4</sup> В примеч. 2 к №83 город Angers неправильно назван Анжер вместо Анже.

<sup>5</sup> БАРВК. Фонд Тэффи.

<sup>6</sup> Там же.

<sup>7</sup> БАРВК. Фонд Зайцева.

дошли слухи о том, что Бунин собирается уехать в Америку: «Сейчас узнала удивительную новость. Ив<ан> Алекс<еевич> собирается свершить далекое путешествие». В этом же письме она сообщает о собственном желании поступить так же: «Рогнедов<sup>8</sup> очень уговаривает меня ехать, но я слабая, хворая и старая и боюсь»<sup>9</sup>. В другом, по-видимому более позднем, письме она возвращается к этому вопросу: «Вы как-то писали, что не представляете себе Ивана в Америке. Почему? Тот же русский рестораник, та же девица и те же платящие евреи. Но все же думаю, что он не поедет»<sup>10</sup>.

В письмах к Зайцевым Тэффи описывает свою жизнь в Биаррице, где она вновь встретилась с такими старыми знакомыми, как Гиппиус и Мережковский, Георгий Иванов и Ирина Одоевцева, художник Николай Милиоти и Александр Рогнедов, который впоследствии в качестве «литературного импрессарио» будет часто фигурировать в послевоенной переписке Тэффи с Буниным. Первые месяцы Тэффи жила с соотечественниками в Maison Basque (Баскском доме), а затем в октябре переехала вместе с одной русской и двумя француженками в «дивную квартиру»<sup>11</sup>. Но зимой квартира оказалась невероятно холодной, даже в те редкие дни, когда она отапливалась. Однажды произошла катастрофа, о которой Тэффи пишет в недатированном письме Зайцевым: «...проснулась ночью от какого-то шипенья. Зажгла лампу, смотрю – около двери плавают мои башмаки. Открываю дверь в cabinet de toilette<sup>12</sup>, и сразу окатывает меня струя ледяной воды <...>. Стоя в ледяной воде по щиколку, обе <т.е. Тэффи с консьержкой> мокрые с головы до ног, <ак> к<ак> со стен на нас текло, убираем воду полотенцами, и я плакала»<sup>13</sup>.

Такие случаи, разумеется, очень плохо действовали и физически, и душевно на уже нездоровую писательницу. Как она сообщала Вере Зайцевой: «Все болит, больно встать с постели, руки, ноги, шея, спина – все болит. А пуще всего душа»<sup>14</sup>. В Биаррице впервые появились симптомы болезни сердца, которая преследовала Тэффи до конца жизни. Но не менее серьезным был и душевный кризис, вызванный отчасти тоской по прошлому («Со мной судьба сыграла ловкую штуку: отняла семью, дом, работу, здоровье и, кажется, даже работоспособность»<sup>15</sup>), а отчасти ее нынешним положением. Ее особенно угнетало отсутствие работы: «Все надеюсь на газету – иначе совсем не знаю, что делать»<sup>16</sup>. Несмотря на вполне благоприятные бытовые условия, она совершенно не может писать: «Вообще здесь для

<sup>8</sup> О Рогнедове см. примеч. 7 к №169.

<sup>9</sup> Письмо Тэффи к Зайцевым от конца августа 1940 (БАРВК. Фонд Зайцева).

<sup>10</sup> Письмо Тэффи к Зайцевым от 27 августа 1940 (Там же). См. также письма Бунина и Алданова по этому поводу от 1941–1942 в публ.: Переписка И.А.Бунина с М.А.Алдановым / Публ. А.Звереса // Новый журнал. 1983. № 150. С.160–168.

<sup>11</sup> Письмо Тэффи к Зайцевым от 7 октября 1940 (БАРВК. Фонд Зайцева).

<sup>12</sup> уборную (франц.).

<sup>13</sup> БАРВК. Фонд Зайцева. См. также другое описание этого эпизода в мемуарном очерке Тэффи «Зинаида Гиппиус» (Возрождение. 1955. №43. С.88).

<sup>14</sup> Недатированное письмо Тэффи к В.А.Зайцевой (БАРВК. Фонд Зайцева).

<sup>15</sup> Письмо Тэффи к Зайцевым от 1 декабря 1940 (Там же).

<sup>16</sup> Письмо Тэффи к Зайцевым от 7 октября 1940 (Там же).

работы условия чудесные. И не одна, и никто не мешает. Точно судьба решила мне показать, что не в обстановке дело, а просто пришел моей голове конец»<sup>17</sup>. Она еще долго не могла писать. В письме к Вере Зайцевой (предположительно весна 1941) она жалуется: «Писать совсем не могу. В июне будет год, как я не пишу»<sup>18</sup>. Судя по ее переписке с Буниным и другими, эта возникшая в Биаррице проблема часто повторялась и после войны.

Страх перед будущим усугублял душевный недуг Тэффи: «Страшно. Пугает пустота и одиночество и беспомощность. <...> И главное – совершенно не представляю себе жизни в Париже. Одна жить абсолютно не могу. Мое здоровье выкидывает со мной штуки, требующие присмотра и помощи. Как устроиться, надумать не могу»<sup>19</sup>. Все разрешилось благодаря появлению одного человека. Тэффи радостно пишет Вере Зайцевой: «У меня нашелся удивительный друг-докторша. Замечательный человек. Даже мое злое сердце не нашло в ней ничего для питания моей мизантропии»<sup>20</sup>. В июне или июле 1941 вместе со своей новой подругой она переезжает в новую квартиру в Биаррице и объявляет Зайцевым о своем намерении и в Париже продолжать жить с ней. По возвращении в Париж в конце августа или начале сентября 1941 она действительно снимает комнату у своей подруги в меблированной квартире на рю де Любек (№85), а затем, начиная с 1942, в «барской квартире» в Пасси на шикарной рю Франсиск Сарсей (№87). Вскоре, однако, Тэффи разочаровалась в «докторше», о чем свидетельствует замечание в письме к Вере Буниной 1943 года: «Живу в комнате, от хозяйки, отчасти сумасшедшей, отчасти бешеной. <...> Жуткая история. Если бы было возможно – сбежала бы, но сейчас нигде не найти квартиренки» (№94). Почти год ушел на поиски нового жилья – комнаты в квартире ее старой знакомой Тамары Оксинской-Лавровой и ее сестры Марии Ач на рю Буассьер, где она и оставалась до конца жизни.

В письмах, адресованных Буниным из Парижа во время войны, Тэффи, иногда в закодированной форме, рассказывает о трудностях, с которыми русским эмигрантам приходилось сталкиваться в оккупированной части Франции: об аресте и гибели одних (№87), о жалком существовании, усугубляемом нуждой, болезнями и старостью, других (№85, 89, 95-96 и др.). Сохранилось несколько бытовых зарисовок, которые, несмотря на описание воздушной тревоги, бомбежек и лишений, пронизаны свойственным Тэффи неукротимым остроумием и чувством абсурдного (№94-95). Одним радостным проблеском стала трансляция в радиопередаче 1943 года цыганской песни Тэффи рядом с «Венгерским танцем» Брамса (№90-92). Пожалуй, наибольший интерес представляет ряд писем 1944 года, связанных с рассказами Бунина, вошедшими в сборник «Темные аллеи». Эти письма позволяют глубже проникнуть в творчество Бунина того периода и в его восприятие близкими ему людьми (№98-105).

Насколько известно, во время немецкой оккупации Тэффи ничего не публиковала. В первом послевоенном письме к Цетлиным она писала:

<sup>17</sup> Письмо Тэффи к Зайцевым от 16 октября 1940 (БАРВК. Фонд Зайцева).

<sup>18</sup> Письмо Тэффи к В.А.Зайцевой (весна 1941) (Там же).

<sup>19</sup> Письмо Тэффи к В.А.Зайцевой от 21 апреля 1941 (Там же).

<sup>20</sup> Недатированное письмо Тэффи к В.А.Зайцевой (Там же).

«Мих<аил> Ос<ипович> угадал. Я не коллаборировала, несмотря на просьбы со стороны “властей” и даже угрозы. Жила я скверно, но душу не продала»<sup>21</sup>. Известно только о ее театральной деятельности того периода, например, о постановке нескольких драматических миниатюр (№97, 105) и, что более существенно, о новой постановке Н.Н.Евреинным ее пьесы «Момент судьбы» в 1944 (№101). Выжила Тэффи, по-видимому, благодаря, в первую очередь, помощи частных лиц и общественных организаций, а также денежным переводам из Лондона от дочери Валерии<sup>22</sup>.

После освобождения Парижа от немцев 24 августа 1944 Тэффи возобновила связь с дочерьми и друзьями, проживающими за пределами Франции. В это время до нее дошла широко распространенная версия о ее смерти, она узнала о многочисленных панихидах, которые отслужили по ней в разных странах, и, самое главное, о некрологе М.О.Цетлина, опубликованном в нью-йоркском «Новом журнале» (№108). В первом фельетоне для газеты «Русские новости» она утверждает, что такое заключение вполне логично: «Можно ли думать, что человек слабый, старый и болезненный отлично проживет зиму в нетопленном доме, на голодном пайке, под вой сирены и грохот бомб, в душевном состоянии тоски и отчаяния за близких, за дальних, за мир? О-о, нет. Он наверное умер»<sup>23</sup>. Быт после оккупации стал не намного легче, как видно из первого послевоенного письма Тэффи к дочери Валерии: «Жизнь очень тяжелая. Кило масла стоит 750 франков. Последние дни стало немножко лучше. Мяса дают маленький кусочек раз в неделю»<sup>24</sup>. Все письма к дочери в течение последующих нескольких лет полны описаний перебоев с продуктами, топливом и одеждой. Периодически справиться с этими проблемами помогали продовольственные посылки из-за границы и небольшие денежные вспоможения.

В послевоенные годы и литературная жизнь как для Тэффи, так и для Бунина стала очень тяжелой. Из их переписки того периода, в которую входит большинство писем, публикуемых во второй и третьей частях настоящего издания, вырисовывается весьма удручающая картина жизни русской эмигрантской интеллигенции, раздираемой послевоенными идеологически-

<sup>21</sup> Письмо Тэффи к М.О. и М.С. Цетлиным от 27 августа 1945 (Отдел рукописей библиотеки Иллинойского университета (США). Фонд С.Ю.Прегель и В.В.Руднева).

<sup>22</sup> В нескольких письмах Тэффи к Зайцевым из Биаррица (3 и 20 марта и весна 1941 – БАРВК. Фонд Зайцева) упоминаются деньги, полученные из разных источников. Нужно полагать, что Тэффи продолжала получать подобные вспоможения и в дальнейшем. Сохранились расписки о получении денежных переводов (суммы от 5 000 до 30 000 франков) от дочери Валерии (БАРВК. Фонд Тэффи).

<sup>23</sup> Русские новости. 1945. №12, 3 августа. С.4. Цит. по перепечатке в изд.: Н.А.Тэффи в газете «Русские новости» (1945–1947) / Публ., вступ. статья и примеч. Е.Г.Домогацкой // Творчество Н.А.Тэффи и русский литературный процесс первой половины XX века / Под ред. О.Н.Михайлова, Д.Д.Николаева, Е.М.Трубиловой. М.: Наследие, 1999. С.211.

<sup>24</sup> Письмо Тэффи к Валерии Грабовской от 25 сентября 1944 (БАРВК. Фонд Тэффи). В дальнейшем письма Тэффи к дочери приводятся без указания архивного источника.

ми и политическими конфликтами. Травили не только тех, кто якобы сотрудничал с нацистами, но и тех, кто, окрыленный победой, поддался советской кампании за репатриацию или, оставаясь в эмиграции, принял советское гражданство. Бунин и Тэффи не принадлежали ни к одной из этих категорий (упорные слухи о том, что Тэффи взяла советский паспорт, небоснованны), но, как явствует из их переписки, оба (особенно Бунин) подвергались нападкам за недостаточно антисоветские настроения со стороны тех, кто занимал более бескомпромиссную позицию.

Поводом для критики, в частности, служили их публикации в газете «Русские новости», наиболее умеренной из двух просоветских газет – единственных разрешенных русскоязычных газет, выходящих во Франции в 1945–1947 (второй газетой был «Советский патриот») <sup>25</sup>. Попытки советских властей заманить Бунина и Тэффи на родину (приглашения в Советское посольство в Париже, встречи с Константином Симоновым) только усиливали подозрения в их просоветских симпатиях (№111). Однако, как и следовало ожидать, эти попытки не увенчались успехом. Понять позицию Тэффи помогает сохранившаяся в ее архиве газетная вырезка с ее интервью. Следующее место обведено синим карандашом: «...вспоминается мне последнее время, проведенное в России. Было это в Пятигорске. Въезжаю я в город и вижу через всю дорогу огромный плакат “Добро пожаловать в первую советскую здравницу”. Плакат держится на двух столбах, на которых качаются два повешенных. Вот теперь я боюсь, что при въезде в СССР я увижу плакат с надписью “Добро пожаловать, товарищ Тэффи”, и на столбах, его поддерживающих, будут висеть Зощенко и Ахматова» <sup>26</sup>.

И все же о них, особенно о Бунине, распространялись ложные слухи, спровоцированные самим фактом попыток со стороны советских властей установить с ними контакт (№129).

Настоящий раскол между двумя лагерями русской эмиграции произошел в ноябре 1947 и был вызван решением Союза русских писателей и журналистов в Париже исключить тех членов, которые взяли советские паспорта. Выход Бунина (до него вышла Вера Бунина) и Тэффи <sup>27</sup> из Союза был истолкован многими как знак солидарности с исключенными советскими гражданами, что не соответствовало истине, но тем не менее серьезно отразилось как на личной, так и на профессиональной жизни обоих писателей. Их переписка проливает свет на тот непреодолимый разрыв в отношениях, который произошел между Буниными и Тэффи, с одной стороны, и их лучшими друзьями Зайцевыми и самой верной и давней благодетельни-

<sup>25</sup> *Домогацкая Е.Г.* «В наше время для многих нормальнее умереть, чем жить». Н.А.Тэффи и русский Париж в 1945–1947 гг. // Творчество Н.А.Тэффи и русский литературный процесс первой половины XX века. С.200–201.

<sup>26</sup> *Дий А.* «Добро пожаловать, товарищ Тэффи!» // Русская жизнь (Сан-Франциско). 1946. 14 ноября.

<sup>27</sup> В письме М.С.Цетлиной к Тэффи, которое последняя приводит в своем письме к Бунину от 15 февраля 1948 (№147), упоминается выход Тэффи из Союза, но в дневниковой записи за 8 марта 1949 Бунина критикует Тэффи за то, что «не ушла и даже в этом году взяла из Союза 3 000 фр<анков>» (РАЛ MS. 1067/423).



цей Марией Цетлиной – с другой (№136, 138-139, 143-150 и сл.). Из-за занимаемой ими позиции, которая привела к большей изоляции, в последние годы жизни Бунин и Тэффи стали еще ближе. Это проявляется в их переписке, ставшей значительно более интенсивной. (До войны письмами обменивались главным образом Тэффи и Вера Бунина.) Укреплению дружбы Тэффи с Буниным к тому же в большой мере способствовал Борис Пантелеймонов, химик по профессии, занявшийся литературой уже в конце жизни. Прошлое Пантелеймонова было окутано тайной. Долгое время он жил на Ближнем Востоке, а затем, после развода с молодой женой в 1935, инсценировал самоубийство и уехал<sup>28</sup>. Он впервые появляется в переписке Тэффи с Буниным в начале 1946 в связи с задуманным им альманахом «Русский сборник» (№116 и сл.) и вскоре становится близким другом обоих. Развитие этой дружбы, советы Бунина и Тэффи «молодому» (уже под 60) писателю, доброта и щедрость Пантелеймонова, его порой наивный, но обаятельный энтузиазм, его запой и, наконец, мучительная смерть от рака в 1950 – все это занимает важное место в их переписке того периода<sup>29</sup>.

В результате раскола в литературной среде резко сократилось уже и без того небольшое (после войны) число газет и журналов, в которых могли печататься Бунин и Тэффи. Появившаяся в 1947 парижская газета «Русская мысль», среди сотрудников которой были Зайцев и другие враждебные им писатели (Берберова, Шмелев, Яблоновский и др.), была для них практически закрыта и не упускала возможности их покритиковать. Бунин отказывался печататься в нью-йоркском «Новом журнале» из-за участия в нем Цетлиной (№143), в то время как Тэффи, по разным соображениям как личного, так и идейного характера, порвала с журналом «Возрождение», основанным в Париже в 1949 А.О.Гукасовым, издателем довоенной газеты с тем же названием (№177, 180 и др.).

В любом случае слабое здоровье не позволило бы Тэффи писать еженедельные фельетоны, как она делала это в течение всей своей профессиональной деятельности вплоть до самой войны. Ее первый послевоенный сборник «Все о любви» (1946) состоял исключительно из рассказов 1930-х годов, и многие рассказы, вошедшие во второй сборник «Земная радуга» (1952), также были написаны значительно раньше. И все же, когда здоровье ей позволяло, она с упорством продолжала писать. Ее рассказы печатались в основном в журнале «Новоселье», а другие произведения, в частности цикл блестящих мемуарных очерков о ее знаменитых современниках, – в газете «Новое русское слово».

Однако незначительное число публикаций послевоенных лет не могло спасти от нищеты ни Бунина, ни тем более Тэффи. Оба с энтузиазмом встречали любые предложения, сулившие дополнительные заработки. Это

<sup>28</sup> *Агурский М.* Сибиряк на Мертвом море. О Борисе Пантелеймонове // Евреи в культуре Русского зарубежья. Т.1. Иерусалим, 1992. С.82-96.

<sup>29</sup> См. некролог Тэффи «Мой друг Борис Пантелеймонов» (Новое русское слово. 1950. №14044, 8 октября. С.2), а также статью Е.М.Трубиловой «Бунин, Тэффи, Пантелеймонов. История дружбы» (И.А.Бунин и русская литература XX века <...>. М.: Наследие, 1995. С.195-206; *Bounine revisité // Cahiers de l'émigration russe.* 4. Paris: Institut d'Etudes slaves, 1997. С.129-140).

могли быть и переводы их произведений на европейские языки (№128, 171, 199 и сл.), и разного рода заказы, как, например, «испанские» рассказы для Александра Рогнедова (№169 и сл.), но все это приносило только мизерный доход. Иногда они получали деньги от нью-йоркского Литфонда и от частных лиц, нередко благодаря посредничеству Марка Алданова. Андрей Седых помогал тем, что продавал проживающим в Америке поклонникам Бунина и Тэффи их книги с автографами. Он же сыграл ключевую роль в получении Буниным, Тэффи и другими литераторами пособия от С.С.Атрана, которое поступало с лета 1949 до смерти Атрана в июле 1952<sup>30</sup>. В письме к дочери от 20 декабря 1951 Тэффи в шутку называла получаемые ежемесячно от Атрана 10 тысяч франков «главной базой моей роскошной жизни».

Еще одним традиционно эмигрантским источником доходов, к которому прибегали Бунин и Тэффи, служили благотворительные вечера. Однако один из таких вечеров, устроенный в честь Тэффи в ноябре 1947, кончился плачевно – во время вечера с ней случился тяжелый сердечный припадок, и потом она долго болела (№133-135). Однажды, весной 1948, когда Тэффи еще не совсем выздоровела, Бунин пришел в такой ужас от условий ее жизни, что решил ей помочь. В письме к Алданову от 14 июня 1948 он пишет:

Вы знаете, в каком ужасном положении до сих пор Надежда Александровна, – до сих пор то и дело припадки грудной жабы, и очень часто потому, что все дни и вечера она совершенно одна, – две дамы, у которых снимает она свою вечно темную, мрачную комнату, никогда не бывают дома, – и сама должна опрывать себе постель и что-нибудь готовить на кухне («что-нибудь» настолько скудное, что, помимо всего прочего, она истощена еще и недоеданием), а эта постель и кухня опасны ей, по словам доктора Беляева, <...> поистине смертельно. Поэтому решили мы, несколько человек, близких ей, – решили тайне от нее, – сделать денежный сбор в пользу ее и дать ей возможность жить где-нибудь в хорошем пансионе под Парижем, для какового сбора нужно, конечно, составить некоторое небольшое воззвание, подписанное несколькими видными людьми<sup>31</sup>.

Это воззвание совсем не упоминается в переписке Тэффи с Буниными и другими ее корреспондентами. Надо думать, что результаты были не блестящие.

От такой тяжелой жизни, и физической и душевной, в письмах чувствуется растущая озлобленность, раздражительность. Тэффи сама признается в

---

<sup>30</sup> Седых А. Н.А.Тэффи в письмах // Воздушные пути. 1963. №3. С.194-196. Подробнее о пособии, получаемом Буниным, см. переписку Бунина с Алдановым от 1948 (Новый журнал. 1983. №153. С.141-142 и сл.).

<sup>31</sup> Там же. С.144. Ср. описание той же комнаты в письме М.Н.Верещагиной к О.Н.Михайлову от февраля 1972: «<...> небольшую комнату Надежда Александровна обставила своей красного дерева мебелью, на стенах висели картины Коровина, миниатюры дочерей, портреты друзей-писателей. <...> В этой квартире у нее был советский писатель Константин Симонов и может Вам рассказать об уютной, пахнувшей всегда духами комнате, в которой Тэффи провела последние годы своей жизни» (РГАЛИ. Ф.1174. Оп.2. Ед. хр.24).

письме дочери Валерии от 2 декабря 1950: «Характер у меня стал ядовит. Всех ругаю, все меня раздражают. <...> Бунин стал совсем “gaga”<sup>32</sup> и злой вроде меня. Остальные все дурачье». В том же письме она пишет: «Как жаль, что у меня так мало сил – не могу ходить ни в музей, ни в концерты, ни даже на приглашения к интер<есным> людям. Живу в безвоздушном пространстве. Тупею от антиспазмод<ических> лекарств, лежу, читаю, дремлю, читаю. Если кто зайдет – выругаю». Больше всего ей, конечно, хотелось видеть Бунина, но такие встречи случались очень редко, и последствия часто бывали неприятными.

Об одном таком визите к Буниным она рассказывает дочери в письме от 1 апреля 1951:

В прошлый вторник условилась с Буниным, что наконец поеду его повидать. <...> Пошла на place Victor Hugo искать taxi. Простояла под проливным дождем полчаса. Наконец, нашла. Часа два просидела у Бунина. Он не выходит, иногда даже не встает с постели, задыхается. Поболтали о болезни, смерти и загробной жизни *très rigolo*<sup>33</sup>. Назад провожала Верочка Бунина. Ходу нормального до площади Muette, где можно надеяться на taxi, минут 6. Я останавливалась 4 раза, принимала *Trinitrine*<sup>34</sup>. Поднялся ураганный ветер. Добрели до площади. Я села в аптеке, а Бунина бегола по площади искала taxi. Наконец, нашла шаткого дрянного шофера, уговорила его отвезти погибающего *moribond’a*<sup>35</sup>. Он отвез, затем поднял на второй этаж с тремя спазмами (но это дело не редкое). Дома *riquête*<sup>36</sup> и <на> два дня выбыла из строя.

Сохранилось мало писем Тэффи и Бунина, написанных в самые последние годы ее жизни. Конечно, оба были тяжело больны. Это отразилось и на творчестве Тэффи, но все-таки в марте 1952 в «Новом русском слове» появилась ее большая статья о Гоголе<sup>37</sup>. 1 мая она с гордостью пишет Валерии: «Очень много говорят о моей статье о Гоголе. Вот я какой молодец!»

К концу 1951 материальное положение Тэффи несколько улучшилось. В этом году отмечалось 50-летие ее литературной деятельности. В Нью-Йорке был организован большой вечер по этому поводу<sup>38</sup>, затем в 1952 последовало празднование в Сан-Франциско. Вместо ожидаемых 200 долларов на нью-йоркском вечере было собрано более 500, а в Сан-Франциско сбор принес дополнительные 150 долларов. Большое удовольствие Тэффи доставили и хвалебные статьи, приуроченные к ее юбилею. Дочери она написала 9 июня 1952 о статье, опубликованной в Сан-Франциско: «А какая-то про-

<sup>32</sup> Здесь: «маразматик» (франц. жаргон).

<sup>33</sup> очень смешно; правильно – *rigolo* (франц.).

<sup>34</sup> Лекарство от сердечных спазмов.

<sup>35</sup> умирающего (франц.).

<sup>36</sup> укол (франц.).

<sup>37</sup> После юбилея. Отрывки впечатлений и разговоров // Новое русское слово. 1952. №14569, 16 марта. С.2. Тэффи также излагала свое отношение к Гоголю в письме к Алданову от 29 марта 1952 (БАРВК. Фонд Алданова).

<sup>38</sup> *Седых А. Н.А.Тэффи в письмах. С.206-208.*

фессорша из Ди-Пи<sup>39</sup> написала обо мне статью, между прочим очень умную, в которой так меня вознесла, что я даже испугалась. И кончилась <статья> словами: “Мы можем гордиться нашей Тэффи”. Так вот, Крошечка, пожалуйста, гордись!”<sup>40</sup> Еще большее удовлетворение она получила от похвал В.Ф.Зеелера в «Русской мысли», о чем она писала дочери 13 июня 1952: «Чудеса! “Русская мысль”, всегда относившаяся ко мне очень прохладно, ни с того, ни с сего напечатала обо мне трогательную статью с портретом»<sup>41</sup>.

1951 год ознаменовался еще одним значительным событием в жизни Тэффи. Недавно учрежденное в Нью-Йорке Издательство имени Чехова решило выпустить сборник ее рассказов, который вышел в 1952 под названием «Земная радуга» (№204-206). Гонорар за книгу, сборы от вечеров и всевозможные пожертвования облегчили ее материальное положение, приблизив к некоему подобию стабильности. 2 января 1952 в ожидании аванса в 500 долларов она написала Валерии, что чувствует себя богатой, а еще раньше, 18 октября 1951 она писала, что если Издательство имени Чехова согласится выпустить том ее воспоминаний (этой надежде не суждено было осуществиться), «я смогу жить спокойно года два». 26 августа 1952 она узнала, что первый тираж «Земной радуги» полностью разошелся и Издательство имени Чехова собирается выпустить дополнительный тираж. Об этом она пишет Валерии: «Очень обрадовалась, что книга хорошо идет. Может быть, возьмут и вторую, тогда смогу беззаботно хворать»<sup>42</sup>.

Однако хворать Тэффи оставалось недолго. Из ее последнего письма к дочери от 18 сентября 1952 видно, как она страдала:

Прошлую пятницу вызывала д-ра Макеева<sup>43</sup> и закатали при нем две спазмы подряд с пульсом больше ста. Он пришел в ужас и, наконец, понял, что из себя представляют мои спазмы. <...> В ту же ночь была у меня спазма, длившаяся около часа!! Ни тринитрин, ни ва-

<sup>39</sup> перемещенных лиц – сокращение от «Displaced persons» (англ.).

<sup>40</sup> Возможно, Тэффи ссылается на опубликованную 31 мая 1952 статью А.Жернаковой-Николаевой «К вечеру Тэффи», которая хранится в ее архиве в виде вырезки без указания газеты.

<sup>41</sup> Имеется в виду статья Зеелера «Надежда Александровна Тэффи: К пятидесятилетию литературной работы» (Русская мысль. 1952. №560, 13 июня. С.5).

<sup>42</sup> В приводимом выше (см. примеч. 31) письме к О.Н.Михайлову М.Н.Верещагина утверждает, что после смерти Тэффи в ее комнате нашли сумму в долларах, которая равнялась приблизительно миллиону старых франков. При курсе того времени надо полагать, что речь шла примерно о двух тысячах долларов – сумма, может быть, и значительная, но далеко не грандиозная, и можно предположить, что Тэффи удалось отложить большую часть этой суммы благодаря гонорару за сборник «Земная радуга» и другим доходам 1951–1952. В статье «Нежный талант» в сборнике «Творчество Н.А.Тэффи и русский литературный процесс первой половины XX века» Михайлов отвергает версию Верещагиной (С.10), а в рецензии на сборник И.Н.Толстой полемизирует с ним по этому поводу (Тэффи и... // Русская мысль. 2000. №4305, 17-23 февраля. С.14).

<sup>43</sup> Тэффи сообщила дочери Валерии в письме от 19 сентября 1950: «Вызывала доктора Макеева. Он довольно хороший <...> и главное, может прописывать лекарства, чего Вербов не мог делать». С.Ф.Вербов (1883–1976) – парижский врач.

лерьянка, ни свечка<sup>44</sup> не помогала. <...> На следующий день был припадок сердцебиения – 120! Успокоила валерьянкой, камфарой и свечкой. На этом мой роман с жабой закончился.

Но «роман с жабой» на этом не закончился, а привел к ее смерти через две с половиной недели. В понедельник 6 октября 1952 в 4 часа дня Тэффи скончалась в своей комнате в квартире Т.А.Оксинской-Лавровой на рю Буассьер. Она похоронена недалеко от Буниных на русском кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа.

В заключение обратимся к дневниковой записи Веры Буниной за 12 октября 1952:

Неделя, как узнали о серьезном положении Тэффи. Более суток волновались. У нее началось в субботу вечером. Ночью был врач из мэрии. Морфий, ушел со словами: боли улягутся, и она заснет. Но боли продолжались, и Тамара Лаврова просидела с ней до 6 ч. утра. Надюша сидела и качалась в сильнейших страданиях. Утром был Макеев. Положе<ние> серьезное. Никого не пускают. В понедельник лучше не стало. Послали телеграмму дочери. Был Вербов. Вера Рафаиловна<sup>45</sup> говорила с ним: «Положение *очень, очень* серьезное, но, м<ожет> б<ыть>, и выкрутится...» А в 5 ч. та же В<ера> Р<афаиловна> сообщила мне о кончине Надюши. Я с воскресенья не верила, что «выкрутится», а когда услышала о конце, то как удар в сердце. Пошла к Яну, он стал что-то говорить о Куриленко, боясь, что я поеду в морг<sup>46</sup>, но я прервала его: «Это потом, плохо с Тэффи». – «Что? Опять припадок?» И, взглянув на меня: «Умерла?» – «Да». – И он стал меня утешать, видя мое лицо. Я твердо сказала, что поеду на первую панихиду, которая будет в 8 ч. вечера. Я предпочитаю первую. Еще тело не тронут тлением, мало народа. Купила цветов – роз. Надюша лежала на своем широком ложе в белых простынях, верхняя до пояса, одета в черное. У рук – образ Серафима Саровского. Начиналась панихида. Я вошла в ее комнату, – большинство осталось в передней, – священник отец Олимп<sup>47</sup> положил венчик, надвинув его на глаза, и вручил отпуск. И началась панихида. За дьячка был Спасский<sup>48</sup>, регент с гие Дагу, я не узнала его. В комнате находились: Пантелеймонова, Верещагина, Вера Раф<аиловна>, какой-то господин с очень расстроенным лицом. Я, не отрываясь, смотрела на усопшую: лицо темнее обыкновенного, глаза плотно закрыты, рот ввалился. Бесконечно было жаль ее и нас, не с кем будет иной раз отвести души. Виделись редко, но часто вели долгие разговоры по телефону и всегда много смеялись. Последний раз она была у нас. Ей хотелось повидаться с Яном. Пришла. Села. Не

<sup>44</sup> См. №201 и примеч. 8 к нему.

<sup>45</sup> Старая знакомая Тэффи и Буниной В.Р.Мартынова.

<sup>46</sup> Старая знакомая Буниной Екатерина Николаевна Куриленко скончалась в 1 час ночи того же 6 октября 1952, и Бунин уже знал о ее смерти.

<sup>47</sup> Олимп Иоаннович Пальмин (1888–1956) служил в Св. Александро-Невском кафедральном соборе на рю Дарю в 8-м округе Парижа.

<sup>48</sup> Петр Васильевич Спасский (1896–1968) – псаломщик и регент хора Св. Александро-Невского кафедрального собора.

могла вымолвить ни слова. Припадок. Что-то проглотила и стала над собой потешаться: «Хороша гостья». Ян тоже готовился к встрече, что-то принимал, чтобы не было удушья... Я приготовила чай и то, что она любит. Она почти не ела. Боялась. Говорили они оба оживленно. Смеялись. Острили. Вспоминали. <...> Когда кончилась панихида, то заметила Марусю Каллаш<sup>49</sup>, рядом священник, сначала не узнала: отец Александр с Петеля, Туринцев<sup>50</sup>. Он подошел к покойной, в руке крест, надел эпитрахиль и вполголоса стал служить вторую панихиду. Закрыли дверь в переднюю, – там уже шли разговоры. Было интимно и очень значительно. Когда он кончил, поправил венчик. Лицо открылось. Поразило меня умное выражение его. Затем вполголоса стали говорить о ней, как-то особенно душевно, и стало легче. Были только близкие люди, ее понимавшие и за многое ценившие и все молившиеся за нее. Потом я вышла в другую большую комнату. Говорила с хозяйкой. Она рассказала о днях страстных. Но Надюша не думала, что это конец, думала, что обычный припадок, но это был тромбоз <...>. При мне звонила дочь из Лондона: билет в кармане, ждет визу. Спрашивала: «Звала ли ее мать?» На следующий день пошел <в> 8 ч. Лентя<sup>51</sup>. Народу было больше. Пришли Зайцевы. Верочка плакала. Он стал очень худ. Ян спросил: «Стоял, как отсутствующий в вечности?» Лентя: «Совершенно верно, именно так»<sup>52</sup>.

\*\*\*

Авторы благодарят University of Leeds (Великобритания) и Columbia University (Нью-Йорк, США) за содействие настоящей публикации и предоставление доступа к письмам Тэффи и В.Н.Буниной (№168), хранящимся в Русском архиве в Лидсе, и к письмам И.А. и В.Н. Буниных (№161, 166, 171, 173, 175, 179, 184, 188, 190, 198, 200, 202, 205, 207, 209), хранящимся в Бахметьевском архиве русской и восточноевропейской истории и культуры.

Авторы считают своим приятным долгом добавить несколько имен к приводимому в первом и втором томах «Диаспоры» списку коллег, которые оказали им существенную помощь при подготовке публикации: E.Alexandrov, N.M.Bogoslavskaya (University of Leeds), J.Ingersoll (Columbia University), E.Kasinec (New York Public Library), J.Malmstad (Harvard University), S.Rogosin (Congress of Russian Americans), R.D.Timenchik (Hebrew University, Jerusalem), I.N.Tolstoi<sup>53</sup> (Radio Free Europe/Radio Liberty, Praha); А.М.Грачева (ИРЛИ, Санкт-Петербург).

<sup>49</sup> М.А.Каллаш (см. примеч. 2 к №42) – старая подруга Буниной и Тэффи, автор статей о последней, в частности некролога «Памяти Н.А.Тэффи. Светлая душа», напечатанного 17 октября 1952 в газете «Русские новости».

<sup>50</sup> Александр Александрович Туринцев (1896–1984) – настоятель Патриаршего Трехсвятительского подворья на рю Петель в 15-м округе Париже.

<sup>51</sup> Л.Ф.Зуров.

<sup>52</sup> РАЛ MS.1067/427; Устами Буниных. Т.3. С.205-206.

<sup>53</sup> Авторы также благодарят И.Н.Толстого за указание на оплошность в комментарии к следующему месту в №67: «“Мадам” провалилась с треском». Речь идет о пьесе Н.Н.Берберовой «Мадам», которая ставилась в Париже 26 ноября, 4 и 10 декабря 1938 (Хроника. Т.3. С.499).

155. ТЭФФИ – БУНИНУ  
<21 мая 1948 г. Париж>

Пятница

Дорогой друг и брат,

Как мне обидно, что не могу видеть Вас, но последние дни спазмы стали чаще, и все меня волнует и утомляет. Впрочем, последние два дня как будто лучше.

Конечно, большую роль играет душевное состояние, проанализировав которое поняла, что мучает меня возвращение к нежеланной жизни.

Ну да не стоит об этом распространяться. Каждый сходит с ума по-своему.

---

Вчера заходил Пантелей<sup>1</sup>. Что-то бормотал неясное, о чем-то умалчивал. Я поняла так: ему хочется, чтобы о нем написал Адамович, и при этом немножко побаивается, как бы тот не накрутил свысока поучений и черт те знает чего. Я решила втайне от него попросить Вас поговорить во вторник (Адамович зайдет к Вам, чтобы вместе ехать<sup>2</sup>) о рецензии на «Звериный знак»<sup>3</sup>. Если Вы скажете несколько горячих слов (не «теплых») и покажете *серьезное* отношение к этой книге, это направит Адамовича на желательную позицию. Хваля Присманову убежденно и пылко<sup>4</sup>, нехорошо скользнуть «снобически поверхностно» по книге, представляющей некий интерес в эмигрантской литературе. При свидании поговорим об этой книге и вообще о пантелеевой работе.

Его нельзя одергивать. Он черезчур чувствителен. А *будет* он писать хорошо. Это вне сомнения.

---

Вы его подбодрили, и он в экстазе. Он Вас обожает, и все в Вас божественно прекрасно. Даже то, что Вы навязали ему билет на вечер Иванова<sup>5</sup>, умиляет его.

– Какая доброта! Никто не знает его сердца! Так деликатно велел мне купить билет на вечер этого прохвоста!

Что хотите, а наш Пантелей «номер»!

---

Очень хочу Вас видеть.

---

Мой переводчик пишет, что перекатал и пристроил уже три зайцевских романа<sup>6</sup>. Зайцы прыгают живо и развивают ход быстрый и неслышный. Знаю по Давиду с Саулом<sup>7</sup>.

До свидания.

Мысленно говорю с Вами часто и много.

Дорогой Верочке привет. Она меня забыла, но это меня не удивляет.

Обнимаю и надеюсь на скорую встречу, только у меня ску-учно.

Ваша

Тэффи

Публикуется по автографу (РАЛ MS.1066/5459). Датируется предположительно по сопоставлению с письмом Пантелеймонова к Бунину от 22 мая 1948 (MS.1066/4417): 21 мая 1948 – пятница.

<sup>1</sup> Б.Г.Пантелеймонов (о нем см. примеч. 1 к №116).

<sup>2</sup> Не установлено, о каком мероприятии идет речь.

<sup>3</sup> Рецензия Г.В.Адамовича (о нем см. примеч. 15 к №149) напечатана 9 июля 1948 в газете «Русские новости» (№162. С.4). В тот же день Пантелеймонов написал Бунину: «В статье Адамовича мне что-то почудилась Ваша рука. Не надо меня <так!>, а то рассержусь и брошу писать, вот и живите как хотите без меня» (РАЛ MS.1066/4421).

<sup>4</sup> По-видимому, имеется в виду подписанный «А.Б.» (т.е. не Адамовичем, а А.В.Бахрахом – о нем см. примеч. 11 к №100) анонс вечера А.С.Присмановой (урожд. Присман; 1892–1960) 22 мая 1948 в газете «Русские новости» (1948. №155, 21 мая. С.6): «...поэтический вечер, который теперь устраивает Анна Присманова, – вечер во многих отношениях особенный. Во-первых, в ее жизни это первый самостоятельный вечер. Во-вторых, среди парижской школы ее поэтика наиболее далека от шаблонов, и муза ее, чуждающаяся звезд и ангелов, всегда говорит о чем-то неуловимо своем, а “свое” никогда не оставляет равнодушным. В-третьих, она написала большую поэму, вернее, лирический рассказ “Вера” (о Вере Фигнер), и с этим произведением наконец можно будет ознакомиться. Всего этого вместе, кажется, достаточно, чтобы вечер Присмановой оказался не просто банальным вечером чтения, а в какой-то мере литературным событием, пропустить которое было бы досадно всякому подлинному любителю поэзии».

<sup>5</sup> Вечер Г.В.Иванова (о нем см. примеч. 13 к №139) состоялся 16 мая 1948. См.: Русское Зарубежье: Хроника научной, культурной и общественной жизни 1940–1975: Франция. Т.1(5) / Под общей ред. Л.А.Мнухина. Париж: YMCA-Press; М.: Русский путь, 2000. С.260 (в дальнейшем – Хроника).

<sup>6</sup> Упоминаемые переводы неустановленного переводчика не зафиксированы в изд.: *Guerra R. Bibliographie des œuvres de Boris Zaitsev*. Paris: Institut d'Etudes slaves, 1982.

<sup>7</sup> О рассказах Зайцева «Царь Давид» и Тэффи «Саул» см. примеч. 9 к №84.



## 156. ТЭФФИ – БУНИНУ

28 мая 1948 г. Париж

Paris (XVII<sup>c</sup>)  
Le 28 Mai 1948

Друг и Высокий брат мой!

Мне как будто лучше, и спешу до нового ухудшения повидать Вас. Боюсь звонить, чтобы не пришлось слишком много говорить и слушать (Вы меня понимаете)<sup>1</sup>.

Вчера звонил ко мне Пантелей, и мы уговорились просить Вас пожаловать ко мне в эту субботу, т. е. завтра, к 5 часам<sup>2</sup>.

До заката мне не добраться, Лоэнгрин нет, спешу поговорить с Вами<sup>3</sup>.

Искренно и всегда Ваша

Тэффи

Публикуется по автографу (РАЛ MS.1066/5460).

<sup>1</sup> О связи с Буниными по телефону см. примеч. 5 к №122.

<sup>2</sup> В письме от 2 июня 1948 Бунин сообщил Алданову: «Третьего дня добрался (с превеликим трудом!) до Тэффи – жалко ее бесконечно: все то же – чуть станет ей немного легче, глядь, опять сердечный припадок» (Новый журнал. 1983. №153. С.143).

<sup>3</sup> Ср. №139 и примеч. 11 и 12 к нему. В рассказе «И времени не стало», опубликованном в журнале «Новоселье» (1949. №39-41. С.19-31), Тэффи писала: «Я долго хворала, и у меня плохая память. Но помню – записала: хочу еще раз услышать увертюру “Лоэнгрин”, поговорить с одним замечательным человеком и увидеть восход солнца. Но и “Лоэнгрин” и восход солнца были бы для меня теперь слишком сильны. Понимаете? А замечательный человек уехал» (С.23).

## 157. ТЭФФИ – БУНИНУ

&lt;Конец июня 1948 г. Париж&gt;

Дорогой друг и брат,

Если свободны в четверг вечером, приходите в 7½ обедать ко мне. Попрощаемся – Бог знает, когда увидимся<sup>1</sup>. Домой Вас доставят с обычным почетом.

Будем ждать и надеяться. Будут Ваши поклонники, и веселье затянется далеко за полночь.

Ваша всегда

Тэффи

P.S. Если не сможете, попросите Берту<sup>2</sup> сказать по телефону «нет». А то когда гости ждут корма и щелкают зубами – картина тягелая.

Н.

Публикуется по автографу (РАЛ MS.1066/5461). Датируется предположительно по сопоставлению с №158.

<sup>1</sup> Возможно, имеется в виду предстоящий отъезд Тэффи в Нуази-ле-Гран (см. №160).

<sup>2</sup> Берта Соломоновна Нилус (урожд. Липовская; 1884–1979) – вдова П.А.Нилуса (о нем см. примеч. 6 к №86) и соседка Буниных.

### 158. ТЭФФИ – БУНИНУ

28 июня 1948 г. Париж

Paris (XVII<sup>e</sup>)  
Le 28 Juin 1948

Высокий друг мой!

Брат Пантелей передал мне, что Вы согласились прийти в четверг<sup>1</sup>. Очень этому радуюсь.

Пожалуйста, прихватите творение мэтра Бурова<sup>2</sup>. А также адрес Павловского<sup>3</sup>, если он есть у Верочки.

Строки мэтра Зайцева, отмеченные Вами<sup>4</sup>, я тоже читала, с благоговением отметила. Эти блестящие жанрового юмора тем более хороши, что неожиданны и даже как бы пугают читателя.

Очень радуюсь свиданию с Вами.

Дорогой Верочке привет.

Ваша всегда

Тэффи

P.S. Мне говорили, что Вера Зайцева получила письмо от Галины<sup>5</sup> и собирает для нее старые башмаки. Крик, конечно, на весь Париж купно с banlieue<sup>6</sup>.

H.T.

Публикуется по автографу (РАЛ MS.1066/5462).

<sup>1</sup> Т. е. 1 июля 1948. Приглашение – см. №157.

<sup>2</sup> О «книге пасквилей» А.П.Бурова см. №149 и примеч. 16 к нему.

<sup>3</sup> Михаил Наумович Павловский (ум. после 1962) – бывший эсер, жил до войны в Шанхае, издатель книг Тэффи «О нежности» (Париж, 1938) и «Зигзаг» (Париж, 1939), а также журнала «Русские записки» (1937–1939). Сохранились письма Павловского к Тэффи (БАРВК. Фонд Тэффи). О плане Павловского издавать новую русскую газету в Париже см. №191 и примеч. 4 к нему. В письме от 23 августа 1947 Бунин сообщил Алданову парижский адрес Павловских (Новый журнал. 1983. №152. С.183). «Завтрак с Павловским» упоминается также в письме от 1 июня 1948 (Там же. №153. С.142).

<sup>4</sup> Имеются в виду слова из напечатанной 11 июня 1948 в газете «Русская мысль» (№98. С.4-5) главы «Прощанье с Россией» из книги Зайцева «Жуковский»: «Жуковский больше действовал по пирожкам». В статье «К моим “Воспоминаниям”» (Новое русское слово. 1953. №14995, 17 мая.

С.8) Бунин приводит и другие, по его мнению, «развязные слова» Зайцева из романа.

<sup>5</sup> Г.Н.Кузнецова.

<sup>6</sup> пригородами (франц.).

### 159. ТЭФФИ – БУНИНУ

4 июля 1948 г. Париж

Paris (XVII<sup>c</sup>)  
Le 4 Juillet 1948.

Высокий друг мой!

Сердечно благодарю за адрес Павловского<sup>1</sup>. Тронута, что не забыли моей просьбы.

Просмотрела увраж Бурова<sup>2</sup> и мысленно извинилась перед Достоевским. Я всегда считала, что фигура капитана Лебядкина («Бесы») совершенно невыносимый шарж. И вот – произведение Бурова – шарж на Лебядкина! Похоже потрясающе!

Бедный Пантелей, по словам Тамары Ивановны<sup>3</sup>, вернулся в состоянии почти бессознательном<sup>4</sup>. Он ничего не помнил, не помнил, где расстался с Вами, как доехал, «как будто в метро, а впрочем...» Это все для него гибель. Он забыл (сознательно) о своих почках, и кончится все это очень плохо. Он сейчас неистово много работает и для равновесия пьет. Ему трудно работать.

Пиши: в деревне Босове  
Аким нагой живет.  
Он до смерти работает,  
До полусмерти пьет! (Некрасов)<sup>5</sup>

Очень боюсь, что наш Аким свалится. Там<ара> Ивановна в ужасе.

Мне было немножко хуже. Сегодня ничего себе. Заходила Софья Никитична<sup>6</sup>. Договорились насчет менажа<sup>7</sup>.

Раппопорт<sup>8</sup> мне совсем не помог. Но это не значит, что он не поможет и Вам. Многие очень его хвалят.

Недавно был у меня Беляев<sup>9</sup>. Смерил давление – 20! Никогда такого не бывало. Сосуды собираются лопнуть. А мне наплевать. Подумаешь – удивили.

Пантелей очень волнуется будущим отзывом Адамовича<sup>10</sup>. Жаль его, а как помочь – не знаю.

До свидания.

Холодно. Ску-у-у-чно. И все невкусно.

Ваша всегда

Тэффи

Р.С. Цвибак<sup>11</sup> у меня.

Н.Т.

Публикуется по автографу (РАЛ MS.1066/5463).

<sup>1</sup> См. №158 и примеч. 3 к нему.

<sup>2</sup> Там же, примеч. 2.

<sup>3</sup> О Т.И.Пантелеймоновой см. примеч. 6 к №118.

<sup>4</sup> Речь идет о последствиях обеда у Тэффи 1 июля 1948 (см. №157-158).

<sup>5</sup> Не совсем точная цитата (в оригинале «Яким Нагой») из гл.3 («Пьяная ночь») 1-й части поэмы Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» (1865–1870).

<sup>6</sup> С.Н.Шиловская (о ней см. примеч. 1 к №131).

<sup>7</sup> Здесь: уборка квартиры – от *ménage* (франц.).

<sup>8</sup> Возможно, парижский врач Николай Константинович Рапапорт (1904–1989).

<sup>9</sup> О докторе Б.Н.Беляеве см. примеч. 3 к №123.

<sup>10</sup> См. примеч. 3 к №155.

<sup>11</sup> Имеется в виду книга Я.М.Цвибака: *Седых А.* Звездочеты с Босфора. Нью-Йорк: Новое русское слово, 1948. О нем и о книге см. №144, 152, 154.

## 160. ТЭФФИ – БУНИНУ

4 августа 1948 г. Нуази-ле-Гран

Paris (XVII<sup>e</sup>)  
Le 4 Août 1948

Друг! Брат!

Пантелей обещал мне письмо от Вас. Жду-пожду – нету письма. Вот и взялась сама писать.

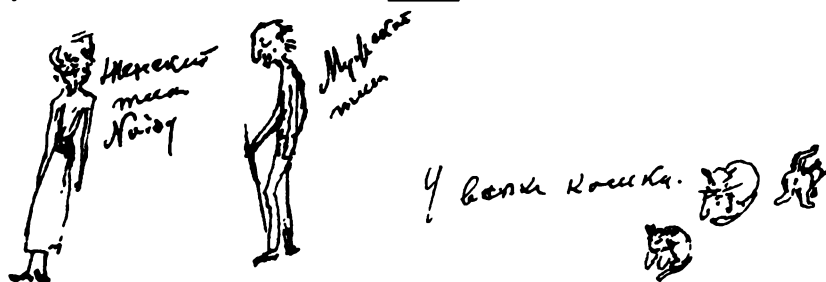
Живу в Noisy-le-Grand<sup>1</sup>. Кормят хорошо, но не для Вас. Вы бы пустили им в голову макароны и бобы без масла. Но я – ничего. Я довольна. Перед принятием пищи молитва. Евреи держат себя с достоинством – их много и достоинства много. Народ почти все старый – разговоры о блаженном успении, о болезнях. К молодым (пятидесятилетним и моложе) относятся с презрением и даже недоброжелательно. Но старики между собой добры и приветливы.

Мне лучше в смысле спазм, но слабость одолевает. Пульса найти не могу. Все больше лежу. Пробовала писать – ничего не выходит. Беда в том, что на меня нашла мудрость, и все мне кажется такими пустяками, что и говорить о них стыдно. А писать можно только считая важным делом всякую ерунду. Вот как Газданов<sup>2</sup>. После каждой его фразы я всегда думаю: «Господи, до чего глупо».

---

Пантелей передал Вам мое последнее произведение<sup>3</sup>. Кажется, тоже дурацкое. Я его написала, чтобы от него отделаться. Оно сидело во мне и требовало конкретизации. Я не мешала ему вылезти на свет в том виде, в каком оно зачалось. Корявое. Пусть.

Проживу здесь не меньше месяца. А дальше что? Топить у меня в Париже в этом году совсем не будут. Сама возиться с печкой уже не могу. Ехать к Роговскому<sup>4</sup>? Думать обо всем этом не могу, и без того чуть жива.



<Рисунки Тэффи: «Женский тип Noisy»; «Мужской тип»; «У всех кошки». >

В общем, настроение очень чистое, милое, ласковое, молитвенное. Не зову Вас сюда в гости. Вам не понравится. Ехать в автомобиле стоит в один конец около 600 фр<анков>.

Напишите, друг мой дорогой, – хоть словечко. Знаю, что Вы поправились, и очень этому радуюсь. Знаю, – что Алданов просил Вас тратить миллионы, – тоже хорошо. (А где же чек?)<sup>5</sup>

Обнимаю Вас и дорогую Верочку. Ах, хоть бы послушать поскорее, как Вы ругаетесь худыми словами!!

Ваша всегда

Тэффи

Публикуется по автографу (РАЛ MS.1066/5464). Адрес: 1, rue Jacques Offenbach, Paris. (Обратный адрес: 24, avenue du Général de Gaulle, Noisy-le-Grand, Seine-et-Oise.)

<sup>1</sup> Учрежденный матерью Марией (о ней см. примеч. 4 и 7 к №87) в середине 1930-х Русский дом в расположенном к востоку от Парижа Нуази-ле-Гране вновь открылся после войны в сентябре 1946 (Хроника. С.162). Судя по письму Пантелеймонова к Бунину от 30 июля 1948 (РАЛ MS.1066/4422), в котором он сообщает адрес Тэффи, она переехала из Парижа в Нуази-ле-Гран в конце июля. В Париж Тэффи вернулась в последних числах августа (см. письма Пантелеймонова к Бунину от 27 и 28 августа 1948 – РАЛ MS.1066/4427-4428).

<sup>2</sup> О Г.Газданове см. примеч. 9 к №149.

<sup>3</sup> Имеется в виду рассказ «И времени не стало» (о нем см. примеч. 3 к №156). См. также №161 и 163.

<sup>4</sup> О Е.Ф.Роговском и о пребывании Тэффи в заведваемом им Русском доме в Жуан-ле-Пэне в 1947 см. №123 (примеч. 4) и 125.

<sup>5</sup> В переписке Бунина с Алдановым за данный период речь часто идет о финансовой помощи, которую последний устраивал для него в США, и об ожидаемых и полученных чеках.

161. БУНИН – ТЭФФИ  
8 августа 1948 г. <Париж>

8 августа 48

Милая, дорогая сестрица, я не могу, по той глупости, бездарности, в которую впал, лежа почти месяц в постели<sup>1</sup>, сказать прилично что-нибудь о Вашем новом рассказе<sup>2</sup>, – скажу одно: там столько пронзительного, удивительного, что могла нацарапать только Ваша гениальная крупная лапа, которой Вы всю жизнь царапали с маху, даже, может быть, не перечитывая нацарапанного. На этот раз перечитайте, кое-где почеркайте и велите переписать и поскорее отправьте в «Новый журнал», а не то отдайте в «Новоселье», коли оно будет прилично политически. Вот. А за всем тем целую Ваши ручки и ножки.

Ваш верный раб

Ив. Бунин

По небу полуночи ангел летел  
И тихую песню он пел –  
И месяц и звезды и тучи толпой  
Внимали той песне святой.  
Он пел о блаженстве безгрешных духов  
|Под кущами райских садов,  
|О Боге великом он пел – и хвала  
|Его *непритворна* была...<sup>4</sup>

Ужасно плохо<sup>3</sup>

Ужели ангел мог *притворяться*?!

Вышел новый роман Зайцева «Тишина»<sup>5</sup>. А его первая книжка называлась «Тихие зори»<sup>6</sup>...

По небу полуночи Зайцев летел  
И тихую песню он пел –  
И Зелер<sup>7</sup> с Берберовой дружной толпой  
Пленялись песенкой той.  
Он пел о Зайчихе<sup>8</sup>, о Глебе<sup>9</sup>, о том,  
Как стал он тишайшим потом,

О Марье Самойловне<sup>10</sup> пел – и хвала  
Его непритворна была...

Заклинаю Богом: *это совершенно между нами!*

Публикуется по автографу (БАРВК. Фонд Тэффи). Первая часть письма (до подписи) опубликована: *Зверер А.* Письма И.А.Бунина к Н.А.Тэффи // Новый журнал. 1974. №117. С.153 (в дальнейшем – Зверер).

<sup>1</sup> В дневниковой записи за 10 августа 1948 Бунин пишет, что Бунин «только что выкарабкался из серьезной болезни» и подробно описывает лечение Бунина от «фокуса в легком», образовавшемся после припадков астмы (РАЛ MS.1067/423).

<sup>2</sup> См. №160 и примеч. 3 к нему. В письме к Бунину от 4 августа 1948 Пантелеймонов сообщил: «Сестра беспокоится, почему Вы ей не написали по поводу ее последнего произведения. Бойтся, что запрезирали» (РАЛ MS.1066/4424).

<sup>3</sup> Вписано Буниным рядом с отмеченными строками.

<sup>4</sup> Бунин цитирует (с измененной пунктуацией) первые две строфы стихотворения Лермонтова «Ангел» (1831). Эмфаза бунинская.

<sup>5</sup> *Зайцев Б.К.* Тишина: Роман. Париж: Возрождение, 1948.

<sup>6</sup> 4-е и 5-е издания (М., 1916 и 1918) первого тома сочинений Зайцева, (1 изд. – Рассказы. М., 1906) вышли под названием вошедшего в них рассказа «Тихие зори» (1904).

<sup>7</sup> Т. е. В.Ф.Зеелер (о нем см. примеч. 5 к №96).

<sup>8</sup> Т. е. о В.А.Зайцевой.

<sup>9</sup> Имеется в виду автобиографический герой романа Зайцева «Путешествие Глеба» (Берлин: Петрополис, 1937).

<sup>10</sup> Т. е. о М.С.Цетлиной.

## 162. ТЭФФИ – БУНИНУ

<11 августа 1948 г. Нуази-ле-Гран>

Среда

Дорогой! Единственный!

Как Вы меня обрадовали, Вы себе и представить не можете. Обрадовали припиской сбоку к стих<отворению> Лермонтова<sup>1</sup>. Я уже обратила как-то внимание Мережковского, кот<орый> очень любил это стихотворение, на совершенно идиотское выражение «хвала непритворна была». Уж это прямо программа *minimum'a*. Все остальные про Бога врут, а ангел, мол, режет правду-матку.

А продолжение про Зайцева такое:

Он новую новость под мышкою нес  
Для лютой зевоты до слез.

И долго на свете томилась она,  
 Желаньем издаться полна.  
 Зайчиха тот взлет выше облачных сфер  
 Следила на улице Тьер<sup>2</sup>  
 И пальцем большим своей левой ноги  
 Месила ему пироги.

Живем тихо, молитвенно. Спазмы понемножку возвращаются. От картофеля и супа человек вздувается и слабеет. Но это, ради Бога, между нами.

О житье в Ницце думать нечего. Там климат архипоганый. Можно жить только на горе в Симиэ<sup>3</sup>. Софья Никит<ична> горько оплакивает Русский Дом в Жуан и в ужасе от дома в Ментоне<sup>4</sup>. «Повидавши, что в других домах делается, поймешь, какое чудо сделал Роговский».

Беляев, говорит она, ни о какой квартире думать не может. У него нет ни гроша, поэтому она и старается достать работу как *femme de ménage*<sup>5</sup>. Работала у меня по 50 фр<анков> в час. Если Вам нужна *femme de ménage*, ради Бога, возьмите ее. Она крепкая, работает хорошо, и ей до зарезу нужен этот заработок. Если позвонить – она бежит моментально. Очень их жаль.

Я просижу здесь до конца месяца, может быть, прихвачу и сентябрь – уж очень мне трудно в Париже.

Теперь окончательно убедилась, что выздороветь я не могу. Надо сложить руки и успокоиться на этот счет. Пробую писать. Очень трудно, и ужасно выходит скверно. Значит, тоже надо смириться. Но кто будет меня, смиренную, питать? Где вран, носивший св. Илие в клюве своем черт знает что для питания<sup>6</sup>?

Пора кончать письмо. Пора начинать день. Сейчас 6 ч. утра.

Ваша верная

Тэффи

Публикуется по автографу (РАЛ MS.1066/5465). Датируется предположительно по сопоставлению с №161: 11 августа 1948 – среда.

<sup>1</sup> См. №161 и примеч. 3 к нему.

<sup>2</sup> Зайцевы жили на рю Тьер (Thiers) в Булонь-Бийанкуре (см. примеч. 5 к №136) в 1932–1964.

<sup>3</sup> Т. е. Cimiez, расположенный в горах пригород Ниццы.

<sup>4</sup> Русский дом в Ментоне существует с 1892 (см. о нем: *Ponfilly R. de. Guide des Russes en France. Paris: Horay, 1990. С.389-390*).

<sup>5</sup> домашняя работница (*франц.*). О С.Н.Шиловской см. также №159.

<sup>6</sup> «И вороны приносили ему хлеб и мясо поутру, и хлеб и мясо повечеру...» (3 Цар.17: 6).



## 163. ТЭФФИ – БУНИНУ

&lt;После 19 августа 1948 г. Нуази-ле-Гран&gt;

Среда

Друг и брат!

Пишу на роскошной бумаге. Подарила добрая женщина.

Пант<елей> вернул мне мой собачий рассказ, побывавший в Ваших руках. Я рассчитывала, что Вы почиркаете длинноты, а Вы отделались запятыми<sup>1</sup>. А насчет пяти дверей – потеха! Говорят, что ученые лошади умеют считать до шести, а я, как видите, только до трех<sup>2</sup>.

Просмотрев рассказ, увидела, что он ужасно тяжело-скучный. Так я и думала. Но не написать его не могла – он сидел во мне и мозжил меня.

Очень у нас холодно и скучно. Боюсь, что приобрету дурную привычку заглядывать в церковь. Свечечки теплятся, батюшка молится, пахнет Шмелевым и Зайцевым. О-ох грех!

Старики и старухи здесь страшно болтливы. Одна я как – волк. И все глухие! Так что орут друг другу в ухо – дом трясется. Но атмосфера, или, как теперь принято говорить, «климат», очень ласковый и мягкий.

Здоровье мое шатко и валко, и думается, что я никогда не буду здорова. Это ужасно скучно.

Хочу гор, моря, а у окна мотается мокрая ветка.

Я стала ужасно старая. Трудно встать, трудно сесть, трудно идти, и все скучно.

Галич перепечатал из моей статьи о «Зел<еном> шуме», рассиропил, по обычаю, Гегелем и Ницше и подписал свое имя<sup>3</sup>. Я нахожу, что это очень для меня лестно.

Собираюсь писать воспоминания кое о ком из ушедших<sup>4</sup>. Надо работать, пока голова еще не совсем одурела, а только отчасти.

Зайчиха привезла на поправку могилы Бальмонта<sup>5</sup> 500 фр<анков> от Союза<sup>6</sup>. Не очень широко. Но крику было много.

Обнимаю Вас. Я очень тоскую, что не могу повидаться. Немного у меня радостей, и очень больно, когда от немногого отнимается.

Милую Верочку целую.

Ваша верная

Тэффи

Публикуется по автографу (РАЛ MS.1066/5466). Датируется предположительно по сопоставлению с приводимым в примеч. 1 письмом Пантелеймонова.

<sup>1</sup> См. №160-161. В письме к Бунину от навестившего Тэффи 19 августа 1948 Пантелеймонова читаем: «Сестра все ворчит, почему Вы не почеркали ее. В женском деле, как Вы знаете, излишняя деликатность иногда им обидна» (РАЛ MS.1066/4426).

<sup>2</sup> Ср. в рассказе «И времени не стало» (см. примеч. 3 к №156): « – Вы говорили когда-то, что из ужаса жизни ведут пять дверей: религия, наука, искусство, любовь и смерть» (С.29). По-видимому, в тексте, который читал Бунин, не хватало двух из «дверей».

<sup>3</sup> В статье «Племянник дяди Володи. О беллетристике Б.Г.Пантелеймонова» (Новое русское слово. 1948. №13253, 8 августа. С.2, 8) Л.Е.Галич (о нем см. примеч. 4 к №8) упоминает рецензию Тэффи на сборник рассказов Пантелеймонова «Зеленый шум» (Новоселье. 1948. №37-38. С.138-142).

<sup>4</sup> Тэффи печатала свои воспоминания о Бальмонте, Куприне, Мережковских, А.Н.Толстом, Фондаминском и др. в газете «Новое русское слово» в 1948–1950. Были также посмертные публикации ее воспоминаний в журнале «Возрождение» за 1955–1956.

<sup>5</sup> Бальмонт умер в Русском доме в Нуази-ле-Гране (см. примеч. 1 к №160) в 1942 и похоронен на старом кладбище города.

<sup>6</sup> Т. е. от Союза русских писателей и журналистов в Париже.

164. ТЭФФИ – БУНИНУ  
7 октября 1948 г. Париж

Paris (XVII<sup>e</sup>)  
Le 7 Octobre 1948

Дорогой, глубокочтимый Друг и Брат!

Искренне тронута была Вашим поздравлением<sup>1</sup>. Спасибо.

Мои гости именинные обчихали меня, и вот сижу-лежу с бронхитом (легким, бестемпературным) и насморком (тяжелым, но уже легчающим). Простите за Зайцевские прилагательные после существительных. Закон Кармы: чему посмеешься, тому и послужишь.

Пантелей возвращается завтра<sup>2</sup>. Значит, на днях я, освеженная насморком, поеду на Вас смотреть.

У меня холодно, но не тепло, п<отому> ч<то> на это сил у меня нет. С половины ноября обещаю<т> отопление за плату, превосходящую мое скудное воображение.

На днях (еще до гриппозного состояния) пошла по соседству покупать теплые туфли. Когда продающая баба начала напяливать на меня туфлю, мне стало плохо. Началась спазма. Она (баба) пялит, а я не могу даже замычать. Она содрала с меня туфли, завернула, сказала, что они ей на мне нравятся, и велела платить. Как автомат, я заплатила и с открытым кошельком и пакетом под мышкой выползла, ничего, кроме адской боли, не понимая, на улицу. Там, бросив пакет

на землю, достала пилюлю и разгрызла. А пакет на земле. Помог кто-то, поднял его, подал мне. Стало легче. Отошло. По дороге домой схватило еще раз. Пришла, держа в руках раскрытый кошелек. Дала зарок: одна за покупками ходить не буду. Вероятно, продавщица подумала, что я немая или знаю только слово «montrez»<sup>3</sup>.

Получила от «Н<ового> Р<усского> Слова» пакет газет за 2 недели, но тот №, где помещен мой «Бальмонт»<sup>4</sup>, из пакета изъят! На мое письмо о гонораре Вейнбаум<sup>5</sup> ни слова не ответил. Вероятно, будет делать вид, что его не получил. Он ведь отъявленный жулик. Пошлю ему сегодня еще письмо. Еще 33 франка псу под хвост.

Между прочим: я думаю, что они заплатили Галине 10 долл<а-ров> за *очень* большой рассказ, номера на три<sup>6</sup>. Вы не видели этого рассказа? А моего «Бальмонта» получили? Не могу понять, почему они его из пакета изъяли!

Как все это скучно, как раздражает и как все это не нужно.

У Пантелея есть молодой задор щенка, играющего со старой кошкой. Ему заняты письма Мазуровой<sup>7</sup>, Галича, он еще думает, что все это значительно и интересно<sup>8</sup>. Счастливым возраст!

Друг, простите за нудное письмо. Я больна, устала, мне холодно и ужасно скучно. И совсем не нужно, что я живу.

Дорогую Верочку я не поздравила, но она знает и без того, как искренне я желаю ей счастья и как благодарна за все, что она для меня делает.

Ваша верная

Тэффи

Публикуется по автографу (РАЛ MS.1066/5467).

<sup>1</sup> Именины Тэффи (и Буниной) – 17/30 сентября.

<sup>2</sup> Пантелеймоновы провели вторую половину сентября и начало октября 1948 на Лазурном берегу Франции, где, в частности, безуспешно искали зимнее жилье для Буниных (см. письма Пантелеймонова к Бунину за данный период – РЛ MS.1066/4430-4439).

<sup>3</sup> покажите (*франц.*).

<sup>4</sup> Вступление ко всей серии мемуаров Тэффи «Встречи» и воспоминания «О Бальмонте» опубликованы в газете «Новое русское слово» 5 сентября 1948 (№13281. С.2, 7).

<sup>5</sup> Марк Ефимович Вейнбаум (1890–1973) – редактор газеты «Новое русское слово».

<sup>6</sup> Возможно, ошибка Тэффи и речь идет о рассказе Кузнецовой «Кафе Позтов», который был помещен на трех *страницах* выпуска газеты «Новое русское слово» за 20 июня 1948 (№13200. С.3-4, 8).

<sup>7</sup> Положительная рецензия литератора и критика Александры Николаевны Мазуровой (1891–?) на сборник рассказов Пантелеймонова «Звериный

знак» опубликована в газете «Новое русское слово» от 13 июня 1948 (№13199. С.8).

<sup>8</sup> См. высказывания Пантелеймонова в письмах к Бунину от 5 января и 22 мая 1948: «От Галича получаю удивительные письма – как будто он в первый раз кому-то нашел открыться душой. Трогательно, а сестра его не любит»; «От Мазуровой письмо <...>. Она получила “Звериный знак”, пришла в экстаз» (РАЛ MS.1066/4375, 4417) (о рецензии Мазуровой см. выше, примеч. 7). Однако Пантелеймонов гораздо чаще отзывался скептически об обоих корреспондентах; см., например, в письме от 28 августа 1948: «От Галича письмо на 13 страницах. Духовное “завещание”, что-то о гностике, эстетике, перепутанное с биографическими стонами о загубленной карьере. Какой странный человек и какая пропащая умница» (РАЛ MS.1066/4428).

### 165. ТЭФФИ – БУНИНУ

*<11 или 12 ноября 1948 г. Париж>*

Дорогой и высокочтимый друг!

Не только я, так безгранично Вам преданная, но даже совершенно посторонние читатели (и среди них и обиженные за Чехова и бадью<sup>1</sup>) глубоко возмущены безграмотно хамской выходкой «Русской мысли»<sup>2</sup>. Говоря просто и метко – это черт знает что такое! И все теряются – чью морду бить?<sup>3</sup> Без подписи в газетах печатается только передовица, выражающая credo газеты. Очевидно, это – передовица и морда – коллектив.

Я уверена, что Зайцев все проворонил. Не могу допустить, что он об этом знал и не остановил. Иначе, как Карамазов – «возвращаю Богу билет»<sup>4</sup>.

Пантелей совсем растерялся. Но у него есть выход – запьет.

У него своя, лютая беда с Галичем<sup>5</sup>. Это ему поделом – я предупреждала.

Очень прошу Вас, если будете Галичу отвечать, напишите по-строже, чтобы не смел трогать Пантелея. Надо как-то защищать друга<sup>6</sup>.

Пант<елей> говорил о Вашем письме Гукасову<sup>7</sup>. Не знаю, что из этого выйдет. Думаю, что я тогда тоже уйду<sup>8</sup>. Корпоративное чувство у меня очень развито. Ведь отказалась же я от посылок, предложенных Марией Самойловной<sup>9</sup>, а она в прошлом году посылала много и хорошо.

Переживаю чувство, будто на улице, по выражению Алешки, «втопталась» и теперь, отворачивая нос, очищаю башмаки<sup>10</sup>.

Друг дорогой и любимый, я безмерно огорчена! Посылаю Вам (как жонглер перед Notre-Dame) мои басни<sup>11</sup>.

Всегда Ваша

Тэффи

Милой Верочке привет.

Публикуется по автографу (РАЛ MS.1066/5468). Датируется предположительно по приводимому в примеч. 3 письму Пантелеймонова и по сопоставлению с №166.

<sup>1</sup> 23 октября 1948 состоялся вечер Бунина, на котором он выступил с шокировавшим многих рассказом о своих современниках (Хроника. С.275). Представление о реакции слушателей дает письмо Пантелеймонова к нему от 25 октября 1948: «Отовсюду доходят слухи, как волны разбушевавшегося моря, о Вашем выступлении в субботу. Мы несчастливы, не могшие быть на Вашем вечере – Тэффи и я, – сгораем от нетерпения каким-либо способом ознакомиться с Вашей речью» (РАЛ MS.1066/4441). Под названием «Автобиографические заметки» текст выступления опубликован 26–28 декабря 1948 в газете «Новое русское слово» (№13393-13395) и, в дополненном виде, в книге «Воспоминания» (С.7-58). Что касается высказываний Бунина о Чехове, они, в сущности, являлись лишь очередным расширенным повторением того, что он писал о драматургии Чехова уже в 1914–1915 (О Чехове. Из записной книжки // Русское слово. 1914. №151, 2 июля; Из записной книжки // Полн. собр. соч. В 6 т. Т.6. Петроград: А.Ф.Маркс, 1915. С.303-313): «Настоящая слава пришла к нему только с постановкой его пьес в Художественном театре. И, должно быть, это было для него не менее обидно, чем то, что только после “Мужиков” заговорили о нем: ведь и пьесы его – не лучшее из написанного им» (Там же. С.304). В статье «Чехов» (Последние новости. 1928. №2633, 7 июня. С.2-3) Бунин приводит это место дословно, а в статье «О Чехове» (Последние новости. 1929. №3035, 14 июля. С.2) читаем: «Тут я часто втайне думал, что ему <Чехову> и впрямь не следовало бы писать про дворян, про помещичьи усадьбы, – он их и точно не знал <...>. Это незнание сказывалось и в “Дяде Ване”, и тогда, когда он (позднее) написал “Вишневый сад”. Помещики там из рук вон плохи». Версия 1948 года (Новое русское слово. 1948. №13393, 26 декабря. С.2; Воспоминания. С.9-10) отличается гораздо большей дозой сарказма, что, по видимому, и произвело такое сильное впечатление на слушателей. Бунин не пишет об упомянутой Тэффи «бадье» в своих «Автобиографических заметках», но годом раньше в письме в редакцию газеты «Новое русское слово» он сам критиковал В.П.Крымова (о нем см. примеч. 5 к №197) за напечатанную 21 сентября 1947 статью «Литературные курьезы»: «у Чехова в “Степи” и в “Вишневом саду” издалека слышен звук оборвавшейся в шахте бадьи, меж тем как, по мнению Крымова, “такого отдаленного звука вообще быть не может”...» (Новое русское слово. 1947. №12967, 26 октября. С.8). Возможно, Тэффи, которая не ходила на бунинский вечер, путает эти два случая.

<sup>2</sup> См. №166 и примеч. 2 к нему.

<sup>3</sup> В письме к Бунину от 12 ноября 1948 Пантелеймонов пишет: «Вчера говорил, после визита к Вам, с Н<адеждой> А<лександровной>. <...> Она собирается Вам сейчас же написать. Один из ее проектов составить коллективное письмо, где все подписи – будет взрыв любви и почтения к Вам» (РАЛ MS.1066/4443).

<sup>4</sup> Ср. слова Ивана Карамазова в конце гл.IV («Бунт») кн.5 («Pro и contra») романа Достоевского «Братья Карамазовы» (1879–1880): «Не Бога я не принимаю, Алеша, я только билет ему почтительнейше возвращаю».

<sup>5</sup> О конфликте с Пантелеймоновым Галич писал Бунину 2 ноября 1948: «накопилось у Александры Николаевны <Мазуровой> <...> большое множество моих писем. <...> Вот она и затеяла сделать из моих писем нечто вроде книги. <...> И вот пишет она об этом Пантелеймонову и просит его помочь ей, да еще втянуть в это предприятие Тэффи. Глупо сделала, что меня не спросила. Я бы <мог> ей сразу многое объяснить. Напр<имер>, <...> что мы с Тэффи друг друга терпеть не можем и имеем к тому основания, и что это уже так же неустранимо, как смерть. <...> Пантелеймонов побежал с письмом Мазуровой к Тэффи и прочел его. <...> И вот он пишет Мазуровой, что “Тэффи всплеснула руками и попросила его сейчас же написать Вам (т. е. Мазуровой), что это дело черное, что нельзя публиковать писем человека, пока он жив <...>”. Не понимаю, почему так по-куриному всполошилась эта женщина? <...> Дело, впрочем, не в этом. Дело в б<ывшем> племяннике Боре <Пантелеймонове> и его реакции. Надо думать, он сразу прикинул, что для вылезания в люди полезнее всеми любимая Тэффи, чем всеми нелюбимый Галич. И вот он пишет Мазуровой: “все это так”. Т. е. что “так”? Может быть, Вы его спросите, а я с ним больше разговаривать не желаю. Пусть узнает, что Галич и в самом деле беспощаден и непримирим и на компромиссы с виляньем не идет» (РАЛ MS.1066/2583).

<sup>6</sup> В письме к Бунину от 19 ноября 1948 Пантелеймонов жалуется: «Звонила сестра. Получила, говорит, от Вас письмо, где Вы пишете, что Галич Вам “ничего не писал”. Ну, словом, пошла и пошла, я даже испугался – еще своей особой насиловать кого-то. Не надо мне заступничества, а в хорошие чувства людей я верю не из доказательства, а по внутреннему ощущению» (РАЛ MS.1066/4445). 22 ноября Бунин ответил Пантелеймонову: «Пишу Тэффи покаяние – совсем невольно соврал ей, будто Галич ничего не писал особе моей о Вас! Совсем, по великой старости моей, забыл письмо одного Габриловича-Галича, ныне же перечитал и каюсь в сей невольной лени моей и Галичу-Габриловичу напишу о Вас» (Последний классик: Почтовая проза И.А.Бунина / Вступ. заметка, публ. и комм. Н.Сазонова // Наше наследие. 2001. №56. С.9). Дружеские отношения Пантелеймонова и Галича вскоре восстановились, и уже в письме к Бунину от 30 декабря 1948 Галич пишет: «Борюшка же просто радует мое старое читательское сердце, и благодаря ему я еще раз, на старости лет, переживаю наслаждение литературного гурманства» (РАЛ MS.1066/2591).

<sup>7</sup> См. №166.

<sup>8</sup> Два стихотворения, напечатанные в №1 журнала «Возрождение» (см. примеч. 2 к №171), – единственная прижизненная публикация Тэффи в этом издании.

<sup>9</sup> См. примеч. 3 к №147.

<sup>10</sup> Это выражение А.Н.Толстого приводится также в начале №146.

<sup>11</sup> Тексты нескольких басен («Голубь и прорубь», «Грунька», «Квартет», «Коза», «Кот и счет», «Крестьянин и сыр», «Петух и яблоко», «Птичья свадьба», «Свинья», «Топор» и др.) хранятся в фондах Тэффи в БАРВК и РГАЛИ (Ф.1174. Оп.2. Ед.хр.4-5). См. статью Л.Д.Ржевского (Суражевский; 1905–1986) «У Н.А.Тэффи» о басне «Коза» и о решении не печатать басен в

журнале «Грани» (Грани. 1952. №16. С.8). В интервью, которое она дала перед своим вечером в конце июня 1949 (см. №182), Тэффи сообщила: «Во время дивертисмента будут исполнены мои новые детские песенки, мои басни, о которых, я знаю, вы уже слышали. Они ходят по рукам. Это новый жанр, довольно идиотский, но вполне неожиданный. Я их еще в печать не отдавала. На этом вечере все будет исполнено в первый раз» (*Алконост*. В русском Париже. К вечеру Н.А.Тэффи // Русские новости. 1949. №211, 17 июня. С.6).

166. БУНИН – ТЭФФИ  
<12 ноября 1948 г. Париж>

Вот, дорогая Сестрица, что я пишу А.О.Гукасову<sup>1</sup>:

11 ноября 1948 г.

Дорогой Абрам Осипович,

Если Вы не читали, то прочтите, пожалуйста, во вчерашнем номере «Русской мысли» статейку, посвященную мне, под заглавием «Ему, Великому»<sup>2</sup>: это нечто столь идиотское, пошлое, грязное и подло-клеветническое, что сделало бы честь любому забору или общественному нужнику, – там сказано еще, что я «недавно совершил сальто-мортале», «перескочил» в большевистский лагерь. Среди главных сотрудников этой похабной «Рус<ской> мысли» состоят, как Вам известно, Зайцев, Тхоржевский<sup>3</sup>, Берберова, которые будут сотрудничать и в Вашем журнале. Вынужден поэтому известить Вас, что я никак не могу печататься у Вас *рядом* с этими господами и этой госпожой после такой статейки, за которую несут ответственность все они, даже если допустить, что никто из них не является автором ее. Войдите в мое положение, дорогой Абрам Осипович, и согласитесь, что я не могу, при всем моем расположении к Вам, поступить иначе<sup>4</sup>.

Ваш Ив. Бунин

Публикуется по автографу (БАРВК. Фонд Тэффи). Датируется предположительно по копии письма Бунина к Гукасову и по сопоставлению с №165.

<sup>1</sup> А.О.Гукасов, издатель довоенной парижской газеты «Возрождение» (о нем см. примеч. 1 к №48), в 1948 готовил выпуск журнала под тем же названием (см. ниже в этом же письме и дальнейшие письма).

<sup>2</sup> 10 ноября 1948 в газете «Русская мысль» (№83. С.3) появился подписанный псевдонимом «Удостоившийся присутствия» «маленький фельетон» «Ему, Великому», в котором высмеивалось выступление Бунина на вечере 23 октября 1948:

Великий сидел за столом и пил чай. Да, самый обыкновенный чай, который пьют и все смертные. Но если бы это был Зевс и вку-

шал нектар, его лицо не могло бы быть величественнее. На нем был халат «пузо-то его все в жемчуге, сзади-то у него раззолочено». На ногах у него была дюжина носков, что касается количества другого белья, точно не установлено.

На почтительной расстойки от Великого на кончике стула сидел интервьюер самой независимой в мире газеты. Он не мог еще опомниться от восторга, вызванного недавним сальто-мортале, когда Великий перескочил в тот лагерь, против которого в течение тридцати лет метал громы и молнии.

– Я изумился только один раз в жизни, – говорил Великий, – глядел на звезду в океане и не понимал, как мир может выдержать два такие светила, как эта звезда и я... Было жутко, и я говорил Создателю: ну, звезду вселенная выдержит, но как не побоялся Ты вознести над миром так высоко меня? Изумлялся, и чем дальше, тем изумляюсь все больше. <...> Кстати: это будет годовщина того дня, когда я в первый раз выругался непечатными словами; случайно совпало, но можете отметить. Можете напечатать и еще несколько зазываний и приложить фотографию моей крестильной сорочки и рожка. Пленки, увы, навек погибли для истории.

Интервьюер выразил на своем лице великую скорбь.

– Вы изволили встречаться со столькими великими людьми...

– Ну, положим, великих я что-то не заметил, но кое-кого удостоил своим вниманием. Произнесу слова, которые должны будут запомниться всеми и навсегда. В этот же день исполнится десять тысячелетий моего древнейшего дворянского рода; это тоже случайно вспомнилось. Я об этом много раз писал на нескольких языках, но можете напомнить. Точно так же в этот же день я признал почетной французскую и другие академии. Тридцать пять тысяч курьеров просили. Без меня не было бы ни Пушкина, ни Льва Толстого; они мои прямые предки; неважные писатели, но упомянуть все-таки можно. Поговорим, поговорим... Обо всех вспомним. Теперь я, впрочем, редко кого встречаю: противно; полюбил одиночество. Все больше по темным аллеям своего сада гуляю.

Публика (расходясь в недоумении с литературного вечера И.Бунина):

– Что же это такое? – один всего в литературе порядочный писатель был, да и тот круглая бездарность...

– Но зато изрыл весь задний двор литературы...

– Видно, «Окаянные дни» еще не кончились!

Протесты в поддержку Бунина, в том числе на одном из ноябрьских вечеров Объединения русских писателей, побудили редактора газеты В.А.Лазаревского выступить в защиту своего все еще анонимного сотрудника со статьей «Не на злобу дня. “Буря негодования”» (Русская мысль. 1948. №87, 24 ноября. С.2) и в конце концов заставили С.В.Яблоновского (о нем см. примеч. 4 к №108) заявить, что он автор фельетона (По поводу одного памфлета. Письмо в редакцию // Русская мысль. 1948. №91, 8 декабря. С.2). См. также выступления А.В.Бахраха (По поводу одного пасквиля // Русские новости. 1948. №185, 17 декабря. С.4) и Л.Е.Галича (О приличном и непри-



личном // Новое русское слово. 1948. №13379, 12 декабря. С.3, 7) и еще раз Яблоновского (Мой ответ И.А.Бунину. Письмо в редакцию // Новое русское слово. 1949. №13457, 28 февраля. С.3). Об этом эпизоде пишут лечивший Яблоновского и Бунина В.М.Зернов (см. примеч. 1 к №200) и Я.М.Цвибак (*Седых А.* Далекие, близкие. 3-е изд. Нью-Йорк: Новое русское слово, 1979. С.222-227).

<sup>3</sup> Иван Иванович Тхоржевский (1878–1951) – переводчик О.Хайяма (Париж, 1928), автор книги «Русская литература» (Т.1-2. Париж: Возрождение, 1946), редактор первых четырех выпусков журнала «Возрождение» за 1949.

<sup>4</sup> Судя по №169, Гукасову удалось успокоить Бунину, который все-таки дал рассказ «Полуденный жар» в №1 журнала «Возрождение» (см. примеч. 12 к №171).

167. ТЭФФИ – БУНИНУ  
<23 или 24 ноября 1948 г. Париж>

Высокочитимый друг!

Очень, очень, очень (très-très!) прошу разыскать стихи Сологуба<sup>1</sup>. Боюсь только, не спутали ли Вы со стихами Кузмина – у него были хорошие «И мы, как Меншиков в Березове...»<sup>2</sup>. Мне эти стихи Сологуба сослужили бы огромную службу, а статья почти готова, и спешу отослать.

—

До меня дошли слухи, что «Русск<ая> мысль» собирается стереть меня в порошок за то, что я «выступила вместе с Зуровым» за Вас<sup>3</sup>. Главное их оскорбляет, что с Зуровым. Вот, брат, погибну за Вас. Но тереть будут меня одну, без Зурова. Что поделаешь! «Как нимб, любовь, твое сиянье над каждым, кто погиб, любя. Блажен, кто принял посмеянье, и стыд, и гибель за тебя»<sup>4</sup>.

Вот хоть таким блаженством поблаженствую.

Как грустно, что Вы так скоро уезжаете<sup>5</sup>. Очень было приятно у Вас в прошлый раз, но не удалось вплотную поговорить, а есть о чем. Приду как-нибудь без помпы и пирожков (Ваших), а то боюсь, что снова скисну, а там Вы и уедете. Я же если и поеду на юг, то не раньше конца марта, когда Вы уже вернетесь. Впрочем, вряд ли поеду – денег не предвидится.

—

Итак, в программе дня стихи Сологуба.

Искренно Ваша

Тэффи

P.S. Говорят, что приехал Алданов<sup>5</sup>. Если бы я знала, когда он у Вас будет, я бы тоже пришла на него посмотреть совокупно с Вами.

Н.Т.

Публикуется по автографу (РАЛ MS.1066/5469). Датируется предположительно по приводимому в примеч. 3 письму Пантелеймонова.

<sup>1</sup> Тэффи приводит цитаты из стихотворений Сологуба в мемуарном очерке «Федор Сологуб» (Новое русское слово. 1949. №13407, 9 января. С.2, 5).

<sup>2</sup> 3-я строка 1-й строфы стихотворения М.А.Кузмина (1872–1936) «Декабрь морозит в небе розовом...» (1920). Возможно, Тэффи цитирует стихотворение по публикации: *Шайкевич А.* Петербургская богема (М.А.Кузмин) // *Орион: Литературный альманах.* Париж: Amour, 1947. С.143-144. О публикациях стихотворения см.: *Кузмин М.* Стихотворения / Вступ. ст., сост., подгот. текста и примеч. Н.А.Богомолова. (Новая библиотека поэта). СПб.: Академический проект, 1996. С.784-785.

<sup>3</sup> Было ли где-нибудь опубликовано протестующее письмо Тэффи и Зурова, установить не удалось. 24 ноября 1948 Пантелеймонов написал Бунину о разговоре с Тхоржевским 23 ноября по поводу фельетона Яблоновского (см. №166): «он ужаснул меня тем, что, оказывается, в следующем номере (может быть, сегодня) помещают о Тэффи, разнося ее за письмо, подписанное только ею и Зуровым. Таким образом, за свой благородный поступок она, кажется, пострадает. Я страшно испугался, обсуждал, как это можно остановить, и со свидания понесся прямо к сестре. Она сразу почувствовала, что я ее “подготавливаю”, и насторожилась» (РАЛ MS.1066/4447). В напечатанной 24 ноября 1948 статье В.А.Лазаревского (о ней см. примеч. 2 к №166) Тэффи и Зуров не упомянуты, зато о Буinine сказано: «в глазах эмигрантской массы он разрушает авторитет русской литературы, русского просвещения. Он облегчает и разлагающую работу советчиков, и в то же время дает видимость оправдания беспардонным глашатаям низового обскурантизма, которые демагогически выбрасывают за борт всякую культуру <...>. Таков был и смысл ухода “великого” из Союза русских писателей и журналистов, <...> как раз в тот момент, когда советчиками велась против Союза клеветническая кампания. <...> И.А.Бунин, заблудившийся в темных аллеях, перестал быть гордостью русской эмиграции и являет ныне пример морального отречения ее элиты, – чтобы не сказать “морального дезертирства” <...>».

<sup>4</sup> Неточная цитата из стихотворения В.Я.Брюсова «Антоний» (1905). Тэффи приводит строки «Как нимб, любовь, твое сиянье / Над каждым, кто погиб, любя» в мемуарном очерке «О Бальмонте» (см. примеч. 4 к №164).

<sup>5</sup> Бунины собирались в Русский дом в Жуан-ле-Пэн то «в начале декабря на зиму», то «в середине декабря», но их отъезд все откладывался: «раньше конца декабря вряд ли выедем» (письма Бунина к Алданову от 31 октября, 11 и 16 ноября 1948 – Новый журнал. 1983. №153. С.150-151). См. также письмо Пантелеймонова к Бунину от 3 декабря 1948 после визита 2 декабря: «Сестрицу проводил, она в восторге от проведенного вечера и уже скулит, что Вы скоро уедете» (РАЛ MS.1066/4449). Бунины выехали из Парижа 2 января 1949 (письмо Пантелеймонова к Бунину от 4 января 1949 – РАЛ MS.1066/4453).

<sup>6</sup> Ср. в письме Бунина к Алданову от 16 ноября 1948: «не думаю, что мы разъедемся с Вами, – раньше конца декабря вряд ли уедем» (Новый журнал. 1983. №153. С.151).

## 168. БУНИНА – ТЭФФИ

*<Начало года. Конец 1940-х – начало 1950-х. Париж>*

Дорогая Надюша,

Не писала тебе давно потому, что на Святках болела, а потом накопилось такое количество неотвеченных писем, что я теперь только этим и занимаюсь, среди них есть и деловые.

Сначала отвечу на твои вопросы. Софья Михайловна Зернова<sup>1</sup>, дочь Михаила Степановича Зернова, у которого была санатория в Эссентуках<sup>2</sup>, и двоюродная сестра Толи и Сережи Зерновых<sup>3</sup>. Она и ее брат<sup>4</sup> – наши друзья. Она пользуется большой популярностью в Париже. Раз в год она вместе со своими друзьями, все известными, устраивает в начале декабря базар в пользу ее Дома, и доход доходит до трех миллионов франков. У нее связи и в Америке, и в Англии. Ее брат профессор Оксфордского университета по Богословию. Сестра замужем за Кульманом, тоже очень известным человеком, они живут в Лондоне<sup>5</sup>.

Сегодня я постараюсь поймать ее по телефону и узнаю, в чем дело. Если этот мальчик носит действительно фамилию Пушкин<sup>6</sup>, то мне его очень жаль. Как жестоко поступил тот, кто так назвал его. Ведь всю жизнь он будет страдать от этого. Будут спрашивать: родственник ли он Александру Сергеевичу? Кто его отец? и т. д. И ты представляешь, как ему всегда будет тяжело отвечать на эти вопросы. Вот, действительно, без вины виноватый! А говорят, что мальчик очень хороший, так мне передавала дочь Рахманинова<sup>7</sup>, она тоже принимает большое участие в этом детском доме.

Не совсем понимаю, почему это так волнует вас? Я уверена, что в России Пушкиных очень много, – ведь там можно было менять и выбирать фамилию и имя по своему усмотрению. Теперь, слава Богу, это прекратилось, как и имена «Октябрина», «Революция» и т. д.

Виноват, по-моему, если ваши сведения правильны, только тот, кто помещал ребенка в этот Дом. А кто он, кажется, никто не знает. Думаю, не отец ли ребенка?<sup>8</sup>

Публикуется по авторизованной машинописи (в дальнейшем – АМ) (РАЛ MS.1067/7112). Датируется предположительно по упомянутым в начале письма декабрьским–январским праздникам и по ссылкам во втором варианте письма (см. примеч. 8) на ди-пи и Ю.П.Трубецкого. Так как в декабре 1947 – апреле 1948 и в январе–мае 1949 Бунины находились в Жуанле-Пэне, а в январе–апреле 1950 – в Париже, возможно, что письмо относится к 1950. Однако ни в дневнике Буниной за 1950, ни в других архивных документах нет записей, подтверждающих такое предположение.

<sup>1</sup> С.М.Зернова (1899–1972) с 1939 заведовала русским детским домом в расположенном к югу от Парижа Вильмуассоне (потом в Монжероне). Подробнее о ней и о других упомянутых членах семьи Зерновых см.: За рube-

жом. Белград – Париж – Оксфорд. Хроника семьи Зерновых. 1921–1972 / Под ред. Н.М. и М.В. Зерновых. Париж: УМСА-Press, 1973. С.9-11.

<sup>2</sup> М.С.Зернов (1857–1938).

<sup>3</sup> Анатолий Сергеевич (1882–1942) и Сергей Сергеевич (1883–1923) Зерновы. О них см.: На переломе. Три поколения одной московской семьи. Семейная хроника Зерновых. 1812–1921 / Под ред. Н.М.Зернова. Париж: УМСА-Press, 1970. С.36.

<sup>4</sup> Николай Михайлович Зернов (1898–1980) – ученый богослов, в 1947–1966 преподаватель Оксфордского университета.

<sup>5</sup> Мария Михайловна Кульман (урожд. Зернова; 1902–1965) и Густав Густавович Кульман (1894–1961).

<sup>6</sup> Не установлено, о ком идет речь.

<sup>7</sup> По всей вероятности, речь идет о Татьяне Сергеевне Конюс (урожд. Рахманинова; 1907–1961).

<sup>8</sup> Не установлено, о ком идет речь. Текст письма здесь обрывается, но сохранился фрагмент второго варианта письма:

Я уже забыла подробности, кто принес ребенка в ее Дом, я думаю, вероятнее всего, его отец, после смерти Светланы\*. И только он мог назвать его Пушкиным. Я не представляю, как Софья Михайловна могла это проверить. Я постараюсь навести справки, как это было?

Не вполне понимаю Ваше возмущение. Неужели вы думаете, что в России нет Пушкиных, даже без единой капли от Александра Сергеевича. Там называли себя кто как хотел. Здешние Ди-пи все не под своими фамилиями, много очень известных и знаменитых, например, есть такой поэт Трубецкой\*\*, он уже сам стал говорить, что он не князь.

И какой вред может принести настоящим Пушкиным человек, носящий...

\* Неустановленное лицо.

\*\* Юрий Павлович Трубецкой (наст. фам. Нольден; 1902–1974). Первое из сохранившихся писем Трубецкого к Бунину датировано 28 сентября 1948 (MS.1066/5600).

169. ТЭФФИ – БУНИНУ  
17 января 1949 г. <Париж>

Le 17 Janvier 1949

Ну, милый друг, поднадул нас Лиса-Тхоржевский! В первом же номере объявлено произведение Берберовой<sup>1</sup>. Поздравляю. Во втором номере, наверное, будет Яблоновский, или, по крайней мере, его портрет<sup>2</sup>.

Вот люди (Гукас и Тхор<sup>3</sup>), у которых абсолютно нет слова! До неприличия. Надо было заманить Вас в журнал – вот и заманили. «Все будет по Вашему желанию». Ну и свиньи!

Братан Пантелей завтра уезжает в Швейцарию<sup>4</sup>. Без него будет очень пусто. Знаю, что настрочил Вам уже три письма<sup>5</sup>.

А я отослала в «Н<овое> р<усское> слово» о Куприне<sup>6</sup>. Теперь примусь за Испанию для Рогнедова<sup>7</sup>. Ничего о ней не знаю и знать не хочу. Знаю Оллэ!<sup>8</sup> и кастаньеты. Буду врать.

Здоровье мое скверное. Недавно вечером надевала ночную пижаму, влезла обеими ногами в одну штанину, и тут прихватила меня спазма. Двинуться не могу, до тринитрина не допрыгать. Стою по пояс голая – больно, смешно, глупо и себя жалко. Чуть отлегло – села на пол и вытянула ногу из штанины. Добралась на четвереньках до постели и потом полночи дрожала.

Очерк о Куприне ужасно меня утомил. Особенно перестук на машинке. Вообще – жить на свете ужасно утомительно.

Сейчас у меня «Достоевский» Мочульского<sup>9</sup>. Как мог он (Мочуль), чахоточный и слабый, навалить такую книжищу! Ведь эдакую работу физическую четырем ломовикам не осилить.

Была на докладе Адамовича «Толстой и Достоевский». Узнала, что Толстой терпеть не мог Анну Каренину и что она ему так надоела, что он, не зная, как от нее отвязаться, бросил ее под поезд. «Баба с воза – кобыле легче» (мое примечание). И тогда уже с наслаждением занялся Левиным. Вторая половина доклада называлась «Достоевский», но говорил он все-таки о Толстом.

Адамович мне очень мил. И первая часть лекции была интересна<sup>10</sup>.

Слышала я, что дарован Вам «слезный дар», так талантливо когда-то Вами рассказанный<sup>11</sup>. Помог ли каннский врач<sup>12</sup>?

Как все это скучно! Но я люблю докторов. Доктор – единственный человек на свете, который говорит с вами о вас, а не о себе, как все прочие.

Вот, друг дорогой, очень буду рада, если черкнете словечко беззаветно преданной Вам

Тэффи

Дорогую Верочку нежно обнимаю. Поправились ли она? Говорят, у Вас там лют<а>я Тощица<sup>13</sup>, Хромой прокурор<sup>14</sup>, да дикая жидови-на Фруан<sup>15</sup>.

А я неожиданно получила *colis*<sup>16</sup> от Марии Самойловны. Я в прошлом году, в разгар Вашего с ней конфликта, гордо отказалась от ее посылок, которые она мне предлагала очень любезно. И вот неожиданно получаю<sup>17</sup>. Прежде она посылала мне великолепные посылки: цыпленка в желэ, чудесные конфеты, шоколад и проч. Теперь прислала нечто странное: три с половиною кило маргарины <так!> в банках! Верно, где-нибудь распродалась или жертвовали на лагерь Ди-Пи. Совсем что-то неразумное.

Пожалуйста, напишите.

Ваша верная

Тэффи

Публикуется по автографу (РАЛ MS.1066/5470).

<sup>1</sup> В вышедшем в январе 1949 №1 журнала «Возрождение» Берберова опубликовала стихотворение «Две девочки. Одна с косою тугой...» (С.81).

<sup>2</sup> Опасения Тэффи оправдались с небольшим опозданием. Во втором номере «Возрождения» (март 1949) Яблоновский не фигурировал, однако, уже начиная с пятого номера, его произведения появлялись в журнале довольно часто.

<sup>3</sup> Т.е. Гукасов и Тхоржевский.

<sup>4</sup> В письме от 10 января 1949 Пантелеймонов сообщил Бунину: «Я, кажется, на этой неделе еду в Швейцарию, если дадут визу на советский паспорт. В принципе продал свой способ на одну химическую сволочь (неодушевленную), и придется поехать. Впрочем – это одно удовольствие» (РАЛ MS.1066/4454). В Париж Пантелеймоновы вернулись в конце января.

<sup>5</sup> Кроме вышеприведенного письма, сохранилось только еще одно письмо Пантелеймонова (от 12 января), написанное перед отъездом в Швейцарию (РАЛ MS.1066/4455).

<sup>6</sup> Воспоминания Тэффи «А.И.Куприн» опубликованы в газете «Новое русское слово» 3 июля 1949 (№13582. С.2).

<sup>7</sup> Импрессарио и делец Александр Павлович Рогнедов (?–1958) собирал материалы для сборника об Испании. См. №171-175 и 178-179 об участии Бунина и Тэффи. Сборник «El Alma de España» («Душа Испании») вышел в Мадриде в 1951, но Тэффи в нем не фигурирует, а Бунин представлен статьей ««Don Juan» guso» («Русский “Дон-Жуан”»)» (С.27-39). О русском оригинале статьи и обстоятельствах ее издания см. публикацию: «Русский Дон-Жуан» И.А.Бунина / Публ. М.Н.Алексеевой, вступ. ст. и примеч. В.Е.Багно // Русская литература. 1991. №4. С.184-192. В посвященной Тэффи главе в мемуарной книге «Отражения» (Париж: УМСА-Press, 1975) З.А.Шаховская пишет: «Был в Париже (и где он не был!) милейший антрепреньер <так!> Рогнедов (звучное имя взял он себе в молодости, влюбившись в актрису, которая играла Рогнеду). Что-то было в нем от персонажей Семена Юшкевича и, наряду с антрепреньерской внешностью, какая-то приятная детскость» (С.211).

<sup>8</sup> Браво – olé (исп.).

<sup>9</sup> Книга критика К.В. Мочульского (1892–1948) «Достоевский. Жизнь и творчество» вышла в 1947 в парижском издательстве «УМСА-Press».

<sup>10</sup> Адамович читал публичную лекцию «Перечитывая Толстого и Достоевского» на вечере Объединения русских писателей и поэтов 11 января 1949 (Хроника. С.289). В письмах к Бунину от 10 и 12 января 1949 Пантелеймонов писал: «Завтра – Адамович. Мы с сестрой, кажется, идем, а то где-нибудь ругнет. Будем ему подобострастно улыбаться из публики – лишь бы заметил»; «Вчера были на Адамовиче. <...> В докладе раза три упомянул докладчик почитательно Алданова. Относительно Вас был разговор, когда о Достоевском – неправ, мол, когда “он сказал” и “он отвечал”. Мы с сестрой нахохлились – как смеют задевать брата. <...> Первая часть доклада прошла почти блестяще – я даже подумал, что докладчик настоящий человек и очень любит литературу. Вторая – многих разочаровала» (РАЛ MS.1066/4454-4455).

<sup>11</sup> См. в рассказе Бунина «Святые» (1914) слова Арсенича: «Мне Господь не по заслугам великий дар дал. Этого дара старцы валаамские только при великой древности, да и то не все, домогаются. Этот прелестный дар – слезный дар называется».

<sup>12</sup> В дневниковой записи Буниной за 12 января 1949 читаем: «Ездили в Канн. Ян испугался, что у него очень стали чесаться глаза. Доктор серьезного не нашел. Дал примочку и мазь для век» (РАЛ MS.1067/423). У Бунина была экзема век.

<sup>13</sup> Возможно, Вера Марковна Дория (о ней см. примеч. 2 к №131).

<sup>14</sup> Н.Гасман (см. примеч. 8 к №142).

<sup>15</sup> Речь идет о мадам Фруэн (Frouin), которая упоминается в дневнике Буниной за 7 и 11 января 1949 в качестве одной «из прежних платных» жителей Русского дома и хозяйки парижской квартиры, в которой жил Адамович: «Вечер Адамовича в Париже. Сколько он даст. Фроен <так!> ждет денег от него за квартиру, хотя бы за один месяц вперед. Сначала она просила за четыре» (РАЛ MS.1067/423). В письме к Алданову от 7 июня 1949 Тэффи сообщила: «Вообще Адамовичу сейчас не везет. Приехала страшная Фруен <так!>, владелица его квартиры, т. е. той, где он живет. Терзает его по телефону и грызет лично. Очень все это страшно» (БАРВК. Фонд Алданова).

<sup>16</sup> посылка (*франц.*).

<sup>17</sup> См. №147 и 165. 15 января 1949 Тэффи написала М.С.Цетлиной: «Очень была тронута, что Вы неожиданно вспомнили обо мне. Сердечно благодарю Вас за посылку» (Отдел рукописей библиотеки Иллинойского университета (США). Фонд С.Ю.Прегель и В.В.Руднева).

170. ТЭФФИ – БУНИНОЙ  
27 февраля <1949 г. Париж>

27 февраля

Милая, дорогая моя Верочка!

Спасибо бесконечное за письмо<sup>1</sup>. Страшно тревожусь о здоровье Ив<ана> Алекс<еевича>. Сегодня даже написала д<окто>ру Беляеву, чтобы узнать, как обстоят дела.

Сейчас в Париже был Рогнедов. Мечтает всех помирить с Зайцевым!! Хочет устроить совместную поездку с Зайцевыми и Алдановыми в Италию. Зайцевых повезет на свой счет<sup>2</sup>. Я думаю, что Ив<ан> Ал<ексеевич> на проект примирения пошлет Рогнедова в укромный уголок, где его уже дожидается Гефтер<sup>3</sup>.

Мое здоровьишко шатко и валко. Если не выношу одиночного заключения и выхожу на люди, то потом два дня отлеживаюсь.

Говорят, что Тхоржевский уже набирает второй номер *serviettes périodiques*<sup>4</sup>. Ко мне не обращался. Первый номер отлично поган. Но это, так сказать, проба пера. Следующие будут хуже.

Верочка, дорогая, ради Бога, напиши мне поскорее о здоровье И<вана> А<лексеевича>. Я ужасно волнуюсь. Пантелею он тоже не пишет, и тот совсем загрустил, да и к тому же хворает. Все как-то тревожно и уныло. Одна Прегельша<sup>5</sup> катается как голландский сыр (с красной коркой) в масле.

Крепко целую. Миленькая, напиши скорее!

Дорогого Ивана Алексеевича крепко обнимаю, даже согласна не очень крепко, если ему неприятно.

Любящая тебя

Тэффи

Публикуется по автографу (РАЛ MS.1067/7192). Год установлен по дате выхода первого выпуска журнала «Возрождение».

<sup>1</sup> 17 февраля 1949 Бунина отметила в дневнике, что написала Тэффи (РАЛ MS.1067/423). Письмо не сохранилось.

<sup>2</sup> Ср. в дневниковой записи Буниной за 18 марта 1949: «Рогнедов на свой счет везет Зайцевых в Италию, а затем одного Бориса в Испанию» (РАЛ MS.1067/423). См. также №173-174, 179.

<sup>3</sup> Александр Александрович Гефтер (1885–1956) – писатель. Ср. в дневниковой записи Буниной за 24 февраля 1949: «Ян сейчас вспомнил, как папаша Познер приезжал к нему с предложением вступить в “Союз Советских Патриотов”. Ян послал его туда же, куда и Гефтера» (РАЛ MS.1067/423; Устами Буниных. Т.3. С.191). Подробности связанного с Гефтером эпизода не установлены.

<sup>4</sup> До 1961 в верхнем правом углу обложки «Возрождения» печаталось «*Sahiers périodiques*» – периодические тетради. *Serviettes* – салфетки (франц.). Намек Тэффи достаточно прозрачен.

<sup>5</sup> С.Ю.Прегель (о ней см. примеч. 3 к №122).



171. БУНИН – ТЭФФИ  
6 марта 1949 г. <Париж>

6.3.49

Сестрица дорогая, милая, плохи дела «с моим простым и очевидным телом»! (это строчка из недавно напечатанного в «Русск<их> нов<остях>» стихотворения Вадимки Андреева, «пламенного патриота» Сталинской России<sup>1</sup>). Плохи потому, что дошел я до последнего безобразия – опять чуть не 2 месяца провалился в постели, как Вы знаете, и худ и дряхл стал как мумия. Когда глазам стало лучше и кое-как одолел я с помощью Беляева воспаление моего левого легкого, я прочел «Новоселье», потом «Возрождение», там и тут восхищаясь Вами<sup>2</sup>, потом ужаснейший роман Мельникова-Печерского «В лесах»<sup>3</sup>, теперь одолеваю «Дон Кихота», которого беспрерывно бьют все встречные и поперечные, – одолеваю в тщетной надежде зацепиться хоть за что-нибудь испанское... Вы, верно, уже написали какую-нибудь штучку<sup>4</sup>, а я просто в отчаянии: почти убежден, что придется, со стыдом и слезами, возвращать Рогнедову аванс! А из каких средств возвращать?

Прилагаю письмо Веры<sup>5</sup>, а сам пока кончаю, – ужасно устал, написав вот этот листок Вам и записочку Зурову насчет квартиры<sup>6</sup>. Целую Вас и прошу позволения послать Ваши «басни» Галине и Марге<sup>7</sup>. Можно? От последней басни (про Соловья и генерала<sup>8</sup>) я в особенном восторге!

Ваш Иоанн Рыдалец<sup>9</sup>

P.S. «Дон Кихота» я читал еще в детстве<sup>10</sup>, – жалкое и сокращенное издание, жалкий перевод. Сейчас читаю полный, отличный перевод<sup>11</sup>. Умен и талантлив был Сервантес на удивление!

P.P.S. Гукасов и меня больше не приглашает<sup>12</sup>.

Публикуется по автографу (БАРВК. Фонд Тэффи). Опубликовано: Зверс. С.153-154.

<sup>1</sup> Опубликованное в газете «Русские новости» стихотворение Вадима Леонидовича Андреева (1902/3–1976) «С моим простым и очевидным телом...» (1948) вошло в сборник «Второе дыхание. Стихи 1940–1950 гг.» (Париж: Рифма, 1950). О желании Андреева репатрироваться в СССР уже в 1920-е и о получении им советского паспорта и неудачной попытке репатрироваться в 1946–1948 см. предисловие Л.С.Флейшмана к: *Андреев В.* Стихотворения и поэмы / Подгот. текста, сост. и примеч. И.Шевеленко. В 2 т. Oakland: Berkeley Slavic Specialties, 1995. В дневниковой записи за 31 января 1949 Бунина приводит ту же строку и отмечает: «Иван Алексеевич не может успокоиться... Что это от злобы, злости? Нет, это от подлинной любви к своему искусству. «Что он, дурак или подлец?»» (РАЛ MS.1067/423).

<sup>2</sup> Имеются в виду рассказ Тэффи «Слепая» (Новоселье. 1948. №37-38. С.35-41) и стихотворения «Опять тот сон! Опять полудремота!..» и «Старик, похожий на старуху...» (см. примеч. 8 к №151) (Возрождение. 1949. №1.

С.50-51). В том же номере журнала «Новоселье» опубликована рецензия Тэффи на сборник рассказов Пантелеймонова «Зеленый шум» (С.138-142).

<sup>3</sup> Эпопея П.И.Мельникова (псевд. Андрей Печерский; 1818–1883) «В лесах» (1871–1874).

<sup>4</sup> См. №172.

<sup>5</sup> Письмо Буниной не сохранилось.

<sup>6</sup> Сохранилось письмо Бунина к Зурову от 6 марта 1949, в котором речь идет о намерении Бунина отказаться от посылки, отправленной ему из Москвы Н.Я.Роциным (РАЛ MS.1066/6140).

<sup>7</sup> О баснях Тэффи см. примеч. 11 к №165. Об участии Кузнецовой и Степун в устройстве переводов произведений Тэффи на немецкий язык см. примеч. 3 к №128.

<sup>8</sup> Текст басни неизвестен.

<sup>9</sup> У Бунина был рассказ «Иоанн Рыдалец» (1913).

<sup>10</sup> Ср. гл. XII и XIV 1-й книги романа Бунина «Жизнь Арсеньева» о воспитателе Баскакове, который «очень быстро выучил меня писать и читать по русскому переводу Дон-Кихота, случайно оказавшемуся у нас в доме среди прочих случайных книг».

<sup>11</sup> В письме к Пантелеймонову от 8 марта 1949 Бунин уточняет, что он читал «московск<ое> издание 1932 года» (Наше наследие. 2001. №56. С.9). Имеется в виду изд.: *Сервантес де Сааведра М.* Хитроумный идальго Дон-Кихот Ламанчский: В 2 т. / Пер. под ред. Б.А.Кржевского и А.А.Смирнова. М.: Л., 1932–1934. Не указанным в этом издании переводчиком являлся Г.Л.Лозинский (1889–1942), эмигрировавший в 1922 из Петрограда в Париж. Сообщение И.Н.Толстого.

<sup>12</sup> Бунин напечатал в журнале «Возрождение» только два рассказа: «Полуденный жар» (1949. №1. С.47-49) и «Ночлег» (1949. №3. С.123-128). О рассказе «Ночлег» см. №175 и примеч. 6 к нему.

## 172. ТЭФФИ – БУНИНУ 10 марта <1949 г. Париж>

10 марта

Друг и брат мой богоданный!

С Рогнедовым совершенно не нужно задаваться на макароны. Ему нужно имя Принобеля<sup>1</sup>. А все, что Вы напишете, все равно будет отлично, ибо Вы плохо написать не можете. Это я говорю серьезно.

Я тоже окунула было нос в Дон-Кихота (маленькое французское издание), но долго не продержалась. Ну что же это – лупят его и лупят совсем беспросветно. Ведь надо учесть, что в те времена это считалось юмором, и наборщики так хохотали, что рассыпали буквы набора.

Я написала штуку идиотскую в 20 машинных страниц – это больше 6 000 слов. Надо не меньше <больше?> 5 тысяч. Придумала встречу с Дон-Жуаном и Дон-Кихотом на пароходе, идущем из Ис-

паний<sup>2</sup>. Влюбилась, конечно, в Дон-Кихота. Рассказала эту штуку Рогнедову, он одобрил. Получила авансу 15 тысяч. Остальные 15 по выходе в свет сборника. Боюсь, что не доживу; буду стараться (из жадности) дожить.

Тхор совсем болван. Он говорил Пантелею: «А Бунин и Тэффи, по-видимому, нас бойкотируют – ничего для следующего номера не прислали». Он думает, что ему будут присылать без приглашения. Мне заплатили неприлично мало – по 30 фр<анков> за строчку. Предпочитаю писать в «Н<овом> р<усском> слове». Собираюсь теперь вспомнить о Гиппиус<sup>3</sup>. Я с ней последнее время дружила и часто видалась. Ее медом не обмажешь. Хочу составить книгу<sup>4</sup>. Но так плохо себя чувствую, что вот уже месяц как не могу даже писем писать. Слабость до тошноты. Подкрадывается лето, и в августе я должна ехать в Noisy-le-Grand, п<отому> ч<то> моя хозяйка уезжает, а мне нельзя быть совсем одной. Думаю об этом с ужасом. Я ненавижу богадельни, стариков, сидящих на со-олнышке-е. Мне и Juan-les-Pins надоел до омерзения.

Получила приглашение приехать погостить в Тунис<sup>5</sup>. Доктора не позволяют ездить в мэтро и в автобусах, но про Тунис ничего не упоминали. Очевидно, можно.

И еще одна милая душа зовет в Нью-Йорк<sup>6</sup>. Предоставляет комнату с ванной. Поехать разве выкупаться! А то у нас ванна не действует.

Не правда ли – у меня и почерк и содержание письма идиотские? Ничего не поделаешь.

Начали ли Вы пить винишко? Это очень волнует Пантелея.

---

Я нахожу, что рассказ Труайя в «Возрождении» ужасен. Для второго номера он снова дал<sup>7</sup>. Глупо, что Гукас печатает франц<узского> писателя, когда русским некуда деваться. Разве что по армянской линии<sup>8</sup>.

Читала по-франц<узски> роман Одоевцевой из советской жизни. Занятно. Думаю, что по-русски он гораздо хуже. Она говорит, что продала его уже в Италию и в Америку<sup>9</sup>. Это вполне возможно.

Бедная Банин в унынии. Ее роман застрял у издателя, который все колеблется<sup>10</sup>. А во втором романе выведен благородный немец, для которого время еще не настало, и издатель ждет, пока немец дозреет<sup>11</sup>.

---

Здоровьишко мое из рук вон плохо. Когда начинаю выть от нев-растении – вылезая на люди. Потом неделю лежу. Находит такая слабость, что я, как Пэтен<sup>12</sup>, все время засыпаю. Вербов больше меня не навещает – я ему надоела. Поправиться все равно не могу.

Где сейчас Галина и Марга? Верочка написала, что они праздновали рождение Степуна – разве он тоже переехал в Люксембург, или они вернулись в Мюнхен<sup>13</sup>?

До свидания, друг и брат. Слушайте – Вы знаете Испанию и Юг Франции – природа та же, что на Севере Испании. Заведите интрижку с Кончитой, но во славу Испании, п<отому> ч<то> цель сборника славить Испанию. Приморский городок (без имени). Дачный поселок (лучше рыбачий) у границы Франции. Контрабандисты. Переводят беглецов от коммунизма. Или во время нем<ецкой> оккупации, но чтобы бежали непременно к Франко<sup>14</sup>, а то не напечатают. Перечитайте «Тамань»<sup>15</sup> (это я шепчу на ухо). Вот какую-ниб<удь> такую лихую девку. А? Что Вы скажете?

Уж очень мне хочется Вас вдохновить.

Обнимаю сердечно. Как иногда хочется поговорить с Вами!

Дорогую Верочку целую и благодарю за письмо.

Ваша верная

Тэффи

Публикуется по автографу (РАЛ MS.1066/5471). Год установлен по сопоставлению с №171.

<sup>1</sup> Здесь: Лауреата Нобелевской премии – Prix Nobel (франц.).

<sup>2</sup> Речь идет о рассказе Тэффи «Моя Испания», опубликованном в ее последней прижизненной книге «Земная радуга» (Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1952. С.158-163).

<sup>3</sup> Мемуарный очерк Тэффи «Зинаида Гиппиус» опубликован в газете «Новое русское слово» 12 марта 1950 (№13834. С.2, 8).

<sup>4</sup> См. №204 и примеч. 10 к нему.

<sup>5</sup> Подробнее о приглашении в Тунис см. №174.

<sup>6</sup> Не установлено, о ком идет речь.

<sup>7</sup> Французский автор Анри Труайя (Henri Troyat; наст. имя и фам. Лев Тарасов; род. 1911) опубликовал по рассказу в первых двух номерах журнала «Возрождение»: «Тэндем» (1949. №1. С.52-57) и «Наваждение» (1949. №2. С.7-11).

<sup>8</sup> Труайя по отцу армянин.

<sup>9</sup> О романе Одоевцевой и переводах его на иностранные языки см. примеч. 18 к №145. В переводе на итальянский язык роман не был издан.

<sup>10</sup> О Банин и ее романах см. №120 (примеч. 1) и 154 (примеч. 6). Впоследствии Банин опубликовала несколько романов: *Banine. J'ai choisi l'opium* <Я выбираю опиум>. Paris: Stock, 1959; *Après <Потом>*. Paris: Stock, 1962; *L'Appel de la dernière chance* <С последней надеждой> Paris: S.O.S., 1971.

<sup>11</sup> Возможно, имеется в виду немецкий писатель и философ Эрнст Юнгер (1895–1998), с которым Банин познакомилась во время немецкой оккупации Парижа и о котором она написала несколько документальных книг: *Banine. Rencontres avec Ernst Jünger* <Встречи с Эрнстом Юнгером>. Paris: Juillard, 1951; *Portrait d'Ernst Jünger. Lettres, textes et rencontres* <Портрет

Эрнста Юнгера. Письма, тексты и встречи». Paris: La Table ronde, 1971; Ernst Jünger aux faces multiples <Многоликий Эрнст Юнгер>. Lausanne: Age d'Homme, 1989. Юнгер написал письмо-предисловие ко второму изданию автобиографии Банин «Jours Caucasiens» («Кавказские дни») (Montpellier: Gris banal, 1985. С.10-11).

<sup>12</sup> Филип Петен (1856–1951) – герой Первой мировой войны, маршал Франции и глава коллаборационистского правительства Виши во время Второй мировой войны.

<sup>13</sup> Письмо Буниной не сохранилось. Ф.А.Степун (1884–1965), который с 1946 занимал кафедру истории русской мысли Мюнхенского университета, родился 6/18 февраля. Г.Н.Кузнецова и М.А.Степун, которые тоже жили в Мюнхене после войны, провели в Люксембурге лишь короткое время, когда возникли проблемы с оформлением документов в Германии.

<sup>14</sup> Франсиско Франко (1892–1975) – вождь антиреспубликанских сил во время испанской Гражданской войны, диктатор Испании с 1939.

<sup>15</sup> Повесть «Тамань» вошла в роман Лермонтова «Герой нашего времени» (1840).

### 173. БУНИН – ТЭФФИ

11 марта 1949 г. <Жуан-ле-Пэн>

11 марта 49 г.

Милая, дорогая сестрица Аленушка, нынче перечитал Ваши письма (одно с превеликим трудом, писанное этим анафемским американск<им> синеватым карандашом на двух сторонах тончайшей бумаги)<sup>1</sup>. На дворе туман, дождь, – уже не первый день, – а Вера уехала в Le Cannet<sup>2</sup> к дантисту, – сижу один и слушаю то, что у нас теперь почти не прекращается в обеденном зале, музыку и пение старухи Фруэн<sup>3</sup> и нового служащего в доме, какого-то прохвоста и пьяницы, много лет певшего в ночных кабаках, специалиста по цыганским романсам. Рад, что Вы пишете, читаете, выходите, и, конечно, как всегда, истинно страдаю за Вас, за Ваши спазмы – и, простите, дивлюсь Вашему упрямству, тому, что Вы ни за что не хотите позвать какого-нибудь большого доктора француза! Убежден, что помог бы! Кстати о докторах. Не совсем правы Вы, – извините: правы Вы! – не совсем правы, будто доктор единственный человек, который говорит не о себе, а о своем собеседнике<sup>4</sup>: есть исключения. И еще кстати: доктор Беляев уезжает 15-го сего месяца в Париж, а 1-го апреля в Америку. Рад и тому, что все-таки одолели Вы Испанию, а я, как уже писал Вам на днях<sup>5</sup>, убедился в своей полной бездарности: даже по ночам, сквозь сон, изо всех сил стараюсь выдумать что-нибудь испанское<sup>6</sup>, бьюсь, как старая кляча, тщетно рвущаяся двинуть воз в гору, и просыпаюсь, мысленно крича: «Конечный Вы человек, Иван Алексеевич!» А вот Зайцева Рогнедов везет в Испанию, – это серьезно, Вы, верно, уже слышали это<sup>7</sup>, – и напишет Зайцев, воротясь из Испании, романсированную биографию Росси-

нанта<sup>8</sup>! С нетерпением жду Ваше о Куприне<sup>9</sup>, – нынче получил «Нов<ое> р<усское> слово» за первую половину февраля, но Куприна еще нет. Мочульский был действительно богатырь! Его пудовый том<sup>10</sup> уже давно лежит у меня, но все не могу приняться за него. Милый был человек, но глуповатый... Вы, верно, слышали, что Зеелер прислал свой «ответ» мне в «Нов<ое> р<усское> слово», но такой грубый, что его не напечатали<sup>11</sup>. Чтобы утешить его, хочу предложить ему свою помощь, – чтобы он еще при жизни мог продать свой скелет в зоологический музей, в отдел ископаемых, в Нью-Йорке.

Целуем Вас, дорогая!

Ваш Ив. Бунин

Публикуется по автографу (БАРВК. Фонд Тэффи).

<sup>1</sup> №169-170. №170 написан шариковой ручкой.

<sup>2</sup> Ле Канне расположен в северной части Канн.

<sup>3</sup> См. №169 и примеч. 15 к нему.

<sup>4</sup> См. №169.

<sup>5</sup> См. №171.

<sup>6</sup> См. №175 и примеч. 6 к нему.

<sup>7</sup> Ср. №170.

<sup>8</sup> Росинант – конь Дон-Кихота. Бунин намекает на книги Зайцева «Жуковский» (Париж: YMCA-Press, 1951), главы из которой печатались в 1947–1949 в «Новом журнале» и в газете «Русская мысль», и «Жизнь Тургенева» (Париж: YMCA-Press, 1932), второе издание которой вышло в 1949. Плодом поездки Зайцева в Италию была его книга «Италия» (Нью-Йорк: Литературный фонд, 1951), в которую вместе со старыми очерками «Венеция» (1922) и «Флоренция» (1922) вошел очерк «Вновь в Риме».

<sup>9</sup> См. №169 и примеч. 6 к нему.

<sup>10</sup> См. №169 и примеч. 9 к нему.

<sup>11</sup> Речь идет о продолжении полемики, вызванной уходом Бунина из Союза русских писателей и журналистов в Париже в 1947 (см. №136, примеч. 2 и 138, примеч. 1). 30 декабря 1948 газета «Новое русское слово» опубликовала спровоцированное фельетоном С.В.Яблоновского (см. №166 и примеч. 2 к нему) письмо Бунина в редакцию, в котором он мотивировал свой уход нежеланием «оставаться почетным членом Союза, превратившегося в союз кучки сотрудников парижской газеты “Русская мысль”, некоторые из коих были к тому же в свое время большими поклонниками Гитлера» (№13397. С.3). После отказа редакции газеты «Новое русское слово» напечатать ответ генерального секретаря Союза В.Ф.Зеелера последний опубликовал свое письмо в газете «Русская мысль» (1949. №134, 6 мая. С.4) вместе с первой частью письма Бунина и с письмом Бунина к нему от 7 декабря 1947 (см. примеч. 1\*\* к №138).

174. ТЭФФИ – БУНИНУ  
 <23 марта 1949 г. Париж>

Среда

Дорогой друг и Брат!

Вас ожидают великие и радостные потрясения! В начале апреля (кажется, 2-го) Вы будете завтракать с Зайцевыми. Роговский пригласил их и Рогнедова позавтракать в Русском Доме. Рогнедов пригласил и Алданова и уверен, что сумеет Вас «помирить». Готовьтесь раскрыть объятия, упражняйте руки и плечи. Удивляюсь нахальству Зайцевых. На вечере Газданова<sup>1</sup> (мне передавали) Зайчиха кричала: «Едем в Италию, по дороге заедем к Ивану завтракать». Для полноты ансамбля не хватает сватьи-бабы Берберихи.

Получила письмо от Тхоржевского. Просит рассказ в Пушкинский майский номер<sup>2</sup>. Думаю, что не напишу. А Вам советую договориться об условиях, п<отому> ч<то> Гукас рвет на себе волосы, что отвалили Вам куш, не подумав.

С моей Испанией<sup>3</sup> форменный срам. Пантелей прочел мне ее вслух, и я еле досидела до конца. Это такая неслыханная бездарь, что придется писать все снова. Прямо – черт знает что!! Буду писать снова. Не знаю – удастся ли выкрутить что-нибудь. Беда! Верно, в мозгу что-нибудь присохло. Даже страшно.

А как Ваши дела?

Рогнедов завтра уезжает в Испанию, оттуда в Ниццу, кажется, 2-го апреля, где встретится с Зайцевыми и поедет с ними на две недели в Италию. Значит, в Париже будет в конце апреля. Тут надо урвать с него целиком гонорар, а то он уедет в Америку, и это уже будет надолго.

Когда Вы думаете вернуться в Париж? У нас погода все время отличная, хотя меня это и мало касается. Я очень редко выхожу.

Меня незнакомые люди, прочитавши рассказ в «Новоселье», приглашают к ним, в Тунис<sup>4</sup>. Вот бы с радостью поехала! Ужасно хочу в Тунис. Но, к сожалению, даже в автобусе ездить не могу. Ску-у-учно мне!

Буду ждать вестей о Вашем безоблачном слиянии с Зайцевыми. А какая свинья «Русская мысль» – рецензию обо мне совсем вычеркнула, а о Вас по мольбе Тхора вставила одну фразочку<sup>5</sup>. Тхор мне написал, что пошлет Вам письмо об этом<sup>6</sup>.

До свидания, Друг и Брат!

Дорогую Верочку целую.

Роговский в Париже, но я его еще не видала.

Пантелей, как Аким Нагой: «до смерти работает, до полусмерти пьет»<sup>7</sup>. Вас обожает.

Обнимаю и люблю. Ваша всегда

Тэффи

Публикуется по автографу (РАЛ MS.1066/5472). Датируется предположительно по сопоставлению с №175: 23 марта 1949 – среда.

<sup>1</sup> Вечер Газданова состоялся 18 марта 1949 (Хроника. С.299).

<sup>2</sup> Вышедший в конце мая 1949 №3 журнала «Возрождение» был посвящен 150-летию со дня рождения Пушкина.

<sup>3</sup> См. примеч. 2 к №172.

<sup>4</sup> Не установлено, о ком идет речь.

<sup>5</sup> Ср. письмо Пантелеймонова к Бунину от 23 марта 1949: «Звонила сестра. Получила письмо от Тхоржевского. Просит писать. Говорит, что Вам тоже послал письмо. Относительно отзыва сообщает, что Лазаревский решил стереть Тэффи “в порошок”, а о Вас оставил только одну фразу» (РАЛ MS.1066/4465; см. также письмо от 24 марта 1949 — РАЛ MS.1066/4466). Не установлено, о каком отзыве идет речь и выполнил ли Лазаревский свою угрозу.

<sup>6</sup> Это письмо Тхоржевского не сохранилось.

<sup>7</sup> Ср. №159 и примеч. 5 к нему.

## 175. БУНИН – ТЭФФИ

28 марта 1949 г. <Жуан-ле-Пэн>

28.3.49

Милый, дорогой друг, простите, что я существую, как говорил Алешка<sup>1</sup>, – существую в столь жалком виде, что далеко не всегда отвечаю на Ваши всегда изумительные письма. Нередко пишу Пантелею<sup>2</sup>, да ведь ему несучепуху, как попало, а Вам не смею, *не могу*. Дай Бог не сглазить, – стал садиться за стол, даже иногда (но «с большими слезами, мамаша!»<sup>3</sup>) пробираюсь с костылем по лестнице вниз, сажусь «на солнышке» возле дома... Вы пишете: «Ненавижу богадельни, стариков, сидящих на со-олнышке-е...»<sup>4</sup> Это совершенно и мои чувства. Но подумайте, каково же мне с этими чувствами сидеть именно таким стариком «на солнышке»! Мне, еще недавно бывшему орлом и даже львом, по слову Бальмонта<sup>5</sup>!

Спасибо Вам, сестрица моя чудесная, за Ваши заботы о моих испанских муках! Я, слава Богу, уже не мучаюсь! Махнул на все рукой, ухватился за первую залетевшую в голову чепуху, просидел два вечера, от девяти до часу, надрал двенадцать страниц (больше не хватило ни ума, ни сил)<sup>6</sup>, а потом завернулся в одеяло, как Соня Мармеладова в шаль, и только «плечики» мои «вздрагивали»<sup>7</sup>... Дорого бы дал почитать, что *Вы* написали!

Пантелей, кажется, опять стал покупать «мерзавчики» и, трясясь, как босяк где-нибудь за углом, вышибать об ладонь пробочку...

Тхор наконец написал мне приглашение – так же, как и Вам. Дадите ли что? У меня хоть шаром покати – ни странички *подходящей*<sup>8</sup>! А быть еще раз Соней Мармеладовой нет охоты. Ведь я только



в молодости, в дни и годы полнейшей нищеты, сбывал на литературной толкучке черт знает что...

Погода чудесная, а все еще надо топить. Пальмы, синее-синее море, и каждый день надо прикупать колбасу, зеленые бананы...

Целую Ваши ручки и ножки.

Вера очень, очень целует Вас.

Ваш Ив. Бунин

P.S. Марга и Галина давным-давно опять в Мюнхене<sup>9</sup>.

Публикуется по автографу (БАРВК. Фонд Тэффи). Опубликовано: Зверс. С.154-155; *Бабореко А.* Из переписки Бунина с Тэффи // Подъем (Воронеж). 1978. №3 С.131-132 (в дальнейшем – Бабореко).

<sup>1</sup> Т. е. А.Н.Толстой.

<sup>2</sup> В своих письмах к Бунину от 24, 27 и 29 марта 1949 Пантелеймонов благодарит его за три письма (РАЛ MS.1066/4466, 4468, 4470).

<sup>3</sup> Ср. конец рассказа Бунина «Слезы» (1930): « – С большими слезами, папаша! С большими слезами!»

<sup>4</sup> См. №172.

<sup>5</sup> Речь идет о стихотворении Бальмонта «Два поэта» («Мы – тигр и лев, мы – два царя земные...»), 1933), впервые опубликованном М.Э.Грин (Устами Буниных. Т.2. С.286-287). В дневниковой записи за 10 июля 1933 Бунин писал: «Бальмонт прислал мне сонет, в котором сравнивает себя и меня с львом и тигром. Я написал в ответ:

Милый! Пусть мы только псы –  
Все равно: как много шавок,  
У которых только навыв  
Заменяет все красы» (Там же).

См. также искаженную версию обстоятельств и текста в «Воспоминаниях» Бунина: «А еще позднее, в мои нобелевские дни, сравнил меня на одном собрании в Париже <...> со львом: прочел сонет в мою честь, в котором, конечно, и себя не забыл, – начал сонет так: Я тигр, ты – лев!» (Париж: Возрождение, 1950. С.29-30).

<sup>6</sup> Речь идет о рассказе «Ночлег». В дневнике Буниной за этот период читаем: «Ян сел за испанский рассказ» (16 марта 1949); «Вчера Ян начал писать “Негра” <«Ночлег», в котором фигурирует собака Негра>» (18 марта 1949); «Сейчас пишет свой “испанский рассказ”» (20 марта 1949); «Ян кончил испанский рассказ. “Совсем лубок!” Вышло 16½ страниц» (22 марта 1949); «Ян кончил “Ночлег”. Вышло 12 страниц. Писал всего 6 вечеров, половина этого времени ушла на диктовку» (23 марта 1949) (РАЛ MS.1067/423; Устами Буниных. Т.3. С.191). В письме к Тэффи от 30 марта 1949 Алданов сообщил: «У Буниных сегодня буду. Читал его рассказ для книги Рогнедова. Действие происходит в маленьком испанском городке, сюжет: попытка изнасилования малолетней. Написано же изумительно, – точно он в городке прожил всю жизнь (на самом деле он в Испании никогда не был <...>). Сам он говорит (как и Вы), что рассказ никуда не годится, что он разучился писать и т. д.!!! Боюсь только, что рассказ может не понра-

виться целомудренной испанской цензуре. Впрочем, Рогнедов просил Ивана Алексеевича написать рассказ в духе “Темных аллей” (БАРВК. Фонд Алданова).

<sup>7</sup> См. рассказ Мармеладова о своей дочери Соне во 2-й главе 1-й части романа Достоевского «Преступление и наказание» (1866): «Пришла, и прямо к Катерине Ивановне, и на стол перед ней тридцать целковых молча выложила. Ни словечка при этом не вымолвила, хоть бы взглянула, а взяла только наш большой драдедамовый зеленый платок <...>, накрыла им совсем голову и лицо и легла на кровать, лицом к стенке, только плечики, да тело все вздрагивают». Ссылка напоминает место в статье Бунина «На поучение молодым писателям», где речь идет о других «дрожащих» героях Достоевского: «Разве не изображает даже Достоевский? “Князь весь трясся, он был весь как в лихорадке... Настасья Филипповна вся дрожала, она вся была как в горячке...” Не велика, конечно, изобразительность, а все-таки что же это?» (Последние новости. 1928. №2829, 20 декабря. С.2).

<sup>8</sup> См. примеч. 12 к №171 о публикации рассказа «Ночлег» в №3 журнала «Возрождение».

<sup>9</sup> См. №172 и примеч. 13 к нему.

## 176. ТЭФФИ – БУНИНОЙ <Апрель 1949 г. Париж>

Дорогая моя Верочка!

Мне уже давно передавала Вера Рафаиловна<sup>1</sup> твою просьбу не обижаться на молчание. Как могла ты подумать, что я стану обижаться! Я и сама не писала тебе, чтобы не заставлять тебя отвечать. Я знаю, как все это трудно, и ни за что не хотела бы причинить тебе еще хлопоты и утомление.

Вести о Вас и Вашем житье-бытье постоянно получаю от Ваших близких друзей: от Веры Рафаиловны, Пантелеймоновых, Любченко<sup>2</sup> (через Верещагиных<sup>3</sup>), Ставровой<sup>4</sup>, доктора Вербова и т. д. Так что все Ваши болезни и тревоги остро переживала и горячо сочувствовала.

Всю зиму я была тяжело больна. Температура падала до 35,3!<sup>1</sup> И на сочувственные письма отвечать не могла. И это очень меня стесняло. Поэтому и другим не хочу доставлять этих «обязательных долгов».

Теперь жду Вашего приезда<sup>5</sup> и опять по пантофельной почте<sup>6</sup> буду узнавать уже свежие новости.

Я так и знала, что эта поездка ни к чему. И в предыдущий приезд на юг<sup>7</sup> Ив<ан> Ал<ексеевич> за три месяца спустился вниз два раза. Трудно было рассчитывать на этот раз на особую бодрость.

Новое «вербовское» заболевание отлично вылечивается. Вербов вылечил уже Верещагина, Зайцева и еще многих. Этой болезнью, говорит он, больны 75% пожилых людей. И все поправляются<sup>8</sup>.

Прости, дорогая Верочка, за собачий почерк. Я ужасно слабая, и это скорее всего отражается именно на почерке.

Под Парижем открывается новая богадельня<sup>9</sup>. Кускова очень со-  
блазняет меня записаться<sup>10</sup>. Ну что ж – это последний ужас, через  
который надо пройти. Судьба дала мне почти все, чего я *не* хотела.  
Это последнее.

Сердечно тебя обнимаю. Дорогому Ивану Алексеевичу, как все-  
гда – любовь и преданность. «Р<усская> мысль» всячески мстит мне  
за то, что я вступилась за Ив<ана> Ал<ексеевича> и пошла против  
Яблоновского<sup>11</sup>. Ну что ж: «блажен, кто принял посмеянье и стыд и  
гибель за тебя»<sup>12</sup> (за Ив<ана> Ал<ексеевича>).

До свиданья, друг дорогой. Всегда твоя

Тэффи

Публикуется по автографу (РАЛ MS.1067/7193). Датируется предполо-  
жительно.

<sup>1</sup> В.Р.Мартынова.

<sup>2</sup> Приятельница Буниной Наталья (Н.Ф.) Любченко упоминается несколь-  
ко раз в письмах Буниной к Цетлиной за 1945–1947 (см. Минувшее. Вып.8.  
С.310 и сл.). Сохранились ее письма к Буниной (РАЛ MS.1067/3903-3950).

<sup>3</sup> В.А. и М.Н. Верещагины (о них см. примеч. 2 к №130).

<sup>4</sup> Мария Ивановна Ставрова (о ней см. примеч. 1 к №68).

<sup>5</sup> Бунины выехали из Жуан-ле-Пэна 14 мая 1949 (дневниковая запись  
Буниной за 13 мая 1949 – РАЛ MS.1067/423; Устами Буниных. Т.3. С.193).

<sup>6</sup> См. примеч. 5 к №146.

<sup>7</sup> Имеется в виду пребывание Буниных в Жуан-ле-Пэне с конца декабря  
1947 по конец апреля 1948 (см. №134 и сл.).

<sup>8</sup> Не установлено, о какой болезни идет речь.

<sup>9</sup> Русский дом для престарелых в расположенном к северо-западу от Па-  
рижа Кормей-ан-Паризи (Cormeilles-en-Parisis) был официально открыт Зем-  
гором в июне 1951.

<sup>10</sup> Кроме известной политической и общественной деятельницы Екатери-  
ны Дмитриевны Кусковой (урожд. Есипова, по первому мужу Ювеналиева;  
1869–1958) сотрудница Земгора Н.А.Недошивина (1895–1983) летом 1949  
также обсуждала с Тэффи возможность поселиться в доме в Кормей-ан-  
Паризи (см. письмо Тэффи к Рошиной-Инсаровой от 7 сентября 1949 –  
БАРВК. Фонд Рошиной-Инсаровой). В письме к Тэффи от 16 июня 1950 Ку-  
скова писала: «Я должна была написать Вам имена и отчества “богов” Земго-  
ра. Самый главный Бог и прелестнейший человек, Ник<олай> Савич Долго-  
полов. Его помощница, Нат<алья> Алек<сеевна> Недошивина. Вот к ним и  
следует “писать прошения” <...>. Хотят твердо сделать не богадельню, а Дом  
отдыха. Уже не знаю... В коллективный отдых русских что-то не верится. И  
вот поэтому... Поэтому все еще медлили с записью» (БАРВК. Фонд Тэффи).

<sup>11</sup> См. примеч. 3 к №167.

<sup>12</sup> Ср. №167 и примеч. 4 к нему.

177. ТЭФФИ – БУНИНУ

19 апреля 1949 г. Париж

Paris (XVII<sup>e</sup>)  
Le 19 Avril 1949

Высокочтимый Брат мой!

Скверно.

«Возрождения» мне не прислали, но общественное мнение о нем ниже низкого. Не хочется работать для него. И кроме низкого уровня литературного материала придется окунаться в знакомую свиную лужу отношений с Гукасовым. Я одиннадцать лет сидела в этой лавочке и знаю, что это такое!<sup>1</sup> Он обсчитывает, обмеривает, все своим круглым желтым глазом запоганивает. Я Вам уже писала, что он рвет на себе волосы, п<отому> ч<то> опомнился – как мог отвалить Вам такой куш<sup>2</sup>.

Я сейчас очень бедна, но не могу себя заставить написать что-нибудь для них. Тхор фальшивый, врет и трясется перед хозяином. Тхор непочтенный. Ничего не поделаешь. Надо очистить место для сотрудников «Русской мысли». И «русские мысли», выражаясь языком библейским, «изыдут афедрон»<sup>3</sup>. А афедрон и есть «Возрождение».

---

У нас мало нового. Прегельша все продолжает медленно выходить замуж<sup>4</sup>. «Пищит, а лезет»<sup>5</sup>. Обещает выпустить «Новоселье». Погода хорошая. В комнате у меня холодно. Купила уголь, но оказалось, что топить печку я больше не могу. Точка.

Сейчас занималась тем, что заново писала свою Испанию. Она была до того бездарна, что прямо до ужаса. Так дойти до последнего сраму, что уже пережить нельзя.

Доллар падает. Печататься в «Н<овом> р<усском> слове» теряет радостную сторону.

Ремизов сказал по секрету Пантелею, что он, Ремизов, признан в России классиком. Он сейчас правит Пушкина<sup>6</sup>.

Получила очень ласковое письмо от Алданова<sup>7</sup>. Не могла еще ответить ему, п<отому> ч<то> хворала. После страшнейшей спазмы (с двумя морфиями!) несколько дней нужно было, чтобы отдышаться. Напишу сегодня.

---

Не хочу думать, что Вы сидите на со-олнышке<sup>8</sup>. Уж лучше лежать пьяным на пороге кабака. Я ни за что на солнышко не сяду. А если посадят, то буду так круто ругаться, что никакого умиления не вызову. Я, главное, против этой умильности.

Простите, что накрутила ерунды. Следующее письмо будет, наверно, еще хуже.

Дорогую Верочку обнимаю. Обняла бы и Вас, да Вы, пожалуй, этого незалюбите.

Всегда Ваша

Тэффи

P.S. Ходят слухи, что Вы в мае вернетесь<sup>9</sup>. Мы с Пантелеем уже мечтаем, как придем к Вам в гости.

Публикуется по автографу (РАЛ MS.1066/5473).

<sup>1</sup> См. примеч. 17 к №63 о сотрудничестве Тэффи в газете «Возрождение» до 1937.

<sup>2</sup> См. №174.

<sup>3</sup> Ср.: «все, входящее в уста, проходит в чрево и извергается вон» (Матф. 15:17). В церковнославянском Евангелии последняя фраза передается без эвфемизма: «афедром исходит».

<sup>4</sup> Речь идет о третьем браке С.Ю.Прегель с Соломоном Георгиевичем Равницким (?–1970). 26 апреля 1949 Пантелеймонов написал Бунину: «Ви-дел Прегель – завтра будет поднят новый флаг – Ровнинская <так!>» (РАЛ MS.1066/4477).

<sup>5</sup> «Пищит, да лезет; хоть тресни, да полезай, отвечал хвостун на вопрос: как же пчелы в кулак могут пролезть в маленький леток улья?» (*Даль В.* Толковый словарь живого великорусского языка. 2-е изд. Т.2. М., 1956. С.234).

<sup>6</sup> Не установлено, имеет ли шутка Тэффи реальное основание.

<sup>7</sup> Имеется в виду письмо Алданова к Тэффи от 16 апреля 1949, в котором много места уделяется улаживанию финансовых проблем последней (БАРВК. Фонд Алданова). В своем ответе от 21 апреля Тэффи писала: «Получила 8 250 фр<анков>, посланные Вами в безумном порыве сострадания к моим немощам» (Там же).

<sup>8</sup> См. №175.

<sup>9</sup> См. примеч. 5 к №176.

178. ТЭФФИ – БУНИНУ  
<25 апреля 1949 г. Париж>

Брат Высококочтимый.  
Христос Воскрес!

Пишу Вам после двух впрыскиваний морфия, ибо ночью совсем пропадала.

Чтобы не забыть: мне нужно непременно знать, заплатил ли Вам Рогнедов остававшийся гонорар<sup>1</sup>? Тогда я буду наседать, чтобы и мне заплатил.

Пишу, кажется, нескладно, но в голове туман, а глаза спят сами собой, я-то не сплю.

Сегодня второй день праздника, и сейчас кое-кто придет поздравлять, а я совсем «не в форме». Ничего не понимаю и ужасно харевидна.

Как ужасен мой испанский рассказ. За такой позор надо бы содрать тысяч сто – и то сраму не покроет.

Теперь надо писать для «Новоселья»<sup>2</sup>. А что я могу?!

Дорогую Верочку поздравляю, целую троекратно и вспоминаю о ней многократно.

Часто говорим о Вас с Пантелеем. Его здоровье, кажется, очень неважно, но он это скрывает. Жалко его и страшно за него.

Обнимаю сердечно. Написала бы побольше, да очень уж сегодня глупа.

Всегда Ваша

Тэффи

Публикуется по автографу (РАЛ MS.1066/5474). Датируется предположительно по сопоставлению с №179 и по дате Пасхи в 1949 – 24 апреля.

<sup>1</sup> См. №179.

<sup>2</sup> Следующее произведение Тэффи, опубликованное в журнале «Новоселье», рассказ «Воля Твоя» (см. примеч. 4 к №183).

### 179. БУНИН – ТЭФФИ

27 апреля 1949 г. <Жуан-ле-Пэн>

27.4.49

Воистину Воскресе!

Трижды целуем Вас, милая, дорогая, поздравляем с Светлым праздником, просим Бога, чтобы дал Он Вам здоровья и всякого благополучия!

Опять огорчили Вы нас *чрезвычайно* Вашим морфием. Аминад когда-то написал мне «Дорогой, самый главный Иван Алексеевич!» Вот и я пишу Вам так: Дорогая, самая главная Надежда Александровна!<sup>1</sup> Еще раз умоляю Вас – опять и опять: позовите же, наконец, какого-нибудь знаменитого француза! Верю горячо, что все-таки *облегчит* он Вашу болезнь<sup>2</sup>! Помните, как дороги Вы не одним нам, а великому множеству людей, Вы, совершенно необыкновенная! Не послушаетесь – Бог Вам судья!

Простите, что только нынче собрался написать Вам (получив Ваше письмо<sup>3</sup>): последние дни тут завернуло Бог знает что – дождь, холод, ветер... И я был совсем никуда. Нынче солнце.

*Совершенно* не верю, что Ваш «испанский» рассказ ужасен. И убежден, что и для «Нов<оселья>» напишите <так!> отлично.

Рогнедов был у нас 12 апр<еля> – проездом в Италию<sup>4</sup> (теперь, слышно, его поездка с Зайцевыми уже совершилась, Зайцевы уже в Париже, скоро, говорят, и он будет там).

Остаток гонорара он мне заплатил<sup>5</sup> – я сказал, что я совсем разорен (что и правда) и не могу иначе дать рассказ. Требуйте и Вы – настойчиво.

Огорчили Вы меня и Пантелеем. Он и сам пишет, что надо идти к Вербову<sup>6</sup>.

Еще раз горячо целуем Вас.

Ваш Б.

Несколько дней тому назад был у меня на одну минуту Гукасов – за рассказом. Я дал<sup>7</sup>. А вы ужели серьезно поссорились с ним?

Публикуется по автографу (БАРВК. Фонд Тэффи). Опубликовано: Зверс. С.155-156.

<sup>1</sup> См. обращение в письме Дон Аминадо (о нем см. примеч. 4 к №28) к Бунину от 1 ноября 1948: «Дорогой, самый дорогой и самый Главный, Иван Алексеевич!» (РАЛ MS.1066/2289). Возможно, однако, что не сохранилось более раннее письмо с подобным обращением, ибо уже в 1945 Бунин употребляет ту же формулировку в письме к Тэффи: «Дорогая, милая Сестрица, самая главная Надежда Александровна!» (№114).

<sup>2</sup> См. №173.

<sup>3</sup> №178.

<sup>4</sup> 12 апреля 1949 Бунина записала в дневнике: «Был Рогнедов с испанкой. Привез 20 000 <франков> и взял рассказ <<Ночлег>> <...> Вчера были Зайцевы. Сидеть рядом приятно, а разговаривать тяжело. <...> Впрочем, они так счастливы, что едут в Италию, что даже приятно» (РАЛ MS.1067/423; Устами Буниных. Т.3. С.192); и в письме к Зурову от той же даты она добавила: «Ян читал им свои шуточные, конечно неприличные, басни. На этой платформе с ними можно сговориться» (РАЛ MS.1067/8246).

<sup>5</sup> См. №178.

<sup>6</sup> См. конец №178 и письмо Пантелеймонова к Бунину от 26 апреля 1949: «Сегодня иду к Вербову – лечиться, так лечиться, сказал попугай» (РАЛ MS.1066/4477).

<sup>7</sup> Имеется в виду рассказ «Ночлег». См. примеч. 12 к № 171.

180. ТЭФФИ – БУНИНУ  
29 апреля <1949 г. Париж>

29 апреля

Очень хорошо сказал Аминад – именно самый главный<sup>1</sup>.

Так вот – Самый Главный и Высокочитимый!

Я все забываю свою реплику на Ваш совет «знаменитого франц<узского> врача»<sup>2</sup>. Дело в том, что знаменитые меня видели. Три года тому назад уложили на две недели в постель. Потом еще на две недели. После первых двух было так же скверно. После вторых стало значительно хуже. Тогда знаменитые сказали, что у intel-

lectuels<sup>3</sup> лечить такую болезнь очень трудно. Прошлой весной возили меня к специалисту-французу, директору клиники по сердечным болезням. Просвечивал, слушал, смотрел, щупал, только что не лизнул, а то все проделал. Дал лекарство, которое ни капли не помогло, хотя принимала я его усердно и тратила сотни франков. Теперь – бросила все лекарства, и мне ничуть не хуже. Оставила только trinitrine, который ем во время спазмы, и изредка морфий, когда спазмы идут целой группой.

Вот и все. Если есть сила – выхожу, потому что очень плохо действует на психику сидеть целые дни одной. Можно спятить, сбрендить и вообще погрузиться во все эти живописные русские глаголы, определяющие помешательство.

---

В настоящее время я очень удручена Пантелеем. По-моему, ему очень плохо. Я спрашивала как-то у Тамары Ивановны, в каком состоянии его шея. Она отвечала уклончиво: «Трудно определить». Сам он не жаловался. Когда был в последний раз, я решительно потребовала, чтобы он показал, и пришла в ужас. Вся шея вплоть до затылка окружена опухолью твердой как камень. То место, которое лечил Вербов, почти поправилось, но эта новая опухоль ужасна. Согласился пойти к доктору, потому что признался, что шея его душит и болит голова. Был у Вербова. Тот велел немедленно идти в институт Кюри<sup>4</sup>. Потом телефонировал мне и признал положение очень скверным. Опухоль обнимает сосуды, идущие прямо в мозг. Операция невозможна. Нужно немедленно применить лучи, ради, лекарства, чтобы как-нибудь приостановить. В среду Пантелей пойдет к профессору у Кюри. Тамара Ив<sup>ановна</sup> не хотела его вести к Кюри, потому что «там прямо говорят, если это рак», а Пантелей истерик и совсем от этой правды пропал бы.

Мне ужасно жаль, что я такая дохлая и не могла заняться в прошлом году его операцией. Все было бы иначе. А ведь они, эти Пантелеи, даже анализа не потребовали. Тамара Ив<sup>ановна</sup> говорила, «они что-то сказали, но я не разобрала». Все так возмутительно глупо! А Пантелей решил, что он здоров, и лихо дул водку, которая разрушает клетки и работает заодно с проклятым микробом.

Простите, что так много пишу об этом. Но я очень подавлена. Вы ни слова не говорите Пантелею о том, что я написала.

Насчет Гукасова дело обстоит так: Тхор просил рассказ к маю<sup>5</sup>, но у меня ничего нет. И сил нет что-либо приличное изобразить. Кроме того, у меня глубокое личное отвращение к Гукасову, так что если что смогу написать, то предпочитаю отдать в «Новоселье».



«Возрождение», зная мою бедность, захочет отделаться грошевым гонораром, а это мне и обидно и невыгодно. Убивать себя вредной нервной работой на пользу Гукасову и на срам честному имени своему – не хочется. Ведь о «Возрождении» даже никто отзыва не дает. Берберова обещала только в том случае, если имени Бунина упомянуто не будет. На это даже Гукасов не пошел.

Интересно – сколько он заплатил Вам за рассказ? Если сам приехал<sup>6</sup>, то пришлось все-таки 15 отвалить. При этом пробормотал харкающим голосом: «На других сотрудиниках наверстаем».

У меня в комнате очень холодно. Пишу, и рука стынет. А кроме того, последнее время рука стала сама по себе писать какие-то загогулины вместо тех букв, которые я вывожу. Так что это не от небрежности такой собачий почерк.

Дорогую Верочку крепко целую.

Адамович варганит пушкинский комитет. Говорит, что Вы как будто уклоняетесь<sup>7</sup>. Сватья-баба Бербериха, кажется, устраивает отдельно свой пушкинский комитет<sup>8</sup>. Одним словом, как говаривала моя старая нянька<sup>9</sup>, «раскуражились дрожжи в поганом ведре».

Всегда Ваша верная

Тэффи

Публикуется по автографу (РАЛ MS.1066/5475). Год установлен по сопоставлению с №179.

<sup>1</sup> См. начало №179.

<sup>2</sup> См. №173 и 179.

<sup>3</sup> интеллигентов (*франц.*).

<sup>4</sup> На основе научно-исследовательского Института радия (1909) и с помощью Фонда имени Пьера и Марии Кюри, созданного в 1921, в 1935 был построен первый корпус клиники на рю Ломонд (Lhomond) в 5-м округе Парижа. В письме от 6 мая 1949 Пантелеймонов сообщил Бунину: «Вербов ничего мне не сказал, кроме того, что идите в Фондасьон <Фонд – Fondation (*франц.*)> Кюри. Я был там, но они хотят резать и предупреждают, что голова после операции будет набок. Я представил, как Вы будете изображать меня, и испугался. Пока похожу еще красивым молодым человеком» (РАЛ MS.1066/4480).

<sup>5</sup> См. №174 и примеч. 2 к нему.

<sup>6</sup> См. конец №179.

<sup>7</sup> О Пушкинском вечере 21 июня 1949 см. №185 и примеч. 5 к нему. В письмах Пантелеймонова к Бунину от 28 апреля и 9 мая 1949 читаем: «А

сегодня звонит сестрица, говорит, что Адамович ее просит быть в комитете хотя бы номинально. Намечены Бунин, Ремизов, Тэффи. Прегель раскусила, отказалась, а сестрице хочется»; «Адамович заявил, что отказывается от устройства Пушкинского вечера <...>. Вам, говорит, даже обещал гонорар, а Вы отказались. Но как же все-таки с Пушкиным? Он-то ни при чем» (РАЛ MS.1066/4478, 4481). 4 мая 1949 Бунина записала в дневнике: «Ян отказался принимать участие в Пушкинском комитете. Вчера написал об этом Адамовичу» (РАЛ MS.1067/423; Устами Буниных. Т.3. С.193).

<sup>8</sup> Берберова не фигурирует среди участников устроенных в Париже весной и ранним летом 1949 юбилейных пушкинских мероприятий (Хроника. С.316-323).

<sup>9</sup> В письме к Зайцевым от 30 июня 1940 из Сали-де-Беарна Тэффи сообщает: «Здесь была приятная встреча – нянюшка Вера Ивановна, которая здесь с Яковлевыми. Родная душа!» (БАРВК. Фонд Зайцева).

## 181. ТЭФФИ – БУНИНЫМ

*<Июнь 1949 г. Париж>*

Дорогие друзья!

Пишу Вам тайное письмо. Хочу объяснить, почему я не пожалела Ладинского<sup>1</sup>. Дело в том, что Пантелей несколько раз уже плакался, что не может никуда носа показать, чтобы его не ободрали. А они сейчас настолько без денег, что уже три раза Тамара Ивановна занимала у меня понемножку. А тысячу франков должна мне уже более месяца. Он такой кисель, что отказать не может. Недавно прибежала к ним Руманиха<sup>2</sup> и вытянула 200 фр<анков> на Роговского (лотерея)<sup>3</sup>. Потом прибежала и еще вытянула: какой-то Еврей Иваныч почувствовал себя поэтом и хочет выпустить книгу!! А бедный Пантелей под страхом смерти должен выписывать из Швейцарии лекарства – каждое впрыскивание около тысячи франков, а нужно каждый день<sup>4</sup>. Он боится идти на доклад Адамовича<sup>5</sup>, на вечер поэтов и т. д. Обдерут.

Вот Вам скорбный лист Пантелея. Теперь понимаете, в чем дело. Дело бамбук, как говорил мой покойный дядюшка.

Обнимаю обоих.

Всегда Ваша

Тэффи

Публикуется по автографу (РАЛ MS.1066/5476). Датируется предположительно.

<sup>1</sup> Возможно, речь идет об отказе купить билет на вечер поэта А.П.Ладинского (о нем см. №97 и примеч. 4 к нему), который состоялся 1 июня 1949 (Хроника. С.313). Об отношении Тэффи к Ладинскому можно судить по письму от 12 сентября 1950 к дочери Валерии: «Арестовано несколько человек с советскими паспортами, в том числе поэт Ладинский. Он

мало симпатичен, так что и не жаль. Пусть себе едет в Совдепию» (БАРВК. Фонд Тэффи).

<sup>2</sup> Л.Е.Руманова (о ней см. примеч. 3 к №137).

<sup>3</sup> Т. е. в пользу Русского дома в Жуан-ле-Пэне, которым заведовал Е.Ф.Роговский.

<sup>4</sup> См. в письме Пантелеймонова к Бунину от 2 сентября 1949: «Получил из Америки две коробки лекарства и одну коробку из Швейцарии. Теперь совершенно полный курс обеспечен, и потому уверен в своем исцелении» (РАЛ MS.1066/4493).

<sup>5</sup> В период с 19 февраля по 11 июня 1949 Адамович прочел в Объединении русских писателей и поэтов 9 лекций о современной французской литературе (Хроника. С.296-315).

## 182. ТЭФФИ – БУНИНОЙ <22 июня 1949 г. Париж>

Верочка! Милочка! Кузинеточка! Непременно приходи на мой вечер<sup>1</sup>. Мне будет очень больно, если ты не придешь! Врагов рода человеческого никого не будет. Цетлина в деревне, Зайцевых никто не приглашал.

Я спрашивала через Мартынову, предложил ли кто-нибудь билет Гукасову. Я думаю, что ради Рощиной он бы взял. Все-таки тысчонка.

Роговский продал все четыре билета по тысяче. Три по 500 вернул. Но один уже сегодня пристроила.

—

Я сегодня провела мирную ночь с Морфием в объятиях Морфея. Чувствую себя довольно хорошо. Но сейчас еще утро. Буду лежать сегодня и завтра, может быть, наберусь сил.

Очень буду счастлива, если грозный брат мой Иоанн осчастливит мой вечер<sup>2</sup>. Крепко целую.

Всегда твоя

Тэффи

Публикуется по автографу (РАЛ MS.1067/7194). Датируется предположительно по дате вечера Тэффи.

<sup>1</sup> Вечер Тэффи при участии Е.Н.Рощиной-Инсаровой (о ней см. примеч. 1 к №95) и группы артистов состоялся в зале Российского музыкального общества за границей 24 июня 1949 (Хроника. С.318). В недатированном письме к дочери Валерии Тэффи писала: «Вечер был из моих произведений. <...> Все сошло великолепно, все билеты были проданы, но зал маленький, и мы делили с Рощиной пополам. Каждая получила около 40 тысяч. Но я получила еще подарки, тысяч на десять. <...> Словом, пустила в ход все

свои таланты: писателя, поэта, драматурга, художника и композитора. Только танцевать балета не могла» (БАРВК. Фонд Тэффи).

<sup>2</sup> Не установлено, присутствовал ли Бунин на вечере Тэффи.

183. ТЭФФИ – БУНИНУ  
 <30 июля 1949 г.> Нуази-ле-Гран

Суббота

«Ах, если бы, да кабы  
 Корова встала на дыбы!»...

Великий Брат мой,

Пишу из Noisy-le-Grand, 26 av<enue> du Général de Gaulle.

Все говорят, что мне здесь очень хорошо. Им лучше знать.

Народ живет тихий. Разговариваем про абрикосы. Иногда о том, что они хороши, иногда о том, что скверны.

Комнату мою убирает молодой писатель Ди-Пи, уже выпустивший в Мюнхене книжку<sup>1</sup>. Красивый, голубоглазый и робкий.

Здоровьишко мое все то же.

Хотела быть у Вас в прошлый четверг, т. е. 10 дней тому назад, даже оделась и причесалась, но почувствовала, что не смогу, и осталась дома.

Вчера навещал меня Пантелей. Говорил, что Вы спрашивали, поспорилась ли я с «Возрождением». Нет. Дело было так: я отдала свой испанский рассказ («по примеру богов»<sup>2</sup>) Маковскому<sup>3</sup>. Гукасову он очень понравился. Перед этим я отдала новый рассказ Прегель и статью<sup>4</sup>. Просила Пантелея спросить Прегель, как она относится к моему сотрудничеству в «Возрождении». Она просила задержать мой рассказ в «Возр<ождении>», пока не выйдет «Новоселье». Я просила Маковского вернуть мне рассказ на несколько дней. Гукасов рассердился: «То дает, то берет, заплатит ей деньги, а рассказ не печатать!» Но в тот же день позвонил Маковскому: «Я погорячился. Печатайте рассказ на первом месте». На это я ответила, что я обиделась и рассказ уже отдала.

Итак, позиция такая: – я обижена. А что будет дальше, не знаю.

Не знаю, кто будет редактором. Если Мельгунов<sup>5</sup>, то мне, пожалуй, так и придется остаться обиженной. Поза для безденежного человека довольно глупая.

Меня интересует Ваше отношение к «Возрожд<ению>». Дадите ли Вы что-нибудь в следующую книжку<sup>6</sup>? Я все равно очень обездарила, так что обида – не обида, а все равно писать не могу.

Очень бы хотела получить от Вас весточку. Продолжаются ли Ваши четверговые вакханалии? Продолжает ли нравиться Алла<sup>7</sup>? Мне она очень нравится.

Дорогую Верочку сердечно обнимаю. Повторяю Вам о моей бес-  
смертной преданности.

Ваша

Тэффи

Публикуется по автографу (РАЛ MS.1066/5477). Датируется предполо-  
жительно по сопоставлению с №184 и по письму Тэффи к дочери Валерии  
от 5 сентября 1949 («Я здесь с 25-го июля» – БАРВК. Фонд Тэффи): 25 июля  
1949 – понедельник, 30 июля – суббота, в письме Тэффи пишет о четверге  
перед своим отъездом в Нуази – 21 июля.

<sup>1</sup> Ср. №185. Речь идет об Анатолии Андреевиче Духонине (псевд.  
Дар/Даров; возможно, Духонин тоже псевдоним; 1920–1997). 28 мая 1949 на  
вечере Н.В.Станюковича Духонин читал отрывки из романа «Блокада» (изд.  
на ротаторе в Мюнхене в 1945, а под названием «Солнце все же светит» в  
журналах «Грани» и «Возрождение» в 1954–1960 и отдельным изд. в Нью-  
Йорке в 1964). 25 декабря 1949 он читал свои стихи на вечере, устроенном  
Комитетом взаимопомощи новой эмиграции во Франции (Хроника. С.311,  
343). Пантелеймонов представил Духонина Бунину 18 августа 1949, а в нача-  
ле сентября Духонин читал Бунину свои стихи (письма Пантелеймонова к  
Бунину от 15 августа, 5 и 10 сентября 1949 – РАЛ MS.1066/4489, 4494, 4497).

<sup>2</sup> Т. е. следуя примеру Бунина (см. конец №179 и примеч. 7 к нему). Из-  
вестна картина «По примеру богов» (1879) художника Г.И.Семирадского  
(Н.Siemiradzki; 1843–1902).

<sup>3</sup> В письме к Бунину от 23 июня 1949 Пантелеймонов пишет о Сергее  
Константиновиче Маковском (1877–1962) как о «новом редакторе “Возрож-  
дения”» (РАЛ MS.1066/4484).

<sup>4</sup> Имеются в виду рассказ «Воля Твоя» и рецензия на сборник повестей и  
рассказов Пантелеймонова «Золотое число» (Париж, 1949), которые были  
опубликованы в журнале «Новоселье» в 1950 (№42-44. С.34-47, 224-227).

<sup>5</sup> Начиная с №5 (сентябрь–октябрь 1949), Сергей Петрович Мельгунов  
(1879–1956) был редактором журнала «Возрождение» до 1954.

<sup>6</sup> См. примеч. 12 к №171.

<sup>7</sup> Речь идет о поэтессе Алле Сергеевне Головиной (урожд. Штейгер, по  
второму мужу Gillès de Pelichy; 1909–1987), которая переписывалась с Бу-  
ниными и навещала их в Жуан-ле-Пэне и Париже в первой половине 1949  
(дневниковые записи Буниной за 31 января, 22 февраля и 5 марта 1949 –  
РАЛ MS.1067/423).

184. БУНИН – ТЭФФИ

16 августа 1949 г. <Париж>

16 авг<уста> 49 г.

Дорогая сестрица Аленушка,

Получил Ваше письмо<sup>1</sup>, простите поздний ответ! Написал бы  
раньше, если бы –

Если бы, да кабы

Петэн и Бунин встали на дыбы<sup>2</sup>.

Все лежу, все задыхаюсь, все слабею. Был вчера Беляев, обедал, все рассказывал про Америку (Вы знаете, как он рассказывает), недавно только вернулся оттуда<sup>3</sup>... Я лежал бледный, с большим сердцебиением – он ноль внимания!

Историей Вашей с «Возр<ождением>» я все же огорчен. Все же Гукас платит лучше, думаю, чем поэтесса<sup>4</sup>. У меня нет ничего для следующей книги. Предложил я Гук<асову> переиздать «Жизнь Арсеньева» (давно разошлась) – ответил: «Хорошо, выпущу в конце 1950-го года; каковы Ваши условия?» Я поблагодарил и отказался<sup>5</sup>.

Четверги оскудели. Аллы<sup>6</sup> нет. Ах, хороша! «Ах, если бы...» Если бы хоть 10 лет мне скинули, зубами бы заел!

Когда, ангел мой, вернетесь? Очень хочется видеть Вас! Когда приедете, надеюсь как-нибудь добраться до Вас!

Целую Вас крепко. Дай Бог здоровья!

Ваш раб Ив. Б.

Публикуется по автографу (БАРВК. Фонд Тэффи).

<sup>1</sup> №183.

<sup>2</sup> Ср. эпиграф к №183.

<sup>3</sup> О поездке Беляева в США см. №173.

<sup>4</sup> С.Ю.Прегель.

<sup>5</sup> См. в письме Бунина к Алданову от 1 июня 1951: «Гукасов готов издать эту книгу, но, верно, предложит в виде аванса гроши» (Новый журнал. 1984. №154. С.108).

<sup>6</sup> См. примеч. 7 к №183.

## 185. ТЭФФИ – БУНИНУ

*<Вторая половина августа 1949 г. Нуази-ле-Гран>*

Понедельник

Дорогой друг и брат!

В первых числах сентября думаю вернуться в Париж<sup>1</sup>. Не очень-то этого хочется. В комнате темно и грязно. Надо все чистить, мыть и приводить в порядок, а сил нет. Я не поправилась. Спазмы все те же.

Получила письмо от Мар<ьи> Самойловны<sup>2</sup>. Отдала его Пантелею, чтобы показал Вам. Вера Ник<олаевна> просила меня сказать Цетлинше, что «история с Алдановым ее возмущает». Я в более деликатной форме это поручение исполнила. И вот теперь это письмо. Чувствуется, что она очень этим делом мучается<sup>3</sup>.

У меня объявился новый друг – Одарченко<sup>4</sup>. В последнем письме пишет, что встретился с Зайцевым в «Возрождении» и потом объединился с ним в кафэ. Зайцев сказал, что раз «Бунин публично пока-

ялся на Пушкинском вечере<sup>5</sup>, то его можно простить и печатать в «Возрождении»».

Поздравляю с монаршей милостью.

Сказал еще, что и мне следует покаяться. Не знаю, в чем. Может быть, в том, что я не поехала к Богомолу на бал<sup>6</sup>? Других грехов за собой не знаю.

Меньшиков<sup>7</sup> водворен на место. Будет и Берберова. Полная кад- риль. Парад алё маршир<sup>8</sup>.

Вас огорчает мой разри в с «Возрожд<ением>». Ничего не поделаешь. Я дала в «Новоселье» (уже давно) рассказ и статью, большую, о Пантелее, о его новой книге<sup>9</sup>. Все уже было в наборе. Поэтесса дала мне знать, вернее, просила (но это то же самое), чтобы я подождала печататься в «Возр<ождении>», пока не выйдет «Новоселье» с моей статьей. Т<ак> к<ак> Пантелею очень хотелось, чтобы статья о нем была напечатана, то я и просила Маковского дать мне мою рукопись на несколько дней – дня на три. Он дал. Гукас рассердился и сказал: «Если она то дает, то не дает, то мне ее совсем не надо». Но в тот же день одумался и сказал: «Я погорячился, надо печатать на первом месте». Маковский мне позвонил, но я не могла дать рукопись, п<отому> ч<то> уже обещала Пантелею и Прегель ее задержать. Поэтому попросила передать Гукасову, что я, к сожалению, ее уже отдала. Конечно, поэтесса и половины того не заплатит, что Гукас, но мне не хотелось обидеть Пантелея, которого я очень люблю. И хорошо сделала. Он очень огорчен Адамовичем<sup>10</sup>. А сейчас совсем не подходящий момент, чтобы его еще огорчать.

Апофеоз: торжество Зайцева на всех фронтах. У него собственная газета, собств<енный> журнал в Париже, толстый журнал в Америке<sup>11</sup>, Союз писателей, ИМКА<sup>12</sup>, он прощает покаявшегося Бунина.

Наш поэт Ди-Пи, Анатолий Духонин, натирая по утрам пол в моей комнате, рассказывает много интересного о сов<етских> писателях. Он был в их кругу. Бунина там очень чтут. Вам будет интересно с ним поговорить. Он перенес всю осаду Петербурга. Сегодня дает мне прочесть свои воспоминания<sup>13</sup>.

Почему Бахрах так обидел Яшу<sup>14</sup>? Ревнует Вас к нему? Ох уж эти страсти!

Пантелей говорил, что Вы ждете Галину и Маргу<sup>15</sup>. Это хорошо, что они приедут. Как-нибудь проживут не хуже, чем в Германии.

Я начала писать о Мережковских, но выходит скверно и уж очень нелюбовно. Боюсь печатать<sup>16</sup>.

О «Возрождении» не очень жалею. Уж очень противен Меньшиков и компания. Да и иметь дело с Гукасом мне не под силу. Кроме того, я так иссякла, что с меня и «Н<ового> р<усского> слова» довольно.

Обнимаю сердечно Вас обоих. Скоро увидимся.  
Всегда Ваша сестра

Тэффи

Публикуется по автографу (РАЛ MS.1066/5478). Датируется предположительно по сопоставлению с №184 и по приводимому в примеч. 1 письму Пантелеймонова.

<sup>1</sup> Тэффи вернулась в Париж 9 сентября 1949 (письмо Пантелеймонова к Бунину от 10 сентября 1949 – РАЛ MS.1066/4497).

<sup>2</sup> Насколько известно, письмо не сохранилось.

<sup>3</sup> О конфликте Цетлиной с Алдановым см. публикацию: *Пархомовский М.А.* Конфликт М.С.Цетлиной с И.А.Буниним и М.А.Алдановым: По материалам архива М.С.Цетлиной <...> // Евреи в культуре Русского зарубежья. Т.4. С.317-324.

<sup>4</sup> Юрий Павлович Одарченко (1903–1960) – поэт.

<sup>5</sup> Бунин был председателем на состоявшемся 21 июня 1949 вечере Объединения русских писателей и поэтов по случаю 150-летия со дня рождения Пушкина (Хроника. С.317). Текст его вступительного слова приводится в изд.: *Седых А.* Далекое, близкое. С.221. Не ясно, шла ли речь об этом выступлении в разговоре Зайцева с Одарченко.

<sup>6</sup> Александр Ефремович Богомолов (1900–1969) – посол СССР во Франции в 1944–1950 (подробнее о его дипломатической карьере см.: *Минувшее.* Вып.7. С.470). Об отношении Тэффи к попыткам советского посольства «заманивать» видных эмигрантов ср. ее заявление в письме от января 1947 к обвинившей ее в «покраснении» А.В.Тырковой-Вильямс: «Посольство посылает мне и Бунину приглашения на все пышные приемы и рауты. Я ни на одном не была!» (БАРВК. Фонд Тырковой-Вильямс). Сохранились приглашения от Богомолова на «национальный праздник» 7 ноября 1946 и на обед 18 января 1947 (БАРВК. Фонд Тэффи).



<sup>7</sup> Яков Михайлович Меньшиков (1888–1953) – журналист и общественный деятель. О нем см. письмо Ремизова к Н.В.Кодрянской от 22 апреля 1949: «Этот Меншиков <так!>, сын известного журналиста из “Нов<ого> Времени»». С отцом не был знаком, а сына встречал: веселый сумасшедший, словесное недержание, много знает, но все в каше слов и, как у всех неудачников, мания величия» (*Кодрянская Н. Ремизов в своих письмах*. Париж, 1977. С.121).

<sup>8</sup> Ср. в конце гл. 13 второй части романа Н.С.Лескова «Соборяне»: «– Ну а теперь полно здесь перхать. Алё маршир в двери! – скомандовал Термоседов...». Искаженное французское и немецкое слова «алё маршир» здесь означают «ступай вон» (*Лесков Н.С. Собр. соч.*: В 6 т. Т.4. М.: Экран, 1993. С.253, 614).

<sup>9</sup> См. примеч. 4 к №183.

<sup>10</sup> По всей вероятности, речь идет о рецензии Адамовича на книгу Пантелеймонова «Золотое число» (*Русские новости*. 1949. №217, 29 июля. С.4). Адамович сравнивает Пантелеймонова с Осоргиным и отдает предпочтение последнему.

<sup>11</sup> Т. е. газета «Русская мысль», журнал «Возрождение» и «Новый журнал».

<sup>12</sup> Т. е. изд-во «YMCA-Press» (название от инициалов «Young Men's Christian Association»). Париж, 1925–1940, 1945– до наст. времени), в котором выходило несколько книг Зайцева и до, и после войны (см. указанную в примеч. 6 к №155 библиографию произведений Зайцева).

<sup>13</sup> См. №183 и примеч. 1 к нему.

<sup>14</sup> В письме к Бунину от 15 августа 1949 Пантелеймонов писал: «Ставроп передавал, что Бахрах написал пасквиль на Яшу» (MS.1066/4489). Речь идет о подписанном «Барон Брамбеус» фельетоне А.В.Бахраха о Я.М.Цвибаке, приехавшем во Францию из Нью-Йорка летом 1949 (о нем см. примеч. 2 к №144). Фельетон начинался следующим образом: «Отрастив за океаном брюшко, достаточно внушительное, чтобы самого себя принимать за человека с весом, Семочка Тучных, один из тех шустрых репортеров, которых все в один голос готовы считать “добрым малым”, решил, что пора и ему осчастливить своим посещением старушку-Европу...» (*Барон Брамбеус <Бахрах А.В.>. Американский житель // Русские новости*. 1949. №219, 12 августа. С.6). 18 августа Бахрах и Цвибак оказались вместе на очередном «четверге» Буниных, и на следующий день Пантелеймонов написал Бунину: «Вчерашний вечер у Вас мне доставил особое, острое удовольствие. Великолепие Яши, смущенность Бахраха (как он в момент почувствовал: “Эх, не надо было так писать”))» (РАЛ MS.1066/4489).

<sup>15</sup> Возможно, Тэффи ошибается, ибо в письме к Бунинной от 9 августа 1949 М.А.Степун не упоминает о намечаемой поездке во Францию (РАЛ MS.1067/6985). См. также №187–188.

<sup>16</sup> Мемуарный очерк Тэффи «О Мережковских» опубликован в газете «Новое русское слово» 29 января 1950 (№13792. С.2).

186. ТЭФФИ – БУНИНУ  
<Середина сентября 1949 г. Париж>

Пятница  
Вечер

Вот, друг дорогой. Вернулась в Париж, да неделю и пролежала. Думаю, что бесконечные грёзы подействовали. Да так подействовали, что даже морфий перестал действовать. Во вторник совсем помирала. Ни trinitine, ни морфий не могли сладить с проклятой моей жабой. Однако молодой организм взял свое. Выжила. Но ослабела как сидорова коза. Еле пишу. Лежу и молчу. Даже по телефону не говорю. Нет сил. Но сегодня уже могу есть.

Начала в Noisy писать о Мережковских<sup>1</sup>. Не очень сладко. А теперь приснилась мне Зина – тянет куда-то с собой и капризно кому-то кричит – «Нет, она к нам, она к нам!». Она ведь ведьма, Зина-то, вот сердится за статью и перетягивает меня на тот свет. Ну да я тоже не из тихеньких. Трудно о них писать с нежностью. Они были действительно какие-то нелюди – нежить. Оттого его и тянуло к угодуникам – около святых всегда нечистая сила греховно славословила.

На будущей неделе рассчитываю добраться до Жака Оффенбаха<sup>2</sup>. А пока шлю привет, дорогую Верочку крепко целую.

Звонила Цетлина, хочет перед отъездом повидаться. Ей сказали, что я больна.

От Мартыновой очень давно ни звука. Беспokoюсь, что с ней.

Всегда Ваша верная

Тэффи

Публикуется по автографу (РАЛ MS.1066/5479). Датируется предположительно по сопоставлению с письмом Тэффи к дочери Валерии от 20 сентября 1949: «Я как приехала в Париж, так сразу заболела. <...> Неделю пролежала, так ослабела от спазм и морфия. Сейчас отлежалась и уже сегодня выходила» (БАРВК. Фонд Тэффи).

<sup>1</sup> См. примеч. 16 к №185.

<sup>2</sup> 1, rue Jacques Offenbach – постоянный парижский адрес Буниных с сентября 1920.

187. ТЭФФИ – БУНИНУ  
4 октября <1949 г. Париж>

4 октября

Конечно, мой *второй* этаж  
Отнять способен Ваш кураж.  
А вот когда б была я Алла,  
Вам бы и *трех* казалось мало...

Дорогой друг!

Явите божескую милость. Напишите мне новый адрес (если они переехали) Марги и Галины<sup>1</sup>. Они так мило меня поздравили<sup>2</sup>, что я хочу им ответить и, если удастся, сделать маленький подарок. Пишет мне всегда Марга, а Галина только «присоединяется». Но и это очень ценно.

Пантелей собирается ползти к Вам в четверг. Надеюсь, Вы больше не станете его уговаривать пить вино. Уж очень это было бы некрасиво и даже жестоко. А вернее – легкомысленно, – что ничуть не лучше.

Рассказывал ли он Вам, как его порадовал Галич? Напечатал его письмо, с подписью, как статью! Эдакая наглость! И теперь требует, чтобы Пантелей скандалил – редакция, мол, обязана восстановить пропущенные ею комплименты Галичу. Я предсказывала Пантелею великие беды от дружбы с Галичем. Галич скандалист и человек *нечестный*. И напрасно Пант<елей> вязался в эту Менделеевщину. Галичу самому трудно отпарировать удары Некрасова – он и прячется за Пантелея. А тому нельзя печататься в «Н<овом> р<усском> с<лове>»<sup>3</sup>. Пант<елей> так напуган этой наглостью, что даже боится ответить Галичу. Да и лучше подольше помолчать, чтобы тот остыл<sup>4</sup>.

Шлю Вам мой самый сердечный привет и жалею, что не могу повидать Вас.

Всегда Ваша

Тэффи

Публикуется по автографу (РАЛ MS.1066/5480). Год установлен предположительно по сопоставлению с упоминаемым в примеч. 2 письме М.А.Степун и Кузнецовой.

<sup>1</sup> См. начало №188.

<sup>2</sup> Речь идет о письме М.А.Степун (с припиской Кузнецовой) от 14 сентября 1949, которое начинается: «Дорогая Надежда Александровна, от всей души поздравляю Вас со днем Вашего Ангела» (БАРВК. Фонд Тэффи).

<sup>3</sup> Возможно, имеется в виду, что Пантелеймонову, как носителю советского паспорта, сотрудничество в подчеркнуто антисоветской газете было противопоказано. Однако, поскольку такое сотрудничество давно поощрял именно Галич (см., например, в его письме к Бунину от 1 ноября 1948: «писать в “Нов<ом> русск<ом> слове” это все-таки паспорт, что ты не сталинское отребье. Мне хотелось бы, чтобы такой даровитый писатель, как Пантелеймонов, смыл с себя это гнусное клеймо». – РАЛ MS.1066/2582), не исключено, что оно поэтому казалось лично Тэффи нежелательным.

<sup>4</sup> 7 августа 1949 Галич напечатал в газете «Новое русское слово» статью «Менделеев» (№13617. С.2), на которую Владимир Андреевич Некрасов отозвался статьей «Кое-что о личном мнении и научном объяснении»: «совершенно необходимо отметить ошибочность его <Галича> мнения о нена-

учности творчества Менделеева. “Личному мнению” г. Галича мы противопоставим сотни и сотни (без преувеличения) “личных мнений” физиков, химиков не только признанных, но неоспоримо авторитетных» (Новое русское слово. 1949. №13636, 26 августа. С.2).

В письме к Бунину от 29 сентября 1949 Пантелеймонов описывает дальнейший ход событий: «Сегодня неожиданно получил из Нью-Йорка вырезку из “Нового русского слова” с... моей статьей. <...> Взяли и напечатали. Статья научного характера, по поводу статьи Галича о Менделееве. Получилась сия история, очень меня напугавшая, так: <чтобы> утешить дядю Леню <Галича>, я послал ему письмо, предоставляя право использовать частично или в целом, *когда он будет отвечать* напавшему на него проф. Некрасову. Вместо этого наш милый дядя, выкинув обращение, сделал из этого статью, так что получилось, что я написал ее для “Нового русского слова”. Редакция вдобавок поместила лестное для меня примечание. Сегодня же пошлю Галичу матерное письмо – пальцем лишил невинности меня» (РАЛ MS.1066/4506).

Пантелеймонов писал, в частности, что, несмотря на ее гениальность, «своей системы Менделеев не вполне оценил» (О Менделееве // Новое русское слово. 1949. №13667, 26 сентября. С.2). В отличие от Тэффи, Пантелеймонов относился к этому эпизоду спокойно, написав ей 26 октября 1949: «Галича я не виню. Он не просил ведь меня выступить, я сам. И благодаря ему редакция меня вознесла даже» (БАРВК. Фонд Тэффи).

### 188. БУНИН – ТЭФФИ

<После 4 октября 1949 г. Париж>

Спешу Вам ответить, дорогой друг, – адрес Марги (Stepun) и Г<алины> Н<иколаевны> все тот же<sup>1</sup>:

Frau G.Kusnetzova,  
Wendle-Dietrich Str<аße> 58,  
München 19,  
Deutschland,  
Allemagne.  
U.S.A. Zone.

Алла? Уж какая там Алла теперь<sup>2</sup>! Последнее время совсем околеваю. Кроме приступов удушья и боли в груди – кровь, кровь...<sup>3</sup> Целую Ваши ручки и ножки. Спешу дописать – идут на почту.

Ваш Сухово-Кобылин<sup>4</sup>

Кончили Мережковских<sup>4</sup>? Страшно интересуюсь.

Публикуется по автографу (БАРВК. Фонд Тэффи). Датируется предположительно по сопоставлению с №187.

<sup>1</sup> См. начало №187. Как Бунин сообщил Алданову в письме от 16–17 ноября 1949 (Новый журнал. 1983. №153. С.157), Кузнецова и Степун вскоре уехали из Германии в Нью-Йорк, куда они должны были прибыть 10 ноября (дневниковая запись Буниной за 12 ноября 1949 – РАЛ MS.1067/425).

<sup>2</sup> См. эпиграф к №187.

<sup>3</sup> См. №150 и примеч. 2 к нему.

<sup>4</sup> В письме Бунина к Пантелеймонову от 7 июня 1949 та же самая подпись, а в письме от 13 марта 1949 он шутит: «это у *академика* Сухово-Кобылина были копыта» (Наше наследие. 2001. №56. С.10-11). Драматург А.В.Сухово-Кобылин (1817–1903) был, как и Бунин, почетным академиком по разряду изящной словесности (с 1902); он умер на Лазурном берегу Франции в Больё-сюр-мэр.

<sup>4</sup> См. №185 (примеч. 16) и 186.

### 189. ТЭФФИ – БУНИНУ <Декабрь 1949 г. Париж>

Дорогой друг!

Вот лежу второй месяц. Встать не могу, слаба. Темпер<атура> 35,5. Встану – падаю. Анемия! Пожалуйста, сообщите мне спешно, сколько красных шариков у Вас было, когда Вас лечили от анемии? И какие Вам делали впрыскивания? Мне впрыскивают какую-то гадость, от которой очень больно, а другого толку нет<sup>1</sup>.

Простите за почерк. И таким писать трудно.

Обнимаю и жалею, что не скоро увидимся.

Искренно Ваша

Тэффи

Декабрь 1949 г.<sup>2</sup>

Публикуется по автографу (РАЛ MS.1066/5481). Датируется предположительно по пометке Бунина.

<sup>1</sup> В письмах к дочери Валерии за конец 1949 Тэффи сообщает о ходе своей болезни: «Был припадок печени. Теперь поправляюсь» (20 октября); «Я долго не писала, п<отому> ч<то> была больна. <...> Печень вызвала страшное кишечное расстройство. <...> Вот сегодня мне гораздо лучше. Мучает ужасная слабость» (28 октября); «Я все еще лежу. Из-за слабости. <...> Совсем не понимаю причину слабости. Спазмы меня оставили. <...> Может быть, анемия?» (21 ноября); «Строго поговорила с Вербовым, кот<орый> велел мне съесть 40(!) кусков сахара в день. Сахар укрепляет мышцы сердца. Я сладкого не люблю, меня тошнило, было кисло в горле, и я ничего уже не могла есть. Провела так два дня и сказала Вербову, что это в чеховские времена лечили по вдохновению, а теперь делают анализ крови. Нужно сосчитать количество красных шариков, их оказалось 3 миллиона вместо 5. Значит, просто анемия. Прописал *riqûre* <укол (франц.)>» (5 декабря) (БАРВК. Фонд Тэффи).

<sup>2</sup> Вписано Буниным.

190. БУНИН – ТЭФФИ  
27 декабря 1949 г. <Париж>

Милая Сестрица, дорогой Друг мой, поздравляем Вас с наступающим Новым годом, дай Вам Бог здоровья, здоровья и здоровья!

И не вижу Вас, и написать Вам, как следует, не могу – все слабею и слабею, лежу и глотаю всякое от удушья<sup>1</sup>.

Целуем Вас сердечно!

Ваш Ив. Б.

27 дек<абря> 49 г.

Публикуется по автографу (БАРВК. Фонд Тэффи). Опубликовано: Бабореко. С.132. Адрес: 59, rue Voissière, Paris.

<sup>1</sup> Бунин страдал астмой и эмфиземой легких.

191. ТЭФФИ – БУНИНУ  
2 января 1950 г. <Париж>

2 января 1950

Медленно гнусная  
Пора катится.  
Поддыхает грустная  
Каракатица.

Дорогой Друг и Брат!

Вот и дотянули до пятидесятого. Поздравляю и желаю того, чего у меня нет: здоровья, денег, работоспособности, душевного спокойствия и радостей. Дай Вам Бог.

Я поправляюсь. Огромная рана на ноге (не то карбункул, не то флегмона) затягивается. Но нужно откуда-нибудь раздобыть два миллиона недостающих красных кров<яных> шариков<sup>1</sup>. Не одолжите ли Вы мне своих?

Насчет Вас много наслышаны. Будто ели Вы курятину у Рубинштейна<sup>2</sup>, и было народное возмущение, ибо народ рассчитывал на гусятину, а Вы не захотели, и «из-за одного тирана страдай все»<sup>3</sup>.

Правда ли, что будет газета? Думаю, что не будет<sup>4</sup>. Если бы назревала, так меня бы пригласили. Или, может быть, боялись обеспокоить?

А вот меня очень беспокоит Павловский. Не слышали ли Вы о нем? Поправляется ли?

Шлю самый сердечный привет Вам и всем Вашим.

Искренно преданная сестра

Тэффи

Публикуется по автографу (РАЛ MS.1066/5482).

<sup>1</sup> См. приводимое в примеч. 1 к №189 письмо Тэффи к дочери Валерии от 5 декабря 1949.

<sup>2</sup> Имеется в виду деятель Земгора и бывший сотрудник Лиги наций Яков Львович Рубинштейн (1879–1963).

<sup>3</sup> Источник цитаты не установлен.

<sup>4</sup> В недатированном письме к Алданову от конца 1949 – начала 1950 Тэффи пишет: «У нас говорят “о газете Алданова”, которая вот-вот должна начаться» (БАРВК. Фонд Алданова). О переговорах по поводу основания новой русской газеты в Париже (по-видимому, в противовес газете «Русская мысль») Бунин писал Алданову 27 июля 1949: «О газете Вы, думаю, уже все знаете теперь от Полонских. Павловский надолго <...> уехал куда-то на Ривьеру, м<ожет> б<ыть>, увидит Вас. Собрание в кафе <...> не состоялось: Павл<овский> на это собрание не был приглашен. <...> Газета, повторяю, может быть только еженедельная, а для такой вполне достаточно денег Павловского» (Новый журнал. 1983. №153. С.154). (О М.Н.Павловском см. примеч. 3 к №158.) Еще 6 июня 1951 Я.Б.Полонский записывает в дневнике: «Был у Бунина. Очень похудел. Сидит в постели. Убогая комната, лекарства. Тяжело дышать. Но всем интересуется и в первую очередь – будет ли газета. Спрашивает (если деньги будут), следует ли выпустить газету до или после каникул. Ему не терпится, хочет поскорее» (Иван Бунин во Франции. Дневник Я.Б.Полонского / Публ. Е.Г.Эткинда // Время и мы (Тель-Авив). 1980. №56. С.302). Издание новой газеты не состоялось.

192. ТЭФФИ – БУНИНУ  
10 февраля <1950 г. Париж>

10 февраля

Дорогой друг и Брат!

Вот я и не умерла. Но молодой организм взял свое.

А жизнь кипит.

Я написала статью о Мережковском, не очень-то сладенькую. Она уже напечатана<sup>1</sup> и страшно разъярила Марью Самойловну. Галич написал Пантелею, будто она кричит, что это Яша<sup>2</sup> меня купил. Как Вам это нравится? За такие слова, если будет доказано, притяну ее к ответу<sup>3</sup>.

А пока что пишу о З.Гиппиус<sup>4</sup>. Семь бед один ответ.

Читала Вашего «“Третьего Толстого”». Очень любовалась отзывом о «Двенадцати»<sup>5</sup>. Много в нем настоящей правды. Спасибо.

Я еще не выхожу, но как только соберусь с силами, непременно (буде Вы захотите) загляну к Вам.

Сегодня заходила ко мне Банин. Она все-таки милочка и душечка, и зубки у нее прелестные. Очень она мне нравится.

Рогнедов пропал без вести<sup>6</sup>. Что-то за него страшно.

Собирался устраивать Ваш грандиозный юбилей<sup>7</sup>. Что ж – дело доброе, если миллионное не только для него. Но он никогда никого не надувал.

Рада буду получить от Вас весточку.

Пишу о Зине со страхом. Уж очень она колючая.

Дорогую Верочку обнимаю.

Шлю самый сердечный привет.

Ваша верная

Тэффи

Публикуется по автографу (РАЛ MS.1066/5483). Год установлен по сопоставлению с приводимым в примеч. 3 письмом Пантелеймонова к Бунину.

<sup>1</sup> См. примеч. 16 к №185.

<sup>2</sup> Я.М.Цвибак.

<sup>3</sup> В письме от 9 февраля 1950 Пантелеймонов сообщил Бунину: «Галич пишет, что Марья Самойловна заплывала весь телефон – в великом гневе звонила ему по поводу Мережковского, как Тэффи “смела”» (РАЛ MS.1066/4514). См. также в письме Тэффи к Цвибаку от 10 февраля: «Галич написал Пантелеймонову, будто <Марья Самойловна – в печатном тексте «Н.Н.»> пришла в бешенство от моей статьи о Мережковском и кричит, что это Вы, Яша, меня купили, т<ак> к<ак> Вы ненавидите Мережковских за их высокомерие по отношению к Вам. А я-то, ничего не знаячи об этой купле-продаже, сижу тихо и пишу о З.Гиппиус. Теперь не знаю, сколько с Вас заломить за Гиппиус. Тысяч сто не мало?» (*Седых А. Н.А.Тэффи в письмах // Воздушные пути (Нью-Йорк). 1963. №3. С.201-202*). 25 апреля 1951 Тэффи написала Цетлиной: «До меня дошли слухи, которым я никак не могла и не хотела поверить. <...> А слухи эти такие, будто бы Вы на меня рассердились за... нелестное мнение о характере Мережковских! Но ведь я писала *честно* только то, что видела и слышала. <...> Мои воспоминания страдают скорее слащавостью, а уж никак не несправедливой злобой. Ни от одного слова не отрекусь. Все правда и даже неполная правда. Вы их не знали, не видели вплотную» (Отдел рукописей библиотеки Иллинойского университета (США). Фонд С.Ю.Прегель и В.В.Руднева).

<sup>4</sup> См. примеч. 3 к №172.

<sup>5</sup> Мемуарный очерк Бунина «“Третий Толстой”» опубликован в газете «Новое русское слово» 1–3 января 1950. (№13764-13766) и вскоре вошел в его «Воспоминания» (с.201-236). Филиппика Бунина о Блоке и его поэме «Двенадцать» (1918) занимает значительное место в очерке (с.212-223 в книжном варианте).

<sup>6</sup> Ср. в письме Тэффи к дочери Валерии от 29 февраля 1950: «Я все удивляюсь – куда пропал Рогнедов. Сегодня читаю в рус<ско>-америк<анской> газете, что он в Нью-Йорке и выпускает книгу об Испании, в которой участвуют 30 знаменитейших писателей Европы. Из русских Бунин, Алданов и Тэффи» (БАРВК. Фонд Тэффи).

<sup>7</sup> 12/22 октября 1950 Бунину исполнилось 80 лет. (В результате неправильного применения в XX веке нового стиля к датам рождения XIX века



празднование дня рождения Бунина иногда «колебалось» между 22 и 23 октября.) Стараниями Рогнедова был создан Comité pour célébrer le 80<sup>me</sup> anniversaire de l'écrivain Ivan A. Bounine (Комитет по празднованию 80-летия писателя И.А.Бунина), в который вошли Алданов, французские писатели А.Жид, Р.Мартен дю Гар, Ф.Мориак, А.Моруа, К.Фаррер, французский ученый Ф.Амбриэр и американская писательница Перл Бак. О перипетиях организации юбилея см. письма Бунина к Алданову от 20 января 1950 и сл. (Новый журнал. 1983. №153. С.158-159, 161-163, 166-168). Ввиду плохого состояния здоровья юбиляра отказались от банкетов и других публичных торжеств, и с помощью членов комитета были напечатаны юбилейные статьи о Бунине во французской и американской прессе (тексты и переводы статей Жида и Алданова приведены в: Новый журнал. 1983. №153. С.168-172) и организован сбор денег для Бунина (см. письмо Рогнедова к Бунину от 19 сентября 1950 – РАЛ MS.1066/4777; см. также №200 и примеч. 3 к нему). Юбилей отмечался многолюдным сборищем в квартире Буниных вечером 22 октября 1950, когда юбиляра поздравляли друзья, почитатели и представители общественных организаций (Земгор, Институт восточных языков, Одесское землячество, Морское собрание и др.), и в узком кругу 23 октября, когда приходили самые близкие друзья (дневниковые записи Буниной за 21–23 октября 1950 – РАЛ MS.1067/426). В письме от 3 ноября 1950 Тэффи написала дочери Валерии: «Не помню, писала ли я тебе, что была на юбилее Бунина. Довезла меня Мартынова. Народу была масса. Меня фильмовали с Буниным и вчера звонили по телефону, что я вышла совсем ведеттой <кинозвездой (франц.)> и хотят фильмовать меня дома у меня. А мне лень» (БАРВК. Фонд Тэффи).

193. ТЭФФИ – БУНИНУ  
<25 апреля 1950 г. Париж>

Вторник

Дорогой друг и брат!

Узнала, что Вы уезжаете в субботу<sup>1</sup>, и мне хочется повидаться на прощание. Думаю, если смогу, приехать к Вам в четверг, к 6 часам. Но если Вам это неудобно, то я оставлю Вам записку, что, мол, была – вот и все. Но хотелось бы Вас повидать. Такая была у меня плохая зима, что никуда не могла пойти.

Сердечно обнимаю и, если можно, то до четверга, не надолго засяду, а только взглянуть.

Ваша всегда

Тэффи

Публикуется по автографу (РАЛ MS.1066/5484). Датируется предположительно по указанной в примеч. 1 дате отъезда Буниных: 25 апреля 1950 – вторник.

<sup>1</sup> В субботу 29 апреля 1950 Бунины отправились в Жуан-ле-Пэн, где они жили в Русском доме до 29 июня.

194. ТЭФФИ – БУНИНУ  
<27 апреля 1950 г. Париж>

Четверг

Дорогой друг и брат!

Очень хотела пойти сегодня взглянуть на Вас<sup>1</sup>, но силы изменили. Ослабела как муха, и кружится голова. Боюсь выйти.

Христос с Вами. От всей души желаю здоровья и бодрости. А я скасаю.

Увидимся летом, е.б.ж.<sup>2</sup>

Всегда Ваша преданная

Тэффи

Дорогой Верочке привет<sup>3</sup>.

Публикуется по автографу (РАЛ MS.1066/5485). Датируется предположительно по сопоставлению с №193: 27 апреля 1950 – четверг.

<sup>1</sup> См. №193.

<sup>2</sup> Если буду жив – аббревиатура, часто употреблявшаяся Л.Н.Толстым.

<sup>3</sup> В дневниковой записи за 24 апреля 1950 Бунина пишет: «Мы с М.И.<Ставровой> отправились к Тэффи. Вид удивительный, раза два был припадок. Смеялась, рассказывая о В.Р.<Мартыновой>. Но радости от Тэффи не получаешь» (РАЛ MS.1067/426).

195. ТЭФФИ – БУНИНУ  
<19 сентября 1950 г. Париж>

Вторник

Дорогой Брат!

Передаю Вам последний привет от Вашего хорошего друга Пантелея<sup>1</sup>.

Он Вас свято любил.

Последний день его жизни был какой-то хаос страдания. Он не мог глотать, не мог дышать.

В четыре часа утра очнулся, тихонько сполз с постели на подушку, на которой на полу лежала Тамара Ивановна. Сказал ей:

– Зажги лампадку.

Она отвечала:

– Лампадка все время горит.

– Нет, дай ее сюда ко мне. И дай икону.

Она все принесла, поставила рядом с ним.

Он поцеловал руку своей маленькой жены, погладил ее по голове и спокойно сказал:

– Я думаю, что я умираю.

И закрыл глаза. И все было кончено<sup>2</sup>.

Пишу Вам, дорогой Брат, эту грустную новость, п<отому> ч<то> знаю, что Вы Пантелея любите, и Вам будет хорошо знать, что он так красиво ушел.

Я больна, давно уже не выхожу и последнее время его не видела. Не увижу и теперь, п<отому> ч<то> не могу быть ни на панихиде, ни на похоронах.

Очень мучаюсь за «Маленькую»<sup>3</sup>. Она в болезненно экзальтированном состоянии, при этом совершенно одна, ничего не понимает, ничего не может и все только прислушивается, «чего бы “Он” хотел».

«Он» все старался написать Вам. Не знаю, успел ли<sup>4</sup>. Сил совсем не было.

Вот, дорогой Брат, живите долго и хорошо. Вас любят и хотят Вашей жизни долгой и хорошей.

Верная Ваша сестра

Тэффи

Публикуется по автографу (РАЛ MS.1066/5486). Датируется предположительно по указанной в примеч. 1 дате смерти Пантелеймонова: 19 сентября 1950 – вторник.

<sup>1</sup> Пантелеймонов скончался 17 сентября 1950.

<sup>2</sup> Текст от «Последний день его жизни» до «И закрыл глаза» вошел в слегка измененной форме в некролог Тэффи «Мой друг Борис Пантелеймонов» (Новое русское слово. 1950. №14044, 8 октября. С.2).

<sup>3</sup> Т.И.Пантелеймонова.

<sup>4</sup> Последнее сохранившееся письмо Пантелеймонова к Бунину написано 8 сентября 1950 (РАЛ MS.1066/4527).

196. БУНИН – ТЭФФИ

24 сентября 1950 г. <Париж>

Воскресенье,  
24 сент<ября> 50 г.

Дорогой друг, родная моя, мне еще позавчера сказали и дали Ваше письмо<sup>1</sup>, но у меня не было сил написать Вам и по моей великой слабости, и по тому, как разорвала мне сердце эта страшная весть. С годами тупеешь к потере близких, знакомых, но тут я так плакал, как давно, давно не плакал. Я только теперь узнал, как я любил Его! *Но молю Вас и себя – будем мужественны! Невзираю даже на то, как Он*

умер! эта лампадка, иконка! Целую Вас, Ваши руки с бесконечной любовью.

Весь Ваш Ив. Б.

Скажите Тамаре Ивановне, как страдаю я и за нее и молю Бога дать ей сил!

Публикуется по изд.: Последний классик. Почтовая проза И.А.Бунина. С.12. Письмо хранится в Архиве-библиотеке русского зарубежья Российского Фонда культуры (Москва).

<sup>1</sup> №195.

### 197. ТЭФФИ – БУНИНУ

*<Конец сентября – начало октября 1950 г. Париж>*

Дорогой друг и брат,

Ваше ласковое письмо<sup>1</sup> очень меня растрогало.

Из «Н<ового> р<усского> слова» просили меня написать о Бор<исе> Пант<елеймонове>. Я превозмогла свою слабость (очень мне плохо!) и написала, как могла, т. е. очень плохо. Много упоминаю о его благоговейной любви к Вам<sup>2</sup>. Я довольна, что написала, – мне стало легче. Если бы Вы могли послать о нем хоть несколько строк! Вам тоже было бы легче, и ему в целом замкнутом кольце его жизни была бы яркая радость.

—

НВ<sup>3</sup>. А жизнь течет. Как помойная канава. «Русская мысль» порадовала: «Горкин Шмелева насколько ярче и глубже дает душу русского человека, чем прославленные Платон Каратаев и Аким Льва Толстого»<sup>4</sup>.

Вот бесстыдники!

—

Будьте осторожны с доктором Беляевым. Он хороший человек, но совсем больной. Ходит и плетет все, что взбредет в голову. Был на панихиде и нашел, что у Пант<елей> очень потемнело лицо. Решил – значит, отравился цианистым кали. Почему? Вероятно, пришли арестовывать. И плетет всюду эту ерунду.

Решил, что Пант<елей> неженат, и тоже говорит как факт. А я сама видела их брачный контракт.

Про меня у Крымова<sup>5</sup> сказал, что я морфиноманка и только при-творяюсь, что у меня спазмы. Все ахали и верили – говорит врач. А я вообще пользовалась морфием не чаще, чем два раза в месяц, *по настоянию* врачей, когда была опасность для жизни и нужно было прервать спазмы.

Беляев чудный человек, но сейчас стал опасным.

Простите, друг дорогой, за всю эту тяжелую гиль. Очень уж тошно.

Храни Вас Бог.

Вы нам всем *очень* нужны.

Особенно мне.

Ваша верная

Тэффи

Публикуется по автографу (РАЛ MS.1066/5487). Датируется предположительно по №196 и по дате появления некролога Тэффи о Пантелеймоне.

<sup>1</sup> №196.

<sup>2</sup> О некрологе Тэффи см. примеч. 2 к №195. О любви Пантелеймонова к Бунину Тэффи пишет, например: «Булнина обожал и умилялся над ним, открывая в нем черты совсем для нашего знаменитого писателя нехарактерные. <...> Бунинскую речь, острую, меткую и смелую, он превращал любовью своей в тихую лесную фиалку».

<sup>3</sup> Вписано Буниным рядом с абзацем.

<sup>4</sup> Горкин — герой книги Шмелева «Лето Господне» (2-е изд. Париж: УМСА-Press, 1948). В статье «Добрый человек» П.Лопухин утверждает: «Многих русских писателей привлекала тема “доброто русскогo человека”, но никто не написал его так живо и верно, как Шмелев своего Горкина. Рядом с ним туманны, немножко фальшивы и радости правды не дают Платон и Аким — Толстого, Лука — Горького и даже неверно восторженный Зосима — Достоевского» (Русская мысль. 1950. №277, 20 сентября. Приложение «Слово церкви». С.1).

<sup>5</sup> Владимир Пименович Крымов (1878–1968) — писатель.

## 198. БУНИН — ТЭФФИ

*<Ноябрь—декабрь 1950 г. Париж>*

Милая, дорогая Сестрица, ужасно огорчен, что Вы так приняли к сердцу такой пустяк, как мое письмо в «Нов<ое> р<усское> слово» насчет моего мнимого редактирования «Рус<ского> сборника»<sup>1</sup>. Вы говорите — зачем я не предупредил Вас относительно этого письма<sup>2</sup>: *но ведь и Вы не предупредили меня, что напишете — по неверным слухам, дошедшим до Вас — об этом редактировании!*

Во всяком случае — что ж нам с Вами «ссориться» из-за этой ерунды!

Целую Ваши ручки и прошу забыть об этой ерунде.

Ваш верный друг и раб

Ив. Бунин

Понедельник

Публикуется по автографу (БАРВК. Фонд Тэффи).

<sup>1</sup> Речь идет о напечатанном в газете «Новое русское слово» письме Бунина от 24 октября 1950, адресованном редактору газеты М.Е. Вейнбауму:

Н.А.Тэффи напечатала 8 октября сего года в «Новом русском слове» свои воспоминания о покойном Б.Г.Пантелеймонове («Мой друг Борис Пантелеймонов»), в которых сказано, что я был (вместе с Г.Адамовичем) редактором «Русского сборника», изданного Б.Г.Пантелеймоновым четыре года тому назад в Париже. Так думали тогда, — неизвестно почему, с чьих слов, многие парижские писатели (и участники и неучастники этого «Сборника»), и это вызвало со стороны некоторых из них большую вражду ко мне. Теперь Н.А.Тэффи подтверждает эту выдумку, и я вынужден решительно заявить, что я не только не принимал участия в редактировании «Рус<ского> сборника», но даже отказывался давать какие-либо советы Б.Г.Пантелеймонову, когда он обращался ко мне с вопросами, что поместить или не поместить в его издание, — давал свои советы только ему самому относительно его собственных произведений, которые он готовил для «Сборника».

(Новое русское слово. 1950. №14065, 29 октября. С.3)

17 ноября 1950 Тэффи обратилась к Алданову:

Друг дорогой! Пишу Вам в душевном смятении. Я, как брадобрей царя Мидаса, должна шепнуть кому-нибудь про ослиные уши. Больше никому не скажу — только Вам. <...> Дело в том, что И<ван> А<лексеевич> совершенно неожиданно, не сказав мне ни слова, послал письмо в редакцию «Н<ового> р<усского> слова» о том, что я в моих воспом<инаниях> о Пантелеймонове подтвердила ложные слухи, будто он, И<ван> А<лексеевич>, был редактором «Русского сборника». <...> Ведь это сплошная ложь. Он был редактором. Это подтверждает и Адамович, который вместе с ним редактировал, и вдова Пан<телеймоно>ва, и, наконец, это ни для кого не было тайной. Я понимаю, в чем дело, и дело нехорошее. Зуров требовал от Пант<елеймонова>, чтобы он заплатил ему высший гонорар, как старым писателям, т. е. мне и Ремизову. Бунин не позволил: «Вот еще! Чего ради!» <...> Но Вера Ник<олаевна> очень обиделась за Леню, и Бунин ее уверил, что это Пант<елеймонов> не хотел прибавить. Вера Ник<олаевна> люто Пант<елеймонова> возненавидела и распускала нехорошие слухи — будто он был коллаборант, будто все рассказы пишу я, и еще много всякой ерунды. <...> Чем больше я об этом думаю, тем больше возмущаюсь этой беспардонностью. Знаю наперед, что Вы посоветуете промолчать и не раздражать большого старика, предоставив ему возможность безнаказанно раздражать больную старуху. Правда?

(БАРВК. Фонд Алданова)

После умиротворяющего ответа Алданова от 20 ноября 1950 (БАРВК. Фонды Алданова и Тэффи) Тэффи сдалась:

Ну вот, дорогой друг, Марк Александрович, инцидент с письмом Бунина ликвидирован, конечно, согласно Вашему желанию. Я напи-

сала И<вану> А<лексеевичу> письмо, достойное самого Франциска Ассизского:

«Дорогой друг, Иван Алекс<еевич>. Почему Вы, прежде чем послать письмо в редакцию “Нового русского слова”, не написали просто мне, что что-то Вам неприятно? Тогда я бы сама от себя послала в редакцию поправку. А так Ваш поступок показался мне совсем недружеским, и это было для меня обидно.

Преданная Вам всегда и навсегда

Тэффи»

Ну что? Кротко? Благостно? Елейно? Мироточиво? Дальше следу-  
ет земной поклон.

(Письмо от 26 ноября 1950 – БАРВК. Фонд Алданова)

В письме к Алданову от 26 февраля 1946 Бунин утверждал: «Сборник затеял Ремизов, – будет называться “Русский сборник”, – вместе с неким Пантелеймоновым, химиком, хорошо зарабатывающим, немножко пописывающим (и, конечно, желающим немножко печататься), и я в этот сборник дал рассказ <...>, но редактором его не был и не емь <эмфаза Бунина>» (Новый журнал. 1983. №152. С.159-160). Однако, когда Тэффи ему написала в том же 1946 «Вы редактор – Вам и книга в руки» (см. №118), он ей, насколько известно, не возражал.

<sup>2</sup> См. в примеч. 1 письмо к Бунину, которое Тэффи приводит в своем письме к Алданову от 26 ноября 1950. Так как это письмо не сохранилось в архиве Бунина, в настоящей публикации оно не печатается как самостоятельный текст.

### 199. ТЭФФИ – БУНИНУ

<Конец декабря 1950 г. Париж>

29.XII.50<sup>1</sup>

Дорогой друг, Иван Алексеевич!

Желаю Вам к Новому году всего самого лучшего и очень жалею, что здоровьишко не позволяет мне выразить эти пожелания лично.

Сейчас получила письмо от проф. Давыдова<sup>2</sup>. Его сын тоже профессор, но не зоолог, а русского языка в Марселе<sup>3</sup>. Он имеет связи с редакцией одного из самых крупных литературных ежемесячных журналов «Cahiers du Sud»<sup>4</sup>. Они хотят знакомить франц<узских> читателей с современными русскими писателями. Вещь должна быть еще не переведенная на франц<узский> и не превышать двадцати печатных страниц (рассказ, повесть).

Профессор Давыдов просит меня «при случае спросить» у Вас. Он, очевидно, думает, что я выхожу в свет и вижусь с Вами. Сам он боится Вас побеспокоить. Так вот просьбу этого очаровательного французского академика считаю нужным исполнить и спрашиваю у Вас – хотите ли Вы дать таковое Ваше произведение в этот хороший журнал. Что именно Вы склонны дать и где эту вещь можно достать?

Ух, как все это было трудно отщелкать. Рукой писать не могу – получаются такие завитушки, что сам черт не разберет.

Еще раз желаю всего лучшего Вам и дорогой Верочке.  
Всегда и навсегда Ваша

Тэффи

Ответил 30-го вечером<sup>5</sup>.

Публикуется по АМ (подпись – автограф) (РАЛ MS.1066/5488). Датируется предположительно по пометкам Бунина.

<sup>1</sup> Вписано Буниным.

<sup>2</sup> Речь идет о несохранившемся письме от ученого-зоолога Константина Николаевича Давыдова (1877–1960), о котором читаем в письме Тэффи к дочери Валерии от 1 января 1951: «Он замечательный лектор. Начал лекцию со вступления, что посвящает ее мне, т<ак> к<ак> я когда-то отметила в печати его первую лекцию и тем якобы создала ему карьеру. Сейчас он член франц<узской> Академии Наук» (БАРВК. Фонд Тэффи). Сохранился рисунок моллюска «Yungia Teffi» с надписью: «Моллюск, открытый проф. Давыдовым и названный в честь Надежды Александровны Тэффи» (БАРВК. Фонд Тэффи).

<sup>3</sup> Сын К.Н. Давыдова, Юрий Константинович (1924–1986), впоследствии стал генеральным инспектором народного образования в области русского языка во Франции.

<sup>4</sup> Литературный журнал «Cahiers du Sud» («Южные тетради») выходил в Марселе в 1925–1969.

<sup>5</sup> Вписано Буниным. См. №200.

200. БУНИН – ТЭФФИ  
30 декабря 1950 г. <Париж>

30.XII.50

Милая Сестрица, дорогой Друг, и Вас с Новым годом поздравляем,  
целуем и здоровья желаем!

Сейчас вечер, я добрался от постели до письменного стола, пролежавши в ней неделю с *плевритом*, ухитрившись его получить, не вылезая из своей комнаты. Добрался с великой болью в правом колене: уже давно чуть не кричу, наступая на правую ногу. Зернов<sup>1</sup> говорит, что это – артерит. Не артрит, а *артерит*<sup>2</sup>! Прибавьте к этому, что мы на краю полной нищеты – клянусь Вам: мое 80-летие пропало даром! Рогнедов добыл гроши – и куда-то скрылся<sup>3</sup>...

Это к тому, что очень был бы рад заработать что-нибудь у сына проф. Давыдова<sup>4</sup>. У меня есть кое-что уже переведенное, но еще нигде не напечатанное. Могу дать именно страниц двадцать. Но что мне могут платить за это? (Я из этой платы должен буду дать одну треть моему переводчику – Priel'ю<sup>5</sup>. Это тоже надо принять во внимание.)

Целуем Вас сердечно, жду от Вас вестей.

Ваш несчастный старик

Бунин



Публикуется по автографу (БАРВК. Фонд Тэффи).

<sup>1</sup> Владимир Михайлович Зернов (1904–1990) – парижский врач, лечивший Бунина в 1948–1953 (об этом см. написанную В.М.Зерновым главу «И.А.Бунин (1870–1953)» в изд.: За рубежом. Белград – Париж – Оксфорд. Хроника семьи Зерновых. 1921–1972. С.400-403).

<sup>2</sup> *artérite (франц.)* – название группы заболеваний артерий, одно из которых – артериосклероз. См. также письмо Бунина к Алданову от 10 июня 1951 (Новый журнал. 1984. №155. С.132).

<sup>3</sup> Об организации юбилея Бунина см. №192 и примеч. 7 к нему. В письме к Буниной от 12 декабря 1950 Рогнедов, который часто ездил по делам в Испанию и Италию, подвел предварительный итог сбора денег во Франции (202 000 франков, из которых 125 000 уже были переданы Бунину, а 30 000 были потрачены на организационные расходы) и обещал с помощью Перл Бак организовать сбор в США (РАЛ MS.1067/6286). Однако смерть председателя А.Жида 19 февраля 1951 положила конец деятельности юбилейного комитета во Франции, а вскоре в кассе осталось не больше 14 000 франков (см. письма Рогнедова к Буниной от 22 февраля и 31 марта 1951 – РАЛ MS.1067/6287-6288). См. также №201.

<sup>4</sup> См. №199 и примеч. 2 к нему.

<sup>5</sup> В 1945 Бунин заключил контракт с парижским издательством «Le Pavois» об издании четырех книг рассказов в переводе на французский язык (РАЛ MS.1066/2093). В 1947 контракт был расторгнут, но так как переводы двух книг («Дело корнета Елагина» и «Темные аллеи») уже были готовы, Бунин обязался компенсировать гонорар переводчика, если удастся найти другого издателя (см. письма П.Ф.Кайе (Caillé) к Бунину от 29 сентября и 15 октября 1947 – РАЛ MS.1066/2094-2095). Жарл Приэль (Jarl Priel; наст. имя и фамилия Шарль Тремель/Charles Tremel; 1885–1965) – бретонский и французский писатель, переводчик с латинского (Эразм Роттердамский) и русского (Гоголь, Мережковский, Набоков) на французский. В письме к Алданову от 26 декабря 1945 Бунин писал: «Мой французск<ий> издатель – “Le Pavois”. Книга выйдет, верно, не скоро – переводчик, некто Priel, живет где-то в Бретани, старик, копун, переводит медленно, плохо...» (Новый журнал. 1983. №150. С.190).

## 201. ТЭФФИ – БУНИНУ <1 января 1951 г. Париж>

Понедельник

Великий Брат мой. Самый дорогой.

Сейчас получила Ваше письмо<sup>1</sup> и сразу же позвонила к Рогнедову. Он говорит, что был у Вас не то два, не то три раза и не мог Вас видеть. Говорил Вере Николаевне, что у него есть для Вас какие-то тышчонки, но она сказала «сейчас не надо». Завтра между четырьмя и пятью он будет у Вас. Между нами, – он очень болен. У него моя болезнь плюс обмороки.

Теперь насчет Давыдова. Его, разумеется, чужой перевод не устроит. Ведь это и будет его заработок. Мне кажется, что в Вашей ис-

панской повести<sup>2</sup> (у меня ее нет) не больше 16–20-ти страниц. Если она не переведена, то было бы отлично ее дать<sup>3</sup>.

Теперь о самом главном. Артерит сейчас самая модная болезнь. Из моих знакомых в настоящую минуту ею больны четверо. Между ними дочь Саломеи Андреевой-Гальперн, женщина 39-ти лет<sup>4</sup>. Ничего. Все лечатся и поправляются. Но беда в том, что врачи и в ревматизме и в невралгии склонны находить артерит. Мода. Я в первый раз слышу, чтобы при артерите болело колено. Зернов далеко не орел, чтобы не сказать прямо – курица. С коленом у меня была в Биаррице такая же история. Но тогда еще артерит не был в моде, и хирург честно сказал, что ничего не понимает. Пролежала три недели, и все прошло. Главное не двигаться, а это нам с Вами удастся легче всего.

О нищете не говорите. До этого не допустят. Рогнедов собирается в Америку. На Америку и была его главная ставка. Между прочим, как это ни странно, но он вполне порядочный. Я уже не раз была удивлена. Платил за переводы в какой-нибудь экзотической газете, о которой я никогда бы и не узнала<sup>5</sup>.

Простите, что пишу на полунóвой орфографии<sup>6</sup>. Самой противно, но приучаюсь, потому что в «Н<овое> р<усское> слово» надо так, иначе они такого напечатают, что стыдно будет людям в глаза смотреть. Я вообще стала безграмотна и иногда смотрю, как пишется русское слово во французском словаре. Это оттого, что лекарство, помогающее от спазм, не морфий, а безвредное и очень приятное, плохо действует на голову<sup>7</sup>. Я стала типичнейшая дура. Имейте это в виду.

Очень радуюсь, что прошел 1950-ый. Осинový кол ему в спину. Пишу на машинке, потому что рука продолжает выводить кренделя.

Итак: попросите дорогую Верочку посчитать страницы в Испанской повести или дайте что-ниб<удь> другое не переведенное. Заработок этот Вас не обеспечит, но свести знакомство с хорошим журналом и очень порядочными людьми, как Давыдовы, всегда хорошо.

Простите еще, если пишу глупо. Я всю жизнь дружила с человеческой глупостью и ею кормилась. Так вот «чему посмеешься, тому и послужишь»<sup>8</sup>.

От всей души всего хорошего, верьте моему сердцу.

Ваша всегда

Тэффи

<sup>1</sup> №200.

<sup>2</sup> Имеется в виду рассказ Бунина «Ночлег» (см. примеч. 6 к №175).

<sup>3</sup> См. конец №202 о выборе Буниным рассказа для перевода на французский язык.

<sup>4</sup> Речь идет об Ирине Павловне Андреевой (по мужу Нольде; 1911–1990), дочери Саломеи Николаевны Гальперн (урожд. Андроникова, по первому мужу Андреева; 1888–1982).

<sup>5</sup> Не установлено, о каких переводах идет речь.

<sup>6</sup> Единственное, что в этом письме написано не по новой орфографии, – «какая-то» в первом абзаце.

<sup>7</sup> Начиная с сентября 1950 Тэффи часто писала дочери Валерии о новом лекарстве, например, в письме от 18 ноября 1950 читаем: «Но, знаешь, это новое лекарство совершенно безвредное, даже дают детям – свечки Suprolosal очень хорошо на меня действуют. Боль проходит, и наступает чудесное, добродушное настроение». Однако в более позднем недатированном письме она сообщает: «Не помню, писала ли я тебе, что мои обожаемые suppositoires <суппозитории (франц.)> признаны опасными и запрещены в свободной продаже. <...> Жаль, что они опасные, очень были приятны – куда приятнее морфия» (БАРВК. Фонд Тэффи).

<sup>8</sup> Ср. начало №164.

202. БУНИН – ТЭФФИ  
8 января 1951 г. <Париж>

8 янв<аря> 51 г.

Дорогая Сестрица, только нынче доктор Зернов нашел (после 2-х недель моего лежания в жару и с болью в левом боку, в плевре), что мне можно добраться до письменного стола. Но я еще совсем отравлен сульфамидами (истинно проклятая вещь!) и вспрыскиваниями <так> пенеселина<sup>1</sup>.

Дай Бог Вам здоровья – берегитесь гриппа!

Ваш Ив. Бунин

P.S. Из Вашего письма заключил, что дело издания сборника сына Давыдова – дело маленькое. Он, оказывается, хочет «заработать» на переводе наших рассказов<sup>2</sup>! А навряд переводил когда-нибудь что-нибудь. Словом, пусть возьмет и переведет мой маленький и легкий для перевода рассказ «В Париже»<sup>3</sup>.

Публикуется по автографу (БАРВК. Фонд Тэффи).

<sup>1</sup> пенициллин – pénicilline (франц.)

<sup>2</sup> См. №201.

<sup>3</sup> Рассказ Бунина «В Париже» (1940) впервые опубликован в американском издании сборника «Темные аллеи» (Нью-Йорк: Новая земля, 1943), вошел также в окончательный состав сборника (Париж: La Presse française

et étrangère – O.Zeluck, 1946). Перевод рассказа на французский язык Ю.К.Давыдовым под названием «A Paris» появился в журнале «Cahiers du Sud» лишь после смерти Бунина (1953. Т.38. №320. С.92-102).

203. ТЭФФИ – БУНИНУ

<После 8 января 1951 г. Париж>

Дорогой друг и брат!

Да Вы, оказывается, потихоньку ото всех пишете пьесы!<sup>1</sup>

В течение 1922–23 гг. Гатова<sup>2</sup> играла в Риге и Ревеле в пьесах Островского, Мережковского<sup>3</sup>, Мольнара, К.Р., Дрейера, Щепкиной-Куперник, Ростана и мн<огих> др<угих><sup>4</sup>. Переселившись в Париж, Гатова только короткое время выступает на сцене (в 1928 году) в русском театре, в пьесах Бунина, Юшкевича, Сургучева, – целиком уйдя в работу по художественному чтению<sup>5</sup>, образцы которого хорошо известны нью-йоркской публике.

Во время второй мировой войны Лариса Гатова с дочерью была сослана в Ардеш<sup>6</sup>, где провела три года в тяжелых условиях. В 1945 и 1946 годах Гатова дала свои вечера поэзии в Париже<sup>7</sup>.

С 1947 года артистка находится в США.

Записку Вашу о переводе рассказа из «Темных аллей» переслала Давыдову. Результатов не знаю.

Шлю сердечный привет. Сейчас у меня плохая полоса. Если начнется лучшая полоса, попрошу у Вас разрешения приехать на полчасика. Хорошо?

Всегда Ваша

Тэффи

Публикуется по автографу (РАЛ MS.1066/5490). Датируется предположительно по сопоставлению с №202.

<sup>1</sup> Дальше в письме вклеена вырезка из неустановленной русско-американской газеты, возможно, «Новое русское слово».

<sup>2</sup> Лариса Андреевна Гатова (1894 – после 1971) – актриса, читала стихи Бунина на юбилейном вечере, устроенном Алдановым в Нью-Йорке 25 мар-

та 1951 (см. письмо Алданова к Бунину от 2 марта 1951 – Новый журнал. 1984. №154. С.103). В Библиотеке Конгресса (Вашингтон) хранится пластинка с записью Гатовой «Russian poetry read in Russian» («Русская поэзия, читаемая по-русски») (Folkway Records, <1958>). Воспоминания Гатовой «Путь актрисы» печатались в газете «Новое русское слово» в 1963–1965 (отдельные мемуарные очерки печатались там же по начало 1970-х годов).

<sup>3</sup> Пьесы Мережковского см. в изд.: *Мережковский Д.С.* Драматургия / Вступ. ст., сост., подгот. текста и комм. Е.А.Андрущенко. Томск: Водолей, 2000.

<sup>4</sup> В заметке перечисляются русские драматурги К.Р. (Вел. кн. Константин Константинович; 1858–1915), А.Н.Островский (1823–1886), И.Д.Сургучев (1881–1955), Т.Л.Щепкина-Куперник (1874–1952), С.С.Юшкевич (1868–1927), венгерский драматург Ф.Мольнар (1878–1952), немецкий драматург М.Дрейер (1862–1946) и французский драматург Эдмон Ростан (1868–1918).

<sup>5</sup> Деятельность Гатовой отражена в изд.: Русское Зарубежье: Хроника научной, культурной и общественной жизни. 1920–1940: Франция. В 4 т. / Под. общ. ред. Л.А.Мнухина. Москва; Париж, 1995–1997.

<sup>6</sup> Ардеш (Ardèche) – южный департамент Франции на Роне к северу от Авиньона.

<sup>7</sup> Многочисленные выступления Гатовой под эгидой Союза советских патриотов зафиксированы в Хронике. Например, 27 января 1946 она читала стихи Блока, С.И.Кирсанова и Пушкина (Хроника. С.129).

## 204. ТЭФФИ – БУНИНУ 6 сентября <1951 г. Париж>

25/IX<sup>1</sup>

6 [август] сентября

Дорогой друг и брат!

Давно ничего о Вас не знаю. Прежде была пантофельная почта – Любченко *via*<sup>2</sup> Верещагина<sup>3</sup>. Теперь эта почта разъехалась. Знаю от Алданова, что Вы ему пишете<sup>4</sup>, – «пишу – значит жив» (см. Декарта)<sup>5</sup>.

Получила забавное письмо от Яши Цвибака о Марье Самойловне. Цитирую: «М.С.Цетлина купила за городом дом и заявила, что уходит на покой. Последний удар нанес ей М.М.Карпович<sup>6</sup>, довольно бесцеремонно выставивший ее из администрации “Нового журнала”<sup>7</sup>».

Вот оно, окончательное падение «Дома Эшеров»<sup>8</sup>.

Я, наконец, отослала свою книгу в Новое Издательство<sup>9</sup>, но не ту, которую хотела, т. е. не воспоминания, а рассказы, п<отому> ч<то> воспоминания надо еще докончить<sup>10</sup>. Получила очень милое письмо от Вредена<sup>11</sup>. Пишет, что еще в России был моим поклонником. Александрова<sup>12</sup>, кот<орая> заведует литер<атурной> частью, недо-

вольна моим заглавием «Добро и зло». Советует изменить<sup>13</sup>. Что Вы об этом скажете? Как скажете, так и будет. Вашему камертону верю слепо, вернее, глухо.

Здоровье мое все то же. Но эта стабильность меня утомила, поэтому считаю, что оно хуже. Оно то же, но сил стало меньше.

Хотелось бы знать о Вас от Вас самого. Несколько строк (можно даже ругательных) были бы мне очень дороги.

Сердечно обнимаю (в письме это Вас не беспокоит) и прошу передать привет дорогой Верочке.

Ваша всегда и навсегда

Тэффи

Публикуется по автографу (РАЛ MS.1066/5491). Год установлен предположительно по приводимому в примеч. 10 письму Тэффи к дочери Валерии.

<sup>1</sup> Возможно, вписано Буниным.

<sup>2</sup> через (*лат.*).

<sup>3</sup> Ср. №176 и примеч. 3 к нему.

<sup>4</sup> См. письма Бунина к Алданову за август – начало сентября 1951 в «Новом журнале» (1984. №155. С.135-145).

<sup>5</sup> Ср. №151 и примеч. 1 к нему.

<sup>6</sup> О М.М.Карповиче см. примеч. 4 к №135.

<sup>7</sup> Цитируемое письмо отсутствует среди писем Цвибака к Тэффи в БАРВК.

<sup>8</sup> Речь идет о рассказе американского писателя Эдгара По (1809–1849) «Падение дома Эшеров» (1839).

<sup>9</sup> Имеется в виду финансировавшееся Фордовским фондом (Ford Foundation; учрежден в 1936) нью-йоркское Издательство имени Чехова (1951–1956). О книжной продукции издательства см. статью: *Толстой Ив.* Издательство имени Чехова // Звезда. 1991. №5. С.205-206).

<sup>10</sup> В письме от 6 августа 1951 Тэффи сообщила дочери Валерии: «Устала морально и физически до последнего предела. Готовила книгу “Воспоминаний” об ушедших знаменитых друзьях. В последнюю минуту увидела, что, несмотря на отчаянную работу, книга выходит слишком мала. Наскоро собрала новую книгу – рассказов» (БАРВК. Фонд Тэффи).

<sup>11</sup> Николай Романович Вреден (1901–1955), директор Издательства имени Чехова, писал Тэффи 12 августа 1951: «Я был Вашим поклонником еще в Петербурге и иначе как молодой, веселой, здоровой и очень счастливой Вас представить не могу» (БАРВК. Фонд Тэффи).

<sup>12</sup> Вера Александровна Александрова (о ней см. примеч. 5 к №149) – главный редактор Издательства имени Чехова.

<sup>13</sup> Книга вышла в Издательстве имени Чехова в 1952 под названием «Земная радуга».

## 205. БУНИН – ТЭФФИ

&lt;После 6 сентября 1951 г. Париж&gt;

Милая Сестрица, 20 раз звонил Вам – без ответа. Только вчера на звонок отозвался какой-то мужчина – сказал, что Вы еще у Ставровых<sup>1</sup>. Дай Бог здоровья! А я страдаю ужасно – *удушье все чаще* и все страшнее, – в чем, конечно, виновата и погода – просто сказочная!

Послал и я Вредену книжку – «Арсеньева», исправленного и дополненного<sup>2</sup>. Что Вы послали *рассказы* – это лучше, чем воспомина-ния (пока). «Добро и зло» заглавие *совсем неплохое*<sup>3</sup>. Когда начнут набирать? Я ничего не знаю – не вылезаю из постели.

Целую, храни Вас Бог.

Ваш Ив. Б.

Публикуется по автографу (БАРВК. Фонд Тэффи). Датируется предпо-ложительно по сопоставлению с №204. Опубликовано: Бабореко. С.133.

<sup>1</sup> Тэффи жила у Ставровых в расположенном к юго-востоку от Парижа около Сенарского леса (Forêt de Sénart) Брюнуа (Brunoy) с 4 августа по ко-нец сентября 1951 (дата переезда и адрес указаны в письме к дочери Вале-рии от 6 августа 1951, о возвращении в Париж она пишет в письме от 1 ок-тября). О пребывании Тэффи у Ставровых см. №206 и опубликованные 26 октября 1952 в газете «Новое русское слово» воспоминания П.С.Став-рова «О Н.А.Тэффи. Вместо критического очерка» (№14792. С.8).

<sup>2</sup> Книга «Жизнь Арсеньева. Юность» вышла в Издательстве имени Че-хова в 1952. См. о переговорах с издательством письмо Бунина к Алданову от 1 июня 1951 (Новый журнал. 1984. №154. С.107-108). Переписка Бунина с редакторами Издательства имени Чехова по поводу этого издания хранит-ся в Бахметьевском архиве: БАРВК. Фонд Издательства имени Чехова.

<sup>3</sup> См. №204 и примеч. 13 к нему.

## 206. ТЭФФИ – БУНИНУ

&lt;Конец сентября 1951 г.&gt; Париж

59, rue Boissière  
Paris XVI<sup>e</sup>

Великий брат мой!

Вчера я вернулась в Париж и нашла Ваше письмо<sup>1</sup>.

В Noisy меня не приняли, п<отому> ч<то> старчество мое не узаконенное, и я осталась одна в закрытой пустой квартире. Тогда приехали Ставровы и забрали меня к себе. У них маленький чудес-ный домик у самого леса, дремучего, с дубами и соснами, грибами и жидами – их целые выводки, древние, с бородами и пейсами.

Проскулила у них свою поправку и вернулась. Еще проходя через двор, почувствовала себя скверно, поднялась с воем по лестнице и слегла. Завтра придет доктор.

В «Н<овом> р<усском> слове» растекся Ремизов<sup>2</sup> и разбушевалась всесветная дура Мазурова. Оказывается, что читать Ремизова должен не читатель, а человек<sup>3</sup>. Под словом «читатель», очевидно, разумеется лошадь. И кто Ремизова не читает, тот Хам. Я, значит, полухам, п<отому> ч<то> читаю его мало.

В.Александрова написала мне, что «они» (должно быть, она и Вреден) склонны напечатать мою книгу, но окончательное решение зависит от какого-то «Боард оф тростис»<sup>4</sup>. Что это за штука и из кого она состоит – неизвестно. Не предвижу ничего доброго. Может быть, Зайцев с Берберовой? Тогда не снести мне головы. Вам-то хорошо – Вы классик, а я литературный смерд, по свидетельству покойного Тхора, «разработавшая темы Лейкина»<sup>5</sup>. Chic<sup>6</sup>?

Шлю сердечный привет Вам и милой Верочке. Алданов пишет мало и грустно<sup>7</sup>. Жаль его.

Всегда Ваша

Тэффи

Вот окрепну и приеду Вас навестить.

Публикуется по автографу (РАЛ MS.1066/5492). Датируется предположительно по указанному в примеч. 1 к №205 письму Тэффи к дочери Валерии от 1 октября 1951.

<sup>1</sup> №205.

<sup>2</sup> Возможно, имеется в виду автобиографический очерк Ремизова «Батый», опубликованный 26 августа 1951 в газете «Новое русское слово» (№14367. С.2). Под названием «Иверень» очерк перепечатан в журнале «Возрождение» (1955. №39), и посмертно издана книга с тем же названием: *Ремизов А. Иверень. Загогулины моей памяти* / Ред., послесл. и комм. О.Раевской-Хьюз. Berkeley: Berkeley Slavic Specialties, 1986.

<sup>3</sup> Рецензия А.Н.Мазуровой на мемуарную книгу Ремизова «Подстриженными глазами. Книга узлов и закрут памяти» (Париж: YMCA-Press, 1951) заключается утверждением: «в этой книге, как и во всех других его книгах, остается очень многое, о чем должен написать не рецензент, а критик, и что должен прочесть не читатель, а человек» (Суть и путь А.Ремизова // *Новое русское слово*. 1951. №14374, 2 сентября. С.4).

<sup>4</sup> Попечительский совет – Board of Trustees (англ.).

<sup>5</sup> В книге «Русская литература» (Париж: Возрождение, 1946) Тхоржевский писал: «Лейкинскую тему “Наши за границей” Тэффи дано было разработать с исключительным богатством наблюдений и выдумки» (Т.2. С.547). Николай Александрович Лейкин (1841–1906) – в 1882–1905 редактор-издатель юмористического журнала «Осколки» и автор скетчей.

<sup>6</sup> шикарно (франц.).



<sup>7</sup> 10 августа 1951 Алданов писал Тэффи: «Простите, что пишу кратко: нездоровится и устал» (БАРВК. Фонд Алданова). Сохранилось четыре письма Алданова, преимущественно делового содержания, от июля–августа 1951 (БАРВК. Фонды Алданова и Тэффи).

## 207. БУНИН – ТЭФФИ

9 мая 1952 г. Париж

9 мая 1952 г.

Париж

Дорогая Сестра, милый друг, поздравляю<sup>1</sup>, целую, горячо желаю сил, здоровья и написать хоть одну еще отличную книжку, достойную славного имени Тэффи<sup>2</sup>!

Ив. Бунин

Публикуется по автографу (БАРВК. Фонд Тэффи).

<sup>1</sup> См. №208 и примеч. 5 к нему.

<sup>2</sup> «Земная радуга» (см. примеч. 13 к №204) была последней изданной прижизненно книгой Тэффи.

## 208. ТЭФФИ – БУНИНУ

&lt;Середина мая 1952 г. Париж&gt;

16.V.52<sup>1</sup>

Дорогой Брат и Друг,

Драгоценное письмо Ваше<sup>2</sup> получила, поцеловала его и спрятала. А вечером перечитала и положила под подушку. Так и спала с ним<sup>3</sup>. Спасибо Вам за эту огромную радость. Каждую букровку рассматриваю и умиляюсь как самая богаделенская старушонка. Хотела сразу же ответить, но заболела. Утомил водоворот поздравителей – семь человек. А ведь никто, кроме Марка Александровича<sup>4</sup>, и не знал о дне моего рождения<sup>5</sup>. Если бы знали, так, наверное, привалило бы уже не семь, а и все восемь. Так вот от светской жизни я неделю пролежала...

Все надеюсь, что будет такой день, когда мое сердце даст мне отпуск, и Вы будете покрепче, и погода будет подходящая, т. е. без ветра и ни жарко, ни холодно, и такси набредет у самого дома, и Вы согласитесь меня принять, и вот тогда приеду я к Вам<sup>6</sup> и от спазмы до спазмы расскажу Вам много глупого, но очень для моей души высокого, и все о Вас. Могла бы и написать, да вот – не могу. Не выйдет. «Если бы да кабы корова встала на дыбы»<sup>7</sup>.

Низко-низко кланяюсь и низкопоклонно люблю.

Навсегда Ваша

Тэффи

Публикуется по АМ (подпись – автограф) (РАЛ MS.1066/5493). Датируется предположительно по пометке Бунина.

<sup>1</sup> Вписано Буниным.

<sup>2</sup> №207.

<sup>3</sup> В дневниковой записи за 25 мая 1952 Бунина несколько раздраженно пишет, что Тэффи «институтское письмо написала Яну, “даже на ночь под подушку положила его поздравление”» (РАЛ MS.1067/427).

<sup>4</sup> Алданов.

<sup>5</sup> Речь идет не столько о дне рождения Тэффи (27апреля/9 мая), сколько о точном ее возрасте (в 1952 ей исполнилось 80 лет). 1 мая 1952 она написала по этому поводу дочери Валерии: «Конечно, торжество 9 мая будет отпраздновано луковым супом. Приглашаются Верещагины, которые очень взволнованы. Само собою разумеется, что мой возраст им открывать нельзя, поэтому <то> тогда вылезет и твой возраст. Иначе я бы, конечно, открыла. Алданову я призналась, и он чуть не свалился со стула, так это его поразило. Кажется, все-таки в глубине души не верит» (БАРВК. Фонд Тэффи).

<sup>6</sup> Долгожданная и, кажется, последняя встреча Тэффи с Буниным состоялась 28 июля 1952, когда она отметила в записной книжке: «Была у Бунина» (БАРВК. Фонд Тэффи).

<sup>7</sup> См. эпиграф к №183.

## 209. БУНИН – ТЭФФИ

10 сентября 1952 г. <Париж>

10 сент<ября> 1952

Милая сестрица, разбираю свой архивик для отправки в Нью-Йорк, в Архив при Колумбийском университете<sup>1</sup>, нашел древний номер «Ил<люстрированной> России» с Вашей статьей о моих стихах («По поводу чудесной книги» – «Избран<ные> стихи Бунина»)² и целую Ваши ручки и ножки за хвалу мне и за пощечины сукину сыну Пастернаку³.

Верный раб Ваш

Ив. Бунин

Публикуется по автографу (БАРВК. Фонд Тэффи). Адрес: 59, rue Vois-sière, Paris. Опубликовано: Зверс. С.156; Бабореко. С.134.

<sup>1</sup> В июне 1952 Бунин получил 50 000 франков от Колумбийского университета на разбор и упаковку архива для пересылки его на хранение в Архив русской и восточноевропейской истории и культуры (см. копию официального распоряжения о перечислении денег Бунину – РАЛ MS.1066/3915). Однако весной 1953 он передумал и предложил Колумбийскому университету купить архив (см. черновики письма Бунина к директору архива проф. Ф.Мозли от 3 апреля 1953 – РАЛ MS.1066/3909-3910). После того, как заведующий архивом Л.Ф.Магеровский в письме от 29 мая 1953 сообщил Бунину, со слов Мозли, что «наш Архив мог бы сделать наибольшее при его скромных средствах напряжение и приобрести Ваше архивное собрание за 1 000 долларов» (РАЛ MS.1066/3738), Бунин прекратил

дальнейшие переговоры (см. письмо Бунина к Алданову от 15 июля 1953 – Новый журнал. 1984. №156. С.156). Об истории архива Бунина см.: *Heuwood A.J. Catalogue of the I.A.Bunin, V.N.Bunina, L.F.Zurov and E.M.Lopatina Collections / Ed. by R.D.Davies, with the assistance of D.Riniker. Leeds: Leeds University Press, 2000. С.28-29.* Вопрос о передаче архива в Нью-Йорк возник уже в 1947, и Бунин часто обсуждал его в переписке с Алдановым (см., напр.: Новый журнал. 1983. №152. С.187-190; №153. С.152; №154. С.104).

<sup>2</sup> Рецензия Тэффи «По поводу чудесной книги. И.А.Бунин – “Избранные стихи”» опубликована в парижском журнале «Иллюстрированная Россия» (1929. №27/210, 29 июня. С.8-9). См. №36 о написании рецензии.

<sup>3</sup> В своей рецензии Тэффи уделяет много места отрицательному отзыву о ранней поэзии Пастернака: «Слышалось что-то вроде “тряк, бряк, кырк” <...>. А почему вы думаете, что это стихи? Может быть, это очень хорошее дело. Может быть, даже полезное – но почему вы называете это дело стихами? Ведь никакого же этому нет основания. Вы возразите, что, мол, нельзя так просто подходить к этому великому кладезю, что нужно вдумываться, вчитываться, чтобы постичь этот талант и насладиться им. Но, скажите, зачем я буду заниматься такой тяжелой работой. Как мусорщик, разбирать крючком груды тряпья и битой посуды (“Бряк, гряк, др”), чтобы выудить с радостным воплем серебряную ложку» (С.8). О поэзии Бунина Тэффи пишет: «Это не кликушество, не тайнопись. Здесь поэт не является только орудием некоей высшей воли. Он творит сам, сознательно, что хочет и как хочет. Он никогда не опьяняется словами, не бьется в падучей творческого экстаза. Он ясен, спокоен и великолепен» (С.8).

## 210. ТЭФФИ – БУНИНУ

24 сентября <1952 г. Париж>

24 сент<ября> 1952 г.<sup>1</sup>

Дорогой Брат, Иоанн-Рыдалец. Пишет Вам сестра – Надежда Во-  
пленица.

Милое письмо Ваше<sup>2</sup> по поводу моего восхищения Избранными Вашими стихотворениями – получила и хотела сразу же поблагодарить Вас за радость Вашего обращения ко мне. Но сил не было. Вот так все и лежу с 3-го сент<ября>, когда вернулась чуть живая с летнего отдыха<sup>3</sup>.

Рецензия моя осталась у меня в памяти как нечто восторженно-дурацкое. Была, кажется, даже такая фраза: «Вот поэтому и пишем мы имя Бунина с большой буквы». Или не было такой фразы? А мне почему-то помнится<sup>4</sup>.

Есть у меня к Вам просьба. Когда-то Вы мне писали из Juan-les-Pins, что читаете «Дон-Кихота»<sup>5</sup>. Если у Вас есть эта книга, то я была бы очень благодарна, если бы Вы дали мне ее прочесть<sup>6</sup>. А то я читала только сокращенное издание для юношества, где Дон-Кихота

все время бьют, и все хохочут<sup>7</sup>. Не может быть, что именно так и написал Сервантес?! Если можете дать книгу, то я попрошу за ней зайти кого-нибудь и верну ее скоро – через неделю.

О моей преданности, искренней любви и верности когда-нибудь узнаете и удивитесь. На свете такое редко бывает.

Получила письмо от Алданова. Первый раз сорвались с его пера едкие слова о Ремизове<sup>8</sup>. Между прочим, Ремиз<ов> надул Фордов, подсунул им под «розовым соусом» свою старую говядину «Олю»<sup>9</sup>. Ловко! А то он пишет в «Н<овом> р<усском> слове»<sup>10</sup>. И воспел его Зайцев<sup>11</sup>.

Дорогой Верочке привет.

Ваша верная

Тэффи

Публикуется по автографу (РАЛ MS.1066/5494). Адрес: 1, rue Jacques Offenbach, Paris. (Обратный адрес: 59, rue Boissière, Paris.) Год установлен по сопоставлению с №209 и по пометке Бунина.

<sup>1</sup> «1952 г.» вписано Буниным.

<sup>2</sup> №209.

<sup>3</sup> Тэффи провела август и первые дни сентября 1952 в пансионе в расположенном к югу от Парижа Морсанге-сюр-Орж (см. письмо к Верещагиным от 2 августа 1952 – РГАЛИ. Ф.1174. Ед.хр.15).

<sup>4</sup> В конце рецензии Тэффи (По поводу чудесной книги. С.9) читаем:

Тот, кто нашел красоту, должен высоко поднять ее над головой и сказать:

– Вот! Взгляните!

И замолчать.

Бунин давно и найден и поднят нами.

Вероятно, поэтому и называем мы его не И.А.Бунин, а просто Бунин, как называют тех, у кого уже нет имени и отчества, и есть только Имя. С большой буквы.

<sup>5</sup> См. P.S. к №171.

<sup>6</sup> В письме к Алданову от 9 октября 1952 Бунин написал: «А Надежде Александровне и в голову не приходило умирать так скоро: в письме ко мне 24 сент<ября> просила меня дать ей полное издание Дон-Кихота <...>. Письмо это было очень жалобно и написано большими и очень неровными каракулями, но все-таки далеко от смерти» (Новый журнал. 1984. №156. С.151-152).

<sup>7</sup> Ср. №171-172.

<sup>8</sup> В письме к Тэффи от 9 сентября 1952 Алданов писал по поводу Издательства имени Чехова: «не знаю, приобрели они вторую книгу из 777 новых произведений Ремизова? <...> О 777 книгах Ремизова я пишу, конечно, гиперболически, но он сам недавно сообщил в “Н<овом> р<усском> слове”, что выпустил в жизни 88 книг и что есть очень много еще ненапечатанного!

Его последних шедевров я не читал, кроме того, что печаталось в этой газете. Меня в особенности поразило, что он был такой идейный человек и даже мученик “проклятого царизма”. Жаль, конечно, что не остался; он ведь печатался в пору оккупации в гитлеровской “Жерб”, а потом в “Советском патриоте”! Бог с ним» (БАРВК. Фонды Алданова и Тэффи).

<sup>9</sup> 1-я часть («С огненной пастью») книги Ремизова «В розовом блеске» (Нью-Йорк: Изд-во имени Чехова, 1952) печаталась раньше в его книге «Оля» (Париж: Вол, 1927). Фонд Форда финансировал работу издательства (см. примеч. 9 к №204).

<sup>10</sup> В июне–сентябре 1952 Ремизов напечатал 9 рассказов и автобиографических очерков в «Новом русском слове» (подробнее см.: *Sinany H. Bibliographie des œuvres de Alexis Remizov. Paris: Institut d'Etudes slaves, 1978. С.165*).

<sup>11</sup> Речь идет, по-видимому, о статье Зайцева «Ремизову. К 50-летию литературной деятельности» (Русская мысль. 1952. №486, 19 сентября. С.5).

### Приложение

#### Недатированные письма Тэффи к Буниным

1 (211).

«Ваши гости, Ваши гости!» – как отвечали на приглашение «поскучать» наши бабушки.

Неизъяснимый и чудесный Иван Алексеевич, непременно придите к Вам в субботу и благодарю Вас и милую Верочку.

Ваша всегда

Тэффи

Публикуется по автографу (РАЛ MS.1066/5497).

2 (212).

Дорогая Верочка!

Спасибо за внимание, но я, к сожалению, сегодня в театре. Поговорите с Кульманом<sup>1</sup> сами, позовите его в субботу в 4 ч. к Вам, а я снесусь с Каллаш<sup>2</sup> насчет Серова<sup>3</sup>.

Крепко целую и шлю привет чудесному И<вану> А<лексеевичу>.  
Ваша Тэффи

P.S. Не позовете ли Вы Бахраха? Мне кажется, он может <быть?> полезен.

Н.

Публикуется по автографу (РАЛ MS.1067/7195).

<sup>1</sup> О Н.К.Кульмане см. примеч. 2 к №63.

<sup>2</sup> О М.А.Каллаш см. примеч. 2 к №42.

<sup>3</sup> О С.М.Серове см. примеч. 2 к №117.

D

**Дневники,  
записные  
книжки**



Нина Вернадская  
**ЗАПИСКИ ОБЫВАТЕЛЬНИЦЫ,**  
опять (уж который же это раз?) попавшей под колесо истории  
*Публикация М.Сорокиной*

Даль толкует понятие «обыватель» как «житель на месте», «поселенный прочно, владелец места, дома»<sup>1</sup>. Исходя из этого определения, название публикуемых ниже сценок из американской жизни – «Записки обывательницы» – выглядит достаточно парадоксально, ибо их автор – эмигрант, точнее, эмигрантка «транзитного поколения», за первый десяток лет после октябрьского лихолетья сменившая четыре страны обитания, что совсем уж не походит на «оседлый образ жизни». Следовательно, имелось в виду что-то другое. Как ни странно, самоаттестацию автора записок скорее надо понимать в семантике интеллигентского языка эпохи развитого социализма, где слово «обыватель» стало синонимом всего низкого, пошлого, опустившегося, погибшего духовно и интеллектуально. И тогда оно звучит как горькое признание.

«Америка – так Америка. Все равно. В Россию нам не вернуться – мы отрезанный ломоть. Уехали оттуда оттого, что не приемлем Интернационала – а теперь сами потеряли национальность. И разве нет в психологии нашей – размаха и простора. Поезжай – куда пустят, все равно. Нам все пути равны. Защищали право собственности – а сами? Уже 10 лет живем так, что предел земных мечтаний наших иметь не рваные башмаки и не слишком поношенное платье»<sup>2</sup>. Эта запись в дневнике Нины Вернадской точно передавала самоощущение тысяч и тысяч русских беженцев, рассеянных по миру.

---

<sup>1</sup> Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. Т.2. М., 1981. С.637.

<sup>2</sup> Bakhmeteff Archive of Russian and East European History and Culture, Columbia University (далее – BAR). G.Vernadsky Collection. Box 141. F.5.



Нина Владимировна Ильинская (1884–1971) вошла в Большую Историю исключительно как жена известного историка-евразийца Георгия Владимировича Вернадского (1887–1973). В Малой Истории, или семейной, ее с оттенком иронии называли Нинетта; по словам будущего тестя, академика В.И.Вернадского, «Н<ина> человек умный (судя по ее вернадовским <так!> письмам), самостоятельный (ее отношение к социал-демократическим увлечениям<sup>3</sup>), честный и хороший. Может быть, она со слишком большим характером для Гули<sup>4</sup>, мало затронута интересами науки – в ней мало развиты поэтические стремления к внешней красоте, есть элемент большой холодности и самолюбия – но я думаю, что ее душевный мир выше среднего уровня, может быть, даже слишком выше для счастливой семейной жизни<sup>5</sup>.

Вопреки прогнозу академика, Нина и Георгий Вернадские прожили вместе более 60 лет, из них 50 – в эмиграции: Константинополь, Прага, Нью-Хэйвен (США). Но одно Вернадский-старший почувствовал точно: в этой паре его сын всегда был ведомым. Вольная и даже несколько богемная атмосфера родового «Воронцовского дома» Ильинских в Тульской губернии разительно отличалась от довольно аскетичной и всецело подчиненной научным и общественным устремлениям академика жизни Вернадских. В семье Ильинских было четверо детей, и считалось, что мечтательная Нина будет философом, Екатерина (Киса) – певицей, Федор – скрипачом, Игорь – писателем. Вместо этого Федор уже в 1925 за сочинение шуточной поэмы о Карле Марксе был сослан на три года на Соловки, а баптистка Киса в 1931 – в Сибирь; Игорь, до революции помощник известного адвоката и кадета А.Р.Ледницкого, после служил в различных советских учреждениях – где возьмут, пока, как и многие «бывшие», не был подобран в 1933 В.Д.Бонч-Бруевичем и стал сотрудником Государственного Литературного музея.

«Месторазвитие» Ильинских и Георгия Вернадского, их дружеский круг оставался неизменным на протяжении всей жизни: Сережа Ольденбург, сын академика-индолога и впоследствии известный историк-монархист («Наша дружба, – вспоминала Нина Вернадская, – легкая, прозрачная и детская какая-то...»), «девочки Тургеневы» – Ася, жена А.Белого, и Таня, жена Сергея Соловьева («Мы были соседями по имениям... С девочками Тургеневыми больше виделись на пикниках и на Рождество. Безумные катания с гор в больших санях – летели в сугробы<sup>6</sup>»), сестры Наталья и Анна Дмитриевны Шаховские, Михаил Шик и другой Михаил, Карпович, будущий профессор русской истории Гарвардского университета, художник Владимир Фаворский, племянник известного анархиста и наследник Прямухина Михаил Бакунин, многочисленные родственники Нины Ильинской, выросшие в

<sup>3</sup> В январе 1907 Нина Ильинская была арестована по доносу крестьянина за «раздачу бумаг», т. е. революционных прокламаций. С этого момента Тульское и Московское ГЖУ внимательно следили за Ильинской (см.: ГАРФ. Ф.63(1907). Оп.27. Д.262).

<sup>4</sup> Домашнее имя Г.В.Вернадского.

<sup>5</sup> АРАН. Ф.518. Оп.7. Д.52. Л.11-12 (письмо жене из Христиании (Осло) от 4/17 июля 1907).

<sup>6</sup> BAR. G.Vernadsky Collection. Box 141. F.1.

атмосфере «дворянских гнезд» Тульской губернии, с их народнически-славянофильской идеологией, – Левицкие, Свечиные, Цуриковы. После Гражданской войны почти все они, воевавшие в Белой армии, эмигрировали; рассеянные по миру – Франция, Швейцария, США... – они тем не менее сохранили братскую общность, поддерживая и помогая друг другу в самые трудные годы.

В дореволюционные годы Нина Ильинская закончила историко-филологическое отделение Высших женских курсов в Москве, но предпочтение отдавала занятиям музыкой и пением и даже надеялась на профессиональную карьеру в этой области. Однако История вмешалась в эти планы, и оставалось лишь выступать в домашних концертах и салонах да изредка публиковать небольшие автобиографические рассказы и рецензии<sup>7</sup>.

«В Америке надо быть всегда бодрой, чтоб не спихнули с дороги совсем, и я считаюсь очень веселой, – записывала она в 1940. – “She is always on the top” – вот мнение обо мне. Вчера в трамвае я видела старушку, еле живую, одни кости, ее втаскивала другая дама в трамвай, она еле двигалась, но накрашенная улыбалась и все говорила: I am all right. Это символично для здешней жизни»<sup>8</sup>. Такая жизнь оставалась для Нины Вернадской чуждой, и реализовать себя она так и не сумела. В ее архиве много неопубликованных рукописей – воспоминаний, новелл, миниатюр, свидетельствующих о даре слова – увы, невостребованном. Между тем литературную одаренность Нины Вернадской, писавшей «в стиле маленьких рассказов Чехова», отмечал философ Николай Лосский<sup>9</sup>.

Записи Нины Вернадской отличаются тем простодушным, трезвым, часто горьким здравым смыслом автора, который был столь редок в риторике людей Серебряного века<sup>10</sup>. Вот, например, как она, человек глубоко верующий, описывает поездку в православный монастырь в июле 1933: «Кроме чистенького беленького старичка, в доме все носило печать неопрятности. В матушке – ее развевающиеся из-под подмышек рыжеватые волосы. (Не навиху, когда носят такие платья и не бреют волос). В доме мухи и запах сладковатый, вероятно, от неметеных комнат и постного масла. Какой-то мешанский запах, от которого сразу делается душно и скучно, скучно. По стенам портреты архиереев и государя Николая II. Но такие казенные порт-

<sup>7</sup> <Псевд.:> В. В чужом пиру похмелье: Впечатление русской о греческой революции // Возрождение. 1926. 24 сентября; Lermontov in Russian Music // The Slavonic and East European Review. 1943. Vol.21. P.6-30; рецензия: Rose N. Rubin and Michael Stillman (ed.). A Russian Song Book. NY: Random House. 1962 // Slavic Review. Vol.22. №2. P.384-385.

<sup>8</sup> BAR. G.Vernadsky Collection. Box 84.

<sup>9</sup> Ibid. Box 5.

<sup>10</sup> Еще в середине 1920-х к написанию воспоминаний Вернадских-младших подтолкнул их друг, известный американский историк Фрэнк Голдер (1877–1929), создававший в Стэнфорде богатейшую коллекцию мемуаров о русской революции. Вернадские не только отправляли копии текстов Голдеру, но и советовались с ним об их содержании и возможности публикации. Так, посылая 3 июля 1928 очередную партию воспоминаний, Нина Вернадская запрашивала Голдера, писать ли ей о Праге, так как «мы к чехам не относились искренне и хорошо».

реты, на которых такое большое место занимают одежды, формы, – для меня всегда загромождают личности, на них изображенные. Не доберешься до лица никак»<sup>11</sup>.

Другая зарисовка безжалостно описывает «Русский день», традиционно устраиваемый клубом русской молодежи Нью-Хэйвена<sup>12</sup>: «Пыльный парк, покрытый бумажками. Продают ticket'ы<sup>13</sup> на пиво и мороженое. Много женщин среднего возраста в дамских платьях и с бабьими лицами сидят на скамье и лениво и безучастно жуют что-то. В зале джаз заливается. Танцуют американские танцы вяло, лениво и скучно и только в польке находят выход темпераменту, и тогда видно, что это Россия»<sup>14</sup>.

Публикуемые «Записки обывательницы» также писались в 1933, в эпоху экономического кризиса в США, и живо рисуют быт небольшого американского университетского городка Нью-Хэйвена, почему-то до боли похожий на переживаемое нами... Напомню, что как раз 4 марта 1933 Франклин Делано Рузвельт, избранный президентом США в ноябре 1932, вступал в должность. К этому моменту кризис достиг своего апогея: к началу 1933 закрылось уже свыше 5 тысяч банков. Американцы, в отчаянии наблюдавшие за банкротствами, бросились в оставшиеся банки изымать свои сбережения. В результате к началу марта все без исключения банки оказались закрытыми. Сразу после вступления в должность и провозглашения «нового курса» Рузвельт провел «чрезвычайный закон о банках» и с помощью федеральной резервной системы начал санацию банков и всей финансовой системы страны. Вечером 9 марта Рузвельт подписал закон, и через несколько дней банки стали открываться.

Все эти события происходили в США через несколько дней после поджога германского Рейхстага, когда берлинское пламя уже потушили и на помосте истории окончательно обосновался Адольф Гитлер. Большая История начинала новый отсчет.

Публикуемый документ хранится в Bakhmeteff Archive of Russian and East European History and Culture, Columbia University. G.Vernadsky Collection. Box 142. Печатается с разрешения администрации архива.

### <Начало марта 1933>

Была спокойная, богатая, гордая, уверенная в себе Америка. И как это случилось? Очень трудно уследить начало. Я буду только писать изо дня в день теперь симптомы ее разложения. Отдельными сценками. А уж что получится – то и получится.

<sup>11</sup> VAR. Box 141. F.2.

<sup>12</sup> В этом небольшом городке на восточном побережье США расположен Йельский университет, где преподавал Г.В.Вернадский.

<sup>13</sup> Билет (англ.), здесь в значении – талоны.

<sup>14</sup> VAR. G.Vernadsky Collection. Box 141. F.2.

Сокращают везде жалованья и выкидывают многих со службы. Видела одну учительницу, пришедшую с их школьного собрания. День снежный, все замело снегом. Автомобили выглядят смешно и глупо и на ходу лязгают цепями. Тут каждый землевладелец около своего дома сам должен расчищать или нанимать от себя. Учительница возмущается: «В городе есть 13 грузовиков. Могли бы наполнить их и вывезти весь снег из города. А знаете, что “они” делают? – Что? и кто? – Правители города! Они нанимают грузовики. А эти стоят без дела. – А почему нанимают? – У своих политических друзей, чтобы дать им доход. А нам сокращают жалованье. Вот что они делают». И вот ходит эта легенда о 13-ти грузовиках по городу. Может быть, этих грузовиков нет, но рассказы такие – спутники начинающейся разрухи. Или еще. Теперь на религиозных митингах постоянно бывает обсуждение политики. И вот батюшка наш слышал возмущенный рассказ: раздавили рабочего человека автомобилем. Была подана жалоба, иск родных, но дело откладывается 13 раз... Оттого, что владелец автомобиля видный богач.

– Отчего же в газетах не напечатали? – спрашивают.

Ходили в газеты, куда тут! Ответили: разве о таких вещах можно писать.

Настроение собрания крайне возмущенное, рассказ этот потечет по городу, разливая смуту.

Дело, конечно, возмутительное и несправедливое. Но такие дела существуют постоянно, и никто не возмущается. В периоды смуты вдруг люди совсем не добрые, не отзывчивые, которым абсолютно никакого дела нет до других людей, вдруг начинают возмущаться, негодовать и лезть на стену во имя справедливости. Что-то тут неладно. По-моему, эти чувства дутые, просто на людей нападает какой-то психоз.

*8 марта*

Банки закрылись. Уже второй день сегодня. Говорят, в 5 and 10 cents stores<sup>1</sup> – ни души, мелочи нет. Сегодня на улицах вообще пусто, то ли из-за погоды, то ли из-за газа автомобилистам нечем платить. В лавках тоже мало народу. А вчера зато иногда встречались люди с огромными пакетами, очевидно, запасаются. Посмотрим, что дальше.

Бедные американцы. Они так интересовались экспериментами в Советской России. Вряд ли им так же интересны будут эксперименты на теле их собственной страны.

Теперь, как меня спрашивают о Советской России и пятилетке, я сейчас же перевожу разговор на здешнюю депрессию, и после того мы уже быстро переходим на приличные темы и делаемся друзьями.

– А знаешь – ведь Витте был гениальный человек<sup>2</sup>.

– А что?

– Да ведь никогда же не закрывал банков. А ведь в России же была война и революция. А здесь что? Ничего!

Когда Hitler еще только начинал выступать, один очень ученый человек очень авторитетно заявил: Хитлер не может быть у власти – он истерик. Истерики никогда не могут управлять страной. Я пришла домой и говорю: Ну, похоже, Хитлер победит.

Отчего? – Да раз по науке выходит, что у него ничего не выйдет, значит, выйдет. Мы так много помним предсказаний и важных ученых заявлений о сроках войны, о революции – все всегда выходило наоборот.

*9 марта*

Вчера вечером мы пошли на одну религиозную лекцию (эту неделю почти каждый день религиозные лекции, не знаю, всегда ли так постом или уже «потянуло» к религии). Когда вышли из дома, я услышала удивительно отвратительные молодые мужские голоса в темноте. Это шли 3 хулиганского вида парня и отвратительно нахально что-то кричали. Слышно было слово: money. Я никогда здесь не слышала таких голосов, и вспомнилось, как в Крыму при приближении большевиков на улицах появлялись люди с ужасными лицами, прямо с какими-то звериными мордами, и я все думала, откуда эти гады выползают. Только, думаю, здесь студенты будут лупить хулиганов. Спорт в данном случае поможет.

Сегодня 9 марта, ходила в город поглядеть торговлю. В больших магазинах Mally, Gambel Desmond много покупателей. Ну это еще, может быть, объясняется тем, что берут на книжку. Пошла в 5, 10 cents stores – полно, и все покупают и платят мелочью. Покупатели больше простой народ. Может быть, это которые припрятывали деньги, боясь класть в банки. Но, конечно, этими припрятанными грошами нельзя объяснить закрытие банков. Кажется, жулики-капиталисты сейчас нас ограбливают <так!>, как прежде грабили пролетарии. Встретила Соф<ью> Мих<айловну Ростовцеву>. У нее всего 5 долларов, и у Мих<аила> Ив<ановича Ростовцева><sup>3</sup> – 5. Не знает, как платить негритянке. Чеком нельзя, т<ак> к<ак> банки будут платить по чекам только служащим учреждений, а не частным служащим.

В результате моего размена доллара у меня, оказалось, один цент – голландский, и его не приняли. Так что надо очень следить теперь, чтобы не подсунули фальшивую деньги.

*10 марта*

Сегодня утро потеряла на продовольствие. Знакомая картина. Решила закупить продукты, т<ак> к<ак> если откажутся брать чеки, что тогда делать. Может быть, это паника и именно из-за паники все

кувыркается, но не хочется остаться в дураках. Итак, пошла сначала в Atlantic и Pacific (это фирма, которая по всей Америке работает). Спрашиваю: Берете чеки? – Нет. Спрашиваю: Можно у вас завести счет? – Нет. Ну и ушла. Магазин совсем пустой. Проходила мимо First National store. Это очень модный теперь гастрономический магазин. Там всегда толпа и трудно чего-нибудь дожидаться. Сегодня такая же картина. Много автомобилей кругом. Очевидно, «закупают». Думаю, что у них уже раньше было много покупателей «на книжку», и они покупают на книжки, т<ак> к<ак> чеков там не берут.

Пошла к Lamb'у. Там чистенький голландец-старичок служит у отталкивающего вида рыжего страшного жида. Я у них всегда много покупаю, т<ак> к<ак> все прекрасно приносят, очень быстро и исполнительно. Вид у старичка совсем жалкий. Покупателей нет ни одного.

– Берете чеки?

– Нет. Что же нам с ними делать, нам по ним не выдают денег.

Но жид заявил великодушно:

– Берите все, что хотите, хоть на 100 долларов. Вам все доверено в долг. Вы же вернете, когда вам выдадут деньги.

– Ну еще бы. All right.

Закупила, конечно, не на 100 долларов, а на 1½ долларов <так!>.

Еще пошла к грекам. У них покупателей не очень много. Но они веселы и самоуверенны, как никогда. Берут и чеки, на все согласны. В восторге, что покупаю на книжку. Ко мне страшное уважение. Закупаю на 3 доллара и прованского масла, и всяких консервов – всего.

Может быть, паника, а может быть, очень умно сделала. Увидим. Что-то дальше? Уж не лавочники ли вообще всю эту штуку подстроили? – мне пришло в голову. Ведь последнее время люди «жили осторожно», как один русский лавочник выразился, т. е. очень мало тратили. А создавши панику с деньгами, они добились очень бойкой распродажи товаров. Кто это над нами издевается? Ну кто? И чем это кончится?

В банках чиновники все стоят на своих местах, как бы готовые каждую минуту открыться, но открытия нет.

Поживем – увидим.

12 марта<sup>4</sup>

События как будто поворачиваются к порядку. Обещают открыть New York'ские и др<угих> больших центров банки завтра, а наши послезавтра. Рузвельт<sup>5</sup> как будто побеждает. Решено не давать больше денег ветеранам (тут был закон, что кто воевал, может на лечение получать деньги, даже если это болезнь, не связанная с войной, говорят, много было злоупотреблений) – это освобождает миллионы государству. Момент усмирения ветеранов выбран очень удачно, т<ак> к<ак> они хулиганили и ничего нельзя было сделать,

а теперь под угрозой общего банкротства страны – всем кажутся их притязания неправильными. Как бы еще их не побили. Уже есть рассказы, что от ожирения лечился ветеран, так сказать, на «наши денежки», если говорить революционным языком. Сегодня в 10 по радио будет Рузвельт держать речь к стране и всех успокаивать и объяснять. Кажется, решительный и ловкий, дай ему Бог. Характерно, что в церкви нашей сегодня масса народу и все подтянуты, кажется, побаиваются, что настоящий хозяин пришел. Батюшка вычитал или слышал где-то, что капиталисты, в страхе запрятавшие золото, понемногу возвращают. И один (имя его неизвестно) нанял 3 грузовика, чтобы водворить золото в банк. Опять грузовики мифические.

В те дни в газетах появлялись такие объявления магазинов: «Мы принимаем чеки, мы верим нашему правительству, мы верим в будущее».

Кто победит: разлагающиеся массы или личность? Если личность, то будет так, как я слышала в начале нашей революции. Первые дни. Великая бескровная. По снегу ездят лошади с красными бантами, все надели красные банты, сияют и верят, что так, без труда и борьбы, все свалилось с неба. А к нам пришел старый умный малороссийский деятель и в ответ на все восторги говорит:

– А знаете, чем сейчас только можно спастись?

– Чем?

– А палкой по голове.

Все в недоумении отшатнулись от этого единственно<го> не поддавшегося обману человека.

Вот и Рузвельт. Палкой по голове. И все довольны.

Один мальчонка шалил и расшибся, бывшая здесь его учительница не остановила его, когда он шалил. Он набросился на учительницу и говорит:

– Вы должны мне давать шлепки! Ведь я чуть не разбился!

Народ что дитя.

Посмотрим, что дальше. Начало рузвельтовского царствования омрачено почти как царствование Николая II Ходынккой: покушение на него, убийство вместо него Чермака Чикагского и 2 женщин<sup>6</sup>. Внезапная смерть его лучшего друга сенатора Walsh, который ехал на его inauguration и дорогой умер. А вчера ужасное землетрясение в Калифорнии с массами жертв.

Победит ли он разложение страны и надвигающиеся со всех сторон как будто случайно «трагические происшествия и предзнаменования»? Сегодня верится.

14 марта

Что-то свое колесо забросила, а между тем оно катится вовсю. Вчера вечером был батюшка. Он интересен, т<ак> к<ак> ходит в

народ и потому знает темные слухи. Говорят: много золота возвращают в банки «они», но это еще мелкая рыбешка, а крупная еще не пойманная.

И еще хуже темный слух о Хувере<sup>7</sup>, что он замешан, отправил семью в Калифорнию, а сам хотел уезжать в Англию, а его не пустили. Он в плену в New York'е.

А объясняется его сиденье в New York'е тем, вероятно, что при голосовании в конгрессе вопроса о том, чтобы Рузвельту дать диктаторскую власть, — демократы, которые на предварительном заседании решили это поддержать, трусили и изменили. Спасли Рузвельта республиканцы, которые дали свои голоса. Вероятно, ими управлял Хувер, и вот демократы на него злятся. Ну, да кто их знает всех.

Вообще страна нездорова.

Сегодня банки все открылись, и масса людей не берет, а кладет деньги, выражая доверие Рузвельту. Настолько у всех приподнятое настроение, что даже рестораны, которые хирели, вдруг стали бойко торговать. Но есть ли это поворот настоящий? Или истерический припадок керенщины? Ничего не известно. Поживем — увидим.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Специальный тип магазинов, где любой товар можно приобрести за фиксированную цену — 5 или 10 центов.

<sup>2</sup> Витте Сергей Юльевич (1849–1915) — русский министр финансов (1892–1903) и председатель Совета министров (1905–1906).

<sup>3</sup> Выдающийся историк античности, археолог, профессор Йельского университета Михаил Иванович Ростовцев (1870–1952) и его жена Софья Михайловна. Ростовцевы и Вернадские в течение многих лет американской эмиграции тесно общались.

<sup>4</sup> В этот день в Москве отмечали 70-летие академика В.И.Вернадского.

<sup>5</sup> Рузвельт Франклин Делано (1882–1945) — президент США с 1933, демократ.

<sup>6</sup> Речь идет о покушении на Рузвельта 15 февраля 1933 во время посещения им Майами, штат Флорида. После окончания речи президента окружили журналисты, поблизости был и мэр Чикаго Чермак, который в результате покушения на Рузвельта был смертельно ранен. Покушавшимся оказался безработный каменщик, итальянец по происхождению Джузеппе Зангара; 20 марта 1933 он был казнен на электрическом стуле.

<sup>7</sup> Гувер (Хувер) Герберт Кларк (1874–1964) — президент США (1929–1933), республиканец.





**D**  
**Varia**



## АНДРЕЙ БЕЛЫЙ И Е.А.ЛЯЦКИЙ: НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

*Публикация А.Лаврова и Ф.Полякова*

О взаимоотношениях Андрея Белого с Евгением Александровичем Ляцким (1868–1942) – историком литературы, фольклористом, этнографом, литературным критиком, уже приходилось писать одному из авторов этой небольшой публикации<sup>1</sup>. Их взаимоотношения завязались в 1912, в связи с несостоявшимся проектом печатания романа Белого «Петербург» в журнале «Современник», которым руководил Ляцкий. Эпизодическим сотрудничеством Белого в «Современнике» (его путевые очерки «Египет» были опубликованы в №5–7 за 1912) и сугубо деловыми обстоятельствами этого сотрудничества его контакты с Ляцким в ту пору и ограничились. Попытка их возобновления относится к эмигрантской поре.

С 1922 Ляцкий, эмигрировавший в декабре 1917 через Финляндию в Швецию, проживал в Праге, где стал профессором русского языка и литературы в Карловом университете; в 1923 он организовал в Праге издательство «Пламя», в 1922–1923 входил в правление Союза русских писателей и журналистов в Чехословакии, а в конце 1920-х стал председателем Комитета по улучшению быта русских писателей и журналистов, проживающих в Чехословакии. Широкая литературная, общественная и благотворительная деятельность, которую вел Ляцкий в Праге на протяжении последних двадцати лет жизни, нашла свое документальное отражение в его богатейшем личном фонде, хранящемся в Литературном архиве памятников национальной письменности в Праге (Literární archiv Památníku Národního písemnictví v Praze)<sup>2</sup>. Некоторые материалы этого фонда уже доступны благодаря ряду публикаций, из которых отметим прежде всего две, подготовленные

---

<sup>1</sup> См.: Андрей Белый. Письма к Е.А.Ляцкому / Публ. А.В.Лаврова // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1978 год. Л., 1980. С.218-230.

<sup>2</sup> Опись фонда см.: *Vinařová M. Jevgenij Alexandrovič Ljackij. Literární pozůstalost. Praha, 1976.*

С.И.Михальченко: одна из них, содержащая общую характеристику пражского архивного фонда Ляцкого, включает письма к нему публицистов и ученых – историков, филологов, философов (А.А.Кизеветтера, Н.О.Лосского, В.А.Мякотина, А.В.Соловьева, Е.Ф.Шмурло, Р.Ю.Виппера, К.Д.Набокова, В.Ф.Булгакова, А.В.Флоровского)<sup>3</sup>, другая составлена исключительно из писем писателей (З.Н.Гиппиус, Д.С.Мережковского, М.А.Алданова, В.Ф.Ходасевича, А.И.Куприна, И.С.Шмелева, Б.К.Зайцева, И.Г.Эренбурга)<sup>4</sup>. Имеется в архиве Ляцкого и одно письмо Андрея Белого эмигрантской поры, от 17 мая 1922, еще не публиковавшееся.

Публикуемое ниже письмо посвящено изложению обстоятельств, которые помешали Белому совершить поездку в Прагу, инициированную, по всей видимости, Ляцким. С какой именно целью Белый был приглашен в Прагу, неясно, однако, безусловно, его предполагавшийся приезд был сопряжен с определенной культурно-общественной или литературной акцией, не ограниченной кругом русской эмиграции: в письме Белого упоминается Чешско-русское объединение (*Cesko-ruské Jednoté*) – созданная в Праге в 1919 культурно-благотворительная организация, ставившая целью взаимное сближение двух славянских культур, устраивавшая лекции, литературные вечера, выставки и т. д.)<sup>5</sup>. В деятельности этого объединения участвовали и чешские писатели и ученые (в том числе его председатель, прославленный Йиржи Поливка, направивший приглашение Белому). Мотивировки отказа и общая тональность письма выразительно характеризуют внутреннее состояние Белого и ту тяжелую бытовую и психологическую атмосферу, которая в берлинский период его жизни нередко достигала критических точек<sup>6</sup> (видимо, к той же поре относится и его недатированное письмо к А.С.Яценко, во многом сходное по содержанию и эмоциональной окраске<sup>7</sup>).

Второй приводимый нами документ из того же пражского архива – небольшая заметка Ляцкого, написанная в связи с кончиной Белого и, по всей вероятности, оставшаяся неопубликованной (машинописный текст с рукописными добавлениями и правкой). При всей эпизодичности и «внешнем» характере отношений с Белым, Ляцкому удалось, избегнув банальностей и трафаретов некрологического жанра, прочувствовать и осмыслить масштаб личности покойного писателя, уловить и обозначить в немногих словах те выразительные черты, которыми был наделен «один из замечательнейших людей не русской только, но европейской культуры».

<sup>3</sup> См.: *Михальченко С.И.* Фонд Е.А.Ляцкого в Литературном архиве Музея национальной литературы Чехии // *Археографический ежегодник за 1999 год*. М., 2000. С.286-301.

<sup>4</sup> См.: «Злая фея нас разделяет»: Письма русских писателей Е.А.Ляцкому. 1924–1930 / Публ. С.И.Михальченко // *Исторический архив*. 2000. №5. С.93-124.

<sup>5</sup> См.: *Русские в Праге. 1918–1928 гг.* / Ред.-изд. С.П.Постников. Прага, 1928. С.117-118.

<sup>6</sup> Подробно о пребывании Белого в Берлине см.: *Beyer T.R.* Andrej Belyj. The Berlin Years 1921–1923 // *Zeitschrift für slavische Philologie*. 1990. Bd.50. Heft 1. S.90-142.

<sup>7</sup> См.: *Флейшман Л., Хьюз Р., Раевская-Хьюз О.* Русский Берлин 1921–1923: По материалам архива Б.И.Николаевского в Гуверовском институте. Paris, 1983. С.221-222.

Андрей Белый – Е.А.Ляцкому

Zossen

17 мая 22 года

Глубокоуважаемый и дорогой Евгений Александрович,

Я в отчаянии, что все так случилось: мне так хотелось в Прагу. И я еще в большем отчаянии, что письмо, объясняющее мою телеграмму, пропало в дороге.

Вы, как добрый и чуткий человек, поймете меня. Я Вам просто опишу быт моей жизни; и Вы поймете, что если со мной случаются подобные обстоятельства, то это от беспомощности, от полного одиночества, от неумения справиться с напором работ; я всегда незаметно набираю обязательства, которых выполнить не могу; и потом все это осложняется переутомлением, болезнью, нервным расстройством и т. д.

Так произошло и с Прагой. Я попал в сырую комнату в «Zossen'e»<sup>1</sup> и тотчас же простудился; тем не менее, простуженный, работал по 12 часов в день, ибо мне в 2 недели надо представить 6 печатных листов о Блоке (т. е. их написать)<sup>2</sup>; переработавшись, – схватил сердечные припадки (или – невроз, старинный, или – сердечная болезнь); едва таскаясь на ногах, постоянно задыхаясь и тем не менее «стаскиваемый» почти ежедневно в Берлин, я дошел в нервном отношении почти до чертиков. Кроме того: уехав из Берлина, я, оказывается, лишился визы берлинского Полицей-Президиума и должен был заново доказывать правожительство в Германии, т. е. ежедневно почти таскаться от цоссеновского участка в разные Ланд-Рат-Амты<sup>3</sup> Берлина, на что ушло 1½ недели. И теперь – представьте: во время этих тасканий, простуды, сердечных припадков, отчаянной невралгии вдруг из «Голоса России»<sup>4</sup> уведомление, что должен ехать немедленно в Прагу (я думал, что за неделю, по крайней мере, я буду знать *точно* число, а тут сразу... и переезд, и участки, и спешная работа, и болезнь, и Прага). Уверяю Вас: я *фактически* в эти числа не мог быть в Праге, ибо боялся, что угожу в больницу (чуть не упал раз в поезде во время припадка сердечного); во-вторых: я *не мог* выехать из Германии, не имея *бумаг* полицейских, а я до моей легализации в «Zossen'e» их лишился: если бы и сумел, то вернуться назад было бы трудно. Всего этого не напишешь в телеграмме. В письме я все это изложил. Неужели оно пропало? Или адрес я неверно написал?

Дорогой Евгений Александрович, как бы то ни было, – я в отчаянии: не только у меня не было никаких «политических» причин не быть в Праге. Наоборот: я был глубоко польщен приглашением меня проф. Поливки<sup>5</sup>. И радовался, что познакомлюсь с деятелями русско-чешского О<бществ>ва. Вы пишете о том, чтобы мне приехать, но, Евгений Александрович, я – кандидат на санаторий: так расстроены

мои нервы, здоровье; а работ – гибель. Не умею справляться со сроками; получил приглашение от Комитета Помощи Голодающим участвовать в вечере 3-его июня в Праге; и хотя все это нарушает мой покой, мое здоровье, – собираюсь все же поехать, чтобы лично принести извинения проф. Поливке, Вам и другим в моей невольной бестактности.

Дорогой Евгений Александрович, поэтому направляю мой ответ Комитету – Вам: пусть заранее мне пришлют визу. Я Вам должен признаться: я самый беспомощный человек в мире: я не умею выбираться: всюду со мной происходят дорожные инциденты. А ведь я один-один: жена уехала в Швейцарию<sup>6</sup>, около меня никого нет. И часто охватывает желание: просто покончить с собой; так мне одиноко и сиротливо!..

Очень прошу Вас передать Комитету Помощи Голодающим мое согласие быть на вечере 3 июня в Праге, а то они не посылают мне своего адреса, и я не знаю, куда отвечать. Буду читать отрывки из своей поэмы: «Первое Свидание»<sup>7</sup>.

Дорогой Евгений Александрович, напишите два слова мне: как мне быть; я готов бы был прочесть где-нибудь что-нибудь, приурочивая свои лекции к посещению Праги. Жду скорого ответа.

Остаюсь искренне уважающий и сердечно преданный

Борис Бугаев

Мой адрес. Deutschland: Zossen (bei Berlin). Stubenrauchstrasse 68. Bei Lau.

P.S. Проф. Поливке я пишу отдельно.

P.P.S. Глубокоуважаемый и дорогой Евгений Александрович, вчерашний день показал мне, что прежде всего надо заняться своим здоровьем. И потому, чтобы не происходили инциденты, подобные бывшему, мне ясно: я должен отказаться от поездки в Прагу и 3-го июня. Итак, до августа–сентября я никуда не выеду из «Zossen'a»<sup>8</sup>: только теперь сказываются следы 5-летнего пребывания в Советской России. Ведь я не отдыхал 5 лет. Мне страшно хочется все-таки приехать в Прагу, но – основательно отдохнув, к осени, например. Сейчас же, едва выцарапавшись из Берлина, я просто протягиваю ноги от усталости. Кроме того: надо использовать лето для писания «Эпопеи», которую несколько лет не мог писать в России<sup>9</sup>. Передайте Комитету и Обществу, что я страшно хотел бы приехать в Прагу, но надорванное здоровье не позволяет.

<sup>1</sup> Цоссен – городок близ Берлина. Белый переехал туда около 5 мая 1922: «Я бежал из Берлина и поселился в предместьи сонного городишки Цоссена, сняв себе комнату в бедном домишке, населенном наборщиками цоссеновской типографии» (Андрей Белый. «Одна из обитателей царства теней». Л.,

1924. С.63). Ср. записи Белого в «Ракурсе к дневнику» – об апреле 1922: «Под конец месяца выявляется недомогание <...>»; о мае 1922: «Устраиваюсь в Цоссене, поселке “гробовщиков”» (в Цоссене делают гробы)» (РГАЛИ. Ф.53. Оп.1. Ед.хр.100. Л.113об.).

<sup>2</sup> Речь идет о работе над 6-й главой «Воспоминаний о Блоке», печатавшихся в журнале «Эпопея», который выходил под редакцией Белого в берлинском издательстве «Геликон». Главы 6-я и 7-я «Воспоминаний о Блоке» имеют общую датировку: «Цоссен – Свинемюнде, 22 г. Май – июнь» (Эпопея. 1922. №3. С.310).

<sup>3</sup> Подразумеваются местные административные управления.

<sup>4</sup> Ежедневная газета, выходившая в Берлине с 18 февраля 1919 по 15 октября 1922, с февраля 1922 – под руководством правых эсеров. Белый входил в круг ее сотрудников.

<sup>5</sup> Йиржи Поливка (Polívka; 1858–1933) – чешский фольклорист, лингвист, историк литературы; профессор Карлова университета в Праге, член Чешской Академии наук; представитель культурно-исторической школы, испытывавший воздействие трудов А.Н.Пыпина, Н.С.Тихонравова, А.Н.Веселовского. Председатель Правления Чешско-русского объединения, а также председатель Комитета русской книги.

<sup>6</sup> А.А.Тургенева уехала из Берлина в Дорнах (Швейцария) в апреле 1922, после окончательного разрыва отношений с Белым.

<sup>7</sup> Поэма Белого «Первое свидание» в первой редакции была опубликована: Знамя (Берлин). 1921. <№2>, 12 августа. С.1-12; в окончательной редакции текста – отдельной книгой: Пб., Алконост, 1921.

<sup>8</sup> В начале июля, однако, Белый уехал на побережье Балтийского моря, в Свинемюнде (курорт на острове Узедом в Померании).

<sup>9</sup> Согласно проекту собрания сочинений Белого, составленному им в 1920 году, «Эпопея» должна была занимать три тома (см.: Бугаева К., Петровский А., <Пинес Д.>. Литературное наследство Андрея Белого // Литературное наследство. Т.27/28. М., 1937. С.576); позднее сообщалось, что это произведение предполагается в десяти томах (Там же. С.606). Фрагмент общего замысла был осуществлен в «Записках чудака» (Т.1-2. Берлин, 1922), первоначально печатавшихся в «Записках мечтателей» (1919. №1 и 1921. №2/3) под заглавием «Я. Эпопея: Том первый. Записки чудака: Часть первая. Возвращение на родину». После выхода в свет «Записок чудака» Белый к работе над этой темой не возвращался.

Евг. Ляцкий

## СИМВОЛИЗМ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Об Андрее Белом

Поэзия северных симфоний – ответы иной жизни

Русский снег засыпал еще одну свежую могилу. В нее ушел Андрей Белый, один из замечательнейших людей не русской только, но европейской культуры. Кто такое Андрей Белый? – спросит, пожалуй, читатель. Русский европеец, писавший с конца прошлого века



гармонические стихи, создававшиеся в атмосфере декадентской и символической школы. Белый – оригинальный мыслитель, оставивший ряд глубокомысленных теорий и философских трактатов. Белый – ученый, легко, подобно ветру, вносивший свою жажду постижения во все сферы, где находил открытые пространства еще не затронутых наукою полей.

Андрей Белый – псевдоним. Его настоящее имя – Борис Бугаев, москвич по рождению, всечеловек по стремлениям и вкусам, – он умел быть ядовитым добряком в сатире и баловнем и капризным ребенком в дружеских отношениях. Человек маленький, изящный, живой – он слушал глазами и видел инстинктом, интуицией. Сын знаменитого профессора математики, рассеянного ко всему, кроме чисел, и удивительной красавицы матери, в блеске и шуме московского света не признававшей никаких чисел, Андрей Белый рано обнаружил исключительную способность заражаться и тончайшими оттенками научной философской мысли, и нежнейшими вибрациями в области поэзии и искусства. Все было слитно в нем: поэт в философии и лингвистике, ученый в эстетике и музыке слова, он кружился, словно увлекаемый вихрем в сферах, где звук переплавлялся в краску и цвета тонули в глубине ощущений, озаряемых сверканием мысли. Поэтому культура восприняла Андрея Белого целиком, не расчлняя, не подвергая анализу отдельных сторон его многогранного творчества. Отделить его философскую загадочность от музыки его поэтических формул и ритмов значило бы убить одно и другое. Можно сказать только, что в своем символизме, как стихотворец, он пошел по пути, указанном Бодлэром и Полем Верлэном, а в философских вариациях, оттолкнувшись от шопенгауэровского пессимизма, он создал причудливую композицию из Ницше, Достоевского и Владимира Соловьева. В одном Андрей Белый был един и целен: этот мир, смесь духовного мещанства и пошлости, мир внешних чувств и реальных постижений, казался ему изветшавшей театральной завесой, сквозь прорывы которой сверкало яркое солнце иной, высочайшей, божественной сущности. Реальность, столь незыблемая для выводов положительной науки, казалась ему призрачной. Он читал и раскрывал в ней, в этой реальности внешнего мира, символы иных, недоступных анализу, видений. В своем ярко индивидуалистическом ощущении мира Андрей Белый и на внешний мир смотрел лишь как на феномен своего духа, и в его романах («Серебряный голубь», «Петербург», «Котик Летаев»<sup>1</sup>) следует искать самого писателя с его сложной и во многих отношениях загадочной психикой.

Если не романы, с их отражением мятущейся души в борьбе социальных и политических течений, то стихи Андрея Белого («Золото

<sup>1</sup> В машинописи: «Котик Полетаев».

в лазури», «Пепел», «Урна») будят еще отзвуки в чутких молодых сердцах. Эстеты символики и теоретики искусства с большим интересом останавливаются на его «Символизме» и «Арабесках». Весь смысл поэзии, науки и философии для Белого – в раскрытии символики духовной сущности того, что доступно прозрению посвященных. Поэзия Белого подчиняет читателя прозрачной гибкостью звуковых сочетаний. Она не столько задевает сердце читателя, сколько увлекает его воображение в какой-то вихревой танец, где чувствуется и ритм и легкость самозабвения.

Мои слова – жемчужный водомет,  
Средь лунных снов, бесцельный, но вспененный...

.....  
Моя любовь – призывно-грустный звон,  
Что зазвучит и улетит куда-то, –  
Неясно-милый сон,  
Уж виданный когда-то.<sup>2</sup>

Такой человек, как Белый, не мог родиться в иную эпоху, чем та, которая в недрах социальной и духовной реакции несет искры грядущей революции. Поэт одинаково оттолкнулся и от одной и от другой, и, когда над Россией вспыхнул мятежный костер, Белый вернулся из Европы в Москву. Как чудесный мотылек, вспорхнул он над этим костром, блеснув всей радугой своего окрыления. Блеснул – и обжег свои крылья...

Жизнь оборвалась на 54-м году. Он умер таким же молодым, каким и вступил в царство реальных призраков. Старость была бы для него полна тревог и разочарований. Остались книги – над ними будут думать, им будут удивляться, но тем, кто знал этого гениального прозорливца, вечно готового оторваться от этого мира, книги покажутся слишком холодными, без пылкого сердца, согревавшего их горячим дыханием жизни.

---

<sup>2</sup> Начальные и заключительные строки стихотворения «Мои слова» (1901). См.: Андрей Белый. Золото в лазури. М., 1904. С.257.

## ПИСЬМО АЛЕКСАНДРА БЕНУА НИКОЛАЮ ДЕ БАЗИЛИ

*Публикация Олега Будницкого  
Послесловие и примечания Бориса Бернштейна*

Если имя Александра Бенуа достаточно знакомо не только любителям искусства, но и «среднеинтеллигентному» читателю, то на вопрос о Николае Базили не сразу ответят и специалисты по истории дипломатии. Он не успел достичь высших дипломатических постов до большевистской революции; проведя большую часть жизни в эмиграции, не был особенно активен в эмигрантской политике. Между тем личностью он был незаурядной, и жизнь его, несмотря на передрыги, выпавшие на долю его поколения, «состоялась». Впрочем, не случилось того, что случилось с Россией в 1917, он, несомненно, мог бы рассчитывать на иную биографию.

Однако по порядку. Николай Александрович Базили (де Базили), правнук одного из молдавских князей, перешедших в российское подданство после Русско-турецкой войны начала XIX века, происходил из семьи потомственных дипломатов<sup>1</sup>. Его дед, Константин де Базили, был представителем России на различных международных конференциях, а в период Великих реформ Александра II посвятил себя земской деятельности. Отец Н.Базили, Александр, был старшим советником Министерства иностранных дел в ранге заместителя министра; по утверждению сына, именно он выдвинул идею о проведении конференции мира; инициатива дипломата была одобрена Николаем II, и, по призыву России, первая Гаагская конференция мира состоялась в 1899. Не удивительно, что одним из трех российских делегатов был А. де Базили, которого, кстати, сопровождал сын-студент.

---

<sup>1</sup> Приводимые здесь и далее сведения почерпнуты нами из «Автобиографии» (curriculum vitae) Н.А.Базили, составленной им в июле 1959. Текст (4 машинописные страницы на английском языке) находится в коллекции Н.А.Базили (коробка 3) в Архиве Гуверовского Института войны, революции и мира (Стэнфордский университет, Калифорния, США).

Предками Николая Базили со стороны матери были также молдавские князья; его дед по материнской линии Николай Каллимаки-Катарджи был первым министром иностранных дел Румынии, а впоследствии румынским послом в Англии и Франции. Мать Николая Базили, урожденная Ева Каллимаки-Катарджи, судя по всему, была женщиной незаурядной и любительницей искусства. Она выпустила на французском языке книгу о французском миниатюристе Жане-Батисте Изабэ (J.V.Isabey).

Так что ничего странного не было ни в том, что Николай Базили родился в Париже (в 1883), ни в том, разумеется, что, получив юридическое образование в России и за границей, он избрал дипломатическую карьеру и был зачислен в штат Министерства иностранных дел в 1903. На Вторую Гаагскую конференцию мира в 1907 он приехал уже в качестве старшего секретаря российской делегации. С 1908 по 1911 Базили служил вторым секретарем российского посольства в Париже, а в 1911 получил назначение на важную должность заместителя директора канцелярии (политического департамента) Министерства иностранных дел.

После начала Первой мировой войны Базили был назначен представителем Министерства иностранных дел при Ставке Верховного Главнокомандующего; сначала он находился в распоряжении великого князя Николая Николаевича, а после того как командование взял на себя Николай II – в распоряжении императора; Базили стал директором дипломатической канцелярии при Ставке. В начале марта 1917 именно ему пришлось взять на себя, по поручению начальника штаба Верховного главнокомандующего генерала М.В.Алексеева, мучительную («rainful») обязанность написать проект отречения императора от престола. На память о драматических днях крушения императорской России Базили сохранил подлинник меню (с императорским вензелем) едва ли не последнего царского обеда 3 марта 1917. Для любопытствующих: щи грибные, пирожки с кашей, мясо в красном вине и биточки из кур, персики бордجو.

Весной 1917 Базили служил своеобразным связным между Ставкой и Временным правительством; в июле уехал в Париж, получив назначение на должность советника посольства; любопытно, что посол появился позже, лишь в ноябре 1917. Это был видный политический деятель, депутат трех Государственных Дум, адвокат и прославленный оратор В.А.Маклаков, которому пришлось стать объединителем русских дипломатов, внезапно оказавшихся послами без правительства. Русское посольство в Париже стало центром, вокруг которого группировались зарубежные антибольшевистские силы; здесь происходили заседания Русского политического совещания, включавшего в себя дипломатов и видных политических деятелей разной ориентации (от бывших царских министров С.Д.Сазонова и А.П.Извольского до социалистов Б.В.Савинкова и Н.В.Чайковского); члены Совещания пытались отстаивать интересы России в период проходившей в Париже мирной конференции, подводившей итоги мировой войны; здесь, в посольстве, «квартировал» Сазонов, опять ставший министром иностранных дел – на этот раз правительств А.В.Колчака и А.И.Деникина; здесь останавливался министр иностранных дел врангелевского правительства П.Б.Струве. Базили, «второе лицо» в посольстве и опытный дипломат, естественно, играл видную роль во многих предприятиях «русской дипломатии

в изгнании». Встречавшемуся с ним в 1920 коллеге Базили запомнился как «всегда спокойный и любезный красавец» с «бесподобными бархатными черными глазами, созданными для лунных эллинских ночей»<sup>2</sup>.

Вскоре после окончания Гражданской войны Базили, не дожидаясь признания Францией советской власти, покинул дипломатическую стезю и поступил на службу в американскую финансовую группу «Маршал Филд, Глор, Уорд и К°» (Marshal Field, Glore, Ward and Co). Штаб-квартиры группы находились в Нью-Йорке и Чикаго, однако она вела крупные операции и в Европе; Базили стал ее представителем. С 1922 по 1939 он имел собственный офис в Париже, однако колесил по всему континенту, ведя переговоры о финансовых операциях с правительствами и частными фирмами в различных странах. Неоднократно ему приходилось бывать и в США. Служба в банковской сфере принесла ему, по его собственным словам, финансовую независимость.

Позволим себе высказать предположение, что его финансовой независимости способствовала и женитьба на Люсиль Мезерв (Meserve), дочери вице-президента National City Bank of New York, отвечающего за европейское направление деятельности.

Так или иначе, финансовая независимость позволила Базили заняться литературным трудом; он задумал написать (точнее, составить) книгу о старой России, об ее истории, культуре, государственном строе, причинах краха в 1917. Базили заказал специалистам статьи-справки по различным проблемам. Так, бывший министр по делам исповеданий Временного правительства, историк и богослов А.В.Карташев писал справку по истории Русской церкви; профессор государственного права П.П.Гронский – о дуалистическом государственном строе предреволюционной России («думская монархия»); об истории российской социал-демократии готовил материал Н.В.Валентинов (Вольский); по истории русской культуры – «сам» П.Б.Струве и т. д. Авторы получали скромное вознаграждение и, по условиям контракта, от своих прав на рукописи отказывались в пользу заказчика<sup>3</sup>.

Сбор материалов происходил в 1932–1934, к этому периоду относится и письмо А.Н.Бенуа. Однако задуманная Базили книга так и не вышла, зато была опубликована другая – «Россия под советской властью» (Париж, 1937 или 1938). В предисловии автор писал, что в течение ряда лет работал «над выяснением основных причин, приведших к крушению императорской России и к затянувшемуся господству большевицкой власти». «Выпускаемая ныне в свет книга, – пояснял Базили, – является заключительной частью этой работы. Ввиду значительного интереса, который вызывает к себе “большевицкий опыт”, автор решил издать том, посвященный большевицкой эпохе, раньше первой, более обширной, части, касающейся дореволюционной России»<sup>4</sup>.

Том объемом почти в 400 страниц, подготовленный на основе материалов, предоставленных специалистами, в особенности крупным экономи-

<sup>2</sup> Михайловский Г.Н. Записки: Из истории российского внешнеполитического ведомства. 1914–1920. М., 1993. Кн.2. С.329.

<sup>3</sup> Александр Иванович Гучков рассказывает... М., 1993. С.128 (комментарии С.Ляндреса и А.В.Смолина).

<sup>4</sup> Базили Н.А. Россия под советской властью. Париж, <Б/г>. С.5.

стом, бывшим министром Временного правительства С.Н.Прокоповичем, представлял собой серьезное научное исследование, своеобразную энциклопедию знаний русской эмиграции об экономическом и духовном состоянии Советской России, особенностях ее государственного и политического устройства.

«Несомненно, – писал в предисловии Базили, – что советская политика, в какой-то мере, не может не быть связанной с предшествующим ходом социально-политического развития России. С другой стороны, официальная и главнейшая советская задача насильственного и форсированного построения социализма является решительным разрывом с русским прошлым. Все это вместе взятое придает большевицкой эпохе внутренне-противоречивый характер и фатально обрекает советскую власть на дальнейшие эксперименты. В большевицком строе есть “вчера” и “завтра”, но нет “сегодня”...»<sup>5</sup>

Книга имела большой успех, была переведена на английский, французский и итальянский языки, причем в последних двух случаях выдержала по два издания; ей была присуждена премия Французской Академии.

Разразившаяся Вторая мировая война вынудила Базили уехать в США; он поселился в Гринвиче (штат Коннектикут) в собственном доме. Однако состояние здоровья побудило его искать более мягкий климат, и в 1942 Николай и Люсиль де Базили переехали в Буэнос-Айрес (Аргентина), а с 1944 поселились в Уругвае, где бывший дипломат работал в представительстве National City Bank of New York. Выйдя в отставку, Базили поселился в Калифорнии. Кстати, этот «гражданин мира» формально числился гражданином княжества Лихтенштейн. Его материальное положение было более чем благополучно. Семья Базили владела домом в Париже и фермой в Уругвае. Однако, возможно, главной семейной ценностью было собрание картин, скульптур, антикварной мебели и книг по истории искусства.

По-видимому, последние годы жизни Николай Базили посвятил работе над мемуарами<sup>6</sup>, вышедшими десять лет спустя после его смерти, последовавшей в 1963. А в мае 1965 Люсиль де Базили подарила Гуверовскому институту войны, революции и мира при Стэнфордском университете коллекцию из 73 картин, 7000 книг, а также личный архив своего покойного мужа. Среди картин, находящихся в мемориальной комнате Н.А.Базили в Гуверовском институте, работы И.П.Аргунова, В.Л.Боровиковского, К.П.Брюллова, Д.Г.Левицкого, Ф.С.Рокотова и др. Что же касается бумаг Базили, то они хранятся в знаменитом архиве Гуверовского института; в одной из коробок нам и попало на глаза письмо Бенуа...

*Олег Будницкий*

Письмо приведено к современной орфографии; немногие очевидные опуски – недописанные слова, несогласование падежей – исправлены. В угловых скобках отмечены слова, дешифровка которых дается лишь с определенной долей вероятности.

<sup>5</sup> *Базили Н.А.* Россия под советской властью. С.6.

<sup>6</sup> *Basily N.* Diplomat of Imperial Russia. 1903–1917. Stanford, 1973.

Александр Бенуа – Николаю Базили

15 июня 1934. Париж

Глубокоуважаемый Николай Александрович!

Не стану распространяться о тех трудностях, которые представляются для более или менее толкового ответа на поставленные Вами вопросы о русской культуре. Разумеется, каждый из этих ответов потребовал бы не отдельной книги, а чуть ли не целой библиотеки – настолько многогранна вообще культура всякой отдельной народности, а тем паче – русской, со всеми ее перекрещивающимися влияниями, противоречиями, взлетами и падениями. Быть может, как раз *самой* характерной чертой ее и является эта многогранная «пестрота души», эта смесь чувств и идеалов. И поэтому почти невозможно именно характеристику русской культуры свести к какой-то синтетической формуле, да и самая такая задача представляется мне а priori до некоторой степени еретической, обязывающей к бесчисленным и очень настойчивым оговоркам...

Если бы я затеял тот труд, который Вы взяли на себя, то я ни на минуту не предавался бы иллюзии, что скажу *всю правду* или просто *правду* – без придатка слова «всю». Но, с другой стороны, я вполне понимаю соблазн вообще всякой формулировки и хотя бы очень «насилюющей». Без формул, без стесняющих границ мысли наши склонны вообще расплываться во что-то туманное. А такое расплывание есть опять-таки *неправда*, ибо все же всякое явление постольку и явление, поскольку оно отделяется от других, вырисовывается, лепится, приобретает очертания, границы и, следовательно, теряет свое туманное, расплывчатое небытие. Отсюда и наше стремление формулировать, определять, я бы сказал даже – наш «инстинкт формулировки» – заведомо ошибочный, но живучий, но необходимый. В этом и творческое начало всякого исторического труда. Пусть то, что «вылепляет» историк из пестрой массы фактов, будет лишь выхваченным из какой-то объективной правды *куском*, и даже каким-то *arrangement de la vetité*<sup>1</sup>, следовательно, чем-то весьма отличным от «голой» правды; все же, если в это творение попали какие-либо существенные элементы и эти элементы сложатся в одно гармоничное целое, то это уже будет настоящим и весьма полезным достижением. – Однако к чему я все это давно известное перебираю? *Нужно ли это?* Нужно – если не для Вас, то для *меня самого*. Приступая к ответу на Ваше письмо, я должен вспомнить об этих «оправданиях», ибо без них мне бы просто не хватило куражу приняться за него. И еще должен предупредить, что, будучи по натуре человеком *крайне* субъективным, я лишен возможности в своем ответе придерживаться хотя бы какого-то подобия объективности. Заранее уверен, что

мой ответ будет испещрен словами «мне кажется», «мне думается», злоупотребление коими происходит от некоторого конфуза, от того, что вообще в субъективности людей принято *обвинять*. Беседуя с Вами, зная Вашу задачу («объективный» характер ее), я отлично понимаю, что Вы должны мне такой упрек сделать. Тем не менее в своем ответе я буду предлагать исключительно мое личное мнение, причем некоторое извинение тому я нахожу в Ваших же словах – когда Вы говорите, что хотите именно мою *личную* точку зрения...

В чем же заключается эта моя личная точка зрения на существо русской культуры, и в частности на одно из ее художественных проявлений – на русскую живопись? Касаясь этот вопрос вообще *всей* русской живописи в целом, я бы просто затруднился что-либо ответить, ибо при всем желании я не вижу того объективного начала, под которое можно было бы подвести и икону XV века, и картину, скажем, Серова. Точно так же нельзя говорить и о русском архитектурном стиле, имея в виду и новгородские церкви<sup>2</sup>, и Василия Блаженного<sup>3</sup>, и Таврический дворец<sup>4</sup>. Фикция какого-то общего всем этим явлениям характера привела бы только к бессодержательной риторике. И так же нет *ничего* общего между, скажем, русской религиозной мыслью допетровского времени и... «мистикой» большевиков. Говорить, что именно мистика свойственна и тому, и другому явлению, значит вдаваться в своеобразную мистику же. На этом пути можно соединить Франциска Ассизского с Лениным, а апостола Петра с Конфуцием... Но Вы мне и не предлагаете *такого* вопроса, а суживаете поле зрения в значительной степени. И если говорить лишь об эпохе «накануне падения старого режима», о том, что представляла собой русская культура и разные проявления ее за последние тридцать–сорок лет, то уже разговор получает более конкретную и твердую почву.

Итак, возьмем этот отрезок в 40 лет – начиная приблизительно от 1880 г. и кончая 1917 годом; – мы сразу усмотрим приблизительно посреди перелом, меняющий всю «окраску явлений» самым разительным образом. Как это ни странно, более далекий отрезок будет характерней и сам по себе, и для дальнейшего, т. е. для той эпохи, которая уже выпадает из нашего кругозора. Иначе говоря, в том первом отрезке надо искать корни или предчувствия революционных настроений и даже до некоторой степени сами *причины* сокрушения старого режима, понимая последние слова не только в политическом, но и в общебытовом смысле. Там начало конца той России, которая была нам дорога, напротив, отрезок времени от приблизительно 1900 г. и до начала революции можно бы охарактеризовать как желание удержать это ускользающее, кончающееся прошлое и то самое, что нашему поколению представлялось *самой* сутью русской жизни, величайшей ее ценностью – то, за что главным образом



мы и любим нашу родину, «из-за чего стоило жить». – Но тут-то и начинается главная трудность для дальнейшей беседы, ибо выступает внутреннее противоречие, *ergo in substantia*<sup>5</sup>, которое может отразиться на всем ее развитии. Этот «грех» я вижу в некоей *несоизмеримости* разных величин, предлагаемых Вами *к сравнению*. Так, Достоевский всем своим значением слишком возвышается над вопросом чисто национального характера; подобно Бетховену, Вагнеру, Шекспиру, Гёте, Рафаэлю, Рубенсу, Рембрандту, он характерно *национальный* художник только в *наименее* существенных чертах своего творчества; Мусоргский же, напротив, *durch und durch*<sup>6</sup> и только русский. В сущности – при всем великолепии, при всей красочности и поэтичности его музыки, она остается некоторой экзотикой и до чрезвычайности характерно русской. Таким образом, уже Достоевский и Мусоргский, по-моему, явления несоизмеримые. Но еще менее соизмеримы с этими двумя гениями представители русских пластических искусств (за этот же период времени), будь то Репин, Крамской, Серов, Врубель или кто другой... Не лучше ли поэтому как-то *по-иному* говорить в одном случае и «как-то по-иному» в другом? Придется менять самый тон, самый диапазон и силу голоса. И вот, допустим, что мы с Вами согласились на этом, что мы, до известной степени, спустились с недоступной высоты на доступную, – и продолжаю свой ответ на Ваше письмо.

Оставив вершины, мы, мне кажется, *вообще* ближе подойдем к делу, к тому, что является Вашей прямой задачей. И первым долгом я постараюсь ответить Вам на Ваш вопрос о тех чертах, которые Вы предлагаете считать за самые характерные для русского искусства вообще – в частности же для русской живописи. Таковыми Вам представляются: реализм, свобода от условностей, остро выраженное моральное чувство и отсутствие заботы о деталях – широкие узловые <?> линии. Как будто все это соответствует истине. Лучшие русские художники (особенно за тот период, который Вы предлагаете нашему вниманию) выказывали склонность к реализму и ставили своей задачей быть свободными от условностей. Эти черты можно считать характерными как для художников до отмеченной нами линии раскола (раздела), так и для многих художников, явившихся после. Реализм и включающаяся в него «свобода от условностей» характерна как для Репина, Крамского и Сурикова, так и для Левитана, Серова и даже в некоторой степени – для Сомова<sup>7</sup>. Но в то же время не являются ли эти черты идеалом для художников *всех стран* той же эпохи и не являются ли эти черты или эти принципы отражением таких же черт и принципов, которые имели на Западе своими представителями природы, пожалуй, еще более выдержанные и последовательные, умы более убежденные: Курбе<sup>8</sup>, Милле<sup>9</sup>, Коро<sup>10</sup>, все импрессионисты, Сезанн<sup>11</sup> и т. д. – для Франции, Менцель<sup>12</sup>, Лейбль<sup>13</sup>

для Германии, Ходлер<sup>14</sup>, Сегантини<sup>15</sup> для Швейцарии и т. д.? В таком случае что тут чисто русского? – Что же касается до «остро выраженного морального чувства», то такое было действительно свойственно и Перову, и Крамскому, и Репину, и Ге, пожалуй, оно было у этих «русских художников до 1900 года» более остро выражено, чем это же чувство у аналогичных мастеров на Западе. Но тут же навязываются два вопроса: было ли это национальным *преимуществом* русских художников, не являлось ли оно следствием известного смешения задач, недостаточной разборчивости в определении «обязанностей» художника в отношении к обществу? С другой же стороны, нужно вспомнить, что если это остро выдержанное моральное чувство и было характерно для русских живописцев конца XIX века, то оно же вовсе отсутствует как таковое в тех, кто явился к ним на смену. Между Репиным и Серовым, между Ге и Врубелем *техническая* разница не так уж велика; но разница в их миропонимании, в их «моральном чувстве» весьма значительна. И как раз – если миропонимание первой группы соответствовало вообще настроениям эпохи великих реформ (отголоски их затянулись до самого конца века) и разделяло боевую активность политических деятелей и писателей того времени, то, напротив, миропонимание второй группы отличается чрезвычайным *индифферентизмом* ко всему, что не есть искусство, к явлениям чистой общественности, мало того, оно противодействует всякому такому учению, которое предполагает подчинение художника какому <бы> то ни было принципу, кроме принципа «красоты». Мне вот и кажется, что если задаваться целью характеризовать состояние русского общества накануне революции и искать какие-то указания и иллюстрации в искусстве, то совершенно необходимо подчеркнуть именно эту черту, являющуюся, с одной стороны, свидетельством известной художественной зрелости и в то же время отражающую тот индифферентизм всей интеллигенции в целом, который можно рассматривать (с оговорками) как следствие автократического правления Александра III и который был, несомненно, одной из причин, почему русское общество в целом так пассивно отнеслось и к войне, и ко всему прочему, что привело к крушению старого режима. В узко художественном отношении индифферентизм означает несомненно *большую* степень зрелости, нежели то наивное «служение искусства обществу», которым задавалось поколение, «вышедшее из шестидесятых годов». Тот же индифферентизм отражал такое состояние умов, которое в более благополучные времена обусловило бы особенный расцвет культуры, высшую точку ее творческих устремлений. Но это же состояние умов, оказавшись волей судеб перед задачами неимоверной трагичности, породило совершенную растерянность. Крушение монархии явилось в то же время банкротством какого-то «готовившегося» зо-

лотого века русского пластического искусства, вообще отстававшего от расцвета литературы и музыки. Русское искусство, если можно так выразиться, оказалось слишком «мягкотелым», «рыхлым». С русскими художниками и со всей следившей за искусством русской интеллигенцией (наконец дозревшей до того, чтобы не только соприкоснуться с искусством, но как-то жить в нем, питаться им) случилось то, что едва принятая «вера» тут же была объявлена ересью, и к тому же лишаящей всяких сил сопротивления... Мне кажется, что, изучая канун революции, нужно именно это иметь в виду (и, понятно, можно и должно иметь в виду продолжавшееся значение Достоевского и Мусоргского, ибо они продолжали жить в русском обществе – мало того, их только тогда и стали постепенно оценивать по-настоящему, причем, как это ни странно, влияние и того и другого скорее всего питало все тот же общественный индифферентизм, а с точки зрения общественников – *отравляло* общество, подтачивало его устои), и, имея это в виду, следует меньше интересоваться такими явлениями, которые были в это время *прошлым* и даже забытым прошлым. Прибегая к фигуре Репина (или Крамского или Ге) в качестве главенствующей или типичной для эпохи Николая II, мы бы совершили такой же культурно-исторический *промах*, как если бы для иллюстрации настроений при Александре II<sup>16</sup> мы бы прибегли к творчеству Брюллова или Иванова...

Что же касается до «отсутствия заботы о деталях», то, мне кажется, такая черта не может быть принятой во внимание в данном случае, ибо это вообще не есть что-либо характерное для той или другой эпохи (или нации), а есть нечто сугубо индивидуальное – есть вопрос личного темперамента, а отнюдь не школы. Если, напр<имер>, принять выработку деталей за нечто типичное для голландцев XVII в., то тут же пришлось бы вспомнить, что два главных и самых характерных представителя голландской живописи – отличались, напротив, необыкновенно широкими приемами письма – Гальс<sup>17</sup> и Рембрандт. Если допустить, что в натуре русского человека (и благодаря пресловутой широте его натуры) замечается пренебрежение деталями, то тут же можно привести ряд необычайно ярких примеров, которые доказывали бы обратное, – достаточно вспомнить строгановских иконописцев<sup>18</sup>, чрезвычайную выписку деталей у Левицкого<sup>19</sup>, у Сильвестра Щедрина<sup>20</sup>, у Кипренского, Венецианова, у А.Иванова (его бесподобные пейзажные этюды!), у Федотова, Зарянки<sup>21</sup>, Перова и т. д. Да и в интересующую нас эпоху несколько художников можно прямо-таки сказать: щеголяли выпиской подробностей – как Сомов, Бакст<sup>22</sup>, Добужинский<sup>23</sup>, иногда даже Врубель. Мне и кажется, что этот *признак* (отсутствие заботы о деталях) отпадает в качестве характерного для русской школы живописи, так же как он не может быть оставлен и за русской скульптурой и за русской архи-

тектурой. Да, наконец, я сомневаюсь, чтобы он годился и для литературы – стоит только вспомнить Гоголя и Тургенева, не говоря уже о кропотливой психологической детализовке Достоевского...

Еще два слова об *источниках* русской культуры. Нужно ли для Вашей задачи понимать под этими словами все то, что еще со времени Гостомысла обнаруживалось на территории земли русской и что так или иначе может сказываться даже сейчас – в дни Сталина? Едва ли. Мне кажется, что вообще можно впасть в ошибку туманного обобщения, если начать искать какой-то общий характер как у дружинников Олега, так и у опричников Грозного, так и у фаворитов Екатерины и т. д. Не лучше ли поэтому сузить – в данном вопросе – свой кругозор? Не лучше ли (для Вашей работы) держаться только *ближайшего* и при выяснении источников русской культуры накануне гибели старого режима говорить только о том, чем была именно данная страница русской истории. И тогда еще задача останется – сверхъестественно трудной, ибо слишком много окажется противоречий, слишком много фактов без достаточно выясненного значения или значение коих непомерно преувеличено... Если же оставаться в пределах русского искусства (разумеется, оное есть одно из проявлений русской культуры) за интересующий нас отрезок времени, то уже станет легче определить хотя бы некоторые из его источников. И вот, мне кажется, что здесь придется констатировать одно совершенно несомненное явление: русская живопись была (продолжая быть с Петра) лишь веткой западной живописи – притом скорее германского оттенка. Правда, начиная с 1890-х годов (одновременно с попытками «национализации» русского искусства – эти попытки восходят еще ко временам Перова, «Артели»<sup>24</sup>, Передвижников, проповеди Стасова, «хождения художников в народ», ко времени первых попыток возрождения русского стиля Гартманом<sup>25</sup> и Ропетом<sup>26</sup>) началось и более внимательное отношение к тому, что происходило в передовом искусстве Франции, но в основе своей «германский привкус» все же не покидал русской живописи (и русской архитектуры), и даже Мир Искусства если в лице своих руководителей и увлекался импрессионистами, как усиленно и знакомил с их творчеством публику, то в целом, в творческой своей истории, и он не отделался от этого привкуса (который, впрочем, сам по себе ничего дурного в себе не имеет). Молодые русские художники теперь чаще стали ездить в Париж, внимательнее присматриваться к тому, что в нем творилось – притом не в официальном и «ретроградном» искусстве, а в независимом и передовом; Мюнхен и Дюссельдорф постепенно оказались в такой же опале, в какой уже оказался для поколения 1860-х и 1870-х годов – Рим; но, повторяю, «привкус» оставался, как оставался он и в русской музыке, и в русской литературе, в особенности – в русской философской мысли...

Но *привкус* не есть *вкус*. Привкус может портить вкус, может и придавать особую прелесть, наконец, могут оказаться в одном «вкусе» несколько привкусов. *Несколько* привкусов было и у русской живописи, но все они вместе все же не были достаточно сильны, чтоб заглушить основной вкус. Как раз Мир Искусства, которому часто бросали упрек в чрезмерном западничестве, приложил много (и успешных) усилий, чтоб этот вкус выявить как можно ярче, чтоб помочь русской самобытности освободиться от всяких чужих наслоений. Это освобождение шло под знаком «выявления личности» — но все отдельные личности были русские, и несомненно, что общее им всем и выявлялось. Однако формулировать, *в чем именно* заключалась эта «общая всем оригинальность», эта особенность «школы», очень трудно. Во всяком случае, передовое русское искусство *не* ставило себе программой какого-либо выявления *национального лица*. Такие «националисты», как Виктор Васнецов<sup>27</sup> и М.Нестеров<sup>28</sup>, были как раз теми двумя художниками, которых передовое русское искусство особенно недолюбливало. Правда, в среде самого Мира Искусства (объединение всех аналогичных между собой явлений под одной этой этикеткой есть лишь «удобная условность») производились всякие опыты создания или возрождения какого-то русского декоративного стиля<sup>29</sup> (вспомним о деятельности Поленовой<sup>30</sup>, Якунчиковой<sup>31</sup>, Ап. Васнецова<sup>32</sup>, Врубеля<sup>33</sup>, Стеллецкого<sup>34</sup>, Малютина<sup>35</sup>, Коровина<sup>36</sup>, Головина<sup>37</sup>, Рёриха<sup>38</sup>, Билибина<sup>39</sup>), — но эти опыты носили скорее характер эстетического прихотливого дилетантизма, и во всяком случае они (несмотря на поощрение двора и некоторых представителей высших кругов) ни к чему серьезному не привели. Ярче всего такие опыты «национальной реконструкции» отразились в театральных постановках, ибо часто по самому сюжету *требовалось* воссоздание «коренной русской древности», но и эти опыты, несмотря на успех за границей, нельзя почитать за нечто по существу значительное, за выражение «духа времени и национального лица». Если же смотреть на них в ансамбле всех культурных явлений русской жизни накануне гибели старого мира, то они представляют лишь интерес приятной игры фантазии и той «тяги к прошлому», которые вообще следует рассматривать как некое *предчувствие* обреченности этого прошлого. Ведь одновременно с мечтой Стеллецкого и Билибина о Московии XVI, XVII <вв.>, Рёриха — о Руси кривичей и вятичей мы встретимся с мечтами Серова (и Бенуа) о времени Петра I и Елизаветы, Сомова, Добужинского, Мусатова<sup>40</sup> и Кардовского<sup>41</sup> о русской Biedermaierzeit<sup>42</sup> и т. п. «Сентиментальный пассаеизм», присущий всей «группе художников времен Николая II» (сам государь лично не проявлял большого интереса к их творчеству), обусловил и тот культ, которым они окружали искусство Менцеля и Сурикова, этих изумительных «реалистов прошлого»,

а также их культ Бородина, Мусоргского, Римского и Чайковского. И когда Дягилев (посвятивший столько своих сил на отыскание забытого прошлого в области русского портрета) показал русское искусство Парижу<sup>43</sup>, то значительная часть успеха этой «манifestации» пришлась на долю как раз все того же *пассеизма*. Мусоргский в освещении Головина и Федоровского<sup>44</sup>, Бородин в освещении Рёриха, Римский в освещении Коровина и Гончаровой<sup>45</sup>, «Петрушка», воспроизводивший прошлое Петербурга<sup>46</sup>, – показали особенно пленительными, оказались особенно доступными. Они «дошли до сердца» в значительной степени благодаря тому, что «гурманам до всего экзотичного» был показан в убедительной наглядной форме целый неведомый мир. Этот ансамбль был сочтен за нечто чисто русское, по сей день существующее, тогда как это были скорее «фантазии на русские темы» художников, влюбленных в *прошлое* своей страны и любивших углубляться в него, *отворачиваясь* от действительности...

И еще вопрос о значении христианства в русском искусстве. Спорить о том, какую роль сыграло вообще в культурном развитии России христианство, не приходится – даже в наши дни, когда обнаруживается известное пренебрежение к этим (основным) вопросам, когда мысли, высказанные Достоевским об особенной призванности и святости России скорее представляются поэтическим визионерством, нежели подходят под понятие «установленного реального знания». Самая идея о «La Sainte Russia»<sup>47</sup> в дни Сталина должна казаться призрачной, ирреальной и даже слегка иронической. И *особенно* она может казаться такой, если мы обратимся к русскому искусству. Именно для укрепления этой идеи, для придачи государству Российскому ореола «национальной святости» было, накануне революции, сделано еще больше усилий со стороны правительства и высших кругов, нежели для возрождения исконных форм русского декоративного стиля. И однако все эти усилия и все достижения их относились к настоящему религиозному художественному творчеству, как мистика всяких салонных «дилетантов религиозности» относилась к подлинной религиозной мистике. Федоровский собор в Царском Селе<sup>48</sup> оказался такой же поэтической игрушкой, как те готические замки, которые в эпоху романтизма строил Александр I и Николай I<sup>49</sup>. И если в «романтизме» Николая Павловича можно видеть одну из причин кризиса, расшатавшего в 1850-х годах трон русских монархов, то соответственно <?> и в романтизме государыни Александры Федоровны можно видеть одну из причин, которые привели к катастрофе 1917...

Но и свободное от всякой правительственной опеки искусство религиозного характера – Врубеля, Стеллецкого, Петрова-Водкина<sup>50</sup> – было, в сущности, милым, талантливым, но по существу поверхно-

ственным дилетантством – разновидностью той же пассаеистической игры – какой были все другие «художественные эвокации»<sup>51</sup>. По существу, это все *не было серьезно*. Религиозное творчество Иванова было глубоко серьезно – не менее серьезно, нежели творчество Беато Анжелико<sup>52</sup>. Хотя оно было обречено на неудачу в смысле своего применения к церкви (ибо канонически оно *не* было приемлемо), оно все же означало великое трепетание, полное поглощение души – и если хотите, то именно души «русской» (если вообще все еще верить в исключительную религиозную призванность русских людей).

По существу, серьезным было и творчество Ге, посвященное изображению событий из жизни Христа<sup>53</sup>, хотя опять-таки и оно не имело ничего общего с религией и с церковью – и это была несколько ограниченная разновидность «реформистской» проповеди Толстого. *Das war sehr ernst genommen aber nühtern*<sup>54</sup> – оно было лишено всякого взлета. Но творчество помянутых выше художников, бравшихся в дни Николая II за религиозные темы (я, разумеется, оставляю без всякого внимания разных официальных «богомазов», украсивших новостроящиеся храмы, и к ним я вынужден причислить и Нестерова как *церковного* живописца; я не имею же в виду Васнецова<sup>55</sup>, принадлежащего всем своим складом скорее к группе «птенцов Александра III»), не было серьезным – не говоря уже о том, что оно ни в коей мере не приоткрыло завесы в потустороннее, оно не было отмечено и слабейшим отблеском высшего порядка. Еще кое-что обещал (в своих иконах Кирилловского собора<sup>56</sup>) Врубель (и отчасти он сдержал «обещания того же порядка» – в своем демоническом цикле<sup>57</sup>), но и Врубель не может занять место в истории подлинной религиозной живописи. Не он, во всяком случае, служит подтверждением того, что Русь была отмечена особой благодатью (следы ее в живописи уже теряются к концу XVII в.<sup>58</sup>), что Россия есть *преимущественно* страна *христианской* культуры...

Вот мысли, которые явились мне при чтении Вашего столь интересного письма и после той беседы, о которой я сохранил самое приятное воспоминание. Если бы Вам понадобились разные фактические сведения, разные «проверки» в той области, в которой я более сведущ, то располагайте мной как Вам будет угодно. Вы поставили себе слишком благородную и значительную цель, чтобы каждому, кому дорога «репутация» России, не было бы лестным оказать Вам всяческую поддержку.

Остаюсь совершенно преданный Вам  
и глубоко Вас уважающий

Александр Бенуа

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> подстроеной истиной (*франц.*).

<sup>2</sup> Бенуа имеет в виду храмы XI–XV вв., построенные до утраты Новгородом независимости. Позднее церковное строительство в Новгороде находилось под влиянием московской архитектурной школы.

<sup>3</sup> Храм Покрова Богородицы, что на Рву, получивший впоследствии прозвище собора Василия Блаженного, на Красной площади в Москве – построен в 1555–1560, архитекторы Барма и Постник. Так называемые «столпные храмы», из которых состоит комплекс Покровского собора, принадлежат к новому архитектурному стилю, сложившемуся в Москве в XVI в.

<sup>4</sup> Таврический дворец построен в Санкт-Петербурге по проекту И.Е.Старова в 1783–1789, памятник раннего классицизма.

<sup>5</sup> ошибка по существу дела (*лат.*).

<sup>6</sup> насквозь (*нем.*).

<sup>7</sup> Сомов Константин Андреевич (1869–1939) – живописец и график, один из основателей и наиболее ярких мастеров «Мира искусства».

<sup>8</sup> Курбе Жан Дезире Гюстав (1819–1877) – французский художник, крупнейший представитель реализма, автор термина «реализм» как художественного понятия.

<sup>9</sup> Милле Жан Франсуа (1814–1875) – французский художник, прославился работами, посвященными жизни крестьян.

<sup>10</sup> Коро Камиль (1796–1875) – французский художник, выдающийся мастер пейзажа.

<sup>11</sup> Сезанн Поль (1839–1906) – французский живописец, постимпрессионист; оказал большое влияние на эволюцию живописи начала XX в.

<sup>12</sup> Менцель Адольф фон (1815–1905) – немецкий художник, один из ведущих реалистов, обновивший, в частности, жанр исторической картины и исторической иллюстрации.

<sup>13</sup> Лейбль Вильгельм (1844–1900) – немецкий живописец, выдающийся мастер реалистического портрета и сцен из крестьянского быта.

<sup>14</sup> Ходлер Фердинанд (1853–1918) – швейцарский живописец и график, один из ведущих мастеров стиля «модерн».

<sup>15</sup> Сегантини Джованни (1858–1899) – итальянский живописец, работавший в Швейцарии.

<sup>16</sup> По-видимому, описка: Бенуа имел в виду Александра I.

<sup>17</sup> Гальс (в современном написании Халс) Франс (между 1581/85–1666) – один из крупнейших голландских живописцев XVII в., портретист.

<sup>18</sup> «Строгановские иконописцы» – позднее название направления в русской иконописи рубежа XVI и XVII вв.; «строгановские» иконы отличались особой изысканностью и манерностью образов и миниатюрной техникой письма.

<sup>19</sup> Левицкий Дмитрий Григорьевич (1735–1822) – живописец, один из блистательных мастеров русской портретной живописи XVIII в.



<sup>20</sup> Щедрин Сильвестр Феодосиевич (1791–1830) – живописец, существенно обновивший русский пейзажный жанр.

<sup>21</sup> Заряноко Сергей Константинович (1818–1870) – живописец, по преимуществу портретист.

<sup>22</sup> Бакст Лев Самойлович (Розенберг; 1866–1924) – театральный художник, график, живописец, член «Мира искусства», один из ведущих декораторов «Русских сезонов» Дягилева в Париже.

<sup>23</sup> Добужинский Мстислав Валерианович (1875–1957) – график и живописец, член «Мира искусства».

<sup>24</sup> Бенуа имеет в виду Петербургскую артель художников, объединение (коммуна), созданное в 1863 по инициативе и под руководством И.Н.Крамского и противостоявшее академической рутине в искусстве. Многие участники Артели вошли в возникшее позднее Товарищество передвижных выставок.

<sup>25</sup> Гартман Виктор Александрович (1834–1873) – архитектор, один из инициаторов создания так называемого «псевдорусского стиля», использовавший в своих проектах мотивы народной вышивки и т. п.

<sup>26</sup> Ропет Иван Павлович (Петров Иван Николаевич, 1845–1908) – архитектор, основоположник «псевдорусского стиля» в архитектуре конца XIX – начала XX в., ориентированного на использование мотивов русской архитектуры XVII в. и народного декоративно-прикладного искусства. Бенуа и прежде не раз давал творчеству Гартмана, Ропета и их последователей аналогичные оценки. В своем раннем очерке истории русской живописи он с раздражением назвал это абракадаброй «петушиного стиля», «изобретенного Гартманом и Ропетом и развитого до последних пределов безобразия их слабосильными подражателями <...> Чудовищная пестрота, нарочитая тягеловесность и нелепость их произведений ничего не имеют общего с высоким, благородно спокойным, монументальным, а подчас уютным и затейливым творчеством тех древнерусских людей, которые создали мощные стены Кремля, дивные соборы Ярославля и Владимира и такую массу всевозможных, поразительных по мысли и изяществу предметов» (*Бенуа А. История живописи в XIX веке. Русская живопись. СПб.: Знание, 1901. С.253*). Возвращался он к этому предмету и позднее: «все эти пробы были неудачны и уродливы. <...> Русский стиль понимался в 1870-х и 1880-х годах как нечто дико вычурное, несуразное, пестрое и непременно грубое» (*Бенуа А. Русская школа живописи. М.: Арт-Родник, 1997; репринт с изд.: СПб.: Голике и Вильборг, 1904*).

<sup>27</sup> Васнецов Виктор Михайлович (1848–1926) – живописец, член Товарищества передвижных выставок. Бенуа имеет в виду его картины на сюжеты русской истории, былин и народных сказок.

<sup>28</sup> Нестеров Михаил Васильевич (1862–1942) – живописец, автор картин и стеновых росписей на религиозные сюжеты, портретист.

<sup>29</sup> Далее Бенуа перечисляет художников, которые так или иначе уплатили дань так называемому «национальному романтизму», претворяя в своем творчестве мотивы народного прикладного и декоративного, а также древнерусского искусства. Ср.: *Бенуа А. Русская школа живописи. С.106 и след.*

<sup>30</sup> Поленова Елена Дмитриевна (1850–1898) – живописец и график, поздние ее работы выполнены в духе национального романтизма; основала в Абрамцеве столлярно-резную мастерскую.

<sup>31</sup> Якунчикова-Вебер Мария Васильевна (1870–1902) – живописец, график, мастер прикладного искусства, участница «Мира искусства».

<sup>32</sup> Васнецов Аполлинарий Михайлович (1856–1933) – живописец, график и театральный художник, брат Виктора Васнецова; в своих картинах воссоздавал облик и быт древней Москвы.

<sup>33</sup> Речь идет, видимо, о декоративных майоликах М.А.Врубеля, выполненных в Абрамцеве в 1890-е.

<sup>34</sup> Стеллецкий Дмитрий Семенович (1875–1939) – живописец, скульптор, участник выставок «Мира искусства».

<sup>35</sup> Малютин Сергей Васильевич (1859–1937) – живописец и график. Бенуа имеет в виду его эскизы мебели для мастерских художественной резьбы в Талашкине, работы для театра и иллюстрации.

<sup>36</sup> Коровин Константин Алексеевич (1861–1939) – живописец, театральный художник, член «Мира искусства». Здесь имеются в виду некоторые его ранние живописные работы и работы для театра.

<sup>37</sup> Головин Александр Яковлевич (1863–1930) – театральный художник, участник объединения «Мир искусства». Участвовал в деятельности «абрамцевского кружка», оформлял спектакли труппы Дягилева в Париже.

<sup>38</sup> Рерих Николай Константинович (1874–1947) – живописец, археолог, член «Мира искусства». Бенуа имеет в виду его ранние картины на сюжеты из истории славян и Древней Руси, а также, возможно, декорации к спектаклям антрепризы Дягилева в Париже («Весна священная» И.Стравинского, 1913) и в Лондоне («Князь Игорь» А.Бородина, 1914).

<sup>39</sup> Билибин Иван Яковлевич (1876–1942) – график и театральный художник, участник объединения «Мир искусства». Создал свой стиль книжного оформления, основанный на трансформации в духе стиля «модерн» мотивов русской народной деревянной резьбы, вышивки, лубка, древнерусской книжной миниатюры.

<sup>40</sup> Борисов-Мусатов Виктор Эльпидифорович (1870–1905) – живописец и график.

<sup>41</sup> Кардовский Дмитрий Николаевич (1866–1943) – график, иллюстратор книги, живописец.

<sup>42</sup> Biedermaierzeit (Biedermeierzeit) – эпоха бидермейера, направления в искусстве первой половины XIX в., по преимуществу немецком и австрийском. Здесь, у Бенуа, – дух, настроения, сюжеты, характерные для 20–40-х годов XIX в.

<sup>43</sup> Дягилев Сергей Павлович (1872–1929) – один из основателей «Мира искусства», организатор многочисленных художественных начинаний; в их числе – созданная во многом по инициативе и благодаря усилиям Дягилева грандиозная «Историко-художественная выставка русских портретов» (1905), которая стала подлинным открытием шедевров русской портретной живописи, особенно – XVIII в. В дальнейшем – организатор «Русских сезонов», антрепризы Дягилева, оперных и балетных спектаклей сначала в Париже, а затем в Лондоне и других городах Европы.

<sup>44</sup> Федоровский Федор Федорович (1883–1955) – театральный художник, в 1912–1913 оформлял спектакли антрепризы Дягилева.

<sup>45</sup> Гончарова Наталия Сергеевна (1881–1962) – живописец, график, театральный художник, оформляла спектакли антрепризы Дягилева.

<sup>46</sup> В 1908, во время первого «Русского сезона», был показан «Борис Годунов» М.Мусоргского в оформлении А.Головина; в создании костюмов участвовал И.Билибин. «Хованщина» Мусоргского в оформлении Ф.Федоровского была поставлена в 1913. В 1909 в числе дягилевских постановок был «Половецкий акт» из оперы А.Бородина «Князь Игорь» со знаменитыми «Половецкими плясками», который шел в оформлении Н.Рериха. «Золотой петушок» Н.Римского-Корсакова в оформлении Н.Гончаровой шел в 1914. Называя К.Коровина, Бенуа, возможно, имеет в виду балетный спектакль «Le Festin» («Пиршество») – на музыку М.Глинки, П.Чайковского, Н.Римского-Корсакова, М.Мусоргского, А.Глазунова – в оформлении К.Коровина (при участии Бакста). «Петрушка» И.Стравинского был поставлен в 1911 в оформлении самого А.Бенуа, ему отчасти принадлежал и замысел балета. Говоря о «прошлом Петербурга», Бенуа имеет в виду, что балаганы и балаганские представления ко времени создания и постановки «Петрушки» были упразднены. См.: Бенуа А. Воспоминания о балете // Бенуа А. Мои воспоминания: В 5 кн. Кн.4–5. М.: Наука, 1993. С.514–524, а также: Кн.1–3. С.289–298 – о балаганах в Петербурге.

<sup>47</sup> Святая Русь (*франц.*).

<sup>48</sup> Федоровский собор в Царском Селе, построенный по проекту архитектора В.Покровского в 1909–1912, представлял собой стилизацию, восходящую к Благовещенскому собору Московского Кремля (1484–1489, достроен в 1562–1564).

<sup>49</sup> Бенуа имеет в виду постройки в духе псевдоготики, которые особенно часто возводились в загородных царских резиденциях, начиная еще со времен Екатерины II. Александровский парк в Царском Селе был украшен множеством построек этого рода, одна из них – так называемый Арсенал (1819–1834, архитектор А.Менелас) – напоминает средневековый замок; комплекс «Александрия» в Петергофе (архитекторы А.Менелас, А.Штакеншнейдер и др.) полон готических реминисценций, отвечавших вкусам Николая I, и т. д.

<sup>50</sup> Петров-Водкин Кузьма Сергеевич (1878–1939) – живописец, участник объединения «Мир искусства».

<sup>51</sup> От évocation (*франц.*) – заклинание, вызывание духов.

<sup>52</sup> Беато Анжелико (Фра Джованни да Фиезоле; ок. 1400–1455) – флорентинский художник эпохи раннего Возрождения. Живопись фра Беато проникнута искренним религиозным чувством.

<sup>53</sup> Речь идет о позднем цикле картин Николая Николаевича Ге (1831–1894) на евангельские сюжеты – «Христос и Никодим» (1880-е), «Что есть истина?» (1890), «Суд Синедриона» (1882), «Голгофа» (1893), находящиеся ныне в Государственной Третьяковской галерее. Ср. с оценкой, данной этим картинам Ге в книгах Бенуа «История живописи в XIX веке. Русская живопись» (С.114–118) и «Русская школа живописи» (С.59–60).

<sup>54</sup> Это было очень всерьез, но рассудочно (*нем.*).

<sup>55</sup> Речь здесь идет о росписях Виктора Васнецова во Владимирском соборе в Киеве, выполненных в 1885–1896; подробную критическую оценку этих росписей см.: *Бенуа А.* История живописи в XIX веке. Русская живопись. С.128-131.

<sup>56</sup> Бенуа говорит о работах Врубеля в Кирилловской церкви в Киеве, где молодой тогда художник (в середине 1880-х) восстанавливал утраченные части стенных росписей XII в. и иконостас.

<sup>57</sup> Имеются в виду известные картины Врубеля «Демон» (1890) и «Демон поверженный» (1902) (обе в Государственной Третьяковской галерее) и, возможно, иллюстрации к поэме М.Лермонтова «Демон» (1890–1891).

<sup>58</sup> В русскую иконопись и стенную живопись второй половины – конца XVII в. проникают западные влияния, которые коренным образом меняют традиционную спиритуалистическую систему представления священных сюжетов. В своей книге Бенуа писал, что «русская церковная живопись еще до времени Петра I в сильной степени утратила свой самобытный, традиционный характер. Русская иконная живопись XVII века, только что начавшая освобождаться от византийского канона и впитывать в себя элементы народного вкуса <...>, с середины XVII века сворачивает в сторону и под влиянием южно-русской и польской культуры получает несомненно “немецкий” оттенок. Церковь почти не боролась с этим течением. Она, упорно стоявшая за неприкосновенность византийских традиций во всем, что касалось чисто внешних требований иконописания <...> равнодушно относилась к тому, что самые типы священных лиц, под влиянием немецких эстампов, стали приобретать вялый характер и что весь стиль образов сделался ломаным, дряблым, ничего общего не имеющим со строгим величием Византии. Ко времени и в особенности со времени Петра I течение это усилилось и выродилось в середине XVIII века в странную смесь византийского шаблона с дикими вывертами немецкого рококо. Академия вытеснила и последние черты византизма из русского иконописания, и в первой половине XIX века мы не находим более никаких следов его» (*Бенуа А.* Русская школа живописи. С.12-13).

## О ПИСЬМЕ БАЗИЛИ

Письмо Базили с вопросами о сущности русского искусства не сохранилось; во всяком случае, его пока не удалось разыскать. Однако его тезисы, сформулированные то ли в вопросительной, то ли в утвердительной форме, легко реконструируются из публикуемого ответа. Предположительно они могли выглядеть так:

Каковы общие черты русской художественной культуры?

Каковы общие черты, или – в чем сущность русской художественной культуры последнего предшествовавшего революции столетия?

Верно ли, что применительно к искусству вообще и к пластическим искусствам в первую очередь эти главные черты составляют: реализм, свобода от условностей, остро выраженное моральное чувство и отсутствие заботы о деталях?

Каковы источники русского искусства, определяющие его национальное лицо?

Какова роль христианства для русского искусства?

Нетрудно заметить, что Базили называет различные грани одной проблемы, которую на современном языке можно назвать проблемой идентичности; под этим именем она приобрела новую остроту в нынешнем мире. Тем более интересны ответы выдающегося мастера, лидера целого художественного направления, блистательного историка и критика русского искусства.

До публикуемого письма и почти одновременно с ним Бенуа имел случай высказываться на эти темы в двух книгах о русской живописи и в многочисленных статьях. Просьба Базили стала поводом для некоторого итога. Многие строки письма чрезвычайно близки к написанному ранее (некоторые переклички указаны в примечаниях), другие представляют собою новую, измененную редакцию прежних позиций; вместе с тем в письме есть положения, которые ранее у Бенуа не встречались. Все это спрессовано в десяток рукописных страниц упругого и темпераментно написанного текста. Перечесть его сейчас не значит согласиться с каждым словом Бенуа; достаточно будет того, что в полифонии современных мнений его голос может прозвучать достаточно свежо – хотя бы уже потому, что обсуждение чувствительных сюжетов национальной и культурной идентичности ведется в наше время на высоких и очень высоких нотах, тогда как голос Бенуа, хотя и полный энергии, модулирует в середине диапазона. Это трезвая речь, направленная прежде всего на разоблачение ходячих мифов.

Оставим в стороне несколько неожиданное для Бенуа, но замечательное своей мудростью методологическое рассуждение о парадоксе определений и классификаций, призванных улавливать сущность; это отдельная тема. Прямые ответы на вопросы Базили сводятся в конечном счете к нескольким опровержениям; на каждое предположение (или предложение) следует учтвое, но твердое «нет».

Первое относится к надежде на отыскание постоянных признаков русской культуры или «общего характера», присущего ей на протяжении всей ее истории. Бенуа не только не берется назвать эти признаки, но и отговаривает от такой попытки своего корреспондента: «Фикция какого-то общего всем этим явлениям характера привела бы только к бессодержательной риторике». Следующее «нет» относится к лучше обозримому и более однородному, казалось бы, периоду – примерно от 1880 и до 1917 – и тут, по мнению Бенуа, где-то посередине, около 1900 года, произошел перелом, изменивший самое существо пластических искусств.

Характеристика русской школы через набор из четырех признаков – разной мощности, случайно подобранных, но достаточно расхожих – может быть оспорена без особого труда. Действительно, ни один из них не прослеживается непрерывно на протяжении всей истории русского искусства или сколько-нибудь долгого ее периода. Поучительна, однако, критика исследователя приема, который сохраняет неистребимую живучесть по сей день. Базили, как это делалось не раз до него и будет делаться после, возводит в ранг специфической закономерности наблюдаемые в русской художественной культуре черты, не прибегая к контрольным сравнениям с какой-либо другой национальной культурой – так, словно бы вне

поля его наблюдений ничего больше нет. Бенуа показал, что эти наблюдения некорректны, во-первых, и, во-вторых, выведенные из них характеристики вовсе не составляют отличительные особенности русского искусства, поскольку встречаются в других местах, где они бывали и сильнее артикулированы.

Особенно важным для Бенуа оказывается анализ перелома, который разделил русское искусство дореволюционного полувека на две разнокачественные половины по признаку «остро выраженного морального чувства» или, иначе, «ответственности художника перед обществом». Поскольку перелом произошел при его живейшем участии, анализ этот заключает в себе скрытую, но легко дешифруемую оценку собственной роли лидера «Мира искусства» в судьбах искусства начала века. За общим рассуждением стоит жгучая личная проблема.

Известно, что воинствующий эстетизм Бенуа золотой поры «Мира искусства», периода «бури и натиска», сменился позднее более умеренными и взвешенными суждениями, в частности – отвержение и осмеяние передвижнической общественной ангажированности стало хотя бы менее жестким. По мнению исследователя, «чистый эстетизм», который был поначалу его верой, в середине 1910-х стал казаться ему «преступлением»<sup>1</sup>. Скорее всего, однако, внутренняя эволюция Бенуа не была столь прямолинейной. Живой и импульсивный, он мог в разные минуты жизни и в разных контекстах вступать в противоречия с самим собой – и не только прежним. Тем интересней рассуждение по этому поводу в публикуемом письме.

В 1934 Бенуа вовсе не отрекался от эстетизма, отнюдь нет. Противоречие между «служением красоте» и «служением обществу» он представил как рассогласование принципов разного уровня, разведя несомнимые «служения» по разным этапам социокультурного универсума. «Индифферентизм» собственно эстетической позиции получил у него, соответственно, два значения. «В узко художественном отношении индифферентизм означает несомненно большую степень зрелости, нежели то наивное “служение искусства обществу”, которым задавалось поколение, “вышедшее из шестидесятых годов”. Тот же индифферентизм отражал такое состояние умов, которое в более благополучные времена обусловило бы особенный расцвет культуры, высшую точку ее творческих устремлений». С точки зрения логики художественного становления асоциальность «Мира искусства» и созвучных ему движений означала (и готовила) высшую фазу истории русского искусства, когда оно, сбросив груз внехудожественного долга, обрело бы полагающуюся ему свободу, самоцельность и самодостаточность. Но с точки зрения судеб России отраженный в художественном мире общий социальный «индифферентизм» интеллигенции оказался косвенным виновником, более того – одной из причин крушения «старого режима». Полагал ли Бенуа, что народническая, «передвижническая» социальная активность интеллигенции, принося в жертву «культуру в себе и для себя», могла бы стать стабилизатором политических процессов, что она способствовала бы сохранению и усилению либеральных ценностей и тем самым предохранила

---

<sup>1</sup> См.: *Эткинд М. Александр Николаевич Бенуа. 1870–1960.* Л.; М.: Искусство, 1965. С.87.

бы империю от катастрофических последствий экстремизма? Мысли этого рода, видимо, не оставляли его в эмиграции.

Идея несостоявшегося – «виртуального», как нынче говорят, – расцвета русского искусства имеет еще и непроявленную сторону. Обозревая по преимуществу предреволюционное сорокалетие, Бенуа ни словом не обмолвился о русском художественном авангарде предреволюционных и тем более послереволюционных лет. Известно, что он относился к левому искусству резко отрицательно: превращение вождя передового художественного движения в ретрограда (если сохранять термины этого рода) произошло со скоростью, пропорциональной энергии русского авангардизма. Не менее хорошо известен ему был авангард европейский – и настолько же неприемлем; свою идиосинкразию он демонстрировал многократно, со всей резкостью, на которую был способен. Не мог он не видеть в 1934, что, несмотря на все отступления, именно авангардная тенденция претендовала на доминирующее место в мире искусства, а если говорить о русских делах, то ангажированность социалистического реализма, сменившая революционный авангардизм, его тоже не могла воодушевить. Следовательно, пассаж о подготовленном и пресеченном революцией расцвете русской культуры надо понимать скорее как некую логически выстроенную утопию, призванную, в частности, оправдать собственные позиции пишущего: эстетическая автономия должна привести к вершинам творчества. Почему автоматическое действие закона нарушено – особая тема; ответ на этот вопрос нужно искать в других сочинениях Бенуа. В самом общем виде его можно было бы суммировать так: злая воля авангардистов деформировала законосообразное движение дел.

Надо предположить, что ответы на два последних предложения Базили разочаровали вопрошавшего. Проблема истоков русского искусства неизбежно переплетается с проблемой его общего характера; тут Бенуа, в сущности, повторяет то, с чего начал, выявляя точку зрения и называя вещи своими именами.

Тезис об «исторической миссии ученичества», как – не без пышности – это было некогда названо, теперь изложен проще: «...русская живопись была (продолжая быть с Петра) лишь веткой западной живописи». Отвергнув мимоходом славянофильскую версию, по которой только петровские преобразования отобрали у русской культуры ее национальную подлинность, он поставил под вопрос и стасовскую веру в то, что русское искусство стало вполне национальным вместе со становлением идейного реализма; «германский оттенок», «германский привкус» сохранялся и тут. Правда, «*привкус* не есть *вкус*». Но национально-романтические опыты художников, преднамеренно искавших и строивших национальный «вкус», в том числе друзей, коллег и единомышленников, Бенуа, можно сказать – неподкупно, диагностирует в лучшем случае как эстетический дилетантизм, приятную игру фантазии, но никак не «выражение духа времени и национального лица».

Не менее жестко сказано и о значении христианства в новом русском искусстве. Брезгливое отношение к художественным проявлениям казенного православия Бенуа заявлял не раз. Но спонтанное религиозное творчество русских художников – воспользуюсь его словами – «не может служить подтверждением того, что Русь была отмечена особой благодатью <...>, что

Россия есть преимущественно страна христианской культуры». Исключение он делал для Александра Иванова, да и то с оговорками. Для многого другого у него нашлось неупотребительное в русском языке, но зато меткое слово «эвокации», выражающее самую суть дела. Кстати будет заметить, что состояние и перспективы религиозной живописи на Западе виделись ему в столь же сумрачных тонах, достаточно будет взглянуть, скажем, в статью «Опять о религиозном искусстве», написанную спустя несколько месяцев после публикуемого письма<sup>2</sup>. Отдавая должное художественному выражению искренней личной и личностной религиозности, он прекрасно понимал отличие самых высоких ее всплесков от великого религиозного искусства до ренессансной поры и отдавал себе отчет в невозможности создания нового имперсонального стиля в наступившие времена: «Все то, что откровенно рвало с традицией и, не ограничиваясь личными переживаниями, пробовало создать нечто по-новому внушительное, грандиозное, какой-то новый церковный стиль – все это оказывалось через некоторое время надутой ложью или жалким дилетантством, не имеющим права на вековое существование и тем менее на какое-то “представительство вечности”»<sup>3</sup>.

Разоблачение мифов дается куда легче положительных определений.

Рационально мыслящий Бенуа прекрасно понимал, что обнаружить неизменное ядро в меняющемся российском предмете можно при том условии, что предмет варьирует вокруг некой постоянной оси; выражаясь языком, которого Бенуа еще не мог знать, – инвариант есть то общее, что свойственно всем вариантам. Но если история русского искусства становится историей коренных качественных изменений, культурных мутаций – как быть тогда?

Великолепно образованный западник Бенуа видел то общее, что русская художественная культура переживала вместе и одновременно с Западом или перерабатывала, учась у Запада.

Свою книгу воспоминаний Бенуа начал с фразы, в которой можно усмотреть вызов, вот она: «Я должен начать свой рассказ с признания, что я так и не дозрел, чтобы стать настоящим патриотом, я так и не узнал пламенной любви к чему-то огромно-необъятному, не понял, что его интересы – мои интересы, что мое сердце должно биться в унисон с сердцем этой неизмеримой громады»<sup>4</sup>. Логично предположить, что «патриотическая незрелость» и была отправной точкой критики тех позиций, которые скорее собрал, нежели измыслил Н.Базили. Это было бы, однако, сильным упрощением реального положения дел. В послесловии к книге воспоминаний Бенуа Г.Ю.Стернин тонко и с глубоким пониманием интерпретировал его слова о патриотизме, показав, что они были литературным ходом и известного рода стилизацией, но никак не признанием – «исповедальные» высказывания говорят о другом<sup>5</sup>. Публикуемое письмо позволяет указать на еще одну грань проблемы, характеризующую Бенуа-исследователя.

<sup>2</sup> См.: Бенуа А. Художественные письма. 1930–1936. Газета «Последние новости». Париж. М.: Галарт, 1997. С.166–169.

<sup>3</sup> Там же. С.169.

<sup>4</sup> Бенуа А. Мои воспоминания. Кн.1-3. С.9.

<sup>5</sup> См.: Стернин Г.Ю. «Мои воспоминания» Александра Бенуа // Бенуа А. Мои воспоминания. Кн.4-5. С.583-585, 621.



Итак, *«привкус не есть вкус»*. Привкус может портить вкус, может и придавать особую прелесть, наконец, могут оказаться в одном “вкусе” несколько привкусов. *Несколько* привкусов было и у русской живописи, но все они вместе все же не были достаточно сильны, чтоб заглушить основной вкус. Как раз Мир Искусства, которому часто бросали упрек в чрезмерном западничестве, приложил много (и успешных) усилий, чтоб этот вкус выявить как можно ярче, чтоб помочь русской самобытности освободиться от всяких чужих наслоений. Это освобождение шло под знаком “выявления личности” – но все отдельные личности были русские, и несомненно, что общее им всем и выявлялось. Однако формулировать, в *чем именно* заключалась эта “общая всем оригинальность”, эта особенность “школы”, очень трудно».

Бенуа оставляет нас на полдороге: «оно» есть (иначе любой разговор о русском искусстве стал бы беспредметным; книги самого Бенуа о русской школе не имели бы иного оправдания, кроме общности места действия), но не названо. Если этот обрыв мысли в критической точке поместить в контекст всего сказанного Бенуа о русской художественной культуре, то будет позволено истолковать его как сократический прием, требующий от читателя последнего додумывания, когда все предпосылки в наличии. Сделаем такую попытку. Скажем, что искомая общность не поддается слову, ибо схватывается только интуитивно – на основании глубочайшего личного опыта. «Вкус» как свойство улавливается вкусом как способностью, а суждение вкуса, учил философ, не основано на понятии.

Интересно, что цитированные выше слова о незрелости патриотизма написаны тогда же, когда и публикуемое письмо. Двумя страницами ниже читаем: «Когда я сижу у открытого окна, выходящего на милую (почти родную) Сену, мне в сегодняшний жаркий и светлый июньский вечер 1934 г. представляется особенно соблазнительным перенестись на машине времени в те далекие времена, когда я жил в родном городе»<sup>6</sup>.

Завтра надо бы ответить Николаю Базили.

*Борис Бернштейн*

<sup>6</sup> Бенуа А. Мои воспоминания. Кн.1-3. С.11.

## Жорж Шерон К ИСТОРИИ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ

В 1980-е я переписывался с эмигрантским поэтом и специалистом по акростихам Геннадием Геннадиевичем Паниным<sup>1</sup>. Он мне прислал редчайшую фотографию, на которой запечатлен Роман Гуль<sup>2</sup> в окружении литераторов второй волны эмиграции во время визита в лагерь ди-пи Шляйсхайм.

Этот лагерь для перемещенных лиц в местечке Фельдмохинг под Мюнхеном сконцентрировал много русских интеллигентов. Здесь располагалось русское издательство «Златоуст», печатавшее продукцию самой разной направленности: от самоучителя английского языка до детских книг и художественных произведений лагерных авторов. Публиковать было что – в Шляйсхайме оказался весь будущий цвет литературы второй волны русской эмиграции. А «голод на русскую книгу был очень велик»<sup>3</sup>.

Периодических изданий на русском языке в одном только Шляйсхайме, не считая рядом расположенного Мюнхена, в разное время выходило более полутора десятков, как официальных, так и

---

<sup>1</sup> Панин Геннадий Геннадиевич (1895–1990) – поэт, журналист, в годы Второй мировой войны оказался на оккупированной территории, в 1942 работал ответственным секретарем симферопольской газеты «Голос Крыма», в 1943 эвакуирован в Одессу, затем в Австрию, жил в лагере беженцев в Штрие, сотрудничал в периодике Русского освободительного движения, после войны жил в Эрлангене, затем в Шляйсхайме, в 1950 переехал в США, печатался в «Новом русском слове», «Новом журнале», «Современнике», написал монографию об акростихах.

<sup>2</sup> Подробнее о нем см.: *Гуль Р. Я унес Россию: Апология эмиграции: В 3 т. / Предисл. и аннот. указат. имен О.А.Коростелева. М.: Б.С.Г.-ПРЕСС, 2001.*

<sup>3</sup> *Штейн Э. Русская печать лагерей «ди-пи». Orange: Antiquary, 1993. С.9.*

сугубо литературных (правда, далеко не все они продолжили существование после выхода первого номера):

Лагерь Фуэссен и Шляйсхайм: Приказы. 1946.

Ежедневная радиосводка. 1946–1948.

Русские еженедельные новости. 1946. №1-18.

Переселенческий вопрос: Информационный бюллетень. 1946. №1-2.

Наши вести. 1947. №1.

У врат: Литературно-художественный и общественно-политический сборник / Под редакцией А.И.Михайловского. 1947. №1.

Новый мир: Журнал иностранной публицистики, художественной литературы и юмора. 1947. №1-3.

Русский лагерь в Шляйсхайме: Информационный бюллетень. 1947–1948.

Организация российских юных разведчиков. Шляйсхаймская дружина: Информационный бюллетень. 1947. №1.

На пикете: Аполитический историко-бытовой журнал общеказачьей станицы / Издатель В.Лещенко. 1947–1948. №1-6.

Казачий исторический календарь. 1948.

Хроника лагеря Шляйсхайм. 1948–1949. №1-37.

Новости науки и техники: Научно-технический ежемесячный журнал лагерного объединения русских инженеров. 1948–1949. №1-5.

Альманах русского юмора. 1948. <№1.>

Друг молодежи: Общественно-педагогический сборник по вопросам внешкольного воспитания. 1948. №1.

Лагерный листок: Орган лагерного комитета и начальника лагеря / Редактор С.Болдырев. 1949.

Бюллетень российского эмигранта. 1950. №1.

Российское антикоммунистическое объединение: Бюллетень. 1950–1951. №1-8.

Визит Гуля молодыми литераторами был воспринят как событие и надолго запомнился. Встречи писателей первой и второй эмиграции в то время еще не стали привычными. Через несколько десятилетий, уже после кончины Гуля, Борис Филиппов в некрологе среди прочего упомянул и об этом визите:

Вспоминается чтение Романа Борисовича в лагере ди-пи «Шляйсхайм», близ Мюнхена, в июне 1949 года. Перед большой аудиторией «перемещенных лиц» читал Гуль отрывки из своего романа об Азеве и Савинкове – «Генерал Бо»<sup>4</sup>. Аудитория была самая разношерстная: от белградских зубров-монархистов до

<sup>4</sup> Гуль Р. Генерал Бо. Берлин: Петрополис, 1929. Позже роман был переработан и издан под названием «Азев» (Нью-Йорк: Мост, 1959).



**И.А. Бунин (сидит третий слева) и Тэффи (сидит справа)  
в гостях у Б. Пантелеймонова (стоит во главе стола с трубкой в руке).  
Между 1946 и 1950**



**А.В.Флоровский и П.А.Михайлов (справа). 1930-е.  
(РАН. Фонд А.В.Флоровского)**

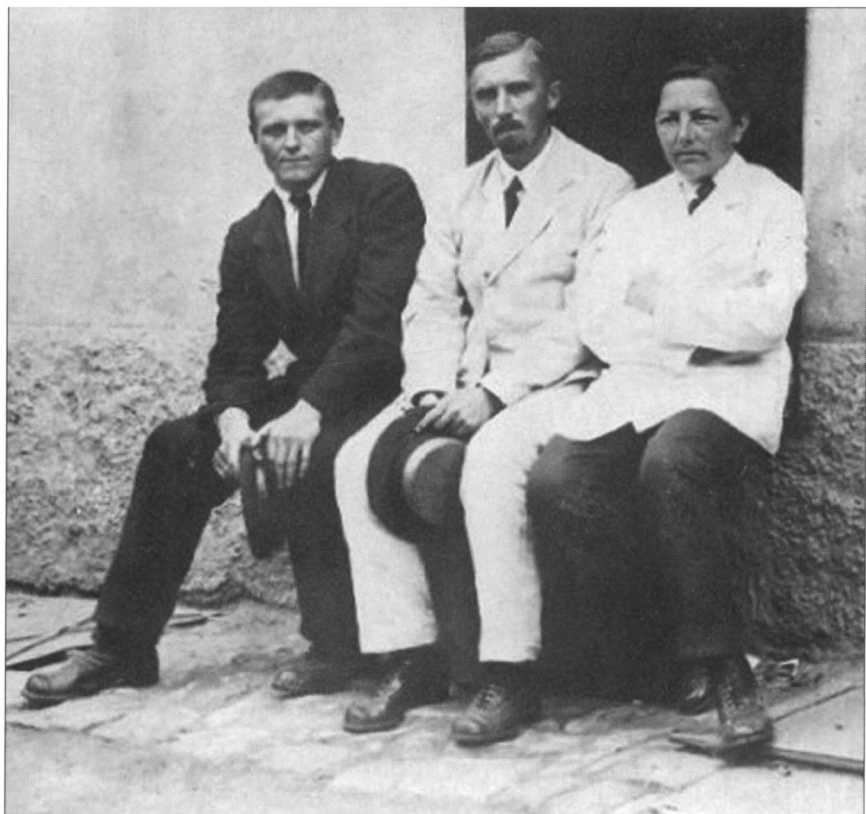


Сидят (слева направо): Н.О.Лосский, Г.В.Флоровский, В.А.Францев,  
неустановленное лицо, А.А.Кизеветтер, А.В.Флоровский.

Стоят (слева направо): И.И.Лапшин, П.Н.Савицкий, И.О.Панас.

Ужгород, август 1923.

(АРАН. Фонд А.В.Флоровского)



Слева направо: Г.А.Секачев, Б.П.Бабкин, А.В.Флоровский.  
Константинополь, сентябрь 1922.  
(АРАН. Фонд А.В.Флоровского)



Георгий и Нина Вернадские с учеником Георгия В.Уилером.  
Весна 1933 г. Брэдфорд (Коннектикут)

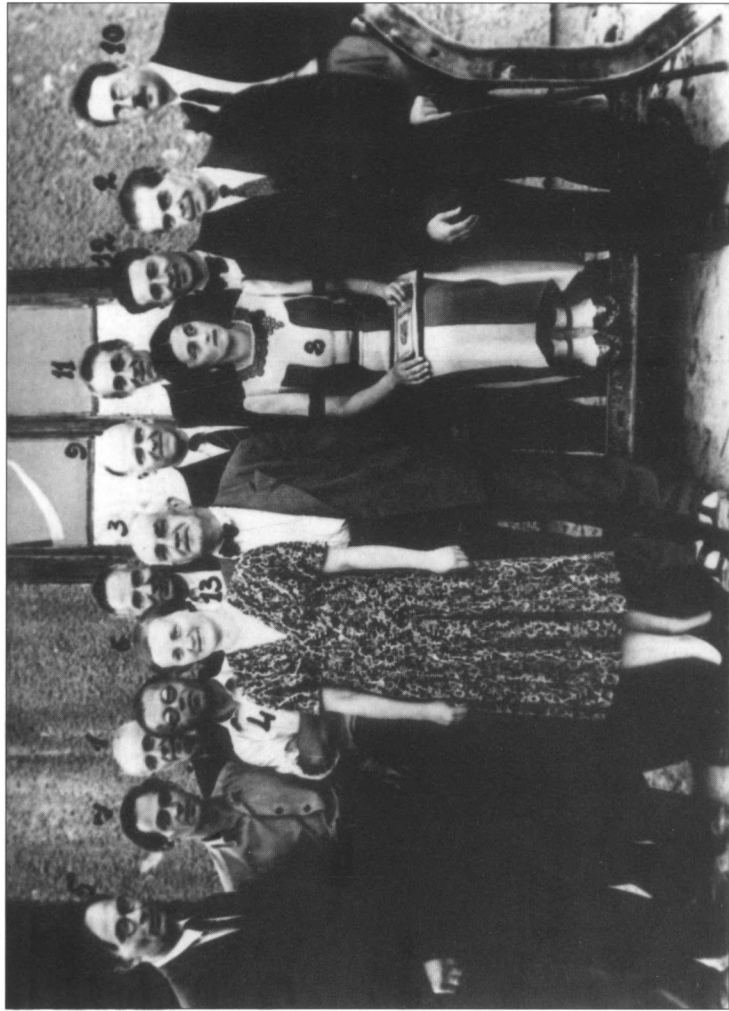




Илья Эренбург у автопортрета Марка Шагала.  
Начало 1960-х



**Марк Шагал.  
Фотография работы Л.Якоби**



Роман Гуль с русскими литераторами.  
Июнь 1949. Лагерь ди-пи Шляйсхайм.  
(К статье Ж.Шерона «История одной фотографии»)

вчераших комсомольцев послевоенной эмиграции. Среди слушателей вспоминаю писателей и поэтов как первой, так и второй эмиграции: Ивана Елагина<sup>5</sup> и Ольгу Анстей<sup>6</sup>, Бориса Нарциссова<sup>7</sup> и Ирину Бушман<sup>8</sup>, Геннадия Панина и Евгения Тверского<sup>9</sup>, и многих других. И вся аудитория была захвачена и самим повествованием, и самой манерой гулевского чтения: читал он просто, но выразительно, – и говор его был каким-то великорусски-круглым, необычайно подходящим к характеру «Генерала Бо»<sup>10</sup>.

В воспоминаниях, оставленных Г.Г.Паниным и до сих пор не опубликованных, есть страничка, посвященная обитателям лагеря:

---

<sup>5</sup> Елагин Иван (наст. имя Иван Венедиктович Матвеев; 1918–1987) – поэт, переводчик, с 1943 в эмиграции в Германии, с 1950 в США. Десять лет проработал в отделе объявлений «Нового русского слова», окончил Колумбийский университет, получил докторскую степень в Нью-йоркском университете за перевод поэмы С.В.Бене «Тело Джона Брауна»; профессор Питтсбургского университета (с 1970).

<sup>6</sup> Анстей Ольга Николаевна (урожд. Штейнберг, в первом браке Матвеева, во втором – Филиппова; 1912–1985), поэтесса, переводчица. Окончила в Киеве Институт иностранных языков (1931), осенью 1943 эмигрировала с мужем И.Елагиным из оккупированного Киева в Германию, в мае 1950 уехала в США. До 1972 года работала в ООН сначала секретарем, затем переводчиком, опубликовала два сборника стихов: «Дверь в стене» (Мюнхен, 1949) и «На юру» (Питтсбург, 1976).

<sup>7</sup> Нарциссов Борис Анатолиевич (1906–1982) – химик, поэт, переводчик. Член Юрьевского цеха поэтов (1929–1932), затем Ревельского цеха поэтов (1933–1935), печатался в «Нови», «Современных записках». Окончил отделение химии естественно-математического факультета Тартуского университета (1924–1931), магистр химии (1936), работал по специальности в Эстонии, затем в Германии (1944–1949) и Австралии (1950–1952), в 1953 перебрался в США. Работал консультантом в библиотеке Научно-исследовательского института имени Бателла, а в 1959–1971 руководил группой химиков в Библиотеке Конгресса. Печатался в «Новом журнале», «Новом русском слове», «Гранях», «Возрождении», опубликовал семь сборников стихов. Подробнее о нем см.: *Исаков С.Г. Русские в Эстонии. 1918–1940: Историко-культурные очерки.* Тарту: Компу, 1996. С.272-284.

<sup>8</sup> Бушман Ирина Николаевна (урожд. Сидорова-Евсеева, в замужестве Филиппова; род. 1921) – поэтесса, историк литературы. Училась на филфаке Ленинградского университета. Во время войны оказалась в Германии, жила в лагерях беженцев в Тюрингии, затем – в Берлине и в Мюнхене, работала в библиотеке радиостанции «Свободная Европа», публиковала стихи в «Новом журнале», «Литературном современнике», «Мостах», статьи о Мандельштаме и Пастернаке в научных сборниках.

<sup>9</sup> Евгений Тверской (наст. имя Благов Владимир Федорович; 1895–1958) – морской офицер, затем журналист. В эмиграции жил в Румынии, затем в Германии, сотрудничал в газете «Руль».

<sup>10</sup> *Филиппов Б.* Памяти Романа Борисовича Гуля // Новое русское слово. 1986. 5 июля. С.3.

Осевши в Шляйсхайме, вскоре сблизился с рядом лиц, которые особенно интересовали меня.

О Иване Венедиктовиче Елагине как поэте я знал и его сборник «По дороге оттуда»<sup>11</sup> читал еще в Эрлангене. Там же я написал акrostих, посвященный автору этого сборника, и в ответ получил этот же сборник с авторской надписью. Теперь же, в лагере, познакомился с ним и стал бывать запросто у него и у его жены – поэтессы Ольги Николаевны Анстей, автора сборника «Дверь в стене».

В весьма скромной елагинской комнате временами собирались любители литературы и пишущая братия – прозаики и поэты; в дружеской атмосфере присутствовавшие читали свои вещи, обменивались замечаниями по поводу прочитанного.

Из тех, с кем встречался у Елагиных или на собраниях литературного кружка или в иных условиях, помню хорошо: Сергея Григорьевича Шубовича<sup>12</sup>, прозаика, чьи вещи помещали старые русские толстые журналы; Николая Захаровича Рыбинского<sup>13</sup>, опытного журналиста, много лет жившего в Югославии, где в Белграде вышла его «Лиза. Маленькая повесть» (1928)<sup>14</sup>; Евгения Евтихевича Коваленко<sup>15</sup>, писавшего хорошие стихи; Ирину Евгеньевну Сабурову<sup>16</sup>, писательницу, автора книг «Королевство Алых Башен» и «Азбука Ди-Пи»<sup>17</sup>; Бориса Андреевича Филиппова-Филистинского<sup>18</sup>, ученого, прозаика и поэта; Владимира Федоровича

<sup>11</sup> *Елагин И.* По дороге оттуда: Стихи. Мюнхен, 1947.

<sup>12</sup> Шубович Сергей Григорьевич (1886–1979) – писатель.

<sup>13</sup> Рыбинский Николай Захарович (1887–1955) – журналист, литератор. Уроженец Киева, в эмиграции сотрудник белградского «Нового времени», до Второй мировой войны выпустил несколько книг беллетристики в Белграде и Варшаве.

<sup>14</sup> *Рыбинский Н.* Лиза: Маленькая повесть. Белград: М.А.Суворин, 1928.

<sup>15</sup> Коваленко Евгений Евтихевич – поэт.

<sup>16</sup> Сабурова Ирина Евгеньевна (урожд. Кутитонская, в первом браке Перфильева, во втором – баронесса фон Розенберг; 1907–1979) – писательница, переводчица. В эмиграции жила в Риге, печаталась в газете «Сегодня», «Иллюстрированной России», «Журнале Содружества». Редактор еженедельника «Для Вас» (1933–1940). После войны жила в Мюнхене, печаталась в «Гранях», «Возрождении», «Литературном современнике» и др. Написала мемуары «О нас» (Мюнхен, 1972), посвященные, среди прочего, обитателям Шляйсхайма.

<sup>17</sup> *Сабурова И.* Королевство алых башен. Мюнхен, 1947; *Сабурова И.* Азбука Ди-Пи. Мюнхен, 1946.

<sup>18</sup> Филистинский Борис Андреевич (псевд. Борис Филиппов; 1905–1991) – литературовед, критик, публицист. В 1936 окончил Ленинградский вечерний институт промышленного строительства, в том же году арестован, в 1941 освобожден, жил в Новгороде. В 1944 с оккупированной территории уехал в Латвию, затем в Германию. С 1950 – в США, сотрудник радиостанции «Голос Америки», преподаватель русской литературы в американских университетах; со-

Благова, беллетриста, писавшего под псевдонимом «Евгений Тверской»; Бориса Анатольевича Нарциссова, поэта, агронома по специальности, любителя «чертовщины»; Андрея Ивановича Альтаментова-«Касима»<sup>19</sup>, критика и поэта, человека желчного, неприятного; Николая Александровича Горчакова<sup>20</sup>, режиссера, опубликовавшего в Мюнхене свои «Восемь рассказов» (1948); Николая Евгеньевича Меньчукова<sup>21</sup>, причастного к писательству художника, – свою прозу он подписывал псевдонимами «Николай Олин», «Ирколин».

Кое с кем из названных у меня установились дружеские отношения. Посещал нас с женой Б.А.Филиппов, читавший нам кое-что из им написанного. Бывал и я у него. Частенько заходил Евгений Тверской; он был сыном редактора московского «Русского слова» Ф.И.Благова<sup>22</sup> и его жены Марии<sup>23</sup>, дочери известного издателя И.Д.Сытина. Тверской, человек исключительно интересный, много на своем веку видевший, был собеседником замечательным; появляясь, всякий раз читал что-либо из своих очерков о старой Москве<sup>24</sup>, – ее быт знал хорошо по собственным

---

вместно с Г.П.Струве выпустил ряд изданий русских писателей, в том числе первые собрания сочинений Ахматовой, Мандельштама, Клюева и др.

<sup>19</sup> Альтаментов Андрей Иванович (1893–1956) – инженер-текстильщик. В 1942 попал в плен, после лагерей для военнопленных долго жил в Шляйсхайме. Под псевдонимами Уральцев и Касим печатался в мюнхенском «Обзрении», «Литературном современнике». В 1951 перебрался в Нью-Йорк, где работал на спичечной фабрике.

<sup>20</sup> Горчаков Николай Александрович (1901–?) – режиссер, литератор, автор работ по истории театра. В лагерях ди-пи был редактором-издателем «журнала сатиры и юмора “Веселый листок”» (Фюссен – Шляйсхайм – Мюнхен, 1946–1948; вышло 5 номеров). После войны печатался в «Гранях», «Возрождении», «Литературном современнике», опубликовал «Историю советского театра» (Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1956).

<sup>21</sup> Меньчуков Николай Евгеньевич (?–1979) – художник, журналист, писатель. После Второй мировой войны развернул бурную издательскую деятельность: под псевдонимом Н.Ирколин издавал «ежедневную газету жителей лагеря АЙРО» «День» (1948. №1-15), под своей фамилией выпустил в Мюнхене 36 номеров еженедельника УНРРА (United Nations Relief and Rehabilitation Administration) «ДИ-ПИ-Экспресс», а в Аугсбурге в 1949 начал выпускать на ротаторе «ДИ-ПИ-Сатирикон» (затем издание было перенесено в Мюнхен, а в 1951–1953 выходило во Франкфурте под названием «Сатирикон»). Автор книги «Восемь рассказов» (Мюнхен, 1948), сборника басен «Проза в стихах» (Мюнхен: Изд-во М.Бибикова, 1952).

<sup>22</sup> Благов Федор Иванович (1866–1934) – врач-ординатор. Член правления Товарищества И.Д.Сытина, до революции редактировал в Москве газету «Русское слово». В 1919 пытался возобновить выпуск газеты в Одессе, затем эмигрировал в Румынию к сыну В.Ф.Благову.

<sup>23</sup> Благова Мария Ивановна (урожд. Сытина; 1887–1906).

<sup>24</sup> Незадолго до того был опубликован двухтомник его очерков о старой Москве: *Тверской Е. Этюды*. В 2 т. Регенсбург: Эхо, 1947–1948.

наблюдениям и из рассказов родителей и деда; доставил удовольствие, прочтя первые три главы из автобиографической вещи «Шпион поневоле», над которой в те дни работал<sup>25</sup>.

Посылая фотографию, Панин снабдил ее краткими аннотациями, которые даны здесь в его редакции (дополнительные сведения приведены в примечаниях):

Писатель Р.Б.Гуль посещает лагерь «перемещенных лиц» (ди-пи) «Шляйсгайм» <так!> в предместье Мюнхена Фельдмохинг, июль 1949 года.

Слева направо:

№5. Борис Андреевич Филиппов (наст. имя Филистинский), ученый, прозаик и поэт.

№7. Иван Венедиктович Елагин (наст. имя Матвеев), поэт.

№1. Сергей Григорьевич Шубович, писатель (ум.: 1979, на 94-м году жизни).

№4. Евгений Евтихиевич Коваленко, автор стихов для детей («Новоселье». 1948).

№6. Ирина Николаевна Бушман, филолог, автор статей и сб. стихов.

№13. Геннадий Геннадиевич Панин, опубликовал ряд акростихов и статей, акростихам посвященных (в лагере жил с марта 1949 г. по июль 1950 г. включительно).

№3. Николай Захарович Рыбинский, журналист.

№9. Роман Борисович Гуль, прозаик.

№11. Андрей Иванович Альтаментов (псевд.: Касим), критик и поэт.

№8. Ольга Николаевна Анстей, ее первый сборник стихов вышел в 1949 году.

№12. Николай Евгеньевич Меньчуков (псевд.: Олин, Ирколи, Н.Ир-ский), художник и журналист; живя в лагере, издавал журнал «Ди-Пи сатирикон» (ум.: 1979 г.).

№2. Владимир Феодорович Благов (псевд.: Евгений Тверской), прозаик, очеркист, внук известного издателя и книготорговца дореволюционной России И.Д.Сытина, сын его дочери (см. Краткую литературную энциклопедию).

№10. Борис Анатолиевич Нарциссов, магистр химии, автор ряда сборников стихотворений (ум.: 1982 г.).

Эта фотография воспроизведена на последней странице вклейки настоящего издания.

<sup>25</sup> Собрание Жоржа Шерона, Лос-Анджелес.

Федор Поляков (Вена)  
**«Я ЖИВУ В ДВУХ КУЛЬТУРАХ, РУССКОЙ И  
НЕМЕЦКОЙ»:**

Письма Федора Степуна к Бернту фон Гейзелеру

В личном архиве писателя, поэта и критика Бернта фон Гейзелера (Bernt von Heiseler; 1907–1969), сына поэта и выдающегося переводчика Генри фон Гейзелера (Henry von Heiseler; 1875–1928), петербуржца по происхождению, сохранилось девять писем Федора Августовича Степуна. Вдова писателя Гертруда фон Гейзелер (Gertrud von Heiseler; 1915–2001) передала нам их для публикации в числе прочих материалов, характеризующих русские связи семьи Гейзелеров, рассказала об их долголетнем знакомстве со Степуном. Гейзелер и Степун были во многом близки в своем понимании культуры, имели общих друзей среди мюнхенских интеллигентов, обменивались дружескими визитами, дарили друг другу свои новые книги. В памяти Гертруды Гейзелер запечатлелся и незаурядный риторический талант Степуна, своеобразие его немецкого языка, его образов и сравнений. В предлагаемом обзоре мы ограничимся некоторыми темами, затронутыми в письмах Степуна и связанными с русским контекстом его деятельности. Несмотря на фрагментарность этого источника, особенно на фоне взаимоотношений Степуна и Гейзелера в послевоенные годы в Баварии, в нем содержатся разнообразные сведения о деятельности и мыслях Степуна как в дрезденский, так и в мюнхенский периоды его жизни<sup>1</sup>. Наш обзор примыкает к публи-

---

<sup>1</sup> Важной вехой исследования творчества Ф.Степуна в Германии и незаменимым пособием для реконструкции его биографии является книга берлинского историка Христиана Хуфена, использующего материалы многочисленных архивов, в том числе и архива Степуна в Йельском университете: *Hufen C. Fedor*



кации Роберта Бёрда, в которой также встречается имя Бернта фон Гейзелера в связи с кругом немецких корреспондентов Федора Степуна, интересующихся, в частности, творчеством Вячеслава Иванова<sup>2</sup>.

Помимо злободневных вопросов литературной жизни Германии, у Степуна и Гейзелера была и другая неисчерпаемая тема – мир русско-немецкой культурной общности. В детстве Гейзелера неоднократно привозили в Россию, в семью деда, потомственного почетного гражданина Петербурга, и на взморье в Териоки<sup>3</sup>, но вырос и сформировался он в Баварии. До Первой мировой войны в Петербурге он появлялся нечасто еще и потому, что пережил там приступы астмы. После неожиданной и ранней смерти отца в 1928 Бернт фон Гейзелер взялся за подготовку к печати и публикации его литературного наследия. Поскольку в произведениях Генри фон Гейзелера преобладала русская тематика, так же как и среди его переводов – русские авторы, осуществление такого замысла оказалось весьма нелегким.

После прихода к власти в Германии национал-социалистов в 1933 был установлен идеологический контроль над печатной продукцией. Это отразилось, в частности, и на работе Федора Степуна: его книга «Театр и кино» (1932) была запрещена<sup>4</sup>. Бернт фон Гейзелер, начинающий профессиональный литератор, вынужден был пойти на ряд компромиссов. Ему, однако, удалось осуществить намеченное. Помогло и то обстоятельство, что в 1930-е, когда Гейзелер занимался подготовкой и публикацией первого варианта собрания сочинений своего отца, изучение немецкой культуры, существовавшей за пределами Германии, не входило в противоречие с новой идеологией. Удалось также избежать резких тенденциозных искажений трактовки укорененности Генри фон Гейзелера в обеих культурах, немецкой и русской. В результате Бернт фон Гейзелер смог опубликовать и оригинальные тексты Генри фон Гейзелера, и его переводы с русского (из Пушкина, Тургенева, Лескова, Достоевского, Вяч. Иванова)<sup>5</sup>. Это-

Stepun. Ein politischer Intellektueller aus Russland in Europa. Die Jahre 1884–1945. Berlin, 2001.

<sup>2</sup> Bird R. V.I.Ivanov in Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale University // *Studia Slavica*. 1966. №41. P.331-333.

<sup>3</sup> Некоторые петербургские воспоминания вошли в его посмертную книгу: *Heiseler B., von. Haus Vorderleiten. Erinnerungen / Mit einem Nachwort von Max Mell*. Stuttgart, 1971.

<sup>4</sup> *Stepun F. Theater und Kino*. Berlin, 1932. Она внесена в список 1938 года, выпущенный в Лейпциге «исключительно для служебного пользования»: *Liste des Schädlichen und Unerwünschten schrifttums*. Stand vom 31. Dezember 1938 und Jahreslisten 1939–1941. Liechtenstein: Vaduz, 1979. P.143.

<sup>5</sup> См. подробнее материалы, опубликованные в наших книгах: *Poljakov F.B., Sippl C. A.S.Puškin im Übersetzungswerk Henry von Heiseler (1875–1928)*. Ein

му труду Бернт фон Гейзелер посвятил много лет, с 1928 и вплоть до выхода сравнительно полного и текстологически надежного собрания сочинений Генри фон Гейзелера в 1965, а затем и его избранной переписки в 1969, в год смерти самого Бернта фон Гейзелера.

Постоянное обращение к литературному наследию отца обусловило интерес Гейзелера к русской культуре, к проблемам перевода и рецепции русской литературы в Германии. Среди его корреспондентов были выдающиеся переводчики, выходцы из России – Рейнгольд фон Вальтер и Артур Лютер. Сближение Гейзелера с Федором Степуном произошло, несомненно, на той же почве.

Их знакомство состоялось в Дрездене, на авторском чтении Гейзелера в частном кругу. Первое по времени письмо Степуна из Дрездена датировано 13 октября 1942. Поводом к его написанию послужила пьеса Генри фон Гейзелера «Волшебный фонарь» («Die magische Laterne»), построенная на русском материале эпохи Ивана Грозного. Пьеса была написана в 1909 в Баварии, но опубликована лишь десятилетие спустя, причем автор ее находился в то время на советской военной службе и был лишен возможности вырваться из большевистской России. За издание остававшейся в Баварии рукописи взялся тогда Иоганнес фон Гюнтер, о чем он вспоминает в некрологе Гейзелера<sup>6</sup>. Одна часть тиража вышла в свет в 1919 году под грифом издательства «Georg Müller München» с пометкой «copyright 1918», а другая, вследствие ссоры Гюнтера с издателем Георгом Мюллером, под грифом основанного Гюнтером (совместно с M.W.Weidmann) издательства «Musarion-Verlag München», в том же 1919 году, причем и в том, и в другом случае права на театральную постановку были закреплены за издательством «Drei-Masken-Verlag» в Берлине<sup>7</sup>. Степун прочитал эту, по его словам, «драмати-

---

europäischer Wirkungsraum der Petersburger Kultur. München, 1999 (Slavistische Beiträge. №388); Poljakov F., Sippl C. Dramen der russischen Modern in Unbekanntem übersetzungen Henry von Heiseler. München, 2000 (Slavistische Beiträge. №399).

<sup>6</sup> Guenther J., von. Erinnerungen an Begegnungen und Gespräche mit Henry von Heiseler // Henry von Heiseler. Aus dem Nachlass / Mit der Totenmaske des Dichters und einem Vorwort von Johannes von Guenther. Chemnitz, 1929. P.1-9 (особ. p.7).

<sup>7</sup> Heiseler H. Die magische Laterne. Ein Märchenhaftes Lustspiel von der magischen Laterne, vom Zaren Joänn, vom Bojaren Andréj und vom der Schönen Axinja. München, 1919; Heiseler H., von. Sämtliche Werke. Heidelberg, 1965. С.417-466. В канун юбилея издательства «Georg Müller» (в 1928) книга была уже распродана. См.: 25 Jahre Georg Müller Verlag München. München, 1928. P.91. На части тиража с грифом «Musarion-Verlag» помещено стилизованное украшение обложки, выполненное графиком Rolf von Hoerschelmann; о знакомстве с ним в Мюнхене в доме Карла Вольфскеля, литератора из круга Стефана Георге, упоминает Гюнтер в своих воспоминаниях (Guenther J., von. Ein leben im Osnwind. Zwischen Petersburg und München. Erinnerungen. München, 1969. P.157). Об источниках некоторых сюжетных линий драмы см. также: Gronicka A., von.

зированной балладу» «с чувством внутреннего творческого возбуждения». Он отмечает художественные достоинства изображения Ивана Грозного, вполне допускающие сравнение с А.К.Толстым.

Положительный отзыв Степуна побудил Гейзелера послать ему другие литературные произведения отца. Ответ из Дрездена помечен 19 декабря 1942 года:

В числе многих проблем, связанных для меня с его обликом, меня более всего интересует вопрос, как ему удалось остаться столь хорошим и значительным немцем, каких редко можно встретить и в самой Германии. В отличие от него я практически на все сто процентов обрусел.

Далее Степун касается различий в социальном значении литератора в дореволюционной России и современной Германии. В Германии, как и в других странах Западной Европы, между членами литературного цеха, в том числе и среди его элиты, господствует жесткая конкуренция, интенсивность и размах которой трудно было представить себе в России.

Auch hatte in Russland der Ditcher einen gehobenen Stand im Bewusstsein seiner Gemeinde, er thronte, er schritt, er erschien, man zeigte auf ihn im Theater und auf der Strasse. All das fällt hier weg. Ja, wie sollte man auch das russische Gefühl für den Dichter in Europa behalten, wo es Tausende und Tausende von Dichtern gibt, die sich selbst nur als Literaten, d. h. als Lieferanten von geistiger Unterhaltung für die berufsmüde Menge fühlen.

(К тому же в России поэт имел возвышенный статус в сознании своего социума, он царил, он ступал, он появлялся, на него показывали в театре и на улице. Все это здесь не имеет места. Да и как удержать в Европе русское отношение к поэту, когда здесь существуют тысячи и тысячи поэтов, которые сами себя воспринимают в качестве литераторов, т. е. поставщиков духовного развлечения для уставшей профессиональной массы.)

Степун мечтает о создании товарищества поэтов, связанных между собой общностью духа и выступающих против «разложения всех видов, которое наше время приносит с собой» («all den Zersetzungen entgegenzutreten, die unsere Zeit mit sich bringt») – достаточно прозрачный намек на личное духовное противостояние культуре тоталитаризма.

Последнее письмо, отправленное из Дрездена, датировано 3 февраля 1943; в нем Степун благодарит Гейзелера за приглашение уча-

ствовать в журнале «Сокопа»<sup>8</sup>, но сообщает, что не может принять его в данный момент. Этот отказ мотивируется двусмысленным положением Степуна, который к тому времени уже потерял свое место в Техническом университете в Дрездене: на основании ложных слухов, что он якобы получил запрет на публичные выступления, ему не была разрешена публицистическая и литературная деятельность, а попытка опровергнуть эти слухи незамедлительно повлекла бы за собой, по его убеждению, репрессии. Поэтому он решил сосредоточиться на написании мемуаров «Бывшее и несбывшееся» («Vergangenes und Unvergängliches») и на время воздержаться от публицистики.

Годы диктатуры, последние «катакомбные» годы Степуна в Дрездене, — время все нараставшего одиночества из-за невозможности выездов за границу (начиная с 1938) и встреч с единомышленниками в Париже<sup>9</sup>. Так, получив от А.Л.Бема из Праги его исследование о роли православной церковной культуры в истории русского литературного языка, Степун пишет ему из Верхней Баварии письмо от 24 февраля 1944:

Очень жаль, что, живя под боком друг у друга, нам не удастся видиться. Судя по отчетам в «Новом слове», у Вас в Праге все еще теплится какая-то русская жизнь, а у нас в Дрездене ее мало. Есть много милых людей, теплых отношений, но не получаешь никаких творческих импульсов. В своей брошюре<sup>10</sup> Вы упоминаете между прочим Плетнева с которым я в свое время познакомился и который остался у меня в памяти весьма интересным человеком<sup>11</sup>. Где он теперь и что делает? Рядом с ним туманится еще фигура молодого писателя, имя которого забыл, но талантливый рассказ которого «Суд Вареника» хорошо помню<sup>12</sup>. В Праге ли он и работает ли дальше? Сейчас, неволью живя в каком-то духовном одиночестве, так хочется переключки с людьми, на которых возлагал какие-то надежды. От Бориса Валентиновича Яковенко получил недавно две тонкие книжечки со статьями о Гегеле<sup>13</sup>. Удивляюсь, как он удержался и как продолжает

<sup>8</sup> О характере этого издания см.: *Wachtel M. (Hg.). Vjačeslav Ivanov. Dichtung und Briefwechsel aus dem deutschsprachigen Nachlass. Mainz, 1995. P.77-80 (Deutsch-Russische Literaturbeziehungen. Forschungen und Materialien. V.6).*

<sup>9</sup> *Hufen C. Fedor Stepun. Ein politischer Intellektueller aus Russland in Europa. P.489-522.*

<sup>10</sup> *Бем А.Л. Церковь и литературный язык. Прага, 1944.*

<sup>11</sup> Ростислав Владимирович Плетнев (1903–1985) — литературовед, специалист по творчеству Достоевского, живший в то время в Сербии и близко стоявший к пражскому кругу А.Л.Бема.

<sup>12</sup> Василий Георгиевич Федоров (1895–1959) — писатель. См.: *Федоров В. Суд Вареника. Рассказы 1926–1930. Прага: Изд-во «Скит», 1930.*

<sup>13</sup> Речь идет, по-видимому, о следующих публикациях: *Jakovenko B. Untersuchungen zur Geschichte des Hegelianismus in Russland. Praga, 1937 (Internationale*

печататься. Из Парижа давно нету известий, хотя я и писал Зайцевым и Лихошерстову, очень милому человеку, которого Вы, вероятно, не знаете. Он служил в «Последних новостях». Вы пишете, что несколько времени тому назад к вам приехал из Парижа с некоторыми литературными планами Б.П.Вышеславцев. Видаете ли Вы его? <...><sup>14</sup>.

Остальные пять писем Ф.А.Степуна Бернту фон Гейзелеру, сохранившиеся в архиве последнего, относятся к мюнхенскому периоду и были написаны между мартом 1950 и мартом 1957. Общественная и научная деятельность Степуна в Баварии становится все более интенсивной, он жалуется на постоянную нехватку времени (из письма от 23 марта 1950 года):

Bin aber, obwohl ich zur Musse geboren bin, in ein furchtbares Eilen gekommen: jedes Jahr ein neues Kolleg, wenigstens zwanzig bis fünfundzwanzig öffentliche Vorträge, chronisch die russischen DPs in der Wohnung und ihre Manuskripte auf dem Schreibtisch. Jedes Manuskripte ist ein Harakiri, bei dem ich zu prüfen habe, ob der Gedärmehaufen auch Kunst sei. Entledigen kann man sich der Sache mit leichtem Herzen nicht, denn in Russland haben die Menschen Furchtbares gelitten und in Europa stehen sie zunächst vor dem Verhungern.

(Хотя я был рожден для неторопливой жизни, попал в ужасную спешку: каждый год новый семинар, по меньшей мере от двадцати до двадцати пяти публичных лекций, постоянно русские Ди-Пи <перемещенные лица> в квартире, их рукописи на моем письменном столе. Каждая из рукописей – харакири, при котором мне надлежит проверять, представляет ли собой эта груда кишок также еще и искусство. Но так просто отказаться от этого всего нельзя, поскольку в России эти люди прошли через ужасные страдания, и в Европе их ожидает на первых порах голодная смерть.)

О том же ритме мюнхенского периода Степуна свидетельствуют и знаменательные строки из письма от 13 марта 1956:

Ich lebe in zwei Kulturen, in der russischen und in der deutschen; bin ununterbrochen mit Vorträgen ausserhalb Münchens. Aufsätzen

---

Bibliothek für Philosophie. №3/10); *Jakovenko B.* Geschichte des Hegelianismus in Russland. Praga, 1938 (Der russische Gedanke. Ergänzungsband. №VI). Этому выпуску предшествовало исследование: *Jakovenko B.* Ein Beitrag zur Geschichte des Hegelianismus in Russland. Prag, 1934 (Der russische Gedanke. Ergänzungsband. №V). О деятельности Б.В.Яковенко (1884–1949) см. подробнее: *Rizzi D.* Lettere di Boris Jakovenko a Odoardo Campa (1921–1941) // Русско-итальянский архив / Сост. Даниэла Рицци, Андрей Шишкин. Trento, 1997. С.385–482.

<sup>14</sup> Literární archiv Památníku Národního písemnictví v Praze. Fond A.L.Bém (34/43). Kartón 7.

und Rezensionen besonders in den russischen Zeitschriften überlastet <...>.

(Я живу в двух культурах, русской и немецкой, непрерывно перегружен лекциями вне Мюнхена, статьями и рецензиями особенно для русских журналов <...>.)

Этот период деятельности Степуна еще ожидает своих исследователей.

В одном из писем Бернта фон Гейзелера к Ф.А.Степуна того же времени (до 6 марта 1957 года) встречается просьба к Степуна подействовать переизданию избранных писем Пушкина, вышедших в свет тридцать лет тому назад в переводе Артура Лютера<sup>15</sup>. Такая книга могла бы пробудить интерес в современной Германии:

<...> und die Gestalt würde wieder vor uns stehen, lebendige Leser finden! Wass kann man, in diesem Moment, eigentlich Wichtigeres tun, als die Vorstellung des unsterblichen Rußland gegen das todverbreitende von heute stellen?

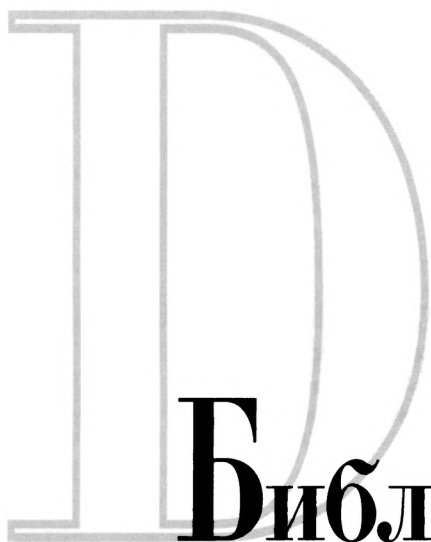
(<...> и его облик явился бы вновь перед нами, нашел бы своего живого читателя! Что более важное может занимать нас теперь, в этот момент, чем противопоставление России бессмертной и <России> смертоносной сегодняшнего дня?)

Эта фраза Гейзелера, отражающая его представления о европейском гуманистическом характере пушкинского гения, может быть отнесена и ко всему творчеству Федора Степуна, даже в самые темные времена «Германии смертоносной» сохранившего идеалы «России бессмертной».

---

<sup>15</sup> Alexander Puschkin in seinen Briefen / Hrsg. von Arthur Luther. Berlin, 1927 (Quellen und Aufsätze zur russischen Geschichte. №VII). Подборку писем следовало, по мнению Гейзелера, расширить за счет письма В.А.Жуковского к С.Л.Пушкину (ср.: *Poljakov F.B., Sippl C. A.S.Puškin im Übersetzungswerk Henry von Heiselers. P.81*).





# **Библиография**





## ЭСТОНСКИЕ ГОДЫ Н.Е.АНДРЕЕВА:

Материалы к библиографии

Составители И.Белобровцева (Таллинн),

А.Рогачевский (Глазго)

Николай Ефремович Андреев (1908–1982), в ознаменование многочисленных научных заслуг которого изданы два специальных сборника статей<sup>1</sup>, был одним из крупнейших экспертов в области средневековой российской истории и знатоком классической и современной ему русской литературы. Двадцать лет спустя после его кончины бывшие коллеги и студенты Н.Е.Андреева, проживающие в самых разных уголках земного шара, по-прежнему чрезвычайно высоко ценят его работы и нередко продолжают развивать некоторые содержащиеся в них идеи. Более того, относительно недавняя публикация воспоминаний Н.Е.Андреева<sup>2</sup> способствовала возникновению интереса к его личности и наследию и у тех, кто не был знаком с ученым лично<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> См.: Canadian-American Slavic Studies. 1979. Vol.13. №1-2, а также: Poetry, Prose and Public Opinion: Aspects of Russia. 1850–1970 / Ed. W.Harrison & A.Pyman. Letchworth, 1984.

<sup>2</sup> См.: Андреев Н.Е. То, что вспоминается: В 2 т. Tallinn, 1996 (в дальнейшем – То, что вспоминается).

<sup>3</sup> См. рецензии, опубликованные в Эстонии, Франции, США и Великобритании: Эстония. 1996. 16 марта. С.3 (Т.Александрова); Вышгород. 1996. №3. С.177-178 (О.Яковлева); Русская мысль. 1996. 7-13 ноября. С.13 (Л.Мнухин); Новый журнал. 1995. №200. С.350-352 (М.Паев); Europe-Asia Studies. 1997. Vol.49, №8. P.1567-1568 (A.Rogachevskii); The Slavonic and East European Review. 1998. Vol.76, №2. P.333-335 (A.Pyman); Slavonica. 1998/1999. Vol.4, №2. P.107-108 (J.Elsworth). Сильно отредактированная глава из автобиографии Н.Е.Андреева была также опубликована: Новый мир. 1994. №11. С.136-82.

Н.Е.Андреев известен не только своими научными достижениями, но и насыщенной драматическими событиями судьбой. Его семья бежала из большевистской России в Эстонию в 1919. По окончании русской гимназии в Ревеле Андреев переехал в Чехословакию, где защитил докторскую диссертацию, стал сотрудником (а впоследствии и директором) Кондаковского института в Праге<sup>4</sup>, пережил гитлеровскую оккупацию. В конце Второй мировой войны, как и многие другие российские эмигранты, Н.Е.Андреев был арестован советскими властями. Однако в отличие от многих других арестованных, его не отправили в лагерь, а освободили в 1947<sup>5</sup>, – и вскоре, благодаря дружеской помощи коллег, в частности рекомендовавшего его М.Фасмера, он оказался в Великобритании, в Кембриджском университете, в качестве преподавателя славянской кафедры, где проработал до пенсионного возраста<sup>6</sup>.

Трудно представить себе, как, невзирая на тяготы эмигрантской жизни, Н.Е.Андрееву удалось создать такое большое количество высококачественных научных и литературно-критических трудов. Предпринимались по крайней мере две попытки составить библиографию его работ – в упомянутых выше специальных сборниках статей в честь Андреева, вышедших в 1979 и 1984. В примечании к публикации «*Nikolay Andreyev: Published Works*» (первая подобная попытка) У.Харрисон и А.Пайман предупреждали:

Поскольку Николай Андреев часто печатался в недолго просуществовавших периодических изданиях, многие из которых практически недоступны, подготовить исчерпывающий перечень его работ весьма непросто. Составители работают над решением этой проблемы и намереваются опубликовать более полную библиографию в сборнике статей в честь Андреева, написанных его учениками<sup>7</sup>.

<sup>4</sup> Подробнее об этом учреждении см.: *Hamilton Rhineland L. Exiled Russian Scholars in Prague: The Kondakov Seminar and Institute // Canadian Slavonic Papers*. 1974. Vol.16, №3. P.331-351.

<sup>5</sup> По свидетельству Р.В.Матсова, одного из таллинских друзей Андреева, с благодарностью упомянутого в книге мемуаров «То, что вспоминается», Андреев как-то сказал, что перед выходом из тюрьмы подписал обязательство о сотрудничестве с органами госбезопасности, которое не собирался выполнять. Это было единственной возможностью выйти на свободу.

<sup>6</sup> Послужной список Н.Е.Андреева и краткие мемуарные свидетельства знавших его лиц см., например, в следующих публикациях: Грани. 1982. №123. С.277-279 (Р.Редлих); Русское возрождение. 1982. №18. С.185-88 (С.Левицкий); Новый журнал. 1982. №147. С.263-270 (У.Харрисон и А.Пайман); Новый журнал. 1982. №148. С.277-281 (М.Шефтель); Записки русской академической группы в США. 1983. Vol.16. P.357-361 (M.Szeftel), 361-365 (G.Hosking), 366-371 (А.Пуман), 371-373 (С.Brancovan). Андрееву посвящен особый раздел в книге О.Казниной «Русские в Англии» (М., 1997. С.186-189, 197-198).

<sup>7</sup> *Canadian-American Slavic Studies*. P.8.

Тем не менее, когда в 1984 появился второй юбилейный сборник, оказалось, что У.Харрисон и К.Бранкован, авторы раздела «Bibliography of the Works of N.E.Andreev», насчитывавшего более 360 позиций<sup>8</sup>, не смогли добавить ничего принципиально нового к тому, что уже содержалось в перечне 1979 года<sup>9</sup>. Довоенный период андреевского творчества был по-прежнему представлен очень неполно. К тому же большинство довоенных публикаций Андреева оказались включенными в итоговый список на основе полученных от ученого устных сведений и не проверялось *de visu*. Довоенный архив Андреева не уцелел (на момент прибытия в Великобританию багаж ученого состоял из одной чистой рубашки и биографии Ивана Грозного<sup>10</sup>), и поэтому перепроверить и уточнить библиографическую информацию, исходившую от юбиляра, оказалось практически невозможно.

Из всех периодов жизни Н.Е.Андреева эстонский документирован наименее полно<sup>11</sup>. Из воспоминаний ученого известно, что с сен-

---

<sup>8</sup> См.: Poetry, Prose and Public Opinion... P.1-18. Далее мы будем ссылаться именно на эту библиографию, поскольку она является наиболее полной. Следует, однако, подчеркнуть, что ее можно было бы существенно улучшить и в той части, которая относится к послевоенным публикациям Н.Е.Андреева. Выборочная проверка показала, что сюда не попали, например, написанный для «Нового журнала» (1980. №140) некролог Н.М.Зернова, а также несколько статей и писем редактору, помещенных в 1975 в нью-йоркском «Новом русском слове». Кроме того, в списке Харрисона и Бранкована имеются библиографические записи обобщенного характера, как, например, «12 contributions to Encyclopaedia Britannica» (1967) или «Three articles on Russian history in *Posev*, №№38, 49, 51» (1948), что, разумеется, выглядит недостаточно профессионально (см.: Poetry, Prose and Public Opinion... P.4, 11; стоит также упомянуть, что Харрисон и Бранкован не указывают номера страниц для статей и рецензий). К сожалению, в список Харрисона и Бранкована не попали и рецензии на книгу Андреева «Studies in Moscow: Western Influence and Byzantine Inheritance» (London, 1970) См., например: Новый журнал. №105. 1971. С.282-286 (В.Вейдле); European Studies Review. Vol.2, №2. 1972. P.183 (В.Hollingsworth); Slavic Review. 1972. Vol.31, №2. P.415-416 (M.Szefel).

<sup>9</sup> Наверное, стоит напомнить, что в период подготовки к печати обоих юбилейных сборников единственным местом, где можно было найти все или почти все эмигрантские издания, в которых публиковался Н.Е.Андреев, были спецхраны нескольких центральных библиотек в Советском Союзе. Доступ в эти спецхраны составители андреевской библиографии получить, естественно, не могли.

<sup>10</sup> Согласно письму дочери Н.Е.Андреева Екатерины от 14 мая 1997 к одному из авторов настоящей публикации.

<sup>11</sup> Недавнюю попытку О.Фигурновой составить библиографию работ Н.Е.Андреева, опубликованных в Эстонии (см. ее книгу: Русская печать в Эстонии. 1918–1940: Биобиблиографические и справочные материалы к изучению культурной жизни русской эмиграции. М., 1998. С.147-149), нельзя признать удачной из-за большого количества грубых ошибок и пропусков. В качестве

тября 1921 по июнь 1922 он учился в русской гимназии Нарвы. Потом начал посещать мужскую русскую гимназию в Таллинне (это было частное учебное заведение, функционировавшее под патронажем общества «Русские школы в Эстонии»). Летом 1927 Андреев окончил гимназию с отличием (*cum laude*)<sup>12</sup>. Он совмещал отличную учебу с членством в гимназическом литературном кружке (под руководством преподавателя В.С.Соколова) и с участием во «взрослом» Ревельском литературном кружке, основанном в 1898<sup>13</sup>. Кроме того, Андреев редактировал рукописный гимназический журнал «Порыв», пел в гимназическом хоре<sup>14</sup> и подвизался как актер в гимназическом любительском театре, возглавлявшемся К.Н.Зейдельберг-Новицкой<sup>15</sup>.

Журналистская карьера Андреева началась с разнообразных отчетов о том, что происходило в его гимназии (русское меньшинство в Эстонии очень серьезно относилось к образованию своих детей и с интересом следило за освещением соответствующей тематики в местной эмигрантской прессе). Самая первая публикация Н.Е.Андреева, которую нам посчастливилось разыскать, рассказывала о двухнедельном путешествии членов литературного кружка Ревельской городской русской гимназии по Финляндии в июне 1926<sup>16</sup>. Хотя эта небольшая заметка подписана криптонимом Н.А-в и, по идее, могла принадлежать кому угодно, в авторстве Андреева сомневаться не приходится, поскольку в своих мемуарах он назы-

---

одного лишь примера сошлемся на тот факт, что приписанная Фигурновой Андрееву статья «Русские пьесы в эстонских театрах» из сборника литературы, искусства, науки и общественной жизни «Витязь» (1940. №1. С.21-22), издававшегося одноименным русским спортивным и культурно-просветительным обществом, в действительности Андрееву принадлежать не может, так как в описываемый период он в Эстонии не был и упоминаемых в статье постановок не видел (см.: *Исаков С.* Русская печать в Эстонии (1918–1940) // Балтийский архив. V. 1999. С.222; работа С.Исакова представляет собой разбор книги Фигурновой с детальным перечислением промахов исследовательницы).

<sup>12</sup> См.: То, что вспоминается. Т.1. С.151, 160, 228.

<sup>13</sup> Так, в январе 1926 для «взрослого» кружка Андреев подготовил доклад о Куприне, отмеченный затем в местной прессе (см.: *Исаков С.Г.* Русские в Эстонии. 1918–1940: Историко-культурные очерки. Тарту, 1996. С.296-297).

<sup>14</sup> См.: То, что вспоминается. Т.1. С.186, 219. Журнал «Порыв», выходявший в 1926–1927, создавался по модели толстых литературных журналов и публиковал романы, критику и даже статьи на спортивные темы (см.: *Городская русская гимназия. 1923–1933* / Под ред. З.Н.Дормидонтовой. Таллинн, 1933. С.50).

<sup>15</sup> Так, в рецензии Буслая (А.А.Булатова) на постановку чеховского «Медведя» в исполнении труппы Ревельской гимназии в Печорах 12 и 13 июля 1926 (Последние известия (далее – ПИ). 1926. 17 июля. С.4) говорилось, что у Андреева, выступившего в роли отставного поручика, имеется «хорошее дарование», но он «был загримирован слишком молод<о>».

<sup>16</sup> См.: ПИ. 1926. 2 июля. С.3.

вает данный криптоним при перечислении собственных псевдонимов<sup>17</sup> и подробно рассказывает о финской поездке<sup>18</sup> (газетная заметка об этой поездке упоминается и в библиографии Харрисона и Бранкована).

Как видно из библиографии эстонских публикаций Андреева, помещенных в конце настоящей работы, в книге «То, что вспоминается» приводятся далеко не все псевдонимы. Тем не менее с помощью этих мемуаров иногда удастся атрибутировать публикации или вовсе не подписанные<sup>19</sup>, или подписанные такими псевдонимами, которые легко упустить из виду. В частности, отнюдь не исключено, что скрывшийся за инициалами Н.А. автор заметки о концерте учеников некоей Анны Анатольевны Мизернюк<sup>20</sup> – не кто иной, как Андреев, потому что в своих воспоминаниях он рассказывает о дружбе между проживавшими по соседству семьями Андреевых и Мизернюков<sup>21</sup>. Аналогичным образом интерес Андреева к хоровой музыке и тот факт, что его отец в течение многих лет пел в хоре таллиннской церкви Св. Николая на Никольской улице<sup>22</sup>, позволяет с известной степенью вероятности предположить, что заметки о концертах хоровой церковной музыки, подписанные буквой А, также принадлежат перу Андреева<sup>23</sup>. (Кстати, он сам признается в том, что написал нечто подобное за гонорар в 300 эстонских крон<sup>24</sup>.) Кроме того, как явствует из андреевских воспоминаний<sup>25</sup>, материал об историке А.А.Кизеветтере за подписью «Студент» (Новь. 1933. №5) тоже был подготовлен именно им.

Подобные логические заключения, к сожалению, не могут быть использованы при атрибуции статей в газете «Вести дня» (где, как известно, Андреев также сотрудничал): основной массив материалов в ней печатался анонимно, и можно было бы считать Андреева автором, например, заметок о школьной жизни, о спектаклях Русского театра или собраниях литературного кружка, однако под некоторыми статьями на такие «типично андреевские» темы стоят криптонимы К. или А.К., которые принадлежат Андрею Климову, либо -йй, под которым могли печататься постоянно сотрудничавшие с этой газетой П.Крыжановский или П.Крибский. В подобной ситуации

---

<sup>17</sup> Упоминаются псевдонимы А.Корсунский, А.Ский, Николин, Н.А., Н.А-в, К.Рем (То, что вспоминается. Т.1. С.202, 216, 305, 309-310).

<sup>18</sup> Там же. С.192-199.

<sup>19</sup> См., например: Там же. С.277, 305, 309.

<sup>20</sup> См.: ПИ. 1927. 4 мая. С.4.

<sup>21</sup> То, что вспоминается. Т.1. С.177, 181-182.

<sup>22</sup> Там же. С.161, 219.

<sup>23</sup> См.: ПИ. 1927. 13 и 26 апреля. С.4 и 3 соответственно.

<sup>24</sup> То, что вспоминается. Т.1. С.219-221.

<sup>25</sup> Там же. С.324.

введение раздела «Dubia» представляется нецелесообразным, поскольку по объему он без труда может превысить основную часть библиографии, а надежда на то, что когда-нибудь обнаружится информация, которая позволила бы, так сказать, отделить зерна от плевел, остается весьма и весьма призрачной<sup>26</sup>.

Пользуясь мемуарами Н.Е.Андреева и библиографией Харрисона и Бранкована в качестве своеобразного руководства к действию, в результате библиографических разысканий в библиотеках Хельсинского и Тартуского университетов, Национальной библиотеки Эстонии и Эстонской академической библиотеки, а также Тартуского литературного музея им. Крейцвальда<sup>27</sup> мы выявили несколько десятков ранее неизвестных публикаций Андреева в таких русскоязычных периодических изданиях, как «Последние известия», «Наша газета», «Новь» и других, выходивших в Эстонии перед Второй мировой войной.

В общем и целом, Андреев выступал в роли хроникера почти всех культурно значимых аспектов эмигрантской жизни в Эстонии, включая музыку, театр, сферу образования и, естественно, литературу. Благодаря его статьям и заметкам нетрудно представить себе, насколько насыщенной была эта жизнь. Так, в одном только марте 1927 члены литературного кружка в гимназии, где учился Андреев, прослушали доклады ученицы И.Кайгородовой о художнике В.А.Серове, ученика В.Шарыгина (Буша) о В.Маяковском и ученицы И.Раудсепп о Н.Гумилеве, а также получили возможность присутствовать на вечере памяти Бетховена и на чтении Игорем Северяниным собственных стихов<sup>28</sup>. В этом же месяце члены Ревельского русского литературного кружка могли, например, посетить вечер памяти Гоголя и лекцию критика П.М.Пильского о творчестве С.С.Юшкевича.

<sup>26</sup> Не исключено, впрочем, что Н.Е.Андрееву принадлежит анонимная рецензия на вышедшую в Праге (в издательстве «Чешская беллетристика») книгу стихов Д.М.Ратгауза «О жизни и смерти» (см.: Рассвет. 1927. №16. С.2; как явствует из библиографии, прилагаемой к настоящей работе, Андреев несколько раз публиковался в данном издании под собственным именем).

<sup>27</sup> Мы хотели бы выразить признательность Г.М.Пономаревой и А.А.Данилевскому (кафедра русской литературы Тартуского университета), а также Аурике Меймре (кафедра русской литературы Таллиннского педагогического университета) за помощь в работе.

<sup>28</sup> См.: ПИ. 1927. 2, 15, 16, 19, 23 и 26 марта. Следует отметить, что сфера интересов гимназического литературного кружка не ограничивалась музыкой, искусством и литературой как таковыми. В частности, гимназический учитель физики Г.Г.Гейнрих делал на кружке доклады о московских астрономах 1880-х, об Исааке Ньютоне и Дмитрие Менделееве, а В.С.Утехин рассказывал о системе образования в английских школах (см.: ПИ. 1927. 28 января, 8 февраля, 31 марта и 24 мая).

Несмотря на усилия, предпринимаемые Андреевым, чтобы скрыть свое авторство (дабы сохранить независимость суждений)<sup>29</sup>, неудивительно, что при таком количестве публикаций он снискал некоторую известность еще до окончания гимназии<sup>30</sup>. Он нередко выступал с публичными речами по различным поводам<sup>31</sup>. Его попросили представлять гимназию на ежегодной встрече директоров и выпускников средних учебных заведений с президентом Эстонии<sup>32</sup>. Андреев также был членом организованной Ревельским литературным кружком Комиссии по присуждению призов на литературном конкурсе в рамках Дня русской культуры, проведенного в 1927<sup>33</sup>. Многие пророчили ему успешную карьеру журналиста-профессионала в Эстонии<sup>34</sup>, но он выбрал другую профессию и иное место проживания.

Впрочем, даже после отъезда в Чехословакию Андреев поддерживал тесные связи с русской диаспорой в Эстонии. В 1928 секретарь эстонского правительства по проблеме русского меньшинства С.М.Шиллинг попросил Андреева стать редактором сборника произведений и статей, написанных представителями эстонской русской молодежи по случаю празднования очередного Дня русской культуры в Эстонии. Так появился первый выпуск ежегодника «Новь», одного из немногих по-настоящему интересных периодических изда-

---

<sup>29</sup> Не исключено, что самый первый материал, который Андреев подписал своим настоящим именем, – это статья о преждевременно скончавшейся весной 1927 Валентине Григорьевой, с которой он вместе учился (ПИ. 1927. 13 апреля).

<sup>30</sup> Андреев-журналист помещал заметки и в эмигрантской прессе Латвии. Список его публикаций 1926 и 1927 годов в рижской газете «Слово» см.: Абызов Ю. Русское печатное слово в Латвии. 1917–1944: Биобиблиографический справочник: В 4 т. Т.1. Stanford, 1990. С.76. Андреев же написал репортаж с траурного собрания в ознаменование кончины латвийского президента Яниса Чаксте (ПИ. 1927. 19 марта).

<sup>31</sup> Так, Р.Раевич в статье «Итоги концерта нарвской гимназии: Беседа с М.И.Соболевым» (ПИ. 1927. 7 мая. С.4) упоминает «вдохновенное слово, сказанное абитуриентом Николаем Андреевым». Андреев же выступил на торжественном собрании в Таллиннской русской гимназии по случаю выпуска 1927 года, что было отмечено в газете «Вести дня»: «от имени окончивших говорил Н.Андреев, выразивший глубокую благодарность учителям-друзьям и призывавший воспитанников других классов любить свою гимназию и хранить ее традиции» (1927. 8 июня. С.1). Андреев также выступал и на праздновании десятилетней годовщины своей гимназии в 1933 (То, что вспоминается. Т.1. С.321).

<sup>32</sup> См.: *Б<акстру>б А.* Абитуриенты у главы государства // Наша газета (далее – НГ). 1927. 31 мая. С.4; То, что вспоминается. Т.1. С.227-228.

<sup>33</sup> См.: *П.О.* Пушкинский вечер // НГ. 1927. 9 июня. С.3; То, что вспоминается. Т.1. С.234.

<sup>34</sup> См., например: Там же. С.240.



ний, выпускавшихся русской эмигрантской молодежью. Всего с 1928 по 1936 вышло восемь выпусков «Нови», первые три из них – под редакцией Андреева<sup>35</sup>. Посему не вызывает удивления тот факт, что в 1931 о нем отзывались как о «юном блюстителе культурных традиций “великого русского прошлого”»<sup>36</sup> в Эстонии.

Андреев продолжал регулярно приезжать в Эстонию, сначала на студенческие каникулы, а впоследствии, в 1937 и 1938, для этнографических и археологических разысканий в Печорском крае<sup>37</sup>. Он поддерживал связи с Ревельским русским литературным кружком, на заседаниях которого делал сообщения о Льве Толстом (6 октября 1928), Чехове (осень 1929), Набокове (4 октября 1930), современной русской литературе (13 октября 1930), журнале «Числа» (октябрь 1931), «Современных записках» и русской эмигрантской литературе в Праге (ноябрь 1933)<sup>38</sup>. В 1933 он выступил с циклом лекций о послереволюционной русской литературе в Русском народном университете в Таллинне<sup>39</sup>. Сокращенный вариант этих докладов и лекций,

<sup>35</sup> Подробнее о «Нови» см.: *Костанди О.* Литературные особенности сборника «Новь» // Балтийский архив. II. 1996. С.147-157. Любопытно, что О.Костанди, по-видимому, не в курсе, что за псевдонимом К.Рем скрывался Андреев и что ряд анонимных материалов в первых трех выпусках «Нови» тоже написан Андреевым, хотя именно Костанди значится техническим редактором книги «То, что вспоминается».

<sup>36</sup> См.: *И<васк> Ю.* Письмо из Ревеля <1931> // Культура русской диаспоры: Саморефлексия и самоидентификация / Под ред. А.Данилевского и С.Доценко. Тарту, 1997. С.374.

<sup>37</sup> То, что вспоминается. Т.2. С.30-50, 66-72; а также заметка некоего А.Морозова в «Вестях дня» (1937. 10 июля).

<sup>38</sup> См.: *Фигурнова О.С.* Русская печать в Эстонии. С.147; Вести дня. 1933. 4 ноября.

<sup>39</sup> То, что вспоминается. Т.1. С.320-321. Газета «Таллиннский русский голос» (далее – ТРГ) 4 ноября 1933 года опубликовала объявление о трех лекциях Н.Е.Андреева «Пути русской литературы после революции»:

I. В России. 1917–1927. Блок. А.Белый. Замятин. «Серапионовы братья» (Федин, Пильняк, Зошенко и др.). Есенин. Маяковский. Леонов и др. Журналистика и критика.

II. В России. 1928–1933. «Производственная» литература. Либединская. Гладков. Фаддеев <так!>. Безыменский. Сильвинский <так!>. Шолохов. Горький. Каверин. Пастернак. Вал. Катаев и др. Журналистика и критика.

III. За рубежом. 1917–1933. «Полет в Европу». Ив. Бунин. А.Ремизов. Б.Зайцев. М.Цветаева. Н.Оцуп. Георгий Иванов. Алданов. «Новая смена». В.Сирин. Г.Газданов. Ю.Фельзен. А.Ладинский. Н.Берберова. Б.Поплавский. Л.Зуров и др. Журналистика и критика.

Цикл обещает быть интересным, особенно учитывая тот успех, который имели в Европе другие литературные работы Н.Е.Андреева.

а также впечатления Андреева, вынесенные из этнографических экспедиций, публиковались в «Вестнике Союза русских просветительных и благотворительных обществ в Эстонии» и ряде других изданий<sup>40</sup>. Как человек, вхожий одновременно в таллиннский Цех поэтов и в пражское литературное объединение «Скит», Андреев «играл роль как бы связующего звена между двумя организациями, координируя публикации участников Цеха поэтов в Праге и скитников – в Таллинне»<sup>41</sup>.

Последний визит Андреева в Эстонию оказался прерван событиями, которые в конечном итоге привели к оккупации Гитлером Чехословакии. Его отозвало в Прагу институтское начальство. Он

---

Та же газета 23 декабря 1933 в заметке «Лекции Н.Е. Андреева», помещенной в разделе «Культурная хроника», сообщала: «Н.Е. Андреев, с успехом прочитавший в Ревеле свои лекции о русской литературе, приглашен в Нарву (18–21 дек.), в Печоры (27–30 дек.) и в Гельсингфорс (3–6 янв.) на серии докладов о советской литературе, о творчестве Бунина, о московском государстве» (С.3). Однако, как сообщал в своих воспоминаниях сам Андреев, «ни одна поездка не состоялась – эстонская политическая полиция не дала мне разрешения» (То, что вспоминается. Т.1. С.335).

В этом же номере помещена также заметка П.Иртеля «Seminarium Kondakovianum», подписанная криптонимом П.И. В последнем ее абзаце сообщалось: «В “Seminarium Kondakovianum” напечатаны выдержки из докторской работы Н.Е. Андреева “О деле дьяка Висковатого”, обратившей на себя внимание многих ученых за границей» (С.3).

<sup>40</sup> Время от времени Андреев также читал лекции о русской иконе (см., например, соответствующую информацию в «Вестях дня» от 14 января 1936). В ежегоднике «Русский календарь на 1936 год» (С.67) было помещено объявление «Передвижные выставки русского творчества», в котором Союз русских просветительных и благотворительных обществ сообщал о выставке старинной русской иконописи, которая едва ли могла быть организована без участия Н.Е. Андреева, поскольку выставлялись коллекции цветных репродукций старинных икон Кондаковского института. В этом же издании опубликована статья Н.Е. Андреева «Русская икона» (С.61–66; см. также библиографию в конце настоящей работы).

<sup>41</sup> *Pachmuss T. Russian Literature in the Baltic Between the World Wars. Columbus (OH), 1988. P.51.* О ревельском Цехе поэтов см.: *Исаков С.Г. Русские в Эстонии... С.106–107* (Андреев, впрочем, в членах этого Цеха, по-видимому, не состоял, см.: *Исаков С. Русская печать в Эстонии... С.222*); о «Ските» см., например, *Малевич О.М. Вокруг Скита // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1994 год. СПб., 1998. С.175–247* (Андреев, принятый в «Скит» 2 июня 1930, упоминается на страницах 180, 183, 191, 214, 218–21, 223, 225, 233 и 240 этой работы). О членстве Андреева в «Ските» сообщалось и в ТРГ (1934. 13 января. С.2) в разделе «Культурная хроника», где помещена информация о том, что 7 января в таллинском Цехе поэтов было сделано сообщение о пражском литературном объединении «Скит». Заметка заканчивалась перечислением наиболее популярных авторов «Скита» – А.Эйснера, Вяч. Лебедева, Вас. Федорова и Аллы Головиной. Там же было сказано: «Из Эстонии к “Скиту” принадлежат Б.Семенов (Печоры) и Н.Андреев (Таллин)».

уехал из Таллинна в сентябре 1938 и больше никогда уже туда не возвращался.

Прилагаемая библиография эстонских публикаций Н.Е.Андреева, составленная в соответствии с общепринятыми стандартами<sup>42</sup>, поможет, как мы надеемся, облегчить доступ к работам ученого всем интересующимся его многообразным творческим наследием<sup>43</sup>. Мы также надеемся, что наше небольшое исследование в очередной раз продемонстрирует, насколько многосторонней и оживленной была культурная деятельность русской эмиграции в Эстонии в 1920-х и 1930-х.

### Список сокращений

ВД – Вести дня. Ревель, 1926–1940. Отв. ред. Э.В.Мюллер, с декабря 1928 – Э.Ф.Григорьева. Издатель В.Я.Бейлинсон.

ВСРПБО – Вестник Союза русских просветительных и благотворительных обществ в Эстонии. Издание Союза русских просветительных и благотворительных обществ в Эстонии. 1927–1940. Отв. ред. А.Н.Томасов, с 1934 (с №11/12) – А.А.Булатов, с 1940 (с №2) – Г.В.Назимов.

ДРП – День русского просвещения: Сборник статей. Издание Союза русских просветительных и благотворительных обществ в Эстонии. Ревель, 1924–1940. В 1932–1934 выходил как специальный выпуск ВСРПБО.

Н – Новь: Сборник произведений и статей молодежи ко Дню русской культуры. Ревель, 1928–1935. Первые два выпуска (1928 и 1929) без обозначения редакторов. Выпуск 3-й (1930) подготовлен

<sup>42</sup> Библиографическое описание эстонских русскоязычных периодических изданий, помещенное в Списке сокращений, дается с некоторыми уточнениями по: Eesti ilmunud saksa-, vene- ja muukelne perioodika. 1675–1940 / Ed. E.Annus. Tallinn, 1993 и *Никаноров А.Б.* Предварительный список периодических изданий русского зарубежья Латвии и Эстонии (1919–1940) // Историко-библиографические исследования. 1995. №5. С.211–233.

<sup>43</sup> См., например: *Равдин Б., Флейшман Л., Абызов Ю.* Русская печать в Риге: Из истории газеты «Сегодня» 1930-х годов. Stanford, 1997. Кн.2. С.44, 136, 384, 425; Кн.4. С.123, 246; Кн.5. С.16, 190; выполненный В.Н. Козляковым беглый обзор писем Андреева Г.И. Вернадскому из Бахметевского архива см.: *Вернадский Г.* Русская историография. М., 1998. С.396–398; а также статьи И.Белобровцевой: 1) Н.Е.Андреев: Ревель – Прага – Ревель // *Russian, Ukrainian and Belorussian Emigration between the World Wars in the Czechoslovakia: Results and Perspectives of Contemporary Research. Holdings of the Slavonic Library and Prague Archives.* Prague, 1995. P.653–659; 2) «Похождения Чичикова» как прототекст и интертекст (Н.Гоголь, М.Булгаков, Н.Андреев) // *Literatura emigracyjna rosjan, ukrainców i białorusinów* / Ed. A.Woźniak and L.Puszak. Lublin, 2001. S.75–85.

редколлегией в составе: Н.Андреев и др.; выпуски 4-й и 5-й (1932 и 1933) – редколлегией в составе Е.Ваннари и др. В выпусках 7-8 (1934–1935) в качестве редактора указан П.Иртель.

НГ – Наша газета. Ревель, 1927–1928. Издание Русского издательского товарищества. Отв. ред. П.О.Шутякова, М.А.Курчинский, О.В.Кошкина. (Согласно акту о регистрации, хранящемуся в Эстонском государственном архиве (ЭГА. Ф.1. Оп.7. Ед.хр.813), – разрешение на регистрацию получено 24 марта 1927; отв. ред. – О.В.Кошкина.)

ПИ – Последние известия. Ревель, 1920–1927. Отв. ред. М.Г.Ратке, издатель А.С.Барашкова, ред.-изд. Р.С.Ляхницкий. С декабря 1926 отв. ред. С.В.Штейн, издатель О.А.Гюдженева.

Р – Рассвет: Ежедневная независимая национальная газета. Ревель, 1927–1928. Ред.-изд. П.Миккер, с №16 (1927) – М.Г.Ратке.

РК – Русский календарь на ... год, 1930–1940. Отв. ред. А.А.Булатов, с 1936 – П.Богданов.

ТРГ – Таллиннский русский голос: Общественно-политическая еженедельная газета. Таллинн, 1932–1934. Отв. ред.-изд. А.Шуманская, с №48 (1933) – К.Пиньковская.

### Печатные работы Н.Е.Андреева в эстонской русскоязычной прессе

1926

Гимназическая экскурсия в Финляндию // ПИ. 2 июля. С.3 (Подп.: Н.А-в).

В Печорском крае: Впечатления экскурсанта // ПИ. 1 августа. С.4 (Подп.: Н.А-в).

1927

«Звук, жест, краски» // ПИ. 3 января. С.4 (Подп.: Н.А.).

Чаепитие юных поэтов // ПИ. 4 января. С.4 (Подп.: Н. А-в).

Книги – русской деревне // ПИ. 8 января. С.4 (Подп.: Н.А-в).

Духовный концерт // ПИ. 19 января. С.3 (Подп.: Н.А-в).

Работа русского отдела Христианского Союза Молодых Людей. I. Клубы // ПИ. 21 января. С.3 (Подп.: Н.А-в).

Работа русского отдела Христианского Союза Молодых Людей. II. Скауты // ПИ. 22 января. С.3 (Подп.: Н.А-в).

Русский и европеец в их мировоззрении (Доклад кн. С.П.Мансырева) // ПИ. 26 января. С.4 (Подп.: Н.Николин).

Московские астрономы 80-ых годов // ПИ. 28 января. С.4 (Подп.: Н.Н-ин).

«Дневник Кости Рябцова»: V «понедельник» Литературного кружка // ПИ. 2 февраля. С.3 (Подп.: Н.Н-ин).

8 февраля // ПИ. 4 февраля. С.4 (Подп.: Н.Николин).

Музыкальный кружок // ПИ. 6 февраля. С.4 (Подп.: Н.Николин).

Английские школы: Доклад В.С.Утехина // ПИ. 8 февраля. С.4 (Подп.: Н.Н-ин).

«Витязь» и зимний спорт // ПИ. 9 февраля. С.3 (Подп.: Н.Н-ин).

Курсы выразительного чтения // ПИ. 16 февраля. С.4 (Подп.: Н.Н-ин).

Дальтон-план // ПИ. 18 февраля. С.4 (Подп.: Н.Н-ин).

Литературный кружок городской гимназии // ПИ. 22 февраля. С.4 (Подп.: Н.).

Ревельская городская библиотека: Беседа с А.Сибулем // ПИ. 23 февраля. С.4 (Подп.: Н.Н-ин).

Судьба «Пикадилли» и «Пассажа» // ПИ. 23 февраля. С.4 (Подп.: Н.).

Настроения русской эмиграции во Франции: На докладе Б.А.Суворина // ПИ. 1 марта. С.2 (Подп.: К.Николин).

«Смеющийся лирик»: VII «понедельник» Литературного кружка // ПИ. 2 марта. С.4 (Подп.: Н.Николин).

Культурная деятельность женского отдела // ПИ. 4 марта. С.4 (Подп.: Н.Николин).

Концерт в Пюхтицкой церкви // ПИ. 8 марта. С.4 (Подп.: Н.Николин).

Русское общество просвещения в Посаде Черном // ПИ. 9 марта. С.3 (Подп.: Н.Николин).

Концерт Пресникова // ПИ. 12 марта. С.4 (Подп.: Н.Н-ин).

50-летие попечительства при Николаевской церкви // ПИ. 15 марта. С.4 (Подп.: Н.А-в).

В Литературном кружке русской гимназии: Последние три «субботника» // ПИ. 15 марта. С.4 (Подп.: Н.Н-ин).

Вечер общества «Русская школа» // ПИ. 15 марта. С.3 (Подп.: Н.Н-ов).

Памяти Н.В.Гоголя: VIII «понедельник» Литературного кружка // ПИ. 16 марта. С.4 (Подп.: Н.Николин).

Великая панихида // ПИ. 17 марта. С.3 (Подп.: Н.Николин).

Траурный акт в русской гимназии // ПИ. 19 марта. С.3 (Подп.: Н.А-в).

Преображенный свет: Об Игоре Северяnine // ПИ. 19 марта. С.4 (Подп.: Н.Николин).

«Веселый чай» // ПИ. 20 марта. С.4 (Подп.: Н.Н.).

В Литературном кружке русской гимназии // ПИ. 23 марта. С.4 (Подп.: Н.Н-ин).

- Вечер в Немме // ПИ. 23 марта. С.4 (Подп.: Н.Н.).  
Духовный концерт // ПИ. 26 марта. С.3 (Подп.: Н.Н-ин).  
Памяти Бетховена // ПИ. 26 марта. С.3 (Подп.: Н.).  
Вечер русских студентов // ПИ. 29 марта. С.3 (Подп.: Н.).  
Памяти Ньютона // ПИ. 31 марта. С.3 (Подп.: Н.Н-ин).  
Духовный концерт в Олаевской церкви // ПИ. 2 апреля. С.3 (Подп.: Н.).  
Вечер кружка любителей искусств // ПИ. 3 апреля. С.3 (Подп.: Н.Николин).  
Концерт русских соединенных хоров // ПИ. 3 апреля. С.4 (Подп.: Н.А-в).  
Финансовая неделя ХСМЛ <Христианского Союза Молодых Людей> // ПИ. 3 апреля. С.3 (Подп.: Н.).  
В Литературном кружке русской гимназии // ПИ. 6 апреля. С.3 (Подп.: Н.Н-ин).  
Финансовая неделя ХСМЛ // ПИ. 6 апреля. С.4 (Подп.: Н.).  
Концерт соединенных хоров // ПИ. 6 апреля. С.4 (Подп.: Н.А-ев).  
Христианское движение // ПИ. 9 апреля. С.3 (Подп.: Н.Н-ин).  
Русская девушка: Памяти В.Григорьевой // ПИ. 13 апреля. С.3 (Подп.: Н.Андреев).  
2-ой концерт соединенных хоров // ПИ. 13 апреля. С.4 (Подп.: А.).  
Концерт великорусского оркестра // ПИ. 14 апреля. С.3 (Подп.: Н.Н-ин).  
В «псковском пленении»: Рассказ В.П.Булычевой // ПИ. 20 апреля. С.3 (Подп.: Н.А-в).  
Вечер учительского союза // ПИ. 20 апреля. С.4 (Подп.: Н.Н-ин).  
Вечер выразительного чтения // ПИ. 20 апреля. С.4 (Подп.: Н.).  
Концерт великорусского оркестра // ПИ. 26 апреля. С.3 (Подп.: Н.Николин).  
Духовный концерт // ПИ. 26 апреля. С.3 (Подп.: А.).  
Вечер класса выразительного чтения // ПИ. 27 апреля. С.4 (Подп.: Н.Николин).  
«Две интеллигенции»: Х «понедельник» Литературного кружка // ПИ. 27 апреля. С.4 (Подп.: А-ев).  
Нарвцы в Ревеле // ПИ. 30 апреля. С.3 (Подп.: Н.Николин).  
Русская Прага: В Литературном кружке русской гимназии // ПИ. 30 апреля. С.3 (Подп.: Н.Е-ов).  
К.Г.Варежников и его оркестр // ПИ. 30 апреля. С.4 (Подп.: Н.Андреев).  
Вечер музыкального кружка молодежи // ПИ. 4 мая. С.4 (Подп.: Н.Н-ин).  
Концерт учеников А.А.Мизернюк // ПИ. 4 мая. С.4. (Подп.: Н.А.).  
Раймонд Дункан // ПИ. 5 мая. С.4 (Подп.: Н.Николин).

Успешная операция проф. Э.Н.Берендтсу // ПИ. 7 мая. С.4 (Подп.: Н.Н-ин).

Школьный певческий праздник // ПИ. 7 мая. С.4 (Подп.: Н.К.).

Заседание родительского комитета русской гимназии // ПИ. 8 мая. С.3 (Подп.: Н.Н-ин).

Лондонская гостя: У С.Р.Арбениной // ПИ. 12 мая. С.3 (Подп.: Н.Н-ин).

Экскурсии в этом году не будет // ПИ. 17 мая. С.4 (Подп.: Н.Н-ин).

Доклад Г.Г.Гейнрихса // ПИ. 24 мая. С.4 (Подп.: Н.Н-ин).

Банкет абитуриентов // НГ. 2 июня. С.3 (Подп.: Н.).

Выпуск русской городск<ой> гимназии // НГ. 2 июня. С.3 (Подп.: Н.).

По провинции: Карандашом в блокноте // НГ. 26 августа. С.3 (Подп.: Н.Николин).

По провинции: Карандашом в блокноте // НГ. 1 сентября. С.3 (Подп.: Н.Николин).

Маяк Господень: На Валааме // НГ. 25 сентября. С.2-3 (Подп.: Н.Николин).

От Ревеля до Праги // НГ. 28 октября. С.2 (Подп.: Н.Николин).

Золотая Прага: Из первых впечатлений // НГ. 11 ноября. С.2 (Подп.: Н.Николин).

Шалаяпин: Письмо из Праги // НГ. 19 ноября. С.3 (Подп.: Н.Николин).

Ватикан // Р. 19–26 ноября. С.3 (Подп.: Н.Андреев).

Три собрания: Письмо из Праги // НГ. 4 декабря. С.3 (Подп.: Н.Николин).

Золотая Прага: Из впечатлений // НГ. 15 декабря. С.2 (Подп.: Н.Николин).

Чудо святого Вацлава: Святочный сон // НГ. 29 декабря. С.2 (Подп.: Н.Николин).

## 1928

Монах // Р. 1–8 января. С.3 (Подп.: Н.Андреев)

Письма из Праги // Р. 1–8 января. С.3 (Подп.: Н.Николин).

Слава зодчим русской культуры! // Н. №1. С.1 (Б.п.).

«Да здравствует весь мир!»: О Л.Н.Толстом // Н. №1. С.1 (Подп.: Н.А.).

Младшая сестра // Н. №1. С.2 (Подп.: Николай Андреев).

## 1929

Чехов // Н. №2. С.1 (Подп.: Николай Андреев).

Илья Ефимович Репин: К 85-летию // Н. №2. С.2 (Б.п.).

- В.И.Немирович-Данченко: К 85-летию // Н. №2. С.2 (Б.п.).  
Н.П.Кондаков // Н. №2. С.4 (Подп.: А.).  
S.O.S.: Десять лет смерти Леонида Андреева // Н. №2. С.6 (Подп.: Н.А.).  
Аверченко: Листки из блокнота // Н. №2. С.7 (Подп.: К.Рем).

## 1930

- Смена поколений – единство культуры! // Н. №3. С.1 (Б.п.).  
О театре // Н. №3. С.3 (Подп.: А.Корсунский).  
Куприн // Н. №3. С.3 (Подп.: Н.А.).  
Скит поэтов // Н. №3. С.4 (Подп.: Н.А.).  
Жена: Рассказ // Н. №3. С.4-5 (Подп.: К.Рем).  
Сирин // Н. №3. С.6 (Подп.: Николай Андреев).  
<Рец.> Г.Газданов. «Вечер у Клэр». Париж, 1930 // Н. №3. С.8 (Подп.: Н.Андреев).  
<Рец.> «Полевые цветы»: Литературно-общественный журнал, под ред. В.Никифорова-Волгина. Нарва, 1930. №№1-2 // Н. №3. С.8 (Подп.: А.).  
<Рец.> «Наша газета»: Орган молодежи зарубежья, под ред. А.А.Иллюкевича. Рига, 1930. №№1-5 // Н. №3. С.8 (Подп.: Н.).

## 1931

- О новой русской литературе // ДРП. Май. С.11-13 (Подп.: Ник. Андреев).

## 1932

- Русская литература в 1931 году // ВСРПБО. №4/7. С.68-72 (Подп.: Ник. Андреев).

## 1933

- Русская литература в 1932 году // ВСРПБО. №5/6. С.77-82 (Подп.: Ник. Андреев).  
Поднять работу по краеведению // ВСРПБО. №11/12. С.147-149 (Подп.: Ник. Андреев).  
Последняя речь А.А.Кизеветтера // Н. №5. С.5-6 (Подп.: Студент).  
Иван Бунин // РК на 1934 г. С.86-87 (Подп.: Н.А.).

## 1934

- О русской литературе в 1933 году // ВСРПБО. №5/7. С.51-58 (Подп.: Ник. Андреев).



Осенние листья // Н. №7. С.90-92 (Подп.: Н.А-в).

О «Нови»: Письмо в редакцию // ТРГ. 10 июня. С.4 (Подп.: Ник. Андреев).

1935

Заметки о чешской поэзии: Иосиф Гора // Н. №8. С.176-180 (Подп.: Ник. Андреев).

Русская икона // РК на 1936 г. С.61-66 (Подп.: Н.Андреев).

1938

Древний край // ДРП. Май – июнь. С.7-8 (Подп.: Ник. Андреев).

D

**Annex**



## УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Абакумов В.С. 417, 418  
Абызов Ю.И. 282, 693, 696  
Августин Блаженный 92  
Аверченко А.Т. 701  
Аверьянов В. 498  
Агапов Б.Е. 271, 275, 278  
Агура А.Д. 340, 341  
Агурский М.С. 542  
Адамович (урожд. Вейнберг) Е.С. 529  
Адамович Б.В. 529  
Адамович В.М. 529  
Адамович Г.В. 435-535, 548, 549, 552, 570, 572, 590-592, 596, 598, 611  
Адамович О.В. 528  
Азеф Е.Ф. 672  
Айналов Д.В. 71, 73, 121, 140  
Айхенвальд Ю.А. 519  
Аксенова Е.П. 297  
\*Алданов (Ландау) М.А. 482, 497, 498, 515, 516, 519-521, 538, 543, 544, 550, 551, 554, 555-567, 572, 580, 582, 585, 586, 595, 597, 602, 604-606, 611, 612, 614, 617-626, 642, 694  
Алдановы, семья 573  
Александр I, имп. 397-399, 401, 659  
Александр II, имп. 648, 656  
Александр II, имп. 70  
Александр III, имп. 141, 655, 660  
Александра Федоровна, имп. 11, 173, 659  
Александров Ф.Г. 299, 300, 303, 304, 315, 332, 334, 338-341, 343-351  
Александрова В.А. 618, 619, 621  
Александрова Т. 687  
Александрова-Дольник, владелица пансионата 21  
Александровы, семья 338  
Алексеев А. 175-177, 193, 194  
Алексеев В.М. 105, 154  
Алексеев М.В. 174, 649  
Алексеев М.П. 396  
Алексеева М.Н. 571  
Алексей Николаевич, цесаревич 11  
\*Ален-Фурнье (Fourmier) А. 10, 120  
Алпатов М.В. 429  
Альбала А. 155  
Альтаментов А.И. 675, 676  
Альтман Н.И. 424, 427  
\*Амп П. (Bourillon A.L.) 106, 154

---

Курсивом выделены страницы, где данное лицо выступает публикатором или автором текста (кроме авторов писем). Звездочкой (\*) отмечены псевдонимы или криптонимы.

- Алябьева В. 165, 167, 192  
 Амфитеатров А.В. 452  
 Ангел, полицейский 196  
 Ангелов А. 227, 229, 234  
 Андреев В.Л. 574  
 Андреев Н.А. 376  
 Андреев Н.Е. (\*Студент, \*А.Корсунский, \*А.Ский, \*Николин, \*Н.А., \*Н.А-в, \*К.Рем, \*Н.Николин, \*Н.Н-ин, \*Н., \*К.Николин, \*Н.Н-ов, \*Н.Н., \*Н.Е-ов, \*А-ев, \*Н.К., \*А.) 400, 401, 687-702  
 Андреев, полковник 249-251  
 Андреева Е.Н. 689  
 Андреевы, семья 691  
 Андроники (Андроникашвили) И.Л. 395, 397  
 Андрущенко Е.А. 618  
 Анненков Ю.П. 143  
 Анненский И.Ф. 466, 469, 499, 517-519, 527  
 \*д'Аннунцио Г. 16  
 Анонимов И. 392  
 Анри Э. 437, 520  
 Анстей (урожд. Штейнберг, в 1-м браке Матвеева, во 2-м Филиппова) О.Н. 673, 674, 676  
 Антон-Ульрих, герцог 146  
 Анциферов Н.П. 122, 123  
 Анцыферов А.Н. 314, 360-362  
 Апачинская Н. 416  
 \*Аполлинер Г. 412  
 Апостол П.Н. 406  
 Арагон Л. 426  
 Арбенина С.Р. 700  
 Аргунов И.П. 651  
 Ария (урожд. Васьковская) 371  
 д'Арк Ж. 176  
 Арлан М. 428  
 Архипенко А.П. 411  
 Ататюрк М.К. 320  
 Атран С.С. 543  
 Ауслендер С.А. 476  
 \*Ахматова (Горенко) А.А. 10, 68, 70, 75-77, 102, 103, 107, 109, 119-121, 137, 138, 142, 145, 430, 431, 508-510, 541, 675  
 Ач М. 539  
 Бабель И.Э. 111, 414  
 Бабкин Б.П. 299-302, 305-309, 318, 358  
 Бабореко А.К. 582, 603, 620, 623  
 Багалева, инженер 334  
 Багно В.Е. 571  
 Багрянов И., премьер-министр Болгарии 223  
 Бадьян А. 289  
 Бажинов И.Д. 381  
 Базанов И.А. 335, 336  
 Базили (урожд. Мезерв) Л. 650, 651  
 Базили А.К. де 648  
 Базили К. де 648  
 Базили Н.А. де 648-660, 665, 666, 668-670  
 Базили, семья 651  
 Баиов А.К. 274, 280-282, 284  
 Бак П. 606, 614  
 \*Бакст (Розенберг) Л.С. 656, 662, 664  
 Бакструб А. 693  
 Бакунин М. 630  
 Бакунин М.А. 188  
 Бальмонт К.Д. 19, 123, 140, 469, 470, 513, 558-560, 567, 581, 582  
 Банин 576, 577, 604  
 Бантыш-Каменский Д.Н. 385, 388  
 Барановская Л.В. 84, 99, 122, 142, 147  
 Барановские, семья 99  
 Барашкова А.С. 697  
 Барма, зодчий 661  
 Барроус Э. 176  
 Бассоли К. 388, 392, 407  
 Бах И.С. 47  
 Бахметев Б.А. 20, 124, 386  
 Бахрах А.В. 148, 153, 549, 565, 596, 598, 626  
 Бахтин М.М. 458  
 Бахтин Н.М. 455, 458, 459, 464, 486, 489, 518, 530, 531  
 \*Беато Анджелико (Фра Джованни да Фиезоле) 660, 664  
 Бедекер К. 90

- \*Бедный Д. (Придворов Е.А.) 155  
Безбородко А.А., кн. 312  
Безыменский А.И. 694  
Бейлинсон В.Я. 696  
Бёклин А. 412  
Белин И.И. 178, 179, 184  
Белич А. 349  
Беллотто Б. 94  
Белобровцева И.З. 687-702  
Белошеская Л.Н. 305  
\*Белый А. (Бугаев Б.Н.) 67, 68, 88, 109, 138, 154, 182, 403, 442, 523, 641-647, 694  
Беляев Б.Н. 543, 552, 553, 557, 574, 578, 595, 609  
Беляев Н.М. 401  
Белякова Н. 161  
Бем А.Л. 681  
Бене С.В. 673  
Бенеш Э. 375, 376  
Бенешевич В. 137  
Бенуа А.Н. 12, 77, 111, 113, 114, 121, 142, 150, 648, 650-670  
Бенуа Н.А. 114, 156  
Беньямин В. 149  
Берберова Н.Н. 88, 142, 146, 148, 437, 440-442, 447, 448, 450, 452, 454, 456, 457-459, 461, 463, 468, 478-480, 482, 488, 490, 491, 495, 496, 498, 500, 505, 519, 528, 530, 532, 542, 547, 555, 564, 569, 571, 580, 590, 591, 596, 621, 694  
Бёрд Р. 678  
Бердяев Н.А. 517, 518  
Березин Н. 271  
Березовский М.А. 371, 372  
Берендтсу Э.Н. 700  
Берлин И. 68, 138  
Бернвард, еп. Гильдесгейма 149  
Бернштейн Б.М. 662-670  
Бетховен Л. ван 9, 40, 46, 49, 654, 692, 699  
Беюл П.И. 42  
Бибииков М. 675  
Билибин И.Я. 181, 658, 663, 664  
Бирюков, переводчик 242  
Бицилли П.М. 17, 34, 122, 123, 129, 132, 133, 315-317, 347, 403, 404  
Бичуньская А. 141  
Благов Ф.И. 675  
Благова (урожд. Сытина) М.И. 675  
Блинов В.Б. 304  
Блок А.А. 10, 27, 51, 52, 63-67, 75, 80, 81, 111, 120, 123, 125, 134, 137-139, 141, 152, 153, 155, 438, 445, 446, 449, 462, 463, 481, 515, 516, 523, 530, 532, 605, 618, 643, 645, 694  
Блох Я.Н. 102, 152  
Бобровская В.П. 377  
Бобровская (урожд. Михайлова) Т.К. 366, 367, 369, 371, 375, 377, 384, 391, 403, 406-408  
Бобровская О.П. 366, 367, 375  
Бобровские, семья 372, 373  
Бобровский П.С. 367, 371, 374-376  
Бобчев Н.С. 316, 317  
Богаевский Б.Л. 127-129, 132, 133, 155  
Богданов П. 697  
Боголепов А.А. 363  
Богомолов А.Е. 596, 597  
Богомолов Н.А. 142, 435-535, 567  
Бодлер Ш. 51, 129, 481, 484, 502, 511, 513, 646  
Бодуэн де Куртенэ И.И. 157  
Бойе (Boyet) П. 313, 358, 360  
Бойков В. 290  
Бокаччо Дж. 423  
Болдырев Д.В. 47, 133  
Болдырев С. 672  
Болдырева А.В. 47, 49, 50, 132  
Бонев Б. 222  
Боноварян С. 187  
Бонч-Бруевич В.Д. 630  
Бордовский Н. 180  
Борис III, царь Болгарии 199-204  
Борисов И.Г. 326  
Борисов-Мусатов В.Э. 658, 663  
Боровиковский В.Л. 651  
Бородин А.П. 659, 663, 664  
Боттичелли С. 77  
Бояринцев Б.Г. 279

- Брайкевич М.В. 310-312, 322  
 Брак Ж. 412  
 Брамс И. 46, 539  
 Бранкован К. 689, 691, 692  
 Бриан А. 528  
 Брук Р. 10, 120  
 Бруно Дж. 176  
 Брунс, владелец пивной 383  
 Брусиллов А.А. 122, 174  
 Брюйнинг Н. 150  
 Брюллов К.П. 651, 656  
 Брюсов В.Я. 438, 467, 471, 473, 498, 501, 567  
 Буало-Депрео Н. 511, 512  
 Бубер М. 413  
 Бугаева (урожд. Алексеева, в 1-м браке Васильева) К.Н. 645  
 Будницкий О.В. 124, 648-661  
 Бузук П.А. 341, 342, 346, 356, 357  
 Буккал Ф. 98, 99  
 Буковецкий Е.И. 379, 381-383  
 Булак-Балахович С.Н. 271  
 Булатов А.А. 696, 697  
 Булахов П.П. 121  
 Булгаков В.Ф. 642  
 Булгаков М.А. 155, 696  
 Бунин И.А. 23, 364, 366, 367, 371, 381, 383, 384, 387, 403-406, 436, 437, 439, 447, 460, 468, 473, 475, 478, 479, 506, 508, 510, 533, 536-626, 694, 695, 701  
 Бунина (урожд. Муромцева) В.Н. 386, 387, 405, 406, 460, 536-626  
 Бунина (урожд. Цакни, во 2-м браке Дерibas) А.Н. 405, 406  
 Бунины, семья 523  
 Буницкие, семья 334, 341  
 Буницкий Е.Л. 299, 302, 304, 319, 320, 329, 332, 333, 337, 340, 344, 351-354, 356, 358  
 Бургундские, герцоги, династия 423  
 Буров А.П. 551, 552  
 \*Буслай (Булатов А.А.) 690  
 Бутовский Я.Л. 423  
 Бухарин Н.И. 431  
 Бухштаб, доктор 300  
 Буше Ф. 114, 135  
 Бушен Д.Д. 113  
 \*Бушман (урожд. Сидорова-Евсеева, в замужестве Филиппова) И.Н. 673, 676  
 Быков П.В. 501  
 Быстров П. 271  
 Бэйли В.С. 439  
 Бэр Г. 147  
 Бюхер К. 137  
 \*Валентинов (Вольский) Н.В. 650  
 Валери П. 104  
 Валлен де Ламот Ж.-Б. 112, 155  
 Валь фон, полковник 280  
 Вальдтейфель Э. 106, 154  
 Вальтер Р. фон 679  
 Вальх С. 190  
 Ван Гог В. 94  
 Ван Дейк А. 77  
 Ван Эйк Я. 77  
 Ваннари Е. 697  
 Варбург М.М. 269  
 Варежников К.Г. 699  
 Варнеке Б.В. 338, 346  
 Варшавский В.С. 534, 535  
 Васильев А.А. 73, 141  
 Васильев, учитель математики 359  
 Васильева Н.Е. 128  
 Васильковский О.П. 273, 278-281, 286  
 Васнецов А.М. 658, 663  
 Васнецов В.М. 409, 410, 658, 660, 662, 663, 665  
 Васнецов М.В. 409, 410  
 Васьковские, семья 371  
 Васьковский А.В. 371, 372  
 Ватто А. 77, 114, 135, 156  
 Введенский К. 271  
 Ведякин В. 271  
 Вейдле (урожд. Новицкая) С.И. 20, 21, 27, 29, 37, 60, 63, 64, 81, 82, 122, 147  
 Вейдле В.В. 7-120, 120-159, 458, 462, 463, 505, 518  
 Вейдле В.Л. 9, 12, 16, 20, 21, 24, 26, 28, 60, 63, 64, 81, 82, 122, 147  
 Вейдле Д.В. 60, 64, 122

- Вейдле О.А. 13, 20, 28, 60, 61, 82-85, 98, 99, 120, 152  
Вейдле, семья 121  
Вейнбаум М.Е. 560, 611  
Вейнингер О. 471, 473  
Вейсберг Ю.Л. 424  
Вейсмюллер Дж. 176  
Вейхардт Г.Г. 38, 40, 45-47, 49, 50, 128, 130, 134  
Векшин Н.А. 291  
Веласкес Д. 77, 78, 94, 151  
Венгеров С.А. 451, 453, 464  
Венецианов А.Г. 656  
Вентури Л. 419, 420, 428  
Вера Ивановна, няня Тэффи 591  
Вербов С.Ф. 545, 546, 578, 583, 588-590, 602  
Вергун Д.Н. 345, 346  
Верещагин В.А. 583, 584  
Верещагина М.Н. 543, 545, 546, 584, 618  
Верещагины, семья 583, 623, 625  
Верлен П. 129, 646  
Вернадская (урожд. Ильинская) Н.В. 629, 630, 630-637  
Вернадские, семья 630, 631  
Вернадский В.И. 630, 637  
Вернадский Г.В. 297, 298, 630, 632, 696  
Веронезе П. 94  
Верхарн Э. 129  
Верховский Ю.Н. 51-54, 64, 67, 69-71, 76, 80, 81, 132, 134, 142  
Веселовский А.Н. 157, 645  
\*Веселый А. (Кочкуров Н.И.) 456  
Веснин А.А. 154  
Везм Г. 269, 271  
Виктор Эммануил, король Италии 202  
Вилинский С.Г. 340-342, 345, 358  
Виллани, летописец 16  
Вильборг А. 662  
Вильгельм II Гогенцоллерн 9, 86, 168  
Вильденштейн Дж. 143, 156  
\*Вильдрак (Messenger) Ш. 106, 154  
Вилькина (Виленкина) Л.Н. 154  
Вильм П.-Р. 195  
Винавер М.М. 147, 440, 441, 443, 444, 447-449, 454, 460, 492  
Винавер (урожд. Хишина) Р.Г. 441  
Винаров, поручик 207-210, 212-214, 217-236  
Виндельбанд В. 131  
Виноградов П.Г. 308, 310  
Виппер Р.Ю. 642  
Висковатый, дяк 695  
Виссонов А.И. 181, 182  
Витанов, знакомый И.Тинина 197, 198  
Витте С.Ю. 122, 633, 637  
Вичков, подполковник 253  
Вишняк М.В. 384, 387, 465, 467, 493, 511, 521, 522  
Владимир Александрович, вел. кн. 69, 74, 139, 153  
Владимир, митр. (Тихоницкий В.М.) 391, 393  
Владимиров М.К. 357  
Владимирский Н., настоятель 173  
Владимирский Н.Н. 173  
Власенко Н.А. 319, 320  
Власов А.А. 188  
Водов С.А. 384, 387  
Войков П.Л. 497  
Волков В.А. 295, 307, 333  
Волковский С.М., кн. 495, 497  
Волошин М.А. 107, 108, 140, 154  
Волчек Д.Б. 142  
\*Вольтер (Аруз М.Ф.) 469-471, 474, 475  
Вольф Н.К. 279  
Вольфензон Л. 415  
Вольфскель К. 679  
\*Волынский А.Л. 441, 444, 509  
Воронцов М.С., кн. 379, 381, 392  
Врангель П.Н., бар. 276, 280, 287, 320  
Вреден Н.Р. 618-621  
Врубель М.А. 654-656, 658-660, 663, 665  
Вундт В. 137  
Вырубова А.А. 438  
Вышеславцев Б.П. 314, 682



- Вьеле-Гриффен Ф. 129  
 Вяземский П.А., кн. 388, 395  
 Гааль Ф. 258  
 Габен Ж. 167  
 Гавранек Б. 348-350  
 Гагарин М.А., кн. 397  
 Гаевский, владелец аптеки 389  
 Газданов Г.И. 553, 554, 580, 581, 694, 701  
 Гайда Р. 375, 376  
 Гайдовский-Потапов, преподаватель гимназии 179, 180  
 Галактионов М. 419  
 Галенц А. 424  
 \*Галич (Габрилович) Л.Е. 558-561, 563, 565, 600, 601, 604, 605  
 Галушкин А.Ю. 149  
 Галчева Т.Н. 317  
 Гальперн (урожд. Андроникова, по 1-му мужу Андреева) С.Н. 615, 616  
 Гамов Дж. 319, 320  
 Ганев, генерал 215, 224, 240, 241, 248, 249  
 Ганс Н.А. 309  
 Гартман В.А. 657, 662  
 Гасман Н. 570, 572  
 Гатова Л.А. 617, 618  
 Гвоздев А.А. 155  
 Ге Н.Н. 655, 656, 660, 664  
 Геббельс Й. 417  
 Гегель Г.В.Ф. 45, 152, 558, 681  
 Геертген тот Синт Янс 87, 148  
 Гейден П.А. 140  
 Гейзелер Б. фон 677-683  
 Гейзелер Г. фон 677, 678, 679  
 Гейзелер Гертруда фон 677  
 Гейне Г. 105, 151  
 Гейнрихс Г.Г. 692, 700  
 Геллер М.С. 295  
 Гёльдерлин Ф. 103, 457  
 Генкель М.А. 129  
 Генрих Лев, маркграф 149  
 Георге С. 679  
 Георгиев З. 217-221, 226, 231  
 Герберштейн С. 389, 392  
 Герман, дипл. агент 398  
 Герман, митр. 202  
 Германова М.Н. 22, 23, 124  
 Герра Р. 154  
 Герхардт Е. 339, 340  
 Герцен А.И. 351, 352  
 Гершензон М.О. 466  
 Гершенкройн Г.О. (А.И.) 522, 530, 531  
 Гессен И.В. 134  
 Гессен С.И. 51, 52, 134  
 Гете И.В. 84, 96, 147, 151, 469, 471, 503, 504, 654  
 Гефтер А.А. 573  
 Гиллельсон И.Э. 154  
 Гиппиус З.Н. 45, 131, 145, 405, 409, 435-535, 538, 576, 577, 599, 604, 605, 642  
 Гирс В. 329, 330, 334, 336  
 \*Гитлер (Шикльгрубер) А. 18, 89, 96, 143, 152, 186, 195, 196, 199, 203, 204, 221, 417, 579, 632, 634, 695  
 Гладков Ф.В. 694  
 Глазунов А.К. 664  
 Глаша, кухарка 38, 40, 45  
 \*Глебов И. (Асафьев Б.В.) 155  
 Глебова-Судейкина О.А. 75, 142  
 Глинка М.И. 664  
 Глинский Н.Б. 181  
 Гоген А.И. фон 124  
 Гоголь Н.В. 137, 403, 414, 544, 614, 657, 692, 696, 698  
 Голанд Ю. 295  
 Голдер Ф. 631  
 Голик Р. 662  
 Голицыны, князя 195  
 Головановский С.Е. 417  
 Головин А.Я. 658, 659, 663, 664  
 Головина (урожд. Штейгер, по 2-му мужу Gillès de Pelichy) А.С. 593-595, 599, 601, 695  
 Голубинский Е.Е. 378, 380  
 Гомер 177  
 Гончарова Н.С. 659, 664  
 Гора И. 702  
 Гораций 338  
 Горбатовский В.Н. 280, 281

- Горн В. 271, 289  
Горнфельд А.Г. 155  
\*Горный С. (Оцуп А.А.) 528  
Горовцев, знакомый В.В.Вейдле 132  
Городецкий С.М. 33  
Горчаков Н.А. 675  
\*Горький М. (Пешков А.М.) 104, 109, 111, 149, 155, 407, 423, 474, 475, 610, 694  
Горяинов А.Н. 307  
Готт Ю. 256  
Готье Т. 129  
Гофман М.Л. 394, 396  
Грабарь И.Э. 9  
Грабовская (Grabovska, урожд. Бучинская) В. 537, 540, 544, 545, 547, 591, 592, 594, 599, 602, 604-606, 613, 616, 619-621, 623  
Грановский А.М. 413, 427  
Графф М. 276  
Грачева А.М. 547  
Гревс И.М. 11, 17-19, 71, 73, 122, 123, 129, 130  
Гржебин З.И. 102  
Григорьева В. 693, 699  
Григорьева Э.Ф. 696  
Гримм Э.Д. 19, 122, 123, 317  
Грин М.Э. 406, 537, 582  
Гронский П.П. 314, 360, 362, 650  
Гросман, владелец книжного магазина 120  
\*Гросс (Ehrenfreid) Г. 88, 149  
Гроссман Л.П. 473  
Грунд, знакомый А.В.Флоровского 337, 352  
Гувер (Хувер) Г.К. 357, 637  
Гукасов А.О. 452, 542, 561, 564, 566, 569, 571, 574, 576, 585, 588-590, 592, 593, 595, 597  
Гуль Р.Б. 671, 673, 676  
Гумбольдт А. фон 151  
Гумбольдт В. фон 96, 151  
Гумилев Л.Н. 119, 133, 138  
Гумилев Н.С. 10, 68, 138, 475, 692  
Гурко Е.В. 304  
Гурьянович А. 126  
Гус Я. 176  
Гучков А.И. 20, 140, 650  
Гущик В.Е. 289  
Гюдженева О.А. 697  
Гюисманс Ш.М.Ж. 34  
Гюльбенкян Г. 143, 156  
Гюнтер И. фон 679  
Давыдов К.Д. 612, 613, 615  
Давыдов Ю.К. 612-617  
Далекий, журналист 288  
Даль В.И. 125, 384, 387, 629  
Даманская А.Ф. 524, 525, 531  
Данзас К.К. 134  
Данилевский А.А. 692, 694  
Данте Алигьери 16, 18, 19, 123  
Дантес (Геккерн) Ж.-К. 395-397  
Даувальдер В.Ф. 410  
Дворников Т.Я. 371, 372  
Де Рибас А.М. 389, 392, 407  
Де Рибас Ф.М. 389, 392, 407  
Дега Э. 94  
Декарт Р. 618  
Деккер И. 146  
Делакруа Э. 94, 151  
Демидов И.П. 453  
Демосфенов, профессор 195, 196  
Деникин А.И. 25, 320, 372, 649  
Денисов И. 166  
Денисовы, семья 166, 167  
Деревенко, лейб-медик 128  
Дерен А. 104, 153  
Державин Г.Р. 154  
Державин Н.С. 158  
Дерибас (Рибас де) О.М. 294, 389, 391  
Дером, переплетчик 52  
Джакометти А. 431  
Джонсон Б. 102  
Джорджоне 84, 93, 150  
Дзенодзиловский А.Ф. 383  
Дзержинский Ф.Э. 74, 117, 333, 357  
Дий А. 541  
Димитров Г. 200, 201  
Динев, преподаватель гимназии 192  
Динов, майор 253-255, 258  
Дисней У. 194  
Дложевский С.С. 311, 312, 341

- Дмитрий Ростовский (Туптало Д.С.) 377, 380  
 Добиаш-Рождественская О.А. 16, 17, 122  
 Добкин А.И. 120  
 Добровольский Г.А. 300, 332  
 Доброклонский А.П. 305, 315  
 Добролюбов А.М. 518  
 Добролюбов, сосед по камере А.В.Флоровского 299  
 Добужинский М.В. 656, 658, 662  
 Долгополов Н.С. 584  
 Долинский М. 452  
 Домогацкая Е.Г. 540, 541  
 \*Дон Аминадо (Шполянский А.П.) 515, 516, 527, 588  
 Дория В.М. 570, 572  
 Дормидонтова З.Н. 690  
 Дорогойченко А.Я. 509  
 Доронченков И.А. 7-159  
 Досталь А. 350, 351  
 Досталь М.Ю. 297  
 Достоевский Ф.М. 50, 112, 134, 155, 217, 259, 355, 403, 409, 458, 459, 481, 483, 486, 489, 502, 503, 552, 562, 570, 572, 583, 610, 646, 654, 656, 659, 678, 681  
 Доценко С. 694  
 Дрейер М. 617, 618  
 Дуван-Хаджи А.Ф. 299, 300, 303, 332, 341, 356  
 Дункан Р. 699  
 Дурденевский В.Н. 57, 58, 131, 135, 136  
 Дуров В.Л. 413  
 Духонин (\*Дар, \*Даров) А.А. 593, 596  
 Дьяконов А.П. 30, 127  
 Дэвис Р. 536-626  
 Дюамель Ж. 104, 105, 107, 115, 153  
 Дюрер А. 137  
 Дягилев С.П. 390, 392-394, 396, 397, 659, 662-664  
 Евгенийев-Максимов В. (Максимов В.Е.) 534  
 Евлогий, митр. (Георгиевский В.С.) 393, 490, 491, 516, 518  
 Евстигнеева А.Л. 445  
 Егоров Д.Н. 122  
 \*Егоров И. 273, 279, 281-283  
 Екатерина II, имп. 14, 30, 52, 112, 114, 145, 155, 378, 657, 664  
 \*Елагин И. (Матвеев И.В.) 673, 674, 676  
 Елизавета Петровна, имп. 658  
 Елисеевы, семья 139  
 Ермолаева Н.С. 351  
 Есенин С.А. 111, 440, 451, 503, 694  
 Ефремов, инженер 374  
 Жакоб М. 412  
 Жамм Ф. 129  
 Жарновская Е.А. 113  
 Жарновский И.И. 113, 156  
 Жаров С.А. 168  
 Жековы, семья 236  
 Жернакова-Николаева А. 545  
 Жид А. 112, 155, 606, 614  
 Жирмунский В.М. 103, 155  
 Жуковский В.А. 388, 395, 551, 579, 683  
 Журнель де, директор библиотеки 405  
 Завадский, историк 400, 401  
 Заварзин А.А. 128, 136  
 Завьялов В.В. 306, 308, 323, 351, 358  
 Загоровский А.И. 311, 312  
 Загоровский Е.А. 311, 312, 319  
 Загорский С.О. 360, 362  
 Загоруйко В.А. 389, 392  
 Зайончковский П.А. 298  
 Зайцев А.Д. 342  
 Зайцев Б.К. 88, 537, 542, 548, 549, 551, 552, 555, 556, 558, 559, 561, 564, 573, 578, 579, 583, 595-598, 621, 625, 626, 642, 694  
 Зайцева В.А. 537-539, 547, 551, 555-558, 580  
 Зайцевы, семья 537-541, 547, 557, 573, 580, 587, 588, 591, 592, 682  
 Залькинд Ю.С. 128  
 Замен К.Е. фон 124  
 Замятин Е.И. 37, 103, 105-112, 130, 138, 153, 154, 694  
 Зангара Дж. 637

- Зандер Л.А. 45, 46, 131, 132  
Занчевский А.И. 311  
Занчевский И.М. 311, 312  
Зарецкий Н.В. 377, 380, 385, 399, 400  
Заркевич С.В. 291, 292  
Заряно С.К. 656, 662  
Захаров А.Д. 73  
Збруева Е.И. 12, 121  
Зверс А. 538, 556, 574, 582, 623  
Зеелер В.Ф. 545, 555, 556, 579  
Зейдельберг-Новицкая К.Н. 690  
Зелинский Ф.Ф. 156  
Зеньковский В.В. 314, 376, 380, 390, 399, 490, 492  
Зернов А.С. 568, 569  
Зернов В.М. 566, 613-616  
Зернов М.В. 569  
Зернов М.С. 568  
Зернов Н.М. 568, 569, 689  
Зернов С.С. 568, 569  
Зернова С.М. 568  
Зерновы, семья 569, 614  
Зиле М.Б. 321  
\*Зиновьев (Радомысльский) Г.Е. 526  
Злобин В.А. 439-441, 444, 447, 452, 454-456, 462, 471, 473, 489, 492, 493, 495, 496, 504, 506, 507, 514, 518, 520, 523, 524, 526, 533  
Зноско-Боровский Е.А. 519  
Зощенко М.М. 541, 694  
Зубарев Д.И. 161, 489  
Зубов В.П., гр. 69, 72, 73, 139, 140  
Зуров Л.Ф. 547, 566, 567, 574, 575, 588, 611, 694  
З-цкий В. 449  
Ибсен Г. 451, 453  
Иван (Иоанн) IV Грозный 657, 679, 680, 689  
Иванов А.А. 656, 660, 669  
Иванов А.И. 279, 281  
Иванов Вс. Н. 133  
Иванов Вяч. И. 466, 513, 678  
Иванов Г.В. 142, 436, 446, 449, 454, 464, 470, 477, 489, 495, 496, 505, 507, 514-519, 528, 538, 548, 549, 694  
Иванов Н.Н. 271  
Иванов С.Н. 271  
Иванов, полковник 260-261  
\*Иванович Ст. см. Португейс С.И.  
\*Иванов-Разумник (Иванов Р.В.) 65, 137  
Иваск Ю.П. 121, 143, 436, 498, 694  
Ивашкевич В.К. 146  
Ивков С.Н. 291, 292  
\*Ивнев Р. (Ковалев М.А.) 451, 453  
Игнатъев А.Н., гр. 275, 276, 279  
Изабэ Ж.-Б. 649  
Извольская Е.А. 368-370  
Извольские, семья 368  
Извольский А.П. 368, 369, 398, 649  
Измайлов Н.В. 134  
Изюмов А.Ф. 368-370, 374, 376  
Иконников В.Ф. 297  
Иллюкевич А.А. 701  
Ильин В.С. 326  
Ильин И.А. 314, 490, 492, 524, 525  
Ильинская Е.В. 630  
Ильинские, семья 630  
Ильинский И.В. 630  
Ильинский Ф.В. 630  
Индикоплов см. Козьма Индикоплов  
Ине Э.Э. фон 148  
Иннокентий, архиеп. (Борисов И.А.) 378, 380  
Инютин Г. 182  
Иоаникий, архидьякон 172  
Иоанн XXIII, папа 201  
Иоанн Эфесский 127  
Иоанна, царица Болгарии 202  
Иовков И. 219  
Иппа С. 140  
Иртель (Иртель фон Брендорф) П.М. 695, 697  
Исаков С.Г. 274, 673, 690, 695  
Исмагулова Т.Д. 141  
\*К.Р. см. Константин Константинович, вел. кн.  
\*Каверин (Зильбер) В.А. 694  
Каган В.Ф. 395, 397  
Кажданская Е.И. 309  
Казаков П.А. 132  
Казанский Б.В. 30, 127, 132

- Казнаков С.Н. 139  
 Казнина О.А. 688  
 Кайгородова И. 692  
 Кайе (Caillé) П.Ф. 614  
 Кайо Ж. 439, 440  
 Калина Л. 96  
 Калинин М.И. 96  
 Калитинский А.А. 23  
 Калитинский, проф. 401  
 Каллаш М.А. 547, 626  
 Каллимаки-Катарджи Е. 649  
 Каллимаки-Катарджи Н. 649  
 Кало Ф. 423  
 Кальдерон де ла Барка П. 141  
 Кальфе У. 339  
 Каннегисер Л.И. 26, 125, 436, 515-517, 519  
 Кант И. 96, 526  
 Кантор М.Л. 442, 443, 445, 447, 463, 465, 467, 469, 470, 472, 473, 475, 476, 485, 490, 492, 496-498, 508, 515, 517  
 \*Каплан Ф.Е. (Ройтблат Ф.Х.) 25, 125  
 Каплан А.Л. 429  
 Караваева А.А. 509  
 Каракаш М.Н. 26, 125  
 Карбуцки П. 261, 262  
 Кардовский Д.Н. 658, 663  
 Кареев Н.И. 122, 123, 644  
 Карпович М.М. 382, 386, 618, 619, 630  
 Карсавин Л.П. 17, 113, 122, 314, 363  
 Карташев (Карташов) А.В. 377, 380, 390, 391, 398, 399, 506, 650  
 Кассиан еп. (Безобразов С.С.) 399, 401  
 Кассу Ж. (Cassou J.) 421  
 Кастерин Н.П. 299-301, 304, 332, 333, 356  
 Катаев В.П. 694  
 Катилина 179  
 Кедров П.К. 83  
 Керенский А.Ф. 21, 24-27, 29, 124, 125, 273, 499, 537  
 Кертман Л.Е. 128  
 Кизеветтер А.А. 400, 401, 642, 691, 701  
 Кимкель, профессор 195, 196  
 Кипренский О.А. 656  
 Киприан, архим. (Керн К.Э.) 399, 401  
 Кирилл Владимирович, вел. кн. 284, 286  
 Киркегор С. см. Кьеркегор С.  
 Кирсанов С.И. 618  
 Киселев Е.Д. 421  
 Кишенский Д.П. 319, 344, 352, 353  
 Клейст Г. фон 96, 151  
 Клементьев А.К. 122  
 Клементьева С.Ю. 122  
 Кленце Л. фон 143  
 Климов А. 691  
 Клодель П. 65, 66, 103, 107, 129, 154  
 Клюев Н.А. 675  
 Кнебель И.Н. 9, 120  
 Кнорринг Н.Н. 534  
 \*Кнут Д. (Фиксман Д.М.) 456, 461, 486  
 \*Княжнин (Ивойлов) В.Н. 532  
 Кобяков Д.Ю. 441, 442  
 Ковалевский П.Е. 378, 381, 390, 391, 394, 398  
 Коваленко Е.Е. 674, 676  
 Коверда Б.С. 495-497  
 Кодрянская Н.В. 598  
 Козинцев Г.М. 424, 425  
 Козинцева В.Г. 423, 425  
 Козинцева-Эренбург Л.М. 420, 423-428  
 Козьяков В.Н. 696  
 Козьма Индикоплов 46  
 Коковцев (Коковцов) В.Н. 122  
 Кокошкин Ф.Ф. 28, 126  
 Кокс П. 217  
 Коллонтай А.М. 457  
 Колодный Л.Е. 295  
 Колчак А.В. 25, 40, 46, 47, 124, 131, 133, 276, 309, 376, 649  
 Кольтрян А., присяжный поверенный 283  
 Кольтрян С.Н. 282, 283, 288, 289  
 Кольцов Н.А. 294  
 Комиссаровы, семья 22, 23, 124  
 Компаньи Дино 16

- Кондаков Н.П. 304-306, 316, 359, 701  
Коновалов А.И. 147  
Константин Константинович, вел. кн. 81, 145, 617, 618  
Конфуций 132, 653  
Коншин, директор Гос. банка 25  
Конюс (урожд. Рахманинова) Т.С. 568, 569  
Коперник Н. 111  
Корбьер Т. 129  
Коркина Е.Б. 120  
Коро К. 654, 661  
Коровин К.А. 543, 658, 659, 663, 664  
Королева Н.В. 437  
Коростелев О.А. 436, 437, 441, 442, 453, 464, 483, 489, 528, 671  
\*Корреджо (Allegri) А. 145  
Косинский В.А. 361, 363-365  
Коссовский А.И. 46, 131  
Костаки Г.Д. 425, 426  
Костанди К.К. 367, 379, 381, 382  
Костанди О. 694  
Костенко М. 160  
Костиков В.В. 295  
Костицын В.И. 126, 129  
Кохно Б.Е. 394, 397  
Кошкина О.В. 697  
\*Крайний А. см. Гиппиус З.Н.  
Крамарж К. 352, 353  
Крамской И.Н. 654-656, 662  
Красавицкая Т. 295  
Красин Л.Б. 357, 423  
Кребильон-младший К.П.Ж. 55, 135  
Кржевская М.А. 34, 49-51, 53, 54, 57, 58  
Кржевские, семья 57, 58, 75, 100  
Кржевский Б.А. 33-35, 49-53, 57, 58, 75, 129, 154, 575  
Крибский П. 691  
Кривошеин К. 271  
Кример Ф.Э. 423, 424  
Кромвель О. 49  
Кроммель Г.Г. 269-272, 277  
Крусман В.Э. 34, 35, 129, 130  
Крыжановская Е.А. 309  
Крыжановский Д.А. 309, 310  
Крыжановский П. 691  
Крылов Д.Д. 300, 302, 303, 330, 332, 333, 348, 356-358  
Крымзенков Ф. 62  
Крымов В.П. 562, 609, 610  
Крюков А.С. 142  
Крючков К.Ф. 9, 120  
Ксенофонт 138  
Кугель А.Р. 463, 471, 472, 473, 497  
Кудашева, кн. 408  
Кудрякова Е.Б. 357  
Кузмин М.А. 103, 138, 566, 567  
Кузнецова Г.Н. 473, 551, 552, 560, 574, 575, 577, 578, 582, 597, 600-602  
Кузнецова И.И. 437  
Кузьмин-Караваев В.Д. 355, 360, 362  
Куликова М.В. 295, 307, 333  
Кулицкий А.А. 291, 292  
Кулишер А.М. 521, 522  
Кульман (урожд. Зернова) М.М. 568, 569  
Кульман Г.Г. 568, 569  
Кульман Н.К. 626  
Куприн А.И. 384, 392, 559, 570, 571, 579, 642, 690, 701  
Куракин Д., князь 185, 187  
Курбе Ж.Д.Г. 94, 151, 654, 661  
Куренков А.А. 63, 85, 137  
Куренковы, семья 63  
Куриленко Е.Н. 546  
Курис И.И. 385, 387, 389, 396  
Курис, жена И.И.Куриса 389, 408  
Куровский В.П. 383, 387  
Куриц (Kurz) И. 349, 351  
Курчинский М.А. 697  
Кускова Е.Д. 462, 464, 584  
Кутузов М.И. 391  
Кшесинская М.Ф. 21, 124  
Кынчева Е. 185, 189, 206  
Кьеркегор С. 45, 131  
Кьявери Г. 147  
Лавров А.В. 409, 514, 641-647  
Ладинский А.П. 449, 450, 591, 694  
Лазарев П.П. 300, 301, 332, 333, 356, 357  
Лазаревский В.А. 565, 567, 581

- Лазурский В.Ф. 341, 342  
Лайдонер Й. 274  
Лампи Ж.Б. 378, 381  
Ланкре Н. 114  
Лансере Е.Е. 114  
Лапшин И.И. 314, 375  
Ларионов М.Ф. 411  
Ларошфуко Ф. де 456, 460  
Ласкарев В.Д. 334, 335  
Латышев А. 295  
Лаурел С. 170  
Лафонтен Ж. де 53  
Лафорг Ж. 129  
Ле Корбюзье Ш.Э. 431  
Ле Мирр Н. 135  
Лебедев В.М. 695  
Лебедев Д.К. 274, 280  
Левик В.В. 502  
Левинсон-Лессинг В.Ф. 113, 156  
Левитин Е. 429  
Левицкие, семья 631  
Левицкий Д.Г. 651, 656, 661  
Левицкий С. 688  
Ледницкий А.Р. 630  
Леже Ф. 412, 413, 424, 429  
Лейбль В. 654, 661  
Лейкин Н.А. 621  
Лейс Д. 458  
\*Ленин (Ульянов) В.И. 21, 25, 27-29, 55, 99-101, 111, 124-126, 136, 296, 653  
Леонардо да Винчи 150  
Леонов Л.М. 11, 694  
Леонтьев К.Н. 131  
Лермонтов М.Ю. 461, 480, 482, 556, 578, 665  
Лесины, банкиры 365  
Лесков Н.С. 598, 678  
Лещенко В., издатель 672  
Либман, домовладелец 378, 389  
Ливен Александр фон 173  
Ливен Андрей фон, священник 173  
Лигнау Н.Г. 299  
Линдеберги, семья 99  
Линниченко И.А. 389, 392  
Липгардт Ф.-Л.К. фон 81, 145  
Липгардт Э.К. фон 79, 81, 145  
Липгардты, семья 81, 145  
Лисенко И.В. 396  
Лисицкий (\*Эль Лисицкий) Л.М. 414, 429  
Лист (Lizst) Ф. фон 363  
Лифарь С.М. 389, 390, 393, 394, 396  
Лихачев И.А. 154  
Лихошерстов, сотрудник «Последних новостей» 682  
Лобанов М.К. 155  
Лозинский Г.Л. 575  
Лозинский М.Л. 101, 105, 107, 129, 138  
Ломшаков А.С. 322, 327, 328, 336, 340  
Лонгайль Ж. де 135  
Лоо М. ван 146  
Лопе де Вега 141  
Лопухин П.Е. 610  
Лосские, семья 330  
Лосский Н.О. 133, 314, 330, 631  
Лузгин М.В. 509  
Луи Филипп 52  
Лукаш И.С. 516  
Луначарский А.В. 104, 356, 357  
Лунь Г. ван 168  
Луньяк А.И. 59, 136  
Лухманова (урожд. Байкова) Н.А. 529  
\*Львов-Рогачевский (Рогачевский) В.Л. 530, 532  
Любченко Н.Ф. 583, 584, 618  
Людвик XIV 52  
Людвик XVI 135  
Людвик XVIII 410  
Лютер А. 679, 683  
Лютер М. 92  
Ляпунов Б.М. 311, 312, 341, 345  
Ляхницкий Р.С. 697  
Ляцкая В.П. 409  
Ляцкий Е.А. 407, 409, 641-647  
М.А. см. Алексеев М.П.  
Магеровский Л.Ф. 623  
Мазон А. 313  
Мазурова А.Н. 560, 561, 563, 621

- Майский М.М. 417  
Макеев, врач 545, 546  
Макиавелли Н. 418  
Маклаков В.А. 124, 508-510, 649  
Маклецов А.В. 361, 363-365  
Маковский С.К. 70, 139, 407, 409, 593, 594, 596  
Максимов Д.Е. 534  
Малевич К.С. 414  
Малевич О.М. 695  
Малинин И.М. 351  
Малиновская Е.А. 390, 394-396  
Малиновский Б.К. 61, 136  
Малиновский И.А. 390, 392  
Малиновский, врач 390, 394, 395  
Малларме С. 104, 129, 442  
Малютин С.В. 658, 663  
Мамченко В.А. 496  
Мандельштам И.Б. 155  
Мандельштам О.Э. 11, 64, 68, 74-76, 111, 121, 142, 472, 673, 675  
Мандес М.И. 311, 312  
Мане Э. 84, 94, 151, 402, 403  
Маннергейм К.Г. 186  
Мансырев С.П., кн. 697  
Манухин И.И. 460, 487, 489  
Маньковский А. 139  
Маньковский А.Ф. 358, 359  
Мариво П.К. де Ш. де 55, 135  
Мария Федоровна, имп. 70, 81, 275, 280  
Марке А. 424  
Маркс А.Ф. 217, 403, 562  
Маркс К. 32, 37, 101, 630  
Мартен дю Гар Р. 606  
Мартинов, майор 220-223  
Мартынова В.Р. 546, 583, 584, 592, 599, 606, 607  
Масальская А.С. 295, 296  
Масарик Т.Г. 305  
Маслов Г.В. 436  
Массалитинов Н.О. 173  
Матильда, принцесса Бонапарт 145  
Матисс А. 412, 421, 424, 429  
Матисс П. 419  
Матсов Р.В. 688  
мать Мария (урожд. Пиленко Е.Ю., по 1-му мужу Кузьмина-Караваева, по 2-му мужу Скобцова) 554  
Маяковский В.В. 414, 429, 692, 694  
Медичи Л. 148  
Мейерхольд В.Э. 15, 121, 131, 152, 154, 413  
Мейер-Шагал И.М. 414, 415, 419, 422, 423, 427, 428, 431  
Мейер-Шагал М. 415  
Мейер-Шагал Ф. 431  
Мейлах М.Б. 142  
Мейре А. 267-292, 692  
Мёллер ван ден Брук А. 96, 152  
Меллон Э. 143, 144  
Мельгунов С.П. 593, 594  
Мельников П.И. (\*Андрей Печерский) 574, 575  
Менделеев Д.И. 600, 601, 692  
Менелас А.А. 664  
Менцель А. фон 654, 658, 661  
Меньчуков Н.Е. (\*Н.Ирколин, \*Николай Олин, \*Н.Ир-ский) 675, 676  
Меньшиков, домовладелец 126  
Меньшиков Я.М. 596-598  
Меран В. 151  
Мережковские, семья 440, 441, 443, 462, 468, 484, 485, 489, 498, 506, 514, 597-599, 601  
Мережковский Д.С. 93, 108, 150, 403, 405, 409, 436, 437, 439-441, 444, 445, 447, 448, 452-454, 456, 458-462, 478, 482, 493-496, 498, 499, 501-506, 509, 510, 514, 518, 521, 523, 527, 528, 530, 532, 538, 556, 559, 604, 605, 614, 617, 618, 642  
Мережковский К.С. 108, 154  
Меркуров С.Д. 133  
Мец А.Г. 142  
Мешков Н.В. 29, 30, 126  
Мешкова Е.И. 126  
Мизернюк А.А. 691, 699  
Мизернюк, семья 691  
Миккер П. 697  
Милиоти Н.Д. 538  
Милле Ж.Ф. 654, 661



- Миллер Е.К. 276  
Милорадовици, семья 319, 320  
Мильман В.А. 424  
Мильман Р.М. 424, 425  
Милюков П.Н. 26, 27, 290, 291, 314, 360, 362, 439, 440, 444-449, 465, 485, 492-496, 499, 509, 521, 524, 530-532  
\*Минский (Виленкин) Н.М. 323, 324  
Миркин-Гецевич Б.С. 360, 362  
Мирошниченко, студент 351, 352  
Михаил Александрович, вел. кн. 73, 74, 141  
Михаил, университетский служащий 71, 72  
Михайлов А.А. 384  
Михайлов К.А. 367, 384, 391  
Михайлов О.Н. 540, 543, 545  
Михайлов П.А. 299, 300, 302-304, 319, 320, 325, 332, 338, 340, 355-373, 375-380, 382-386, 388-391, 396-400, 402-409  
Михайлов Ю. 194  
Михайлова Э.Ф. 359, 373, 376, 377, 408  
Михайловский А.И. 672  
Михайловский Г.Н. 650  
Михаленко, семья 188, 189  
Михальченко С.И. 642  
Михельсон А.М. 360, 362  
\*Михозлс (Вовси) С.М. 421, 422  
Мишле Ж. 381  
Младенов см. Стоянов С.М.  
Мнухин Л.А. 489, 549, 618, 687  
Моджевский А. 131  
Модильяни А. 412, 413  
Мозговой, переводчик 242-243  
Мозер Х. 167  
Мозли Ф. 623  
Моллов, декан 326, 328  
Молодцов В.А. 130, 131, 136  
Молоткова Н.Ф. 356, 357  
\*Мольер (Поклен) Ж.-Б. 121  
Мольнар Ф. 617, 618  
Моне К. 94  
Монтерлан А. де 510, 511  
Мореас Ж. 129  
Морев Г.А. 516  
Мориак Ф. 606  
Морозов А. 694  
Морозов И.А. 118  
Моруа А. 606  
Моцарт В.А. 47  
Мочульский К.В. 76, 123, 142, 312-314, 455, 459, 460, 531, 533, 570, 572, 579  
Мошин В.А. 297  
Мулюкин А.С. 299, 300, 302, 303, 315, 323-325, 327-338, 346-348, 356, 358, 364, 365  
Муравьев, премьер-министр Болгарии 223  
Муратов П.П. 88  
Мусоргский М.П. 656, 659, 664  
Муссолини Б. 128  
Мюллер Г. 679  
Мюллер Э.В. 696  
Мякотин В.А. 642  
Набоков (\*Сирин В.) В.В. 88, 614, 694, 701  
Набоков К.Д. 642  
Навроцкая К.Н. 356, 357  
Надсон С.Я. 512, 513  
Назаров М.В. 269, 276  
Назимов Г.В. 696  
Наполеон I, имп. 145, 493, 530, 532, 533  
Наполеон III, имп. 145  
Нарциссов Б.А. 673, 675, 676  
Неделин М.И. 245, 254, 255, 260, 261  
Недошивина Н.А. 584  
Некрасов В.А. 600, 601  
Некрасов Н.А. 7, 9, 10, 120, 456, 474, 552, 553  
Немец Б. 326, 327  
Немирович-Данченко В.И. 701  
Немировский Э.Я. 338, 395  
Неруда П. 430  
Нестеров М.В. 658, 660, 662  
Никаноров А.Б. 696  
Никифорова-Волгина В. 701  
Никола Э. 143

- Николаев Д.Д. 540  
Николаевский Б.И. 642  
Николай I, имп. 110, 379, 390, 398, 401, 407, 659, 664  
Николай II, имп. 11, 24, 141, 173, 345, 379, 631, 636, 648, 649, 660  
Николай Николаевич, вел. кн. 173, 174, 276, 278, 281-284, 286, 287, 289, 290, 649  
Николя, виноторговец 78  
Нилос, преподаватель гимназии 192  
Нилус (урожд. Липовская) Б.С. 550, 551  
Нилус П.А. 366, 367, 371, 379, 381, 384, 387, 551  
Ницше Ф. 103, 471, 475, 558, 646  
Новгородцев П.И. 322, 365  
Новиков М.М. 374  
Новицкие, семья 122  
Новицкий В.И. 122, 123  
Новицкий И.И. 122  
Новосильцева В.С. 161, 162, 164  
Нольде (урожд. Андреева) И.П. 615, 616  
Носов Н.Н. 217  
Нотбек К.И. фон 275, 276, 279  
Ньютон И. 692  
о. Сергей (Булгаков) 522  
О'Бренн Ж. 168  
Обнорский С.П. 30, 127  
Оболенский В.А., кн. 371, 372  
Одарченко Ю.П. 595, 597  
\*Одоевцева И.В. (Гейнике И.Г.) 417, 436, 449, 454, 486, 489, 495, 496, 517, 519, 528, 538, 576  
Оксинская-Лаврова Т.А. 539, 546  
Оксман Ю.Г. 341, 342, 358  
Олег, кн. 657  
Оливер Х. 170  
Олсуфьев Д.А., гр. 490, 491  
Ольденбург С.С. 630  
Ольденбург С.Ф. 333  
Орджоникидзе Г.К. 118, 159  
Ордовский-Танаевский Н.А. 272  
Орелли (Orelli), переводчик 378, 381  
Орлов Г.Г., гр. 145  
Орлов Ю.А. 128, 136  
Орфелин З. 406  
\*Осоргин (Ильин) М.А. 444, 468, 481, 484, 490, 492-494, 530-532, 598  
Островский А.Н. 617, 618  
Острогорский С.А. 343, 345  
Остромир 392  
Оттокар А.Э. 14, 15, 28  
Оттокар Н.П. 11, 12, 14, 15, 17, 28-30, 32-36, 38, 46, 58, 126-128  
Оттокар П., отец Н.П.Оттокара 13  
Оттокар Ц.Я. 13, 14  
Оттон I 149  
Оттон III 149  
Оуэн У.Э.С. 10, 120  
Оцуп Н.А. 496, 503, 504, 525, 528, 694  
П.Я. (Якубович П.Ф.) 513  
Павел I, имп. 81, 395, 397  
Павленко В.В. 299  
Павлов И.И. 300  
Павлов Т. 225  
Павлова М.П. 489  
Павловский М.Н. 551, 552, 603, 604  
Павчинский Р. 175-177, 180  
Пайман А. 688  
Пален, гр. 270  
Пальмин О.И. 546  
Панас И.О. 297  
Панин Г.Г. 671, 673, 676  
Панина С.Ф., гр. 371, 372  
Панк Е. 154  
Панкратьев П. 509  
Пантелеймонов Б.Г. 542, 548-554, 556, 558-563, 567, 570-573, 575, 576, 580-582, 585-598, 600-602, 604, 605, 607-612  
Пантелеймонова (урожд. Кристин) Т.И. 546, 552, 553, 589, 591, 607-609  
Пантелеймоновы, семья 560, 571, 583, 589  
Парманин, директор гимназии 170, 176-178, 182, 191  
\*Пармиджанино (Mazzola) Ф. 145  
Пархомовский М.А. 597  
Пастернак Б.Л. 111, 414, 430, 518, 623, 624, 673, 694

- Патуайе Ж. 313  
Паустовский К.Г. 404, 431  
Пахмусс Т. 436, 437, 440, 452, 453, 459, 460, 463, 466-469, 472, 473, 475, 476, 478, 479, 482-485, 487-490, 494, 495, 502, 504-507, 509, 511-514, 518, 519, 525, 528, 530-532, 534  
Пашенный Н.Л. 398-400  
Пашуто В.Т. 297, 299  
Пегги Ш. 10, 120  
Педзельницкий, доктор 318  
Пейтер У. 150  
Пелихов, одноклассник И.Тинина 180  
Пенгу Е.Г. 141  
Пенев Т. 262  
Пеппельман М.Д. 147  
Перов В.Г. 655-657  
Перцов П.П. 482, 534  
\*Песков Г. (Дейша Е.А.) 486, 489  
Петен Ф. 576, 578, 594  
Петр I, имп. 382, 385, 386, 388, 405, 406, 657, 658, 665, 668  
Петр, король Югославии 244  
Петрарка Ф. 129  
Петров Д.К. 157  
Петров, полковник 245, 253  
Петров-Водкин К.С. 659, 664  
Петровский А.С. 645  
Петровский Ф.А. 338  
Пий XI, папа 177  
Пикассо П. 412, 413, 415, 416, 421, 422, 424, 428-430  
Пиленко П.П. 360, 362  
\*Пильняк (Boгау) Б.А. 111, 442, 451, 694  
Пильский П.М. 279, 281, 282, 519, 692  
Пинес Д.М. 645  
Пиньковская К. 697  
Пиранези Дж. Б. 52, 53, 135  
Пирсон Х. 294  
Писарев Д.И. 469, 472  
Пискорский, владелец аптеки 378  
Платон 32, 446, 449, 517, 523, 526  
Платонов С.Ф. 19, 116, 123  
Плетнев Р.В. 681  
По Э.А. 619  
Побединский, одноклассник И.Тинина 180  
Погодин А.Л. 297  
Погодин М.П. 382, 386  
Погорелов В.А. 306, 308  
Подымов, торговец антиквариатом 405  
Познер В.С. 510, 511, 573  
Покровский В.А. 664  
Покровский В.В. 158  
Покровский К.Д. 127  
Покровский М.Н. 115, 116, 156, 333, 357  
Покровский, одноклассник И.Тинина 182  
Поленова Е.Д. 658, 663  
Поливка Й. 642, 643-645  
Полищук Е.С. 437, 491  
Полканов А.А. 128  
Полнер Т.И. 511  
Полонская Е.Г. 412  
Полонские, семья 604  
Полонский Я.Б. 406, 604  
Полторацкий Н.П. 492  
Поль В.И. 407, 409  
Поляк Г. 123  
Поляков С.П. 285  
Поляков Ф.Б. 409, 641-647, 677-683  
Пономарева Г.М. 692  
Понсет, знакомый П.А.Михайлова 371  
Поплавский Б.Ю. 503, 504, 517, 519, 524, 525, 694  
Попов В.В. 468  
Попова Л.С. 414  
Попович З. 179, 191  
Поповский, владелец аптеки 389  
Попруженко А.М. 307  
Попруженко М.Г. 302, 305-308, 315-317, 322, 340, 358  
Попруженко О. 307  
Попудовский, домовладелец 389  
Португейс С.И. 451-453, 461, 465, 469, 493, 494, 521, 522  
Порше Ж. 406

- Постник, зодчий 661  
Постников С.П. 642  
Потемкин В.П. 358, 359  
Потемкин-Таврический Г.А., кн. 381  
Потоцкая-Михозлс А.П. 421, 422  
Прагер В. 220, 221  
Превьер Ж. 423  
Прегель С.Ю. 573, 585, 586, 591, 593, 595, 596  
Пресников, музыкант 698  
Придик Е.М. 138  
Принцип Г. 9  
Присманова А.С. 548, 549  
Пристли Дж. 417  
\*Приэль Ж. (Priel J.; наст. фам. Трельмель Ш.) 613, 614  
Прокаччини Дж.-Ч. 79, 145  
Прокопович С.Н. 305, 651  
Протопопов В.Я. 378, 390  
Проценко, одноклассник И.Тинина 180  
Пруст М. 104, 115, 153  
Птуха М.В. 128  
Пуанкаре Р. 508, 509  
Пугачев Е.И. 486, 488  
Пузино И.В. 122  
Пуссен Н. 77, 78, 143  
Пушкарев С.Г. 373, 374, 376  
Пушкарева Н.К. 445  
Пушкин А.С. 50, 52, 97, 110, 111, 121, 134, 135, 138, 155, 295, 388, 390-397, 461, 465, 471, 479, 481, 485-487, 501-504, 507, 520, 521, 565, 568, 569, 581, 585, 591, 597, 618, 678, 683  
Пушкин Л.С. 392  
Пушкин С.Л. 683  
Пушкина (урожд. Гончарова) Н.Н. 485  
Пшорр, владелец ресторана 87, 89  
Пыпин А.Н. 645  
Пэрс (Pares) Б. 309  
Пясецкий П.Л. 300, 303, 332, 334, 356  
\*Пяст (Пестовский) В.А. 74, 75, 103, 129, 141, 142  
Пятс К. 282  
Рабинович С. 437  
Рабинович Ю. 319, 320  
Равдин Б.Н. 282, 696  
Равницкий С.Г. 586  
Раев М.И. 314, 687  
Раевская-Хьюз О.П. 621, 642  
Раевский В.Н. 407, 409  
\*Раевский Г. (Оцуп Г.А.) 517, 518  
Раевский Н.А. 399, 400  
Раевский Н.Н. 390, 392-394  
Разумов В.П. 133  
Райнич Ю. см. Рабинович Ю.  
Рапапорт Н.К. 552, 553  
Расин Ж. 475  
Раскольников Ф.Ф. 172  
Распопов, книготорговец 378, 389  
\*Распутин (Новых Г.Е.) 11, 18, 19, 111, 174, 397  
Растопчин Ф.В., гр. 395-397  
Растопчин, гр., потомок Ф.В.Растопчина 396  
Растопчина (урожд. Сушкова) Е.П. 388, 392, 395  
Растрелли В.В. 72  
Ратгауз Д.М. 692  
Ратке М.Г. 697  
Ратьков-Рожнов В.М. 9  
Радсепп И. 692  
Рафазль Санти 77, 93, 94, 143, 151, 654  
Рацевич И. 269  
Рацевич Р. 693  
Редлих Р.Н. 688  
Резанов А.И. 139  
Резников Д.Г. 441, 442  
Рембо А. 129  
Рембрандт ван Рейн Х. 77, 78, 84, 91-94, 97, 115, 143, 144, 146, 150, 654, 656  
Ремизов А.М. 23, 88, 384, 445, 456, 459, 468, 585, 598, 611, 612, 621, 625, 626, 694  
Ренненкамф В.Н. 335, 337, 358, 359  
Ренуар П.-О. 84, 94  
Ренье А. де 438  
Ренье М. 129  
Репин И.Е. 412, 654-656, 700

- Рерих Н.К. 658, 659, 663, 664  
 Решин Л. 417  
 Резк Н. 292  
 \*Ржевский (Суражевский) Л.Д. 563  
 Ривера Д. 412  
 Римский-Корсаков Н.А. 659, 664  
 Ринальди А. 81  
 Рихтер А.А. 128, 129, 136  
 Рицци Д. 682  
 Ришелье А.Э. дю П., герцог 294, 408, 409  
 Робеспьер М. 49  
 Ровинский Д.А. 143  
 Рогачевский А.Б. 687-702  
 Рогнедов А. 538, 543, 570, 571, 573, 575, 576, 578, 580, 582, 583, 586-588, 604-606, 613-615  
 Роговский Е.Ф. 554, 555, 557, 580, 591, 592  
 Рогожников В.А. 268  
 Роден О. 74  
 Родзянко М.В. 140  
 Родченко А.М. 149  
 Розанов В.В. 438, 439, 444-446, 456, 462, 464, 474, 481, 483, 484, 487, 488, 502, 503, 520, 528  
 Рокк М. 254  
 Рокотов Ф.С. 651  
 Романовы, династия 15, 202  
 Романовы, семья 48  
 Роммель Э. 251  
 \*Ропет И.П. (Петров И.Н.) 657, 662  
 Росси К.И. 72  
 Ростан Э. 617, 618  
 Ростовцев М.И. 19, 123, 156, 308, 309, 634, 637  
 Ростовцева С.М. 634, 637  
 \*Роцин Н. (Федоров Н.Я.) 575  
 \*Роцина-Инсарова (Пашенная) Е.Н. 584, 592  
 Рубенс П.П. 77, 94, 143, 151, 654  
 Рубинштейн Н.И. 359  
 Рубинштейн С.Л. 341, 342  
 Рубинштейн Я.Л. 603, 604  
 Рузвельт Ф.Д. 632, 635-637  
 Руманова Л.Е. 591, 592  
 Рыбинский Н.З. 674, 676  
 Рыкаткин В.И. 269, 271  
 Рымдзенко, чиновник Северо-Западной армии 277, 278  
 Рюман Г. 167  
 Рязанов А.А. 176-180  
 Рязановский Н.В. 382, 386  
 Сабурова (урожд. Кутитонская, в 1-м браке Перфильева, во 2-м бар. фон Розенберг) И.Е. 674  
 \*Савин (Саволайнен) И.И. 478, 479  
 Савина Г.А. 123, 139, 142, 293-410  
 Савинков Б.В. 270, 649, 672  
 Савинков Л.Б. 415  
 Савицкий П.Н. 376  
 Савич О.Г. 431  
 Савонарола Дж. 176  
 Саводник, автор учебника 181, 182  
 Сазонов Н. 563  
 Сазонов С.Д. 649  
 Салимбене 17  
 Сальвемини Г. 32, 128  
 Сальмон А. 412  
 Самарин А.П. 299-301, 332, 333, 356  
 Самсонов А.В. 16, 122, 174  
 Самулевич П.О. 359  
 \*Сандрар Б. (Заузер Ф.) 412  
 Санин А.А. 295  
 Сапов В.В. 295  
 Сарьян М.С. 424, 431  
 Саския ван Эйленбурх 150  
 Саханев, доцент 400, 401  
 Свечины, семья 631  
 Святополк-Мирский Д.П. (\*Д.С.Мирский) 202, 451, 453, 477-479  
 Святослав I, кн. 202  
 Севастьянов, полковник 277  
 \*Северянин И. (Лотарев И.В.) 403, 405, 469, 507, 692  
 Севинье М. де 54, 135  
 Сегантини 655  
 \*Седых А. (Цвибак Я.М.) 543, 544, 552, 566, 596-598, 604, 605, 618, 619  
 \*Сологуб (Тетерников) Ф.К. 12, 80, 81, 107-109, 121, 154, 481, 484, 512, 566, 567

- Сезанн П. 654, 661  
Сеземан В.Э. 363  
Секачев Г.А. 299, 300, 302, 311, 312, 316-328, 355, 356, 358  
Секачев Г.Г. 328  
Секачева С. 321, 322, 324, 325, 327  
Секачевы, семья 327  
Селезнева И.Н. 295, 296, 333  
Сельвинский И.Л. 694  
Семашко Н.А. 118, 159, 333  
Семенов Б. 292, 695  
Семенов Г.М. 133  
Семирадский Г.И. (H.Siemiradzki) 594  
Сенокосов Ю.П. 297  
Сенькевич-Корчак, знакомая К.В.Флоровской 384  
Серафим, архиеп. (Соболев) 172, 173  
Серафим, архиеп. (Лукиянов) 490, 491  
Сервантес де Сааведра М. 141, 574, 575, 625  
Сергий, митр. (Страгородский И.Н.) 489-491  
Серебрякова З.Е. 114, 156  
Середа С.П. 357  
Серов В.А. 653-655, 658, 692  
Серов С.М. 626  
Сибуль А. 698  
Сиверс фон, барон 184-187  
Симеон, царь Болгарии 228  
Симонов К.М. 419, 541, 543  
Синицыны, домовладельцы 389, 390  
Синьорелли Л. 87, 148  
Скальковский А. 392  
Скопас 140  
Скоропадский П.П. 363  
Слабченко М.Е. 359  
Сладек З. 305  
Слезкин Ю.Л. 459  
Слоним М.Л. 462, 464, 465, 467, 481  
Смирдин А.В. 385, 388  
Смирнов А.А. 575  
Сно Э.И. 83, 84  
Соболев М.И. 693  
Соболь С.Л. 299, 301, 332-334, 357  
Советкин-Наседкин, сов. чиновник 35-37  
Соколов В.С. 690  
Соколов Н.К. 319, 320, 356  
Соколов П. 184, 185, 189-191, 216  
Соколова К.И. 216  
Соколова Л.В. 319, 320  
Сократ 46, 517  
Солженицын А.И. 17, 25, 123, 161  
Соловьев А.В. 642  
Соловьев В.С. 131, 443, 471, 474, 475, 477, 479, 507, 646  
Соловьев С.М. 630  
Соломаха Е.Ю. 145  
Сомов А.И. 113, 156  
Сомов К.А. 113, 156, 654, 656, 658, 661  
Сони де, гр. (урожд. Столыпина) 395, 397  
Сони Ф. де, гр. 397  
Соотс Я. 273  
Сорокина М.Ю. 304, 629-637  
Соропадская К. 165  
Спасский П.В. 546  
Спешилова Е. 126  
Ставров П.С. 598, 620  
Ставрова М.И. 583, 584, 607  
Ставровы, семья 620  
\*Сталин (Джугашвили) И.В. 8, 10, 77, 78, 101, 115, 143, 185, 188, 189, 256, 295, 296, 349, 417-419, 422, 526, 657, 659  
Стамболийский А. 328  
Станчев, министр 201  
Станчевы, семья 201  
Станюкович Н.В. 594  
Старов И.Е. 661  
Стасов В.В. 657  
Стеклов В.А. 333, 356, 357  
Стеллецкий Д.С. 658, 659, 663  
\*Стендаль (Бейль А.М.) 55, 475  
Степанова В.Ф. 149  
Степун М.А. 574, 575, 577, 578, 582, 597, 598, 600-602  
Степун Ф.А. 314, 444, 445, 524, 525, 577, 578, 677-683  
Стерлинг Э. 309  
Стернин Г.Ю. 669

- Стефан, митр. 342  
 Стефано делла Белла 135  
 Стойчев, генерал 244, 245, 252, 253  
 Столыпина М.П. 388, 392  
 Столярова Е.И. 415  
 Столярова Н.И. 415, 431  
 Стоянов К. 237  
 Стоянов С.М. 323, 324, 344, 345  
 Стоянов, поручик 257  
 Стравинский И.Ф. 397, 663, 664  
 Строганов А.Г., гр. 52, 134, 135  
 Строганов А.Н. 52  
 Строганов Г.А., гр. 398, 400  
 Строганов П.А. 52  
 Строгановы, династия 52, 135  
 Струве Г.П. 142, 452, 472, 492, 528, 675  
 Струве М.А. 471, 473, 478, 508-510  
 Струве Н.А. 314  
 Струве П.Б. 269, 451, 452, 490, 492, 649, 650  
 Суворин Б.А. 698  
 Сукач В.Г. 437  
 Сураварди Ш. 22, 23, 124  
 Сургучев И.Д. 617, 618  
 Суриков В.И. 654, 658  
 Сулова А.П. 438, 439, 483  
 Сутин Х. 411, 413  
 Сухово-Кобылин А.В. 602  
 Суцкевер А. 423  
 Сытин И.Д. 403, 675, 676  
 Тагер Е.М. 436  
 Таиров А.Я. 107, 154, 413  
 \*Талин В.И. см. Португейс С.И.  
 Тальма Г.А. 291, 292  
 \*Таманин Т. (Манухина Т.И.) 460  
 Танер В.А. 186  
 Тарасевич Л.А. 301  
 Тарасов Г. 273  
 Тасецкий, связной с посольством Германии 269  
 Татлин В.Е. 414  
 Таубе М.А. 398, 400  
 \*Тверской Е. (Благов В.Ф.) 673, 675, 676  
 Теккерей У.М. 105, 154  
 Терапиано Ю.К. 440, 456, 468, 470, 472, 486, 493, 494, 507, 525  
 Термен Л.С. 182  
 Термен, брат Л.С.Термена 182-184  
 Тизенгаузен Е.Ф. 397  
 Тик Л. 151  
 Тикстон П.А. 536  
 Тинин Г.И. 160, 170, 177, 178, 180, 197, 198, 217, 246  
 Тинин И.Г. 160-263  
 Тинин И.И. 204  
 Тинина А.А. 160, 189, 201, 206, 216, 217, 239, 246, 263  
 Тинина З.П. 161, 200  
 Тинины, семья 186, 197, 200, 216  
 Тирсо де Молина 34, 75, 129  
 Тито И.Б. 241, 244  
 Тихон, патриарх (Белавин В.И.) 491  
 Тихонов А.Н. 110, 139, 153, 155  
 Тихонравов Н.С. 645  
 Тициан 77, 94, 143, 150  
 Толбухин Ф.И. 224, 242, 244, 248, 252, 254  
 Толстая А.Л. 372  
 Толстая Е. 445  
 Толстая-Голенищева-Кутузова 388, 395  
 Толстой А.К. 125, 680  
 Толстой А.Н. 559, 561, 563, 581, 582, 604, 605  
 Толстой И.Н. 545, 547, 575, 619  
 Толстой Л.Н. 383, 403, 409, 478, 481, 482, 486, 501, 502, 507-511, 565, 570, 572, 607, 609, 610, 660, 694, 700  
 Тома А. 362  
 Томасов А.Н. 696  
 Торквемада Т. 174  
 Трепов Д.Ф. 402  
 Трифильев Е.П. 299, 300, 315, 332, 334, 341, 356  
 Трифильева В.П. 334  
 Трифильевы, семья 334  
 Тройницкий С.Н. 113, 156  
 \*Троцкий (Бронштейн) Л.Д. 25, 28, 46, 77, 185, 186

- \*Труайя (Троуат; наст. фам. Тарасов Л.) А. 576, 577  
Трубачев О.Н. 121  
\*Трубецкой (Нольден) Ю.П. 568, 569  
Трубилова Е.М. 540, 542  
Тувим Ю. 417  
Туган-Барановский М.И. 19, 123  
Тураев Б.А. 62, 137, 157  
Тургенев И.С. 579, 657, 678  
Тургенева А.А. 630, 644, 645  
Тургенева Т.А. 630  
Турицев А.А. 547  
Тухачевский М.И. 125  
Тхоржевский И.И. 564, 567, 569, 571, 573, 576, 580, 581, 585, 589, 621  
Тынянов Ю.Н. 103, 111, 139, 152  
Тыркова-Вильямс А.В. 597  
Тышлер А.Г. 424, 429  
Тьеполо Дж. Б. 77  
\*Тэффи (урожд. Лохвицкая, в браке Бучинская Н.А.) 536-626  
Тюева Л. 176, 180, 181  
Тютчев Ф.И. 7, 8, 120, 477, 500, 501  
Тютчева Э.Ф. 501  
Удальцова Н.А. 424  
Узунов Д. 200  
Унбегаун Б. 406  
Урицкий М.С. 125, 516  
Успенский Ф.И. 137  
Устрялов Н.В. 132  
Утехин В.С. 692, 698  
Фаворский В.А. 429, 630  
Фадеев А.А. 694  
Фальк Р.Р. 424, 430  
Фарнгаген фон Энзе К.А. 151  
Фарнгаген Р. 96, 151  
Фаррер К. 606  
Фасмер М.Р. 12, 121, 688  
Федин К.А. 694  
Федор Кузьмич, старец 399-401  
Федоров В.Г. 681, 695  
Федоровский Ф.Ф. 659, 664  
Федорченко С.З. 111, 155  
Федотов Г.П. 73, 141, 154, 522, 524, 525  
Федотов Д.М. 128  
Федотов П.А. 656  
Федченко Б. 184, 185, 189  
Федякин С.Р. 483  
\*Фельзен Ю. (Фрейдентштейн Н.Б.) 481, 484, 485, 487, 493, 495, 504, 508, 515-518, 520, 521, 531, 694  
Фельтен Ю.М. 155  
Ферсман А.Е. 357  
Фефер И.С. 421  
Фигнер В.Н. 549  
Фигурнова О.С. 689, 690, 694  
Фикельмон (урожд. Тизенгаузен) Д.Ф. 134, 388, 391, 393, 395, 397-400  
Фикельмон Ш.Л.К.Л. 388, 391, 396, 398, 400  
Филарет, митр. (Дроздов В.М.) 378, 380  
\*Филиппов Б. (Филистинский Б.А.) 142, 672-676  
Филиппченко Ю.А. 293, 294  
Философов Д.В. 465, 467, 495-498, 524, 525, 527  
Фихте И.Г. 151, 152  
Флейшман Л.С. 282, 574, 642, 696  
Флексер см. \*Волынский А.Л.  
Флехтхейм А. 104  
Флипар Ж.Ж. 135  
Флобер Г. 463  
Флоренский П.А. 502  
Флоровская (урожд. Белоусова) В.А. 298, 306-308, 315-318, 321, 324-327, 353, 356, 361, 362, 365, 366, 369, 377, 383, 384, 391, 398, 402, 403, 405-407  
Флоровская К.В. 179, 302, 309, 310, 313, 314, 316, 317, 322, 326, 327, 337, 347, 404, 406  
Флоровская К.Г. 302, 322, 326, 402  
Флоровские, семья 297, 299, 302, 303, 326, 327  
Флоровский А.В. 297-313, 315-341, 342-400, 402-409, 642  
Флоровский В.А. 302, 322, 326  
Флоровский В.В. 405, 406  
Флоровский Г.В. 297, 302, 309, 310, 321, 322, 326, 327, 351, 362, 386, 388, 406, 522



- Фогель А. 151  
 Фондаминский (Фундаминский,  
 \*Бунаков) И.И. 454, 455, 537, 559  
 Форель О. 177, 194  
 Фосс, полковник 188  
 Фоурмен Е. 77, 143  
 Фохт В.Б. 456, 468, 470, 472, 479,  
 486, 488  
 Франк С.Л. 314, 363  
 Франк, полковник 283  
 Франко Баамонде Ф. 577, 578  
 Франс А. 480, 482, 499  
 Франц Фердинанд, эрцгерцог 8, 9  
 Францев В.А. 297, 341, 343  
 Франциск Ассизский 92, 107, 612, 653  
 Фрезинский Б.Я. 411-431, 468  
 Фрейд З. 150  
 Фридман А.А. 36, 128, 130, 134  
 Фридрих Вильгельм, курфюрст 148  
 Фридрих, имп. 86  
 Фролов, высланный из Одессы 299,  
 341  
 Фруэн (Frouin), квартирная хозяйка  
 452, 453, 570, 572, 578  
 Хабершток, торговец картинами 143  
 Хайдеггер М. 105  
 Хайям О. 566  
 Хаксли О. 108, 154  
 Халатов А.Б. 333  
 Халс (Гальс) Ф. 656, 661  
 Халтурин С.Н. 80  
 Ханов К.П. 184, 185, 187, 188  
 Ханов П.С. 187  
 Хановы, семья 187  
 Харджиев Н.И. 429  
 Харрисон У. 688, 689, 691, 692  
 Хассельбладт Р. 269  
 Хвольнский П. 271  
 Хвольсон, писатель 217  
 Хейбер Э. 536-626  
 Хемингуэй Э. 417  
 Хильдегарда Бингенская 18, 123  
 Хин-Гольдовская Р.М. 120  
 Хисамутдинов А.А. 132, 133  
 Хитрово (урожд. Голенищева-Куту-  
 зова) Е.М. 388, 391, 397, 398  
 Хлебников В.В. 111  
 Ходасевич В.Ф. 8, 51, 68, 70, 74, 76,  
 87, 88, 109, 111, 120, 138, 139, 141,  
 142, 149, 154, 436, 437, 440, 442,  
 446-448, 450-452, 454, 456, 457, 463,  
 465, 468, 473, 478, 479, 481, 483, 488,  
 490-496, 498, 500, 503-505, 515-517,  
 519, 520, 531, 642  
 Ходасевичи, семья 455, 456, 459, 473,  
 480, 494, 495  
 Ходлер Ф. 655, 661  
 Холодковский Н.А. 147  
 Хоружий С.С. 295  
 Храневич К.И. 299, 300, 303, 332,  
 333, 356, 361  
 Храпченко М.Б. 421  
 Хрущев Н.С. 429, 431  
 Хуфен Х. 677  
 Хьюз Р. 642  
 Цадкин О. 411, 412  
 Цанков, профессор 197  
 Цветаева М.И. 108, 111, 154, 444,  
 455-457, 462, 464, 468, 476, 506  
 Цветков Н.П. 376  
 Цвибак Я.М. см. \*Седых А.  
 Цеппелин Ф., гр. 12  
 Цетлин М.О. 488, 499, 540  
 Цетлина (по 1-му мужу Кривицкая,  
 по 2-му мужу Доминик) М.С. 540-  
 542, 556, 561, 571, 572, 592, 595, 597,  
 599, 604, 605, 618  
 Цетлины, семья 539  
 Цинговатов А.Я. 445  
 Цицерон 32, 179, 379, 381  
 Цонев Б.С. 344, 345  
 Цуриковы, семья 631  
 Цыбулевский М. 166, 172, 174-179,  
 181-183  
 Цявловская Т.Г. 394-396  
 Чайковский Н.В. 649  
 Чайковский П.И. 385, 659, 664  
 Чакст Я. 693  
 Чаплин Ч.С. 167  
 Чеботаревская А.Н. 107, 154  
 Чермак, мэтр Чикаго 636, 637  
 Черниговский А. 288

- Черниловская-Сокол А.В. 288  
Чернов В.М. 28, 126  
Чернозерский В.И. 279  
Чернявский А.В. 273, 281-283, 288-292  
Чернявский В.С. 451, 453  
Черчилль У. 96  
Честертон Г.К. 107  
Чехов А.П. 182, 384, 445, 464, 465, 467, 531, 561, 562, 631, 694, 700  
Чижевский Д.И. 380, 394, 396  
\*Чуковский К.И. (Корнейчуков Н.В.) 66, 105, 110-112, 138, 139, 153  
Шавельский Г.В. 173-179  
Шагал М. 411-431  
Шагалы, семья 415  
Шайкевич А.Г. 567  
Шайтанов И. 452  
Шаляпин Ф.И. 170, 171, 700  
Шарден Ж.Б.С. 148  
Шаршун С.И. 523  
Шарыгин (Буш) В. 692  
Шастель А. 148  
Шах Е.В. 471  
Шахматов А.А. 62, 127, 137, 157  
Шаховская А.Д. 630  
Шаховская З.А. 571  
Шаховская Н.Д. 630  
Шевеленко И.Д. 574  
Шевырев С.П. 382, 387  
Шейх-Али Г.А. 13-15  
Шейх-Али М. 13  
Шекспир У. 654  
Шеллинг Ф.В. 471  
Шель, банкир 269, 277  
Шерон Ж. 671-676  
Шершеневич В.Г. 154  
\*Шестов Л. (Шварцман Л.И.) 531, 533  
Шефтель М. 688  
Шик М. 630  
Шилейко В.К. 71, 121  
Шиллер Ф. 96, 151  
Шиллинг С.М. 693  
Шилов А.В. 127  
Шиловская С.Н. 552, 553, 557  
Шингарев А.И. 28, 126  
Шинкель К.Ф. 86, 148  
Шишкин А. 682  
Шишкин В.А. 268  
Шкапская М.М. 414  
Шкловский В.Б. 66, 88, 111, 137, 149, 423, 438  
Шлегель А. 151  
Шлегель Ф. 151  
Шлейермахер Ф. 151, 152  
Шлецер Б.Ф. 466, 469, 528  
Шлютерин А. 86, 148  
Шмаринов Д.А. 429  
Шмелев И.С. 498, 506, 542, 558, 609, 610, 642  
Шмурло Е.Ф. 642  
Шолохов М.А. 694  
Шомракова И.А. 153  
Шоу Дж. Б. 112, 155  
Шпаков А.Я. 338  
Шпенглер О. 97, 152  
Шпет Г.Г. 112, 155  
Штакеншнейдер А.И. 664  
Штейгер А.С. 487, 489  
Штейн В.М. 293  
Штейн С.В. 697  
Штейн Э.А. 671  
Штеренберг Д.П. 424, 429  
Штерн С.Ф. 361, 363, 364, 408  
Шубович С.Г. 674, 676  
Шуман Р. 46, 404  
Шуманская А. 697  
Шустов С.Г. 128  
Шутякова П.О. 697  
Щастный, доктор 300  
Щедрин С.Ф. 656, 662  
Щепкина-Куперник Т.Л. 617, 618  
Щипачева И.В. 422, 427  
Щукин С.И. 118  
Эйбунд К. 280  
Эйзен Ш. 135  
Эйнштейн А. 47, 130  
Эйснер А.В. 695  
Эйхенбаум Б.М. 66, 103, 111, 137, 139, 142, 152, 153  
Экстер А.А. 413  
Элюар П. 423

- Энгр Ж.О.Д. 94  
 Эпикур 459  
 Эразм Роттердамский 614  
 Эренбург И.Г. 411-431, 465, 468, 642  
 Эренбург И.И. (\*И.Эрбург) 414-416  
 Эрнст С.Р. 113  
 Эткинд Е.Г. 604  
 Эткинд М. 667  
 Эттингер П.Д. 419  
 Эфрон С.Я. 455, 457  
 Эфрос А.М. 110, 111, 118, 153, 159  
 Юденич Н.Н. 268, 271, 276, 280  
 Юзефович М.В. 390, 392, 394, 396  
 Юинс Т. 399  
 Юнгер Э. 577, 578  
 Юстиниан 46  
 Юсупов Ф.Ф., кн. 395, 396  
 Юшкевич С.С. 571, 617, 618, 692  
 Яблоновский А.А. 287  
 Яблоновский С.В. 542, 565-567, 569, 579, 584  
 Якобсон Р.О. 349  
 Яковенко Б.Я. 681, 682  
 Яковлев А. 440  
 Яковлев А.В. 398-400  
 Яковлев Н.А. 285  
 Яковлева О. 687  
 Яковлева Т.А. 452  
 Яковлевы, семья 591  
 Якубинский Л.П. 66  
 Якубович П.Ф. см. П.Я.  
 Якулов Г.Б. 154  
 Якунчикова-Вебер М.В. 658, 663  
 Янишевский А.Э. 334, 358, 359  
 Янов, генерал-майор 289  
 \*Ян-Рубан (Петрункевич) А.М. 407, 409  
 Янсон А. 273  
 Ясинский В.И. 363  
 Яшвиль Н.Г., гр. 371, 372  
 Ященко А.С. 642
- Banin см. Банин  
 Basily N. 651  
 Belyi A. 642  
 Benjamin M. 300  
 Beyer T.R. 642  
 Bird R. 678  
 Bogoslavskaya N.M. 547  
 Bounine I.A. 606  
 Brancovan C. 688  
 Bunin I.A. 406, 624  
 Bunina V.N. 406, 524  
 Chklaver G. 370  
 Davies R.D. 402, 624  
 Diderot D. 135  
 Dostoievski 155, 455, 458  
 Eckstein Fr. 458  
 Elsworth J. 687  
 Ficquelmont de, comtesse см. Фикель-мон Д.Ф.  
 Forbes 362  
 Freedberg D. 150  
 Freiburger S.E. 437  
 Frouin см. Фруэн  
 Fulop Miller R. 458  
 Gippius Z. 437, 445  
 Glan, офицер 356  
 Goffen R. 150  
 Gronicka A., von 679  
 Guenther J., von 679  
 Guerra R. 549  
 Hagglund R. 483  
 Hamilton R.L. 688  
 Hans N. см. Ганс Н.А.  
 Harrison W. 687  
 Heiseler H., von 678, 683  
 Hentzen A. 426  
 Heywood A.J. 406, 624  
 Hitler см. \*Гитлер А.  
 Hoerschelmann R., von 679  
 Hollingsworth B. 689  
 Hoover W.H. 300  
 Hope C. 150  
 Hufen C. 677, 681  
 Ingersoll J. 547  
 Iswolsky A. 370  
 Iswolsky H. 370
- Alexandrov E. 547  
 Andreyev N. 688, 689

- Ivanov V.I. 678, 681  
Jakovenko B. 681, 682  
Kasinec E. 547  
Knauss, капитан 356  
La Fontaine J. de 135  
Legros H. 458  
Lermontov M. 631  
Liackij E.A. 641  
Lopatina E.M. 406, 624  
Luther A. 683  
Malmstad J. 547  
Manet см. Манэ Э.  
Mathey F. 426  
Maywald W. 428  
Meiss M. 150  
Merezhkovsky D. 437  
Ottokar N. 128  
Pachmuss T. 437, 695  
Pogodin M. см. Погодин М.П.  
Poliakov F.B. 678, 679, 683  
Ponfilly R. de 557  
Puškin A.S. 678, 683  
Puzsak L. 696  
Pyman A. 687  
Rabinovitz S.J. 445  
Remizov A. 626  
Riniker D. 406, 624  
Rizzi D. 682  
Rogachevskii A. 687  
Rogosin S. 547  
Rosand D. 150  
Rose N. 631  
Saunis de, duc см. Сони де, гр.  
Shevyrev см. Шевырев С.П.  
Sigur, семья 396  
Sinany H. 626  
Sipl C. 678, 679, 683  
Stepun F. 677, 678, 681  
Stillman M. 631  
Stillman R. 631  
Szeftel M. 688  
Szydłowski A. 536  
Tiesenhausen, comtesse см. Тизенгау-  
зен Е.Ф.  
Timenchic R.D. 547  
Tolstoi I.N. см. Толстой И.Н.  
Vasnetsov M.V. см. Васнецов М.В.  
Vasnetsov V.M. см. Васнецов В.М.  
Vinařová M. 641  
Volynsky A. 445  
Voronoŭ de, comte см. Раstop-  
чин Ф.В.  
Wachtel M. (Hg.) 681  
Walsh, сенатор 636  
Weidlé W. 151  
Weidmann M.W. 679  
Woźniak A. 696  
Zaitsev B. 549  
Zeluck O. 617  
Zurov L.F. 406, 624

## АННОТАЦИИ

### *Наследие*

*В. Вейдле.* Воспоминания. Публикация и комментарии И. Доронченкова

Продолжение начатой во втором томе «Диаспоры» публикации книги воспоминаний В. В. Вейдле. Повествование охватывает период с 1914 по 1924 годы, в которые вместились события Первой мировой войны, обе революции, работа в Пермском университете, кратковременная служба в Белой армии, эвакуация вместе с университетом в Томск, возвращение в Пермь и в 1920 – в Петроград (работа в Университете, Институте истории искусств), – вплоть до отъезда в эмиграцию в июне 1924. В комментарии – обильный дополнительный материал. 113 + 37 с.

*Иван Тинин.* Бытие, Исход, Второзаконие (Главы из книги)

Рассказ о детстве и юности, проведенных в Болгарии, ярко рисует жизнь русских эмигрантов в 1930–1940-е. Гимназия в Софии, события периода Второй мировой войны, обстановка и настроения в болгарской армии описаны живо, свежо и заразительно весело. 2 + 101 с.

### *Статьи, исследования*

*Аурика Меймре.* «За веру, царя и Отечество»: Эпизод из деятельности русских монархистов в Эстонии

В статье рассказывается о различных общественных и политических объединениях, создававшихся эмигрантами-монархистами на территории Эстонии в 1920–1927, и их разнообразной деятельности, в том числе издательской. Материал основан на документах Государственного архива Эстонии, в частности, использованы донесения агентов Охранной полиции. 26 с.

*Г. А. Савина.* «Пусть барахтаются...»: К истории «одесской высылки» за рубежом

Осенью 1922 – весной 1923 из Одессы была депортирована большая группа ученых и преподавателей Новороссийского университета. В работе прослеживается их дальнейшая судьба. Письма коллег-ученых, сохранившиеся в личном архиве историка-слависта А. В. Флоровского, повествуют о проблемах трудоустройства и быта, рассказывают о внутренних особенностях русских эмигрантских центров и их взаимоотношениях. 118 с.

*Борис Фрезинский.* Илья Эренбург и Марк Шагал. Очерк взаимоотношений (Письма и комментарии)

Знакомство молодого поэта и молодого художника, состоявшееся в начале 1910-х в Париже, продлилось более чем полвека; в последние десятилетия оно обрело несомненные черты дружбы. В статье рассказывает-

ся, на чем строились и чем проверялись эти отношения. Письма Шагала, приводимые в тексте, подкрепляют концепцию автора. 21 с.

### *Эпистолярия*

Письма Г.В.Адамовича к З.Н.Гиппиус. 1925–1931. Подготовка текста, вступительная статья и комментарии Н.А.Богомолова

Эпистолярный разговор двух очень разных по возрасту, времени вхождения в литературу и степени известности литераторов, при всей внешней светскости тона, полон доверительности. В письмах то и дело речь заходит, по выражению Гиппиус, о «самом важном», обсуждаются собственные стихи и творчество друзей, собрания «Зеленой лампы», эмигрантская и дореволюционная периодика. Детальные примечания дополняют картину бурной жизни довоенной эмиграции. 3 + 98 с.

Переписка Тэффи с И.А. и В.Н. Бунинными. 1948–1952. Публикация Ричарда Дэвиса и Эдит Хейбер

Окончание публикации полного свода переписки, начатой в первом и продолженной во втором томе «Диаспоры». Тяжелый послевоенный быт, поиски заработков, попытки помочь друг другу, борьба с надвигающейся нищетой и старостью. Обстановка раскола в русской послевоенной эмиграции приводит к еще большей изоляции Бунина и Тэффи, но и способствует их сближению. Вступительная статья и подробный комментарий дают множество дополнительных сведений об упомянутых лицах, произведениях и событиях. 12 + 79 с.

### *Дневники, записные книжки*

Нина Вернадская. Записки обывательницы, опять (уже в который же это раз?) попавшей под колесо истории. Публикация М.Сорокиной

Н.В.Вернадская, жена известного историка-евразийца Г.В.Вернадского, прожила с мужем в эмиграции 50 лет: Константинополь, Прага, Нью-Хэйвен (США). Дневник 1933 года она вела в разгар экономического кризиса в США, запечатлевая быт американского университетского городка, охваченного событиями, до боли напоминающими наше недавнее прошлое. 4 + 5 с.

### *Varia*

Андрей Белый и Е.А.Ляцкий: Новые материалы. Публикация А.Лаврова и Ф.Полякова

Ранее не известное письмо А.Белого, обнаруженное в Праге в архиве историка литературы и фольклориста Е.А.Ляцкого, проясняет некоторые обстоятельства берлинской жизни писателя. Из того же архива публикуется небольшая статья Ляцкого, написанная в связи с кончиной А.Белого. 2 + 5 с.

Письмо Александра Бенуа Николаю де Базили. Публикация О.Будницкого. Предисловие и примечания Б.Бернштейна

В начале карьеры – способный дипломат, затем – успешный финансист, Н.А.Базили в 1932–1934 задумал сделать сборник о старой России и заказал специалистам статьи-справки по различным вопросам. В числе тех,

к кому он обратился, был и А.Н.Бенуа, ответ которого приводится в публикации. 4 + 9 + 10 с.

*Жорж Шерон. История одной фотографии*

В июле 1949 писатель Р.Гуль посетил лагерь для перемещенных лиц Шляйсгайм под Мюнхеном, в котором находилось много русских интеллигентов, ставших впоследствии известными эмигрантскими литераторами. В статье рассказывается о насыщенной культурной жизни лагеря, приводится много новых биографических данных. 6 с.

*Федор Поляков. «Я живу в двух культурах, русской и немецкой»: Письма Федора Степуна к Бернту фон Гейзелеру*

Девять писем Ф.А.Степуна, обнаруженные в личном архиве немецкого писателя Б. фон Гейзелера, содержат любопытные сведения о дрезденском и мюнхенском периодах жизни автора. 7 с.

**Библиография**

Эстонские годы Н.Е.Андреева. Материалы к библиографии. Составители И.Белобровцева, А.Рогачевский

Предлагаемая библиография эстонских публикаций известного историка и литературоведа Н.Е.Андреева не только знакомит с началом его многообразной деятельности, но и со всей очевидностью демонстрирует, насколько разносторонней и оживленной была культурная жизнь русской эмиграции в Эстонии в 1920–1930-е. 10 + 6 с.

**ABSTRACTS**

**Heritage**

*W. Weidlé. Memoirs. Edited by I. Doronchenkov*

The publication of Weidlé's memoirs begun in volume 2 of «Diaspora» is continued here with an account of the ten-year period from 1914 to 1924, which included the events Weidlé witnessed during the First World War and the February and October Revolutions of 1917, his work at Perm' University, his brief service in the White Army, his evacuation with the university to Tomsk, return to Perm' and, in 1920, to Petrograd, where he worked in the university and the Institute of Art History until he emigrated in June 1924. The detailed notes provide extensive additional information. 113 + 37 p.

*Ivan Tinin. Genesis, Exodus, Deuteronomy (Chapters)*

This account of childhood and adolescence in Bulgaria paints a vivid picture of the life of Russian émigrés in the 1930s and 1940s. The author's secondary schooling in Sofia, the events of the Second World War and life in the Bulgarian Army are described in a lively, fresh and entertaining manner. 2 + 101 p.

**Articles, Studies**

*Aurika Meimre. «For Faith, Tsar and Fatherland»: An episode in the history of Russian monarchists in Estonia*

This article describes a variety of social and political groupings formed in Estonia by Russian émigré monarchists in 1920–1927 and their varied activities,

including publishing. It is based on material in the Estonian State Archive and makes particular use of reports by secret police agents. 26 p.

*G.A.Savina*. «Let them flounder...»: A contribution to the history of the «expulsion from Odessa» to Europe

A large group of university researchers and lecturers was deported from Odessa between the autumn of 1922 and the spring of 1923. This study follows their subsequent fates. Letters from his academic colleagues preserved among the personal papers of the Slavonic historian A.V.Flo-rovskii tell of their problems finding work and coping with daily life, and of the distinctions between the various émigré centres and relations between them. 118 p.

*Boris Frezinskii*. Ilya Ehrenburg and Marc Chagalle: An account of their relations (Annotated letters)

The young poet Ehrenburg and the young artist Chagalle became acquainted in Paris in the early 1910s. They remained in contact with one another for over half a century and became particularly friendly during the last decades of their lives. This article describes the basis for their relationship and how it was tested. The letters from Chagalle cited in the text support the author's interpretation. 21 p.

### *Correspondence*

Letters from G.V.Adamovich to Z.N.Gippius, 1925–1931. Introduced and edited by N.A.Bogomolov

Despite its refined surface, this conversation in letters between two literary figures so very different in age, the period they entered the world of literature and the degree of their fame, is notable for its tone of confidentiality. The letters are full of what Gippius called the «most important» things, discussions of their own poems and their friends' work, the meetings of the «Green Lamp» circle, pre-revolutionary and émigré journals. The detailed notes provide additional information about the stormy life of the pre-war emigration. 3 + 98 p.

The Correspondence of Teffi and I.A. and V.N. Bunin, 1948–1952. Edited by Richard Davies and Edythe Haber

This is the final part of the publication of the complete body of correspondence started in the first two volumes of «Diaspora». It shows the hardships of post-war life for the correspondents, their search for sources of income, their attempts to help one another, their struggle against poverty and old age. The split in the post-war Russian emigration resulted in Bunin and Teffi becoming even more isolated, but also brought them closer to one another. The introduction and detailed notes provide extensive additional information about the people, events and publications mentioned. 12 + 79 p.

### *Diaries, Notebooks*

*Nina Vernadskaja*. Notes of an ordinary woman, who yet again (how often has it already happened?) falls under the wheel of history. Edited by M.Sorokina

N.V.Vernadskaja, the wife of the well-known historian and Eurasianist G.V.Vernadskii, spent 50 years in emigration with her husband in Constanti-



nople, Prague and New Haven (USA). She kept her 1933 diary at the height of the economic crisis in the United States. 4 + 5 p.

### *Varia*

Andrei Belyi and E.A.Liatskii: New evidence. Edited by A.Lavrov and F.Poljakov

A previously unknown Belyi letter discovered in the archive of the literary historian and folklorist E.A.Liatskii throws light on the certain aspects of the writer's life in Berlin. The same archive is the source of a short article Liatskii wrote on the occasion of Belyi's death. 2 + 5 p.

A letter from Aleksandr Benois to Nicolas de Basily. Edited by O.Budnitskii, introduced and annotated by B.Bernshtein

In 1932–1934, de Basily, who had moved from being an accomplished diplomat at the start of his career to being a successful financier, decided to publish a collection of articles about Old Russia and commissioned contributions from experts in various fields. Among those he approached was Benois, whose response is published here. 4 + 9 + 10 p.

*George Cheron*. The story behind a photograph

In July 1949, the writer Roman Gul' visited the Schleissheim Displaced Persons camp outside Munich and met many Russian intellectuals who subsequently became well-known émigré writers. This article describes the active cultural life of the camp and introduces much new biographical information about its inmates. 6 p.

*Fedor Poljakov*. «I live in two cultures, Russian and German»: Letters from Fedor Stepun to Bernt von Heiseler

These 9 Stepun letters discovered among the personal papers of the German writer B. von Heiseler reveal interesting details of Stepun's life. 7 p.

### *Bibliography*

N.E.Andreev's Estonian period: Towards a bibliography

This bibliography of publications in Estonia by the well-known historian and literary scholar N.E.Andreev not only illuminates the start of his multifaceted career, but also shows clearly how varied and lively Russian émigré cultural activity was in Estonia in the 1920s and 1930s. 10 + 6 p.

## СОДЕРЖАНИЕ

### Наследие

<i>В. Вейдле.</i> Воспоминания. Публикация и комментарии И.Доронченкова.....	7
<i>Иван Тинин.</i> Бытие, Исход, Второзаконие (Главы из книги).....	160

### Статьи, исследования

<i>Аурика Меймре.</i> «За веру, царя и Отечество»: Эпизод из деятельности русских монархистов в Эстонии.....	267
<i>Г.А.Савина.</i> «Пусть барахтаются...»: К истории «одесской высылки» за рубежом .....	293
<i>Борис Фрезинский.</i> Илья Эренбург и Марк Шагал. Очерк взаимоотношений (Письма и комментарии).....	411

### Эпистолярия

Письма Г.В.Адамовича к З.Н.Гиппиус. 1925 –1931. Подготовка текста, вступительная статья и комментарии Н.А.Богомолова.....	435
Переписка Тэффи с И.А. и В.Н. Буниными. 1948–1952. Публикация Ричарда Дэвиса и Эдит Хейбер .....	536

### Дневники, записные книжки

<i>Нина Вернадская.</i> Записки обывательницы. Публикация Марины Сорокиной .....	629
---	-----

### Varia

Андрей Белый и Е.А.Ляцкий: Новые материалы. Публикация А.Лаврова и Ф.Полякова .....	641
Письмо Александра Бенуа Николаю де Базили. Публикация О.Будницкого. Предисловие и примечания Б.Бернштейна .....	648
<i>Жорж Шерон.</i> К истории одной фотографии .....	671
<i>Федор Поляков.</i> «Я живу в двух культурах, русской и немецкой»: Письма Федора Степуна к Бернту фон Гейзелеру .....	677

### Библиография

Эстонские годы Н.Е.Андреева. Материалы к библиографии Составители И.Белобровцева и А.Рогачевский.....	687
--	-----

### Annex

Указатель имен .....	705
Аннотации .....	730

# **ДИАСПОРА: НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ**

## **Выпуск III**

Ответственный редактор: Олег Коростелев  
Редактор-издатель: Татьяна Притыкина  
Компьютерная верстка: И.М.Курдина  
Корректор: О.Э.Карпеева  
Оформление: Алексей Гаранин

## **ФЕНИКС**

ИД № 05957 от 3.Х.2001

Издательство «Феникс»: 191123, Санкт-Петербург,  
Кирочная ул., 31

Заказы направлять по адресу:  
«ДМИТРИЙ БУЛАНИН»  
199034, СПб., наб. Макарова, 4  
Институт русской литературы (Пушкинский Дом)  
Российской Академии наук  
Телефон: (812) 235-15-86; телефакс: (812) 346-16-33  
e-mail: [bulanina@nevsky.net](mailto:bulanina@nevsky.net)

Подписано в печать 1.03.2002. Формат 60 x 90/16.  
Бумага офсетная № 1. Печать офсетная.  
Объем 46,5 п.л. Тираж 1000 экз.  
Заказ 3108

Отпечатано с готовых диапозитивов  
в Академической типографии «Наука» РАН  
199034, Санкт-Петербург. 9 линия. 12



